Литературное наследство

I

М. Салтыковъ (Щедринъ).

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО



ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 9 3 3



ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО – ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

11-12

ЩЕДРИН
I

ЖУРНАЛЬНО – ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 3



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)

Акварель неизвестного художника, конец 50-х гг.

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том «Литературного Наследства», посвященный М. Е. Салтыкову-Щедрину, представляет собою один из первых и потому конечно еще несовершенных шагов по пути марксистского изучения творчества этого замечательного представителя мировой и русской художественной литературы и несомненно самого талантливого сатирика XIX столетия.

Неизученность этого писателя в марксистском литературоведении — одна из причин той необычайной пестроты мнений и оценок, нередко очень странных и теоретически наивных, которые высказываются и высказывались в нашей печати и которые в отдельных случаях нашли свое отражение и в некоторых статьях данного тома.

Кто такой Щедрин? Каковы источники его творчества? Какое место занимает этот писатель в истории развития русской общественной мысли и литературы во второй половине прошлого века?

Совершенно очевидно, что сколько-нибудь вразумительный, с марксистской точки зрения, ответ на эти вопросы можно дать только приняв в расчет историческую обстановку, в которой создавал свои произведения сатирик. А этого-то обычно и нехватает в большинстве появившихся до сих пор писаний о Щедрине. Авторы этих писаний рассматривают творчество Щедрина изолированно, в лучшем случае в связи только с различными литературными кругами. Огромного исторического значения и интереса процесс, на фоне которого складывалось мировоззрение и творчество Щедрина, остается почти вне поля зрения исследователей. И уже в этом таится возможность крупных ошибок в оценке социально-классового содержания его творчества.

Щедрин не философ, не социолог и не политический деятель в узком и точном смысле этих слов. Он прежде всего художник, и художник великий, в своем роде исключительный и неповторимый. Он на протяжении своей почти 40-летней литературной деятельности не имел ни возможности, ни быть может желания изложить свои общефилософские, исторические и политические взгляды в положительной и строго логической форме. В этом смысле у него нет вещей, подобных знаменитому письму Белинского к Гоголю, или общеизвестным произведениям Герцена и в особенности Чернышевского.

Разумеется, что его общие взгляды отразились в его художественных и публицистических работах. Но не следует забывать одного и здесь. «Рабий язык», которым писал Щедрин, нередко скрывает не только от нас — людей, отделенных от его эпохи многими десятилетиями, — но, случалось, скрывал и от современников действительный смысл его писаний. Общая-то тенденция была ясна, но какую конкретную совокупность социально-политических взглядов она таила в себе — оставалось нераскрытым. Даже частные письма Щедрина — источник очень красочный и важный для изучения его жизни и творчества — в отличие от писем, скажем, Толстого, Достоевского и даже Тургенева не дают достаточного материала для развернутой и хорошо аргументированной характеристики его социально-политических воззрений.

Отсюда, из всей этой совокупности обстоятельств, — некоторая «неуловимость» Щедрина, та самая неуловимость, которая позволяла представителям самых различных классов и групп «хвататься за фалды» Щедрина и приобщать его к лику «своих». Отсюда такие, на первый взгляд трудно объяснимые явления, как длительное руководящее его участие в легальном народническом журнале при несомненно критическом его отношении к ряду программных положений народничества, возможность участия его в либеральной печати, возможность траурного заседания Петербургской городской думы по случаю смерти сатирика, подвергавшего буржуазно-дворянский либерализм беспощадному осмеянию; отсюда же — как это ни странно — «возможность» причисления его к предшественникам революционного марксизма в России.

И однако эта «неуловимость», как не затрудняет она правильное понимание и оценку сатирика, в конечном счете все-таки иллюзорна. Она вытекает либо из недостаточного знакомства с творчеством Щедрина и более или менее полного забвения его политической биографии, либо из глубоко ошибочной изоляции его от общей исторической обстановки его эпохи. Впрочем это связано также и с известным эклектизмом миросозерцания великого сатирика, эклектизмом, который некоторые щедриноведы обозначают деликатным и звучным термином «многогранность».

Мы имеем в виду конечно исследователей и критиков марксистов. О не-марксистах и говорить нечего. Порочный метод ничего кроме порочных выводов и не может дать.

Таково например положение дел с писаниями Арсеньева, Пыпина и Семевского, а из новейшей литературы — Иванова-Разумника. В работах этого типа встречается нередко много ценного фактического материала, более или менее удачные объяснения отдельных деталей, но общее решение вопроса, даваемое в них, явно несостоятельно.

Итак, если желать восстановить подлинный облик Салтыкова-Щедрина, определить историческое и художественное значение его, нужно с порога отказаться от импрессионизма в подходе к его творчеству и биографии. Это путь в область «неведомого» и пусть по нему грядут «взыскующие града» идеалисты и мистики всех направлений и толков.

Эпоха, на которую падает жизнь и творчество Щедрина, — одна из интереснейших в мировой и русской истории. Это была эпоха, в которую в старых странах Европы, на развалинах феодального общества, уже сложился современный капитализм, установилось господство буржуазии. Господство не безмятежное, ибо к действию уже пробуждался могильщик буржуазии — пролетариат. «Тайна XIX столетия — эмансипация пролетариата», говорил Маркс. И эта тайна раскрывалась в грозном выступлении пролетариата в 1848 и 1871 гг., в деятельности Интернационала, в успехах распространения великого учения Маркса.

Для России это была эпоха глубокого разложения и упадка крепостничества и созданных на его основе идеологий, эпоха вовлечения ее в орбиту капиталистической промышленной революции. В конце 40-х годов, на заре этой последней, началась литературная деятельность Щедрина. В конце 80-х годов, незадолго до ее завершения и выступления на арену истории российского пролетариата, гениальный сатирик сошел в могилу. Он таким образом жил и творил в эпоху, когда сложившаяся веками феодально-крепостная Россия пришла в движение. В чем это выразилось?

В росте машинной индустрии, в прямом разрушении мелкой домашней промышленности или в подчинении ее диктатуре крупного капитала, в стремительном развитии железнодорожного строительства, в чрезвычайном усилении налогового гнета и вместе с тем в возрастании государственного долга, почти непрерывно державшего царизм на грани финансового банкротства. В бешеном протекционизме, в поисках новых рынков и в циничном колониальном грабеже, в «разведении миллионеров» и «оскудении дворянства». В проникновении капитализма в его наиболее хищнической форме в деревню, в разложении общины и истощении производительной силы земли. В росте городов и беспощадной эксплоатации пролетариата. В коррупции, захватывавшей высшие ступени правительства и двора. Во все большем втягивании России в систему мирового капиталистического рынка и — как неизбежный в данных исторических условиях результат всего этого — в колоссальном обнищании и пролетаризации многомиллионных крестьянских масс, «внезапно брошенных, — как говорит Энгельс, — в столкновение с наиболее развитой формой новейшей капиталистической индустрии, которая должна была насильственно создавать себе внутренний рынок».

Россия была последней великой страной, захваченной крупной капиталистической промышленностью. Промышленная революция совершалась в ней во многих отношениях с невиданной в старых странах Европы быстротой. Страдания народных масс в связи с этим достигли исключительных размеров и остроты. Экспроприация непосредственного производителя, обезземеление крестьянства, всюду составляла основу первоначального накопления. Начавшийся в России еще задолго до реформы, этот процесс в самой реформе и после нее достиг громадных размеров. «А в чем состоит, — писал Ленин в 1894 г., — вся пореформенная история России, как не в массовой, невиданной нигде в такой интенсивности экспроприации крестьянства?» (Ленин, т. I, стр. 111).

Уже Маркс и Энгельс отмечали, что в силу всего этого переход к капиталистическому индустриализму в России не может не сопровождаться такими грандиозными социальными потрясениями, которых не знает история Западной Европы.

Вот эту-то картину разложения, упадка крепостничества и рождения капитализма и писал Щедрин. Писал не как легендарный, бесстрастный летописец, «добру и злу внимая равнодушно», и не как ученый социолог или историк, а как художник, страстно относящийся к действительности, пытающийся воздействовать на эту действительность, изменять ее в направлении своих идеалов. И нужно сказать, что во всей русской художественной литературе другого такого полотна нет, хотя те явления, которые были объектом внимания Щедрина, находили свое отражение и у других писателей той эпохи как демократического, так и реакционного лагеря. Хотя у Щедрина мало цельных крупных произведений — его циклы состоят из отдельных, часто фрагментарных вещей, — эти фрагменты сливаются в одно огромное художественное полотно, изображающее целую историческую эпоху, подобно «Божественной комедии» Данте и «Человеческой комедии» Бальзака.

Выше было сказано, что Щедрин в некоторых отношениях исключительный, неповторимый писатель. И это верно в том смысле, в каком верно положение об относительной исключительности и неповторимости натуры, с какой писал Щедрин. Мы имеем в виду конкретные исторические своеобразия развития капитализма в России.

В дооктябрьский период буржуазно-дворянская публицистика и художественная критика в большинстве своих представителей сходилась на подчеркивании публицистического

так называемого «гражданского» характера творчества Щедрина, признавая его крупной силой только в этой области. Щедрин — великий художник оставался вне поля ее зрения. Талант-то за Щедриным признавали, но полагали, что, будучи направлен не в область «собственно искусства», талант этот не мог, мол, развернуться во всем его блеске. «Гражданские» же добродетели Щедрина эта критика, в уровень своего собственного кретинизма и ограниченности, сводила к пошлому буржуазному либерализму. Щедрина роднили со Сталюсевичами, Кавелиными и прочими представителями либерального хамства 70—80-х годов.

До Октября его лицемерно заключали в свои объятия и литературные деятели партии «могильных червей революции», как называл кадетов Ленин.

Естественно, что в марксистской критике либеральная трактовка Щедрина была встречена в штыки. Чтобы восстановить подлинный облик Щедрина, обратились к изучению его не только как антикрепостнического, но и антилиберального политического писателя. Сделать это было совершенно необходимо. Но сосредоточив внимание на политической стороне дела, обращались недостаточно к Щедрину-художнику. Последний оставался в тени. Самое это противопоставление художественного социальному в корне ошибочно и имеет своим источником не-марксистское представление о задачах и возможностях художественного творчества.

Щедрин именно потому был великим художником, что писал о коренных вопросах социальной жизни и писал глубоко тенденциозно. Эту черту и ценили в нем Маркс и Энгельс. Его влияние на современников было значительным, его произведения не умерли вместе с ним, а сохранили известное значение до наших дней именно потому, что он был одним из первоклассных художников слова. Не только «Пошехонская старина», «История одного города» или «Господа Головлевы», но и мелкие его вещи в большинстве случаев — художественные произведения высокого достоинства. Щедрин обладал исключительным размахом художественного воображения. Он создал свой особый язык и стиль, которыми владел, как истинный виртуоз. Изучение Щедрина-художника необходимо. К сожалению и в настоящем томе «Литературного Наследства» этой стороне дела не уделено достаточного внимания.

Итак, Щедрин — творец огромного художественного полотна, в котором отразилась его эпоха. С каким же мировоззрением подходил Щедрин к критике жизни этой эпохи? Тут-то мы и встречаемся с необычайной пестротой мнений. Либерал, демократ, демократ-народник, революционный социалист-утопист и наконец такой социалист-утопист, который уже начинает преодолевать свой утопизм и как-то приближается к марксизму. Все эти мнения и оттенки, за исключением первого, не нашедшего себе поклонников в среде марксистов (если не считать совершеннейших одиночек, для которых остается только одно утешение, что они — обладатели «оригинального» мнения), нашли и продолжают находить свое выражение в нашей литературе. Все, или почти все они так или иначе отразились и на страницах настоящего тома. Очевидно, что серьезная научная дискуссия о характере творчества Щедрина — дело не лишнее, тем более, что теперь приступлено к первому изданию полного собрания его сочинений и переписки.

О первой версии — Щедрин-либерал — много и говорить не стоит. Все творчество сатирика с конца 60-х годов опровергает ее. Попытки либералов «хвататься за фалды» Щедрина были разоблачены и заклеймены как подлое лицемерие еще Лениным. Да и сами российские либералы, сливавшиеся по мере приближения пролетарской революции с черносотенцами и окончательно слившиеся с ними уже в предоктябрьские дни, теперь открыто отрекаются от Щедрина. Так накануне столетия со дня его рождения небезызвестный Ю. Айхенвальд излил на страницах белоэмигрантского «Руля» всю «скорбь» и негодование, накипевшие «в покаянном сердце» российского либерала против Щедрина. Сатиру последнего этот литературный лакей господствовавших в царской России классов с похвальной откровенностью признал «несправедливой, огульной, праздной», не заслуживающей к себе иного отношения, кроме как враждебного.

В свете Октябрьской революции, положившей конец господству помещиков и буржуазии, даже крепостная и полукрепостная Россия времен Николая I и Александра II воспринимается им как обетованная земля, а именно эту Россию развенчивал и осмеивал Щедрин. П. Б. Струве пошел еще дальше, возмечтав о воссоздании допетровских порядков на Руси. Ясно, что версия о Щедрине-либерале явно несостоятельна. Но ведь кроме нее существует немало других версий.

Что Щедрин — великий сатирик-демократ, это ныне никем уже не оспаривается. Что его демократизм более или менее сильно окрашен в тон утопического социализма — это также кажется стало бесспорным. Но некоторые исследователи повидимому находят это недостаточным для Щедрина и требуют возведения его в ранг революционного социалиста и притом такого, который в чем-то будто бы приближается чуть ли не к марксизму. Отвлекаясь от некоторых второстепенных деталей, в которых сторонники этого мнения расходятся между собой, то, что им обще, можно было бы формулировать следующим приблизительно образом.

В конце 40-х годов существовал на Руси кружок безнадежных утопистов: петрашевцы. К оному кружку некое, правда отдаленное, отношение имел и Салтыков, и отдаленность

эта проистекала из того, что Салтыков уже тогда в утопиях сомневался и размышлял о путях их преодоления. С этими сомнениями он и отправился в Вятку, где они практически разрешились довольно быстро и притом весьма прозаически. Впрочем об этом периоде в жизни Салтыкова сторонники рассматриваемого мнения говорят глухо, как-то вскользь.

Затем Салтыков возвратился в столицу и что-то до своего вхождения в «Современник» делал, что именно об этом тоже говорится глухо и подчеркивается только его несомненное сочувствие народным массам. А затем, с 1863—1864 гг., в этой версии мы встречаемся уже с таким Салтыковым, которого в действительности никогда не существовало. Салтыков не только 70—80-х годов, но и этого раннего периода вырастает в представлении сторонников рассматриваемого мнения в какого-то Илью Муромца русской революционной демократии. И ежели современники его за такового не принимали, так это происходило по причине скудости их интеллектуальных сил, зараженности предрассудками утопизма и в известной части даже ренегатства.

По этой версии выходит, что это он, Салтыков, вынес на плечах своих всю тяжесть борьбы с реакцией и блокирующимся с ней либерализмом в 60-е годы. Это он тогда, и притом он единственный, с честью нес знамя мелкобуржуазной революционной демократии, знамя Чернышевского. Под ударами реакции все отступало, «понижало тон», мельчало, вырождалось в жалкое культурничество, предавало свои же собственные вчерашние идеалы. И посреди этого сборища оппортунистов, трусов и ренегатов стоит одинокая фигура революционного Щедрина.

Но Щедрин велик не только стойкостью духа перед лицом нагло торжествующей реакции, но и исключительной силой мысли, глубоко реалистической и даже пророческой. Оказывается, что он уже в 60-е годы провидит не только упадок дворянства, но и грядущую гибель новых столпов общества — буржуазии.

Зараженный скепсисом по части утопии он в 70—80-е годы подвергает сомнению и народническую утопию. Согласно этой версии, Щедрин почти ничего общего не имеет с народничеством. В некоторых высказываниях Щедрина о семье, собственности и государстве сторонники рассматриваемого мнения склонны усматривать что-то похожее чуть ли не на марксизм. Правда, марксистом его в конце концов не признают и ограничиваются весьма туманными формулировками, когда дело подходит к конечным выводам. Но это уже результат недостаточно логического развития неправильно взятых исходных положений.

Этой картине нельзя отказать в стройности и заманчивости, и тем не менее в ней нет подлинной исторической правды. Это идеализация портрета писателя. Отдельные детали здесь изображены довольно правдиво, но в целом, повторяем, картина эта не верна и может быть принята за истинную только при недостаточном знании русской истории, только при забвении политической биографии Салтыкова и выборочном знакомстве с текстами его произведений.

Не подлежит никакому сомнению, что Щедрин, человек одаренный большим умом и талантом, не стоял на месте и пережил известную эволюцию. Бесспорно, что в общем эта эволюция была движением справа налево. Но также не подлежит сомнению, что *приходом Щедрина к чему-то хотя бы только похожему на марксизм эволюция эта* не завершилась.

В жизни и творчестве Щедрина есть рубеж. И этот рубеж лежит на грани 60-х и 70-х годов. Не то, чтобы Щедрин, перейдя эту грань, как-то вдруг радикально изменился, порвав со всем своим прошлым. И в 70—80-е годы он пронес многое из этого прошлого. Но сдвиг был все же значительный и принципиальный: Щедрин в эту пору рвал с тем из своего идейного прошлого, что в нем было от либерализма.

До конца 60-х годов Щедрин не стал еще прочно на позиции последовательного демократа. До этого момента колебания между демократизмом и либерализмом у него еще очень сильны, сильны настолько, что в самом начале 60-х годов либерал, мечтающий о плодотворной практической легальной деятельности в рамках пореформенного абсолютизма, брал в нем верх над демократом. Революционером действия Щедрин не был никогда. Теоретические же его воззрения в те годы тоже были достаточно далеки от революции. Сказанное можно было бы иллюстрировать анализом художественных и публицистических произведений Щедрина той поры и его перепиской, но это невозможно сделать в рамках редакционного предисловия. Здесь достаточно будет указать на немногие основные моменты, не оставляющие в этом вопросе никаких сомнений.

Чем характеризовалась революционная демократия начала 60-х годов? Страстным ожиданием всеобщего крестьянского восстания и верой в него, глубоко враждебным «сектантским» отношением к теории и практике буржуазно-дворянского либерализма, предававшего дело революционной демократии на каждом шагу, неверием в мирное процветание и убеждением, что только революция положит конец бесправному положению, забитости и вырождению народных масс, даст крестьянству землю и освободит Россию от тяготеющего над ней помещичьего режима, увенчанного самодержавием. Характерны ли эти моменты для Щедрина 60-х годов? — Нет.

В нем много действительно искреннего сочувствия народным массам и молодому по-

колению. Но он не ищет выхода на путях революционной ликвидации помещичьего землевладения и самодержавия. В ту пору он даже и не поднимает вопроса о какой бы то ни было ликвидации помещичьей собственности. Правда, и тогда он уже замечает трусость и половинчатость людей либерального лагеря, подвергает иногда их едким насмешкам, но он не видит еще в либерализме заклятого врага революционной демократии, идеологию, призванную украшать благовидными покровами сделки буржуазии с помещичьим государством за счет прежде всего крестьянских масс. В противовес идеологу революционной демократии — утопическому социалисту Чернышевскому, ставящему ставку на революцию, на обострение борьбы, Салтыков в это время пытается создать широкий блок всех партий «прогресса», от умеренных либералов до социалистов включительно, для осуществления «скромных практических целей». Здесь таким образом д в е линии, а не одна. Мнение, что уже в 60-х годах Салтыков стоит на позициях Чернышевского, не верно.

Мы не говорим уже о таких хотя и частных, но все же существенных моментах, как его насмешливое выступление по поводу романа «Что делать?», как его очень странно звучащие в тогдашней политической обстановке нападки на «нигилистов».

Пусть «Что делать?» действительно типично утопический роман, в котором трезвенный буржуазный рассудок не в силах усмотреть ничего кроме богатой фантазии и смешных подробностей. Но нападать на этот роман, написанный человеком, заточенным в крепости, убежденный демократ, а тем более социалист не мог. Бесспорно также, что в среде революционно настроенной молодежи тогда, как и во все времена, встречались «вислоухие» и «юродствующие», т. е. люди, неспособные на подлинно революционное дело, легко менявшие кожу, потенциальные ренегаты и фразеры. Все это так. Но ведь насмешки Щедрина прозвучали в униссон с завываниями той печати, которую сам Салтыков позднее окрестил очень шедшим к ней названием «ретирадная литература».

Щедрин сам почувствовал неловкость положения и попытался с достоинством отступить в форме пояснений, но выходило это плохо, неубедительно.

Все эти промахи могли бы быть объяснены случайной бестактностью, допущенной в острых полемических схватках. Но это едва ли так. Дело в том, что они находятся в созвучии с тою шаткостью политической мысли, с теми стремлениями к блоку с либерализмом, которые нашли свое отражение в «Каплунах», отклоненных Чернышевским, и в особенности в известном проекте объявления об издании журнала «Русская Правда».

Нам кажется несомненным, что в той политической ситуации, которая сложилась в России в 1862 г., проповедь в духе этого проекта независимо от воли Салтыкова, мечтавшего воссоединить и примирить — до времени — между собой все «партии прогресса», направлялась бы не только против помещичьей реакции, но и против революционной демократии.

Состав компаньонов Щедрина по редакции проектированного им журнала—Б. И. Утин, Головачев, Унковский — говорит сам за себя. Характер либерализма этих людей достаточно хорошо известен любому исторически грамотному читателю.

Прокламации, глухое брожение зарождающегося русского революционного подполья, польское восстание — все это преграды на пути, призраки, пугающие общество и правительство, сбивающие с толку и мешающие прогрессу. Вот как объективно звучат все эти либеральные ноты, настойчивые и частые у тогдашнего Щедрина.

Проектируя на прошлое, позднейшие щедринские высказывания об «освободительной» реформе и либерализме, исследователи забывают действительные классовые позиции Салтыкова-Щедрина начала и даже середины 60-х годов.

Происхождение из старинной и богатой дворянской семьи (смешанной, правда, уже с буржуазией), воспитание на «лоне материальной обеспеченности и эстетических преданий», положение в обществе (Щедрин почти до самой смерти был помещиком средней руки) и в правительственном аппарате не помешали в конце концов Щедрину стать тем, чем он стал. Но в 60-е годы именно эти моменты тормозили в нем отмирание либеральных иллюзий. Они налицо даже в самых ярких, в смысле социального и политического радикализма, произведениях Щедрина той поры — в публикуемых впервые в настоящем томе двух хрониках «Наша общественная жизнь» и статье «Современные призраки». В хронике первой мы встречаемся с призывами к той же легальной практической деятельности. Правда, во второй хронике «война», т. е. революция, как будто бы и признается неизбежной и потому необходимой, но признается как некое зло, претящее автору и даже теоретически противоречащее, по его собственному признанию, тому строю мыслей, который он считает истинным. Эти противоречия Щедрин пытается разрешить путем очень характерного утопического проекта организации сил для ведения самой «войны».

Согласно этому проекту действительно действующие революционеры не мыслят, мыслящие же не действуют.

Итак, в 60-е годы Щедрин еще не сложился в убежденного и последовательного до конца демократа. Иначе невозможно объяснить себе, как в обстановке крепнущей реакции, задушившей польское восстание и крестьянские бунты, он ушел из демократической литературы на службу в бюрократический аппарат абсолютизма. Версия, выдви-

гаемая для объяснения этого факта некоторыми исследователями — цензура, мол, задушила, — слишком наивна, чтобы на ней можно было остановиться всерьез. Понадобилось четыре года, чтобы Салтыков окончательно убедился в несбыточности надежд на подлинно плодотворную практическую деятельность в рамках существующего социально-политического порядка.

С конца 60-х годов Щедрин снова входит в демократическую литературу и на этот раз уже навсегда. С этого времени он обращает всю силу своего громадного таланта на разрушение этого строя, на развенчание его авторитетов и идей. И он сделал в этом отношении все, что доступно самому крупному художнику, борющемуся только пером.

Чем же был Щедрин в эту вторую и лучшую половину его жизни? Нам кажется, что правильной характеристикой его для этой эпохи будет: демократ с сильным налетом утопического социализма, творчество которого немало способствовало пробуждению политического сознания и протеста в России. Но Щедрин и в этот период не революционер. И не только в том смысле, что лично он никогда не входил ни в какую революционную организацию и даже, насколько известно, не имел никаких связей с ними, но и в том смысле, что ни прямо, ни косвенно он не пропагандировал революционного насилия. Он не сочувствовал и даже осуждал те единственно реальные формы революционного насилия, которые имели место в его время — народовольческий террор.

В этом — самое глубокое противоречие Щедрина. Все его творчество, рисующее картину безграничного глумления, унижения и эксплоатации крестьянства и удушения демократической интеллигенции, наглого торжества хищнической буржуазии, все это пробуждает ненависть и зовет к борьбе. Сатирик сам сознательно ненавидит старый порядок и однако же не дает революционного решения вопроса о его ликвидации.

Будущее рисуется Щедрину как какая-то социальная гармония. Но пути к этому будущему он не знает. На вопрос о том, что делать, он не может дать никакого другого ответа, кроме как: бороться за идеалы. Как бороться? — на этот вопрос мы не найдем у Щедрина ответа. За какие же идеалы нужно бороться? — за «свободу, справедливость, равноправие». При всем своем критическом отношении к утопизму сам Щедрин, поскольку он социалист, — социалист утопический. В сущности его критика утопизма не пошла дальше протеста против создания конструкций будущего идеального строя, и он сам действительно не создавал их. Но в этом и заключается все его превосходство над утопистами. Дальше он не пошел. Действительно слабых сторон утопизма первой половины XIX в. он не понимал, потому что и сам склонен был исходить из неизменной человеческой природы и рационализма.

Причину крушения начинаний Р. Оуэна и фурьеристов он усматривает «в порочности и предрассудках, тяготеющих над обществом». Анализ экономических причин этого крушения для него просто не существует.

Насколько можно судить по некоторым данным, материалист в понимании природы он оставался идеалистом в понимании человеческой истории. Эклектичность, невыдержанность его взглядов на историю чувствуется повсюду. Он испытал многообразные влияния, но определяющим оставалось влияние рационализма. Никогда он не поднялся до материалистического понимания истории. Необычайно сильный в анализе частностей, конкретных явлений жизни, поднимавшийся здесь иногда до удивительно ясного понимания дела, он неизменно впадает в идеализм всякий раз, как только принимается за широкие исторические и социологические обобщения.

Так, трактуя о русской прессе или французском парламентаризме, он иногда очень близко подходит к правильному определению их классовой сущности и в то же время, говоря о литературе вообще, он склонен видеть в ней надклассовую силу, творящую историю. А так как литературу делают интеллигенты, то сии «критически-мыслящие личности» и являются в последнем счете вождями человечества.

Мастерски изображая рождение из среды крестьянства Колупаевых и Разуваевых, тонко обрисовывая самую механику этого процесса, он тем не менее не поднимается до понимания человеческой истории как истории борьбы классов.

Как критик буржуазного общества он уступает и по ясности, и по глубине анализа, но не по яркости Чернышевскому, что впрочем и естественно. Щедрин — художник, а не ученый. К тому же при всей широте его кругозора он несомненно уступает Чернышевскому в познаниях, в особенности в области философии и политической экономии.

Будущая гармония рисуется ему как «непременно имеющая быть», как неизбежный и законный продукт истории. Однако было бы поспешностью усматривать в этом приближение Щедрина к историческому материализму, к пониманию исторически преходящего характера буржуазного общества. Это тезис, общий многим утопическм социалистам, любившим ссылаться на законы истории, формулируемые ими всегда неясно и с рационалистических позиций.

В конце концов щедринская «имеющая непременно быть» гармония — дело его веры и убеждения. Научных доказательств этой «непременности» он не имеет. Приход своей гармонии Щедрин не связывал с победой какого-нибудь определенного класса.

Полагают, и совершенно основательно, что Щедрин не голый отрицатель, что у него было положительное мировоззрение, положительный социальный идеал. Повторяем, это

бесспорно. Идеал у него был, но настолько абстрактный и неясный, что он всегда испытывал затруднения при попытке его изложения. Когда он давал такое изложение, то выходило оно довольно бледным: справедливость, равноправность, свобода — вот и все (см. например его известное письмо Е. И. Утину написанное в 1881 г., или разговор правды со свиньей в очерках «За рубежом»). Таким образом идеал этот был лишен той конкретизации, в которую облекали свой идеал все утописты от Томаса Мора до Фурье и Кабэ.

С формальной стороны этот туманный идеал мог бы быть признан в качестве девиза и либерализмом, но только именно с формальной стороны. Все творчество Щедрина свидетельствует о том, что он наполнял эти термины совсем иным, чем либеральные буржуа, содержанием.

Как Щедрин решал вопросы о государстве, семье и главное частной собственности в будущем обществе — нам не известно. Он подвергал эти институты глубокой и блестящей критике, но положительного ответа в вопросе об их судьбах он не дал. Быть может он и склонен был вовсе отрицать частную собственность, но вероятнее, что нет. Критика существующих отношений собственности — еще не значит полное отрицание частной собственности вообще. История социальных учений знает много разновидностей утопического социализма, сторонники которых подвергали институт собственности уничтожающей казалось бы критике и тем не менее в конце концов сохраняли ее в своих проектах переустройства общества. Кому не известны например писания Прудона?

Не менее интересен вопрос о том, как относился Щедрин к современному ему помещичьему землевладению, стоял ли он за экспроприацию всех помещичьих земель? На основании всего его литературного наследства нетрудно доказать, что он признавал право крестьян на землю (неясно только, на всю ли землю?). Он резко противопоставлял крестьянство — «конягу» «пустоплясам» — помещикам. Но реальная его программа и в этом отношении остается до сих пор невыясненной. Какую же все-таки судьбу предопределял он «пустоплясам»?

Думал ли он, что всех их рано или поздно постигнет участь владельца Монрепо, т. е. что они будут разорены новыми столпами общества и поступят в разряд «пропащих людей» с перспективой превращения в далеком будущем в просто человеков, или ему рисовалась иная какая перспектива? Это один из интереснейших вопросов, над которым в плане изучения творчества Щедрина надлежит еще работать.

Несколько слов об отношении Щедрина к народничеству. Он не был конечно идеологом этого направления общественной мысли. Не был безоговорочным сторонником ни легального, ни тем более революционного народничества. И не только потому, что ясно видел процесс диференциации деревни, нарождение кулачества, хотя этот момент — реалистический взгляд на деревню — несомненно высоко поднимает Щедрина над подавляющим большинством его соратников по «Отечественным Запискам» равно как и над эпигонами старого революционного народничества, опустившимися до пошлого мещанского радикализма. О процессе этом писали, правда далеко не сознавая всего его значения, и руководители «Народной воли». Однако они делали из этого наблюдения вывод о необходимости спешить с переворотом.

Щедрин не был народником потому, что не верил в социалистическую природу крестьянства, в русскую общину как в базис будущего социалистического строя. Он не был революционным народником потому, что не верил в способность крестьянства подняться на социалистическую революцию. Он вообще сомневался в возможности скорой крестьянской хотя бы и не социалистической революции в виду забитости и темноты крестьянских масс. Но не видя в крестьянстве революционной силы, он не видел ее и в пролетариате.

Утопический социализм Щедрина — в той мере, в какой он ему действительно присущ, — это утопический социализм 40-х годов. Характернейшей и решающей чертой в утопизме русского революционного народничества 70-х и самого начала 80-х годов была как-раз вера в возможность поднять крестьянство на социалистическую революцию, на такую революцию, которая принесет с собой одновременно и социальное, и политическое освобождение. Революционные народники искренне полагали, что победа крестьянского восстания будет означать победу социализма. Это было глубоким заблуждением, утопией, и в действительности они были не социалистами, а лишь решительными мелкобуржуазными революционными демократами. Но именно эта вера двигала их в народ, дала им силу вступить в неравную героическую схватку с царизмом. Схватку, которая привлекала к себе внимание всего мира и вызывала чувство глубокого уважения к ним со стороны самих основоположников научного социализма. Маркс и Энгельс ценили революционных народников не как социалистов («во всем русском народничестве нет ни грана социализма», говорил Ленин, имея конечно в виду социализм научный, а не утопический), а как решительных боевых демократов, боровшихся с царизмом, этим оплотом феодальной и буржуазной реакции во всей Европе.

Отсутствие этой-то веры, а не мнимые расхождения во взглядах на роль интеллигенции и государство — вот суть отличия Щедрина от народничества. Но при всем том в своем творчестве Щедрин объективно отражал в конечном счете все то же крестьян-

ство, его протест против потока и разграбления, на которые оно было обречено «осв бождением» 1861 г. В этом историческое значение и заслуга Щедрина. На этой почв он сближался с народниками. Повидимому в этом смысле следует понимать его зам чание в письме к Гаевскому от 13/25 сентября 1881 г.: «Я человек партии».

Что касается отношения Салтыкова к тактике революционного народничества, то, ка сказано выше, он не разделял ее. Террор он находил «бессмысленным и пошлым», масс вое крестьянское восстание рисовалось ему в виде беспощадного кровавого хаоса, в кот ром неизбежно пострадают и невинные. «Справедливо ли это?» — в типично морал стическом духе спрашивает Щедрин.

Правда, при всем своем несогласии с тактикой революционных народников Щедри не позволял себе не только бросить в этих людей камнем, но и просто критиковать и в подцензурной печати. Чувство жалости к этим, как казалось ему (и в этом он глубок ошибался), бессмысленно гибнущим людям, глубокого уважения к их героизму, гнев к их палачам и презрения к оплевывавшим их либералам характерно для Щедрина. Н как утопист на этической основе он отрицает террор и реакционный, и революционны Напомним его известную гневную статью против палачей Парижской коммуны. Но од нажды, это было вскоре после 1 марта, он, хотя и очень глухо, печатно осудил и на родовольческий террор («За рубежом», глава VI). И это осуждение в тогдашней пол тической обстановке прозвучало ложно.

Повторяем, Щедрин — искренний демократ, но не революционер. Сила Щедрина н в его практической программе, не в положительных выводах вообще, в которых, ка это глубоко верно отметил еще Маркс, Щедрину не везет. Сила его в области критик Здесь он проявил такую мощь, такую глубину, которая редко встречается у социал ных критиков домарксовской эпохи. Фурье, как говорил Энгельс, — не только велик критик-утопист, но и «один из величайших сатириков всех времен». Можно было б сказать, что во второй половине XIX в., когда буржуазная цивилизация показала сво изнанку во всем ее гнусном отталкивающем виде, всякий действительно глубокий сат рик, а Щедрин был сатириком гениальным, не мог уже стоять на чисто буржуазн позициях. Но до позиций пролетарского социализма по всему своему прошлому, п условиям места и времени Щедрин подняться не мог.

Нарождавшийся в России капитализм рисовался Щедрину преимущественно, если н исключительно, с его разрушительной стороны. Что в ходе капиталистического разви тия в России создавался новый общественный класс — индустриальный пролетариа Щедрин не замечал. Бюрократы всех рангов и степеней, помещики, банкиры, железн дорожные спекулянты, биржевые акулы, лакействующие либеральные газетчики, литер торы и ученые, Колупаевы и Разуваевы — все это Щедрин видел и описал в ярк красках. Но рабочего у него нет. В качестве особого общественного класса Щедрин н упоминает о рабочих. Для него, как и для подавляющего большинства его современнико в частности народников, рабочий только разновидность крестьянина. Исторически э и понятно. Щедрин в основном сложился уже в 70-е годы, когда русский рабочий тол ко еще начинал подниматься на стихийную борьбу.

В 80-е годы, когда возникла группа «Освобождение труда», когда в революционн среде внутри самой России начался глубокий идейный кризис, Щедрин, прикованны болезнями к креслу, не имевший никаких связей с той средой, в которой шел проце выработки и усвоения новой революционной теории, был уже слишком стар, чтоб двигаться вперед. Даже гениальные писатели ограничены возможностями своего времен Щедрин не видел революционного пролетариата, да и не мог его видеть. Но самое твор чество его было одним из симптомов надвигавшихся на Россию великих социальных п реворотов.

В качестве высокого образца сатиры вообще, в качестве гениального художественно комментария к истории царской России второй половины XIX столетия творения Ще, рина будут жить еще многие десятилетия, а быть может и века. А это судьба немн гих писателей.

Кесарево — кесарю, и нет никакой необходимости наделять Щедрина большим, че он действительно владел, видеть в нем, демократе с оттенком утопического социализм какого-то предшественника революционного марксизма.

Вообще при том строго критическом освоении литературной культуры прошлого, к торому учил Ленин, необходимо отказаться от нередко еще встречающихся попытс устанавливать во чтобы то ни стало генетическую связь между тем или иным писателе прошлого и марксизмом.

Пролетариат не отказывается от того, что есть подлинно великого в культуре прош лого. Больше того: он единственный законный наследник лучшего, что создано в пре, шествующие эпохи человеческой истории. Но не следует никогда забывать те различи часто ту пропасть, которые отделяют мировоззрение единственного до конца революц онного класса — пролетариата от мировоззрения тех, кто создавал культуру в прошло

Возвращаясь к Щедрину, нужно сказать, что он и теперь имеет не только чисто ист рический интерес. В грандиозной созидательной работе по построению бесклассово социалистического общества, которую под руководством партии во главе с т. Сталинь

ведут пролетариат и трудящиеся в нашей стране, немалая роль приходится и на долю литературы. Она между прочим должна создать нашу, большевистскую, высокохудожественную и остро отточенную сатиру, направив ее против всех тех, кто стоит на пути пролетариата к его великой конечной цели, кто тормозит его движение к ней.

Чтобы создать такую сатиру, нужно критически освоить творчество крупнейших представителей этого вида искусства в прошлом. И здесь на первом месте стоит великий мастер социальной сатиры — Щедрин.

* * *

Предлагаемый вниманию читателя «Литературного Наследства» сборник, посвященный Салтыкову-Щедрину, целиком создавался по твердому плану. Материалов или статей, попавших в редакцию случайно, «самотеком», в книге нет. В согласии с существом стоящих перед журналом задач щедринский сборник строился на основе новых, доселе не издававшихся текстов как самого Щедрина, так и различных материалов о нем. Документы, составившие публикационный фонд сборника, были извлечены в результате организованных редакцией детальных поисков в архивах Москвы, Ленинграда, ряда провинциальных городов, а также из некоторых частных собраний. Естественно, что далеко не все обследованные или вновь выявленные материалы нашли себе место в сборнике. Редакция отнюдь не стремилась использовать сейчас все результаты своих находок. Наоборот, на протяжении всей своей работы она отчетливо сознавала потенциальную опасность увлечься новым неизданным материалом и создать пеструю книгу, в которой действительно ценный материал потонул бы в груде второстепенных текстов, биографических мелочей и анекдотических пустяков. С этой тенденцией редакция жестко боролась. Так например из обильной, еще не изданной мемуарной литературы о Щедрине, поступившей в портфель редакции, мы сочли возможным воспользоваться примерно одной десятой частью; из нескольких десятков вновь найденных писем Щедрина не введено в публикацию свыше тридцати и т. д. Далеко не всегда отбрасываемый материал не заслуживал опубликования. Часто отказываться от него приходилось в виду невозможности в намеченные сроки «поднять» этот материал, осмыслить его в согласии с тем теоретическим уровнем изучения документа, который предъявляется сегодняшним днем марксистско-ленинскому литературоведению.

В отборе включаемых текстов Щедрина и других материалов редакция стремилась избегнуть дурного налета исторического «объективизма», столь обычного для большинства историко-литературных сборников, построенных на публикации документов. Задача отбора материала усложнялась его обилием и неизученностью. Очень трудно было выбирать из неизданных произведений или отрывков Щедрина отдельные вещи, оставляя до поры до времени неизданными столь же иногда замечательные и неизвестные другие его произведения. Но и собранных в первом отделе сборника текстов было достаточно, чтобы, опираясь на них, поставить ряд важных исследовательских проблем изучения творчества Щедрина и вместе с тем показать, в какой мере недостаточными были наши знания и оценки сатирика, исходившие из ранее известных его произведений.

Не все печатаемые в сборнике работы редакция считает правильными по постановке и разрешению трактуемых в них вопросов. Не все статьи оказываются равноценными по своему теоретическому уровню. Читатель неизбежно должен будет столкнуться с некоторой разнородностью представленных в сборнике точек зрения по отдельным, иногда весьма существенным, вопросам. Дискуссионность ряда установок, нашедших себе месте в сборнике, — явление неизбежное для сегодняшнего этапа марксистско-ленинского литературоведения вообще и его щедриноведческого сектора в частности. Не следует забывать, что щедринский номер «Литературного Наследства» является не только (и не столько) первым сборником неизданных архивных материалов о Щедрине, но и первым коллективным трудом, в котором сделана попытка подвергнуть целый комплекс исследовательских проблем, связанных с изучнием Щедрина, разработке с позиций марксистско-ленинского метода изучения идеологии. Ошибки п р и м е н е н и я этого метода при анализе такого сложного объекта, каким является литературная деятельность Щедрина, неизбежно сказались несогласованностью, «разнобоем» отдельных суждений. Там, где редакция сталкивалась не с фактическими ошибками или неточностями отдельных формулировок, а имела дело с сознательно проводимой и защищаемой точкой зрения, неправильной по мнению редакции, — последняя, как правило, не стремилась навязывать свое понимание вопроса такому автору. Всякая унификация взглядов на настоящей ступени изучения Щедрина была бы вредной. Дальнейшее развернутое и углубленное марксистское изучение творчества Щедрина немыслимо без широкой научной дискуссии. Если этот сборник сыграет роль хотя бы зачина к ней, — редакция будет считать, что поставленная ею задача выполнена.

Конкретно состав сборника следующий (в порядке разделов, на которые разбито его содержание):

Первый отдел первого полутома целиком занят публикациями новых, доселе не изда-

вавшихся текстов самого Щедрина, расположенных в хронологическом порядке, не всюду впрочем строго выдержанном в виду группировки текстов по комплексным тематическим публикациям. Общий объем новых щедринских текстов в сборнике — свыше 30 авторских листов. Уже одна эта цифра красноречиво говорит о том, как мало до сих пор эксплоатировалось рукописное богатство Щедрина, как незначителен был интерес к нему исследователей.

Публикации открываются статьей Салтыкова конца 50-х годов «Заметка о взаимных отношениях помещиков и крестьян». Тема статьи — вопрос о личных отношениях крестьянина к помещику после предполагаемой отмены крепостного права. Это — самая ранняя из дошедших до нас публицистических статей Салтыкова. О существовании ее никаких указаний в литературе не было. Важное значение «Заметки» в том, что она дает в руки исследователю первый и единственный пока документ для характеристики политических позиций раннего Салтыкова. До сих пор такая характеристика строилась (для данного периода, конца 50-х годов) исключительно на художественном материале, на материале «Губернских очерков», что было явно недостаточно. Автор обстоятельного предисловия к публикации М. В. Нечкина, поставившая документ в связь с основными политическими вопросами эпохи и в окружение более поздних статей Салтыкова 1861 г. (полемика с Ржевским), права, утверждая, что «политическое миросозерцание Салтыкова эпохи 1858—1861 гг. звучит не вполне в унисон с объективно революционным значением его художественных произведений». Публицистика Салтыкова эпохи кануна реформ и самых реформ (1861 г.), дающая острые и блестящие образцы антикрепостнических и антиправительственных выступлений, вместе с тем в основном находится еще в лагере дворянского либерализма. Это единственно правильный вывод, который можно сделать на основании анализа тех документов, которые были привлечены т. Нечкиной. Положение это (оно сформулировано здесь резче и определеннее, чем у автора статьи, осторожно говорящего лишь о «либеральных срывах» Салтыкова) быть может нужно было больше подчеркнуть отчасти и полемически в отличие от первого изложения этого вопроса в известной книжке Семевского, где чувствуется тенденция во что бы то ни стало создать для Салтыкова того периода репутацию радикала. В этой связи важно бы было например подчеркнуть, что цитируемая т. Нечкиной статья «К крестьянскому делу» имеет своей задачей не только «предостережение правительства от слишком доверчивого отношения к жалобам помещиков», но и прямо обращается к самим помещикам, которых Салтыков призывает к мирному разрешению возникающих между крестьянами и помещиками конфликтов; далее, статья «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» сочувственно разрабатывает модную именно в буржуазно-дворянских либеральных кругах эпохи тему о «сближении сословий», наконец было бы чрезвычайно показательно вскрыть дворянский характер публицистики Салтыкова этой поры (чего, кстати говоря, сам Салтыков и не скрывал) путем сопоставления развиваемых им взглядов на реформу с собственной практикой дворянина-помещика, непосредственно участвовавшего в проведении реформы в своем родовом имении. Такие документы (например уставные грамоты, подписанные Салтыковым) имеются, и они были известны автору, который однако не счел нужным ими воспользоваться. В целом однако в статье М. В. Нечкиной впервые (после упомянутой работы Семевского) дано обстоятельное исторически конкретное изложение и анализ ранней публицистики Салтыкова, имеющей исключительно большое значение для уяснения его политических взглядов этого времени.

Публикуемый вслед за этим первый акт комедии Щедрина «Царство смерти» помимо своего непосредственного художественного интереса важен для «творческой истории» пьесы «Смерть Пазухина», первоначальной редакцией которой и является «Царство смерти», и шире — важен для «творческой истории» всего «крутогорского цикла», оставшегося незавершенным. Конец 50-х годов, до вступления в «Современник», был периодом не только идейно-политических, но и творческих колебаний Щедрина. Это были годы интенсивных поисков «своего лица», «своей формы». Натуралистический очерк, психологическая повесть, драматические пьесы, даже попытка создания романа — вот диапазон жанровых колебаний, которыми характеризуется творческая деятельность Щедрина этой поры. Все это — ценный материал для истории формирования художественной личности великого сатирика, для определения его места и роли в литературном движении эпохи. К сожалению сопровождающая публикацию статья Ф. Головенченко этих наиболее существенных для данного текста вопросов почти не касается или если и касается, то разрешает их крайне недостаточно. Статья в целом мало конкретна и далеко не во всех своих положениях правильна и доказательна. Нельзя не отметить, что такое ответственное суждение, на которое решается автор,—Салтыков в 1857 г. «верил в демократичекую крестьянскую революцию» — аргументируется им следующим образом: «писатель других воззрений не мог в то время дать такой потрясающей картины, какая дана в «Царстве смерти». Аргумент явно недостаточен, а само суждение неправильно и не вытекает ни в какой мере даже из того анализа пьесы, который дал сам же Ф. Головенченко. Значительный интерес представляет вторая статья, сопровождающая публикацию. — воспоминания В. И. Немировича-Данченко «Щедрин в Художественном театре» (о постановке «Смерти Пазухина»). Эти воспоминания, написанные автором специально для данного

сборника, представляют крупную ценность как авторитетный документ, рисующий один из этапов творческого пути Художественного театра.

Обширная публикация Вас. Гиппиуса, посвященная известной полемике Щедрина с «Русским Словом» и «Эпохой» в 1864 г., обладает несомненно рядом больших достоинств. Она не только правильно суммирует имевшиеся в литературе предыдущие работы по данному вопросу, но и значительно расширяет самый материал исследования. В историю полемики В. Гиппиусом вводятся три новых полемических статьи Щедрина и фельетон против него. В. Зайцева, затерянный в первичной публикации эпохи и не учитывавшийся до сих пор ни одним из исследователей. В результате автору удается раскрыть эпизод «раскола в нигилистах», значительно полнее и глубже, чем это делалось до сих пор, и тем самым внести известную ясность в остающийся до сих пор спорным вопрос об идейно-политическом пути Щедрина до «Отечественных Записок».

Этому же вопросу в основном посвящены и публикуемые вслед за тем четыре статьи Щедрина 1863—1865 гг., предназначавшиеся для «Современника»: три хроники «Наша общественная жизнь» и сохранившееся начало из незавершенного цикла «Современные призраки». И по значению, и по объему эти четыре статьи составляют центральную часть всех публикаций сборника. Перед нами документы исключительного исследовательского интереса. В них преломились самые основные кардинальные проблемы творческой и политической биографии Щедрина в их связи с самыми острыми вопросами эпохи. Со всей определенностью можно утверждать, что без ознакомления с этими материалами немыслима будет теперь сколько-нибудь полная и компетентная характеристика Щедрина 60-х годов, так же как немыслим учет его предыдущей и последующей эволюции.

После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского, когда реакция стала уже совершившимся фактом, в «Современнике», несомненно начались известная диференциация сил и снижение уровня идейного руководства, «Современник» по ряду существенных вопросов постепенно начал сдавать свои позиции, колебаться, итти назад. Наиболее интенсивная деятельность Щедрина в «Современнике» падает именно на этот период. В таких неблагоприятных условиях Щедрин становится основным общественным обозревателем журнала. Обсуждение самых жгучих проблем окружавшей его политической действительности он ведет теперь — вынужден вести — вполне самостоятельно. Нет ничего удивительного в том, что колеблющиеся, неустановившиеся позиции Щедрина этого периода приводят его весьма скоро, несмотря даже на ослабление бдительности внутриредакционной цензуры или, как называл ее Щедрин, «духовной консистории» к некоторой идейной изоляции в журнале.

В обстановке напряженнейшей классово-идеологической борьбы эпохи Щедрин, примкнувший к «Современнику», но не сумевший сразу самоопределиться в этом лагере, — лагере Чернышевского, заколебался, вновь попал в густую полосу «противоречий», которые разрешились в конце 1864 г. его временным отходом от «Современника», от литературы и поступлением на государственную службу. Годы 1864—1865 в биографии Щедрина — несомненно годы глубокого идейного кризиса, природа и содержание которого почти совсем еще не изучены. Тем больший интерес представляют вновь открытые статьи его, относящиеся именно к этому периоду. Став в отдалении от непосредственного участия в «биениях» политического дня, Щедрин пытается теоретически осмыслить свое отношение к таким кардинальным проблемам, как проблема исторического развития и связанные с ней вопросы об историческом оптимизме и пессимизме, о соотношении теории и практики в переустройстве действительности, равно как самый вопрос о путях и способах этого переустройства. Страстность тона, взволнованность мысли, пробивающиеся сквозь отвлеченное изложение тем, свидетельствуют о том, как напряженно искал Щедрин свою новую «идейность», как глубоко хотел он вторгаться в самые животрепещущие вопросы и интересы своей эпохи.

Борьба, которую вел Щедрин за повышение идейного уровня своего мировоззрения, на основе возможно более практического, действенного отношения к жизни, — такова одна из увлекательных тем, возникающих при изучении публикуемого комплекса статей Щедрина 1864—1865 гг.

Сопровождающая публикацию статья Я. Эльсберга, дающая серьезный исследовательский комментарий к вновь открытым документам, сделана исходя из правильного в основном понимания характера литературно-политических позиций Салтыкова в рассматриваемый период. Всех возникающих вопросов статья однако не решает, да и не претендует на это. Кроме того здесь следует указать, что известная недостаточность статьи Я. Эльсберга в значительной мере объясняется посторонними автору причинами. Большую развернутую статью к рассматриваемым текстам хотел написать покойный Анатолий Васильевич Луначарский. Этим обещанием рамки статьи Я. Эльсберга были сознательно самим автором сужены. К сожалению болезнь не позволила Анатолию Васильевичу реализовать в полной мере обещанное. Но «краткий, горячо сказавшийся отклик» (из письма А. В. в редакцию) был прислан. Он печатается впереди публикации.

Одна из хроник «Нашей общественной жизни», а именно относящаяся к 1863 г., выделена в самостоятельную публикацию во вступительной статье В. И. Невского. Темой

публикуемой статьи является одна из самых острых политических проблем того времени — отношение различных общественных групп русского общества к польскому восстанию 1863 г., в том числе разумеется и отношение той группы, взгляды которой отражал в этот период автор статьи — Щедрин. Следует вспомнить, как расценивал польское восстание 1863 г. Ленин, какое огромное значение придавали ему основоположники научного социализма Маркс и Энгельс, а из идеологов непролетарской революционной демократии той эпохи например Герцен, чтобы оценить всю важность для политической характеристики Щедрина этого периода выяснения его отношения к польским событиям. Характер отношения — оселок, на котором проверяется одно из существующих воззрений на Щедрина, согласно которому сатирик уже в этот период прочно стоял на позициях революционной демократии. В. И. Невский в своем предисловии показывает что проанализированный им текст встать на такую точку зрения никак не уполномачивает. Этот вывод В. И. Невского (правильный вывод) стал возможным лишь с момента опубликования полного текста щедринской хроники, так как напечатана она была в сентябрьской книжке «Современника» за 1863 г. с огромными цензурными купюрами и изменениями, павшими в большинстве своем как раз на те места статьи, в которых говорилось о польских событиях. Тем самым дается мера ценности найденной рукописи в литературном наследии сатирика.

Небольшой отрывок с эпиграфом из Гете «Кто не едал с слезами хлеба» начинает собой серию публикаций текстов Щедрина, относящихся к периоду «Отечественных Записок», к периоду 70—80-х годов. Это — время полной идейной и художественной зрелости Щедрина, время его высших достижений, огромной роли в литературе и популярности. В нашем сборнике эти наиболее важные десятилетия 70—80-х годов представлены однако значительно слабее двух предыдущих. Понятно почему. В 70—80-е годы, когда развернулся во всю ширь талант сатирика, когда он занял в русской литературе место одного из авторитетнейших писателей, в этот период не было и не могло быть случая, когда какой-либо журнал (разумеется из «радикальных» или «прогрессивных») отказался бы печатать Щедрина. В «Современнике» же случаи «отказа» были. Кроме того не следует забывать, что с 1868 г. Щедрин был членом редакции, а с 1878 г. — ответственным редактором «Отечественных Записок», т. е. имел свой журнал, в котором был сам себе хозяин. Вот почему архивы сохранили нам от этого периода в качестве неизданных не цельные вещи Щедрина, а преимущественно варианты его известных произведений или отрывки из незаконченных. Первый публикуемый текст («Кто не едал с слезами хлеба») и представляет собой не что иное, как вариант «Писем из провинции» (письма шестого). Отрывок относится вероятно к 1868 г. Щедрин очень остро ставит здесь вопрос о «нужде масс», об «интересах толпы». Он ищет путей ликвидации этой нужды, путей выхода из того «убожества», в котором живет большинство. Отвергая неприемлемые для него народнические пути развития, Щедрин решает поставленные вопросы чисто просветительски: нужно убедить человека толпы думать не только о «хлебе материальном», но и «хлебе духовном», нужно «заставить его размышлять... привести его к убеждению, что эти две свободы (т. е. «свобода своего желудка» и «свобода своей мысли». — Ред.) не имеют права существовать, не пополняя друг друга, — вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною». Не ясно ли, что и содержание мысли, и терминология здесь типично просветительские? Среди народников-семидесятников Щедрин остается здесь типичным шестидесятником. Недоказанным, остается поэтому утверждение Н. Л. Мещерякова, содержащееся в его интересной вступительной заметке к отрывку: «Он (Щедрин. — *Ред.)* рассчитывает на борьбу масс и понимает ее как борьбу революционную».

«Похвала легкомыслию» — единственно цельное произведение в рассматриваемой группе публикаций периода 70—80-х годов. Этот сатирический фельетон был напечатан в «Искре» 1870 г. за подписью «Посторонний наблюдатель». Принадлежность псевдонима Щедрину была раскрыта сравнительно недавно. Полностью вновь открытая сатира перепечатывается в нашем сборнике впервые в сопровождении предисловия А. Аросева и комментария Вас. Гиппиуса.

Следующая публикация «Щедрин об еврейском вопросе» снова возвращает нас к «Отечественным Запискам». Материалом публикации послужили две черновых редакции известной статьи Щедрина «Июльское веяние», написанной в ответ на волну еврейских погромов 1881—1882 гг. Статья эта пользуется прочно установившейся репутацией лучшего произведения русской буржуазно-демократической литературы, направленной против религиозных и национальных преследований евреев в царской России. Значение статьи и двух публикуемых черновых вариантов к ней имеет однако более широкий исследовательский интерес. Автор вступительной статьи Д. О. Заславский правильно вскрывает ускользавшее до сих пор из поля зрения исследователя значение статьи как ценного материала для суждения об отношении Щедрина к народничеству. Последнее, как известно, в лице ряда своих представителей в официальных документах и статьях выражало одобрение еврейским погромам, усматривая в них начало общего стихийного выступления, направленного против помещиков и капиталистов. Статья Щедрина, бившая с огромной силой по организаторам погромов, по практиковавшейся самодержавием

политике разжигания национальных страстей, косвенно била и по народникам, ибо решительно отказывалась видеть в погромах элементы какого-нибудь революционного или прогрессивного движения. Но, как правильно доказывает Д. О. Заславский, обнаруживая несомненную трезвость в этом вопросе. Щедрин и здесь критикует народничество с позиций радикально-демократического просветительства.

Очерк «Между делом», являющийся неизданным вариантом из цикла того же наименования, представляет собою прекрасный образец злой и остроумной сатиры Щедрина на тип ученого схоласта, находящегося «в совершенной оторванности от жизни», а также на тип ученого холопа, столь характерный для российского грюндерства 70-х годов. К сожалению вступительная статья Н. В. Яковлева не раскрывает во всей полноте идейное содержание сатиры, а наоборот — снижает первое непосредственное впечатление от нее. Очерк рассматривается преимущественно как памфлет на «друга» Салтыкова — известного экономиста В. П. Безобразова. Эта унылая биографическая интерпретция последовательно проводится чрез всю статью от ее заголовка («Щедрин и Безобразов») до точной библиографической справки о месте напечатания сочувственной телеграммы, посланной Безобразовым семье Салтыкова после его смерти.

Раздел «новых текстов» завершается публикацией отрывка конца 70-х годов «Когда страна или общество» со вступительной статьей С. Белевицкого «Щедрин — критик самодержавия» (отметим, что общая характеристика социально-политических воззрений Щедрина не вскрывается, как полагает автор, одним определением «просветитель») и комплексной публикацией трех отрывков конца 70-х, начала 80-х годов: «Приличествующее объяснение», «Говоря по правде, положение русского литератора...» и «Пошехонье откликнулось...» со вступительной статьей С. Макашина «Щедрин о положении и задачах литературы».

Таков состав первого раздела сборника.

Выяснению позиций марксистско-ленинского литературоведения в борьбе за наследство Щедрина посвящена вторая часть первого полутома раздел с т а т ь и и и с с л е д о в а н и я. Здесь больше, чем где-нибудь в другом месте сборника, читателю придется столкнуться с тем многообразием суждений, с теми противоречивыми тенденциями, которые были охарактеризованы в первой части данного предисловия. Отсылая читателя к этому тексту, ограничимся здесь небольшими замечаниями не столько критического, сколько пояснительного характера.

Статейный отдел открывается обширной работой «Большевики и наследство Щедрина», принадлежащей Г. Е. Зиновьеву. Перед нами несомненно статья большого значения и интереса и притом отнюдь не для историка литературы только. Г. Е. Зиновьев поставил себе задачей проследить, как знали, воспринимали, оценивали различные революционные поколения Щедрина. В этом смысле заглавие — уже содержания статьи, хотя основное внимание в ней законно уделено отношению большевиков, в частности Ленина, к наследству Щедрина. Высокий теоретический уровень статьи, ее боевая публицистичность, отвоевывающая Щедрина у всех тех, кому выгодно «хвататься за его фалды» (Ленин), четкость политической характеристики отношений к Щедрину различных поколений революционеров, наконец мобилизация большого количества ценного фактического материала, в большинстве распыленного, дробного и потому неизвестного, — все эти качества, присущие статье Г. Е. Зиновьева, позволяют счесть ее одной из тех работ, мимо которых не может и не должен пройти ни один будущий исследователь Щедрина.

Нельзя отрицать также интереса и ценности помещаемой здесь же работы Е. М. Макаровой, составившей подробный аннотированный указатель цитат из Щедрина, встречающихся в сочинениях Ленина. Факты использования Лениным отдельных выражений, образов и словечек Щедрина неоднократно и ранее отмечались исследователями, правильно связывавшими их с той высокой оценкой, какую давал Ленин творчеству Щедрина. Но все эти замечания были крайне неполны и им нехватало систематичности. Е. М. Макарова решила восполнить этот пробел. Составительница внимательно проштудировала все, сочинения Ленина вплоть до черновиков и конспектов, в таком изобилии собранных в «ленинских сборниках». Она отыскала там около трехсот случаев использования специфических, иногда редко встречающихся щедринских выражений, свидетельствующих о хорошем знании Лениным щедринских произведений. Нет сомнения: Е. М. Макарова своей работой прежде всего всемерно облегчила труд будущего исследователя, пожелавшего узнать, что и как цитировал Ленин из Щедрина. Проделанную работу следует счесть достаточно квалифицированной: помимо изучения Ленина она требовала от составителя хорошего знания творчества Щедрина во всем его объеме. В сопроводительных к указателю статьях, принадлежащих М. В. Нечкиной и составительнице, авторы сами определяют разностороннюю ценность собранного материала, и нам нет необходимости повторять еще раз их соображения. Здесь следует однако указать, что ценность собранных в указателе цитат должна в первую очередь рассматриваться в плане изучения и характеристики ленинского публицистического стиля, а не в плане ленинских оценок творчества Щедрина. Ленин, как известно, не оставил о Щедрине такой статьи, как «Лев Толстой — зеркало русской революции», — гениального руководства для изучения этого, да и не только этого, писателя. Правда, две-три цитаты, два-три упоминания Щедрина в ленин-

ских текстах носят характер, близкий к оценочным, и это разумеется драгоценные указания для исследователя наряду с известной краткой, но поразительно глубокой характеристикой Щедрина, сделанной Марксом на полях «Убежища Монрепо». Взятые же сами по себе цитаты без привлечения других материалов естественно еще не уполномачивают на те или иные выводы, касающиеся ленинских оценок щедринского творчества тем более, что ряд щедринских выражений и образов (например «Иудушка», «хозяйственный мужичек») встречается у Ленина в самых разнообразных опосредствованиях.

Бесспорно ценные результаты дала предпринятая редакцией анкета о Щедрине среди группы старых народовольцев. Достаточно указать, что в итоге обращения редакции были написаны новые страницы воспоминаний такими деятелями народнической революции, как В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко и др. Общую оценку этих материалов читатель найдет в специальном предисловии редакции к «анкете» (см. главу «Русские революционеры 70—80-х гг. о Щедрине»). Здесь же следует указать, что редакция, рассматривая полученные статьи в качестве мемуарных документов (строго в этих пределах мемуара держалась впрочем только одна В. Н. Фигнер, остальные участники анкеты невольно проецировали на прошлое результаты своих более поздних оценок Щедрина), не подвергала их никакой литературной обработке вплоть до оставления встречающихся в них отдельных фактических неточностей. Последнее относится и к обширной мемуарной работе Л. Г. Дейча «М. Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры (по личным воспоминаниям»), специально написанной автором для настоящего сборника.

Статья Я. Эльсберга «Щедрин и публицисты «Отечественных Записок» имеет предметом своего исследования старый, но все еще до конца в деталях не выясненный спор о своеобразии положения Салтыкова в редакции народнических «Отечественных Записок». Я. Эльсберг правильно разоблачает несостоятельность народнической легенды о Щедрине, созданный эпигонами позднего народничества и пропагандируемой в наши дни Ивановым-Разумником. Признавая, что для создания такой легенды были коекакие объективные основания вроде например факта долголетнего сотрудничества и редакторства Щедрина в «Отечественных Записках» бок о бок с такими теоретиками легального народничества, как Михайловский и Елисеев, автор вместе с тем уделил мало места анализу самых истоков происхождения «легенды». Нужно бы было резче подчеркнуть, что старые споры о том, народник или нет Щедрин (эти споры происходят и по сей день) отчасти объясняются тем, что гамма народничества была очень широка и что «Отечественные Записки» были органом такого широкого народничества, а не того течения в нем, которое Ленин называл «старым народничеством». Это обстоятельство, среди других факторов, и позволяло Щедрину почти бесконфликтно редактировать народнический журнал, не разделяя основных построений народничества. Без детализированных определений народничества вопроса об истоках, питающих «народническую легенду» о Щедрине, решить нельзя.

Статья Л. И. Аксельрод-Ортодокс «К вопросу о мировоззрении Щедрина» интересна и полезна своей острой дискуссионностью, тем, что вскрывает сущность и методологию существующей теории, согласно которой Щедрин близко подошел к марксизму или по крайней мере шел в направлении к нему. Для того чтобы притти к такому выводу, к выводу, что Щедрин в конце 40-х гг. «испытывает потребность в историческом научном обосновании... социализма», и далее, для 60-х гг., что Щедрин революционер, да еще «решительный», «без всяких оговорок», автор вынужден, во-первых, замолчать вопрос о революционности социалистической народнической утопии в 60-х годах и вовторых, игнорировать конкретную политическую обстановку эпохи (Чернышевский и Щедрин, «Народная воля» и Щедрин и т. д.). Щедрин — великий и трезвый просветитель, глубоко верящий в прогрессивный ход вещей и событий, но очень плохо понимающий значение революционной практики. Проводимая автором в качестве аргумента, подкрепляющего его доводы, цитата, в которой история сравнивается с лавой (см. стр. 541), показывает именно это, а совсем не то, что Щедрин был революционером. Щедрин действительно критиковал утопизм, но скорее с точки зрения объективиста с фаталистическим оттенком, но отнюдь не с точки зрения революционера-марксиста. В силу конкретно-исторических условий своей эпохи и личной биографии Щедрин не был, не мог быть тем, за кого его выдает Аксельрод-Ортодокс. Следует также указать, что основной вопрос статьи, вопрос о типе общего направления философского миросозерцания Салтыкова и его истоках, не может быть разрешен без детализированного определения, какой же из оттенков французского утопического социализма (а их было несколько), оказал в 40-е годы решающее воздействие на Салтыкова? Вопрос этот неясен до сих пор. Ответа на него не дает к сожалению и данная статья. Оговаривая спорность многих положений, выдвинутых в статье Л. И. Аксельрод-Ортодокс, редакция однако считает ее работу безусловно интересной и ценной в отдельных своих наблюдениях и деталях (напр. заслуживают дальнейшего изучения сформулированные автором положения о несомненности влияний на историко-философские взгляды Щедрина таких мыслителей, как Гегель, Фейербах, Бруно Бауэр и др.).

Проблему Щедрина-художника следует считать не изученной в полной мере. Заслуживает поэтому несомненного внимания печатаемая в сборнике статья т. Юкова «К вопросу о творческом методе Щедрина». Правда, содержание статьи не вполне соответствует

своему заглавию. Работа т. Юкова трактует не столько о творческом методе Щедрина, она посвящена не столько характеристике его художественных методов и приемов, сколько изложению его философско-эстетических взглядов и характеристике круга основных тем произведений сатирика, а также стиля его работы, его литературного поведения («партийность», «актуальность», «злободневность» и т. п.). Конечно затронутые т. Юковым вопросы являются темами значительного исследовательского интереса. В его статье есть ряд интересных соображений, ценных в смысле дальнейшего развития наблюдений. Но к широкой и вместе с тем конкретной постановке проблемы о Щедрине-художнике т. Юков, следует это признать, не подошел.

Последняя публикация первого полутома — обстоятельное исследование А. Лаврецкого «Щедрин — литературный критик» — обладает несомненно рядом крупных достоинств. Большой заслугой автора является уже то, что он на обширном конкретном и малоизвестном в целом материале поставил большую проблему, начал разработку исключительно важной и интересной области деятельности Щедрина — его литературно-критической деятельности. Только глубоким невниманием, отсутствием исследовательского интереса, а отчасти и прямым невежеством следует объяснить тот факт, что до сих пор проблема литературно-критической деятельности Щедрина не только не разрабатывалась, но и почти не привлекала внимания исследователей, специально работающих в области истории русской критики. Щедрин написал за свою жизнь не один десяток критических рецензий и статей, но ни в одной из существующих «Историй» русской критики имя Щедрина-критика специально не упоминается. Впрочем можно привести и более разительный пример, где неосведомленность автора граничит с научным невежеством. Речь идет о статье Н. К. Пиксанова «Литературное наследие Салтыкова», помещенной в только что вышедшем в издании ГИХЛа однотомнике сочинений Щедрина. Здесь на стр. 21 находим такую справку: «После 1864 года Салтыков забросил литературную критику». Поразительная осведомленность, находящаяся однако в вопиющем противоречии с общеизвестными фактами. Период наиболее интенсивной критической деятельности Щедрина падает на 1869—1878 гг., когда в «Отечественных записках» был помещен не один десяток критических статей и рецензий Салтыкова. Нет ничего удивительного, что Н. К. Пиксанов считает возможным в весьма аподиктической форме заявить, что «литературно-критические статьи Салтыкова не образовали в его наследии крупного выдающегося отдела». Опубликование работы А. Лаврецкого, можно надеяться, положит предел существующей неосведомленности историков литературы по данному вопросу и явится началом его дальнейшего углубленного изучения.

Отмечая достоинства статьи т. Лаврецкого, следует тут же указать и на наличие в ней ряда существенных недостатков, неправильных утверждений и формулировок (например, его замечания о «попутничестве» Щедрина), могущих повести к неверному определению места, занимаемого Щедриным в истории русской литературы и общественной мысли. Критику этих ошибочных положений статьи т. Лаврецкого читатель найдет в специальном предисловии редакции, предпосланном его работе.

Сказанное в основном характеризует состав нашего сборника в первых двух разделах— разделах публикации новых текстов и исследований (первый полутом). Более узкие цели преследуют остальные четыре раздела, образующие (вместе с хроникой) содержание второго полутома сборника. Печатаемые здесь многочисленные текстологические, эпистолярные, цензурные, биографические и библиографические публикации, а также различные обзоры и сообщения в основном осуществляют вторую задачу, стоявшую перед редакцией, — задачу собирания фактического материала, необходимого для будущего всестороннего исследования литературной деятельности и биографии Салтыкова-Щедрина. Назревшая необходимость такой работы, равно как и трудности, с которыми было сопряжено ее осуществление, станут очевидными, если мы вспомним, что в распоряжении исследователя до сих пор не имеется не только ни одной хотя бы и устарелой, но законченной исследовательской монографии о Щедрине или документальной биографии его, но почти совершенно отсутствуют и самые предварительные сводки материалов по ряду исследовательских вопросов, стоящих перед современным щедриноведением. При таком положении эти вопросы нельзя было не только решать, но и часто правильно ставить. В этом направлении редакцией была проделана большая «черновая» работа архивного и библиографического характера. Результаты ее не всегда можно и нужно было объективировать в самостоятельных публикациях. Правда, часть добытых материалов легла фактическим документальным фундаментом для ряда обзоров и статей. Таковы например обзоры А. Ефремина «Борьба за Щедрина», Ю. Соболева «Щедрин на сцене», П. Эттингера «Художественная иконография Щедрина и иллюстрации к его произведениям», почти целиком построенные на материале, предоставленном названным автором редакцией. Но большинство собранных документов и фактов было использовано авторами публикуемых работ в качестве вспомогательного аппарата, насытив их статьи новым, неиспользованным ранее материалом. Мы считаем нужным указать здесь на эту сторону редакционной работы, на непосредственное, а не только организационное участие редакции в деле собирания материалов и первичной исследовательской обработки их, проведенной по большинству тем сборника.

Второй полутом открывается двумя текстологическими публикациями. Работа Б. М. Эйхенбаума, посвященная истории текста «Сатир в прозе», не только впервые раскрывает историю создания этого важного цикла или сборника, но и ставит на основе привлеченного материала ряд общих вопросов текстологического изучения Щедрина. В этой области статья содержит ряд интересных наблюдений и ценных методологических указаний. Особый интерес публикации придают печатаемые в качестве приложения к статье материалы: рукописный вариант очерка «К читателю» и два отрывка из очерка «Хорошие люди». Особое внимание исследователя должно привлечь первое приложение — большое рассуждение Щедрина, содержащее призыв действовать «во что бы то ни стало и всеми средствами». Этот впервые публикуемый чрезвычайно яркий в социально-политическом отношении отрывок Щедрина 1861 г. дает много нового по сравнению даже с таким важным документом, как написанные вскоре после того на ту же тему «Каплуны». Автор публикации прав, определяя ценность вновь открытого текста словами: «Рассуждение это представляет собой нечто вроде авторской исповеди, в которой Салтыков мотивирует собственное поведение». Текстологический этюд Б. М. Эйхенбаума не ставил себе задачей изучение и оценку идейно-политического содержания публикуемых текстов. В этом направлении они и остались неизученными, и мы публикуем их как материал, ждущий еще своего исследователя.

Интересная в историко-литературном отношении публикация И. И. Векслера «История незавершенного цикла «Культурных людей» впервые в литературе прослеживает историю зарождения, развития и воплощения этого остро задуманного (в манере «Посмертных записок Пиквикского клуба» Диккенса) произведения, первоначально называвшегося «Книга о праздношатающихся». Резкие отличия (и не только в отдельных кусках текста, но и в развертывании сюжета) сохранившейся черновой редакции от печатного текста собрания сочинений обусловили целесообразность в интересах исследователей воспроизведения на страницах «Литературного Наследства» полного текста черновой рукописи.

Опубликованные в работе В. Евгеньева-Максимова «Новые материалы о сотрудничестве М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Современнике» документы из панаевского архива (деловые письма Салтыкова к Панаеву и выписки из конторских книг журнала) позволяют установить авторство Салтыкова в отношении некоторых доселе не приписывавшихся ему анонимных произведений, и, что не менее важно, отвергнуть его авторство в отношении произведений, считавшихся до сих пор подлинно щедринскими. Эти результаты следует признать заслуживающим внимания, особенно сейчас, когда издается первое полное собрание сочинений Щедрина. В этом отношении не меньшую ценность представляет и обстоятельная работа С. С. Борщевского «Новые материалы о сотрудничестве Щедрина в «Отечественных Записках», в которой методом текстовых параллелей убедительно доказывается принадлежность Щедрину статьи «Насущные потребности литературы», напечатанной в 10-й книге «Отечественных Записок» за 1869 г. за псевдонимной подписью. Отсутствие места не позволило воспроизвести самый текст «вновь открытой» статьи.

Новые цензурные материалы о Щедрине, извлеченные из ряда архивов Н. Выводцевым, В. Евгеньевым-Максимовым и И. Ямпольским, значительно расширяют круг документов, бывших ранее известными в этой области. К сожалению предшествующее публикации предисловие и комментарий к ней не лишены ряда существенных недостатков. Цензурные материалы о Щедрине — ценнейший источник для суждений по существу об отношении цензурного аппарата полицейско-крепостнического государства к писателю, чья литературная деятельность была направлена на разрушение этого государства. Как и что воспринимала, оценивала и карала царская цензура в сатире Щедрина — вот что в этой связи наиболее интересно для исследователя. Авторы же публикации перенесли центр внимания на цензурные «мытарства» Щедрина, что конечно также нужно и интересно, но не в плане описательной характеристики цензурных инцидентов, а для уяснения существа идейного содержания щедринской сатиры.

Обзорная статья Ю. Соболева «Щедрин на сцене» впервые ставит и разрабатывает тему «театрального Щедрина». Привлеченные материалы (часть их предоставлена автору редакцией) несомненно окажутся несколько неожиданными даже для лиц, специально изучающих Щедрина и литературу о нем. Эти материалы показывают, что при всей своей «нетеатральности» произведения Щедрина — как написанные в драматической форме, так и инсценированные — довольно часто игрались на русских столичных и провинциальных сценах, начиная с конца 50-х годов до наших дней включительно. Статья Ю. Соболева должна привлечь внимание не только историков литературы, но и театроведов как работа, дополняющая любопытными данными главу из истории репертуара русского театра. К сожалению в обзоре осталась неосвещенной вторая часть «проблемы» — вопрос об отношении самого Щедрина к театру и его хотя и кратковременная деятельность в качестве театрального «критика» в «Современнике».

Обзор А. Ефремина «Борьба за Щедрина» имел своей задачей изучить обширный и разнообразный материал откликов на смерть Салтыкова. Задача автора сильно облегчалась тем, что он получил в свое распоряжение богатый фонд почти исчерпывающего фактического документального материала (архивные материалы были в большинстве собраны Н. В. Яковлевым, библиографические — Н. Д. Эфрос). Путь к исследованию во-

проса был таким образом хорошо проложен. И тем не менее следует признать, что автор не вполне овладел своей темой, подошел к ней без должной ответственности исследователя, к которой обязывал материал. Правда, обзор А. Ефремина сдвигает вопрос с мертвой точки, заостряет его, привлекает к нему внимание, но это скорее заслуга документального материала, которым в изобилии насыщена статья; сама же работа представляет собою только первую и во многом недостаточную попытку. И дело здесь не столько в том, что автор, по собственному признанию, не исчерпал всех материалов (этого и не нужно было делать). При том изобилии отзывов, которые были собраны, можно и должно было осветить вопрос шире, глубже, поставить его политически острее, вскрыв между прочим на нем всю пошлость и тупость тогдашней реакционной и либеральной печати. Смерть Салтыкова бурно всколыхнула общественное мнение страны, заставила высказаться по этому поводу представителей почти всех существовавших тогда литературно-политических групп и направлений, вызвала острую хотя и предельно-циничную дискуссию в либеральной прессе. Из всего этого можно было сделать глубоко интересные выводы, направленные прежде всего к уяснению существа творчества Щедрина, к уяснению роли и места, которые занимал сатирик в литературно-общественной борьбе 80-х годов. Но для этого нужно было избрать другую установку и быть может иной способ самого изложения материала. К обзору приложен составленный Н. Д. Эфрос подробный библиографический указатель «Отклики печати на смерть Салтыкова».

Четвертый раздел сборника посвящен эпистолярным материалам. Из писем самого Салтыкова редакции пришлось ограничиться публикацией сравнительно немногих, доселе не напечатанных писем (публикации В. Гиппиуса, С. Макашина, Н. Яковлева и др.). Письма Салтыкова за последние годы собирались планомернее и тщательнее, чем какая-либо другая часть его литературного наследства. Обнаружить здесь новые объекты, правда, удалось и даже в значительном количестве, но часть из них представляет слишком обширные для журнальной публикации фонды писем к одному лицу (письма к Н. А. Белоголовому и Г. З. Елисееву), которые поэтому нельзя было дробить, часть же единичных писем к разным адресатам (Нефедов, Ясинский, Скребицкая, Таганцев и др.) не представляют сколько-нибудь значительного интереса по своему содержанию. Обоим указанным категориям писем — законное место в полном собрании переписки Салтыкова, которое ныне и осуществляется. Но и за всем тем эпистолярное наследие Салтыкова — источник драгоценный для его изучения — представлен в сборнике 63 письмами, из которых большинство никогда не публиковалось, а остальные были опубликованы в старых журналах крайне неисправно и со значительными купюрами. Среди адресатов публикуемых писем — Чернышевский, Михайловский, Успенский, Тургенев, Жемчужников, Якушкин и др.

Если положение с письмами самого Салтыкова нельзя до сих пор признать вполне благополучным, то еще хуже обстоит дело с приведением в известность ответных писем к нему. Писали Салтыкову десятки людей из различных концов России, а также из-за границы; число его корреспондентов, начиная с конца 70-х годов, в связи с ответственным редакторством в «Отечественных Записках» было особенно велико. Однако из многих сотен существовавших писем до сих пор были известны лишь письма И. С. Тургенева к Салтыкову, напечатанные (не все и не полностью) еще при жизни последнего в «Первом собрании писем» Тургенева, вышедшем в издании Литературного фонда в 1884 г., да еще около десятка писем различных лиц, опубликованных в последние годы в различных изданиях. В нашем сборнике мы даем 83 документа, адресованных Салтыкову (письма, телеграммы, адреса и т. п.). В начале идут письма писателей и других литературных корреспондентов Щедрина (публ. Н. В. Яковлева). Даются письма к Салтыкову П. Анненкова, Н. Арнольди, Н. Бобылева, И. Бухалова, И. Гончарова, А. Жемчужникова, Н. Златовратского, В. Кроткова, Л. Мечникова, Л. Мурахиной, А. Новодворского, В. Обручева, Ф. Павленкова, А. Пыпина, А. Рейнгольда, Л. Толстого, П. Фирсова и И. Ясинского. Следует указать, что ценность публикуемых писем как источника для характеристики ближайшей литературно-общественной среды, с которой «сотрудничал» Щедрин, несколько умаляется для данной публикации перечисленным составом самих корреспондентов. Все они люди более или менее далеко отстоящие от Салтыкова и по своим литературно-общественным позициям и по личным связям (в последнем случае исключение составляет П. Анненков и А. Жемчужников, с которыми Салтыков имел постоянную переписку). Судьба наиболее интересных и важных писем к Салтыкову таких например, деятелей, как Чернышевский, Некрасов, Михайловский, Успенский, доктор Белоголовый, а из западных — Золя, Флобер, Ришпен, остается к сожалению до сих пор в полной мере не выясненной. Из писем ближайших соратников Щедрина по «Отечественным Запискам» сохранились, правда, почти полностью письма Г. З. Елисеева, которые однако мы лишены были возможности дать в сборнике в виду значительного объема. Эти письма в настоящее время подготовляются к печати отдельным изданием библиотекой им. Ленина.

Среди писем к Щедрину мы даем также и письма его читателей (публ. Н. В. Яковлева). Эта публикация представляет особый интерес не только благодаря исследовательской свежести и незатасканности темы (насколько нам известно, ни один русский клас-

сик не дождался еще публикации писем своих читателей), но и ее значительностью в
ле уяснения любопытного вопроса: кто же действительно являлся в своей массе чита
лем Щедрина при его жизни, тем читателем, про которого сатирик писал Михайловс
му: «О читателе скажу вам, что хотя я страстно его люблю, но это не мешает мне по
мать, что он великий подлец». К сожалению писем читателей дошло до нас слишком
ло, сохранились случайные и повидимому не самые ценные экземпляры этой любопыт
переписки, при чем сохранились односторонне — письма Салтыкова к читателям (а та
существовали) пока что нам неизвестны. Тем не менее собранный материал позво.
Д. О. Заславскому поставить в своей статье, предваряющей публикацию, ряд ин
ресных вопросов по изучению читателя Щедрина и шире — читателя «Отечественных .
писок» периода 70 — 80-х годов.

Пятый по счету раздел сборника заполнен многочисленными мелкими обзорами и со
щениями, с разных сторон подводящими предварительные итоги отдельным деталям
следовательской работы над Щедриным, развернувшейся в процессе работы над сбор
ком. Материал этого раздела естественно группируется вокруг определенных тем. В
чале идет группа статей, изучающих биографию Салтыкова. Сюда относится прежде вс
сообщение М. Калаушина «Салтыков в лицее». Опубликованные здесь материалы
именно письмо Салтыкова к родителям, написанное из лицея в 1839 г., (сообщено Е.
Макаровой), два до сих пор неизвестных стихотворения его 1840 г., относящиеся
этому же времени, лицейские карикатуры и театральная афиша, свидетельствующая
участии Салтыкова в одном из лицейских спектаклей, представляют бесспорный интер
Они кладут начало документальному изучению самого темного и в полной мере не обс
дованного лицейского периода биографии Салтыкова.

Более скромное место занимает сообщение М. Панченко «К истории ссылки Сал
кова». Этот эпизод в салтыковской биографической литературе освещен пожалуй наибо
полно. Однако сообщаемые автором документы — отрывок из дневника Н. Кукольни
последовательно описывающий ход событий, и позднейшие воспоминания И. Пузыревск
(оба — сослуживцы Салтыкова по военному министерству) — позволяют восстанов
картину ареста и высылки Салтыкова в тех деталях, которые ранее не были извест
Последний в этой группе статей обзор Е. М. Макаровой посвящен предварительн
описанию обширного семейного архива фамилии Салтыковых и истории нахождения эт
фонда. Ценность обнаруженных материалов для будущей научной биографии Салтык
Щедрина не подлежит сомнению. Этим оправдывается предварительный характер пе
таемого сообщения. Приведение найденных материалов в широкую известность путем
опубликования потребует еще длительной работы.

Щедрин и его литературные современники — такова вторая тема, объединяющая ста
«Анненков о Щедрине» (сообщ. С. Макашина), «Щедрин и Толстой» (сообщ. М. Чи
ковой), «Неизданная статья Софьи Ковалевской о Щедрине» (сообщ. С. Штрайха,
«Щедрин и Лавров» (сообщ. Ф. Витязева). Первые три сообщения построены на прив
чении неизданного материала. В них опубликованы: оставшаяся ненапечатанной ста
Анненкова о Щедрине, предназначавшаяся для французского журнала, неизданные пис
Л. Н. Толстого и М. Е. Салтыкова, наконец письмо и статья о Щедрине С. Ковалевс
также предназначавшаяся для помещения во французском журнале. Четвертое сообще
разрабатывающее тему «Щедрин и Лавров», опирается на печатный, но исключител
распыленный, трудный для собирания и потому оставшийся неизвестным материал.

Из сравнительно большого количества мемуарных документов о Щедрине, бывши
распоряжении редакции, мы ограничились помещением в этом разделе лишь одн
«Записи беседы М. И. Семевского с Салтыковым», небезынтересной для биогра
сатирика (сообщ. И. Троцкого). Приведению в известность материалов по художест
ной иконографии Салтыкова, иллюстратике его произведений, а также обзору кар
тур, созданных на тексты и темы щедринской сатиры, посвящена статья П. Эттингер
сообщение Д. Буторина и В. Гиппиуса.

В этом же разделе читатель найдет сообщению Ю. Соколова «Из фольк
ных материалов Щедрина», ставящее на неизданном материале важный вопрос о ха
тере и методе использования в творчестве Щедрина фольклорного материала, и неб
шую фактическую статью Вас. Гиппиуса «Салтыков и русская нелегальная печат
1884 г.», содержащую сообщение о любопытном экземпляре подпольного литограф
ванного издания «Сказок» Щедрина с неизвестным до сих пор предисловием, даю
текст воззвания к «русскому обществу» по поводу правительственного запрещения «
чественных Записок». Здесь же печатается два фактических сообщения Н. Яковле
М. Унковского, кратко прослеживающих судьбы личного архива Салтыкова и его р
писей, бывших в распоряжении А. М. Унковского (эти ценнейшие документы в пода
ющем большинстве своем до сих пор не известны и многие из них почти наверное по
ли). Замыкается пятый раздел кратким критическим обзором Г. Л. Абрамовича «Ще
в советской школе», в котором на основании анализа учебных программ вскрывается
недостаточность существующего изучения наследства сатирика в нашей школе.

Шестой и последний раздел сборника специально посвящен библиографии и спра
ному материалу. Выше мы уже говорили о той большой работе, какая б

проделана редакцией в процессе подготовки сборника к печати по линии собирания и приведения в известность многочисленных такстов Щедрина и материалов о нем. Итоги этой работы редакция сочла целесообразным объективировать в специальном справочнике, своего рода путеводителе по рукописям Салтыкова в архивах СССР. Публикуемое описание (оно составлено В. Гиппиусом и С. Макашиным) далеко от совершенства. Оно составлялось для внутренних нужд редакции и первоначально не предназначалось для печати. Описание нуждается в систематизации и уточнениях, особенно в части, касающейся провинциальных архивов, находящихся до сих пор в исключительно хаотическом состоянии. Редакция полагает однако, что и в этом далеко не доработанном виде описание щедринских автографов окажется не бесполезным для любого исследователя, изучающего Щедрина и его эпоху. Здесь следует еще добивать, что по ряду провинциальных архивов в целях экономии места детали описания в печати опущены. Там, где это было сделано, полный текст описания с подробным изложением содержания документа передавался нами на хранение в Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики, в печатаемом же тексте описания делалась при соответствующем месте ссылка на архивный номер, под которым хранится в музее полный текст описания.

Большое внимание было уделено редакцией библиографии. Печатаемый указатель А. Добровольского и В. Лаврова «Материалы к библиографии литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине за 1906—1933 гг.», не претендуя на абсолютную полноту, все же охватывает весь основной (в том числе и газетный) материал за указанный период и разумеется на много превосходит все прежде имевшиеся библиографические работы по Щедрину. Хронологические рамки указателя (1906—1933) объясняются тем, что данная работа строилась как непосредственное продолжение известного указателя А. А. Шилова «Библиография произведений Салтыкова и отзывов о нем», появившегося почти 30 лет назад. Здесь описание материалов было доведено как-раз до рубежа 1906 г. Вместе с тем неполный указатель Шилова до сих пор являлся единственной специальной библиографической работой по Щедрину. Это обстоятельство делает своевременной и ценной публикуемую нами работу.

Более специальный интерес имеют указатели, составленные С. Макашиным «Материалы для библиографии переводов Щедрина на иностранные языки и критической литературы о них» и «Произведения Щедрина в русской подпольной и вольной прессе». Первый указатель, составленный автором не только на основании самостоятельных библиографических разысканий, но и путем обследования библиотечных каталогов ряда крупнейших мировых книгохранилищ, впервые в печати дает представление об «иноязычном» Щедрине. Зарегистрировано свыше 300 библиографических названий переводов произведений Щедрина и критической литературы о них на 18-ти иностранных языках. Эти результаты заставляют разумеется опровергнуть прочно сложившееся суждение о *полной* неизвестности великого русского сатирика на Западе.

Печатаемая вслед затем *хроника* дает развернутую информацию об основных ныне осуществляемых мероприятиях по всестороннему изучению и освоению щедринского наследства (издание сочинений и научных работ, постановки в театре и кино и т. д.).

В заключение считаем нужным сказать два слова об иллюстративном материале сборника. Несмотря на большие трудности, встретившиеся на пути осуществления поставленной задачи — всесторонне осветить в иллюстрациях все основные темы сборника, мы даем в нем около 350 иллюстраций, значительная часть которых воспроизводится впервые. Наибольший интерес представляет здесь документальная и художественная иконография Салтыкова, представленная почти с исчерпывающей полнотой. Использованы также почти все прижизненные Салтыкову иллюстрации к его сочинениям и карикатуры, нарисованные на темы его сатиры. Период 70—80-х годов является, как известно, периодом глубокого упадка русской иллюстрированной книги и русской графики вообще. Это обстоятельство в полной мере подтверждается и на всем иллюстративном комплексе, связанном со Щедриным. Некоторую серость и однообразие в иллюстративном оформлени сборника следует поэтому по справедливости отнести за счет самого материала.

Таков вкратце состав щедринского сборника «Литературного Наследства». Созданный в итоге более чем полугодовой совместной работы редакции и обширного научного коллектива сборник наш бесспорно представит известную ценность, хотя конечно он не лишен многочисленных недостатков, недосмотров, авторских и редакторских промахов. Это естественный удел подобной работы, несмотря на то, что в нее было вложено много труда, внимания и энергии как редакции, так и многих участников сборника.

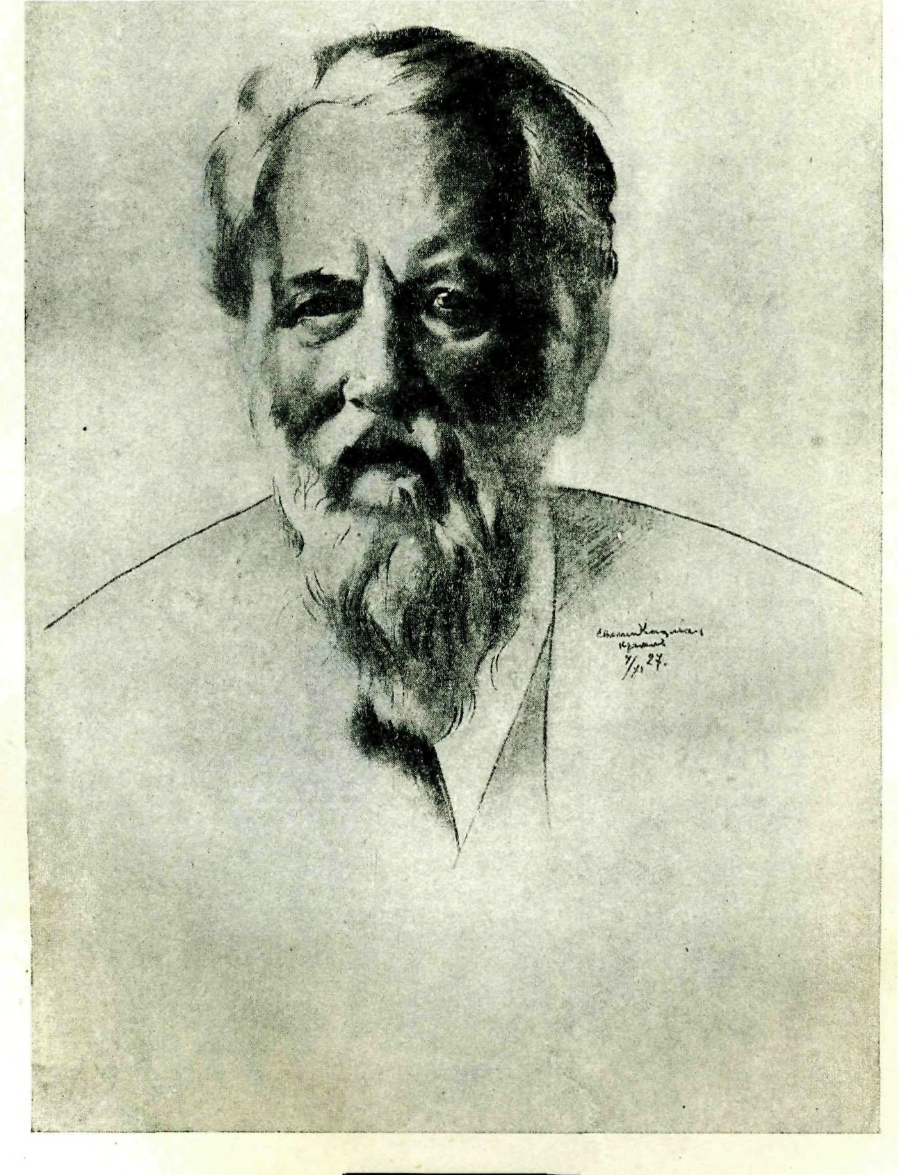
Большая работа над сборником (а именно — составление его плана, подбор материалов и первичная исследовательская обработка многих из них, литературная редакция) была проделана С. А. Макашиным.

Непосредственное участие в организации сборника и работе над ним приняли также В. В. Гиппиус и Я. Е. Эльсберг. Значительную помощь в деле разыскания иллюстративных и архивных материалов оказали редакции И. Л. Андронников и Н. Д. Эфрос.

В течение последнего года партия и вся страна понесли тяжелые утраты: скончались Михаил Степанович Ольминский и Анатолий Васильевич Луначарский — видные представители старой большевистской гвардии, крупнейшие деятели нашего идеологического фронта, пионеры марксистско-ленинской историко-литературной науки и литературной критики.

И Михаил Степанович Ольминский и в особенности Анатолий Васильевич Луначарский, десятки лет работавшие в области литературы, оставили после себя обширное и ценное наследие, к глубокому изучению которого литературоведы — марксисты должны будут обратиться в ближайшем же будущем.

М. С. Ольминский, возглавлявший работу по изданию полного собрания сочинений Щедрина, прекрасный знаток и истолкователь произведений сатирика, успел только принять участие в обсуждении первоначального плана настоящего щедринского тома «Литературного Наследства», А. В. Луначарский является его непосредственным участником.



М. С. ОЛЬМИНСКИЙ
1863—1933

Акварельный портрет Е. Кацмана, 1927 г.
Собрание художника, Москва



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
1875—1933

Рисунок В. Шакарьяна, 1934 г.
Собрание художника, Москва



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)

Акварель неизвестного художника, конец 50-х гг.

I. НЕИЗДАННЫЕ ТЕКСТЫ

ЗАМЕТКА О ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПОМЕЩИКОВ И КРЕСТЬЯН

НЕИЗДАННАЯ СТАТЬЯ ЩЕДРИНА КАНУНА РЕФОРМ

Вступительная статья М. Нечкиной

ЩЕДРИН О КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЕ

Впервые публикуемая ниже публицистическая статья Салтыкова «О взаимных отношениях помещиков и крестьян» представляет собою документ острого интереса. В этой ветхой рукописи, которая так и осталась неопубликованной, как в призме, преломились кардинальнейшие вопросы творчества Салтыкова в их связи с основными политическими вопросами окружавшей Салтыкова эпохи, с особенностями расстановки классовых сил на том историческом этапе, когда сложилось и расцвело художественное творчество великого сатирика. Поэтому при анализе этой ветхой рукописи к ней, как радиусы к центру, сбегаются нити, связывающие ее со всем комплексом исследовательских проблем творчества Салтыкова. Весь этот комплекс кратко может быть озаглавлен так: проблема буржуазно-демократической революции и творчество Салтыкова-Щедрина.

Документ невелик по размеру. Официально-сухой язык его оживлен типично щедринской жалящей на смерть иронией, облеченной — что делает ее еще более острой — в тот же «сухой» официальный стиль. Тема статьи — вопрос о личных отношениях крестьянина к помещику после предполагаемой отмены крепостного права, вопрос о вотчинной полиции, предоставляемой помещику после отмены крепостного права. Этот последний момент, отчетливо проведенный во всем тексте, дает основание для датировки документа, на котором не проставлено автором никаких дат. Все рассуждение о крестьянской реформе выдержано в будущем времени: «когда крестьяне за отведенные им в пользование помещиками земли будут обязаны отбывать денежные или натуральные повинности»...[1] Повинности крестьян «будут определены подлежащим губернским комитетом»... «предположено учреждение особых уездных присутствий»... Особо характерна в этом смысле формулировка в начале последнего абзаца документа: «нынешние крепостные крестьяне должны быть разделены на сельские общества» — ясно, что статья пишется Салтыковым еще до отмены крепостного права. Еще более значительным опорным пунктом для датировки является ссылка на «циркуляр г. министра внутренних дел»; процитированные в статье слова «вотчинная полиция предоставляется помещику»[2] подтверждают мысль о том, что речь идет об известном циркуляре министра внутренних дел Ланского (21/XI 1857), последовавшем вслед за известным рескриптом Александра II на имя генерал-губернатора Виленской, Ковенской и Гродненской губерний Назимова (20/XI 1857). Открытие губернских комитетов, упоминаемых в статье Салтыкова в качестве будущих, только еще имеющих действовать учреждений, предписывается именно «высочайшим» рескриптом. Чрезвычайно важен также для датировки текста Салтыкова упоминаемый в нем 12-летний срок «переходного состояния» (термин «временно обязанный» распространился позже)

крестьян: именно этот 12-летний срок (позже сокращенный) указан в циркуляре министра внутренних дел. Отсюда ясен вывод, что в качестве terminus post quem для датировки текста Салтыкова возможно было бы принять 21 ноября 1857 г., если бы не ряд оговорок: во-первых, рескрипт Назимову и циркуляр Ланского были разосланы по губерниям 24 ноября, а опубликованы в газетах лишь 17 декабря. Этот день и является тем моментом, когда эти документы и весь вопрос о реформе в целом получили официальную широкую гласность. Во-вторых, обращает на себя внимание то, что в статье Салтыкова говорится о возникших вокруг рескрипта и циркуляра разговорах, спорах, различных толкованиях, хотя бы например по вопросу о «вотчинной полиции», предоставляемой помещику («вотчинная полиция предоставляется помещику». Слова эти истолковываются весьма различно. Одни полагают, что на время переходного состояния...» и т. д.). Для возникновения этих разговоров и для определения спорных тем, вызвавших различные толкования, также должно было протечь некоторое время. Характер документа не оставляет сомнений, что перед нами статья, которую Салтыков хотел опубликовать в текущей прессе[3]. Хотя статья довольно обширна, Салтыков все же называет ее «заметкой» и сообщает читателю, что за ней последует другая: «Предупреждаем читателя, что по объему и по характеру настоящей заметки мы можем коснуться этого предмета («различных систем применения административных начал».— *М. Н.*) только слегка, предоставляя себе в непродолжительном времени, в особой статье и во всей подробности развить взгляд наш на этот предмет». Поскольку публикация открытых статей о реформе стала возможна лишь с 17 декабря,— именно эту дату и следует принять за terminus post quem. Terminus ante quem очевидно определяется моментом выхода правительственной программы действий губернских комитетов, которая была опубликована и разослана в апреле 1858 г. Она оттеснила обсуждение рескрипта Назимову и циркуляра Ланского на задний план: оба эти документа сделались как бы историческими — появился новый, директивный и гораздо более конкретный документ. Ссылки на него были бы неизбежны в тексте Салтыкова, где разбираются вопросы о «переходном» состоянии, судах и пр., так как обо всем этом в правительственной программе был более свежий директивный материал. Таким образом апрель 1858 г. вернее всего можно принять за terminus ante quem. Итак публикуемый документ в о з н и к м е ж д у 17 д е к а б р я 1857 и а п р е л е м 1858 г.

Таким образом перед нами сравнительно молодой Салтыков, в бытность свою чиновником особых поручений IV класса при министре внутренних дел. «Заметка» Салтыкова осталась неопубликованной. План публикации более обширной статьи остался повидимому также неосуществленным. Но поднятые Салтыковым темы более подробно раскрыты им в публицистических статьях 1861 г., о которых ниже будет итти речь.

Как известно, «высочайший» рескрипт Назимову и циркуляр Ланского вызвали целую бурю толков и разговоров в дворянской среде. Далеко не новый для «образованного общества» вопрос об отмене крепостного права вдруг получил реальные очертания. Сразу возникла — уже на конкретной основе официально объявленной реформы и близости ее реального осуществления — вся совокупность вопросов, явившихся и позже центральными для реформы: понимание термина «переходное» состояние, вопрос о выкупе, о земельном наделе и его размере, вопрос о выкупе личности крестьянина и о личной зависимости его от помещика. Последний вопрос сыграл, как известно, огромную роль в крестьянской реформе: помещики осуществили дорогой выкуп личности крепостного, содрали с крестьянства огромную сумму за выкуп личности. Вопрос о личных отношениях помещика и крестьянина является основной темой статьи Салтыкова: «В настоящей заметке мы желаем коснуться исключительно одной категории этих отношений, а именно той, которая определяет будущее положение крестьянина в личных отношениях его с помещиком».

Сначала Салтыков выделяет момент отношений имущественных. Можно себе представить, с каким сарказмом автор «Запутанного дела» и «Губернских очерков» писал в своей статье следующие строки: «...в продолжение первых двенадцати лет, когда крестьяне за отведенные им в пользование помещиками земли будут обязаны отбы-



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)

Фотография конца 1850-х гг.

Частное собрание, Москва

вать определенные денежные или натуральные повинности и когда вместе с тем они будут лишены права переходить с места на место, между ними и помещиками должны завязаться весьма тесные сношения, имеющие характер имущественный». С полнейшей ясностью представлял себе Салтыков, что проектируемые правительством 12 лет «переходного» состояния являются сохранением того же крепостного права — крестьяне платят оброк, ходят на барщину и лишены права переходить с места на место. Чем же отличаются эти «будущие» «тесные имущественные отношения» от крепостного права? Решительно ничем. Иронический вывод усугублен торжественно глубокомысленным канцелярским стилем.

Не менее иронична и одна из следующих фраз статьи, звучащая чисто по-щедрински: крепкими земле крестьяне остаются между прочим и для того, «чтобы предотвратить в сельском населении подвижность, которая в видах государственных признается преждевременною». Еще один образец бесспорной щедринской иронии: только что приводя глубокомысленное рассуждение о том, что между крестьянином и помещиком завяжутся очень «тесные» сношения, имеющие «характер имущественный», Салтыков соглашается, что в этих якобы новых отношениях крестьянина и помещика «и норма оброка, платимого за землю, и самое количество земли, отводимой в пользование, — все определено заранее, так сказать фаталистически...» На сцену выступает государственная власть в качестве действующего на благо помещикам фатума

Следующая несколько дальше решительная формулировка: «Совершенно другое дело отношения личные» заставляет насторожиться. Нет сомнений, что тут — формально — уже имеем мы предвосхищенный вывод статьи. Автор повидимому намерен доказывать, что в сфере личных отношений и лежит якобы огромное отличие крепостного состояния от будущего «свободного» крестьянского положения. Основным камнем преткновения для доказательства этого вывода являлось краткое положение высочайшего рескрипта и министерского циркуляра о том, что вотчинная полиция предоставляется помещику. Как ни тщится Салтыков построить свое дальнейшее рассуждение хотя бы по видимости благонамеренно, формулировки его продолжают звучать в стиле формулировок «Губернских очерков», а весь ход рассуждений идет к противоположному выводу, а не к тому, который вначале задал себе автор как будущий вывод статьи. Чего стоит только чисто щедринская краткая формулировка: «обязанности полиции не в том только состоят, чтобы наблюдать за выгодами помещика».

Далее Салтыков попадает в атмосферу чисто «щедринской» темы, десятки и десятки раз художественно разработанной на страницах его сатирических произведений. Это тема о «попечительном начальстве», заботливой и «отеческой» высшей власти и пекущейся день и ночь о благе обывателей полиции. Разумеется никакая даже самая мрачная и унылая академическая фантазия на сможет представить себе, чтобы автор «Губернских очерков» мог без иронии, а в смысле прямого и недвусмысленного рассуждения написать следующие строки:

«Представим себе помещика, сделавшегося полицеймейстером своего имения. В чем могут заключаться его полицейские права и обязанности относительно крестьян, кроме права наказывать крестьян за неисправное отправление господских повинностей? По общим законам обязанности полиции обнимают охранение православной веры и прав церкви, охранение общественной тишины и спокойствия, наблюдение за нравственностью, за ненарушением правил, предписываемых особыми уставами о паспортах, о производстве торговли, о народном здравии и т. п. Из числа сих обязанностей только одна, а именно: наблюдение за нравственностью и частью тоже одна: охранение общественной тишины и спокойствия предоставлялись доныне помещикам... Такой порядок вещей рационален. Вера, церковь, народное здравие, торговля — все это такие понятия, которые выходят из узкой сферы частных интересов, и как бы ни была велика сила обстоятельств, допускающих временное владычество частного на счет общего, тем не менее в сфере народной жизни все-таки найдутся такие явления, на которые нельзя смотреть иначе, как с высшей точки зрения, оставив в стороне все прошлое и случайное...»

Можно привести немало мест из художественных произведений Щедрина, написанных на ту же тему, что и это рассуждение, почерпнутое из чисто публицистического произведения Салтыкова. Вопрос о попечительном начальстве—чрезвычайно частая тема Щедрина.

«Благонамеренное» рассуждение Салтыкова о высоких задачах полиции должно было бы вести к следующему ряду выводов, чтобы доказать положение, формулированное в начале статьи:

Помещик будет после освобождения крестьян полицмейстером своего имения.

Эта новая его обязанность лишь частично совпадает с обязанностями, которые он нес в своем имении в крепостную эпоху.

То новое, что возлагается на него по линии полицейского надзора, связано с высокими общегосударственными задачами.



В ПРОВИНЦИИ 1850-х гг.

Картина маслом М. Добужинского

Собрание художника, Париж

Эти высокие общегосударственные задачи не имеют ничего общего с наблюдением за личными выгодами помещика. Более того: помещик как представитель общегосударственных интересов будет действовать в явном противоречии со своими выгодами.

Отсюда проистекает то, что личные отношения крестьянина и помещика будут протекать в сфере высоких и не связанных с личными выгодами помещика «государственных интересов».

Следовательно: в личных сношениях крестьянина и помещика не будет иметь места продолжение крепостных отношений. Тезис «совершенно другое дело отношения личные», формулированный в начале статьи, был бы доказан. В виде силлогизма этот только что изложенный ход рассуждений можно представить в следующем виде:

Предполагалось доказать:

Полиция преследует великие общегосударственные цели.

Помещик — полицмейстер в своем имении.

Помещик — представитель великих общегосударственных целей.

Но разумеется этот предлагаемый силлогизм потерпел немедленный крах. Его «доказательство» не удалось выдержать даже для видимости, не удалась даже «благонамеренная» форма. Автор сорвался на первой же посылке.

«Помещик, делаясь полицеймейстером своего имения, становится вместе с тем и органом общей государственной полиции и в этом качестве нередко должен будет найтись в явном противоречии со своими выгодами. Все это, как увидим далее, не только возможно, но и должно...»

Но «далее» нам не суждено увидеть ничего подобного. Салтыков оказывается во власти знакомой и привычной художественной темы о попечительном начальстве. Поэтому далее мы видим вещи совершенно неожиданные.

Прежде всего со всей решительностью утверждается, что суть полиции — крепостническая: «Как ни сильно пустило корни крепостное право во все общественные отношения, все-таки оно не могло проникнуть их до такой степени, чтобы связать с собой участь всего государственного организма, и овладело только одной самомалейшей частью, одной из отраслей государственного управления: полиции...» При крепостном праве, когда помещик распоряжался личностью крестьянина, это право полицейского надзора было им использовано в своих помещичьих интересах: «...все предметы полицейской деятельности так тесно между собой связаны, что нельзя уступить из них одного, чтобы прочие от этого не пострадали. Таким образом мы видим, что при возможности распоряжаться личностью крестьянина помещики мало-помалу сделались судьями и в делах, подлежащих ведению общей полиции, потому что нередко от произвола их зависит или отдать известное преступное действие на суд полиции, или ограничиться относительно его домашнею расправою». Для дальнейших «доказательств» Салтыкову надо объявить это положение вещей «печальным» исключением из нормы, «злоупотреблением». Но дальше противоречие между подлежащим доказательству выводом и приводимой аргументацией становится еще разительнее. Ранее статья строилась таким образом, что Салтыков приводил возражения предполагаемого противника («Полагают, что... Но это толкование очевидно несостоятельно...», «Но, возразят нам... Согласны; тем не менее однако ж...» и т. д.). Вдруг в конце статьи предполагаемый оппонент начинает возражать Салтыкову... его же собственными исходными утверждениями. Этот оппонент говорит теперь в качестве возражений как-раз то, что надлежит доказать.

«Нам скажут, быть может, что помещик, делаясь полицеймейстером в районе своего имения, этим самым становится на ту общую точку зрения, которая необходима для того, чтобы исполнять полицейские обязанности, и сообразно с требованием закона и общих государственных нужд...»

Это и был как-раз основной вывод силлогизма Салтыкова.

Художник, творец гениальных сатирических произведений на тему о попечительном начальстве, пресекает нить рассуждений и, заговорив языком политика-публициста, дает этому воображаемому оппоненту резкий отпор. Нет, помещик не может быть ничьим иным представителем, как представителем интересов своего собственного класса. Он должен быть «полицеймейстером» своего имения именно в этом своем имении. По отношению к крестьянину он истец. Этим «истцом» он разумеется остается и тогда, когда рядится в тогу закона. Крепостное право будет царить после его «отмены» и в области личных отношений помещика и крестьянина. Именно эти — и только эти — выводы можно прочесть в иронически противоречивой «Заметке» Салтыкова:

«Мы и не отрицаем для помещика возможности лично стать на эту (т. е. «общегосударственную». — *М. Н.*) точку, но утверждаем, что эта возможность останется для него навсегда недостижимою, коль скоро он будет окружен теми условиями, в которые ставит его необходимость быть полицеймейстером именно той местности, к которой он привязан фаталистически. Не забудем, что именно здесь, а не в другой местности имеются у помещика к крестьянам отношения имущественные, которые



ЗА ЛОМБЕРНЫМ СТОЛОМ В РОССИИ

«Русские помещики заменяют ставки и играют сперва на свои земельные угодья, а потом и на людской инвентарь»

Карикатура из альбома Густава Дорэ «La Sainte Russie», Paris, 1854

могут беспрестанно ставить его в положение истца. Кто поручится, что помещик эти отношения не будет вносить в сферу своей полицейской деятельности? Очевидно, что приманка слишком привлекательна, чтобы большинство не устремилось к ней как к единственному средству, которое дает ему возможность по желанию и без хлопот устроить свои личные интересы».

«Силлогизм» Салтыкова оборвался на первой же посылке. Сатирическое разоблачительное содержание темы попечительного начальства заполнило рассуждение Салтыкова, разорвав форму официально-благонамеренных речей. В момент либеральной суеты вокруг рескрипта Назимову и циркуляра Ланского сатирик-чиновник особых поручений пришел к тем недвусмысленным выводам, что, несмотря на всю поднятую шумиху, крепостное право собираются сохранить, сохранить как в сфере имущественных (чрезвычайно «тесных») взаимоотношений помещика и крестьянина, так и в сфере взаимоотношений личных.

Немного позже великий революционер Чернышевский в своей прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» с предельной ясностью писал:

«Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете. Много тут рассказывать нечего. На два года остается все попрежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается, как была...»

То, что с предельной ясностью формулировал Чернышевский, прозвучало бы для Салтыкова, если бы он узнал эту мысль прокламации раньше, знакомым выводом. (Подчеркиваю, что я говорю лишь о процитированном месте прокламации, а не о всей прокламации в целом.— *М. Н.*). То, что несколько путанно и затрудненно рождалось, проходя через ряд срывов и провалов, в политических «официальных» формулировках великого сатирика, то с блестящей отчетливостью и предельной ясностью формулировалось Чернышевским, назвавшим крестьянский выкуп «той же покупкой», а всю реформу в целом «мерзостью». Ленин говорит: «Чернышевский понимал, что русское крепостническо-бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, т. е. ниспровергнуть крепостников, что оно только в состоянии произвести «мерзость», жалкий

компромисс в интересах либералов (выкуп — та же покупка) и помещиков, компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий головой помещикам»[4].

До этого глубокого и полного политического понимания реформы, до этой предельной отчетливости политического характера Салтыков не дошел. Эти политического характера выводы были для него затруднены, не так отчетливы, не так ясны. Срывы либерального характера, главным образом шедшие по линии переоценки помещичьего государства и все же неполного понимания его классовой сути, имеют место у Салтыкова. Но несомненно одно, что публикуемый ниже текст «Заметки о взаимных отношениях помещиков и крестьян» все же идет по линии антикрепостнической и антидворянской.

Необходимо отметить заодно, что в силу целого ряда оснований можно предположить, что текст «Заметки о взаимных отношениях помещиков и крестьян» непосредственно перекликается с известной статьей Чернышевского «О новых условиях сельского быта». Эта статья явилась, как известно, откликом Чернышевского на «высочайшие» рескрипты 1857 г. по вопросу об отмене крепостного права. В ней Чернышевский еще не стоит на тех последовательно-революционных позициях по отношению к «реформе», какие свойственны ему в последующие годы. Но целый ряд тем резкого разоблачения крепостничества раскрыт в этой статье с большой остротой. Одной из них был вопрос о злоупотреблениях царских чиновников и о корнях этих злоупотреблений. Чернышевский приходил к выводу, что эти корни скрываются в том же крепостном строе и что без уничтожения последнего невозможно искоренение чиновничьих злоупотреблений: «Ненормальное положение владельца относительно людей, населяющих его землю, нуждалось в том, чтобы и все другие отрасли областной жизни находились в таком же ненормальном беспорядочном состоянии»... Все «чиновники и судьи избираются с тем, конечно, молчаливым условием, чтобы не вмешивались в сельский быт помещиков». Чиновничий произвол выгоден дворянству: дворяне не могут «подвергать «чиновника» серьезному отчету за то, что он действует самопроизвольно: только этою произвольностию, по которой он постоянно нарушает закон, когда то считает удобным для себя, и сохраняется неприкосновенность их собственного сельского быта». Повидимому именно об этой статье Чернышевского прямо говорит Салтыков-Щедрин, когда пишет в своей работе «О взаимных отношениях помещиков и крестьян» такие строки: «Часто случается нам слышать мнение (а в недавнее время оно выразилось и печатно), что злоупотребления чиновников имеют своим источником тот же строй понятий и воззрений, которые служат основою для крепостного права». Если наше предположение правильно, то есть основания и для более точной датировки возникновения рукописи Щедрина, чем приведенная выше: работа Чернышевского «О новых условиях сельского быта» опубликована во 2-й книге «Современника» за 1858 г., цензурное разрешение на нее датировано 8 февраля 1858 г. (ср. Н. М. Чернышевская-Быстрова, Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, 1933 г., стр. 92),— иными словами terminus post quem рукописи Салтыкова падает при этих условиях примерно на конец февраля 1858 г.

Разумеется в заметке, предназначенной для печати, Салтыков мог говорить лишь эзоповским языком, скрываясь за внешней «благонамеренной» формой речи. Под этим «эзоповским языком» мы ясно нащупываем в дальнейшем анализе текста Салтыкова две основные темы: одна антикрепостническая, антидворянская — это протест против выдвинутого правительством положения: «вотчинная полиция предоставляется помещику»; другая — соскальзывающая на либеральные позиции тема о земском («муниципальном») самоуправлении мест, противопоставленном полицейской власти помещика.

Первая тема разработана Салтыковым в дальнейшем тексте статьи с величайшей резкостью и страстностью. Вероятно именно в этой резкости и страстности — причина того, что статья опубликована не была. Действительно — высочайшие рескрипты и вообще все правительственные директивы с полнейшей ясностью оповещали о реше-

нии правительства предоставить вотчинную полицию помещику. Салтыков же, обрушиваясь на это постановление, пророчил в своей «заметке», что в результате этого правительственного решения будет иметь место «положение фальшивое и вместе с тем едва ли не безнравственное». Если правительственный проект будет осуществлен, «мы не замедлим возвратиться к средневековым воззрениям на существо и значение правительственных учреждений». Захочет ли правительство сменить зарвавшегося «полицеймейстера в собственном имении», или предоставит ему и дальше совершать беззакония — в обоих случаях положение будет весьма странное, если не безвыходное.

Это «весьма странное» положение тут же рисуется Салтыковым в виде следующей картины:

«...странное зрелище представится глазам нашим: будут рядом существовать следующие полиции: полиция барщинских имений, полиция оброчных имений, полиция имений, выкупившихся с землей, полиция казенных имений, полиция удельных имений, находящихся на посессионном праве, полиция горнозаводских казенных имений и пр. И над всем этим носится общая государственная полиция, которая теряется в этих подразделениях и недоразумениях, которая не может ни к чему приступиться, не припомнив себе бездны различных изъятий, и которой действие на каждом шагу подрывается скрытыми действиями этих частных полиций».

Эта замечательная картина мятущихся и не узнающих друг друга полиций — хороший апофеоз темы о «попечительном начальстве». Но Салтыков этим не удовлетворяется и резко формулирует свой вывод, уже не прикрываясь никакими «картинами» и не прибегая к «эзоповскому языку»:

«Вот к каким результатам приводит нас буквальное толкование слов «вотчинная полиция предоставляется помещикам». И напрасно будут нам говорить, что такое облечение помещиков полицейской властью обязательно только на время переходного состояния: во-первых, ни из чего не видно, чтобы обязательность этого правила простиралась именно на двенадцать лет, а не далее, а во-вторых, подобное положение вещей не только на двенадцать лет, но ни на одну минуту не может быть терпимо». Разумеется статья с такими резкими выводами против правительственных директив не могла быть опубликована.

Но когда Салтыков в той же статье попытался противопоставить правительственному проекту «вотчинной полиции» свою положительную программу, он не смог пойти дальше утопического проекта «муниципального» земского управления с участием дворянства... лишенного права голосования по делам, «касающимся исключительно интересов крестьян»: дворянство по проекту Салтыкова имело право подать лишь совещательный голос по таким вопросам, как раскладка податей и повинностей, отправление рекрутчины, раздел семейств и земель и т. п. Право же решающего голоса по проекту Салтыкова предоставлялось дворянам наравне с прочими сословиями лишь в делах, имеющих значение для всей местности, как например в делах «общественного спокойствия» и «благоустройства», делах «по учреждению училищ, благотворительных заведений, ярмарок и т. п.» Утопический «муниципальный» проект Салтыкова связан, как видим, с лозунгом земства. «Земская реформа,— пишет Ленин в «Гонителях земства и аннибалах либерализма» (Соч., т. IV, стр. 129),— была одной из тех уступок, которые отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска».

В 1858 г., когда до земской реформы 1864 г. было еще довольно далеко, статья Салтыкова выбрасывала лозунг, который никак не мог понравиться правительству. Но несмотря на это, «муниципальный» земский проект Салтыкова не заключал в себе ничего революционного. Лозунг земства быстро становится классовым лозунгом либерального дворянства. В записке министра внутренних дел Ланского, поданной в 1859 г., отчетливейшим образом значилось, что одной из задач земской реформы является: «вознаградить дворян за потерю помещичьей власти». Проведение в жизнь этого положения и сделало земство «орудием укрепления самодержавия» по определению Ленина. Своей

положительной программой Салтыков еще раз подтверждает замечание Маркса, сделанное им на полях «Убежища Монрепо»: «Вообще автор не слишком счастлив в своих положительных выводах».

Этот отдельный пример разбора публицистической статьи Салтыкова показывает нам, насколько сложна оценка его творчества. Эта оценка необходимо слагается из целого ряда моментов, в которых с большой отчетливостью надо отграничить объективное значение творчества писателя от субъективного понимания Салтыковым того или иного момента в собственном творчестве или в окружающей его расстановке классовых сил. Объективное значение творчества Салтыкова часто или оставляется исследователями в стороне или смешивается с моментом субъективным. Часто последний субъективный момент является основной темой исследования о Салтыкове. Со всей решительностью надо поэтому подчеркнуть первостепенную важность вопроса об объективном значении творчества Салтыкова и безусловно вторичную, подчиненную, не решающую важность исследования субъективной стороны творчества и мировоззрения Салтыкова-Щедрина. Это не значит разумеется, что тема о субъективной стороне, о политическом мировоззрении Салтыкова не заслуживает внимания. Эта тема важна и должна быть изучена. Но она все же менее важна, чем первая.

Был или не был Салтыков субъективно либералом — это все же второстепенно перед степенью важности другого вопроса: какую объективную роль сыграли произведения (как художественные, так и публицистические) Салтыкова-Щедрина в классовой борьбе эпохи, в сложной расстановке классовых сил кануна «реформы», самих «реформ» и последующих за ними десятилетий. Щедрин — мастер области идеологической, его деятельность прежде всего — творчество произведений искусства, а произведения искусства — острые орудия классовой борьбы. На чьей стороне боролись созданные Салтыковым произведения, кому они служили, на какой стороне баррикады они сражались? Именно это — первый вопрос исследователя, а вопрос о субъективной стороне творчества — вопрос второй и не столь важный, как первый, хотя и второй вопрос значителен и заслуживает изучения.

Крепостное право и система крепостнических пережитков после реформы — основная тема творчества Щедрина. Именно из этой основной темы растет испепеляющая салтыковская сатира на весь самодержавно-крепостнический строй царской России. Бесспорно, что произведения Салтыкова боролись против этого самодержавно-крепостнического строя, боролись оружием исключительного по силе сарказма, сжигающей иронии, до корня разоблачающего гневного смеха. «Я до сих пор не всегда умею скрывать свои чувства, особенно если это чувства омерзения», писал Салтыков к Якушкину в конце мая 1861 г. «Омерзение» — это действительно меткое слово, которым хорошо передается эмоциональная сторона салтыковской сатиры. Самодержавно-крепостническая Россия была омерзительна Салтыкову. Борьба с крепостническими пережитками и с политическим сторожем этой крепостнической мерзости — самодержавием являлась задачей буржуазно-демократической революции в России. Разоблачая своей сатирой самодержавно-бюрократический строй, Салтыков боролся во имя задач, поставленных буржуазно-демократической революцией по линии антифеодальной. Борьба эта протекала в обстановке создавшейся накануне 1861 г. революционной ситуации. «1861 год породил 1905-ый», писал Ленин. От 1861 г. идет восходящая линия революционного движения к 1905 году. «Связь между 1861 годом и событиями, разыгравшимися 44 года спустя, несомненна и очевидна» (Ленин). Творчество Салтыкова-Щедрина — объективно — работало в огромной и сложной системе других революционных проявлений классовой борьбы и работало именно для того, чтобы 1861 год мог породить 1905-й. Отсюда величайшая, остро выраженная историческая прогрессивность, объективная революционность всего творчества Салтыкова-Щедрина в целом.

Эта историческая прогрессивность, революционность, участие художественных образов Щедрина в борьбе именно за то, чтобы 1861 год мог породить 1905-й, объяс-

няет и восторженный отзыв Чернышевского о «Губернских очерках» Щедрина. «Эта благородная и превосходная книга, — писал Чернышевский, — принадлежит к числу исторических фактов русской жизни. «Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими и полезнейшими и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он. Как бы ни были высоки похвалы его таланту и знанию, его честности и проницательности, которыми поспешат прославлять его наши собратия по журналистике, мы вперед говорим, что все эти похвалы не будут превышать достоинств книги, им написанной» [5].

Величайшая историческая прогрессивность, революционность произведений Салтыкова и послужила основанием того, как легко подняты в цитации Ленина и Сталина его сатирические образы на высшую ступень, на ступень идеологической борьбы уже не за ликвидацию крепостничества и самодержавия, а за разрушение всего эксплоататорского строя в целом, за уничтожение эксплоатации человека человеком, за осуществление задач пролетарской революции [6]. То новое содержание, которое вложено в щедринские образы цитацией Ленина, Сталина и Кагановича было облегчено высокой степенью исторической прогрессивности, объективной революционностью образов Салтыкова-Щедрина.

Итак — объективно — творчество Салтыкова-Щедрина работало на революцию. Идеологическая значимость, идеологическое воздействие сатирических произведений Щедрина были — объективно — революционны.

Эта сторона — самая важная. Менее важна по сравнению с ней субъективная сторона его творчества. Эта субъективная сторона конечно должна быть исследована. В общем анализе творчества эта тема очень значительна и интересна.

Публицистические произведения Салтыкова представляют драгоценнейший материал для разрешения этого вопроса [7]. Публикуемый нами текст как-раз близок по типу к произведениям этого рода. Уже анализ этого небольшого отрывка привел нас к выводу, что политическое сознание Салтыкова не вполне соответствует объективному революционному значению его произведений. Но в анализе текстов публицистического



«ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА»

— Да помилуй, ваше благородие, где-ж возьмешь эку рыбу?
— Где, а в воде?
— В воде-то знамо дело, что в воде, да где ее искать-то в воде?
— Ты рыболов? Говори, рыболов ли ты?
— Рыблов-то я точно, что рыболов...
— А начальство знаешь?
— Как не знать начальства, завсегда знаешь...
— Ну, следовательно...

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.

характера необходимо быть сугубо осторожным. В цензурных видах «эзоповский язык», столь хорошо знакомый Щедрину-сатирику, Чернышевскому и другим идеологам эпохи, конечно должен был тяготеть и над публицистическим текстом Салтыкова [8].

Богатейший дополнительный материал для характеристики политического мировоззрения Салтыкова в эпоху «реформ» представляют собой его статьи 1861 г. И по своим датам, и тематически они тесно связаны с публикуемым отрывком: это статьи «эпохи реформ», разрабатывающие общие темы крестьянского «освобождения». Хронологически они отделены от опубликованного отрывка лишь трехлетним промежутком, который не знаменовал собою какого-либо значительного сдвига в политическом миросозерцании Салтыкова. Одним словом — это публицистика одной эпохи. Поэтому разбор ее с точки зрения анализа поставленных выше вопросов дает новый материал для наших выводов.

В 1861 г. в № 11 журнала «Наше Время» была помещена статья В. П. Ржевского «Несколько слов о дворянстве». Главной темой статьи был вопрос о мировых посредниках. М. Е. Салтыков ответил на нее статьей «Об ответственности мировых посредников» в «Московских Ведомостях» (1861, № 91 от 27 апреля). Ржевский написал «Ответ на статью г. Салтыкова об ответственности мировых посредников» в «Современной Летописи» в начале июня (1861, № 22). Последовавший за этим «Ответ г. Ржевскому» М. Е. Салтыкова был напечатан в той же «Современной Летописи» в конце июня. В. П. Ржевский не унимался и ответил вторично «Письмом к редактору «Русского Вестника» по случаю полемики с г. Салтыковым об ответственности мировых посредников» («Современная Летопись» 1861, № 30, июль). М. Е. Салтыков тоже не остался в долгу и написал ответ и на этот ответ, но это новое и, как оказалось, последнее звено полемики было так резко и с такой отчетливостью ставило точки над всеми политическими «и», что напечатать его не пришлось. К сожалению рукопись этого замечательного последнего ответа Салтыкова до нас не дошла. Мы знаем ее содержание и отдельные цитаты лишь из «Материалов для биографии М. Е. Салтыков» К. Арсенева [9]. На этом и закончилась полемика с Ржевским [10].

В то же время, частично вперемежку с ответами Ржевскому, Салтыков опубликовал ряд других статей публицистического характера, объединенных одной общей темой величайшего политического интереса, представляющих собой драгоценнейший и прямотаки несравненный материал для исследования творчества Салтыкова. Эта тема — вопрос о крестьянских волнениях.

Революционная ситуация кануна 60-х годов вырвала у правительства куцые «реформы». Высоко поднявшаяся волна крестьянских восстаний кануна реформы вознесла на своем гребне революционное «просветительство» Чернышевского, сумевшего «через препоны и рогатки цензуры» провести в своих произведениях «идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей» (Ленин).

Мощная волна крестьянских восстаний ответила и на обман 19 февраля. Крупнейшее политическое значение имело знаменитое восстание в Бездне, расстрелянное царским сатрапом генерал-майором Апраксиным (по Герцену — Апраксиным-«Бездниским») и вызвавшее известную речь историка А. Щапова на панихиде по расстрелянным бездининским крестьянам. Бездинское восстание произошло 12 апреля 1861 г. 15 апреля Апраксин уже получил приказ о суде над Антоном Петровым, а 19 апреля Антон Петров был расстрелян [11]. Первая же статья Салтыкова в ответ на статью Ржевского датируется 27 апреля, а статья «К крестьянскому делу», не связанная внешне с ответом Ржевскому и посвященная всецело теме крестьянских волнений, датируется 30 апреля («Моск. Вед.» 1861, № 94). Хотя в статье по вполне понятным причинам нет прямого упоминания о Бездне, содержание ее не оставляет ни малейших сомнений, что тут мы имеем непосредственный отклик Салтыкова на бездинский расстрел. 11 июня, когда еще не пришла к концу правительственвенная переписка по делу о «возмутительной» речи Щапова, Салтыков публикует вторую статью на тему о крестьянских волнениях под заглавием «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» («Моск. Вед.» 1861,

«ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА»

— Что-ж, спрашивал что-нибудь городничий?
— Спрашивал, что, дескать, они делают?
— Ну, а ты что?
— Спят, мол, известно, мол, что им делать как не спать. Ночью едешь — в карете спят, днем стоишь — на квартире спят.
— Ты так и сказал?
— Сказал.. отчего не сказать?
— Ска-тина!

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.



№ 128). Политическое значение этой статьи и ее тесная связь и с Бездной, и с общей волной крестьянского движения, вызванного «Положениями» 19 февраля, тем более несомненна, что на май и начало июня падает большое количество непрекращавшихся волнений в других местностях. Последней публицистической статьей Салтыкова, связанной с этим же кругом вопросов, но стоящей несколько особняком, является статья «Где истинные интересы дворянства», напечатанная в той же «Современной Летописи» за 1861 г. (№ 42, октябрь) [12].

Весь этот публицистический цикл Салтыкова остался в первичной публикации своей эпохи и нигде доселе не перепечатывался. Поскольку обе темы — крестьянские волнения и вопрос о мировых посредниках — теснейшим образом между собою переплетены, мы будем пользоваться одновременно всем циклом салтыковской публицистики 1861 г., не разграничивая резко обеих тем.

Основная задача наша — ответ на поставленный выше вопрос: в какой степени политическое миросозерцание Салтыкова эпохи «реформ» соответствовало объективно-революционному значению его художественно-сатирических произведений и какую политическую квалификацию можно дать его статьям 1861 года? Сопоставляя затем с этим циклом публикуемую в настоящем номере статью «О взаимных отношениях помещиков и крестьян», мы получаем ответ и на вопрос о линии политической эволюции Салтыкова 1858—1861 гг. Попутно мы получаем дополнительный материал для вопроса о частичных либеральных срывах Салтыкова и своеобразии его позиций в отдельных частных вопросах «эпохи реформ» («мировые посредники», роль бюрократии в «реформах», классовое определение понятия бюрократия). Кроме всего этого мы получаем ценный материал для разрешения одного интереснейшего вопроса: роль художественного образа в политической публицистике Салтыкова,— тема эта совершенно не исследована.

Под свежим впечатлением безднинской расправы, в атмосфере всеобщих слухов и толков о росте волны крестьянских восстаний и аракчеевских методов их подавления Салтыков видимо мучительно и глубоко задумывается над основным вопросом — вопросом о классовом антагонизме помещика-дворянина и только что раскрепощенного мужика. Он видимо вполне искренне пытается уловить, не будет ли действительно

каких-либо форм для «сближения» этих «сословий» после реформы, и в любом конкретном случае, где либеральная пресса со звоном и треском возвещает эту возможность, он после некоторого раздумья, конкретизировав вопрос, приходит к отрицательному выводу. С этой основной темой — темой классового антагонизма барина и мужика — теснейшим образом связывается вторая тема, тревожащая Салтыкова и с большой настойчивостью проводимая им через все его публицистическое творчество 1861 г., — это тема о государстве и бюрократии, вопрос об их социальном существе.

Статья либерала Ржевского, гнусная и чрезвычайно типичная для «народолюбивого» дворянина 60-х годов, в атмосфере только что свершонного безднинского расстрела конечно не могла не всколыхнуть Салтыкова. В одной из позднейших перечисленных выше статей, именно в статье «Где истинные интересы дворянства»[13], Салтыков очень точно формулирует основную установку первой статьи Ржевского как приглашение дворянства воспользоваться «единственным в истории случаем» (т. е. реформой 1861 г.) для... утверждения своего политического преобладания над прочими сословиями.

Именно этой формулировкой Салтыков не только ухватил самую суть постановки Ржевским вопроса о мировых посредниках, но формулировал вообще центральную политическую идею либерального дворянства эпохи реформ: мы «уступаем» наше право владеть крепостными — мы должны быть вознаграждены расширением наших политических «прав». Доведенная до своего логического конца эта идея, как известно, легла в основу дворянской фронды 60-х годов и требования дворянской «конституции». В статье Ржевского разумеется (правительство уже расправилось с фрондерами Безобразовым и Унковским)[14] нет столь прямых и «опасных» либерально-дворянских формулировок, но есть призыв к дворянству, как можно шире воспользоваться институтом мировых посредников для утверждения своего политического господства. «Плодотворной почвой» для политической деятельности дворянства является — по Ржевскому — «та огромная доля участия, которую правительство предоставило дворянству при осуществлении настоящего преобразования. Ключ к этому участию заключается в занятии трудных, но весьма полезных и даже почетных должностей мировых посредников». Независимость этой заманчивой должности — главная ее привлекательность для Ржевского: мировой посредник — восхищается Ржевский — «поставлен наряду с уездными предводителями дворянства и свободен от подчинения и подсудности кому бы то ни было, кроме правительствующего Сената». Под этот дворянский лозунг всемерного использования должностей мировых посредников подводится исключительно откровенная дворянская идеология «общечеловеческого» порядка: во-первых, дворянин потому должен утвердиться на политически-выгодной позиции мирового посредника, что он — образованный человек, а образованность и являлась-де всегда основанием для политического господства дворянина: «Наше дворянство ходом исторических обстоятельств было вынуждено искать своей силы в превосходстве образования». Занесшись в своей сословной гордости, Ржевский непреминул разумеется «подкрепить» свою мысль ссылкой на дворянскую культуру:

«Начиная с фон Визина, Державина и Карамзина, целый ряд громких имен в литературе и в науках, как например: Жуковский, Батюшков, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грановский, Тургенев, Милютин, Кавелин и множество других, принадлежит к тому классу, который мы называем дворянством, а все прочие классы, вместе взятые, не могут доставить и десятой доли подобного блестящего списка».

Эта цитата вызвала в дальнейшем особое возмущение Салтыкова.

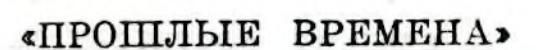
Вся крепостническая идеология либерала Ржевского увенчивалась несравненным утверждением, что крепостное право было «тяжелыми узами для того самого класса, который был обязан им пользоваться»[15]. Легко себе представить, какое чувство омерзения вызвала в Салтыкове такая статья. Чувство омерзения, по его собственному признанию, ему было труднее всего скрыть. Появился ответ Ржевскому под заглавием «Об ответственности мировых посредников»[16].

Основное содержание ответа Салтыкова можно формулировать так: ни в коем случае воли мировым посредникам давать не надо, ибо они — те же дворяне. Необходимо строжайшим образом требовать от них ответственности за их действия. Мировым посредником будет тот же помещик, полный традиций крепостной эпохи,— среди дворян еще живет «дух распущенности», обычаи «удальства, кумовства и всенипочемства, от которых мы еще долго не отделаемся». Дворянский аппетит к должности мирового посредника, по мнению Салтыкова, сильно разожжется высоким окладом по этой должности:

«Нет, сущность дела остается для нас чем-то посторонним, чем-то таким, что придет само собою, без особых с нашей стороны усилий; главный же вопрос заключается в окладах и преимуществах, присвоенных должности. «Сколько жалованья?» — вот вопрос, повторяемый толпою искателей, вот магическое слово, производящее переполох даже в таких людях, которые давным-давно отказались от всякой общественной деятельности и не прекратили дружественных сношений только с самыми близкими соседями: Сопиковым и Храповицким».

Вообще, по мнению Салтыкова, все помещики, а стало быть и все будущие мировые посредники могут быть разделены на два типа — самодуров и «мечтателей», не умеющих взяться за дело («Типы, подобные гоголевскому Констанжогло, не удавались именно потому, что они не были вызваны жизнью, а скорее навязываемы ей», замечает Салтыков). Выбор мировых посредников останется в руках той же крепостнической дворянской провинции, сумеющей как следует отобрать своих ставленников. Это место в салтыковских рассуждениях чрезвычайно ответственно — это момент, доказательство которого фактически утвердит мирового посредника именно как представителя своего, д в о р я н с к о г о класса. Доказательство этого положения незаметно соскальзывает у Салтыкова в привычную для него сферу художественного образа. Губернатора, выбирающего мировых посредников из поданных дворянством губернии списков, осаждают со всех сторон. «Не дремлет Матрена Ивановна, не дремлет советник Стрекоза — оба неустанно строчат рекомендательные письма. Первая рекомендует своего protegè по причине comme il faut, второй своего за скромность, за то, что он





«ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА»

— Раздевайся...
— Да у меня, бачка, плечом совсем здоров, — уж пятым неделем здоров.
— А это видишь? Видишь, идолопоклонник, ты этакой, указ видишь, лечить тебя велят.

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.

с молодыми молод, со старыми стар. Матрена Ивановна хорошая женщина и отличные приготовляются у нее пироги; Стрекоза припоминает в письме о приятных минутах, проведенных вместе тогда-то и там-то, и заверяет, что минуты эти оставили неизгладимое впечатление в его сердце. Да, трудно, неловко отвечать отказом на такое учтивое, в душу лезущее приставанье; а если прибавить к этому еще потребность уживаться, столь многими принимаемую как высшее выражение административной дальновидности, если взять в соображение естественное пристрастие к лицам, с которыми часто обращаемся в обществе, то возможность и даже необходимость ошибок и увлечений в выборе лиц делается очевидною».

Образ этот — типично салтыковский образ дворянской провинции — входит в публицистическую статью, подчеркивая враждебную дворянскому либерализму политическую позицию Салтыкова. Образ и здесь, как и в других публицистических статьях Салтыкова,— сила, тянущая его к политически-левым позициям, закрепляющая его положение на противоположной либеральному дворянству стороне баррикады.

Итак, установка статьи Салтыкова — против дворянского либерализма; статья разоблачает дворянскую классовую суть мировых посредников. Но эта установка сопровождается рядом срывов либерального характера; во-первых, Салтыков, требуя надзора за мировыми посредниками, готов поручить этот надзор представителям государственной власти, чиновникам, не давая себе в данный момент отчета в крепостнически-дворянском характере власти; во-вторых, Салтыков поет панегирик крестьянской реформе. Правда, панегирик этот сильно смахивает на цензурный «картон», бывший в те дни трафаретнейшей и примелькавшейся фиоритурой всей публицистики 1861 года. Вот пример подобной формулировки в разбираемой статье Салтыкова: «великое дело освобождения, которому положено ныне столь счастливое и столь многожеланное основание». Нельзя представить себе, чтобы Салтыков вклеил в эту трафаретную фиоритуру слово «счастливый» без иронии — уж какое там «счастливое» основание после Бездны! Поэтому последнюю вставку — панегирик реформе — мы склонны считать в данном контексте именно за трафарет, не имеющий в анализе салтыковских воззрений серьезного значения. Но замечание о государственном надзоре за мировыми посредниками значительно серьезнее, хотя Салтыков в конце статьи и выдвигает проект организации съездов мировых посредников, протекающих в обстановке полной гласности и обсуждающих действие мировых посредников. Эта апелляция к гласности конечно противопоставлена в изложении Салтыкова Сенату и прочему государственному надзору, но либеральной сути срыва это конечно не меняет.

Вероятно немедленно, в те же апрельские дни, полные разговоров о Бездне, Салтыков пишет вторую свою статью «К крестьянскому делу» [17], где вопрос о крестьянских волнениях является центральной темой: ответ Ржевскому, о котором только что шла речь, напечатан 27 апреля, а только что названная статья — 30 апреля.

Тут, с самого начала, мы встречаемся с тою же особенностью, которую отметили и в публикуемом документе «О взаимных отношениях помещиков и крестьян»: с ироническими утверждениями, отрицающими самоочевидные вещи, и с прямыми противоречиями, резко бьющими в глаза. Конечно в атмосфере слухов и толков о безднинском расстреле, когда говорились агитационные противоправительственные речи на панихидах по убиенным в Бездне, когда студенчество сочиняло стихи, клеймящие Апраксина, когда уже становилось нарицательным имя Дренякина [18], нельзя понять иначе как саркастическую следующую фразу Салтыкова: «То спокойствие, с которым встретили крестьяне столь давно желанную весть об отмене крепостного права, служит достаточным ручательством, что с их стороны нельзя опасаться в будущем беспорядков». Прочтите теперь следующую за этой фразу, непосредственно примыкающую к только что процитированной: «Нельзя отвергать, что в некоторых помещичьих имениях, где в особенности чувствительно заявляло себя действие крепостного права, недоразумения не только возможны, но даже и естественны как вследствие уже упомянутых нами причин, так и вследствие неясного понимания силы и значения законодательства, дающего права массе, до сих пор бесправной».



«ГОРЕХВАСТОВ»

Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем

«Художественный Листок»
1868—1869 гг.

Прямое, резко сопоставленное и не только неприкрытое, а отчетливо подчеркнутое, нарочитое противоречие этих утверждений бросается в глаза. Фраза первая: беспорядков нельзя опасаться, беспорядков не будет. Фраза вторая: беспорядки не только возможны, а даже естественны. Бесспорно, что первое утверждение — цензурный «картон». Второе — основное.

Чтобы понять, почему это второе утверждение необходимо квалифицировать как явно связанное именно с антидворянской и антиправительственной стороной баррикады, надо вспомнить позиции либерального дворянства в 60-х годах по вопросу о крестьянских волнениях.

Позиции эти можно кратко охарактеризовать так: волнений, собственно, нет. Волнения раздуваются грубыми правительственными агентами и ими провоцируются. «Волнуются» крестьяне по «недоразумению», вовсе не собираясь ни обижать помещиков, ни итти против царя. На первое место либеральное дворянство ловко выдвигало взамен действительного классового антагонизма помещика и крестьянина другой, свежеизобретенный «антагонизм» либерального дворянина и бюрократии. Этот «антагонизм» имел свой остро звучавший для дворянства той эпохи политический эквивалент: дайте распоряжаться нам, либеральным дворянам, а не бюрократам, не Апраксиным, а Арцимовичам [19], и мировая с помещиками, на которую якобы вполне согласен «народ», будет полностью осуществлена. Все зло-де не в грабительском дворянском существе реформы, вызывающем волнения, а в грубости царской бюрократии и ее «неумении» обращаться с «народом». Эта классовая концепция прикрывала лишь аппетит к дворянской «конституции», разыгравшийся у фрондирующего дворянства эпохи «реформ».

Поэтому утверждение об «естественности» волнений явно било по либеральной дворянской концепции волнений. В этом утверждении вновь приходит на помощь Салтыкову сатирический художественный образ, действующий и тут в смысле революционном, тянущий его вывод к антидворянской стороне баррикады. Образ этот находится уже в следующей статье Салтыкова по вопросу о волнениях, в статье «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» [20], с него и начинается

статья. Этот образ настолько ярок и художественно силен, что необходимо привести целиком весь этот давно забытый и ни разу не переиздававшийся салтыковский текст, известный лишь специалистам:

«Представьте себе несчастного петербургского чиновника, который в течение тридцати и более лет своей службы ежедневно прохаживался из Галерной гавани в тот департамент, где он имел честь состоять писцом, и который давным-давно забыл мечтать о том, что есть на свете места помощников столоначальника, дающие человеку возможность износить в год лишнюю пару сапог; представьте себе этого чиновника, с надсаженною грудью, с поблекшим сердцем и с посрамленною вечным механическим трудом душою, и потом предположите, что этот забитый и загнанный судьбою человек совсем неожиданно получает известие, что где-то в Якутске скончался некто Прижимистый, который доводится ему чем-то вроде седьмой воды на киселе, и что по этому случаю ему достается наследство в миллион рублей. Как поступит, как поведет себя бедный труженик?»

«Что касается до меня, то я живо представляю себе его поведение. Прежде всего, думаю я, он не поверит полученному известию, и сомнения его рассеются уже тогда, когда объявляющий ему эту весть квартальный поручик назовет его «сиятельством». Потом, я полагаю, что он сочтет первым делом нагрубить своему столоначальнику и не встать с места при появлении начальника отделения. Потом он примется переписывать брошенную ему на стол бумагу, но работа пойдет худо и не скоро, и он, не окончив ее, сбежит из департамента туда, в свое отечество, в свою любезную гавань. Там он, что называется, закричит благим матом, созовет товарищей своего прежнего безотрадного существования и учинит дебошь, о которой долго между гаванцами будут переходить из рода в род преувеличенные рассказы».

«С точки зрения людей благонамеренных, мой бедный загнанный герой конечно должен бы поступить совершенно иначе. Он должен бы был прежде всего отправиться в храм Божий, потом сходить в баньку и вымыться, потом отправиться к своим добрым начальникам и испросить у них отпуска, потом пожалуй созвать своих сослуживцев и т. д. Одним словом, тихо и добропорядочно совлечь с себя ветхого человека и кротко и не брыкаясь прокрасться в новую жизнь».

«И тем не менее я отнюдь не удивляюсь, что герой мой идет не в баню, а в трактир, не просит отпуска, а бежит с поля сражения самовольно. Не удивляюсь я по следующим, довольно основательным в моих глазах причинам. Во-первых, думаю я, в жилах этого человека течет кровь, а не слякоть; весть, которую он получил, так доброгласна, что сердце невольно в нем заиграло, а в таком расположении души что может быть естественнее, как подпрыгнуть до потолка и показать, в некотором роде, язык своему прошедшему? Во-вторых, я не упускаю из вида и того, что в Галерной гавани о приятных и приличных манерах имеются понятия весьма смутные и что тамошнее comme il faut совсем не похоже на comme il faut Английской набережной; следовательно, рассуждаю я, отчего же герою моему не напиться отечественного, не отпраздновать своей радости по-своему, сообразно с теми привычками, на которые указывает вся проведенная доселе им жизнь?»

Прилагая этот образ к положению крестьян после реформы, Салтыков пишет в той же статье:

«Конечно было бы приятно и весело слышать, что крестьяне, выслушав эту весть, оделись в синие армяки, а крестьянки в праздничные сарафаны, что они вышли на улицу и стали играть хороводы, что, проиграв кротким манером до вечера, спокойно разошлись себе по домам и заснули сном невинных, с тем, чтобы на другой день вновь благонравно приняться за исполнение старых обязанностей. Но, увы! как ни соблазнительна подобного рода идиллия, едва ли однакожь она возможна на деле».

Непосредственно к описанию поведения чиновника, получившего наследство, примыкает анализ этого образа, даваемый самим Салтыковым. Анализ этот чрезвычайно любопытен. С одной стоороны, в нем налицо несомненный либеральный срыв, соскаль-

зывание на либеральные позиции, а с другой — внезапное и резко противоречащее первому утверждение, что крепостная реформа собственно оставляет мужику полную возможность даже жалеть о минувшем крепостном праве. Это последнее предположение связано с тем утверждением, что, собственно говоря, крепостничество после реформы осталось и даже не в горшей ли для крестьянина форме? Напомним, что эта характеристика пореформенного положения крестьянства полностью совпадает с установками публикуемого в настоящем номере документа «О взаимных отношениях помещиков и крестьян». И там фактически говорилось, через сеть маскировки и столкновения противоречивых утверждений, что «воля»-то, собственно говоря, попрежнему оставит в целости крепостные отношения. Формулировка этого последнего вывода в разбираемой



АРИНУШКА
Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем Художественный Листок» 1868—1869 гг.

сейчас статье дана Салтыковым в остро саркастической форме и развивает дальше только что обрисованный образ чиновника, получившего наследство:

«Поведение героя моего тем более кажется мне естественным, что оно безобидно, что, в сущности, оно даже не задевает никого. Я убежден, что пройдут дни увлечения, выбродятся дрожди, произведшие первое брожение,— и жизнь попрежнему войдет в естественную свою колею. Кто знает? Быть может прежняя, нудная гаваньская жизнь будет представляться ему даже в розовом цвете? Быть может, попривыкнув к явствам Донона и беседуя с бывшим своим сослуживцем, не получавшим наследства и потому живущим еще в гавани, он даже вздохнет полегоньку и скажет: «а ведь вы, канальи, там очень счастливы, а гавани-то?» Кто знает?»

В этом тексте налицо два утверждения: либеральное дворянское мнение о якобы «безобидности» крестьянских волнений и революционное, идущее по линии Чернышевского утверждение о крепостном характере «реформы», по существу не меняющей положения эксплоатируемого помещиком крестьянства.

В формулировках общего вывода также несомненно соскальзывание на либеральные позиции. Салтыков говорит о желательности «сближения» помещика с крестьянином:

«...всякий благомыслящий человек согласится, что в настоящее время все усилия должны быть направлены к тому, чтобы предпринятая правительством реформа прошла спокойно, без потрясений, и чтобы плодом ее было сближение двух заинтересованных в деле сословий, а не разъединение их».

Заметим сейчас же, что эта апелляция к «сближению сословий», черным по белому напечатанная от имени самого автора-Салтыкова в разбираемой сейчас статье, через два года (1863) зло просмеяна тем же Салтыковым в едком «летнем фельетоне» под названием «В деревне»[21], в следующих строках:

«Итак, если нет грибов, если воздух сух и душен, что остается делать в деревне землевладельцу? Ему представляется отличный случай наблюдать за нравами простолюдинов, приобщаться к их играм и забавам и вообще затеять в обширных размерах игру в сближение сословий...»

Далее следует замечательное описание этой игры и ее печального конца,—все кончается тем, что

«если в вас осталась хоть капля совестливости, вы повертите, повертите тросточкой и уйдете, поджавши хвост, домой. Отсюда правило: не затевай игру в сближение сословий, ибо такая попытка поведет лишь к бесплодной трате времени, конфузу и позднему раскаянию».

Возвращаясь к разбираемой статье, мы опять отмечаем, что несколько ниже автор вновь сталкивает лбом два противоречивых положения. Крестьянские волнения, по мнению Салтыкова, необходимо должны по самому своему свойству «притупиться и уступить обычному трезвому ходу жизни». Несколько ниже следует в корне противоположное утверждение: безгласность крестьян и злоупотребления помещиков после реформы могут иметь место. «И здесь-то именно может заключаться, по нашему мнению, единственный источник столкновений действительных и серьезных, против которых могут оказаться бессильными всякие убеждения».

Иными словами: крестьянские волнения несерьезны и обязательно прекратятся. Крестьянские волнения серьезны и будут продолжаться. И эти два утверждения — в непосредственной близости! Салтыков заканчивает свою статью опять-таки требованием гласности и судебного разбирательства дел о крестьянских волнениях, что якобы прекратит административные расправы с крестьянами. Статья заканчивается многозначительной апелляцией к «проницательному читателю», что, как известно, было в эпоху 60-х годов прямым указанием на двойной смысл статьи — цензурный и для «другачитателя».

«Проницательный читатель поймет, что утвердительное или отрицательное решение этого последнего вопроса отнюдь не чуждо тому, что составляет главный предмет настоящей статьи».

Под «этим последним вопросом» разумеется гласное судопроизводство по крестьянским волнениям.

Позиции Салтыкова в публицистических статьях по вопросу о крестьянских волнениях важно сопоставить с его отношением к тем конкретным случаям крестьянских волнений, с которыми он сталкивался во время своего тверского вице-губернаторства.

В переписке Салтыкова остались важные свидетельства об его отношении к крестьянским волнениям Тверской губ. в 1861 г. Приведем два чрезвычайно характерных текста. 11 мая 1861 г. Салтыков писал Якушкину из Твери:

«...Крестьянское дело в Тверской губернии идет довольно плохо. Губернское Присутствие очевидно впадает в сферу полиции, и в нем только и речи, что об экзекуциях. Покуда я ездил в Ярославль, уже сделано два распоряжения о вызове войск для экзекуции. Крестьяне не хотят и слышать о барщине и смешанной повинности, а помещики, вместо того чтобы уступить духу времени, только и вопиют о том, чтобы барщина выполнялась с помощью штыков. Я со своей стороны убеждаю, что военная экзе-

куция мало может оказать в таком деле помощи, но как лицо, постороннее занятиям Присутствия, имею успех весьма ограниченный. Впрочем я с своей стороны подал губернатору довольно энергический протест против распоряжений Присутствия и надеюсь, что на днях мне придется слететь с места за это действие. Всех хуже действует, всех громче и настоятельнее говорит о необходимости экзекуции Коробьин, с которым я даже перестал кланяться из-за этого...»

В конце мая 1861 г. Салтыков вновь писал Якушкину о крестьянских волнениях:

«...Крестьянское дело идет в Тверской губернии столь же плохо, как и в Ярославской. В течение мая месяца было шесть [зачеркнуто: «четыре»] экзекуций: в одной выпороли 17 человек, в другой троих, в третьей двоих; в трех случаях солдатики постояли-постояли и ушли. Но с тех пор, как вступили в должность мировые посредники, потребность в экзекуциях начинает ослабевать. Гр. Баранов очевидно действует таким образом по слабости рассудка; им совершенно овладел Коробьин, который рассвирепел ужасно и с которым вследствие сего я перестал кланяться. Вам быть может покажется ребячеством с моей стороны подобная штука, но увы! Я и до сих пор не всегда умею скрывать свои чувства, особенно если это чувства омерзения. Свирепость Коробьина произошла от того, что он получил известие, что в Михайловском уезде (Рязанской губ.), где у него находится имение, крестьяне ворвались в Земский суд и стоптали исправника. Отсюда ярость, отсюда приурочение личной боязни к принципу общему. «Это они пробуют свои силы» — вопиет Коробьин. «Свои силы» — бессознательно повторяет Баранов и вслед за этим краснеет. И, несмотря на свою стыдливость, посылает команды. Я пытался усовещевать его, подал даже формальную бумагу с доказательствами нелепости его действий; но и тут Коробьин подпакостил: «пускай, говорит, волнуется, а вы идите себе своей дорогой: вас, говорит, за бездействие власти под суд отдадут». С тех пор Баранов встречается со мной и краснеет, краснеет и посылает команды».

«Об Арнаутовском погроме нам кое-что известно и здесь. Командир полка, бывшего на экзекуции, доносил начальнику дивизии (полк квартирует в Кашине), что один эскадрон еще оставлен в имении с таким распоряжением: выводить людей каждый день



ЩЕДРИН У ЖИВНОВСКОГО

Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам» 1868—1869 гг.
Третьяковская Галлерея, Москва

на барщину и каждый же день резать по крестьянской корове на мясные порции. Дубельт, перед отправлением в экспедицию, был в Твери и говорил другу своему Баранову: «я стрелять не стану, а только всех их кур и коров передушу». И Баранов ничего, даже не замахнулся на своего друга, даже не назвал его сукиным сыном. Я слышал это от очевидца, которому можно дать полное вероятие».

В июне 1861 г. появился в печати ответ Ржевского Салтыкову по вопросу о мировых посредниках [22]. Переврав в целях издевательства салтыковские мысли о мировых посредниках, Ржевский, играя на модном противопоставлении либерального дворянина бюрократии, всячески стремится приписать Салтыкову защиту последней. Салтыков-де более всего хлопочет об облегчении губернаторов, стремится всячески ущемить бедных мировых посредников, пекущихся об общем благе, следовательно сам Салтыков никто иной, как бюрократ. Важно подчеркнуть, что эта статья Ржевского — не что иное как лай на Салтыкова с либерально-дворянских позиций. Несмотря на частичные либеральные срывы Салтыкова, либералов не обмануло их классовое чутье. Они отлично учуяли врага в Салтыкове и, учуяв врага, не замедлили донести на него по начальству. В этом доносе, как солнце в малой капле вод, отразилось предательское существо либерального российского дворянина: бюрократия царская—«враг», но чуть где запахнет революцией, либерал прячется под крыло этого самого «врага» и строчит политический донос именно ему. Салтыков приравнивается Ржевским к «комиссару Ледрю-Роллена» и Бабефу и обвиняется в том, что разделяет убеждения социализма. Вот это замечательное место статьи Ржевского:

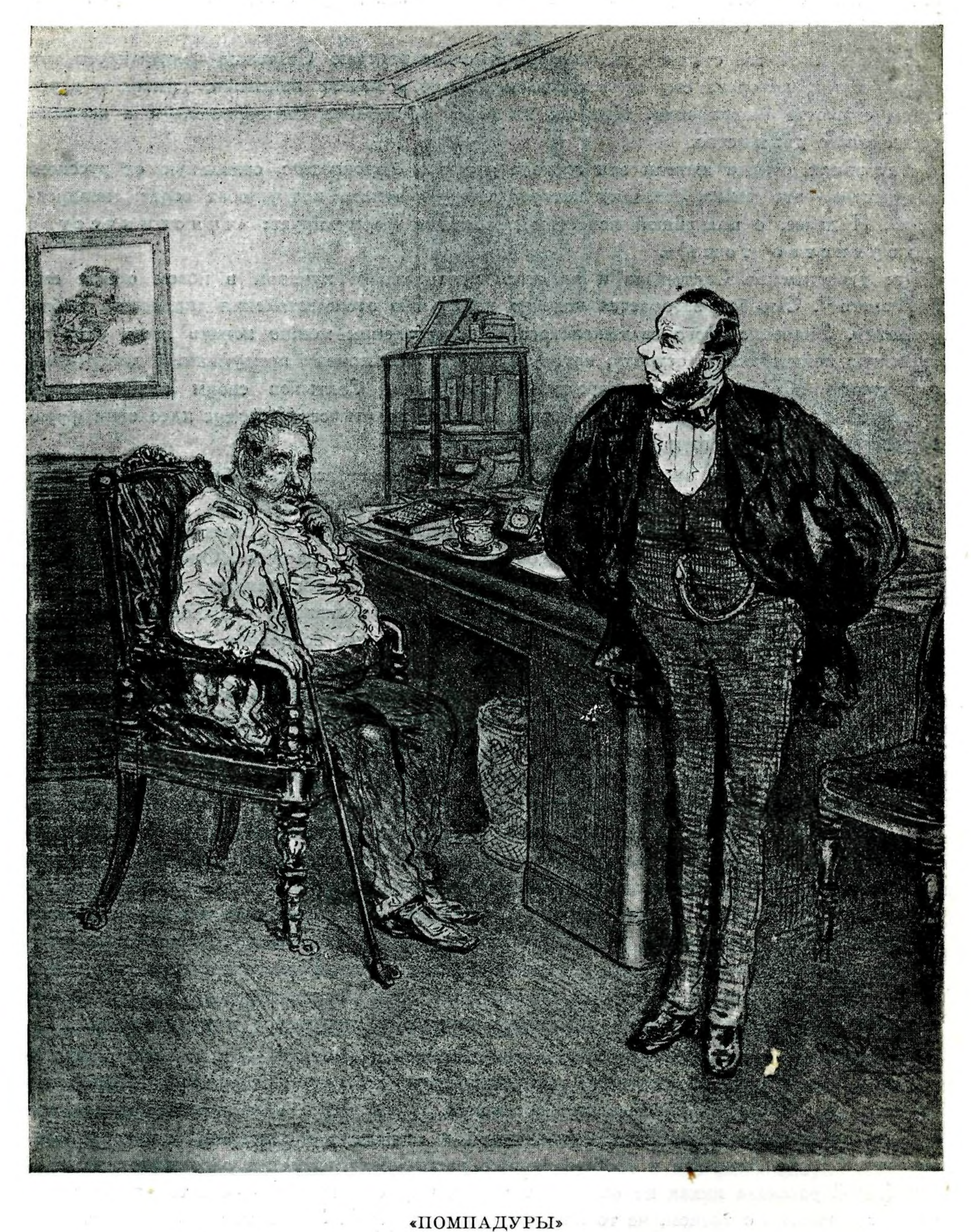
«...результат совершенно одинаков, из какого бы принципа ни происходило нарушение справедливости, стеснение личной свободы, оглупление народа, и все то, в чем крайние партии так охотно подают друг другу руку. Между безответственным комиссаром Ледрю-Роллена и пашою азиатского деспота я не нахожу никакого различия, кроме разности в костюме, форме, обстановке и т. д. Для того чтобы действия лиц, облеченных властию, были полезны, необходимо, чтобы эти лица, действовали, во-первых, беспристрастно, во-вторых—разумно. Я полагаю, что материальный достаток и образование скорее облегчают, нежели затрудняют достижение этих условий. Мне очень хорошо известно, что существуют две школы, которые думают противное, это школа француза Бабефа и русского полковника Скалозуба. По их мнению, чем человек беднее и неразвитее, тем он полезнее как общественный деятель. Не пускаясь в опровержение мнения этих передовых людей, я только заявляю, что я его нисколько не разделяю»...

«Желая приискать какое-либо оправдание тому заблуждению, в которое впал автор статьи об ответственности мировых посредников, я полагаю, что он увлекся направлением известной школы реформаторов, желающих во что бы то ни стало благодетельствовать низшим классам».

В «Ответе Ржевскому» Салтыков дал блестящую отповедь этим «полемическим» приемам своего оппонента. Общая характеристика этой «полемической» манеры противника подлинно по-салтыковски блестяща:

«Когда покойный Ф. Булгарин,— пишет Салтыков,— намеревался уязвить кого-нибудь из современных ему писателей, то руководился при этом следующим любезным правилом: подбери из сочинений подлежащего уязвлению автора несколько отрывочных фраз без всякой связи с последующим и предыдущим, оболги автора по мере убогих сил своих и затем придай статье своей форму доношения».

Далее, в примечании, Салтыков дает Ржевскому отповедь и по линии его дворянской апелляции к культуре и ее представителям—Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Тургеневу и другим, которые, по мнению Ржевского, самим фактом своего дворянства обосновывают исконную дворянскую «образованность» и стало быть дворянское право на политическую власть: «Вот одно из доказательств, на котором г. Ржевский строит свою теорию о праве дворянства на политическое преобладание в государстве. По-нашему, это не право, а только средство, равно доступное каждому сословию. И притом, что это такое: упрек ли, сожаление ли, или просто оскорбление? Если это упрек, то справедливость требовала разъяснить и причины, вследствие которых «прочие классы» не могли



«ПОМПАДУРЫ»

Литографированный рисунок А. Лебедева из альбома «Щедринские типы», издание «Стрекозы» 1880 г.

выделить из себя столько замечательных деятелей, как дворянство, и тогда быть может упрек пал бы сам собой».

Далее в этой же статье с великолепной отчетливостью Салтыков формулирует тот самый вывод, которого ему мучительно нехватало в начале полемики,— вывод о классовом существе бюрократии. Как бы ни была обособлена бюрократия,— она все-таки то же самое дворянство.

«Где взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократию, отдельную от русского дворянства,—это тайна, разгадку которой следует искать в трущобах сердец ноздревских». И далее, с полнейшей ясностью, Салтыков формулирует: «чиновничество (дворянство тожь)».

Это утверждение Салтыкова и является центральным пунктом в новом ответе ему Ржевского[23]. Сыр-бор загорается конечно по случаю отождествления дворянства и бюрократии. Значение этого салтыковского отождествления можно понять лишь учтя ту огромную политическую остроту, которую имел в тот момент придуманный либералами «антагонизм»: «бюрократ — либеральный дворянин». Салтыков своим разоблачением классовой сути царской бюрократии попал в самое политическое сердце идеологии фрондирующего либерального дворянства 60-х годов.

Ответ Салтыкова на этот новый выпад Ржевского остался неопубликованным. Но те цитаты его, которые приведены в «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова» К. Арсеньевым, поистине замечательны. Из предыдущих статей Салтыкова было ясно, что он вплотную подошел к формулировке классовой сути царизма. Он уже определил бюрократа как дворянина. Возражая определению бюрократии, данному Ржевским, Салтыков пишет: «Гораздо справедливее и проще было бы сказать, что бюрократия представляет собою в государстве орган центральной власти, которая в свою очередь служит представительницей интересов и целей государственных». Подставим в эту салтыковскую формулу ранее данное им значение «неизвестного» — «чиновничество (дворянство тожь)»—и мы уже почти имеем классовое определение существа царизма. Поскольку мы не имеем подлинника этой статьи и пользуемся чужой цитацией, по этому вопросу больше нельзя ничего сказать. Но о том, как близко подошел Салтыков к формулировке революционных лозунгов своей эпохи, свидетельствует еще одна цитата, приводимая К. Арсеньевым из того же последнего ответа Ржевскому. Ржевский обвинял Салтыкова в том, что он не уважает общественного мнения. Возражая, Салтыков говорит, что не всегда подобает играть роль Молчалина по отношению к общественному мнению: «Бывают общества, где эксплоатация человека человеком, биение по зубам и пр. считаются не только обыденным делом, но даже рассматриваются местными философами и юристами с точки зрения права. Благоговеть перед мнениями таких обществ было бы не только безрассудно, но и бессмысленно». Столь блестяще и отчетливо выраженная мысль Салтыкова конечно не нуждается в комментариях.

Заметим, что и самый венец либерально-дворянских мечтаний — дворянская «конституция»—подвергался неоднократно сатирическому обстрелу Салтыкова. Дворянские проекты в духе Н. Безобразова просмеяны в рассказе «Культурная тоска», где имеется знаменитое приравнение конституции к «севрюжине с хреном», позже использованное не раз Лениным и вообще широко распространившееся в революционных кругах (герой рассказа никак не определит точно, чего ему хочется — «не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать»). Заметим, что в 1863 г. Салтыков дает чрезвычайно ядовитое сатирическое изображение «дворянской конституции» в «летнем фельетоне» под заглавием «В деревне», не вошедшем в его собрание сочинений[24]. Тут убийственно-едко описана «конституция», введенная в своей деревне помещиком Многоболтаевым.

Мы подошли к итогам.

Политическое миросозерцание Салтыкова эпохи 1858—1861 гг. звучит не вполне в унисон с объективно-революционным значением его художественных произведений. Салтыков-публицист эпохи «реформ» имеет либеральные срывы, дает целый ряд политических формулировок, тождественных или близких либерально-дворянскому лагерю.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ
БОРИСА ГРИГОРЬЕВА К «ТЕТУШКЕ
АНФИСЕ ПОРФИРЬЕВНЕ» ИЗ
«ПОШЕХОНСКОЙ СТАРИНЫ», 1923 г.



Эти срывы идут чаще всего по линии либерально-буржуазной оценки государства как некоей надклассовой силы, по линии переоценки «земства» и «гласности». Но либерально-дворянский лагерь отнюдь не желал признать Салтыкова за «своего», в резкой форме полемизировал с ним и доносил на него правительству как на «социалиста». Это было связано с общей антидворянской и антиправительственной линией салтыковской публицистики, хотя и соскальзывающей подчас на чуждые ей классовые позиции.

В тесной связи с изложенным выше стоит вопрос о роли художественно-сатирического образа в салтыковской публицистике. Этот образ, как правило, является ведущей силой по линии правильных, революционных по существу политических установок. Художественный образ в публицистике Салтыкова — сила, тянущая к революционной формулировке, а не к либеральному срыву. Там, где в тексте публицистической статьи начинает работать художественный образ,— полнее политическое звучание антидворянских формулировок, заостреннее антикрепостническая тенденция.

Особо надо остановиться на вопросе о крестьянской революции. Салтыков считал крестьянские восстания против помещиков «естественными», что резко било по либерально-дворянской концепции крестьянских восстаний, разоблачало либерально-дворянское замазывание основного классового антагонизма эпохи — помещика и крестьянина. Но он решительно не мог видеть в восставшем крестьянине решающей и основной революционной силы. История показала, что он был прав. Пролетариат — единственный до конца революционный класс, руководитель крестьянства в его революционной борьбе — еще не выступил в то время как решающая сила на историческую сцену. Салтыков не видел и не мог видеть в 60—70-х годах прошлого века пролетариата как гегемона революционного движения. Салтыков не верил в революционное движение крестьянства его эпохи. Это глубочайшее его убеждение своеобразно отразилось в его художественном творчестве. Огромнейшее место занимает в нем проблема крестьянской пассивности. Безысходная покорность вековому угнетению, забитость, приниженность, бездеятельное, страдательное перенесение эксплоатации — это одна из центральнейших салтыковских тем, особенно ярко развивающихся в творчестве Салтыкова после 1861 г. Этот факт — не что иное как преломление в творческой призме Салтыкова краха революционной ситуации конца 50-х и начала 60-х годов, неудачи крестьянского движения, взлетевшего было высокой волной, но сейчас же рассыпавшегося и иссякшего в крестьянской «стихийности»,

неорганизованности и политической беспомощности. Образы «коняги», Миши и Вани, собирающихся наложить на себя руки, чтобы рассказать богу, как их била и тиранила помещица, крепостного, лижущего по барскому приказу горячую печь, мужа, секущего свою жену по приказанию помещицы, бесчисленные художественные образы того, как разумные существа, знающие, что их ожидает истязание или позор, собственными ногами идут для того, чтобы получить это истязание или позор,— все эти образы Салтыкова, перечислением которых можно заполнить не одну страницу, не что иное, как преломление в его художественном творчестве краха революционной ситуации конца 50-х и начала 60-х годов. Эти художественные образы хочется сопоставить со словами Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов — сверху донизу все рабы», которые Ленин назвал словами величайшей любви к родине.

Духовная драма Салтыкова и глубочайший его пессимизм уходят своими корнями в ту же почву, что и духовная драма Герцена. Эта драма, по словам Ленина, «была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела» [25]. В эту же почву уходил корнями и утопический социализм Чернышевского, «который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма» [26].

М. Нечкина

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Курсив в цитатах всюду мой, за исключением специально оговоренных случаев.—*М. Н.*

[2] Цитата не совсем точна, так как в циркуляре министра внутренних дел Ланского стоит не «предоставляется», а «оставляется», но существа дела это не меняет, тем более, что именно этот глагол «предоставляется» стоит в «высочайшем» рескрипте Александра II на имя Назимова, за которым и последовал известный циркуляр Ланского.

[3] По переписке Салтыкова, относящейся к несколько более позднему периоду, мы знаем, что во время губернаторства Муравьева Салтыкова хотели судить за демократизм (письмо к Анненкову от 29 дек. 1859 г.). В письме от 16 января 1860 г. Салтыков пишет тому же Анненкову, что у него от служебных отношений беспрестанно «поднимается вся желчь». Вероятно то же самое состояние испытывал Салтыков и в период составления «Записки о взаимных отношениях помещиков и крестьян» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. 1845—1889. Под ред. Н. В. Яковлева при участии Б. Л. Модзалевского. Лгр. ГИЗ, 1924, стр. 18 и 19).

[4] Ленин. Что такое друзья народа. Сочинения, т. I.

[5] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III, стр. 233.

[6] См. вводную статью «Салтыков-Щедрин у Ленина» к указателю Е. Макаровой, помещенному в этом же томе «Литературного Наследства».

[7] Публицистические статьи Салтыкова недостаточно исследованы. Наиболее подробно останавливается на них В. И. Семевский в работе «Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях М. Е. Салтыкова». Изд. Н. Парамонова. «Донская Речь», Ростов-на-Дону, стр. 19—25.

Ср. статью К. «Отношение М. Е. Салтыкова к крестьянскому вопросу» («Русские Ведомости», № 121 от 5 мая 1893 г.), представляющую собою пересказ и разбор работы В. И. Семевского.

[8] В самом тексте публицистических статей Салтыкова имеются прямые указания на произведенные в них изменения цензурного характера. Так, в своем «Ответе г. Ржевскому» («Современная Летопись» от 20 июня, № 15 за 1861 г.) Салтыков пишет: «Статья моя «Об ответственности мировых посредников» напечатана в «Московских Ведомостях» не совсем в том виде, в каком была мною написана, выражения «найдутся средства», на которое так сильно напирает г. Ржевский, даже вовсе в ней не было...»

[9] Собрание сочинений, изд. Маркса, т. I, стр. 87.

[10] Заметим, что в 1862 г. Салтыков сатирически упоминает о Ржевском в очерке «К читателю», составляющем введение к «Сатирам в прозе». Издеваясь над конституционными вожделениями либерального дворянства и над тем, как «нищие духом разевают от умиления рты» по этому случаю, Салтыков замечает, что они (нищие духом) даже «начинают подозревать, что между ними сидит, по малой мере, сам знаменитый публицист

и защитник свободы Ржевский, путешествующий инкогнито в скрытом образе господина Юматова (Юпитер в образе лебедя)». («Современник» 1862, № 2). Юматов — один из издателей реакционной газеты «Весть».

[11] Ср. «Восстание в Бездне», «Красный Архив», т. XXXV.

[12] Статья вызвала ответ Н. Карцова в той же «Современной Летописи» (1861, № 50), где автор критикует выдвигаемые Салтыковым проекты участия помещика в мирском крестьянском обществе и податного уравнения помещика с крестьянами.

[13] «Современная Летопись» 1861, № 42, октябрь.

[14] Унковский был выслан в Вятку в феврале 1860 г.

[15] Эта и все предыдущие цитаты Ржевского взяты из его статьи «Несколько слов о дворянстве» («Наше Время» 1861, № 11).

[16] «Московские Ведомости» 1861, № 9.

[17] «Московские Ведомости» 1861, № 94.

[18] Генерал-майор, не менее «знаменитый», чем Апраксин, «прославился» кровавым подавлением восстания в Кандеевке, Пензенской губ., происшедшем раньше Бездны — 5 апреля 1861 г.

[19] Арцимович—фамилия либерального калужского губернатора, политику которого в деле усмирения волнения на Мальцевских заводах 1861 г. бурно одобряло все либеральное дворянство.

[20] «Московские Ведомости» 1861, № 128 от 11 июня.

[21] «В деревне. Летний фельетон» — «Современник», т. XCVII, 1863, август, стр. 182.

[22] Ржевский, В., Ответ на статью Салтыкова об ответственности мировых посредников.— «Современная Летопись», № 22, июнь 1861 г. «Современной Летописью» называлось еженедельное приложение к «Русскому Вестнику».

[23] Ржевский, В., Письмо к редактору «Русского Вестника» по случаю полемики с Салтыковым об ответственности мировых посредников. — «Современная Летопись» 1861, № 30, июль.

[24] «Современник» 1863, август, стр. 173 и сл.

[25] Ленин. Сочинения, т. XV, стр. 465, статья «Памяти Герцена». Курсив Ленина. Выражение «духовная драма» также принадлежит Ленину.

[26] Ленин. Сочинения, т. XV, стр. 144, статья «Крестьянсакя реформа» и пролетарско-крестьянская революция». Курсив мой.—*М. Н.*

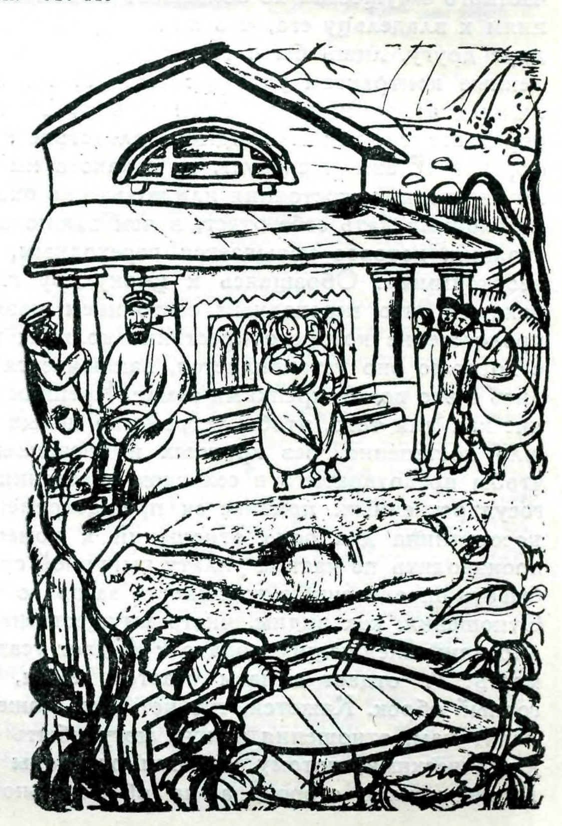


ИЛЛЮСТРАЦИЯ БОРИСА ГРИГОРЬЕВА К «ТЕТУШКЕ АНФИСЕ ПОРФИРЬЕВНЕ» ИЗ «ПОШЕХОНСКОЙ СТАРИНЫ», 1923 г.

ЗАМЕТКА О ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПОМЕЩИКОВ И КРЕСТЬЯН

Меры правительства по изменению и устройству быта помещичьих крестьян должны дать начало целому ряду новых отношений, доселе нам совершенно неизвестных. В настоящей заметке мы желаем коснуться исключительно одной категории этих отношений и именно той, которая определяет будущее положение крестьянина в личных сношениях его с помещиком.

Прежде всего встречается здесь вопрос, какого рода могут быть отношения крестьянина к помещику: исключительно ли имущественные, как наемщика известного имущества к совладельцу, или вместе и имущественные и личные? Что касается до первых, то не может быть подвержено сомнению, что, по крайней мере, в продолжение первых двенадцати лет, когда крестьяне за отведенные им в пользование помещиками земли будут обязаны отбывать определенные денежные или натуральные повинности, и когда вместе с тем они будут лишены права переходить с места на место, между ними и помещиками должны завязаться весьма тесные сношения, имеющие характер имущественный. Но, несмотря на свою особенность, эти отношения не представляют существенного отличия от тех, какие могут существовать между кортомщиком и владельцем всякого другого имущества. Это отношения двух участвующих в контракте сторон, и хотя здесь нет контракта писанного, однако это нисколько не изменяет существа дела, потому что обязательность имущественных отношений в этом случае так же действительна, как и обязательная сила контракта. Совершенно другое дело отношения личные. Здесь мы видим, что обыкновенный или свободный наем частного имущества не обязывает нанимателя ни к каким личным отношениям к владельцу его, что они могут остаться лично совершенно чуждыми друг другу, лишь бы с той и другой стороны были соблюдены постановленные контрактом условия. Следует ли эту свободу и необязательность личных отношений перенести и в ту юридическую сферу, которая имеет образоваться, как необходимое следствие предпринятой правительством реформы? И ежели следует, то с какого именно времени, то-есть с началом ли переходного состояния или только по окончании его? Но предварительно необходимо дать себе отчет, в чем заключается истинное значение того состояния, которое называется переходным, и в каких видах оно является необходимым. Обращаясь к циркуляру г. министра внутренних дел, мы находим, что переходным состоянием называется тот период времени, в продолжение которого крестьяне должны выкупить свои усадьбы, а цель, с которою оно установляется, заключается в том, чтобы крестьяне оставались в это время крепкими земле. Крепкими земле должны остаться крестьяне как для того, чтобы устройство новых поземельных отношений произошло постепенно, без крупных и внезапных потрясений, так и для того, чтобы предотвратить в сельском населении подвижность, которая, в видах государственных, признается преждевременною. Из этого возникают для крестьянина два рода отношений к помещику: во-первых, обязанность производить по частям уплату выкупной суммы, во-вторых, обязанность отбывать определенную повинность за право пользования пахотными землями. Отношения, как видим, чисто имущественные, которые могут быть формулированы следующим образом: А дает усадьбу, Б выплачивает ему ее стоимость; А отдает в наем участок земли, Б уплачивает ему за это ежегодный оброк. Кажется, тут нет и не может быть недоразумений. Но, возразят нам, отношения эти не могут быть названы в полном смысле слова юридическими, потому что они основаны не на обоюдном согласии договаривающихся сторон, а на обязательной силе высшего распоряжения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ БОРИСА ГРИГОРЬЕВА К «ТЕТУШКЕ АНФИСЕ ПОРФИРЬЕВНЕ» ИЗ «ПОШЕХОНСКОЙ СТАРИНЫ», 1923 г.



истекшего из начал государственной необходимости; следовательно, тут и норма оброка, платимого за землю, и самое количество земли, отводимой в пользование,— всё определено заранее, так сказать, фаталистически.

Согласны, тем не менее, однакож, каким бы порядком ни были определены отношения крестьянина к помещику, они все-таки такого рода, что изменение их не зависит ни от той ни от другой стороны; все-таки значит, они имеют всю твердость юридических отношений, ибо помещик даже в продолжение переходного состояния не будет иметь право требовать отправления иных каких-либо повинностей, кроме тех, которые будут определены подлежащим губ[ернским] комитетом и утверждены правительством. Следовательно, приведенное выше возражение может вести лишь к тому, что для обсуждения столкновений, которые могут возникать из такого рода исключительных отношений, необходим также и исключительный суд, но не более того. Удовлетворение этой потребности уже предусмотрено в предположении об учреждении особых уездных присутствий, которых назначение должно заключаться именно в разборе недоразумений между помещиками и крестьянами по их взаимным имущественным отношениям. Где же во всем этом предлог для продолжения личных отношений между крестьянином и помещиком, или, лучше сказать, для продолжения личной зависимости крестьянина от помещика, ибо, при неравенстве условий, личные отношения без личной зависимости немыслимы.

Предлога этого (по крайней мере внешнего) ищут в том, что «вотчинная полиция предоставляется помещику». Слова эти истолковываются весьма различно. Одни полагают, что на время переходного состояния необходимо вооружить помещика понудительными средствами или точнее правом наказания, как единственным путем для обеспечения исправного отправления повинностей. Но это толкование, очевидно, несостоятельно,

ибо обязанности полиции не в том только состоят, чтобы наблюдать за выгодами помещика: помещик, делаясь полицеймейстером своего имения, становится вместе с тем и органом общей государственной полиции, и в этом качестве нередко должен будет найтись в явном противоречии со своими выгодами. Всё это, как мы увидим далее, не только возможно, но и должно. Другие идут далее и смотрят на помещиков, как на прирожденных полицеймейстеров в районе своих имений, которым принадлежит право полицейской расправы не только в тесной сфере отношений, образующихся между помещиком и крестьянином, но и в смысле более обширном, государственном, и не только на время переходного состояния, но и на вечные времена.

Посмотрим, в какой степени возможно применять к означенным выше словам, лишь в общих чертах характеризующим будущее устройство вотчинной полиции, подобные матерьяльные и даже более чем буквальные толкования.

Представим себе помещика, сделавшегося полицеймейстером своего имения. В чем могут заключаться его полицейские права и обязанности относительно крестьян, кроме права наказывать крестьян за неисправное отправление господских повинностей? По общим законам, обязанности полиции обнимают охранение православной веры и прав церкви, охранение общественной тишины и спокойствия, наблюдение за нравственностью, за ненарушением правил, предписываемых особыми уставами о паспортах, о производстве торговли, о народном здравии и т. п. Из числа сих обязанностей вполне только одна, а именно: наблюдение за нравственностью, и частью тоже одна: охранение общественной тишины и спокойствия предоставлялись доныне помещикам и составляли одну из характеристических черт того, что мы называем крепостным правом; прочие же и доселе подлежали ведению общей полиции. Такой порядок вещей весьма рационален: вера, церковь, народное здравие, торговля — всё это такие понятия, которые выходят из узкой сферы частных интересов, и как бы ни была велика сила обстоятельств, допускающая временное владычество частного на счет общего, тем не менее в сфере народной жизни все-таки найдутся такие явления, на которые нельзя смотреть иначе как с высшей точки зрения, оставив в стороне всё прошлое и случайное. Как ни сильно пустило корни крепостное право во все общественные отношения, все-таки оно не могло проникнуть их до такой степени, чтобы связать с собою участь всего государственного организма, и овладело только одною самомалейшею частью одной из отраслей государственного управления: полиции. Правда, что все предметы полицейской деятельности так тесно между собою связаны, что нельзя уступить из них одного, чтобы прочие от этого не пострадали. Таким образом, мы видим, что, при возможности распоряжаться личностью крестьянина, помещики и мало-по-малу сделались судьями и в делах, подлежащих ведению общей полиции, потому что нередко от произвола их зависит или отдать известное преступное действие на суд полиции, или ограничиться относительно его домашнею расправою. Но все-таки это не более как злоупотребление, конечно, необходимо вытекающее из практики, но законом оно допущено не было, и всегда подвергалось его преследованию. Да притом это положение вещей, которого корни питаются отживающим свое время крепостным правом, и не может служить образцом для будущего полицейского устройства, по той простой причине, что не будет тех условий, которые его породили. Нам скажут, быть может, что помещик, делаясь полицеймейстером в районе своего имения, этим самым становится на ту общую точку зрения, которая необходима для того, чтобы исполнять полицейские обязанности сообразно с требованием закона и общих государственных нужд. Мы и не отрицаем для помещика возможности лично

стать на эту точку, но утверждаем, что эта возможность останется для него навсегда недостижимою, коль скоро он будет окружен теми условиями, в которые ставит его необходимость быть полицеймейстером именно той местности, к которой он привязан фаталистически. Не забудем, что именно здесь, а не в другой местности, имеются у помещика к крестьянам отношения имущественные, которые могут беспрестанно ставить его в положение истца. Кто поручится, что помещик эти отношения не будет вносить в сферу своей полицейской деятельности? Очевидно, что приманка слишком привлекательна, чтобы большинство не устремилось к ней, как к единственному средству, которое дает ему возможность по желанию и без хлопот устроить свои личные интересы. Очевидно также, что, при таком смешении понятий частного и общего, крепостное право не только не будет de facto уничтожено, но даже вся полицейская деятельность, в полном своем составе, сделается частною собственностью, и мы не замедлим возвратиться к средневековым воззрениям на существо и значение правительственных учреждений.

Но пойдем далее: допустим, что ни один помещик не увлечется до такой степени своими личными отношениями, чтобы упустить из виду обязанности, возложенные на него как на орган общей полиции. Какая смесь разнообразных воззрений на существо полицейских обязанностей и на способы выполнения представляется глазам нашим! Воззрений неуловимых и недостижимых ни для какого контроля, потому что как бы ни был сложен и искусно организован правительственный контроль, он никогда не может быть доведен до той степени растяжимости, которая дала бы ему возможность простирать свое действие на все эти чуть заметные дроби, которые называются поместьями. Да притом, можно ли поручиться, что контроль этот действительно будет полезен? Не следует ли, напротив того, думать, что как скоро однажды допущен известный порядок вещей, то контроль над ним будет проникнут тем же политическим элементом, который присутствовал и при самой организации этого порядка? А сколько поводов к злоупотреблениям со стороны контролирующих чиновников? И кому поручить контроль? И какой контроль? контроль самый мелочный, самый придирчивый.

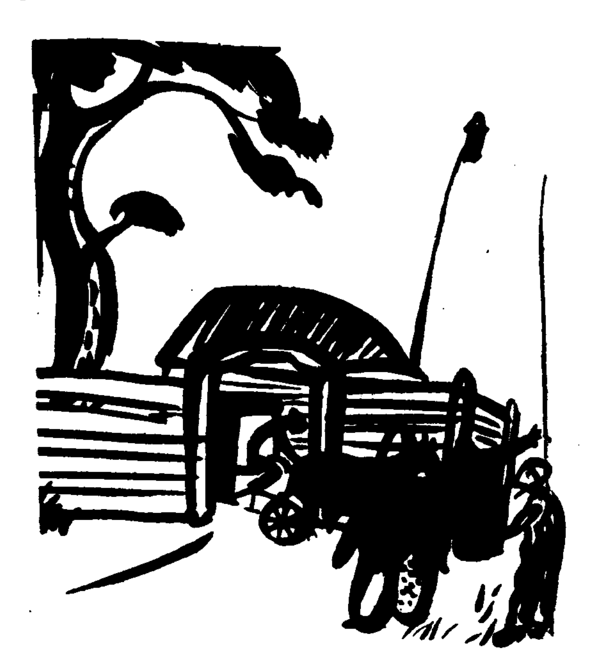


ИЛЛЮСТРАЦИЯ
БОРИСА ГРИГОРЬЕВА К «ТЕТУШКЕ АНФИСЕ ПОРФИРЬЕВНЕ» ИЗ «ПОШЕХОНСКОЙ СТАРИНЫ», 1923 г.

влекущий за собой огромное бумажное производство, контроль, не приводящий ни к какому существенному результату, живущий, как паразит, на счет дела, к которому приставлен, но тем не менее совершенно независимо от него! Положение фальшивое и вместе с тем едва ли не безнравственное.

Все эти вопросы еще более усложняются, если мы вникнем глубже в различные условия и способы управления помещичьими имениями и в разнообразные качества управляющих. Во-первых, никто не будет отрицать, что и между помещиками, хотя они принадлежат к сословию, стоящему во главе просвещения, могут найтись люди не вполне благонадежные, и что еще более найдется таких, которые если не совершенно незнакомы, то во всяком случае знакомы слишком поверхностно и с законами и с способами их применения. Как поступать в таких случаях? Оставлять ли исполнение полицейских обязанонстей в жертву неспособности и самой неблагонамеренности? или заменять неспособных помещиков другими лицами, по выбору от правительства? В первом случае, весьма легко предвидеть, какие могут быть последствия; во втором, вмешательство правительства будет явным нарушением прав помещика, ибо если сохранены между ним и крестьянином личные отношения, то очевидно, что судьею в этих личных отношениях, столь тесно связанных с отношениями имущественными, может быть не кто иной, как сам помещик, и всякая замена, происходящая не с его свободного и невынужденного согласия, есть нарушение не только личных прав его (за правами он, пожалуй, и не погонится), но и матерьяльных выгод. Стало быть, в обоих случаях положение будет весьма странное, если не безвыходное. Во-вторых, как мы сказали выше, управление помещичьими имениями бывает весьма различно: в одних существует личное управление помещика, в других он управляет через доверенное лицо, в третьих, наконец, через выборных от самих крестьян, только под наблюдением или самого помещика или его управляющего. Есть и другие условия, которые оказывают решительное влияние на способы управления, и которые не исчезнут даже с введением нового порядка вещей, а именно: в одних имениях существуют отношения барщинские, в других только денежные или оброчные. Наконец, явятся и такие имения, в которых крестьяне, посредством выкупа или иным путем, приобретут себе от помещика участок земли в свою полную собственность. Если сохранить непосредственные личные отношения помещика к крестьянам, то для каждого из упомянутых выше условий управления потребуется совершенно особый устав, в котором нужно будет определить, в какой мере, в каждом из вышеприведенных случаев, помещик может простирать к крестьянам свое полицейское домогательство. И тогда странное зрелище представится глазам нашим; будут рядом существовать следующие полиции: полиция барщинских имений, полиция оброчных имений, полиция имений выкупившихся с землей, полиция казенных имений, полиция удельных имений, полиция горнозаводских имений, находящихся на посессионном праве, полиция горнозаводских казенных имений и пр. И над всем этим носится общая государственная полиция, которая теряется в этих подразделениях и недоразумениях, которая не может ни к чему приступиться, не припомнив себе бездны различных изъятий, и которой действие на каждом шагу подрывается скрытным действием этих частных полиций.

Вот к каким результатам приводит нас буквальное толкование слов: «вотчинная полиция предоставляется помещикам». И напрасно будут нам говорить, что такое облечение помещиков полицейской властью обязательно только на время переходного состояния: во-первых, ни из чего не видно, чтобы обязательность этого правила простиралась именно на двенадцать лет, а не далее, а во втором, подобное положение вещей не только на двенадцать лет, но и на одну минуту не может быть признано возможным.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ БОРИСА ГРИГОРЬЕВА К «ТЕТУШКЕ АНФИСЕ ПОРФИРЬЕВНЕ» ИЗ «ПОШЕХОНСКОЙ СТАРИНЫ», 1923 г.



Утверждают, что необходимость предупреждения неисправности со стороны крестьян в отбывании господских повинностей есть уже достаточный повод для облегчения помещиков личною полицейскою властью, но как же не сознать, что предупреждение это принадлежит к разряду отношений имущественных, не имеющих ничего общего с личными, что для разбора первых могут быть и действительно будут учреждены особые присутствия, которые вполне удовлетворят своему назначению, и что, наконец, имущественные отношения могут продолжиться и далее 12-летнего периода, и что следовательно, связывая их с отношениями личными, необходимо будет и для последних продолжить срок на неопределенное время.

Согласны мы, что по существу и способу отправления полевых работ, там где существуют барщинские отношения, не все равно, сейчас ли принять меры для понуждения крестьян, или ожидать этого понуждения от сторонней полицейской власти. Но во-первых, это затруднение может быть устранено установлением таких штрафов, которые служили бы вместе и вознаграждением помещичьего ущерба и предупреждением для крестьян на будущее время; во-вторых, с предоставлением помещику права наказания, нельзя уклониться и от определения матерьяльных способов этой расправы. В чем будет заключаться этот способ? если в телесном наказании, то он имеет ту невыгоду, что не вознаграждает помещика за ущерб, и сверх того, предоставленный усмотрению частного лица, он слишком напоминает о крепостном праве, чтобы желательно было удержать его. Прибавляют, что наказание может быть окружено гарантиями для крестьян, как например: мера его должна быть определена законом, оно должно совершаться в присутствии выборных с объявлением вины, и, наконец, крестьянину должно быть предоставлено право жалобы на злоупотребления. Все это действительно пред-

ставляет значительное усовершенствование против ныне существующих способов проявления помещичьей власти; однако существенных гарантий для крестьян мы все-таки не замечаем. Гарантия наказания заключается в его законности, в той сопровождающей его мысли, что оно является как орудие общественного или государственного суда, а не как орудие личного произвола, часто основанного на одном недоразумении. Определение меры наказания совершенно ускользает от власти закона, потому что в ежедневных мелочных отношениях одного лица к другому, там где преступное действие является не столько в матерьяльной, положительно очерченной форме, сколько в намерениях, выражении лица, интонации голоса, недосказанных речах и т. п., есть столько тонких оттенков, которые совершенно невозможно определить. Закон может наименовать преступным то или другое действие, выразившееся в известной для всех видимой и понятной форме, но с улыбками, понижением или повышением голоса, выражением глаз и т. д. он не может иметь дела. Притом, если бы закон и принял на себя такую власть, кому неизвестно, как растяжимо применение закона на практике, если правильность этого применения не гарантирована соблюдением известных законом же определенных формальностей. А именно присутствия этих-то формальностей и недостает в рассматриваемом случае, ибо совершение наказания при собрании выборных с объявлением вины никакой формальности не составляет, а только без нужды привлекает сторонних людей к зрелищу не для всех приятному. Присутствие выборных тогда бы могло служить еще некоторою гарантиею, если бы можно было положительно удостоверить, что выборные, находящиеся под личным влиянием помещика, не будут составлять массы безгласной, а утверждать это, при существовании личных отношений помещика к крестьянам, едва ли дело возможное. Наконец, право жалобы на злоупотребления власти помещика есть такое сомнительное право, которым не всегда может воспользоваться даже человек, вполне сознающий свое право. Всякая жалоба влечет за собою и проволочку времени и ущерб для истца; следовательно, если крестьянину придется гнаться за каждым случайным тычком, то ему недостанет на это ни времени, ни матерьяльных средств. При этом, все-таки повторяем: не надобно забывать, что здесь личные отношения истекают из имущественных, и что следовательно взаимное положение обеих сторон все-таки должно быть, по возможности, уравновешено, но какое же будет равновесие, если одной стороне мы предоставим право немедленно удовлетворять свои требования, а другой лишь право ожидать десятки дней этого удовлетворения от подлежащего судебного установления? Но если мы даже предположим, что крестьяне воспользуются этим правом, то какие могут выйти из этого результаты? Во-первых, соблазн будет так велик, что нельзя не ожидать, чтобы крестьянин не перетолковал себе права жалобы в самом преувеличенном виде, и не стал пользоваться им на каждом шагу, и в деле и в безделье, а во-вторых, какая бездна дел должна возникать из этих ежемгновенных (и надо добавить, натянутых, вызывающих взаимное раздражение) отношений? Очевидно, что никакое присутственное место не будет в состоянии с успехом удовлетворять всем требованиям.

Возвращаясь затем к главному предмету настоящей заметки, мы не можем не заключить, что все недоразумения, указанные нами выше, основаны на слишком буквальном, а потому и превратном толковании слов, которые мы неоднократно имели случай приводит. Вместо того, чтобы видеть в словах этих лишь зародыш будущего местного полицейского и административного устройства, зародыш, подлежащий дальнейшему развитию, хотят непременно видеть в них окончательную норму, в которой должно выразиться действие полицейской власти. Как будто тем, что полицейская власть оставляется в руках помещиков, уже все сказано? Как будто вслед за этим не-

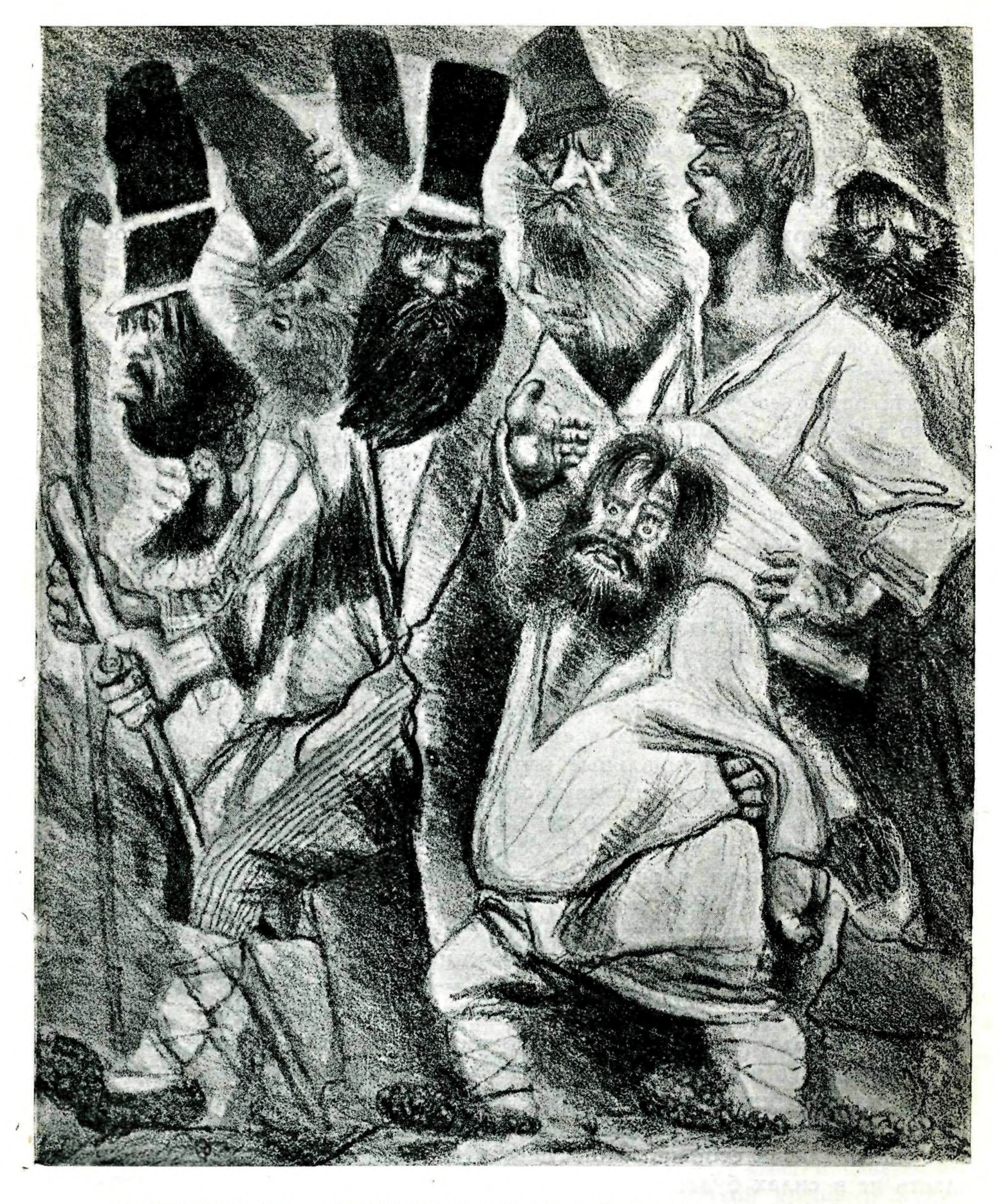


ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. САМОХВАЛОВА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ИЗДАНИЮ «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ПОДГОТОВЛЯЕМОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ACADEMIA», 1934 г.

надлежит положительно определить, под какими условиями, среди каких учреждений, гарантирующих правильное ее действие, должна выражаться эта власть.

Здесь мы должны сказать несколько слов о том, с какой точки зрения мы смотрим вообще на различные системы применения административных начал. Но предупреждаем читателя, что и по объему и по характеру настоящей заметки мы можем коснуться этого предмета только слегка, предоставляя себе в непродолжительном времени, в особой статье и во всей подробности, развить взгляд наш на этот предмет. Вообще мы не принадлежим к числу приверженцев бюрократии; мы думаем, что она вовсе не способна ни понимать истинных интересов земства, ни тем менее управлять ими таким образом, чтобы это управление имело результатом действительную для дела пользу. Бюрократия имеет свое специяльное назначение: оно заключается в том, чтобы охранять интересы государства от излишнего наплыва интересов местных. Назначение, как видится, чисто-наблюдательное, и затем всякое вмешательство бюрократии в сферу исполнительную может быть допущено только в случаях чрезвычайных, т. е. тогда именно, когда есть основательный повод думать, что от небрежности муниципальных властей известной местности могут страдать интересы государства, или интересы других соседних местностей. Местное же управление должно быть основано на муниципальных началах: только тогда оно не будет служить обременением для края, только тогда может принести для него действительную пользу, когда в нем принимают участие все элементы, из которых составляется то, что в законе называется именем земства. До сих пор, элементов этих у нас не было. Крепостное право наложило запрещение на целую половину народонаселения России (или около того), и потому весьма естественно, что муниципальные учреждения не могли у нас развиться. Но мы впадем в большую ошибку, если и теперь, когда представляется полная нравственная возможность применить муниципальные начала к нашей местной администрации, мы окружим эти учреждения всеми стеснениями бюрократической регламентации. Вспомним, что только то дерево бывает и крепко и здорово, которое растет на свободе, за которым нет бестолкового и случайного ухода всякого проходящего человека, поризвольно принимающего на себя роль садовника. Допустим даже, что, быть может, в начале и действия и приемы муниципального управления будут шатки, но не будем слишком поспешно выводить из этого неблагоприятные для него заключения, а напротив того, убедим себя раз навсегда, что ни один принцип, а тем менее принцип административный, обнимающий столько разнообразных интересов, не может сразу предъявить все свои результаты, и будем ждать с терпением. Часто случается нам слышать мненье (а в недавнее время оно выразилось и печатно), что злоупотребления чиновников имеют своим источником тот же строй понятий и воззрений, которые служат основою для крепостного права. В этой мысли есть своя справедливая сторона: если существует кормление законное, то никакая власть не в силах будет искоренить кормления незаконного, опирающегося на те же самые основания. Но не надо при этом забывать, что, вне этого строя понятий, есть еще иная, особая сфера понятий и воззрений, которая составляет принадлежность собственно бюрократии, и которая осуждает ее на вечное бессилие относительно добра и пользы и напротив того вооружает ее страшною силою относительно зла и вреда. Эти понятия прямо истекают из положения бюрократии относительно управляемой местности. Считая себя представительницею интересов высших, государственных, бюрократия с пренебрежением смотрит на местные интересы, которые кажутся ей и ничтожными и вздорными, и с нетерпеливым презрением выслушивает даже самое легкое замечание или представление со стороны местных обывателей, не говоря уже о противоречии. Сверх того, действия ее ничем и никем не

контролируются, ибо устройте какой угодно сложный контроль, окружите бюрократию коллегиальными учреждениями, требуйте от нее отчета в каждом ее действии, в каждом шаге ее служебной деятельности, результатов все-таки никаких не получится. Ибо коллегиальный и даже одноличный контроль тогда только может быть действителен, когда он сосредоточен в иной разнокачественной среде, имеющей и возможность и интерес контролировать; если же он находится в руках представителей тех же самых начал, то в таком случае может произойти одно из двух: если контроль одноличный или иерархический, то контролирующее лицо будет вовлечено в огромную переписку, в бесчисленное множество бесполезных и нелепых действий, и все-таки будет обмануто, потому что обмануть лицо, ни с которой стороны не причастное интересам и выгодам земства, ничего не стоит; если же контроль будет коллегиальный, то коллегия эта будет только фикцией, служащей только тому, чтобы бюрократическим злоупотреблениям и произволу придавать формы некоторой легальности, ибо бюрократия вся основана на началах дисциплины, и эта последняя столь необходима, что даже там, где высшая власть, для обуздания произвола, связанного с одноличным управлением, нашла полезным окружить своих агентов коллегиями, она вместе с тем была вынуждена вооружить председателей этих коллегий правом давать предложения, сразу уничтожающие все коллегиальные мудрования. Да и какое странное положение: с одной стороны доверять чиновнику, поручать ему управление целой местностью, с другой стороны стеснять его на каждом шагу контролем другого лица, имеющего совершенно одинаковые с ним свойства и качества? И почему не А контролирует Б, а именно Б надзирает за А? Кто поручится, что Б действительно надзирает хорошо, и не нужно ли, в свою очередь, и к Б приставить надзирателя?

Итак, невозможность, или, по крайней мере, почти безвыходная затруднительность контроля, соединенная с такою же неспособностью понимать интересы местности и с затаенною мыслью, что интересы эти так пошлы и вздорны, что можно и должно, без всякого зазрения совести, гнуть их в ту или другую сторону, смотря по личным воззрениям чиновника, порождает третье явление, которое окончательно делает бюрократию неспособною к административной деятельности. Явление это — произвол действий. Произвол этот сам по себе имеет столько привлекательного, что не нужно никаких посторонних более или менее сильных побуждений, чтобы он вполне не овладел всеми действиями чиновника. В какой бы мере ни увеличивали мы угрозу закона, запрещающего и карающего произвол, сила обстоятельств всегда возьмет перевес, и чиновник, раз вступив на стезю произвольных действий, употребит все усилия, чтобы подорвать действие закона и сделать его ничтожным. Во Франции, где не только не существует крепостного права, но где все граждане равны перед законом, мы тем не менее видим, до каких размеров может достигать бюрократический произвол. А там, между тем, существует и общественное мнение достаточно развитое, и гласность. Чему же приписать такое явление, как не недостаточной крепости муниципальных учреждений или, лучше сказать, безграничному подчинению их бюрократии?

Таким образом, мы естественным путем приходим к тому заключению, что из всех учреждений, которые могут быть установлены для управления местными интересами (ибо здесь нам об них только и предстоит вести речь) самым лучшим учреждением будет то, в котором все элементы земства найдут своих естественных представителей и защитников, и где значение бюрократии будет ограничено единственно сферою государственных интересов, из которой они не должны и выходить. Среди этих-то именно учреждений, которые могут иметь и свое иерархическое развитие, сословие дворян-землевладельцев должно занять принадлежащее им по праву место, но занять

его не произвольно и исключительно, а совместно с представителями других сословий, имеющих в данной местности постоянную оседлость или постоянный промысел. Мы не должны терять из вида, при этом что в настоящее время дворянское сословие находится в выгоднейших, против земледельческого, условиях со стороны образованности и со стороны матерьяльных средств; следовательно, оно без труда, с помощью одних только этих средств, приобретает себе, если только захочет, то законное влияние на дела местности, которое было бы желательно предоставить ему, и в котором только и можно видеть единственно твердую, а не мечтательную опору для дворянского сословия. Нам возразят, быть может, что страсти и сословные увлечения, по крайней мере, в первое время по уничтожении крепостного права, могут заглушить самый голос рассудка, и что в этом случае все предположения на счет законного влияния дворян-землевладельцев могут рушиться сами собою. Хотя опасения эти представляются иногда и в слишком преувеличенном виде, но нельзя отрицать, что в них есть своя доля справедливости. Но разве нет способов предупредить осуществление этих опасений? Во-первых, можно постановить, чтобы первенство дворян-землевладельцев в делах местного управления вообще и в делах местной полиции в частности было фактом обязательным. По мнению нашему, эту обязанность достаточно было бы распространить на тот период времени, который называется «переходным состоянием», потому что этого времени весьма достаточно, чтобы новые отношения, истекающие из настоящих мер правительства, определились вполне, и восприяли свой законный, непринужденный ход. Во-вторых, если бы и этого оказалось недостаточным, разве правительство не имеет возможности продолжить эту обязательность отношений дворянского сословия к земледельческому до тех пор, покуда, по высшим политическим соображениям, окажется это действительно нужным и удобным?

Вот наше искреннее мнение о значении той меры, которая предоставляет помещику полицейскую власть над прежними крепостными. Понимать ее иначе, значило бы завязывать между помещиками и пользующимися его землями крестьянами такие искусственные отношения, которые повлекли бы за собою лишь взаимное и постоянное раздражение. Устранить последнее можно не иначе, как предоставив дворянам-землевладельцам ту же самую полицейскую власть, но не непосредственно, а окруженную известными гарантиями, которых присутствие сообщало бы ей законность и отняло бы у ней тот оттенок произвола и несправедливости, который составляет непременную принадлежность всякой одноличной власти.

К этому не излишне будет прибавить и то соображение, что исполнение полицейских обязанностей в том составе, в каком они значатся в общем полицейском учреждении, требует и личного весьма хлопотливого труда, и матерьяльных издержек, которые будут в общей массе тем значительнее, чем ограниченнее будут районы действия местных полиций. Если непосредственною полицейскою властью над крестьянами облечь землевладельцев-дворян, то на кого должны падать эти издержки? По справедливости на помещиков, потому что предоставление им личной полицейской власти может быть допущено не иначе, как в видах ограждения их же выгод. Согласятся ли помещики принять на себя эти издержки? очевидно нет, потому что они для всех вообще тягостны, а для многих и совершенно разорительны. Остается, стало быть, или действовать на них принудительными мерами, что несправедливо, или же привлечь к участию в сих издержках те сословия, для которых самое учреждение полиции, в этом виде, не представляет ни гарантий, ни пользы, что не логично. По этим основаниям, а также принимая в соображение, что нынешние крепостные крестьяне должны быть разделены на сельские общества, мы полагаем, что как внутреннее так и полицейское управление этих обществ может быть, без затруднений и с боль-



ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. САМОХВАЛОВА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ИЗДАНИЮ «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ПОДГОТОВЛЯЕМОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ACADEMIA», 1934 г.

шою для дела пользою, устроено на муниципальных началах. Участие помещика в этих учреждениях должно быть ограничено лишь делами, имеющими значение для всей местности, как напр. делами общественного спокойствия и благоустройства, делами по учреждению училищ, благотворительных заведений, ярмарок и т. п., в прочих же делах, касающихся исключительно интересов крестьян, составляющих сельское общество, как напр. при раскладке податей и повинностей, отправлении рекрутской повинности, разделе семейств и земель и т. п., участие помещика может быть допущено не более как в качестве совещательном. Гораздо значительнее может быть участие дворян-землевладельцев во второй и третьей инстанциях полицейского управления. Второю инстанциею должна быть волость, третьею уезд. Необходимость волостного управления, устроенного на основаниях, гарантирующих правильное и законное действие полицейской власти, очевидна для всякого. Никто уже не отстаивает ныне существующие становые управления, как потому, что они, совершенно устраняя коллегияльное начало, дают слишком большую область одноличному произволу, так и потому, что они, по многим причинам, не удовлетворяют даже прямому своему назначению, т. е. действительности полицейского надзора. Как в волостных, так и в уездных учреждениях первенство может быть предоставлено дворянам-землевладельцам безо всякого ущерба или опасений, ибо соучастниками их по управлению будут и представители от других сословий, в нем заинтересованных. Само собою разумеется, что над всеми этими земскими учреждениями, должен возвышаться контроль центральной власти, уравновешивающий борьбу частных интересов.

Что же касается до столкновений, могущих возникать из имущественных отношений между помещиками и крестьянами, то способы разбора их уже указаны правительством. Тем не менее, мы смеем думать, что этот исключительный порядок разбирательства не может быть обязательным на неопределенное время; с окончательным выяснением отношений свободного труда к общему экономическому строю, минуется и необходимость в исключительной для них юридикции; но до тех пор («переходное состояние» в истинном значении этого слова) она необходима. Но при этом мы, с своей стороны, полагали бы полезным (и именно в видах устранения личной зависимости крестьян от помещиков), кроме уездных присутствий, учредить еще присутствия более местные, дабы через это достигнуть более скорого и доступного средства для разбора, в известных пределах власти, возникающих претензий и споров.

ЦАРСТВО СМЕРТИ

НЕИЗДАННЫЙ АКТ ПЕРВОЙ РЕДАКЦИИ «СМЕРТИ ПАЗУХИНА»

Воспоминания Вл. И. Немировича-Данченко
Предисловие Ф. Головенченко
Комментарии Вас. Гиппиуса

ЩЕДРИН В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

(Из воспоминаний)

Художественный театр не скоро обратился к русским классикам. После Чехова и Горького он страстно искал своего современного драматурга. Но это не удавалось. Самые талантливые — Найденов, Сургучев, Юшкевич, Чириков — не могли дать театру полноценный материал. Только Леонид Андреев еще находил в театре сочувственную встречу. И то главным образом во мне. Я очень признавал его огромный драматургический талант и старался утвердить его в нашем репертуаре. Большая же часть активных работников театра не оказывала доверия ни его художественному вкусу, ни его — казавшемуся слишком острым — восприятию жизни. Хлесткая, но не очень справедливая фраза об Андрееве Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно» влияла на репутацию автора «Анатэмы», «Жизни человека», «Екатерины Ивановны» и пр.

Но и другая причина долго удерживала нас от обращения к русским классикам: мы долго не считали себя готовыми по составу труппы, по наличию подходящих крупных индивидуальностей и степени актерской зрелости. Как это ни странно, но «Юлия Цезаря» было играть легче, чем не только «Ревизора» и «Горе от ума», но даже «Мудреца» и «Смерть Пазухина». Потому что тут уж нельзя укрыться за постановку, за массовые сцены, тут сценические задачи всей тяжестью ложатся на актеров. В русском классическом репертуаре заключался богатейший материал для наших актеров, но образы этого репертуара много раз создавались с высоким мастерством их предшественниками, имели свои традиции, которые нелегко было преодолевать. Новому исполнителю приходилось выступать перед зрителем не свободным, вооруженным готовой критикой, даже предвзятостью.

И к Щедрину мы обратились, когда театр почувствовал себя достаточно созревшим для изображения глубоких и сочных типов русской классической литературы. По сравнению с другими классиками подойти к Щедрину было и легче, и труднее, чем например к Гоголю, Островскому, Льву Толстому или Достоевскому. Легче — потому что щедринские типы не были так популярны. Стало быть до известной степени сохраняли интерес несравнимости, а для многих даже новизны. Это значительно уменьшало ответственность актера. А труднее — вот почему.

Актер ожидает от автора не только благодарного сценического положения и психологического содержания и выразительного, «доходчивого» текста, словом не только элементов, возбуждающих его фантазию, темперамент и мастерство, но еще чего-то такого, что не поддается точному определению и что мы называем мало убедительным словом «обаяние». Обаяние автора — оно наполняет атмосферу всего представления, оно ласково, но властно привлекает зрителя к послушанию авторской воле, оно охватывает его сочувственным вниманием сильнее психологической последовательности.

сильнее рассудочных убеждений. И оно же чрезвычайно облегчает пути актера к сердцу зрителя.

Наиболее ярким примером обаятельного сценического писателя для старой театральной залы Художественного театра был Чехов. Его личное писательское обаяние так сливалось с артистическими индивидуальностями, что покрывало и ограниченность психологического интереса — по сравнению, положим, с Достоевским, и скудость сценических положений — по сравнению например с Толстым, и преимущества драматургического мастерства Островского и Гоголя.

Огромное обаяние для старой театральной залы было и в Горьком, и в Тургеневе, и в Островском, и в величайшей степени в Толстом. Я подчеркиваю характер театральной залы, из осторожности называя ее «прежней театральной залой». Возможно, что то, что я определяю обаянием, в большой степени объясняется известным уровнем художественного вкуса, литературным и художественным воспитанием целой эпохи. Зритель быстро шел навстречу идеализму, мягкому отношению к жизни, когда искусство не беспокоит, а ласкает, и наборот — настораживался и ощетинивался, если произведение искусства дразнит и злит. Многое из того, что ставилось в лучших театрах, может быть в какой-то степени и подсахаривалось. Тем не менее трудно отрицать, что и в писателе, как и в художнике, и в особенности в актере, имеются элементы этой не поддающейся анализу притягательности.

Вот в этом-то качестве Щедрин и уступал другим классикам. По крайней мере мы его так воспринимали. Колючий талант. Беспокойный, не ласковый. Суровый, строгий. Актерское творчество не понесется с ним в зал, как на легких крыльях. Оно встретит в зрителе хмурую настороженность.

Такой же большею частью Гоголь. Такой же очень сильно Сухово-Кобылин в «Смерти Тарелкина».

Припоминаю, что еще до включения в наш репертуар «Смерти Пазухина» я мечтал об инсценировке «Семьи Головлевых». Был у меня уже подробный план. О главном лице — о Порфирии Головлеве — я уже делился мыслями с Грибуниным, видя в нем Иудушку. Но пьеса не выходила, а тот прием докладчика от автора, как в «Воскресении», еще не приходил в голову.

Судьбу единственного большого драматического произведения Щедрина «Смерти Пазухина» мы знали. Она не крепко держалась в Александринском театре, несмотря на замечательных исполнителей в лице Варламова и Давыдова. Тем не менее мы почти безошибочно надеялись на крупный успех у нас. Этому должны были способствовать и наша глубокая и тщательная разработка спектакля, чего до нас в других театрах не было, и — что еще важнее — наличие великолепных подходящих актеров: Москвина, Грибунина, Леонидова, Шевченко, Лужского, Бутовой, Массалитинова, Бакшеева и др.

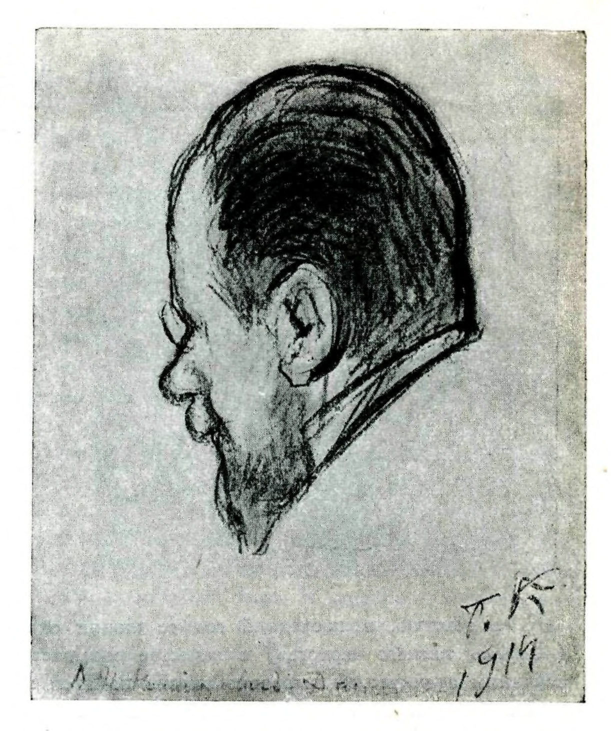
Я вошел в спектакль не сразу. Долгое время режиссерскую работу вели В. В. Лужский и И. М. Москвин. Я вступил в репетиции месяца через два. Некоторый интерес — не столько для сценической судьбы Щедрина, сколько из моих воспоминаний о Художественном Театре — представляет рассказ о работе над двумя ролями: над Фурначевым, которого играл Грибунин, и над Живоедихой, исполняемой Бутовой.

Когда я вошел в работу, я уже был предупрежден, что у Грибунина роль не идет. Была заминка и с Лужским в роли Лобастова: по свойству его мягкого дарования ему нелегко было скоро найти солдафонские черты этого генерала из «сдаточных». Но наладилась и эта роль, а у Грибунина никак не выходил классический лицемер. Наконец уже перед самыми генеральными репетициями я применил для Грибунина один педагогический актерский прием. Я сказал ему, что нашел для его Фурначева тон — тон совершеннейшей искренности, как будто бы этот мерзавец и лицемер — самый благородный человек. А до сих пор наши искания красок и выразительности для образа шли от фурначевского двоедушия. Как бы в двух тонах вскрывался Фурначев — кажущейся искренности и замаскированного лицемерия. В день первой генеральной репетиции я предупредил Лужского и Москвина, сидевших за режиссерским столиком, чтобы они не записывали замечаний, относящихся к Грибунину, так как сейчас это

В. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

Карандашный набросок Б. Кустодиева, сделанный во время репетиций «Смерти Пазухина» в Художественном театре, 1914 г.

Собрание Ю. Е. Кустодиевой, Ленинград



будет для них совсем неожиданный и новый Фурначев: он будет репетировать благородного человека и только в кое-каких чисто актерски-технических акцентах можно будет уловить истинную фурначевскую сущность — в походке, в излишней слащавости.

Как известно, Грибунин создал чрезвычайно яркий и сильный образ. Это была одна из самых лучших его ролей, как и Порфирий у Москвина.

Около Бутовой — воспоминания совсем другого порядка. Бутова была ярко бытовой актрисой. Крестьянка Саратовской губернии, она была замечательной Анисьей в толстовской «Власти тьмы» и создала незабываемую фигуру Манефы в «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Сама по себе, внутренно, она обладала богатой, возвышенной жизнью. Все ее переживания находились в плоскости, совершенно противоположной образам, которые ей поручались для сценического воплощения. Она рвалась к образам благородным, романтическим. Но все ее внешние данные, в особенности голос и дикция, не отвечали ролям, о каких она мечтала. Это была своего рода трагедия актрисы, призвание которой резко расходилось с реальными возможностями.

Живоедиха стоила ей особенно трудных усилий. Она мучилась, создавая этот отвратительный тип, отыскивая для его воплощения такие черты, которые должны были дать художественную радость. Всегда глубоко добросовестная, она старалась подавить ненависть, которую питала к так сказать *живой* Живоедихе, чтоб из нее создать художественный тип, несущий радость, создать без ущерба правде, без сентиментальничания, без смягчения всей мерзости образа, без оправдывания его подсахаренной идеологией. Она делилась со мной своими терзаниями, наша дисциплина не допускала отказа от ролей. Я понимал ее и заботливо воспитывал в ней *артистический образ мышления*.

Кончилось тем, что она играла замечательно и в ее игре особенно остро чувствовалось колючее, беспокойное искусство Щедрина. Но можете себе представить, в каком свете вырисовалась эта работа и ее страдания над ролью, когда в день ее похорон, придя в церковь, я увидел ее гроб, окруженный целой общиной в белых одеяниях: оказалось, она уже много лет была сначала «сестрой», а потом главой религиозной общины. Была ею и в период работы над развратной Живоедихой!



Н. Г. АЛЕКСАНДРОВ

Карандашный набросок Б. Кустодиева, сделанный во время репетиций «Смерти Пазухина» в Художественном театре, 1914 г. Собрание Ю. Е. Кустодиевой, Ленинград

К ее счастью, в последний год ее жизни она работала над Рабиндранат Тагором («Король темного чертога») в качестве сорежиссера. Толкованию пьесы исполнителям, исканиям сценической выразительности по этой пьесе она посвятила более 200 бесед...

Остановлюсь на важнейшем, как мне думается, вопросе, возникающем вокруг щедринского спектакля. Это — *о самой сущности комедийного спектакля, о характере настроений публики, воспринимающей комедию, о смысле русской комедии вообще.* В этом отношении «Смерть Пазухина» особенно типичная пьеса.

Недавно один из наших критиков оспаривал мысль Островского, что пьеса без театра безжизненна, что, мол, чтением пьесы можно вполне заменить театр. Как это неверно! И как особенно прав Островский, когда дело касается комедии, и особенно русской комедии! Ничто так мощно и крепко не вскрывает глубоко заложенную в пьесе правду, как театральный смех. Самый опытный режиссер, самый опытный комедийный актер не может при чтении пьесы точно наметить, где публика будет смеяться. Актеры только на публике начинают нащупывать места, возбуждающие смех. И очень часто это бывает ошеломляюще неожиданно. И что самое важное — эта неожиданность вдруг вскрывает истинное правильное отношение к положениям пьесы и к ее образам. В этом еще далеко не исследованное свойство природы театра.

В «Смерти Пазухина»: там за дверью лежит покойник, Живоедиха только что голосила над трупом, здесь взрослые сильные люди в сильных страстных сценах рвут друг друга на части, а в зрительном зале не ужас, не сочувствие и не гнев, а неудержимый, непрекращающийся хохот. И чем искреннее, чем ярче идет на сцене борьба не на жизнь, а на смерть, чем меньше актеры «играют» эти хищнические страсти из-за капиталов, тем раскатистее хохот зрителя, тем громче звенит моральная правда.

Уже после революции мы возобновляли «Смерть Пазухина». Пришел зритель еще более непосредственный, чем прежде. Во время четвертого действия одна старая интеллигентская семья в ложе громко возмущалась поведением публики, которая своим смехом якобы профанирует драматичность происходящих событий. И долго пришлось убеждать, что это только здоровая и нужная реакция.

«Смерть Пазухина» был очень полнокровный спектакль, здесь меньше чем где-нибудь звучали «чеховские полутона», в плену у которых труппа была долгое время. В Художественном театре постоянно думают о возобновлении комедии Щедрина. Но не так-то легко заменить выбывших исполнителей...

Вл. И. Немирович-Данченко

«ЦАРСТВО СМЕРТИ» САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Комедию «Царство смерти» («Смерть Пазухина») Салтыков-Щедрин считал слабым произведением и не включал ее ни в один из сборников своих произведений. В такой оценке сказалась большая строгость Щедрина, с какой он обычно подходил к своим произведениям. Это очень хорошее качество: писатель чувствовал высокую ответственность перед читателем и строго подходил к своему мастерству. Но нам кажется, что сатирик в данном случае был слишком строг и ошибочно выключал комедию из круга своих ранних произведений. Она во многих отношениях представляет для нас большой интерес, особенно ее первоначальная редакция, которая безусловно должна быть сообщена нашим читателям.

Первоначальная редакция комедии проливает яркий свет на творческие замыслы сатирика в период его работы над «Губернскими очерками», когда уже, по меткому замечанию Добролюбова, молодой Щедрин вел «свою благородную борьбу» с общественным строем, «не обнаруживая ни малейшего истощения сил».

В критической литературе неоднократно поднимались вопросы о характере творчества Салтыкова-Щедрина до освободительной реформы 1861 г. и каждый раз высказывались весьма противоречивые точки зерния. Противоречивые суждения возникали законно, так как молодой Щедрин сам по себе был загадочной фигурой выходец из родовитой дворянской семьи, занимающий высокий служебный пост — с одной стороны, участие в кружке Петрашевского, цензурные кары и административная высылка — с другой стороны. С недоверием к нему первое время относилась и старая редакция «Современника», когда там имел большое влияние Тургенев. Этому недоверию немало способствовали неблагоприятные слухи о нравственных качествах писателя. Пищей для этих слухов служили главным образом факты из служебной деятельности Салтыкова в период вятской ссылки в качестве следователя по делам о расколе. Во враждебных Салтыкову литературных кругах распространялись по этому поводу часто неверные или преувеличенные сведения и высказывалась мысль, что многие страницы «Губернских очерков» представляют не что иное, как слегка замаскированные описания собственных «служебных деяний» писателя.

В письме к Анненкову в 1860 г. по выходе из печати «Губернских очерков» Салтыков писал по этому поводу следующее: «Ныне я узнаю, будто г. Тур-



И. М. МОСКВИН

Карандашный набросок Б. Кустодиева, сделанный во время репетиций «Смерти Пазухина» в Художественном театре, 1914 г.

Собрание Ю. Е. Кустодиевой, Ленинград

генев имеет какое-то предубеждение против нравственных моих качеств. Известие это крайне меня удивило. Уж не думает ли он, что я в «Очерках» описываю собственные мои похождения?... Прошу вас передать, что он напрасно так думает, что у меня еще довольно есть в душе стыдливости, чтобы не выставлять на позор свои собственные г..., и что он напрасно смешивает меня с Павлом Ивановичем Чичи-Мельниковым. Обзирая свое прошлое, я, положа руку на сердце, говорю, что на моей совести нет ни единой пакости: нет даже гнусного кажения флигель-адъютантству, самого гнусного из всех гнусных кажений».

«Губернские очерки» и комедия «Царство смерти» дают достаточный материал для суждения о взглядах Салтыкова-Щедрина в этот «крутогорский» период. Они достаточно убедительно подтверждают его слова, сказанные в письме, что он не кадил перед флигель-адъютантами, не гнул спину перед царскими сатрапами, а наоборот: и в этот период, когда еще только складывалось мировоззрение писателя, подвергал жестокой критике существовавший тогда царский крепостной строй.

У Салтыкова-Щедрина был первоначально замысел написать четвертый том «Губернских очерков», продолжив портретную галлерею ««крутогорских» героев. С этой целью он в течение 1857—1859 гг. написал ряд произведений, тесно примыкающих по своему стилю к «Губернским очеркам». В них даже были некоторые общие действующие лица (Разбитной, Живновский). Предназначалась в четвертый том и комедия «Царство смерти». Об это свидетельствует и заглавие комедии в черновой редакции. Щедрин ее сперва назвал: «Губернские очерки. Царство смерти. Комедия в 4-х действиях». Однако Щедрин потом отказался от этого замысла и выпустил комедию под названием «Смерть Пазухина» в октябре 1857 г. в «Русском Вестнике», значительно, переделав 1-й акт, значительно сократив конец 3-го акта и сделав некоторую перестановку сцен, материала и действующих лиц, везде заменив фамилию Размахнина фамилией Пазухина (см. комментарий). «Царство смерти» является безусловно ценным произведением. В нем уже выявилась сила и оригинальность таланта Салтыкова-Щедрина, его глубокое понимание общественного процесса и уменье схватывать из всего хаоса впечатлений общезначимое, типичное, отбрасывая узко личное и малозначущее. Некоторые критики указывали на большую зависимость комедии Щедрина от комедии Островского, на подражание ему во всем: и в типах, и в быте, и в языке. Но это суждение крайне однобоко и не отвечает действительному положению вещей. Между Щедриным и Островским только внешнее сходство. Молодой Щедрин с большим уважением относился к Островскому, учился у него литературному мастерству. В комедии «Царство смерти» видны следы влияния Островского, но Щедрин здесь, как и всегда, остался самим собою. Прежде всего необходимо отметить самое главное отличие Щедрина от Островского. Оно состоит в том, что Островский в основном мастерски давал бытовые комедии, уходя в сторону от жгучих политических проблем, тогда как Щедрин давал острую сатиру, подвергая резкой критике общественный уклад, политический строй, обрисовывая яркими красками борьбу классов. При этом быт у него отходит на второй план и служит как бы фоном, на котором рельефно выделяются его ташкентцы, помпадуры и помпадурши, герои Крутогорска, и все «зиждители». Щедрин уже в «Царстве смерти» создавал картины, имеющие большое социально-воспитательное значение, и ставил целью разбудить в читателе чувство ненависти к старому укладу жизни и воспитать в нем ненависть к рабству и рабскому строю.

«Царство смерти» является символическим произведением, обрисовывающим смерть класса эксплоататоров,— тех людей, которые, по словам Щедрина, стали «вследствие известных причин в разлад с общим строем воззрений и убеждений».

В центре комедии дана семья Размахнина (Пазухина) — изображен старик Иван Прокофьич, занимавшийся подрядами и откупами и имевший бумажную фабрику и капитал до 2-х миллионов рублей, его сын Прокофий Иваныч — тоже торговец, и внук Гаврило Прокофьич, служивший при губернаторе. В образе Размахниных таким образом представлено три поколения промышленной купеческой семьи. Сатирик пока-



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
В. Ф. Грибунин в роли Фурначева

Акварельный рисунок Б. Кустодиева, 1914 г.
Музей МХАТ им. М. Горького, Москва

вал в комедии, как развивался род Размахниных, и замечательно вскрыл те тенденции в их развитии, которые приводили этот род в тупик, к вырождению.

Старик Иван Прокофьич Размахнин нажил огромное состояние путем обманов, мошенничества и жестокой эксплоатации. Это яркий образ первоначального накопителя. Путь первоначального капиталистического накопления в комедии хорошо обрисован словами Баева — пестуна старого Размахнина:

«Такие, сударыня, были времена, что даже заверить трудно. Ивана-то Прокофьича папынька волостным писарем был, так нынче, кажется, и цари-то так не живут, как он жил. Бывало по неделе и по две звериного образа не покинет, целые сутки пьян под лавкой лежит. Тутотка они и капиталу своему первоначало сделали, потому как и волость-то у них все одно как крепостные люди были... А Иван-то Прокофьич подрос, так позже куда ворист паренек был; ну папынька-то ихний, видемши их такую анбицию к деньгам, что как они без сумленья готовы и живого и мертвого оборвать, и благословили их по питайной части итти. Ну, и пошли... А теперь они сирым вдовицам благодетельствуют, божьи храмы сооружают... Что-ж, это хорошо. Перед владыку небесного с хорошими делами предстать веселее будет» (действие I, сцена I).

Злой сатирой Щедрин описывает старика Размахнина его же словами:

«Вот какие времена пришли. Правду говорят, что нет человеку врага больше, как свои же кровные. И чем я согрешил перед вами? Тем разве, что по копеечке целую жизнь собирал, не щадя ни живого, ни мертвого... Господи! Каково-то будет мне перед престол твой предстать? Там ведь все эти обиженные, да пущенные по миру и и отдыха-то чай не дадут» (действие III, сцена IX).

Так Размахнин нажил капитал, бумажную фабрику. Он уже не хочет ничего общего иметь с классом бедных людей, ему претит мужицкая сермяга и он добивается с помощью подачек и подкупов получить звание надворного советника.

Внук его Гаврило Прокофьич тоже считал это главным в жизни Размахниных. «Ведь это и нынче почти дворянин, а прежде-то и весь дворянин был», говорил он деду, а Иван Прокофьич отвечал:

«Господи! хоть бы умереть-то надворным советником дали» (I действие, сцена IX). И тут же перечислял, как дорого стоит получение звания надворного советника— ведь он сто тысяч ассигнациями дал «княжому предместнику» на благоустройство сада, давал потом еще сто тысяч ассигнациями на постройку пловучего моста через реку, «задавал» пир, а потом опять жертвовал, а надворного советника все не получал. Отставной подпоручик Живновский, всегда являвшийся в дом Размахнина выпить и покушать («обопьет, объест», говорил Размахнин), утешал Размахнина: «Ведь с казны же потом, благодетель, возьмете, или вот в вино вассервейну маленькую толику пустите, ан сто-то рублев тут и найдутся...» (действие I, сцена IX).

Размахнин и без того знал эти пути наживы, ими всегда пользовался, но здесь сатирик к месту это подчеркивает и разоблачает.

Сын Размахнина Прокофий Иваныч занимался торговлей, наживался обманом.

«Какие наши торги-с! Конечно, по милости вашей насущный хлеб иметь можем-с... платочков да ситчиков рублика на три в день продашь, будет целковичек на пропитание», говорил он отцу.

На каждые три рубля Размахнин получал себе рубль. Так шла нажива! Прокофий Иваныч не принимает новую культуру, имеет мужицкие привычки, не общается с высшим кругом. С отцом и со всеми родственниками он живет в ссоре, с нетерпением ждет смерти отца, чтобы получить имущество и зажить по-своему.

Внук старика Размахнина и сын Прокофия Иваныча Гаврило Прокофьич служит у губернатора, воспринимает внешний лоск дворянской культуры, сторонится своего отца-мужика и его мужицкой сермяги. «С моим чувством, с моим образованием подобного положения вещей перенести нельзя», говорит он. Он тоже ждет смерти деда, чтобы получить в свои руки капиталы, жениться на дворянке и продвигаться на

службе к высоким чинам. Пока же он не способен ни на что серьезное и по службе играет ничтожную роль.

Размахнин много лет болел и постепенно превратился в развалину. Умирая, он не оставляет завещания о своих капиталах. Этим самым как бы подчеркивается, что он не видел достойного себе преемника.

В комедии ярко изображены чиновники и вообще служилые люди. Они свою жизнь строят на мошенничестве, взятках и обманах. Вот например генерал Лобастов говорит о себе:



СЦЕНА ИЗ «СМЕРТИ ПАЗУХИНА» В ПОСТАНОВКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА ВО ВРЕМЯ ЕГО ГАСТРОЛЕЙ В АМЕРИКЕ

Рисунок, помещенный в американской газете «Tribune» 17 февраля 1924 г. Изображены: М. М. Тарханов — Живновский, И. М. Москвин — Прокофий Пазухин, В. Ф. Грибунин — Фурначев, В. В. Лужский — Лобастов, П. А. Бакшеев — Баев

«У меня ведь тоже сотняжка тысяч за Леночкой найдется. Как же! Недаром век жили. Батальоном, сударь, двадцать лет командовал, да каким еще: гарнизонным-с!» (действие I, сцена VII).

Как замечательно показан один из военных бюрократов царского времени, сумевший нажить сто тысяч на одном батальоне! Можно себе представить, как обкрадывалась казна, как обкрадывались солдаты и какое было вымогательство среди подчиненных.

Все бюрократы льнут к Размахнину, к его двухмиллионному капиталу. Вся чиновничья орава непрочь вести знакомство с ним, а генерал Лобастов даже мечтает отдать свою «переросшую» дочь за внука Размахнина Гаврилу Прокофьича, когда тот получит себе наследство после смерти деда. Чиновничий мир служит интересам Размахнина, он его легко подкупает. Генералу Лобастову он так говорит о чиновнике Федулове: «Хороший человек. Я, сударь, с ним дело имел по поставкам, так именно беспокойства никакого не знал. Что следует отдашь, а уж там зажмуря глаза принимают».

Фурначев — зять Размахнина — тоже стремится получить наследство после смерти тестя. Как только умер Размахнин, он пробрался в дом, поддельным ключем отпер сундук с деньгами и забрал все ценности, но в это время явился Прокофий Иваныч и отнял все награбленное.

Фурначев получил статского советника и мечтал с получением наследства махнуть в Петербург, пуститься в откупа и стать видным лицом.

«Вот намеднись Василий Иваныч из Петербурга пишет,— говорил он,— что у них на днях чуть-чуть откупщика министром не сделали... что-ж, это правильно: потому кто откупщик—он всю эту подноготную как «помилуй мя боже» заучил» (действие II, сцена VI).

Майор Понжперховский интерес видел только в деньгах. Он говорил: «Люблю пожуировать. Деньги—это, я вам доложу, для меня презренный металл, которого чем больше, тем лучше — вот моя философия» (действие I, сцена II).

Картина получается удручающая. Вся жизнь героев комедии построена на том, чтобы откуда-то получить капиталы, кого-то обмануть, обворовать, все они, не работая, желают иметь высокие чины и жить легкой жизнью. Щедрин в комедии добился яркого изобличения того класса общества, который тянул «с живого и мертвого».

В комедии «Царство смерти» не показано физическое умирание всего рода Размахнина — умирает только старик Иван Прокофьич, но все герои, вся их деятельность уже говорит об обреченности этого рода. Эту тему Щедрин замечательно потом разработал в прекраснейшем произведении «Господа Головлевы». Тема эта сама по себе весьма замечательна и ею занимались многие наши писатели. В наше время достаточно ярко и убедительно она разрешена пролетарским писателем М. Горьким в его романе «Дело Артамоновых».

Мысль о гибели старого мира и о приходе нового сильно занимала молодого Щедрина, и он написал на эту тему целый ряд художественных произведений. К концу работы над «Губернскими очерками» у него даже возникла мысль написать «Книгу об умирающих», где он хотел показать, как духовно и физически умирают герои времен николаевского режима и крепостного права. Начал он ее отрывком «Смерть Живновского»—одного из действующих «героев» «Губернских очерков» и «Царства смерти». Таким образом становится совершенно понятным, что комедия «Царство смерти» являлась переходным произведением к циклу об умирающих классах и что само название—«Царство смерти»—было символическим. Еще в конце «Губернских очерков» Щедрин дал замечательный набросок «Дорога», в котором недвусмысленно высказывалось суждение о старом крепостном мире как об обреченном, подлежащем умиранию. В «Дороге» изображается отъезд автора из Крутогорска. При выезде из города ему последний раз все герои Крутогорска встретились с какой-то похоронной процессией. На вопрос автора: «Кого же хоронят?» послышался ответ Буеракина: «Прошлые времена хоронят». Специальной «Книги об умирающих» Щедрин не напечатал, а написанные очерки включил в цикл «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе».

«Царство смерти» написано с большим умением и глубоким знанием промышленно-купеческой среды. От взора сатирика не ускользнули и тонкости быта крутогорских героев, зарисованные весьма выразительно.

Размахнин — это раннее поколение Деруновых, Колупаевых и Разуваевых, которых сатирик так замечательно изобразил в более поздних своих произведениях, когда капитализм в России уже сильно развился и стал ломать общественную жизнь. Размахнин — менее яркий тип, чем «пореформенные» Деруновы и Разуваевы: для его «операций» не было еще особенно широкого простора в крепостном строе. Однако заслуга Щедрина состоит в том, что он разглядел этот тип еще в дореформенных условиях и показал его в литературе.

Н. Г. Чернышевский по поводу «Губернских очерков» написал восторженную статью. «Эта благородная и превосходная книга,—писал он,—принадлежит к числу исторических фактов русской жизни. «Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими и полезнейшими и даро-



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
Эскиз декорации 2-го акта
Акварельный рисунок Б. Кустодиева, 1914 г.
Театральный музей им. Бахрушина, Москва

витейшими детьми нашей родины. Он найдет себе много панегиристов, и всех панегириков достоин он».

Этот отзыв великого Чернышевского целиком должен быть отнесен и к комедии «Царство смерти», задуманной как продолжение «Губернских очерков».

В «Царстве смерти», «как и в его всех «Губернских очерках»,—много правды «очень живой и очень важной» (Чернышевский). Все типы в комедии не надуманы автором, а взяты из действительности, поэтому комедия дает богатейший материал об эпохе, она много дает материала для размышления, ее страницы очень жгучи и являются укором той старой России, где имели место Размахнины, Фурначевы, Живновские и Живоедовы. Еще Чернышевский отмечал, что ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей не рисовались картины быта такими мрачными красками и никто общественных пороков не карал словом более горьким и не выставлял общественных язв с большею беспощадностью, чем это делал Щедрин в своих произведениях.

«Царство смерти» должно быть отнесено к обличительной сатирической литературе. Щедрин продолжал лучшие традиции сатиры Грибоедова и Гоголя, но каждая написанная им строка настойчивей и глубже вскрывала общественные язвы и порочность всего крепостного строя. Щедрин совершенно иначе смотрел на мир, чем смотрели дворянские писатели, которые боролись не против всей системы общественного строя вообще, а с отдельными недостатками в нем. Предшествовавшие Щедрину сатирики нападали часто на необразованность, взяточничество, на грубость в обращении с низшими людьми, на прислужничество перед высшими. Но очень редко в этих нападках проглядывала мысль, что все эти явления есть следствие ненормальности всего общественного строя. Сатирикам представлялось, что все зло взяточничества зависело от личной наклонности того или иного чиновника, что грубость обращения с крепостными легко можно устранить, исправивши поведение помещика и не уничтожая крепостного права. Иначе подходил к этому вопросу Салтыков-Щедрин: он все больше убеждался, что виною всех общественных пороков является мертвящий крепостной строй. Боев («Царство смерти») прямо указывает, что были такие времена, что и вспомнить даже трудно, как чиновники получали в полное распоряжение участки управления и обворовывал живого и мертвого. Он очень хорошо рассказал, как отец старика Размахнина, будучи писарем, мошенничеством нажил капиталы, обворовывая свою волость.

«Россия—государство обширное, обильное и богатое, да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обширном государстве». Это сказал Щедрин еще в «Запутанном деле» и там же он показывал, что не всегда нужно покорно склонять голову, а необходим «некоторый напор» и даже «наскок». Сила Салтыкова-Щедрина состояла в том, что он видел нарастание новой силы в России, которая должна была заменить господство дворян, и верил в демократическую крестьянскую революцию, которая должна была до основания потрясти самодержавный строй в России. Писатель других воззрений не мог в то время дать такой потрясающей картины, какая дана в «Царстве смерти». «Царство смерти» занимает важное звено в творческом развитии Салтыкова-Щедрина. Это произведение завершает собою обличительный цикл «Губернских очерков», к которым сатирик пришел от первых своих романтических повестей «Противоречение» (1847) и «Запутанное дело» (1848), за которые он поплатился высылкой в Пермь и Вятку. «Губернскими очерками» Щедрин начал свой ранний реалистический путь, и комедия «Царство смерти» является заключительным произведением в этом плане. Дальше Щедрин уже создавал свои сатирические произведения в другом плане, не в обличительно-бытовом, а в плане политической сатиры. Гранью последующего творческого развития была превосходнейшая сатира «История одного города» (1870). Если до освободительной реформы кое-что неясно было для сатирика, если его сбивали либеральные голоса из «Колокола» Герцена, ждавшего реформ сверху, то обманный акт 19 февраля 1861 г. обнажил более ярко гнилость русского самодержавия и подлость русских либералов. В период написания «Царства смерти» у Салтыкова-Щедрина еще не прошли иллюзии проповедывать либерализм в самом капище антилиберализма. По приезде в Крутогорск ему казалось, что и он должен на деле принести хоть частичку той пользы, которую каждый гражданин обязан положить

на алтарь отечества («Имярек»). Об этом шутливым языком сатирик говорил, что «теория эта в шутливом русском тоне так и называлась теорией вождения влиятельного человека за нос или учтивее: теорией приведения влиятельного человека на правый путь». Суровая жизнь обернулась к молодому Щедрину всей своей страшно *неприглядной стороной, и юношеский угар быстро соскользнул.* «Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве,— писал он,— понятие о лжи — до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии—до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязло местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч.—предстал идеал служения долгу, буква закона—принятым обязательствам» («Имярек», т. II, стр. 604).

Иллюзии либерализма Салтыков-Щедрин изживал в тот период, когда работал над «Губернскими очерками» и над «Царством смерти». Таким образом при исследовании творчества Салтыкова-Щедрина комедия «Царство смерти» является очень важным документом, мимо которого проходить нельзя.

Наряду с «Губернскими очерками» «Царство смерти» — документ первого, самого раннего этапа творчества, и он дополнительным материалом обрисовывает нам лицо Салтыкова-Щедрина как писателя, рано выступившего на борьбу с крепостным строем и видевшего, что Россия пойдет в своем развитии по пути капитализма. Щедрин ненавидит капитализм, ему противен Размахнин и весь его род, но он признает, что объективный ход развития России порождает этот тип людей. В этом признании Щедрин поднимался на огромную высоту теоретической мысли и был впереди многих народнических публицистов и писателей.

Комедия «Царство смерти» вскрывает нам еще одну особенность творческой деятельности великого сатирика, о которой обычно критики и исследователи забывают, — это драматургическую.

Драматургия Салтыкова-Щедрина крайне своеобразна. Это не драматургия Островского или Сухово-Кобылина, писавших специально драматические произведения для театра. Нет, драма никогда не была специальностью и профессией Салтыкова-Щедрина и она у него выполняла служебную роль в повестях и очерках. Это конечно не означает, что сатирик игнорировал или недооценивал драматическую форму, нет, он ее считал очень действенной формой и прибегал к ней в те моменты, когда хотел дать в сатирах более яркий диалог или более динамичный образ. Вот почему Щедрин драматическую форму вводил в повести и очерки. Имеется например три небольших драматических этюда в «Губернских очерках»—это «Просители», «Выгодная женитьба», «Что такое коммерция»; в очерках «За рубежом» есть «разговор в одном явлении» под названием «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» и прерванная сцена «Торжествующая свинья или разговор свиньи с правдою», в «Невинных рассказах» имеется «драматический очерк» «Утро Хрептюгина», в «Современной идилии есть «представление в двух картинах» — «Злополучный пискарь или драма в Кишинском окружном суде». Самостоятельными драматическими произведениями, появившимися в печати, были: комедия «Смерть Пазухина» («Царство смерти»), «Тени» и небольшой диалог «Стрижи», направленный против либерального журнала Достоевского. Но «Смерть Пазухина», как уже отмечено выше, предназначалась в качестве продолжения «Губернских очерков».

Из этого перечня, далеко неполного, видно, как часто Щедрин прибегал к драматической форме, делая ее органической частью своей сатиры. Эта манера письма сама по себе очень оригинальна, и в русской литературе до Щедрина к ней писатели не обращались. У Салтыкова-Щедрина она оживляет его рассказы и повести, придает им более сильную выразительность и непосредственность. Когда повествовательная ткань, например в «Губернских очерках», вдруг прерывается драматическими этюдами, читатель чувствует новую волну напряжения и получает новую эмоциональную зарядку.

Салтыков-Щедрин—большой мастер диалога, а в драматических этюдах он у него доведен до изумительного блеска.

Ф. Головенченко

ЦАРСТВО СМЕРТИ

Комедия в 4-х действиях

ДЕЙСТВИЕ I

Действующие лица

Иван Прокофьич Размахнин, 75 лет, негоциант, занимающийся подрядами и откупами.

Прокофий Иваныч, сын его, 55 лет.

Гаврило Прокофьич, 25 лет, внук его.

Статский советник Семен Семеныч Фурначев, зять его, 55 лет.

[Николай Павлович Калужанинов, 30 лет, служащий поручик, друзой зять его.]

Отставной генерал Андрей Николаич Лобастов, 60 л., друг старого Размахнина, происхождением из сдаточных.

Майор Станислав Фаддеич Понжперховский, 40 лет.

Иван Петрович Доброзраков, отставной штаб-лекарь, 55 лет.

Леонид Сергеич Разбитной, чиновник особых поручений при губернаторе, молодой человек.

Отставной подпоручик Живновский, 50 лет.

Анна Петровна Живоедова, 40 лет, сирота, из благородных, живущая в доме Размахнина в качестве экономки.

Финагей Прохоров Баев, пестун старого Размахнина, старик, не помнящий своих лет.

Лакеи и служанка.

Действие происходит в губернском городе Крутогорске.

СЦЕНА I

Театр представляет довольно обширную гостиную в доме старого Размахнина. В средине комнаты и направо от зрителя двери; налево два окна. В глубине сцены по обеим сторонам дверей диваны со стоящими перед ними круглыми столами; между окон большое зеркало, по стенам и по бокам диванов расставлены кресла и стулья [1]*; вообще убранство комнат свидетельствует, что хозяин дома человек богатый; [на столах и на стене много бронзы]. Утро. При открытии занавеса, на стенных часах бьет девять.*

Анна Петровна Живоедова *(Сидит на кресле у окна, ближайшего к глубине сцены. Одета в распашной капот, довольно грязный, но набелена и нарумянена. Живоедова роста видного и корпусом плотная. Через несколько времени входит из средней двери Баев, старик, поросший мохом и согнутый. Одет в синий кафтан, в руках держит* [2] *березовый сук, на который и опирается).*

Анна Петровна. Вот и живи с ним таким манером! Жили-жили, грешили-грешили: с пятнадцати поди лет в грехе!.. Еще при покойнице Лукерье Гавриловне околёсицу-то эту завели... [уж пряжку выслужили сказывает Андрей Николаич]... Теперича вот того гляди помрет, а духовной всё нет как нет... [Куда тебе!] Я, говорит, еще годков с пять проживу, да намеднись еще что выдумал: поди, говорит, Аннушка, сюда: я хоть погляжу... Ах! тяготы-то наши только никому неизвестны!.. *(Задумывается).* А вот Андрей Николаич еще говорит, что меня бог милостью сыскал! Разумеется, кабы духовная — слова нет: хорошо кабы духовная... А то, пожалуй, и ни с чем пойдешь — только слава, что дворянского рода! — да и то, что своим-то трудом нажила, и то, пожалуй,

Губернские Очерки.

Царство Смерти

Комедия в 4-х действиях.

Действие 1-е

Действующие лица:

ЧЕРНОВАЯ РУКОПИСЬ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ КОМЕДИИ ЩЕДРИНА «ЦАРСТВО «СМЕРТИ» (ПЕРВАЯ СТРАНИЦА)

Институт Русской Литературы, Ленинград

отнимут... Да и что нажила-то я опять? Конечно, кабы не Станислав Фаддеич... *(Задумывается вновь и мурлыкает под нос песенку. Тяжело вздыхая).* Да, была бы я теперь с денежками! *(Входит Баев.)*

Баев *(останавливается у дверей; сиплым голосом).* Здравствуй, [здравствуй] матушка Анна Петровна, каков наш соколик-то? [*(Ищет глазами чего-то).*]

Живоедова. Да чего уж соколик! того гляди, что ноги протянет... Да ты бы сел что ли, Прохорыч, вон на стул-то [3].

Баев. Нет, матушка, на стуле нам сидеть не пригоже... Вот кабы скамеечку...

Живоедова *(кричит).* Мавра! подай из девичьей скамейку. *(К Баеву.)* Ну, ты как, старина?]

Баев. А мне чего сделается! я еще старик здоровенный... живу, сударыня, живу. Только уж словно и надоело жить-то! [*(Появляется горничная девушка с небольшой скамейкой, которую и ставит около боковых дверей. Баев садится).* Так даже, что на свет смотреть тошно; нонче же порядки другие завелись, словно и свет-то другой стал.] Я уж в мальчиках был, как Иван-то Прокофьич родился... дда! *(Кашляет.)*

Живоедова. Водочки что ли поднести, Прохорыч?

Баев. Не действует, сударыня, не действует... Такая уж, видно, напасть пришла: ни пойла, ни ества, ничего нутро не принимает... стар уж я больно, сударыня, даже словно мохом порос... [ведь, дай бог всякому ворону столько лет прожить: во как я стар!]

Живоедова *(задумчиво).* Да и Иван-то Прокофьич уж не маленький... Господи! того гляди уснет человек, а духовную написать боится. Хоть бы ты что ли, Прохорыч, его с простого-то ума вразумил — ведь и тебя-поди наследники выгонят, как умрет.

Баев. Что-ж, сударыня, я готов вразумлять... Это точно что самое последнее дело именьем своим не распорядить... чай, поди сколько в сундуках-то у него напасено! Только Прокофья Иваныча он обидит: это уж я беспременно знаю, что обидит. И чем он ему, сударыня, не угодил, Прокофей-то Иваныч? человек, кажется, боязный, [в церковь божию ходит,] нищим подает — а не угодил!

Живоедова. Да и Прокофей-то Иваныч тоже ведь с норовом. Первое дело, что в армяке ходит, бороды не бреет — это, говорит, грех! а не грех что ли родителей не слушаться?

Баев. Грех-то, точно что грех... А ведь коли по правде сказать, сударыня, так это именно, что волос божий образ обозначает... И в писании, сударыня, сказано: *постризало да не взыдет на браду твою...* Это я еще махонький от убогих странников слыхивал...

Живоедова. Да ты, Прохорыч, то возьми, что к нам ведь чистые господа ездят... Иван Прокофьич [одну] дочь-то за генерала выдал, [другую за военного], а ведь от Прокофьевых-то от одних сапогов как дегтищем-то разит... Ты одно это себе вообрази, Финагеюшка!

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо!

Живоедова. Ну, опять и то: вздумал он жениться... Ведь он уж не маленький, чтоб прихоть свою соблюдать без малого-поди шестьдесят будет! Да что еще выдумал! на другой день с супругой-то в баню собрался: это, говорит, по древнему русскому обычаю... только смех, право! Ну, старику-то оно и обидно.

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо. Только человеческую плоть рассудить мудрено. Вот и я стар-стар, а бывает, что только сам дивишься как защемит... И в писании тоже сказано: не хорошо, то-есть, человеку одному быть, а подобает ему жить с супружницей. Прокофей-то

«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Эскиз костюма и грима для роли Ивана Пазухина

Рисунок Б. Кустодиева, темпера и карандаш, 1914 г.

Собрание Ю. Е. Кустодиевой, Ленинград



Иваныч, значит, по писанию действует. Ну, и в баню тоже противузаконного ничего нет...

Живоедова. Нет, Прохорыч, зазорно [воля твоя, зазорно]. У Прокофья-то Иваныча дети тоже есть, один вон у губернатора по порученьям служит... а ну, как он, губернатор-то, проведамши про этакой-то страм, да спросит его: «а чей, мол, это отец без стыда безо всякого на старости лет в баню ходит?» Ведь в ту пору молодцу-то от одного от сраму хоть в тартарары провалиться. [Вот ты что, Финагеюшка, рассуди.]

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо. Однако ведь давно ли и Иван-то Прокофьич себе бороду оголил? Сама, чай, сударыня, знаешь, каков он был, как в ту пору тебя родители-то ему продали? Коли ты помнишь, так я-то как теперь вижу, как его в Черноборске исправник пытал за бороду трясти: не мошенничай, говорит, не мошенничай! Да, грозные были, сударыня, те времена, великие времена!

Живоедова. Оттого-то, видно, и стал он к просвещенью очень способен!

Баев. Такие, сударыня, были времена, что даже заверить трудно. Ивана-то Прокофьича папынька волостным писарем был, так нынче, кажется, и цари-то так не живут, как он жил. Бывало, по неделе и по две звериного образа не покинет, целые сутки пьян под лавкой лежит. Тутотка они и капиталу своему первоначало сделали, потому как и волость-то у них всё одно как свои крепостные люди были... А Иван-то Прокофьич подрос, так тоже куда ворист паренек был: ну, папынька-то ихний, видемши их такую анбицию к деньгам, что как они без сумленья готовы и живого и мертвого оборвать, и благословили их по питейной части итти. Ну, и пошли... А теперь они сирым вдовицам благодетельствуют, божьи храмы сооружают... Что-ж, это хорошо! Пред владыку

небесного с хорошими делами предстать веселее будет! [Ахти-хти-хти-хти! Так во какие времена, сударыня, были!

Живоедова. Только уж ты ему не поминай лучше об них, Прохорыч.

Баев. А отчего бы, сударыня, не напомнить? Разве тут что зазорное есть? Кабы он в церковь божию не ходил, или по постам скоромное ел — ну, это точно, что было бы зазорно, а то ведь это, сударыня, дело коммерческое, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Сегодня он меня ушибет, завтра я его, так оно и идет кругом *(Вздыхает.)*]

Живоедова. Так-то так, Прохорыч, только вот что худо, что об душе-то он об своей на старости лет попечись не хочет; хоть бы нас, своих старых слуг, обеспечил, всё бы греховная-то ноша полегче была. А то вот предстанет пред царя небесного, а он, батюшка, и спросит его: «на кого-мол оставил ты Анну Петровну?» — а какой он ответ тогда даст? Вот что горько-то, Финагеюшка!

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо.

Живоедова. А то вот всё говорит «поживу еще», да нелегкая понесла об каком-то чине теперь хлопоты затеял — сколько тут еще денег посадит! Словно в гробу-то не всё одно лежать, что потомственным гражданином, что надворным... только грех один!

Баев. И, матушка! поменьше-то еще лучше — вот я как скажу! Потому что там маленького-то на первое место посадят!

Живоедова. Ну, и детки тоже тащат: один Гаврюшенька чего стоит! В ту пору пожелал в гусары; насилу отчитали — хочу да хочу! [А об Николае Павлыче и говорить нече — этот старик как есть доймя доит]. *(Слышен стук подъехавшего экипажа.)* Ну, кажется, наши коршуны слетаться начинают.

Баев. Мне, видно, уйти, сударыня?

Живоедова. Ступай, Финагеюшка, да поговори же ты с ним, голубчик: так, знаешь, будто от себя, с простого ума. *(Баев уходит.)*

СЦЕНА II

Живоедова и Понжперховский.

Понжперховский видный мужчина, в военном сюртуке; усы нафабрены и тщательно завиты, волосы на голове приглажены; очень вертляв и вообще занят собой; говорит с сильным акцентом)

Живоедова. Ах, это вы, Станислав Фаддеич, а я думала, что из наследников кто-нибудь.

Понжперховский *(подходя к ее руке)*. А сердце разве уж не подсказывает вам... ничего не подсказывает?

Живоедова. Какое уж тут будет сердце, Станислав Фаддеич, когда три ночи сряду не спала. *(Кричит)* Мавра! подай-ка закуску!

Понжперховский. Что-ж, разве очень уж плох?

Живоедова. Плох-то плох, да что в этом толку! [«Ничего, говорит, еще, поживу, Аннушка...» вот поди ты с ним...] Хошь бы уже помер что ли, прости господи! — всё бы один конец!

Понжперховский. Нет, это уж боже упаси, Анна Петровна! Не сделавши распоряженья, ему умирать нельзя... *(Подумав немного)* А на вашем бы месте, я, знаете ли, что бы сделал?

Живоедова. Ну?

Понжперховский. [Скажите, пожалуйста, капиталы у него как больше: наличными или в билетах?

Живоедова. Есть и наличными, а больше в билетах.





«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
Эскизы костюмов и грима для ролей Живоедовой, Прокофия Пазухина и Живновского
Рисунки Б. Кустодиева, темпера и карандаш, 1914 г.
Собрание Ю. Е. Кустодиевой, Ленинград

Понжперховский. Ну, а билеты как-с? именные или на неизвестного?

Живоедова. Неизвестные, кажется, больше... Да что-то, мне словно страшно, Станислав Фаддеич...

Понжперховский. Бесподобно-с[4]. Так на вашем бы месте я, знаете ли, что бы сделал?] Я бы, как начнет старик-то умирать, все бы эти безымянки к одному месту-с... Вот как надо действовать, моя милейшая Анна Петровна!.. а там, знаете, *(ласкаясь к ней)* уехали бы ко мне в Понжперховку, я бы в отставку вышел, пошли бы у нас деточки... славно бы зажили!

Живоедова *(задумчиво)*. Хорошо-то, уж как бы хорошо! Только [как же ты его тут разберешь, умирает ли он или не умирает — вот он уж третий год словно все умирает... А второе дело] куда ж я билеты-то спрячу? ведь наследники-то, поди, по смерти, обыскивать будут?

Понжперховский. Неужто вы на меня не надеетесь?.. Анна Петровна?.. матушка!

Живоедова. Да, надейся на вас! Только тебя и видели, покуда деньги в карман положить не успел. Кабы не моя к вам любовь, давно бы мне эти глупости-то оставить надо... *(Махнув рукой)* Так, заел ты мой век!

Понжперховский. Так согласны-с?

Живоедова *(в раздумьи)*. Рада бы я радостью, да бросишь ты меня в ту пору — вот чего я боюсь! Ни Понжперховки, ни тебя тогда не увидишь! *(Входит Мавра с подносом, на котором поставлена водка и закуска)*. Лучше вот выпей да закуси!

Понжперховский. [А вы подумайте, любезнейшая Анна Петровна!.. лучше же с предметом своим поделиться, нежели как если этому сиволапу Прокофью всё достанется!] *(Наливая рюмку)* За ваше здоровье-с!

Живоедова. Да ты бы грибочков закусил: я сама отваривала — прислать что ли?

Понжперховский. А это не худо-с... вот вы бы мне, ангел мой, тех рыжичков сообщили, которые за тремя замками заперты... дда-с!

Живоедова *(вздыхая)*. Ох, уж и то не мало ты у меня их перетаскал, ненасытная ты душа... И куда только ты их тратишь — чай, всё на любовниц?... Как подумаю только об этом, так даже сама чувствую как душа вся дрожит... изверг ты!

Понжперховский. Полноте, ангел мой, напрасно только сердце свое тревожите. Насчет верности, доложу вам, я золотой человек... В карты перекинуть — это так; ну, и удобства разные: чтоб вино у меня, или сигары, всё чтоб было в своем виде... [Признаюсь, на этот счет я точно что слабый человек!] *(Обращаясь к зрителям)* Люблю пожуировать! Деньги — это, я вам доложу, для меня презренный металл, которого чем больше, тем лучше — вот моя философия!.. Можно, я полагаю и повторить, ангел мой Анна Петровна?

Живоедова. Кушай, батюшка... Только ты лучше водки больше пей[5]: от этого человек тучен бывает, а от тучности и красоты в человеке прибавляется[6]. [Да ты бы хоть ветчинки что ли отведал? Сама и солила и коптила — всё сама. Прислать что ли окорочек?

Понжперховский. Пришлите, ангел мой Анна Петровна, пришлите. А я к вам, моя бесценная, с просьбицей... так, с самой маленькой...

Живоедова. Всё, чай, за деньгами?

Понжперховский. Угадали, красавица моя, угадали. И кто это вам подсказывает? верно, это самое сердце, в котором пламень любви

обитает?.. Нужно, Анна Петровна, нужно-с! За то как любить буду! просто огонь!

Живоедова. Да давно ли ты у меня одолжался? Что, я разве кую деньги-то? Ведь они мне трудом достаются, пойми ты это!

Понжперховский. Нужно, Анна Петровна, нужно-с... Сегодня вот кучер: сена, говорит, купить надо...

Живоедова. Много ли на сено надо! Нет, ты не на сено, а на любовниц транжиришь — вот что! Кабы не ты, не боялась бы я теперь



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

М. Николаева, П. Бакшеев, В. Булгакова в ролях Василисы Парфентьевны, Баева и Мавры

Снимок сделан во время гастролей театра в Америке, 1924 г.

Музей МХАТ им. М. Горького, Москва

ничего, была бы при своем капитале: вот ты на какую линию меня поставил!] *(Слышен стук экипажа)*. Ну, уж это, верно, наследники!

[Понжперховский.. Так как же деньги-то?

Живоедова. Да уж что с тобой станешь делать: приходи ужо!]

СЦЕНА III

Те же, Лобастов и Доброзраков. (Лобастов небольшой человек, очень плотный и склонный к параличу; лицо красное, точно с морозу, пьет и закусывает наскоро, но прежде, нежели положить кусок в рот, дует на него. Он еще очень бодр и жив в своих движениях, редко стоит на месте и даже разговаривая больше ходит. В поношенном фраке. Доброзраков [тот самый франт, о котором подробно объясняется в «Губернских очерках», зри «Прошлые времена, рассказ первый». Он] роста большого и несколько при этом сутуловат; смотрит добродушно, и даже наивно [но на житейские дела имеет взгляд исключительно практический], а при подании



О. Л. Книппер в роли Живоедовой
Снимок сделан во время гастролей в Америке, 1924 г.
Музей МХАТ им. М. Горького, Москва

медицинской помощи прибегает преимущественно к кровопусканию, вследствие чего пользуется большим доверием крутогорских граждан.)

Лобастов *(становясь в дверях)*. Пану полковнику здравия желаем. Чи добрже ма̀ешь, пане?

Понжперховский. А вот-с приехали почтеннейшего Ивана Прокофьича проведать... Как вы, генерал?

Лобастов. Да что — плохо! того и гляди Кондратей Сидорыч хватит: потудова только и жив, покудова Иван Петрович тарелки две красной жидкости выпустит.

Доброзраков *(прямо подходя к водке)*. А вот, ваше превосходительство, испытаем предварительно целебные свойства этой жидкости *(подносит ему рюмку)*.

Лобастов *(пьет)*. Да, любезный друг, встарину эта жидкость на меня именно целебное действие оказывала. Бывало, как ни сделаешься болен, потерся ею снаружи, сполоснул внутри — и всё как рукой сняло. Нет, теперича уж не то: укатали, знаете, сивку...

Понжперховский. А что вы думаете, генерал? может быть от этого-то частого всполаскиванья оно и не действует... Вот у нас помещик был, тоже этим занимался, так поверите ли, внутренности-то у него даже выгорели все, точно вот у печки, если часто да без меры ее топить.

Лобастов. Да?.. а у нас бывала-таки изрядная топка, особливо как еще нижним чином был [сменишься, бывало, с караула, так это даже удивительно какое количество выпивали... Ну, и после тоже...

Понжперховский. Сс...]

Живоедова. Ан, вот, стало быть, нутро-то и выгорело.

Доброзраков. Вздор всё это. *(Ударяет себя по животу)* Это печка такого сорта, что как ее ни топи, всё к дальнейшей топке *достойна и способна*. [Я это по собственному опыту говорю]. Я вот уж шестой десяток на свете живу, и достаточно-таки внутренности свои увлажил, а все[-таки] хоть сейчас в поход готов... [Стало быть, не водка, а кровь —

вот кто злейший наш враг.] А ну, ваше превосходительство, покуда, до Кондратья-то, выпьем по маленькой! *(Пьют и закусывают.)*

Лобастов. Однако, мы хороши. Уж повторили и закусили, а любезнейшей Анне Петровне даже почтения не отдали.

Живоедова. И, батюшка, бог простит! Как ваша Елена Андревна?

Лобастов. Да что, сударыня, сохнет.

Живоедова. Что-то уж и сохнет! да ты бы, Андрей Николаич, ей мужа что ли сыскал: [ведь] она, я думаю, больше этим предметом и сокрушается!

Лобастов. А где его, сударыня, нынче сыщешь! Знаю я, что девическая жизнь, как ее ни хлебай, все ни солоно, ни пресно...

Доброзраков. Да-с; вот от этого — это действительно, что нутро выгореть может.

Понжперховский. Сс...

[Живоедова. Чтой-то уж, батюшка, ты ровно пустяки городишь? Вот я, слава тебе господи, сорок лет в девичестве нахожусь, а нутро-себе как нутро.

Доброзраков. Да ваше девичество, Анна Петровна, совсем другое-с; а Елена Андреевна, можно сказать, закалилась в девичестве — вот что нехорошо-то!]

Лобастов. Ну, а Иван Прокофьич как? не вставал?

Живоедова. Какое, вставал? на заре только уснул: уж пытала я с ним маяться, даже теперь сонная хожу. [Думала вот, что наследники приехали, ан вы!]

Лобастов. Какие мы, сударыня, наследники! так, с боку припёку. А что перемен у вас никаких нет?



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Л. М. Леонидов в роли Ивана Пазухина

Снимок сделан во время гастролей в Америке, 1924 г.

Музей МХАТ им. М. Горького, Москва

Живоедова. Какие у нас перемены? [лежит как чурбан, прости господи, да привередничает! нет чтобы богоугодное дело сделать!

Доброзраков. Да, заберет всё Прокофий — это уж верно, как дважды два.

Лобастов. Да, похоже на это.

Живоедова.] Хошь бы ты его, Андрей Николаевич, усовестил;—[ведь ты генерал, а он поди как любит, чтоб за ним большие люди ухаживали]. Право, [ведь] дождемся мы до того страму, что Прокофей Иваныч всем завладает.

Лобастов. Да, похоже на это.

Живоедова. [Да что ты, батюшка, словно маятник ходишь, да только и слов у тебя, что «похоже на это». Сами уж видим, что похоже, а ты нам скажи, как пособить-то этому...] Ведь ты то рассуди, что дом-от почти на дворянской ноге теперича заведен, а тут вдруг въедет в него свинья со своим с рылом! вот ведь что обидно-то!

Лобастов. Знаю, сударыня, знаю, да уж и со мной-то очень здесь обошлись... за живое, сударыня, задели! Ведь дочь-то она у меня одна— значит кровное детище!.. Так с какой же мне стати в чужие [можно сказать] дела входит?

Доброзраков. А ну их, ваше превосходительство! Лучше выпьем с горя! *(Пьют.)* Это третья-с, а сколько еще мне придется этаких выпить! [Практика у меня, знаете, купеческая, так куда ни придешь, всё «пожалуйте да пожалуйте»! а то вот еще говорят, что нутро выгорает... ах вы!] Однако надо бы старика проведать. Анна Петровна, пойдемте-ка вместе, надо его разбудить.

Живоедова. Да нельзя ли не будимши посмотреть?

Доброзраков. Нельзя-с, надо язык посмотреть.

Живоедова. Да нельзя ли хоть сегодня без языка?..

Понжперховский. Нельзя, Анна Петровна, язык есть продолжение человеческого естества, следственно...

Доброзраков. Эк вывез! Пойдемте, Анна Петровна. *(Уходят.)*

СЦЕНА IV

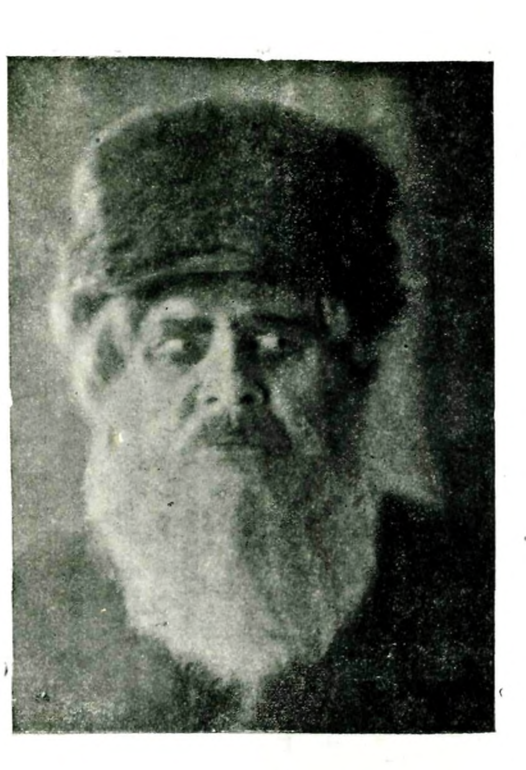
Те же, кроме Доброзракова и Живоедовой (в среднюю дверь незаметно входит Прокофий Иваныч и становится около самой двери. Прокофий Иваныч старик среднего роста совершенно седой, одет в синий кафтан, носит бороду и острижен по-русски. При входе он несколько раз кланяется).

Понжперховский *(не замечая Прокофия Иваныча).* А ведь это, ваше превосходительство, именно удивительно, какое жестокосердие в человеческом сердце поселиться может! Ведь боится же человек смерти!.. ну, [скажите на милость? Нет-с, я так полагаю, что это от того, что грех, верно, тяжкий на совести лежит, потому что] возьмите вы хоть нас с вами... Ну, приди хоть сейчас смерть — что-ж? *(впадая в сантиментальность):* зла я никакого не сделал, ни у кого ничего не украл, не убил, не прелюбы сотворил, [Государю своему служил верно...] ну, чего, ну, чего же бояться мне смерти! Готов, готов хоть сей час в дальний вояж!

Лобастов. Нет, не говорите этого, Станислав Фаддеич, уж кто другой, а я знаю, что значит умирать: такие, знаете, старики перед глазами являются, каких и от роду не видывал...

Понжперховский. Скажите пожалуйста!

Лобастов. Д-да-с... Я, сударь, два раза обмирал... то-есть, так обмирал, что даже сам уж думал, что в будущую жизнь переселился... И вот какой, я вам доложу, тут случай со мной был. Звание мое, как вам





«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

И. М. Москвин в роли Прокофия Пазухина

Снимки сделаны во время гастролей театра в Америке, 1924 г.

Музей МХАТ им. М. Горького, Москва

известно, *из простых-с*, так в двенадцатом году я был еще [так] лет осьмнадцати мальчишка. Проходили мимо нашей деревни французы, мародёры по-ихнему называются... Вот-с я, однажды, и изымал одного такого французишку, и как были мы [все] тогда вне себя, так и я тоже свою лепту-с... Так поверите ли, как обмирал-то я, всё этот прожженый французик — так, сударь, языком и дразнит... Так вот она что значит смерть-то].

Понжеперховский. Сс...

Лобастов. Так умирать-то, значит, и не легко-с. [А у Ивана Прокофьича, по секрету, тоже...] *(Оборачивается и видит Прокофья Иваныча)* А! Прокофий Иваныч! здравия желаем! Ну, как с молодой супругой поживаете?

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. Слава богу-с... мы вот насчет тятенькинова здоровья очень беспокоимся.

Лобастов. Это дело доброе... Что ж, старик, кажется, слава богу... это должно тебя радовать.

Прокофий Иваныч. «Слава богу» — лучше всего, ваше превосходительство. *(Кланяется и как-то сомнительно улыбается.)*

Лобастов. Да вот что, Прокофий Иваныч, я с тобой переговорить хотел.... ты бы, брат, эту сермягу-то бросил, да и бороду-то, брат, тово...

Прокофий Иваныч *(кланяясь)*. Помилуйте, ваше превосходительство.

Лобастов. Право, брат, так... Ну что тебе значит старика потешить? Разве лучше, что он тебя к себе на глаза не пускает?

Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше превосходительство... Мы завсегда родительский гнев сносить рады [7].

Лобастов. Так брось же, братец, ты эту дурь!

Понжперховский. Вы посмотрите, Прокофий Иваныч, как образованные люди ходят... разве дикое состояние образованному человеку прилично?

[Прокофий Иваныч. Помилуйте, ваше высокоблагородие, онаменднись француз фокусы показывал... так ведь тоже борода у него была... а он тоже образованный.

Понжперховский. Так ведь он из мужиков, Прокофий Иваныч, поймите вы это! Только не из русских, а всё же из мужиков! Разве образованный фокусы станет показывать! Образованный служит отечеству по военной или по гражданской части! *(Улыбается и самодовольно озирается на Лобастова.)*]

Прокофий Иваныч *(к Лобастову)*. Нет уж, ваше превосходительство, позвольте нам пред царя небесного в своем виде предстать. *(Кланяется.)*

[Лобастов. Ну, как знаешь любезный; я для тебя, для твоей же пользы говорю.]

СЦЕНА V

Те же и Гаврило Прокофьич. Гаврило Прокофьич вбегает стремительно; одет франтом и завит.)

Гаврило Прокофьич. Где дедушка? где дедушка? Господи! половина одиннадцатого, а он там еще прохлаждается! Анна Петровна! Анна Петровна!

Понжперховский. Позвольте, Гаврило Прокофьич, я покричу-с. *(Кричит в боковую дверь)* Анна Петровна! Анна Петровна!

Гаврило Прокофьич. Благодарю вас... А всё эта глупая привычка сидеть дома безо всего.

Лобастов. Да что такое случилось?

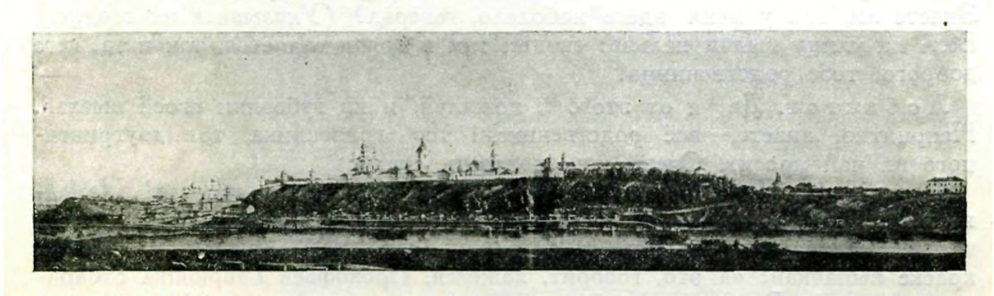
Гаврило Прокофьич *(размахивая руками)*. Князь... князь... желает узнать об здоровьи дедушкином... Ну, поняли вы что ли?

Лобастов *(начиная застегиваться)*. Ах ты господи! Сам его сиятельство едет!

Гаврило Прокофьич. Кто вам говорит про его сиятельство! Поедет к вам его сиятельство! довольно будет если и Леонида Сергеича пришлет. [Еще кабы жили, как порядочные люди живут!] *(Оборачивается и видит отца, который кланяется)* А! и вы тут! разве вы не слышите, (*с расстановкой)* разве не слышите, что Леонид Сергеич сейчас сюда будет! Разве здесь ваше место? [8].

Прокофий Иваныч. *(Кланяясь)* Я [9] об тятенькином здоровьи узнать пришел...

Гаврило Прокофьич. Об этом и на кухне от Баева узнать можно. *(Прокофий Иваныч делает движение чтобы выйти.)* Или нет, погодите, мне нужно с вами еще переговорить. *(Становится перед ним, сложив на груди руки)*. Нет, вы скажите, вы долго нас срамить намерены?



ВИД ГОРОДА ВЯТКИ С СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ

Гравюра с рисунка П. Шестакова, 1864 г.

Публичная Библиотека, Ленинград

Прокофий Иваныч. Я, кажется, ничего, Гаврюшенка.

Гаврило Прокофьич. Стыдитесь, сударь, стыдитесь... До седых волос вы дожили, а только одни непристойности у вас в голове. *(Махает руками у него под носом)*. И с чего вы это взяли в баню ходить? Этого даже и в безобразных ваших цветничках [ведь] нет!

[Прокофий Иваныч. Я, кажется, по преданию, Гаврюшенька.

Гаврило Прокофьич. Ах ты господи! вот и говори ты с ним! вот и живи с ними в этаком хлеву!]

Прокофий Иваныч *(вздыхая)*. Видно [10], и впрямь итти к Прохорычу! *(Уходит.)*

СЦЕНА VI

Те же, кроме Прокофья Иваныча. Из боковых дверей выходит Живоедова.

Живоедова. Что такое случилось, Гаврюшенька?

Гаврило Прокофьич. Во-первых, сколько раз я просил вас оставить эту поганую привычку называть меня Гаврюшенькой? Какой я вам Гаврюшенька?

Живоедова. Христос с тобой, Гаврюшенька! Я ведь тебя на руках маленьким носила!

Гаврило Прокофьич. Это нужды нет, что носили: когда носили, тогда и Гаврюшенькой звали, а теперь я уж Гаврило Прокофьич— слышите! Ну, а во-вторых, сюда сейчас от князя Леонид Сергеич будет об дедушкином здоровьи узнать.

Живоедова. Ах ты господи! А ведь Иван-то Прокофьич еще безо всего там сидит! *(Убегает.)*

Понжперховский. Верно и мне уж уйти; не люблю я этого Разбитного.

Лобастов. А что?

Понжперховский. Гордишка-с! *(Уходит.)*

СЦЕНА VII

Те же, кроме Живоедовой и Понжперховского.

Гаврило Прокофьич. Ну, скажите, пожалуйста, генерал, зачем, например, этот выходец сюда таскается?

Лобастов. А так вот: выпить да закусить. Вы уж очень строги, Гаврило Прокофьич.

Гаврило Прокофьич. Нет, генерал, я не строг, а я желаю, чтобы в этом доме чистый воздух был... понимаете? [чтобы вся эта сволочь не ходила сюда как в кабак водку пить. С моими чувствами, с моим образованьем подобного положения вещей перенести нельзя!] Знаете ли, как у меня здесь наболело, генерал? *(Указывает на сердце.)* Ведь на улицу выдти нельзя: свинья там в грязи валяется, так и та, чего доброго, тебе родственница!

Лобастов. Да; я от этого [11], пожалуй, и из губернии своей выехал. Неприятно, знаете,—всё родственники! тот гривенника, тот двугривенного на чай просит. Очень уж одолевать стали.

Гаврило Прокофьич. Так каково же мне-то, генерал! Намеднись вот иду я, в хорошей компании, мимо рядов, ну, и княжна тут... вдруг, откуда ни возьмись, бабушкин брат, весь, знаете, в кубовой краске выпачкан: «а это, говорит, кажется, Прокофьев Гаврюшка с барами-то ходит!» Вы только войдите в мое положение, генерал! что я тут должен был вытерпеть!

[Лобастов. Да; это очень неприятно.

Гаврило Прокофьич. И добро бы еще были негоцианты как следует — ну, уж бог бы с ними! Я вам скажу даже, что в образованных государствах tiers état великую роль играло... Так ведь нет же, всё почти раскольники, да и торговлею-то какою непристойною занимаются: тот краской торгует, тот рыбным товаром, просто даже прикоснуться совестно.]

Лобастов *(вздыхая)*. А впрочем, ведь это вам от того так, Гаврило Прокофьич, кажется, что у вас на платью сукно уж тонко очень — вот и представляется всё, что замараетесь. Эх, Гаврило Прокофьич! вот вы давича и с родителем тоже крупненько поговорили, а ведь, знаете, умри завтра growth дединька-то [12], бог весть еще кому перед кем кланяться-то придется... [Я любя вас это говорю, молодой человек!

Гаврило Прокофьич. Вот еще! Да он ничего ему не оставит, кроме той лавки, в которой он нынче торгует... да и в той-то только четвертую часть, а остальные три четверти брату Ивану.

Лобастов. Бог знает, сударь, бог знает... духовной-то вот и о сю пору нет!

Гаврило Прокофьич. Да; признаюсь, это, чорт знает, как меня бесит! и придет же в голову такая нелепая фантазия, что после духовной сейчас ему и смерть. А знаете ли, ведь вы, пожалуй, правы, генерал; пожалуй, и в самом деле, без духовной умрет...] *(Вздрагивает)*. Чорт возьми! ведь тогда прескверная штука выйдет! этот дегтярник в состоянии и еще детей иметь, от него это станется!

Лобастов. Поверьте мне, Гаврило Прокофьич, он недаром женился... Он хоть и стар, да у молодых баб [знаете], жировые дети бывают!

Смерть Пазухина

~~Губернские Очерки~~

~~Купцово выморочное дело.~~

~~[illegible]~~

Комедия в 4х действиях.

Действие

Действующия лица.

Иван Прокофьич Пазухин ~~[illegible]~~, 75 лет, негоциант, занимающийся подрядами и откупами.

Прокофий Иваныч, сын его, 55 лет,

Василий Прокофьич 25 лет, внук его.

Статский Советник
Семен Семеныч Фурначев, зять его, 55 л.

~~Николай Павлович [illegible], 30 лет, отставной поручик, друг [illegible]~~

Отставной генерал Андрей Николаич Лобастов, 60 л., друг старого Пазухина ~~[illegible]~~ происхождением из сдаточных.

Майор Станислав Фаддеич Лопжеперховский, 40 лет

Иван Петрович Доброзраков, отставной штаб лекарь, 55 лет.

Леонид Сергеич Разбитной, чиновник особых поручений при Губернаторе, молодой человек.

Отставной Подпоручик Живновский, 50 лет.

Анна Петровна Живоедова, 40 лет, сирота, из благородных, живущая

КОПИЯ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ КОМЕДИИ ЩЕДРИНА «ЦАРСТВО СМЕРТИ», ПРАВЛЕННАЯ АВТОРОМ (ПЕРВАЯ СТРАНИЦА)

Институт Русской Литературы, Ленинград

Гаврило Прокофьич. Да хоть бы вы, генерал, с дедушкой поговорили: он вас слушается.

Лобастов. Нет, Гаврило Прокофьич, мое тут дело сторона. Да к тому же и обидели меня очень!

Гаврило Прокофьич. Помилуйте, генерал, какая же тут обида! Вы то возьмите, что вашей Елене Андревне почти тридцать, а мне и всего-то двадцать!

Лобастов. Так-то так-с, да ведь она у меня одно только и есть детище! рассудите сами, Гаврило Прокофьич, каково отцовскому-то сердцу смотреть, как единственное детище изнывает! Ведь она, можно сказать, ночи не спит! *(Начинает ходить по комнате с усиленною поспешностью).* [И добро бы еще бесприданница была!]

Гаврило Прокофьич. Ну, это еще как-нибудь поправить можно... Только вы уж на старика-то подействуйте!

Лобастов *(останавливаясь).* Да вы не шутя это говорите, Гаврило Прокофьич?

Гаврило Прокофьич *(в сторону).* Вот навязалась, скверная девка! *(Нерешительно).* Д-да-с, генерал, я к вам заеду поговорить об этом.

[Лобастов. Ну, заезжай, заезжай, дорогой зятек — вот Леночке-то радость будет! *(На ухо ему.)* У меня ведь тоже сотняжка тысяч за Леночкой-то найдется! Как же! недаром век изжили! батальоном, сударь, двадцать лет командовали, да каким еще: гарнизонным-с!

Гаврило Прокофьич *(радостно).* Неужели?] Не выпить ли нам, генерал? *(Подходит к закуске.)* Господи! даже закуски порядочной подать не могут! грибы да рыжики да ветчина! эй, кто тут есть? *(Является Мавра)* Да позови ты лакея, варвары вы этакие! этак ты, пожалуй, и при гостях в гостиную вломишься! Возьми поднос, да вели приготовить другую закуску — генеральскую, слышишь? *(Мавра берет поднос и уходит; в это время двери растворяются настежь и в них показывается большое и длинное кресло на колесах, подталкиваемое сзади двумя лакеями. На кресле, утопая в подушках лежит [или, правильнее, сидит с ногами] Иван Прокофьич, старик сухой и слабый; одет в сюртук; на шее повязан белый галстух; [волосы, совершенно белые, зачесаны с таким расчетом, чтобы закрыть образовавшуюся посреди головы плешь;] вид имеет Иван Прокофьич весьма сановитый и почтенный. Лакеи, подкатив кресло на средину комнаты, удаляются.)*

СЦЕНА VIII

Те же, Иван Прокофьич, Живоедова [*и Доброзраков*].

Лобастов. Почтеннейшему Ивану Прокофьичу здравия и благоденствия желаем! Каково, сударь, спал, веселые ли сны во сне видел? *(Садится подле кресел.)*

Иван Прокофьич. Да чего, брат, только провалялся с боку на бок — какой уж тут сон!

Живоедова. [Полно, сударь, на старости-то лет на себя клепать; разве только с ночи привередничал, а то спал как спал, дай бог и молодому так выспаться.] Гаврюшенька! хоть бы ты посмотрел, так ли мы дединьку-то одели?

Гаврило Прокофьич. Опять вы с своим «Гаврюшенькой»! Что у вас язык-то отвалится сказать «Гаврило Прокофьич»? [Да вы сказывайте, отвалится или нет?

Живоедова *(подумавши).* Для-че языку отвалиться?..

Гаврило Прокофьич. Ну, следственно...] *(Осматривая Ивана*



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
Эскиз декорации 2-го акта
Акварельный рисунок Б. Кустодиева, 1914 г.
Собрание Ю. Е. Кустодиевой, Ленинград

Прокофьича). Господи! Галстух-то, белый-то галстух-то зачем вы ему навязали! ведь точно и не весть кто к вам едет... этакое невежество!

Иван Прокофьич. Ну, ну, не балуй, Гаврило! Не великого еще мы с тобой чина птицы... вспомни что̀ сказано: ему же честь — честь, ему же дань — дань... Стало быть, и в белом платке можем принять посланца от его сиятельства.

Гаврило Прокофьич. Да ведь над вами же потом Леонид Сергеич смеяться будет: эк, скажет, обрадовался!

Иван Прокофьич. Ну, и пущай смеется, а что подобает, то подобает.

[Доброзраков. А что, Анна Петровна, видно водочка-то «ау» сказала?

Живоедова. Кто ж это поднос снять велел?

Гаврило Прокофьич. Кто велел? я велел! вам бы только водку пить да закусывать!

Доброзраков. Эх-ма! а не худо бы выпить...

Гаврило Прокофьич. Вы бы лучше, Анна Петровна, распорядились, чтоб закуска приличная была, а то наложили рыжиков да ветчины — только один стыд с вами!

Иван Прокофьич. *(Живоедовой).* Там, в подвале, на третьей-то полке, в самом углу, жестянка не початая стоит...

Живоедова. *(вынимая из-под подушек связку ключей).* Иду, батюшка, иду. *(Уходит.)*

Доброзраков. И мне, видно, за Анной Петровной по подвальной части! *(Уходит; в средних дверях показывается Живновский, высокий старик с огромными усами и бакенбардами, в форменном очень потасканном сюртуке).*]

СЦЕНА IX

Те же и Живновский.

Живновский. Благодетелю Ивану Прокофьичу нижайше кланяюсь. Ваше превосходительство! Гаврило Прокофьич! *(Кланяется всем.)*

Иван Прокофьич. Откуда бог принес?

Живновский. А вот-с, был сегодня, на вчерашнем пожарище-с...

Иван Прокофьич. Потух что-ли?

Живновский. Дымится, благодетель, дымится — по этому-то случаю я и был. Распорядиться, знаете, некому; полицеймейстеришка дрянь; [стоит тут-это бочка с водой, а полицейские знай ковшиком огонь заливают... Ну, что тут бочка! Ну, я вас спрашиваю, что тут одна бочка? тут сотни бочек надобно!] вот и пришлось за них работать! всю ночь провозились, да и утро так между пальцев ушло.

Иван Прокофьич. Ишь тебя нелегкая носит! словно тебе тысячи за это дают!

Живновский. Помилуйте, благодетель, ведь [тут] человечество погибает!.. [нельзя-же-с!]

[Иван Прокофьич. А я так думаю, что просто натура у тебя такая уж буйная, что пожар-то тебе заместо праздника! Ну, сказывай, стрекоза, где же ты еще шатался?]

Живновский. [Всё на пожарище; дело не маленькое-с; надо было и тем и сем распорядиться...] Сама княжна Анна Львовна мое усердие заметили.

Гаврило Прокофьич. Как, и княжна там была?

Живновский. Как же, и с Леонидом Сергеичем... Пожелали и о подробностях узнать: кто пострадал и как... ну, я им всё это в живой картине представил... Да Леонид-то Сергеич к вам ведь едет.

Иван Прокофьич. Разве что-нибудь говорили?

Живновский. Говорили, благодетель, говорили. Как я, знаете, порассказал, что [так-мол и так], вдова, пятеро детей, — с позволения сказать, лишь необходимое, по ночному времени, ношебное платье при себе сохранили — так княжна тут же к Леониду Сергеичу обратилась: иль-фо, говорят, Razmakhnine... [Вот я и поспешил благодетеля предупредить.]

Гаврило Прокофьич *(озабоченно)*. Деньги при вас, додинька?

Иван Прокофьич. А разве надо?

[Гаврило Прокофьич Нельзя, дединька, нельзя... как же можно! княжна делает вам честь...

Живновский. Там честь ли не честь ли, а всё деньги отдать придется — так, по-моему, уж лучше честью.

Иван Прокофьич] *(Лобастову)*. Как ты думаешь, Андрей Николаич, сколько?

Лобастов. Да четвертной, кажется бы, достаточно.

Гаврило Прокофьич. Что вы, что вы! да Леонид Сергеич и не возьмет! Нет уж, дединька, как вы хотите, а меньше сторублевой нельзя! Жертвовать так жертвовать! Посудите сами, у них только и надежды на вас!

Иван Прокофьич. То-то вот и есть, что часто уж очень надежду-то на нас полагают! Как и деньги-то припасать, не знаешь! Намеднись вот на приют: от князя полиция приезжала — нельзя, говорит, меньше тысячи — ну, дал; через час места, председатель чиновника присылает — тоже, говорит, на приют — тоже дал; потом управляющий — ну, этот, спасибо, хошь сам приехал: я, говорит, на твой карман виды имею!.. тоже шутит!.. Много уж больно благодетелей-то развелось!

Гаврило Прокофьич. Да нет, вы, дединька, всё прежнего своего скевалыжничества не забыли. Вы то подумайте, что князь вас в надворные советники представил! [Ведь это и ныньче почти дворянин, а прежде-то и весь дворянин был!]

Иван Прокофьич. Меня, брат, с этим надворным советником уж давно измаяли; может, и ноги-то отнялись от него! Еще княжой предместник эту историю-то поднял: «пожертвуй да пожертвуй, говорит, на общеполезное устройство»! Ну, и пожертвовал: в саду беседок на мои денежки настроили, чугунную решетку вывели — тысяч с сотню на ассигнации тогда мне это стоило! Ну, и прислали [тогда] признательность. Я к его превосходительству: «так-мол и так, говорю, что ж это за мода!» А он мне: «ну, говорит, видно, еще жертвовать придется — давай, говорит, пловучий мост через реку строить!» Ну, нечего делать, позатянулся уж в это болото маленько, стал и мост строить — [тоже с лишним сотню тысяч тут простроил!..] ну, и прислали медаль! Я опять было к нему, а он же, наругатель, надо мной смеется: «рожна, говорит, что ли тебе надобно? а ты, говроит, пир задавай»... Ну, не что станешь делать, и пир задал! [Потом и опять пошли жертвы...] *(Возвышая голос)* Так мне эти жертвы-то вот где сидят! *(Показывает на затылок.)* Господи! хоть бы умереть-то надворным советником дали!

Лобастов. Нет, уж это не дай бог — умереть, Иван Прокофьич.

Живновский. Это вы истинную правду, ваше превосходительство, сказали: перед смертью мы все именно ничтожество...

Глядит на всех, и на царей
В державу коим тесны миры[13],
Глядит на тучных богачей
Что в злате и сребре кумиры...

(Задумывается и крутит усы). О-о-ох!

Иван Прокофьич *(Живновскому с досадой)*. Уж хоть бы ты



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Эскиз декорации 3-го акта
Акварельный рисунок Б. Кустодиева, 1914 г.
Собрание Ю. Е. Кустодиевой, Ленинград

не ругался! Обопьет, объест, да он же над тобой и надругается. Считал что ли ты мои деньги-то!

Живновский. Помилуйте, Иван Прокофьич, это фигура-с... так для воображения написано!

[Иван Прокофьич. То-то фигура! Ты бы вот в моей коже-то посидел...

Гаврило Прокофьич. Да теперь, techдединька, непременно дадут... теперь и давать-то больше нечего, всё уж у вас есть.

Живновский. А вот я вас научу, благодетель, как это дело сделать. Вы, знаете, приготовьте деньги, да как он, знаете, начнет заикаться-то, а вы, как будто от своей от души: я-мол уже и сам об сирых подумал, вот мол и деньги!

Гаврило Прокофьич. А и в самом деле, techдединька; сделайте так... да уж сторублевую!

Живновский. Ведь с казны же потом, благодетель, возьмете, или вот в вино вассервейну малую толику пустите, ан сто-то рублев тут и найдутся... Гм... вино! а не мешало бы хозяину и доброго здоровья пожелать. *(Ищет глазами подноса с водкой.)*

Лобастов. Ау, брат!

Живновский. Ну, это уж не дело!..] Да вот, кажется, и сам Леонид Сергеич катит!

Гаврило Прокофьич. Ах ты, господи! а у вас еще, дединька, и денег нет... да и закуски эта Анна Петровна не несет [целый час!]. Голова кругом идет!

Иван Прокофьич. Шкатулку! шкатулку! Подай, Гаврюшка, шкатулку. *(Поднимается суматоха; Гаврило Прокофьич убегает в боковую дверь и возвращается с шкатулкой. Иван Прокофьич дрожащими руками вынимает деньги; Лобастов заглядывает, Живновский тоже с участием следит за движениями рук старика. Шкатулка уносится на прежнее место.)*

Живновский. А мне, видно, пойти поторопить Анну Петровну... да кстати там уж и выпить в девичьей. *(Уходит. Проходит несколько секунд томительного ожидания.)*

СЦЕНА X

Те же и Разбитной. (Разбитной входит важно и даже с некоторою осмотрительностью. Все встают.)

Разбитной. Здравствуйте, любезнейший Иван Прокофьич, здравствуйте. Ну, как ваше здоровье?

Иван Прокофьич *(привставая)*. Очень благодарен, милостивый государь! очень благодарен его сиятельству.

Разбитной. Да, я от князя. Князь сегодня встал в очень веселом расположении духа... ночью, знаете, пожар этот был, и это очень старика развлекло. Князь поручил мне осведомиться об вашем здоровьи, любезнейший Иван Прокофьич — право! сегодня, знаете, кушал он чай, и говорит мне: «а не худо бы, mon cher, тебе проведать, как поживает мой добрый Иван Прокофьич».

Иван Прокофьич. Премного благодарны его сиятельству... Гаврюша!

Гаврило Прокофьич. Сейчас, дединька! *(Выходит на короткое время и потом возвращается.)*

Разбитной. Он очень часто об вас вспоминает — такой, право, памятливый старикашка! Я вам скажу, что если бы этому человеку руки развязать, он не знаю что бы наделал.

Иван Прокофьич. Да, попечение имеют большое; я сколько начальников знал, а таких заботливых именно не бывало у нас!

Лобастов. Взгляд просвещенный, Иван Прокофьич.

Разбитной. Д-да, он ведь у нас в молодости либералом был — как же! И теперь еще любит об этом времени вспоминать: «я, говорит, mon cher, с молоду-то сорви голова был!» Преуморительный старикашка! *(Входит лакей во фраке с подносом, на котором поставлены разные закуски; сзади другой лакей с подносом, на котором стоят бокалы; в дверях показывается Анна Петровна в шали и в чепце, в течение всей сцены она стоит за дверьми и по временам выглядывает.)*

Иван Прокофьич. Милости просим, Леонид Сергеич, закусите!

Разбитной. Благодарю покорно, я завтракал с князем.

Иван Прокофьич. Пожалуйте.

Гаврило Прокофьич. Mais prenez donc quelque chose, mon cher Vous offensez le vieillard...



«У ПРОКОФИЯ»

Картина маслом Б. Кустодиева, написанная к постановке «Смерти Пазухина» в Художественном театре, 1914 г.

Третьяковская Галлерея, Москва

Разбитной. Э... впрочем я охотно съем этого страсбургского пирога. *(Подходит к столу и ест.)*

Гаврило Прокофьич. N'est ce pas que c'est bon?

Разбитной. Délicieux.. да вы гастроном, любезнейший Иван Прокофьич!

Иван Прокофьич. Сколько силы мои позволяют, Леонид Сергеич... вот здоровье мое всё плохое; иной раз и готов бы просить его сиятельство сделать мне честь хлеба-соли откушать, да немощи-то меня очень уж одолели: третий год без ног-с...

Разбитной. Это ничего, Иван Прокофьич, князь у нас старик простой; он не будет в претензии, если вы и не выйдете... У вас молодцы внуки за вас угощать будут.

Гаврило Прокофьич. А что в самом деле, дединька, князь к нам так милостив, что, право, с нашей стороны это даже неблагодарно, что мы не покажем ему нашей признательности за все его ласки.

Иван Прокофьич. Я с моим удовольствием, Леонид Сергеич; прошу вас передать князю, что дом мой совершенно в распоряжении его сиятельства.

Разбитной. Князь оценит вашу преданность, Иван Прокофьич, старик любит преданных. Вероятно, он назначит вам день, когда вы можете принять его... Однако, пирог этот так хорош, что я решаюсь съесть еще кусочек... Ma foi, tant pis pour le dîner du prince! А вы, генерал?

Лобастов. А вот сейчас-с. Мы, признаться, ко всем этим тонкостям не привыкли; по-нашему этак колбасы кусок, чтобы, знаете, жевать было что.

Разбитной. Вы добрый, генерал!

Лобастов *(налив рюмку водки, кланяется)*. За здоровье его сиятельства князя Льва Михайлыча.

Иван Прокофьич. Что ты, что ты, Андрей Николаич! кто-ж пьет здоровье водкой... Гаврюша!

Гаврило Прокофич. Сейчас, techинька! *(Убегает.)*

Разбитной *(вслед ему)*. Mais dites, mon cher, qu'on donne des verres et que le champagne soit froid.

Гаврило Прокофьич. Mais, certainement, certainement.

Разбитной. Мы нашего племянника-таки вышколим, Иван Прокофьич. *(Лакей вносит поднос с стаканами и бутылку шампанского; Иван Прокофьич разливает. Разбитной с стаканом в руке)*. За здоровье его сиятельства князя Льва Михайлыча! *(Выпивает.)*

Гаврило Прокофьич. Ура! *(Выпивает.)*

Лобастов. Желаю здравствовать! *(Выпивает.)*

Иван Прокофьич. Леонид Сергеич, извините, я встать не могу, но... но... вы будьте свидетели... *(Отпивает немного.)*

Разбитной. Господа! мне очень приятно будет засвидетельствовать перед князем о тех чувствах искренней преданности, которые я нашел в вас. Поверьте, господа, что для сердца начальника дороже всяких почестей, дороже всех богатств сердечное расположение подчиненных. Нет сомнения — и история нам доказывает это с последнею очевидностью — что все сильные государства до тех пор держались, покуда в сердцах подчиненных жили чувства любви и преданности. Как скоро эти истинные, основные начала всех благоустроенных обществ исчезали, самые общества переставали быть благоустроенными. Я говорю, это, господа, здесь потому, что нигде, в другом месте слова мои не могут иметь такого смысла. Здесь я вижу почтенного патриарха, удрученного годами, старого воина, принявшего грудью не один удар во имя любви к отечеству, и, наконец, юношу полного надежд и веры в будущее... И все эти лица, и маститая старость, и увенчанная розами юность — соединяются в одном общем чувстве преданности к любимому начальнику... Господа! мне приятно от лица князя изъявить вам полную его признательность! Господа! я пью за здоровье любезнейшего нашего хозяина. *(Подходит с стаканом к Ивану Прокофьичу и жмет ему руку.)* Иван Прокофьич! да даст вам податель всех благ, всё, чего вы сами для себя желаете! да продлит он ваш век для того, чтобы вы могли на долгие времена следовать влечению вашего доброго сердца и отирать слезы сирых, лишенных крова... *(Выпивает.)*

Гаврило Прокофьич. Ура! *(Пьет.)*

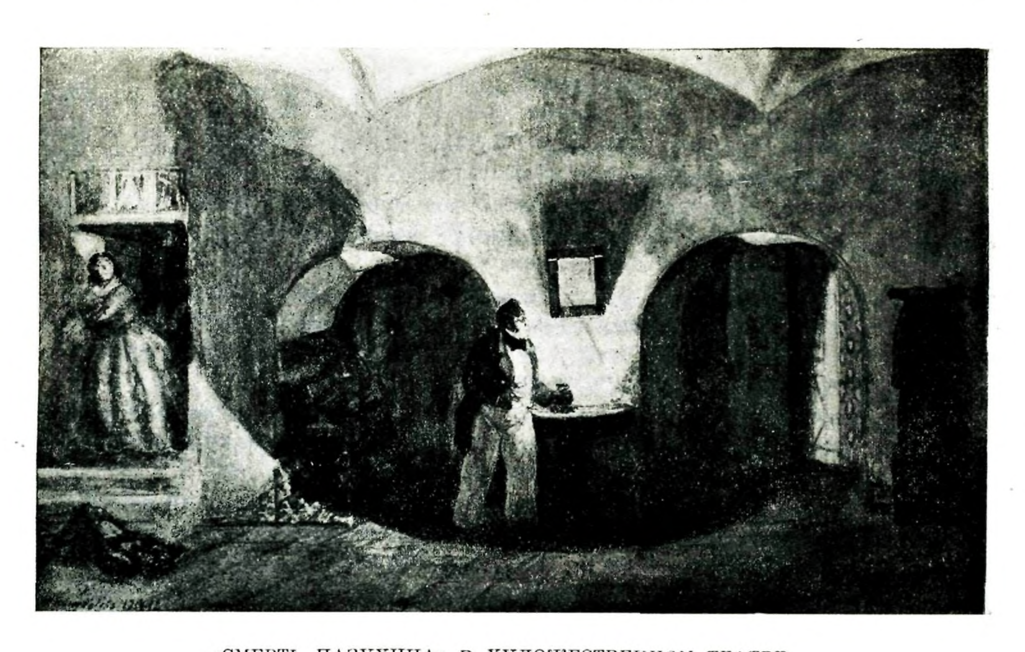
Лобастов *(в сторону)*. Ловко подпустил! *(Громко)* Поцалуемся, брат, Иван Прокофьич! *(Цалуются.)*

Иван Прокофьич *(растроганный)*. Леонид Сергеич! я... я не могу... не в силах выразить... Гаврюша! *(На ухо Гаврилу Прокофьичу)*. Шкатулку принеси. *(Гаврило Прокофьич уходит.)* Доложите его сиятельству, что я жизнью готов... *(Кричит)* Шампанского подать!

Лобастов. Ай да старичина! Вот как расходился!

Гаврило Прокофьич *(с шкатулкой в руках)*. Сейчас, techинька, вот возьмите сперва шкатулку. *(Иван Прокофьич вновь отпирает шкатулку и считает деньги.)*

Иван Прокофьич *(подавая деньги Разбитному)*. Вот, Леонид Сергеич, малая лепта от трудов моих! Сколько могу, сколько сил моих хватает...



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
Эскиз декорации 4-го акта
Акварельный рисунок Б. Кустодиева, 1914 г.
Театральный Музей им. Бахрушина, Москва.

Разбитной (*кладя деньги в карман*). Поверьте. Иван Прокофьич князь сумеет оценить...

СЦЕНА X

Те же и Фурначев. Фурначев принадлежит к разряду тех людей, которых называют солидными. Он большого роста, с приличным чину брюшком, ходит прямо, говорит медленно и с достоинством; выражение лица имеет начальственное. При появлении его в лице Ивана Прокофьича разливается самодовольствие.

Фурначев (*останавливается в дверях и говорит за кулисами*). Скажи, братец, моему кучеру, чтоб он ехал домой и доложил Настасье Ивановне, что я доехал благополучно. Да сейчас же чтоб и воротился... (*Подходит к Ивану Прокофьичу*). Как вы себя сегодня чувствуете, папенька? (*Целует у него руку.*) А у меня Настасья Ивановна что-то сегодня расхворалась... А! ваше превосходительство! Леонид Сергеич! Сейчас встретил я по дороге Добрознакова и он сообщил мне утешительную весть, что ваше здоровье [папенька,] весьма удовлетворительно... дай бог! дай бог! [я всегда был того мнения, что болезненное состояние самое неприятное...] не нужно ни богатств, ни почестей, если человек не пользуется первым благом жизни — здоровьем!

Лобастов. Это уж последнее дело!

Иван Прокофьич. Что ж ты не скажешь, чем Настасья-то Ивановна нездорова?

Фурначев. А ее болезнь, папенька, вам известная-с. Вчера свечеру, должно быть, покушала... так, знаете, ночью-то даже дыханье остановилось.

Иван Прокофьич. Да ты бы не давал ей есть-то.

Фурначев. Нельзя, папенька, нельзя-с. Пробовал уж я, да только время напрасно потратил, а время, вы знаете, такой капитал, которого не

воротишь.. Всякий капитал воротить можно, а времени воротить невозможно.

Разбитной. Скажите, пожалуйста, Семен Семеныч, вы не были сегодня у князя?

Фурначев. Не был, Леонид Сергеич, не был, потому что не имел чести быть приглашенным.

Разбитной. Странно! а он хотел вас просить!.. знаете, вчера был пожар, погорела вдова с детьми... что-то много их там... княжна очень интересуется положением этих сирот.

Фурначев. Это наш долг, Леонид Сергеич, отирать слезы вдовых и сирых, это, можно сказать, наша священная обязанность... Я не об себе это говорю, Леонид Сергеич, потому что у меня правая рука не знает, что делает левая, а вообще... *(Вносят стаканы с шампанским.)*

Разбитной. Так вы заезжайте к князю: ему будет очень приятно. А между тем мы выпьем здоровье нового жертвователя. *(Берет стакан и намеревается пить.)*

Иван Прокофьич. Нет, Леонид Сергеич, позвольте! Семен Семеныч свой человек, а вы наш гость. *(Берет стакан.)* За здоровье Леонида Сергеича!

Разбитной. Господа! я не нахожу слов выразить всю мою признательность! Почтенный патриарх, предложивший этот тост, почтил не меня самого, а в лице моем упорный труд и непоколебимое бескорыстие на высоком поприще общественного служения. Господа! не под влиянием винных паров, но под влиянием благотворных движений моего сердца говорю я: девизом нашим должен быть труд скромный, но упорный, труд никем не замечаемый, не бросающийся в глаза, но честный, труд сегодня оканчивающийся, и завтра снова начинающийся. Господа! настало для нас время обратить наше умственное око внутрь нас самих, ознакомиться с нашими собственными язвами и изыскать средства к уврачеванию их. Не блестящая эта участь, и не розами, но терниями усыпан путь безвестного труженика, которому приходится в поте лица возделывать землю, плодами которой воспользуются потомки! Но благословим его скромный, невидный труд, пошлем ему во след самые искренние пожелания нашего сердца... Вспомним, что только они могут осветить лучом радости безотрадную пустыню перед нами расстилающуюся, вспомним это, и не пожалеем ни добрых слов, ни теплого участья, ни ободрения... Я сказал, господа! *(Пьет.)*

Гаврило Прокофьич. Ура! *(Пьет)*.

Фурначев *(жмет Разбитному руку)*. Вы благородный человек, Леонид Сергеич! *(Отпивает немного и ставит стакан.)*

Лобастов *(в сторону)*. И где он этак говорить научился!

Иван Прокофьич *(Фурначеву)*. Да ты пей всё.

Фурначев. Не могу, папенька, не могу. Здоровья пожелал Леониду Сергеичу от глубины души, а пить не могу. Утром, знаете, натура не принимает!

Лобастов. А у меня вот так во всякое время натура принимает.

Гаврило Прокофьич. И у меня тоже; мы с вами, генерал, добрые... *(Треплет его по спине.)*

Разбитной. Господа! я не могу больше! сердце мое совершенно переполнено... Будьте уверены, мой любезнейший Иван Прокофьич, что я со всею подробностью передам князю те приятные впечатления, которые доставило мне утро, проведенное у вас... Прощайте, господа! *(Уходит. Гаврило Прокофьич провожает его за дверь.)*

СЦЕНА XII

Те же, кроме Разбитного. Живоедова и Живновский.

Фурначев. Анне Петровне мое почтение! *(Живновскому)*. Здравствуй и ты! *(Живновский кланяется.)*

Живоедова. Здравствуйте, батюшка Семен Семеныч, как Настасья Ивановна в ихнем здоровьи?

Фурначев. Благодарю вас, сударыня, не совсем здорова. Под ложечкой щемит.

Живоедова. Верно, покушала много. Надо ее ужо проведать, голубушку. *(Садится в стороне и принимается вязать шерстяной шарф.)*

Фурначев. Премного обяжете, сударыня.

Гаврило Прокофьич *(возвращаясь)*. Нет, каково говорит-то Леонид Сергеич, каково говорит! А еще удивляются, что княжна им интересуется! Да я вам скажу, будь я женщиной, да начни он меня убеждать, так я и бог знает чего бы не сделал...

Фурначев *(с расстановкой)*. Мягко стелет, но жестко спать.

Гаврило Прокофьич. Уж вы, верно, Семен Семеныч, оттого так говорите, что он к пожертвованию вас пригласил: жаль расстаться с деньгами-то! И куда только вы их бережете!

Фурначев. Вы, конечно, по молодости, Гаврило Прокофьич, так говорите. Вам не знакома еще наука жизни, а ведь куда, я вам доложу, корни учения горьки! Вот папенька это знает!

Иван Прокофьич. Это ты правду сказал, Семен.

Гаврило Прокофьич. Зато плоды сладки. А у вас, Семен Семеныч, не только чай фрукты, а и новые семена здесь завелись! *(Бьет его по боковому карману. Все смеются.)*



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Эскиз декорации 4-го акта
Акварельный рисунок Б. Кустодиева, 1914 г.
Театральный Музей им. Бахрушина, Москва

Фурначев. В чужом кармане денег никто не считал, Гаврило Прокофьич! Про то только владыка небесный может знать, что у кого есть и чего нет! А если бы и доподлинно были деньги, так они, можно сказать, чрез великий жизненный искус приобретены! Дай вам бог и не знать этого искуса, Гаврило Прокофьич!

Иван Прокофьич. Ну, полно, полно, Семен, это он по глупости больше сказал.

Фурначев. Нет, папенька, Гаврило Прокофьич очень меня обидели! Конечно, я зла на них не помню, потому что истинный христианин всякую обиду должен оставить втуне...

Иван Прокофьич. Ну, и брось... А вот ты лучше скажи, что нового в городу делается?

Фурначев. По палате у нас, слава богу, благополучно. Вчерашнего числа совершился заподряд... слава богу, благополучно-с!

Иван Прокофьич. Почем за ведро?

Фурначев. По пятидесяти по пяти копеек-с. Цена настоящая-с.

Иван Прокофьич. Да, цена хороша... Господи! давно ли, кажется, еще на моей памяти по двадцати копеек с ведра брали, да еще и как благодарны-то бывали!

Лобастов. Да, были такие времена добрые, Иван Прокофьич!.. Вот я нынче Василья своего за овсом на базар посылал, так даже удивился — тридцать копеек за пуд!

Живоедова. А мы по двадцати по девяти свой покупали!

Живновский. Я так думаю, что всё это от образования цены поднимаются... Смешно, сударь, сказать, а нонче даже мужик в сапогах ходить желает!

Фурначев. Нет-с, я с своей стороны полагаю, что оттого поднялись цены, что всякий торговец свой интерес соблюдает. Возьмем хотя заводчиков: они знают, что у царя денег много, ну, и берут по сообразности.

Лобастов. От того ли, от другого ли, только я знаю, что десять лет назад пуд овса стоил сорок копеек на ассигнации, а теперь и по рублю не купить!..

[Живновский. Не купить, ваше превосходительство, не купить... Намеднись вот, Егор Иваныч поручил мне эту комиссию — ходил, сударь, ходил, уж и ругал-то я их всяким манером: христопродавцы вы, говорю, жиды! а не купил-с!

Лобастов. Нет, видно, выпить с горя, да по домам!] Гаврило Прокофьич! хватим!

Гаврило Прокофьич. А что вы думаете? Я, Андрей Николаич, славный малый, я всегда готов по приятельски, не то, что иные-прочие, что по утрам от шампанского отказываются... за ваше здоровье, дяденька Семен Семеныч! *(Пьет.)*

Иван Прокофьич. Полно, полно, заноза!

Фурначев. Оставьте их, папенька! пускай теперь смеются! после сами же оценят...

Лобастов *(Живновскому)*. Ну, а ты, Иов многострадальный? *(Подносит ему рюмку.)*

Живновский. Я с удовольствием-с. *(Пьет.)*

Иван Прокофьич *(вполголоса Фурначеву)*. Ну, а на нищую братию много ли пришлось?

Фурначев. Да по пяти копеек-с.

Иван Прокофьич. Что больно много?

Фурначев. Да нынче времена совсем другие, папенька. Прежде вот князь не брали, а нынче собственно для себя по две копеечки потребо-

вали; ну-с, непосредственное начальство полторы пожелало, мне копеечку, а полкопейки на прочих... Оно так пять копеек и выдет..

Иван Прокофьич. Им стало быть, по пятидесяти копеек останется... чтож, это безобидно!

Фурначев. Профит хороший-с. Ведь и заподряд-то весь четыреста тысяч, папенька! Стало быть и всего-то на все четыре тысячи на мой пай придется — надо же и извернуться!

Иван Прокофьич. Это ты правильно! Анна Петровна, принеси шкатулку!

Фурначев. Покорно вас благодарю, папенька!

Иван Прокофьич. Ничего, братец, ничего, деньги к деньгам — это так следует! [Вот этому выжиге Николке — это точно, что грех давать! И чорт его знает, куда только он деньги девает! Что ни увидит — всё ему подай: такие уж глаза завидущие! Намеднись вот, сказывают, у табатерщика тридцать табатерок купил; или вот картинщик еще приезжал — тоже всю лавку разом скупил. И хоть бы картины-то были священные,



«СМЕРТЬ ПАЗУХИНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Эскиз декорации 4-го акта

Акварельный рисунок Б. Кустодиева, 1914 г.

Вятский Музей

а то просто одна непристойность — и жену-то свою испортит! Я ему говорю: осел ты! А он мне: «ничего, говорит, папенька, пригодятся потом!» Да еще и смеется анафема! деньги-то не свои небось!

Живоедова *(с шкатулкой в руках)*. Да как он Танечку-то тиранит, Иван Прокофьич! Намеднись — сказывала мне ихняя кухарка — вздумала она что-то ему поперек сказать, так он на нее: «только ты, говорит, пикни!» да кулачищем-то так вперед и тычет. Хоть бы вы его что ли остепенили, Семен Семеныч!

Фурначев. Нет-с, уж увольте меня, Анна Петровна; я человек скромный-с; по мере сил моих могу приносить пользу отечеству, а больше я ничего не могу-с!

Иван Прокофьич. Да кто с ним, с озорником, сладит! Вот я посажу его на сухоядение... *(Вынимает деньги)*] А тебе, Семен, дать не грех: тебе деньги в прок идут! *(Дает.)*

Лобастов. Дородства прибавляют! *(Треплет Фурначева по спине.)*

Фурначев. Чувствительнейше вам, папенька, благодарен! *(Целует ему руку.)* Там еще за вами безделица осталась...

Иван Прокофьич. По делам что-ли? Ну, это из конторы получишь: я, брат, знаю, что сыновство сыновством, а служба службой.

Живновский. Это самое правильное — счетов не смешивать.

Гаврило Прокофьич. Вы бы уж, дединька, и мне кстати пожаловали.

Иван Прокофьич. А тебе на что?

Гаврило Прокофьич. На непредвидимые расходы, дединька, на непредвидимые...

Иван Прокофьич. Ну, уж бог с тобой! Такой уж, видно, день сегодня пришел, что с деньгами расставаться нужно... На!

Гаврило Прокофьич *(рассматривая бумажку)*. Сто-то рублей!

Иван Прокофьич. Ну, будет, будет с тебя!

(Во время раздачи денег Живновский находится в самом мучительном положении.)

СЦЕНА XIII

Те же и Калужанинов. Калужанинов человек роста малого, толстенький, быстр в движениях и часто махает руками; произношение имеет очень выразительное: в выговаривает как ф, ж, как ш. Он в форменном сюртуке.

Калужанинов *(вбегая)*. Слышали? слышали?

Иван Прокофьич. Ну! верно опять табатерок накупил! *(Все смеются.)*

Калужанинов. Удивительная вещь! Знаете, какую штуку с нами приятель-то удрал?

Иван Прокофьич *(с беспокойством)*. Что такое? что такое еще случилось?

Калужанинов. Представьте себе, сижу я сейчас у княжны. Вчера, знаете, пожар был, так она посылала чиновников по купцам за пожертвованьем... Только вот сижу я и приходит чиновник от Прокофья... Да нет, вы угадайте, сколько любезнейший-то братец пожертвовал? Нет угадайте! *(Все ожидают с страхом.)* Дву-гри-вен-ный!

Иван Прокофьич *(падая на спинку кресла)*. Ах ты, господи!

Живоедова *(бросаясь к Ивану Прокофьичу. Калужанинову)*. Ишь тебя нелегкая принесла! воды! спирту!

Живновский. Сразил!..

(Общая суматоха; все группируются около Ивана Прокофьича. Занавес опускается.)

КОММЕНТАРИИ

Комедия Салтыкова «Царство смерти» представляет собою первоначальную редакцию его комедии «Смерть Пазухина». При переработке комедии особенным изменениям подверглось первое действие «Царства смерти»; не совпадая с первым действием «Смерти Пазухина», оно представляет самостоятельный интерес — поэтому и публикуется здесь полностью.

Полная черновая рукопись всех четырех действий «Царства смерти» сохранилась в архиве М. М. Стасюлевича и находится в настоящее время в Институте Русской Литературы. Сохранилась также копия первого действия, правленная автором. Первоначальным заглавием комедии (в черновой рукописи) было «Смерть». Выше заглавия вписано как заглавие цикла — «Губернские очерки» («Царство смерти» связано с циклом «Губернских очерков» и вообще с крутогорским циклом фигурами Фурначева, Живновского и Разбитного; есть упоминания и о Пазухиных). Заглавие «Смерть» переделано еще в черновой рукописи на «Царство смерти». В копии зачеркнуты оба заголовка — и «Губернские очерки», и «Царство смерти»; вместо этого написано сначала «Конец венчает дело», затем — «Смерть Пазухина» (конечно и во всем тексте Размахнины заменены Пазухиными).

Черновая рукопись «Царства смерти» позволяет отчасти проследить историю замысла. Первоначально предполагалось большее число действующих лиц: еще два сына Прокофия Размахнина — Иван 30 лет и Петр 28 лет, жена Ивана — Людмила Никандровна, сын Лобастова 38 лет, майор. Все эти имена были вычеркнуты уже из афиши.

В копии первое действие подверглось некоторому сокращению: ряд реплик и отдельных выражений вычеркнут авторской рукой.

Для более ясной картины работы Салтыкова над комедией мы заключаем все исключенные впоследствии места в квадратные скобки. Таким образом, если читать наш текст сплошь, не обращая внимания на скобки,— получается редакция черновой рукописи.

Мы воспроизводим здесь эту именно первоначальную редакцию, так как работа, произведенная автором при правке копии, представляет собою лишь некоторый промежуточный момент между первоначальным и окончательным замыслом комедии. Об этом этапе работы можно получить понятие, если, с одной стороны, опустить всё, заключенное в квадратные скобки, а с другой, учесть приведенные ниже вставки, сделанные в копии.

В дальнейшем, при выработке последней (печатной) редакции «Смерти Пазухина» — первое действие было коренным образом переработано. Три роли были совершенно исключены из текста комедии (кроме раньше исключенного Калужанинова): Гаврила Прокофьич, Понжперховский и Разбитной. Вместе с ролью Разбитного отпало все, что с ней связано: пожертвование старика Пазухина (бывшего Размахнина), его первый припадок из-за «двугривенного» в конце первого акта. Сцена перенесена из дома отца — в дом сына (Прокофия Иваныча); в центре действия оказались переговоры Лобастова, но здесь не с Гаврюшей, а с отцом. Лобастов ставит теперь более определенные условия: он готов хлопотать перед старым Пазухиным, чтобы тот составил завещание в пользу Прокофия, а Прокофий за это устраивает брак Гаврюши с Леночкой и обязуется отдать Лобастову четвертую часть наследства. При этом Лобастову удается уговорить Прокофия Иваныча обрить бороду; решение это укрепляется после того, как Живновский привозит слух, что духовная составлена. Вообще в окончательной редакции «Смерти Пазухина» борьба за завещание осуществляется, начиная с первого действия. По сравнению с «Царством смерти», первый акт последней редакции вдвое короче — и это несмотря на то, что введено три новых эпизодических лица: жена и теща Прокофия и мещанин-раскольник Никола Велегласный.

Кое-что из первого действия «Царства смерти» перешло в другие действия «Смерти Пазухина».

В дальнейшем ходе сюжета многое — по сравнению с «Царством смерти» — меняется. С выпадением роли Понжперховского меняется вся характеристика Живоедовой: она заботится только о себе самой и своих интересах: брак (на этот раз с каким-нибудь «палатским чиновником») для нее — дело второстепенное. В другой обстановке проходит обличение Прокофия Пазухина. Другой характер приобретают и сцены с Леночкой Лобастовой, так как брак ее с Гаврюшей в этом варианте не решен окончательно.

Четвертое действие от первой редакции отличается мало.

Приводим добавления, внесенные автором в текст первого действия (вставки на полях упомянутой выше копии).

Существенно-новыми социально-бытовыми чертами дополнена характеристика отношений между Размахниным-отцом и Размахниным-сыном (разговор Живоедовой с Баевым на стр. 58). Вместо слов «Да и Прокофей-то Иваныч тоже ведь с норовом» — в реплику Живоедовой вписано: «Да ты в уме что-ли, Прохорыч? как, чем не угодил!» Затем вставлено: «Ивану-то Прокофьичу разве только сына иметь следственно? Ведь теперь старик-то в благородные попадет, а Прокофей-то Иваныч разве это чувствует? Нет, ты скажи, разве чувствует он?»

Несколько ниже, после слов Живоедовой: «Ты одно это себе вообрази, Финагеюшка»— следует такой обмен репликами:

Баев. Справедливо, сударыня, справедливо!

Живоедова. Сколько у нас в ту пору с ним ломки-то было, как старик-то от его обнатуриться понуждал! Не хочу, говорит, браду мою в жертву антихристу принести, хочу, говорит, жить, как дедушки мои жили! Так ведь и дедушки-то у него за пестрой свиньей в поросятках хаживали!

Баев. Что справедливо, то справедливо, сударыня!

Живоедова. Ну, опять и то: вздумал он жениться... Ведь он уж не маленький, чтоб прихоть свою соблюдать, без малого-поди шестьдесят будет [Ну, Иван-то Прокофьич тоже Гаврюшеньку жалел, как в ту пору на женитьбу-то запрет положил, потому как и большие господа об том очень радеют, чтоб имению ихнему раздробления не было... однако он внушения родительские оставил втуне.] Да что еще выдумал (и т. д.).

Поставленная в квадратные скобки фраза зачеркнута. Окончание сцены VI, в результате переработки, приняло такой вид (после ухода Живоедовой):

Понжперховский. А порядочную-таки вы, Гаврило Прокофьич, головомойку папеньке-то задали?

Гаврило Прокофьич (охорашиваясь перед зеркалом). А что, разве вы думали, что я ему спущу! что он мне отец, так я, по-вашему, на все его пакости равнодушно

смотреть должен... держи карман! довольно с него и того, что женился — ну и пусть над женой озорничает, а не над нами!

Понжперховский. А ведь преаппетитную дамочку папенька-то ваш поддел! вот бы вам поволочиться-то!

Гаврило Прокофьич. А что вы думаете? Попробавать ведь можно... Я, знаете, без предрассудков... А превкусная бабенка эта chère maman... чорт возьми!

Лобастов. Полно, полно, греховодник! Да и вы-то, полковник, нашли кого в соблазн вводить... сына! Уж ушли бы лучше!

Понжперховский. А и то уйти... не люблю я этого Разбитного!

В сцене VII переработана реплика Лобастова о Леночке (стр. 72):

Лобастов. Так-то так-с,— и сам я это вижу,— да ведь она у меня одно только и есть детище! Теперича рассудите вы сами: какой уж я человек! Не сегодня завтра в будущую жизнь переселиться должен, так у меня, что называется, кроме как чадолюбия, и в естестве-то ничего не осталось. (Начинает ходить по комнате с усиленною поспешностью). Вы, Гаврило Прокофьич, не смотрите, что я водкой заимствуюсь... я хошь и пью, а у меня родительское-то сердце еще пуще от того изнывает!

В сцене XII после второй реплики Лобастова (стр. 82) вставлены слова: «Да, были времена добрые!..» — и затем непосредственно: «Гаврило Прокофьич! хвати!» (из следующей реплики).

Наконец приняла другой вид и последняя сцена (XIII), так как вместо Калужанинова извещает о поступке Прокофия Пазухина Доброзраков:

Те же и *Доброзраков*.

Доброзраков *(Ивану Прокофьичу)*. Слышал, брат?

Иван Прокофьич. Что такое?

Доброзраков. Какую штуку сынок-то твой удрал?

Иван Прокофьич *(с беспокойством)*. Что такое? что такое еще случилось?

Доброзраков. Еду, брате, я по практике, и встречаю Марка Ардальоныча Филоверптова. Ну, разумеется, то-се, другое-третье: «а слышал ли ты, говорит, сколько Прокофий Пазухин на погорелых пожертвовал?» Да нет, вы угадайте сколько? *(Все ожидают со страхом)*. Дву-гри-вен-ный! (И т. д. как в первоначальной редакции, с заменой Калужанинова Доброзраковым.)

Более мелкие отличия переработанной редакции приводим по сноскам, сделанным в соответствующих местах нашего текста.

[1] В копии вставлено: «обитые малиновым штофом; на столах и на стене много бронзы».
[2] В копии вставлено: «толстый».
[3] В копии, вместо двух следующих реплик: Баев садится.
[4] В копии начало реплики исправлено так: Понжперховский *(с расстановкой)*. Я бы на вашем месте, как начнет старик-то умирать, все бы эти приятные капиталы, какие у него найдутся, к одному месту-с.
[5] В копии исправлено: «Водки что больше пить, то лучше».
[6] В копии вместо всего следующего вычерка: *(вновь слышится стук экипажа)*. Ну, уж это наверно наследники.
[7] В копии «рады» исправлено на «готовы».
[8] В копии: «Здесь что ли ваше место?»
[9] В копии вставлено: «Гаврюшенька».
[10] В копии: «Ин».
[11] В копии добавлено: «зрелища».
[12] В копии добавлено: «да не оставь духовной».
[13] В копии добавлено: «указывая рукой на Пазухина».

Переделав «Царство смерти» в «Смерть Пазухина», Салтыков использовал часть отброшенного материала первого действия для самостоятельной сцены «Утро Хрептюгина» (напечатано впервые в «Библиотеке для чтения» 1858 г., № 2; затем вошло в сборник «Невинные расказы»). Текст «Утра Хрептюгина» вырабатывался на той же копии, по которой здесь печатается первое действие «Царства смерти».

Сопоставление «Смерти Пазухина» и «Утра Хрептюгина» с публикуемым здесь первым действием «Царства смерти» уясняет многое как в истории работы Салтыкова над «крутогорским циклом», так и в методе его работы в эти годы. Разумеется для окончательных выводов должны быть привлечены к делу все рукописные и печатные варианты как «Царства смерти» — «Смерти Пазухина», так и других произведений, входящих в крутогорский цикл («Губернские очерки», «Невинные рассказы», рассказ «Жених» и нек. др.).

1. НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 2. ЖУРНАЛЬНЫЙ АД. 3. (ОТРЫВОК ИЗ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ СТАТЬИ.) 4. ФЕЛЬЕТОН (В. ЗАЙЦЕВА О ЩЕДРИНЕ)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОЛЕМИКЕ ЩЕДРИНА С «РУССКИМ СЛОВОМ» И «ЭПОХОЙ» 1864 г.

Публикация, вступительная статья и комментарий Вас. Гиппнуса

САЛТЫКОВ И ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА 1864 ГОДА

Четыре публикуемые здесь документа — три полемические статьи Салтыкова и один фельетон, направленный против Салтыкова, — связаны друг с другом хронологически и тематически.

Написанные в 1864 г. и в начале 1865 г., они примыкают к уже известным материалам по журнальной полемике 1863—1864 гг. Эта полемика и участие в ней Салтыкова уже изучались в работах Б. П. Козьмина [1], Иванова-Разумника [2] и других. Новые материалы, которые мне удалось найти, вносят в историю этой полемики существенно новые данные и позволяют восстановить ее последовательность более или менее полно.

Два документа — статья Салтыкова в форме открытого письма «Неизвестному корреспонденту» и его же «Журнальный ад» — обнаружены мною при изучении архива А. Н. Пыпина в ИРЛИ АН. Статьи сохранились в корректурных гранках в ряду других, относящихся к «Современнику» 60-х годов статей Салтыкова и других авторов. Статья «Журнальный ад» не подписана, а письмо «Неизвестному корреспонденту» подписано псевдонимом («Хроникер «Современника»), но совпадение их текстов с текстами Салтыкова как печатными, так и рукописными, настолько очевидно, что вопрос об авторстве может считаться решенным. (Аргументы я привожу ниже.)

Анонимный фальетон с сатирой на Салтыкова — извлечен из апрельской книжки «Русского Слова» 1864 г. Этот фельетон — факт очень важный в истории полемики «Современника» с «Русским Словом» — до сих пор не учитывался в литературе, посвященной этой полемике; между тем обойти его никак нельзя, тем более. что Салтыков, как увидим, на него ссылался. К этим документам, обнаруженным в результате моей личной работы, я присоединяю еще один, о котором в специальной литературе уже упоминалось: отрывок несохранившейся статьи против Ф. М. Достоевского и журнала «Эпоха», начинающейся словами: «Но если уж пошла речь об стихах» (см. Иванов-Разумник. «М. Е. Салтыков», стр. 360). Отрывок этот ближайшим образом связан с «Журнальным адом», и он же заключает в себе косвенную ссылку на фельетон «Русского Слова». Очевидно, что все четыре документа — три, вовсе не появлявшихся в печати [*], и четвертый, напечатанный в 1864 г. и с тех пор ни разу не перепечатанный,— должны быть объединены.

В 1864 г. не могло быть и речи о едином антифеодальном фронте, который характерен для 50-х годов и для кануна крестьянской реформы. Дальнейшее развитие ка-

питализма и его социально-политические результаты противополагали друг другу социальные силы с особенной резкостью; соответственно осложнялась и углублялась идеологическая борьба. Защитники буржуазно-дворянского пути капиталистического развития решительно разошлись с идеологами американского пути; два лагеря стали друг против друга — буржуазно-дворянский либерализм (перерастающий в откровенную реакцию) и демократический радикализм: в каждом были конечно и свои внутренние противоречия. Классово-идеологические силы размещаются по-новому и это очевидным образом сказывается в литературе. Катков — недавний вождь дворянского либерализма — теперь самоопределяется как идеолог национализма и самодержавия, но в то время как раньше он втягивал в сферу своего влияния обличительную литературу, так теперь он втягивает недавнего сотрудника «Современника» Тургенева. Он печатается на страницах «Русского Вестника» рядом с националистически-воинствующей беллетристикой Клюшникова, с крепостнической публицистикой Фета. С другой стороны, Герцен, еще недавно не чуждый либерально-монархических иллюзий, теперь через группу «Земли и воли» приближается к идеологии крестьянской революции. Отношением к крестьянству и к возможности крестьянской революции продолжала определяться расстановка сил внутри радикально-демократического просветительства. «Современник» с его крестьянской ориентацией и с программой социально-политической борьбы (в той или иной форме) противостоял буржуазно-интеллигентской ориентации и культурническим тенденциям «Русского Слова». Вопросы «теории» и «практики», больших и малых дел, революционного действия и мирной пропаганды, или, по писаревскому выражению, «механического» и «химического» пути в истории, не могли не обостриться, начиная с 1863 г., после польской революции, после несбывшихся надежд на подлинное и повсеместное восстание обманутых реформой крестьян.

Позиция Салтыкова в классово-идеологической и группово-идеологической борьбе была и сложной, и трудной. В целом она может быть уяснена только в перспективе его дальнейшего идейного развития; здесь достаточно вспомнить некоторые моменты его предшествующей эволюции. Оставляя в стороне детали, констатируем, что на протяжении 50-х годов Салтыков оставался в пределах буржуазно-дворянского либерализма, осложняемого то славянофильскими элементами, то элементами утопического социализма (см. перебои того и другого в работе над повестью «Тихое пристанище»). Салтыков возобновил литературную работу в 1856 г. (после ссылки) в журнале Каткова, и если он уже в 1860 г. высмеивал Каткова в печати («Характеры»), а в частных письмах, возмущался его нетерпимостью к чужим убеждениям, то еще в 1861 г. считал возможным сотрудничать в катковской «Современной Летописи» статьями, развивавшими все те же «дворянские мелодии» («Где истинные интересы дворянства» и т. п.). В 1862 г. он едва не становится во главе либеральной «Русской Правды», задуманной как своеобразный блок между либералами и демократами, куда наряду с Унковским и другими земскими либералами предполагалось привлечь Чернышевского. Задаваясь целью примирить «различные оттенки партий прогресса», журнал избрал своим девизом одну из тех пословиц, над которыми впоследствии Салтыков сам так зло смеялся: «Не сули журавля в небе, дай синицу в руки». С точки зрения «практического смысла» против «теоретиков» были написаны в то же году «Каплуны», запрещенные цензурой и одновременно вызвавшие принципиальные возражения со стороны Н. Г. Чернышевского.

В эти именно годы (1862—1863) Салтыков переживает несомненный идеологический кризис. Самый факт его вступления в редакцию «Современника» (с начала 1863 г.) и его напряженной работы в этом журнале означал разрыв с дворянским либерализмом недавних лет и смыкание с радикально-демократической группой, и притом с той ее частью, которая в основном продолжала традиции Чернышевского (отличия и расхождения в частностях были конечно возможны).

Салтыкова разлучали с «Русским Словом», с одной стороны, вопросы общего мировоззрения (естественно-научный, механистический материализм писаревцев, неприемлемый для Салтыкова), с другой — вопросы тактики: чистое культурничество писаревцев, которому Салтыков, как и большинство группы «Современника», противо-

полагал необходимость борьбы — хотя бы и чисто идейной — за социально-политические цели.

Писарев к этому времени решительно отошел от революционных позиций на позиции культурничества. Такой отход воспринимался недавними союзниками как ренегатство. То, что сам Писарев был в это время политическим узником, не ослабляло этого впечатления. Другой антагонист «Современника», В. А. Зайцев, субъективно был настроен



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)
Фотография 1860-х гг.
Институт Русской Литературы, Ленинград

более революционно. Но смыкаясь с Писаревым в его отношении к естественным наукам как к универсальному средству прогресса, и Зайцев объективно играл ликвидаторскую роль. Это вызывало отпор со стороны «Современника» и его «хроникера» — Салтыкова-Щедрина. Политическую позицию самого Салтыкова нельзя считать в это время окончательно оформленной, но для него было во всяком случае ясно, что борьба за интересы массы (крестьянской в первую очередь) не может быть ни ослаблена, ни отсрочена. Привлекая к делу факты салтыковской биографии (среди них такой «выигрышный», как недавнее его вице-губернаторство), ловя Салтыкова на отдельных тактических ошибках, становясь внешним образом на защиту Чернышевского против Салтыкова, Писарев и Зайцев, на первый взгляд, казались левее, революционнее. При

ближайшем анализе это впечатление оказывается ошибочным. Расхождения Салтыкова с Чернышевским касались деталей, в то время как сами писаревцы идеологически отстояли от Чернышевского очень далеко.

При взгляде с еще большего расстояния, когда разница между идеологиями обоих журналов игнорируется, вся полемика может представиться чем-то несерьезным и случайным: ссорой единомышленников по личным мотивам. Это впечатление было бы тоже ошибкой, и притом ошибкой очень грубой. Личные выпады с обеих сторон не должны закрывать принципиального существа полемики. Личные выпады необходимо учесть и изучить как показатели, как фокусы, в которых сосредоточивается борьба социальных и литературных сил — борьба идеологий. Подлинно мотивы борьбы часто бывают глубоко скрыты; личная полемика сама по себе может отвлекать внимание в сторону от этих подлинных мотивов. Именно такое искаженное впечатление от полемики двух журналов выносили как современные публицисты правого и либерального лагеря, злорадствовавшие по поводу «раскола в нигилистах», так и некоторые позднейшие реакционные историки литературы, для которых этот «раскол» был личной склокой — не больше. Но стоит уяснить себе принципиальные основания полемики, и каждый эпизод ее, даже наиболее случайный и личный, неминуемо представится в новом свете.

Полемика начата была «Русским Словом». Первым ее эпизодом был выпад В. А. Зайцева против Салтыкова в апрельской книжке «Русского Слова» за 1863 г. («Перлы и адаманты русской журналистики» — анонимная, но несомненно принадлежащая Зайцеву статья). Поводом было пародийное объявление в «Свистке» («Современник», апрель) о статье «Опыты сравнительной этимологии или Мертвый дом по французским источникам. Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева» (псевдоним Салтыкова, которому принадлежал и текст заметки). Защищая роман Достоевского — конечно по мотивам его общественной значительности,— Зайцев дважды подряд задел Салтыкова одним и тем же намеком:

«...смеяться над «Мертвым домом» — значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола».

И несколько ниже, по поводу салтыковского же обещания написать сколько угодно таких книжек, как «Время»:

«А между тем этот некто, со всеми сотрудниками «Современника», исключая автора «Что делать», не написал еще ничего, что бы можно было сравнить с несколькими страницами Мертвого дома Ф. Достоевского. Советую и свистунам «Современника» бросить вице-губернаторский тон. Свистеть так свистеть, а не распекать».

Зайцев таким образом открыл полемику с Салтыковым сразу в двух направлениях — личном и литературном. С одной стороны, Салтыкову ставилось на вид его вице-губернаторское прошлое, его связь с кругами правящей бюрократии, и тем самым брался под сомнение его позднейший радикализм (на самом деле вырабатывавшийся в процессе сложной и глубоко искренней идейной эволюции). С другой стороны, принижалось его литературное значение: он ставился на одну доску со «свистунами», что в данном контексте означало безобидных юмористов) и значительно ниже крупных писателей как дружественного лагеря (Чернышевский), так и враждебного (Достоевский). Обе эти темы получили свое развитие в полемике следующего года.

Сам Салтыков склонен был объяснять нападение Зайцева личными мотивами. В статье «Гг. семейству М. М. Достоевского», речь о которой еще будет, он писал: «г. Зайцев в 1863 году обращался ко мне с статьями, и когда они не были приняты, уж костил же он меня, уж костил в «Русском Слове»!» Надо думать, что Зайцев обращался к Салтыкову раньше, чем написал «Перлы и адаманты».

В 1863 г. полемика не продолжалась, и первым известным в печати откликом Салтыкова на выпад Зайцева была январская хроника 1864 г. из цикла «Наша общественная жизнь». Все, кто писал об этой хронике, отмечали по преимуществу одно ее место с упоминанием о «зайцевской хлыстовщине» и с насмешками над нигилистами и нигилистками — будущими и настоящими. В настоящем нигилисты, «птенцы» в изображении Салтыкова, надеются, «что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к

которой прикоснутся засохшие от жажды губы», в то время как чаша «уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать ее». Это был темный и неловкий намек на корыстные цели, какие будто бы преследуют писаревцы, проводя свои социальные теории; тот же смысл имели анекдоты о зависти нигилистки к богатой содержанке и о раскаявшемся нигилисте, уверяющем, что «все там будем» (там — т. е. в лагере Каткова); тот же смысл имело и предсказание о превращении нигилистов в титулярных советников[4]. Изображение нигилисток, поющих и пляшущих при рассекании трупа, затрагивало уже не только писаревцев, но и Чернышевского (намек на четвертый сон Веры Павловны в «Что делать?»). Все эти выпады против группы «Русского Слова» в первой же главке январского фельетона 1864 г. были в салтыковской литературе использованы. Но выпады продолжаются и в следующей главке: в описании ужина (или обеда) у некоего петербургского мецената.

Так как на это место не обратили внимания ни Пыпин (вообще очень «деликатно» скользнувший по «расколу в нигилистах»), ни Иванов-Разумник (только глухо назвавший фамилии Бенескриптова и Кроличкова как псевдонимы Писарева и Зайцева), ни Б. Козьмин, я приведу нужную цитату:

«Одного такого мецената[5] я знал даже в Петербурге, и, хотя был у него всего один раз, но видел достаточно, чтоб не желать повторения посещений. Я видел, как мрачный философ (philosopho di forza) Ризположенский пожирал фазана на тарелке vieux saxe; я видел, как легкий философ (*philosopho di grazia*) Семечкин выпил разом три рюмки водки из богемского хрусталя и жадно искал ополоумевшими глазами колбасы, но не находил ничего, кроме страсбургского пастета и разных подстрекающих аппетит сыров, я видел, как

Шекснинска стерлядь золотая

сделалась жертвой плотоядности критика Кроличкова; я видел, как страдал мажордом мецената, стоя за столом публициста Бенескриптова, и чуть-чуть не вслух восклицал: «embourbé! embourbé!»[6] — я видел все это и страдал не менее самого мажордома. Я думал: «как очутился ты здесь, бедный трудящийся люд? что общего между тобой и этим гнилым расслабленным меценатом, у которого даже головы совсем нет, а есть, вместо нее, какое-то прозрачное на свет яйцо? Зачем притащился ты сюда с холодного твоего чердака, где, по крайней мере, честно зарабатывал свой незавидный кусок хлеба? embourbé! embourbé!»

Дальше рассказывается о том, как меценат покупает «согбенного перед ним в дугу» Ризположенского, давая денег и поднося рюмку водки с тем, чтобы он проводил его идеи.

Под меценатом здесь разумеется конечно граф Г. А. Кушелев-Безбородко, бывший до 1862 г. собственником «Русского Слова», под Ризположенским — Благосветлов; менее ясен псевдоним Семечкина — может быть это Н. Соколов. Важнее в данном случае, что Писарев и Зайцев были задеты лично, хотя и с оговорками о сочувствии к ним, а не к меценату, но в этом сочувствии было немало пренебрежительно-высокомерного и значит тем более обидного. Писарев и Зайцев не могли конечно показать, что узнали себя в псевдонимах Бенескриптова и Кроличкова, но изображение их в виде прихлебателей (с достаточно дурными манерами) у какого-то «от глупости оплешивевшего мецената» не могло не подлить масла в полемический огонь.

«Русское Слово» не уклонилось от продолжения полемики и выступило против Салтыкова в февральской книжке двумя большими статьями за подписью авторов — Писарева и Зайцева. Статья Писарева «Цветы невинного юмора» не была связана с этой полемикой непосредственно: это была распространенная рецензия на только что вышедшие книги Н. Щедрина — «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе»; но по существу Писарев подхватывал и развивал намек, брошенный в 1863 г. Зайцевым, а еще ранее (см. ниже) Достоевским: Щедрин — не серьезный литератор, а безобидный и беспринципный юморист, «свистун», представитель «чистого искусства» новой формации. Писарев шел дальше, утверждая, «что влияние Щедрина на молодежь может быть только вредно», и задаваясь целью «разрушить пьедестальчик этого маленького кумира». Вслед за Зайцевым и он отводит место Щедрину в ряде «втростепенных беллетристов» (не упо-

миная впрочем о Достоевском) и дает совет, в котором сказывается вся глубина пренебрежения к литературному значению Салтыкова: «за неимением своих оригинальных идей... популяризировать чужие идеи», переводить и компилировать европейские работы по естествознанию [7].

Статья Писарева имела вид непричастной к полемике, но намеки и даже прямые ссылки на полемику есть и в ней. Определив Щедрина как представителя чистого искусства, Писарев продолжал: «принимаясь за перо, он также не предлагает себе вопроса о том, куда хватит его обличительная стрела — в своих или в чужих, в титулярных советников или в нигилистов». К этой фразе сделана ссылка: «Сия последняя острота, побивающая разом и титулярных советников и нигилистов, украшает собою страницы «Современника» (см. «Наша общественная жизнь», 1864 г., январь). Мало того: Писарев подхватил и другую сторону зайцевского нападения и тоже намекнул на вице-губернаторство: «к смеху г. Щедрина, заразительно действующему на читателя, вовсе не примешиваются те грустные и серьезные ноты, которые слышатся постоянно в смехе Диккенса, Теккерея, Гейне, Берне, Гоголя и вообще всех не действительно статских, а действительно замечательных юмористов».

Если статья Писарева связана с «Перлами и адамантами» Зайцева лишь отчасти, то сам Зайцев в статье «Глуповцы, попавшие в Современник» прямо продолжает свою статью 1863 г. и вместе с тем непосредственно отвечает Салтыкову на январскую «Нашу общественную жизнь».

Горячо и раздраженно отвечал Зайцев на все нападки и намеки Салтыкова. По поводу «чаши», т. е. возможности ренегатства и материального благополучия, Зайцев уколол Салтыкова намеком на «Мишу и Ваню» — монархическую фразу в первоначальном тексте этого рассказа. По поводу «титулярных советников» попрекнул Салтыкова его собственным более высоким чином. На слова «все там будем» заносчиво возразил: «еще кто будет или нет, а вы ведь уж давно там». По поводу изображения нигилисток попрекнул солидарностью с Писемским и отступничеством от традиций Добролюбова. Но самым оскорбительным для Салтыкова был первый абзац статьи, в котором Салтыков разоблачался как сановник, который лишь притворно сменил свой сановнический мундир на «костюм Добролюбова» и теперь «возвращается под родительский кров» (т. е. в лагерь реакции): «да, это он, тот самый, который «благоденствовал в Твери и в Рязани» и который с тех пор в продолжение целого года представлял собою величественное зрелище будирующего сановника».

Продолжается в этой статье и «одергивание» Салтыкова как писателя, при чем литературные нападки попрежнему объединяются с лично-биографическими. Насмешки над «Мертвым домом» опять излагаются как бестактность, как «следствие привычки к повелительному наклонению» (новый вариант упреков в «вице-губернаторском тоне»).

Что группа «Русского Слова» была задета не только принципиально, но и лично — показывают слова Зайцева о «темных намеках и закулисных сплетнях», о «верхушках и хвостиках клеветы»: здесь вероятно имеется в виду картина ужина у мецената в январской хронике Щедрина.

Салтыков отвечал в ближайшей мартовской хронике. Первоначально он предполагал посвятить полемике с Зайцевым особую статью в форме открытого письма «Неизвестному корреспонденту» за подписью «Хроникер «Современника». Это публикуемое ниже письмо сохранилось, как было указано, в архиве Пыпина в гранках. Оно составлено как ответ на чье-то действительное или вымышленное приглашение — «отказаться от немногих слов, сказанных в последней общественной хронике относительно нигилистов». По существу оно совпадает с содержанием мартовской хроники; но есть и отличия: любопытно между прочим, что пример «вислоухих и юродствующих» берется и из правого лагеря (славянофил, все славянофильство которого заключается в поддевках, мурмолках и рубахах с подоплеками). Не вошел в мартовскую хронику и такой пример: «если я встречаю человека, который говорит, что он материалист, и доказывает это тем, что каждый день обжирается и напивается, а вечером ходит в танцкласс к Ефремову, то я говорю ему: нет, ты не материалист, а свинья». Полемические страницы мартовской хроники значительно разрослись по сравнению с этим первоначальным наброском от-

АВГУСТА 26   1860 ГОДА.

ИСКРА

Годъ II.   САТИРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ СЪ КАРРИКАТУРАМИ.   № 33.



«Принимая васъ, милыя дѣти, въ заведеніе Любителей Русскаго Слова, я привѣтствую одного изъ васъ, какъ дѣятеля чисто художественной литературы, а другого, какъ представителя литературы обличительной. Первому, я скажу: идите по прекрасному пути вами избранному — я вполнѣ сочувствую вамъ; а другому замѣчу, что только отчасти я признаю законность обличительнаго направленія и смѣло посылаю упрекъ нашимъ періодическимъ изданіямъ, представляющимъ безпрестанно примѣры клеветы и принимающимъ незаконную дерзость за законную свободу. Но я увѣренъ, что ни одинъ изъ васъ не захочетъ послѣдовать примѣру этого обличительнаго писателя, которaго я позволилъ себѣ, счелъ даже обязанностію, назвать заслуженнымъ именемъ гнуснаго клеветника и отвратительнаго сплетника и выставить къ позорному столбу общественаго мнѣнія.»

ОБЛОЖКА «ИСКРЫ» 1860 г., № 33, ПОСВЯЩЕННОГО СПОРАМ О ЗАДАЧАХ И НАЗНАЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ

А. С. Хомяков (слева) и Л. Н. Толстой (справа) — представители «чистой художественности»; В. Н. Елагин (в центре) — последователь Щедрина — представитель «обличительной литературы»

вета: прибавились пространные объяснения по вопросу о романе Чернышевского и теории Фурье; вместе с тем отношение к противникам осталось столь же резким: неназванное «Русское Слово» определялось как «невинный, но разухабистый орган невинной нигилистской ерунды». Кроме того на первых же страницах мартовской хроники иронически упомянут «величайший из критиков нашего времени Кроличков»: конечно к нему лично относилось в первую очередь и прозвище «вислоухого и юродствующего».

Изложение полемики в книге Иванова-Разумника на этом эпизоде заканчивается. Б. Козьмин бегло упоминает и о следующем эпизоде: об ответной анонимной статье «Русского Слова» («Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника», «Русское Слово», апрель) и цитирует из нее одну фразу. Статья эта в истории полемики играет немалую роль. Вопросом об авторе статьи Б. Козьмин не интересовался; между тем указания на авторство можно извлечь из самого текста статьи. Анонимный автор выступает все время от лица «Русского Слова»; статья приобретает характер редакционной, обращенной притом как своего рода дипломатическая нота не к Салтыкову только, но и к редакции «Современника»:

«Что сходит с рук какой-нибудь «Занозе», где сплошная глупость покрывает собой все, то едва ли сойдет в таком журнале, как «Современник»; и мы еще раз предупреждаем его, что есть границы унижения, за которыми возвратить прежнее сочувствие уже будет не легко... Ведь нашло же «Русское Слово» возможность не смешивать уважаемых нами сотрудников «Современника» с чужой овцой, попавшей в их круг».

Заступаясь за молодое поколение, автор однако все время говорит не от его лица, а как старший, как сверстник Салтыкова:

«Не много пользы молодому поколению от наших комплиментов, но и нет надобности глумиться над ним... Если в его стремлениях есть много неугаданных целей, несбывшихся надежд, даром потраченных сил и увлечений, если в среде его есть и жалкие Кирсановы и Кукшины, то все же в общем оно лучше нас с вами, фельетонист «Современника», и по выродкам его еще нельзя произносить приговор над целым поколением...»

Все это с достаточной степенью вероятия указывает на автора статьи. Это очевидно Г. Е. Благосветлов, возглавлявший «Русское Слово». Благосветлов в 1865 г. не был стариком — ему было 40 лет, но из видных сотрудников «Русского Слова» он был старшим, был сверстником Салтыкова, а не Писарева и Зайцева, которым было в это время одному 24, а другому 22 года[8].

Но «Русское Слово» не ограничилось этим редакционным ответом: в том же апрельском номере был помещен — и тоже анонимный — фельетон, почти целиком занятый личным памфлетом против Салтыкова или, как выражался позже сам Салтыков, его биографией «в шутливом, но пакостном тоне». Этот эпизод полемики и все, что следовало за ним, ускользало от внимания исследователей вовсе. Самый фельетон настолько важен, что текст его необходимо привести полностью; это и сделано в настоящей книжке.

Фельетон — кто бы ни был его автором — должен был задеть Салтыкова чувствительно. Хотя смысл фельетона несколько завуалирован тем, что в начале и в конце говорится о всякой всячине: о всевозможных журналах и именах, о юбилее Шекспира, даже о «весне как лучшем времени года», но ясно, что все это обрамление написано для отвода глаз. Центр фельетона: «романс в действии» — «Ты пойми, пойми, мой милый друг». Но еще раньше, в первом разделе фельетона, Салтыков затронут дважды: сначала прямыми цитатами из мартовской «Нашей общественной жизни», а затем оскорбительным зачислением в категорию случайных литераторов, которые «так же долго держатся в литературе, как кухарка, потерявшая место, проживает на квартире — то-есть до первой открывшейся вакансии»: явный намек на бюрократическую службу Салтыкова. «Романс в действии» и должен был, по заданию автора, дать характеристику «подобных господ».

Что перед нами личная сатира на Салтыкова — не приходится сомневаться. Самое заглавие — «Ты пойми, пойми, мой милый друг» — пародия на романсные заглавия очерков

о «Помпадурах», которые в это именно время печатались (ближайшим образом — очерка «Здравствуй, милая, хорошая моя», помещенного в одной книжке с первым нападением и на нигилистов вообще, и на отдельных сотрудников «Русского Слова»). Самый жанр пародийной биографии тоже указывает на Салтыкова (ср. напр. биографию Васи Чубикова в мартовской «Нашей общественной жизни»). Все это должно было помочь читателю раскрыть реальный прототип «Яши Злючкина» (фамилия опять указывала на общеизвестную литературную, да и житейскую репутацию Салтыкова), а имя (если не было взято просто первое попавшееся) — на рассказ Салтыкова «Яшенька», теперь забытый, но тогда еще свежий в памяти (напечатан в 1859 г. в сборнике литературных статей памяти А. Ф. Смирдина). Дальше идут один за другим прозрачные намеки на факты действительной биографии Салтыкова. Яшу отдают учиться «в самое чистое заведение» — «куда все дворяне отдают — где почище» (т. е. в лицей); окончив, он поступает в министерство; не имея успеха, решает «слиберальничать» по французской книжке» (т. е. написать повесть с идеями французского утопического социализма); за это «беднягу изгнали», и он «на год, на два совершенно пропадает из виду», а на третий «мы встречаем его в провинции, занимающим очень невидное место». Здесь — либо намеренное заметание следов, либо неосведомленность памфлетиста: «невидное место» чиновника особых поручений Салтыков занимал уже через два месяца после приезда в Вятку, а «на третий год» был уже советником вятского правления. Но подробностей вятской службы Салтыкова памфлетист вообще не знал: иначе разве прошел бы он мимо такой благодарной для него темы, как следовательская работа Салтыкова по раскольничьим делам? Кроме того слишком явно намекать на ссылку Салтыкова и на освобождение из ссылки было конечно нельзя. Поэтому весь вятский период изложен довольно бесцветно и приблизительно: «Целые шесть или семь лет злобствовал Яша»... наконец в 1856 г., когда «вышло разрешение» говорить о «прогрессе» и «гласности», Яша, мечтающий стать чиновником пятого класса, делает карьеру: «в числе обличителей Яша стоял на первом месте». Его заметили и дали порядочное место. Петербургская служба Салтыкова опускается, и действие переносится в провинциальный город (т. е. очевидно в Рязань). Толки о новом начальнике, причастном и к литературе, изображены довольно зло, но вряд ли передают какие-либо фактические слухи. Разговор Яши с «мозгами», упоминание о Молешотте — все это ответные уколы за мартовскую «Нашу общественную жизнь» («им кажется, что вся Россия взирает на них и что сам Молешотт напутствует их из своего далека». «Современник» 1864 г., № 3, стр. 61). Мечтая о повышении из пятого класса в четвертый, Яша просит «перевода на то же место» (перевод Салтыков в Тверь в 1860 г.), одновременно он пишет статью, в которой хочет «всех здешних, — т. е. рязанских — отхлестать». Рязанские впечатления Салтыкова отразились конечно в его цикле «Сатир в прозе», начатом именно в 1860 г., но «Каплуны», на которые намекает фельетонист, не имеют отношения ни к Рязани, ни к 1860 г. Упоминание о «Каплунах» очень любопытно: заглавия «Скопствующие каплуны» и «Каплунствующие скопцы» имеют в виду конечно этот очерк, а не отдельные отзвуки его в салтыковском тексте. Очерк был запрещен цензурой в 1862 г. и параллельно с цензурной историей вокруг него назревало недовольство в руководящей группе «Современника» (так как смысл его заключался в той же борьбе против «теоретиков», которую Салтыков продолжал и в 1863—1864 гг.). Слухи об этом эпизоде несомненно ходили в литературных кругах, но содержание очерка в целом оставалось неизвестным; так что автор фельетона мог и не сознательно, а просто по неосведомленности связать «Каплунов» с «отхлестыванием» рязанцев.

За рассказом о неуспехе Яши Злючкина в новом городе (т. е. Салтыкова в Твери) следуют два совета «мозгов». Первый совет — «сретроградничать» — Яша исполнил, после чего «потерял кредит и в противном стане, где он тоже не мало заискивал». Здесь очевидный намек на эпизод с прокламациями «Великорусс», которые Салтыков, получив на свое имя, представил губернатору и притом, следуя точному распоряжению министерского циркуляра, представил вместе с конвертом и этим навел тайную полицию на след Обручева. Известно, что этот эпизод действительно повредил репутации Салты-

кова в кругу «Современника». Второй совет «мозгов» — покупка деревеньки и попытка наладить в ней рациональное хозяйство — тоже биографический факт: Витенево было куплено Салтыковым в это именно время.

После этого «Цинциант наш вдруг очутился в числе людей, близких к редакции одного журнала» (т. е. «Современника» — с 1863 г.); заискиванье перед «мальчишками» и, после неуспеха, нападение на них в объяснениях не нуждается.

Последние 8 страниц фельетона не имеют к Салтыкову никакого отношения и вероятно прибавлены для затемнения основного смысла. Перепечатывать их в номере, посвященном Салтыкову, нет оснований (напротив, начало фельетона дается целиком для полного восстановления того контекста, в котором начинаются нападки на Салтыкова).

Но полемика не вполне заканчивается и этим эпизодом. В печати Салтыков не отвечал и только слегка затронул Зайцева-Кроличкова в майской книжке «Современника». Но не все, что Салтыков писал, и даже не все, что он сдавал в набор, появлялось в печати — в данном случае может быть и потому, что редакция «Современника» приостановила полемику. Так по крайней мере утверждал Достоевский в своем памфлете (о котором еще будет речь) — «Господин Щедрин, или раскол в нигилистах» («Так что «Современник», говорят, даже и струсил, до того струсил, что запретил будто бы и Щедрину вести дальнейшую полемику с «Русским Словом» и, так сказать, посягнул на свободу «пера». Все это не более, как слухи, но эти слухи тем более усилились, что в апрельской книге «Современника» г. Щедрин, очевидно, стушевывается»).

Слух, исходящий из враждебного лагеря, мог быть близок к правде. Видимо для апрельской книжки «Современника» Салтыков готовил следующую хронику «Нашей общественной жизни»; очень вероятно, что в ней продолжалась полемика, но эта хроника до нас не дошла. Дошло лишь ее продолжение, предназначенное для майской книжки, и дошло в двух последовательных вариантах (см. ниже публикации обеих не появившихся в печати хроник). В той и другой есть отзвуки полемики, хотя и не очень значительные. Более значительный — в корректурном (повидимому первом) варианте (пометка на корректуре: «17 апреля»; последние абзацы хроники отвечают на писаревскую статью, о которой мартовская хроника вовсе не упоминала):

«На днях один из знаменитейших наших ерундистов упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель. И думал, вероятно, что до слез обидел меня такою острою речью. А вышло совсем наоборот: я принял эту речь себе за похвалу. Неужели же вы думаете, милостивый государь, что я пишу не для глуповцев, а желаю просвещать китайского богдыхана? Нет, я в мыслях не имею такой высокой мысли и предоставляю ее ерундистам высшей школы. Я деятель скромный, и в этом качестве скромно разработываю скромный глуповский вертоград. Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком им понятным и очень рад, если писания мои им любезны.

Ибо, огражденный любовью глуповцев, я могу дерзать на многое: могу не обращать даже внимания на то, что будут говорить об моей деятельности наши литературные хлысты, скопцы, нетовцы, адамиты, купидоны и прочая ерундоносная братия» [9].

В другой вариант неизданной «Нашей общественной жизни» («Итак история утешает...») включены иронические упоминания о философе Ризоположенском (Благосветлов), публицисте Скорбященском (повидимому Благовещенский) и наконец Кроличкове. Все это вероятно еще до выхода в свет апрельской книжки «Русского Слова».

Следующее печатное упоминание о Зайцеве-Кроличкове находится в майском номере «Современника», разрешенном цензурой 14 мая, в статье «Литературные мелочи». Так как цензурное разрешение апрельской книжки «Русского Слова» датируется 22 мая, приходится предположить, что в статьях Благосветлова и Зайцева — или по крайней мере о зайцевском памфлете — Салтыкову было известно до выхода номера хотя бы по слухам. Гранки, помеченные 29 апреля, заключают в себе целый раздел, специально посвященный Зайцеву-Кроличкову. В раздраженном, хотя и сдержанном тоне Салтыков дает набросок его биографии — несомненный ответ, или вернее предвосхищение ответа, на биографию Яши Злючкина. Привожу это место, исключенное вероятно по настояниям редакции и в печати до сих пор неизвестное:



«ВСТРЕЧА ПРИЯТЕЛЕЙ»

— Ого! какой раглан на тебе! Верно обстоятельства переменились, — видно ты на хорошем жалованьи?
— Все так же — те же 23 р. сер., да не в них дело — местечко тепленькое...
— Гм!.. А ты читал «Губернские очерки» Щедрина?
— Нет еще, но вот купил, — говорят хорошая вещь...
— Прочти, прочти, книга весьма назидательная...

Рисунок П. Анненского из «Сына Отечества» 1857 г.

«Я мог бы многое сказать здесь о философе Кроличкове, но умалчиваю об этом только потому, что он Кроличков, а не Зайцев. Будь он мало-мальски Зайцевым, я, наверное, почтил бы его. Я рассказал бы о том, какие легенды сопровождают его рождение, о том, как он, еще припадая к сосцам своей матери, уже возмущался своею несамостоятельностью, о том, как он, начитавшись Молешотта, пожирал головки зажигательных спичек, в чаяньи, что будет от того умнее, о том, как он рассуждал с публицистом Благомрачновым, где им следует говеть, о том, наконец, как он, посетив некоторый благопристойный дом, явился туда во фраке, позабыв надеть панталоны, и т. д. и т. д. Но повторяю: я умолчу об этом, потому что я милосерд.

Однако не могу скрыть: Кроличков занимает меня. Это своего рода тип. Тип, правда, мизерный и ничего не доказывающий, но во всяком случае тип. Есть множество людей, которые положительно только бременят землю своим по ней шатанием, но опытный общественный физиолог не должен пренебрегать и ими в своих исследованиях, ибо они представляют собою те самые уродливости, которые свойственны именно такому, а не другому общественному строю.

И до такой степени отчетливо и ясно восстает этот тип передо мной, что много мне нужно над собой власти, чтобы преодолеть желание изобразить его. И, уверяю вас, что это был бы совсем не гимназист Горобец[10] или прогрессист-кадетик из «Взбаломученного моря», нет, это был бы человек, в полной мере и совершенно искренне убежденный, что употребление в пищу зажигательных спичек удвоит его умственные способности.

Когда-нибудь, впрочем, я предоставлю себе заняться этим типом в полное свое удовольствие. Когда? — это другой вопрос, разрешение которого будет зависеть от времени и степени досуга, которым я буду обладать».

С исключением этого места в «Литературных мелочах» осталось два упоминания о Зайцеве: первое предшествовало исключенным абзацам, второе следовало за ними.

Остроумнейшая сводка «настоящих» писателей и их самозванных двойников (настоящий Костомаров — Н. И. и лже-Костомаров — Всеволод; настоящий Крестовский — к сожалению псевдоним[11] и псевдо-Крестовский — Всеволод, к сожалению не псевдоним; настоящий Катков, переводчик «Юлии и Ромео», и псевдо-Катков — издатель «Московских Ведомостей») эффектно завершается такой параллелью: «есть настоящий

Зайцев, который ничего не пишет, есть псевдо-Зайцев, который, вместе с Кузьмой Прутковым, собирается написать драму под названием: «Мальчик, у которого фосфор не в голове, а на голове».

На следующей странице по поводу успеха в некоторых, даже и «прогрессивных» кругах образа эмансипированной Инны Горобец из клюшниковского «Марева» Салтыков иронизировал: «Даже философ Кроличков — уже на что, кажется, человеконенавистник — и тот, сказывают, одобрил сцену, когда Инна, лишенная одежды и сидя по горло в воде, знакомится с графом Бронским. «Право, хоть бы и мне так поступить!» воскликнул он, забыв, что у него совсем не те атуры[12], которые могут сообщить подобному положению надлежащий интерес». На личные нападки Салтыков отвечает, как видим, издевательством тоже личным—вплоть до высмеивания наружности своего врага.

Наконец последнее из известных мне упоминаний о группе «Русского Слова», как бы подводящее итоги всему эпизоду, находится в публикуемом ниже неизданном отрывке из полемической статьи против Достоевского («Но если уж пошла речь об стихах...») и датируется самым концом 1864 г. (повидимому первой половиной декабря).

Истолковав пушкинский отрывок о «срамцах» в том смысле, что «всех вместе презирать их трудно», потому что все вместе они, как паразиты, слишком опасны, чтобы отделаться от них одним презрением, Салтыков продолжает (неоговоренная разрядка в цитатах здесь и ниже моя):

«В прошлом лете я именно был жертвой такого рода дружных усилий «срамцов». Человекообразные соединились со стрижами, эти последние, в свою очередь, подали лапку амфибиям. Некоторый молодой гиббон (скорее, впрочем, лемур, нежели гиббон) написал в шутливом, но пакостном тоне мою биографию; некоторый чимпандзе обратился ко мне с серьезным увещанием, что лучше было бы, если б я перестал заниматься беллетристикой, а принялся бы за естественные науки; даже сам старый горилла (портрет его зри в сочинении Гексли: «О положении человека в ряду органических существ», где можно получить и интереснейшие сведения о всех человекообразных вообще) — и тот воспылал ко мне гневом и ненавистью и вознамерился зубами сокрушить конец пера, которым я пишу...»

О стрижах и амфибиях речь еще впереди, здесь нас занимают «человекообразные», под которыми несомненно имеется в виду группа «Русского Слова» (конечно это намек на пропаганду дарвинизма в «Русском Слове»; в этом смысле образом человекообразных Салтыков уже пользовался в своем первом ответе «Русскому Слову»[13] и в публикуемом здесь «Журнальном аде»).

После всего сказанного мы можем раскрыть салтыковские псевдонимы без большого труда. «Гиббон или лемур» — Зайцев («скорее, впрочем, лемур» — т. е. скорее полуобезьяна, чем человекообразное); чимпандзе (форма «чимпандзе» и «чимпанзе» вместо современного «шимпанзе» была в те годы обычной) — конечно Писарев как автор «Цветов невинного юмора». Наконец «сам старый горилла» — Благосветлов как автор статьи «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника». Так как отождествление Писарева с шимпанзе и Благосветлова с гориллой совершенно очевидно и так как под «шутливой, но пакостной биографией» только и может разуметься апрельский фельетон «Русского Слова», то тем самым подтверждается и авторство Зайцева; умолчание о Зайцеве-Кроличкове в ряду виднейших сотрудников «Русского Слова» было бы невероятно; ведь статья «Глуповцы, попавшие в «Современник» во всяком случае принадлежала Зайцеву, и неупоминание о ней может быть объяснено лишь тем, что «Фельетон» заслонил в сознании Салтыкова первую зайцевскую статью. Авторство Зайцева подтверждается еще одним упоминанием: в уже цитированной полемической статье Достоевского: «Наконец пошли слухи еще более потрясающие (т. е. еще более, чем первая статья Зайцева и «запрещение» Салтыкову дальнейшей полемики.— *В. Г.*), стали говорить, что г. Щедрин разрублен пополам г. Зайцевым на две особые половинки...» Эти «две половинки» — конечно беспринципный карьерист Яша Злючкин, он же М. Е. Салтыков, и псевдо-либеральный (каким он выведен в фельетоне) Н. Щедрин.

При определении авторства надо учитывать также особые условия появления этого фельетона. Фельетон появился в апрельской книжке взамен обычного фельетона «Рус-

ского Слова», который из книжки в книжку вел до апреля и продолжал после апреля Д. Д. Минаев (под общим названием «Дневник темного человека»). Но авторство Минаева в отношении и этого фельетона мало вероятно. Во-первых, против него говорит междужурнальная ситуация: Минаев был сотрудником «Современника» и вряд ли стал бы выступать с такой злой и личной сатирой против одного из руководителей «Современника». Во-вторых, тип фельетона тоже не минаевский — без обычной минаевской манеры пересыпать прозу стихами (в тех случаях, когда он вообще обращался к прозе). Создается несомненное впечатление, что Минаев уступил на один месяц свое место кому-то из близко стоящих к редакции лиц, кому надо было рассчитаться с Салтыковым за январскую и за мартовскую хронику вместе; ни на одном другом имени, кроме имени Зайцева, нельзя остановиться даже предположительно.

Все последние соображения в сущности даже излишни, так как за авторство Зайцева говорит вся совокупность доводов, известных из истории этой полемики.

Последнее замечание по истории полемики Салтыкова с «Русским Словом»: книга Гексли, на которую Щедрин ссылается, дает некоторое дополнительное освещение эпизода. Ссылка Салтыкова на «портрет гориллы» косвенно указывает на Благосветлова, крупные, грубые и некрасивые черты лица которого могли вызвать подобную ассоциацию. Но особенно важны слова: «где можно получить и интереснейшие сведения о всех человекообразных вообще» — это указание открывает как бы второй, скрытый план салтыковской сатиры; ознакомившись с книгой Гексли, можно существенно дополнить эту сатиру «сведениями» например о резком и пронзительном крике гиббонов, о свойстве шимпанзе, при нападении на человека, кусаться, о реве гориллы и т. п. Книгой Гексли Салтыков пользовался как своеобразным оружием в борьбе со своими литературными врагами.

* * *

Теперь необходимо осветить ту сторону полемики, которую Салтыков характеризовал словами: «Человекообразные соединились со стрижами». Полемика Салтыкова с журналами Достоевского началась, как известно, еще в 1863 г.; фактически первым толчком было нападение Салтыкова на Г. П. Данилевского, после чего в полемику вступил Ф. М. Достоевский. Здесь нет надобности вспоминать все перипетии полемики 1863 г.; важнее оценить ее общий смысл [14]. Для понимания этого смысла необходим учет эволюции «Времени», с одной стороны, и учет эволюции Салтыкова — с другой.

«Время» начинало в 1861 г. как орган буржуазного либерализма; полемика с «Современником» если и велась, то по вопросам сравнительно мало острым; в полемике «Современника» с «Русским Вестником» «Время» оказывалось скорее союзником «Современника»; на правую группу — «Русский Вестник» и «День» — были направлены главные его нападения. Общее направление «Времени» делало вполне возможным сотрудничество в нем, хотя и не частое, Салтыкова и Некрасова. Но с течением времени и с выяснением дальнейшей расстановки сил — после польского восстания и обострения революционной борьбы внутри России — «Время» и особенно продолжавшая «Время» «Эпоха» самоопределились как ближайшие союзники московских славянофилов; в лагере идеологов прусского пути «Эпоха» заняла позицию центра, и скорее правого, чем левого. В то же время эволюционировал и Салтыков, но уже в прямо противоположную сторону. И не только общая перемена взаимоотношений двух журналов отражала эти принципиальные сдвиги, но и в л и ч н о й полемике между Достоевским и Салтыковым явно звучит одна основная нота: взаимное разочарование друг в друге. Достоевский раздосадован утратой союзника — переходом автора либеральных «Губернских очерков» к радикальной «Нашей общественной жизни»; Салтыков не прощает Достоевскому перехода от «Бедных людей» (игра «Шинелью»!) и «Мертвого дома» («по французским источникам») — т. е. от произведений, в той или иной мере не чуждых влияниям утопического социализма,—к «Скверному анекдоту» с насмешками над обличителями и наконец к воинствующим «Запискам из подполья». Достоевский стремится представить Салтыкова умеренным либералом и в сущности отнюдь не сатириком («вы и обличали

не из негодования какого-нибудь... а просто потому, что обличение модная так сказать «струя»). Приведенная цитата взята из статьи 1863 г. «Опять молодое перо», но особенно показательна фраза предыдущей статьи «Молодое перо»: «Или вы уж так весь впились в интересы редакции «Современника», что, впиваясь, оставили прежнее у порога?»

В этом свете должна быть рассмотрена и полемика 1864 г. Возобновил ее Достоевский выпадом против Салтыкова, правда, не названного, в «Записках из подполья»[15]; сущность выпада заключалась в том, что Салтыков как автор очерка «Как кому угодно» был назван поклонником «гадчайшей и бесспорной дряни» (разумелся под ней фурьеризм, ревизия которого была темой многих работ Салтыкова этих лет). Салтыков не остался в долгу и в «Стрижах» («Современник» 1864 г., № 5) не только спародировал «Записки из подполья», но тут же высмеял всю редакцию «Эпохи» в целом и каждого из ее сотрудников в отдельности. Полемика «Современника» с «Русским Словом» в это время еще продолжалась. Февральская книжка «Русского Слова» со статьями Писарева и Зайцева уже вышла, и Страхов в третьей книжке «Эпохи» (вышедшей в начале мая), еще не зная ни о «Стрижах», ни об апрельском «Русском Слове» с новыми нападениями на Салтыкова (дозв. ценз. 22 мая), сочувственно цитирует Писарева — конечно не теоретическую часть его статьи, а только конкретный анализ щедринской сатиры. Неудивительно: в нем, хотя и с другой точки зрения, варьировалась та же мысль о «безобидности» салтыковского юмора, которою колол Салтыкова Достоевский еще в 1863 г. На «Стрижей» отвечал уже Достоевский фельетоном «Господин Щедрин или раскол в нигилистах» в майской книжке «Эпохи» (вышла в первой половине июля, ценз. раз. 7 июля). К этому времени уже появилось апрельское «Русское Слово» со статьей Благосветлова и с «Романсом в действии», и Достоевский, как увидим, не оставил их без внимания.

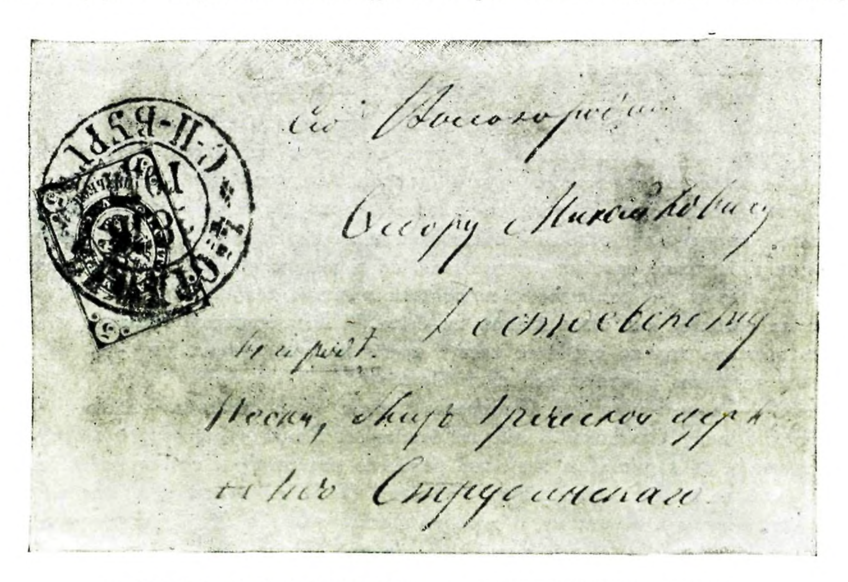
Начало статьи Достоевского необходимо привести:

«У нас, в литературном и преимущественно в журнальном мире, случаются целые катастрофы, даже почти романы. Вот, например, недавно, очень недавно, случилась странная кутерьма. «Русское Слово», орган неумеренных нигилистов, напал на «Современник», орган умеренных нигилистов. С горечью попрекнуло «Русское Слово» «Современник». Из этих попреков усматривается, что «Современник» теперь уже не современник, а ретроград, потому что позволил г. Щедрину, своему сотруднику, писать о мальчишках, о каких-то «вислоухих», о ничего не понимающих и все портящих, о каком-то «засиживаньи» и, наконец, о ужас! чуть ли не об эстетике. Ясное дело, что «Современник» ретроград. «И это в том органе, где писали Белинский и Добролюбов!» Ужас! ужас! Так что «Современник», говорят, даже и струсил, до того струсил, что запретил будто бы г. Щедрину вести дальнейшую полемику с «Русским Словом» и, так сказать, посягнул на свободу «пера». Все это не более, как слухи, но эти слухи тем более усилились, что в апрельской книжке «Современника» г. Щедрин, очевидно, стушевывается. Наконец пошли слухи еще более потрясающие: стали говорит, что г. Щедрин разрублен пополам г. Зайцевым на две особые половинки» (и т. д.).

Это начало нужно было процитировать полностью, чтобы стало ясно, что Достоевский использовал оба момента полемики «Русского Слова» с «Современником». Первый — февральская книжка: нападение «Русского Слова» на «Современник». На эту же книжку, на статью Зайцева, указывает и цитата: «И это в том органе, где писали Белинский и Добролюбов!» Ужас! ужас!» Второй — апрельская книжка: «наконец пошли слухи еще более потрясающие». Фраза о «двух особых половинках» дает указание, что и современники считали автором апрельского фельетона Зайцева. На этот же зайцевский фельетон сделана ссылка и дальше: «Ведь не может же быть, чтоб «Современник» действительно захотел противоречить всему тому, о чем проповедывал в последние годы и, по их понятиям,—«сретроградничал». Совет «сретроградничать», как уже было сказано, давали Яше Злючкину «мозги». Другая цитата из апрельского «Русского Слова», но уже из статьи Благосветлова: слова, что «г. Щедрин выражает вовсе не убеждения, а испускает какую-то желтую жидкость». Помимо этих ссылок вводные страницы статьи Достоевского интересны передачей различных журнальных «слухов» или, как

справедливо оценивали их и Салтыков, и Антонович, сплетен. Эти сплетни исходили вероятно из верных источников. Первая, уже упомянутая,— будто «Современник» запретил Щедрину продолжать полемику с «Русским Словом»; в основе ее могли быть действительные факты редакционных трений, о которых, хотя и по другому поводу, упоминается в позднейших воспоминаниях М. А. Антоновича. Вторая, ни разу еще не проверенная биографами Салтыкова, излагается вслед за только что приведенной цитатой: будто Щедрин, рассорившись с «Современником», «соединяется с каким-то посторонним сатириком» (т. е. очевидно с Антоновичем) и «едет в Москву издавать там свой собственный сатирический журнал».

Центральной составной частью статьи Достоевского был конечно «Отрывок из романа Щедродаров» — тоже своего рода «биография в шутливом, но пакостном тоне», притом самой формой «отрывка» смыкающаяся с фельетоном «Русского Слова». Примы-



АВТОГРАФ М. Е. САЛТЫКОВА НА КОНВЕРТЕ ЕГО ПИСЬМА
К Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ, 1876 г.
Центрархив, Москва

кая к зайцевской «биографии», роман о «Щедродарове» вместе с тем продолжает нападения 1863 г.; ближайшая же цель его — поразить Салтыкова его же оружием; ответить на «Стражей» высмеиванием и Салтыкова лично, и редакции «Современника» в целом. Здесь продолжаются все те же обвинения: «злость для злости», «искусство для искусства», юмористика для юмористики и т. п., которыми язвили Салтыкова и сам Достоевский в 1863 г., и Писарев в 1864 г. Не излагая всей сатиры, которую можно найти в двух последних собраниях сочинений Достоевского (1918 и 1930 гг.) и общий смысл который уже достаточно объяснен комментаторами, я обращу внимание для связи с предыдущим только на одно место. Одно из «условий», которые ставят Щедродарову, заключается в том, что заявляющие себя прогрессистами — неприкосновенны, их надо защищать, как бы они ни «забезобразничались».

«...И хотя бы такой перед вами явился даже...

— Даже в пьяном виде,— перебил Щедродаров с юмором, так и ожидая, что вот все покатятся со смеху, как от «фиков», и тотчас же похвалят его за веселость. Но он рассчитывал без хозяина. Это был народ угрюмый, которого не проймешь юмористикой. Прерванный оратор нахмурился и внятно, раздельно и строго произнес: «Да-же в пьяном ви-де-с. Щедродаров струсил».

Нельзя не видеть здесь намека на салтыковскую картину ужина у мецената, где сотрудники «Русского Слова» были изображены, хотя и не прямо «в пьяном виде», но

достаточно близко к тому. Это место дало повод Антоновичу уже буквально изобразить в пьяном виде Ап. Григорьева.

Группа «Эпохи», как и группа «Русского Слова», выступала против Щедрина сплоченно. Достоевский в «Эпохе» тоже не был единственным. Обращу внимание на одновременные упоминания Ап. Григорьева о Салтыкове. В той же майской книжке «Эпохи», где напечатан «Щедродаров», в «Парадоксах органической критики», Ап. Григорьев говорит о Салтыкове-Щедрине два раза. В первый раз, называя его по имени,— по поводу писаревской статьи и полученной Щедриным как главой «абличителей» «нахлобучки»: «Так и следовало, и прав г. Писарев: взялся за гуж — можно сказать г. Щедрину — не говори, что не дюж,— или «не виляй хвостом», по его собственному любимому выражению. Как бы ни были забавны результаты, тот, кто вел к ним — должен им подчиниться, или... что труднее для самолюбия, свернуть с дороги».

Второе упоминание было гораздо более завуалировано, но современники легко могли его разгадать. По поводу книги «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и св. земле инока Парфения» Ап. Григорьев вспоминал один из своих приездов в Петербург:

«...на одном из литературных вечеров, провождавшихся большею частью до ужина в слушании давно всем известных скандальных анекдотов покойного П — [анае]ва, а за ужином в глумлениях над среброкудрым старцем Андреем [Краевским], довелось мне завести речь о книге отца Парфения с человеком, которого я, судя по его деятельности, мог считать компетентным судьею в отношении к народу и его быту, который тогда не только одни губернские сплетни рассказывал, но и подчас к народу сильное сочувствие высказывал и даже раскольников с некоторым знанием дела изображал, да и притом честно, а не ерыжно, как один знаток их быта...[16] Компетентный господин в ответ на мою речь выразил только опасение насчет вреда подобных книг, что она, дескать, не развела бы слишком аскетического настройства».

Дальнейшее — возражения Ап. Григорьева против этого опасения — здесь не важно[17]. Что имеется в виду Салтыков — конечно бесспорно. Книга Парфения была Салтыкову хорошо знакома: он написал на нее даже большую рецензию, в печати не появившуюся и может быть не вполне законченную. Рецензия (1857 г.) проникнута тем же отрицательным отношением к аскетизму, о котором рассказывает и Ап. Григорьев, хотя оценка личности Парфения в общем благожелательная. «Губернские сплетни» —несомненно «Губернские очерки», в которые входили и очерки быта раскольников («Матушка Мавра Кузьмовна», «Старец»).

Общий смысл салтыковского выражения: «человекообразные соединились со стрижами» — после всех этих сопоставлений должен быть ясен. Публицистическая работа Салтыкова в «Современнике» встретила единодушно-отрицательные оценки «Русского Слова» и «Эпохи», и смысл оценок совпадал: Салтыков воспринимался в лучшем случае как либерал, в худшем — как перекрасившийся для карьеры реакционер. Эволюция Салтыкова от дворянского либерализма (которому он служил и на вице-губернаторском посту) к демократическому радикализму не учитывалась, не бралась всерьез. Противники из «Русского Слова» прямо отбрасывали Салтыкова в противоположный лагерь («еще кто будет или нет, а вы уж давно там»); противники из «Эпохи» тоже готовы были смотреть на него как на изменившего союзника («Из обыкновенного либерала вас тотчас же перепекли в нигилиста. Но какой же вы нигилист, помилуйте?»). Зайцев обращал «внимание уважаемых сотрудников «Современника» на новое направление, придаваемое этому журналу г. Щедриным»; Достоевский отмечал, что Щедрин «сильно противоречил в своих последних статьях духу и направлению «Современника». Зайцев злорадствовал: «наконец-то и этот блудный сын возвращается под родительский кров»; Достоевский изображал в сатире «бунт Щедродарова» против руководителей «Современника», защиту им «Времени» и даже «Дня», а Ап. Григорьев одновременно намекал на один из возможных для Щедрина выходов — «свернуть с дороги». Вместе с тем «Русское Слово» отмечало, а «Эпоха» с торжеством подхватывала замечания о совпадениях некоторых выпадов Салтыкова против нигилистов с выпадами «Времени» против «свистунов» и «рутинного либерализма». Этим единогласным высмеиваньем заглуша-

лась более тонкая и по существу более язвительная насмешка Писарева над общественной позицией Салтыкова: «Г. Щедрин — писатель приятный во всех отношениях; он любит стоять в первом ряду прогрессистов, сегодня с «Русским Вестником», завтра с «Современником», после завтра еще с кем-нибудь, но непременно в первом ряду; для того чтобы удерживать за собою это лестное положение, он осторожно производит в своих убеждениях разные маленькие передвижения, приводящие незаметным образом к полному повороту налево кругом». Достаточно ядовиты были упоминания Писарева о «формулярном списке г. Щедрина как литератора» или данный ему Писаревым эпитет «действительный статский прогрессист».

Оценка Щедрина как писателя с той и другой стороны была нисколько не более лестной. Сборник «Сатиры в прозе», которым он поворачивал после крутогорского цикла на новую дорогу, встретил и вообще очень мало откликов в печати. То, что Салтыков должен был ценить в своем творчестве больше всего — его сатирические элементы, было с обеих сторон ошельмовано как смех для смеха, как чистое искусство, как цветы невинного юмора. В этих определениях сходились и «Русское Слово», и «Эпоха»: вслед за «Русским Словом» «Эпоха» повторяла и те же примеры — те же «фики» и «трефандосы», обнаруживая при этом либо странное непонимание, либо сознательную недобросовестность: кому же не ясно, что «фиками» и «трефандосами» сам же Щедрин обличал «смех для смеха»? Влиятельнейший из современных критиков советовал Щедрину «бросить Глупов», т. е. отказаться от тех эскизов, из которых через пять лет должно было вырасти гениальное обобщение «Истории одного города». Вершиной литературной репутации Щедрина продолжали оставаться «Губернские очерки» — пройденный для него самого этап,— но и о них Писарев отзывается пренебрежительно; не менее пренебрежительно и Ап. Григорьев отозвался о «губернских сплетнях», делая исключение только для народных и раскольничьих типов.

К этому надо прибавить, что в беспринципно-приспособленческой прессе этого времени довольно ходячей темой была ревизия «обличительного направления». Уже после 1861 г. репутация «обличителя» стала опасной в свете подлинных обличений подпольной революционно-демократической печати. Мелкая пресса спешила отмежеваться от обличительства. «Сын Отечества» в редакционной статье 14 августа 1864 г. (№ 194) прямо заявлял, что обличительная литература «сделала свое дело, и довольно»; за «Сыном Отечества» эту же тему подхватывал «Голос»: «Теперь от всего обвинительного свиста осталось одно только едва слышное шипение». Вспомним что и «Эпоха» писала слово «обличитель» не иначе, как с буквы а; Достоевский подсмеивался над обличителями в «Скверном анекдоте», В. Клюшников издевался над ними в «Мареве» (ч. II, главы 3 и 7). Имена при этом не назывались, но кому же не было известно, что Щедрин — глава обличительной школы?

После слов «человекообразные соединились со стрижами» Салтыков, резюмируя летнюю полемику 1864 г., продолжал: «эти последние, в свою очередь, подали лапку амфибиям», а несколько ниже: «наконец, амфибии и те пискнули в своем мрачном, покрытом плесенью болоте». Амфибии — это конечно те умеренно-либеральные журналы, которые, выражая идеологию буржуазных групп, пытались занять в разгоравшейся классовой борьбе независимую позицию: объективно они неизбежно отбрасывались в лагерь реакции. Сюда относятся «Отечественные Записки» Краевского и «Библиотека для чтения» Боборыкина (где сотрудничали Ткачев, Лавров, ряд беллетристов-народников и рядом с ними Эдельсон и Лесков). Можно не останавливаться долго на откликах полемики среди «амфибий», но упомянуть о некоторых фактах необходимо. И прежде всего — о большой статье Incognito, т. е. Е. Ф. Зарина, помещенной в июньской книжке «Отечественных Записок» (ценз. разр. 18 июля 1864 г.) под заглавием «Начало конца» и с подзаголовком: «Очерк с претензией, вызванный расколом в нигилизме». Зарин злорадствовал: «раскол в нигилизме» был для него скандалом без достаточных оснований. «Русское Слово» в его представлении — подголосок «Современника», у обоих журналов — одни и те же авторитеты, только «Русское Слово» знакомится с ними «частью по «Современнику», частью по наслышке». Как и группой «Эпохи» (недаром и подхвачено пущенное Достоевским словечко), те и другие воспринимались

критиком враждебно: разница в том, что «Современник» казался более умеренным и потому был несколько более приемлем. Зарин с прозрачной иронией защищает Салтыкова в первой половине статьи, чтобы тем беспощаднее обрушиться на «Русское Слово» и, расправляясь с «Русским Словом», попутно, исподтишка, задеть и Щедрина. Особой осведомленности в ходе полемики Зарин не проявил: выпад Зайцева против Салтыкова в 1863 г., салтыковское изображение ужина у мецената, фельетон о Яше Злючкине — все это он оставил без внимания. Но статью «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника» он привлекает к делу, давая и важное указание для определения ее авторства:

«Он (т. е. Салтыков.— *В. Г.)* явно добивается не того, чтобы проучить, а того, чтобы его жертва, ошалевшая и выбившаяся из сил, заговорила: «вы еще не насладились?». И действительно, он этого добился, потому что в своей апрельской книжке «Русское Слово» сказало ему в ответ только это; и у ж е н е у с т а м и г. З а й ц е в а, а с о б и р а т е л ь н ы м м ы б е з п о д п и с и...» (слово «мы» выделено курсивом).

Переход Зарина к нападению на «Современник» начинается с того места, где он рекомендует «Русскому Слову» ответить «Современнику» на упреки в «чуши»: «наша чушь — ваша чушь». «Современник», по Зарину, повинен в тех же самых проступках, что и «Русское Слово». Если «Русское Слово» демонстративно приняло всерьез слово «нигилисты», то ведь и «Современник» демонстративно принял кличку «свистуны» (пущенную в ход Погодиным). Если «Русское Слово» «восхищается произвольной регламентацией подробностей» в романе Чернышевского, то Салтыков, упрекая их в этом, сам заслужил упреки «в склонности к юродству и ко всему прочему». Зарин раскрывает, что роман основан на идеях Фурье, и тут же издевается и над Фурье (и его же опровергает «ученой сноской» из Бруно Гильдебранда), и над Салтыковым, который видит в фурьеризме «плодотворную концепцию» [18]. В третьем пункте — вопрос об эмансипации женщины — «Современник», по мнению Зарина, также нападал на союзника.

Статья Зарина сама по себе не представляет большого интереса. Она показательна только для позиции «амфибий» и для выяснения той общей обстановки, в какой протека полемика [19]. С этой точки зрения подлежат учету и немногие упоминания в «Библиотеке для чтения»; так например, защищая клюшниковское «Марево», Эдельсон упрекает Салтыкова в желании «выгородить себя от нападок таких людей», которых сам же он называет вислоухими («Библ. для чтен.» 1864, № 4—5): в одной редакционной статье (№ 7) «Стрижи» определялись как пасквиль, в котором «рассказаны разные гадости», и т. п. И вообще журнал Боборыкина не упускал случая попрекнуть «Современник» и «Русское Слово» взаимной «сектантской борьбой». Но особенно ухватился за «раскол в нигилистах» как за благодарную тему для очередного скандала юмористический листок Розенгейма «Заноза». История «раскола» излагалась здесь и в прозе, и в стихах, и в графической карикатуре (см. статью «Салтыков в карикатуре» в этом же томе и воспроизведение карикатуры в № 1 «Литературного Наследства»). В прозе «раскол» изображался то как грызня Полкана с Барбосом, то, в соответствии с карикатурой, как сечение Зайцева Щедриным. В стихах писалась «исповедь нигилиста», герой которой сначала «чтил прогресс»

И смело шел в огонь и в воду
На свист призывный Щедрина.

Но затем «Глуповицы волны» пресекали нигилистам дальнейший путь.

И полный старческой тревоги
Щедрин прохода не нашел
И вспять по глуповской дороге
Войска усталые повел... [20]

Доставалось конечно и Зайцеву. В № 21 появилась например такая эпиграмма под заглавием «Варфоломею»:

Среди полемики журнальной
За вислоухих ты горой;
Твой слог, отменно-либеральный,
Онагра мне напомнил вой.
На Щедрина ты вышел смело
И с милой наглостью амей
Ты отстоял гнилое дело,
Ты победил, Варфоломей.

И эти малоостроумные нападки на двух противников одновременно с правых позиций сами по себе были бы неинтересны, если бы не иллюстрировали салтыковской фразы о том, что стрижи «протянули лапку амфибиям» и те «зашевелились в своем болоте». Можно думать, что в общем псевдониме амфибий Салтыков пренебрежительно объединял всю беспринципно-оппортунистическую прессу, готовую либеральничать в годы политической «весны» и быть подголоском реакционеров в годы политической реакции. На примере петербургских газет мы уже видели, как после разгрома революционного движения — внутреннего и польского — «амфибии» спешили заявить о своей благонадежности: соскочить с сухого берега обратно в болото.

* * *

Представление о том, что во вторую половину 1864 г. Салтыков «почти совершенно отошел от журнала» и что он «ничем печатно не отзывался на ту бурную полемику между «Современником» и «Эпохой» (а также и «Русским Словом»), невольным виновником которой был он сам»[21], нуждается в поправках и оговорках. Прежде всего это молчание не было ни безусловным, ни вполне добровольным: известно, что Салтыков о т в е ч а л на «Щедродарова» целой статьей, которая была в целом отвергнута редакцией «Современника» (с поручением полемики Антоновичу); известно, что первая страница в июньской статье Антоновича взята была «из статьи, присланной Салтыковым»; известно также, что в портфеле редакции осталась позднейшая статья Салтыкова «Гг. семейству М. М. Достоевского». Эти факты учтены и Ивановым-Разумником; известен был ему и отрывок «Но если уж пошла речь об стихах». Если даже ограничиться этими данными, из них нельзя сделать вывод о сознательном уклонении Салтыкова от полемики. Затем вновь найденный «Журнальный ад», ненапечатанный очевидно также помимо желания Салтыкова, заключает в себе наряду с другим полемическим материалом нападения на «стрижей» вообще и на Достоевского лично. Намерения уклониться от полемики у Салтыкова не видно; скажу наоборот: несмотря на то, что редакция «Современника» по разным причинам ограничивает его участие в полемике, он не отступает и делает одну за другой попытки продолжать полемику. Таких попыток мы знаем четыре; возможно, что их было и больше, что часть материала утрачена или еще не найдена.

После недошедших «Литературных мелочей» хронологически наиболее ранним эпизодом дальнейшей полемики Салтыкова с «Эпохой» является публикуемый здесь «Журнальный ад». Принадлежность этой статьи Салтыкову доказывается всей совокупностью «щедринизмов» — выражений, оборотов, характерных для Салтыкова вообще и для Салтыкова 1863—1864 гг. в частности (важнейшие из них использованы в комментарии); здесь достаточно привести одну только параллель, особенно важную потому, что это параллель с ненапечатанной в свое время салтыковской статьей. В «Журнальном аде» читаем: «о чем ты стужаешься, бедный пичуга? к чему прудишь целые пруды своими помоями? не в свое ли собственное ложе прудишь ты?» А в статье «Гг. семейству М. М. Достоевского»: «ежели писатель и действительно одержим страстью «прудить» (выражение это принадлежит не мне, а «Эпохе»), то этот недостаток ему легко прощается, лишь бы он «прудил» не в собственное свое ложе».

Замысел «Журнального ада» не сводится к одной полемике с «Эпохой». Здесь затронуты и «московские публицисты» (Аксаков и Катков), и «петербургские газеты»

(«Сын Отечества» и «Голос»), мимоходом задето и «Русское Слово» («человекообразные»),— но все же значительная доля внимания уделена именно «Эпохе».

Сатирой на Достоевского статья открывается; «стрижам» посвящена и дальше одна из наиболее острых страниц статьи. Карикатурным портретом Девушкина-Достоевского Салтыков несомненно косвенно отвечал на «Щедродарова» после того, как прямой ответ его в очередном номере «Современника» не осуществился. «Попрошайство и лизоблюдничество» — вовсе не характеризуют героя «Бедных людей», Макара Девушкина; Девушкин — конечно псевдоним самого Ф. М. Достоевского, и в фигуре «Девушкина, сидящего в сатанах» соединяется личная пародия на Достоевского с суммарной пародией на его литературных героев: здесь использован не только Девушкин, но и герой «Записок из подполья» (параллели см. в комментарии). Впоследствии — через 15 лет после этого эпизода, после периода затишья и относительно выровненных отношений между двумя писателями — Салтыков, вновь задетый Достоевским в «Братьях Карамазовых», ответил ему подобным же образом: отождествил личность своего литературного противника с фигурой его же литературного героя — на этот раз с Федором Павловичем Карамазовым [22].

Карикатурный портрет «Девушкина, сидящего в сатанах» — бесспорно блестящий художественный образ, один из замечательных примеров салтыковского образно-словесного мастерства. Вся глубина классово-психологического противоречия между двумя враждебными станами литературы была запечатлена в этих предельных гротесках; интересно, что, озаглавив всю статью «Журнальный ад», объединяя в этом образе всю современную ему журнальную литературу, Салтыков только с фигурой Достоевского-Девушкина соединяет собственно «адскую» символику. По сравнению с этой символикой, с образом «пыжащегося сатаненка», уста которого «вместо яда источают помои», откровенно-грубая ругань Антоновича кажется бледной и наивной; бледны после них и собственные страницы Салтыкова (в дальнейшем тексте «Журнального ада») о «стрижах» — слабая копия собственного сильного образца.

Судя по ссылкам на августовские газеты (см. прямую ссылку на статью «Дня» от 1/VIII и вероятные ссылки на статью «Сына Отечества» от 14/VIII; подробности в комментарии), статья написана в августе и предназначалась для сентябрьской книжки «Современника». Но для сентябрьской книжки была написана огромная — в три печатных листа — статья Антоновича: очередные «Литературные мелочи» («Стрижи в западне»). Статья эта, хотя и в тоне полемического задора, все же отвечала на упреки и имела характер реабилитации себя, а стало быть и журнала (многие грубости Антоновича оказались заимствованными из журналов Достоевского, и это подтверждалось ссылками), поэтому, если возникал вопрос о выборе, статья Антоновича могла оказаться более нужной редакции; перегружать же номер полемическим материалом, отчасти параллельным, могло не входить в редакционные расчеты. Вряд ли входили в планы редакции и те исключительные по резкости и почти незамаскированные личные выпады против Достоевского, которыми открывался «Журнальный ад» (лизоблюд, попрошайка, пыжащийся сатаненок и т. п.). Правда, и Антонович допускал самую грубую брань (шваль, ракалия, изыхающая тварь), но все эти выражения были адресованы сотрудникам «Эпохи» вообще, а не лично Достоевскому, писателю широко популярному, на которого в кругах радикальной демократии еще не отвыкли смотреть как на недавнего политического каторжанина (вспомним хотя бы, как защищал его Зайцев от нападок того же Салтыкова). Прозвище «обер-стриж» и намеки на падучую болезнь Достоевского, которые допускал Антонович, были, правда, тоже достаточно вызывающими, но они кажутся невинной шуткой по сравнению с той ненавистью, которой пропитана первая же страница «Журнального ада».

Так или иначе — «Журнальный ад» не появился в печати, и, лишившись возможности вступить в полемику с реакционной и либеральной прессой — московской и петербургской, Салтыков вместе с тем лишился возможности отозваться (хотя бы с запозданием) на памфлет Достоевского. Полемику с «Эпохой» продолжал Антонович, и с ним же имел дело и Достоевский в своих кратких репликах.

Таких реплик было две. Первая — «Необходимое заявление» («Эпоха», июль, ценз. разр. 19 сентября; объявление — 29 сентября) — за полной подписью Федора Достоевского отвечала на июльские «Литературные мелочи», где Антонович высмеивал болезнь Достоевского; в данной связи «Необходимое заявление» важно только тем, что здесь Достоевский прямо называет статью «Господин Щедрин или раскол в нигилистах» своей статьей.

Вторая статья «Чтобы кончить» («Эпоха», сентябрь, ценз. разр. 22 ноября, вышел 29 ноября) отвечала на статью «Стрижи в западне», т. е. на сентябрьскую книжку «Современника». Здесь Достоевский обращается к «господам Современникам» вообще, т. е. к редакции «Современника», но имеет в виду прежде всего Антоновича, совершенно четко отделяя его от своего «прошлогоднего оппонента» — Щедрина (вопрос об авторе «Стрижей» не затрагивается — потому ли, что Достоевский поверил Антоновичу, выдавшему себя за автора «Стрижей», потому ли, что это не входило в его расчеты — неизвестно). Но отношение к Щедрину в этой статье вполне корректное — больше того: почти сочувственное (не без доли иронии вероятно). По поводу слухов (из статьи «Господин Щедрин или раскол в нигилистах»), что Щедрин собирается издавать с посторонним сатириком свой журнал, Достоевский поясняет, что слухи, которые Антонович определял как сплетни, «оправдывались противоречиями в направлении г. Щедрина и «Современника» и «не приносят ни малейшего бесчестья г. Щедрину», так как «убежать в Москву от «Современника» не только не бесчестно, но даже и разумно».

Этой статьей Достоевский заканчивал полемику — ближайшим образом с Антоновичем, но тем самым и с «Современником» в целом. Это нисколько не помешало Салтыкову возобновить свои обращения к «стрижам»; напротив, этот момент он счел наиболее удобным для того, чтобы ответить как следует на «Щедродарова». Сочувствие Достоевского, отбрасывавшее его в правый лагерь, могло скорее усилить, чем ослабить потребность в ответе. Он и ответил публикуемой ниже статьей, сохранившейся в рукописи, правда, не полностью, а в отрывке, начиная со слов: «Но если уж пошла речь об стихах». Обширное начало статьи не сохранилось: нумерация сохранившегося листа показывает, что ему предшествовало целых четыре; видимо, статья не была и окончена.



«МЕЛКОПЛАВАЮЩИЕ И БЛИЗОРУКИЕ»

«ВРЕМЯ» — Косица! Объяви мелкоплавающим свистунам, что они надоели публике, потом в виде назидания напиши что-нибудь такое: «Эх, вы!.. Уж куда вам...!» Серьезно говорить с ними не стоит, они портят только дело.

КОСИЦА — Да у нас никаких дел нет.

«ВРЕМЯ» — Как! — А в шкафах что?

КОСИЦА — Сами изволите знать: чужие мнения; ну а заголовки точно наши.

Карикатура Н. Степанова из «Искры» 1863 г., № 7 на М. М. Достоевского и Н. Н. Страхова

Значение сохранившегося отрывка не в дальнейших вариациях мотива «стрижей»: вариации эти вносят мало нового. Отрывок важен теми литературно-биографическими признаниями, которые по нему рассыпаны: они существенно уясняют всю историю полемики. Замечательны прежде всего вкрапленные в текст и уже приведенные здесь «итоги» полемики с образами «человекообразных», «стрижей» и «амфибий»: мы уже видели, как это место помогает раскрытию анонимов в «Русском Слове». Важно и показание Салтыкова об авторах полемических статей против «Эпохи». Важно замечание Салтыкова: «Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня «Русским Словом» (имеется в виду скорее всего все та же биография Яши Злючкина); наконец важно самое намерение Салтыкова вплотную подойти к анализу «Щедродарова». Нельзя конечно понимать буквально салтыковских слов: «я до сих пор не заклеймил это произведение орнитологического искусства потому, что мне было не до того». Уже было сказано, что Салтыков пытался ответить Достоевскому: трудно допустить, чтобы в недошедшей летней статье он «не заклеймил» роман о Щедродарове. Молчание в ответ на пасквиль произошло не по его воле, но раз это случилось, его в полемических целях выгодно было объяснить как жест сознательного пренебрежения. Теперь он решает наконец нарушить это молчание и приступает к обстоятельному ответу; но и этого намерения ему не пришлось осуществить. Рукопись обрывается на том самом месте, где Салтыков собирается перейти к «наставлению» по поводу «Щедродарова».

Внешний вид рукописи показывает, что она именно «обрывается», т. е. что статья была на этом месте прервана (страница не дописана до конца). Чтобы объяснить это, нужно точнее датировать сохранившийся отрывок.

Содержание отрывка дает довольно точное указание на дату, после которой только и могла быть написана статья. Статья содержит ссылки на обе последние статьи Достоевского: «Необходимое заявление» и «Чтобы кончить». На «Необходимое заявление» указывают слова — «впоследствии он (т. е. Достоевский) назвал себя». На «Чтобы кончить» — слова: «Я хвалю вашу скромность: вы никогда не претендовали на то, что не принадлежите к царству пернатых, вы еще в прошлом году согласились с этим: ну да чтож делать? птицы так птицы» и т. д. Это прямая ссылка на «Чтобы кончить» («Итак, пусть мы будем стрижи» и т. п.). Таким образом статья не могла быть написана раньше выхода сентябрьской книжки «Эпохи», т. е. раньше 28 ноября 1864 г. Слова Салтыкова: «Вы еще в прошлом году согласились с этим» указывают на то, что статья писалась в декабре для январской книжки 1865 г. Но вскоре (12 декабря) в следующей октябрьской книжке «Эпохи» появилась статья Страхова, которая вновь осложнила полемику.

Если Достоевский обращался к Антоновичу, отделяя его от Щедрина, Страхов занялся именно Щедриным. Статья его (очередная из серии «Заметки летописца») называлась «Последние два года петербургской журналистики». Страхов напоминает, что автор «Нашей общественной жизни» — он же Щедрин (тождество это Страхов устанавливает по признакам писательской «манеры») — поставил однажды вопрос об «эквилибристике и балансировании» и обещал «побеседовать в следующий раз» о причинах нравственного распадения [23]. Страхов констатирует, что обещания этого Щедрин не сдержал, а вместо этого «у самого Щедрина началась такая эквилибристика мыслей, такие балансирования суждений, какого не было еще и примеров». Вдруг... у Щедрина «промелькнула идея»: это было в августовской книжке «Современника» 1863 г. в очерке «Как кому угодно» [24]. Идея эта мелькнула, но так и исчезла. Затем Щедрин «царапнул» «Что делать?» — «в полном разгаре легкости в мыслях». Отсюда начинается новый период — период «междоусобной брани».

По существу Страхов варьировал все ту же тему, которая уже была затаскана в полемике с Салтыковым представителями разных направлений: Салтыков — беспринципен. Страхов только заострял ее, сравнивая Салтыкова с Хлестаковым («легкость в мыслях»). Страхов вновь перетряхнул старый вопрос об идейной позиции Салтыкова, об отношении его к роману Чернышевского, о степени серьезности его сатиры. Так как с разных сторон Салтыкова обвиняли в одном и том же — он опять решил выступить на самозащиту. Но, отвечая Страхову, нужно было вместе с тем завершить полемику

с «Эпохой» вообще, т. е. со своей стороны написать статью, «чтобы кончить». Предыдущая статья, имевшая ту же цель, тем самым отменялась; вместе с тем после оскорбительной параллели с Хлестаковым отвечать нужно было как можно более достойно и, стало быть, как можно менее многословно. Это и было сделано в статье, озаглавленной «Гг. семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха»[25].

Салтыков начинал с прямого указания на статью Страхова: «Вы продолжаете заниматься мною (зри «Заметки летописца», октябрь), несмотря на все «последние сказания», несмотря даже на то, что я до сих не отвечал ни одним словом на ваши детские упражнения, направленные против моей личности. Такая настойчивость вынуждает меня на ответ».

Мы знаем уже, что слова о «молчании» нуждаются в оговорках. Но действительно в фактическом ходе журнальной полемики его участие ни в чем не сказалось кроме одной — кстати, мало выразительной — страницы в «Литературных мелочах». От прежних же своих выступлений — фельетона «Тревоги времени» и сатиры «Стрижи» — Салтыков не отказывается и делает только две поправки к ним.

Первая поправка касается личного отношения к Достоевскому. К достаточно резкому отзыву о памфлете Достоевского «Отрывок из романа «Щедродаров» («чувство глубочайшего омерзения»... «показалось, будто наступил на что-то очень ехидное и гадкое») сделана сноска: «Прошу многоуважаемого Ф. М. Достоевского (так как он впоследствии сознался, что статья эта написана им) извинить резкость моих выражений; я полагаю, он сам поймет, что статья его не заслуживает и не может заслуживать иного отзыва». Другими словами Салтыков пытается отделить личность Достоевского — личность вероятно не только человеческую, но и писательскую — от полемической выходки, на которую он склонен смотреть как на случайность. Надо думать, что это соответствовало и подлинному отношению Салтыкова к Достоевскому, которое не было и не могло быть прямолинейно-отрицательным: в 40-х и 50-х годах они были во многом союзники, а отойдя в противоположный Достоевскому социально-политический лагерь, Салтыков сохранил способность спокойно оценивать объективную историческую роль Достоевского как писателя[26].

Вторая поправка к прежним статьям касается истории сотрудничества Салтыкова во «Времени»: Салтыков сознается в своей ошибке и подтверждает, что сотрудничал во «Времени» еще до закрытия «Современника». Вообще же Достоевскому посвящена едва одна страница статьи — около шестой ее части[27], основная же тема — ответ Страхову. После объяснения относительно «легкости в мыслях» (здесь противника удалось изобличить в непоследовательности) шло важнейшее место статьи — объяснение своих отношений к роману «Что делать?» По существу это был одновременно ответ и Страхову, и Зайцеву, и Зарину, и всем вообще, кто этой темы касался.

Объяснение это нельзя признать удачным. Ссылкой на собственный очерк «Как кому угодно» и глухими намеками на теорию Фурье, имеющую с этим замыслом «ближайшее родство», Салтыков хотел сказать, что социальные проблемы, в частности проблема семейная, занимают и его, но что он расходится с Чернышевским в вопросе о практических путях. Все это место, написанное нарочито туманным эзоповским языком, вообще может быть расшифровано лишь приблизительно: так например, свое расхождение с Чернышевским Салтыков формулирует так: «действуя в известном смысле, следует начинать не с намерений, а с разбора самых простых и ходячих общественных истин» (разрядка моя.— *В. Г.*). Под «известным смыслом» разумеются повидимому идеи радикального демократизма; под «намерениями» — социальные утопии; противополагаются им очевидно те идеи социально-политического практицизма, на основе которого созданы и «Каплуны», и вновь публикуемые хроники «Нашей общественной жизни», и начало цикла «Современные призраки».

Всем этим Салтыков хочет показать, что, расходясь с Чернышевским в «практических путях», он является по существу союзником Чернышевского и потому не может быть враждебен его роману. Субъективно это повидимому так и было. Но этим нисколько не смягчался тот факт, что в январской «Нашей общественной жизни» Салтыков высмеял один из центральных эпизодов романа и этим высмеиваньем объ-

ективно смыкался с реакционерами, которые как-раз в это время открывали «антинигилистическую» кампанию. Отвечая Страхову, Салтыков ставит дело так, как будто о враждебном отношении к роману можно было заключить только из мартовской хроники, из отзыва о «вислоухих и юродствующих»; о январской хронике он не упоминает ничего, а значит ни одного из брошенных ему упреков не опровергает.

Почему же этот последний ответ Салтыкова «Эпохе» не появился в печати? В салтыковской литературе были предложены две версии ответа на этот вопрос. Первая исходит от М. А. Антоновича и отражена в редакционной сноске при публикации статьи в «Минувших годах»: статья была забракована Некрасовым из-за резкого по отношению к Достоевскому тона. Вторая версия была высказана Ивановым-Разумником в гл. 11-й его монографии: статья была забракована самим Антоновичем, в расчеты которого не входило открывать непричастность Салтыкова к июльским и сентябрьским «Литературным мелочам». Но ни одна из этих версий не может быть признана убедительной.

О версии Антоновича не стоит и говорить: она достаточно опровергнута в книге Иванова-Разумника; скорее всего Антонович за давностью времени запамятовал и отнес к этой статье то, что имело место по отношению к «Журнальному аду». Но вряд ли могли быть у Антоновича особые основания выдавать свои статьи за щедринские или полу-щедринские: для чего бы тогда он стал, мистифицируя «Эпоху», приписывать себе «Стрижей»? Мало вероятно также, чтобы «Эпоха», всегда хорошо осведомленная о редакционных делах «Современника», могла всерьез принимать Антоновича за Салтыкова: из страховской статьи такого смысла тоже извлечь нельзя; если Страхов пишет: «он написал еще пять статей против «Эпохи», то «он» по смыслу контекста означает «Современник», а не «Щедрин». Как ни старался Антонович запутывать вопрос своей подписью «Посторонний сатирик, автор «Стрижей», сотрудники «Эпохи» знали конечно, что «Посторонний сатирик» — псевдоним Антоновича и что «автор Стрижей» — Салтыков-Щедрин. Вспомним переданный Достоевским слух, что Щедрин «соединяется с каким-то посторонним сатириком» (разрядка моя.— *В. Г.*) и едет в Москву издавать там свой собственный сатирический орган»; вспомним и более позднюю и уже отвечающую Антоновичу статью «Чтобы кончить», где Щедрин назван «нашим прошлогодним оппонентом» и как в этой фразе, так и в следующем изложении слухов не смешивается с Антоновичем.

В статье Салтыкова были более рискованные с редакционной точки зрения места. Защита «Что делать?» с намеками на сочувствие теории Фурье, хотя бы и эзоповским языком, была не безопасной в цензурном отношении; вместе с тем редакция (Некрасов, Антонович или кто иной) не могла не сознавать, что самозашита Салтыкова в этом пункте все равно недостаточна: рисковать судьбой журнала — ценою все равно не полной реабилитации — могло показаться нецелесообразным. Вряд ли также входило в редакционные расчеты напоминать о том, что виднейшие сотрудники «Современника» участвовали в журнале Достоевского по доброй воле, без всяких внешних побуждений. Вообще статья Салтыкова рисковала вызвать новые нападки на него с разных сторон и осложнить и без того затянувшуюся полемику. Есть все основания думать, что статья была отвергнута по общередакционным соображениям, а не по личному произволу Антоновича.

Отдельными местами не попавших в печать статей о стрижах Салтыков воспользовался впоследствии, уже в 1870 г., в рецензии на брошюру одного из сотрудников «Времени» и «Эпохи» — Николая Соловьева — «Суета сует»[28]. Но это был запоздалый отклик: в полемике 1864 г. Салтыков не получил возможности сказать последнее слово.

Весь приведенный материал создает впечатление почти полной изолированности Салтыкова в 1864 г. Правда, на страницах «Современника» в защиту его горячо выступал Антонович. Но, во-первых, взяв на себя продолжение полемики, Антонович своими топорными приемами, безудержным многословием и обилием грубых выпадов значительно снижал качество самой полемики, начатой Салтыковым; во-вторых, эта защита приобреталась ценой отстранения самого инициатора полемики от дельнейшего в ней

участия. Робкие попытки защитить Салтыкова делал Буренин в «Искре». Так к отрывку из поэмы «Ерундиада или начало конца» («Видения редакторов»; подпись Х. Цередринов) сделана подстрочная сноска с насмешкой над врагами Щедрина («Искра», № 32 от 15 августа 1864 г.). Но собственно в защиту Салтыкова в самой поэме ничего не сказано, и упоминается он только в одной строке (из третьей части — о сотрудниках «Эпохи»); «Или на Щедрина сатиры пишут разны». Полемики с «Русским Словом» «Искра» вовсе не касалась конечно потому, что основной круг «Искры» в этой полемике не разделял позиции Салтыкова[29]. С другой стороны, несколько странное впечатление производит карикатура Степанова в № 36 «Искры» от 22 сентября 1864 г. Изображена беседа двух лиц: у одного в руках трубка, у другого — карандаш. В подписи такой диалог:

«— Мне там обещали место.
— Как! Значит, литературу по боку?
— Говорят, мои обличения не совсем литературны.
— Верно. Возьмите лучше обещанное место.
— Требуют рекомендации.
— Укажите на свои уши».

В свете фразы зайцевского фельетона: «Они так же долго держатся в литературе, как кухарка, потерявшая место, проживает на квартире, т. е. до новой открывшейся вакансии» эта подпись приобретает характер выпада против Салтыкова. Правда, Салтыков получил назначение в Пензу только в ноябре. Но слухи о его планах могли ходить и раньше; злорадные советы вернуться к бюрократической службе могли предвосхищать и самые замыслы: намек на это есть и в зайцевском фельетоне, который появился за четыре месяца до карикатуры Степанова.

Итак, с одной стороны — оскорбительная репутация ретрограда, врага молодежи и вместе с тем невинного юмориста, литературного Хлестакова, готового в интересах «чистого искусства», юмористики высмеять своих недавних единомышленников. С другой стороны — невозможность высказаться даже в том органе, в редакции которого сам он участвовал. Все это делало дальнейшую журнальную деятельность Салтыкова психологически-тяжелой и подсказывало ему решительный выход: отойти от литературы. Этот отход не был разрывом: Салтыков продолжал сохранять связь с «Современником», работал над повестью (вероятно над «Тихим пристанищем»), собирался писать статью о романах Лескова, Клюшникова и Боборыкина; 8 апреля посылал Некрасову «нечто для помещения в «Современнике» и замышлял новые «фельетоны»[30]; возможно, что к этому же времени относится работа над пьесой «Тени». Но одновременное ироническое упоминание о цензуре «духовной консистории» (т. е. Антоновича) указывает на холодок в отношении Салтыкова к «Современнику». Впечатление изоляции, о котором было сказано, не устраняется.

Причины этой изоляции сложны, и частично повинно в ней поведение самого Салтыкова. Дело конечно не в лично-психологических его качествах; заключения о них врагов Салтыкова были поверхностны и неверны. Не стоит защищать Салтыкова от нелепых обвинений в безыдейности, хлестаковщине, литературном карьеризме или в каких-то неискоренимых «вице-губернаторских» замашках. Но неудивительно и возникновение таких обвинений в обстановке напряженнейшей классово-идеологической борьбы 60-х годов. В этой обстановке нетерпимы были позиции неустановившиеся, а позиция Салтыкова внутри радикально-демократической литературы еще не успела вполне установиться. Разорвав с либеральным дворянством, вырабатывая новую идеологию, и именно вырабатывая ее, а не получая в готовом виде из чьих-то рук, Салтыков должен был делать ошибки и делал их. Но это были ошибки исканий, а не «цветы невинного юмора», как думали его враги.

Думаю, что совокупность собранных в этой работе фактов должна приблизить нас и к объяснению идейной эволюции Салтыкова и к уточнению общей картины литературной жизни 60-х годов.

Вас. Гиппиус

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Козьмин, Б. П., Раскол в нигилистах. Эпизод из русской общественной мысли 60-х годов — в сборнике его статей «От девятнадцатого февраля к первому марта». М., 1933, стр. 39—81.

[2] Иванов-Разумник, М. Е. Салтыков-Щедрин. М., 1930 (см. гл. XI).

[3] Письмо «Неизвестному корреспонденту» было использовано Салтыковым в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г.

[4] Впервые это сопоставление сделано в «Нашей общественной жизни» 1863 г., № 12.—«Я доказал, что так называемые нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в первоначальном диком и нераскаянном состоянии, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты».

[5] Речь идет об «опытных литераторах, которые покровительствуют скромным талантам»; из них поименно названы Д. В. Григорович, В. П. Боткин и А. Д. Галахов. Один из таких меценатов знакомит ниже рассказчика с фигурой «понижения тона». Кстати, сомнения Б. П. Козьмина о том, серьезно или иронически рекомендует Салтыков «понижение тона»,— несколько странны. Это обычный и у более зрелого Салтыкова прием мнимого сочувствия враждебным теориям.

[6] Попал в грязную историю.

[7] Между прочим содержание современной культуры Писарев в одном месте статьи формулирует так: «это содержание заключается в изучении природы и в изучении человека как последнего звена длинной цепи органических существ»; это и было вероятно ближайшим поводом для салтыковского прозвища «человекообразные».

[8] Ниже будут указаны еще некоторые доводы в пользу авторства Благосветлова.

[9] Вместо «глуповцев» в корректуре — «для глупцов». Считаю это опечаткой: по смыслу несомненно — «для глуповцев». Ср. там же выше упоминание о «Кроличкове философе и новаторе», оцененном в 15 коп. серебром.

[10] Из «Марева» В. Клюшникова.

[11] То-есть Н. Д. Хвощинская.

[12] В «Современнике» очевидная опечатка: «амуры».

[13] «Современник» 1864 г., № 3, статья «Наша общественная жизнь».

[14] История этой полемики излагалась несколько раз: наиболее подробное изложение, с указанием предшествующей литературы — в цит. книге Иванова-Разумника.

[15] См. Соч. Достоевского. ГИЗ, т. IV, стр. 120 и в книге Иванова-Разумника, стр. 347 и сл. Двойной первый номер «Эпохи» с началом «Записок из подполья» вышел после 20 марта.

[16] Под «ерыжным» изобразителем раскольников Ап. Григорьев имеет в виду Мельникова-Печерского (рассказ «Поярков» 1857 г., «Заузольцы» (первый очерк романа «В лесах») 1859 г., «Гриша» 1861 г. и ряд статей в «Русск. Вестнике» 1863—1864 гг.).

[17] Интересно, что попутно Григорьев называет Салтыкова «умным человеком».

[18] На непоследовательность отношения Салтыкова к идеологии романа «Что делать?» я имел случай указывать в печати («Каторга и ссылка» 1930, № 7). Эта непоследовательность имела свои основания в эволюции Салтыкова, Зарина конечно не интересовавшей.

[19] Зарину отвечал Антонович в «Литературных мелочах» июньского «Современника».

[20] «Заноза», № 14 от 5 апреля 1864 г.

[21] Иванов-Разумник. Цит. соч., стр. 356.

[22] В первоначальном тексте «Круглого года». — «От. Зап.» 1879, № 11—12.

[23] Имеется в виду «Наша общественная жизнь», 1863 г., № 3.

[24] Очерк «Как кому угодно», над которым подтрунивал и Достоевский в «Заметках из подполья», полностью не перепечатывался, но центральный очерк этого триптиха — «Сенечкин яд» вошел в «Благонамеренные речи».

[25] Напечатана впервые в журнале «Минувшие годы» 1908, № 1, куда была передана еще бывшим тогда в живых М. А. Антоновичем. Кроме редакционного примечания, излагавшего историю рукописи, никакого комментария в журнале не было. Текст был передан не всегда исправно: например слово «стриж» было несколько раз прочитано, как «страус». Рукопись в настоящее время находится в архиве ИРЛИ АН.

[26] См. отзыв Салтыкова о Достоевском в воспоминаниях Белоголового: «Как можно! У Достоевского был первостепенный талант, но только он уродовал его, отдал на служение и восхваление самых уродливых тенденций». См. также отзыв об «Идиоте» в рецензии = dubia на Омулевского («Неизвестные страницы» под редакцией С. Борщевского) и в воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева.

[27] Предыдущую полемику Салтыков излагает в виде трех последовательных моментов.

[28] См. «Неизвестные страницы Щедрина» под ред. С. Борщевского. стр. 419.

[29] В стихотворении того же Буренина «Погибший идеалист» упомянут ропот «вислоухих», но направленность этих иронических кавычек двусмысленна.

[30] «Письма», стр. 43.

1. НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ

Письмо ваше, которым вы приглашаете меня отказаться от немногих слов, сказанных в последней общественной хронике относительно «нигилистов», я получил. На сей раз не могу однакож исполнить ваше желание, и совсем не потому, чтоб это было больно для моего самолюбия, а просто потому, что вы сами, очевидно, не сознаете, чего именно желаете. Но объясниться я не прочь, тем более, что, кто знает, быть может, и помимо вас найдутся люди достаточно ограниченные, чтоб обвинить меня в намерении «выругать огулом молодежь», как вы выражаетесь. Такого намерения не было, и я надеюсь доказать это в очень немногих словах.

Как бы объяснить вам, к кому именно могло относиться заподозренное вами место моей хроники? Попытаюсь. Быть может, вам памятно то время, когда в русском обществе шли горячие толки о народности, и славянофилы были в большом ходу. Тогда, рядом с людьми, относившимися к этому делу совершенно серьезно и искренно (я говорю не об достоинстве самого дела, а об отношении к нему его сторонников), находились и такие, которые потому только мнили себя быть славянофилами, что понашили себе поддевок, мурмолок и рубах с подоплеками, но этих людей никто, однако, не называл «славянофилами», а называли гороховыми шутами. Другой пример: если я встречаю человека, который говорит, что он материалист, и доказывает это тем, что каждый день обжирается и напивается, а вечером ходит в танцкласс к Ефремову, то я говорю ему: нет, ты не материалист, а свинья. Третий пример: если я встречаю человека, который для того, чтоб доказать, что он не имеет предрассудков (это, кажется, единственный, сколько-нибудь разумный признак, к которому хотят приурочить себя так называемые нигилисты), выбежит голый на улицу, то говорю ему: нет, тут совсем не о предрассудках идет речь, а о том, что ты очень бойкий глупец. Всякое дело, всякая мысль, всякая партия имеют своих enfants terribles, своих юродствующих и вислоухих — вот этих-то «юродствующих» и «вислоухих» и имела в виду моя статья, и я не вижу в этом случае никакой ошибки, потому что по совести нахожу, что люди эти существуют единственно для того, чтоб портить дела самые лучшие: как мухи летом в одну минуту засиживают самые драгоценные произведения искусства, так и эти люди делают неузнаваемым всякое дело, до которого они прикасаются.

Но вы говорите, что я употребил слово «нигилисты» в смысле оскорбительном для целого молодого поколения,—нет, это положительная ложь. Признаюсь вам, я даже плохо понимаю это слово, и всегда думал, что оно заключает в себе совершеннейшую бессмыслицу и столь же мало может характеризовать какое бы то ни было поколение, как и блаженной памяти слово «фармазоны». По мнению моему, если оно и начинает приобретать в нашем обществе некоторое право гражданственности, то в этом виноваты именно те «вислоухие», которые, повидимому, очень жадно ухватились за него и сделали из него какое-то для себя знамя. Можете после этого представить себе, как должны быть противны для меня эти люди, которые добровольно откликаются на бессмыслицу. Но, может быть, вы возразите, что, в первоначальном своем употреблении, это слово имело смысл обширный и злостный, но разве это доказывает что-нибудь? Если бы, например, г. Тургенев или кто другой известную часть русского общества обозвал «дураками», неужели же нашлись бы люди, которые ухватились бы за это выражение и начали бы говорить: «вот мы, «дураки», «вот у нас, «дураков» и т. д.? Я думал и думаю, что слово «нигилисты» совершенно столько же бессмысленно в настящем случае, как и слово «дураки»; и те, которые с гордостью повествуют о себе: «мы ниги-

листы», или не понимают сами, что говорят, или сознательно говорят чепуху. И если вы дадите себе труд подумать об этом, то, конечно, согласитесь, что в моих настоящих словах нет ни малейшего намерения остроумничать или извернуться.

За тем, прощайте. Желаю вам больше способности понимать то, что вы читаете и больше думать о том, что вы болтаете. Поверьте, что пошлые ругательства, которыми вы наполнили ваше письмо, отнюдь его не украсили, и что я с своей стороны тоже знаю очень много ругательных слов, но никогда к ним не прибегаю, потому что не нахожу в них не только доказательной силы, но даже смысла.

Хроникер «Современника»

2. ЖУРНАЛЬНЫЙ АД

Журнальный ад — самый незлобивый и приятный. В нем горят неугасимые огни, которые никогда никого не опалили; в нем бегают из угла в угол комолые и бесхвостые черти, которые никогда никого не уязвили; в нем раздается родительская брань, которая не задевает ни родителей, ни потомков; в нем являются на сцену выпрашивающие милостыни и сожаления журнальные семейства — и никто не требует от них удостоверения в убожестве [1]; в нем дают представления целые стада «человекообразных», которые во что бы то ни стало хотят притвориться людьми, и которых никто не останавливает, никто не говорит: «погодите, ваша очередь еще не пришла» [2]. В довершение всего, роль сатаны неожиданно присвоил себе известный попрошайка, Макар Алексеич Девушкин, тот самый Девушкин, который из гоголевской «Шинели» сумел-таки выкроить себе по малой мере, сотню дырявых фуфаек» [3].

Представьте себе Девушкина, сидящего в сатанах! Вместо пламени, из глаз его лезет гной; вместо змеиной короны, на голове у него колтун; вместо яда, уста источают помои. «Матинька вы моя! Простите вы меня, что я так кровожаден. Матинька вы моя! Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей, матинька вы моя! Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя! не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя!» [4] Так непрерывно вопиет этот прокаженный вельзевул, и, не смотря на свои немощи, не смотря на то, что весь так и пропитан попрошайством и лизоблюдничеством, все-таки лезет в драку: я, дескать, исправляю должность сатаны!

Поистине, жалкий и смешной ад. Так и хочется сказать этому слепенькому, пыжащемуся сатаненку: «о чем ты стужаешься, бедный пичуга? к чему прудишь целые пруды своими помоями? не в свое ли собственное ложе прудишь ты? [5] Зачем тебе бездыханное тело твоего врага? и кто твой враг, кто этот праздный человек, которому до того нечего делать, что даже гной глаз твоих, даже твое умильное попрошайство — и те его смущают и представляются предметами достойными противодействия?»

Игрушечный мастер Ваканский должен непременно воспользоваться подобным положением и устроить на продажу картонный литературный ад; с своей стороны, благонамеренные родители обязываются нарасхват раскупить эти игрушки, дабы показать детям своим, что самый ад может быть дрянным, незлобивым и безобидным.

Отчего ж он жалок? отчего смешон? Ответ на этот вопрос совсем не так мудрен, как кажется с первого взгляда. От того, просто, что над русской журналистикой висит целая туча бездельничества.

НЕИЗВѢСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ.

Письмо ваше, которымъ вы приглашаете меня отказаться отъ нѣкоторыхъ словъ, сказанныхъ въ послѣдней общественной хроникѣ относительно «нигилистовъ», я получилъ. На сей разъ не могу однакожъ исполнить ваше желаніе, и совсѣмъ не потому, чтобъ это было больно для моего самолюбія, а просто потому, что вы сами, очевидно, не сознаете, чего именно желаете. Но объясниться я не прочь, тѣмъ болѣе, что, кто знаетъ, быть можетъ, и помимо васъ найдутся люди достаточно ограниченные, чтобъ обвинить меня въ намѣреніи «выругать огуломъ молодежь», какъ вы выражаетесь. Такого намѣренія не было, и я надѣюсь доказать это въ очень немногихъ словахъ.

Какъ бы объяснить вамъ, къ кому именно могло относиться заподозрѣнное вами мѣсто моей хроники? Попытаюсь. Быть можетъ, вамъ памятно то время, когда въ русскомъ обществѣ шли горячіе толки о народности, и славянофилы были въ большомъ ходу. Тогда, рядомъ съ людьми, относившимися къ этому дѣлу совершенно серьезно и искренно (я говорю не объ достоинствѣ самого дѣла, а объ отношеніи къ нему его сторонниковъ), находились и такіе, которые потому только мнили себя быть славянофилами, что понашили себѣ поддевокъ, мурмолокъ и рубахъ съ подоплеками; но этихъ людей никто, однако, не называлъ «славянофилами», а называли гороховыми шутами. Другой примѣръ: если я встрѣчаю человѣка, который говоритъ, что онъ матеріалистъ, и доказываетъ это тѣмъ, что каждый день обжирается и опивается, а вечеромъ ходитъ въ танцклассъ къ Керемову, то я говорю ему: нѣтъ, ты не матеріалистъ, а свинья! Третій примѣръ: если я встрѣчаю человѣка, который для того, чтобъ доказать, что онъ не имѣетъ предразсудковъ (это, кажется, единственный, сколько-нибудь разумный признакъ, къ которому хотятъ пріурочить себя такъ называемые нигилисты), выбѣжитъ голый на улицу, то говорю ему: нѣтъ, тутъ совсѣмъ не о предразсудкахъ идетъ рѣчь, а о томъ, что ты очень больной субъектъ. Всякое дѣло, всякая мысль, всякая партія имѣютъ своихъ enfants terribles, своихъ юродствующихъ и вислоухихъ — вотъ этихъ-то «юродствующихъ» и «вислоухихъ» и имѣла въ виду моя статья, и я не вижу въ этомъ случаѣ никакой ошибки, потому что по совѣсти нахожу, что люди эти существуютъ единственно для того, чтобъ портить дѣло самыя лучшія: какъ мухи лѣтомъ въ одну минуту засиживаютъ самыя драгоцѣнныя произведенія искусства, такъ и эти люди дѣлаютъ неузнаваемымъ всякое дѣло, до котораго они прикасаются.

Но вы говорите, что я употребилъ слово «нигилисты» въ смыслѣ оскорбительномъ для цѣлаго молодаго поколѣнія, — нѣтъ, это положительная ложь. Признаюсь вамъ, я даже плохо понимаю это слово, и всегда думалъ, что оно заключаетъ въ себѣ совершеннѣйшую безсмыслицу и столь же мало можетъ характеризовать какое бы то ни было поколѣніе, какъ и блаженной памяти слово «фармазоны». По мнѣнію моему, если оно и начинаетъ пріобрѣтать въ нашемъ обществѣ нѣкоторое право гражданственности, то въ этомъ виноваты именно тѣ «вислоухіе», которые, повидимому, очень жадно ухватились за него и сдѣлали изъ него какое-то для себя знамя. Можете послѣ этого представить себѣ, какъ должны быть противны для меня эти люди, которые добровольно откликаются на безсмыслицу. Но, можетъ быть, вы возразите, что, въ первоначальномъ своемъ употребленіи, это слово имѣло смыслъ обширный и злостный, но развѣ это доказываетъ что-нибудь? Если бы, напримѣръ, г. Тургеневъ или кто другой извѣстную часть русскаго общества обозвалъ «дураками», неужели же нашлись бы люди, которые ухватились бы за это выраженіе и начали бы говорить: «вотъ мы, «дураки», «вотъ у насъ, «дураковъ»? и т. д. Я думалъ и думаю, что слово «нигилисты» совершенно столько же безсмысленно въ настоящемъ случаѣ, какъ и слово «дураки»; и тѣ, которые съ гордостью повѣствуютъ о себѣ: «мы нигилисты», или не понимаютъ сами, что говорятъ, или сознательно говорятъ чепуху. И если вы дадите себѣ трудъ подумать объ этомъ, то, конечно, согласитесь, что въ моихъ настоящихъ словахъ нѣтъ ни малѣйшаго намѣренія остроумничать или извернуться.

За тѣмъ, прощайте. Желаю вамъ больше способности понимать то, что вы читаете, и больше думать о томъ, что вы болтаете. Повѣрьте, что пошлыя ругательства, которыми вы наполнили ваше письмо, отнюдь его не украсили, и что я съ своей стороны тоже знаю очень много ругательныхъ словъ, но никогда къ нимъ не прибѣгаю, потому что не нахожу въ нихъ не только доказательной силы, но даже смысла.

ХРОНИКЕРЪ «СОВРЕМЕННИКА»

КОРРЕКТУРНАЯ ГРАНКА СТАТЬИ ЩЕДРИНА «НЕИЗВЕСТНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ», 1864 г.
Институт Русской Литературы. Ленинград

Под «бездельничеством» я отнюдь не разумею что-либо преступное или такое, за что занимающийся этим ремеслом подлежал бы лишению прав состояний; нет, «бездельничество» означает здесь лишь полное отсутствие какой-либо живой руководящей мысли, означает занятие таким делом, до которого ровно никому дела нет. Зритель смотрит на картонные турниры, в которых принимают участие картонные рыцари, вооруженные картонными мечами,— смотрит и недоумевает [6]. «О чем они? К чему они? Птицы-то, птицы-то зачем тут?» вот единственный вопрос, который он может себе задать по этому поводу, и на который ни под каким видом нигде не отыщется ответа.

Откуда нашла на русскую журналистику эта туча, я не берусь разрешить; но полагаю, что для уяснения себе этого вопроса, не нужно лазить ни в историю, ни в розыскание современного положения общественного темперамента, ни даже в анализ наличных литературных сил. Гораздо проще, по моему мнению, будет, если мы примем это явление, как факт глухой, как знаменье особенного божьего гнева, над нами тяготеющего.

В самом деле, если посравнить русскую литературу и журналистику за пять и даже менее лет перед сим с теперешней, то невольно придешь в недоумение. Пять лет перед сим в ней было заметно, если не самое дело, то, по крайней мере, стремление к делу, попытки взять это дело за ухо, положить на стол и приступить к его рассмотрению [7]. Правда, что тут было много праздных, а еще более наивных слов, правда, что тут на арену выступило множество таких микроскопических деятелей, а на алтарь отечества посыпалось бесконечное число до такой степени вдовьих лепт, что в большинстве случаев невозможно было удержаться от смеха, но ведь первый блин всегда комом бывает, а при разборе отечественного мусора дело, конечно, не могло обойтись без некоторого микроскопического самохвальства [8]. По крайней мере, читатель видел, что здесь идет речь о чем-то для него не безынтересном, и затем сам уже имел возможность между множеством копошущихся пигмеев выбрать того, который приходился ему по вкусу. Сверх того, не подлежит сомнению и то, что пигмеи эти (были между ними, впрочем, некоторые и побольше ростом), будучи предоставлены самим себе, при помощи взаимного побивания, со временем все-таки очистили бы литературную арену от излишнего накопления деятельных сил, и таким образом сделали бы невозможным дальнейшее вторжение ненужных элементов. Но посмотрите, что делается теперь! прочтите нагло-исторически-пустопорожние статьи московских публицистов, прислушайтесь к хладно-умеренно-размазистым разглагольствиям петербургских газет, наконец, приблизьте к вашему носу сплетнические извержения стрижей и человекообразных! Что вынесете вы из этого сумбура! — увы! вы не вынесете даже представления, о чем тут идет речь.

И опять-таки повторяю: я вовсе не желаю входить в изыскание причин, породивших такое явление, а просто констатирую факт. И ежели кто меня спросит, почему же такое многообещающее начало привело к таким истинно жалким последствиям, тому я скажу: ищи сам, будь на столько остроумен и любознателен, чтобы догадаться, в чем тут дело. Я же с своей стороны могу присовокупить, что вдаваться в разрешение подобных вопросов значит добровольно обрекать себя на ту самую работу, за которую, по свидетельству Гоголя, брался известный Кифа Мокиевич.

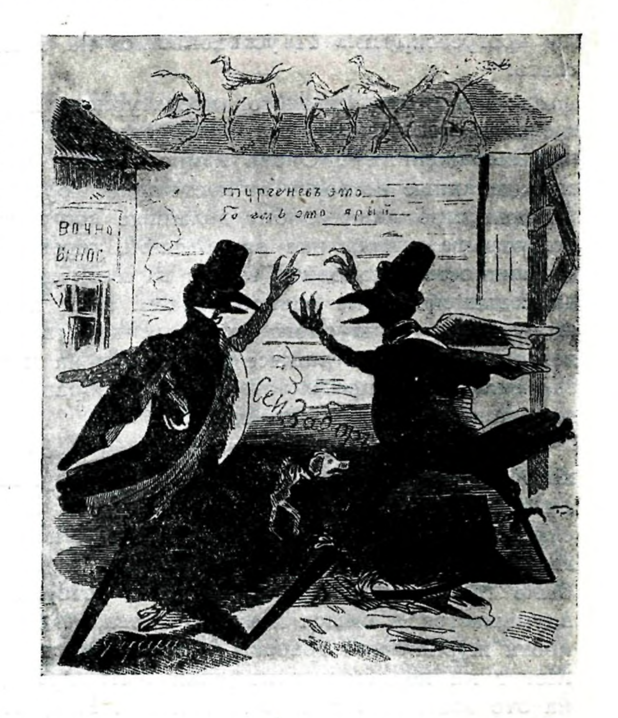
Что статьи московских публицистов можно читать без ущерба для них и сверху вниз, и снизу вверх — это вещь не новая и всем известная [9]. Гораздо более достойно замечания то, что они не только не стыдятся этого, но даже высказывают публично, что подобное поведение вовсе не постыдно, что над ними ничто не тяготеет, что они душедрянствуют и умонелепствуют по собственному своему усмотрению, состоя, так сказать,

в твердой памяти и здравом рассудке. Ужаснее положения этих людей я не знаю. Каждый день быть вынужденным выжимать все один и тот же выжатый лимон, каждый день выматывать из себя миллион аршин лент, миллион раз уже вымотанных миллионом других не менее искусных престидигаторов, каждый день заштопывать и починивать все одну и ту же дыру, и при этом сохранять веселое выражение в лице, улыбаться, уверять: «это я, это я сам», грациозно покачивать головкой или, в знак искренности, вдохновенно закатывать глаза — воля ваша, это должно быть такое страшное испытание, которого не выдержат самые огнепостоянные натуры [10]. В действительности, оно так и выходит. Как ни сверхъестественны усилия, делаемые московской публицистикой, чтобы заявить себя убежденною и убеждающею, она успевает в этом только до некоторой степени, да и то лишь относительно наружной отчеканки своей бесконечной работы. Снаружи елейная раздутость фразы, снаружи — истинно соловьиная способность незаметно переходить из «трели» в «оттолчку», из «оттолчки» в «юлу», внутри — прах, прах и прах. Впечатление, производимое этим историческим красноречием, можно сравнить только с впечатлением, которое производит зеленый, совсем назревший дождевик [11]. Издали он кажется привлекательным, как будто даже устойчивым; кажется, что это словно какое-то оригинальное растение, но подойдите к нему ближе, дотроньтесь пальцем — и увидите, что из него вылетит целая туча черного, дрянного праха. Все эти «форрейторы», сломя голову, скачущие вперед [12], эти букеты, пускаемые по части чувств, эти воззвания к невежеству, ненависти, злобе, мести и т. п. [13] — всё это темный прах, который ни к чему не приводит, кроме ощущения очень неопределенного и вполне безотчетного. Но разве это результат? разве результаты ясные, положительные и прочные достигаются обращением к темным и бессознательным силам, временно или постоянно господствующим в обществе? Но предположим даже, что все эти букеты как раз придутся по плечу большинству, но ведь и это еще далеко не результат. Не надо забывать, что большинство забывчиво, что оно хотя и способно приходить в восторженное состояние от хмельной фразы, но удерживает в своей памяти все-таки одно дело. А этого-то дела именно и нет, и как ни улыбаются почтенные публицисты, как ни прикидываются развязными, они не могут не сознавать, что недалеко то время, когда внутреннее их убожество раскроется само собою. Когда не будет повода для фразы, когда необходимость в тропах и фигурах исчезнет, что станется с тобою, бедная московская пресса? [14] И вот что ужасно: вчера эти люди выжимали выжатый лимон, сегодня выжимают, но ведь и завтра, и послезавтра придется им делать всё ту же операцию, и так до бесконечности всё выжимать, всё выжимать. И ежели идея о вечности имеет свойство пугать человеческое воображение, то еще больше пугает она его, обставленная такими поистине истязательными обстоятельствами.

Несколько иной наружный вид имеет хладно-размазистое красноречие публицистики петербургской. Это прах сдержанный, в противоположность умильно-развязному праху публицистики московской. Петербургская журналистика выжимает все так же выжатый лимон, но не говорит при этом: это я, это я сама, а делает гримасу, как будто ей противно. Конечно, один бог, видящий сердца наши, может знать, до какой степени не притворна эта похвальба, но во всяком случае, уже то одно делает не малую честь петербургской журналистике, что она обнаруживает некоторые признаки томной стыдливости. Притворно переполняться так называемою «гражданскою скорбью», конечно, не похвально, но все же лучше, нежели непритворно снять с себя все покровы благопристойности и в голом виде расхаживать по отечеству. В первом случае, по крайней мере, не имеется соблазна, тогда как, во втором, наглый гистрион может найти тысячи по-

хотливых собак, которых хлебом не корми, да покажи обнаженное человеческое мясо. Однако, как ни сдержан вид петербургской публицистики, как ни старается она намекнуть, что со всех сторон обижена и угнетена, всё-таки публика ничего от этого не получает и получить не может. Какое дело читателю до того, что публицист о чем-то помалчивает, что он явно выставляет себя казанским сиротою, что сквозь каждую его строчку так и сочится: «я не виноват: поймите, что я не виноват!» — читатель нетерпеливо прислушивается ко всем этим недомолвкам и обинякам: он пропускает мимо ушей полуфразы, полуслова, он всё еще надеется нечто понять, к чему-нибудь прицепиться — и в результате получает п р а х!!. [15] Да, тот же прах, потому что сущность его, будет ли это прах стыдливый или самодовольно-нахальный, всё-таки такова, что из нее не выжмешь не только дела, но и намека на дело. А ежели судить строго, то в этом случае прах приобретает даже сугубый характер. Ничего нет тяжелее, неловче положения публициста стыдящегося, с скрещенными на груди лапками вымаливающего себе прощения и снисхождения: он путается во фразах, он виляет языком, он делает объезд в тысячу верст, чтоб избежать употребления неприятного для его уха слова или чтоб поместить то малое слово, которое особенно дорого его уязвленному публицистскому сердцу — и все усилия его тщетны. Публика видит насквозь его игру, видит, что игра эта затеяна собственно в видах личной защиты, что она скрывает за собой фразу: «поймите! ведь я совсем не так глуп и невежествен, как кажусь!» — и нимало не трогается его мольбами. Она просто на просто говорит: «а кто же тебя знает! может быть, ты и в самом деле невежествен и глуп!» И публика права, потому что ежели она мало получает от публицистики нагло-восторженной, то еще менее может получить от публицистики сдержанно-размазистой, ибо последняя обязывается совсем, совсем-таки молчать о деле, чтобы не выдти из своего характера. Положение ужасное. Публицист, который в душе, быть может, готов бы был горло всякому встречному перегрызть, должен сидеть смирно и потихоньку да полегоньку выжимать себе да выжимать давно выжатый лимон. И при этом никогда не видеть конца своей работе, не иметь возможности вымолить облегчения этому каторжному занятию.

Наконец, есть еще третий оттенок литературной деятельности — это так называемая стрижиная деятельность [16]. Надо сказать правду, стрижи первые сделали попытку, чтобы доказать, что можно мыслить без головы, с помощью одних крыльев. Здесь найдете вы и хныканье, и злобство, и сплетни, сплетни без конца; одного не найдете — дела. Стриж забывает самого себя; сию минуту он говорил нечто, говорил изобильно, хотя и не резонно; через мгновение он всё забыл, забыл не только то, об чем говорил (этого-то собственно и упомнить нельзя), но и то, говорил ли он, или молчал. Он безразлично подбирает все негодные объедки, выбрасываемые из прочих журналов, и не входя в разбирательство, могут ли они стоять рядом или не могут, пичкает ими свой безобразный винегрет [17]. Причина такого безразличного пичканья заключается в совершенном отсутствии памяти и неизвестном последствии этого отсутствия — невозможности делать сравнения, сопоставления и выводы. Стриж всему изумляется, по поводу всего раскрывает рот, ибо факты представляются ему изолированными и потому всегда новыми. Вчера он видел известное явление и изумлялся ему; сегодня он уже забыл об этом явлении и, видя его вновь, вновь изумляется. Одно только слово «почва», словно типун, засело у него на языке, и им-то старается он прикрыть свой бессмысленный винегрет [18]. Но, с одной стороны, слово это пошло, потому что до бесконечности растяжимо; с другой стороны, оно растяжимо, потому что до бесконечности пошло. Надо думать, что оно и придумано собственно затем, чтобы мож-



ОТКЛИК НА ПОЛЕМИКУ ЩЕДРИНА с «ЭПОХОЙ» («СТРИЖИ» 1864 г.)

1-й СТРИЖ — Этой надписью забора лучше не украшать страниц нашего журнала... Не то публика увидит, что эти апофегмы с забора...
2-й СТРИЖ — Так что-ж, что с забора... Зато как ерыжно-забористо — это перлы, а посему самому и суть достояние «Эпохи»...

Карикатура «Искры» 1865 г., № 1

но было во всякое время юркнуть и спрятаться под сению его. Ибо самый величайший мудрец, встретившись с ним, что же может произнести, кроме: фу! а хитрый стриж, между тем, клюет себе да плетет свои сплетки под защитою этого своего рода непроходимого болота. Собственно это даже и не литературная деятельность, а просто словесные упражнения, без подлежащего, сказуемого и связки [19], но надо было упомянуть об нем для того именно, чтоб читатель видел, до какого растленного положения может доходить, при известных условиях, печатное слово, эти геркулесовы столпы. далее которых литературный прах идти не дерзает. Это литературный прах искренний, сознающий себя таковым и вполне убежденный в своей законности.

Итак, вот отношения журнального ада к делу. Нет ни одного вопроса, в оценке которого можно было бы не заподозрить или неискренности, или уклончивости, или, наконец, глупости. Можно после этого судить, каково должно быть влияние этого ада на общество.

А между тем вопросов этих стоит на очереди множество; по крайней мере, так утверждает «День» [20]. Какие же это вопросы? добивается от них любознательный читатель.— Множество, опять отвечает «День», а за ним и другие восторженные органы печатного слова, и с огорчением в сердце ждут, пока внешняя жизнь не выблюет им этих вопросов на растерзание. Тогда-то они покажут себя, тогда-то они явят себя истинными сынами отечества... И не покажут, и не явят ничего...

О! ежели бы они знали, что лучше возбуждать один самомалейший, но определенный вопрос, нежели разглагольствовать о «множестве», разгуливающем инкогнито! еслиб они знали, что выгоднее совсем умолчать о «множестве», нежели систематически раздувать этим словом и без того уже раздутое тщеславие праздных зевак! Ибо не надо ошибаться, что для многих и очень многих самое слово «множество» имеет очень большую обаятельную силу, которая вполне удовлетворяет их. «Эге! да у нас «множество» вопросов, говорят они: — стало быть, мы не спим, стало быть,

мы прогрессируем!» И успокоившись на этой мысли, идут себе на печку спать.

Да; нет более ужасного литературного яда, как тот, который высказывается в неопределенных, напыщенных и в то же время глубоко-праздных выражениях [21]. Очень немного таких читателей, которые могут отличить деланные восторги от настоящих, порожнее словесное гудение от дела. Большинство даже любит деланные восторги, как любит вообще всё то, что отрывает внимание от обычной, серенькой обстановки жизни, и дает возможность остановить взоры на иной жизни, быть может, и мишурной, но тешащей своим разнообразием. Нам известно, какие бывают последствия такого мишурного возбуждения чувств. Последствия эти: сегодняшнее опьянение, завтрашнее похмелье и на после-завтра — забвение для натур сильных, и продолжительное безобразие для натур слабых и податливых на всякого рода искушения.

Таким образом, или «ничего», или «очень скверно» — вот действие, которое имеет журнальный ад на публику. И надо сказать правду: — публика наша до сих пор показывает себя в высшей степени терпеливою и снисходительною, в особенности же относительно «ничего». Она с похвальною настойчивостию выписывает журналы, в которых когда-то нечто было говорено, она верит именам, которые когда-то нечто обещали, она вдумывается в смысл каждого слова, подбирает разбросанные там и сям крохи журнальной трапезы, «вообще ждет и в ожиданьи поддерживается». Могут ли подобные отношения быть прочными и надежными? Отвечать на это возможно только сомнением. Искусство для искусства, которое некогда занимало самое видное место в нашей литературе, пало безвозвратно, и заменилось искусством тенденциозным и публицистикой. С своей стороны эти последние очутились в такой странной колее, из которой они никаких тенденций обнаружить не могут. А между тем публика требует чтения, а между тем того чтения, которое было бы пригодно для взрослых людей, нет, да и нет неоцененного искусства для искусства, которое могло бы занять досуг и прогнать скуку в ожидании настоящего чтения. Последствия такого положения вещей должны быть следующие: — во-первых, читающая публика может, наконец, утратить всякое терпение и обратиться к тем затхлым мелодиям печатного русского слова, в которых она встретит, по малой мере, хоть беззастенчивость; во-вторых, та же публика (в том случае, если она будет продолжать оказывать терпение и кротость), приученная к загадкам и междустрочному чтению, рискует, в своих толкованиях, впасть в такой произвол, который в свою очередь поведет к распадению.

Итак, с одной стороны отупение, с другой междоусобие, напоминающее бурю в стакане воды, междоусобие, не захватывающее ни одной жизненной струны, пошлое, мелочное... вряд ли подобный результат может казаться желательным кому бы то ни было.

Представьте себе публику, которая окончательно убедилась, что царь Фараон в непродолжительном времени выйдет из Чермного моря и полонит вселенную; или представьте другую публику, которая без устали толкует о том, какое значение следует придавать такому-то словечку, употребленному в таком-то журнале или газете... ведь это почти что сумасшедший дом! А это будет, будет несомненно, если в самом непродолжительном времени литературно-журнальный ад не поспешит устроиться на иных основаниях. Снова возвращаюсь к воспоминаниям о недавно прожитом нами коротком литературном периоде и снова говорю: там было много наивного, незрелого и даже негодного, но в то же время было и зерно чего-то такого, что однакожь не взошло. Отчего не взошло? — от того,

что не взошло. Желал ли бы я за всем тем воротиться к этому времени? — да, желал бы.

Не потому желал бы, что вижу там идеал, а потому просто, что вижу возможность, вижу то самое зерно, которое не взошло. Почтеннейшая публика! ужели же ты не видишь, что литературная нива наша положительно оскудевает, что она грозит в самом непродолжительном времени сделаться совсем-совсем непроизводительною! В самом деле, что произросло на этой ниве за последние три-четыре года? — Стрижи, стрижи и стрижи! О, смех и посрамление! Что будет, если журнальный ад в конец сделается смешным и забавным? Что будет, ежели и впрямь лизоблюд Девушкин сделается в нем сатаною? что будет, если мир всецело исполнится бессмысленными кликами стрижей или истерическими воплями московских публицистов? ежели эти две уморительные силы предъявят серьезную претензию утвердить вселенную? Украсится ли тогда [любезное наше отечество? Будет ли оно внушать страх врагам внешним, ниспошлет ли мир в души врагов внутренних, тех врагов, о которых без устали твердит нам московская пресса? Почтеннейшая публика! размысли об этом.

Но вывод, практический вывод всей этой длинной иеремиады? спросит меня читатель. Сознаюсь откровенно, этого вывода нет и не будет. Но дабы не оставить читателя совсем без вывода, предлагаю, вместо оного, следующее заключение:

Я начал статью мою словами: «журнальный ад — смешной, незлобивый и приятный ад». Для тебя, публика, это действительно смешной ад, который может служить даже моделью для замысловатой игрушки; но для делателей этого ада, для тех, которые, по воле рока, осуждены на пребывание в нем, это ад полный тяжких и непереносных мук. В нем нет обязательного лизания раскаленных сковород, но есть толчение воды, в нем нет железных клещей, вынимающих ребра, но есть витье из песку веревок, в нем нет огненных орлов, прилетающих клевать сердца грешников, но есть бестолковая птица стриж, которая может в одну минуту напакостить столько, сколько во всю жизнь не напакостить самому расстроенному желудком орлу... Суди же сам, благоразумный читатель, какие мучения следует предпочесть.

3. [ОТРЫВОК ИЗ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ СТАТЬИ]

Но если уж пошла речь об стихах, так вот и еще один образчик [1].

Конечно, презирать не трудно
Отдельно каждого глупца,
Сердиться также безрассудно
И на отдельного срамца;
Но — чудно!
Всех вместе презирать их трудно! [2]

Пушкин, написавший эти стихи, конечно, не имел в виду сказать, что даже «срамцы», не смотря на свое срамство, могут производить нравственное огорчение на человека; он не мог сказать это уже потому одному, что «срамцы», как ни принимать их, каждого ли в отдельности, или всех в совокупности, все-таки останутся срамцами, и количественное их умножение может содействовать лишь количественному же умноженью того «срама», который они из себя источают и который всецело падет на их же собственные головы.

А потому, вникая ближе в смысл пушкинских стихов, я полагаю, что великий поэт хотел сказать следующее: «срамцы» вообще народ презренный, и в то же время ничтожный, ибо действует беспокойно не на внутреннего человека, а лишь на его эпидерму; следовательно, действия их тогда только могут иметь некоторый успех, когда они производятся одновременно целым множеством отдельных «срамцов», заключивших между собой дружественный союз. Ибо тогда человек, против которого направлены их «срамные» усилия, подвергается опасности почувствовать в теле неприятный зуд.

И действительно, «срамцы» — своего рода паразиты; чтоб уничтожить каждого из них по одиночке, слишком много даже и щелчка, но представьте себе целую тучу паразитов, нападающих на вас и сзади, и спереди, и с боков — тут поневоле воскликнешь: да,

Всех вместе презирать их трудно!

В прошлом лете, я именно был жертвой такого рода дружных усилий «срамцов». Человекообразные соединились с стрижами, эти последние в свою очередь подали лапку амфибиям. Некоторый молодой гиббон (скорее, впрочем, лемур, нежели гиббон) написал, в шутливом, но пакостном тоне мою биографию; некоторый чимпандзе обратился ко мне с серьезным увещанием, что лучше было бы, еслиб я перестал заниматься беллетристикой, а принялся бы за естественные науки; даже сам старый горилла (портрет его зри в сочинении Гёскли: «О положении человека в ряду органических существ», где можно получить и интереснейшие сведения о всех человекообразных вообще) — и тот воспылал ко мне гневом и ненавистью, и вознамерился зубами сокрушить конец пера, которым я пишу. Еще более занимались мною «стрижи». Один из них (впоследствии он назвал себя, но я все-таки не хочу повторять здесь его имя, до того презрителен и недостоин названия его поступок) написал даже целый роман, в котором пошлым и клеветническим образом изобразил мои отношения к редакции «Современника». Наконец, амфибии — и те пискнули в своем мрачном, покрытом плесенью болоте [3].

На сей раз я займусь одними «стрижами». Причина тому очень ясная. «Человекообразные» все-таки ратуют из-за каких-то убеждений; они вообразили себе, что я распространяю «ненависть и презрение» к естественным наукам, и не сообразили при этом даже того, что тому, что они разумеют под естественными науками, они обучались у Кузьмы Пруткова, который, как известно, никогда не бывал естествоиспытателем, а всегда был изрядным эстетиком и моралистом (в чем и имеет от Московского общества любителей Российской Словесности за печатью диплом [4]). Они не различили того, что понятие об естественных науках само по себе, а понятие о паскудном и нелепом отношении к ним — само по себе; но, в качестве человекообразных, они имели даже право не различать, ибо им не дано того, что необходимо для подобного рода различений. Притом же человекообразные все-таки пользуются бо́льшими шансами относительно возможного развития, нежели стрижи и т. п. и следовательно, со временем и сами собой могут понять то, чего теперь не понимают. Об «амфибиях» тоже не стану говорить, не потому чтобы они были хуже «стрижей», но уж очень в ихнем болоте тоскливо... мухи мрут; ну, а в стрижевском садке всё словно повеселее: одного щебету сколько услышишь! Итак, обращаюсь к стрижам.

«Современник» вас обманул, стрижи! Статью «Стрижи, драматическое представление» писал действительно я, хроникер «Современника», а не «Посторонний Сатирик» [5]. Я не только не имею желания скрывать от вас этого (впрочем и скрывать было бы бесполезно, потому что вы слишком



ОТКЛИК НА «ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ» ЩЕДРИНА
Карикатура из «Сына Отечества» 1858 г., № 8

— Вы взяли за мое дѣло 1,000 р., отчего же не кончаете его?
— А вы изволили читать Щедрина и «Медвѣжій уголъ»?
— Читалъ.
— Такъ я доложу вамъ, что за это дѣло не возьму теперь и 2,000 р.
— Не понимаю—объяснитесь.
— Дѣло простое: литераторы обратили на насъ вниманіе правительства; наши маленькіе доходы должны скоро прекратиться; поэтому надо ковать желѣзо пока горячо.

исправных имеете вестовщиков, от подслушиваний и подглядываний которых никаким манером не убережешься), но даже в особую себе заслугу вменяю это писание, ибо в сем маленьком произведении искусным образом заключено все ваше миросозерцание. И потому все сказанное «Посторонним Сатириком» в статье «Стрижам» о том, что отныне вам нельзя в зеркало посмотреться, чтоб не сказать: «в этом зеркале я вижу стрижа» — принимайте, как будто это сказал я сам [6]. Я знаю, что это правда, и что вы, после моей пьески, сами себе стали ненавистны.

Вы обидились, стрижи! Охотно вам верю. Вы обиделись во-первых тем, что я в кратких словах изобразил всю вашу сущность (да ведь так, что и спора никакого не может быть), и во-вторых тем, что я никак-таки не хочу разговаривать с вами серьёзно. На первое могу вам отвечать, что истину на ваш счет открыл не я, а она сама собой открылась, и я был только выразителем общего голоса. Я хвалю вашу скромность: вы никогда не претендовали на то, что не принадлежите к царству пернатых, вы еще в прошлом году согласились с этим: «ну да, что ж делать? птицы так птицы — шила в мешке не утаишь!» сказали вы, и поступили правильно [7]. Но ведь птицы бывают разных пород — и вот этим-то обстоятельством хотели вы воспользоваться, чтоб обмануть публику. Вы прикидывались то пеночками, то горихвостками, то скворушками, то... даже орлами (а ведь орел все-таки птица, а не человек, стрижи!). Но публика видела, что тут что-то не то, что от вас отдает погребом, сыростью, темнотою, ночными похождениями [8]... В эту самую минуту, когда публика была в недоумении, я произнес слово «стрижи»... Чем же я виноват, что оно пришлось как раз в меру? что оно определило не только цвет ваших перьев, но и духовную сущность вашу?

Что касается до второй причины обиды, то и она столь же мало основательна, как и первая. Я очень хорошо понимаю, чего вам от меня хочется.

Вам хочется, чтоб я по душе с вами потолковал, чтоб я всякую вашу нелепость посмаковал, взвесил и обсудил. Вы не были бы даже в претензии, еслиб я и пожурил вас порою за ваши нелепости, но только бы потолковал... ради бога, потолковал! Но это невозможно. Не потому невозможно, чтоб я был человек совсем без сердца, чтоб я не желал быть снисходительным к птичьему щебетанию (вы не раз уже обвиняли меня в жестокосердии), а просто потому, что ума не приложу как этого достигнуть. Я несколько раз принимался за вас, с целью ежели не определить, то, по крайней мере, угадать, о чем вы толкуете, но усилия мои постоянно оставались без успеха. Не думайте, чтоб это происходило от того, чтобы я не мог понимать то, что действительно понятно, а знайте, что причина такого явления заключается в совершенной сумбурности вашего щебетанья. Вот-вот, думаешь, идет дело о польском вопросе, — ан нет, речь идет об индюшках, ан нет, об антиспатах, ан нет, о Фейербахе. Повидимому, вы хотите усвоить себе славянофильские воззрения, но усвоиваете только помои этого воззрения, и ни один славянофил, конечно, не взглянет на вас без сожаления. Вы суетитесь, хлопочете, топчетесь, желаете что-то учинить, но в результате оказывается лишь крошечная литературная погадка. Виноват, оказывается и еще нечто — это хорошее, кроткое ваше поведение, засвидетельствованное «Московскими Ведомостями». Понимаете ли вы теперь, почему я не могу по душе потолковать с вами? Потому, что не о чем толковать. Вы напоминаете тех ученых чижиков, которые из крохотных колодчиков вытаскивают миниатюрненькие ведерки с водой, вытаскивают и опять погружают, и опять вытаскивают... И разве я один смотрю на вас таким образом? Укажите мне хоть один орган, хоть один случай, когда бы хоть кто-нибудь сказал: вот стрижи то-то говорят, и из того, что они говорят, то-то правильно, а то-то неправильно? Нет вы не укажете мне ни на один случай: никто ничего подобного не говорил, ибо вы сами никогда ничего не сказали. Правда, что в самом начале вашего литературного поприща баловался с вами «Современник», всё думал, не выйдет ли из вас чего-нибудь, но и тот бросил, потому что труд сделался не по силам. Правда также, что в прошлом году некто г. Петерсон нечто усмотрел в вас, но и здесь есть причина: г. Петерсон не литератор, а просто проницательный человек [9]. Судите же сами, виноват ли я, что не могу относиться к вам иначе, как в художественной форме?

Однакоже, вы обиделись. Не говорю уже о том, что это величайшая с вашей стороны несправедливость, но не скрою, что этим вы только утвердили меня в той мысли (признаюсь, я доселе считал ее несколько самонадеянною, но теперь вижу, что был слишком скромен), что я, что захочу, то с вами и сделаю. Захочу — приведу в восторг; захочу—доведу до исступления; захочу — накажу; захочу — помилую. Мне стоит сказать: вы совсем не стрижи, а заправские литераторы — и вы возрадуетесь; но вслед за тем я могу сказать: «нет, я обманул вас, стрижи! вы совсем не литераторы, а стрижи!» — и вы закручинитесь. Вы знаете, что судьба ваша всегда в моих руках — зачем же вы бунтуете, зачем храбритесь? Когда-нибудь я одно из моих обозрений закончу словами: «Эпоха»... но об этом журнале поговорим когда-нибудь в другое время» — и вы целый год с замиранием сердца будете ожидать: что-то он скажет? каким еще неслыханным манером он покарает нас? Ведь вы изноете, похудеете, вы не в урочное время потеряете все ваши перья! Для чего же вынуждаете вы меня на такую меру?

Но нет, вы даже не сѐрдите меня: мне просто весело. Истинно вам говорю, весело. Мне нравится и ваша злоба, и ваше шипение именно потому, что все это сдабривается самым искренним тупоумием. Знаю, что вы не виноваты, знаю, что природа, быть может, совсем неповинно нака-

зала вас — и за всем тем не могу унять веселия сердца моего. Разумеется, мичман Петухов поступал очень неосновательно, что смеялся, когда ему показывали палец, но согласитесь, что ежели этот палец показывают вам постоянно и безустанно, и притом с полным убеждением, что это не палец, а голова, — согласитесь, что тут и не рассмеяться нельзя!

Но как бы то ни было, основательно, или неосновательно, а вы обиделись. Что же вы сделали, чтоб отомстить за причиненную вам обиду? Вы позаимствовались комками грязи, кинутыми в меня «Русским Словом», вы разузнавали бог весть каким путем (а всего вероятнее, через служителей) о том, что происходит в редакции «Современника», и из всего этого устроили целую лахань помоев, кторыми облили — верьте, не меня, а своих читателей.

Что написанный вами роман о Щедродарове есть сборник самых гнусных, самых презренных, а сверх того и самых глупых сплетен — в этом убедится всякий, в ком есть хотя малая доля здравого смысла. Тем не менее, я до сих пор не заклеймил это произведение орнитологического искусства надлежащим именем, потому что мне было не до того. Всё прошлое лето я отдыхал на лоне природы, и между прочим занимался наблюдениями и за стрижами, не за теми стрижами, которые задыхаются от злобы в сырых и темных погребах, а за теми, которые хотя по ночам вылетают на вольный воздух, чтоб поиграть на свободе и половить мух. Какая разница — стрижи на воле и стрижи в заточении! Какая свобода движений у первых, и какая вялость, почти дохлость у вторых! Как непринужденно веселы первые (веселы, потому что сознают себя исполнившими свой долг и не сующими своих носов в те дела, где их не спрашивают), и как уныло, могильно, затхло-злобны вторые (ибо их мучит совесть, что они не за свое дело взялись, что они улетели от родных колоколен и чердаков и таким образом изменили своему стрижиному призванию)! С какою ловкостью кубарем слетает с ветки стриж вольный, с каким проворством подхватывает на лету муху, и как беспорядочно-вяло хлопает общипанными крылышками стриж-склав, как лениво долбит он носиком всякий мусор и хлам, вываленный в погреб за негодностью из различных редакций! Да, только теперь я узнал, что стриж на воле — птица милая, не чуждая даже прозорливости относительно ловления мух, и имеющая лишь два недостатка: несоразмерно короткие ножки и преступную страсть к ночным шатаниям.

Итак, я до сих пор не занимался вашими летними подвигами, потому что мне было не до того. Но в настоящее время я свободен, и потому с моей стороны было бы даже бесчеловечно, еслиб я отказал вам в наставлении.

4. ФЕЛЬЕТОН [В. ЗАЙЦЕВА О ЩЕДРИНЕ]

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ. — ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА «ЗАЯВЛЕНИЕ» СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. — ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЭКТЫ.—О КРАСНОРЕЧИИ КАК О СИЛЕ ВРОЖДЕННОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ.— НЕЧТО О НЕОБХОДИМОСТИ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫМ.— ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОХОД ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.— КАК ПРИХОДИТ СТАРОСТЬ.— ОТВЕТ ХРОНИКЕРУ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК».

Положение фельетониста, в журнале ли, в газете ли — самое печальное положение. Кто из читателей не знает, что в каждом печатном органе существует несколько отделов, и кто в то же время не знает, что фельетонисту отводят угол где-нибудь подальше, в конце (посмотрите, куда, например, меня загнали): ткнут тебя куда-то, на задний двор,—ну, и сидишь.

И уж мы ли не стараемся угодить публике, мы ли не кричим во всю мочь, желая обратить на себя хоть каплю внимания — ничто не помогает: как умер незамеченным первый фельетонист, так же позорно умираем доднесь и мы! Один только М. П. Погодин еще пользуется некоторою известностью, да и то благодаря «Московским Ведомостям», где он поместил несколько фельетонов.

— Но за что же вас так гонят? спросят, пожалуй, меня. (Ах, еслиб спросили!)

То-есть, как вам сказать: за что?.. Это, видите ли, дело очень щекотливое... Но, уж если пошло на откровенность — извольте, расскажу все...

Прежде всего нужно заметить, что каждый журнал, каждая газета имеют известное направление, о котором некоторые из них заявляют сами; выяснением же духа умалчивающих о себе органов нашей прессы занимаются иногда и люди посторонние, — но не о том речь... Вот «Отечественные Записки» объявляют, например, что направление, которого они держатся, известно публике уже тридцать лет, и потому распространяться об этом предмете было бы излишне. Публика принимает к сведению слова известно и излишне и, думая, что «Записки» имеют свиньинское * направление, охотно выписывают книжки журнала. «Эпоха» — та имеет направление почвенное, унаследованное от покойного «Времени»; — публика опять довольна, хорошо понимая, что от бобра родятся бобренки. «Русский Вестник» имеет направление смешанное, обусловливаемое с одной стороны книгою Гнейста, а с другой — периодическими ветрами [1]. Точно так же и газеты имеют каждая какое-нибудь направление, проводят что-нибудь в публику. «Голос», например, имеет направление внутренне-внешнее, или ретроградно-либеральное, так сказать — переметно-сумное направление. «С.-Петербургские Ведомости» провозглашают своим девизом: «прогрессивное начало на самых широких основаниях». «Московские Ведомости» проповедуют свободу мысли и совести. «День»... ну, тоже проводит... что-нибудь. Короче: все, все имеют какое-нибудь направление, все что-нибудь да выясняют перед публикой. К выяснению этого чего-то каждый журнал или каждая газета стремятся зараз всеми своими отделами, напрягают все свои силы; один только фельетонист не принимает участия в общем журнальном напряжении и, предоставленный самому себе, скромно дудит в свою дуду, что придется.

Рассмотрим же теперь причины, по которым фельетонист стоит на отшибе от прочей редакции.

Прежде всего, что такое фельетонист?

Сборщик новостей и городских слухов, веселый рассказчик различных курьезов, человек мало сведущий, мало знакомый с серьезными мотивами жизни. От него требуется только, чтобы он неуклонно заносил в свою хронику каждую новость, умел во-время и кстати побывать везде, где есть пища для его заметок, читал бы по временам газеты и выбирал из них что помельче и попустее, потому что крупные пустоты заносятся или во внутренний или в политические отделы.

Вот, например, как рассуждают об этом человеке два редактора или издателя:

— Ну что, каков у вас фельетонист? спрашивает один.

— Ничего; два листа в месяц аккуратно ставит.

— Ну, а с другими сотрудниками каков? не противоречит им?

---

* Свиньин — издатель «Отечественных Записок» в двадцатых и тридцатых годах. [*Прим. в «Русском Слове»*.]

— Нет, ловкая каналья; хорошо ведет свое дело. Да я, впрочем, однажды навсегда сказал ему, чтобы отнюдь не пускался в рассуждения, не занимался, так сказать, постановкой вопросов. — А ваш как?

— Да я своего прогнал.

— Как так?

— Да, помилуйте, я в критическом отделе только что заявил, через одного из своих сотрудников, об заслугах, оказанных человечеству бельгийской экономической школой, только что привел несколько цитат из Молинари, — хвать, он обругал его! так ни за что, ни про что и обругал.

— Да, это плохо.

— Чего — плохо, просто скверно. За подписку теперь опасаюсь. И ведь, кажется, уж я ли не точил ему, я ли не точил: «Эй, Сидор Семеныч, игнорируй ты эти ученые вопросы! толкуй ты больше об общественных там увеселениях что ли, только, ради бога, не суйся в науку, а то и сам влетишь и меня посадишь!» Так нет, врюхал-таки!

— От невежества все происходит.

— Невежество-то невежеством, а мне нашлепка.

Так-то думают о фельетонистах редакторы, так думает о себе и всякий фельетонист, хотя не всякий решается это высказать. Да и может ли он быть иным? может ли он провести в своей статье какую-нибудь мысль, когда эту мысль нужно прикладывать к тому заявлению, что-де нынче модная материя для брюк имеет рисунок в клетку, взамен прошлогодней — *полосатой*? Наконец, какая тут мысль, когда в голове вертятся игрища у Ефремова? — Нет, фельетонист просто жалок! Оставленный на произвол судьбы, не принимающий, так сказать, никакого участия в нравственных интересах журнала, он мало заботится о своем совершенство-



КАРИКАТУРА «ИСКРЫ» НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» И ЕГО СОТРУДНИКА СТРАХОВА

«Искра» 1862 г., № 49

вании, мало принимает в расчет серьезную сторону жизни, и целый свой век вращается в сфере всевозможных пикников, маскарадов, театров, балетов, выставок и проч.

Из каких же людей составляется сословие фельетонистов? поставим такой вопрос.

О, сюда входят люди всевозможных каст! Тут есть и чиновники, оставленные за штатом, и офицеры, выпущенные в отставку за ранами, и разночинцы, и ученые, отставленные от науки за неспособностью и старостью, и писатели, заведывавшие прежде серьезными отделами в журналах или газетах,— словом, все классы общества приносят свою лепту в сосуд фельетонизма[2]. При этом нужно заметить, что каждому из таких господ непременно вменяется в обязанность игнорировать всякое знание и сообщать одни только житейские новости. Так, например, кто не помнит фельетонов М. П. Погодина, помещенных в «Московских Ведомостях», где сему маститому ученому приходилось трактовать о столбах русской науки, Дале и Вельтмане, тогда как М. П. наверное желал бы взять период несколько древнее, именно варяго-русский.

Итак, сообразив все сказанное, чего же может требовать публика от фельетониста, кроме легких, игривых заметок, и что в свою очередь может дать он ей, кроме таковых? Пробовали, правда, и фельетонисты иногда о чем-то толковать, что-то выяснять (разумеется когда дремала редакция), но так как к серьезным вещам они относились обычно фельетонным образом, то в конце концов выходило совершенное фиаско: несчастного враля ловили и казнили без пощады. Еще недавно один из моих собратов по оружию, вздумав потолковать о какой-то «чаше» и о «рассечении трупов с песнями и плясками», проврался самым жестоким образом. («Врешь ты, вислоухий! скажет провравшийся собрат: — я вовсе не проврался, юродствующий ты этакой! — мы с ним приятели, потому в выражениях не стесняемся,— а это просто произошло от того, *что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобразителен.)* [3]. Ну, да ладно — вывертывайся!

«Поди, морочь других!»

Теперь, кажется, понятно читателю, какого я мнения о своем деле и что могу дать ему в своих заметках. Скромность моя не позволит мне трактовать о том, чего я не понимаю, и я ни за что не последую за теми из своих собратов, которые смело взбираются на трибуну, чтобы высказать оттуда несколько пошлостей, а потом, поджавши хвост, изворачиваться: *для чего-де не остановили меня? я сам вижу, что завираться стал!* Впрочем, такие непрошенные ораторы попадаются очень редко. Это по большей части люди «прикомандированные» к литературе, люди озлобленные какими-нибудь пустяками, из-за которых бросили они служение Фемиде и ратуют против. Они так же долго держатся в литературе, как кухарка, потерявшая место, проживает на квартире, — т. е. до первой открывшейся вакансии. Правда, кухарка эта иногда и в два-три дня наделает таких пакостей, что после в год не забудешь; но отрадно уже и то, что скоро скачали ее с шеи, что скоро получила она место в хорошем доме и не появляется больше с своими сплетнями в скромную квартиру честных людей.

Так как такие фельетонисты все-таки попадаются в литературе по временам, то я считаю не лишним уловить здесь общие черты, характеризующие подобных господ, и вывести благородную маску перед публикой в ее настоящем, домашнем костюме.

К таким-то фельетонистам я адресуюсь с следующим романсом[4]:

Ты пойми, пойми, мой милый друг!
(Романс в действии.)

Героя своего я назову Яшей Злючкиным, и проследим-ка мы, читатель, его жизнь и деятельность на столько, на сколько она мне известна.

Яша родился от честных и благородных родителей, Егора Злючкина и Марьи Злючкиной, урожденной Вралищевой. Ребенок он был здоровый, бойкий, веселый, так что приводил в восторг даже кормилицу своими проделками. «Эва, какой генерал выйдет!», толковала она в то время, как Яша, ухвативши ее обеими рученками за виски, нагибал то в ту, то в другую сторону. «Ох, и лютый только начальник из него будет: всю губернию полонит, коли губернатором сделают!» Яша действительно вырастал с самыми начальническими талантами: в два года он драл за виски не только кормилицу, но и няньку, в три-четыре дошел до казачка, а в пять-шесть простирал свои десную и шуйцу даже к седым локонам mademoiselle Schoukine, приставленной к Яше в качестве гувернантки. Словом, мальчик складывался, как следует быть. Девяти лет Яша хорошо читал по-французски и плохо по-русски, с удовольствием выслушивал от m-lle Schoukine различные интересные историйки, вроде похождений кавалера Фоблаза, сыпал в дворню треухами, гордился своими каштановыми локонами, с наслаждением вертелся перед зеркалом, осматривая свою шикарную курточку, и т. д. и т. д.

— А Яшу-то пора тово... рассуждал в это время родитель.

— Что? спрашивала мать.

— Отдать куда-нибудь — учиться.

— Да куда же ты его отдашь?

— То-то вот не знаю.

— Нынче и заведений-то таких нет, куда бы мы могли поместить нашего Жака. Ты знаешь, как он у нас поведен,— ну да как там его развратят: свяжется с этими разными простыми детьми, куда и воспитание все пойдет.

— Надо отдать куда все дворяне отдают — где почище.

— А где почище-то? Везде нынче этого мужичья натыкано.

Думала, думала почтенная чета, наконец решила отдать свое детище в самое чистое заведение, в котором головы воспитанников так же ярко блестели, натираемые разными науками, как и паркетные полы его, натертые мастикой.

— Говорите ли вы там по-французски? с грустью спрашивала мать, когда Яша по праздникам приходил домой.

— Постоянно, maman.

— То-то, не разучиться бы тебе. Жалко, что лекции-то у вас читаются по-русски. Уж какая тут наука, когда учить ее тебе приходится на этом варварском языке.

— У нас лекции всё с французскими фразами, maman.

— Вот разве что... А кто у тебя, мой друг, там знакомые?

— У нас, maman, знакомых не бывает, у нас всё товарищи; и уж что товарищи решили между собою, так тому и быть. Вот недавно мы определили, чтобы в опере дальше пятого ряда кресел не бывать,— и уж кончено, никто не пойдет. Вот как у нас, maman, товарищество развито.

— Кто они такие, твои товарищи?

— Разные, maman. Есть князья, графы, потомственные дворяне...

— Купцов нет ли, мой друг?

— Maman! патетически произнес Яша: — этим вопросом в лице моем вы оскорбили целое заведение. Извините, я не могу продолжать наш разговор.

— Жак! прости меня! восклицает родительница: — ведь это сказано без всякого умысла. Я чувствую, что я сказала глупость, — прости меня!

— Хорошо, maman, но только с условием, чтобы вперед вы не задавали мне подобных вопросов, унизительных для чести русского дворянина.

Примирение, разумеется, тотчас же устраивается, и торжествующий Яша с увлечением рассказывает матери о товарищах, профессорах, лекциях и проч.; цитует даже целые места из лекций. Или пустится в рассказы из истории, как княжил такой-то князь, и кому какие титулы и чины дал, и как княжил другой, и кому чинов и титулов не пожаловал. Мать только руками всплескивает, глядя на свое милое, умное детище.

— Да поди, поди, Жак, ко мне, ради Христа, обними ты мать свою! Жак повинуется, но в то же время предупреждает:

— Пожалуйста, maman, не крепко шею сжимайте, а то воротнички попортите.

Учился, учился таким-то манером наш герой, наконец прошел всю премудрость: Яше исполнилось восемнадцать лет, а вместе с тем он окончил курс с чином десятого, а может быть и девятого класса. Широкой лентой открывалась теперь перед ним дорога к разным чинам и почестям.

— Жак, ты какую карьеру избираешь? спрашивали его товарищи.

— Думаю в какое-нибудь министерство на первый раз.

— А потом?

— Нужно присматриваться.

Поступил наш Жак в министерство, присматривается год, присматривается другой, присматривается третий — проку мало. Думал, что в три года, по крайней мере, начальника отделения хватит, ан нет: дальше столоначальника не пускают. И так прикинул наш герой, и этак, — всё столоначальник да столоначальник. «Господи! когда же это наконец?» в отчаянии вопиет Жак, мысленно ворочая перед глазами мундир с золотым шитьем на воротнике. «Уж я ли не служу, я ли не заискиваю? Когда же наконец обратят на меня внимание?»

— Да ты слиберальничай, шепчет Яше какой-то дух.

— Как это слиберальничать? недоумевает Яша.

— Очень просто.

— Научи, добрый дух.

— Ну, проект что ли какой представь, резко выскажи свое мнение о чем-нибудь, — словом, поступи так, как поступил, например, Жабров: видишь, ему какое место дали за либерализм.

— А как турнут! робеет Яша, а у самого поджилки трясутся от счастливой мысли выскочить в начальники отделения.

— Что же, что турнут? тебе ведь все равно, ты служишь из почестей; стало быть, настоящим твоим местом дорожить нечего.

— Хорошо, я слиберальничаю; только как?

— Ты знаешь французский язык?

— Знаю.

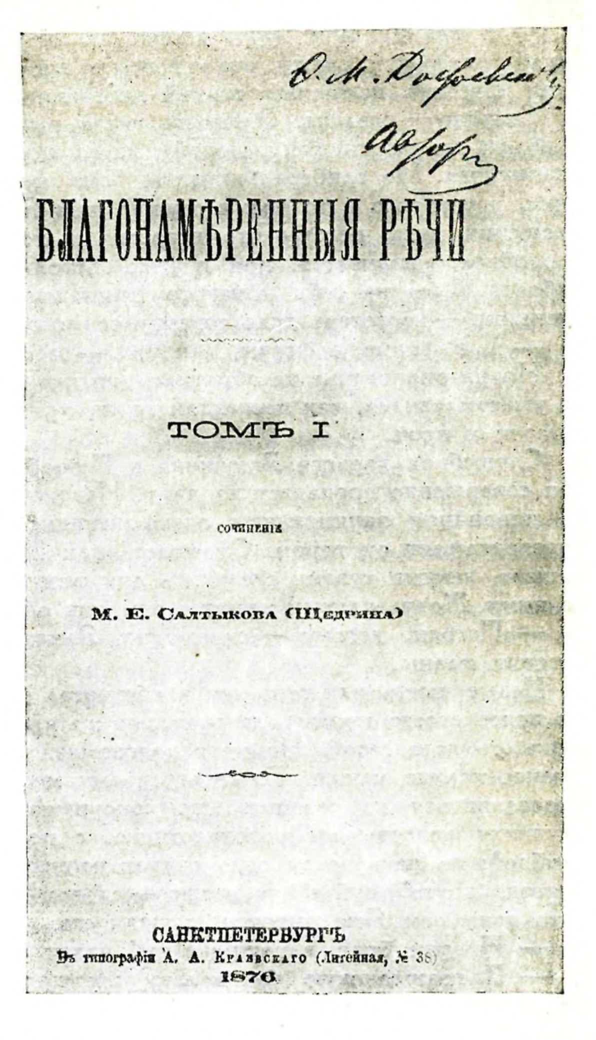
— Ну, вот возьми эту книгу, да и слиберальничай по ней.

— А какое место из нее взять?

— Вот это.

Дух взял книгу и на одной из страниц отметил «от сих» и «до сих», и за тем скрылся.

Долго сидел Яша над отмеченными духом строчками, долго размышлял, последовать ли ему совету нового друга, или отложить в сторону мысль о быстром повышении и продолжать службу по-прежнему. А тут еще проклятое воображение рисует заманчивые картины. То шляпа с плюмажем пронесется мимо, то ключ золотой проплывет; должности с соответ-



БЛАГОНАМѢРЕННЫЯ РѢЧИ

ТОМЪ I

сочиненіе

М. Е. Салтыкова (Щедрина)

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
Въ типографіи А. А. Краевскаго (Литейная, № 38)
1876

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЭКЗЕМПЛЯРА «БЛАГОНАМЕРЕННЫХ РЕЧЕЙ» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ЩЕДРИНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

ственными мундирами кружат в воздухе; карета с гербами и красным лакеем уперлась дышлом чуть не в самый нос.

— Слиберальничаю! задыхается Яша, и закрывает глаза.

Но картина переменяется. Видит он оборванного, жалкого чиновника в виц-мундире. Бедность и горе рано состарили его, рано убелили волоса и изморщинили лицо.

— Подайте бедняку на хлеб, разбитым голосом дребезжит чиновник.

Яша пристальнее всматривается в его лицо и — о, ужас! — узнает себя.

— Ни за что! ни за что! вскрикивает он. — Нет буду служить, как служил.

И опять рекой потекли перед ним чины, шляпы, ключи, кареты с гербами...

Так промучился Злючкин несколько дней, виляя то в ту, то в другую сторону; наконец жажда славы и почестей взяла верх над всеми ужасами.

— Итак, решено, торжественно провозгласил он в одно прекрасное утро: — нынче же слиберальничаю. Не знаю только, как это сделать, т. е. при какой обстановке: в форменном ли виц-мундире, или просто во фраке?

Опять задумался. А ключ уж вырос перед глазами и манит.

— В виц-мундире надо, рассуждал Яша: — потому что в случае чего, если придерутся, скажу, что я вовсе не либеральничал: я в форме, а форма, как известно, исключает всякий либерализм.

Сказано — сделано. Злючкин чисто выбрился, раздолбил на затылке волоса по английскому способу, надел форменный виц-мундир — и слиберальничал. Но слиберальничал-то он, несчастный, не во-время. Начальник, у которого в то время служил наш Яша, был тогда в дурном расположении духа, потому что встретил в ком-то неповиновение или что-то подобное; разумеется, при других обстоятельствах выходка Яши или не обратила бы на себя никакого внимания, или увенчалась бы полным успехом, — но теперь дело повернулось в другую сторону: беднягу изгнали.

— Я в форме, а форма, как из... — забормотал было Злючкин.

Но на оправданье не обратили никакого внимания. и злостный Яша с ужасом увидел, как поскакали прочь от него всевозможные чины, ордена, ключи и проч.

Служебная карьера Злючкина в Петербурге кончилась. На год, на два он совершенно пропадает из виду. Наконец, на третий мы встречаем его в провинции занимающим очень невидное место. С затаенной злобой поскрипывает он пером. Он знает, как отстал от своих товарищей по школе, какими тузами сделались они теперь и как трудно ему сравняться с ними. Жолчь ключем кипит в нем при одной мысли, сколько он потерял.

— Погоди, догоню, — скрежещет Злючкин, и всё строит планы, всё строит планы.

Целые шесть или семь лет злобствовал Яша, ни на минуту не оставляя в покое своего мозга: «да измысли же ты что-нибудь!» неустанно погонял его наш герой. Но мозг подсовывал несчастному самые мизерные, самые мелкие мысли. То советует ему мозг итти в становые пристава и прославиться на сем поприще сокрушением мужицких физиономий; то купчиху подсовывает сорокалетнюю, с приданым в три-четыре тысячи рублей; то начальству рекомендует пониже поклониться, чтобы накинули пяток, другой рублей в месяц, — словом, мозг оказался таким дурнем, что даже сам Яша дивится, слушая его.

— Ну уж, брат, и глуп же ты! язвит его Злючкин.

— В гражданскую бы палату секретарем поступить, — вот и ладно, нашептывает мозг.

— Поди ты к чорту!

— Или в консисторию, а то так в полицию: доходов сколько.

— Говорю тебе, я прямо в пятый класс хочу.

— Да где же его взять?

— Не можешь сообразить — ну и молчи!

Яша даже плюнул от злости. Перед глазами проехала карета с гербами, подсунутая досужим воображением. В карете сидел генерал, очень похожий на Злючкина; кучер во все горло кричал «пади»: народ сторонился и низко кланялся.

— Вот я чего хочу, ткнул Яша.

— Ну, да мало ли чего хочешь, огрызся мозг.

Такие разговоры с мозгом, впрочем, имели для Злючкина ту выгоду, что в конце концов, постоянно осаждаемый требованием пятого класса, мозг наконец совершенно покорился своему властелину и принялся плести вместе с ним громадную сеть всевозможных планов, проектов и соображений. Тысячами залегали в голову Яши всевозможные мысли, с помощью которых, прямо или косвенно, добывался желанный пятый класс. Нужен был только счастливый случай, чтобы пустить в ход накопленный летами и неусыпными заботами материал — и дело в шляпе. Случай такой скоро представился.

Наступил знаменательный 1856 год. Что-то новое пронеслось в воздухе. «Прогресс», «гласность»! лепетали где-то невидимые хоры. Встрепенулось дворянство, всполошилось чиновничество, ухватились за карманы купцы, сробели и дрожьмя задрожали мещане и крестьяне. Кто всю жизнь свою ходил в грязи, и те принялись умываться: «как бы, дескать, не застали неприготовленными».

— Вот он пятый класс! взвизгнул Яша, и принялся в смысле прогресса и гласности рубить направо и налево — благо разрешение вышло.

Сумятица поднялась страшная! Миллионы народа повалили к ключу «прогресса» и «гласности»; кто отставал, или вовсе не хотел омыться, тех подгоняли и обличали; в числе обличителей Яша стоял на первом месте. Смело метал он громы в ряды обскурантов, не стыдясь называть пакостью все, что позволили называть таким именем, и наконец — о, счастье! — его заметили...

— Га! каково! загреготал Злючкин, обращаясь к мозгу.

Мозг похвалил, потому — нельзя, пятый класс в руках.

Яше дали порядочное место.

Всякий знает, какая лихорадочная деятельность кипела в то время, потому распространяться об этом предмете было бы излишне. Будем лучше следить за нашим героем.

Прежде всего Яша, разумеется, сказал речь своим новым подчиненным, ибо кто же тогда обходился без речей? Акционеры ли соберутся в общее собрание требовать от правления выдачи дивидента — речь: «в настоящее время, когда мы и то, и другое (говорит правление), нечестно было бы со стороны гг. акционеров заявлять такое требование, ибо...» — словом, с чем пришли акционеры, с тем и уходят; на пирог ли кто зовет — речь; на улице ли встретятся приятели — речь... Словом, проходу не было от речей: чуть смигкул где-нибудь, — глядишь уж вырос перед тобой молодец и речь говорит.

Яша, конечно, сказал речь далеко не в таком роде, какие говорились тогда всеми. Речь его, напротив, была энергична и убийственна для распущенных чиновников. В ней слышался голос человека, имеющего в своих руках власть казнить и миловать Он чуть ли не пугнул своих подчиненных каторгой за нарушение закона; а что обещался быть беспощадным — за это ручаюсь.

Подчиненные повесили носы.

— Что это, скажи ты мне, за прогресс такой, и откуда нам этого зверя прислали? допрашивал один подчиненный другого, сидя за графином.

— Не пойму, вот хоть убей не пойму! склонив голову, лепетал собеседник.

— Где же тут справедливость? Думали: вот-вот награды пришлют, — ан, глядь, прогресс прислали, да еще этого чорта!

— Всех, должно, под телесное наказание подведут.

— Все крохи, какие долголетнею службою собрал, и тех лишишься.— Эх, выпьем!

— Выпьем.

И злополучные чиновники вырезали по здоровеннейшему стаканищу.

Действительно, приезд нового лица произвел в городе самые разнообразные толки. Одних занимал вопрос: кто к кому прежде сделает визит? т. е. приезжая ли власть предупредит власти обсидевшиеся, или власти обсидевшиеся предупредят приезжую? Других — другой: будет ли приезжая власть давать балы и поедет ли сама к обсидевшимся, если попросят? Третьи задумывались над тем, берет ли приезжая власть и если берет, то чем: натурой или деньгами? Некоторых просто никакие вопросы не занимали, и они сидели друг против друга, выпуча глаза, как будто

желая сказать: «власть она или не власть, а водки выпьем». Портных занимал вопрос: кому платье будет заказывать? сапожников: кому сапоги? прачек: кому белье будет отдавать в стирку? и проч. А жену сторожа в том присутственном месте, куда власть приехала в начальники, так ту, кажется; занимали все вопросы вместе, почему она ухватила из печи горшок со щами, да и выплеснула их за дверь, на филейные части собаки, которая хотя и взвизгнула, но тем не менее мясо-таки утащила.

После речи, сказанной властью и разнесенной подчиненными по городу, на всех напал какой-то панический страх. Один советник до того струсил, что приказал запереть ставни в доме, лег на кровать, накрылся двумя одеялами, шубой и жениным салопом (дело было летом), а прислуге строго-на-строго наказал: «каждому, кто меня спросит, отвечать, что барин, мол, три года тому назад уехали в Саламанку, на теплые грязи». Другой отличился еще лучше: обложил себя всевозможным оружием и три дня, три ночи просидел на одном месте с заряженными пистолетами в руках. Жена асессора, после рассказов мужа об речи, ударилась бежать из дому, неизвестно куда, и была отыскана только на другой день, в близлежащем лесу. Будочник, увидя проезжавшую мимо власть, до того растерялся, что, вместо того, чтобы отдать честь, ухватившись обеими руками за голову, принялся кричать «караул!» и т. д. и т. д.

Между тем страх скоро прошел. Власть поехала с визитами. Правда, и тут горожане-таки побаивались гостя: так, одна барыня, прежде чем выдти к нему, долго стояла в смежной комнате, нашептывая: «помяни царя Давида и всю кротость его», а потом, вышедши, тут же и выкинула, — но зато другие вели себя во время свидания довольно смело. Губернский прокурор даже позволил себе некоторую вольность, вставив во время разговора два раза междометие хе-хе-хе, при чем, впрочем, на лице его никак не складывалась улыбка.

Разговоры шли, разумеется, большею частью о службе, долге и проч. Гость выказал при этом замечательную эрудицию и ум, ловко вставляя то Филиппа Красивого, то Черного Принца, то вольнодумца Вольтера.

— Вы в литературе тоже служите? спрашивала гостя жена товарища председателя гражданской палаты.

— Да, пописываю.

— И нас опишете?

— Помилуйте.

Гость улыбнулся.

— У нас был тут один писатель, так того даже страшно в дом принять было — везде смуты поднимал: это, говорит, я для романа почву готовлю.

Гость опять улыбнулся.

— Нет-с, я романов не пишу: в них не видно этого... служения общему делу. Наше призвание иное: мы просветители массы, и просветители путем более реальным, более близким к цели. Мы бичуем порок и прокладываем дорогу добродетели.

— Капулька! рассказывала потом жена товарищу председателя. — Ах, еслиб ты знал, какой он умный, как хорошо он мне рассказывал о пороке, как долго: вот столько, и товарищиха председателя отмеряла руками в воздухе аршина полтора.

— Что, что такое? нахмурился муж. — Это значит вроде Саврасова опять... почву для романа готовит.

Прошел день, другой, неделя прошла. К власти стали приглядываться и увидели, что она ничего — смирная, больше на словах горячится.

— Ну что, жена, как? весело проговорил недели этак через две чиновник Прожженов, возвратившись из присутствия к обеду.

— А что?

— Ничего, проживем.

— Награда, что ли?

— Да говори ты, чорт, толком! Что это, слова путного не скажет!

— А ты не сердись. — Угомонился, слышь ты! нынче просителей допустил.

— Вы кого не угомоните, — с удовольствием изрекла жена.

— Верхним ходом значит барин-то идет; с этаким еще можно жить. — А ты бы мне водочки на радостях дала.

— Об чем не говорит, дурак, вечно на водку сведет, — уязвила жена, а водки все-таки дала.

Не неделя, не две и не месяц, прошел целый год. К Злючкину так присмотрелись, что и внимания на него особенного не обращают. Чиновники живут себе, да поживают, да денежки наживают.

— Под этаким еще лучше. Правду аль нет говорю, Силантий Егорыч?

— Известно.

— Другой, который до всего дотошник, тот сразу словит.

— Как же можно.

— Бывают эта из нашего брата происходят, так те, чтобы ни-ни — всё ко мне неси: не твоего ума это дело, говорит, чтобы с просителем разговор вести. А у этого кто добежал, тот и словил! Ему только бы ты на счет одежи был первый сорт, да умел концы прятать. Эх, выпьем что ли за его здоровье! Кабы подольше поначальствовал, то-то бы зашибли деньгу.

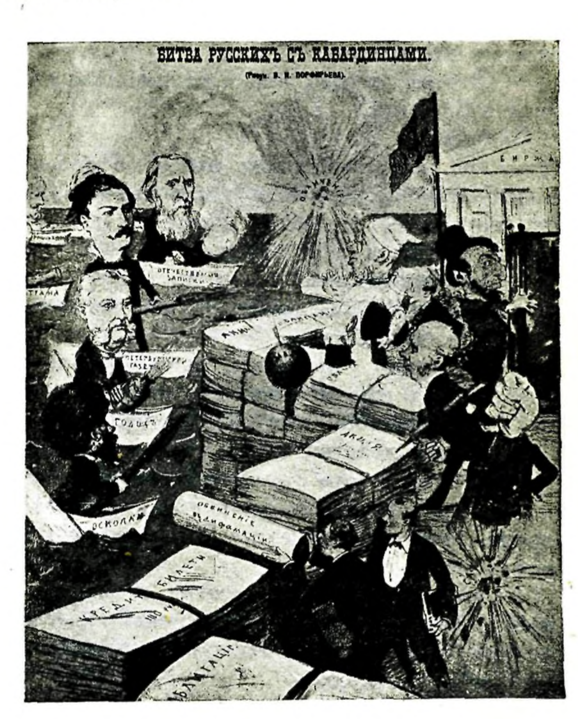
Злючкин и сам видит, что он охладел, что пятый класс его больше не веселит, что нужно лезть выше, нужно искать славы и почестей в размерах несколько позначительнее. Опять принялся он ворошить мозги.

— Что тебе? спрашивают те.

— Как бы в четвертый перебраться?

— Ишь, чего захотел.

— Нет, в самом деле, как бы? подумайте.



КАРИКАТУРА НА ЩЕДРИНА — РЕДАКТОРА «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

Рисунок В. И. Порфирьева в «Осколках» 1882 г., № 41

— У нас фосфору мало, — отвечают мозги.

— Молешотта проклятого начитались, сейчас вижу,— кольнул Яша.

— Мóлешотт — это обо мне, — заурчало брюхо.

— Ну, все поднялись!

— Да ты дай мне высказать свои убеждения, — взывает брюхо.

— Ну!

— Купил бы ты деревеньку.

— Ну!

— Завел бы хозяйство хорошее, индюшек бы грецкими орехами откармливал, цыплят выводил...

— Ну!

— Дай же дух перевести... Теплицы бы выстроил, оранжереи, кормил бы меня хорошенько.

— Поди ты к чорту, глупое! выругался Злючкин, ворочаясь с боку на бок, чтобы произвести колебание в желудке, и таким образом расстроить его речь.

Закрыл наш герой глаза и мечтает. Откуда-то показывается шляпа с плюмажем и кивает.

— Не то! мало...

К шляпе, около кокарды виснет ключ.

— Мало...

Голубые и красные ленты вьются в воздухе.

— Ну, вот если все вместе, так еще, пожалуй... можно.

— Не много ли захотел? — шепчет какой-то голос.

— Я, брат, посмотри еще чего добьюсь, — уверенно бормочет Злючкин: — титул какой-нибудь ухвачу.

И стал Яша с этого времени хлопотать о том, чтобы в четвертый класс перелезть. Делал авансы и там, и сям, и в том, и в другом месте вилял хвостом, ставил на вид свои заслуги, словом с целью нежною

Слился всей своей душой мятежною, —

нет, не выгорает.

— Это всё оттого, что я не так дело повел, что скоро я, дурень, успокоился на лаврах.

Задумался.

— Ба! вот счастливая мысль! Попрошусь в перевод на то же место, поведу там дело, как и здесь сначала, но зато уж не успокоюсь — нет, не успокоюсь, шалишь! Здесь-то неловко переменяться теперь — не надуешь, а там я себя покажу.

— Не прошибись! возопили разом и мозг и брюхо.

— Молчите вы, дураки! лучше вас понимаю, что делаю.

— Ну, как знаешь.

— Отлично, отлично! подпрыгивал Яша. — Так и сделаю, так и сделаю! Да еще что выкину, чтобы зарекомендовать себя: всех здешних отхлещу. Конечно! сажусь и пишу.

Злючкин действительно сел к письменному столу, и тотчас же из-под пера его вылилось заглавие статьи.

— «Скопствующие каплуны»... нет это не ловко; это что-то выходит вроде засаленного сала. Разве обернуть? «Каплунствующие скопцы»... опять не ладно.

— Не утруждай ты мозгов своих, не злобься, — шепчет какой-то тайный голос: — а пиши ты спокойно. Ведь ты сам знаешь, что у тебя только то и выходит недурно, что является непосредственно, без потираний лба ладонью.

— Я хочу поядовитее написать.

— Да уж пробовал ты эту ядовитость, да выходило всегда так, что или статью не примут, или редакция возвратит для поправки, написав на полях такую же другую, как твоя.

Через месяц Злючкин уже мчался на почтовых в другой город, а в журналах появились его статьи о только что покинутой юдоли.

— Отлично, отлично, — нашептывал дорогою Яша.

Между тем, приезд моего героя здесь уже не произвел такого подавляющего впечатления, как в первом городе. Куры не мчались с улицы на двор, как там; будочники не кричали «караул» вместо «здравия желаю»; лошади не шарахались в сторону, и проч. Короче: жители уже знали, что за птица к ним едет, потому что заранее снеслись с кем было нужно и получили самые точные сведения.

Злючкин просто позеленел от злости, когда, прождавши несколько дней, увидел, что никто не является к нему поздравить с приездом.

— Неужели промах? — спросил он себя, и начал делать визиты.

Везде принимают его как самого обыкновенного человека: барыни не выкидывают в его присутствии, дети не вопят, местные власти мужеского пола не теряют употребления языка, — словом, Яшу в каждом доме просто кипящей смолой обдают.

Наступил день знакомства с подчиненными; эти тоже смотрят как-то весело, даже саркастически, так что речь с каторгой и на ум не пришла при виде плутоватых физиономий.

— Провалился, провалился! лепетал Злючкин, воротившись домой.

И заскрежетал, заскрежетал зубами бедный Яша.

— Мозги! озлобленно крикнул он.

— Что тебе? болезненно отозвались мозги.

(Я слышал раз, как один медик, пришедши в анатомический кабинет для получения различных препаратов, спросил между прочим: нет ли сушоных мозгов? за что и был осмеян. Теперь я был готов пари держать, что сушоные мозги существуют и что они находятся в настоящую минуту в голове Яши: — так мало было жизни в их словах, служивших ответом на зов.)

— Помогите!

Мозги молчали.

— Мозги!

— Что тебе?

— Да что у вас языка что ли нет: не можете путно ответить?

Опять молчание.

— Деревеньку бы купил, — вмешивается брюхо.

— Да молчи ты, проклятое!

— Индюшек бы грецкими орехами откармливал, цыплят выводил...

— Ах, дери тебя черти! и Яша, как безумный, заметался, стараясь подавить и расстроить желудочный бред.

Долго бы промучился мой герой, не зная, как поправить дело, если бы ему не явился на помощь известный уже читателю гений, подстрекнувший когда-то Яшу слиберальничать.

— Эк, брат, ничего-то ты сам не придумаешь, всё-то другие должны помогать, — изрек гений-покровитель.

— Спаси, голубчик, погибаю!

Злючкин протянул к нему руки.

— Хорошо, хорошо, помогу.

— Что же мне делать? что делать? ломая руки, бормотал Яша.

— Теперь тебе остается одно средство.

— Именно?

— Сретроградничай.

— Да как же, как же? научи!

— Вона, этому еще учить. Это либерализму нужно учиться: а ретроградства только, сделай милость, пожелай.

— Желаю.

— Ну вот жди случая, а потом пользуйся им.

Гений скрылся.

Яша начал размышлять как бы ему половчее сретроградничать.

Случай сейчас же представился. Злючкин воспользовался им, но — увы! — вышел мыльный пузырь. Дело, кроме того, повернулось так плохо, что Яша потерял кредит и в противном стане, где он тоже не мало заискивал. (Впрочем, об этом казусе мы поговорим впоследствии. Ему мы намерены даже посвятить особую статейку, тоже в виде романса.) [5]

Последняя неудача окончательно сразила Яшу.

— Этот ли еще путь не был верный? рассуждал он, чуть не со слезами на глазах. — Что же теперь делать остается?

— Купил бы ты деревеньку, — подсказывает брюхо.

— Только этого еще не доставало.

И опять усиленные телодвижения, чтобы заставить врага молчать.

Думал, думал Яша: гений не приходит, подставивши два раза ногу; мозги высохли, брюхо чепуху несет, — вот и надумал он выйти в отставку. «Авось, мол, для того, чтобы не бросал службу, в четвертый пустят». Ничего — выпустили, даже слова не сказали.

— Хорошо же, — злобствует он: — я вам насолю!

Делать нечего, покорился Яша брюху, послушался его глупых советов, последние деньжонки, приобретенные от честной и бескорыстной служебной деятельности, убил на деревню. Занялся хозяйством: тимофей-траву пополам с клевером сеет, американский овес разводит, плуги английские завел, веялку и молотилку купил, — а сам все прислушивается, все прислушивается: не будет ли откуда благоприятных вестей.

Не долго прислушивался мой герой. Дело повернулось как-то так, что Цинцинат наш вдруг очутился в числе людей близких к редакции одного журнала.

— Теперь нужно ковать железо, пока горячо, — рассуждал Яша, и тотчас же взобрался на ходули.

Стоит Злючкин день, стоит другой, месяц стоит, — никто его не замечает.

— Сём-ка я голос возвышу, — рассуждает Яша.

Возвысил.

Опять никто не замечает. Ходят мимо него разные «мальчишки», видят парень ломается, старается обратить на себя их внимание — смеются «мальчишки», скоморохом называют.

— Разве не видите, что я колосс, — кричит им сверху Злючкин.

— Какой ты колосс, ты просто искусно сделанный автомат, — острят «мальчишки».

— Я ведь за вас, господа; я люблю молодежь, — кричит Яша.

«Мальчишки» разразились хохотом, и засвистали, засвистали...[7]

И ругнул же их за это Злючкин: так ругнул, как только может ругаться бессильная злоба!

Стоит Яша на ходулях, колосса изображая, а сам все назад посматривает, все назад посматривает: не вывернется ли где местечко хорошенькое.

— Хоть бы откупную систему что ли какую придумали, тогда, по крайней мере, денег бы нажил, а то тут чорт знает из-за чего бьешься! со слезами на глазах рассуждает Злючкин, измышляя различные пасквили.

Жалко тебя, бедный Яша! По человечеству жалко, как говаривали старики наши когда-то.

Р. S. Если тебе, читатель, романс мой понравился, то я обещаюсь почаще говорить с тобой в таком роде; если же нет, то что же делать?

«Не прославиться,
Угодить тебе хочу,
Буду рад, коли понравится,
Не понравится — смолчу».

А теперь побеседуем-ка с тобой об чем-нибудь о другом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Неизвестному корреспонденту

[1] Корректура письма «Неизвестному корреспонденту», с которой письмо печатается, не датирована. Можно только установить, что письмо написано не позже 17 марта 1864 г. (дата цензурного разрешения мартовской книжки «Современника», где напечатана очередная хроника Салтыкова из цикла «Наша общественная жизнь»; в эту хронику вошла часть материала письма, оставшегося ненапечатанным). Об обстоятельствах, при которых письмо написано, см. во вступительной статье.

2. Журнальный ад

[1] «Журнальные семейства».— После смерти М. М. Достоевского (ум. 10 июля 1864 г.) право издания «Эпохи» перешло к его вдове Э. Ф. Достоевской и ее «семейству»: под «семейством» разумелся конечно Ф. М. Достоевский, имя которого как недавнего политического «преступника» не могло быть официально выдвинуто. И. Салтыков — как здесь, так и в дальнейшем (например в статье, так и озаглавленной «Гг. семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха») — под «семейством М. М. Достоевского» иронически разумеет Ф. М. Достоевского, фактического издателя и редактора «Эпохи». Разрешение на издание «Эпохи» Э. Ф. Достоевской под редакцией А. У. Порецкого было дано в конце июля; объявление с упоминанием о новых издателях появилось в июньской книжке «Эпохи», вышедшей в конце августа (ценз. разр. 20 августа, объявление 30 августа). Не считаю обязательным отодвигать на этом основании дату написания «Журнального ада» до начала сентября 1864 г., так как вопрос решился уже к началу августа, и решение его могло быть известно в литературных кругах; возможно, что Салтыков знал и о выражении «осиротевшее семейство», фигурировавшем в официальной переписке по этому делу (см. публикацию А. С. Долинина «К цензурной истории первых двух журналов Достоевского» в сб. «Достоевский», т. II, Л., 1925).

[2] «Человекообразные» — здесь группа «Русского Слова» (см. вступительную статью). Но уже в это время Салтыков применял образ «человекообразных» и к противоположному лагерю. Так в очерке «Она еще едва умеет лепетать» из цикла «Помпадуры и помпадурши» (впервые в «Современнике» 1864 г., № 8) помпадур Митенька Козелков и друг его Петя Боков названы «двумя средних лет чимпанздзе»; к этому месту сделана сноска: «Чимпандзе — особый вид из семейства человекообразных обезьян, после гориллы наиболее подходящий своею физическою организацией к человеку». Позже — в «Господах ташкентцах» — Салтыков сравнивает реакционных бюрократов, делающих карьеру на борьбе с нигилизмом, с гориллами и спрашивает: «Чего хотели эти человекообразные? чему они радовались?» («Что такое ташкентцы»,— впервые в «Отеч. Зап.» 1869, № 11). «Опытный сановник Чимпандзе» упоминается в «Старческом горе», 1879 г.

[3] Макар Алексеич Девушкин — герой «Бедных людей» Ф. М. Достоевского, иронически отождествленный здесь с самим Достоевским. В борьбе с Достоевским Салтыков не раз иронически пользуется общепринятым историко-литературным сопоставлением Достоевского с Гоголем и «Бедных людей» с «Шинелью». Еще в «Тревогах времени», открывших полемику с Достоевским («Современник» 1863, № 3), Салтыков писал: «Все-то в вас чужое: ваши мысли суть объеденные чужие мысли, ваше сентиментальничанье с либерализмом есть тысячекратно повторяемое трясение гоголевской Шинели...» Ту же насмешку продолжает он в сказке «Самонадеянный Федя» («Современник» 1864 г., № 4, «Свисток»:

Федя богу не молился,
«Ладно», мнил, «и так!»
Все ленился и ленился
И попал впросак.
Раз беспечно он «Шинелью»
Гоголя играл

И обычной канителью
Время наполнял...

На эпиграмму Салтыкова Достоевский отозвался через пять лет в «Идиоте», включив ее в перефразированном виде в клеветнический памфлет против князя Мышкина; эпиграмме предшествовал прозрачный намек на Салтыкова: «Говорят, один из известнейших юмористов наших обмолвился при этом восхитительною эпиграммой, достойною занять место не только в губернских, но и в столичных очерках наших нравов:

«Лева Шнейдера шинелью
Пятилетие играл
И обычной канителью
Время наполнял...
Возвратясь в штиблетах узких,
Миллион наследства взял,
Богу молится по-русски,
А студентов обокрал».

(Соч. Достоевского. ГИЗ, т. VI, стр. 234—235; разрядка здесь и ниже моя.—*В. Г.).*

[4] Пародия на общий смысл и стиль характерных реплик героев Достоевского и на отдельные выражения «Бедных людей», с одной стороны, и «Записок из подполья» — с другой. Ср. в «Бедных людях»: «Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человек, потому что я маленький человек»... (Соч. Достоевского. ГИЗ, т. I, стр. 40); «Маточка моя, я не зол и не жестокосерден; а для того, чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более не менее, как кровожадным тигром, ну а у меня сердце овечье, и я, как вам известно, не имею позыва к кровожадности» (там же, стр. 78); в «Записках из подполья»: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек» (там же, т. IV, стр. 109); «Да в том-то и состояла вся шутка, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуты самой сильнейшей жолчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю и себя этим тешу» (там же, стр. 110). Выражения «матинька вы моя» у Достоевского нет.

[5] То же выражение в статье «Гг. семейству М. М. Достоевского» (см. вступительную статью).

[6] «Картонный ад, картонные турниры» и т. д.—Ср. в «Нашей общественной жизни» 1863 г., «Современник», № 3: «Часто приходит мне на мысль, что все мы, сколько нас ни есть, живем и действуем на каких-то бесконечно-обширных театральных подмостках, которые почему-то называем ареною жизни; что над нами стелется холстинное небо, освещаемое промасленным бумажным кругом, сквозь который тускло светится мерцание стеаринового огарка; что вокруг нас простираются холстинные леса, расстилаются холстинные луга, ходуном ходят холстинные волны; что, хотя на нас падает снег и дождь, но снег этот бумажный, дождь шнурковый, что мы питаемся картонными кушаньями, пьем примерное вино, воюем картонными копьями и произносим картонные речи». В «Нашей общественной жизни» 1863 г., «Современник», № 5: «Подобная работа (речь идет о мнимом «возрождении».—*В. Г.)* все равно, что театральная декорация: унесут и нет ее: был лес — на место леса — комната, на место комнаты — ад, все это дело балетмейстерской фантазии». В «Нашей общественной жизни» 1863 г., «Современник, № 12: «Я говорил: если тебе кажется, что небо разваливается, что земля трепещет и стонет, что воды выходят из берегов, то не тужи и не убивайся, ибо небо это картонное, земля картонная и вода картонная».

[7] «Пять лет перед сим...»—1859 и следующие за ним годы были временем расцвета радикально-демократической публицистики, критики и сатиры (важнейшие статьи Чернышевского, Добролюбова; «Свисток», «Искра»). Возможно, что, указывая на 1859 г., Салтыков имел в виду и недавнее прошлое своих теперешних врагов: Достоевского, который, в 1859 г. только что вернулся из ссылки и возобновлял литературную деятельность, и Писарева, впервые в этом году выступившего в печати.

[8] «Микроскопические деятели»—мелкие обличители типа Розенгейма, Вл. Елагина, Н. Львова и др.

[9] «Московские публицисты»—И. С. Аксаков («День») и М. Н. Катков («Московские Ведомости»). «Петербургские газеты»—прежде всего «Сын Отечества» А. В. Старчевского, затем «Голос» А. А. Краевского. «Прислушайтесь к хладно-умеренно-размазистым разглагольствиям петербургских газет» — ср. обязательное выслушивание «противной либерально-размазистой болтовни» («Наша общественная жизнь» 1864 г., «Современник», № 3).

[10] «Все один и тот же выжатый лимон» — идея славянофильского национализма. «Выматывание лент»—ср. «Нашу общественную жизнь» 1864 г., «Современник, № 1—2: «Ими (т. е. теми же «московскими публицистами», о кото-

рых речь идет и здесь.— *В. Г.)* внезапно овладевает горячечный бред в соединении с свистопляскою; они делаются способными глотать огонь, выматывать из себя сколько угодно аршин лент, чесать у себя ногой за ухом, пожирать свое собственное тело, одним словом, приводить публику в такое состояние, чтобы она могла сказать: «о! да нам с этакими разухабистыми молодцами никаких театров не надо!» Ср. еще в «Похвале легкомыслию»: «явное пристрастие к фокусникам и престидигаторам!» («Искра» 1870 г., № 8).

[11] «Дождевики».— Ср. в «Нашей общественной жизни» 1863 г., «Современник», № 9: «уймутся дожди... и все эти пузыри лопнут, все эти белые здоровенные дождевики мгновенно позеленеют и обратятся в прах».

[12] «Форрейторы» и т. д.— выражение Ив. Аксакова, полемически направленное против «западников». Россия сравнивалась с тяжелой колымагой, запряженной шестериком «здоровых, крепких, но несколько ленивых коней» и тройкой «выносных или передовых, на одной из которых усердно беспокоится бойкий форрейтор»... «Беспокойный форрейтор, приударив своих лошадей не во-время, так натянул постромки, что они лопнули; колымага с шестериком засела в трясине, на самом взлобе дороги, а форрейтор с своими выносными конями «ускакал вперед». Дальше «форрейторам ставилась в упрек погоня за блудящими огоньками («идеями века») и неповиновение «кучеру», под которым могло разуметься только правительство» («День», № 16 от 27 января 1862 г.). Салтыков вспомнил об этой статье Аксакова в сентябрьской хронике «Нашей общественной жизни» 1863 г.: «У Дня есть еще одна особенно замечательная фигура, называемая фигурою форрейтора», и т. д.; приведено аксаковское сравнение, после чего добавлено: «Положение драматическое, но для обеих сторон равно непользительное. Замечательнее всего, что Русляндия постоянно обвиняется в том, что без оглядки скачет «вперед»... Каков скакун!» Ср. речь Митеньки Козелкова в очерке «Она еще едва умеет лепетать»: «Но, с другой стороны, ежели я буду желать и стремиться один, если я буду усиливаться, а почтенные представители отечественной гражданственности и общественности не будут оказывать мне содействия... то, спрашиваю я вас, что из этого может произойти? А вот что, друзья мои: я могу уподобиться форрейтору, который, не замечая, что постромки, привязывающие к экипажу выносных лошадей, оборвались, все мчится вперед и вперед, между тем как экипаж давно остановился и погряз в болоте» (Соч. Салтыкова. ГИЗ, 1926, т. II, стр. 105).

[13] «Воззвания к невежеству, ненависти, злобе, мести» — имеются в виду вероятно антисемитские статьи «Дня»; см. например «День» от 8 августа 1864 г. Автор статьи предвидел неизбежные обвинения в разжигании национальной вражды: «Найдутся, пожалуй, такие господа, которые обвинят нас в желании разжечь взаимную ненависть христиан и евреев». Если отодвинуть дату «Журнального ада» на начало сентября — в этом месте можно видеть намек и на статьи Каткова в «Московских Ведомостях» от 5 и 6 сентября 1864 г. по поводу книги Шедо-Ферроти; статья была направлена против российских «поклонников Герцена», на которых возлагалась вина за «мятеж, кровопролитие, тайные политические убийства, казни, бесславие и позор».

[14] «Тропы и фигуры». Это выражение Салтыков и раньше употреблял в полемике с «Днем». Ср. в уже цитированной сентябрьской хронике: «...фигуры и тропы, которым нас обучали в детстве, заключаются в нас самих... В каких-нибудь немногих номерах газеты совместить столько реторической сущности — как хотите, а это труд громадный». Смысл этого сравнения: разоблачение абстрактности и бессодержательности публицистической патетики славянофильского органа.

[15] Ближайшим образом имеется в виду вероятно статья в «Сыне Отечества» от 14 августа 1864 г., № 194: «Об издании «Сына Отечества» в 1865 году». Статья эта имела характер редакционной программы; программа же заключалась в желании служить «правде и истине», а не «известному взгляду, известному направлению, известным идейкам». Автор статьи недоумевал: «что люди могут называть консерватизмом и либерализмом», и утверждал, что «правда и истина... всегда либеральны». Выдвигая девиз «все хорошо в свое время», оппортунистический орган доказывал, что обличительная литература «сделала свое дело, и довольно», что если «было время, когда резкое слово и всякая задевающая статья были в большом ходу»— теперь они могут быть вредны». Афишируя таким образом перед правительственными сферами свою благонадежность, «Сын Отечества» тем самым подкапывался под левую прессу, в частности под «Современник»: нет сомнения, что выражения «резкое слово» и «задевающая статья» метили и непосредственно в Щедрина. Словами «о чем-то помалчивает» и т. п. Салтыков намекает вероятно на то место статьи, где автор доказывал, что газета, распространенная «во всех классах общества» и преимущественно «между средним классом», «...должна быть очень осторожна в своих выражениях и кроме того должна и говорить особым языком и в особых формах излагать мысль и иначе раскрывать ее; а о некоторых предметах говорить настолько, насколько это необходимо, нужно и возможно». К «хладно-умеренно-размазистым» петербургским

газетам Салтыков относил вероятно и «Голос» Краевского, который и раньше высмеивал под посевдонимом «Куриное Эхо».

16 Объединяя прозвищем «стрижи» всю группу сотрудников «Эпохи», Салтыков ближайшим образом разумеет здесь Ф. М. Достоевского. «Сплетни, сплетни без конца» — намек на «роман о Щедродарове, который так же оценен и в отрывке «Но если уж пошла речь об стихах» и в статье «Гг. семейству М. М. Достоевского». Выражение «хныканье» тоже имеет соответствие в одном одновременном отзыве: в рецензии на роман Конст. Леонтьева «В своем краю» упоминается о «хныкательной эссенции, изготовляемой г. Достоевским» в числе «ядов», из которых составлен роман Леонтьева.

17 Этой фразой Салтыков воспользовался впоследствии в рецензии на «Суету сует» Н. Соловьева (см. вступительную статью).

18 «Почва». — Слово «почва» действительно было девизом «Времени» и «Эпохи»; отсюда позднейшие термины «почвенники», «почвенничество». Идея возвращения к «народной почве» усиленно пропагандировалась Достоевским, Ап. Григорьевым, Страховым. См. например в объявлении об издании «Времени» в 1862 г., написаном вероятно при ближайшем участии Достоевского: «Но, отказавшись от того, что было бесплодно и губительно в явлениях нашей прежней жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна своя почва, свой климат, свое воспитание. Без крепкой почвы под ногами и движение вперед невозможно: еще пожалуй поедешь назад или свалишься с облаков». Идеология «почвенничества» — объективно-реакционная — вызывала отпор и насмешки со стороны демократического просветительства, стремившегося ликвидировать остатки феодализма и европеизировать Россию до конца. Характерна например «фантастическая сцена» в «Искре» 1863 г. от 22 февраля: «Ванна из «почвы» или галлюцинации М. М. Достоевского».

19 «Без подлежащего, сказуемого и связки» — один из «щедринизмов», выдающих авторство Салтыкова. В очерке «Она еще едва умеет лепетать» (напечатанном в «Современнике» 1864 г., № 8) после изложения речи Митеньки следует: «Правитель канцелярии сейчас же определил ее достоинство, сказав, что это речь без подлежащего, без сказуемого и без связки, но «преданные» поняли. С своей стороны, хотя я и согласен с мнением правителя канцелярии, но нахожу, что такого рода красноречие составляет истинное благополучие и положительный ресурс при нашей бедности. С помощью его можно администрировать, можно издавать журналы, можно даже написать целый ученый трактат. И будет хорошо». Интересно, что в рукописи, после слов «можно издавать журналы» первоначально было: «Пример: стрижи, которые в течение трех лет издавали журнал, не произнеся ни одного подлежащего, ни одного сказуемого и ни одной связки» (Собр. соч. ГИЗ, т. II, стр. 98; за указание варианта благодарю К. Н. Григорьяна.— *В. Г.*). Ср. в «Дневнике провинциала в Петербурге», гл. II (впервые в «Отеч. Зап.» 1872 г., № 2): «я безразличным образом сотрясал воздух, я внимал речам без подлежащего, без сказуемого, без связки и сам произносил речи без подлежащего, без сказуемого, без связки» (Собр. соч. ГИЗ, т. III, стр. 19).

20 «Множество вопросов». — Статья Н. Б. «Текучая беллетристика» («День» от 1 августа 1864 г.), посвященная разбору «Марева» Клюшникова и «Взбаламученного моря» Писемского, начинается фразой: «В настоящую минуту, когда весь строй нашей общественной жизни испытывает переходный кризис и отовсюду возникает множество экономических вопросов — и литература у нас также сошла вся на публицистику».

21 «Яды». — Ср. в «Нашей общественной жизни» 1863 г., № 3. «Что благородство чувств есть один из самых сильно действующих ядов нашей литературы — это я совсем не шутя говорю. Дело в том, что благородные чувства и хорошие мысли грозят затопить русскую литературу...» Курсив слова «ядов» — в самом тексте. Здесь приведен пример почти того же «яда», что и в «Журнальном аде»: мнимое «благородство чувств», за которым скрыта пустота. Выражением «яды» в подобном же смысле Салтыков пользовался не раз. Ср. «Сенечкин яд», первоначально входивший в цикл «Наша общественная жизнь» («Современник» 1863 г., № 1—2) ср. также перечисление различных ядов литературы в рецензии на роман К. Леонтьева («Современник» 1864 г., № 10).

22 Под «журналами, в которых когда-то нечто было говорено и именами, которые когда-то, что-то обещали» имеются в виду прежде всего «Русский Вестник» Каткова, затем «Эпоха» Достоевского (сменившая его же «Время»).

3. [Отрывок из полемической статьи]

1 До этого «речь шла» вероятно о стихах Фета, на которые ссылался Достоевский в статье «Чтобы кончить»:

Жди ясного на завтра дня:
Стрижи мелькают и звенят.

Приведенный затем отрывок Пушкина мог быть известен Салтыкову из «Материалов для биографии А. С. Пушкина» Анненкова, где он впервые был опубликован («Сочинения Пушкина», П., 1855, т. I, стр. 334). Анненков произвольно отнес этот отрывок к «альбому Онегина»; за ним следовали и позднейшие редакторы вплоть до И. А. Шляпкина, опубликовавшего отрывок в книге «Из неизданных бумаг Пушкина» (П., 1903) с добавлениями, исправлениями и вариантами (впрочем произвольно скомпанованными и не всегда верно прочитанными). Наиболее исправно воспроизведен отрывок в новейших изданиях Пушкина (Приложение к журн. «Красн. нива» на 1930 г., кн. 4, стр. 212 и в изд. ГИХЛ, т. II, стр. 275). Салтыков воспроизводит отрывок в той закругленной форме, какую придал ему Анненков; на самом деле отрывок неокончен и неотделан. Так например, последние две строки (на которых основана мысль Салтыкова) в пушкинском черновике читаются так: «Но что (середина строки не заполнена) чудно». «Всех вместе презирать и трудно».— На этом отрывок обрывается; фраза видимо незакончена.

² После этой цитаты в рукописи зачеркнуто несколько строк, варьирующих мысли двух следующих абзацев окончательного текста. Невосстановленным оказалось любопытное примечание в скобках к словам «Пушкин, написавший эти стихи»: «сим свидетельствую, что талант великого русского поэта имеет во мне одного из ревностнейших почитателей».

³ Объяснение всех этих «зоологических» псевдонимов см. во вступительной статье.

⁴ Ср. во вступительной статье цитату из «Литературных мелочей» о «псевдо-Зайцеве», сотруднике Кузьмы Пруткова. Упоминания о Кузьме Пруткове, если искать здесь псевдонима определенного лица, не вполне ясны; возможные предположения нуждаются в проверке. Во всяком случае эти упоминания не имеют ничего общего с позднейшими упоминаниями в «Дневнике провинциала» 1872 г. и «Помпадуре борьбы» 1873 г., где под Кузьмой Прутковым разумеется М. Н. Лонгинов.

⁵ Говоря: «Современник вас обманул, стрижи!» Салтыков имеет в виду полемическую статью Антоновича «Стрижам (послание обер-стрижу, господину Достоевскому)», помещенную в «Современнике» 1864 г., № 7 за подписью «Посторонний сатирик, автор «Стрижей». Антонович писал (отвечая на «Щедродарова»): «Бедные стрижи! вы сделались жертвою самой смешной мистификации; вас надули, автор «стрижей» вовсе не г. Щедрин, а я, ваша месть попала не туда, обрушилась на неповинную голову. Итак, оставьте в покое г. Щедрина по делам об изобретении стрижей и обращайтесь единственно и исключительно ко мне, к настоящему автору и изобретателю «стрижей»; я дорожу своим изобретением и не потерплю, чтобы честь его приписывали другому». Дальше Антонович рассказывает историю, скорее всего вымышленную, о встрече с каким-то «господином, который везде толкается»; выпытав у Антоновича, что автор «Стрижей» Щедрин, господин этот сообщил ему нужные сведения об «Эпохе»; между прочим и то, что сатиру на Щедрина «нацарапал сам обер-стриж, господин Достоевский». Вся эта мистификация, предпринятая, надо полагать, с ведома Салтыкова, имела вероятно целью ввести в заблуждение читателей «Современника» и представить Достоевского в особенно смешном виде. Серьезного намерения мистифицировать «Эпоху» предположить никак нельзя; «Эпоха» и не была введена в заблуждение: это доказывается статьями и Достоевского, и Страхова. Так в октябрьской книжке «Эпохи» Страхов говорит об авторстве Щедрина с полной определенностью: «После своего промаха (т. е. после насмешек над «Что делать?» — *В. Г.*) Щедрин сделал еще в «Современнике» два подвига, бывшие так сказать его лебединой песнью в этом журнале. Именно — обругал деятелей «Русского Слова» вислоухими и юродствующими и написал «Стрижей». Обращаю внимание на слова Страхова о «лебединой песне»; как из этих слов, так и из всего дальнейшего такста страховской статьи никак нельзя сделать того заключения, какое сделано в главе XI монографии Иванова-Рузумника: будто статья Страхова «приписывала ему, Салтыкову, все статьи «Постороннего сатирика», написанные Антоновичем во второй половине 1864 года». Согласно изложению Иванова-Разумника, «статью свою Страхов заканчивает рассказом про эпизод со «Стрижами»; указывая, что эту «драматическую быль» написал несомненно Салтыков, Страхов прибавляет: «он написал еще пять статей против «Эпохи» (две в июле и по одной в августе, сентябре и октябре)». Но приведенную здесь фразу Страхов не «прибавляет» к рассказу о «Стрижках», а отделяет от него целой страницей, на которой излагается дальнейшая полемика между «Эпохой» и «Современником»; имя Щедрина в этом изложении вовсе не упоминается; речь идет о статьях «Современника», а не Щедрина; слова «еще» у Страхова также нет.

⁶ «Современник» 1864 г., № 7, стр. 155.

⁷ Имеется в виду то место из статьи «Чтобы кончить» («Эпоха» 1864 г., сентябрь), где Достоевский, демонстративно цитируя стихи Фета о стрижах (см. прим. 1-е), находил сравнение со стрижами нисколько не обидным: «Итак знайте, что

стрижи, по нашему мнению — очень хорошенькие птички: во-первых, они красивы, а во-вторых — предвещают ясную погоду». Это обращение Достоевского к «Современнику» было тотчас же высмеяно в стихотворениях В. С. Курочкина «Предвещание на новый год» («Искра» 1864 г., № 50 от 30 декабря). Несомненно демонстративный характер имел и придуманный Достоевским псевдоним «Семен Стрижов», который фигурирует в журнальном тексте повести «Крокодил» («Эпоха» 1865 г., № 2). Объяснение было дано в «Предисловии редакции» (впоследствии отброшенном), где рассказывалось, что рукопись «Крокодила» доставлена неизвестным лицом при неподписанном письме. «Так как рассказ тоже никем не подписан, то редакция и уполномочила Федора Достоевского, для виду, подписать под ним свое имя и в то же время, в видах справедливости, изобрести приличный псевдоним и неизвестному автору. Таким образом неизвестный автор и назван был Семеном Стрижовым — неизвестно почему» (Соч. Достоевского. ГИЗ, т. IV, стр. 476).

[8] Ср. в «Стрижах» Салтыкова: «театр представляет запустелый, сырой погреб, на дверях которого красуется вывеска: «Главная редакция журнала «Возобновленный Сатурн».

[9] К. Петерсон — автор заметки в «Московских Ведомостях» 1863 г., № 109 от 22 мая «По поводу статьи «Роковой вопрос» в журнале «Время». Петерсон требовал раскрытия псевдонима (статья Страхова была подписана псевдонимом «Русский»), считая, что имя автора, «если бы оно было известно, произносилось с презрением каждым истинно русским» (основная мысль Страхова заключалась в том, что русско-польские отношения осложняются преимуществами польской цивилизации над русской). Заметка Петерсона имела характер доноса и действительно вызвала закрытие «Времени». О Петерсоне упоминается несколько раз в «Стрижах».

4. Фельетон [В. Зайцева о Щедрине]

[1] Гнейст (1816—1895) — профессор Берлинского университета. Его книги по английскому государственному праву пропагандировались «Русским Вестником» Каткова в 50-х годах. Над англофильством Каткова смеялся и Салтыков (см. «Характеры» в «Искре» 1860 г., № 25 и 28).

[2] В словах «чиновники, оставленные за штатом» — можно видеть намек на Салтыкова.

[3] Цитата из «Нашей общественной жизни» Салтыкова («Современник» 1864 г., № 3). Салтыков утверждал, что и в прошлом (т. е. 1863-м) году он «не прельщался» теми, кого теперь называет «вислоухими»: «И если я выражал свою мысль не всегда одинаково рельефно, то это происходило, во-первых, от того, что сюжет сам по себе еще слишком деликатен, а во-вторых, от того, что при срочной журнальной работе трудно и требовать, чтобы писатель был всегда одинаково ясен и изобретателен». Смысл этой фразы очевиден: Салтыков отвечает на вопрос, почему он в этом году иначе относится к группе «Русского Слова», чем в прошлом, и объясняет это обилием «срочной журнальной работы» в истекшем 1863 г. Но «Русское Слово» поняло это объяснение как самооправдание Салтыкова. Такой смысл придавал этой фразе и Благосветлов в статье «Кающийся, но не раскаявшийся фельетонист «Современника»: «Потом, уж если очень заврался, то можно прикинуться благородно негодующим и сказать: «Ну, разумеется, не поняли меня; ведь это предмет еще слишком деликатный, и говорить о нем ясно не всегда удобно». Наконец, можно сослаться и на срочную журнальную работу, от которой трудно и требовать, чтобы писатель был всегда ясен и изобразителен (курсив в «Русском Слове».—*В. Г.*); и так как подобные увертки иногда принимаются в уважение от детей десятилетнего возраста, то отчего же не попробовать вывернуться и мужу, если уж приходится очень круто. Таким образом, устраивая себе лазейку, можно всегда с некоторым удобством отступить» («Русское Слово» 1864, № 4, стр. 70—71).

[4] Объяснение дальнейших намеков, непосредственно относящихся к Салтыкову и его произведениям, см. во вступительной статье.

[5] Неточная цитата из Мея (цикл «Еврейские песни».) У Мея:

И слилась я с речью нежною
Всей душой моей мятежною.

[6] Обещание «посвятить особую статейку» эпизоду с прокламациями «Великорусс» не было исполнено.

[7] «Мальчишки»—пренебрежительная кличка, под которой реакционная журналистика и прежде всего «Русский Вестник» Каткова высмеивали радикальные и революционные литературно-общественные группы. Анализ понятий «нигилизма» и «мальчишества» был содержанием первой хроники из цикла «Наша общественная жизнь» за 1863 г. Полемизируя с Катковым, Салтыков между прочим писал: «Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие».

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ПОДЛИННЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ ЩЕДРИНА, НАПЕЧАТАННОЙ С ЦЕНЗУРНЫМИ КУПЮРАМИ И ИСКАЖЕНИЯМИ В СЕНТЯБРЬСКОЙ КНИЖКЕ «СОВРЕМЕННИКА» ЗА 1863 г.

Предисловие и комментарии В. Невского

ЩЕДРИН И ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863 г.

Публикуемый нами документ, обзор М. Е. Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь» («Современник» 1863 г., кн. 9), представляет огромный интерес не только потому, что он печатается без купюр, сделанных по воле царской цензуры, но и для разрешения важного вопроса, если не целиком, не полностью, то во всяком случае в той его части, какая дает возможность нащупать ту почву, стоя на которой можно увереннее и решительнее пойти и к более полному решению задачи. Вопрос этот заключается в следующем: что за позицию занимал Щедрин в той борьбе, какая происходила в 60-е годы прошлого века на российской общественной арене? Вопрос этот следует понимать не только в том смысле, что Щедрин стоял на правом или левом фланге борющихся сил (уже одно участие его в «Современнике» 1863 г. показывает, на каком фланге он стоял), а в том, чтобы определить, какова его позиция была именно на этом левом фланге борцов, чьи интересы он здесь защищал, к кому он больше склонялся именно здесь, какую политическую линию он отстаивал. Разрешая этот вопрос, мы тем самым подойдем и к решению более важного, главного вопроса о природе тех социально-экономических взглядов, какие характеризуют мировоззрение великого русского сатирика. Быть может всего главного вопроса не решим, но к решению его подойдем. А что действительно это так, явствует из того, что рассматриваемое нами обозрение «Наша общественная жизнь» за сентябрь 1863 г. касается самых жгучих политических проблем того времени — отношения различных классов русского общества к польскому восстанию и в связи с этим взаимоотношения «отцов» и «детей». И в этом обозрении, как и в предыдущих обозрениях за январь и февраль того же 1863 г., эта проблема взаимоотношения отцов и детей действительно и составляет главную тему рассуждений Щедрина. Печатаемое нами обозрение принимает еще больший интерес потому, что мы имеем теперь конец обзора за январь—февраль, в свое время запрещенный цензурой (отсутствие места не позволяет опубликовать его здесь).

Хотя в то время, когда Щедрин писал свои обзоры, реакция была уже фактом (нельзя забывать, что как раз в это время окончательно была разгромлена революционная организация «Земля и воля», а Н. Г. Чернышевский уже более года сидел в тюрьме, однако в городах и селах Польши еще кипело революционное движение и восставшие энергично боролись с царскими войсками).

Нечего говорить, что не только явно реакционные, махровые органы вроде «Московских Ведомостей» жаждали польской крови, но и такие газеты, как славянофильский «День», на словах отстаивавший свободу и крестьянские интересы, а на деле стоявший за прусский путь развития, т. е. в конце концов за закабаление крестьянства, метал громы и молнии против восставших поляков.

Требуя сначала добровольного соглашения русского правительства с восставшей Польшей, над чем так смеется Щедрин, «День» докатился в конце концов до позиции «Московских Ведомостей»: приходил в ярость от попыток европейских держав решить вопрос о Польше на конгрессе, утверждал, что народ русский против революционеров, и чуть ли не пропагандировал всенародный поход против поляков.

«Пламя польского восстания обхватило или обхватывает, кажется, все польское шляхетское население Западно-русского края и вызывает, в отпор себе, сопротивление русского крестьянского населения. Это уже не встреча войска с войском, а народа с народом, угнетенной русской народности с привилегированной польской», писалось в передовице «Дня» от 11 мая 1863 г.

Один из сотрудников «Дня» Л. Оптухин например в статье, помещенной в номере от 16 марта 1863 г., дописался до проекта собрать пожертвования от помещичьих излишков и выкупить недвижимые польские имущества в западных губерниях.

«Скликайте, — вопил «День», — как в 1812 году, не одни только внешние и вещественные силы, но и силы русского духа, русской мысли и слова» (№ 21 за 1863 г.).

Славянофилы, как и ярые реакционеры, смертельно испугались того буржуазно-демократического движения в 1863 г. в Польше против самодержавия, которое Ленин вслед за Марксом считал безусловно прогрессивным явлением не только со всероссийской, но и с общеевропейской точки зрения.

«...Для эпохи 40-х и 60-х годов прошлого века,— пишет Ленин,— эпохи буржуазной революции в Австрии и Германии, эпохи «крестьянской реформы» в России, эта точка зрения (К. Маркса и Ф. Энгельса.— *В. Н.)* была вполне правильной и единственно последовательно демократической и пролетарской точкой зрения. Пока народные массы России и большинства славянских стран спали еще непробудным сном, пока в этих странах не было самостоятельных, массовых, демократических движений, шляхетское освободительное движение в Польше приобретало гигантское, первостепенное значение с точки зрения демократии не только всероссийской, не только всеславянской, но и всеевропейской» (Соч., 3-е изд., т. XVII, стр. 457).

Известно, что «нигилисты» во главе с Н. Г. Чернышевским отнеслись не только сочувственно на словах к восставшей Польше, но что многие из них были связаны с ней и на деле. Не только М. А. Бакунин, пытавшийся принять участие в восстании и доставить полякам оружие, но и Н. Г. Чернышевский, в момент восстания в 1863 г. уже сидевший в Петропавловке, раньше косвенно участвовал в подготовке этого движения: он был связан с «Землей и волей» Серно-Соловьевичей, а «Земля и воля», как известно, была тесно связана с руководителями восстания.

М. Е. Щедрин в 1863 г. работал в том самом «Современнике» Н. Г. Чернышевского, который уже сидел в тюрьме, но роман которого «Что делать?» как раз в этом году печатался на страницах журнала.

Спрашивается, какова же позиция Щедрина в этом главном, основном вопросе момента? На чьей стороне его симпатии? Само собой разумеется, что они не на стороне «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника», не на стороне «Дня», «Нашего Времени» и тогдашних «Отечественных Записок». Как увидит читатель, он зло издевался и над «Московскими Ведомостями», и над «Русским Вестником», над Катковым, над славянофильскими завываниями «Дня», над всякого рода либералами и вообще над «жадными стадами литературного воронья», «темными духами», когда-то осмеянными и опозоренными и вследствие этого скрывавшимися на дне горшка». Больше того: издеваясь над «чревоугодничеством» этих «темных духов», он глубоко убежден, что их время скоро пройдет, прояснится небо «и все эти пузыри лопнут, все эти белые здоровенные дождевики позеленеют и обратятся в прах». Значит не может быть сомнения, что Щедрин ни в каком случае не разделял всех тех взглядов, какие высказывались на страницах «Дня» и других аналогичных органов, направление которых можно характеризовать как ставку на прусский путь развития. Стало быть... и Щедрин, подобно Н. Г. Чернышевскому, был против этого пути и стоял за революционный путь? Что он был против прусского пути развития, видно из всех его издевательств над бо-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ Е. ЖАКА К СКАЗКЕ ЩЕДРИНА «НЕДРЕМАННОЕ ОКО», 1932 г.



лее яркими аргументами и взглядами сторонников этого пути. Это явствует уже хотя бы из разоблачения знаменитого адреса студентов.

Но, будучи против этого пути, стал ли он на путь революционный? Попытаемся найти ответ у него самого.

«Да, — пишет он, — много вреда принесла за собой польская смута для той части русского общества, которая жаждала только спокойствия, чтобы развиваться и воспитывать себя к той свободе, которая одна представляет прочный и плодотворный залог будущего преуспеяния. Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России но вред ее, и вред весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели, как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление»... (Подчеркнуто мною.— *В. Н.*)

Если заменить слово смута, употребленное Щедриным по цензурным соображениям, словом революция, то все же основной факт остается фактом: Щедрин считает восстание в Польше вредным и полагает, что оно на время сообщило фальшивое и бесплодное направление народной деятельности и, в частности, литературной.

Само собой ясно: такое заключение показывает, что Щедрин далеко не считал восстание в Польше прогрессивным явлением. Высказываясь против «конституции» Каткова, против всяких чревоугоднических завываний Оптухина и его компании, он однако высказывается и против революционного пути развития.

Несомненно также и то, что Щедрин на стороне молодого поколения, тех нигилистов, у которых идет, по его выражению, «непрерывный процесс» с «темными духами», считающими молодежь изменниками и предателями: иначе как объяснить ту горячую защиту молодежи, какая выливается у него так искренне из-под пера? Это несомненно. Но обращаясь ближе к рассуждениям Щедрина о молодежи (или, как он называет,

мальчишестве), мы прежде всего убеждаемся, что он с надеждой смотрел именно на молодежь как на единственную прогрессивную силу. Это молодое поколение он считал не только единственно прогрессивной, но и очень большой силой. Только благодаря этой силе лучше жить на свете, только она рассеивает миазмы реакции и вселяет уверенность, что и «то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром» [6].

Кажется ясно. Но когда мы обращаемся к задержанной цензурою части статьи Щедрина, то мы точно так же, как и выше, легко убеждаемся в том, что Щедрин против тактики этой революционной молодежи.

Ход его рассуждений таков. Есть две тактики: одна действовать, растрачивая силы зря; другая — действовать осторожно, по строго обдуманному плану. Первого рода тактика допустима только в случае избытка сил. Но такого избытка сил у молодежи нет, и молодежь это понимает. Но понимая это, имея свои прекрасные идеалы и осуждая все старое и сгнившее, молодежь решительно отрекается от жизни, и таким образом мальчишество «само себя уединяет, само отталкивает от себя союзников». А отталкивая от себя союзников, молодежь остается только с одними своими идеалами, и ей приходится либо сидеть с одними этими идеалами, либо итти к толпе. Но «надобны сверхъестественные силы, чтобы увлечь толпу». Их нет, сверхъестественных героев тоже нет, и молодежи приходится воздерживаться. Воздержание — тоже огромная сила, но чтобы она могла стать такой силой, необходимо, чтобы она была не единичным, а массовым, таковым же оно можеть стать только после длительной и тщательной подготовки.

«Мальчишек губит,— говорит Щедрин,— себялюбивая брезгливость мысли. Ставши на высоту отдаленных идеалов, они забывают, что у масс на первом плане стоит требование насущного хлеба. Скажу более: презрение к массам слышится в этом высокомерном отношении к массам. Чувствуется, что здесь массы представляют нечто постороннее, что здесь дело не о счастьи и успокоении их, а о торжестве той или другой идеи, для которой массы нужны не более как в качестве anima villis, т. е. для производства над ними всякого рода операций».

В этих рассуждениях Щедрина как будто бы слово в слово повторяются те упреки славянофильского «Дня», которые посылались нигилистам за то, что они не знают жизни народной и презирают народ. «День» дошел даже до того, что предположил, будто именно нигилист-материалист, добившись власти, превратился бы в самого страшного деспота. Буквально такой же мыслью кончает Щедрин свои рассуждения о мальчишестве.

«Массы,— пишет он,— сами желают устроить свою жизнь и до поры до времени требуют от вас одного: отгоняйте тех, которые мешают им, а паче всего не мешайте сами», а «вы провозглашаете себя обладателями секретов и жалуетесь на несправедливость судьбы, связавшей вам руки. Не будь этого последнего условия, вы, пожалуй, с неменьшей бесцеремонностью попытались бы прилагать целебные свойства ваших секретов, вы, пожалуй, готовы были бы задушить того грубияна, который нашел бы лучшим для себя обойти вашу лавочку и обратиться за исцелением к иным шарлатанам».

А вот как выражается славянофильский «День»:

«Поставьте во главе управления человека, отвергающего достоинство духа человеческого и нравственное движение к человеческой личности, и вы увидите, что он явит в себе такого деспота, пред которым побледнеют все деспоты древних и новых времен».

По славянофильскому «Дню» нигилист, захвативший власть, превращается в самого страшного деспота, по Щедрину мальчишество, навязывающее народу секреты его спасения, душит народ, если он отказывается принять эти секреты, и стало быть тоже превращается в деспотию.

По славянофильскому рецепту спасение России не в перевороте, а в мирном перерождении, по демократу Щедрину, отвергающему прусский путь развития, революция

в Польше принесла страшный вред и сообщила всей деятельности фальшивое и бесплодное направление; по славянофильскому «Дню» нужно изучать нужды народа и не навязывать ему свои идеалы, по демократу Щедрину нужно не изолировать себя от жизни, наполненной «темными духами», а, изучая эту жизнь, медленно накоплять избыток сил, дабы, выработавши план, двинуться на духов тьмы.

В чем же дело? В том, что взгляды Щедрина совпадают с мнениями славянофильских публицистов «Дня»? Конечно нет. О таком совпадении не может быть и речи, как не может быть речи и о том, что взгляды и убеждения Щедрина 60-х годов были уже далеко не те утопические мнения, какие он разделял, следуя за Петрашевским (утопический социализм Сен-Симона, Луи Блана). Ведь не случайно, печатая роман Чернышевского «Что делать?», Щедрин не разделял идей и положений этого произведения. Не случайно также и то обстоятельство, что, будучи вице-губернатором в Рязани и получив прокламации «Великорусса», Щедрин отправил их в III Отделение, где по почерку на адресе определили принадлежность их Обручеву. Нельзя точно так же одною случайностью объяснить и поведение Щедрина в раскольнических делах в Вятке.

Сочувствуя движению передовой молодежи, отстаивая интересы народа, т. е. прежде всего крестьянства, советуя молодежи, прежде чем действовать и навязывать народу свои собственные идеи, планы и проекты обновления жизни, спросить у народа о его собственных нуждах и стремлениях, Щедрин не был однако сторонником тех революционных методов действия, каких держался кружок Н. Г. Чернышевского.

Этим и объясняется его оценка польского восстания 1863 г. Польское восстание принесло вред, по его мнению, и принесло оно вред потому, что вызвало темные силы, которые, казалось, отошли в вечность. Тем самым восстание это помешало итти по пути к свободе той части русского общества, которая в развитии этой свободы и видит задачу момента. Подобная аргументация против польского восстания была довольно ходкой и в либеральных кругах.

Социалисты, да еще революционные социалисты, хотя бы и утописты, какими были Чернышевский и его ближайшие сторонники и ученики, рассуждали не так: они просто вступили в сношения с польскими революционерами и при помощи своей организации «Земля и воля» пытались и в России поднять восстание. Пускай их попытки привели к поражению («Казанский заговор»), но это были смелые попытки революционеров, будивших мысль, призывавших всю честную и отзывчивую молодежь, все лучшее, что было в стране, итти в бой с врагом народа и подготовлять истинных выразителей интересов и нужд трудящихся масс.

Как бы радикально ни мыслил гениальный сатирик, зачислить его в лагерь не только чуть ли не марксистов (как пытаются некоторые), но хотя бы в лагерь революционеров-социалистов эпохи 60-х годов ни в каком случае нельзя.

Щедрин конечно не либерал, но он и не революционер, не социалист. Но ведь это только отрицательная характеристика, скажут нам. К какой же группе передовых людей 60-х и 70-х годов принадлежал Щедрин?

Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть все взгляды Щедрина по всем вопросам социально-экономической жизни России, всю эволюцию этих взглядов, начиная с 40-х годов. В коротенькой заметке этого выполнить конечно нельзя, и мы попытаемся это сделать во вводной статье к его переписке, уже подготовленной к печати.

* * *

Публикуемая здесь статья Щедрина из цикла «Наша общественная жизнь» воспроизводится по корректурным гранкам (пять форм) сохранившимся в архиве А. Н. Пыпина (ИРЛИ Академии Наук). Разночтения между корректурным текстом статьи (рукопись не сохранилась) и первопечатным журнальным (в № 9 «Современника» за 1863 г.) изуродованным цензурой, в нашей публикации не отмечаются. Наглядно показать разницу текстов, выявить цензурные купюры и изменения можно было бы лишь напечатав обе статьи en regard, что по условиям места мы не можем здесь сделать.

В. Невский

НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ДВА СЛОВА ОТ ФЕЛЬЕТОНИСТА.— О ЖУРНАЛЬНЫХ И ГАЗЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.— ФЕЛЬЕТОНИСТ-КУХАРКА.—«ТЫ ПОЙМИ, ПОЙМИ, МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ» (РОМАНС В ДЕЙСТВИИ). — ВЕСЕННИЕ ГРЕЗЫ.—ЮБИЛЕЙ ШЕКСПИРА.—МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ КОМЕТЫ.— ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

Опять возвращаюсь к тебе, читатель, но заранее прошу не сетовать на меня, если я буду говорить уже не тем спокойным тоном, каким говорил до сих пор. Это истина всем известная, что «Современник» [1], в котором я пишу мои заметки, бывает здоров и цветущ только тогда, когда небо безоблачно, когда фонды на бирже стоят твердо и в обществе возникают вопросы и вопросцы ко благу общему. Но он бывает тощ и беден, когда небо стоит грозное, когда в делах и предприятиях царствует застой, а вопросы и вопросцы прячутся в самую глубь общества, словно боятся, чтобы не окатило их холодным ливнем. В такое неблагоприятное время светлые литературные ручьи возмущаются, и на поверхности их появляется неизвестно откуда берущаяся негодная накипь; в такое время над словесною нивою реют жадные стада литературного воронья и строго блюдут за чистотой русской мысли и языка; темные духи, когда-то осмеянные и опозоренные и вследствие того скрывшиеся на дно горшка, вновь заявляют о своей живучести, вновь выползают из темниц и, появившись на свет божий, припоминают старые счеты; забытые кучи завалявшегося хлама начинают двигаться и вопиять о поруганных правах своих... Понятно, что простой и невинный литературный орган, чуждый каких бы то ни было лирических * соображений и преследующий одну цель — исправление нравов, не может не чувствовать себя неловко на этом странном пире, где царствует ревнивое соглядатайство и шумным потоком ревут праздные речи. Он должен оглядываться и взвешивать каждое свое слово; он должен стараться только о том, чтоб эта кратковременная фантасмагория как-нибудь не задела его, чтоб она поскорей прошла мимо, как те бичи, которые по временам проходят над человечеством, в виде повальных болезней, голода, войны и пр. Но, что он может еще позволить себе, — это обдумывать на досуге средства, чтобы сделать повторение подобных явлений невозможным или, что равносильно, безвредным.

Тем не менее, как ни горько зрелище такой повальной нравственной и умственной смуты, в нем есть, однако же, своя сторона поучительная, и даже утешительная. Прежде всего, оно научает нас с меньшею строгостью относиться к людям, занимающимся так называемыми «вопросцами». Сами по себе, эти «вопросцы» имеют вид пустяков, да в сущности и составляют совершеннейшие пустяки, но по соображению с другою деятельностью, развивающеюся вне этих пустяков, они все-таки представляют что-нибудь, а положительно-полезная их сторона заключается в том, что занятие ими приучает людей с омерзением смотреть на мир бездельничества, наушничества и сплетен — я сам не раз склонен был признать призрачною ту крохотную и произвольную хлопотню, которой предавалась наша литература за последние семь лет, но теперь, видя на деле, какие выползают на место их из нор чудовища, я готов принести искреннее раскаяние и усердно вопиять ко всем нашим лиллипутам гласности и устности: «чтож вы уныли, милые дети? дерзайте, заглушите вашим дружным писком московский концерт чревоугодничества, который так оглушительно перекатывается из одного конца России в другой». Во-вторых, это зрелище в то же время научает нас быть более строгими к ста-

* Так в корректуре; в «Современнике»: «политических».

рому ехидству. Мы слишком мягкосердечны и доверчивы: когда уличенное ехидство стушевывается перед нами и просит прощения, мы охотно верим его раскаянию, и вследствие ли презрения или, еще скорее, вследствие преступной небрежности, еще охотнее набрасываем покров забвения на прошлое. Но ехидство не умирает; таясь под пеплом, оно сильнее нежели когда-нибудь, питает огни злобы и ненависти и ждет только первой нашей оплошности, или первой несчастной случайности, чтоб выйти наружу. Теперь, искушенные опытом, мы будем знать, что ехидство никогда не раскаивается, что следовательно его необходимо преследовать до тех пор, пока оно не испустит дух свой. Что касается до утешительной

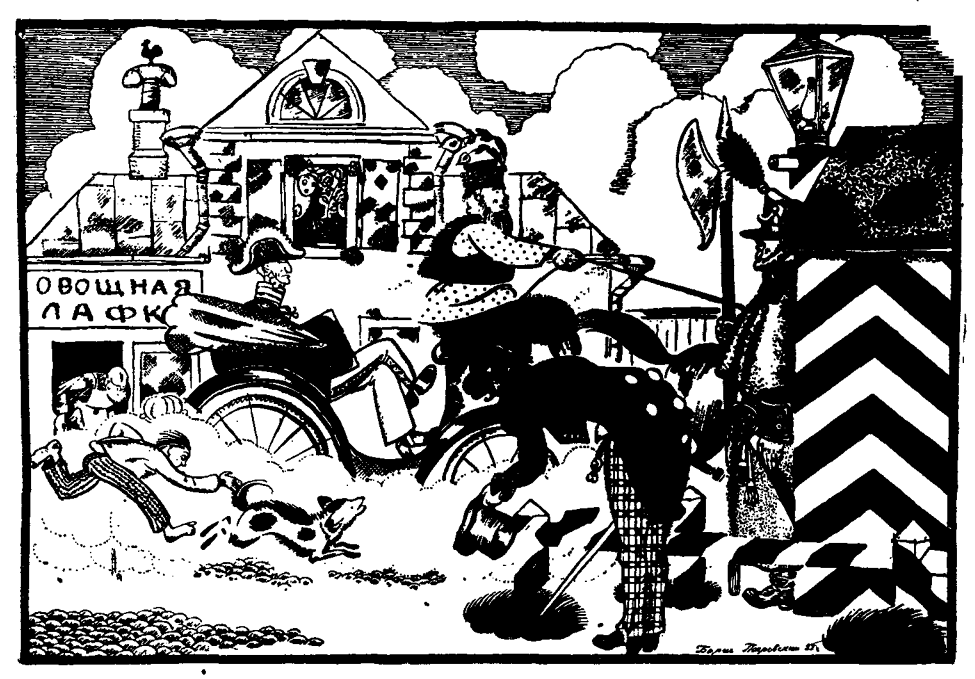


ИЛЛЮСТРАЦИЯ БОРИСА ПОКРОВСКОГО К СКАЗКЕ ЩЕДРИНА «ПРАЗДНЫЙ РАЗГОВОР», 1922 г.

стороны зрелища, то она очевидна. Взгляните, какая алчная нерасчетливость в действиях этих темных сил, так неожиданно для самих себя всплывших на верх, какая варистая торопливость в движениях, какое жадное нетерпение насладиться хоть одним моментом нечаянного торжества, выразить и заявить разом всю желчь и ненависть, которые накопились ценою долгого и мучительного плена. Они сами не рассчитывают на продолжительное торжество, и потому спешат, спешат упиться темною сырою ночью, по стечению горьких обстоятельств временно заменившею веселый, ясный день. Уймутся дожди, просветлеет хмурое небо, и все эти пузыри лопнут, все эти белые, здоровенные дождевики позеленеют и обратятся в прах... Согласитесь, читатель, ведь признаки эти слишком ярки, чтобы не считать их утешительными.

Да; много вреда принесла за собой польская смута для той части русского общества, которая жаждала только спокойствия, чтоб развиваться и воспитывать себя к той свободе, которая одна представляет прочный и плодотворный залог будущего преуспеяния. Сама по себе взятая, эта смута, конечно, не страшна для России, но вред ее, и вре

весьма положительный, заключается именно в том, что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели, как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло всё выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...

Но так как вопросы политики не входят в область нашего фельетона, то мы и оставим их в стороне, а займемся теми общественными проявлениями, которыми ознаменовало себя прошедшее лето.

Несколько месяцев сряду Россия занималась составлением адресов, которые стекались в Петербург со всех концов России и всё в разных формах. Факт многозначительный, доказывающий, что дух русского народа не только не ослабевает, но наипаче мужает. Узнав об этих адресах, Европа заметно остепенилась, и таким образом была сугубо побеждена без помощи оружия. Стало быть, польза от составления адресов очевидна, и нет сомнения, что средство это будет употреблено и на будущее время в подобных же обстоятельствах (что повторение этих обстоятельств не невозможно, в том нам служит порукой та зависть, ощущаемая Европой при виде тишины и спокойствия, которым наслаждается Россия).

Все адресы были более или менее замечательны, как по внутреннему своему содержанию, так и по красоте слога, но для «Современника», как журнала, всего больше интересующегося судьбами молодого поколения, разумеется, родственнее других было заявление студентов московского университета по поводу польских смут. Это, можно сказать, самый крупный перл нашей общественной жизни, и потому я приступаю к нему не без волнения.

Если я не раз указывал на тот неправильный смысл, который придавался слову «благонамеренность», то это происходило совсем не потому, чтобы я придавал этому слову ироническое значение, или хотел изгнать его из употребления, а потому единственно, что сан «благонамеренных» выказали люди, не имеющие на то никакого права. Теперь она сошла к нам, действительная и неподдельная, и я первый преклоняю перед нею мою голову.

Да, она сошла к нам, но не в блеске четвертаковых молний, и не в громе необулгаринских бурь: нет, она выбрала себе своего рода ясли в «Дне» [2], и стала перед нами скромная и даже немного стыдящаяся. Великое явление избрало для себя сосуд скудельный и малый, но это так и следует. Малое болото не служит ли началом великой реки? Малое куриное яйцо не является ли хрупким вместилищем будущего великого петуха? в слоне-ребенке не усматривает ли прозорливый наблюдатель будущего слона-великана, которому суждено сойти с ума в Москве? Всё это факты достоверные, засвидетельствованные наукой, а если мы припомним к тому, что от копеечной свечи Москва загорелась, что многие люди очень малые являются творцами пакостей по истине великих, то смысл того, что совершилось прошедшим летом в «Дне», сделается для нас вполне ясным.

Тут есть предопределение, есть рок. Неисповедимое в путях провидение для того, конечно, избирает «сих малых» орудиями своих предопределений, чтобы посредством их разительнее подействовать на сильных и великих. Сосуд золотой, но пустой, по мнению моему, менее приятен, нежели сосед его, хотя и слепленный из скромной глины желтой, но содержащий в себе драгоценную влагу. Гордый конь, носящий на хребте своем не менее гордого всадника, в глазах моих далеко не приносит той пользы, как собрат его, конь вороной, который вывозит навоз на поля да

вдобавок еще, вместо всякого гонорария, получает за свой труд одни побои. Зная это, и золотой сосуд, и гордый конь будут и сами меньше кичиться своими минутными достоинствами. Конечно, прибегая к этим сравнениям, я знаю, что говорю вздор, потому что ни золотой сосуд, ни гордый конь ничего знать не могут, но с одной стороны, если «День», для объяснения своей теории народности, имеет право употреблять фигуру Русляндии[3], фигуру взволнованной души, фигуру всеславянского уязвления и наконец самую драгоценную из фигур, — фигуру форрейтора*, то почему же мне не позволить себе прибегнуть к фигуре золотого сосуда и гордого коня! А с другой стороны, хотя ни золотой сосуд, ни гордый конь не могут иметь никаких таких соображений, какие мною сейчас высказаны, но несомненно, что еслиб они могли их иметь, то провидение явило бы в этом случае новый пример своей неисповедимости.

Еще за неделю до самого события, «День», уже заявлял, что студенты московского университета имеют намерение публично очистить себя от наветов: он говорил, что наступила, наконец, пора объяснить словом и делом наглую и дерзкую ложь публицистов, которые посеяли столько подозрений и раздора в русском обществе и разъединили русскую учащуюся молодежь; он говорил и еще много кой-чего, он приветствовал, ободрял и обещал свое содействие. Понятно, с каким напряженным нетерпением ожидал я появления возвещенного документа.

Он появился на страницах 21 № «Дня», и читатели «Современника», конечно, не посетуют на меня, если я поделюсь с ними самим текстом заявления представителей московского учащегося молодого поколения. Вот он вполне:

«Нижеподписавшиеся студенты и слушатели московского университета утвердили, подписали и вручили редактору «Дня» для хранения следующее заявление:

«Возмущенные теми оскорбительными надеждами, которые враги России осмеливаются возлагать на Русское молодое учащееся поколение, — мы, студенты и слушатели Московского университета, громко, пред лицом и во всеуслышание всей России, чувствуя всю нравственную важность своего поступка, — объявляем следующее:

«1) Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с русским народом. Его дело — наше дело; его знамя — наше знамя. Мы русские. Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России; нам свят завет нашей истории, целость и единство русской земли. Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными русскими деятелями в науке и в жизни — вот как понимаем мы наше призвание. Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг русского народа, всякий, призывающий к насилию и измене и наглым образом возбуждающий народ к кровавой смуте, хотя бы под предлогом свободы, — есть враг его; всякий, накликающий беды на русскую землю, не уважающий ни нравственных, ни исторических принципов русского народа и посягающий на его самостоятельное развитие, есть враг ему, враг России.

«Враг русской земли и русского народа — наш враг».

---

* В одной из своих руководящих статей (в 1862 году) «День» сравнивал Русляндию (это особенная развитая страна, которую открыли славянофилы, и жители которой поклоняются Момусу) с форрейтором, который, не чувствуя, что постромки, привязывавшие выносных лошадей к экипажу, давно лопнули, сломя голову мчится вперед и вперед. Натурально, экипаж загруз, и Русляндия, налетевши зря на косогор, вывихнула себе шею. Положение драматическое, но для обеих сторон равно непользительное. Замечательнее всего, что Русляндия постоянно обвиняется в том, что она безоглядки скачет «вперед». Каков скакун! [*Прим. Салтыкова.*][4]

«2) Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважаем патриотизм польской нации; мы желаем свободного, самостоятельного развития для Польской народности, но лишь под тем единственным условием, чтоб свобода Польши не стала неволею для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо прав Польши на западный и юго-западный край России, но готовы, вместе со всем русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность русской земли. Вопли и стоны польской шляхты, оглушающие слух Европы, не могут заглушить для нас вековые мужицкие стоны, стоны угнетенного польской шляхтою, польской цивилизациею и латинством малорусского и белорусского народа.

«3) Мы считаем, что в настоящее, трудное для России время, долг каждого русского — отложив в сторону неудовольствия, расчеты и пристрастие к тем или другим политическим теориям,— есть долг непоколебимой верности русской земле и тому, кого она признает своим представителем, кому вверила оберегательство своей чести и целости, кому вручила свои судьбы.

«Да, безусловная честность в исполнении долга, безусловная преданность русской земле, безусловная верность русским народным началам, полное согласие с русской народною мыслью и русским народным чувством — вот наша гражданская заповедь.

«Студенты и слушатели московского университета».

(С л е д у ю т 200 п о д п и с е й).

Прекрасно. Просто, не суесловно, и вместе с тем не лишено сознания собственного достоинства. Чувствуем, что здесь именно заключена действительная благонамеренность: сознаешь, в каком унынии должны находиться опасные московские публицисты, которые одни мнили себя быть благонамеренными и вдруг увидели, что простым и едва начинающим учиться юношам стоило только захотеть, чтобы сразу оставить их позади и явиться истинными форрейторами русской цивилизации. И заметьте, ведь не адрес, а заявление — какая тонкая и деликатная черта! какой шаг вперед!

Но чтобы читатель не обвинил меня в пристрастии и преднамеренной похвале, я нахожусь вынужденным разобрать это замечательное «заявление» несколько подробнее.

Прежде всего, что значит «заявление»? почему не «адрес»? Не доказывает ли эта необычайная и произвольно вами измышленная форма, что вы еще недостаточно смирились, что в вас действует дух гордости и любоначалия? Вы хотите очиститься от злых наветов и оскорбительных надежд — ну, и очищайтесь вполне, не останавливайтесь на половине дороги, не говорите себе: хорошо, кабы нам очиститься, но как бы это подешевле устроить! Вы видите, что в с я Россия изъясняет о своих чувствах посредством адресов — отчего же вы одни хотите выйти из ряду вон? отчего вы одни хотите итти не прямо, а боком? Если это оригинальность, то не надо забывать, что и оригинальность не всегда бывает уместна; грустнее же всего то, что враги ваши могут истолковать ваш поступок робкими позывами фальшивой стыдливости, прикрывающей неостывшую еще гордость и любоначалие. Я знаю, что ничего этого нет, и что вы только по неопытности сделали такой промах, но ведь это знаю только я да И. С. Аксаков. В сущности, ваша прекрасная цель легко может остаться недостигнутою, и тогда «пропали хозяйские горшки»; вы по прежнему останетесь под игом наветов и несправедливых подозрений, и по прежнему



ВАРШАВА ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ ЦАРЯ

«К предстоящему приезду царя чистится и заново покрывается позолотой ключ от города. Опубликованы приказы о добровольной иллюминации домов обывателей»

Карикатура на царскую политику в Польше из журнала «Kladderadatsch» 1864 г., № 38—39

публицисты будут иметь основание рассевать свою дерзкую ложь. Я не ручаюсь даже, что и теперь некоторые из них, прочитавши ваше «заявление», не сказали: «эге! да они хваты!»

«Возмущенные теми оскорбительными надеждами, которые враги России осмеливаются возлагать на Русское молодое учащееся поколение, — мы, студенты и слушатели Московского университета, громко перед лицом и во всеуслышание всей России, чувствуя всю важность своего поступка, — объявляем следующее». — Период прекрасный, замечательный, как совокупною своею правильностью, так и соответствием всех своих частей; орфография тоже весьма удовлетворительна, кроме того, что слова «московский», «русский» пишутся с прописных букв: это без всякой нужды пестрит печать (но с другой стороны, если такое правописание есть плод патриотических чувств, то в этих видах можно и его допустить, как исключение). За всем тем нельзя не заметить следующего: 1) употребление рядом таких однозначущих слов, как «громко» и «во всеуслышание» называется амплификацией; хотя подобный оборот речи и был нередко употребляем газетою «День», но всегда без успеха; 2) говорить «перед лицом и во всеуслышание всей России» могут лишь те, которые имеют, так сказать, официальное на сие полномочие; И. С. Аксаков хотя и порывался неоднократно присвоить себе такое полномочие, но попытка его была признана Россией за дебош и никакого успеха не имела. Надо быть скромными, молодые люди! надобно прежде заслужить! Ибо что же в том будет хорошего, если Россия, к которой вы так запросто обращаетесь, скажет: «а кто же вас знает, откуда вы взялись?» Ничего хорошего не будет. Мы, русские, потому и слывем добродетельными, что обделываем свои дела промежду себя, и потом заявляем о том, куда следует, твердо памя-

туя, что самолюбие в этих случаях может лишь испортить дело, а не украсить его. Поэтому, я надеюсь, что если вам на будущее время придется писать подобное же заявление, то вы напишете его в форме адреса, а это доставит вам возможность избегнуть слишком самолюбивых фраз.

«Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с Русским народом. Его дело — наше дело; его знамя — наше знамя. Мы Русские». Прекрасно. Периода нет, но отрывистость речи оправдывается отрывистостью чувств, и в некоторых случаях наукою о словосочинении не токмо не возбраняется, но даже поощряется. Относительно орфографии замечание то же. Сверх сего, я должен заметить, что молодым людям на всякий случай следовало объяснить более обстоятельно, в чем, по их мнению, заключается «дело и знамя русского народа». Ибо, на счет этого в узаконениях прямых указаний не имеется, а ученые специалисты находятся по этому случаю в постоянном друг другу противоречии и даже во взаимной вражде. Одно знамя вручает русскому народу г. Чичерин [5], другое — г. Аксаков [6], третье — г. Катков [7]. Наконец, г. Краевский [8] полагает, что можно и совсем без знамени, а делай, что приказано — ведь и это тоже своего рода знамя! Среди этих многочисленных «предложений услуг», русский народ теряется и не знает, за какое знамя ухватиться, но, кажется, что до сих пор он всего умильнее посматривает на знамя г. Краевского. А потому, при недостатке с вашей стороны объяснений, злонамеренные люди могут вывести заключение, или, что вы придерживаетесь знамени А. А. Краевского, или что вы сами еще хорошо не знаете, о чем говорите, и к чему прилепляетесь. Я знаю, что ничего этого нет, и что вам отлично известно, какое такое это «дело и знамя русского народа», но все-таки считаю необходимым предостеречь вас для того, чтобы вы действительно могли очистить себя от наветов и оскорбительных надежд.

«Нам дорога кровь наших братьев; нам дорога честь и величие России» и т. д. В последнем случае, следовало сказать не «дорога», а «дороги», ибо «честь» и «величие» представляют два понятия отдельные, а потому и относящееся к ним прилагательное должно быть употреблено во множественном числе. Все прочее безукоризненно.

«Не учить народ, а служить народу, проникаться началами русской народности и явиться самостоятельными р у с с к и м и деятелями в науке и жизни, — вот как понимаем мы наше призвание». Прекрасно, тем более, что это говорят ученики Б. Н. Чичерина, с своей стороны написавшего прекрасную статью о «народности в науке», в которой доказывается, что «народность в науке» есть понятие отчасти алхимическое, отчасти астрологическое. Очевидно, что в сердцах юношей боролись разом две признательности: одна к И. С. Аксакову, преподавшему им искусство писать высоким слогом, другая — к блестящему профессору московского университета. От этого в них горит, с одной стороны, желание служить русскому народу и проникаться его началами, с другой стороны — желание самостоятельности; явное противоречие, из которого молодые люди не выпутались только по неопытности. Но не будем слишком привязчивы, и обратим внимание на сущность дела. Проникайтесь, молодые люди! понимайте ваше призвание! но повторяю: не будьте самонадеянны! Берегитесь этого яда, который уже огорчил Россию славянофилами! Что вы такое совершили, чтобы иметь право с уверенностью говорить о том, куда вы пойдете и какими явитесь деятелями в науке и жизни! А может быть, вы явитесь деятелями не в науке, а в танцклассах! а может быть, даже и в танцклассах вы пройдете незамеченными! Кто знает, куда ведут вас судьбы неисповедимые! Вот если б все сие уже совершили, — ну, тогда точно, можно было бы разрешить вам сказать нечто о самостоятельной деятель-

ности в науке и жизни, а то, натко, ничего не сделавши, да какую уж бурю подняли! Я знаю, что фигура эта, в славянофильской реторике, называется фигура устрашения, и что ее не раз употреблял И. С. Аксаков, но ведь он употреблял ее всегда без успеха, следовательно, зачем же идете вы по его стопам? И еще знаю я, что, всеконечно, у вас и помыслов никаких насчет самостоятельности никогда не бывало, и что все это вы сказали спроста, но зачем же спроста говорить? Не надо забывать, что невинность и мудрость суть качества взаимно друг друга пополняющие, и что первая, будучи предоставлена самой себе, успела заслужить в понятиях русского народа авторитет не совсем лестный, выразившийся в пословице: «простота хуже воровства».

«Всякий, поднимающий меч на Россию, есть враг ее, враг Русского народа; всякий, призывающий к насилию и измене и наглым образом возбуждающий народ к кровавой смуте, хотя бы под предлогом свободы, есть враг его; всякий, накликающий беду на Русскую землю, не уважающий ни нравственных, ни исторических принципов Русского народа и посягающий на его самостоятельное развитие, есть враг его, враг России». Чувства прекрасные, но не могу воздержаться, чтоб не сказать несколько слов о форме, в которой они выражены, и о мыслях, которых эти чувства являются лишь трепетною оболочкою. Начну с формы. Периоды, подобные выписанному выше, в соловьином пении называются периодами «с оттолчкой», и там они совершенно уместны; но в человеческом пении необходима ясность и простота; «оттолчка» тут не только неуместна, но даже неприятно поражает слух. Может быть, славянофильское учение от того так мало делает себе прозелитов, что оно слишком охотно прибегает к «оттолчке». Публика слышит какой-то стук, а толку не видит. Поэтому, лучше было бы, кажется, редакцию этого параграфа изменить так: «как истинные верноподданные, мы заявляем, что считаем своим врагом всякого, кто замыслит что-нибудь противное интересам Его Императорского Величества». Это будет ясно, вразумительно, и при том нисколько не противно той мысли, которую вы намеревались выразить. Теперь поговорю о мыслях. Ложная форма увлекла вас и к ложным мыслям. Основная-то ваша мысль, пожалуй, и правильна, но, во-первых, витийство заставило вас обставить ее различными второстепенными мыслями, которые просто никуда не годятся, и во-вторых, эта самая обстановка доказывает, что и основная-то мысль явилась у вас бессознательно. Можете ли вы, например, указать, чтобы кто-нибудь призывал народ к насилию и измене? к насилию на счет кого? к измене кому и чему? Говоря таким образом, вы, вероятно, разумеете или внешних, или, так называемых, внутренних врагов России; но если вы разумеете внешних врагов, то с их стороны желание сделать всякий вред своему врагу умеряется тем обстоятельством, что у них, по русской пословице, руки коротки; если вы разумеете каких-то внутренних врагов, то говорите прямее, действуйте вольным духом, а не прорицайте, подобно дельфийскому оракулу, фразами с оттолчкой. Тогда, быть может, представится случай разубедить вас, показать, что вы ошибаетесь, что речи ни об измене, ни об насилии никакой нет, и что следовательно, самое слово «внутренние враги» есть слово вымышленное и не имеюще основания. Тогда, быть может, откроется перед вами, что люди, о которых вы разумеете, как об изменниках, суть собственно только люди другого образа мыслей, которых вы обозвали непотребно потому только, что молодой и горяченький человек вообще охотно называет отступниками и изменниками тех, которые не пляшут под его дудку. Но, быть может, вы скажете, что ваша дудка есть дудка российская, а потому плясать под ее звуки следует; на это опять-таки повторю: не будьте самонадеянны, дети! Вы не знаете русской

дудки; это дудка настоящая, способная извлекать из себя полный звук; ваша же дудочка маленькая, с трудом издающая легкий писк. И что это такое за насилие? что за измена? Может ли для вас, едва, так сказать, взятых от колыбели, быть понятным значение подобных страшных слов? Нет, оно не может быть понятным для вас, ибо умы и сердца ваши еще слишком юны и неиспорчены. Вся ваша измена может заключаться в том, что вы сходите без спросу на могилу Грановского[9]; все ваше насилие — в том, что вы пройдетесь по Тверскому бульвару не в форме (впрочем, ныне и для этого рода насилия, с уничтожением особой студенческой формы, предлог устранен). Стало быть, во-первых, вы не знаете, на кого именно намекают ваши слова, и во-вторых, не знаете и не можете узнать, в чем заключается ваше обвинение. Но этого мало: с свойственной славянофилам напыщенностью, вы говорите о нравственных и исторических принципах русского народа, но разве вы их знаете, эти нравственные и исторические принципы? На это вам ответит тот самый «День», который вы выбрали своим органом, что «нравственных» принципов русского народа вы не знаете, потому что живете совсем другою, совсем не народною жизнью; я же с своей стороны прибавлю, что вопрос о нравственных принципах русского народа еще разработывается и во всяком случае далеко не выяснен; многие даже думают, что это вопрос праздный, и что нравственные принципы всякого отдельного народа суть принципы общечеловеческие; но во всяком случае, здесь спор не решен и следовательно дело еще в дороге. Что же касается до принципов исторических, то скажу вам на это, что история русская до сих пор слагалась под влиянием разных случайностей, по милости которых исторические принципы русского народа определить, по крайней мере, столько же трудно, как и определить его принципы нравственные. Это еще труднее для вас, молодые люди, потому что вы знакомы с русской историей лишь по краткому руководству г. Устрялова[10]. А потому, на будущее время упаси вас бог говорить о таких вещах, кои важны.

«Враг Русской земли и Русского народа — наш враг». Мысль хорошая, но теряющая все свое достоинство именно вследствие того, что соединена с «отТОЛчкой» (вот что значит неопытность!). Впрочем, эта оттолчка последняя, достойно завершающая длинный ряд предыдущих.

«Мы не питаем ненависти к польскому народу; мы уважаем патриотизм Польской нации, но лишь под тем единственно условием, чтобы с в о б о д а Польши не стала н е в о л е ю для России. Мы не отрицаем той доли неправды, которая могла быть относительно Польши и с нашей стороны; но мы не только не признаем каких-либо прав Польши на Западной и Юго-западный край России, но готовы, со всем Русским народом, отстаивать до последнего издыхания неприкосновенность Русской земли». Прекрасно. Это, что называется, в одно и то же время и по губам помазать и калом накормить. Однако, позвольте. «Мы не отрицаем», «мы не признаем»! Кто же вы такие, и кому какое дело до ваших отрицаний и признаний? Ах, молодые политики! ах, молодые политики! Ведь я знаю, что вам не безъизвестно, что ваши отрицания и признания весят менее грана аптекарского: для чего же вы конфузите себя, неужели для того, чтобы высказать несколько красноречивых слов? Но если вы действительно думаете, что без вашего участия такого дела решить нельзя, то не останавливайтесь на половине дороги и помните, что в е р а б е з д е л м е р т в а е с т ь. В согласность этому последнему изречению, вам надлежало бы объяснить не голословно, а доподлинно, каким образом все сие устроить, а без этого ваше заявление представляет лишь непрерывную фигуру единоначатия, фигуру красивую, но мало объясняющую. Да, дело писания заявлений с каждым днем становится труднее и труднее. Для этого мало иметь приятный слог, но необходимо знать, чего именно желаешь, и какие имеешь

в виду практические средства для осуществления этих желаний...

Но довольно; дальше идет речь, по славянофильскому обычаю, о воплях и стонах. Повторяю: намерение отличное, но основная мысль его, очевидно, подверглась разным неполезным влияниям, и потому пострадала в основании. То ли дело, например, рязанские крестьяне! «Враги,— говорят они не в заявлении, а во всеподданнейшем письме своем,— могут получить успех только на могилах русского народа, и для этого им нужно переплыть море крови своей и нашей». Вот это дельно, потому что тут доказательства налицо. А то «мы признаем»! «мы отрицаем»! Признаюсь, еслиб московские студенты, по поводу этого заявления, обратились ко мне за советом, то я проэктировал бы им статейку совсем в другом роде, статейку, быть может, не столь красноречивую, но, льщу себя надеждой, более идущую к делу. Я написал бы:

«Мы нижеподписавшиеся, студенты и слушатели императорского москов-«ского университета, сим заявляем, что отнюдь не принадлежим к тому «русскому молодому учащемуся поколению, на которое осмеливаются возла-«гать надежды враги России. В доказательство же, что это заявление с «нашей стороны вполне искренно, мы вместе с сим подаем прошения об «увольнении нас из университета и об определении в войска в качестве «простых солдат».

И только. Желание очиститься от наносных слов было бы достигнуто, а вместе с тем и патриотическое чувство нашло бы себе правильный и неголословный исход. Но, может быть, вы думаете, молодые люди, что в солдаты итти неприлично, так разуверьтесь; служили же многие из ваших компатриотов в качестве солдат у Гарибальди, так неужто ж в своем-то собственном деле, и при таком отчетливом знании нравственных и исторических принципов русского народа, каким вы похваляетесь, послужить



ПОСТАНОВКА «СМЕРТИ ПАЗУХИНА» В ТЕАТРЕ ГОСДРАМЫ (б. АЛЕКСАНДРИНСКОМ), 1924 г.

Эскиз костюма и грима Лобастова; рисунок М. Левина

Музей Государственных Академических театров, Ленинград

нельзя! Как бы то ни было, но я рекомендую себя гг. студентам на будущее время.

Еще одно замечание: что означают слова: «вручили редактору «Дня» для хранения?» На какой предмет хранить документ уже напечатанный? Или И. С. Аксаков завел при редакции своей архив чувствительных российских дел, в котором и объявил себя бессменным архивариусом?

Но как бы то ни было, достаточно или недостаточно само по себе это заявление, нельзя терять из вида, что оно делается людьми, едва вышедшими из детского возраста и впервые вступающими на поприще патриотических чувств. Сверх того, оно приобретает еще особенное значение в том отношении, что указывает на то общее настроение, в котором находилось русское общество по поводу событий в Царстве Польском.

Это настроение было весьма утешительное; со всех сторон стекались адресы с выражением пламеннейшей готовности и самых отборных чувств; от членов московского английского клуба до тех темных московских метеоров, которых прототип так удачно изображен Островским в его бессмертном Любиме Торцове, вся Россия негодовала и горела желанием сразиться; проэкты следовали за проэктами, тосты за тостами; даже так называемые ублюдки (русские Петерсоны, Иогансоны, Иозефсоны и т. п.) и те, наперерыв друг перед другом, предлагали проэкты о введении единомыслия, и спешили указать на вред, который от разномыслия происходить может; во многих местах устраивались патриотические обеды, и плодом их были телеграфические депеши, которые из разных концов России пересылались к князю Горчакову [11], к генералу Муравьеву [12] и даже к М. Н. Каткову с поздравлениями и поощрениями; даже московские тюремные дома (говорят, будто бы и трактиры, но я этому не совсем верю, хотя знаю, однакож, случаи, когда веселые собутыльники, собравшись в трактире и спросив себе шампанского, вдруг задумывались и, отменив сделанное распоряжение, жертвовали деньги в пользу раненых) и те почувствовали необходимость политических демонстраций, и попытка их в этом смысле сошла с рук довольно благополучно. «Никогда, говорили по этому случаю «Московские Ведомости», общественное мнение не выражалось в России ни так широко, ни так свободно», и я охотно этому верю, хотя с другой стороны не могу не поставить на вид почтенной газете, что относительно выражения патриотических чувств, общественное мнение в России всегда пользовалось весьма достаточною свободой. В газете «День» некто г. Оптухин [13] малоархангельский обыватель, весьма язвительно назвал поляков «коллективною Мариной Мнишек», готовою из-за почестей разделять ложе с кем угодно, и изъявил предусмотрительную надежду, что ежели на будущее время встретится надобность рекомендовать полякам посетить восточную Россию, то они будут размещаемы в тамошних крепостях отдельно от командируемых туда же и для той же надобности русских, потому что, в противном случае, первые непременно заразят последних, и пойдет это у них: «гей! надзея еще с нами!» и Миткевичев краковяк. Это последнее замечание вызывает невольную улыбку гордости в русском читателе. В самом деле, как подумаешь, каких нет на свете смешных наречий и говоров! Возьмите, например, те же самые слова, и переведите по-русски, выйдет: «да! надежда еще с нами!» ведь ничего! между тем, по-польски... Господи! да одна эта ужасная «надзея» чего стоит! «Надзея»! нутко еще! «Надзея»! — ох, прах тебя побери! да тут животики от уморы надорвешь!

Поговорю несколько подробнее о проэктах, потому что тосты выпиваются, обеды съедаются, а проэкты остаются. Их было много, и все они останутся неоспоримым доказательством русской патриотической изобретательности. Летом мы едва успевали следить за ними: вчера был проэкт об учреждении обывательской стражи, сегодня — проэкт об устройстве крейсерства

для перехватывания неприятельских купеческих кораблей, на завтра готовился проэкт об организации стрелковых сотен. Даже дамы, и те спешили принести на алтарь отечества скромную умственную лепту, в виде проэкта о неношении одежд из материй, производимых неприязненными нам государствами; даже вчерашние недовольные (так называемые те, которые причесываются, à la mécontant*, и те наперерыв друг перед другом спешили представлять проэкты чувств. Разумеется, в этих проэктах не было ни тени подражания иностранным образцам, но в этом-то именно и заключалась их сила. Разумеется также, что на поприще проэктов всего более отличалась Москва, которая, впрочем, в качестве сердца России, уже исстари слывет закоренелою и даже очень затейливою прожектершею.

Как и следовало ожидать, наибольшим сочувствием публики пользовались проэкты чувств. Во-первых, они общепонятны, во-вторых, не влекут за собой никакой иной жертвы, кроме жертвы сердца. Тут одно чистое пламя, один фимиам благовонный: все это доступно даже самому простому рыбарю. Составителям таких проэктов (обыкновенно этими составителями являются самые, что называется, беспардонные либералы, которые очень рады случаю оправдаться) многие ставят в вину их крайнюю изменчивость; им говорят: еще вчера вы будировали, а сегодня лезете с чувствами. Но это явная придирка. Порицатели забывают, что на сем свете вообще нет ничего вечного, а все, напротив того, временное, непрочное и преходящее; а так как чувства, в своих проявлениях, следуют общим жизненным законам, то весьма понятно, что и они имеют характер временный и изменяются, смотря по обстоятельствам. Тем-то и красна человеческая жизнь, что все в ней в свое время и на своем месте делается: сегодня нам предстоит опасность — мы чувствуем и соединяемся; завтра нет опасности — мы перестаем чувствовать и начинаем будировать; после завтра опять опасность — мы и опять восчувствуем, и опять соединимся. Так оно и идет у нас колесом. Тем страннее было видеть неодобрение проэктов чувств со стороны «Московских Ведомостей», которые сами по себе представляют не что иное, как пламя и фимиам. Этого, говорят они, мало; мало одних чувств. Гм... я очень хорошо понимаю, чего желает почтенная газета, но, с другой стороны, спрашиваю самого себя, имеет ли она право разбивать наши мысли и навязывать нам какие-либо иные желания, нежели те, которые мы сами имеем? Развращенная западною наукой (в лице великого развратителя Молинари) [14], не причастная ни «жизни духа», ни «духу жизни», может ли она выдавать себя за обладательницу тайны наших хотений? Говоря по совести, ни того, ни другого права она не имеет. Мы выражаем свой «дух жизни» по-своему; мы не претендуем на изобретение пороха (я знаю: почтенной редакции именно хотелось бы, чтобы мы изобрели что-нибудь вроде пороха), но, взамен того, добродушны и гостеприимны; мы не вдаемся в разбор, откуда идут к нам наши невзгоды, но помогать (разумеется, устранению их) готовы. Смирение тоже своего рода сила, и сила великая; славянофилы не даром кичатся тем, что изобрели ее, хотя кичливость их напрасна, ибо они не изобрели, а только открыли смирение, подобно тому, как и Колумб совсем не изобрел, а только открыл Америку. С помощию смирения, мы победим какое хотите иго; с помощью любви, обольстим какого хотите врага. «Что с них взять?» скажут наши супостаты и отойдут от нас прочь. Поэтому, с проэктами чувств надобно обходиться, как можно осмотрительнее, ибо они составляют нашу гордость, наше единственное сокровище; ибо все прочее, что выходит из этой области, все, что касается собственно дела, уже выходит из сферы общественных пожеланий, и составляет неотъемлемую принадлежность сферы государственной. Сами

* A la недовольные.

«Московские Ведомости» могли в этом убедиться по поводу концессии московско-севастопольской железной дороги. По этому предмету, почтенная газета начертала в прошлом июле прекраснейший проэкт чувств, и хотя впоследствии дело сделалось совершенно вопреки ее ожиданиям, однако это все-таки не мешает их проэкту чувств остаться их прекраснейшим проэктом [15]. Стало быть, чем больше таких проэктов, тем больше и пользы от них, хотя бы этой пользы повидимому и не оказывалось.

После проэктов чувств, наибольшая популярность принадлежит проэкту об устройстве обывательской стражи. Разумеется, мы совсем не желаем, чтобы обывательская стража была организована у нас на манер иностранных, так называемых, национальных гвардий; нет, мы имеем в виду единственно облегчение трудов русского войска на время предстоящей опасности, а когда опасность пройдет, когда войска получат возможность возвратиться в свои постоянные квартиры, то мы, пожалуй, и разойдемся. Так как проэкт этот первоначально выработался в Москве, то весьма понятно, что он всего сильнее поразил тамошних «метеоров». Я слышал, что они положительно бредят им; вместо того, чтоб увеселять гостинодворцев более или менее удачными подражаниями Садовскому [16] в роли Любима Торцова, они облекаются в ризу воинственности, и за пятачок серебра представляют, как будут стоять на страже общественного спокойствия с трещотками в руках (таким проказникам дать в руки ружья опасно). Слышно также, что не менее готовности выказывали по этому случаю и московские студенты: многие якобы даже справлялись уже, какие будут мундиры чинов обывательской стражи, и чем они будут вооружены. Вообще, публика томилась ожиданием; не было недостатка даже в раздорах. Одних огорчало, что не будет конной стражи, других — что обывательская стража не будет делать походов, а только препровождать арестантов из городских частей в острог (но разве это не поход?). Тем не менее, все эти сетования и недоразумения утопали в одном общем чувстве ликования. «Метеоры» надеялись, что по этому случаю на кремлевской площади будут по праздникам ставить жареных быков и отдавать их стражникам на разорвание; учащаяся молодежь надеялась, что ей позволено будет не посещать лекций. Даже люди взрослые, и повидимому не пьяницы—и те были вне себя. Один мой знакомый писал ко мне по этому поводу из Малоархангельска: приеду в Москву и на собственный счет вооружу трещотками семь тысяч «метеоров»! Ясно, что если явится пять, десять человек таких доброхотов, то одна Москва в самое короткое время будет в состоянии выставить до семидесяти тысяч хорошо вооруженного войска. Что же могу рещи о прочей России, которой Москва составляет лишь каплю малую? Просто, даже волосы становятся дыбом. Каково подспорье, но, главное, каково удобство! Понадобилось войско — есть войско; понадобились «метеоры» — стоит только обобрать трещотки, и вот они! Но я все-таки скажу: как ни завлекателен проэкт, но, по моему мнению, уж пусть будут лучше метеоры, потому, что это будет явным признаком, что все обстоит благополучно, что смута кончилась, и что Россия наслаждается вожделенным спокойствием.

Третий проэкт, тоже очень понравившийся — это проэкт русской конституции, начертанной «Русским Вестником» в 4-й его книжке за нынешний год [17]. «Русский Вестник» недоволен конституциями, существующими на западе; по мнению его, народные представители в западных государствах имеют право вмешиваться в дела страны и даже контролировать действия исполнительной власти, а этого быть не должно. Поэтому он проэктирует такую конституцию, которая несомненно подходит гораздо ближе к свойствам русского народа, и предлагает нечто вроде бессменно заседающего новотроицкого трактира. Это, конечно, недурно, потому что за порцией поросенка или за парой чая, конечно, всякое дело идет ходчее, нежели всу-

хомятку, но, по моему мнению, если уж пристойно иметь такую конституцию, то еще пристойнее совсем никакой не иметь. Сверх того, при составлении этого проэкта, очевидно, упущено из вида, что такою-то конституцией мы уж давным давно пользуемся, ибо трактиров в Москве имеется несчетное число, и в каждом из них заседает достаточное количество сквернословов, охотников вмешиваться не в свои дела.

Гораздо менее популярен был четвертый проэкт: об устройстве правильного крейсерства для перехватывания неприятельских купеческих судов. Об нем вообще отзывались, что он слаб и скомпанован на скорую руку. От



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К РАССКАЗУ ЩЕДРИНА «МИША И ВАНЯ», 1932 г.

Собрание художника, Ленинград

того ли, что мы, русские, вообще мало воды видим (к сожалению, на Переславском озере уж нет больше флота!), но нам как-то думается, что либо в Каттегате, либо в Скагерраке, либо в самом Ламанше, а уж где-нибудь да изловят нас [18]. Вот, еслиб можно было невидимкой проскользнуть сквозь все эти Каттегаты и Бельты, тогда, разумеется, было бы дело не худое. Но так, или иначе, хорош ли проэкт, или слаб, важность не в нем самом, а в той окрыленности, которую с каждым днем все больше и больше приобретает русская мысль. Прежде, в подобных обстоятельствах, только и слышно бывало, что «умрем поголовно!» Согласитесь, что хотя в этом было пропасть геройства, но вместе с тем было и что-то японское. Известно, что истинный японец (все равно, что у нас славянофилы), желающий насолить своему врагу, распарывает себе ножом брюхо, и умирает удовлетворенный. Конечно, это обида смертная, однако, к счастию нашему, мы начинаем уже понимать, что удовлетворения в этом все-таки никакого нет. И потому поднимаемся на хитрости. По моему мнению, самая чувствительная заслуга, какую оказала Россиянам нынешняя редакция «Московских Ведомостей», заключается именно в том, что она первая возвестила миру, что умирать никогда не поздно. Это нужды нет, что ее проэкты мероприя-

тий почти равняются умиранию, главное, дать толчок русской изобретательности, а там оно и пойдет само собой понемножку. Пройдет смутное время, — глядишь, ан и впрямь умирать будет не нужно.

Наконец, был и еще проэкт — о неношении дамами платьев из иностранных материй — но этот потерпел решительное фиаско. Ходят слухи, что он обязан своим появлением инициативе Н. Ф. Павлова[19], и я этому очень верю. Н. Ф. издавал до 13 июля в Москве политическую газету, но так как никто ее не читал, то он исполнял это дело с прохладою, и следовательно остающееся свободное время мог легко употреблять на сочинение проэктов. До какой степени приятно и лестно издавать политическую газету, которой никто не читает, доказывается тем, что в то время как «Московские Ведомости» выдали уже 118, а «Петербургские Ведомости» даже 122 №№ (и куда это они так спешат!), Н. Ф. выдал своей газеты только 103 номера; стало быть, в первые же пять месяцев у него оказалось ровно 15 лишних воскресений, и в том числе одно третье обретение главы Предтечи (празднуется 25 мая, а 26-го «Наше время» не выходило). Мудрено ли, после этого, что от скуки начнешь сочинять проэкты? Но по малодушию русских дам, проэкт о неношении платьев остался мертворожденным, равно как и другой подобный же проэкт о непитии иностранного вина. Иностранные виноторговли нынешним летом, по свидетельству достоверных лиц, процветали даже пуще прежнего, потому что изобилие патриотических чувств, по древнему русскому обычаю, вызывало изобилие тостов, а изобилие тостов, в свою очередь, вызывало изобилие чувств. Виноторговля питает содружество, содружество питает виноторговлю—так оно всегда бывает в сем коловратном мире, где и былинка малая может с гордостью сказать (разумеется, если бы могла говорить), что существование ее не бесполезно проходит для мира. Одно московское общество распространения бесполезных книг составляет в этом случае исключение, и в нем-то именно и нашел себе приют проэкт, приписываемый Н. Ф. Павлову. Мудрено ли, что при такой нечаянной обстановке, он не возбудил в обществе никаких симпатий?

Оканчивая с патриотическими проэктами и заявлениями, я должен сказать, что как они ни мало удовлетворительны, все-таки в них видно усилие человеческой мысли что-нибудь высказать, а не праздное и бесцельное переливание из пустого в порожнее, сопровождаемое неистовым выдавливанием из себя пустоцветов красноречия. Это последнее занятие решительно невыносимо.

Когда преподаватели реторик повторяют перед нами известное выражение poëtae nascuntur, oratores fiunt*, то мы верим им на слово, верим по привычке верить всему, что ни скажут старшие. Однако, опыт доказывает, что выражение это совсем неверно, и что сделаться оратором, не родившись им, точно так же невозможно, как невозможно сделаться лгуном, не имея к лганью врожденного расположения. Сущность красноречия заключается в том, чтобы совершать несовершимое и прозревать туда, где ничего в волнах не видно; понятно, что для выполнения таких подвигов нужно, чтобы в этом принимала участие сила совершенно независимая, сила сама себя питающая и сама же себя поедающая. Такою силою и является именно красноречие, которое поэтому и называется искусством вести такие устные и письменные беседы, которые выслушиваются и прочитываются с приятностью, и в которых между тем нет никакой возможности найти что-либо похожее на мысль.

Следовательно, фигуры и тропы, которым нас обучали в детстве, заключаются в нас самих. Наука в этом случае занимается констатированием

* Поэтами рождаются, ораторами становятся.

факта, уже предсуществующего; она подмечает все реторические волдыри, которые таятся в глубине человеческого существа, называет их настоящими именами, и говорит: вот этим волдырем ты можешь воспользоваться таким-то образом, а вот этим — таким-то. Если ты, в сущности, не имеешь никаких чувств, ни дурных, ни хороших, но хочешь высказать возвышенную душу, то для достижения этого можешь прибегнуть к фигуре единоначатия и к фигуре усугубления; если ты ни мало не остроумен, но желаешь показаться таковым, то можешь прибегнуть к фигуре умолчания и удержания. Так как фигуры эти живут в самом тебе, в той красноречивой сущности, которая заменяет для тебя и мысль, и чувство, то достаточно тебе самомалейшего усилия, чтобы достигнуть желанной цели.

Например, еслиб я мое обозрение начал таким образом: «не знаю, известно ли вам, читатели, какую эпоху переживает в настоящее время Россия?» — конечно, слова эти, с точки зрения внутреннего содержания, были бы пустым празднословием (кому же не известно, что Россия действительно переживает эпоху?), но если взглянуть на такой приступ с точки зрения красноречия, то он не только возможен, но даже заслуживает всяческого поощрения, ибо представляет совершенно правильную фигуру устрашения. Заручившись ею, я создаю для себя отличную рамку, которую могу сплошь наполнить произведениями моего реторического существа. Я могу сказать, например, что если вам это известно, то, конечно, вы не раз показывали, не раз ощущали, не раз себя вопрошали (фигура взволнованной души); но с другой, ничто мне не мешает задаться мыслью, что это обстоятельство вам неизвестно, и в таком случае получу возможность осыпать вас укоризнами и сказать, что вы оторваны от почвы и стоите корнями вверх (фигура патриотического уязвления). Обыкновенно это делается так: если вы петербуржец, то предполагается, что вам ничего неизвестно, и что вы стоите корнями вверх; если вы москвич, то предполагается, что вам известно все, и что вы не раз задумывались, не раз ощущали, не раз себя вопрошали и т. д. Все это, разумеется, совершенно произвольно, ибо я сам отлично хорошо знаю, что все это я выдумал, что вы стоите корнями вниз, и что, наконец, вы, как две капли воды, точь в точь такой же патриот, как и я сам (как же иначе и быть-то?), но нарочно притворяюсь, что все сие мне неизвестно, потому что такого притворства требует моя реторическая сущность. Вы скажете, быть может, что такой образ действия не совсем похвален; на это я отвечу: что же мне делать! Из меня так и выпирает тропами и фигурами: не проквасить же мне их, в самом деле, на дне взволнованной души!

Возьмем другой пример. Предположим, что я начинаю свое обозрение таким образом: «милостивые государи! Руслянді́я заслоняет от наших глаз истинную, православную, святую нашу Русь», я опять-таки знаю, что и это я выдумал, что Русляндии никакой нет, что и Русь была до сплыла, а есть Россия, которую никто и ничто, по причине обширности сюжета, заслонить не может, но вместе с тем я знаю также, что такое начало наверное дает мне возможность со всею безопасностью поместить в моем обозрении и фигуру взволнованной души, и фигуру патриотического уязвления,—именно те две ужасные фигуры, которые преимущественно точат мое реторическое существование. И вот я начинаю пространно объяснять, что такое Русляндия, и что такое Русь; из объяснений моих выходит, что Русляндия есть нечто такое, что заслоняет Русь, а Русь есть нечто такое, что заслоняется Русляндией, — больше, клянусь, ничего не выходит. Но это ни мало меня не смущает, ибо, в сущности, я совсем не о том и забочусь, чтобы из моего красноречия что-нибудь выходило, а о том только, чтобы сказать несколько «жалких слов», и чтобы при этом состояло налицо самое красноречие. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкого

слова без умиления проглотить не могут, — на них-то я и рассчитываю. Это люди, тоже в своем роде красноречивые, не могущие выражать свою реторическую сущность потому собственно, что красноречие их, так сказать, бессловесное. Это моя любимейшая публика; я рассчитываю на этих бессловесных ораторов, потому что я, кроме того, что оратор до мозга костей, есьм и пропагандист. Я пропагандист фигуры взволнованной души, формулирующейся фразой: «не знаю, известно ли вам, какую эпоху переживает в настоящую минуту Россия», и фигуры патриотического уязвления, формулирующейся целым потоком фраз о различии Русляндии и Руси. В порывах моего пропагандизма, я не оставлю в покое даже и малых сих, я посещу земные расселины, я сойду в ад, я пойду сквозь иго цензуры, но жив не буду, если не напою всех и каждого от струй моего красноречия.

О боже! Да и двумя ли только приведенными выше примерами исчерпываются поводы для моего красноречия! Разве я не могу найти их на каждом шагу сотни и тысячи? Разве я, так сказать, не попираю их ногами? [Прослышу ли я что-нибудь о секвестре, я буду до истомы приставать, исполняются ли правила о секвестре, я буду говорить о том, как это ужасно, что не исполняются, и по этому поводу опять обращусь к Русляндии, и опять докажу, что она заслоняет нашу древнюю, святую, православную Русь, в которой всё сие исполнялось. Это нужды нет, что мне положительно известно, что в этих делах Русляндия отнюдь не уступит древней Руси православной, да и не об секвестре совсем тут идет речь, да и не желаю я его совсем, а вот подвернулась под руку именно эта, а не другая фраза, я и щелкнул; сначала щелкнул слабо, потом сильнее и сильнее, и наконец заслушался самого себя. Попадись мне под руку другая фраза, хоть бы, например, такая, что секвестр имеет свои неудобства именно по растяжимости понятия, которое он в себе заключает и т. д. (некоторые московские публицисты эту штуку очень хорошо поняли), я защолкал бы и на этот мотив, и опять обратился бы к Русляндии, опять доказал бы, что она заслоняет собой нашу древнюю Русь православную, где никаких этих секвестров не знали и слыхом не слыхали, а просто брали всякую штуку не спросясь.

Мало вам этих примеров, я могу, коли хотите, и слиберальничать. Чем кровь-то проливать, скажу я, лучше было бы спросить польский народ, чего он желает. Надеюсь, что фраза — первый сорт. Конечно, мне могут возразить: над какими это вы пустяками всё убиваетесь! Как это спросить польский народ, да и кто его спросит? Но разве я не знаю, что всё это пустяки, и что спросить польский народ нет никакой возможности, однако не виноват же я, что мне в данную минуту пришла смертная охота спрашивать польский народ!] Поймите, что здесь идет дело лишь о том, чтобы провести время, что это один из тех булыжников красноречия, которых запас я постоянно держу у себя за пазухой, чтобы по временам метать ими в русскую публику.

Главное заключается в том, что я вышел на ровную дорогу, что попал, наконец, на вопрос, по поводу которого сошелся с Русляндией, и могу, как паук паутину, беспрепятственно испускать из себя красноречие. Буду откровенен: хоть я и ратую против Русляндии, но, в сущности, она мне не противна. Мне даже жаль, что она смотрит на меня искоса, потому что дай она мне высказаться до конца, она увидела бы сама, что мы желаем одного и того же. Чего я желаю? чего добиваюсь? Я желаю и добиваюсь только одного: чтобы мне не препятствовали употреблять слово «Русляндия» — что же может быть невиннее этого желания! Предположите даже, что это с моей стороны каприз, отчего же не допустить и каприза, если он никому не наносит вреда? Говорят, будто я смотрю как-то исподлобья, как будто чем-то недоволен, как будто желаю произвести какой-то «хаос-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К «ГОСПОДАМ ГОЛОВЛЕВЫМ», 1932 г.
Собрание художника, Ленинград



кавардак»! да поймите же, наконец, что это с моей стороны только будирование, что это просто малая шалость, результат желания занять какое-нибудь положение в обществе. Вспомните тех русских бар, которых Русляндия, во время оно, ссылала, за ненадобностью, в Москву, разве они не будировали? но разве кто-нибудь опасался их?

. . . .

Не думайте, милиствые государи, чтобы всё рассказанное выше было видено мною во сне: нет, хоть мне и самому казалось, что все это не больше, как бессвязный сон, но я бодрствовал. Передо мной и до сих пор лежат номера «Дня», в которых все эти сновидения изложены в подробностях, и даже называются руководящими статьями: «Москва. 11, 18 и 25-го мая» *. В каких-нибудь трех номерах газеты совместить столько риторической сущности — как хотите, а это труд громадный! Целых три дня беседовать с публикой, и не проговориться при этом ничем, кроме чистого *красноречия*, — как хотите, а *это фокус, которому не было доселе примеров* ни в черной, ни в белой, ни в голубой, ни в розовой магии! Это магия совершенно новая, а потому пускай она носит отныне название желтой.

---

* Впоследствии «День» пространно рассуждал о том, как лучше поступить с Польшей, т. е. отделить ли ее, или оставить попрежнему, и решили, что лучше отделить. На это пространно же отвечали ему «Московские Ведомости», при чем обе редакции называли себя «почтенными» и показали неслыханный пример галантерейного обращения. И ведь все это так серьезно, как будто и в самом деле их кто-нибудь спрашивает, как будто и впрямь они не афишки, а газеты! Проказники! [*Прим. Салтыкова.*]

Это жаль; «День» был грустен, но я любил его: в нем было нечто свежее, напоминавшее хорошо сохранившуюся средних лет девицу. Несмотря на достаточные лета, это девица еще неопытная, сберегшая во всей чистоте свои институтские убеждения; она во многом не отдает себе отчета и решительно не может себе объяснить, чего хочет и к чему именно стремится, но в то же время и во сне, и на яву чувствует, что кто-то ее хватает, кто-то подманивает, а потому не хотеть и не стремиться не может. Это придает какую-то трогательную задумчивость всем ее движениям и сообщает ее душевным помыслам то кроткое постоянство, которое заставляет ожидать жениха даже тогда, когда нет никакой надежды на его появление. Такой орган, от которого всегда пахло бы чем-то кисленьким, решительно необходим в литературе; он представляет в ней вечную нейтральную территорию, на которую по временам отрадно бывает вступить, как отрадно же бывает по временам вспомнить детские годы и сказать себе: да, и я был когда-то ребенком! и я когда-то картавил и лепетал «папа» и «мама»! Я никогда без умиления не мог читать краткие, но сильные premier-Moscou * периодически появлявшиеся в заголовке «Дня», до той недавней минуты, которая, к удивлению моему, развязала ему язык. «Москва такого-то числа и месяца», так гласили эти руководящие статьи, — затем черта, затем «жених»—и ничего больше. Это было так оригинально и вместе с тем так невинно язвительно, что я долгое время был убежден, что это именно самая лучшая манера писать русские руководящие статьи. Во-первых, тут тонким образом дается знать, что и я рад бы, да не от меня зависит; во-вторых, читатель от этого решительно ничего не теряет. Ведь он наверное знает, что, за что бы я ни взялся, о чем бы ни начал говорить, роковая сила все-таки приведет меня к вопросу о различии Руси и Русляндии; следовательно, он может сочинять упражнения на эту тему и без моей помощи.

Оказывается, однако, что девица моя совсем не так невинна; оказывается даже, что она чуть ли не состояла в тайном браке с той самой Русляндий, о которой выражалась с тою невинною иронией, какую обыкновенно употребляют все вообще пожилые девицы, говоря о мужчинах: фи, противный! Да, именно так, потому что, если и теперь еще девица моя продолжает иронизировать на счет Русляндии, то я уже очень хорошо понимаю, что это совсем не ирония, а одна из тех стыдливых bouderies** о которых гласит русская пословица: «милые бранятся, только тещатся». Иначе откуда бы взялось у них такое согласие в воззрениях и стремлениях? Откуда бы явилась, с одной стороны, такая полнота дерзновения, а с другой — такая полнота поощрения? Нет, как хотите, а тут что-нибудь да есть: тут есть, по малой мере, надежда на явный брак.

Но и за всем тем, мне жаль «Дня»; то-есть, мне не столько жаль его самого, сколько моей старой привязанности к нему. Мне даже и теперь кажется, что ежели он хорошенько взбунтуется и свергнет с себя иго красноречия, то будет даже милее той средних лет девицы, о которой я выразился выше с таким сочувствием. Мне кажется, что если он даст себе труд хорошенько размыслить, то непременно придет к убеждению, что эти переходы от будированья к восторженности и от восторженности к будированию не заключают в себе ничего поучительного, что здесь сегодняшняя восторженность служит лишь обильным источником будущих будирований. Он поймет, что нет той силы обстоятельств, которая могла бы столкнуть мысль (если только есть мысль) с того логического пути, на котором она стала. Он поймет... но нет, он ничего не поймет! Он не

* Передовицы.
** Выражений досады.

поймет уже по тому одному, что в раздвоении мысли именно заключается та сила, которая позволяет ему быть красноречивым во всякое время. А так как, с другой стороны, красноречие составляет дело всей его жизни, то возможно ли желать, чтоб он отказался от этого дела и добровольно обрек себя на смерть? Нет, это невозможно, да и несправедливо. Я понимаю, что человек, принадлежащий к известной политической партии, может, убедившись в несостоятельности руководящих его начал, отказаться от них, но к настоящему случаю это не относится. Ибо, скажите на милость, чтож это за партия такая — партия красноречия? и куда из нее выйти, и с чем в люди показаться?

Я с намерением остановился на «Дне», потому что явление это в высшей степени характеризует время, которое мы переживаем, и которое, по всей справедливости, можно назвать временем красноречия. Но путь этот, хотя и кажется издали усыпанным цветами, в сущности, есть путь погибельный и ложный, и общество, упорствующее оставаться на нем, скоро отвыкает от трезвой и прямой деятельности и приучается к преувеличениям. Поэтому литература, как представительница высших общественных стремлений, должна в этом отношении соблюдать особенную осторожность. Литература может поучать забавляя, но горе ей, если она будет забавлять поучая. Орган, который вдается в подобный промах, может, конечно, иметь своих диктаторов-приверженцев, но публика очень скоро оставит его в самом горьком одиночестве.

* * *

Когда человек сыт и доволен, когда дела или делишки пойдут изрядно, то он почти всегда наклонен думать, что этой сытости и довольству не будет конца. Особливо в этом смысле способность оказывают люди, которые любят ловить рыбу в мутной воде, и которым такое ловление более или менее счастливо сходило с рук. Поприще свое они обыкновенно начинают тем, что прикидываются лазарями, прислушиваются и приглядываются, но, обделавши два, три дельца, постепенно ободряются и в скором времени уже начинают ломаться и кривляться во всю мочь. Опираясь на свой успех, эти люди не только воображают себя великими и непобедимыми дельцами (а деловитость их в том только и заключается, что они умеют платки из чужих карманов среди бела дня таскать), но, к величайшему и всеобщему изумлению, сами приобретают даже какую-то олимпическую уверенность в своем бесспорном праве ловить рыбу в мутной воде. В порыве гордости, они не прочь даже запутать и провидение в сотоварищи своих гнусненьких проделок. «Это мне бог послал!» говорил мне однажды один мошенник, ловко ограбивший своего ближнего, и я совершенно убежден: во-первых, что он вполне верил тому, что говорил, и во-вторых, что он отнюдь и не подозревал, что произвел грабеж, а очень наивно думал, что воспользовался только своим правом. Для этих господ общественное бедствие вместо праздника, а чужое несчастие вместо лакомого пирожного: все это мутит воду и позволяет им вылавливать рыбку за рыбкой, рыбку за рыбкой. Если судьи неправедны, если администрация злоупотребительна, если общество цепенеет под игом безгласности — все это им на руку, потому что потворствует их наглости, запугивая и систематически придавливая ту среду, в которой они действуют. Наружность эти люди имеют самоуверенную, глаза алчные и бесстыжие, нос поднюхивающий, рот широкий, череп непомерно толстый. Внутренние их свойства составляют: нахальство и полнейшее отсутствие сознания о различии, существующем между добром и злом. Пассивность общества поощряет эти свойства, доводит их до разврата, и даже до галлюцинации, и поселяет в них сладкую уверенность, что такому блаженству не будет

ни препон, ни конца. Я знал одного такого господина. Пришел он некогда в Москву откуда-то из-под Воронежа, пришел пешком, и, что называется, без исподнего платья — и что же? послужил в комиссариате, и в каких-нибудь десять лет, с помощию одного нахальства, успел нажить себе несколько домов в Москве и значительный капитал. Теперь живет в Москве, пользуется общим уважением, называет мужиков хамами и ракалиями, занимает какую-то «благородную» должность и по временам даже будирует правительство. Замечательно, что это человек положительно глупый, что все проделки его пошлы и крайне незамысловаты, и что всё искусство здесь заключается в расчете на чужую честность или на чужую оплошность. Продает, например, этот господин свое имение и, при осмотре его, показывает покупщику чужой лес, или сдает съемщику фрукты в своем саду, получает с него задаток и приглашает в дом запить могарычи, а в это время нашустренный им садовник призывает баб и преспокойно себе собирает до чиста все фрукты. Шутки, очевидно, все незамысловатые, но этот человек до того возгордился своею подлостью, до того возвеличился тем, что всякий скорее спешил бежать от него, как от чумы, или как от вонючей помойной ямы, что плыл по океану жизни, как оглашенный на всех парусах, и даже рулем править пренебрегал. Эта самонадеянность довела его, однакож, до того, что он несколько раз был бит, но это бы еще ничего — и самый ловкий мошенник всегда рассчитывает на возможность побоев — главное-то горе его заключается в том, что с некоторым пробуждением общественного сознания, проделки его стали удаваться все меньше и меньше, и сверх того в сердце поселилось горькое предчувствие, что не всегда же будут судьи судить и рядить по усмотрению, и что правде формальной, правде, опирающейся в своих решениях на одну букву, наступит же когда-нибудь и конец.

Бывало, встретишь его на улице, идет он весь в синяках, но веселый и бодрый.

— Ну что, Порфирыч, опять побили?

— Побылы (он малоросс, и в качестве угнетенной нации, вместе с остзейскими немцами, поляками, армянами, нежинскими греками и евреями считает за долг надувать великоруссов при всяком удобном случае; разница только в том, что остезейские немцы, армяне, нежинские греки и евреи надувают вас en gros*, а поляки и малороссы, как братья по крови, en détail**.

— Что, видно мошенничать-то уж туго приходится?

— Нычего.

И сказавши это, смотря по расположению духа, или хихикнет от удовольствия, или же вздохнет потихоньку и прибавит: «Бог ему заплатит за то, что побыл бедного человека!»

Теперь уж не то. На днях его встретил: идет, по обыкновению, весь в синяках, но уже не хихикает, а как-то уныло и жалостно понуривает голову.

— Ну что, опять побили?

— Опять побылы.

И машет рукой, как бы желая сказать: это что! послушал бы ты, какую еще штуку со мной отмочили! Мы идем некоторое время в угрюмом молчании.

— Та не слыхалы лы вы, що там еще за гласность така? спрашивает он, наконец, меня.

---

* Оптом.

** В розницу.

«ГОРОД ГЛУПОВ» В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ САТИРЫ

Эскиз костюма и грима «капитан-исправника»

Акварельный рисунок худ. Кукрыниксы, 1932 г.

Собрание Театра Сатиры, Москва



— А гласность, Порфирыч, такая вещь, при которой мошенничество, хотя и возможно, но уже пользуется меньшими льготами, и при том требует значительного ума.

— Ну, так. А можно будет старые дела вновь начинать?

— Как не можно; разумеется, можно.

— Да що ж се такэ?

— Да уж там как знаешь, Порфирыч, а прошло твое времячко; ступай Варвара на расправу.

И этот человек, который еще так недавно верил в прочность земного счастия, который не мог пройти мимо чужого кармана, чтобы чего-нибудь не стянуть оттуда, которого нельзя было пригласить обедать без того, чтобы потом не недосчитаться серебряной ложки, теперь сделался меланхоликом и потихоньку ропщет на провидение. Мало того: он даже начинает заигрывать с тою самою гласностью, которой так боится, расспрашивает про нее, говорит: «от-то славна штука!» и, по всему видимо, что изъявляет твердое намерение примоститься к ней. Но этого не будет, я твердо в том убежден. Почему я убежден в этом, я даже не могу себе объяснить, но верю, что чем более будет простора и света для всех, тем большую тесноту ощутят негодяи и жулики (sit venia verbo *).

Итак, есть же средство укрощать даже таких огнепостоянных мошенников, которых доселе не укрощали ни брань, ни побои. Это средство должно действовать на них тем погибельнее, что они его не предвидели, а следовательно и не приготовились к нему. Разумеется, если б они были

* Извините за выражение (дословно: да простится это слово).

более предусмотрительны, если б не ослепляла их самонадеянность до того, что они горизонт своих надежд и желаний ограничивали хоть только сегодняшним днем, то их никогда не оставлял бы вопрос: а что, если я попадусь? а что, если меня за эту штуку побьют? и сообразно в этим они обделывали бы свои дела с большею осмотрительностью. Тогда, чего доброго, они могли бы даже прослыть в общем мнении за людей, которые, быть может, слишком зорко и придирчиво блюдут свое право, но все-таки в чужие карманы не заглядывают, да, пожалуй, и примостились бы! Но провидение благо; оно казнит нахала его собственным же нахальством; оно лишает его всякой предусмотрительности и окрыляет его ложными надеждами. И таким образом, оно неслышно и неисповедимо уготовывает ему место в арестантских ротах, где он может упражнять свои способности в более достойной его среде.

«Что же из этого следует? и к чему тут речь о мазуриках и жуликах? спросит меня изумленный читатель.

А из этого следует вот что:

1) что не всё же говорить о людях честных и обыкновенных, а надо иногда потревожить и жуликов, надо и им сказать что-нибудь в назидание;

2) что не только так называемый жулик, но и всякий другой человек, как бы он ни был сыт и доволен, отнюдь не должен рассчитывать, что этому довольству и сытости не будет конца; это правило, которое не терпит никаких исключений, и против которого, мы, к несчастию, всего больше грешим;

3) что правило это в особенности обязательно для тех литературных витязей, которые, забывая, что все на свете переходчиво, рубят себе с плеча, что бог на сердце положит; эти люди не должны упускать из вида, что литература, как бы она не была стеснена, не всегда же будет оставаться в безгласности, и что клевета, в каких бы широких размерах и с какою бы бойкостью она ни производилась, рано или поздно, все-таки найдет себе неотразимое возмездие.

Затем, благоразумный читатель может вывести из моего рассказа и всякие другие заключения, какие ему заблагорассудится.

* * *

Я всегда с удовольствием читаю «Московские Ведомости», с тех пор, как они перешли в ведение новой редакции. Я люблю следить за прихотливыми извивами человеческой мысли, люблю наблюдать за ее ветренностью и непостоянством, и хоть мне всегда представляется при этом Марина Мнишек (благодарю г. Оптухина за материал для сравнений), которая, переходя от одного Лжедмитрия к другому, кончила самым злосчастным образом, однако я утешаюсь мыслью, что хорошенькая женщина, и в несчастии, все-таки остается хорошенькою женщиною, и если не прельстит собой человека, обладающего изящными манерами, то наверное прельстит хоть грубого казака. Искусство выражать одну и ту же мысль на разные манеры и не изолгаться при этом в конец — столь любопытно, что может равняться разве искусству выражать совершенно разные мысли на один и тот же манер. В первом случае, читателю кажется, что мысли как будто одни и те же, а между тем, они как будто разные; во втором, что мысли как будто разные, а в то же время они как будто одни и те же. Закон, которому подобные мысли следуют в своем течении (ибо, в благоустроенном государстве, на всё свой закон есть), называется законом единообразия в разнообразии, или, что одно и то же, законом разнообразия в единообразии.

Милая ветренность и откровенная, непринужденная кокетливость—вот те драгоценные свойства, которыми эта почтенная газета уловляет в свои сети читателей. Она говорит читателю (особливо если-таки читатель сам подписывается, а не пользуется газетой от знакомых): не я обладаю тобой, о возлюбленный! а ты всецело царишь над моими помыслами! если ты думаешь, что дважды два пять—прикажи! клянусь, никогда иная истина не омрачит столбцов моих!

Не дивись, что я черна,
Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна
Между старшими сестрами.
. . . .
Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален;
Но цвету я для любви,
Для твоих опочивален.

Целый мир пахнул весной,
Тайный жар владеет девой;
Я прильну к твоей десной,
Ты меня обнимешь левой.

Я пройду к тебе в ночи
Незаметными путями.

Так вот как благоразумная редакция должна обходиться с своими подписчиками, а не то, чтобы грубить и тем паче навязывать им свои мнения. Что же мудреного, что и подписчик не остается нечувствительным к таким ласковым речам, что и он в свою очередь пишет в редакцию страстные послания, в которых зовет ее «розой гор» и клянется, что «красотой ее ужален»?

Но и в самом непостоянстве этой газеты есть один предмет, к которому она обращается всегда одинаково, т. е. с одинаковою злобой и ненавистью. Предметом этим служит русское молодое поколение, которое обвиняется в революционных тенденциях, которому приписываются всякие анти-социальные намерения, на которое, наконец, указывается, как на какое-то пугало, достойное омерзения. Беспрестанно возвращается газета к этому неистощимому источнику своих скорбей и опасений и ругательными диатрибами отравляет лишенные волос головы старых каплунов, ее читающих. Каплуны читают и разевают рты, словно туда посылают им любимые их катышки из грецких орехов с творогом; они читают и начинают подозревать, что в собственных их недрах завелось какое-то растлевающее начало, что собственные их дети, молодые каплунята, перестали ходить к обедне, не признают властей и надругаются над священным правом собственности.

— Да ты точно не признаешь собственности, Мишук? спрашивает старый покрытый плесенью каплун молодого, еще не совсем оперившегося каплуненка.

— А что такое собственность, папаша? в свою очередь вопрошает каплуненок, ковыряя в носу и воображая, что собственность и невесть какое кушанье.

— Собственность, мой друг... ну, Христос с тобой! ступай, душенька, поиграй с сестрицами!

И старый каплунище вздыхает свободнее и долго ломает голову над вопросом, что такое приснилось во сне его любимой газете, когда она уверяла, что мальчишки задумывают перевернуть вверх дном любезное отечество? И какое она имела право производить междоусобие и смуту в мирных семействах, поселяя вражду между родителями и детьми? И как она смела дворянских детей «негодяями» и «жуликами» называть? И мно-

го еще других вопросов задает себе старый каплунище, в конце концов постановляет решение не подписываться на будущее время на «Московские Ведомости», а продовольствоваться исключительно «Сыном Отечества». Да этот исход еще самый благоприятный; другой каплун позадорнее, пожалуй, и сатисфакции от редакции потребует за то, что осмелилась кость от костей его «жуликом» обозвать.

Много на своем веку острых слов произнесла почтенная газета в укоризну современному русскому молодому поколению, но, конечно, ни в ней, ни в «Русском Вестнике» не появлялось ничего такого, что замысловатостью своей подходило бы к выходке, помещенной в 187 № «Московских Ведомостей». Выписываю вполне это драгоценное произведение человеческой гидрографии.

Дело идет о том, что гражданская администрация в Польше состоит из изменников; по этому поводу, или, лучше сказать, без всякого повода, а просто потому, что она с некоторых пор считает своею обязанностию находиться в состоянии постоянного лая, газета считает нужным обратиться и к России и указать, что ей угрожало точно такое же зло, да быть может, еще не перестало угрожать и в будущем.

«Мы не раз приводили, для примера, положение, в котором находилась наша северная столица назад тому года два. России, при совершенном отсутствии революционных элементов в недрах ее народа, грозила почти такая же мистификация, которая разыгрывается теперь с большим успехом в царстве польском. Пусть читатели вспомнят, какие элементы, в течение довольно долгого времени, господствовали над нашим обществом, развращая молодежь обоего пола. Нельзя без омерзения подумать, что эти элементы были близки к тому, чтобы превратиться в такое же подземное правительство, какое теперь властвует в Польше. Пусть русская публика вспомнит этот недавний позор России; пусть вспомнит она, под каким ужасным кошмаром находилось у нас целое здоровое и сильное общество; пусть вспомнит она, как поседевшие люди подличали пред двенадцатилетними мальчишками, считая их представителями новой мудрости, долженствующей преобразить целый мир, как воспитатель пасовал пред своим воспитанником, как профессор боялся выставить студенту балл, соответствующий его нахальному невежеству, как начальствующие лица, и лица высоко поставленные, трепетали того, что скажет о них помешанный фразер в Лондоне, — пусть вспомнит она этих чиновников-прогрессистов, коммунистов и социалистов, которых такое множество расплодилось в России, — пусть вспомнит она ту шутовскую и тем не менее печальную революцию, которую производили студенты на петербургских улицах, и которая не осталась без серьезных последствий даже для всего министерства народного просвещения; — пусть вспомнит она все те нелепости, безумства, весь тот неслыханный «нигилизм», который господствовал в нашей литературе, и эту непонятную терроризацию, посредством которой всякий мальчишка, наконец всякий негодяй, всякий «жулик» (sit venia verbo) мог приводить к конфуз самые бесспорные права, самые положительные интересы, наконец логику здравого смысла. Все это было так недавно, все это еще у всех на свежей памяти, все это еще и теперь не совсем замерло, все это может быть еще (да сохранит нас бог от этого позора) отдохнет и очнется. Была же значит сила в этих ничтожных элементах; было же значит нечто такое, что давало им силу. Еще, казалось бы, один шаг и у нас началась бы настоящая терроризация... Были же и у нас какие-то тайные общества, какие-то центральные комитеты, издававшие свои прокламации; получались же и у нас разными лицами подметные писания с ругательствами и всякими угрозами. В сравнении с русским народом, с этим великим, могущественным целым, все эти элементы разложения кажутся теперь ничтожною тлей, о которой стыдно говорить; но эта

тля была же однако в силе, эта тля воображала же себя близкою в полному господству, и действовала же она с удивительною самоуверенностью. Что давало ей эту силу? Что внушило ей эту самоуверенность? Представьте себе, что вся эта наша революционная гниль сосредоточилась бы не в Петербурге, а в каком-либо другом городе; представьте себе, что все эти элементы разложения не находились бы ни в каком отношении к административным сферам,— и подумайте, что могли бы они значить, и какое действие могли бы они производить? Они могли бы быть только предметом смеха. Что же заставляло всех опасаться, что же заставляло всех тревожно оглядываться, что заставляло всех конфузиться и пасовать? Ничто иное как лишь то, что все эти элементы возникали и развивались в Петербурге, или под его влиянием; ничто иное как лишь то, что эти элементы действительно захватывали частицу власти и действовали с обаянием на всех и на все. Многие в Петербурге полагали, что это земля русская порождает из своих недр элементы разложения, а земля русская, недоумевая, видела в этих элементах признаки какого-то нового порядка вещей, новой системы, которая на нее налагалась. Раскрыть недоразумения, распутать интригу, которая, пользуясь обстоятельствами, умела поддерживать эти элементы, давать им ход и сообщать им ту фальшивую силу, которою они так долго пользовались, внушая опасения даже самым серьезным людям, было трудно. Представим же себе на минуту, что наши высшие власти были бы такого же свойства и были бы точно так же поставлены, как польские власти в Варшаве,— представим себе, что вся наша администрация вдруг наполнилась бы такими же неблагонадежными элементами, какими наполнилась вся администрация в царстве польском, и которые не только не препятствовали бы развитию действий революционной организации, а напротив, всячески способствовали бы ей,— и вот, даже без помощи ксендзов и европейской агитации, мы полу-



«ГОРОД ГЛУПОВ» В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ САТИРЫ

Эскиз костюма и грима «Предводителя дворянства»

Акварельный рисунок худ. Кукрыниксы, 1932 г.

Собрание Театра Сатиры, Москва

чили бы у себя явление совершенно аналогическое тому, которое происходит теперь в Польше. И у нас пожалуй стали бы вешать непокорных помещиков, отказывающих в контрибуции подземным властям, и у нас были бы жертвы подобные Минишевскому, и у нас стали бы насильно загонять крестьян в леса, как уже впрочем и были к тому попытки. Нет сомнения, что в России подобная мистификация не могла бы продлиться; но смут и всякого рода бедствий она причинила бы не мало, и бедствия эти обрушились бы главным образом на мирные народонаселения».

Здесь никаких объяснений не нужно; каждый принадлежащий к современному русскому поколению, без всякого сомнения, с презрением отнесется к этому бессмысленному набору ругательств, но не забудет однакож, что органом этих ругательств постоянно является редакция «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей». Здесь, что ни слово, то ложь, что ни фраза, то смешение понятий; читая этот новый опыт словаря избраннейших ямских слов, невольно переносишься мыслью к тем блаженным временам, когда всякого человека, сочувствовавшего правительству, называли революционером, когда поголовно всех членов редакционных комиссий, включая в то число и покойного графа Ростовцева [20] называли «красными». Тут состоят налицо все виды ненависти и лжи: и намеренное обобщение фактов совершенно уединенных, и стремление поселить раздор между двумя поколениями, которые, в сущности, идут рука об руку, и тайное желание восстановить власти против целой части русского общества, при помощи самой безобразной и бессовестной клеветы.

И когда все это пишется! В те самые минуты, когда русское учащееся юношество, в лице своих представителей, студентов московского университета, изъявляет торжественное намерение очиститься от клеветы и наветов и с этою целью пишет такие трогательные и горячие заявления! И кем пишется! теми самыми, которые несколько лет сряду волновали это самое юношество, и потом, увидевши всю бесплодность своих коварнических попыток, и убедившись в стойкости молодого поколения, за это самое возненавидели его и ударились в противоположную сторону! Бедное юношество! если тебе так и придется сойти с поприща неузнанным и неоцененным?

* * *

Этот непрерывный процесс, который ведут с молодым поколением наши журнальные борзописцы, наводит меня на разные размышления. Ведь и они когда-то были людьми, во что-то веровали, ходили не шатаясь по воле ветров. Какая таинственная сила заставила их переродиться до того, чтоб утратить даже возможность постигать смысл проходящих перед нами явлений? Какое мрачное колдовство до того засыпало мусором их память, что собственное прошлое является перед ними точно чужое?

Думаю я, что происходит это довольно просто. Выше я сказал, что когда человек сыт и доволен, то он склонен думать, что этой сытости и конца не будет; нечто подобное повторяется и в настоящем случае. Когда человек молод, внутренняя сила еще ключом кипит в груди, он думает, что этой молодости, этой силе никогда и конца не будет. А так как всякой силе свойственна известная доля гордости и даже фанатизма, то вот и мечтается молодому человеку, что краше-то его, молодого, и на свете нет, и что уж если он что выдумал или сказал, так уж лучше той выдумки или слова никому ни выдумать, ни сказать не приводится. И идет он таким образом до преклонных лет, и все думается молодому человеку, что он молодой человек, покуда вдруг не получит он откуда-то щелчка в нос. Тогда является в первый раз потребность оглянуться на себя и проверить свое положение в той среде, в которой действуешь. Оглядываешься, проверяешь... оказывается, что кругом наросло что-то новое и притом до того

действительно-молодое, что не имеет надобности ни в фальшивых тунеях, ни в искусственных зубах. И это новое и молодое не только ново и молодо, но даже говорит другим совсем языком, и думает совсем не ту думу, которую думали мы, прекрасные молодые люди сороковых годов. Господи! да неужели же мы не молодые люди! робко подумывает пожилой молодой человек, и внутренно оскорбляется даже одним предположением подобного рода. «Ах, мальчишки!» вырывается из груди его невольное восклицание.

С этих пор уж он старик, и мысль его перестает развиваться даже в сфере тех начал, которые питали его молодость. Эта мысль все идет назад и назад, и не успокоится до тех пор, пока не зайдет в самую трущобу. И тогда-то начинается действительная история человеческого грехопадения, история, которая была бы смешна, если б не имела в себе слишком много по истине жалкого и даже трогательного. Человек рвет фальшивый тунеи свой и искусственными зубами хочет вцепиться в живой организм. В бессильной и дикой злобе глумится он над всем, что хочет жить, что жаждет истины и света, над всем, чье сердце неравнодушно относится к чужому страданию. Само собой разумеется, что все эти неистовства остаются без результата, что естественного течения жизни не остановить не только искусственными, но и настоящими, здоровыми зубами, но картина одряхлевшего молодого человека все-таки поучительная. Трогательная сторона ее заключается именно в том бессилии, которое царит над нею, но так как, в большей части случаев, здесь примешивается еще злоба, то, в соединении с нею, картина уже приобретает колорит отвратительный.

Затем, оканчивая мою хронику, не могу оставить без нескольких слов ответа «Заметки для редакции «Современника», напечатанной в «Отечественных Записках» за июль месяц.

Быть может, читатель помнит, что в майской книжке нашего журнала, по поводу постоянного плача «Отечественных Записок» относительно какого-то бомбо-отрицательного направления, а также по поводу совершенно прозрачных намеков, которыми в распространении этого бомбо-отрицательного направления обвинялся «Современник», мы просили г. Громеку [21], как объявившего себя редактором «Современной хроники», в которой означенный выше плач преимущественно производится, объяснит нам, на какие факты он может сослаться для подкрепления своих обвинений.

На наши скромные вопросы редакция ничего не отвечает, и даже своим рассуждениям о бомбо-отрицательном направлении старается придать такой смысл, которого они по истине не имели. Это обстоятельство, конечно, нас не может не радовать. Взамен того, почтенная редакция «Отечественных Записок» объясняет, что статью о бомбо-отрицательном направлении писал не г. Громека, а г. Ленивцев, и что г. Громека уполномочивает ее объявить, что он никогда не протягивал руки редакции «Современника» и не искал с нею сближений, но что редакция «Современника» не раз протягивала ему руку.

На это не лишним считаем в свою очередь объяснить почтенной редакции:

1) Что ежели статью о бомбо-отрицательном направлении писал не г. Громека, а г. Ленивцев, то г. Громека, как редактор «Современной хроники», обязан был воздержать своего неопытного сотрудника от неосторожных намеков, которыми и без того достаточно безобразят нашу недавно еще честную литературу московские публицисты.

2) Что выражение «протягивать руку» употреблено нами в переносном и даже ироническим смысле; что затем, хотя нам положительно неизвестно, протягивала ли фактически и не в переносном смысле редакция «Современника» руку г. Громеке (мы лично не имеем даже удовольствия

знать его), но если бы это и было, то надеемся, что здесь нет даже самого малейшего повода для обвинения.

Сверх того, в «Заметке», о которой идет речь, есть следующая фраза: «Мы уверены, что каждый читатель, вникнув во всю тонкость этой литературной передержки, сам убедится, что отвечать нам на эти вопросы, значило бы показать, что «Отечественные Записки» лишены всякой способности гнушаться, подобно «Современнику», тем, что им представляется наиболее гнусным».

Полагаемся на здравый смысл наших читателей и предоставляем им отыскать ключ к этой загадке. Мы же решительно ничего тут не понимаем, но чувствуем, что здесь что-нибудь одно из двух: или очень острое, или очень пакостное.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Современник» — один из самых замечательных русских журналов XIX в. (1836—1866), издававшийся в течение 30 лет. Основан по мысли А. С. Пушкина. В 1847 г. издание его перешло к Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву, и с этого времени «Современник» становится одним из самых влиятельных органов прогрессивного направления. Самым блестящим периодом его существования был тот, когда в нем в 60-е годы работали Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Щедрин и другие представители радикального и социалистического разночинства. Закрыт по распоряжению правительства в связи с покушением Каракозова на Александра II.

2 Газета «День» издавалась известным славянофилом Иваном Сергеевичем Аксаковым (1823 — 1886).

Один из самых ярких представителей славянофильского течения в России по своей деятельности, так как теоретиками и основоположниками славянофильства были Киреевские, Хомяков и Самарин, И. С. Аксаков был младшим сыном Сергея Тимофеевича Аксакова и пленной турчанки Игель-Сюм. Привезенный в Петербург, когда ему было всего четыре года, И. С. Аксаков учился в Училище правоведения, но не здесь выработал он свои взгляды, а в том кружке славянофилов, который образовался вокруг его брата Константина Сергеевича.

Отдав дань увлечению немецкой романтической поэзией (он много путешествовал по Германии), Аксаков по окончании училища в 1842 г. поступил в Сенат, в Москве. Чиновничья, канцелярская атмосфера не могла удовлетворить деятельную натуру Аксакова, и он вскоре бросает службу в Москве, переезжает в провинцию, сначала в Калугу, затем в Астрахань (в уголовную палату), а в 1848 г. переходит на службу в министерство внутренних дел чиновником особых поручений.

Как и в Сенате, и здесь Аксаков не был тем заурядным чиновником, какими характеризовалась эпоха Николая I; вместо омертвляющей канцелярской работы он берется за обследование раскольничьих дел в Бессарабии и Ярославской губернии. За чтение в кругу знакомых своей поэмы «Бродяга» Аксаков получает выговор и в 1852 г. покидает службу и посвящает себя с тех пор целиком журналистике и политике. Приняв участие в издании известного славянофильского труда «Московский сборник», который был запрещен, Аксаков в числе других славянофилов попал под полицейский надзор, при чем его статьи могли печататься только после просмотра в Главном цензурном управлении. В 1853 г. Аксаков принял поручение Русского географического общества написать исследование об украинских ярмарках, для чего и отправился на Украину. Работа его вышла в свет в 1859 г. и получила две награды: от Географического общества и от Академии Наук. Во время крымской кампании Аксаков служит в ополчении (1855 и 1856 гг.), а затем, подготовив к печати свою работу, в 1858 г. становится фактическим редактором славянофильской «Русской Беседы» (официальным редактором числился А. И. Кошелев). В 1859 г. Аксакову удалось добиться издания своей собственной газеты «Пахарь», но ее постигла такая же печальная участь, как и «Московский сборник»—на втором номере газета была запрещена. После поездки за границу Аксаков в 1861 г. добился снова разрешения издавать газету. Это и был тот «День», который имеет в виду М. Е. Щедрин. «День» издавался с 1861 по 1865 г. После закрытия «Дня» Аксаков последовательно издавал «Москву» (с 1867 по 1868 г.), «Москвича» и «Русь» с 1880 г. Состоя с 1874 г. председателем Московского купеческого общества взаимного кредита, Аксаков благодаря своей общественной и политической деятельности в Славянском комитете (основан в 1858 г.) во время русско-турецкой войны (в 1877—1878 гг.) приобретает европейскую известность своими речами и выступлениями в защиту славянской идеи. О силе, влиянии и значении Аксакова в известных кругах можно судить по тому, что на его похороны собралось более ста тысяч народа и было получено более 160 телеграмм, начиная от великих

княгинь и К. П. Победоносцева и кончая учеными обществами, земствами и учащимися.

Не касаясь сущности всего славянофильства, остановимся на аксаковском «Дне», с которым полемизирует Щедрин. Это нам в высшей степени необходимо и для определения позиции самого сатирика.

В «Дне» писали все виднейшие славянофилы того времени — сам И. С. Аксаков, Д. Ф. Самарин, Кошелев; печатались статьи Константина Аксакова, А. С. Хомякова, помещались ученые заметки и работы М. О. Кояловича, М. А. Максимовича, П. Н. Рыбникова, И. В. Беляева, давал туда статьи и В. Буренин и, что самое важное, печатались многочисленные статьи, заметки и корреспонденции помещиков крупных и мелких, можно без преувеличения сказать, из всех местностей России: из центра, из нынешней Украины и Белоруссии, из Польши, с Урала, Дона, Юга, Кавказа и из далекой Сибири. Хорошо был связан «День» и с южными славянскими странами.

Необходимо подчеркнуть, что «День» отзывался на все важнейшие политические, экономические и культурные вопросы эпохи.

В передовой статье № 2 1862 г. программа «Дня» определяется так: вопрос крестьянский, дворянский («уничтожение себя как сословия»), коренное преобразование государства, согласное с волей народа, вопрос о свободе совести, вопрос о народном образовании.

Как же «День» понимал все эти вопросы? Разрешая крестьянский вопрос, отказывался ли он от того существенного, что хотя и по-новому, но все же оставляло дворянству его первенствующее положение?

С первого взгляда как будто казалось, что славянофилы «Дня» в своих передовых статьях готовы были снять с себя рубашку и надеть ее на крестьянина. Так в передовой статье № 1 за 1862 г. «День» заявлял, что прежде покоившееся на рабском даровом труде дворянство ныне должно раствориться в земстве и стать его интеллигенцией.

Но тут же, в той же статье, разъяснялось, что это значит: дворянство «исчезает в сословии землевладельцев», при чем эти землевладельцы берут себе львиную долю крестьянской земли, а за ту землю, что перешла к крестьянам, получают денежки. Как бы ни рассматривать все ламентации и исчисления Д. Ф. Самарина, Кочубея, Кошелева и других сотрудников «Дня» в том или другом направлении крестьянской реформы, важно одно: ни от львиной доли земли, принадлежавшей по сути крестьянству, ни от денег за освобождение помещики-славянофилы не отказывались. В этом отношении между самым свободолюбивым славянофилом и самым крайним реакционером различие было только количественное, а не качественное.

Никакого ясного представления о классовой структуре общества у славянофилов конечно не было. По их мнению, общество «образуется из людей всех сословий и состояний — аристократов самых кровных и крестьян самой простой породы, соединенных общим уровнем образования»; они конечно прекрасно понимали, что простой крестьянин, равный помещику по образованию, уже не простой крестьянин, и потому прибавляли, что общество обществом, а кроме того есть еще и «народный организм», составляющийся из трех сил: простого народа, государства и общества».

В высшей степени важно, что, трактуя об обществе, писатели «Дня» очень любят вместе с тем затрагивать самые злободневные вопросы эпохи—выкупную операцию, торговлю, промышленность, железные дороги и прочие отрасли хозяйства.

Трактуя эти вопросы, они никогда не забывают своих дворянских, землевладельческих интересов. Так, рассуждая о финансовом положении России, автор передовой статьи в № 14 «Дня» от 13 января 1862 г. говорит о том, что фабрики и заводы, насаждавшиеся будто бы у нас искусственно и насильственно, выделывали ненужные народу продукты, и видит главный недостаток промышленности в том, что «и в области материальной, промышленной, мы больше выписывали и покупали от Запада, чем отпускали ему своего добра, о котором мы вовсе и не радели».

Нужно, стало быть, такую промышленность, которая помогла бы помещику продавать свое добро за границу; и не только за границу, но и внутри страны. Недостаток старой промышленности, по мнению автора статьи, в том, что она работала для верхов общества, теперь она, потребляя продукты помещичьего хозяйства, должна работать для широких слоев общества. Но для этого нужны капиталы и крестьянину, и помещику. Есть ли они? У крестьян бесспорно есть. Писатели «Дня», любят об этом распространяться. Говорит об этом и упоминаемый Щедриным Оптухин в № 7 «Дня», говорится об этом и во многих корреспонденциях, например, в заметке из Оренбурга. «Да и как не быть деньгам у народа?—восклицает автор передовой.— Посетивши в 1855 и 1856 году южные губернии, бывшие театром военных действий (впрочем не самый Крым), мы с изумлением видели, что крестьяне сделали значительные денежные сбережения от массы денег, растраченных войною. Далее. Куда девались капиталы наших капиталистов? Большею частью помещены в акциях разных промышленных акционерных компаний... Эти затраченные миллионы разместились теперь по крестьянским сумáм. Колесо сделало только половину оборота — и снесло и втоптало деньги в зем-

лю, но при возвратном обороте он снова извлечет эти деньги, уже десятерицею, и пустит их во всеобщее обращение».

Здесь так и чувствуется автор работы об украинских ярмарках, как чувствуется здесь и то, что славянофил ставит свою ставку на крепкого крестьянина, на кулака.

Это подтверждается и множеством других статей. Были даже такие славянофилы, которые, исходя из мысли, что деньги — у крестьянина, предлагали правительству строить даже железные дороги на эти кулацкие деньги, для чего следует только выпустить мелкие облигации, которые купит и рабочий, и крестьянин. Капиталистическим частным компаниям постройку железных дорог отдавать не следует, так как тогда правительство будет в зависимости от капиталистов, а вот если выпустить мелкие облигации, то правительство получит опору в крестьянине и, значит, в землевладельце. Но откуда же возьмет денег землевладелец? Автор передовой в № 14 от 13 января 1862 г. отвечает: от выкупной операции. Только выкупную операцию нужно проделать так, чтобы вместо выкупных свидетельств помещики «получили выкупную сумму обыкновенными бумажными деньгами; такой выкуп и правительство бы укрепил и способствовал бы образованию необходимых для помещиков капиталов, предназначенных на расходы вполне производительные».

«День»—против образования партий в России, он точно так же находит вредным образование среднего сословия, т. е. буржуазии, не понимая того, что не только тот крупный капиталист, у которого славянофил получает деньги за свою рожь, но и тот крестьянин, у которого остались от войны деньги,—кулак—и есть то самое среднее сословие, та крупная и мелкая буржуазия, от каких он открещивается на словах. (См. передовую, № 24 за 1862 г.)

Какой же процесс отражали эти славянофильские идеи объективно?

Об этом достаточно ясно, хотя и в риторической форме, говорят статьи самого «Дня». «Потребно немалое мужество для всякого отдельного деятеля, чтобы покориться скупой судьбе и ограничиться насущной скромной потребностью, злобой, довлеющей дневи, чтобы отказаться мечтать о черной буре и солнечном блеске, о борьбе, потешающей молодые силы, и не менее животворном мире, о красивых поражениях и победных торжествах — и довольствоваться скучным путем исторической постепенности, историческим сереньким днем с его полубелым матовым светом, трудом невидным, чернорабочим и невеселым, не борьбой и не миром, чем-то средним между поражением и победой...» (Передовая № 1 за 1862 г.),

Эта метафора об «историческом сереньком дне» означала не что иное, как отказ от всякой борьбы с «царюющим» злом: «не переворот совершается у нас в России, а перерождение».

Переводя все это на социально-экономический язык, отбрасывая все славянофильские украшения на тему о земских соборах, нравственном начале, единении с народом, мы должны сказать, что и «День», и все славянофилы шли полным ходом на прусский путь развития России.

Отсюда становится понятной и та борьба с материализмом, какую вели славянофилы «Дня», и та ненависть, какую питали они к революционной молодежи, к нигилистам, и тот бешеный шовинизм, с каким славянофилы «Дня» отнеслись к польскому восстанию.

«Что материализм и общественная свобода, — писали публицисты «Дня» в статье «Два слова о материализме и общественной свободе», — два начала несовместимые и противоположные,— это можно было вывести логически, à priori, всякому знакомому с учением Бюхнера, Молешота и К°.». (Передовая № 11 от 16 марта 1863 г.) Они не останавливались даже против клеветы на материалистов, изображая их самыми крайними сторонниками деспотизма.

«Последовательные материалисты, — говорилось в передовице № 11 от 16 марта 1863 г., — если только последовательность возможна, должны в развитии своем непременно испытывать сочувствие со всеми материальными и грубыми силами, действующими в политической жизни обществ, и составить со временем отличный материал для полицейского контингента всякой деспотической власти. Поставьте во главе управления человека, отвергающего достоинство духа человеческого и нравственное уважение к человеческой личности, и вы увидите, что он явит в себе такого деспота, пред которым побледнеют все деспоты древних времен».

Пускай «Московские Ведомости» и «Русский Вестник» Каткова, «Наше Время», Б. Н. Чичерин и орган министерства внутренних дел ««Северная Почта» не соглашались на «самоуничтожение» дворянства и даже добивались кар на головы редактора «Дня», суть дела не менялась. И «День», и «Современная Летопись», с ним солидарная, в основном, в главном, сходились со своими противниками: прусский, а не революционный путь развития. (См. «Северная Почта» от 12 января 1862 г.)

[3] Руслядия. — Салтыков имеет в виду следующее место из передовой статьи в № 19 «Дня» за 1863 г. от 11 мая... «Из-за официальной России, или, как выражаются некоторые, Русляндии, выглядывает и выдвигается порою Русь, с ее древним духов-

ным и бытовым строем, — и она-то спасала всякий раз русскую державу, и спасет еще не раз, с божьей помощью! Внешнему врагу ее не сокрушить; войсками ее не одолеть, война, вызывая ее к жизни и бодрости, дает ей только новую силу и плотность... Народной Руси вреднее всего наше отступничество от русской народности, наше ненародное общество и все то, что поистине может назваться «Русляндией» и «русляндцами».

[4] Щедрин имеет в виду следующие строки о форрейторе (стр. 136) в № 15 «Дня» от 27 января 1862 г.: «Представьте себе, читатель, громадную тяжело нагруженную колымагу, медленно движимую по грязной, топкой дороге, шестериком здоровых, крепких, но несколько ленивых коней и тройкою выносных или передовых, на одной из которых усердно беспокоится бойкий форрейтор. Колымага то и дело вязнет в глубоких колеях, колеса упираются в рытвины или наворачивают на шины целые пуды грязи; лошади, ощупью отыскивая твердой опоры для копыт, беспрестанно оступаются и проваливаются. Пришлось, наконец, подниматься на гору, за которою, по рассказам, дорога становится лучше. Чтобы одолеть этот подъем, нужно бы дружным усилием всех девяти коней подхватить и вывезти колымагу, но не тут-то было! Беспокойный форрейтор, приударив своих лошадей не во-время, так натянул постромки, что они лопнули; колымага с шестериком засела в трясине, на самом взлобе дороги, а форрейтор, с своими выносными конями, ускакал вперед! И скачет форрейтор, не оглядываясь, все вперед, да вперед; скачет, не слыша отчаянных криков увязнувшей колымаги, не разбирая дороги,— целиком по полям и нивам, через ручьи и овраги,— не заботясь об экипаже, да и не соображая, что во всяком случае грузный экипаж так скоро мчаться не может; скачет, предовольный собой и своей быстрой ездою, и в пылу погони за блуждающими огоньками, воображает, что везет колымагу к настоящему путеводному свету!»

«Мы только подробнее и пространее начертили образ, на который еще покойный П. В. Киреевский указывал для характеристики просвещения Польши в XVIII веке; но едва ли еще не с большею верностью может он послужить как сравнение для самой России. Эта тяжело нагруженная колымага с шестерней добрых коней — не наша ли земля с ее материальными и духовными богатствами, не народ ли, оставшийся позади, без средств к просвещению и внешному преуспеянию, народ, от которого оторвались верхние слои общества?.. Этот форрейтор, так шибко скачущий потому что не тащит за собою никакого груза, — не мы ли, так называемое образованное общество, мчавшееся во весь опор верхом на цивилизации, подгоняющее ее татарскою нагайкою работы немецкого мастера, скачущее к прогрессу не столбовой дорогой, а какими-то особыми кривыми путями вне всяких исторических условий? Эти блуждающие огоньки не те ли «идеи века», за которыми так безразборчиво гоняются наши прогрессисты?»

[5] Чичерин, Б. Н. (1828—1904) — известный ученый, философ, либерал, общественный деятель, профессор Московского университета и городской голова. Автор многочисленных работ.

[6] Аксаков, И. С., см. примечание 2.

[7] Катков, М. Н. (1818—1887) — выдающийся русский публицист реакционного направления. В молодости по окончании университета вращался в кружке В. Г. Белинского, М. А. Бакунина. Разошелся с Белинским, эволюционируя вправо как в философии от Гегеля к Шеллингу, так и в политике к консерватизму. С 1848 г. стал профессором философии в Московском университете, с 1851 г. редактором «Московских Ведомостей» и с 1856 г.—своего собственного журнала—«Русского Вестника». С этого времени Катков окончательно эволюционировал к монархизму и превратился в яростного защитника монархических и дворянских устоев, а оба его органа — оплотом самой черной реакции. Руководя этими органами, он приобрел большое влияние в высших сферах правительства и играл большую роль в русской политике, был близок с государственным канцлером Горчаковым и др. сановниками. В 60-е, 70-е и 80-е годы Катков вел яростную борьбу с прогрессивными и особенно радикально-социалистическими элементами общества, создав целую школу лакействующей журналистики.

[8] Краевский, А. А. (1810—1889) — один из известных журналистов XIX в., по окончании Московского университета в 1828 г. вступивший в литературу. За свою жизнь он редактировал «Журнал Мин. Нар. Просвещения» с 1834 по 1838 г., а с этого года и издавал следующие органы печати: «Отечественные Записки», с 1863 по 1882 г. газету «Голос», «Литературную Газету», «Русский Инвалид» и «Санктпетербургские Ведомости». Самым выдающимся органом были «Отечественные Записки», где работал великий русский критик В. Г. Белинский и другие видные представители прогрессивного западнического направления.

[9] Грановский, Т. Н. (1813—1855) — известный русский историк по истории Запада. друг Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского, член кружка западников, гегельянец, с 1839 года профессор Московского университета, блестящий лектор, автор немногочисленных, но талантливо написанных работ в духе школы Гизо и Тьера.

[10] Устрялов, Н. Г. (1850—1870) — профессор Петербургского университета, академик, издатель исторических документов и автор устаревшей ныне «Истории царствования Петра I».

[11] Горчаков, М. А. (1798—1883) — светлейший князь, товарищ А. С. Пушкина по лицею, известный русский дипломат (госуд. канцлер по иностранным делам с 1867 по 1882 г.), отличившийся неспособностью к широкой международной политике и принесший много бед России, в особенности, когда его соперником стал Бисмарк в Германии.

[12] Муравьев, М. Н. (Вешатель) (1796—1866) — декабрист, один из авторов устава «Союза благоденствия», изменник, ренегат, крепостник, реакционер, противник отмены крепостного права, был витебским вице-губернатором, губернатором могилевским, минским и курским, а затем генерал-губернатором Северозападного края, зверский усмиритель польских восстаний 1831 и 1863 гг.

[13] Оптухин, Л. — автор нескольких статей в «Дне», например в № 11 за 1863 г. «Юридические недоразумения по крестьянскому делу». Щедрин имеет в виду статью в № 31 от 3 августа 1863 г. В ней между прочим есть такое место: «... И они думают (речь идет о поляках. — *В. Н.*), что Европа будет для них завоевывать чуждый им народ, увидевши на деле его бездонную и необъяснимую к ним ненависть? Да они, пани добродзеи, с ума сошли... нет, тут-то их, ясновельможных, Европа и раскусит, тут и поймет, что они — коллективная Марина Мнишек, бесстыдная государственная блудница, которая из-за власти над чуждым ей народом, из-за пышного титула готова делить ложе с ворами и мошенниками».

[14] Молинари, Густав (1819—1912) — бельгийский ученый, политико-экономист, манчестерец, автор многочисленных трудов с 50-х годов XIX в. сотрудник «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей».

[15] Щедрин имеет здесь в виду статью в № 164 «Московских Ведомостей» за 1863 г. Газета Каткова из патриотических чувств отстаивала направление на Киев (из Москвы), полагая, что приехавший в Петербург англичанин Гоп, родственник английского посланника в России, хочет повлиять на русское правительство провести дорогу на Харьков — Севастополь, захватив таким образом концессией этот крайне важный пункт Крыма в английские руки. «Московские Ведомости» были против этого проекта, несмотря на его экономическое преимущество.

[16] Садовский, П. М. (1818—1872) — великий русский артист Малого театра в Москве, самый выдающийся истолкователь на сцене типов Островского и в особенности Любима Торцова.

[17] Речь идет о статье в «Русском Вестнике» М. Н. Каткова за март 1863 г. «Отзывы и заметки «Что нам делать с Польшей?» Автор говорит здесь об «искусственных конституциях» и между прочим пишет: «Дело благоустройства будет испорчено, если при основании его будет присутствовать та мысль, что верховная власть делает в нем какую-либо уступку из полноты своих прав. Ничего не может быть неразумнее и бедственнее такого представления дела, что верховная власть с кучкой крепко держит в своей руке разные льготы и выпускает их неохотно в виде уступки, так что народ как бы выигрывает именно настолько, насколько проигрывает власть. Такой взгляд на отношения власти к народу столько же нелеп, сколько и пагубен; он ставит власть и народ в отношения невозможные, противные природе вещей. А между тем именно такой взгляд присутствует при сочинении фальшивых конституционных комбинаций». «... Как бы ни было организовано представительство, в нем не должно быть и тени мысли, что оно имеет власть издавать законы или что согласие его необходимо верховной власти для издания закона» (стр. 503, 504). «Польский вопрос может быть решен удовлетворительным образом только посредством полного соединения Польши с Россией в государственном отношении».

[18] Этот проект совершенно серьезно выдвигали славянофилы в большой статье в своей газете «День» за 1863 г.

[19] Павлов, Н. Ф. (1805—1865) — известный журналист 60-х годов, беллетрист, поэт и критик. В 1863 г. основал «Русские Ведомости», с 1860 по 1863 г. издавал газету «Наше Время» прогрессивного направления. Наиболее известные его произведения — «Именины», «Аукцион» и «Ятаган».

[20] Ростовцев, Я. И. (1803—1860) — участник общества декабристов, предатель, участник турецкой войны, один из усмирителей польского восстания 1831 года, председатель редакционных комиссий крестьянской реформы, консерватор, защитник дворянских интересов.

[21] Громека, С. С. (1823—1877) — бывший жандарм, принимал участие в проведении крестьянской реформы в Польше, участник и сотрудник журналов «Отечественные Записки», «Современник» и «Русский Вестник», а также газеты «С.-Петербургские Ведомости». Щедрин имеет в виду «Заметку для редакции» «Современника» в № 148 за 1863 г., стр. 190—194.

1—2. НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
(Две неизданные хроники)
3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ

НЕИЗДАННЫЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ ЩЕДРИНА, ПРЕДНАЗНАЧАВШИЕСЯ ДЛЯ «СОВРЕМЕННИКА»

Предисловие А. Луначарского
Комментарии Я. Эльсберга

ПО ПОВОДУ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ ЩЕДРИНА 1864—1865 гг.

Был в Щедрине, и сказывался со страшной силой, один момент социально-психологического и историко-политического характера, который мы встречаем и у Белинского, и у Чернышевского, и у множества других великих людей демократии нашей страны и стран зарубежных. Этот момент — несвоевременность.

Великая честь, дорогие товарищи, проснуться раньше других и раньше других увидеть тьму ночи и злобу ночных зверей, и тяжкую непробужденность народных масс, работающих, стеная, на врагов своих.

Это великая честь. Но если вы проснулись, оглянулись зорким глазом в еще не начавшей редеть тьме и заприметили все кошмары длящейся ночи, то что прикажете делать? Испуганно замолчать? Скрыть то, что вы увидали и поняли?

Крикнуть и постараться разбудить жертвы, хотя бы вы были уверены, что самый сильный призыв не пробьется к их сознанию?

Броситься защищать их и «протестовать своими боками», хотя вы знаете, что это будет бесполезное мученичество, которое ничего не изменит в корне вещей?

Объявить «подлость» царящей ночи естественной фазой истории и постараться примириться с ней, как сам Белинский, под влиянием Гегеля, старался сделать это в эпоху своей статьи о Бородинской годовщине?

Найти приличное и честное занятие, за которым можно было бы скромно прожить свою жизнь как ни в чем ни бывало, и все-таки перед своей совестью сказать себе: я был более или менее честным человеком?

Заняться медленной подготовительной работой, «милость к падшим призывать», так однако, чтобы никому это не было особенно заметно? Или зарыться в подполье и там говорить самые смелые вещи, однако совсем тайно, и то с большим риском?

Вот те решения вопроса о практическом поведении, которые встают перед чересчур рано проснувшимся гражданином. Они стояли перед Щедриным. Щедрин был человеком огромной смелости, но он не был романтиком, он не был дон-кихотом. Праздные жертвы казались ему смешными. Пожертвовать собою ради пустяков казалось ему презренным, а не героическим.

Щедрин был в высочайшей степени реалистом, практиком. Он хотел дело делать, он хотел результатов добиваться. Но когда эти результаты превращались в песок, в «полуду больничных рукомойников» и в «сморканье нечистых носов крестьянских ре-

бятишек в школе», то Щедрин с убийственной иронией говорил о такой религии «малых дел».

Как же быть? На борьбу не пойдешь. Вызовешь чудовище, — а оно тебя схряпает. Сколько-нибудь крупного и полезного дела сделать не дадут. Ничего не делать, а предаться только восхищению перед будущим? — Это комично и жалко. В этих страшных противоречиях путался ум Щедрина. Сердце его отзывалось не только жалостью, но и мучительной судорогой осуждения, когда террористы даром отдавали свою жизнь.

Ну что же делать перед лицом призраков, как не подкапывать их фундамент ради прихода — хотя бы не правды, но новых, более светлых призраков?

Однако есть ли в этом какое-нибудь утешенье?

Можно разумеется утешаться при различных разрешениях вышеуказанных задач тем, что «история поймет и помянет нас добрым словом». «Но почему, — спрашивает Щедрин, — от этого рода утешений веет какого-то рода иронией?»

Нет, для людей типа Чернышевского, типа Щедрина, для людей дела, целостной борьбы, победы нет утешения в том страшном факте, что они родились и проснулись слишком рано, что они делать своего дела в полном объеме не могут, что о победе ничего еще не слышно.

Как выйти из этой осужденности безвременья с достоинством?

Подло было бы с нашей стороны смеяться над тем, что величайшие люди того поколения становились утопистами и принимали за возможное то, что на самом деле не было возможно.

Подло было бы с нашей стороны бранить их за то, что они не разбивали свои головы о прочную стену еще непоколебимого зла.

Подло было бы с нашей стороны упрекать их в том, что во взволнованных и волнующих поисках выхода из этой трагедии, самой страшной социально-психологической трагедии, какая только возможна на земном шаре, они делали иногда ошибки.

Радуйтесь, товарищи, что вас, без всякой заслуги с вашей стороны, история сделала счастливцами. Да, вы боретесь и умираете, но это начался уже последний решительный бой. Да, вы иной раз голодаете, вы напряженно трудитесь, вы может быть не увидите еще первых весенних дней уже ароматного, уже солнечного, уже музыкального, уже благословенного и согласованного молодого социализма. Но вы явным образом идете к нему как хозяева дороги, которая к нему ведет: вам все легко.

Радуйтесь, товарищи, что до вас пришли Маркс и Энгельс, что вы наследники гигантских волшебных прожекторов, которыми вы освещаете свое будущее, и что в свете этих прожекторов все становится ясно и понятно.

Как бы несчастно ни сложилась твоя личная жизнь, товарищ, радуйся, радуйся великим ликованием, ибо ты современник светлых дней, прямой борьбы и несомненной победы. И в радости своей, милый товарищ мой, не забудь пониже поклониться темным могилам тех людей, которые уже знали, где добро, которые не меньше тебя ненавидели зло, которые готовы были отдать борьбе всю кровь сердца до последней капли, которые, как и ты, хотели быть не шумными героями фразы и позы на эсеровский или анархический лад, а настоящими деловиками, делягами, но только деловиками революционными, делягами монументальными. Поклонись их святым могилам.

Да, у нас тоже есть наши святые. У нас тоже есть наши мученики, у нас тоже есть наши священные гробы.

В этих гробах покоятся не только победители, но и страстные искатели, исполинского роста неудачники. Без их предварительного выхода на дорогу, без их предутренней разведки нам было бы труднее.

Вот почему так крепко любил Чернышевского Ленин. Вот почему таким товарищеским вниманием окружал он ядовито разящий врагов талант Щедрина.

Новые, бездонно умные, во всякой черте характерные в положительном и отрицательном, почти одинаково ценные статьи Салтыкова-Щедрина должны крепить нас в тех суждениях и чувствах, о которых я написал и в этом моем отклике на раскопанные рукописи нашего великого старшего брата.

А. Луначарский

1. НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хронику в прошедший раз.

Протестовать своими боками — дело очень нетрудное, но в то же время и совершенно невыгодное. И если выгоду (разумеется, это слово следует принимать в самом обширном и разнообразном его применении) считать за исходную точку мало-мальски рассудительного человеческого действия, то подобного рода протесты можно назвать даже бессмысленными. Это простое наследие или рабства, или дикости, или такой цивилизации, которая растлена в самых своих источниках.

Известно, например, что бывшие крепостные люди против тягостей барщинной работы протестовали тем, что делали себе какое ни-на-есть увечье; известно также, что вотяк или черемисенин мстят за нанесенную им обиду тем, что лишают себя жизни на дворе своего обидчика; и еще известно, что истинный японец (японский славянофил), чтобы наилучшим образом уязвить лицо, ему ненавистное, распарывает себе ножем брюхо. Примеры эти, конечно, не новы и даже избиты, но они именно тем и хороши, что, несмотря на свою избитость, имеют за собою драгоценное в этом случае качество: доказательность. Подобного рода протесты, как живые свидетели насилия, неразвитости и фаталистической нелепости, исчезают сами собой по мере торжества свободы, цивилизации и здравого смысла. Люди начинают постепенно прозревать и понимать, что, протестуя на копейку, делают на рубль вреда самим себе, и, понявши это, стараются приискивать для своей протестантской деятельности другие, более удобные и безвредные приемы.

Разумеется, если мы вникнем пристальнее в сущность этого явления, то найдем, что со стороны крепостного человека, вотяка и японца такая нелепая форма протеста совершенно понятна. Кроме того, что она соответствует известным жизненным условиям, кроме того, что во всех такого рода случаях у протестующего или руки связаны, или умственные способности задернуты пеленою, кроме всего этого, говорю я, в результате подобных протестов все-таки оказывается ущерб, хотя и ничтожный сравнительно с ущербом, претерпеваемым самим протестующим, но тем не менее ущерб действительный. Когда крепостной человек нарочно порубал себе руку, то знал, что этот поруб исключал его из числа рабочих сил, и что вследствие этого у владельца его должно произойти замешательство в полевых работах; когда вотяк устраивает себе удавку на перекладине ворот своего обидчика, то знает, что накликает этим своему недругу беду, от которой он должен будет откупаться; когда японец, в пику врагу, распарывает себе брюхо, то знает, что враг этот действительно обидится и даже сочтет себя обесчещенным. Как ни явно нелепы их способы протеста, все-таки они имеют в виду результат реальный, который может удовлетворить хотя чувству мстительности. Но увы! может быть протест еще более жалкий! могут быть случаи, когда протест всею тяжестью ложится исключительно на бока протестующего, и когда при той силе, против которой он направлен, не происходит ущерба даже ни на копейку.

Но такого рода положение дела, отчасти комическое, а более прискорбное, достаточно любопытно само по себе, чтобы остановиться на нем с некоторым вниманием.

Протесты такого рода с особенною силою сказываются в такие моменты жизни обществ, когда эти последние находятся под влиянием напряженного возбуждения, т. е. что-либо торжествуется или празднуется. Минуты таких празднеств в глазах многих имеют большую привлекательность, но, в сущности, они представляют очень плохой признак, доказывающий толь-

ко, что жизнь находится в состоянии разложения, что она отказалась от старых форм, почему-либо оказавшихся непригодными, а новых выработать еще не успела. В такие минуты, несмотря на кажущееся торжество каких-то новых начал, всё и все протестуют, и именно потому, что торжества-то собственно никакого нет, а есть одно возбужденье. Одни протестуют во имя воспоминаний прошлого, другие — во имя предчувствий будущего. Жизнь сходит с реальной почвы, утрачивает последний смысл действительности и ударяется в исключительный утопизм. И как ни противоположны полюсы (прошедшее и будущее), из которых отправляется протест, но они сходятся именно в том смысле, что в обоих случаях протест не имеет ближайшей, реальной цели, и отзывается исключительно на боках самих протестующих.

Но прежде, нежели продолжать мою речь, я обязан оговориться, что, употребляя здесь слово «общество», я понимаю его в том ограниченном смысле, который обыкновенно присвояется ему в литературе. Я говорю об обществе мнимом, о той накипи, которая плавает на поверхности, а не о низменной силе, которая никогда не покидает реальной почвы и не знает никаких утопий.

Выше я сказал, что при возбужденном состоянии общества протест производится или во имя воспоминаний прошлого, или во имя предчувствий будущего. И в том, и в другом случае источник протеста — упразднение известных жизненных форм, которые долгое время безраздельно царили над обществом, которым одна часть этого последнего бессознательно покорялась, и из которых другая часть извлекала немаловажные выгоды.

В первом случае протест идет из среды людей, для которых упраздненные формы жизни были выгодны. Люди эти очень хорошо понимают, что время обладает способностью беспощадно и безвозвратно затягивать архивною пылью все, что однажды отмечено жизнью клеймом негодности, и что протестами своими они никому и ничему, кроме самих себя, ущерба учинить не могут, но, тем не менее, протестуют, потому что сердца своего унять не в силах. «Погоди ты у меня, говорила одна барыня (она была тогда беременна) временно-обязанному своему лакею:—вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!» И говорила эта барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что «от огорчения, причиненного ей грубостью подлеца Ваньки, изныл внутри у ее ребенок!» Быть может, даже по ночам ей мерещилось, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и, наконец, ссылают в Сибирь. Но ведь кто же не понимает, что и угрозы и самые желания, при всей своей искренности, — всё здесь, до самой последней подробности, призрачно и фантастично? Сама барыня это очень хорошо понимает; она знает, что Ваньку-подлеца ни в каком случае не сошлют (даже если б она действительно разрешилась мертвым младенцем), но у ней до того раскипелось сердце от огорчения, не от Ваньки даже идущего, что она впадает в злобную мечтательность, начинает строить воздушные замки, рисует себе соблазнительно-фанастические картины, в которых на первом плане стоят во всех положениях и на все манеры расписываемые Ваньки. Это даже и не мечтательность, а какое-то совсем особенное состояние духа: не сон и не бдение. Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его в очию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи. Моя огорченная барыня жила такою же полусознательною жизнью, и потому, как



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)
Фотография 1860-х гг.
Собрание О. И. Зубовой, Москва

только действительность вызывала ее из забытья, она протестовала, и, разумеется, протестовала самым крайним и нелепым образом, не щадя, так сказать, своего живота. Протест жалкий, и только в своей бессознательности находящий себе оправдание. «Господи! уж хоть бы разорвало, что ли, меня поскорее!» вопит человек, и в этих невинных воплях находит для себя утешение. Но еслиб он знал, какой веселый смех возбуждают они в окружающих! Если бы он знал, что даже окрестность, неодушевлённая окрестность — и та улыбается, взирая на то, как он в порыве нелепой и бесплодной мести раздирает свои собственные внутренности!

Если бы он знал! Но в том-то и дело, что он не знает, да и не следует ему этого знать, потому что в противном случае он мстил бы иначе, и, может быть, не возбуждал бы даже смеха. Это положительно повредило бы ему, потому что смех есть именно то единственное качество, при посредстве которого возможно примирение с людьми такого рода. Не будь этого смеха, оставалась бы налицо только сухая и безрезультатная их злоба, а теперь, сверх того, всюду просачивается еще достаточная доля глупости. И, таким образом, причина злобы объясняется сама собою и в значительной степени смывает с ее обладателя то темное пятно, которое, в противном случае, лежало бы на нем.

Но как иначе назвать такой протест, как не протестом своими боками? Здесь протестующий не только не наносит ни малейшего ущерба ненавистному делу, но сам всечасно подвергается всеобщему осмеянию, и, кроме того, испытывает на себе все горькие последствия, длинной вереницей сопровождающие всякое неудавшееся действие. Он чувствует себя раздраженным и злым, тогда как по природе своей он апатичен и добр; он худеет и стареется, тогда как, не будь проклятого протеста, ему по всем правам надлежало бы тучнеть и юнеть. И все-таки он протестует, протестует, несмотря на очевидную невыгоду такого действия, протестует, несмотря на то, что протест, при таких условиях, явно действует в ущерб ему одному!

Однако случаи подобного рода далеко не исключительны; может существовать обстановка, хотя и не имеющая ничего общего с изображенною выше, но которая отнюдь не меньше благоприятствует тем протестам, о которых идет речь. Если в первом случае человек выходит из миросозерцания, ограничивающего развитие жизни, то во втором — он выходит из миросозерцания, возводящего представление о жизни до размеров идеала. Если в первом случае запрос поражает своим ничтожеством, то во втором — он поражает своею громадностью. Но практический результат и того и другого запроса всегда одинаков.

Я понимаю, что могут существовать на свете люди мысли страстной, не останавливающейся ни перед какими выводами, мысли, не повинующейся никакому иному закону, кроме закона своего собственного логического развития. На людей такого закала известного рода открытия действуют чрезвычайно решительно. С одной стороны, подробный анализ разнообразных положений, в которых находился человек при испытанных доселе порядках, доказывает совершенную несостоятельность этих последних; с другой стороны — столь же подробный анализ свойств человека и его отношений к внешней природе указывает на возможность другой действительности, действительности разумной и для всех одинаково удовлетворительной. Строгим, почти математическим процессом мышления человек доходит до сознания идеала и с высоты смотрит на действительность. На этой высоте мысль, отрешенная от реальной почвы, питается своими собственными соками и даже приобретает способность создавать свои собственные живые образы. Понятно, что при таком богатстве внутреннего содержания разнообразные, но бедные и тощие мотивы жизни действитель-

ной должны казаться не более, как безразличным дрязгом, к которому надлежит относиться не с ненавистью или отвращением, а с полным равнодушием. Люди волнуются, усердствуют, подставляют ноги, льстят, взаимно друг друга истребляют из-за какого-нибудь черствого куска хлеба; люди ценою величайших жертв и усилий, шаг за шагом, вырывают из пасти чудовища разорванные и помятые клочки того «счастия», о котором мечтает всякий человек, и которое составляет его естественное и законное достояние, — но разумно ли поступают эти люди, волнуясь таким образом, и не являются ли они в своих усилиях глупцами и пошлецами? Я не знаю, как на деле ответит на этот вопрос мысль, дошедшая до сознания идеала, но знаю, что если она верна самой себе и достаточно искренна, то обязана ответить: «да, эти люди пошлецы и глупцы!» И действительно, разве кусок черствого хлеба сделает человека навеки счастливым? разве, например, одна эманципация слова удовлетворит умственным потребностям человека? Разве возможно из общей цепи жизненных явлений выдвигать по произволу то или другое звено, а прочие оставлять ржаветь на старых местах? Разве не перестанет человек и после того волноваться и биться, домогаясь и еще какой-нибудь обглоданной кости, и еще какого-нибудь обкусанного и оплеванного клочка? Кажется, что ответ на эти вопросы не может быть сомнителен, а если он несомнителен, то следовательно...

Повторяю: я совершенно понимаю возможность людей такого закала и вполне сознаю законность той роли, которую они играют в сфере мысли. Тем не менее, это все-таки люди мысли, а не практического дела, или, говоря простым слогом, это люди кабинетные, которые имеют в виду человечество, в обширном значении этого слова, и, согласно с этим, отыскивают истину общечеловеческую, абсолютную, но которые вести человечество к осуществлению этой истины не могут. Причина такого практического бессилия заключается все в той же страстности мысли, о которой говорено выше, и которая естественно переходит в восторженность, упраздняющую необходимую для практической деятельности ясность представления о пространстве и времени. Таких людей никогда не бывает много, ибо появление их находится в зависимости от такой исключительной совокупности благоприятствующих условий, которая может быть объяснена только редкою случайностью. Да, пожалуй, оно и не худо, что их мало, потому что, еслиб их было изобилие, то в обществе непременно произошел бы застой и запустение. Это, собственно, аристократы мысли, которые могут быть полезными только в умеренных приемах. Задача их жизни до того высока и проста, что она удовлетворяется сама собой и не дает даже места для протестов и неудовольствий. Да, протесты, о которых идет речь, идут совсем не из этой среды, а из другой, из среды, так сказать, второго сорта, но ведущей из этого же источника свое происхождение.

След, оставляемый горячим словом истины, не ограничивается одною умозрительною сферой, но стремится прониккуть в самую жизнь. Сильные личности находят прозелитов, даже не давая себе труда искать их, а истина сама по себе до того привлекательна, что, однажды приютив в своих недрах человека, может смело рассчитывать на посильную с его стороны послугу. Таких второстепенных и третьестепенных деятелей, дошедших до истины не путем самостоятельного мышления, но принявших ее готовою, уже гораздо более, и вот в этой-то скромной среде и зарождается первая идея о необходимости протеста.

Я с намерением употребляю здесь слово «скромность», потому что, в самом деле, вся заслуга второстепенных деятелей (впрочем, не малая) в том только и состоит, что, во-первых, они умеют отличить истину от лжи и добровольно становятся на сторону первой, а не последней, а во-вто-

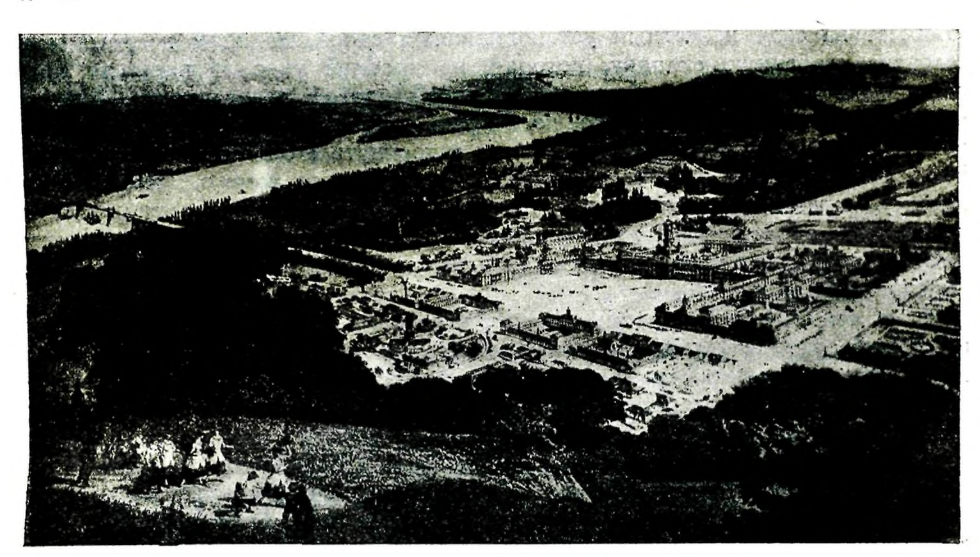
рых, что они служат проводниками истины в жизнь и делают ее мирским достоянием. Их роль — роль простых чернорабочих мысли, роль низводящая мысль с ее недосягаемых высот, роль полезная, но не имеющая никаких прав на красивость. И чем теснее и даже ограниченнее они будут очерчивать сферу своей деятельности, чем менее будут прикидываться аристократами мысли, тем будет лучше, ибо только в таком случае протест их может иметь действительную силу, когда он не разбрасывается в беспорядке, а всю свою энергию сосредоточивает на известном, совершенно определенном пункте. И в этом деле, как и во всех других делах человеческих, большую роль играет разделение труда и специализация его; в этой дробности труда человек находит большую для себя помощь, но для того, чтоб эта последняя была действительна, необходимо, чтобы соблюдение этого закона было обязательно. Отсюда новое подтверждение: быть скромным, не расплываться в общностях и не лезть в аристократы.

Но положение мыслителя самостоятельного слишком привлекательно, чтобы не соблазнить собою даже таких людей, которые ни в каком случае не могут претендовать на него. Бедные смертные, которых все значение заключается в их благонамеренной восприимчивости, охотно называют себя аристократами мысли, забывая, что у них совсем не имеется налицо необходимого для такого титула умственного капитала, и что, вследствие этого отсутствия, самый характер их деятельности, по необходимости, должен быть совершенно иной. И вот они начинают облекаться ризою таинственности, делают истину каким-то недоступным для масс кастическим достоянием и вообще прикидываются понимающими более того, нежели понимают в действительности. Разумеется, на деле они никого этим не обманывают (ибо всякому, даже самому недальновидному человеку нет ни малейшей трудности угадать в них совсем не самостоятельных мыслителей, а просто любопытную коллекцию хорошо обученных снигирей), но все-таки такого рода самообольщение производит не малую путаницу в ходячих понятиях и даже в общем направлении общественной деятельности.

Путаница эта происходит именно вследствие того, что люди эти — совсем не мыслители, а по самой своей природе только пропагандисты и практические деятели. Поэтому-то главный и самый типический признак их деятельности составляет все-таки протест, но так как, вследствие разных причин, о которых говорено выше, характер их деятельности (или, лучше сказать, их мнение об этом характере) искусственно извращается, то это извращение не остается без влияния и на характер протеста. Вместо того, чтобы быть живым и целесообразным, этот последний поражает своею вялостью и апатичностью, и в результате превращается, наконец, в тот жалкий протест своими боками, речью о котором я начал настоящее мое обозрение.

Предупреждаю, однако, читателя, что я вовсе не имею здесь намерения ни порицать, ни тем менее смеяться над кем и над чем бы то ни было. Цель у меня одна: показать, что опыт для того существует, чтобы мы им пользовались, и чтобы мы избегали тех вольных и невольных ошибок, в которые впадали наши предшественники. И если я при этом, по неумелости или несовершенному знанию отечественного языка, не всегда употребляю те самые слова, которые наиболее в данном случае пригодны, то читатель обязывается поправить меня; если я выхожу от величин неизмеримо малых, то ничто не должно препятствовать читателю продолжать мою работу самостоятельно и доходить собственным умом до величин неизмеримо больших; если я (вследствие волнения чувства) ставлю несколько точек там, где должно стоять несколько слов, то читатель обязывается все эти пробелы пополнить, потому что он в волнении чувств не находится.

И вот эти люди протестуют. Протест их заключается: во-первых, в признании всех существующих форм жизни одинаково неразумными и одинаково лишенными способности развиваться, и, во-вторых, в уклонении от всякого участия в деятельности, которая имеет хотя малейшее отношение к действительности. Первая половина этого положения, очевидно, пришла с чужого голоса, без всякой проверки ее достоинства в практическом смысле, вторая половина составляет необходимое практическое последствие принятой на веру первой мысли. И таким образом люди, весь смысл деятельности которых заключается именно и единственно в практической ее полезности, на первых же порах впадают в безвыходное противоречие с самими собой, с своей ограниченной природой, с своим чернорабочим назначением. Противоречие это может быть выражено так: мы люди дела, а не мысли, но наше дело заключается именно в том, чтобы не было никакого дела.



ИЗОБРАЖЕНИЕ ФАЛАНСТЕРА ПО ИДЕЕ Ш. ФУРЬЕ

С литографии 1840-х гг.

Музей Революции, Ленинград

Одним словом, мы встречаемся здесь с повторением того же самого явления, которое некогда очень удачно формулировалось выражением «искусство для искусства», и над которым не мало-таки посмеялась наша литература последних годов. Но как ни язвительны были эти насмешки, и как ни решительно объяснена ею нелепость подобной бесплодной деятельности в области искусства, должно полагать, что она сама еще надолго осуждена вращаться в этом порочном круге. И в самом деле, упразднив понятие о служении искусству для искусства, она пришла все-таки к тому, что создала другое положение, совершенно ему равносильное: понятие о служении истине для истины. И хотя она прямо не формулирует своего учения в этом смысле, но разве оно не сказывается ясно в ее уклонении от разрешения насущных вопросов жизни, в отвлеченной вялости всего ее содержания! Правда, что это дает ей возможность держать себя осторожно, устраняться от множества ошибок, почти всегда неизбежных при практическом разрешении вопросов, и вообще с усердием и зоркостью наблюдать за своею собственною опрятностью, но...

Но как ни почтенна истина сама по себе, действительная мера ее поч-

тенности познается только тогда, когда она служит жизни. Жизнь требует, чтобы истина не господствовала над нею, а служила ей, и при том служила только в той степени, в какой она сама того хочет; жизнь не терпит перерывов и не убеждается идеалами, даже в таком случае, когда содержание этих идеалов имеет характер совершенно реальный; абсолютная истина действует неотразимо только в сфере мысли, то-есть именно в той сфере, которая до сих пор заявляла только о своей необыкновенной способности к обособлению и сектаторству, и хотя часть этого действия проникает неминуемо в сферу жизни, но проникает медленно и отрывочно. Причина этого последнего явления заключается в тех привычках или, лучше сказать, в тех узах, которыми со всех сторон обстановлена жизнь обыденная, реальная, и которых совсем не знает жизнь мысли. Мысль свободна, тогда как над практическою деятельностью чолевека тяготеет и история, и настоящая его обстановка, и, наконец, обязательное предвидение будущего. Самое дрянное, самое неудовлетворительное практическое положение — и то имеет за себя известный установившийся строй, дающий деятельности человека особенную складку, которая, по крайней мере до поры до времени, делает его неспособным ни к какой другой деятельности. Никто, конечно, не позавидует положению нищего, да и сам он не очень-то дорожит своим ремеслом, однакож, чтобы исторгнуть его из этого положения и обратить к промыслу более выгодному для него самого, необходимо употребить некоторое усилие и затратить известную долю времени. Ибо и у него уже образовались своего рода привычки, ибо его до известной степени даже т я н е т к нищенству, как к профессии, в которой он достиг до виртуозности.

Итак, если с одной стороны невозможно отрицать (да никто этого и не отрицает), что деятельность людей мысли необходима и плодотворна, что люди эти освещают человечеству путь и открывают для него новые законы жизни, то не следует отрицать и того, что огромное большинство их подмастерьев и учеников должно, наконец, убедиться, что оно совсем неспособно к подобной роли, что присвоением ее себе оно только производит путаницу и вредит тому самому делу, которому предполагает служить, и что какой-нибудь Кроличков, рассматриваемый как философ и новатор, стоит всего 15 коп. серебром, тогда как, если смотреть на него, как на расторопного малого, которого можно посылать за квасом в лавочку, то ему, быть может, и цены не сыщешь.

Назначение подмастерьев везде и всегда было чисто практическое, и непонимание этой истины всегда вело к самым плохим результатам, а именно: во-первых, к значительному потускнению самой мысли, во-вторых, к полному общественному застою, усугубляемому торжеством противных сил, и в-третьих, наконец, к личным, совершенно глупым, неполезным и безрезультатным невзгодам, которые я отметил выше под общим выражением протеста своими боками. Следовательно, здесь весь вопрос заключается только в том, каковы должны быть границы, и каков характер предстоящей практической деятельности.

Прежде всего представляется вопрос, допускает ли практическая деятельность сохранение наших идеалов в их чистоте и неприкосновенности? Я понимаю, что для многих такой вопрос должен представлять существенную важность, но не полагаю, чтобы разрешение его представляло особенную трудность. Если мы хорошо уразумеем, что вся предстоящая деятельность именно в том и заключается, чтобы проводить эти идеалы в жизнь, то в то же время уразумеем и ту истину, что работа наша тогда только и может быть вполне успешна, когда эти идеалы будут всегда перед нашими глазами. Следовательно, заботиться об их чистоте и неприкосновенности мы вынуждены будем в видах собственных наших польз. Жизнь

может вводить в ошибки, недоразумения и заблуждения — это правда, но ведь все эти ошибки и недоразумения тогда только могут иметь в результате потемнение идеала, когда они вошли в плоть и кровь человека, когда они сделались его второю природою, когда они допускаются уже не как ошибки, а как естественное явление всей совокупности человеческой деятельности. Понятно, что [такое] положение дела может иметь место или тогда, когда никакого идеала, в сущности, никогда и не было, а была только пустая вывеска, гласившая о присутствии идеала, или же тогда, когда к деятельности приступается с наперед обдуманною недобросовестностью. Но об этих случаях и говорить нечего, потому что они составляют только исключение, ни мало не упраздняющее правило. В общем же смысле значение ошибки совсем не так важно, как можно предположить это с первого взгляда, потому что до тех пор, покуда она еще не ускользает от собственного анализа человека, ее допустившего, покуда этот человек может доказать себе, что в данном случае он уклонился от надлежащего пути, до тех пор, говорим, она никаким образом не может представлять серьезной опасности для идеала. Соглашаюсь, конечно, что практические последствия ошибки могут быть более или менее невыгодные, но в свою очередь не могу не принять во внимание и того обстоятельства, что все эти последствия, как бы они ни казались значительными, утопают, как капля в море, в общей сфере человеческой деятельности. Главный тон этой деятельности все-таки определится не чем иным, а именно идеалами, ибо сила последних достаточно велика, чтобы просочить их сквозь всевозможные жизненные противоречия, и человек, которого душе однажды они были доступны, уже не в силах до такой степени отказаться от них, чтобы сделаться попрежнему чем-то вроде tabula rasa.

Для подтверждения этой последней мысли прибегнем к примеру положительно невыгодному. Предположим человека самого слабохарактерного и мягкодушного, словом, такого человека, на которого прелестные голоса жизни оказывают особенно-чарующее влияние. Несомненно, что человек этот всего более доступен всяким внешним влияниям, что он легко допустит себя засосать всякому болоту, что он может быть и хорош, и дурен, и добр, и зол, смотря по среде, которая его окружает. Но несомненно также и то, что если он, когда-нибудь, вследствие стечения счастливых случайностей, дышал тем воздухом, в котором носилось слово добра и истины, то одного этого обстоятельства уже достаточно, чтобы повлиять на всю его жизнь. У него уже получится мерило для оценки своих и чужих действий, и как бы ни являлся он доступным для всякого рода влияний, все-таки между этими влияниями и им станет раз навсегда известная граница, за которую первым никогда не удается перешагнуть. И как ни засасывай его болото, в с е г о его все-таки не засосет. Экземпляры такого сорта встречаются нам в жизни на каждом шагу, и мы были бы очень легкомысленны, еслибы вздумали пренебрегать ими. Это экземпляры драгоценные; это представители того среднего умственного уровня, который обыкновенно составляет достояние масс. На них, как на пробном камне, можно даже изучать как силу влияния идеалов, так и непосредственные результаты, производимые этим влиянием в массах.

Еще более резкий пример представляют так называемые ренегаты. Я не знаю в истории примеров счастливого ренегатства, кроме разве таких, когда ренегат переходит из одной ерунды в другую (эти называются людьми смышлеными и обыкновенно бывают очень счастливы, ибо всевозможные ерунды равно дорожат ими). Где причина такого явления, как не в том, что человек, однажды узнав истину, уже не может удовлетвориться тою ерундой, в пользу которой он ее продал, и что из этого должно неминуемо произойти недовольство самим собою и полнейшее разочарование.

Он начинает понимать, что увлекся выгодами мнимыми, что понятие об истине и добре слишком прочно и глубоко пускает корни, чтобы можно было его утопить в первой попавшейся луже. И вот он старается поправиться; но так как при известных обстоятельствах поправки не может быть, то кончает тем, что пускает себе в лоб пулю. Это печальный конец всех вообще ренегатств, и причина его все-таки заключается в том неотступном преследовании идеалов, которое не может быть прекращено ничем... даже ренегатством.

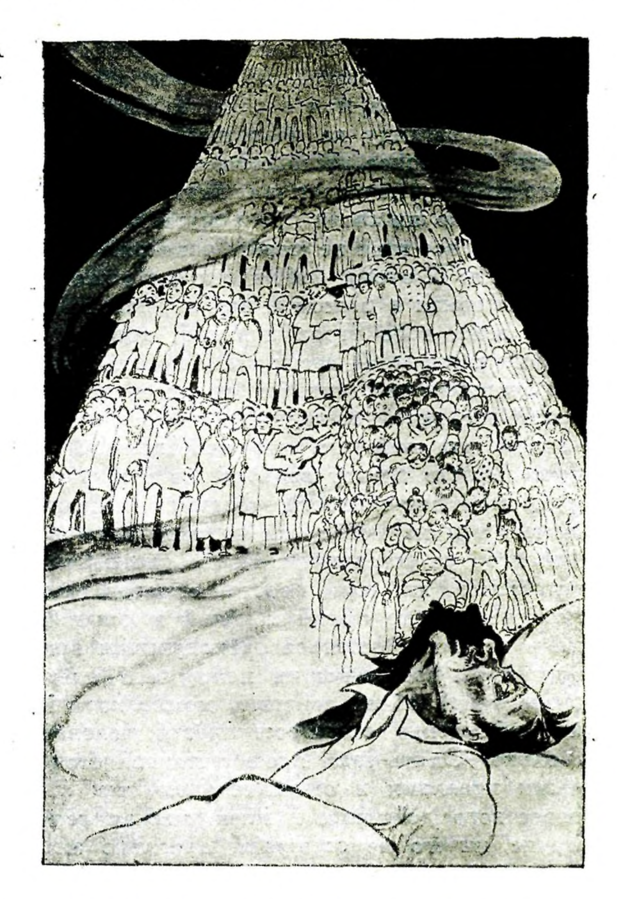
Следовательно, отказываться от практической деятельности из-за того, что прикосновение ее может повредить чистоте и неприкосновенности идеалов, совершенно неосновательно. Вера людей крепких и истинных не только не пошатнется от столкновений с действительностью, но еще более закалится в горниле ее; что касается до людей малодушных и слабых, то, во-первых, от них всегда не бог знает сколько пользы для дела верований и убеждений, а во-вторых, даже эта малая польза сделается равна нулю, если они с этими убеждениями, как с некоим сокровищем, будут таиться в своих мурьях и утешать ими своих добродушных наставников.

Но чтобы окончательно развязаться с этим вопросом и доказать осязательно, что жизненные противоречия могут итти своей колеей, ни мало не подрывая коренных убеждений человека, я нахожу нужным привести еще несколько примеров.

Уважение к народу (принимая это выражение в смысле массы) и служение его интересам представляют, как известно, один из тех богатых жизненных идеалов, которые могут наполнить собой все содержание человеческой мысли и деятельности. Это истина, которую могут отрицать лишь очень ограниченные люди, не понимающие, что все общественные идеалы, как бы ни было велико их разнообразие, все-таки, в окончательном результате, сливаются и сосредоточиваются в одном великом понятии о народе, как о конечной цели всех стремлений и усилий, порабощающей себе даже те высшие представления о правде, добре и истине, которые успело выработать человечество. Системы самые нелепые и самые несправедливые — и те сознают это и не могут обойтись без того, чтобы не прикрывать свои нелепости и неправды мнимым служением интересам народа. Между тем, присматриваясь ближе к самому этому народу, к условиям его жизни, к его умственным и нравственным запросам, мы находим, во-первых, что он обладает очень малым количеством знаний, во-вторых, что в основании его обычаев и понятий лежит в большинстве случаев не здравый смысл, а предрассудок, и в-третьих, что его симпатии и антипатии очень часто бессознательны, а иногда даже и просто безобразно-ошибочны. Безразлично оправдывать массы в их движениях и симпатиях совершенно невозможно, потому что, однажды ставши на эту почву, можно очутиться очень далеко. Таким образом, повидимому, предстоит в этом случае одно из двух: либо оставаться глухим и слепым к жизни массы, либо относиться к ней презрительно. Но первое невозможно, во-первых, потому, что как бы ни был человек замкнут в своих идеальных сферах, он все-таки живой организм, в котором, даже помимо его воли, заговорит кровь, а во вторых, потому, что сами массы, наконец, заставят его и видеть, и слышать, еслиб он и усиливался затыкать себе уши и закрывать глаза. Презрительно же относиться к жизни народа тоже невозможно, потому что тогда наша мысль лишится своего естественного центра тяготения, сделается пародией на мысль, бессвязно-болезненным бредом, а не мыслью. Следовательно, мысль, по необходимости, должна будет выдти из своей замкнутости и заботиться о том, чтоб установить себе связь с жизнью и отыскать для себя в ней приют. Потеряет ли она от того свою ясность и чистоту? — Нимало. Тут вопрос совсем не в том заключается, чтобы

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К ПОВЕСТИ ЩЕДРИНА «ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО», 1933 г.

Собрание художника, Ленинград



слиться с жизнью органически, слиться до оправдания ее нелепостей и пороков, а в том, чтобы объяснить себе эти последние, анализировать данные, которые представляет известный момент общественного развития, и установить отношение между ними и абсолютными требованиями мысли. С выполнением этих условий, путь, по которому надлежит итти, выяснится сам собою, путь чистый и прочный, путь, который заставит нас осторожно и без гнева относиться к жизненным уклонениям, но в то же время заставит видеть в этих последних не первородный какой-либо грех, вроде пятна несмываемого, а именно только временные и легко объяснимые уклонения. Такой путь не только не затемнит наших идеалов, но даже не подорвет наших надежд в будущем...

Другой такого же рода пример представляет собой критическая оценка как действий отдельного человека, так и явлений целого жизненного строя. С точки зрения чистого разума эти действия и явления являются нам совершенно безразличными, то-есть не заслуживающими ни похвалы, ни порицания, ни преступными, ни добродетельными; весь умственный труд здесь заключается единственно в объяснении, то-есть в сопоставлении явления с причинами, его произведшими. И если этот труд ведется логически, и, кроме того, если все подробности, определившие известное действие или явление, вполне раскрыты, то результат его неминуемо должен быть один: признание за фактом характера последовательности. Таким образом объясняются целые огромные категории преступлений, и статистика, приходя на помощь к этим объяснениям, неопровержимыми цифрами доказывает, что известные преступления совершаются лишь в из-

вестных условиях и даже в известной общественной среде. Убеждение в достоверности подобного закона есть одна из важных побед, сделанных человеческим разумом в области неизвестного, и полагает начало тому туманному взгляду на человеческие заблуждения, который, приобретя уже почти бесспорное господство в литературах всех цивилизованных народов, мало-по-малу начинает проникать и в самую жизнь. Тем не менее, как бы мы глубоко ни были проникнуты подобными воззрениями на человеческие действия, все-таки не можем воздержаться, чтобы не полагать между ними различия. К этому побуждает нас даже не собственная наша выгода (рассматриваемая в тесном и исключительно своекорыстном смысле), а выгода того дела, того строя понятий, которому мы сознательно или бессознательно служим. А сверх того, побуждает еще и то соображение, что в делах человеческих никакой прогресс не делается сам собою, а составляет результат целой совокупности человеческих усилий. Исходя из этой точки зрения, мы находим, что известным образом направленная человеческая деятельность вредит водворению в жизни истины, и хотя, анализируя мотивы этой деятельности, убедимся наверное, что она имеет свой законный смысл, тем не менее мы не затруднимся признать ее ложною и позаботимся об ее устранении. Какие употребим мы в этом случае средства, карательные ли, или просто образовательные, — это вопрос особый, но несомненно, что самый крайний и исключительный гуманист не останется, да и не может остаться равнодушным зрителем при виде преград, на каждом шагу возникающих между его идеалом и жизнью. Тем не менее, разве такой образ действия может хотя на одну линию подрывать основное убеждение о непреступности человеческих действий вообще? — Нисколько. Опять-таки здесь устанавливается лишь отношение между основными идеалами и относительною, так сказать, случайною преступностью известного действия, и практическая деятельность, установляя это отношение, ничего не осуждает, а только анализирует, проводит нужные параллели из всех этих посылок выводит заключение о вреде действия лишь в виду известных целей. Коли хотите, тут есть отступление от коренного правила, но отступление временное, вынуждаемое обстоятельствами, отступление, вполне сознающее, что оно отступление, и, следовательно, ни мало не нарушающее неприкосновенности своего правила.

Итак, повторяю: опасения относительно потемнения идеалов от практического столкновения с действительностью лишены всякого правильного основания. Такой уродливый результат может быть последствием или злонамеренной умышленности, мотивированной ложно понятою выгодою, или же совершенной нравственной и умственной негодности человека, заявляющего об идеалах. Но и тот и другой случай, как составляющие чистейшую аномалию в общем порядке, которому следует человеческая мысль в своем движении, не могут подлежать никакому серьезному обсуждению.

Но где должен быть почин практической деятельности, какой ее характер, ее границы? Ответ на эти вопросы следует отыскивать в тех целях, которые поставила себе в виду деятельность, и в той обстановке, которую она встречает на пути своем. Если животворящий и возбуждающий принцип деятельности заключается в идеалах, то круг ее действий и выбор орудий, которыми она может располагать в этом смысле, должны вполне определяться теми случайными обстоятельствами, среди которых происходит ее проявление. Одно только условие обязательно здесь: постоянно держаться на реальной почве, не обнаруживать слишком громадных запросов, не смотреть на действительность, как на воск мягкий, и видеть в ней продукт живых и сложных сил, над которым тяготеет целый исторический процесс, не ожидать слишком легких успехов и чутко прислушиваться ко всякой случайности, откуда бы она ни шла, которая может подвинуть

к данной цели. Условие, конечно, очень тяжелое, но надо сказать себе раз навсегда, что без соблюдения его никакой успех немыслим, и все наши дела будут только беспорядочным метанием из угла в угол, которое не интересовать может, а только повергать в изумление.

Представьте себе адвоката, который взялся бы защищать перед судом обвиненного, и, вместо того, чтобы выполнить свою задачу просто, то-есть, ставши на точку зрения судей (ибо они силою вещей поставлены в положение судей, а обвиняемый — в положение обвиняемого), шаг за шагом опровергнуть взводимые на его клиента напраслины (в глазах умного адвоката, раз решившегося взять на себя защиту дела, все обвинения должны быть напраслинами), наполнил бы свою защитительную речь очень гуманными рассуждениями о том, что общество само создает преступника, что оно прежде всего должно обратить свой арсенал кар против самого себя, что преступных действий в абсолютном смысле нет и не может быть, что следовательно наказание и в данном случае и вообще представляет такую бессмыслицу, о которой и говорить серьезному человеку стыдно и т. д. Я не отрицаю, что такого рода объяснения могут быть изложены очень ловко и даже более или менее увлечь за собой известным образом настроенную часть аудитории, но не могу отрицать и того, что в смысле защиты это будет совсем не защита, а скорее совершенное ее отсутствие, что суд, по выслушании объяснений адвоката, непременно обвинит подсудимого («разглагольствования-то эти мы знаем» скажет он), и что этот последний, конечно, будет горько раскаиваться в том, что прильнул к помощи этого слишком уж глубоко забирающего адвоката.

Я уверен даже, что скоро вслед за этим неудачным опытом защиты такой глубоко забирающий адвокат окончательно канет в Лету, как адвокат, и, по мнению моему, понесет только заслуженное. «Не мели, любезный друг, не мели! скажется ему в напутствие, а имей в виду прежде всего прямые пользы твоего клиента и, удовлетворяя им, старайся в то же время удовлетворять и своим идеалам. Этой последней цели ты можешь достигнуть, вовсе не пренебрегая выгодами клиента; напротив того, он даже послужит тебе рельефом, около которого будут группироваться твои доказательства, и тогда судья охотно преклонит к тебе свое ухо и не только признает обвиненного невинным, но и сделает из твоих объяснений необходимые выводы и изменения!»

Точно таким же образом (то-есть противоположным взятому мною в пример адвокату) следует поступать и во всех тех случаях, когда мы имеем дело с людьми непосвященными. Должно забыть стих:

Умолкни, чернь непросвещена!

и помнить, что «чернь» эта заслуживает полного нашего внимания и что мы, подступая к ней, должны начать именно с той точки, на которой она стоит. Простодушный поселянин еще убежден в существовании ведьм и домовых, а потому, если мы желаем дать ему сведение о высших силах природы, независимых от этих ведьм и домовых, то обязаны подорвать целое миросозерцание, сложившееся в нем и глубоко пустившее корни. Для достижения этой цели может быть действительна только одна метода: это переход от понятий простых к понятиям более сложным, а отнюдь не другая метода, которая гласит: ты, братец, все врешь, а послушай-ка, что я тебе стану говорить. Есть истина очень простая и даже пошлая: без арифметики невозможно изучение высшей математики, а между тем, несмотря на пошлость этой истины, ее нужно ежеминутно повторять, потому что привычка гениальничать и начинать всякое дело с конца до того овладела нами, что мы уже не видим ни перед собой, ни за собой ничего, кроме высот надзвездных.

Точно то же будет с нами, если мы к тому же простодушному поселянину приступим с соображениями чисто-практическими насчет беспечального жития. Он так привык думать, что всё сие так должно быть, как оно есть, и что всё сие должно лежать именно на нем, что даже не задумается над вашими соображениями, да и разговаривать, пожалуй, не станет, а просто пожалуется.

А мы, конечно, хотим совсем не того.

Да, уменье сказать именно то, что нужно, и именно так, чтобы нас слышали и понимали, есть великое уменье, которое дается очень немногим, но которым никто не имеет права пренебрегать. Всякий человек, сознающий в себе ту животворную искру, которая творит общественного деятеля, прежде всего обязан представить себе свою задачу со всею ясностию, должен строго отнестись к самому себе. И если человек этот, взвесивши внимательно все шансы pro и contra*, все-таки придет к деятельности только с теми, которые говорят, pro, то он очень скоро сойдет со сцены, потому что будет болтать о пирожках тем, для которых даже черный хлеб составляет лакомство, и которые, вследствие этого, примут его речи или за наругательство над их бедностию и убожеством, или за тарабарскую грамоту, пригодную для потехи одного говорящего. Но еще и потому скоро сойдет со сцены такого рода деятель, что, во-первых, увидит себя в самом печальном одиночестве, проповедующим в пустыне и о пустыне, а во-вторых, он сам, постоянно раздражаемый представлением о пирожках, незаметно от самого себя заразится, если не презрением, то, по малой мере, полным равнодушием к тому черному, неприглядному хлебу, который составляет главный фонд скудного, насущного пропитания алчущих масс. Опять-таки мы, конечно, не этого добиваемся, а добиваемся того, чтобы наши пирожки все понимали и все их предвкушали.

Но так как мы более заботимся о светозарных наших грезах [и о том] **, что скажут об нас вислоухие и юродствующие, то из этого выходит то, весьма печальное для нас и для дела, последствие, что мы из кожи лезем, чтобы создать какое-то окутанное мраком сектаторство, не мраком тайны окутанное, а мраком гораздо вреднейшим и глупейшим: мраком непережеванных мыслей и непонятых выражений.

Страсть к сектаторству достаточно-таки распространена у нас на Руси, и в большей части случаев мы довольно ловко управляемся с нею. По крайней мере, большинство так называемых расколов свидетельствует о замечательных организаторских способностях русского человека и о далеко не заурядной его силе в деле пропаганды. Мы не можем произнести слово «раскол», чтобы с этим словом в мыслях наших не соединялось представление об организации плотной и почти непроницаемой. Это последнее качество, то-есть непроницаемость, представляет, конечно, их порочную сторону, но в то же время оно свидетельствует и о силе, богатой задатками в будущем. Если правда, что расколы безразлично замкнуты и для света, и для тьмы, то правда и то, что это свойство временное, составляющее результат случайных, неблагоприятствующих обстоятельств, и что с наступлением иных условий оно должно исчезнуть само собою. Но организаторские способности останутся навсегда и, вынеся на себе целое историческое иго, конечно, могут получить в будущем только более роскошное и пышное развитие.

Совсем иной характер представляет сектаторство, так сказать, высшей школы. Здесь организаторские способности равняются нулю, и взамен того является безграничная способность расплываться и растворять все

---

* За и против.

** В корректуре: потому.

двери настежь. Здесь даже нет сектаторства в смысле организации, а есть одиночное сектаторство мысли, то горькое, базнадежное сектаторство, которое делает человека чужим среди живого общества...

И опять-таки повторяю: я очень хорошо понимаю, что люди мысли страстной и проницательной могут оставаться в полном отчуждении от дел мира сего; я понимаю даже, что они имеют право упорствовать в этом отчуждении, несмотря на всевозможные удары судьбы. У них и цель перед глазами безмерная, высокая, да и сами они стоят так высоко, что повесть их жизни питает собой целые поколения, следовательно, их роль в этом отношении совершенно особенная. Но подобное же отчуждение со стороны простых смертных, которых всё значение заключается, как я сказал выше, единственно в их благонамеренной восприимчивости, не только не понятно, но и положительно зловредно. Оно отнимает у обновляющей мысли те укрепления, которые ей необходимы для действия, и лишают ее естественной ее защиты. Являются целые легионы самозванцев-мыслителей, да и не легионы даже, а просто сброд, в котором каждая отдельная личность мнит себя самостоятельною и порывается выделить себя из общей связи. Последствие такой жалкой неурядицы может быть одно: посрамление мысли и всякого рода невзгоды для ее передовых служителей...

Тогда как, сознайся все эти мнимые полководцы, что они не более, как простые нижние чины мысли, не озирайся они слишком самолюбиво на свои заимствованные павлиньи перья, то, нет никакого сомнения, дело обновляющей мысли имело бы совершенно иную физиономию. Они могли бы принести ему помощь скромную, но действительную, и если бы не воз-



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ «ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ» ИЗ ЦИКЛА «ЗА РУБЕЖОМ», 1933 г.

Собрание художника, Ленинград

несли его на вершину славы, то, во всяком случае, оградили бы от разорения.

А они, вместо того, протестуют, и протестуют не только своими боками, но и боками своих поильцев и кормильцев! И глупо, и смешно, и горько...

На днях один из знаменитейших наших ерундистов упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель! И думал, вероятно, что до слез обидел меня такою острою речью. А вышло совсем наоборот: я принял эту речь себе за похвалу. Неужели же вы думали, милостивый государь, что я пишу не для глуповцев, а желаю просвещать китайского богдыхана? Нет, я в мыслях не имею такой высокой мысли и предоставляю ее ерундистам высшей школы. Я деятель скромный, и в этом качестве скромно разработываю скромный глуповский вертоград. Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком, им понятным, и очень рад, если писания мои им любезны.

Ибо, огражденный любовью глуповцев, я могу дерзать на многое: могу не обращать даже внимания на то, что будут говорить об моей деятельности наши литературные хлысты, скопцы, нетовцы, адамиты, купидоны и прочая ерундоносная братия.

2. НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Итак, история утешает. Бедные труженики мысли, бескорыстные созидатели будущих судеб человечества должны раз навсегда убедиться в этой истине: история пошлет заочное воздаяние за их подвиги, лишения, а иногда и за преждевременную мученическую смерть. Сходя в могилы одинокими, гонимыми, оклеветанными, да не впадут они в отчаяние, ибо имеют право сказать себе: мы умираем, но мысль наша будет жить и восторжествует в истории. А так как, сверх того, они в состоянии всегда с полною ясностью определить ту сумму добра, которую прольет в мир торжество их мысли, то это должно помочь им спокойными глазами взирать и на те преследования, лишения и всякого рода покалывания, которые составляют обычную обстановку их жизни. Что лишения? что страдания? — все это не что иное, как гнилой плод временного умственного и нравственного разложения, и нет сомнения, что когда-нибудь да заклеймит же их «история» надлежащим именем. Мало того: человек, которого мысль однажды познала сладость страстного убеждения и жадно к нему прилепилась, может итти даже далее этого отрицательного спокойствия; он может не только равнодушно смотреть на жизнь с ее темною свитой скорбей, неудач и невзгод, но и желать, страстно желать этой жизни, несмотря на ее скорби, невзгоды и неудачи. Ежели Иоанн Гусс, всходя на эшафот, имел право думать: я умираю, но мысль моя сделала свое дело, и семя, ею брошенное, закралось, помимо их воли, даже в сердца моих мучителей, то Фурье, ежедневно ожидавший посещения того фантастического миллионера, который, по расчету его, должен был дать ему средства для основания фаланстера, шел еще далее: он надеялся найти утешение не только в истории, но и в самой действительности. Что помогало этим людям с полным бесстрашием смотреть в глаза не только смерти, но самой жизни? Что не допускало их своротить с однажды избранного пути, несмотря на то, что личные и ближайшие их интересы, быть может, явно были противоположны их настойчивости, и они сами очень хорошо видели и понимали это? Им помогала страстная их мысль, их поддерживало живое и могущественное убеждение, что эта

мысль не замрет и не погибнет бесследно, какою бы горечью ни пропитана была вся обстановка, среди которой ей суждено развиваться. Да, мысль страстная, мысль, доведенная до героизма, может сама по себе представлять неиссякающий и притом столь мало фантастический родник живых наслаждений, что человек, вкусивший сладость этого высшего блага, легко приходит в то возбужденное состояние, которое позволяет ему ко всем прочим благам относиться если не с презрением, то и не придавая им более того значения, которое обыкновенно придается вещам второстепенным или побочным.

Все это так, все это несомненно. Но отчего же от «исторических утешений» как будто бы отзывается иронией? Отчего большинство не только не увлекается ими, но даже совсем их не понимает? Отчего произносящий их уподобляется, в общем представлении, или сытому богачу, который, плотно пообедав, говорит нищему: бог подаст! или озлобленному бедняку, который то же самое: бог подаст! не без иронии говорит такому же, как и он, забитому и голодному бедняку? или, наконец, бедняку восторженному, который совершенно искренно (хотя и без малейшего основания) верит, что вот разверзнется немилостивое доселе небо и пошлет на завтра ту манну, которая напитает его? «Дожидайся! пошлет!» говорит обыкновенно толпа такому искренно убежденному, и проходит себе мимо, даже не подарив его взором участия. Ужели же это непонимающее, глумящееся большинство до того ограниченно и лишено идеала, что неспособно сознать и усвоить себе даже столь простое понятие, как то, что убеждение, верное и справедливое в своей сущности, непременно должно принести плод в будущем, что чем ближе это будущее, тем оно желательнее, что не оттягивать его приближение надлежит, а, напротив того, всеми средствами ускорять, и что, наконец, носители такого рода убеждений не только не должны быть побиваемы каменьями, но имеют право на всякого рода ограждения со стороны толпы?

К сожалению, во всех этих упреках, делаемых большинству, много правды. Если людей мысли, людей убежденных можно укорить в наклонности к утопиям, в этом виновато большинство. Если в этих утопиях нередко звучит нечто странное, несбыточное, преувеличенное, то во всем этом опять-таки виновата толпа. Большинство само всегда вызывает на преувеличения; оно вызывает не непосредственно, конечно, а систематическим непризнанием и преследованием той правды, которая составляет первоначальное зерно утопии. Еслиб не было этого постоянного и жесткого fin de non recevoir*, которым толпа постоянно и, в большей части случаев, без всякого соображения встречает каждого, вносящего новую мысль в ее жизненный строй, то не могло бы существовать и преувеличений. Человек, которого мысль на каждом шагу встречает себе отпор, и даже не отпор, а простое и бездоказательное непризнание, весьма естественно всё глубже и глубже уходит в нее, и, не будучи в состоянии, вследствие неприязненно сложившихся обстоятельств, поверить ее на живой и органической среде, впадает в преувеличения, расплывается, создает целую мечтательную обстановку и в конце концов мысль совершенно ясную, простую и верную доводит до тех размеров, где она становится сбивчивою, противоречащею всем указаниям опыта и почти неимоверною. Не довольствуясь отвлеченною сферой, которая может доставить ей лишь временное и притом призрачное питание, мысль ищет для себя практических применений, ибо в них одних может познать свою силу, в них одних может найти материал для дальнейшего развития — и встречает лишь пустоту или прямое, голое отрицание. Но потребность

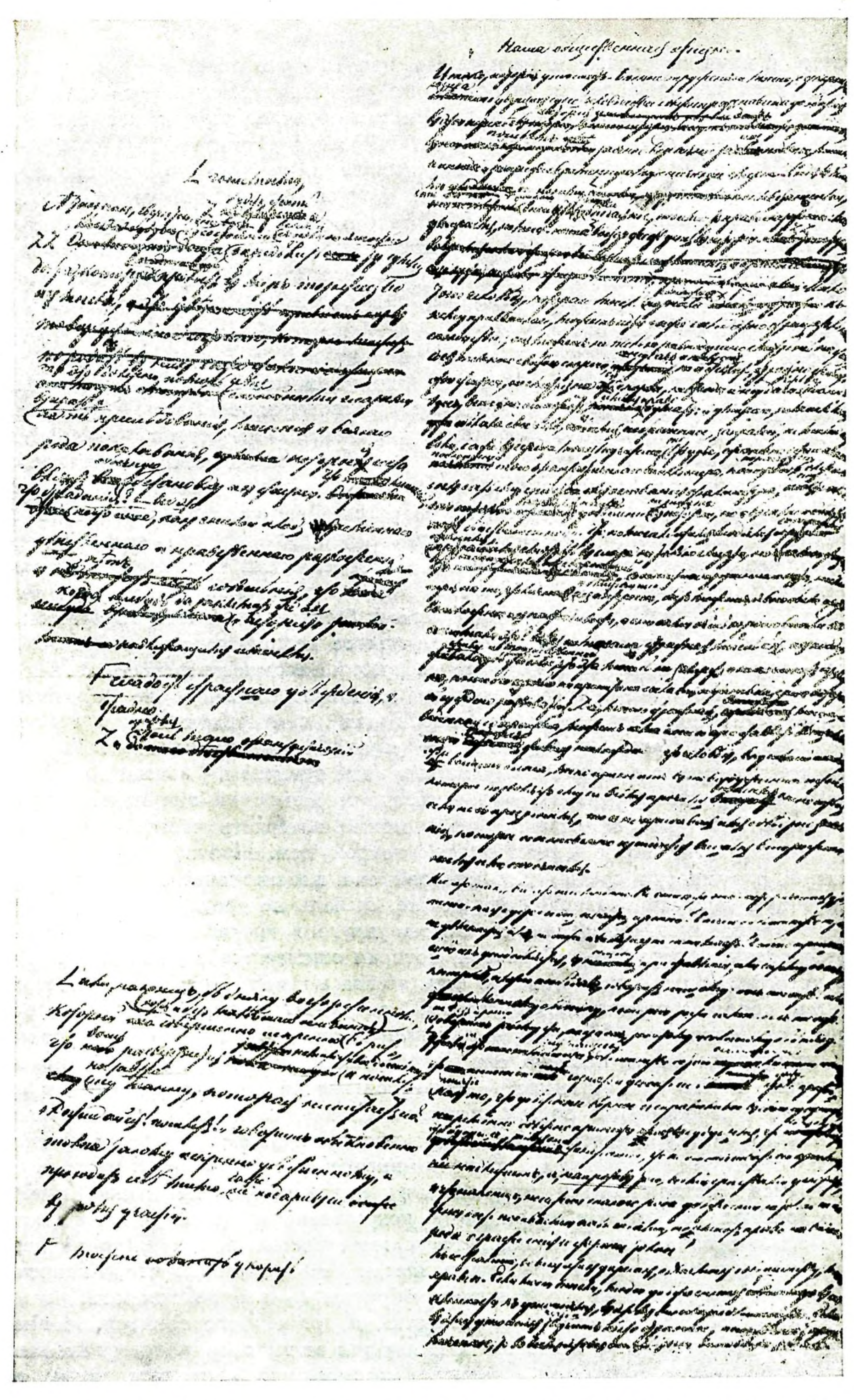
* Отказа в признании.

практических, жизненных применений слишком велика, чтоб можно было без существенного и совершенно невознаградимого ущерба отказаться от нее — и вот создается целая своеобразная обстановка, где действительное, или основанное на действительности самым странным образом перемешивается с гадательным и фантастическим. И когда, наконец, эта смесь истины и лжи, здорового и болезненного выходит на суд толпы, то последняя не дает себе труда отличить правдивую мысль, которая, собственно и составляет неотъемлемую собственность новатора, от наносной обстановки, которая есть результат систематических ее, толпы, несправедливостей, а прямо указывает на эту последнюю, и уж атукает же, рукоплещет же эта захмелевшая, растленная толпа.

Повторяю: большинство виновато; не будь оно до такой степени тупоконсервативно, не держись так упорно той избитой и никуда не годной колеи, в которой оно гибнет, само того не подозревая, мысль не знала бы преувеличений, а, напротив того, всегда имея перед собой возможность скорой и надежной поверки, поневоле ограничивала бы себя именно теми размерами, которые в данную минуту пригодны. Утопия потеряла бы повод для существования...

А покуда, этот повод еще есть, покуда, никакое новое жизненное начало не может пробить себе дорогу, не подвергаясь опасности быть заподозренным в чем-то мятежническом и угрожающем общественному спокойствию. И бедные, бескорыстные труженики будущего поневоле должны искать утешений в истории...

Что в этих последних скрывается очень значительная доза иронии — это не может подлежать никакому сомнению. Прежде всего, уже самая возможность такого рода утешений ясно свидетельствует о некоторой ненормальности в той совокупности жизненных условий, при которых она допускается. Всякая мысль, всякая истина, кроме результатов исторических и отдаленных, непременно должна иметь и непосредственный, ближайший результат. Существенный интерес мысли, конечно, не в том заключается, чтобы ее не признавали и не допускали в жизнь, а в том, напротив, чтоб как можно скорее получить возможность доказать на деле правдивость и силу, в ней заключающиеся. Упрек в несвоевременности, идеализации и каких-то скачкáх, обыкновенно делаемый в подобных случаях, всегда не основателен. Как ни далеко провидит мысль, но процесс ее развития всегда спокоен и ровен; она связана известными логическими законами, которые не дозволяют ей урывками переходить от ближайшего звена к отдаленному, не допускают оставлять между ними промежутков, и ежели нередко встречаются примеры противного, ежели мысль с особенною страстностью останавливается на результатах отдаленных, оставляя перед ними как бы пустоту, то это именно доказывает ту истину, о которой было говорено выше: что мысль, при самом своем появлении, не встретила себе ни сочувствия, ни нужной для своего осуществления среды. Следственно, если мысль, питающуюся отдаленными надеждами, и можно, с известными оговорками, назвать ненормальною, то тем с большею основательностью следует присвоить это название тем жизненным условиям, которые порождают для нее подобное положение. Среда, в которой такое явление терпится, есть положительно среда растленная, враждебная всему честному и разумному, а человек, осужденный жить в такой среде, есть человек несчастный, несмотря ни на какие «исторические утешения». Нет, конечно, сомнения, что ни в органическом, ни в умственном мире ничто не пропадает бесплодно, и что следственно мысль человеческая, какими бы неблагоприятными условиями ни была она обставлена, все-таки где-нибудь и когда-нибудь даст свой отпрыск, но с другой стороны, справедливо и то, что в сфере



СТРАНИЦА ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ СТАТЬИ ЩЕДРИНА «НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ», ПРЕДНАЗНАЧАВШЕЙСЯ ДЛЯ СЕНТЯБРЬСКОЙ КНИЖКИ «СОВРЕМЕННИКА» ЗА 1864 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград

разумной никакое угнетение немыслимо, что там оно всецело и немедленно обращается во вред самим угнетающим условиям. Мысль — то же семя, которое должно показать свой рост немедленно вслед за тем, как оно брошено в землю. Ежели сеятель, не видящий этого роста, будет утешать себя тем, что семя все-таки не до конца изгибло, что оно посредством иного органического процесса в той или другой форме все-таки даст известный результат, то, хотя утешение такого рода нельзя назвать ни бессмысленным, ни смешным, тем не менее невозможно не согласиться и с тем, что это утешение половинное, утешение, которое может назваться этим именем лишь за недостатком других более существенных и положительных утешений.

Но и помимо этого, ежели мы ближе вникнем в самую сущность так называемых «исторических утешений», то убедимся, что они возможны только для мысли восторженной, страстно-возбужденной. Теперь спрашивается: при каких условиях может быть мысль доведена до возбужденного состояния и встречается ли в этом последнем существенная необходимость для того, чтобы правильность мыслительного процесса была вполне обеспечена? Конечно, творческий процесс мысли всегда сопряжен с известного рода возбуждением умственных сил человека; конечно, развитие мысли само по себе может служить источником наслаждений и восторгов самых действительных, но ведь в настоящем случае о такого рода возбуждении мысли не может быть и речи. Это возбуждение, если можно так выразиться, светлое, чуждое всякой горечи; это возбуждение торжествующее, предвидящее скорую и несомненную победу. Мысль напряжена, но спокойна; она сознает себя восторженною, но не потому, чтобы провидела необходимость жертв или самоотвержения, а потому, что впереди ее ожидает несомненный успех. И ежели это страстное, ликующее состояние мысли смущается, по временам, сомнениями в ее практической стоимости и применимости, то сомнения эти почти всегда касаются лишь подробностей. Мысль может потерпеть частные поправки, но сущность, но зерно ее останется нетронутым. И эта уверенность в полной разумности среды, для которой она предназначается, придает ей особенную энергию, которая, однако же, отнюдь не противоречит полному спокойствию и самообладанию. Совсем другого рода характер имеет возбужденное состояние той мысли, которая ожидает себе утешений только от истории. Здесь возбуждение есть всегда прямой результат бессовестным образом сложившихся условий, результат неудач, гонений и всякого рода насильств. Человек мысли приводится в восторженное состояние не ожиданием торжества, но ожиданием тех пыток, которые готовит ему будущее. В его восторгах есть нечто болезненное, лихорадочное, в них есть даже зерно своего рода фанатизма. Самое развитие мысли не может следовать своему естественному пути, ибо на каждом шагу подвергается насильственным перерывам... Вот положение восторженной мысли, питающейся «историческими утешениями», положение, исполненное яда, и переносимое только благодаря тому искусственному возбуждению, которое его сопровождает. Понятно, что условия такого рода далеко не необходимы для того, чтобы обеспечить мысли ее ясность, и что, напротив того, они могут только вредоносным образом на нее действовать.

Итак... но прежде нежели продолжать, я должен оговориться. Я знаю, что найдутся люди, которые из предыдущих моих слов непременно выведут нечто грубое и пошлое. Скажут, например, что я пропагандирую теорию каплуньего самодовольства и еще более нелепого выжидания; скажут, что я бросаю каменьями в тех лучших людей, которые запечатлели силу своей мысли великим подвигом самоотвержения... Таких усердных толкователей я прошу прочитать мою настоящую хронику повнимательнее. Быть

может, по зрелом размышлении, они убедятся, что здесь идет речь вовсе не о самодовольстве и выжиданиях, и всего менее о бросании каменьями. Но чтобы помочь им в уразумении истинного смысла моих слов, я необходимо должен войти в некоторые разъяснения. Уже в самом начале настоящей статьи я заявил мое полное сочувствие тем лучшим людям, которые не только мыслят, но и отстаивают свою мысль с страстностью, доходящею до самоотвержения. Прошу верить, что заявление это вовсе не изворот, и что слова, сказанные мною по этому поводу, совершенно чужды всякой иронии. Сам по себе взятый, жизненный подвиг этих людей, не только в высшей степени замечателен, но вообще такого свойства, что напоминание об нем, и притом беспрестанное, непрерывающееся напоминание составляет предмет существенной и настоятельной необходимости. Бывают такие горькие минуты в жизни чоловечества, когда нужно без устали твердить ему о самоотвержении, о великой, очищающей роли самопожертвования... даже, пожалуй, об аскетизме. Это те минуты, когда человек мысли обязан обладать всею страстностью души, полным энергическим сознанием всей правоты и прочности своего дела, чтобы не оставить или проклять его; это минуты, когда одичалое большинство, с одной стороны под влиянием самодовольного и дешевого разврата, с другой, вследствие гнета невежества и всякого рода материальной и духовной нищеты, доходит до полного умственного онемения, до остервенелого отрицания всякой мысли, тревожащей его неподвижность. В такие эпохи самоотвержение есть обязательный закон для всего мыслящего, и предание о взявшем на себя бремя общественных недугов встречает себе как нельзя более своевременное осуществление. Но уже одно то, что о такого рода положении невозможно говорить без глубокого нравственного потрясения, свидетельствует о его ненормальности. Конечная цель человека, как в частности, так и в сфере общей, все-таки счастие, и ежели вследствие целого строя обстоятельств, представление о «счастии» до такой степени извращается, что может итти рядом с представлением о всякого рода нравственных и физических истязаниях (ибо есть люди, которые считают свой подвиг неконченным, ежели он не запечатлен страданием), то это свидетельствует не о чем другом, как о глубоком нравственном распадении целого общества. Следовательно, ежели и встречается необходимость твердить о необходимости самоотвержения и проч., то это необходимость печальная; ежели настоит нужда утешать людей ссылками на историю, то это нужда прискорбная, за которою чуется кровь. Во всяком случае, необходимость эта еще громче и настоятельнее говорит нам о другой необходимости: о необходимости как можно скорее избавиться от нее. Это своего рода черная немочь, с разницей, что последняя губит безразлично и цвет человечества и негодное его отребие, а первая исключительно направляет свою разрушительную силу на то, что есть лучшего и доброго на земле.

Итак, не осуждение, и тем менее насмешку, а напротив того, слово сочувствия хочу я послать тем людям страстной мысли и непоколебимого убеждения, которые в истории ищут и обретают себе силу, укрепляющую их в борьбе с жизненною неурядицей. Эти люди выполняют свою миссию как могут и насколько могут, и ежели человеческая нива представляется нам усеянною безвременно погибшими жертвами, то это еще отнюдь не значит, что жертвы эти бесплодные или бесследные. Но, рядом с этим сочувствием, я хочу высказать еще и другую мысль: не достаточно ли жертв? Оглядимся, поищем, нет ли других утешений, кроме тех, которые предлагает история? Вопрос этот возвращает меня к прерванной нити моих размышлений.

Выше я сказал, что в преувеличениях мысли более всего виновато

большинство, которое почти всегда неприязненно относится ко всему новому, не представляющему прямых и наглядных выгод. Но, с другой стороны, если мы пристальнее вникнем в историю духовного и нравственного развития человеческих обществ и примем в соображение ту страшную медленность, которая всегда сопровождает накопление и распространение знаний в этих обществах, то найдем себя некоторым образом в лабиринте, в котором всё до такой степени спутано, что отделить виноватых от невиноватых почти совершенно нельзя. Я очень хорошо могу, например, понимать неправильности известного порядка, а сверх того могу даже постигать и возможность иного, лучшего общественного устройства, но старый порядок меня давит всем своим искони накопившимся гнетом, но он вяжет мне руки и налагает печать молчания на уста. Может быть, нас и много таких, которые могли бы сойтись и столковаться друг с другом, может быть даже, что в самое большинство уже проникло новое слово, что оно носится, так сказать, в воздухе; но мы, сочувствующие этому слову, не знаем друг друга, мы рассеяны, как иудеи, по лицу земли, у нас нет центра, около которого мы могли бы сплотиться, — и вот хорошее слово не выговаривается, и долго еще томится человечество в оковах старого предрассудка (ведь бывает же, что положение вещей, наглядно невыгодное для самого большинства, все-таки существует многие десятки лет, искусственно, защищаемое незначущим меньшинством, успевшим сплотить и организовать себя). Виноват ли я, понимающий, сознающий и чувствующий, в том, что не протестую против этого предрассудка, да и обязан ли я протестовать? Нет, я не виноват, ибо всюду, куда я ни обернусь, вижу только свидетельство своего бессилия и беспомощности, ибо мало сознавать ненужность и вред предрассудка, а нужно еще притти к убеждению, что силы, необходимые для его сокрушения, имеются в наличности и притом достаточны для того, чтобы надолго не скомпрометировать дорогого дела. Ибо протест дело великое, и для людей, не выходящих из общего уровня, почти немыслимое без ясных и верных шансов на успех...

Все это, конечно, нимало не умаляет подвига тех, которые, несмотря на малые шансы успеха, все-таки протестуют, все-таки страстно преследуют свою мысль сквозь все неудачи и препятствия. Но то, что весьма естественно в личности исключительной, особенно щедро одаренной природою, то является анахронизмом по отношению к заурядному человеку толпы. Последний вовсе не обязывается ни быть героем, ни самоотвергаться, ни жертвовать собою, и всё, что от него можно желать, заключается в том, чтобы он был настолько понятлив, чтобы дело добра и истины находило в нем более сочувствия, нежели дело зла и лжи. Заурядный человек, по самой природе своей, слишком ограничен, чтобы отдаленные цели предпочитать ближайшим и непосредственным, чтобы искать для себя утешений в истории, а не в действительности; но все это не мешает ему быть человеком, и не лишает его права на то, чтобы на него смотрели именно как на человека, а не как на презренную тварь. Правду сказал некто: Прасковья Петровна отнюдь не виновата в том, что она родила Александра Федорыча, а не Вильгельма Карлыча, ибо она никому и ничему не обязывалась рождать Вильгельмов Карлычей. Точно так же и Александр Федорыч нимало не виноват в том, что его родила Прасковья Петровна, а не Минна Ивановна. И ежели Александр Федорыч имеет способности умеренные, ежели он положительно отказывается от намерения быть героем, то это нисколько не препятствует ему называться человеком и требовать, чтоб это качество было признаваемо в нем и со стороны других, и не только других Александров Федорычей, коими кишит человеческая нива, но и Вильгельмов Карлычей, составляющих на

этой ниве редкое и ценное произрастание. Мало того: заурядный человек даже не имеет права быть героем, во-первых, потому, что, геройствуя он только, повредит тому делу, в пользу которого геройствует, а во-вторых, и потому, что современное человеческое общество совсем еще не в таком положении, чтобы могло вынести неограниченное число героев; ему покуда нужно, чтоб большинство его состояло из людей чернорабочих, заурядных, с которыми можно обращаться без ненависти, но и без благоговения.

Но всё, что я сказал об отдельных людях толпы, еще с большим основанием применяется к самой толпе. Отдельный человек, хотя бы и самых умеренных способностей, имеет шансы очутиться в таких благоприятных обстоятельствах, которые могут воспитать его. Это может сделать его если не заправским героем, становящимся таковым вследствие собственного движения страстной души, то человеком, преданным делу, преданным потому, что продолжительная обстановка жизни и постоянное повторение явлений известного характера породили в нем привычку, отказаться от которой ему гораздно мудренее, нежели принять даже такое положение, которое обещало бы наибольшую сумму спокойствия и материального благосостояния. Несравненно труднее разрешается подобный вопрос для толпы, в ее совокупности. Она слишком огромна и разнообразна, но поэтому-то самому в ней странным (впрочем только повидимому странным, а в сущности естественным) образом сочетались и слабость, и властность. С одной стороны, огромность содействует ее разрозненности, а эта последняя положительно устраняет все средства к тесному соглашению и в то же время полагает непреодолимое препятствие к принятию каких-либо решений, кроме тех, которые навязываются рутиною, или, говоря деликатнее, силою обстоятельств. Исключений из этого правила немного, и ежели мы не можем отвергать, что у толпы все-таки бывает общий тон, то это именно тот тон рутины, который легко дается всему



«ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ»

Перед вами восстает картина Иакова, окруженного маленькими Рувимами, Иосиями, не помышляющими еще о продаже брата своего Иосифа.

Так на лоне матери-природы сладко отдохнуть ему от тревог житейских, сладко вести кроткую беседу с своею чистою совестью, сладко сознавать, что он человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий.

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.

ограниченному и близорукому, и который постоянно проходит сквозь жизнь толпы, по временам сдабриваемый, а по временам подвергающийся более или менее значительной порче. С другой стороны, та же громадность толпы весьма естественно дает ей чувство силы; осматриваясь кругом и не видя себе конца, она должна ощущать некоторое самодовольство, должна сознавать, что в ее массе есть что-то неодолимое, решительное, не терпящее отговорок. Отсюда ее властность, ее способность увлекаться зрелищем материальной силы, а так как эта властность постоянно парализируется тою внутренней слабостью, о которой говорено выше, то из сочетания этих двух качеств происходит обстоятельство, крайне неблагоприятное для воспитания толпы. Разрозненность, устраняющая возможность обдуманности и соглашения, и массивность, фаталистически парализирующая движение,— вот условия, среди которых совершается воспитание толпы, условия, как видится, далеко для нее не полезные.

Итак, если мы с одной стороны сочувствуем людям мысли, которые, несмотря на гнет обстоятельств, делают свое дело, в чаяньи, что оно не погибнет, и что история, рано или поздно, засвидетельствует об их торжестве, то с другой стороны находим и смягчающие обстоятельства для большинства, для того большинства, в котором именно и заключается гнетущее для мысли начало. И мы отнюдь не впадаем в противоречие, допуская существование рядом двух столь противоположных положений. но только констатируем живой факт в том самом виде, в каком он существует в натуре. В самой действительности существует этот глубокий антагонизм между толпою и людьми мысли, в самой действительности есть нечто такое, что заставляет их взаимно исключать друг друга, и до тех пор, пока не устранится на деле причина, породившая такое явление, прогресс человечества хотя и нельзя будет признать явлением мнимым, но, во всяком случае, процесс, через который ему суждено пройти, будет процессом медленным и мучительным.

Для человека сколько-нибудь добросовестного положение столь шаткое не может не быть предметом серьезных и горестных размышлений. Силою вещей он поставлен между двумя равными крайностями, из которых одна имеет за себя силу разума, а другая — силу материальную; если победит последняя, то человечество, несомненно, должно будет притти в дикое состояние и погибнуть; если победит первая... но может ли она победить? в праве ли победить? и что такое, наконец, самое это слово: «победить»?

В мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может, по временам, возвыситься наша мысль, насилие немыслимо; там прежде всего и над всем господствует равноправность и правомерность отношений. Возьмите для примера какие хотите социяльные теории (ныне называемые утопиями) — и везде вы найдете, что эти, а не иные какие-либо основы составляют краеугольный камень их общественных построений и комбинаций. Отнимите эти основы — и разумный мир распадается сам собою и уступает место миру случайному, в котором не только ничто не имеет определенного места, но самое добро является чем-то произвольным и до крайности непрочным. Итак, насилие неразумно и немыслимо — это несомненно, но что же такое «победа», как не насилие, облеченное, так сказать, в более или менее учтивую форму? Какие могут быть последствия победы? Последствия эти суть: гибель противника, его уничтожение или, по малой мере, пристыжение. И как мы ни станем оправдываться и оговариваться, что могут быть победы более разумные, разумность эта будет влиять только на формы факта, а отнюдь не на его сущность. Как ни постараемся мы смягчить противнику его поражение, все-таки это

будет поражение, а не торжество, и ощущение, произведенное первым, всегда будет неприятно.

Справедливость этой мысли доказывается уже тем, что люди наиболее развитые всегда наименее склонны пользоваться плодами своих побед, а тем менее давать чувствовать их тяжесть своим противникам. Что руководит ими в этом случае? Очевидно, ими руководит, во-первых, то высокое чувство равноправности, которое не допускает самого представления о победе, а во-вторых, та мысль, что, поражая противника, они в то же время поражают самих себя, т. е. свою собственную теорию. И таким образом, если мы поставим себя на место тех людей мысли, о которых говорится выше, то увидим, что победа до известной степени недоступна для нас уже по тому одному, что мы сами не воспользуемся ею, что мы слишком совестливы, что она претит, наконец, самым коренным нашим нравственным убеждениям.

Но, кроме того, она сомнительна для людей мысли еще и потому, что они обставлены слишком невыгодно для того, чтоб надеяться на непосредственное торжество. Прежде всего, они малочисленны, потом разъединены и, наконец, на каждом шагу своей деятельности встречаются с самодовольным упорством толпы, которая не хочет знать ни выводов, ни доказательств, а коснеет себе да коснеет в своей неподвижности. Возможно ли торжество при таких условиях? Ответ, кажется, несомнителен: да, торжество возможно, но торжество «историческое»...

Я опять-таки очень хорошо знаю, что некоторые «юродствующие» остановятся на этом месте и, не говоря худого слова, обвинят меня и в постепеновщине, и в стачке с действительностью, и в глумлении, и не весть еще в чем. Но погодите, юродивцы, погодите! Вы и не подозреваете, что всю эту речь я не к чему иному веду, как именно к мысли о необходимости победы, о настоятельности торжества.

Да, мы живем не в Аркадии и не в Икарии. Благодушие точно так же чуждо нашему обществу, как и чувство полной правомерности отношений. Мы имеем не только право, но и обязанность защищать себя против невежества и дикости, которые не дают нам дышать, ибо тут идет речь о нашей жизни и отстаивать ее повелевает нам простое чувство самосохранения. Если, при известных условиях, жизнь представляется в форме войны, то никто не изъемлется от необходимости вести ее, а ежели бы кто и вздумал сам для себя сделать это изъятие, то будет вовлечен в войну помимо собственной воли непреодолимою силою обстоятельств. Подавляющее влияние среды слишком неотразимо, чтобы даже самый сильный человек мог вполне противостоять ему. Если жизненные убеждения этого человека совершенно отличны от тех, которые составляют ходячую монету между его современниками, если в этом отношении он не пригнется и не подчинится давящей силе большинства, то он подчинится ему в другом отношении: он примет его внешние жизненные обычаи, подчинится господствующим в этом большинстве привычкам. И тогда необходимость войны, необходимость победы и всех ее уродливых последствий будет для него ясна. Ибо никогда не следует забывать, что в среде ненормальной только то действие и может быть сочтено нормальным, которое соответствует окружающей его ненормальной обстановке.

Итак, речь идет совсем не о том, чтобы уклоняться и прятать свою мысль, а о том, чтобы сделать победу возможною. Для этого необходимо, во-первых, усвоить такой образ действия, который наиболее щадил бы нашу щекотливость относительно самого представления о необходимости войны, и во-вторых, уничтожить, по мере возможности, те препятствия, которые отовсюду представляются, с очевидною целью сделать торжество

нашей мысли мнимым. Задача, конечно, не легкая, но в то же время и не столь трудная, как это кажется с первого взгляда.

Прежде всего, здесь необходимо убедить себя в том, что всякое стремящееся провести себя в жизнь дело имеет к своим услугам двоякого рода деятелей: во-первых, инициаторов, по мысли которых оно возникло и ведется, и во-вторых, чернорабочих, которые суть ни больше, ни меньше, как строгие и точные исполнители чужих планов и намерений. Это различение весьма важно, и всякая небрежность в этом смысле может иметь неисчислимые и очень не полезного свойства последствия.

Если за инициаторами, этими людьми мысли по преимуществу, мы признаём право относиться к действительности с большим или меньшим нетерпением, если с их стороны не кажется странным то искание «исторических утешений», по поводу которых пишется настоящая статья, то никаких подобных прав не имеют и не могут иметь простые чернорабочие мысли. В этих последних всего более ценится их преданность, их, так сказать, материальное геройство. Они представляют собой те самые окопы, за которыми мысль может жить и развиваться, не будучи каждую минуту вынуждаема заботиться о своей защите. Вне этой роли чернорабочий приносит более вреда, чем пользы: во-первых, он наболтает, во-вторых, переврет, в-третьих, насмешит и в-четвертых, наделает галиматьи. Горе чернорабочему самонадеянному, лезущему в герои! Он и сам погибнет и увлечет за собой хотя частицу того дела, которому служит! Будучи от природы ограниченным, он (смотря по тому, какой у него нрав, буйный или унылый) или без толку полезет напролом или без толку же будет хныкать. И ни в его храбрости, ни в его хныкании не будет ни малейшего следа той искры, которая горит во всяком слове и движении учителя, а будет все тот же характер ремесленности, который не покидает никогда чернорабочего, как бы он ни был развязен, как бы ни прикидывался героем. Посему, драгоценнейшие качества чернорабочего суть: стойкость при натиске, сознание необходимости организации, почтительность и послушливость. И если при этом с их стороны будет выказана самоотверженность, то это будет не та высокая и очень часто слишком тяжкая самоотверженность, которая свойственна людям мысли, а простое и естественное последствие тех обязанностей, на исполнение которых они себя обрекли. Быть может, эти слова мои покажутся обидными или горькими, быть может, они возбудят даже негодование, но не об обиде идет здесь речь, а о том, чтобы сказать, наконец, ту правду, от непризнания которой гибнет все лучшее, а процветают человеческие волчцы.

Да, лучшее гибнет, лучшее исчезает, — в этом мы могли убедиться не со вчерашнего дня. Волчцы! подумали ли вы когда-нибудь, что за проклятая тайна присутствует в этом деле? поставили ли вы себе когда-нибудь искренно и обстоятельно вопрос: кто виноват? Были ли вы почтительны, были ли послушливы? Ибо ведь недостаточно обвинять только большинство, одно большинство — это-то мы и без вас знаем, что оно виновато, — а надлежит вглядеться во всю обстановку, которая окружила мысль и которая, быть может, и могла бы ее защитить, да не защитила...

Итак, пункт первый: во всяком деле необходимо отличать инициаторов и чернорабочих. Первые имеют право мыслить, вторые имеют право исполнять; первые имеют право искать утешений в истории и даже возбуждаться и укрепляться этими утешениями в борьбе с обстоятельствами, вторые должны как можно меньше думать о таких утешениях, а заботиться только о том, что у них непосредственно под руками. Такое различение несомненно помогает делу: оно устраивает его.



СЦЕНА ИЗ «ГУБЕРНСКИХ ОЧЕРКОВ»

— Какое нынче направление странное принимает литература — все какие-то нарывы описывают, и так, знаете, все это подробно, что при дамах даже и читать невозможно... потому что дамы — vous concevez, mon cher! это такой цветок, который ничего кроме запахов тонких испускать из себя не должен, и вдруг ему, этому нежному цветку, предлагают навозную кучу... согласитесь, что это неприятно...

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.

Затем, идет речь собственно о войне. Поставим себя на место людей мысли, и спросим: претит ли нам такое занятие? Ответ будет несомненный: претит. Мы люди мира и гармонии, мы, даже вызванные насильственно на борьбу, по возможности, умеряем силу наших ударов, дабы не скорбеть при виде того позорного зрелища унижения, которое бывает естественным последствием всякого решительного торжества. И мы имеем право на такую гадливость, ибо сознали нашу мысль во всей ее ясности, и эта мысль не только теоретически исключает представление о необходимости войны, но и все ее практические подробности так построены, что войны нет и не может быть. А между тем она есть; она не хочет знать наших теорий, а присутствует в том раздражающем и опьяняющем воздухе, которым мы дышим. Как поступить в этом случае, чтоб не впасть в прямое противоречие с самим собою, чтобы не оскорбить, не задеть за живое своих коренных убеждений? Ответ на это очень простой: мы не обязаны даже и думать об этом. У нас должна быть организация, должны быть чернорабочие, которых преданность доходит до того, что не дает нам даже случая впасть в противоречие с нашими дорогими убеждениями. Мы люди мысли, и самое лучшее, что можем сделать,—это не покидать сферы мысли. Эта мысль сделает то практическое дело, какого практичнее ничего нет на свете: она оплодотворит людей действия, она прольет огонь в их сердца, она сделает их почтительными, послушливыми и твердыми в бедствиях. Философу Ризположенскому она скажет: не раздирай ногтями своих собственных внутренностей, не вопи на самого себя, не лай на луну, но обрати свои ногти, свой вопль и лай на противников того дела, которому ты служишь. Публицисту Скорбященскому она скажет: не распространяй слухов о терпении и о вознаграждениях, имеющих последовать в будущей жизни, но будь дерзок, ибо только дерзостью получишь в сем мире желаемое. Наконец, псевдоестествоиспытателю Кроличкову она скажет: не прикидывайся естествоиспытателем, ибо ты воспитанник Кузьмы Пруткова, у которого и заимствовал свои сведения по части естествознания... ступай вон. И тогда образуется у нас нечто правильное. Ризположенский будет раздирать внутренности действительных противников его дела, а не свои

собственные (или, что всё равно, внутренности противников мнимых). Скорбященский будет словом и делом пропагандировать мысль о натиске, а Кроличков совсем уйдет вон.

И тогда мы, люди мысли (повторяю, я только ставлю себя на место этих людей, а отнюдь не претендую идентифировать себя с ними), получим именно то желательное положение, которое одно только относительно нас и может быть названо правильным. А именно: мы получим возможность свободно и спокойно предаваться делу мысли, не будучи на каждом шагу вынуждаемы впадать в противоречия с нею, возможность не знать о тех препятствиях, которые встречает эта мысль в будничной обстановке жизни. Все эти мелкие подробности, вся горечь и неприятность, неразлучные с процессом проникновения мысли в практику, падут на долю тех преданных чернорабочих, которые не только не дадут нам чувствовать их, но даже скроют от нас об их существовании. Мысль наша не будет встречать задержек, и потому не пойдет, как говорится, в суп (как это нередко случается ныне), а разовьется во всей ее гармонической стройности. Быть может, даже... мы получим возможность находить утешения и не в одной истории...

Мне могут возразить, что я проповедую аристократию мысли, которая может впоследствии развиться столь же вредоносно, как и аристократия денег, аристократия силы и т. п. Но это возражение неверное. Во-первых, я говорю о положении временном, о положении, нужном лишь в данную минуту, в полном убеждении, что аристократия мысли, ежели она есть, менее всякой другой может окорениться и сделаться наследственною. Во-вторых, я вполне убежден, что по мере накопления знаний в массах, не только уровень этих знаний, но и уровень самых человеческих способностей должен представлять гораздо менее уклонений против тех, которые встречаются ныне, и следовательно, аристократия мысли будет иметь все менее и менее причин для существования. В-третьих, наконец, — и это главное — я говорю совсем не об аристократии, а об организации, и ежели слова могут возбуждать какие-либо недоразумения или опасения, то на это я могу отвечать одно: ежели вы желаете, то желайте, ежели же не желаете, то уйдите и не мешайте другим.

Всё мое намерение заключается в одном слове: дело. Самопожертвование, самоотвержение, геройство и проч. суть необходимые принадлежности человеческой деятельности, но отнюдь не должны быть целью ее, ибо, в противном случае, мы имели бы слишком легкий способ удовлетвориться и успокоиться. Я говорю одно: полезное и благотворное дело стоит в миллион раз дороже, нежели самая честная и безупречная деятельность человека, ибо дело вечно, а деятельность человека переходит вместе с ним и познается только в той мере, в какой она отразилась на деле.

И еще могут меня обвинить в том, что пропагандируемая мною мысль слишком жестока, что, по смыслу ее, положение так называемых чернорабочих не только утрачивает всякую красивость, но просто-напросто делается невыносимым, и что едва ли даже возможна такая организация, в которой существовал бы целый многочисленный класс людей, всегда готовых жертвовать собой в пользу мысли, в которой даже не заинтересованы страстно их личности. На это я могу отвечать моим возражателям: во-первых, что подобные организации существовали и существуют — это нам доказывает не только история, но и действительность: оглянитесь кругом, и уверьтесь, а во-вторых, опять то же, чем я ответил и на первое обвинение, а именно: если вы желаете, то желайте, если не желаете, то уйдите прочь и не мешайте другим.

Затем, мне остается сказать еще несколько слов о том, что именно и составляет главный предмет настоящей статьи, т. е. об устранении

тех препятствий, которые на каждом шагу встречает мысль со стороны дикости и невежества, или, говоря иными словами, о наилучших способах к успешному ведению войны.

Выше я сказал, что ежели нам и случается встретиться с преувеличениями мысли, то в этом виновато исключительно большинство, раздражающее мысль постоянным преследованием и непринятием. Мысль положительно не может бороться с этим равнодушием, ибо ее дело давать тон, а не бороться. Но с другой стороны неприязненное отношение большинства к мысли объясняется тем глубоким невежеством, в которое оно погружено, и это обстоятельство ежели не оправдывает большинства вполне, то значительно смягчает его вину. Мысли, конечно, до этого дела нет, ибо она имеет право развиваться и независимо от подобных соображений, но тому делу, которое она проводит в жизнь, очень важно изменить такие отношения и добиться того, чтобы большинство сделалось более ручным и не смотрело на всякое проявление добра, как на что-то враждебное, тревожащее его спокойствие. Необходимо упростить мысль, сделать ее мирским достоянием, необходимо, чтоб она дошла до большинства в доступной ему форме, чтоб она завладела им незаметно для него самого и не оскорбляла его своею высотою и величием.

Вот эта-то цель и достигается через тех чернорабочих мысли, о которых говорено выше. Сила их заключается не только в том, что они составляют, так сказать, передовые укрепления мысли, что они защищают ее своими телами от натиска неполезных элементов, но и в том, что они служат соединительною цепью между мыслью и большинством. Если мысль имеет право к известным явлениям жизни относиться с некоторою гадливостью, то этого права отнюдь не имеют чернорабочие мысли. Будучи по натуре своей ограниченны, они принадлежат большинству всецело и ежели выделили себя из него, если пришли к познанию иного сладчайшего вина, нежели то, которое предлагается ко всеобщему употреблению, то это произошло лишь благодаря особенно благоприятному стечению обстоятельств. Для чернорабочего непостыдно обращаться к большинству, да и нет никакого резона не говорить с большинством языком этого большинства. Он не должен только забывать, откуда он идет, он должен всегда чувствовать себя членом иного мира, посланным к большинству не для того, чтоб утонуть в нем, а для того, чтобы привести его к мысли.

Вот всё, что могу покаместь сказать об этом предмете, но думаю, что читатель будет достаточно благоразумен, чтоб увидеть в моих словах лишь то, что они действительно означают.



РИСУНОК А. РЫБНИКОВА К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ГРАВИРОВАННЫЙ НА ДЕРЕВЕ И. ПАВЛОВЫМ, 1926 г.

3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ *

Письма издалека

Le globe est confié à l'humanité comme un domaine à la question duquel elle est préposée. C'est là sa destinée terrestre. Or, elle ne peut accomplir cette question pendant son enfance, car on conçoit bien qu'elle doit avoir conquis, pour être apte à pareille oeuvre, de la sève et de la force; il faut qu'elle se soit créée des instruments, des moyens, une puissance qui ne lui viennent qu'a la suite du développement des arts, des sciences et de l'industrie.

Victor Considérant. «Destinée sociale».**

I

Что миром управляют призраки — это не новость. Об этом давно уже знают там, на отдаленном Западе, где сила призраков сказалась массам с особенною настоятельностью, где много писали о призраках, где не только называли их по именам, но делали им подробную классификацию, предлагали даже средства освободиться от них. Мы, люди восточного мира, не можем последовать этому последнему примеру, во-первых, потому, что сами еще плохо знаем, какие собственно наши призраки, и какие чужие, а во-вторых, потому... ну, да просто потому, что не можем. Понятно, следовательно, что, приступая к такому деликатному сюжету, мы обязаны действовать с осторожностью и говорить больше обиняками. Добросовестный читатель оценит всю затруднительность такого положения.

Принято за провило: наше русское общество называть молодым. Коли хотите, оно и молодо и старо в одно и то же время; молодо и в том отношении, что не успело или не умело выработать из себя ничего самобытного, т. е. никаких своих собственных призраков; старо — в том отношении, что существует в силу установившихся и, как будто, окрепших форм жизни... в силу окрепших призраков, хотел я сказать, но кстати вспомнил, что обещался говорить обиняками. Мы до сих пор жили чужою жизнью — вот уж один достаточно обширный призрак, перед которым должны побледнеть все второстепенные. От этого выходит, что мы, так сказать, пошли в семена прежде, нежели созрели: собачка маленькая, а уж вся словно параличом разбитая, огурчик маленький, а уж весь сморщился. Это бывает иногда со школьниками, которые с десятилетнего возраста начинают курить трубку и тянуть ром. К двадцати пяти годам из такого мальчугана обыкновенно образуется молодец-мужчина: и лысинка на голове появится, и щечки одрябнут, и глазки затекут... С наружной стороны — чистейший продукт английской болезни, усовершенствованной достаточными приемами сулемы, с внутренней — все помыслы, вся складка, вся, так сказать, непромокаемость государственного человека! Ему бы еще поидеальничать, ему бы за девушками побегать, а он мечтает о месте начальника отделения, он

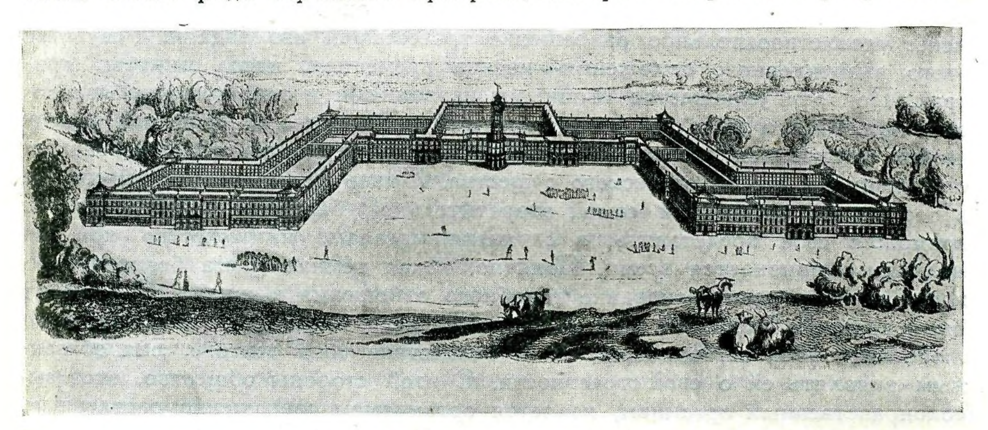
* Под этим именем автор предполагает издать целый ряд писем, которые и будут, от времени до времени, появляться в «Современнике». [*Прим. Щедрина.*]

** Земной шар вверен человечеству как владение, к которому оно приставлено. В этом его земное назначение. Но человечество не может выполнить его во время своего детства, ибо вполне понятно, что оно, чтобы быть способным к такому делу, должно приобрести крепость и силу; ему надо создать себе орудия, средства, могущество, которые могут притти только путем развития искусств, наук и промышленности.

Виктор Консидеран. «Общественное назначение».

весь проникнут томными помыслами о том, как хорошо бы дорваться до места начальника акцизных сборов! Жизнь опрокинута вверх дном, подсечена в самом основании; клавиша, которая, для извлечения полного звука, должна бы ударяться об три струны, с самого начала ударяет об одну — что за звук, что за звук должен вылетать из этого разбитого, расхлябавшегося инструмента!

Впрочем, я должен раз навсегда оговориться, что, употребляя слово «общество», я разумею только так называемые верхушки его. Что делается внизу, какие призраки царствуют там, да и царствуют ли еще там какие-нибудь призраки,—я не знаю, да и вряд ли кому-нибудь это известно. Быть может, там даже вовсе нет призраков — это было бы не дурно, еслиб можно было удостоверить, что самое отсутствие призраков не составляет также своего рода огромного призрака, который современем разрастется



ИЗОБРАЖЕНИЕ ФАЛАНСТЕРА

Гравюра на меди по рисунку Виктора Консидерана из книги «Destinée sociale» par Victor Considérant, Paris, 1837

в мириады маленьких. Во всяком случае, предупреждаю, что я намерен говорить о бельэтаже, а не о подвалах.

Итак, начнем беседовать обиняками.

Что такое призрак? Рассуждая теоретически, это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту. Повидимому, даже слово «заключать» тут неуместно, ибо призрак ничего не проникает, ни с чем органически не соединяется, а только накрывает. Повидимому, это что-то внешнее, не имеющее никаких внутренних точек соприкосновения с обладаемым им предметом; это одеяло, случайно наброшенное, одеяло блестящее или изорванное в лохмотья, но которое во всякое время, без боли для предмета, под ним находящегося, можно сбросить и заменить другим. Но все это только «повидимому», все это только в отвлечении, в теории: на деле же призрак так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти и во всяком случае не обходится без сильного потрясения. Не надо забывать, что хотя призрак, по самой природе своей, представляет для жизни лишь механическое препятствие, но он имеет сзади себя целую историю, которая успела укоренить в обществе дурные привычки, которая успела сгруппировать около призрака всю жизнь общества и, сообразно с этим, устроила ее внешние и внутренние подробности. Следовательно, если самый призрак и можно признать за что-то внешнее, то никак нельзя подобным же образом отнестись к тем привычкам, которые он порождает.

Владычество призраков непременно предполагает большую или меньшую степень общественного растления. Общество, как и всякий человек, отдельно взятый, стремится к истине, т. е. к благосостоянию материальному и нравственному; окольные пути, которым оно при этом следует, уклонения и ошибки, в которые впадает, доказывают только то, что истина далеко, и что, для достижения общественного идеала, надо переплыть через много морей, перейти через много гор. С этой точки зрения, всякое человеческое общество представляет собой организм высоко-нравственный, одаренный похвальными и заслуживающими поощрения намерениями. Но с другой стороны, эта самая жажда истины невольно делается причиной не только целого ряда бедствий для общества, но и полнейшей нравственной порчи его. Стремясь к истине и не овладевая ею, кроме колеблющейся под ногами почвы, оно невольным образом бросается навстречу первой истине, которая попадается ему на пути и в которой он думает найти более или менее удовлетворительное разрешение тревожащей его задачи. Результат этого вынужденного положения—истина временная, идеал минуты, призрак. Призрак украшается пышными названиями чести, права, обязанности, приличия и надолго делается властелином судеб и действий человеческих, становится страшным пугалом между человеком и естественными стремлениями его человеческого существа. Жизнь целых поколений сгорает в бесследном отбывании самой отвратительной барщины, какую только возможно себе представить, в служении идеалам, ничтожество которых молчаливо признается всеми. Понятно, какая темная масса безнравственности должна лечь в основание подобного отношения к жизни. Оно может быть сравнено только с положением человека, который, ненавидя свою любовницу, боится, однакож, ее и вследствие того считает себя обязанным заявлять ей о свой страстности. С этой стороны общество, этот высоконравственный организм, является организмом совершенно растленным, погруженным, так сказать, в непрерывный разврат. Безнравственность является следствием нравственности—круг, из которого не выйдешь.

Виновато ли общество в том, что так легко подчиняется владычеству призраков? Властно ли оно выбирать между тою или другою истиною? Нет, не виновато и не властно. Истина надумывается сама собою, почва нарастает исторически; следовательно, винить и некого, и не в чем. Взятое в данный момент общество уже застает призрак вооруженным с головы до ног и защищенным всевозможными стенами, окопами и подъемными мостами. Что может оно, безоружное и слабое, против таких, совсем не двусмысленных, доказательств силы? Ведь этого еще не достаточно, что общество многочисленно, что оно само заключает в себе немалую силу, чтобы с успехом бороться против призрака. Не надо забывать, что сила общества есть сила неорганизованная, рассеянная, сила, так сказать, не сознающая самой себя, кроющаяся под спудом; не надо забывать, что общество, как бы ни явственно оно сознавало обветшалость и пустоту призрака, все-таки воспиталось под влиянием его и вследствие этого не может вполне освободиться от суеверного страха, который внушает имя его. Повторяю: призрак вооружен и укреплен, общество, вступающее в борьбу с ним, безоружно, слабо и подкуплено — обвиним ли мы его? Ответ, кажется, не может подлежать сомнению.

Но устраняя от общества современного (или взятого в известный исторический момент) всякую ответственность в подчинении себя призракам, мы не можем не выказать точно такой же снисходительности и относительно отцов и дедов, которые, быть может, самым существенным образом содействовали укоренению и укреплению этих призраков. И для того, чтобы достигнуть этого всеобщего оправдания, мы не имеем надобности даже призывать на помощь так называемую ограниченность человеческого ума, эту

приятную канву, по которой искатели неизвестного и безграничного так охотно вышивают оправдательные узоры свои. Тут всё дело просто заключается в том, что внешняя природа, отношения к которой, собственно, и составляют содержание человеческой жизни, представляет собой замкнутость, которая слишком скупо открывается человеку. Нормальные отношения к этой belle inconnue* возможны только под условием полного и всестороннего ее познания, а так как, с одной стороны, это познание приобретается путем трудным и медленным, а с другой стороны, отношения к внешней природе, хоть какие бы то ни было, должны же существовать, то отсюда открывается не только возможность, но даже совершенная законность и необходимость тех бесконечных скитаний по призрачным мытарствам, в которых сгорают лучшие силы человечества.

Итак, не отцы и не сверстники наши виноваты в том, что призраки тяготеют над миром, а виноват в этом самый процесс наращения и надумывания, который происходит медленно и болезненно. В то время, когда общество начинает уже о чем-то догадываться, что-то подозревать, старая истина все остается в той же суеверной неприкосновенности и предъявляет все те же права на общество, именно на том основании, что догадка и подозрение не составляют еще никакого существенного фонда для замены отживающей истины. Человек начинает ощущать потребность бога, а бог не открывается, а на месте его стоит все тот же безобразный кумир. Кумир этот исчерпал все свое содержание, он обессилен и не извлекает воды из гранита, а человек все еще простирается перед ним, все еще приносит ему жертву за жертвою. Какая горькая тайна присутствует в этой связи живущего с отжившим, в этом обоготворении мертвечины? Тот, кто даст себе труд вдуматься в то, что сказано выше об отношениях человека к природе, конечно, не усумнится ответить, что тут и тайны никакой нет.

Всякий призрак имеет свою долю истины, или, лучше сказать, всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени. Сверх того, всякий призрак есть протест против другого призрака, дряхлого и несоответствующего потребностям жизни. Сверх того, всякий призрак есть, вместе с тем, переходное звено от призрака прошлого и известного к призраку грядущему и неизвестному. Вот сколько внутренних нитей связывает человека с призраком, вот сколько прав имеет последний на жизнь обществ! История человечества, от самой колыбели его, идет через преемственный ряд призраков — вопрос в том, где оно освободится от них, и освободится ли? Это составляет темную, мучительно-трагическую сторону истории (впрочем, светлой-то и успокоительной покуда и не обреталось). Младенческое состояние точных наук, порождающее исключительное господство спекулятивных знаний и допускающее беспрерывные новые открытия, которые ниспровергают все, над чем трудились, в чем не сомневались целые поколения, — все это такие преткновения, при существовании которых достижение идеала, т. е. счастия, представляется чем-то крайне сомнительным, если не окончательно невозможным. Если я не уверен, что мое согодняшнее знание есть знание действительное, если я постоянно нахожусь под страхом, что то, что я сегодня признаю за благо, завтра, при помощи новых данных, долженствующих расширить горизонт моей мысли, перестанет быть таковым, то очевидно, что ясность моего существования должна быть возмущена, что я не могу иметь ни спокойствия в настоящем, ни уверенности в будущем. Поистине, можно даже подумать, [что] в самом принципе развития и совершенствовния, которому неуклонно следует человечество, уже заключается условие величайшего для него несчастия, и, конечно, человечеству было бы невозможно существовать,

* Прекрасной незнакомке.

еслиб впереди не блистала ему мысль, что цикл колебаний когда-нибудь да кончится. Что это за мысль и в какой степени осуществима она? Не составляет ли она, в свою очередь, призрака, величайшего из всех призраков? Не похоже ли в этом случае человечество на чернорабочего, который все работает и все чего-то ждет, какой-то перемены в своем неотрадном положении. «Вот еще немного потерплю, вот вынесу еще несколько лишений», повторяет себе бедняга, «и потом буду счастлив!» — а на поверку оказывается, что и еще приходится терпеть, и еще нести лишения. Человечество инстинктивно думает ту же думу и охотно увлекается всякою новою истиной, всяким новым призракам. На первых порах живется легко; на первых порах истина удовлетворяет всех, хотя и действует обманом, т. е. торжествует на счет общего нравственного возбуждения. Но обман обнаруживается; болезненное дерево, давшее ему жизнь, начинает гнить, увлекая за собой и плод... Нужно опять и опять итти, опять и опять искать... Куда итти? чего искать? Каких держаться руководящих истин?

В особенности ощутительно дает себя чувствовать эта трагическая сторона жизни в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не нарождаются. Эти эпохи суть эпохи мучительных потрясений, эпохи столпотворения и страшной разноголосицы. Никто ни во что не верит, а между тем общество продолжает жить, и живет в силу каких-то принципов, тех самых принципов, которым оно не верит. Наружно языческий мир распался, а языческое представление, а языческие призраки еще тяготеют всею своею массою; Ваал упразднен, а ему ежедневно приносятся кровавые жертвы; явления, подобные Юлиям Цезарям, Александрам Македонским, утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и доднесь работает человечество. Изменились подробности, но смысл и господствующий тон трагедии остался прежний. Что может быть безотраднее, постылее, возмутительнее, даже пошлее такого положения?

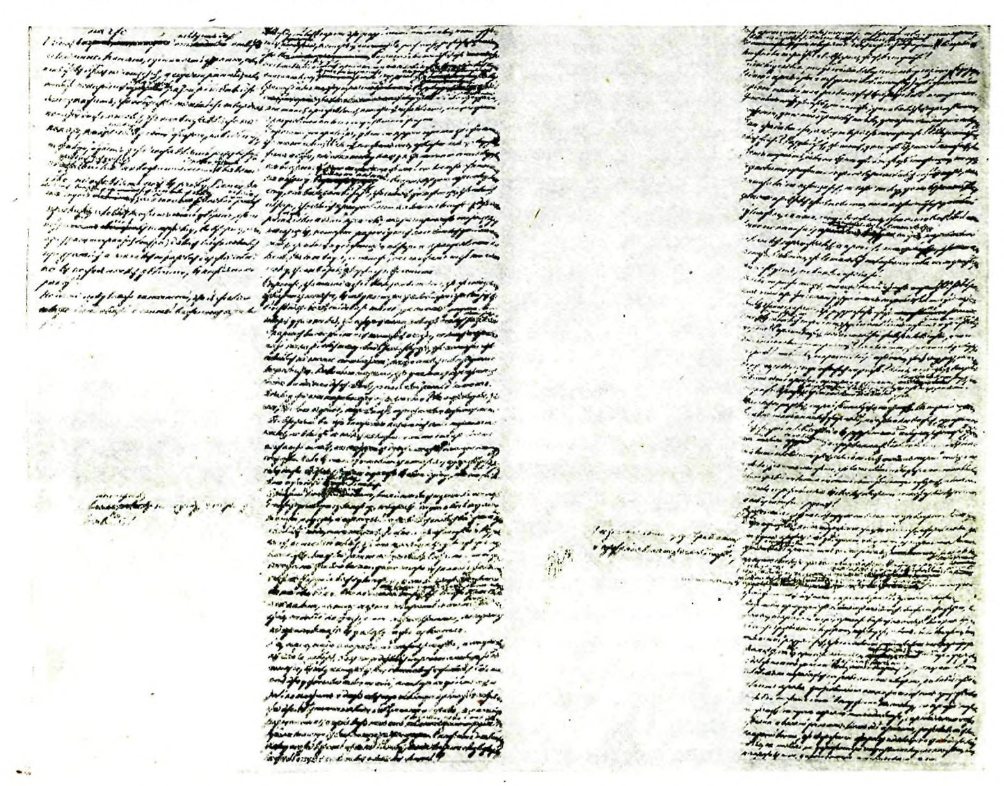
Читатель! случалось ли вам когда-нибудь ощущать, что возможность жить вдруг как-то прекращается? Случалось ли вам спрашивать себя, отчего мысль и руки отбиваются от дела, отчего еще вчера казалось светло, а нынче уже царствует окрест мрак? Отчего люди, жившие доселе в добром согласии, внезапно и искренно приходят к убеждению, что нет никакого разумного повода не только для доброго согласия, но и для простого совместного жительства?

Но это бы еще ничего. Люди, по каким-либо причинам приходящие к сознанию, что им вместе нечего делать, могут разойтись каждый в свой угол и там откровенно позабыть друг о друге. Отчего же они не забывают и не расходятся? отчего, напротив того, они ищут друг друга, чтобы сильнее питать в себе чувство ненависти и озлобления? Ужели и впрямь чувство ненависти может когда-нибудь сделаться единственною путеводною нитью жизни? ужели его одного достаточно, чтобы наполнить ее содержание?

Да; бывают такие черные дни в истории человечества, и, что тяжелее всего, они повторяются периодически. Жизнь общества утрачивает свой внутренний смысл и держится одним формализмом.

Авгуры последних времен римской империи не могли без смеха взирать друг на друга и между тем все-таки продолжали ремесло свое. Положим, что это были люди бесстыдные, внутренно убежденные в ничтожестве своих заклинаний и рассчитывавшие на невежество масс только ради личных выгод, да ведь и массы-то уже не верили в них, ведь и массы уже были достаточно прозорливы, чтобы оценить по достоинству безобразные кривляния распадающегося язычества: — для чего же они так упорно держались этих кривляний? для чего они с таким озлоблением преследовали новую истину, робко возникавшую рядом с истиной умирающей? Не потому ли, что массы одарены здравым смыслом, не потому ли, что они

инстинктивно понимают, что здесь не происходит ничего иного, кроме замены одного призрака другим, не потому ли, наконец, что они замучены жизнью и изверились в возможность ее? И между тем, несмотря на преследования, несмотря на отпор, новый призрак все-таки прокладывает себе дорогу, как вор подкапывается под основы старого призрака и, наконец, врывается-таки в самые святилища его. Общество торжествует и чувствует себя обнавленным, но, вместе с тем, скоро, очень скоро после первых порывов нравственного возбуждения, с горьким изумлением замечает, что новые



ДВЕ СТРАНИЦЫ РУКОПИСИ СТАТЬИ ЩЕДРИНА «СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ», 1865 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград

формы жизни, которых оно так жаждало и так жадно призывало, в сущности, составляют не более, как новый же призрак...

Недаром летописи подобных эпох полны сказаний о самоубийствах: это факт в высшей степени знаменательный. Всем тяжело жить, но вдвое тяжелее ярмо жизни для людей мыслящих и чувствующих. Грандиозность жизненного течения исчезает, явления мельчают, вера в прогресс уничтожается, глазам представляется заколдованный круг... Чему верить? Сердце так полно жажды счастья, но вместе с тем так оскорблено и озлоблено, что с глубокою ненавистью отворачивается от этой исполненной тления жизни. Остается итти к ничтожеству, верить в ничтожество. Смерть делается властительницей дум, ибо она одна что-нибудь разрешает в этом хаосе бессмысленных противоречий, ибо она одна что-нибудь содержит в этой пучине пустоты. Представление смерти является чем-то сладким, отрадно усыпляющим: человек вдумывается в явления жизни, вдумывается в смысл смерти и доходит почти до опьянения, до обоготворения ничто-

жества. Не узы, но освобождение от уз видит он в смерти, ибо для чего же и жизнь, если она ведет от одного противоречия к другому, от одного ничтожества к другому?

Из всего этого видно, что освободиться от призраков не легко, но напоминать миру, что он находится под владычеством призраков, что он ошибается, думая, что живет действительною, а не кажущеюся жизнью, необходимо. Не в силу того, что он окончательно сбросит с себя ярмо их, что он изобретением новой и всеобщей панацеи заключит нескончаемый цикл алхимии и астрологии и обратится к более простым и естественным отношениям к природе, но в той уверенности, что старые призраки все-таки заменятся новыми, что, наконец, может настать и такое время, когда призрак и в общем сознании перестанет казаться идеалом. Но ведь общество будет через это выведено из области призраков? но ведь ему не будет от этого легче? Да, быть может, и не будет выведено (по крайней мере, в настоящую минуту, при настоящем положении наук, едва ли имеем мы право предвидеть что-либо похожее на возможность всеобщей гармонии), но легче ему все-таки будет; ему будет легче уже по тому одному, что оно перестанет относиться к призракам чародейственно, что оно поймет, что нет никакой необходимости трепетать там, где стоит только дунуть, чтобы разорить в прах целое здание. Ему будет легче уже потому, что всякий новый призрак все-таки приносит за собой большую против прежнего простоту и естественность отношений, а вместе с тем и некоторую частицу свободы. Это шаг не малый. Дикий вотяк перестал верить в своего идола, но он еще боится его, но он еще обмазывает его медом и сметаной, чтоб умилостивить. Очевидно, он делает это потому, что у него нет в виду другого готового призрака; он сознает уже, что идол, который доселе кабалил всю его жизнь, глуп, мертв и вообще неудовлетворителен, но еще не понимает, что другой-то призрак, которого пришествие он смутно предчувствует, не идет потому только, что он, вотяк, не вполне еще расквитался со своим старым, глупым идолом. Надо ему растолковать это и облегчить работу его освобождения; надо доказать ему, что освобождение необходимо должно сопровождаться оплеванием, обмазыванием дегтем и другими приличными минуте и умственному вотяцкому уровню поруганиями, и что тогда только расчет с идеалом будет покончен, когда последний будет до такой степени посрамлен, что скверно взять его в руки, постыдно взглянуть на него.

Выше я сказал, что бывают минуты в истории, когда общество живет одним чувством ненависти,—это картина, конечно, очень печальная. Но скажите на милость, можно ли не ненавидеть, можно ли не сгорать от негодования, когда жизнь путается в формах, утративших всякий смысл, когда есть сознание нелепости этих форм и когда, тем не менее, горькая необходимость заставляет подчиниться им, бог знает—из-за чего, бог знает — зачем? Ведь отсутствие раздоров тогда только понятно и возможно, когда жизнь катится и не дает себя чувствовать, а не тогда, когда она на каждом шагу подкашивает человека. Возьмем для примера хоть бы наших помещиков. Было, конечно, время, когда они не только могли, но и должны были жить между собой в согласии, ибо их связывала одинаковая безмятежность взгляда на жизнь. В те счастливые времена не было ни глупых, ни умных, ни злых, ни добрых: просто было генерическое понятие помещика, под которым подразумевалось и очень много и очень мало. «Это— помещик», говорили россияне, и понимали друг друга. Такого рода порядок вещей, конечно, должен был менее всего давать место раздорам, но и тут, однакож, случалось, что самые задушевные приятели внезапно свирепели. Тем менее, может существовать согласие в такую пору, когда безмятежие взгляда покончилось, когда всякий чувствует себя предоставлен-

ным своим собственным средствам. Тут прежде всего начинают различаться добрые и злые, умные и глупые; так называемые добрые и умные клянут глупых и злых, говоря, что последние мешают приступить к делу и что их пошлое упорство порождает в обществе междоусобие; так называемые глупые и злые проклинают умных и добрых, говоря, что существующий сумбур есть результат неумеренной их болтовни и ненужного сованья не в свои дела. Кто рассудит эту странную прю? кто поймет ее? Никто не рассудит и не поймет, ибо, как ни суди, как ни ставь на очные ставки враждующие стороны, ни одна из них не уступит ни на волос.

Г. Тургенев был прав, изображая в «Отцах и детях» скрытный антагонизм, существующий между двумя половинами русского общества, но в качестве наблюдателя он был неправ, симпатизируя одной стороне и указывая на пороки другой. Здесь место не для симпатий, а для простого наблюдения: берите факт, как он есть, и если вы почему-либо не уразумеваете его законностей, то изображайте его, не рассуждая. И еще неправ г. Тургенев, заставляя своего героя погибнуть жертвою случайности: такого рода люди погибают совсем иным образом. Конечно, случайность и в их существовании играет большую роль, но это — случайность не слепая, посредством которой разрешил свой роман г. Тургенев, а продукт целого случайного порядка вещей.

Может показаться несколько парадоксальным, тем не менее совершенно верно, что распри, подобные замеченным выше, кончаются лишь взаимным истреблением враждующих сторон. В сущности, что представляют собой и та, и другая стороны? Они представляют один и тот же принцип, только в одном лагере он является несколько смягченным, в другом — в своих первоначальных грубых формах. Кто кого хуже? Кто кого лучше? Одни (добрые и умные) хотят подновить старый призрак, подрумянить помертвевший его образ и расправить морщины. Результат их работы — наивное самообольщение; двигатель — русское авось. Они не понимают, или не хотят понимать, что всякий призрак держит за собой целую систему, и что тут невозможно дотронуться ни до единой подробности без того, чтобы не подрыть всего общественного здания. Другие (глупые и злые) видят в старом призраке совершенство, не терпящее нахального прикосновения непосвященных, и, действуя логически, отстаивают его и в целом, и в подробностях. Следовательно, и в том, и в другом случае закваска убеждений одинакова, разница только в мелочах; это просто дело деревенских кумушек, повздоривших между собою из-за того, где больше денег: в пятикопеечнике, или в семитке с трешником?

Откуда же этот глубокий антагонизм между людьми, повидимому, столь близкими? Причина его заключается именно в этой близости. Чем ближе люди друг к другу, чем яснее они сознают, какие бы они могли быть отличные малые, еслиб плутовали заодно, тем большая сумма взаимной ненависти накопляется в их сердцах. Нет вражды более сильной, как та, которая закипает между членами одной и той же семьи; здесь всё ее питает: и беспрерывное наблюдение за малейшими подробностями жизни, и наушничество, и сплетни. Раскольник без омерзения станет пить из одного сосуда с язычником и магометанином, но ни за что на свете не разделит трапезы церковника; «язычник, говорит он, не зная, Христа предал, а церковник предал его со знанием»...

Таковы признаки эпох разложения: с одной стороны, всеобщее глубокое междоусобие, имеющее чисто внешние причины, с другой — всеобщее безверие, но безверие робкое, скрывающееся под личиной самого рабского лицемерия. Что такое долг? что такое честь? что такое преступление? что семья? что собственность? что гражданский союз? что государство? Вот вопросы, которые задает себе современный человек: он бледнеет и трусит

уже от одного того, что вопросы эти представляются ему; он готов сказать: «нет, я не был при этом, нет, я ничего не видал и не слыхал» всякому, кто был бы настолько любознателен, чтобы спросить, каковы его мысли насчет того или другого вопроса. Это тоже весьма характеристический признак, который, вместе с междоусобием и безверием очень ярко обрисовывает эпоху разложения. Между тем, вопросы эти разрешить необходимо, потому что на тех понятиях, которые они выражают, зиждется целое общество. Сохранили ли эти понятия тот строгий смысл, ту святость, которые придавало им человечество в то время, когда они слагались? Если не сохранили, то представляется ли возможность возвратить им утраченное? Вот на что следует дать ответ немедленно. Конечно, будет очень странно, если ответа этого не сыщется, и еще страннее, если показания окажутся разноречивые: конечно, это ясно укажет, что общество не имеет твердых понятий даже о том, что оно выставляет на показ как главную основу своей жизни, но ведь и это, пожалуй, будет еще составлять результат, и притом результат весьма положительный.

Главное дело — не оставлять себя в заблуждении. Выгода тут двоякая: во-первых, соблюдается экономия сил (ибо только вполне обладая предметом, человек приобретает уверенность, что не истратит себя попустому); во-вторых, самые призраки стираются быстрее, давая место новым призракам, и, таким образом, держа человечество в постоянном увлечении, в постоянной работе.

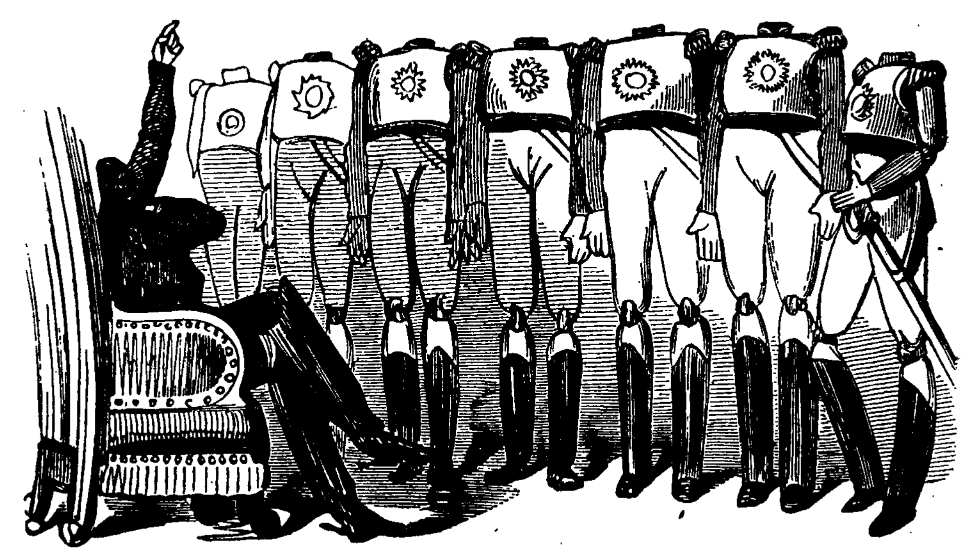
Но да не подумает читатель, что я имею претензию беседовать с ним о столь важных предметах. Мое дело — призраки, а не такие представления, которые составляют, так сказать, краеугольный камень общественного благосостояния.

Спросите, например, у любого обывателя из простодушных, что такое семья? Семья, скажет он, известно — семья: муж, жена и дети; точь в точь, как у г. Успенского некоторый мужик, на вопрос: для чего тебе дана жена? отвечает: жена дана на потребу. Сделайте подобный же вопрос легисту, он вам ответит, что семья есть убежище, что семья—алтарь, что семья—краеугольный камень. Легист будет говорить очень долго и очень красиво; он растрогает до глубины души добрых обывателей, которые разойдутся по домам, утешенные тем, что семья есть алтарь, что алтарь есть убежище, а убежище есть краеугольный камень. На мой вкус, однакож, легист высказал нечто подобное тому же, что сказал и мужик г. Успенского.

Спросите, что такое честь? Вам ответят, что это — совокупность известного рода понятий (правил), в силу которых человек обязывается в действиях своих следовать именно такому, а не иному пути. Но не говоря уже о том, что история указывает нам на самые разнообразные видоизменения понятия о чести, самая современность на каждом шагу свидетельствует, что понятие это совсем не столь абсолютно, как о том повествует моралист. Довольно сказать, что у самых бесчестных людей всегда найдется в запасе свой point d'honneur *. Почему же они называются и слывут бесчестными? Не потому ли, что они, в свою очередь, называют бесчестными честных людей?

Повторяю: все это может казаться очень парадоксальным, но вместе с тем положительно доказывает шаткость основ, на которых, в данную минуту, держится общество. Но если в таких существенных понятиях царствует рознь, если даже в этом всякий играет в свою дудку, то чего же можно ожидать во всем остальном, т. е. в подробностях, которые из этих основ истекают? Некоторый мой приятель, выкладывая передо мной пяти-

* Своя «честь».



НИКОЛАЙ I И ЕГО ГВАРДИЯ
Карикатура из альбома Густава Доре «La Sainte Russie», Paris, 1854

десятирублевую бумажку, говорил: «тут все! тут и манже, и буар, и сортир!» но и за всем тем, т. е. при всем горьком сознании безвыходности своего положения, он все-таки прибавлял: «да, надо, надо поправить свои обстоятельства!» Разумеется, кончилось тем, что он бумажку промотал, а обстоятельств своих не поправил. Современное общество похоже на этого моего приятеля: у него тоже осталась в запасе одна пятидесятирублевая бумажка, а оно мечтает прожить на нее два века. Оно не догадывается, или, лучше сказать, не хочет догадываться, что все эти краеугольные камни, о которых оно разглагольствует с такою гордою уверенностью, не более, как истертые пятиалтынные, которых не примут в уплату даже извозчики.

Да, надо, надо поправить свои обстоятельства, а поправить их нельзя иначе, как посредством строгого анализа тех понятий, в силу которых мы двигаемся и живем. Бояться здесь нечего; если понятия эти устойчивы сами по себе, анализ не убьет их, а только очистит и даст им еще большую крепость и силу; если же некоторые из них — болезненные плоды болезненного дерева, то анализ добьет их окончательно и избавит нас от смешной роли Дон-Кихотов, принимающих мельницы за рыцарей. Ибо кому же охота возиться с тлением, когда впереди представляется возможность лучшей, здоровой жизни?

Часто приходится нам слышать: потерпите, и все будет хорошо, но ведь недаром же выискиваются и такие, которые говорят: чем скорее, тем лучше. Во-первых, возможно ли терпеть, и во-вторых, стоит ли терпеть?

Всякому сколько-нибудь бывалому сельскому хозяину (буду приводить примеры, доступные большинству) известно, сколько горькой насмешки заключается в этом слове: «потерпите». У него нет инструментов, нет скота, у него валятся хозяйственные постройки, у него хлеб градом побило, у него рабочий народ разглагольствует «мы-ста» да «вы-ста», а ему твердят: потерпите! Чем подняться? Чем жить? Где ручательство, что из ничего создастся когда-нибудь что-нибудь? Разумеется, что тот, у кого есть в запасе капитал, может терпеть, если не в надежде пожать сторицею, то хотя в уповании прожить с грехом пополам до тех пор, пока капиталы не истощатся, но горе тому, у кого оказывается в запасе одна пятидесятируб-

левая бумажка, да и то, быть может, фальшивая. Весь основной его капитал исчезнет в прожорливой бездне, называемой сельским хозяйством, и исчезнет так, что он и не ахнет. Очевидно, что в таком положении дела не терпеть приличествует, но ликвидировать.

Но если терпеть нельзя, то еще менее стоит терпеть. Здесь расчет простой: какой результат терпения? Кто будет так смел, чтоб удостоверить, что результат не заключается единственно в самом терпении, что здесь последнее не служит в одно и то же время и средством и целью? Спрашивается, сколько тысячелетий живет человечество и чего оно добилось с помощью терпения! Добилось того, что ему и доднесь говорят: терпи! Но не добилось ли, по крайней мере, хоть того, чтоб ему разрешили [вопрос], когда конец этому терпению? Нет, и на это очень простой ответ: потерпи, и узнаешь, как долго остается еще терпеть! Просто можно подумать, что жизнь есть непрерывный и безвыходный каламбур.

Таким образом, совет терпеть оказывается даже несколько обидным. В терпеньи, как давно некованном жорнове, не измалывается, но изминается жизнь человечества, и в результате получается все та же жизнь, только искалеченная и изорванная. Сколько великих дел мог бы явить человеческий ум, еслиб не был скован, более, нежели странною, надеждой, что все на свете сделается само собою? Скольких великих явлений могла бы быть свидетельницей история, еслиб она не была сдерживаема в своем движении нахальством одних и наивною доверчивостью других?

История сама берет на себя труд отвечать на эти вопросы. Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого, и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле предоставляет истории прекрасный случай проложить для себя новое и при том более удобное ложе.

Можно ли предупредить подобные гневные движения истории, можно ли, по крайней мере, приготовиться к ним? Вопросы эти разрешить мудрено, потому что, еслиб было можно, то, само собой разумеется, не было бы недостатка ни в предупреждениях, ни в приготовлениях. Но, во всяком случае, предупреждать и должно, и совершенно естественно. Подобно тому, как отдельный человек не называется добровольно на смерть, и человечество, застигнутое врасплох в данную минуту, не имеет права отказаться от существования. Оно может быть вынуждено к тому, но, покуда наступит минута горькой необходимости, борьба с нею и естественна, и вполне законна. Вот, где причина, заставившая меня сказать выше, что добровольное и полюбовное свержение старых идолов с их пьедесталов — дело, не только не угрожающее обществу, но, напротив того, упрочивающее его будущее.

Эта же самая причина заставила меня взяться за перо. Говорю откровенно, читатель нередко будет иметь случай сетовать на меня; ибо нередко я буду беседовать не с тою ясностью, с какою желал бы, и какая, в сущности, необходима в таком деле. Я знаю это, но вместе с тем знаю и то, что имею дело с явлениями и вещами, прикосновение к которым требует величайшей осмотрительности. Тут идет речь совсем не об трусости, но именно о желании достичь какого-нибудь результата. Что путного будет, если я стану называть вещи по именам? спрашиваю я себя, и, взвесив все доводы pro и contra прихожу к заключению, что и выгоднее, и плодотворнее действовать без излишней запальчивости.

В минуты всеобщего переполоха и эпидемической нравственной перепутанности общество выказывает особенную щекотливость. Потому ли, что

оно и без того чувствует себя кругом виноватым, или потому, что организм его уже слишком покрыт язвами, — как бы то ни было, но оно положительно не допускает, чтобы в эти язвы, и без того растравленные, запускали любознательный скальпель. «Я знаю, что гнию», говорит оно с каким-то дико-горделивым самодовольством — ну, и гниет себе понемножку.

В виду такой чувствительности возможно ли оставаться жестоким?

II

Оканчивая первое письмо мое, я намеревался прямо приступить к тому, что мы называем обыденною, будничною жизнию. Однако, перечитав написанное мною, я почувствовал, что там есть много недосказанного, что взгляд на принципы, которыми руководится жизнь человечества, недостаточно выяснен, что, наконец, могут обвинить этот взгляд в бесцельности, в какой-то сухой безотрадности, в том, наконец, что очень образно формулируется словом «озорничанье».

Что касается до этого последнего обвинения, то я не желаю и не ищу в нем оправдываться. Безотраден или отраден формулированный мною взгляд, до этого мне нет дела; желательно было бы только, чтобы он был правилен. Я знаю, что многие скорее согласны были бы остаться при мечтаниях, лишь бы они были отрадны, нежели принять истину, которая кажется им мало отрадною, что многих эти «отрадные» мечтания до такой степени сладко убаюкали и разнежили, что было бы даже странно, еслиб простое и несколько грубое прикосновение к тому, что составляет, так сказать, и содержание, и надежды, и идеал целой жизни, не возбуждало ропота. Я знаю даже таких, которые, очень трезво смотря на современность, оказываются несколько в подпитии, когда им приходится поднимать завесу будущего... Все эти мечтатели, все эти идеалисты как настоящего, так и будущего, конечно, могут сказать, что гадко и неблагоразумно возводить в принцип, что человечество не в силах выйти из-под владычества призраков, что это, наконец, и не верно, потому что... ну, да и просто потому, что оно выйдет из-под этого владычества (нельзя, дескать, предположить себе и т. д.). На этот мотив можно целую книжку написать, особенно если взять в образец так называемую литературу великодушных порываний (aspirations généreuses), которая преимущественно пользуется кредитом во Франции, где, однакож, таковым кредитом пользуются и так называемые Idées napoléoniennes *. Французы целые томы пишут о чем-то вроде fraternité**, но практические результаты этого многописания оказываются довольно обидные...

Но возвращаюсь к недоразумениям, которые может возбудить мое первое письмо. Во-первых, я не знаю, что может быть неблагоразумного в том или другом образе мыслей? Что образ мысли может быть серьёзный или смешной, основательный или нелепый — это я понимаю, но чтобы он мог быть неблагоразумным (т. е. несвоевременным) — это совершенно недоступно моему пониманию. Я мыслю так, а не иначе, следовательно, я имею право так мыслить. А так как при этом я, до поры до времени, не признаю возможности истины абсолютной, то, стало быть, и своего образа мысли не признаю за непреложный, стало быть, рядом с ним признаю возможность другого образа мыслей... Что может быть терпимее?

Во-вторых, я не знаю, благоразумно или неблагоразумно я поступаю, проводя мысль о скитаниях из одного призрака в другой, но знаю, что от этого моего неблагоразумия никакой для дела порухи не произойдет. Человечество, хотя бы оно и не было насчет этого вполне согласно со

* Наполеоновские идеи.

** Братство.

мной в отвлеченьи, все-таки не придет от того в отчаяние и не сложит руки (незачем, дескать, и работать, коли работать приходится в пользу одних призраков), а будет следовать все той же дорогой, которой ему итти надлежит. В этом отношении над ним тяготеет фатализм, который, однакож, совсем не есть фатализм в том смысле, как мы это слово понимаем, а просто — подчинение тем законам, которые лежат в основании человеческой природы. Следовательно, каковы бы ни были теории, они не могут ни повредить, ни пользу оказать, ни прибавить, ни убавить в этом естественном и независимом от самого человечества ходе вещей. А следовательно и говорить о том нечего, что благоразумно и что неблагоразумно, что вредно и что невредно: тут просто на первом плане стоит непременная потребность мысли высказаться до конца.

В-третьих, наконец, допустим, что предположение мое неверно, но вместе с этим едва ли не придется и еще кое-что допустить. Это «еще кое-что» заключается в том, что, если человеческие скитанья прекратятся, то, стало быть, и отношения человека к внешней природе сделаются когда-нибудь нормальными. Нормальными же они могут сделаться только тогда, когда природа откроет человеку, так сказать, всю грудь свою, когда в ней не останется ни единой тайны (прошу не смешивать тайны с секретом!), ничего недостигнутого (не смешивайте с недостижимым!), ничего необъясненного (не смешивайте с необъяснимым!). Но это положительно невозможно. Недаром природу называют неистощимою и бесконечно разнообразною; она до такой степени неистощима, что человек в данную минуту не может даже знать, каковы будут его требования относительно природы через известный период времени. И всегда оказывается, что требования эти совсем не неуместны, и никогда не бывает того, чтобы природа была не в силах отвечать новым требованиям. Всякое новое открытие заключает в зерне своем новую тайну; впоследствии тайна эта обнаруживается или в виде нового закона, или в виде новой комбинации законов уже исследованных, но и это новое обнаружение повлечет за собой целый ряд новых тайн. Чтобы представить себе природу истощившеюся и разоблаченною да наготы, надобно предположить, что она когда-нибудь перестанет творить, а это положительно противоречит всем открытиям, делаемым в области естественных наук. Открытия эти доказывают, что не только беспрерывно являются новые роды и виды творения, но что и самые законы творения или, лучше сказать, взгляды человечества на эти законы беспрерывно изменяются. Стало быть, возможность нормальных отношений человека к природе есть дело во всяком случае проблематическое; по крайней мере, если человеческие скитания поставлены в зависимость от этих отношений, то нельзя не сказать, что будущее их обеспечено слишком достаточно.

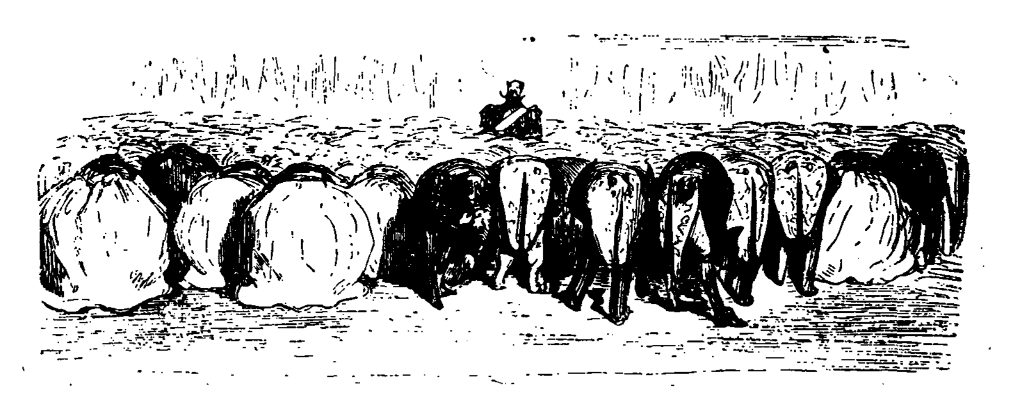
В-четвертых, если бы можно себе представить природу исследованною, истощившеюся и лишенною своей творческой силы, я не понимаю, что же тут будет утешительного? Желать чего-либо подобного, указывать на такое положение вещей, как на цель человеческих стремлений, не значит ли предуказывать на что-то вроде светопреставления? Что тут лестного? Между тревожною жизнью и спокойною смертью — куда склонится выбор наш? Даже старосветские помещики Гоголя, которые именно п о ч т и так жили, как должны жить добрые после светопреставления, даже и те только п о ч т и так жили. И у них случались иногда желудочные боли, и у них рождалось по временам желание с и ю м и н у т у съесть какой-нибудь особенно вкусный блин, который можно приготовить только через полчаса. Если бы у них не было этих болей и желаний, они, очевидно, не могли бы существовать иначе, как в спячем виде.

Теперь постараюсь разъяснить и дополнить мой взгляд на призраки, к которым и возвращаюсь.

Вероятно, большинству моих читателей случалось бывать в балете. Что берется в основание балета, что составляет, собственно, интерес его? В основание балета берется что-либо произвольное и неизвестное, которое предлагается как непроизвольное и окончательно признанное, что-либо чудодейственное и неестественное, которое принимается за нечто обыкновенное, вытекающее из природы вещей. Отправляясь из этого пункта и не выжидая возражения со стороны зрителя, балетмейстер устраивает дальнейшее течение своего произведения с легкостью изумительной. Все ему удается, все он объяснить может. Возьмем, например, что героем балета избран Дух Долины («Теолинда, или Дух Долины», балет в трех действиях, сочинение г. Сен-Леона). Что это за дух? откуда он явился? какими путями прокрался он в голову балетмейстера? Этого никто не знает, да и сам балетмейстер, вероятно, знает не больше других. Он собственною своею властью вызвал этого духа из тьмы, собственною властью наделил его силою и могуществом, наградил способностью вступаться в людские дела, ограждать слабых и невинных и карать коварных и злых, привязал ему сзади золотые крылышки и выпустил на сцену. И вот, происходит нечто необычайное: дух, неизвестно откуда явившийся, дух, не имеющий ни роду, ни племени, дух, взявший на прокат из театральной гардеробной золотые крылышки, является решителем человеческих судеб.

Он танцует и благодетельствует, он повертывается на одной ножке и в то же время карает злодейство и несчастие. Почему палка, направленная на Теолинду, вываливается из рук коварного Шторфа? А потому, что Теолинде покровительствует Дух Долины, который и вырывает упомянутую выше палку. Каким образом может случиться, что Теолинда, увлеченная Духом Долины на дно озера, не только не захлебывается и не утопает, но, напротив того, танцует там? А просто от того, что так хочет Дух Долины. И дешево, и просто, и мило.

Благодаря призракам, нечто подобное происходит и в мире человеческих отношений. Неизвестное и недоказанное принимается за известное и доказанное. и на основании этого делаются выводы, строится целая система доказательств, допускаются остроумные сближения, одним словом, оценяется целое человеческое существование, объясняются самые сложные явления. Что, если бы кто на вопрос: почему вы поступили так, а не иначе? ответил: так велел мне поступить Дух Долины! Нет сомнения, что челове-



ПРИДВОРНЫЙ БАЛ НИКОЛАЯ I

«Обстоятельство, наглядно подтверждающее распространенное мнение, что император Николай самый красивый и самый высокий человек в России»

Карикатура из альбома Густава Доре «La Sainte Russie», Paris, 1854

ка, давшего такой ответ, признали бы за сумасшедшего, а может быть, и еще хуже — за злонамеренного свистуна. Однако, никто не удивился бы и не счел бы за сумасшедшего того грека, который отвечал бы, что он такое-то действие предпринял под влиянием богини Минервы, а такое-то под влиянием самого Юпитера.

Покуда участие Духа Долины, как решителя балетной жизни и балетных судеб, ограничивается одним балетом, оно может быть терпимо. Хотя и там оно глупо, хотя и балету не мешало бы поискать себе содержания, жизни, хотя сколько-нибудь не противоречащей здоровому смыслу, однако зритель не может изъявлять большой претензии на столь невинное препровождение времени. «Ну, чорт с вами! говорит он, уходя из театра, хорошо, хоть ноги-то поднимать не скупилась!» Но когда Дух Долины начинает вмешиваться в жизнь действительно, когда он заявляет претензию на обладание судьбами вселенной — такое нахальство делается просто нестерпимым. Большинство людей, конечно, не сознает, что те краеугольные камни, те основания, те убежища, которые оно так самодовольно выставляет на показ, в сущности ничем не отличаются от Духа Долины, а между тем оно так. Пускай философы-идеалисты сойдут в тайники сердец своих, пускай философы-юристы проверят те начала, на защиту которых они ополчаются, и пусть те и другие сходят в первый балет, какой будет даваться на сцене. Они увидят, они с краской стыда на лице почувствуют, что целую жизнь свою посвятили не чему иному, а именно только сочинению балетов. Ничто так не подрывает известного принципа, ничто так не выказывает всей его ложности, как логическое доведение этого принципа до всех тех последствий, какие он может из себя выделить. В этом отношении школа так называемых спиритуалистов оказала услугу незабвенную и неоценимую. Они указали, что путем идеализма можно дойти до самых крайних нелепостей, а всего скорее дойдешь до балета. В самом деле, чего тут нет: и легкие духи, и совершенные духи, и стучащие духи... и весь этот кагал вмешивается в судьбы человека, руководит человеком, точь в точь, как руководит им, например, понятие о вменяемости преступлений, или о вреде страстей...

И таким образом, оцепленные со всех сторон путами, мы безрассудно тратим свои силы не на разрешение, а на большее и большее закрепление их. Мы до такой степени утрачиваем все инстинкты здоровой, не запутанной жизни, что эта последняя кажется нам смешною, пошлою, почти что дикою. Например, по нашим понятиям, отношения мужчины к женщине, хотя бы в основании их лежали чувства взаимного уважения и любви (единственные, которых присутствие в этом случае совершенно необходимо), все-таки не могут считаться в строгом смысле законными и нравственными, если на них не имеется печати принуждения и обрядности. Покажите нам эти отношения в других формах, представьте их естественными, основанными именно на одном чувстве взаимного притяжения,—мы сейчас сострим; мы скажем, что подобный взгляд сообщает отношениям исключительно половой характер, мы выложим зараз весь разнообразный запас наших знаний по части клубнички, мы намекнем насчет собачьей свадьбы. И напрасно вы будете говорить нам, что понятие о взаимном притяжении вовсе не исчерпывается одними половыми побуждениями, что оно обнимает собой все разнообразные определения сложного человеческого организма, что оно потому уже нравственно, что человечно, — мы вас и слушать не станем и всё будем твердить одно: что вы — пропагандист собачьих нравов. И мы даже не замечаем, что подобное остроумие, основанное на сопоставлении явлений совершенно различных сфер, доказывает, помимо нашей воли, только нашу собственную умственную оголтелость, доказывает, что мы ни во что ценим нравственную сущность и придаем вес

одному нравственному формализму. Приведенный мною пример касается вопроса, несколько уже выясненного, или, по крайней мере, затронутого общественным мнением, и потому он, пожалуй, и не бросится еще так резко в глаза, а сколько есть таких вопрсов, в основе которых все сумбур, все бессмыслица, все мрак, и к которым невозможно даже прикоснуться именно потому, что там сумбур, бессмыслица и мрак представляются чем-то нормальным, неприступным и заповедным? Сколько есть таких явлений, к которым подойти нельзя, в справедливости которых невозможно сомнения заявить именно потому только, что самое поименование их без особенно восторженных эпитетов, самое намерение объяснить их считается уже преступлением и возбуждает остервенение в людях, в сущности весьма невинных и безответных.

Это-то и вынудило меня сказать в первом письме, что с призраками подобного рода надо обращаться с осторожностью. Осторожность эта, по моему мнению, должна заключаться в следующем. Если известному жизненному строю, к которому мы привыкли, с которым мы сжились (потому что мы сами—более или менее—его участники и делатели), будут противоставлять, в живых образах, другой жизненный строй, совершенно непохожий на первый, то как бы ни удостоверял нас рассудок, что этот другой жизненный строй есть единственно-справедливый и вытекающий из свойств человеческой природы, мы все-таки не в состоянии будем побороть в себе некоторого чувства недоверия, которое окажется тем сильнее, чем резче и образнее будут формулированы подробности новой жизни. Повидимому, это неосновательно; повидимому, способность идеи к организации, к воплощению в живых образах должна бы привлечь к ней еще более прозелитов; однако, на практике бывает наоборот. Мы так мало готовы к принятию новых форм жизни, и промежуток между современною, уже изведанною нами практикою и тою, которую имеет выработать будущее, так велик, что эта последняя не может не перевернуть вверх дном всех наших понятий. То, что мы охотно постигаем в отвлечении и что, как теоретическую возможность, признаем безусловно, то самое, внезапно представленное нам в живых образах, кажется неловким, режущим глаза. Мысль о возможности такой ассоциации, где труд не представлялся бы тяжким бременем, а напротив того, в самом себе, в своей собственной привлекательности, находил бы причину и цель, теоретически не заключает в себе ничего дикого, но попробуйте изобразить такую ассоциацию в живых и действующих образах, попытка эта не только не принесет пользы мысли, ее породившей, но едва ли даже не повредит ей. Образы, логически верные, покажутся приторными, идиллическими, почти пошлыми; отношения естественные и совершенно нравственные покажутся натянутыми и возмутительно-безнравственными. Таким образом, вместо того чтобы приобрести прозелитов идее, неловкий пропагандист рискует возбудить против нее не только негодование, но и насмешки. И в этом неблагоприятном результате будет своя доля справедливости, ибо втискивать человечество в какие-либо новые формы жизни, к которым не привела его сама жизнь, столь же непозволительно, как и насильно удерживать его в старых формах, из которых выводит его история. Поэтому мне кажется, что так называемые утописты (в особенности Фурье и его последователи), доказывавшие необходимость новых общественных оснований, поступали ошибочно, выводя этот вопрос из сферы отвлеченной и регламентируя все подробности его осуществления. Но еще большая ошибка заключается в попытках практического воплощения идеалов среди общества, к принятию их не приготовленного. (Такие попытки делаемы были Робертом Овэном и некоторыми последователями системы Фурье.) Все эти попытки были неудачны и рушились очень скоро: почему они были неудачны, почему они рушились,

об этом никто даже не полюбопытствовал узнать; никто не дал даже себе труда вникнуть, что причина неудачи заключалась не в порочности той идеи, которая лежала в основании попыток, а в порочности и предрассудках, тяготеющих над обществом; все видели только факт падения и от него пришли к заключению о неверности и бесплодности самой идеи, легшей в основание неверной и бесплодной попытки.

Но, извиняясь перед читателями за длинное отступление, перехожу к предмету моего письма.

Робкие, запуганные различными неприкосновенностями, мы не можем сделать ни одного движения без того, чтобы не приурочить его к какому-нибудь призрачному кодексу фантастического искусства жить. Самые законные стремления своего существа мы отравляем, проводя их сквозь горнило ненужных, неприятных и тошных преград; самых простых вещей не можем объяснить себе иначе, как посредством каких-то таинственных целей и неведомых предопределений. Все существующее представляется нам существующим не в силу своего права на существование, а под условием выполнения известной задачи. Отсюда идея о жизненном подвиге, размеры и содержание которого для каждого живого организма определяются различные. В чем заключается жизненный подвиг человека — об этом еще спорят, и хотя некоторые и предъявляют претензию, будто подвиг сей состоит в управлении земным шаром, но это — перспектива столь туманная и обширная, что даже не представляет ничего соблазнительного; но зато никто не спорит, что жизненный подвиг курицы заключается в том, чтобы быть съеденной в супе, как никто не спорил, во время существования крепостного права, что жизненный подвиг мужика состоял в исправном платеже оброка и прилежном отбывании барщины, как никто не спорит и теперь, что жизненный подвиг французского или английского пролетария (я указываю на Францию и Англию потому собственно, что оно спокойнее) заключается в том, чтобы работать с прилежанием и получать за сие вознаграждение достаточно умеренное, чтобы, при случае, умереть с голоду.

Вследствие этой наклонности все облекать таинственностью, всякое явление возводить к конечным причинам, отношения к фактам, представляющимся нашему пониманию, делаются натянутыми и неестественными. Мы хлопочем не о том, чтобы объяснить себе факт из его собственной сущности, определить характеристические его признаки, место, которое он занимает в кругу других фактов, и те практические выводы относительно целой системы, какими представляется возможным воспользоваться из его свойств, но о том, чтобы как-нибудь, хотя насильственно, приурочить факт к готовой уже системе и посредством этой последней истолковать значение его. Одним словом, мы не подходим к факту, а, напротив того, увлекаем его за собой.

Для объяснения, возьмем здесь так часто приводимую в пример градацию человеческих способностей (известно, что наука психология, не довольствуясь наименованием способностей человека человеческими, еще разделяет их на высшие и низшие). Встречая на пути своем людей с различными способностями и наблюдая эти последние в их практических проявлениях, с каким намерением приступаем мы к этим наблюдениям? Спрашиваем ли мы себя, свободно ли сказываются эти проявления или они стеснены внешними условиями? Сознаем ли мы, что разрешение этого вопроса необходимо, потому что процесс проявления известной способности может совершиться или вполне нормально, если он предоставлен естественному своему течению, или же получить извращенную форму, если на первых же порах будет опутан различными искусственными препятствиями?

Рассматриваем ли мы, наконец, разнообразие способностей просто как бесповоротный факт, из которого следует только вывести известный практический закон? Нет, мы ничего этого не делаем, а прежде всего стараемся втискать факт в готовую, веками нарожденную систему, приурочить его к той умственной неурядице, которую внесло в нашу жизнь постоянное обращение с призраками.

Вековой кодекс житейской мудрости гласит нам о существовании добра и зла и, однажды приняв это положение за истину неподвижную, делает его мерилом всех наших побуждений, исходным пунктом всей нашей деятельности. Откуда взялось представление о добре и зле, почему оно укоренилось в такой степени, что мы и действительно не можем шагу ступить, чтобы не видеть несомненных признаков его существования, не приивное ли оно, не внесено ли в жизнь ошибочною практикой, — мы ничего этого не доспрашиваемся, а просто принимаем на веру, что начало добра и зла составляет неизбежно закваску жизни. Отправляясь отсюда, мы уходим очень далеко: все, проходящее перед нашими глазами, все, доступное нашему пониманию, распадается на две противоположные области: темную, в которой царствует зло, и светлую, в которой господствует добро. И затем очень легко возникает у нас целая система, вооруженная разными арсеналами подробностей; является борьба духа с материей, из которых первый, конечно, преобладает, вторая, конечно, подчиняется; а так как практика беспрерывно опровергает это положение, к удовольствию материи, то, как пополнение к теории преобладания духа, изобретается другая теория — о несовершенстве сего мира и о некоторых таинственных наградах и наказаниях. Одним словом, тут возникает целый фантастический мир, до такой степени лишенный реальных оснований, до того непоследовательный и разрозненный, что отношение к нему утрачивает характер разумности и окончательно переходит на почву упований. Вынуждаемые реальною, неподкупленною жизнью объяснения и тезисы следуют одни за другими, но не объясняют, а, так сказать, мнут факты и насильственно выливают их в произвольные формы. Легкость, с которою производится эта операция, изумительна. Тут не нужно даже строго придерживаться основного принципа, потому что здесь самый принцип не только ничем не ограничивается, а представляется растяжимым до бесконечности. Следовательно, тут возможны разного рода пристройки и подделки, лишь бы они сохраняли фантастический колорит и как можно старательнее обходили тот действительный мир, который становится в разрез подобным мечтаниям и самым бессовестным образом напоминает нам, что хотя произвольное обращение с фактами и привлекательно по своей легкости, но зато оно непрочно и постыдно. Достигнувши этой степени беззастенчивости и сделавшись полными хозяевами нашей фантазии, мы разом завоевываем себе такое положение, которого удобнее ничего нельзя себе представить. Если главный принцип, из которого мы отправляемся, не исчерпывает всех жизненных явлений, то мы не затрудняясь строим около него вспомогательную теорию, а если и эта теория окажется неудовлетворительною, то мы и другую вспомогательную теорию выстроим. И таким образом, постепенно нарастая и нарастая, чудовищная эта система произвола и разнузданной фантазии принимает, под конец, такие неслыханные размеры, что мы сами чувствуем себя вконец опутанными и утопающими в бездне противоречий и недомолвок.

Понятие о градации человеческих способностей принадлежит именно к той категории фантастических понятий, о которых говорено выше. Что люди обладают способностями разнообразными и весьма различными, в этом не может быть никакого сомнения, но чтобы каждая из этих способностей, взятая в отдельности, заключала в себе какие-либо особые достоинства

и на этом основании заявляла претензию на первенство перед другою, — это следует разве только из той фантастической теории, которая вообще всю сферу человеческой деятельности делит на две половины: высшую и низшую. Тут принцип проводится весьма последовательно, потому что, если признать за истину, что есть интересы перворазрядные и второразрядные, интересы духа и интересы плоти, то, разумеется, нельзя не признать, что и способности, служащие удовлетворению этих интересов, могут быть перворазрядными и второразрядными, благородными и неблагородными. На каком разумном основании допускается подобная градация, — этого до сих пор никто еще не объяснил, между тем практические ее последствия столь важны, что невозможно не остановиться на них.

Задавшись понятием о высших и низших способностях, мы весьма естественно приходим к тому, что людей, обладающих высшими способностями, разумеем людьми высшими, а людей, одаренных так называемыми низшими способностями, разумеем за людей низших. Первые приобретают право господствовать и управлять, вторые осуждаются на служение и подчиненность. Здесь лежит, так сказать, первое зерно неравноправности, которое впоследствии история, с свойственною ей неумолимостью, развивает до крайних результатов. Являются вожди, герои, воины, администраторы, ученые, художники, которым противопоставляется масса, т. е. торгаши, ремесленники, земледельцы. За первыми остается звание высших организмов, вторые жалуются в скромное звание организмов низших. Но это разделение людей на овец и козлищ, хотя и опирающееся на основание фантастическое, было бы еще терпимо, еслиб оно всегда продолжало быть случайным. Говорю «терпимо», потому что различие, принятое добровольно (в первые минуты возникновения оно всегда основывается на общем добровольном заблуждении), все-таки сказывается не так жестко и не полагает между людьми слишком резких перегородок. Но в том-то и дело, что оно не может оставаться случайным, не может самым естественным путем не приобрести того искусственного характера, которого содержание всецело выражается словами: принуждение и справедливость. Для людей низшего сорта утрачивается возможность доступа в число людей высшей категории не только лично, но и потомственно. Изъятые от участия в высших интересах жизни, осужденные вращаться в сферах деятельности менее блестящей, эти люди привыкают смотреть на себя, как на отверженников, и не только на себя, но и на детей своих. Эти дети, с самого рождения своего, окружены тою же атмосферою, в которой живут и отцы их; способности их, в свою очередь, приобретают ту фаталистическую складку, которая налагается всею обстановкою их жизни и сгладить которую с каждым новым поколением делается все менее и менее возможным. И таким образом утверждается на незыблемых основаниях наследственность ремесл, званий и состояний, прямое последствие которой заключается не только в нравственном страдании масс, но и в страшной неурядице экономической и политической.

Итак, вот к какому очень положительному практическому результату может привести признание за исходный жизненный пункт такого начала, которое само по себе имеет содержание совершенно произвольное. Еслиб спор о борьбе добра и зла, о высших и низших побуждениях и т. п. не выходил из тесной семьи моралистов, то на него можно было бы смотреть, как на куриоз, не причиняющий никому вреда, но в том-то и дело, что все такого рода убеждения ищут себе арены более широкой, стремятся вторгнуться в живую жизнь человечества и усиливаются организовать ее на свой манер.

Но здесь я, покаместь, остановлюсь.

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ ЩЕДРИНА

Впервые публикуемые в настоящем номере «Литературного Наследства» статьи М. Е. Салтыкова-Щедрина, относящиеся к 1864 г. («Современные призраки» к 1865 г.), очень существенны для изучения мировоззрения великого сатирика. До опубликования этих статей в распоряжении исследователя не было публицистического материала, столь четко разносторонне и детально отражающего философские взгляды Щедрина. Публикуемые статьи расшифровывают многое в художественном творчестве писателя Они позволяют реконструировать щедринскую философию истории и политики. Они дополняют и дают много нового по сравнению с таким важным документом, как раздел «Доказывается, что приходить в отчаяние ни в каком случае не следует» щедринского фельетона-хроники «Наша общественная жизнь» («Современник» за май 1863 г.). Особенно ценны эти публикуемые статьи еще и потому, что они относятся к крайне важному и вместе с тем далеко недостаточно изученному периоду в идейном развитии Салтыкова. В то время он, порвавший с либерализмом, оказался в лагере демократии, лишившейся своего великого вождя Чернышевского. Щедрин стал одним из ведущих публицистов «Современника», жизнь и работа заставляли его самостоятельно, без чьего-либо непосредственного идейного влияния, вырабатывать и формулировать взгляды и оценки по важнейшим вопросам политического дня.

Если о «Современнике» Чернышевского Щедрин писал в 1876 г. Анненкову «там были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя», то в «Современнике» Некрасова-Антоновича-Салтыкова Щедрин оказывался не в роли перерабатывающегося попутчика демократии, а руководящего демократического писателя.

Публикуемые статьи, относясь к сравнительно короткому периоду (год-два), позволяют, в сопоставлении с другими данными, судить об отдельных шагах и общем ходе идейной эволюции Салтыкова, об ее оттенках и уклонах. В целом же данный новый материал показывает еще раз, насколько ошибочно представление о Щедрине как о великом сатирике, лишенном якобы сильного «положительного» мировоззрения. (Такова например точка зрения Н. Осинского в его большой рецензии на спектакль II МХАТ «Тень освободителя»,— «Известия» от 21 мая 1931 г.)

Салтыков был сознательно и целеустремленно работающим художником — «я благодаря моему создателю, могу каждое мое сочинение объяснить, против чего оно направлено» (письмо к Пыпину от 2 апреля 1871 г.). Настолько остро и обнаженно происходило идейно-политическое диференцирование в 60—80-х годах, настолько метко били произведения Щедрина и политически ответственна была его роль в «Современнике» и затем в «Отечественных Записках», что Салтыков не мог позволить себе роскошь слабости в своих «положительных» воззрениях. Мы, естественно, говорим при этом о силе и слабости соотносительно к движению общественной мысли в данной стране и в данную эпоху.

В публикуемом материале легко выделить две тесно связанные стержневые проблемы: 1) проблему исторического оптимизма и пессимизма и 2) проблему соотношения теории и практики в переделке действительности. Самый характер, а тем более разработка этих двух проблем показывает, насколько политически насыщенным было мышление Щедрина и тогда, когда он рассматривал вопросы, которые можно назвать общефилософскими. Щедрин во все периоды своей более чем сорокалетней литературной деятельности, от «Запутанного дела» до «Пошехонской старины», обладал колоссальной политической чуткостью. Он всегда умел уловить и зафиксировать «положение минуты и общие тона современной русской жизни» («Дневник провинциала»). Он владел исключительным даром художественного претворения проблем, тем и типов текущего политического дня. Салтыков вместе с тем всегда стремился дать быстро друг друга сменяющие явления в глубоком обобщении, в больших разрезах социальной борьбы, с точки зрения, которая многие разрозненные частности приводила бы к одному знаменателю. Правда, в «Губернских очерках» легко заметны элементы бытовистского эмпиризма. Но как раз 1863—1864 гг. были для Салтыкова периодом особенно

напряженной теоретико-публицистической работы и самостоятельного осмысливания трудной и сложной политической перспективы. Вся обстановка требовала большой мировоззренческой стойкости и политики дальнего прицела, и в эти годы бытовистские элементы из творчества Щедрина выветрились окончательно. Многие теоретические выводы, утверждения и «ярлыки», впервые сформулированные в своеобразно построенных фельетонах-хрониках «Наша общественная жизнь» («Современник»), послужили базисом для все углублявшейся художественной работы Щедрина на долгие годы. Набросанная несколькими словами-штрихами карикатура, едкий «ярлык», не приобретший однако еще подлинной осязаемости, наконец мысль, не получившая еще адекватного художественного отражения, — все это постепенно отстаивалось, оттачивалось, закреплялось в веские и прочные художественные образы. Поэтому так много нитей ведет от комментируемых статей к хорошо известным произведениям Щедрина.

Проблема исторического оптимизма и пессимизма, проблема теории и практики в переделке действительности имели в социально-политической обстановке 60-х годов актуальнейшее, злободневнейшее значение для демократической интеллигенции. Крах надежд на крестьянскую революцию, заточение Чернышевского, компромисс либерализма с крепостниками и самодержавием неотвратимо заставляли думать о будущем, оценивать его перспективы. Если начало 60-х годов окрашивается радостным, порой восторженным оживлением широких слоев демократической интеллигенции, то к 1864 г. господствуют уже совсем иные настроения. Плохо обоснованная вера в быстро приближающееся светлое будущее сменяется у многих мрачным, тяжелым пессимизмом. В середине и конце 60-х годов лежат корни идейной или физической (а нередко той и другой) гибели многих выдающихся демократов. Решетников, Слепцов, Прыжов, Помяловский и многие другие гибли или начинали гибнуть в то «трудное время», не выдержав его ударов. С другой стороны, именно в те годы впервые осознанно, во весь рост, встает в русском революционном движении вопрос о соотношении революционной теории и практики. В начале 60-х годов иллюзии просветительства были еще очень сильны. Чернышевский конечно хорошо понимал всю необходимость революционного д е л а, революционной о р г а н и з а ц и и, но, как он говорит в «Что делать?», Рахметовы еще насчитывались единицами. Шестидесятые годы характеризуются упорными поисками революционной практики, настойчивыми и постепенно все более удачными попытками перейти от революционной мысли к революционному делу. Горькая дума о заточенном вожде не только внушала пессимизм, но и звала к такой революционной работе, которая сделала бы невозможным удушение революционной мысли.

Эти обе проблемы, столь острые и волнующие в то время, крепко, органически срослись со всем мышлением Щедрина. Они не пришли извне, они не были такой «данью времени», на которую способен и ловкий, в той или иной мере приспосабливающийся журналист или беллетрист, они, порожденные эпохой, получили у Щедрина индивидуальное, глубокое, даже трагическое преломление. Эти проблемы выросли из социального бытия авангарда русской крестьянской демократии, они представляли для Щедрина в силу обстоятельств, влиявших на развитие писателя и его судьбу, на склад его личного дарования и личных свойств, особо значительный интерес. Жестокая жизнь Пошехонья, а затем циничная практика провинциального чиновничества воспитали в Щедрине беспощадную, суровую, порой презрительную трезвость познания. Щедрин все больше заострял свое сатирическое дарование, все решительнее отрицал окружавшую его действительность, все более примешивал к своему смеху едкую горечь и саркастическую издевку и приобретал все большую и все более внимательную аудиторию. Щедрин как писатель глубокого и последовательного ума не мог не задумываться о корнях своего сатирического смеха, о том, во имя и ради чего он издевается над Глуповым и глуповцами. Руководит ли им безнадежность, отчаяние, ощущение неизбежной гибели, или же его пессимизм «минуты» сочетается с оптимизмом дальней исторической перспективы? Если бы даже этот вопрос не нашел у Салтыкова теоретического, публицистического выражения, сами сатиры Щедрина в силу своего размаха и глубокого проникновения должны были бы давать на него ответ. Ведь этим ответом, по сути дела, определялся колорит щедринского смеха. Не менее остро стояла

для Салтыкова проблема соотношения теории и практики в переделке действительности. Прошедший школу провинциальной бюрократии Салтыков обладал громадным практическим чутьем и несомненной способностью администрировать. Щедрин знал едва ли не лучше и не точнее всех других русских писателей XIX века и деревенское хозяйство крепостного и послереформенного периода, и деятельность помпадуров, ташкентцев и куроцапов, и рост российского буржуазного «хищничества». Щедрин, буквально впитавший в себя российскую действительность 30—80-х годов, был характернейшим писателем-социологом, художником больших обобщений, построенных на множестве бесспорных фактов, он всегда несколько презрительно и недоверчиво относился к «психологии» как к «вещи произвольной». Щедрин-мыслитель перенял и от французского утопического социализма, и от российского просветительства 40—50-х годов глубокую веру в силу человеческого разума. И вот такой человек вынужден был, в силу исторических условий, в годы своей наибольшей идейной силы знать только работу мысли и пера и притом не видеть каких-либо практических результатов этой работы, даже не иметь «прямого общения» («Мелочи жизни») с читателем, а зато чувствовать свое одиночество — «оброшенность». Трагический образ одинокого — в самом глубоком смысле этого слова — писателя, почти физически ощущающего непосредственное бессилие своей мысли («Приключение с Крамольниковым»), является страшным и непререкаемым свидетельством того, с какой беспощадной остротой проблема теории и практики и их роли в переделке действительности вставала перед Салтыковым-Щедриным.

Проблема исторического оптимизма дается Щедриным, особенно в «Современных призраках», в глубоком философском плане, и разработка ее позволяет с полным основанием говорить о материализме Щедрина и о фейербахианском характере его материализма.

«Отношения к внешней природе собственно и составляют содержание человеческой жизни», утверждает Салтыков и многократно варьирует этот тезис, говоря о природе как о постоянной творческой силе и о человеке как познающем природу существе. Природа существует для Щедрина независимо от человека и человеческого общества, и Салтыков саркастически издевается над всякого рода идеалистическими теориями, в той или иной форме доказывающими «преобладание духа». Щедрин именно в «Современных призраках» обнаруживает чрезвычайно высокий для своего времени уровень философского мышления, ставя вопрос о «призраках» и «абсолютной истине», т. е. об относительной и абсолютной истине. Для верного понимания и оценки этой основной в «Современных призраках» мысли следует иметь в виду, что она Щедриным проводится здесь одновременно и в отношении теории познания природы, и в отношении истории общества. Поэтому обнаруживаются и сильные и слабые стороны фейербахианского материализма в его отражении у Салтыкова. Щедрин начинал с того, что «миром управляют призраки», подразумевая под «призраками» весь строй общественных отношений его эпохи, говорил о «призраке, вооруженном с ног до головы» и об обществе как о «силе неорганизованной, рассеянной». Салтыков, казалось, ограничивался своеобразно зашифрованной характеристикой жизни окружающего его общества, его взглядов, идеологических традиций и т. п. Но затем «призраки» становятся для автора в сущности синонимами относительных истин («всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени») и он ставит вопрос о том, как эти истины относятся к истине абсолютной. Решает Щедрин этот вопрос в основном материалистически. Движение человека от «призрака» к «призраку» является для Щедрина движением от одной относительной к другой относительной истине, при этом движением прогрессивным, приближающим к абсолютной истине, к подлинному познанию объективно существующей природы. Скептицизму и агностицизму в этих воззрениях места нет. Неверно было бы при этом придираться к таким утверждениям Щедрина, как например — «до поры, до времени не признаю возможности истины абсолютной». Из всего контекста ясно, что в этих словах содержится не отрицание абсолютной истины вообще, а лишь правильное отрицание исчерпанности «призраков», т. е. относительных истин, приближающих к истине абсолютной. Когда же эта

мысль прилагается к явлениям общественной жизни, легко обнаруживается идеализм исторической теории фейербахианства. История общества становится историей просвещения, избавления отвлеченного человека от «призраков», человеческая деятельность ограничивается познанием, отсутствует понятие о революционной практике, переделывающей действительность, и более того — «призраки», т. е. представления, оказываются владыками общества. Однако упрощенством было бы сделать на этом основании вывод, что в понимании развития общества Щедрин был безусловно идеалистом. Мы уже не говорим об его художественной практике, на анализе которой здесь останавливаться не можем. Но и в отношении Щедрина-теоретика вопрос решается не так просто. Благодаря вышеуказанной двойственности «Современных призраков», благодаря тому, что Щедрин здесь одними и теми же понятими оперирует в отношении разных областей, не давая необходимых уточнений и разграничений, понятия эти оказываются на протяжении статьи разнозначущими. Говоря о «призраках», господствующих над Россией 60-х годов, Щедрин явно имеет в виду не только ходячие реакционные идеологические представления, но и общественный строй в целом, не только призраки, созданные мыслью идеалистов и попов, но и весьма вещественные «призраки», созданные политической и хозяйственной практикой самодержавия, крепостников и буржуазного либерализма. А тогда и во взглядах Салтыкова-философа на развитие общества явственно выступят перед нами материалистические элементы.

С другой стороны, в этом столь характерном для мировоззрения и творчества Щедрина восприятии неприемлемой для него действительности, как действительности призрачной, эфемерной, сказывалось его неумение диалектически осмыслить движущие силы истории. Как показывают философские утверждения писателя в майском номере «Современника» 1863 г., Щедрин исходил из сосуществования жизни внешней, поверхностной, хотя и общепризнанной и «жизни, погруженной в подземную работу внутренней, бытовой историей». Не умея найти и увидеть в самой «призрачной» действительности силы и тенденции, являющиеся залогом ее изменения, Щедрин перемещал эти обеспечивающие лучшее будущее элементы в некую другую действительность, при чем опять-таки слышались нотки исторического идеализма: «жизнь не останавливается и не иссякает. Если горьким насильством не суждено ей проявиться непосредственно, она просочится сквозь те честные сердца, которые воспримут семя ее и сторицею возвратят ей посеянное».

В «Современных призраках» мы находим глубокое обоснование своеобразного исторического оптимизма, проникающего и другие публикуемые «Литературным Наследством» материалы Щедрина. Настоящее для последнего — «черный день в истории человечества», такая «горькая минута», когда «лучшее гибнет, лучшее исчезает», но «история утешает», призраки все же ведут к абсолютной истине, к лучшему будущему. Та же мысль, но на почве несколько иной аргументации проводится в цитированном разделе «Доказывается, что приходить в отчаяние ни в каком случае не следует» майской за 1863 г. хроники «Наша общественная жизнь». Глубокий исторический оптимизм, оптимизм дальней перспективы, сочетается у Щедрина с трезвой пессимистической оценкой настоящего, политической обстановки, определявшейся наступлением реакции. Уместна сближающая параллель с Чернышевским. Последний например критиковал Гизо за «крайний оптимизм» (Соч., т. VI, стр. 349), за оптимизм буржуазного реакционера, в условиях победы контрреволюции утверждавшего, что все всегда к лучшему. В тюрьме, в своей автобиографии, Чернышевский так сформулировал свою оценку исторической перспективы: «...если нельзя сомневаться, что этот хаос придет в стройность, что из дикой бессмыслицы разовьется жизнь, приличная человеческому обществу, — то теперь в целом еще нет ее. Все еще только кусочки, клочочки, перепутанные со всякой дрянью» («Литературное наследие», т. I, стр. 106).

Для Чернышевского и Щедрина (здесь они безусловно сходятся) беспощадная оценка настоящего является выражением не отчаяния и безнадежности, а бесповоротной уверенности в том, что т а к о е настоящее раньше или позже осуждено на гибель, выражением непримиримости и готовности к борьбе, трезвой суровости познания.

Если в «Современных призраках» Щедрин с наибольшей ясностью формулирует свои общефилософские и историко-философские воззрения, то в остальных двух публикуемых статьях мы находим конкретный ответ на вопрос о том, как же бороться с «призраками» за «абсолютную истину», за внедрение этой истины в человеческое общество, иначе говоря — как бороться за переделку действительности.

На этот вопрос две публикуемые здесь статьи — мы дальше обозначаем их условно «корректура» («Начну с того...») и «рукопись» («Итак история утешает...») — дают далеко не во всем совпадающий ответ. Больше того: оба эти документа содержат даже принципиально друг от друга отличные ударения, позволяющие судить о значительной эволюции автора. Все же в этих двух статьях есть нечто общее, составляющее своеобразие воззрений Щедрина и качественно отличающее его от Чернышевского, с одной стороны, от Писарева — с другой. Сопоставление этих деятелей 60-х годов конечно не случайно. Под влиянием Чернышевского перерабатывался Салтыков. Вопрос о верности традициям Чернышевского был одной из существеннейших проблем той полемики, которая в 1864 г. разгорелась между «Современником» и «Русским Словом», а в ходе этой полемики, в одном из своих обзоров, Щедрин дал критический отзыв о некоторых сторонах романа «Что делать?»

И «корректура», и «рукопись» окрашены глубокой и горькой неудовлетворенностью тем, что передовая теория все еще живет только кабинетной, «сектаторской» жизнью, что ей предстоят лишь «исторические утешения», что действительность ее не приемлет, ее не слушается. Исходя из этого, Щедрин высказывается за своеобразное разделение функций: люди, борющиеся за будущее, должны разделиться на немногих теоретиков и многочисленных практиков, на немногих идеологов и многочисленных людей дела и массовой пропаганды. Однако и в «корректуре», и в «рукописи» представление об этих двух категориях деятелей весьма различно. «Корректура», которая, судя по общему ходу эволюции Щедрина, написана раньше, во многом близка по своим настроениям и мыслям к «Каплунам», в свое время не пропущенным Чернышевским в «Современник». В «корректуре» ударение ставится на том, что люди мысли (имеется в виду мысль утопическая, революционная) — «люди кабинетные, которые... отыскивают истину общечеловеческую, абсолютную, но которые вести человечество к осуществлению этой истины не могут». Причину такой неспособности Салтыков видит в «восторженности, упраздняющей необходимую для практической деятельности ясность представления о пространстве и времени». А от практиков, по мнению Салтыкова в этой статье, требуется умение «постоянно держаться на реальной почве, не обнаруживать слишком громадных запросов». Сквозь всю статью проходят возражения Салтыкова против «протеста своими боками», т. е. такого протеста, который непосредственных результатов не приносит, а вызывает лишь страдания протестующего. В «корректуре» мы имеем таким образом рекомендацию легальных «практических» возможностей для передовых социально-политических групп эпохи. Здесь содержатся такие поиски путей переделки действительности, которые в данных политических условиях могли вести к отказу от революционной практики, к компромиссу и капитуляции.

Корни этих настроений Салтыкова лежат глубоко. Еще очень рано, как показывает внимательное рассмотрение «Запутанного дела», написанного 22-летним юношей, Салтыков недоверчиво относился к положительным построениям утопического социализма, к его регламентирующему предвидению строя будущего. Очень рано Салтыков искал революционную «толпу» и залог успешности революционного переворота видел в революционизировании «заурядного человека», «человека толпы», «среднего человека», в революционизировании масс. Но эта трезвость оценки революционной перспективы, трезвость крайне редкая в середине XIX века (вспомним Герцена до 1848 г., Бакунина, многих петрашевцев), осложнялась у Салтыкова недостатком революционного энтузиазма, страстности, революционного темперамента. Салтыков не знал той гордой веры в силу революционного авангарда, которая так сильна была у Чернышевского и Добролюбова. Немалое значение имело и то, что Салтыков и по личным связям, в личном быту был далек от молодых революционных кружков 60-х годов. Все это

вместе взятое иногда вело Салтыкова средины 60-х годов к политическим ошибкам, бестактностям, непоследовательностям, если эти поступки рассматривать с точки зрения последовательного приближения Щедрина к революционному демократизму. Вызвавшее возмущение «Русского Слова» указание Щедрина на то, что среди нигилистов или считавших себя таковыми много случайных людей, много представителей пустой «революционной» фразы, много будущих ренегатов, было правильным и нашло широкое подтверждение после выстрела Каракозова. Но в данной своей форме, по некоторым своим формулировкам (например: «нигилисты суть ни что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты» — «Наша общественная жизнь», 1864, январь) указание это содержало и элементы политической бестактности. Это указание могло быть, несмотря на оговорки автора, истолковано как огульное обвинение революционной молодежи. Политической ошибкой было выступление Щедрина против «подробностей» в «Что делать?» или в «Современных призраках» — против социальных опытов Оуэна, ибо такие выступления били по революционному энтузиазму. Здесь сказывалось непонимание условности обрисованных автором «Что делать?» деталей. Наконец в те годы всякая, хотя бы самая мягкая критика заточенного Чернышевского была — со стороны демократа — политической ошибкой. Но в этом отношении Щедрин в «Современнике» не был одинок. В октябрьской книжке «Современника» за 1863 г. Елисеев во «Внутреннем обозрении» выступил против «идеализации» женских типов в романе Чернышевского, т. е. совершил ошибку совершенно аналогичного порядка, корни которой лежали в народнически-оппортунистических сторонах мировоззрения Елисеева. Наконец политически непоследовательными были основные тезисы «корректуры»: ставя вопрос о решительной переделке действительности, Салтыков скатывался здесь к поискам легальных возможностей. Но при всем том в статье было заложено здоровое зерно — твердое, настойчивое, напряженное стремление к практическому, «массовому» применению революционной теории к «делу». Сильные стороны взглядов Щедрина и позволили ему свою непоследовательность преодолеть.

«Рукопись» разрабатывает ту же тему, что и «корректура»; внешне «рукопись» содержит утверждения, очень похожие на мысли «корректуры», но на деле принципиальные, смысловые ударения здесь совсем иные. Люди мысли, несмотря на отдельные оговорки о «фанатизме» и т. п., вырастают тут в героев революционной страсти, в подлинных вождей. Еще более усилена т а к а я окраска мысли Щедрина в позднейшей разработке темы «исторических утешений» и «исключительных натур» («где тот художник, которому были под силу такие глубины?») в заключении цикла «За рубежом» и особенно в VI главе «Пошехонской старины». В «рукописи» чернорабочие практики уже не деятели, приспосабливающиеся к легальным возможностям, не адвокаты, усваивающие в своих выступлениях точку зрения судей (таков поясняющий образ, используемый Салтыковым в конце «корректуры»). Теперь они — практические исполнители стремлений революционной мысли, солдаты, готовые бороться и воевать. Если в «корректуре» Щедрин выступал против «протеста своими боками», то в рукописи он уже требует «самоотвержения» и восхищается им. Щедрин поднимается здесь до понимания значимости революционного подвига, независимо от того, приносит ли последний непосредственные плоды или нет. Но — и эта мысль объединяет «корректуру» и «рукопись» — Щедрин считает необходимым отделение в революционной организации (а о р е в о л ю ц и о н н о й о р г а н и з а ц и и он говорит прямо в заключительной части «рукописи») теории от практики, мысли от дела. Щедрин полагает, что людям мысли должна претить та грубая война, которую будут вести «чернорабочие». Так у Щедрина сказывались влияния созерцательного, фейербахианского материализма, несмотря на всю мучительную остроту его стремлений к практике, переделывающей действительность, к реальному воплощению в жизнь «идеалов», к революционному делу.

Правда, что сама политическая и социальная практика 60-х годов, казалось, подтверждала «практическое бессилие людей мысли». Чем дальше шла жизнь Щедрина,

поневоле замкнутая в становившийся все более тесным круг литературной работы, тем более резко и больно ощущал великий писатель тот отрыв от революционной практики, который он в публикуемых статьях объявлял нормой и необходимостью. Тяжелым самоупреком звучат в «Приключении с Крамольниковым» размышления писателя: «отчего ты... не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?»

Мысль Щедрина о необходимости отделения в революционной организации людей мысли от чернорабочих дела резко противоречит точке зрения Чернышевского, получившей живое и наглядное отражение в Рахметове. Этот образ, который Чернышевский явно рисовал как идеал профессионального революционера, как революционно-воспитывающий пример, замечателен именно неразрывным единством революционной теории и революционной практики. Рахметов — это неосуществившийся из-за заточения Чернышевского и последующего сползания народнической теории синтез великого мыслителя 60-х годов и гениально им предвиденного героического народовольца 70-х и 80-х годов. Но объединяет Чернышевского и Щедрина в разрезе данного вопроса глубокое, непреодолимое стремление к революционному перевоспитанию масс силой пропаганды и примера.

А вот у Писарева в «Базарове», как-раз на базе отсутствия глубокого исторического оптимизма и зарождения социологического субъективизма, столь чуждого и Щедрину, и Чернышевскому, образ революционера принимает оттенок мрачной замкнутости, своеобразного индивидуализма, ощущается пренебрежение к работе среди масс, к их революционному перевоспитанию. «Пойдет ли за ними общество — до этого им нет дела. Они полны собой, своей внутренней жизнью... Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особенности и самостоятельности». Писарев оказывается здесь слабее Щедрина, несмотря на то, что для вождя «Русского Слова» «мысль и дело» должны были образовать «одно твердое целое» (Соч., т. II, стр. 396). Показательно также, что в одной из своих статей 1864 г., напечатанной в «Русском Слове» и посвященной «Д. И. Писареву и всем сотрудникам «Русского Слова», Щапов с глубоким пессимизмом говорит о том, что жизнь тащится сама по себе, а надежды и стремления мыслящих людей — сами по себе», считает, что для «водворения в... темном миру естественно-научного реализма» нужно «несколько веков», и отказывается от революционных, в частности революционно-пропагандистских, методов действия. Щапов видит лишь «утилитарно-образовательный» путь к изменению действительности, т. е. рекомендует насаждение фабрик, заводов и экономических ассоциаций и противопоставляет этот путь пропаганде «идеалов» (Соч., т. II, стр. 154—155).

Укажем, в заключении на то, что цитата из Консидерана, служащая эпиграфом к «Современным призракам», взята со стр. 140, т. II «Destinée sociale» (Paris, 1837). Как показывает письмо Салтыкова к В. Г. Зотову, относящееся к 1845 или 1846 г., Салтыков очень рано познакомился с этим произведением, о котором Герцен в своем дневнике 1844 г. писал, что оно «несравненно энергичнее, полнее, шире по концепции и исполнению всего вышедшего из школы Фурье» (Соч., т. III, стр. 332). Несомненно, что такие выражения и понятия, как например «всеобщая гармония», заимствованы Салтыковым у Консидерана, но также очевидно, что вся философская концепция «Современных призраков», в частности постановка вопроса об относительной и абсолютной истине, гораздо выше взглядов Консидерана, который считает, что открыты «Законы Судеб, Всеобщих Гармоний и Счастья» («D stinée sociale», т. I, стр. XVII), и на этой основе создает типично-утопические идеалистические построения. Сходясь с великими утопистами в критике существующего общества и в вере в лучшее будущее, Салтыков никогда не тешился надеждами на быстрое и легкое изменение действительности, никогда не пытался сочинить универсальные и не считающиеся с исторической обстановкой социальные рецепты.

Я. Эльсберг

КОММЕНТАРИИ

Все три публикуемые здесь статьи Щедрина — две хроники из цикла «Наша общественная жизнь» и «Современные призраки», предназначались несомненно для помещения в «Современнике» в 1864/65 г., но по неизвестным причинам напечатаны там не были и появляются здесь впервые.

Рукопись статьи из цикла «Наша общественная жизнь», начинающаяся словами «Итак, история утешает...», сохранилась в архиве М. М. Стасюлевича (ИРЛИ Академии Наук) на шести полулистах. Это пока единственный дошедший до нас черновик из этого цикла.

Корректурные гранки (три формы) другой статьи из этого цикла, начинающиеся словами «Начну с того самого пункта...» сохранились в архиве А. Н. Пыпина (ИРЛИ Академии Наук).

Дата обеих статей — тематически близких и, возможно, представляющих собою варианты одного замысла — 1864 г. Как известно, печатание цикла в «Современнике» оборвалось на мартовской книжке журнала за этот год. Повидимому между мартовской книжкой и статьей, сохранившейся в корректурных гранках, была еще, по крайней мере одна недошедшая до нас статья, оканчивавшаяся темой «история утешает». Возможно, что недошедшая статья — между двумя вновь открытыми и публикуемыми здесь статьями, но вероятно обе они продолжают одну несохранившуюся, где была развита тема о «протесте своими боками». Часть материала обеих статей была использована Щедриным и в начатом цикле «Современные призраки. «Письма из далека». Печатаемые здесь два «письма» (они датируются мартом — апрелем 1865 г.), воспроизводятся с чернового автографа на восьми полулистах, сохранившегося в том же архиве М. М. Стасюлевича (ИРЛИ Академии Наук).

Рукописи подготовлены для печати М. Гонтаевой.

Редакция

ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
(Рукописный вариант шестого письма)
ЩЕДРИН О ПОЛОЖЕНИИ КРЕСТЬЯН

Предисловие Н. Мещерякова

Публикация Н. Яковлева

НОВОЕ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЩЕДРИНА

До сих пор еще среди очень многих — не только читателей, но и литературоведов — распространено мнение, что идеологическая сущность Щедрина состоит только в борьбе против многочисленных еще в его время пережитков докапиталистических, крепостнических отношений, что по существу Щедрин был только либералом и притом довольно умеренным либералом, очень далеко стоявшим от мысли о революции.

Я не могу и не буду ставить в этом коротком предисловии вопроса о выяснении всей классовой сущности литературных произведений Щедрина. Здесь, в этой короткой статье, я ограничусь только тем, что приведу небольшую выписку из предисловия, подготовленного мною к тому сочинений Щедрина, который содержит в себе серию очерков, озаглавленных «Благонамереные речи».

«Внимательно вчитываясь в «Благонамеренные речи», равно как и в другие произведения Щедрина, — мы находим в них критику троякого рода:

Во-первых, это критика русского старого, докапиталистического строя. Ее развертывает Щедрин в особенности в своих первых сатирах («Губернские очерки» и др.), а позже в «Пошехонской старине» и в «Господах Головлевых». Это — суровая, безжалостная критика. Для старой России, упорно цеплявшейся за остатки крепостничества, Щедрин не видит другого исхода кроме гибели и умирания.

Во-вторых, Щедрин рисует картину первоначального капиталистического накопления. Он делает это главным образом в сериях «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо». В «Благонамеренных речах» он рисует образы Антона Стрелова, Дерунова и других «чумазых».

И, наконец, в «Благонамеренных речах» и в «За рубежом» Щедрин поднимается до критики основных устоев вполне развитого капиталистического общества. Мы видели, что Дерунов из хищника периода первоначального накопления, одетого в засаленную поддевку и пальцем колупающего покупаемое масло, превращается в грюндера, носящего цилиндр и разъезжающего в коляске. Мы видели ядовитую критику основных устоев буржуазного общества — принципов частной собственности, семьи и государства. И эта критика не была у Щедрина чем-то мимолетным. Он сам указывал на нее как на основное в его сатирах. «В «Благонамеренных речах»,— писал он в письме Е. И. Утину,— я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняются свободы, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются».

В том же предисловии к «Благонамеренным речам» я прихожу к выводу, что критика Щедрина вернее всего может быть названа критикой с точки зрени утопического социализма, под сильным влиянием которого Щедрин был в 40-х годах и от которого он не освободился окончательно до конца своей жизни.

Найденный в настоящее время и в полном виде не напечатанный раньше очерк Щедрина «Кто не едал с слезами хлеба» позволяет подчеркнуть еще одну черту этого блестящего публициста и сатирика: его отношение к угнетенным, забитым, жестоко эксплоатируемым трудовым массам и тот путь, которым по его мнению эти массы могут выйти из своего тяжелого положения.

Эти рабочие массы так угнетены, что они даже не сознают степени своего угнетения. У них нет даже сознания, что они имеют человеческое право не голодать непрерывно. Задавленные нуждой, они не понимают, что имеют право бороться за право быть сытыми. «Человеческая эксплоатация ничем так не облегчается, как нахождением масс в состоянии бессознательности», писал Щедрин в другом месте (в «Благонамеренных речах»). Эта «бессознательность» есть главное препятствие к тому, чтобы они проявили активность в борьбе за свои права и за улучшение своего положения. Поэтому для того, чтобы вызвать активность масс, нужно прежде всего разбить в них эту бессознательность, внушить им, что они должны бороться за право не умирать с голода.

«Представляю я себе человека,— говорит Щедрин в очерке «Кто не едал с слезами хлеба»,— которому как следует разъясняется, что не наедаться до сыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы — вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения; ...представляю я себе этого человека и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице. Но разъяснение продолжается; за общими положениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если бы при этом употреблен был образный ход мысли как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но — увы! — мы до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, т. е. с общих положений). Черты лица собеседника мало-помалу утрачивают испуганное выражение и принимают выражение разумное... И до тех пор продолжается разъяснение, покуда собеседник не поймет. Представляю себе человека этого, когда он уже понял. А он не поймет до тех пор, пока не убедится по малой мере в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить».

А после того как трудящиеся и эксплоатируемые массы поймут, что нет такого природой установленного закона, который обрекал бы их на вечное голодание, после того как они вступят в борьбу за элементарное право не голодать и добьются некоторых успехов в своей борьбе, они поймут, что могут добыть себе и многие другие права.

«Если человек обеспечен по малой мере от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но покуда он не будет иметь средства обеспечить свободу своего желудка, он не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга,— вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною».

Важно, чтобы задавленные нуждой трудовые массы — Щедрин не различал еще в них пролетариата — начали борьбу. Начать ее они могут из-за наиболее понятных им и наиболее острых нужд. А затем, в процессе борьбы, они убедятся, что сила на их стороне и что поэтому для них нет ничего «запретного». А это будет значить, что массы победят и станут господами положения.

«Представь себе, что все вдруг сказали бы, что запретного нет,— говорит в «Благонамеренных речах», «либерал» Тебеньков.— Ведь это было бы новое нашествие печенегов. Ведь они подвергли бы дома наши разграблению, они осквернили бы наших жен и дев; они уничтожили бы все памятники цивилизации! Но этого нет и не будет, потому что это запрещено. Они знают, что в каждой губернии существует окружной суд, а в иных даже по два и по три, и что при каждом суде имеется прокурор, который относительно печенегов неумолим».

«А что, если они, т. е. «печенеги», т. е. эксплоатируемые массы, станут настаивать на упразднении таких порядков?» спрашивает рассказчик.

«Невозможно! — отвечает Тебеньков.— С тех пор, как «печенеги» перестали быть номадами, их нечего опасаться. У них есть оседлость, есть дом, поле, домашняя утварь, и хотя все это вместе взятое стоит двугривенный, но ведь для человека, не видавшего ни гроша, и двугривенный представляет довольно солидную ценность. Сверх того они «боятся». Они боятся грома, боятся домовых, боятся светопреставления. Чем они глупее, тем податливее... «Печенег» смирен, покуда ему ничего не дают. Как только ему попало что-нибудь в зубы,— он делается ненасытен».



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К РАССКАЗУ «МИША И ВАНЯ» «НЕВИННЫЕ РАССКАЗЫ», 1933 г.
Собрание художника, Ленинград

И так «печенеги», т. е. трудящиеся массы, безропотно несут тяжелое иго только до тех пор, пока они «боятся», т. е. не осознали еще, не почувствовали еще своей силы, пока они не выявили свою силу в борьбе и победах. Как только они вступят в борьбу, они почувствуют, обретут свою силу. Тогда они перестанут быть «бессмысленным орудием, годным только на то, чтобы давить, давить и давить». Другими словами, добыв себе борьбой элементарнейшее право быть сытыми, трудящиеся массы (повторяю, Щедрин не видел в России того времени пролетариата), во-первых, станут добывать себе другие права и сделаются в этом отношении «ненасытными», а во-вторых, перестанут служить орудием угнетения в руках эксплоататоров. «В толпе,— говорит Щедрин,— заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы; без нее [без толпы], без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы — до нас никому никакого дела нет». Другими словами, не опираясь на трудовые массы, не связав свою борьбу с борьбой этих масс, не создав себе в них социальной опоры, идеологи будут бессильны, как бы ни были высоки и благородны их планы и их программы. Поэтому «история показывает, что те люди, которых мы не без основания называем лучшими, всегда с особенной любовью обращались к толпе, и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу». Поэтому «в служении толпе имеется даже очень ясный эгоистический

расчет, ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития».

Понять интересы «толпы», понять ее жизнь, научить «толпу» перестать «бояться», разъяснить ей ее положение, чтобы она вступила в борьбу,— вот путь, который Щедрин указывает для людей своего лагеря. Но ведь этот путь — путь революции. И звать читателей на этот путь — значит звать их на путь революции. А, с другой стороны, это совсем не путь буржуазного политика.

Я сказал, выше, что критика буржуазного общества Щедриным сильно напоминает критику утопических социалистов. Но Щедрин жил значительно позже, чем Фурье и прочие утописты. Он видел проявления жестокой классовой борьбы, которая кипела повсюду в течение того полстолетия, которое отделяло его от Фурье. Эта классовая борьба его многому научила.

Социалисты-утописты совершенно не рассчитывали на революционные действия угнетенных и эксплоатируемых трудовых масс. Для них социализм представлялся общечеловеческим идеалом. Социалистический строй по их мнению должен был осуществиться не путем классовой борьбы эксплоатируемых, а путем классового сотрудничества. Надо было только доказать людям (людям всех классов) справедливость и разумность того общественного строя, который был изобретен автором социалистической утопии. Как видит читатель из моего предисловия и как он еще яснее увидит из очерка «Кто не едал с слезами хлеба», Щедрин совершенно не рассчитывает на великодушие и справедливость сытых эксплоататоров. Зато он сильно рассчитывает на борьбу голодных масс. Он хочет вовлечь эти массы в борьбу и притом не во имя каких-нибудь высоких, но им пока еще непонятных целей, а во имя кровных интересов этих голодных масс. Он хочет вовлечь их в борьбу за право не быть голодными. Но он не хочет ограничить их борьбу только этим элементарным требованием. Он видит, что, вступив на путь борьбы и побед, массы не удовлетворятся завоеванием наиболее насущных, элементарных прав, а пойдут в своей борьбе дальше.

Правда, Щедрин еще не видел пролетариата, не понимал, что развитие капитализма ведет к образованию пролетариата, к росту его сознательности и организованности, т. е. к росту силы «могильщиков» капиталистического строя. Он не клал в основу своего миросозерцания борьбу пролетариата. И для него пролетариат остается одной из частей «толпы», т. е. угнетенных и эксплоатируемых. И Щедрин поэтому остается еще мелкобуржуазным утопистом. Но он уже делает значительный шаг вперед по сравнению с Фурье, Оуэном и другими социалистами-утопистами начала XIX столетия, ибо он не надеется на великодушие и справедливость эксплоататоров, на их содействие. Наоборот, он полон ненависти и презрения к этим «культурным людям». Он рассчитывает на борьбу масс и понимает их борьбу как борьбу революционную.

Правда, Щедрин сам не принимал прямого, практического участия в этой борьбе масс. Но он сам жестоко упрекал себя за это. «Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? — писал он в очерке «Приключение с Крамольниковым».— Отчего ты подчинил себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не пошел туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?... Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие».

Это признание Щедрина интересно не только как факт психологический или биографический. Оно важно как еще один шаг Щедрина в сторону угнетенных масс, как признание того, что общественный деятель не может ограничиваться только теоретической защитой интересов этих масс, но он должен стать в ряды этих масс и принять активное участие в их практической революционной борьбе.

Н. Мещеряков.

[РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ИЗ ЦИКЛА «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»]

Кто не едал с слезами хлеба
Кто слез в ночи не проливал,
Стеня на одр не упадал,
Тот и т. д.

Так гласит Гете в плохом переводе г. Струговщикова. И действительно, для того, чтобы понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо именно пройти через то безвыходное состояние, которое такими горькими чертами описывает немецкий поэт, а ежели не пройти, то, по крайней мере, видеть его, присутствовать при нем [а ежели

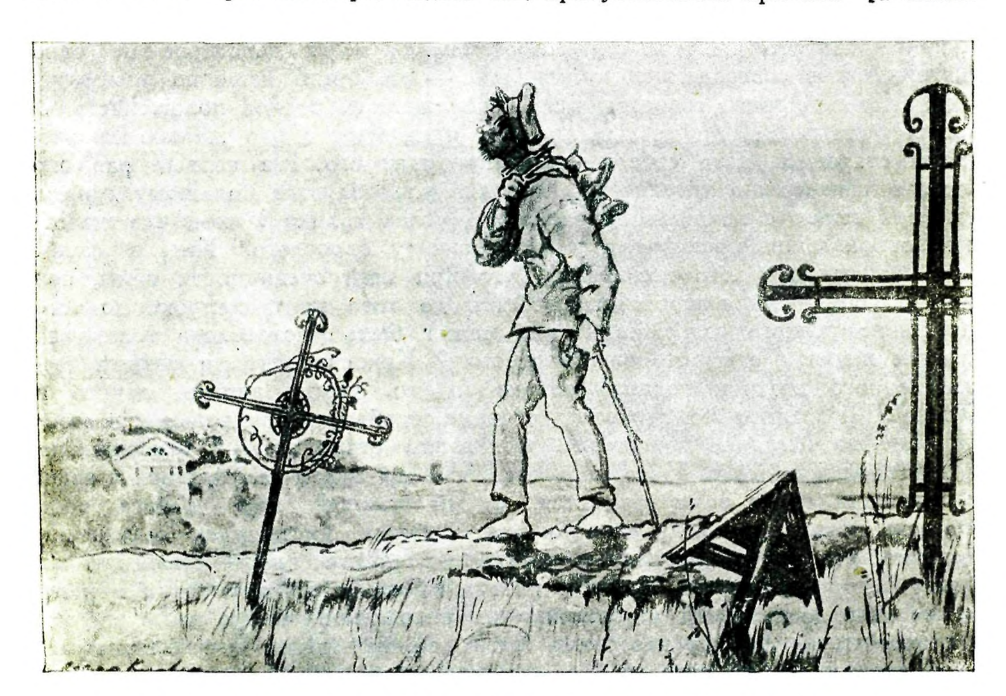


ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К «ГОСПОДАМ ГОЛОВЛЕВЫМ», 1933 г.
Собрание художника, Ленинград

не присутствовать самолично, то, во всяком случае, быть настолько добросовестным, чтоб уметь составить себе о нем отличное представление *]. И тогда предстанет перед глазами со всею ясностью та бесспорная истина, что есть нужды особенные, нужды вопиющие, перед которыми должны стушеваться и приникнуть все другие.

Страшно подумать о том убожестве, в котором живет большинство, и которому оно, повидимому, вполне подчинилось. Негодование, которое проникает душу при виде явлений пошлого легковерия, одичалости и отвратительного насильства, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, когда собственными легкими вдыхаешь в себя струю той затхлой атмосферы, которою они дышат. В человеческом существе есть нечто высшее, нежели сила озлобления и негодования — в нем есть сила прощения, сила симпатического отношения ко всему, что страждает (причем не сознает даже в миллионной доле всей безвыходности

* Другой вариант: «чтоб не отрицать его возможности и...» .[*Примеч. редакции*].

своего положения), ко всему, что живет не живя, т. е. не зная светлой стороны жизни, ее радостей, ко всему что родится на свет уже заранее заклейменное печатью отвержения, заранее обреченное на безвременное увядание. О! если б массы знали весь ужас той нищеты, которая преследует их от колыбели до могилы, если б они понимали, что в жизни есть нечто такое, что зовется радостью, счастьем, и что право на это нечто есть священнейшее и бесспорнейшее из всех прав человека! Они с ужасом отвернулись бы от самих себя, они убедились бы, что все их прошлое было даже не прозябанием, а просто каким-то чудовищно-бессмысленным служением упитыванию разнообразных чужеядных, со всех сторон густою сетью оцепивших их!

Это симпатическое отношение, которого значительную долю чувствует в себе всякий сколько-нибудь развитой человек, совсем не так непосредственно, как это кажется с первого взгляда. Тут действует не одно инстинктивное сострадание, но и анализ — последний даже по преимуществу. Мы не просто говорим: «ах, какое жалкое, бедное положение!» не просто оплакиваем, но прежде всего вглядываемся в это жалкое положение и стараемся дать себе отчет в причинах его. На первый раз оно кажется совершенно непонятным, и толпа уподобляется большому дураку, который вырос с коломенскую версту и успел только в том, что животные отправления происходят у него, как у взрослого. Как, в самом деле, дойти до такого положения, что при всей очевидности силы, при всем ее обилии, последняя оказывается до того притупленною, до того лишенною всякого содержания, что может быть употреблена только на нелепое шараханье из стороны в сторону? Как снизойти до степени бессмысленного орудия, годного только на то, чтобы давить, давить и давить? Действительно, это очень странно, особливо если возьмем в соображение то выгодное положение, в котором стоит толпа * относительно материальных средств. И по мере того, как мы будем углубляться в наши наблюдения, перед нами откроется целый темный мир всякого рода горечей, целая проклятая история непрерывных умственных оглушений. Конечно, все эти общественные неровности, которые ныне поражают нас своею ненормальностью, были в источнике своем до того тонки и незаметны, что даже почти невозможно их проследить, а тем менее угадать тот момент, когда они перестали быть добровольными и естественными и образовали собой систему, но ведь это и не нужно совсем для того, чтоб доказать, что в этой системе нет ни справедливости, ни человеколюбия. Нам не нужно знать даже, виноват ли кто в таком положении вещей, и почему оно произошло: вследствие ли какой-нибудь проклятой необходимости или просто по случайному капризу судеб. Нам нужно убедиться только в том, что тут действительно была система, что она цепко опутала то, что ей нужно было опутать, и лежит доднесь несмываемым грехом на том, что этому греху совсем не причастно. А для того, чтоб убедиться в этом, не требуется ни исторических изысканий, ни особенной наклонности к философствованию; тут требуется только известная доза здравого смысла и доверие к собственным своим глазам.

И тогда, ежели к симпатическому нашему чувству и примешается некоторая доля негодования, то негодование это будет иметь в предмете уже отнюдь не толпу, забитую до бессмыслия, робкую до трусости, а нечто иное — предположим, хоть историю...

Этим-то именно и объясняется, что горькое чувство, которое возбуждают некоторые движения толпы, не только не умаляет наших симпати-

* Считаю нужным оговориться здесь, что под словом «толпа» я везде разумею собственно так называемую «чернь». [*Примеч. Щедрина*].



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА К «ГОСПОДАМ ГОЛОВЛЕВЫМ», 1933 г.
Собрание художника, Ленинград

ческих отношений к ней, но и не поселяет в нас никакого разлада, ни малейшего противоречия с самим собой. Негодуя на толпу, мы все-таки сознаем себя привязанными к ней совсем не таинственными нитями, а нитями совершенно явственными и несокрушимыми. Мы чувствуем, что в ней заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы, что без нее (без толпы), без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы — до нас никому никакого дела нет. В этой зависимости от толпы, конечно, есть много горечи (в самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?), но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, малосмысленной, подчас жестокой и ничего не стоющей толпе; что самый гениальный мыслитель-реформатор, которого мысль не может, повидимому, иметь ничего общего с мыслью толпы, лучшую часть своей деятельности отдает толпе; что толпа обседит * нас, что она одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум». Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не умеют, или не хотят объяснить, а фатализм, объясняемый тою общечеловеческою

* Редко встречающийся галлицизм от французского «être obsédé», т. е. быть во власти (неотвязной мысли): выражение «толпа обседит нас» можно «перевести» так: мысль о толпе неотвязно преследует нас. [*Примеч. редакции*].

основой, которая и составляет соединительное звено между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною человеческою личностью.

История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе, и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу. Это вовсе не значит, что люди эти идентифировались с толпою, что они принимали ее нередко слепые и неразумные инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе (человечестве) как о конечной цели всякого разумного и полезного человеческого действия сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, еслиб была исключительно обращена к отвлеченной сфере. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет; ибо как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития. Человек нуждается в обществе себе подобных вовсе не по капризу или для развлечения, а потому что природа его по преимуществу общежительная и, следовательно, стоя на недосягаемой для толпы высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее, покорнее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он непременно погиб бы и загрубел в этом жалком уединении, еслиб, к счастию его, толпа сама на каждом шагу и с достаточною резкостью не напоминала о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того уединения, на которое он, по нерасчетливости и кичливости своей, обрек себя.

Следовательно, те нужды, которыми страдает толпа, суть нужды общечеловеческие, и потому никто не имеет права не только обходить их, но и не поставить их на первый план. Это нужды кровные, вопиющие, от неудовлетворения которых страдает общечеловеческое развитие, а стало быть и наше собственное.

Мудрено представить себе, до какой степени горько влияет на жизнь бедного труженика толпы самое ничтожное обстоятельство; но поэтому-то мы и должны понимать, что для этой жизни нет того самодряннейшего факта, который можно было бы назвать ничтожным. Интересы, повидимому, грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую громадную сумму, под бременем которой положительно погибает член так называемого «несуществующего» у нас пролетариата. Да, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни (даже подстоличные) и вы увидите сплошные массы людей, которые не знают употребления мяса и для которых вопрос о соли составляет предмет мучительных дум; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой доход заключается в каких-нибудь пятнадцати-двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотаньем бумаги. А пролетариата нет. Правда, что эти массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но ведь по временам и они чувствуют, особливо когда хочется есть. Нам, людям, живущим отдельно от масс, очень трудно представить себе, что такое значит «хотеть есть», ибо, если мы чувствуем голод, то немедленно же и удовлетворяем его; но существуют, действительно существуют люди, которые всегда «хотят есть», ибо никогда порядком желанию этому удовлетворить не могут.

Положение человека, как бы фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть, и вообще «не пропасть, как собака», конечно, заслуживает всего нашего внимания. Это те самые первоначальные, вопиющие нужды, при неудовлетворении которых невозможно развитие никаких иных нужд. А в развитии-то этих

«иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен, по малой мере, от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но покуда не будет иметь средств обеспечить свободу своего желудка, не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга — вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною.

И опять-таки не о постепенности и не об ненужности идеалов тут идет речь, а о том, чтобы поставить деятельности (той деятельности, которая в данную минуту необходима) реальные границы, о том, чтобы найти исходный пункт, который соответствовал бы насущным нуждам толпы, и из которого можно было бы вести ее далее. Подумайте, милостивые государи! ведь это право сюжет недурной, это сюжет, из которого можно выдти к какой угодно высшей цели...

Представляю я себе человека, которому как следует разъясняется, что не наедаться до-сыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы — вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения, или, как выражается г-жа Падейкова, ничего нет «релегеозного»; представляю я себе этого человека, и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице от подобного разъяснения. Но разъяснение продолжается; за общими положениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если б при этом употреблен был образный ход мысли, как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но увы! мы и до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, т. е. с общих положений!). Черты лица собеседника мало-по-малу утрачивают испуганное выражение и при-



«ПИР НА ТАРАНТАСЕ»

Эпизод 3-го акта из пьесы «Тень освободителя» П. Сухотина (на тексты Щедрина) в Московском Художественном театре 2-м, 1931 г.

нимают выражение разумное... И до тех пор продолжается разъяснение, покуда собеседник не поймет. Представляю я себе человека этого, когда он уже понял.

А он не поймет до тех пор, пока не убедится, по малой мере, в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить. Пусть только он убедится, что право голодать, право не пользоваться ни благами, ни радостями жизни не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранит сам даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право. Но в этом-то и дело, что нужно, чтоб он убедился.

— Куда я теперь денусь! Куда я денусь-то! бормотала на днях некоторая баба, сильно размахивая руками и почти бегом бежа по дороге.

Мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала из дому на мельницу посмотреть, как его раздавило. Покойник был человек зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми; благосостояние, в котором находилась эта семья, в одну минуту рушилось. Вдова податей платить не могла, а следовательно не получала и земли (которой, впрочем, и обработать не имела средств), мир со своей стороны на вдовьи слезы смотрел тупо.

— Да, добытчик был, царство небесное! — сказал дядя Митяй.

— К хрестьянскому делу радельщик был! — добавил дядя Митяй.

И пошли себе все дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна со своими слезами, приготовляясь на завтра же начать изучение бедственной трудовой науки, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя с детьми, и в конце которой (вот сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери, — быть может, название деревенской сахарницы, для нее самой — медленная голодная смерть.

Может ли эта баба думать о чем-нибудь? Нет, она не может ни о чем думать, даже о своем собственном положении. Она не имеет времени размыслить, что оно горько и безнадежно, а должна мыслить только о том, что оно неизбежно, и что следует смириться перед ним. Она не может даже наплакаться вдоволь над собою, она не может наплакаться над телом своего добытчика, да и слезы, которые она прольет при этом, будут слезы не бескорыстные, они будут отравляться мыслью: на кого-то ты меня покинул, как-то завтра я хлеб себе добуду с детьми малыми?

— Что ты теперь будешь делать? — спросил я эту самую бабу.

— А что делать! Стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду! — отвечала она, и в глазах ее не блеснуло ни злобы, ни негодования, с языка не сорвалось ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее и детей беспомощными, а ежели по временам и погладят по голове старшего сынишку, то с тайной мыслью: славный солдат будет!

Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем никаких резонных оснований относиться к ней с уважением — это правда; но отчего же, тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не поторопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на всю ее жестокость, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто симпатичное и заманчивое? А вот почему.

Все эти Митяи — народ вовсе не злой и даже не испорченный они равнодушно поглядывают на бобылкино несчастье совсем не по окаменелости сердечной, поглаживают бобылкина сынишку с мыслью, что из него будет славный солдат, вовсе не по злорадству. Все это они делают потому, что опыт и история доказали им достаточно, что все они равны перед



«ТАРАНТАС»
Эпизод 3-го акта из пьесы «Тень освободителя» П. Сухотина (на тексты Щедрина) в Московском Художественном театре 2-м, 1931 г.

несчастием, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгоду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет их, но и не останавливает надолго их внимания. Что тут плакаться над чужой бедою, когда завтра та же самая беда может стрястись над ним самим? Да и есть ли еще время плакать? Да и не стряслась ли уже эта беда? Не есть ли она вековечная его сожилица и сопутница, которой и ждать-то совсем лишнее?

Повторяем: вот она, эта истинная истина жизни толпы, и вот где, по моему мнению, стоит настоящий исход для деятельности. Пусть всякий, выходящий на арену, подумает об этом, пусть пристальнее вглядится в толпу и припомнит, что был немецкий поэт Гете, который, в плохом переводе г. Струговщикова, сказал:

Кто не едал с слезами хлеба и т. д.

КОММЕНТАРИИ

Статья «Кто не едал с слезами хлеба» публикуется по автографической рукописи Щедрина, хранящейся в Институте Русской Литературы Академии Наук.

Время возникновения статьи — середина шестидесятых годов. На это указывают и внешние, и внутренние признаки. Внешние палеолографические признаки (бумага, почерк, цвет чернил) сближают ее, с одной стороны, с очерками «Наша общественная жизнь» первой половины шестидесятых годов, с другой стороны — с очерками «Итоги» конца шестидесятых—начала семидесятых годов. Внутренние признаки это—живые картины народной нужды вплоть до расчетов годового бюджета бобылки-мотальщицы бумаги после гибели ее мужа на мельнице. Они сближают статью с личными впечатлениями Щедрина как-раз этого самого времени. Будучи управляющим казенными палатами в Пензе, Туле и Рязани в 1865—1868 гг., Салтыков имел большие возможности, во-первых, наблюдать быт и нужды пореформенной русской деревни и мелких провинциальных городов, особенно во время своих разъездов на ревизии уездных казна-

чейств и т. п.; во-вторых — анализировать эти нужды цифровым статистическим образом. Сохранившаяся казенная переписка Салтыкова тульского периода показывает, как тщательно он входил в расчеты по различным крестьянским налогам и сборам, защищая порою безграмотных плательщиков от неправильных поборов и начетов с точностью до трех четвертей копейки.

Не лишнее будет отметить, что с начала шестидесятых годов Салтыковым было куплено (на имя жены) подмосковное имение Витенево и при этом имении состояла мельница (которая была сдана в аренду также от имени жены), а вблизи находилась бумажная фабрика.

Более точно хронологию статьи определяет то обстоятельство, что она тесно примыкает к шестому письму из цикла «Письма о провинции», напечатанному в октябрьской книжке журнала «Отечественные Записки» 1868 г. Около половины публикуемой статьи вошло в указанное «Письмо шестое», но вошло в измененном виде, отдельными абзацами, совершенно перетасованными между собою и новыми текстами. Сравнение печатного и рукописного текста устанавливает, что шестое «Письмо о провинции» является более поздним по времени вариантом. Но при этом отпали некоторые очень важные черты статьи. Воспроизведение ее в первоначальном полном виде представляется поэтому небезынтересным и для исследователя Щедрина, и для его читателя.

Н. Яковлев

ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ

ЗАТЕРЯННАЯ САТИРА ЩЕДРИНА

Предисловие А. Аросева

Примечания Вас. Гиппиуса

О ЩЕДРИНЕ

Жизнь и судьба русской интеллигенции в период царизма была очень своеобразной. Интеллигенция не класс, а группа, состоящая из выходцев главным образом двух классовых слоев: помещичьего и буржуазного.

По мере расширения и усложнения борьбы между этими слоями в процессе истории России в интеллигенции все большее и большее место начинали занимать выходцы из буржуазного слоя. Многие помещики превращались в капиталистов промышленного типа. Другие погибали под ударами внедрения капитализма в аграрное хозяйство.

Интеллигенция, выходящая из помещичьего слоя, гибнущего, разлагающегося, большею частью превращалась в правящую бюрократию (вследствие особой структуры самодержавия, предоставлявшего все привилегии дворянам). Интеллигенция буржуазная распадалась на две ветви: техническую интеллигенцию и людей так называемых либеральных профессий.

И та и другая часть буржуазной интеллигенции сознавала смутно свои классовые интересы. Они шли вразрез с интересами правящей бюрократии, а иногда становились в противоречие даже с самим существованием царского режима и монархии. От индивидуальных условий жизни и работы интеллигента нередко зависела степень его политической левизны.

На фоне этого общего явления были разумеется и отдельные выдающиеся случаи, когда степень левизны данного отдельного интеллигента определялась обстоятельствами, лежащими вне его повседневных бытовых условий.

Но так как вся буржуазная и мелкобуржуазная интеллигенция принуждена была изо дня в день сталкиваться с реакционностью и бессмысленностью царского режима, то некоторая степень протеста против него, а следовательно определенная степень политической левизны была обеспечена за каждым интеллигентом. Среди всей этой интеллигенции, которую принято называть «прогрессивной», царствовало настроение молчаливого заговора против самодержавия. Почти каждый интеллигент, мало-мальски мыслящий и элементарно честный, вел в сущности двойную жизнь: официальную и подпольную. Официально он занимался делами, добивался карьеры, улучшал свой семейный быт, заботился о детях. А подпольно — присутствовал на неразрешенных собраниях, подтягивал «Дубинушку», спорил по самым недозволенным вопросам, писал газетные статьи эзоповским языком, укрывал у себя или у знакомых нелегальных, подсмеивался над невежеством городовых всех чинов и рангов, сносился с революционными эмигрантами за границей, читал в рукописях недозволенные пьесы (вроде «Горя от ума» Грибоедова), или письма (вроде письма Белинского к Гоголю), или недозволенную прессу (вроде «Колокола» Герцена).

На протяжении десятков лет у этой интеллигенции выработались определенные навыки нелегальной жизни. Под носом у самодержавия в петербургских и московских

салонах большого и малого света создался свой мир, мир интеллигентского подполья. В нем считалось безнравственным выдать нелегального, к какой бы партии они ни принадлежал, считалось прекрасным помочь арестованному, лишь бы он был «политический».

Дальше такой фронды создания и культивирования антиправительственных настроений «прогрессивная» интеллигенция не шла. Она слегка играла огнем и иногда вместо пушечных выстрелов (как делал это Пугачев, как делали это декабристы) оглушала и ослепляла на какой-то миг самодержавие фейерверками.

Это была подпольная протоплазма, в которой иногда циркулировали ядра самой настоящей революционной ценности. Как протоплазма, среда эта была мягка и не активна. Она была эфирным пространством, где вращаются активные светила.

Поэтому многие лучшие и талантливейшие представители этой среды были не более как наблюдателями, созерцателями и регистраторами внутреннего социального кипения, обострения и напряжения глухой классовой борьбы, подступающих верно и неизбежно подземных толчков, колеблющих всю социальную почву тогдашней России.

Созерцательными, пассивными были почти все русские публицисты.

Но и здесь есть счастливые исключения. Наиболее радикальные слои фрондирующей интеллигенции давали наименее созерцательных публицистов и наиболее активных революционеров.

Великолепным созерцательным аристократом ума был Герцен.

Блестящий пример активиста являет собой Н. Г. Чернышевский. Он не только «глаголом жег сердца людей», но и фактически работал как революционер, организовывал действительную борьбу с самодержавием.

К активному типу борьбы против царского режима относится и литературная деятельность Щедрина.

Не всегда все можно объяснить, когда мы говорим о человеке умственного труда или социальной борьбы, только биографическими обстоятельствами и положением социальной группы или класса, к которой он принадлежит. Откуда в самом деле у Щедрина его острый взгляд, различающий беспощадно все язвы царского режима?

Откуда у него такая сила ненависти к царским сатрапам и ко всему укладу тогдашней убогой жизни?

Большинство произведений Щедрина — это сатирические очерки. Каждый из них написан по какому-нибудь одному конкретному поводу или в связи с каким-нибудь отдельным явлением. Своим очерком Щедрин фиксирует внимание на данном конкретном случае. Пристально всматривается в открытые им язвы. Вкладывает туда пальцы как скептик. Убеждается еще крепче в том, что Россия покрыта ранами, что раны эти дал ей тот класс, который владел ею, ее полями, лесами, промыслами, промышленностью,— класс помещиков и капиталистов.

Наблюдение пристальное и внимательное над народными страданиями оттолкнуло Щедрина от интересов и мышления его класса. Весь литературно-творческий путь Щедрина — это все более и более решительный отход от его класса.

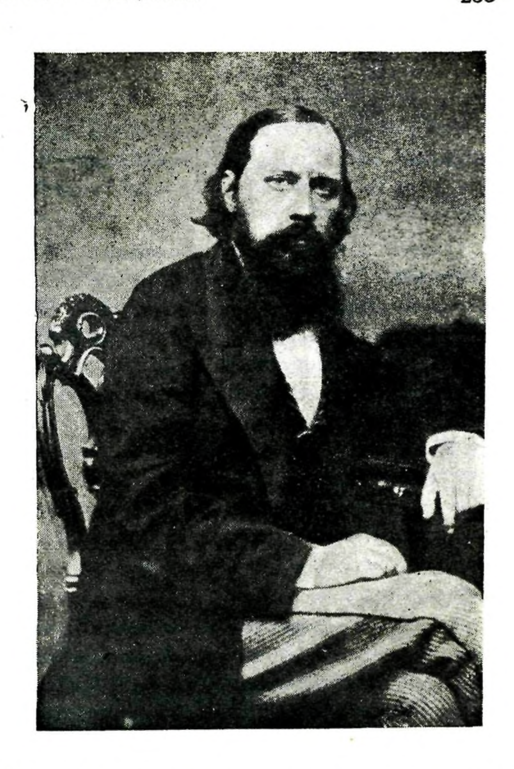
Разрыв со своим классом еще больше обострял зрение сатирика и делал сатиру его еще более ядовитой.

Он имел глаза, чтобы видеть по-настоящему, в какой тяжелой надругательской эксплоатации живет крестьянин и тот, кого тогда называли «мастеровой» и кого мы теперь называем «пролетарий».

Щедрин имел ухо, улавливающее стоны тех, кого порют, «гнут в бараний рог» и с кого «сдирают три шкуры». Его богатая практика служебно-административной деятельности давала обильный материал и оставляла глубокие впечатления в писателе.

Осмыслить то, что он видел и переживал, Щедрин мог только отдаляясь — и отдаляясь идейно и морально — от своего класса. Разрыв со средой, к которой он принадлежал по рождению, воспитанию и официальной деятельности, является характерным для жизни нашего сатирика и он-то и дал возможность Щедрину стать тем, чем он был.

Вслед за разрывом начинается величайшая трагедия.



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)
Фотография 1870 г.
Частное собрание, Москва

Не будем залезать в аналитические дебри, совершать экскурсии в историко-хозяйственную сферу и сдабривать свою статью политико-экономическим трактатом. Нужно только сказать, что капитализм в тогдашней России находился в недостаточно развернутой форме; пролетариат еще не выступал на политическую сцену как самостоятельный борец. Поэтому тем немногим революционным интеллигентам, которые рвали со своим классом, не к кому было уйти, не на кого опереться, не с кем идейно слиться. Не было еще великого социального движения пролетариата, куда можно и должно было вплесть свои усилия.

Поэтому силы одиночек-революционеров слагались вместе, составляли кружки, пестовали искусственно созданную в подполье революционную среду. Таких подпольных клубов-кружков в царской России было немало. До сих пор — кстати будет сказать,— на семнадцатом году после свержения царизма, никем еще не составлен список всех подпольных кружков и организаций, которые существовали со времен декабристов. Нет библиографии всей нелегальной литературы. Да она еще вся и не собрана. Собрать ее трудно, сделать список всем нелегальным объединениям еще труднее, потому что существовали они изолированно, иногда глубоко законспирированно, часто скоро сами собой распадались для того, чтобы в другом месте, в ином персональном составе снова возникнуть. Даже царское правительство при его возможностях (агентуре и провокаторстве) не всегда могло раскрыть действующих «злоумышленников». Известно например, что в 1856 г. на улицах Харькова была расклеена сатира-пародия на манифест царя о заключении мира. «Злоумышленники» оказались не найденными. Через год в том же Харькове была расклеена новая сатира «о благополучном разрешении от бремени императрицы Марии». И опять ни авторы, ни распространители этих «злых» документов обнаружены не были. Между тем это совершило тайное общество во главе с Завадским, оно начало существовать с 1856 г. Раскрыли его случайно, потому что при обыске у студента Завадского нашли записи об истории этого общества (см. «Сатира 60-х годов», изд. «Academia», стр. 377). В этом инциденте все характерно: и то, что это общество не было найдено (потому что действовало в благоприятной для него интеллигентской среде, как говорилось выше), и то, что это было такое общество, которое развивалось и разверты-

вало свою деятельность совершенно изолированно, само по себе (деятельность его, видно, поэтому имеет весьма слабое отражение в книгах по истории русского революционного движения).

Разумеется царское правительство делало все, чтобы не допустить слияния подобных сил. Этой предусмотрительностью и объясняется то, что Щедрин был сослан в Вятку в то время, когда он уже начал входить в среду петербургской полуподпольной интеллигенции.

Сослан, но оставлен в чиновниках. Не случайно и не по оплошности. Царские грязных дел людишки думали: не заест ли Салтыкова среда? Все-таки ежедневное воздействие мундира с высоким воротником может иметь влияние на молодого сумасброда.

Но получилось не то. С петербургского периода взгляд Щедрина был заострен так, что никакие мундиры его не ослепили.

Но трагедию для него обеспечили. Трагедию вследствие полного одиночества, враждебного непонимания окружающих. Трагедия Щедрина — это удесятеренная трагедия Чацкого. Это «миллион терзаний». Это и «горе от ума», и горе от истинного понимания всего видимого Щедриным. Но этот миллион терзаний не принижает его энергии, не размагничивает ни воли, ни мысли Щедрина. Его горе аккумулирует его ненависть к строю, в котором он живет. Отсюда, именно из этой трагедии, рождается величайшая сила презрения и ненависти к классу, от которого Щедрин навсегда ушел.

Правда, здесь нужно оговориться. Физически Щедрин работал в среде своего класса: в молодости своей был чиновником особых поручений, позднее занимал высокие должности вице-губернатора в Рязани и Твери и председателя Казенной палаты тех же Рязани, Пензы и Тулы. Уже будучи зрелым писателем, накрепко связав себя с литературой революционной демократии, одним из крупнейших представителей которой он является, Щедрин вместе с тем физически в бытовом отношении не порывал окончательно личных связей с людьми своего класса. В этом смысле его положение было противоречивым. Но неизбежные компромиссы и слабости в личной жизни могут интересовать нас лишь в той мере, в какой они имеют отношение к силе и выразительности созданных им образов. Нас интересует классовое политическое содержание сатиры Щедрина, той сатиры, которой он навсегда связал себя с лагерем революции, решительно порвав тем самым с родной ему классовой средой.

Щедрин берет действительность, в которой он живет, и сопоставляет ее с его представлением о будущей действительности. При этом весьма замечательно, что будущая действительность представляется ему не смутной утопией, а «непременно имеющей быть», т. е. единственно возможной. Этим в сущности и выражена историческая необходимость, краеугольный камень научного социализма, хотя научным социалистом Щедрин конечно не был, да и не мог быть. Еще Плеханов говорил в споре с народниками, что нет ничего прекраснее, как сознавать, что борешься и приближаешь наступление того будущего, которое необходимо, неизбежно, а следовательно реально и сильно в своей реальности. И реальность эта, т. е. неизбежность, не только вдохновляет, но придает силы и уверенность тем, кто борется за такое будущее. Разве могли бы в самом деле наши революционные удары быть такими уверенными, если бы мы не могли сами себе научно доказать, что социализм есть историческая неизбежность? Если бы не могли этого доказать, как жалки и неуверенны были бы мы, как легко можно было бы сбить нас в сторону с нашего пути!..

Щедрин старался в тумане грядущих годов рассмотреть ту будущую действительность, которая единственно возможна.

Его герой Нагибин говорит (повесть «Противоречия»):

«Не сопоставляй я этих двух противоположностей (действительности сегодняшнего дня и действительности будущей.— *А. А.*), я был бы вполне счастлив: был бы или нелепым утопистом вроде новейших социалистов, или прижимистым консерватором, во всяком случае я был бы доволен собой. Но... я не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности... и

не консерватор... потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед» (Разрядка моя. — А. А.).

Значит Щедрин знал цену утопическим социалистам, значит Щедрин стремился свою «утопию», т. е. идеал, вывести из реального исторического развития. У него, как и у Чернышевского, не фантастический, а аналитический подход к жизни.

Поэтому сатира его не отвлеченна, а конкретна.

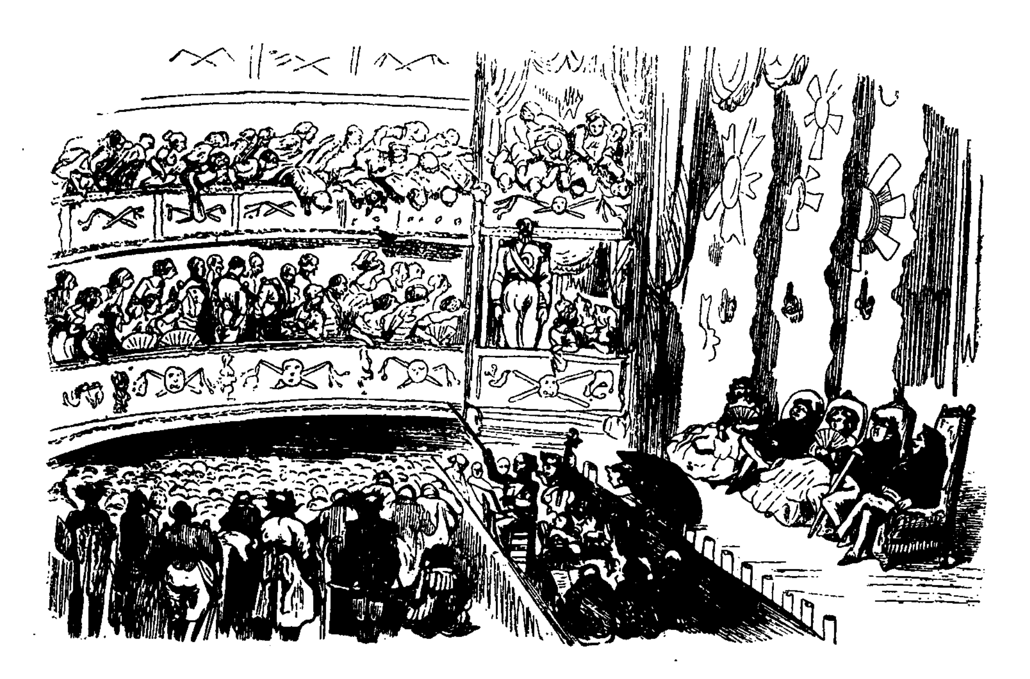
Нигде сатира не имеет такого значения, как у нас, и нигде она не была поставлена в худшие условия, чем у нас.

Материала для сатиры много, больше, чем где бы то ни было, а той свободы выражения мысли, которая существовала на Западе, у нас не было.

Даже в королевской Франции поощрялась мода на сатиру.

Сатира Вольтера например развивалась в значительно более благоприятных условиях. Тогда была пора такая, что поощрялся смех, в особенности смех над авторитетами, богами, властями, до известных пределов, конечно. Смех над религией и восхваление атеизма имели место, как известно, и при дворе короля. Французы позволяли себе роскошь — играть с огнем (хотя впрочем многие ли это сознавали?). Сатира Бомарше, Рабле, вся западноевропейская сатира развивалась в условиях сравнительно довольно свободных. Это давало возможность ей выработать свои приемы обращения с понятиями и свои формы изображения.

Наша сатира всегда конкретнее и значительнее западноевропейской потому, что наша сатира не созерцательна; она всегда призывала к движению. Всякая власть у нас считалась священною, смотреть на нее, хотя бы это был простой урядник, смеющимися глазами не дозволялось. Психология крепостничества проникала всю идейно-моральную жизнь тогдашнего русского общества. Сатира могла существовать только в на-



«ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ВЫСОЧАЙШЕМ ПРИСУТСТВИИ»
«Французские придворные актеры изумлены и довольны выпавшей на их долю ролью зрителей»
Карикатура из альбома Густава Дорэ «La Sainte Russie», Paris, 1854

дежде на непроходимое дуботольство цензурного ведомства и его подцензурных доносителей. Нашей сатире — куда уж тут высокие формы и изящество острот! — приходилось одеваться в защитный цвет так называемого «эзоповского» языка. Ни одна сатира мира не знала такой эластичности, такого иносказательства, как русская.

Понимание читателем иносказательства нашей сатиры было возможно только потому, что добрая половина читателей идейно составляла особый подпольный мир, где циркулировали свои понятия, ассоциации, сопоставления — вообще некоторые элементы своего особого языка. В такой среде был понятен язык сатирических намеков. Эта среда сама давала комментарии к сатирам.

Необходимость иначе сказывать свои мысли часто забивала сатиру в угол самых незначительных тем или же до такой степени притупляла острие сатиры, что она превращалась либо в басню, либо в пустенькие анекдоты вроде тех, которыми заполняются чтецы-декламаторы для провинциальных талантов.

Один из лучших сатирических журналов того времени «Искра» дает нам образцы хороших вещей. Но однако и этот лучший сатирический журнал в большинстве своих статей, заметок, писем и пр. осторожно вращается только в кругу культурнических вопросов. И лишь когда обращает свои взоры за границу, на Европу, дает материал более существенный, касающийся непосредственно классовых столкновений на Западе.

Журнал в этом не всегда виноват, виновата тут часто цензурная опричнина.

Щедрин касался самых больных, самых современных, т. е свежих, ран жизни. Его сатира как наиболее опасная была заключена хотя и в прозрачный, но на вид довольно толстый мундир иносказательства.

Порядки и обычаи царствования в двух столицах России не были характерны для самодержавия в такой степени, как нравы и обычаи царских сатрапов в провинции. Вот их-то и дает нам Салтыков. Дает в ужасающих подробностях, дает так, что они нам, в особенности, скажу опять, молодому поколению, кажутся карикатурами. Но это не карикатуры. Это подлинная реальность.

Сила Салтыкова и заключается в том, что он реалистичен. Но сам объект, даваемый в его произведениях, настолько уродлив — чиновники, обыватели, дворяне, вымогатели, взяточники, капитан-исправники и либералы,— что выглядит как карикатура.

Однако Салтыкову-Щедрину удалось избежать низведения своей сатиры к мелким вопросам, притупляющим ее острие. Эзоповский язык его не искажал сатиры, а наоборот делал ее выразительнее.

В этом отношении характерна «Похвала легкомыслию».

По какому поводу она написана? Трудно судить.

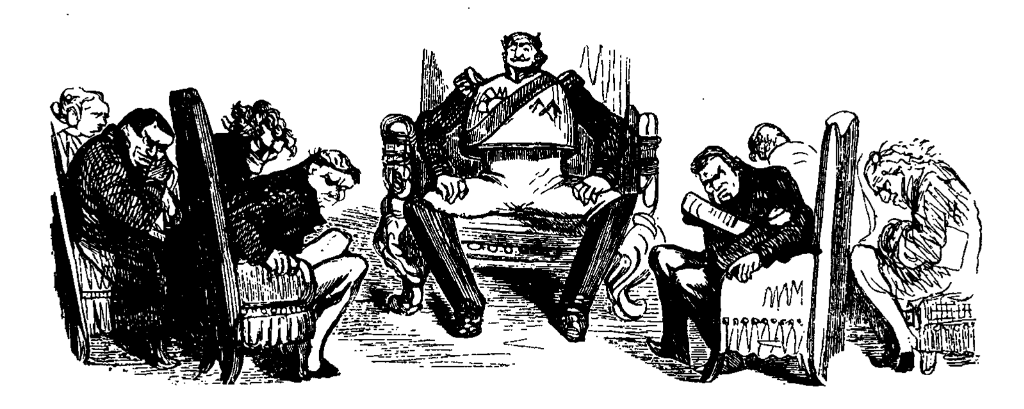
В начале нашей статьи мы говорили, что свои вещи Щедрин по большей части писал по какому-нибудь случаю или поводу, что поэтому сатира его весьма конкретна.

Но как раз «Похвала легкомыслию» является одной из менее частных. С этой точки зрения она принадлежит не к самым характерным для Щедрина вещам. Но зато она отличается широтой своего сатирического обобщения.

Способность Щедрина в сатирической форме генерализировать явления или их отдельные элементы настолько высока, что значение сатиры Щедрина пережило самого его и его эпоху и несомненно переживет нас. В своих произведениях Щедрин подымается до таких обобщений, что его мысли и наблюдения, его смех могут быть понятны где угодно в Европе и за океаном и через сто лет после нашего бытия на сей земле.

К такому виду произведений Щедрина и принадлежит «Похвала легкомыслию». Нам излишне ее излагать, читатель сам познакомится с ней. Но следует читателя предупредить: если он хочет получить действительное наслаждение от статьи Щедрина и достаточно хорошо ее понять, он должен прочесть ее по крайней мере дважды. Только при втором чтении отпадет яснее, чем при первом, скорлупа эзоповской манеры изложения. Статью Щедрина надо прочесть, а потом раскусить.

Чтобы понимать Щедрина, нужно помнить не только его манеру писать эзоповски (манера, как всем известно, вынужденная), но и его прием загипнотизировать чита-



НИКОЛАЙ I И ЕГО МИНИСТРЫ

Карикатура из альбома Густава Дорэ «La Sainte Russie», Paris, 1854

теля, заставить его, на минутку хотя бы, принять за чистую монету то, что сатирику служит прикрытием, заманить наивного читателя за собой и только потом фраппировать его прозрачнейшим намеком на истинный смысл сатиры. Так например, в сатире, даваемой здесь, Щедрин, чтобы читателя сбить, заманить, сделать наивным, противопоставляет «легкомыслию» афинян тупоумие средних веков. Последняя часть утверждения о том, что в средние века царствовало тупоумие, довольно верная. Средние века — это трагедия человеческой истории. Н. К. Михайловский называл их провалом истории.

Это может сбить нетвердого читателя, он может подумать, что и вправду легкомыслие прекрасное качество, во всяком случае «творческое», как на том будто бы настаивает Щедрин. Прием Щедрина заманить читателя, опростоволосить его опять вызывает сравнение Щедрина с родственным ему по духу Чернышевским. Последний, как известно, брал белый лист, смотрел в него и делал вид, что читает. Ему удавалось обмануть слушателя.

Щедрину приходилось прибегать в своих сатирах к такому приему, чтобы уметь подать их читателю, заострить его интерес и внимание. Надо было, как сказали бы французы, savoir servir нашу сатиру для читателя. Это необходимо было для Щедрина и для всякого, кто стремился расширить круг своих читателей, расширить свою аудиторию, захватить в нее и неискушенных в острых наблюдениях над российской действительностью.

Эзоповским и заманивающим является и самое понятие — легкомыслие. Несомненно автор имеет в виду не легкомыслие в его истинном значении, а то бессмыслие и тупоумие, которые характерны для нашего российского средневековья, официально именуемого периодом Российской империи. Но сатирическое острие «Похвалы легкомыслию» заострено против российского либерализма, в данном контексте, в первую очередь, против дворянского либерализма, свободно переходившего в послереформенный период в откровенную реакцию и политическое приспособленчество. Щедрин издевается над русским либеральничеством, которое для себя изобретает какие-то системы мышления, где блаженствует, свободно укрываясь то от преследований, то от внутренних мук совести (если таковые случаются). Щедрин прямо страдал от либерального двоедушия, прекраснодушия и лицемерия, прикрываемых празднословием. Нельзя было злее высмеять существо дворянского либерализма, как отождествив его с той самой дворянской реакцией, от которой он на словах отмежевывается.

В истории непримиримой борьбы Щедрина с российским либерализмом всех цветов и оттенков «Похвала легкомыслию» занимает видное место.

А. Аросев

ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ [1]

I

Я знаю, нас очень многие называют легкомысленными, и даже ставят нам это в укор. Что мы легкомысленны, против этого, кажется, возражать нечего; но чтобы в этом качестве заключалось что-нибудь предосудительное — это еще вопрос и притом крайне сомнительный.

По моему мнению, мыслить легко, значит, мыслить так, как в данную минуту мыслить удобнее. При сем: чем менее допускается стеснений со стороны мыслей предшествующих, тем больше представляется удобств для распоряжения мыслями текущими. Или, говоря точнее: истинное легкомыслие есть не что иное, как столь уважаемое нами свободомыслие, только очищенное от препон.

Не надо забывать, что внезапная мысль никогда не приходит одна, но дает начало целому ряду таких же внезапных мыслей, которые становятся рядом не потому, чтобы они чем-нибудь были связаны, а потому именно, что ничем не связаны. Когда таких мыслей накопляется достаточно, то образуется оплот, на который уже можно смело опираться в самых затруднительных обстоятельствах жизни. Все равно, как в математике минус, помноженный на минус, дает плюс, — так и в жизни: легкость, помноженная на легкость, всегда дает в результате нечто солидное. Если одна легкость не выручает, поправьте ее другою, другую — третьею, и поступайте таким образом, покуда не достигнете того, что на языке публицистов высшего полета называется «системою».

Как только вы добрались до системы, то можете смело сказать, что задача вашей жизни исполнена. Система тем хороша, что она представляет собой такую густую сеть всевозможных легкостей, в которой можно спрятаться, как в самом неприступном укреплении. Легкости конденсируются и приобретают все свойства метательных орудий. По временам, в «системе» чувствуется даже присутствие логики...

Когда нам говорят о каком-нибудь человеке, что он легкомыслен, то мы обыкновенно представляем себе, что у этого человека мысли бегают в голове, точно мыши в мышеловке. Нельзя не согласиться, что это сравнение довольно верно, однако, что же из этого следует? Из этого следует только то, что действительно, в голове легкомысленного человека мысли бегают, точно мыши, попавшиеся в мышеловку — и ничего больше. Затем нужно еще доказать, что это или непохвально, или неудобно, или несовместно, а доказать этого нельзя. Во-первых, это будет подвиг не популярный, во-вторых, человек, который предпримет его, непреминет убедиться, что существуют на свете такие твердыни, от которых самая строгая система доказательств отскакивает, как от стены горох. Гораздо благоразумнее поступит тот, кто примет на себя адвокатуру легкомыслия. Этот человек может заранее сказать себе, что труд его будет и популярен и оценен по достоинству.

Так я и поступлю.

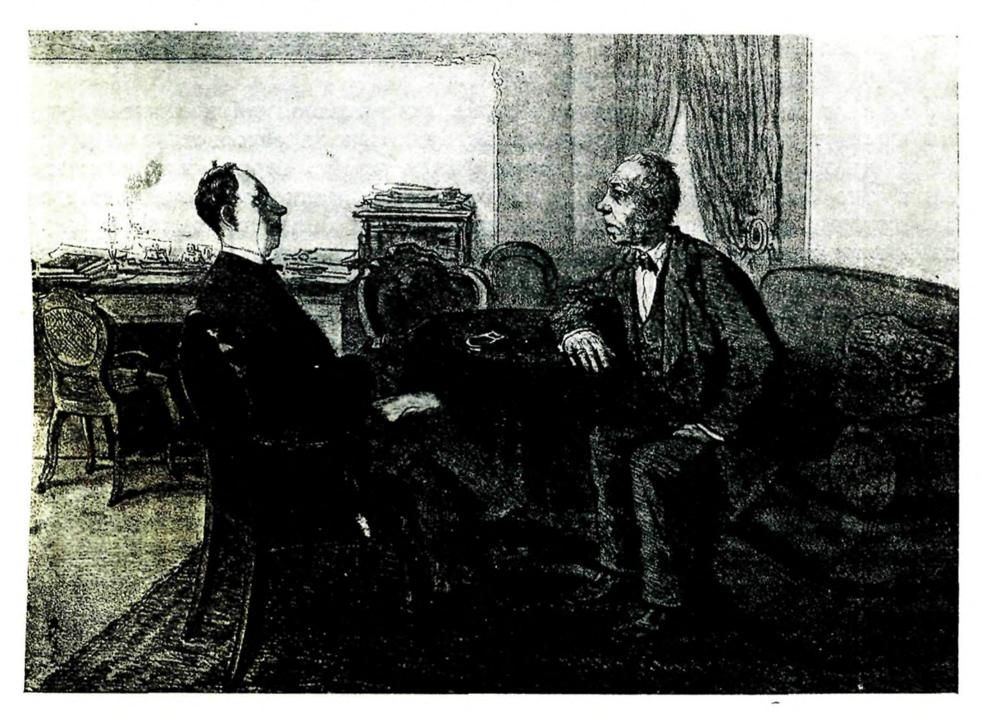
Начну с того, что легкомыслие, как творческая сила, было известно уже афинянам. В древности это уж было так заведено, что всякий народ чем-нибудь да славился. Персы славились глупостью, македоняне — дипломатическим вероломством, жиды — проказою, спартанцы — непреоборимым тупоумием и храбростью, афиняне — легкомыслием. Из всех этих народов, удел афинян был самый завидный. Вспомним, с какою легкостью они увольняли со службы вождей своих, как непринужденно они смеялись, когда их называли неблагодарными — и мы поймем, почему афинская цивилизация имела такое решительное влияние на цивилизацию позднейшую. Всё дело в том, что афинские мысли не залеживались, но беспрестанно обращались.

За всем тем, Афины пали [2], а потомки древних афинян продают в настоящее время в с.-петербургском гостином дворе айвицу и грецкое мыло. Почему же они пали? — а потому, милостивые государи, что они не умели быть легкомысленными до конца, что они никогда не достигали той полноты легкомыслия, при которой не остается ничего другого, как блаженствовать. Припомним, что у них были Периклы, Сократы, Демосфены и проч., и спросим себя: можно ли далеко плыть по океану цивилизации, имея такие камни на шее? На сколько дальше они могли бы уплыть, если бы вместо Перикла у них был И. И. Излер, вместо Сократа — Оскоченский, а вместо Демосфена — М. Н. Катков — это даже предугадать трудно.

Верьте, милостивые государи, что чем реже мы спотыкаемся на Сократов, тем удобопонятнее делается для нас бремя жизни. Чтобы стать выше упреков в ограниченности стремлений, нужно настолько расширить свои идеалы, чтобы они приняли вид расплывшегося во все стороны киселя. Когда получится возможность бродить в этом киселе и вкривь и вкось и вдоль и поперек, то вместе с тем получится и безграничная свобода действий, т. е. свобода вытаскивать из киселя именно те бирюльки, которые на потребу [3]. Шаг человеческий сделается уверенным, мысль — легкою и свободною, щеки утратят способность краснеть. Зачем краснеть? в чем раскаиваться, когда в прошлом всё позабыто, а в будущем ничего не предвидится?

Как бы то ни было, но Афины пали. Наступили средние века, и струя легкомыслия едва не исчезла безвозвратно.

То были времена тягчайшего тупомыслия, не лишенного, однако, изобретательности. Изобретены были порох и книгопечатание, открыт путь в Восточную Индию и сделаны были распоряжения об открытии Америки [4]. Из этого следует, что тупомыслие не всегда бесполезно.



«АДВОКАТ БАЛАЛАЙКИН»
Литографированный рисунок А. Лебедева из альбома «Щедринские типы», издание «Стрекозы» 1880 г.

Но легкомыслие не изгибло, а только тлелось под пеплом. Еслиб пределы настоящей статьи не стесняли меня, то я мог бы, даже сквозь хаос крестовых походов и пламя инквизиции, проследить непрерывную преемственность этого интересного явления до той минуты, когда афинское наследие попало в руки французов. Возведенное ими на высоту почти неприступную, легкомыслие угрожало уже смутить спокойствие целой Европы, как вдруг его постигла та же участь, что и в Афинах. Известны всякому печальные происшествия, едва не ввергшие в конце прошлого столетия Францию в бездну погибели, но очень мало кому известно, что происшествия эти были последствием не столько самого легкомыслия, сколько недостатка последовательности в нем.

Как ни тщательно лелеяли французы свое афинское наследие, они не могли облегчить себя настолько, чтобы вполне застраховать свое будущее от наплыва таких примесей, которые идут явно на перебой правильному развитию легкомыслия. Они освободились от многого, но не могли освободиться от одного: от уважения к уму и таланту. Это были для них своего рода Сократы, которых присутствие в истории уже служит явным признаком, что золотой век еще не наступил. Как ни старайтесь перебегать от одного предмета к другому, как ни усиливайтесь, чтобы минута последующая отнюдь не зависела от минуты предыдущей, но если при этом внимание ваше, хоть на мгновение, хоть невзначай, обо что-нибудь зацепится, вы непременно придете на край бездны. Конечно, работа всей жизни пошла на ветер, ибо одна зацепка приводит за собой другую, другая — третью и т. д., так что, вместо сети легкомыслия, вы вдруг очутитесь опутанным сетью зацепок и препон!

Истинное легкомыслие не таково. Оно не хочет знать никаких преткновений и ищет свободы от каких бы то ни было уз: при слове талант — оно разевает рот, при слове ум — блаженно гогочет. Представим себе, например, такое общество, историю которого, в сокращенном виде, можно было бы охарактеризовать следующим образом:

Период первый. Трудно и даже невозможно найти какие-нибудь типические черты, которые могли бы послужить к характеристике внутренней жизни общества (имя рек) в течение этого первого периода его существования. Это был какой-то хаос, в котором одно движение противодействовало другому, в котором все заботы, повидимому, были устремлены к тому, чтобы переделывать сделанное, подрывать предпринятое и сколь возможно тщательнее разбивать те звенья, которые связывают последующее с предыдущим и т. д.

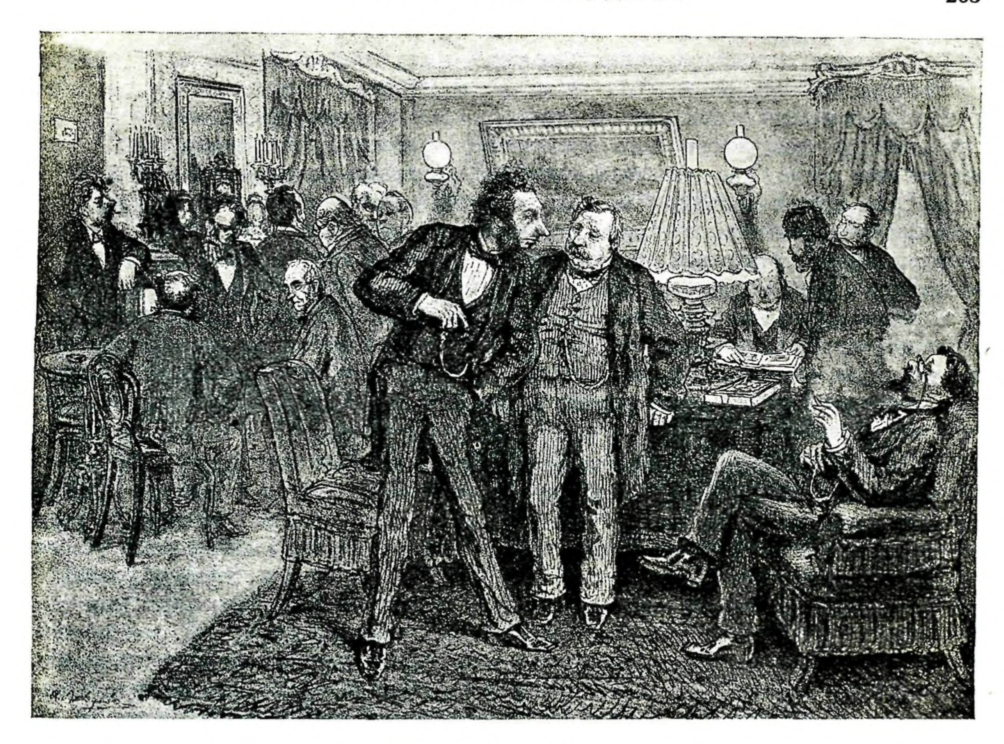
Период второй. Еще труднее найти какие-нибудь типические черты в этот второй период существования общества. Это был какой-то хаос, в котором и т. д.

Третий период. Гораздо труднее и т. д.

Вот счастливейшее из обществ! Вот общество, в котором, наверное, не найдется ни одного Сократа, и в котором можно горстями черпать Асковенских! Это то идеально-легкомысленное общество, которое ни перед чем не станет втупик, ни обо что не зацепится!

Что если бы в таком обществе нечаянно появился Сократ! Как поступили бы с ним? Заставили ли бы выпить чашу с цикутой? навряд ли. Но что его засадили бы в кутузку, или в наиболее благоприятном случае споили бы с кругу и сделали бы способным плясать в присядку — в этом не может, кажется, быть сомнения.

Но легкомыслие, как и всякое другое жизненное явление, имеет свои тезисы, которые оно защищает и которые составляют его философию (так



«В ГОСТЯХ У МЕНАНДРА»
Литографированный рисунок А. Лебедева из альбома «Щедринские типы», издания «Стрекозы» 1880 г.

и называется «философия легкомыслия»). Постараюсь рассмотреть некоторые из них.

Тезис первый формулируется так «сначала все уступи, дабы впоследствии всем пользоваться».

По уверению почитателей «Московских Ведомостей», честь изобретения этого тезиса принадлежит М. Н. Каткову. Он — дескать, в душе отъявленный нигилист, и ежели прикидывается благонамеренным, то для того, собственно, чтоб хорошенько заручиться, а потом, заручившись, нагрянуть. Когда в моем присутствии происходят эти объяснения, мне всегда приходит на мысль суворовское: заманивай его, братцы, заманивай!

А ну, как он не заманит! думалось мне:— ну, как он, заманивая да заманивая, сам хлопнется в овраг! Ведь девять лет издает М. Н. Катков свою газету и девять лет всё заманивает! Это тоже штука!

Но как бы то ни было, правы или неправы почитатели г. Каткова, снабжая его подобными намерениями, дело в том, что указанный выше тезис действительно существует в нашей жизни, и даже начинает проникать в печать в качестве руководящей истины.

Сколько я могу понять, слово «уступи» принимается здесь не столько в прямом его значении, сколько, так сказать, в сокровенном. «Уступи» — значит, не уступай, а только притворись, что уступаешь, или уступи что-нибудь такое, чему хотя и приписывается важность, но что в сущности составляет совершенную дрянь. Я знаю, что в сферах высшей публицистики подобный образ действия носит название «дипломатического», но так как на такую игру словами согласиться довольно трудно, то считаю себя в праве возвратить ему настоящее его название «легкомысленного».

В самом деле, чтобы вполне убедиться в легкомысленной сущности этого тезиса, стоит только начать с него самого, т. е. уступить, и принять

на веру его практическую необходимость и мудрость. Первое затруднение, с которым мы встретимся на этом пути, будет заключаться в том, что у нас не имеется достаточных данных, для определения слова «дрянь». Это понятие допускает такое бесконечное разнообразие определений, что нет ничего легче, как впасть в ошибку, и притом самого печального свойства. Есть дряни абсолютные, для всех видимые и доказанные, есть дряни относительные, имеющие смысл сокровенный и не для всех ясный. Какую из них следует уступить, или лучше сказать, какою из них следует пользоваться? Сверх того, есть много таких дряней, которые, несмотря на видимую свою дрянность, до того въедаются в жизнь, что делают ее почти невозможною. Обыкновенно эти дряни кажутся нам самыми ничтожными и легко допускаемыми, а на поверку выходит, что именно они-то и загораживают выход для всех прочих дряней. Следует ли продолжать жуировать ими попрежнему?

Вот как трудно ориентироваться в мире дряней, и какой особливой прозорливости требует правильная сортировка их. Но пойдем далее. «Поступиться дрянью» — не значит ли это сохранить именно то, что прежде всего подлежит устранению? Конечно, в мире физическом нам очень часто приходится встречаться с такими случаями, когда искусственным развитием какого-нибудь менее опасного недуга достигается искоренение или облегчение недуга более опасного; но не надо забывать, что мы ведем речь не о мире физическом, законы которого более или менее исследованы, но о дрянях мира нравственного, в котором всё до крайности неопределенно и спутано. Поступившись даже одним этим пресловутым правилом об уступках дряней, мы уже разом вступаем в такую безграничную область, по которой остается только бежать, сломя голову, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Дряни не только разнообразны, но и до неприличия цепки. Они налипают, одна за другою, с такой быстротой и последовательностью, что, заручившись однажды теорией об уступках, мы не успеем и оглянуться, как уже увидим себя до того навьюченными, что трудно даже и помыслить о возможности сбросить нахлынувший со всех сторон груз.

И вот, когда вся эта чушь облепит человека,— тогда «пользуйся». Чем же «пользуйся»? — да всем! Как же «всем», когда всё заранее уступлено, на всё заранее дано согласие и затем уж в запасе осталось только пустое место? Но в этом-то и заключается драгоценное свойство легкомыслия, что то, что кажется нелепым и невозможным перед судом здравого смысла, оказывается, в сообществе и при пособии легкомыслия, не только возможным, но даже и имеющим какие-то шансы на успех.

Оказывается, что мир легкомыслия точно так же неисчерпаем, как и мир дряней, что сколько ни уступай из него, всё будет полная чаша, а пустого места не будет. Оказывается, что, укоряя своего соседа в легкомыслии и непоследовательности, мы отнюдь не отступаемся этим от своего собственного права на легкомыслие и непоследовательность...

Как может выступить с либеральным словом человек, который за минуту перед тем гремел проповедью самого непроходимого обскурантизма? Как может говорить о свободе совести и мысли человек, который за минуту перед тем высказывался в пользу инквизиции и чуть ли даже не травли собаками? Всё это тайна российского легкомыслия, на языке которого обскурантизм и собачьи травли называются «уступками», делаемыми для того, чтобы «потом всем пользоваться»!

А между тем, такого рода мудрецов мы встречаем на каждом шагу, и дело у них идет как по маслу. Искусство, с которым эти люди из области рабомыслия делают непосредственный скачок в область свободо-

мыслия — это такой пример беспримесного легкомыслия, перед которым бледнеют все остальные разновидности этой категории. Далее может существовать только блаженство, то-есть такое нравственное положение человека, когда мысли и поступки человеческие сменяются одни другими с полнейшим забвением всякой последовательности.

Да; есть и такое положение. Как ни блажен удел человека, всё уступающего для того, чтобы всем воспользоваться, в нем все-таки есть известная доля горечи. Оно напоминает о коварстве, и хотя это коварство невинное, но невинность в этом случае свидетельствует лишь о тупоумии, а отнюдь не о чистоте намерений. Гораздо в лучшем положении находится легкомыслие легкое, которое никаких намерений не имеет, которое ничем не пользуется, но за то ничего и не уступает. Это легкомыслие, которое чуть-чуть канканирует и как будто приговаривает: «ты думаешь, что я что-нибудь замышляю! — ошибаешься, мой друг — это я так». Это «так» до того драгоценно, что, еслиб мы всегда умели держаться на высоте его, то, конечно, были бы счастливейшим и притом самым афинским народом в целом мире.

«Так»! да поймите же, сколько тут достолюбезного, непредвидимого, почти непостижимого! «Так» — погладил по голове; «так» — ковырнул масла; «так» — поправил меньшому брату челюсть; «так» — поднес рюмку водки. Всё — «так». И все эти «так» столь быстро сменяют один другого, и представляют такую нескончаемо-текущую реку, что как только окунешься в нее, то так и не взвидишь света от удовольствия! И не заметишь, что тут есть и пропасти и обрывы и вообще всякое летание стремглав. Всё гладко и ровно... система, да и только!

Сравнивая эти две школы легкомыслия, из которых одна говорит: «сначала всё уступи, а потом всем пользуйся», а другая вещает: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся»—я положительно, отдаю предпочтение последней [5]. Она проще и потому доступнее. Стоит только вести себя хорошо (не притворяться, а действительно хорошо себя вести) — и нечего будет уступать, потому что всё дастся. Что дастся? — ну, разумеется, не бог знает что, а по мере возможности. Тогда как с притворством... а ну как угадают это притворство? да надерут за это уши? да поставят в угол на колени? Боже!.. да мало ли есть наказаний, при одном воспоминании о которых легкомысленного человека пронимает дрожь!

Я знаю, что первая система легкомыслия почему-то пользуется репутацией дальновидности, а вторая по-просту зовется глупою, но я убедительно предостерегаю читателей против подобных оценок. Так как фактически может быть доказано, что обе системы суть дщери одного и того же легкомыслия, то, очевидно, что самый спор о том, которая из них глупее, есть спор праздный и нестоящий разработки.

Говорят, будто в первой системе уже скрывается какой-то намек на мысль. что она заставляет своих последователей заботиться о каких-то укреплениях и вообще проводить свой путь зигзагами (это—дескать, требует до известной степени работы мозгов). Но, по-моему, эти свойства не придают еще прелести системе, а только причиняют головные боли, которые, в свою очередь, не исключают элемента легкомыслия, а лишь порождают особенный вид его — легкомыслие с мигренью.

II

Второй жизненный тезис, выработанный нашим легкомыслием, служит естественным придатком к первому. Ежели первый говорит: «сначала всё уступи, а потом всем пользуйся», то второй прибавляет, «пользуйся, но так, чтобы никто ничего не заметил».

Наша страсть к секретному житию как нельзя полнее сказалась в этих двух житейских правилах. Мы очень часто обманываем и действуем потихоньку совсем не ради какой-нибудь корыстной цели, а просто в видах испытания, авось-либо никто не заметит. Для чего нам это нужно — один бог знает; но несомненно, что в этом отношении мы самые сущие спартанцы, которым, как гласит история, смолоду внушали, что воровать — отчего не воровать, но попадаться — упаси боже!

Еслиб вас пригласил кто-нибудь обедать и формулировал свое приглашение так: прошу ко мне обедать, но предупреждаю, что вы должны так отобедать, чтобы я этого не заметил — вообразите, как были бы вы удивлены [6]. Но удивлению вашему, конечно, не было бы пределов, еслиб обед был устроен всенародный, еслиб во время его на вас были устремлены тысячи глаз, и вам все-таки предстояло бы исполнить этот обряд по секрету. Ведь это гораздо мудренее, чем даже, например, проглотить втихомолку шпагу или секретно держать в сжатой руке раскаленные уголья! В последних случаях требуется только известная степень душевного воспаления, в первом — совершенная бессмыслица: отсутствовать, присутствуя. В виду такого требования, я даже начинаю понимать, почему мы, русские, всегда обнаруживали и обнаруживаем столь явное пристрастие к фокусникам и престидигиторам, почему представления этого рода неизменно привлекают толпы зрителей. Мы просто видим в их действиях повторение или преобразование того, что на каждом шагу происходит с нами на практике. — А! ты проглотил шпагу — знаю! Я давича проглотил две. А! ты сварил в шляпе яичницу — знаю! Я давича не в шляпе, а у друга сердечного на голове уху сварил — и он этого не заметил! Одним словом, не удивишь и не обрадуешь нас ничем!

Быть и в то же время не быть; быть видимым и в то же время быть невидимым; двигаться — и оставаться без движения... Вот те геркулесовы столпы легкомыслия, до которых никогда не могли достигнуть ни афиняне, ни французы, и до которых мы достигли без малейшего напряжения.

Да; это своего рода грани; но ежели вы спросите меня: возможно ли быть блаженным при такой степени легкомыслия? я отвечу: да, только при такой степени и возможно быть совершенно блаженным. Примешайся тут с булавочную головку здравого смысла — всё дело погибло бы несомненно и безвозвратно. Этого мало: не только блаженствовать, но даже жить можно.

В то памятное время, когда мы процветали под сению крепостного права, не мало шаталось по деревням беспардонных помещиков, которые, будучи снедаемы либерализмом, только о том и тужили, как бы провести сквозь мужика какое-нибудь преднамерение или предначертание. Форма для этого была в то время самая удобная: в ней укладывались и благие стремления, и свирепые; и детские розги и взрослые: вдоволь было места для всяких свобод. Трудность только в том заключалась, как бы таким манером провести известное преднамерение, чтобы, с одной стороны, все сейчас почувствовали, а с другой стороны, никто бы ничего не заметил, или, иными словами: чтобы все пользовались, но никто не воспользовался. Тогда еще никто не видел в этих разъяснениях признаков легкомыслия, а остерегались только, как бы впоследствии не вышло каких-нибудь грамматических недоразумений.

Много было представлено в то время на соискание разных полезнейших проектов; много было таковых и в исполнение приведено...

Подобно другим отечественным либералам, заразился этою язвою и друг мой, Андрюша Гнусиков. По Невскому ли, бывало, идет, у Донона ли трапезует, в танцклассе ли благодушествует — всё думает: непременно отмочу

штуку. Мало того: подружился с Вс. Крестовским, в Вяземский дом ночевать ходил, посещал конную площадь, наблюдал, как секут меньших братьев и даже сам, однажды, чуть-чуть в части не был высечен... И везде преследовала его одна неотвязная мысль: непременно отмочу штуку!

И вот, однажды, приходит он ко мне и молча подает сложенный на четверо лист бумаги. Развернув его, я прочитал следующее:

ХОЧУ — ОТДАМ; ХОЧУ — НАЗАД ВОЗЬМУ.

Сельская радость для крестьян села Гнусикова с деревнями.

А. Права

1) Всякий имеет право сообщать, изъяснять, передавать на ухо, или иным образом излагать свои мысли, с тем, однакож, чтобы сие делалось с осторожностью.

2) Всякий имеет право заявлять о своих нуждах, наблюдая только, чтобы оные были не бездельные.

3) Всякий имеет право невозбранно пользоваться свободою телодвижений, с тем лишь, чтобы таковые не заключали в себе неистовства.

4) Всякий имеет право говорить правду, лишь бы сия правда была безобидная.

5) Всякий, будучи призван на сходку, имеет право представлять оной замечания, лишь бы они были полезные.

6) Всякий, будучи приглашен для наказания, имеет право приносить оправдания, которые и приемлются, буде найдены будут заслуживающими уважения



«ГОРОД ГЛУПОВ» В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ САТИРЫ

Эскиз костюма и грима «старой бабы»

Акварельный рисунок худ. Кукрыниксы, 1932 г.

Собрание Театра Сатиры, Москва.

и 7) Всякий имеет право снять с отданного ему [в пользование] поля хлеб, буде таковой уродится.

Б. Обязанности

— Ну... там... как обыкновенно... сказал Андрюша, прерывая меня: — что? как тебе кажется? [7]

— Хорошо... Только знаешь ли что, душа моя? прибавил я, спохватившись: — этот седьмой пункт... как-то... как будто... Хорошо ведь, как он не уродится? а ну, как уродится? Как бы тут не было... недоразумений каких...

Андрюша задумался.

— Так ты думаешь, что этот пункт лучше редактировать так: «всякий имеет право снять с отданного ему в пользование поля хлеб, буде таковой *не* уродится?»

— Да.... нет, не то... Этак тоже будет, пожалуй, неловко... Я думаю, душа моя, вовсе оставить этот пункт... Или вот что: не отнести ли его к «обязанностям»?

— И прекрасно! действительно, какое же это право! Отлично! Ну, а в прочих частях как?

— Бесподобно. С одной стороны, всё сполна, с другой стороны, небесполезные ограничения... чего еще нужно!

Андрюша весь вспыхнул; лицо его озарилось каким-то священным огнем.

— Только вот чтó еще, продолжал я: — подумай, душа моя, не слишком ли ты себя обездоливаешь?.. Не слишком ли ты связываешь себе руки? Рассуди! Ведь это... как бы тебе сказать... Ведь это... почти конс...

— Ну, об этом позволь мне знать самому... об этом я много думал! прервал он меня твердо, и от наплыва чувств чуть-чуть не поперхнулся.

Тут он рассказал мне всё; как он ночевал в доме Вяземского, как болел сердцем на конной площади, как сам, однажды, едва не был высечен, и как, наконец, созрела-таки у него в груди «сельская радость».

— Я знаю, говорил он мне: — что они будут неблагодарны! Но я решился... Я готов вынести всё! Даже клевету!! даже обвинение к революционной пропаганде.

— Но все-таки, мой друг, не лишнее, ах! как не лишнее быть осторожным! Не приноси жертвы не по силам, убеждал я: подумай! есть ли у тебя верный человек, который мог бы на месте наблюсти, чтоб эти права... чтоб эта «сельская радость» enfin...

— О, на счет этого я могу быть спокоен. Там у меня есть Иван Парамоныч... Он...

Андрюша сжал при этом свой кулак так выразительно, что можно было подумать, что у него в этом кулаке замерзла вожжа.

Когда он ушел от меня, я долго не мог образумиться.

— Каков! думал я! каковы люди-то у нас народились! и что ж растут себе, как крапива, где-нибудь подле забора, и никто-то их не знает, никто-то об них не слышит. А кабы собрать их всех, да в кучу...

Прошло с полгода после этого разговора, и я уже успел позабыть о гнусиковской сельской радости, как случай привел меня в самое святилище вольномыслия, то-есть к Андрюше в имение.

Однажды утром, из окна барской усадьбы я увидел перед домом «гнусиковского общественого управления» большую толпу. Спрашиваю: что это такое? отвечают: гнусиковское народное вече. — Ну как же не взглянуть на вече!

— Стало быть, у тебя оно в ходу? спросил я моего друга.

— У меня, mon cher, это всё в порядке, отвечал он, любуясь, вместе со мною, зрелищем размахивающей руками толпы: — у меня ничего по имению, ничего без *них* не делается: обо всем *они* должны свое слово сказать. У меня, душа моя, по старинному: я «приказал», а выборные гнусиковской земли «приговорили». Как в Новгороде... или то бишь в Москве!

— Ну а седьмой пункт.. помнишь?

— Biffé! *

Мучимый любознательностью, я осторожно подошел к толпе, чтоб не вспугнуть ее своим появлением и не помешать выборным людям гнусиковской земли свободно выражать их мысли и чувства. Но, увы! вече уже давно подходило к концу, и я мог слышать лишь заключительные слова речи, которую только что произнес Иван Парамоныч:

— Свиньи вы! рожна, что ли вам еще надобно! Право, прости господи, свиньи! Барин вас милует, а вы и того... на дыбы сейчас! Я-ста, да мы-ста! Пошли вон, подлецы!

Вече начало медленно расходиться, но через два часа перед приятелем моим стоял Иван Парамоныч и докладывал следующий приговор: «лета 18** майя—дня, я, помещик и государственный службы коллежский асессор, Андрей Павлов Гнусиков, приказал, а выборные гнусиковской земли приговорили: имели мы рассуждение о том, что для пополнения запасных хлебных наших магазинов собирается ежегодно со всех гнусиковских мирских людей хлебная пропорция, но как сие неудобно, а потому постановили: ввести промеж себя общественную вспашку, для чего определяем» и т. д. и т. д.

— Однако, ведь они, mon cher, совсем этого не желают! вступился было я.

— Mais laissez donc, laissez donc! ** замахал руками мой либеральный друг, смотря на меня уже с некоторым негодованием.

— Нéшто они что понимают! прибавил от себя Иван Парамоныч, с возмутительным безмятежием практика.

Но я не успокоился и продолжал делать наблюдения, потому что в то время меня еще интересовали и гнусиковские начинания, и гнусиковская ширина взглядов, и гнусиковские светлые надежды. Да и костомаровские «народоправства» были еще у всех в свежей памяти.

Увы! Я должен сказать правду, что мало утешительного вынес я из этих наблюдений! Во-первых, я удивился, что выборные, занимавшие должности в гнусиковском «общественном управлении», проводили время собственно в том, что топили печи в доме управления и поочереди там ночевали, совокупляя таким образом в своем лице и должности сторожей. Во-вторых, я узнал, что они не только не гордились честью участвовать в гнусиковских делах, но даже положительно тяготились ею.

— И для чего только нас держут! сказал мне однажды один из них, внезапно обнаруживая какую-то тоскливую доверчивость.

— Как для чего, мой друг (защитникам гнусиковских интересов я всегда говорил не иначе, как «мой друг» или «голубчик»)? Как, для чего? Ведь вот вам теперь дал Андрей Павлыч правà...

— Правà-то?

— Ну да... права... Как же ты, голубчик, не понимаешь этого?

Заседатель от земли смотрел на меня, выпучив глаза.

— Ну, сказал он.

— Ну да, права, повторил я, но голос мой внезапно оборвался, потому что я почувствовал, что мне стыдно.

* Вычеркнут.

** Ах, оставьте, милый, оставьте!

— А Иван Парамоныч?—спросил заседатель от земли.

Я смешался еще более.

«Однако, вы-таки бестии!» — подумал я, и на первый раз так на этом и порешил, что бестии; однакож, не потерял надежды, что когда-нибудь, современем, «бестии» все-таки придут в себя и поймут, что нельзя же, наконец, не оценить.

Но мне не пришлось этого дождаться. Не дальше, как через полгода, я встретил Андрюшу в Петербурге и, натурально, сейчас же обратился к нему с вопросом:

— Ну, что, как «права»?

Петруша (sic) махнул рукой.

— Ужели? воскликнул я.

— Biffés, — ответил он.

Признаюсь я так мало был приготовлен к такому ответу, что готов был даже обвинить моего друга в недостатке энергии, в отсутствии инициативы...

— Mon cher! не обвиняй меня! — сказал он мне кротко.

— Да нет, душа моя! Это была твоя обязанность! Ты должен был итти вперед! искоренить предрассудки! истребить невежество, грубость!

— Нельзя, отвечал он мне самым решительным тоном: — о н и н е с о з р е л и!!

И вслед затем он рассказал мне трогательную историю своих усилий и их непонимания. Оказалось, что он, с своей стороны, дал и м — всё, от них же требовал только, чтобы они платили исправно оброк и слушались Ивана Парамоныча.

— И... и бога бы за меня молили! прибавли он взволнованным голосом.

Напротив того, *они* отвечали, что им не надобно *ничего*, а вот кабы Ивана Парамоныча от них убрали, так это точно, что они стали бы бога молить.

— Ну, представь себе: один только представитель моих интересов и оставался — и того убери! укоризненно заключил мой собеседник.

— Бестии! произнес я решительно.

— C'est le mot!*

— Что же ты сделал?

— Велел Ивану Парамонычу действовать решительно и неуклонно!

Тем и покончилась благонамеренная затея моего друга.

Рассматривая ее внимательно, я должен сознаться, что поступок моего друга был очень рискован и смел. Уж одно то, что человек этот избрал своим девизом слова: «хочу — отдам, хочу — назад возьму», доказывает, что он решался на многое. «Хочу — отдам» — шутка сказать! Поймите, что ведь тут уже есть глагол «отдать», и что если бы за ним не следовал непосредственно корректив в виде «хочу — назад возьму», — то кто же знает, что из этого могло бы произойти!

Тем не менее, Гнусиков изнемог...

Это вечно печальная и никогда не кончающаяся история русского человека, у которого в голове засела затея! Наши реформаторы гибнут и на заре дней, и на склоне дней, гибнут в ту самую минуту, когда всё готово, все нарывы назрели, и стоит только со всех сторон давнуть, чтобы...

Почему они гибнут? почему, например, в данном случае погиб реформатор и либерал Андрюша Гнусиков?

---

*Вот настоящее слово.



«ГОРОД ГЛУПОВ» В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ САТИРЫ

Эскиз костюма и грима «Василия Байбакова»

Акварельный рисунок худ. Кукрыниксы, 1932 г.

Собрание Театра Сатиры, Москва

А потому, милостивые государи, что он был не до конца легкомыслен, и что рядом с его теорией: «пользуйся, но так, чтоб никто ничего не заметил» — существует другая теория, еще более легкомысленная, а именно: ничем не пользуйся, и пусть все замечают!

Сравните обе эти теории и вы увидите, что последняя совершенно затмевает первую. Начать с того, что первая требует изворотливости ума. Ум, в каких бы размерах и формах он ни проявлялся, есть исконный враг всякого легкомыслия. Пусть даже это будет ум не настоящий, направленный к отрицанию самого себя, истинное легкомыслие все-таки не выдержит его, и непременно погибнет под бременем тех невзгод, которые принесет за собой его появление. Истинное легкомыслие чисто, как кристалл; малейшая раковина внутри делает его цену ничтожною... Ум есть беспокойство, легкомыслие — блаженство... Поймите же, наконец, милостивые государи, что ежели вы действительно желаете достигнуть блаженства, то должны принять и те средства, которые ведут к этой цели. Вы должны совсем-совсем истребить в себе всякий признак ума...

III

Третий, и едва ли не самый главный житейский тезис легкомыслия: будь счастлив и не взирай[8].

В самом деле, чем более мы взираем, тем большую накопляем сумму данных, которые, впоследствии, могут уготовать нашу погибель. «Взираю» — уже отчасти значит «смекаю», и даже «знаю», а кому неизвестно, что человеческое благополучие всецело заключается в неведении? О еслиб, подобно Сократу, мы знали одно: что мы ничего не знаем! Но нет, мы

находим такое знание недостаточным, мы идем далее, мы ищем какого-то действительного значения... В результате обретаем фигу, то-есть погибель.

— Не видал бы я этого вина — быть бы мне и теперь человеком! говорит, обыкновенно, пропоец, дошедший до той степени восторженности, когда мир начинает казаться дьявольским навождением.

— Не видал бы я этой книжки — спать бы мне и теперь на своей постелюшке! говорит едущий на перекладных юный философ, которого чтение книжки, по какому-то счастливому сцеплению обстоятельств, привело к познанию истины, что ничто так не образует юношество, как путешествия.

— Не видал бы я этих денег — не украл бы! говорит с своей стороны и вор, стремящийся оправдать свой поступок любознательностью.

Во всех этих случаях, и пьяница, и философ, и вор потерпели прежде всего от того, что взирали. Воззрение зажгло в них любознательность, любознательность породила желание испытать на деле. В заключение, все трое очутились в прескверном положении. И что всего замечательнее, несмотря на разницу, которая существует между упомянутыми тремя ремеслами, все они, однако, привели к результату почти однородному! Почему? — а потому просто, что в основе каждого из них один и тот же глагол «взирать».

В применении этого житейского принципа на практике могут встретиться довольно серьезные затруднения — это несомненно. Могут, например, спросить: как можно не взирать на предмет, который сам собой мечется в глаза? Согласно ли с здравым смыслом ничего не видеть, когда человек обладает зрением и глаза его не ослеплены? Но на все эти вопросы очень легко возразить целым рядом других вопросов, которых разрешение, как мы видели, не стоит ни малейшего труда. Таковы вопросы: можно ли отсутствовать, присутствуя, можно ли двигаться — и быть без движения, можно ли быть — и не быть и так далее.

Существенное в этом деле — все-таки не взирать, то-есть не соблазняться и не пробовать. Наша публицистика давно уже пропагандирует эту истину — и чувствует себя отлично, хорошо. Может быть, она думает, что занимаясь подобною пропагандою, она заговорит уши, и тем временем, что-нибудь да узрит; но такое убеждение доказывает только вящее ее легкомыслие; заговаривая уши, можно притти только к одному результату, а именно: заговорить их до того, что они будут ко всему глухи, кроме невзирания, — и тогда милости просим попробовать что-нибудь узреть!

Много рассказывает людская молва разных правдивых былин, героями которых являются люди кроткие и невзирающие. Спал Иванушко-дурачек три дня и три ночи, спал, и даже во сне ничего не видел; проснулся — ан оказалось, что он не Иванушко-дурачек, а Иван-царевич. «Счастье с неба валится», гласит народная мудрость — а валится оно, наверное, тому, кто не взирает и знает неукоснительно, что он ничего не знает. Для того, чтоб схватить счастье за хвост, совсем не нужно быть сильным по части изобретения пороха, а нужно только лечь спать, разумеючи. Тогда врата легкомыслия откроются сами собою, и на могильном памятнике того человека напишется: «сей человек, обладая необширным умом и посредственными чувствами, был почтен!»

Нельзя, однакож, сказать безусловно, чтоб эта наука была легкая. О нет, врата легкомыслия отпираются не перед всяким, и уступают не без усилий. Не взирать — не только значит не видеть, но и потерять обоняние, осязание, вкус... Какое счастливое сцепление случайностей нужно изобрести, что создать подобное положение! Если же этих случайностей налицо не имеется, сколько тут нужно геройства, сколько нужно продолжительного и упорного самовоспитания!

— Столь много я муки этой видел, что даже думал уродом на всю жизнь остаться! — говорил мне на-днях один из несомненных ревнителей на пути к совершенству: — однако, бог привел: усовершенствовался!

И, действительно: это был в своем роде субъект довольно любопытный, и ежели в нем еще чувствовался какой-то недостаток, то он заключался единственно в том, что субъект этот, как будто, все еще не мог опомниться от воспоминаний тех истязаний, которые он вытерпел.

«Не пытайся понять то, что тебе понять не дано», «не забывай, что выше лба уши не растут», — вот правила, которые внушались мне с детства, и которые, впоследствии, в особенности укрепило во мне чтение афоризмов Кузьмы Пруткова. С тех пор я не только не пытаюсь, но просто-на-просто ничего не понимаю, и только наблюдаю, чтоб уши мои как-нибудь не выросли сверх пропорции. Вижу, что кругом меня, что-то мечется, снует, кружится, и в сердце своем говорю: Господи! сохрани мою невинность! пошли мне глаз слепоту, языка онемение, ума оглупение и чувств помрачение! И да пребуду во веки блажен! И как только проговорю это — всё наваждение сейчас, как рукой снимет!

Но повторяю: чтобы достигнуть этого, нужно или особенно счастливое стечение обстоятельств, или геройство, а так как и то и другое не всегда являются к нашим услугам, то людское легкомыслие ухитрилось придумать другой, переходный афоризм, который до некоторой степени поправляет упомянутый выше недостаток. Афоризм этот гласит так: «взирай, но взирай с рассмотрением!» Повидимому, тут заключается логическая бессмыслица, ибо невозможно в одно и то же время быть легкомысленным и рассматривать, то-есть, все-таки отчасти рассуждать. Но в сущности, это вовсе не такое мудреное дело, как можно заключить с первого взгляда, ибо, для облегчения его, существуют такие каталоги, в которых подробно поименовываются предметы, на которые легкомыслием взирать не возбраняется. Конечно, такого рода каталоги покаместь существуют еще только в сердцах легкомысленных людей, но будем надеяться... Будем надеяться, что публицистика наша, разработавшая на своем веку столько важных афоризмов, не оставит и этой важной статьи без внимания, и что современем мы получим совершенно полное руководство, которое на вечные времена обеспечит наше легкомыслие от всяких случайностей. Воображаю я, сколько разойдется изданий этого руководства в течение нескольких часов! Сколько глупцов вдруг почувствуют себя мудрецами единственно потому, что у них будет в руках книжка, которая оградит их от всяких посягательств против легкомыслия!

Теперь, по заведенному порядку, мне надлежало бы привести здесь несколько биографий знаменитых мужей, которые наиболее прославились своим легкомыслием, но я оставляю эту интересную работу до другого раза и спешу изложить кратко практические результаты, которые принесло наше легкомыслие и выработанные им жизненные тезисы.

Главнейший результат заключается несомненно в том, что нас никто ни в чем не застал. Это устраняет от нас всякие подозрения и вселяет к нам неограниченное доверие. Взирая на нас, всякий говорит: оставим их в покое, потому что это подлинно те самые люди, у которых мысли мелькают в голове, точно мухи в безграничном пространстве воздуха.

Второй результат — невозмутимое спокойствие совести. Совесть питается сознанием, сознание требует умственной сосредоточенности. Но когда мысль приобретает форму и свойства мухи, то ясно: и сознание, и совесть могут оставаться вполне от тревог свободными.

Оба эти результата, естественно, ведут к третьему — к долговечности. Ничто так не способствует пищеварению, не утучняет, не укрепляет нервы, как легкомыслие. Я знаю стариков, которые по три века чужих заели,

единственно благодаря тому, что их никто ни в чем не застал, и что совесть их никогда ничем не тревожилась. Знаю много таких и из молодых, которые обещают представить собой экземпляры здоровья несокрушимого. Таким образом, и маститая старость и полная бодрости юность соединяют свои усилия, чтобы показать нам: в первом случае — пример легкомысленной долговечности, во втором — надежду на оную.

Четвертый результат — величие, то-есть, апофеоз.

Не имея сзади никакой ноши, мы можем смело говорить, что наше будущее свободно, и что мы находимся в положении человека, у которого всегда под руками гладкая доска, принимающая какие угодно каракули. Пускай сомнения, тревога и тоска останутся уделом тех, чье будущее неясно и скомпрометировано прошедшим. Наше будущее принадлежит нам, потому что оно ничем не скомпрометировано назади, и ни в чем не предвидит для себя стеснения впереди. Будем же твердыми в легкомыслии, ибо в нем заключается та драгоценная творческая сила, которая утучняет тела, способствует пищеварению и придает нашим действиям тот характер восторженности, который составляет предмет удивления и зависти современников.

Посторонний наблюдатель

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Похвала легкомыслию» напечатана в «Искре» 1870 г. в №№ 6, 8 и 11 от 5 и 19 февраля и 12 марта за подписью «Посторонний наблюдатель». Подпись эта не раскрыта ни в словаре псевдонимов Карцова и Мазаева, ни в специальном библиографическом труде И. Ф. Масанова («Русские сатирические журналы», вып. I, 1911 г.). Изучая литературное окружение Салтыкова-Щедрина и просматривая с этой целью «Искру», я обратил внимание на «Похвалу легкомыслию», в которой с первых же строк заподозрел щедринское перо. Ближайшее ознакомление с сатирой обнаружило самую тесную связь ее с творчеством Салтыкова как предшествующим, так и позднейшим и не оставило сомнений в том, что псевдоним «Посторонний наблюдатель» раскрывается как М. Е. Салтыков. Доказательства этого авторства впервые приведены в моей статье «М. Е. Салтыков — сотрудник «Искры» («Ученые записки пермского гос. университета», 1929 г., вып. I); в настоящем комментарии они дополнены некоторыми новыми данными. Полностью новооткрытая сатира перепечатывается впервые.

«Похвала легкомыслию» направлена против дворянского либерализма, перерастающего в беспринципное приспособленчество, затем и в прямую реакцию. Щедрин ею высмеивает дворянский либерализм, отождествляя его с той самой дворянской реакцией, от которой он на словах отмежевывался. Основными тезисами российского либерализма эпохи реформ оказались сентенции: «сначала всё уступи, дабы впоследствии всем воспользоваться» и «пользуйся, но так, чтобы никто не заметил». К этим тезисам присоединяется третий — откровенно реакционный: «будь счастлив и не взирай» (т. е. не размышляй). И если первым двум тезисам иронически предпочтены правила обывательски-благонамеренной морали: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся» и «ничем не пользуйся и пусть все замечают»,— третий тезис пришлось ограничить с точки зрения той же морали: «взирай, но взирай с рассмотрением».

«Похвала легкомыслию» органически связана с щедринской сатирой 60-х годов — тех лет, когда, преодолев последние пережитки либерализма в собственной идеологии, Салтыков вступил в решительную борьбу с либерализмом. В «Похвале» откликаются мысли и образы «Нашей общественной жизни» (1863—1864 гг.), «Писем о провинции» (особенно двух первых 1868 г.), «Признаков времени» (особенно очерк «Легковесные» 1868 г.). С другой стороны, многое из намеченного в «Похвале» получило развитие в дальнейшем творчестве Салтыкова: в «Итогах» 1871 г., «Дневнике провинциала в Петербурге» 1872 г., в «Современной идиллии», «Пестрых письмах» и других циклах. Но особенно близка «Похвале» сказка 1885 г. «Либерал». Написанная уже в иной исторической обстановке после запрета «Народной Воли», в разгар победоносцевщины, она усиливает, сгущает то, о чем в 1870 г. можно было говорить сравнительно мягко. Тезисы об уступках превращаются здесь в три правила общественного поведения либерала: «по мере возможности», «хоть что-нибудь» и наконец «применительно к подлости», после чего либерал получает заслуженный плевок в лицо. Эту именно сказку использовал В. И. Ленин в борьбе с народнической публицистикой — в статье 1894 г. «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» (т. I, стр. 162).

Если сказка «Либерал» дает «эволюцию российского либерала» в предельно-метких и обобщенных образах и формулах, при чем задевает не одно либеральное дворянство, но и оформившийся к этому времени мелкобуржуазный либерализм и оппортунизм, то история этих образов и формул в творчестве Салтыкова естественно приобретает особый интерес. В этой истории особое место принадлежит «Похвале легкомыслию» — этому широко развернутому сатирическому фельетону на тему о судьбах российского либерализма (в данном контексте в первую очередь — дворянского). Несправедливо забытая сатира Салтыкова должна быть извлечена из забвения.

Заглавие сатиры связывается с первой фразой «Хищников» (1869 г.): «Пою похвалу силе и презрение к слабости». Прототипом этих иронических «похвал» была конечно знаменитая «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Парадоксальная защита враждебной точки зрения — для окончательного ее разоблачения, по методу «приведения к нелепости» — характерна и для позднейшего Салтыкова (ср. «Круглый год», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке»).

² «Падение Афин» — ср. в «Глуповском распутстве» (1862 г.) параллель между гибелью Рима и гибелью Глупова. «Глуповское распутство» в свое время напечатано не было; таким образом вопрос о возможности подражания ему отпадает. Ср. также в «Письмах к тетеньке»: «Вспомните древних римлян: заблуждались они, заблуждались, а что из того вышло? сначала падение западной римской империи, а потом и восточной».

³ «Вытаскиванье бирюлек» — обычный образ салтыковской сатиры. Он встречается в аналогичном смысле в «Наших глуповских делах» (1861 г., т. II, стр. 53) и затем — в «Дневнике провинциала» 1872 г. (т. VII, стр. 372), «Недоконченных беседах» 1873 г. (т. VI, стр. 197), «Письмах к тетеньке» 1882 г. (т. XI, стр. 471), «Пестрых письмах» 1884 г. (т. VI, стр. 8); все ссылки по изданию А. Ф. Маркса.

⁴ «Изобретение пороха», «открытие Америки»: ср. в «Наших глуповских делах»: «не может ни изобресть порох, ни открыть Америку». «Распоряжение об открытии Америки» дает директор департамента в «Господах ташкентцах»: «Любезный друг, я желал бы, чтобы вы открыли Америку». Остроты об «открытии» и «закрытии» Америки встречаются также в «Характерах» (1860 г.) и в рукописных вариантах «Сказки о ретивом начальнике» (1882 г.).

⁵ Два противоположных тезиса легкомыслия имеют тонкие отличия друг от друга, связанные с оттенками в идеологии и поведении реальных объектов сатиры. При всем том главный яд сатиры заключается в отсутствии существенной разницы между «тезисами»: «пользоваться» (подразумевается — «гражданскими и политическими правами») всё равно не придется ни «уступающим» либеральным политикам, ни аполитичным обывателям (которым и «уступать»-то нечего). Это сближает «тезисы легкомыслия» с другими примерами мнимо-противоположных сентенций в щедринской сатире. В очерке «На заре ты ее не буди» (1864 г.) консерваторы говорят: «шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай», «красные» возражают: «отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед». В гл. 4-й «Экскурсий в область умеренности и аккуратности» в том же смысле сопоставляются сентенции: «доверься, но доводи до сведения; предоставь, но смотри в оба», и более «превосходные»: «доводи до сведения, но доверься», «смотри в оба, но предоставь».

⁶ Приглашение к обеду с условием — отобедать незаметно — повторено в следующем же 1871 г. в 4-й главе «Итогов», в диалоге между Феденькой Кротиковым и «автором». На пожелание Кротикова: «пусть размышляют, пусть обмениваются мыслями, но так, чтобы никто этого не заметил» — «автор» возражает: «Ведь это все равно, что если б твой будущий градской голова позвал тебя на пирог и требовал, чтоб ты таким образом ел, чтобы никто этого не заметил» (т. X, стр. 234).

⁷ Эпизод о конституции для крепостных, введенный Андрюшей Гнусиковым, представляет собою вариант аналогичного эпизода из очерка «В деревне», напечатанного в «Современнике» 1864 г., № 8 (без подписи). Прототип Андрюши Гнусикова — Вася Чубиков. Оба эпизода очень близки, вплоть до повторения тех же выражений (например «c'est le mot»). Мотив помещичьей конституции был впоследствии использован Терпигоревым в «Оскудении». Самый текст конституции имеет в творчестве Щедрина несколько параллелей: законодательство Беневоленского, «Устав Вольного Союза Пенкоснимателей» в «Дневнике провинциала» 1872 г., проекты Феденьки Кротикова в «Помпадуре борьбы» в 1873 г. и особенно «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении» в 8-й главе «Современной идиллии» (1878 г.). В этом уставе каждая «свобода» обставлена теми же оговорками, что и в гнусиковской конституции.

⁸ «Будь счастлив не взирай» — ср. «будь счастлив и молчи» в «Каплунах» 1862 г. (в свое время не напечатанных).

⁹ Выше лба уши не растут. О «пресловутых поговорках», резюмирующих обывательскую философию, Салтыков говорил еще в 1869 г. в «Хищниках», и с тех пор ироническое цитирование пословиц и поговорок, враждебных по своему классовому содержанию, становится его излюбленным приемом. В ряду этих пословиц («с сильным не борись», «по одежке протягивай ножки», «всяк сверчок знай свой шесток» и т. п.) — пословица «выше лба уши не растут» выделяется как по количеству упомина-

ний, так и по композиционной роли ее в щедринском творчестве. В двух произведениях — «Чужую беду руками разведу» (1877 г.) и «Вяленая вобла» (1884 г.) — эта пословица играет как бы организующую роль. Кроме того она упоминается в «Столпе» 1874 г. (т. V, стр. 122), «Дворянской хандре» 1878 г. (т. X, стр. 323), «За рубежом» 1880 г. (т. VIII, стр. 199).

[10] Неосуществленный замысел «биографий знаменитых мужей, которые наиболее прославились своим легкомыслием» ср. с упоминанием о мужах, которые «наиболее прославились неуклонностью» — в одновременной «Истории одного города».

Приведенными параллелями не исчерпываются все сближения, которые можно сделать между «Похвалой легкомыслию» и остальным творчеством Салтыкова, но для доказательства авторства Салтыкова достаточно и приведенных. Идеология и тематика сатиры, ее композиция и стиль как в мельчайших деталях, так и в совокупности, воспроизводят с совершенной очевидностью художественную систему Салтыкова, его сатирический метод со всеми специфическими для него особенностями. «Похвала легкомыслию» оказывается ближайшим образом связанной как с предшествующим творчеством сатирика, при том — как с его подписанными, так и неподписанными вещами и даже, в отдельных случаях, с вещами, вовсе не напечатанными. Наконец, эпизод об Андрюше Гнусикове представляет собою перенесение целых страниц из более ранней сатиры в позднейшую. Все это вместе взятое заставляет считать авторство Салтыкова бесспорным, хотя внешних аргументов для доказательства авторства нет: рукопись сатиры неизвестна, и в переписке Салтыкова и его современников никаких упоминаний о «Похвале легкомыслию» до сих пор не обнаружено.

Вас. Гиппиус

1. POST-SCRIPTUM
2. ИЮЛЬСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЩЕДРИН ОБ ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ

Предисловие Д. Заславского
Комментарии О. Спектора

ОБ ОДНОЙ НАРОДНИЧЕСКОЙ ПУТАНИЦЕ

В щедринской публицистической серии «Недоконченные беседы» статья «Июльские веяния» пользуется наиболее широкой известностью. О ней не раз писали и справедливо называли ее лучшим в русской буржуазно-демократической литературе произведением, направленным против религиозных и национальных преследований в царской России. Значение ее в этом смысле даже шире. Статья не утратила своей злободневности и в наше время, потому что германский фашизм оставил за собой даже царистское черносотенство в диком преследовании евреев.

Статью «Июльские веяния» приводили не раз либеральные защитники Салтыкова-Щедрина и для того, чтобы характеризовать взгляды его на еврейский вопрос и снять с него обвинение в антисемитизме. А выдвигалось это обвинение еврейскими буржуазными националистами и буржуазно-либеральными филосемитами,— их нежные глаза и уши не могли снести той прямоты и резкости, с которыми Салтыков-Щедрин изображал хищническую, рваческую еврейскую буржуазию. Само собой разумеется, что эта сторона вопроса об отношении Салтыкова-Щедрина к евреям представляет всего меньше интереса для нас. Ни в какой адвокатуре Салтыков-Щедрин не нуждается.

Интересна другая сторона вопроса. Статья, которая говорит об отношении Салтыкова-Щедрина к преследованиям евреев, дает очень ценный материал для суждения об отношении Салтыкова-Щедрина к современному ему народничеству. А это вопрос в литературе о Салтыкове-Щедрине недостаточно исследованный, и здесь скопилось немало путаницы, недоразумений и прямой фальсификации. Вот пример, наиболее свежий. В книжке «Народовольческая журналистика» (1930) Дмитрий Кузьмин очень просто зачисляет Салтыкова-Щедрина в сотрудники «Народной воли», опираясь на показание Иванова-Разумника. Мягко выражаясь, это очень смелое преувеличение. Иванов-Разумник утверждает, будто некоторые сведения о «Священной дружине», проникшие на страницы «Народной воли», исходили от Салтыкова-Щедрина. Это возможно, хотя это ничем не доказано. Но то, что со слов Салтыкова-Щедрина, переданных в «Народную волю» через неизвестное число рук, была напечатана информация в статье народовольца Лебедева, еще не дает никакого основания называть Салтыкова-Щедрина сотрудником «Народной воли», то-есть устанавливать непосредственную идеологическую и политическую связь между народовольцами и Салтыковым-Щедриным.

Здесь путаница произведена очень грубо. Поэтому она и не серьезна. Она касается кроме того только информации, которую «Народная воля» могла получить от Салтыкова-Щедрина, но могла получить и многими иными путями. Сие не столь важно. Серьезнее другая путаница, произведенная в той же книжке Дмитрия Кузьмина. Она касается как-раз статьи Салтыкова-Щедрина «Июльские веяния». Дмитрий Кузьмич

выдает ее за своего рода программный документ официального народничества. Чтобы судить о том, как народники, в частности народовольцы, относились к преследованиям евреев, вообще к еврейскому вопросу, надо, как уверяет нас Дмитрий Кузьмин, обратиться к статье Салтыкова-Щедрина. В связи с таким уверением и бесцеремонное зачисление Салтыкова-Щедрина в сотрудники «Народной воли» приобретает дополнительную характерную черточку. В общежитии эта черточка известна под именем ловкости рук. Достаточно в действительности познакомиться с подлинной народнической литературой по данному вопросу, чтобы притти к несомненному заключению: статья «Июльские веяния» говорит о глубочайшем расхождении между народниками и Салтыковым-Щедриным.

Статья Салтыкова-Щедрина написана по поводу антиеврейских погромов, происходивших весной и летом 1881 г. и возобновившихся в 1882 г. Характер этих погромов в наше время не вызывает никаких сомнений. В статье «Мобилизация реакционных сил и наши задачи» старая, революционная, «Искра» писала: «В начале 80-х гг. никакого политического движения народных масс в России не было, налицо было только смутное и совершенно неоформленное брожение темных еще масс крестьянской и городской бедноты, питавшееся материальной нуждой и обострявшееся политическим возбуждением, которое было создано гулом революционной борьбы. Взяв под свою плохо скрытую защиту погромы, правительство графа Игнатьева стремилось окончательно отрезать революционеров от народной массы, с одной стороны, а от либеральной части общества — с другой» (№ 41).

Эта характеристика погромов 1881 г. остается верной и в наше время, и новые материалы лишь дополнили ее некоторыми выразительными чертами. Во-первых, рабочее движение, хотя и делало лишь первые свои шаги, принимало уже и тогда оформленный характер,— оно выражалось и в массовых стачках, и в создании первых классовых организаций. Рабочее движение как-раз резко отличалось от смутного и совершенно неоформленного брожения темных масс крестьянской и городской бедноты. Во-вторых, есть все основания предполагать участие в организации погромов контрреволюционной организации — «Священной дружины».

Вооруженный марксистским анализом глаз без труда вскрыл основные черты в погромах 1881 г. Народничество того времени их не заметило. Оно было ослеплено своими представлениями о крестьянской стихийной социалистической революции, которая должна воспоследовать сама собой после героического выступления революционеров-террористов. Элементы такой социалистической революции народничество искало — и при горячем желании их находило — в смутном и совершенно неоформленном брожении крестьянских и городских масс. Поэтому оно приняло контрреволюцию за революцию. Поэтому и удался помещичье-дворянской реакции ее погромный маневр после 1 марта 1881 г. Запуганная героическим выступлением первомартовцев и одурманенная национализмом, либеральная часть общества бросилась в объятия правительства. Антиеврейские погромы лишь в первую минуту (эта минута впрочем длилась свыше года) обрадовали народников-революционеров мнимой своей «революционной стихийностью» и мнимым своим антикапиталистическим характером. Во вторую минуту наступило горькое разочарование. Вера в социализм и революционность крестьянских масс была подорвана. Революционные иллюзии уступили место действительности.

Народники приняли погромную волну, организованную помещичье-дворянской контрреволюцией, за «стихийное революционное выступление». Они не только одобрили погромное преследование евреев, усматривая в нем начало общего выступления крестьянских масс против помещиков и капиталистов, но и призвали к поддержке, к участию в нем. Было выпущено несколько прокламаций в этом духе и напечатано в «Народной воле» несколько статей. Впоследствии в исторической литературе о народничестве была создана невероятная путаница по этому вопросу. Еврейские буржуазные националисты, с одной стороны, обвиняли народовольцев в антисемитизме. Апологеты народничества, с другой стороны, выступали с адвокатской защитой народничества, сваливая всю вину за поддержку погромов на народовольца Герасима Романенко, автора наиболее нашумевшей погромной прокламации Исполнительного комитета «К украинскому народу».

Этот Романенко закончил свою публицистическую карьеру в роли и звании заслуженного царского черносотенца и погромщика.

Вопрос об антисемитской струе в народничестве несравненно более сложен, чем это представляется апологетам народничества. Сводить все дело к одному Герасиму Романенко — скверный адвокатский прием, достойный мелкобуржуазной публицистики. Положение не улучшается, если пристегнуть к Романенко не менее его достойных Льва Тихомирова и Дегаева. Можно откинуть всю эту компанию, и все же остается незыблемым положение: народничество в своих официальных документах, в статьях и в прокламациях выражало одобрение еврейским погромам, усматривая в них начало общего стихийного революционного выступления, направленного против помещиков и капиталистов. Это относится не только к «Народной воле», но и к «Черному переделу», и к украинским мелкобуржуазным социалистам. И дело здесь совсем не в антисемитизме народничества. Вопрос об антисемитизме можно оставить в стороне. Сочувствие погромам выражали и евреи-народники.

Дело здесь именно в народничестве, в той мелкобуржуазной, мещанской идеологии, которая в обстановке спада революционной волны не дала возможности революционерам разобраться в важнейших политических событиях. Идеализация крестьянской отсталости и ограниченности толкнула и на идеализацию неожиданного по своим формам выступления. Неумение разбираться в классовых отношениях заставляло во всей еврейской массе видеть одинаково народ эксплоататоров, народ сплошь из торгашей. Глубоко вкоренившееся отрицательное отношение к политической, организованной, массовой борьбе не давало возможности рассмотреть политическую контрреволюционную организацию всего погромного движения. Правительство Игнатьева действительно оказывало «плохо скрытую защиту» погромщикам. Но и этой плохо скрытой помощи не заметила «Народная воля». Напротив, некоторые народники в литературных выступлениях упрекали правительство в том, что оно мешает погромщикам выполнять свое дело—громить капиталистов и помещиков. В этом был и некоторый резон, потому что и правительство, со своей стороны, испугалось, как бы погромное движение, начатое как контрреволюционное средство расправы, не перебросилось совсем в другую сторону. Организовав погромы, правительство выступило в качестве стража «порядка».

Погромное движение было принято за революционное стихийное выступление всем народничеством. Но были и различные оттенки в народническом лагере. В чернопередельском «Зерне» и в некоторых местных прокламациях было указано на то, что еврейство не представляет собой чего-то единого, и громить надо только богатых евреев, а трудящуюся еврейскую бедноту бить не следует. Прокламации заканчивались призывом бить всех богачей, капиталистов и помещиков, независимо от национальности и веры. В «Народной воле» эта попытка провести классовое деление среди еврейства как-раз всего меньше представлена. Только однажды, и то мимоходом, «Народная воля» поставила вопрос о том, в какой мере погромное движение совместимо с революционными приемами действия. Вот ответ в № 6 «Народной воли»: «По поводу еврейских погромов многие интересовались ролью, которую мы, социалисты-революционеры, оставляем за собой при подобных народных расправах. Во имя гуманности тяжело отвечать на это, но ответ сам по себе ясен.— Помните у Тэна одну сцену из французской революции? К трупу женщины, только что задушенной разъяренной толпой, бросается один из убийц, распарывает ей грудь, вырывает сердце и в исступлении впивается в него зубами. Потрясающие сцены.— Но неужели Робеспьер, Дантон, С.-Жюст и Демулен, в виду крайностей разъяренного притеснениями народа, должны были отказаться от своей роли и своей обязанности в истории Франции?»

Замечательна эта ссылка мелкобуржуазного демократа на реакционнейшего историка Французской революции, задачу свою в том и видевшего, чтобы оболгать в интересах буржуазной контрреволюции всех деятелей и героев революционного якобинства. Но и помимо этого ни одного слова не нашлось у публициста «Народной воли» для отделения еврейской буржуазии от еврейских трудящихся масс. Таких слов и не могло найтись, потому что классовая точка зрения в национальном вопросе была глубоко чужда революционному народничеству, — в особенности послемартовскому, быстро облинявше-

му. Повторяем, не в антисемитизме тут дело. Антисемитская струя, отрицать которую для некоторых видных представителей народничества совершенно невозможно, была только производной величиной от общей позиции народничества в национальном вопросе.

В статье «От какого наследства мы отказываемся?» Ленин писал о том, что «народничество по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось позади по сравнению с «просветителями» (т. II, стр. 330). Национальный вопрос надо отнести к числу таких важнейших вопросов. В другом месте мы более подробно занялись этим (см. нашу книгу о М. П. Драгоманове). Здесь достаточно указать, что и по вопросу о независимости Польши, и по украинскому вопросу, и по еврейскому народничество 70-х годов сделало шаг назад в сравнении с «просветительской» буржуазной и мелкобуржуазной демократией 60-х годов. «Народная воля» вынуждена была уже в свое время обороняться против обвинений такого рода, и вот что она писала в № 8—9: «Нередко говорят, будто партии «Нар. воли» присуще пренебрежение местными особенностями русских окраин, стремление подчинить остальные народности великорусскому племени. Излишне доказывать, что народовольство как социалистическая партия чуждо каких бы то ни было национальных пристрастий и считает своими братьями и товарищами всех угнетенных и обездоленных без различия происхождения; что пользоваться племенной враждой, а тем более раздувать ее — вовсе не входит в наши планы; что мы не сделаем подобного шага, как бы ни была велика ожидаемая от того временная выгода для партии».

«Народная воля» видела таким образом, что правительство раздувает погромами «племенную вражду», и даже признавала, что это приносит «временную выгоду» партии. В противоречии со своими статьями, корреспонденциями и прокламациями она отрицала использование этой «временной выгоды», но уж во всяком случае она не считала необходимостью борьбу с этой раздуваемой «племенной враждой», оставившей по себе след не только трупами убитых евреев, не только разгромом имущества как-раз еврейской бедноты, но и глубокой деморализацией всего революционного движения, да и вообще всего общества. Мы могли бы привести здесь обращения рабочих Харькова, которые категорически протестовали против погромов и отбрасывали от себя обвинение в участии в них как в деле «позорном». Мелкобуржуазным демократам эта сторона дела оставалась чуждой.

Снова повторяем, совсем не в том тут дело, что народниками владело чувство «племенной вражды» к евреям. Подавляющее большинство народников не было антисемитами. Но из народнических своих посылок исходя, они целиком принимали антисемитскую концепцию еврейского вопроса. Они говорили об евреях как о сплошной массе торгашей, ростовщиков, паразитов. Они говорили о пресловутой «еврейской сплоченности». Они говорили о сплошной ненависти всего украинского крестьянства ко всем вообще евреям как к эксплоататорам. Народническая литература этого времени никак не могла дать отпора бешеной антисемитской погромной травле правительственных листков — «Нового времени», «Киевлянина» и т. п., потому что представление об еврейских массах у большинства народников было такое же, как у антисемитской буржуазии, и не случайно «Народная воля» сочувственно цитирует «Киевлянина» и заимствует из него материалы о погромах. И на этой же позиции стояли «Отечественные Записки» — легальный орган передового народничества, и в статье Южакова «Еврейский вопрос в России», напечатанной еще до погромной волны, точно так же говорится о «замкнутости, отчужденности, общей междуеврейской солидарности, жестоком отношении евреев к неевреям». Классовая точка зрения отсутствует полностью, хотя классовая диференциация среди евреев была уже очень заметна в это время и капиталистическая еврейская буржуазия резко отличалась от нищенствующей массы еврейских ремесленников, чернорабочих и всякой бедноты, мельчайшей уличной торговлей заполняющей вынужденную свою безработицу.

* * *

Вот в таких условиях и появилась знаменитая статья Салтыкова-Щедрина на страницах главного легального органа народничества. Она с чрезвычайной силой ставила

ОБЛОЖКА ОБЩЕДОСТУПНОГО ИЗДАНИЯ СТАТЬИ ЩЕДРИНА «ИЮЛЬСКИЕ ВЕЯНИЯ»

Брошюра вышла в серии «В защиту гонимого народа», изд. «Правда», Варшава, 1906 г.



вопрос о преследованиях евреев как о черном деле правительственной и общественной реакции. Салтыков-Щедрин связывал погромы непосредственно с «внутренней политикой», антисемитизм — с новым, откровенно-националистическим, «игнатьевским» курсом. Собственно, как и указывал Салтыков-Щедрин, это был не новый курс. Воинствующий национализм, украшенный славянофильскими перьями, был отличительной чертой реакции и в прежнее время. Но не случайно еврейские погромы разразились именно тогда, когда вершителем политики призван был граф Игнатьев, один из виднейших представителей казенного славянофильства. С вступлением на престол Александра III была провозглашена новая эра — «народной политики». О ней и говорил язвительно Салтыков-Щедрин: «Вот эта-то «народная политика» и взялась покончить с еврейским вопросом. Она всегда и за все бралась с легкостью удивительной. И «ключей» требовала, и Босфору грозила, и в Константинополе единство касс устроить сбиралась, и на кратчайший путь в Индию указывала». Это было прямое и по обстоятельствам того времени чрезвычайно смелое указание на участие правительства Игнатьева в защите еврейских погромов. Конечно эта защита была, как сказано, «плохо скрыта». Но все значение статьи Салтыкова-Щедрина было в том, что он вскрывал ее, находясь в народническом лагере, а вскрывши, указывал чуть ли не прямо пальцем на виновника погромов — правительство.

И со всей силой своей публицистической страсти Салтыков-Щедрин обрушивался на погромный антисемитизм, на разжигание националистических страстей. С удивительной для своего времени трезвостью Салтыков-Щедрин решительно отказывался видеть в погромах элементы революционного, прогрессивного выступления, элементы какого-то стихийного «социалистического» сознания. Своей статьей Салтыков-Щедрин бил по реакционному, по правительственному, по дворянско-помещичьему и реакционно-мещанскому лагерю. Он обличал людей, стоящих у власти, и всякого рода Деруновых и

Разуваевых, которые в роли городских гласных и представителей мещанских обществ действительно мобилизовались тогда для поддержки графа Игнатьева и засыпали правительство просьбами о повсеместном и поголовном выселении евреев. Но косвенно статья Салтыкова-Щедрина была ударом и по народничеству. Она шла прямо вразрез со статьей Южакова в тех же «Отечественных Записках» и со статьями «Народной воли». Статья Салтыкова-Щедрина подходила к еврейскому вопросу совсем с иной стороны, она клеймила вообще всякое религиозное и национальное преследование. Реакционная печать ответила на статью Салтыкова-Щедрина озлобленным лаем. Народническая — растерянным молчанием. Однако статья своей цели достигла, и несколько позже новая смена народовольцев в лице Германа Лопатина в «Народной воле» (№ 10) признает «ошибочной» формулу поддержки антиеврейских погромов и говорит даже о «полном помутнении собственного рассуждения». Мы можем теперь по достоинству оценить ту необыкновенную развязность, с какой Дмитрий Кузьмин пытался выдать статью Салтыкова-Щедрина за программный документ народничества.

Салтыков-Щедрин был редактором крупнейшего народнического журнала. Он был связан с народничеством многими и очень тесными нитями. Но он вместе с тем не только расходился с народничеством в очень многих важнейших вопросах, но и не боялся на страницах своего журнала выступать со статьями, прямо направленными против народничества. Такой статьей были и «Июльские веяния». Эта статья критиковала один из существенных предрассудков народничества, чем свидетельствовала о свободе самого Салтыкова-Щедрина от этих предрассудков.

Совершенно нелепо было бы ставить вопрос так: вот, мол, народники были подвержены антисемитизму, а Салтыков-Щедрин не был подвержен. Единственно важным в данном случае является то, что Салтыков-Щедрин мог рассмотреть и рассмотрел в общественном явлении важнейшие, характерные его черты, а народники, в том числе и его соратники по журналу, в большинстве своем не рассмотрели и не могли рассмотреть. Так было в еврейском вопросе, но так было и в некоторых других важнейших вопросах общественной жизни.

Как указывал Ленин, народничество сделало крупный шаг вперед в сравнении с передовой буржуазно-демократической мыслью 60-х годов, поставив и теоретически и практически вопрос о судьбах и путях капитализма. Но народничество сделало шаг назад в сравнении с «просветителями»-шестидесятниками, дав ложное, реакционно-романтическое, фальшиво-сентиментальное решение этого вопроса. Идеализация отсталой деревни застилала глаза народничества и лишила его возможности разбираться в классовых отношениях и в деревне, и в городе. Отсюда и тот тупик, в который попало народничество, и то «помутнение собственного рассуждения», в котором откровенно сознался Лопатин.

Салтыков-Щедрин проделал вместе с народничеством его движение вперед, но он никогда не принимал народнического решения вопроса о судьбах капитализма и поэтому оказался далеко впереди всего народничества. Он не смотрел на крестьянство через фальшивые народнические очки и поэтому не лишен был способности критического отношения к «стихийным» выступлениям. Салтыков-Щедрин в народническом лагере оставался в значительной мере прежним представителем прогрессивной «просветительской», радикально-демократической мысли. Одна из характерных черт русского «просветительства» — это, по словам Ленина, «горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России». Вот эта черта просветительства и сказалась в Салтыкове-Щедрине, когда он с такой сердечной силой, с таким пламенным протестом выступил против варварских погромов, против дикой расправы с целым народом, против возведения в культ народной темноты и отсталости.

Там, где народники видели только пробуждение «социалистических», антикапиталистических настроений масс крестьянской и городской бедноты, Салтыков-Щедрин различал прежде всего приложение на практике правительственной, помещичье-дворянской «народной политики», подлейшую демагогическую игру, имевшую целью политически и морально разбить революционное движение. Народники видели революцию

там, где ее не было. Салтыков-Щедрин различал контрреволюционную политику в погромной постановке еврейского вопроса и связывал воедино антисемитскую травлю и «оздоровление корней». И при этом он был бесконечно далек от либерально-буржуазного филосемитизма и не впадал в ошибку буржуазной печати, спешившей взять под свою защиту вместе с еврейской беднотой и еврейскую капиталистическую буржуазию, расписывавшей великие достоинства и добродетели «еврейского духа», «еврейской морали» и т. п. Салтыков-Щедрин и в этой своей статье, как в других произведениях, сатирически бичевал еврейских капиталистов, но тут же показывал, что так называемая «еврейская эксплоатация» — это явление не национального, а классового порядка, и еврейский Дерунов отличается от истинно-русского только чисто внешними и мало существенными чертами.

Салтыков-Щедрин знал, что идет против народнического течения в этом вопросе, и его статья содержит скрытую полемику с обычными народническими установками. В этом отношении интересны печатаемые здесь варианты статьи. Они отражают спор, который Салтыкову-Щедрину приходилось вести с народниками, а может быть и с самим собой. Некоторые аргументы народничества казались внешне убедительными. Их надо было отвести. Надо было обязательно преодолеть некоторые вкоренившиеся народнические предрассудки, и поправки, которые вводил Салтыков-Щедрин в первоначальный текст своей статьи. В особенности смущал Салтыкова-Щедрина обычный аргумент о сплоченности всего еврейства, делающей еврейство особой и замкнутой силой. Мы видели этот аргумент у Южакова. Либерально-буржуазная печать, в частности русско-еврейская, просто отрицала этот факт. Это скрывало в себе либеральную апологетику, адвокатскую защиту еврейства, неприемлемую для Салтыкова-Щедрина. Он различал классовые деления в современном еврействе, он проводил грань между «евреем сосущим» и «евреем не-сосущим», но в то же время он не мог не видеть какую-то национальную связь между этими двумя категориями еврейства. И он писал: «Почему же мы однако с такой легкостью отождествляем еврея сосущего с евреем не-сосущим, почему мы так охотно вымещаем на последнем досаду, которую пробуждает в нас первый? Не потому ли, что сосущий еврей есть сила, за которой скрывается еще сила, и даже не одна, а целый легион? Весьма вероятно, что в этом предположении есть очень значительная доля правды, хотя это и не приносит особой чести нападающей стороне».

Салтыков-Щедрин остановился перед этим кажущимся противоречием, не находя ответа. Но то, что наблюдал Салтыков-Щедрин в еврейской жизни и что носило название «еврейской сплоченности», было закрепощением еврейских трудящихся масс, всей еврейской бедноты у капиталистической буржуазии и ее агентов — раввинов, было проявлением национализма, следствием той темноты и отсталости, в которой еврейская буржуазия сознательно держала еврейские массы. Погромная политика царского правительства и антисемитизм буржуазии поддерживали искусственно культивируемое еврейскими буржуазными националистами недоверие еврейских трудящихся масс ко всему нееврейскому миру. Своим выступлением в защиту еврейских погромов народники немало способствовали и со своей стороны росту такого националистического недоверия. Здесь один из источников усиления сионизма. Национальная политика революционного пролетариата направлена на уничтожение националистического недоверия угнетенных при царизме народов путем развития интернациональной пролетарской солидарности, теснейшего сплочения трудящихся всех национальностей в единой борьбе против капиталистов, помещиков, кулаков.

Мы не можем требовать от Салтыкова-Щедрина такого понимания национального вопроса, какое дается марксизмом-ленинизмом. Достаточно того, что в этом вопросе Салтыков-Щедрин стоял несравненно выше, ушел несравненно дальше вперед, чем его современники-народники. Радикально-демократическое просветительство было сильной стороной его статьи, хотя оно было в 80-е годы уже отсталой стороной в деятельности Салтыкова-Щедрина. В сущности Салтыков-Щедрин не ушел вперед. Он оставался на старых позициях в этом вопросе, в то время как народники сделали шаг назад и в сторону. Опередив народников, Салтыков-Щедрин в то же время в этом

вопросе не приблизился к марксизму, который уже стучался в ворота русской передовой общественности. Статья «Июльские веяния» показательна и в этом отношении. То, что Салтыков-Щедрин говорит в статье об евреях богачах и евреях трудящихся и проводит классовые деления там, где народники видели одну сплошную буржуазную массу, — ничего еще не говорит о приближении Салтыкова-Щедрина к марксизму. Он критикует народничество в этом вопросе с позиций старого, радикально-демократического просветительства. В этом нетрудно убедиться, сопоставив статью «Июльские веяния» с знаменитой статьей Маркса «К еврейскому вопросу». Как и Бруно Бауэр, Салтыков-Щедрин ставит весь вопрос «на голову». Он ищет тайну особого положения еврея в современном обществе в особенностях религиозного и национального характера. Он находит выход по Бруно Бауэру — в «духовной эмансипации» всего общества от религиозных и национальных предрассудков. Маркс, напротив, выводил особое положение еврейской религии и еврейского народа из классовых особенностей капиталистического общества и решение еврейского вопроса видел в эмансипации общества от буржуазии. Октябрьская революция блестяще подтвердила на практике этот теоретический анализ и прогноз Маркса.

Д. Заславский

1. POST-SCRIPTUM [1]

Начну с вопроса — еврейского [2].

По моему мнению — корень этого вопроса — в темпераментах. Темпераменту русскому претит прежде всего внешний вид еврея. Все-то он движется, все-то он высматривает и все что-то жует и сосет.

— Что, еврей, сосешь?

— Музицка шашу.

Ужасно это сердит. Мужичка сосать не диковина: и Колупаев, и Разуваев, и Дерунов — все сосут. Но они сосут и в то же время «человеком» делают. Стало быть есть тут и воспитательная цель.

— Я тебя сосу, — говорит Дерунов, — да я же тебя и «человеком» сделаю!

И точно. Стоит только выдержать эту воспитательную практику — и «человек» готов. Сначала Дерунов называет его «крестником», потом начинает шутить, что, мол, «на одном солнце онучи сушили», а потом, смотришь, крестник уже и сам начинает, благословясь, посасывать Дерунова. Словом сказать, процесс сосания идет здесь «по-милу», «по-божецки» и никогда так, чтобы совсем без остатка. «Ты за меня, я за тебя, а бог за всех — так-то, милый друг!» «Точно так, Ваше степенство!» Разумеется, выдерживали многие, но тут уж Разуваев не виноват.

— Я все силы-меры употреблял, чтобы его «человеком» сделать, — говорит Разуваев, — ан из него вышел пентюх [не прок?].

Пентюх! но кто же об пентюхах говорит!

Напротив того, еврей никаких воспитательных целей в виду не имеет, именно «человеком» сделать не намеревается. Он просто возьмет «музицка» двумя пальцами, пососет и скорлупку выбросит. Потом возьмет другого «музицка» — и опять выбросит скорлупку. Когда же скорлупок наберется достаточно, он соберет их в кучу и продаст.

Никакого разговора «по душе», «по́-милу» при этом не происходит. Одна только оговорка: «шаши мене, ежели [хочешь] [можешь]!

— То-то, Давид Саулыч, что не изловчились еще мы!

— А коли ты не можешь, так я тебе шашу!

И дело с концом.

Но кроме «божецких разговоров» есть и еще разница между Деруновым и евреем. Дерунов обыкновенно выходит на промысел в одиночку. Жена его в это время «гуляет», а дети воспитываются в пансионах, с тем

СТРАНИЦА ЧЕРНОВОЙ РУКОПИСИ СТАТЬИ ЩЕДРИНА «POST-SCRIPTUM»

Институт Русской Литературы, Ленинград

чтобы из них вышли «добрые господа». Напротив того, еврей сосет [зачеркн.] целым родом. Не только он, старый Давид, но Рифка и Рохля, и Иосель, и Ицек и Элья — все жуют и скорлупки выплевывают. Как хотите, а это обидно. И никто из этих сосущих и жующих прожованного не отдаст [?]. А в довершение всего никогда он сыт не бывает, а громадное большинство детей редко в довольстве живет. Потому что едва только начнет еврей порядком насасываться — сейчас его к капитану-исправнику: а ну, показывай, жид, что у тебя в потрохах есть? Посмотрит капитан-исправник, посмотрит заседатель — много ли останется?

Только и всего.

Разумеется, частенько-таки выискиваются и такие молодцы, которые несомненно на пользу сосут, но такие удачники обыкновенно бегут из «своих мест» в большие центры и там заканчивают свое поприще в виде банкиров, железнодорожников, а прежде в виде откупщиков.

Вот по ним-то и составилось мнение о еврейском благоденствии.

. . . . 3

...Всякого рода запутанности, которые с течением времени настолько обострились, что далее оставаться не разрешенными быть не могут...

...Нет ничего бесчеловечнее...

...Но это бесчеловечие явится еще более осязательным, если припомнить, что нет на свете вещи более общедоступной, как предание, и что, следовательно, это последнее прежде всего становится достоянием толпы, и без того обезумевшей под игом собственного злосчастья. Именно такого рода характер имеет предание, наложившее клеймо отчуждения на еврейское племя. Когда я думаю о положении, созданном образами и стонами старой легенды, которая преследует евреев из века в век на всяком месте, — право, мне кажется, что я с ума схожу. Сдается, что зияет безграничная и бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и в этой пропасти мучится человек, у которого отнято все, даже право на смерть.

Ни один человек... не найдет в себе столько творческой силы, чтобы...

Вы скажете, может быть... театры, будуары самых дорогих кокоток кишат веселыми семитами, которые удивляют мир расточительностью и нелепою привередливостью своих требований и вкусов. Да, таких субъектов достаточно (мы даже почти их одних и знаем), но ведь это уже не евреи, а просто тати, члены того международного общества татей, в которое каждая национальность приносит свой вклад. Еврейского в них только некоторые ухватки, которые несколько более резки, нежели ухватки француза, немца, итальянца, но в обществе татей всякие ухватки легко утопают в пучине всевозможных интернациональных утонченностей. Однакож я убежден, что даже и подобные личности имеют свои бесконечно горькие минуты. И в обществе татей предание от времени до времени напоминает о себе, а в особенности говорит оно в минуты, подобные тем, которые мы не так давно пережили. Даже во сне, находясь в постели, купленной на всемирной выставке, увидеть себя евреем — этого достаточно, чтобы заставить человека в ужасе метаться и посылать бессильные проклятья судьбе. Между всем тем, хотя вся жизнь еврейского племени есть не что иное, как организованное мучительство, все-таки евреи живут. В чем заключается тайна этой живучести — это вопрос очень трудный. Одни объясняют живучесть евреев надеждой на отмщение, другие — мудростью, третьи — просто привычкой. Я думаю, что главную роль в этом играет то обстоятельство, что евреи составляют сильное и многочисленное племя, а племя никогда добровольно не накладывает на себя рук.

Уничтожить силу предания или даже ослабить ее — задача настолько запутанная, что только [легкомысленные] очень простодушные люди бе-

рутся с легким сердцем за ее осуществление. Предание наслоялось и внедрялось веками, и каждое новое предание прибавляло к нему новую лишнюю суровую черту. Даже поднятие общего уровня образованности едва ли приносит ощутительные улучшения, потому что мы можем рассчитывать только на относительное поднятие этого уровня, которое не обладает достаточной силой для борьбы. Современная Германия с ее резким антисемитским движением представляет этому вполне наглядное доказательство. Чтоб упразднить предание, необходимо, чтоб человечество окончательно очеловечилось, а когда это произойдет? Во всяком случае, это новая мучительная перспектива, которая стоит перед еврейским племенем.

2. ИЮЛЬСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ[4]

[Вы чересчур уж требовательны, милая тетенька! Засыпали меня вопросами. С чего поднялась суматоха с евреями? Что означают текущие административные перемены? Что такое происходит в Египте? и проч. Все-то Вы хотите знать и на все требуете ответа. Даже поступок околоточного, который на днях убил на Петербургской стороне купца,— и тот интересует Вас. Не замешалась ли тут внутренняя политика? спрешиваете Вы: каких вообще дальнейших поступков по этому поводу следует ожидать?]

На дворе июль; Петербург опустел и наполнился смрадом. С «вопросами» — тихо, даже еврейский вопрос[5] — и тот вдруг словно изныл... Но все-таки где-то еще скребут перьями[6], и чуется, что это не к добру. Ну что бы стоило сказать: оботрите перья, спрячьте бумаги в ящики, закройте на ключ и бегите куда глаза глядят! — как бы все вдруг оживилось! — так нет, стало быть, время еще не пришло. А тут, вдобавок, еще дернуло околоточного две души на Петербургской стороне загубить! Думаешь, нет ли тут внутренней политики и не отразится ли это происшествие на русской литературе, яко попустительнице и укрывательнице?

. . . .

Поговорим лучше об евреях. Хоть нынче с этим вопросом, как я уже сказал, и хорошо [?], но, право, и теперь, как вспомнишь о том, что было месяца три-четыре тому назад, мороз по коже подирает.

Не так давно и в печати и в обществе в большом ходу были толки о «народной политике» и о практическом ее применении[7]. «Народная политика» — вовсе не такое выражение, которое для кого бы то ни было представлялось загадочным, у всех народов оно имеет соответствующий термин. Означает она такую правительственную систему, в результате которой является: народное благосостояние, народная слава [?], вообще физический и духовный рост народа[8]. Ничего проще и вразумительнее не может быть. К сожалению, у нас не так[9]. У нас «народная политика» означает, во-первых, «жизнь духа», во-вторых, «дух жизни» и в-третьих, «оздоровление корней». Или, говоря другими словами: мели, Емеля, твоя неделя.

Вот эта-то «народная политика» и взялась покончить с еврейским вопросом. Она всегда и за все бралась с легкостью изумительной. И «ключей» требовала, и Босфору грозила, и в Константинополе единство касс устроить собиралась, и на путь в Индию указывала. И все-вотще[10]. Еслиб она меньше хвасталась, не так громко кричала, собираясь на рать, поменьше говорила стихами и потрезвее смотрела на свою задачу — может быть, она чего-нибудь и достигла бы. Но она хочет «дарданеллы» вперемежку с «жизнью духа» и «оздоровлением корней»[11] — понятно, что ни «ключи», ни проливы ей не даются, как клад. И вот после целого ряда проказ по части «оздоровления корней» и по части «проливов» подвертывается еврейский вопрос.

Читали ли Вы когда-нибудь сказку о «Диком помещике»? Содержание

ее очень незамысловатое. Помещик[12], начитавшись росказней о белой кости и алой крови, взмолился богу, чтоб он освободил его от мужика. «Об одном прошу, вопиял он, чтоб у меня во владениях мужичьим духом не пахло!» И бог внял мольбам неразумного помещика (конечно, чтоб впоследствии он сам понял свое неразумие): в одно прекрасное утро поднялся вихрь и в глазах помещика унес из его владений весь мужичий рой...

Какие плоды вкусил помещик от мужичьего исчезновения — это сюда не относится. Но, повидимому, легенда о легком исполнении помещичьих желаний увлекла наших «народных политиков»[13]. Вдохновляясь ею, они стали желать, чтоб тот же самый процесс повторился и над евреями. Да и как было не соблазниться примером! Не нужно думать ни о [зачеркн.] правах, ни об интересах, ни о каких бы то ни было пертурбациях — просто, как говорят дети: киш полетели, на головку сели[14]. И точно вихрь поднялся, но тут случилось нечто совсем неожиданное: улетели сами «народные политики», а евреи остались[15].

Повторяю: употребляя выражение «народная политика», я вовсе не имел желания издеваться над ее значением по существу. Я имею в виду только ореол [?], которым его окружают официальные монополисты народолюбия[16].

Евреи остались, но вместе с тем остался и еврейский вопрос.

История человечества никогда не выдвигала на страницах своих вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного [нрзб.]. История человечества вообще есть бесконечный мартиролог, но в то же время она и бесконечное просветление. В сфере мартиролога еврейское племя занимает первое место, в сфере просветления — оно стоит в стороне, как будто окончательные перспективы истории вовсе до него не касаются. Нет более надрывающей сердце повести, как повесть этого конечного истязания человека человеком. И история, которая для самых загадочных уклонений от света к тьме находит соответствующую поправку в дальнейшем ходе событий — излагая эту скорбную повесть, перед собственными письменами [?] останавливается в бессилии и недоумении. [Две строки зачеркнуты.]

Очевидно, что в ненормальном положении еврейского вопроса играют существенную роль всякого рода запутанности, которые с течением времени не только не смягчаются, но даже как будто больше и больше обостряются. В числе этих запутанностей главное место занимает предание, давно уже утратившее смысл, но доселе не утратившее своей живости, несознанные капризы расового темперамента и во-вторых, полное незнакомство с [нрзб.] массой еврейского племени [представителями которого выдают себя индивидуумы, действительно не возбуждающие симпатий][17].

Нет ничего бесчеловечнее и безумнее предания, выходящего из темных ущелий далекого прошлого для того, чтобы с жестокостью, доходящей до идиотского самодовольства, из века в век переносить клеймо позора, отчуждения и ненависти. Не говоря уже о непосредственных жертвах предания, замученных и обесславленных, оно извращает целый цикл общественных отношений и на самую историю налагает печать изуверской одичалости. Но бесчеловечие явится еще более осязательным, если припомнить, что на свете нет вещи больше общедоступной, как предание, и что, следовательно, последнее, прежде всего, становится достоянием толпы, и без того уже обезумевшей под игом собственного злосчастия. Именно такою общедоступностью обладает предание, поразившее отчуждением еврейское племя. Когда я думаю о положении, созданном образами и стонами исконной легенды, преследующей еврея из века в век на всяком месте,— право, мне сдается, что я схожу с ума. Кажется, что за этой легендой зияет безграничная и бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и в этой про-

РИСУНОК А. ЛЕБЕДЕВА НА ЩЕДРИНСКУЮ ТЕМУ
Из серии «Язык причесок» в «Осколках» 1880-х гг.



Новѣйшій россійскій фруктъ. Благочестивъ, но большой любитель мужицкихъ кармановъ. Изъ «мальчишекъ», но «кандидатъ въ столпы».

пасти агонизирует целая масса людей, у которых отнято все — даже право на смерть.

Ни один человек в целом мире не найдет в себе столько творческой силы, чтобы представить себя в положении этой неумирающей агонии, а еврей родится в нем. Стигматизированный он является в свет, стигматизированный агонизирует в жизни и стигматизированный же умирает. Или, лучше сказать, не умирает, а видит себя и по смерти бессрочно стигматизированным в лице детей и присных своих. Нет выхода из этой кипящей смолы, нет перспектив в будущем, кроме зубовного скрежета. Что̀ бы еврей ни предпринял, он всегда остается стигматизированным. Делается он христианином — он не христианин, а выкрест, остается при иудействе — он пес смердящий. Можно ли представить себе мучительство более безумное, более омерзительное?[18] Мне скажут, быть может: однакож, мы видим, что промышленные центры переполнены евреями, которые нимало не стесняются своим еврейством. Биржи, рестораны, театры, будуары самых дорогих кокоток — все это кишит веселыми семитами, которые удивляют вселенную наглою расточительностью и нелепою привередливостью своих прихотей и вкусов. Да, таких субъектов существует достаточно (мы их-то одних и знаем), но ведь в них еврейство играет уже далеко не существенную роль. Это обыкновенные тати, члены той международной аффилиации татей, в которую каждая национальность вносит свой посильный вклад[19]. Об еврействе в этих людях говорят только некоторые ухватки[20], несколько более резкие, чем у француза, англичанина, немца, но ведь в обществе татей всякие ухватки стушевываются в пучине всевозможных интернациональных утонченностей. Тем не менее можно сказать с уверенностью, что даже подобные личности по временам испытывают бесконечно горькие минуты. Даже в обществе татей предание, хоть и не особенно часто, но напо-

минает-таки о своей живучести, особенно же [громко оно говорит] в минуты, подобные тем, какие мы не так давно пережили [21]. Даже во сне, покоясь на постели, приобретенной на всемирной выставке [22], увидеть себя евреем — и этого достаточно, чтобы заставить человека метаться в ужасе и посылать бессильные проклятия судьбе.

Но хотя вся жизнь еврейского племени есть не что иное, как организованное мучительство, евреи все-таки живут. Какая загадка таится за этим фактом — это вопрос очень трудный для разрешения. Одни объясняют еврейскую живучесть надеждой на отмщение, другие — мудростью, третьи — просто привычкой. Сдается однакож, что тут главную роль играет тот общечеловеческий закон самосохранения, в силу которого целое племя [23] никогда добровольно не накладывает на себя рук.

Как бы то ни было, но уничтожить силу предания или даже ослабить ее — задача настолько запутанная, что только люди очень простодушные или очень хвастливые берутся с легким сердцем за ее выполнение [24]. Предание наслоялось и внедрялось веками, и каждое новое наслоение прибавляло к нему новую жестокую черту [25]. Даже поднятие общего уровня образованности не приносит в этом вопросе осязательных улучшений, потому что [мы можем рассчитывать] до сих пор мы были свидетелями только относительного поднятия этого уровня, которое не обладает достаточной силой для водворения принципа абсолютного [справедливости] равновесия. По крайней мере современная Германия со своим резким антисемитским движением представляет этому вполне наглядное доказательство. Чтобы упразднить предание, необходимо, чтоб человечество окончательно очеловечилось, а когда это будет? И вот перед еврейским племенем стоит новая мучительная перспектива: ждать окончательного очеловечения человечества.

Перспектива тем более безнадежная, что в союзе с преданием против еврейского племени действуют и несознанные капризы расовых темпераментов. Эти капризы, переходя из поколения в поколение, в свою очередь образуют предание, столь же компактное и не менее преисполненное всякого рода баснословий, как и основная [26] легенда о несмываемом еврейском клейме. И образ жизни еврея, и внешняя его складка, его манера говорить, ходить, одеваться — все дает пищу для неосмысленной досады, которая проявляется тем беспрепятственнее, что выражение ее всегда сопровождается безнаказанностью. Никто так мастерски не боится, никто не создал для себя такого странного внешнего облика, как еврей. Еврей самый почтенный внешним видом напоминает подростка, путающегося в отцовских штанах. Для темной массы этого вполне достаточно, чтоб иметь под рукою неистощимый источник всевозможных потех и издевок. Никому нет дела до причин, породивших «странности», в глазах мечется грубый факт, который заслоняет и проклятое прошлое, и мучительную обстановку настоящего [27]. Смешной лампсердак, нелепые пейсы, заячья торопливость, ни на минуту не дающая усидеть на месте, — вот все, что нужно[?], чтоб возмутить инстинкты темперамента [28]. Еврей и ходит не так, как люди, и говорит не так, как люди, и смотрит не так, как люди. От еврея — пахнет, еврей не смотрит, а глаза у него бегают; он не живет, а блудит. А как смешно и даже гнусно он говорит!

— Что, еврей, делаешь?

— Музицка шашу! [29]

То ли дело Дерунов с Разуваевым! Те прямо отчеканят: сосу мужичка — и шабаш. И правильно, и для потехи резонов нет: слушай и трепещи!

Давно ли власть имеющие лица резали у евреев пейсы и снимали с них лампсердаки? Давно ли, как лакомство, выслушивались рассказы о

веселонравных военных людях, ездивших на евреях и верхом, и в экипажах, занимавшихся травлей их и не знавших других [удовольствий?] кроме одного: подстерегать евреев с всевозможными членовредительными сюрпризами и покатываться со смеху при виде смешного ужаса, который является естественным последствием сюрприза. И что же! все это прошлое не только не [перестало быть прошлым] изменило своей сущности, но пропаганда еврейской травли пошла даже далее[30]. Ужели все это ради того, что еврей носит смешной лампсердак, нелепые пейсы и произносит «шашу» вместо «сосу»?[31] Говорят, будто выражение «музицка шашу» представляет девиз, которым определяются отношения всякого еврея к окружающей среде. Но в таком случае какое же дать толкование выражению «сосу мужичка», которое на практике имеет отнюдь не менее обширное применение? По существу они оба одинаково подлы[32], а в практическом применении тоже одинаково доступны не всякому, а только могущему вместить. Сосать мужичка[33] очень лестно, но для этого нужно иметь случай, сноровку, талант. Дерунов и Разуваев сосут, но Малявкин и Козявкин — не сосут. Первые обладают всеми нужными для сосания приспособлениями, вторые, напротив, так устроены, что сами представляют несомненно удобства для беспрепятственного сосания[34].

И Дерунов, и Разуваев отлично это понимают и как организмы более сильные всегда сумеют оттереть от лакомого блюда организмы менее сильные. Точно тот же закон обязателен и относительно евреев. И между ними правом лакомиться пользуются только сильные организмы, а Малявкины и Козявкины точно так же, как и в предыдущем примере, пользуются только правом представлять собой материал для сосания. Вся разница в том, что Дерунов называет сосомого Малявкина «крестником»[35] и [уверяет, что он его «человеком» сделать хочет] не чуждается при этом прибаутки вроде: по-милу да по-божецки» или «ты — за меня, я—за тебя, а бог за всех». А еврей-Дерунов сосет серьезно, без прибауток. Возьмет «музицка» двумя пальцами, пососет и скорлупку выплюнет; потом возьмет другого «музицка» и опять скорлупку выбросит[36]. И никакого разговора по душе при этом не бывает, кроме самой простой [нрзб.]: «шаши мне, ежели мозесь!»

— То-то, Давид Саулыч, что не приловчились еще мы!

— И ежели же не мозесь — тогда я тебе шашу!

И шабаш[37].

Повторяю: и в том и другом случае сосущими[?] являются Разуваевы, каждый со свойственными соответствующей национальности ухватками[38]. Но как для русского народа Разуваев не может служить определяющим типом, так точно было бы несправедливо это допустить и относительно еврейского племени[39]. Но для еврея-Разуваева есть даже смягчающее обстоятельство: он очень часто[40] сосет вотще. Как только еврей-Разуваев начинает насасываться, так тотчас же налетает ревизия: «показывай, жид, что у тебя в потрохах есть? И всякий, кому не лень, берет по рассмотрении часть. «Вот это — мне, это — мне, а это — также мне»[41].

Много ли останется? И какую нужно иметь силу воли, или какую удачу, чтобы, претерпев все ревизии, благополучно вынырнуть в мире концессий и банкирских гешефтов и там, сбросивши с себя узы еврейства, кормить обедами тайных советников, а некоторых из них иметь даже в услужении...[42] Что мы знаем об еврействе, кроме концессионных безобразий и проделок евреев-арендаторов и евреев-шинкарей? Имеем ли мы хоть темное понятие о той бесчисленной массе евреев-мастеровых и евреев-мелких торговцев, которая кишит в грязи жидовских местечек и неистово плодится, несмотря на вечно-присущую угрозу голодной смерти? Испу-

ганные, доведшие свои потребности до минимума, эти люди ничего не просят, кроме забвения и безвестности, а им дают поругание...

Какое зверское [нрзб.] повести!

Даже в литературу нашу только недавно начали проникать лучи, освещающие этот воистину агонизирующий мир. Да и теперь едва ли можно указать на что-нибудь подходящее, исключая прелестного рассказа г-жи Оржешко «Могучий Самсон». И те, которые пожелают узнать, сколько симпатичного таит в себе это племя и какая страшная трагедия тяготеет над ним [43],— пусть обратятся к этому рассказу, каждое слово которого дышет правдой. Наверное, они задумаются [44], и задумаются в самом лучшем, человеческом смысле этого слова [45].

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В обеих публикуемых здесь рукописях — «Post-scriptum» и «Июльские размышления» — выпущена часть (меньшая), не связанная с интересующею нас темой.

2 Рукопись «Post-scriptum» начинается словами: «Вы чересчур уж требовательны, милая тетенька!»

Написано, как обычно у Щедрина, в два столбца, направо текст, налево поправки. На левом столбце кроме того карандашом: 1) цифровые расчеты, 2) программа очерка, повидимому набросанная в начале писания. Находим следующие записи:

Околот[очный]
Если [тоже] так спроси.
Я Ваш[ество] завсег[да] лучше спрош[у]
Компрометируется общ[ество?] шпион
Дерунов сосет и человеком делает.
Еврей сосет и скорлупки бросает
Сцена из евр[ейского] быта.

3 Верхний правый угол второго листа оборван. Приводим в начале сохранившиеся обрывки фраз.

4 Рукопись «Июльские размышления» сначала также была озаглавлена «Post-scriptum», но затем это первоначальное заглавие было зачеркнуто.

Написана она тем же обычным у Щедрина способом, что и первая рукопись.

Мы производим сравнение «Июльских размышлений» с печатной (журнальной) редакцией, озаглавленной «Июльское веяние».

Дополнения, сделанные М. Е. Салтыковым в журнальном тексте, как и все вообще разночтения, даны здесь в подстрочных примечаниях, при чем оставлены в стороне мелкие разночтения стилистического характера, не имеющие значения для уяснения интересующего нас вопроса.

5 В журнальном тексте: «наделавший было изрядного переполоху...»

6 В журнальном тексте: «Вероятно это какая-нибудь невзначай уцелевшая комиссия доскребывает свою последнюю песню».

7 В журнальном тексте: «О необходимости практического ее применения. Но, к удивлению, эти толки более смущали нежели радовали».

8 В журнальном тексте: «Процветание наук, промышленности, искусств, литературы, общее довольство, обеспеченность и доверие — вот в нескольких словах программа «народной политики». Ясно, что такого рода явление в глазах всякого здравомыслящего человека может быть только желательным».

9 В журнальном тексте: «У нас, вследствие укоренившейся привычки говорить псевдонимами, понятия самые простые и вразумительные получают загадочный смысл».

10 В журнальном тексте: «Но нельзя сказать, чтобы с успехом».

11 В журнальном тексте: «Но она всегда продавала шкуру медведя, не убивши его».

12 В журнальном тексте: «Не весьма умный помещик, огорченный крестьянской реформой и начитавшийся...»

13 В журнальном тексте: «Стесняясь еврейской назойливостью и видя, что тут ничего не поделаешь ни «жизнью духа», ни «духом жизни», ни даже «оздоровлением корней», они избрали легчайший путь».

14 Эта фраза не вошла в журнальный текст.

15 В журнальном тексте: «До такой степени остались, что даже на днях я видел: ходит еврей у нас по дачам, как будто полотно продает, а сам подслушивает, не наклевывается ли где-нибудь революции — точь в точь как полноправный русский гражданин!»

16 Эта фраза не вошла в журнальный текст.

17 В журнальном тексте: «...и во-вторых, совершенно произвольное представление

об еврейском типе на основании образцов, взятых не в трудящихся массах еврейского племени, а в сферах более или менее досужих и эксплоатирующих».

[18] В журнальном тексте вместо «более омерзительное» — «более бессовестное».

[19] В журнальном тексте: «Это обыкновенные гулящие люди (многие называют их «татями», но я не вижу надобности следовать этой терминологии), члены той международной аффилиации гулящих людей, в которую каждая национальность вносит свой посильный вклад».

[20] Слова «несколько более резкие, чем у француза, англичанина, немца» не вошли в журнальный текст.

[21] Вся эта фраза отсутствует в журнальном тексте.

[22] Слова «покоясь на постели, приобретенной на всемирной выставке» не вошли в журнальный текст.

[23] В журнальном тексте: «племя, однажды сознавшее себя племенем, никогда добровольно не налагает на себя рук».

[24] В журнальном тексте: «Задача настолько сложная, что даже люди очень убежденные отступают перед нею».

[25] В журнальном тексте: «Да и кто всего упорнее хранит эти предания? — их хранит толпа, которая сама насквозь пропитана злосчастием и в отношении которой всякий укор был бы несправедливостью и всякое решительное воздействие — делом в высшей степени щекотливым».

[26] В журнальном тексте: «Как и изукрашенная веками легенда».

[27] В журнальном тексте: «И презренную обстановку настоящего».

[28] Слова «вот все что [...] чтобы возмутить инстинкты темперамента» отсутствуют в журнальном тексте.

[29] В журнальном тексте: «А как смешно и даже гнусно он шепелявит!

— Что, еврей, губами мнешь?

— Дурака шашу!»

[30] В журнальном тексте: «И что же! разве это прошлое так и кануло в вечность? — Нет, оно только видоизменило формы, а сущность передало неприкосновенною».

[31] В журнальном тексте эта фраза опущена.

[32] В журнальном тексте: «Одинаково омерзительны».

[33] В журнальном тексте: «Сосать простеца или «дурака» (он же рохля, ротозей, мужик и проч.)».

[34] В журнальном тексте: «Дерунов и Колупаев — сосут, а Малявкин и Козявкин, хоть и живут с ними по соседству, не сосут. Первые обладают всеми нужными для сосания приспособлениями, вторые — теми же приспособлениями обладают наоборот».

[35] В журнальном тексте: «Вся разница в том, что коренной Дерунов, присасываясь к Малявкину, называет его «крестником»...

[36] В журнальном тексте вставка: «Ужасно видеть это серьезное выплевывание скорлупок, но, право, и прибаутки слушать не слаще».

[37] Всего этого места, начиная со слов «и никакого разговора по душе», в журнальном тексте нет.

[38] Эта фраза отсутствует в журнальном тексте.

[39] В журнальном тексте: «А Разуваева-еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все племя кричать: ату!»

[40] В журнальном тексте: «Он чаще всего...»

[41] В журнальном тексте эта фраза опущена.

[42] В журнальном тексте большая вставка: «Почему же, однако, мы с такою легкостью отождествляем еврея сосущего с евреем не-сосущим, почему мы так охотно вымещаем на последнем досаду, которую пробуждает в нас первый? Не потому ли, что сосущий еврей есть сила, за которою скрывается еще сила, и даже не одна, а целый легион? Весьма вероятно, что в этом предположении есть очень значительная доля правды, хотя это и не приносит особенной чести нападающей стороне. Но во всяком случае в бесчеловечной путанице, которая на наших глазах так трагически разыгралась, имеет громадное значение то, что нападающая сторона относительно еврейского вопроса ходит в совершенных потемках, не имея никаких твердых фактов, кроме предания (нельзя же в самом деле серьезно преследовать людей за то, что они носят пейсы и неправильно произносят русскую речь!)».

[43] В журнальном тексте: «Сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием».

[44] В журнальном тексте: «Наверное это чтение пробудит в них добрые, здравые мысли и заставит их задуматься...»

[45] В журнальном тексте следующее окончание: «Знать — вот что нужно прежде всего, а знание несомненно приведет за собой и чувство человечности. В этом чувстве, как в гармоническом целом, сливаются те качества, благодаря которым отношения между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно: справедливость, сознание братства и любовь.

Этим пожеланием я и заканчиваю мою настоящую беседу с читателем».

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС[1]

Реакция начала 80-х годов нашла между прочим свое выражение в волне еврейских погромов, прокатившейся по всему югу и юго-западу России главным образом весною 1881 и 1882 гг. Погромы эти проходили не только при полном попустительстве местных властей, но были санкционированы властями высшими — и прежде всего министром внутренних дел графом Н. П. Игнатьевым.

При Игнатьеве же были изданы 3 мая 1882 г. пресловутые «Временные правила» о евреях, согласно которым последние лишались права селиться, а также приобретать и брать в аренду недвижимые имущества вне городов и местечек черты оседлости и т. д.

Будучи официально мотивированы желанием предохранить коренное население от «еврейской эксплоатации», эти «Временные правила», которых пагубное действие на экономическое положение еврейских масс не замедлило обнаружиться, были призваны, по выражению одной газеты, «дорешить» еврейский вопрос, поднятый на площадях Елисаветграда, Киева, Балты...[2]

Еврейский вопрос не сходил со столбцов всей тогдашней периодической печати, почти всегда подвергаясь искаженным толкованиям, притом не только в печати реакционной. И если травля евреев Аксаковыми и Сувориными не может являться для нас неожиданностью, ибо она была логически-необходимым звеном в общей цепи их мировоззрения, то, с другой стороны, отнюдь не случайным был и сочувственный взгляд народнической печати на погромное движение. Таковой вгляд всецело вытекал из реакционно-утопической, мелко-буржуазной основы народничества. Укажем на подпольную печать «Народной воли», рассматривавшую погромы, как средство развязать стихию революции[3]. Укажем и на легальные «Отечественные Записки». Правда, здесь помещаются такие произведения, как рассказ Э. Ожешко «Могучий Самсон», на который впоследствии будет ссылаться Салтыков, но более характерны для журнала такие, как статья Южакова «Еврейский вопрос в России», где доказывается существование специфически-еврейской эксплоатации. Отличительной чертой этой эксплоатации, по Южакову, является «замкнутость, отчужденность, общая междуеврейская солидарность, жестокое отношение их (т. е. евреев) к не-евреям». «Эксплоатация разлилась повсюду,— говорится далее в этой статье,— но союз для эксплоатации существует только между евреями...» Наконец, «если дело продолжится так,— предсказывает Южаков,— то действительно наибольшая часть капиталов не только южного и западного края, но и всей России сосредоточится в руках евреев»[5].

Можно было бы привести еще целый ряд примеров, характеризующих общую постановку еврейского вопроса и в частности отношение к нему народнической журналистики, но и приведенного достаточно.

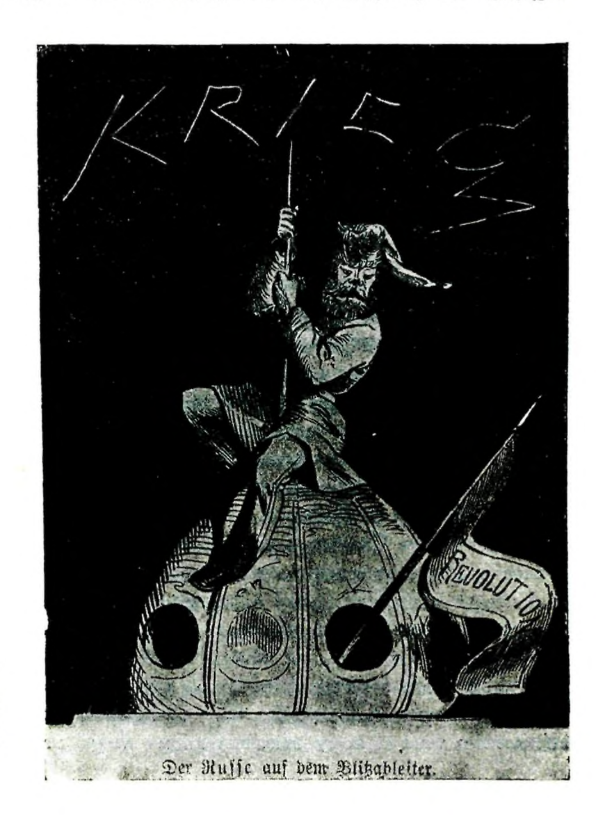
В этих условиях появление в «Отечественных Записках» (в августовской книжке 1882 г.) статьи М. Е. Салтыкова «Июльское веяние» было чрезвычайно знаменательно. Это было поистине свежей, живительной струей в затхлой атмосфере травли, активной и пассивной вражды и упорного непонимания еврейского вопроса. Салтыков прежде всего разрушает легенду о сплошном эксплоататорстве еврейства. Он едва ли не первый ставит вопрос классово диференцированно. Нет единой, классово однородной еврейской массы, а есть евреи-Деруновы и евреи-Малявкины. «Тот же самый закон имеет силу и в еврейской среде», элементарно разъясняет Салтыков. И проводя четкую грань между еврейской буржуазией и еврейской беднотой, Салтыков решительно становится на защиту последней.

А хищническую буржуазию эпохи «первоначального накопления» Салтыков ненавидит и безжалостно бичует — «невзирая на нации». В ряде его произведений перед нами проходит целая галлерея типов финансистов, мироедов, концессионеров и тому подобных паразитов и «гулящих людей». Здесь наряду с «коренными» показаны греки, евреи и др. И в сатирическом изображении этой буржуазии Салтыков вскрывает ее эксплоататорскую сущность, единую при всем национальном многообразии отдель-

ных ее носителей. В «Июльском веянии» дается уже и прямая формулировка этой мысли об интернациональном характере буржуазии, когда говорится о «международной аффилиации[6] «гулящих людей», в которую каждая нация вносит свой посильный вклад». Перед лицом Капитала — «несть эллин, ни иудей»! И если «эллин» или «иудей» выделяется своими «ухватками», по выражению Салтыкова, и некоторыми особенностями своего произношения, то во всяком случае не они — это произношение и эти ухватки — являются объектом острой и злой щедринской сатиры[7].

Если мы под таким углом зрения подойдем к Щедрину, то мы у него конечно не найдем ничего такого, что было бы направлено против той или иной нации, как таковой, в частности против евреев. И мы должны поэтому признать несостоятельными все те упреки в антисемитской тенденции отдельных произведений или, точнее, отдельных мест в произведениях Салтыкова, которые делались в разное время по его адресу. В частности основанием для такого рода упреков неоднократно служила сказка «Пропала совесть», в которой один из критиков например считает «несомненным пятном... изображение еврейской семьи, где малолетние дети совершают в уме банкирские операции...» «Салтыков,— продолжает этот критик,— должен был конечно воздержаться от этой фальшивой и несправедливой сатиры на ребенка чужой национальности»[8].

Это рассуждение порочно потому, что не учитывает самого основного: в сказке изображена не «еврейская семья», а еврейская капиталистическая семья, и сатирическое острие направлено не против «ребенка чужой национальности», а против ребенка из буржуазной семьи, вернее против той социальной среды, которая питает и выращивает его. Это между прочим косвенно подтверждается характеристикой восьмилетнего Démétrius'а, сына купца первой гильдии Ивана Онуфрича Хрептюгина (в «Губернских очерках»). Приведем это место: «...Сыздетства головку его обуревают разные экономические операции и хотя не бывает ни в чем ему отказа, но такова уже младенческая его жадность, что, даже насытившись до болезни, все о том только и мнит, как бы с отеческого стола стащить и под комод или под подушку на будущие



«РУССКИЙ НА ГРОМООТВОДЕ»

Немецкая карикатура на политическую тактику самодержавия, стремившуюся в военных авантюрах найти «громоотвод» от революции

Рисунок из журнала «Kladderatsch» 1878 г., № 20

времена сохранить. К изучению французского языка и хороших манер не имеет он ни малейшего пристрастия, а любит больше смотреть, как деньги считают...» [9]

Здесь аналогия с десятилетним «Рувимом Самуиловичем», совершавшим в уме банкирские операции, напрашивается сама собою.

С другой стороны, какие сочувственные слова умеет находить Салтыков, когда речь идет о еврейском ребенке (как таковом)! Критикуя в «Мелочах жизни» состояние школы, над которой «тяготеет нивелирующая рука циркуляра», он пишет: «Мало того: при самом входе в школу о всяком жаждущем знания наводится справка: дворянин или мещанин? Какого вероисповедания: православный, католик или, наконец, еврей? Для последних в особенности школа — время тяжелого и жгучего испытания. С юношеских лет еврей воспитывает в себе сердечную боль, проходит все степени неправды, унижения и рабства. Что же может выработаться из него в будущем? Нет ни общей для всех справедливости, ни признания человеческой личности, ни живого слова... Что может дать такая школа?» [10]

Возвращаясь к сказке, повторяем еще раз: совершенно недопустимо перенесение в ней центра тяжести с плоскости социально-классовой в плоскость национальную. Мы имеем в этой сказке отнюдь не противопоставление еврея не-еврею (притом невыгодное для первого — в таком только случае и можно было бы говорить об антисемитизме), а противопоставление совершенно другого рода: старого строя, основанного на эксплоатации, с его представителями—капиталистами, полицейскими охранителями и неизбежными пропойцами,— строю грядущему, социалистическому, в котором «исчезнут все неправды, коварства и насилия» и в котором «будет распоряжаться совесть...»

Другое произведение Салтыкова, вызвавшее в свое время те же обвинения в антисемитизме, это «Дневник провинциала в Петербурге».

В IX главе «Дневника» [11], в которой ярко показана механика биржевой игры на повышение и понижение курса и вообще дано классическое изображение биржевого ажиотажа, выведены типы акционеров — Гершка Зальцфиш, Иерухим Хайкл и др., при чем несколько раз их называют «пархатыми жидами», а в одном месте обронена фраза о «старинной ненависти их к христианству» и т. д.

Когда эта глава была напечатана в журнале (за подписью «М. М.»), в «Вестнике Русских Евреев» появилось открытое письмо Н. А. Некрасову (как редактору журнала), в котором автор — М. Хволос — возмущается «бранью на целую нацию в такой грубой форме», с тоской вспоминает про знаменитый «Литературный протест» против антисемитской выходки «Иллюстрации» в 1858 г. и скорбит по поводу «упадка нашей прессы». «Нам было особенно больно и обидно,— говорится далее в письме,— встретить в этом «Дневнике» такую грубую ни к селу, ни к городу, даже в прямой ущерб общей связи сатирической мысли, пригнанную брань, что по некоторым литературным приемам, развязности и резкости стиля, а подчас бесспорно своеобразному едкому юмору, в нем чувствуется как бы сатирическое перо г. Щедрина» [12].

Салтыков ответил на это письмо в февральской книжке «Отечественных Записок» 1873 г., в подстрочном примечании к напечатанному там очерку «В больнице для умалишенных». В этом очерке, который мыслился Салтыковым как продолжение «Дневника провинциала» (Салтыков имел в виду начать новый, однако не осуществившийся цикл), выводится помешанный Гольденштейн, мечтавший о возрождении евреев путем захвата ими всех банков и кабаков и усиления эксплоатации мужика. В примечании к этому месту Салтыков пишет, отвечая Хволосу, следующее: «этот-то высокочтимый деятель обвиняет меня в «развязности», т. е. в таком качестве, к которому я сам всегда относился неодобрительно! Оказывается, однако ж, что г. Хволос, бросая в меня своим обвинением, сам поступает с развязностью поистине прискорбною. Оказывается, что он, читая «Дневник», не понял самого главного: что я веду «Дневник» от третьего лица, которого мнения суть выражение мнений толпы, а отнюдь не моих личных». И дальше Салтыков вновь повторяет: «все, описываемое в «Дневнике», относятся исключительно к тому вымышленному лицу, от которого он ведется» [13].

Таким образом Салтыков этим простым разъяснением совершенно определенно и в категорической форме отводит все обвинения его в антисемитизме.

К этому заявлению Салтыкова мы можем сделать лишь следующее дополнительное разъяснение.

В «Дневнике провинциала» — в плане интересующего нас вопроса — следует различать два момента: с одной стороны, здесь показана трактовка еврея как эксплоататора и едва ли не грабителя («Ведь жиды уже наверное ограбили бы!») — трактовка, являющаяся «выражением мнений толпы», которых конечно Салтыков не приемлет, как не приемлет он и всех прочих мнений и взглядов героев «Дневника провинциала» и самого «провинциала». Против этой трактовки, основанной на смешении понятий «народа», и «класса», Салтыков впоследствии блестяще выступит со специальной статьей. С другой стороны, на материале «Дневника» дан сатирический показ биржевиков-евреев — на фоне сатирического изображения биржевого ажиотажа вообще,— что уже является выражением отношения самого Салтыкова.

И нет никаких оснований требовать от всеохватывающей и беспощадной щедринской сатиры пощады именно для капиталиста-еврея. А упрекать Салтыкова за сатиру на евреев-концессионеров, биржевиков и т. п., расширительно толкуя ее как сатиру на евреев вообще,— это, в сущности, тот же антисемитизм... наизнанку.

Новый — высший — этап в развитии взгляда М. Е. Салтыкова на еврейский вопрос связан с позорными годами погромов (1881—1882). Это было время, когда широкие еврейские массы расплачивались за грехи эксплоататоров еврев и не-евреев, одновременно оказавшись жертвой реакционной политики правительства. Необходимо было поднять голос в защиту этой массы. И Салтыков выступает со статьей «Июльское веяние», о которой мы уже упоминали выше и к более детальному рассмотрению которой мы переходим [14].

Сохранилось две черновых редакции этой статьи [15]. Сравнительный анализ обеих этих редакций, которые мы здесь опубликовываем, а также сопоставление их с журнальным текстом статьи, являющимся окончательным, дают нам интересный материал, показывающий, как подходит Салтыков к теме, как в процессе работы отдельные стороны вопроса все больше для него проясняются, как наконец уточняются терминология и отдельные формулировки.

Уже в плане, набросанном карандашом на полях первой рукописи, дана первоначальная наметка темы, которую Салтыков пытается затем (в 1-й редакции) реализовать.

«Дерунов сосет и человеком делает.

Еврей сосет и скорлупки бросает».

И дальше, уже в тексте рукописи, устанавливается то различие между Деруновым и евреем, что у первого «процесс сосания» идет «по-милу», «по-божецки» и сочетается с «воспитательной практикой», а второй не воспитывает, «человеком» не делает: «Он просто возьмет «музицка» двумя пальцами, пососет и скорлупку выбросит».

Сделать «человеком» на языке Дерунова означает не что иное, как сделать способным к такому же сосанию других. И Дерунов — в первой редакции — оказывается настолько хорошим «воспитателем», что «воспитанник», т. е. мужичек, объект его эксплоатации («сосания»), в конце концов начинает «посасывать» его самого.

Все это рассуждение, как бы стирающее классовые грани (эксплоатируемый легко превращается в эксплоататора) и плохо увязывающееся с реальной действительностью, является конечно неудачным. И мы видим, что во второй редакции оно Салтыковым отвергнуто. Само же сопоставление Дерунова и еврея сохранено во второй редакции. Но здесь это сделано с четкостью и ясностью, не вызывающей никаких недоразумений. Здесь дана в своем роде классическая формулировка различия между двумя национальными типами эксплоататора, т. е., другими словами, устанавливается, что по существу никакого различия нет.

«Вся разница в том, что Дерунов называет сосомого Малявкина «крестником» и не чуждается при этом прибаутки... А еврей-Дерунов сосет серьезно, без прибауток» [16].

Чрезвычайно важно отметить, что в этой редакции употребляется уже не общий

термин «еврей», а классово определенный «Дерунов-еврей». Это уточнение было тем более необходимо для Салтыкова, что сам же он протестует против отождествления еврея-эксплоататора с евреем вообще.

«Говорят будто выражение «музицка шашу» представляет девиз, которым определяются отношения всякого еврея к окружающей среде. Но в таком случае, какое же дать толкование выражению «сосу мужичка», которое на практике имеет не менее обширное применение?»

Все эти улучшения вошли в окончательный текст с небольшими лишь стилистическими разночтениями.

В первой редакции мы находим еще одно место, не вошедшее во вторую редакцию. «Но кроме «божецких разговоров» есть и еще разница.— Дерунов обыкновенно выходит на промысел в одиночку... Напротив того, еврей сосет целым родом».

Это рассуждение, уводящее в сторону от существа вопроса и само по себе неверное, свидетельствует о том, что Салтыков не сразу нашел нужную формулировку.

И Салтыков отказался от него во второй редакции к несомненной выгоде ее.

О предании (подразумевается евангельское) и о расовом темпераменте, играющих роль в еврейском вопросе, Салтыков говорит как в первой, так и во второй редакции, но в первой выдвигается значение темперамента, а во второй — предания. Во второй редакции наряду с этим подчеркивается еще один момент, быть может наиболее характерный для салтыковской концепции еврейского вопроса, — это его указание на «полное незнакомство с массой еврейского племени (представителями которого выдают себя индивидуумы, действительно не возбуждающие симпатии)»[17].

В журнальном тексте это выражено определеннее. Здесь вещи уже названы их классовыми именами. Вот это место: «...совершенно произвольное представление об еврейском типе на основании образцов, взятых не в трудящихся массах еврейского племени, а в сферах более или менее досужих и эксплоатирующих».

В дальнейшем изложении Салтыков эту мысль конкретизирует еще более:

«Что мы знаем об еврействе, кроме концессионных безобразий и проделок евреев-арендаторов и евреев-шинкарей? Имеем ли мы хоть темное понятие о той бесчисленной массе евреев-мастеровых и евреев-мелких торговцев, которая кишит в грязи жидовских местечек и неистово плодится, несмотря на вечно присущую угрозу голодной смерти? Испуганные, доведшие свои потребности до минимума, эти люди ничего не просят, кроме забвения и безвестности, а им дают поругание».

Концовку печатного текста (в обеих рукописях она отсутствует) Салтыков посвящает тезису о спасительной роли знания, о знании как предпосылке человечности. Тезис этот типично просветительский. Но мы тут же должны оговориться относительно того содержания, которое Салтыков вкладывает в понятие «знание» (и «образование»),— во всяком случае здесь, в данной статье. Говоря в одном месте статьи о цепкой силе предания, Салтыков продолжает:

«Даже поднятие общего уровня образованности, как это показывает современное антисемитское движение в Германии, не приносит в этом вопросе осязательных улучшений, потому что до сих пор мы были свидетелями только относительного поднятия этого уровня, которое не обладает достаточной силой для водворения принципа абсолютного равноправия. Следовательно, чтобы упразднить предание, необходимо, чтобы человечество окончательно очеловечилось»[18].

Салтыков здесь же проводит грань между относительным поднятием культурного уровня («которое не обладает достаточной силой»...) и окончательным очеловечением человечества. А «окончательное очеловечение человечества» — это у Салтыкова не что иное, как цензурное обозначение грядущего социалистического общества. Здесь речь идет уже не просто о «знании». «Чтобы упразднить предание, необходимо, чтобы человечество окончательно очеловечилось». Другими словами, лишь в социалистическом обществе возможно полное уничтожение власти религиозных и всяких иных предрассудков. Относительное же знание в рамках эксплоататорского обще-

ства бессильно. Мы видим следовательно, что в этом случае, как и во многих других, Салтыков частично выходит за пределы просветительской идеологии.

Необходимо остановиться еще на некоторых разночтениях журнального текста по сравнению со второй редакцией. В большой вставке, которую Салтыков делает в журнальном тексте, он задает себе вопрос: «Почему же, однако, мы с такою легкостью отождествляем еврея сосущего с евреем не сосущим?.. Не потому ли, что сосущий еврей есть сила, за которою скрывается еще сила, и даже не одна, а целый легион?» Можно предполагать, что здесь мы имеем отклики на статью Южакова, выдержки из которой мы приводили выше. И хотя Салтыков допускает, что «в этом предположении есть очень значительная доля правды», он тут же оговаривается, что это все же «не приносит особенной чести нападающей стороне». И вновь оговаривается насчет бездоказательности всех антиеврейских обвинений:

«Нападающая сторона относительно еврейского вопроса,— пишет он,— ходит в совершенных потемках, не имея никаких твердых фактов, кроме предания...»

Далее. По поводу травли евреев Салтыков вспоминает рассказы о «веселонравных военных людях, ездивших на евреях» и издевавшихся над ними,— рассказы, которые «выслушивались как лакомство». И Салтыков задает вопрос (в журнальном тексте): «Разве это прошлое так и кануло в вечность? — нет, оно только видоизменило формы...»

Это все та же очень часто встречаемая у Салтыкова и характерная для него мысль о том, что с падением крепостного права отнюдь не исчезли крепостные нравы и что старое продолжает жить, хотя и под новой внешностью...

Тут же напомним, что уже в «Губернских очерках» выведены офицеры, среди которых «производят неотразимый эффект... рассказы о том, как офицер тройку жидов загнал», и т. д.

Наконец, говоря о пресловутых «народных политиках», которые «попробовали применить к постылым евреям тот же летательный процесс, какой был применен «диким помещиком» к постылым мужикам», Салтыков продолжает: «И точно, поднялся вихрь, но... улетели народные политики, а евреи остались». В этом месте в журнальном тексте сделана интересная вставка: «До такой степени остались, что даже на-днях я видел: ходит еврей у нас по дачам, будто полотно продает, а сам подслушивает, не наклевывается ли где-нибудь революция—точь в точь как полноправный русский гражданин!»

В этой вставке Салтыков иронизирует по поводу того, что для целей борьбы с революцией реакция прибегает и к евреям-шпионам и что лишь в роли шпиона осуществляется полнота «прав» русского гражданина...

Касаясь статьи в целом, надо сказать, что она была одним из самых замечательных публицистических выступлений Салтыкова. Разграничение еврея-трудящегося и еврея-эксплоататора, требование более близкого знакомства с положением трудящихся масс евреев, а также то страстное негодование, которое прекрасно сочетается у Салыткова с беспристрастностью анализа,— все это остается огромной заслугой его.

Конечно салтыковская концепция еврейского вопроса, поскольку она изложена в его статье, с нашей точки зрения может быть подвергнута критике.

Здесь не дано социально-экономического анализа вопроса, не вскрыты исторические причины, приведшие к специфической экономической роли значительной массы евреев, слишком подчеркивается значение расового и религиозного факторов и т. д.

Но и то, что дано здесь, достаточно свидетельствует о том, насколько Салтыков возвышался над окружавшей его народнической средой, сохранив верность принципам радикального демократизма 60-х годов. Воинствующая литературная реакция не могла простить Салтыкову его смелого выступления и с пеной у рта говорила о нем как о «раздутом еврейскими перьями в первоклассную знаменитость», обвиняя его в заигрывании с еврейским вопросом и т. д. и т. п. И это лишний раз доказывает то большое общественно-политическое значение, которое имела статья Салтыкова в то время. И конечно не случайно, что у либерала Тургенева, несмотря даже на специальное к нему обращение с мольбой о защите, нехватило смелости на подобное выступление [19].

После «Июльского веяния» Салтыков вновь затрагивает еврейский вопрос в XXV

и XXVI главах «Современной идиллии», появившихся в «Отечественных Записках» в 1883 г. (в майской книжке).

В известном смысле эти главы «Современной идиллии» являются художественной иллюстрацией к «Июльскому веянию».

Как в «Июльском веянии», тут дано сравнение эксплоататора-еврея с коренными эксплоататорами — Астафьичем, Финагеичем и Прохорычем, «которые тем легче отбили у наглого пришельца сосательную практику, что умели действовать и калякать с мужичком «по душе» и «по-божецки». Это совпадение даже отдельных выражений лишний раз подтверждает близкое родство «Современной идиллии» с «Июльским веянием».

Еврейский вопрос — да и национальный вопрос вообще — может служить в известном смысле пробным камнем, позволяющим нам более точно определить общественную природу, общественно-политическое «я», «нутро» того или иного деятеля.

В этом смысле ознакомление с отношением к еврейскому вопросу данного художника, публициста, политика чрезвычайно поучительно.

Более близкое ознакомление с салтыковским наследием в этом вопросе дополняет новым ценным штрихом его общественно-политический портрет и новой, прочной нитью связывает великого сатирика с нашей современностью.

О. Спектор

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Работа была зачитана в Щедринском семинаре аспирантов Ленинградского историко-философско-лингвистического института (руководимом Н. В. Яковлевым).

2 «Недельная Хроника Восхода» 1883, № 9.

3 Некоторыми членами Исполнительного комитета «Народной воли» была даже составлена погромная прокламация «К украинскому народу», правда не получившая распространения.

4 «Отечественные Записки» 1880, декабрь.

5 «Отечественные Записки» 1882, май.

6 Подчеркнуто мною. — *О. С.*

7 Это косвенно именно тем и подтверждается, что у Щедрина мы находим воспроизведение особенностей произношения как «эллина», так и «иудея», т. е., другими словами,— всех без разбору национальностей, представители которых выступают на страницах его произведений, а не какой-либо одной из них.

См. например особенности произношения итальянца (Корподибакко), грека (Аристида Фемистоклыча) в «Дневнике провинциала», и т. д., и т. п.

8 М. Е. Салтыков, Сказки. Под ред. Л. Гроссмана. ГИЗ, 1926.

См. вступительную статью редактора. См. также отклик М. С. Ольминского на эту статью в его сборнике «Статьи о Щедрине» 1930, стр. 51—53.

9 Салтыков (Щедрин). Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. III, стр. 141.

10 Салтыков (Щедрин). Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. IV, стр. 265—266.

11 Напечатана в ноябрьском номере «Отечественных Записок» за 1872 г. В отдельном издании «Дневника», а также в Собрании сочинений Салтыкова эта глава обозначена X.

12 «Вестник Русских Евреев» 1872 г., № 24.

13 «Отечественные Записки» 1873, № 2, отд. II, стр. 360. (Подчеркнуто мною.— *О. С.*)

14 «Июльское веяние» было напечатано в «Отечественных Записках» 1882 г.; вошло в цикл «Недоконченные беседы» (гл. VI).

15 В первой редакции статья озаглавлена «Post-scriptum», во второй — «Июльские размышления».

16 Интересно отметить большую близость этого сравнения с другим сравнением, которое мы находим в журнале «Дело», в статье Ленского «Еврей и кулак»:

«Еврей может как угодно надуть и обобрать крестьянина,— говорится в этой статье,— но дальше его кармана он не заглядывает. Кулаку же одной материальной шкуры мало, ему нужна еще нравственная» («Дело» 1881, сентябрь).

17 Вторая половина фразы в рукописи зачеркнута. Этими словами Салтыков метил вероятно в какого-нибудь С. С. Полякова (известного финансиста и железнодорожного деятеля), якшавшегося с Катковым и «представлявшего» еврейство в реакционных сферах. Очевидно он действительно «не возбуждал симпатий» Салтыкова (см. например письмо Салтыкова к Тургеневу от 9/VI 1882 г. «Письма» под редакцией Н. В. Яковлева, ГИЗ, 1924, стр. 224).

18 Эти слова Салтыкова о Германии, написанные 50 лет назад, особенно актуальны в наши дни.

19 Имеется прямое указание, что Тургенев опасался упреков со стороны реакционных кругов в подкупе евреями (см. «Недельная Хроника Восхода» 1883, №№ 35 и 40).

МЕЖДУ ДЕЛОМ

(Неизданный вариант из «Недоконченных бесед»)

Публикация и предисловие Н. Яковлева

ЩЕДРИН И БЕЗОБРАЗОВ

«...Знаете ли вы, что такое Баден-Баден — этот маленький европейский Вивилончик — это помойная яма, куда стекают помои цивилизованного общества... Какое общество! какое нестройное смешение всего — красоты и порока, роскоши и продажности, пустоты и тщеславия! Недаром здесь такая бездна русских! Богатство таулетов наших петербургских и московских дам, являющихся три раза в день на променады, превышает всякое вероятие... Одна из дам... м-м Корвильи, та самая, от которой застрелился или зарезался бедный Милютин, ...нынче остановила меня на улице и пригласила на... праздник, верст за 5 от Бадена. На прогулке не раз встречал я женщин такой ангельской кроткой красоты, таких милых и обворожительных, и что ж? Все эти ангелы продажны и ценят себя недешево — 100 франков, 500 франков. За весьма короткий миг обладания. В этой сфере может ли быть и намек о любви, и жаль смотреть, как наша богатая молодежь погибает в сетях этих гурий. Дурасову три недели в обществе одной из них стоили 20000 франков!!!»

Так писал в 1857 году поэт-парнасец Я. П. Полонский. Свои впечатления он выразил даже в стихах, в послании к другому поэту-парнасцу А. Н. Майкову («Голос Минувшего» 1919, № 1—4, стр. 127). Что же после этого должен был говорить желчный сатирик, один из виднейших литературных представителей народнической демократии, когда он очутился в Бадене-Бадене в 1875 г., то-есть вскоре после разгрома Парижской коммуны, которая заставила все европейское «общество» сперва содрогнуться, а затем с новой силой предаться вакханалии?

В своих письмах 1875—1876 гг. из Баден-Бадена и Ниццы Салтыков называет эти модные курорты «благовонными дырами» и даже непотребным домом (подлинное выражение нелитературно), а их обитателей — «всесветными хлыщами» и «кокотками, признанными законом честными женщинами и матерями семейств», повидимому не считая даже нужным упоминать о настоящих кокотках.

«Сегодня в полдень... ездил ...берегом моря; с одной стороны вода без конца, местами голубая, местами зеленая, а с другой — высочайшие горы. И везде виллы, в коих сукины дети живут. Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам — ужасно много портят крови...» («Письма», ГИЗ, 1924 г., № 93).

Особую ненависть вызывали в Щедрине «русские гулящие люди за границей», «откормленные идиоты», «свиньи». В результате этих наблюдений у него возникла «Книга о праздношатающихся», переименованная затем в «Культурных людей» («Отеч. Записки» 1876, кн. I). Начинается она знаменитым сопоставлением «конституции» и «севрюжины с хреном». Но еще ранее был написан гораздо менее известный четвертый очерк из серии «Между делом» («Отеч. Записки» 1875, кн. IX). Здесь рассказывается, как автор со своим другом Глумовым посещает некоего Износкова, их школьного товарища. Этому Износкову еще на школьной скамье сочинили родословную: отец — Бычок, мать — Светлана, бабка — Резвая от Громобоя и Гориславы, прапращур — сам

Синеус (замечательно сплетение двух генеологических линий: феодально-дворянской и коннозаводской). В момент рассказа Износков являет собою подлинного представителя русского «культурного слоя». Он весь поглощен вопросами «туалетной науки», интересами жилетов и штанов и всякого рода уходом за своим на диво раскормленным и выхоленным телом. Когда разговор их переходит наконец к вопросу о тяжелом положении русской литературы, то оказывается, что Износков «по-русски давно ничего не читает», «считая нашу литературу помойной ямой, в которую сваливаются все общественные нечистоты». Тем самым дальнейшая беседа становится затруднительной, хотя Износков любезно и впредь приглашает к себе старых товарищей.

Продолжая размышлять на тему о положении русской литературы и отношении к ней различных общественных групп, Салтыков от «культурных людей», Износковых, перешел к охранителям культурного благополучия, блюстителям дворянско-буржуазного порядка, сотским, исправникам, прокурорам. Но этот сюжет оказался конечно слишком опасным для расширенной литературной разработки. Только что перед этим цензура вырезала из сентябрьской книжки «Отечественных Записок» четвертую главу «Экскурсий в область умеренности и аккуратности», посвященную анализу передовицы в либерально-молчалинской газете «Чего изволите?» на тему: «О числе и качествах городовых» [1].

Тогда Щедрин перешел к вопросу об отношении к литературе русских ученых. В результате этого и возник ныне публикуемый пятый очерк из серии «Между делом» как прямое «продолжение» четвертого. Салтыков предназначал его для ноябрьской или декабрьской книжки «Отечественных Записок» 1875 г. и уже сдавал в набор (рукопись хранит типографскую разметку). Но печатанию что-то помешало: или цензура, или спасения, что в очерке будет узнан один из его старых знакомых и даже друзей.

После двух-трех беглых сатирических зарисовок различных ученых специалистов Щедрин дает в этом очерке развернутую художественную характеристику — образ ученого экономиста Никанора Полосатова. Рассказ начинается со школы и доводится до зенита славы этого «фризового ученого», в котором современники могли бы заподозрить Владимира Павловича Безобразова.

В самом деле вслед за одним товарищем по школе, Износковым, перед нами является другой — Полосатов. Безобразов же был по лицею немного младше Салтыкова.

Воскрешается школьная, лицейская обстановка. Щедрин рассказывает между прочим о «директоре заведения, старом генерале, страстно любившем фехтовать». Директорами лицея при Салтыкове были сначала «генерал-майор Федор Григорьевич Гольтгоер, бывший директором.... кадетского корпуса, называвшегося дворянским полком», а затем «начальник штаба первого резервного кавалерийского корпуса генерал-майор Дмитрий Богданович Броневский»[2]. Этот последний и был вероятно любителем фехтования.

Интересна еще одна повидимому лицейская черта. Щедрин в настоящем очерке приписывает ее самому Полосатову, это — составление сочинений на темы сначала — о кнуте, а потом — о трехвостной плети «перед судом правды и справедливости». В другом своем произведении, немного более позднем, «За рубежом» (1880—1881), Щедрин опять вспоминает о школе и воспроизводит ту же самую черту, только приписывая ее на этот раз одному из профессоров (см. главу II).

Укажем также, что в одном своем более раннем произведении, «Господах ташкентцах» (1872), Щедрин выводит еще одного мальчика-экономиста, только с менее ученым, более практическим уклоном, оказавшего большие успехи в деле усвоения «науки о спросе и предложении». Это — Порфиша Велентьев из «Параллели четвертой», имевший так сказать тройную наследственную склонность к финансовым операциям (отец — взяточник в качестве советника питейного отделения; мать — помещица-кулак; дяди, по матери, — конские барышники и карточные игроки, научившие мальчика волшебному слову «клац» со всякими последующими фокусами).

Вряд ли можно сомневаться в том, что такое упорное повторение этих «криминалистических» и «политико-экономических» воспоминаний в связи со школой соответствует каким-то действительным впечатлениям юношеских лет Салтыкова. Но нам важно не это соответствие щедринских образов с действительностью, а тот литературно-социологический и политический смысл, который вкладывает Щедрин в это изображение за-



КАРИКАТУРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЛИЦЕЯ — ПРОФ. П. Е. ГЕОРГИЕВСКОГО (ЛИЦЕЙСКОЕ ПРОЗВИЩЕ «ПЕПА») *

Из альбома лицейских карикатур 1839—1841 гг.

Институт Русской Литературы, Ленинград

рождения в недрах феодально-дворянского привилегированного учебного заведения будущих деятелей буржуазно-промышленной России.

Щедрину не пришлось показать взрослого Порфирия Велентьева как «ученого» организатора каких-нибудь грандиозных торгово-промышленных предприятий, превосходящего широтою и глубиною замыслов других наших самородных капиталистических воротил.

Возможно, что причиною этого явилось отсутствие настоящей натуры. Зато замечательно удался ему тип ученого эксперта-экономиста, работающего в двух-трех министерствах, вечно разъезжающего по Росссии в командировках и экспедициях, пишущего статьи и исследования, читающего лекции и доклады, наконец собирающего у себя на вечерах виднейших представителей правительственных финансово-хозяйственных учреждений и частнокапиталистических торгово-промышленных и финансовых предприятий. Здесь натурой ему вполне мог служить упомянутый выше Владимир Безобразов.

В нашем очерке автор сообщает о себе, что по выходе из школы он «запропастился куда-то вглубь». Под этим очевидно разумеется ссылка Салтыкова в Вятку. Неважно конечно, что вернулся Салтыков опять в Петербург через семь, а не «двенадцать» лет. Добавим к этому, что в первые годы, по возвращении, Салтыков поддерживал с Безобразовым довольно близкие отношения. Безобразову посвящена пьеса Щедрина «Смерть Пазухина» (отдельное издание 1857 г.). При посредстве Безобразова началось сотрудничество Салтыкова в «Русском Вестнике», после того, как Некрасов отказался печатать «Губернские очерки» в «Современнике». По воспоминаниям Л. Пантелеева [3], Салтыков и Безобразов даже жили в то время на одной квартире. Вероятно эти годы имел в виду сам В. Безобразов, когда писал позднее в своем дневнике, что «прежде был так близок» с Салтыковым [4].

Сохранилось шесть писем Салтыкова конца 60-х годов к В. Безобразову из Рязани, где Салтыков в то время был вице-губернатором. В этих письмах Салтыков благодарит Безобразова за присланные ему журнал Министерства государственных имуществ и книгу (повидимому «Материалы для физиологии общества в Германии», М., 1859 г.), приглашает приехать к нему в Рязань, просить похлопотать о месте вице-губернатора в Твери в виду своего расхождения с рязанским губернатором Муравьевым [5].

---

* Более подробное описание этой и других карикатур, воспроизведенных в данной публикации, см. в сообщении М. Калоушина «Салтыков в лицее», помещенной в этом томе.

Уже в то время Безобразов был человеком влиятельным в столичных бюрократических кругах, работал в трех министерствах (кроме указанного выше, еще в министерстве финансов и военном), а также в Русском географическом обществе и вскоре был избран адъюнктом Академии Наук. С середины 70-х годов Безобразов был уже тайным советником и членом Совета министерства финансов, читал лекции в лицее и великим князьям. Л. Слонимский указывает на достоинство специальных работ Безобразова по различным вопросам практической экономии и финансов [6], но широкой публике были более известны многочисленные публицистические статьи Безобразова, в которых он постоянно выступал экспертом от науки, освещая ее авторитетом различные правительственные мероприятия. Большой известностью также пользовались организованные Безобразовым «экономические обеды», на которых встречались высшие государственные чиновники и торгово-промышленные и финансовые деятели и происходили обсуждения различных хозяйственно-политических вопросов.

Отношения Салтыкова и Безобразова испортились повидимому в конце 60-х годов. В октябрьской книжке «Русского Вестника» за 1869 г. Безобразов поместил статью «Наши охранители и наши прогрессисты», в которой между прочим несколько раз полемически цитировал различные статьи Салтыкова в «Отечественных Записках». Статья кончалась призывом к борьбе под «знаменем» «России и ее обновления» против «неблагонадежных материалов» и «неблагонадежных понятий»... В числе их естественно оказывались цитированные мнения Салтыкова. Статья эта глубоко задела Салтыкова. Он немедленно реагировал на нее анонимной статьей под названием «Человек, который смеется» в ноябрьской книжке своего журнала. Но тут же выразился настоящий подход Щедрина к деятельности Безобразова, более глубокий, чем личная обида и, по существу, ничем с нею не связанный. Дело в том, что Безобразов в указанной статье своей «Наши охранители и наши прогрессисты» рассказал о том, как один подрядчик обсчитал несколько сот рабочих на постройке железной дороги, но рассказал не для того, чтобы глубоко этим возмутиться, а «просто на смех», «ради шикарности и пикантности» этой истории. Щедрин и начинает с того, что протестует против подобных «бесплодно-свистопляществующих статей» и, тем самым, возращает Безобразову его обвинение — кличку, брошенную по адресу прогрессистов («беззаветные свистуны»).

Таким образом в дальнейшем нам предстоит проследить две линии в высказываниях Щедрина о Безобразове: во-первых, парирующую личный удар—обвинение в неблагонадежности; во-вторых, обличающую махрово-буржуазный грюндерский характер литературной деятельности самого Безобразова как ученого прислужника расцветающего российского промышленного капитала и буржуазной монархии.

Начнем с первой. Не ограничившись одним ответом («Человек, который смеется»), Щедрин неоднократно возвращается к статье Безобразова («Наши охранители и наши прогрессисты») на протяжении нескольких лет. Так в 1870 г., говоря о ревизии в Пермской губернии, Щедрин непреминул ввернуть, что там «не слышно... о вторжении вредных и неблагонадежных элементов (особенный вид преступности, рекомендуемой академиком Безобразовым, но, по неясности признаков, до сих пор в уголовный кодекс не внесенный)» («Итоги», глава II).

Наконец все о том же обвинении в «неблагонадежности» со стороны Безобразова Щедрин вспоминает еще в 1882 г. в «Письмах к тетеньке» («Письмо десятое»).

Но Щедрин полемизировал с Безобразовым не только в связи с указанной статьей. В 1870 г. например в «Письмах из провинции» он язвительно высмеял пресловутые безобразовские экспедиции по России («Письмо двенадцатое»). Далее, в «Дневнике провинциала» (1872) Щедрин рассказывает между прочим об отставных корнетах, пишущих разные проекты и записки со ссылками на авторитеты «Токевиля... и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а из отечественных публицистов — академика Безобразова и князя Мещерского» (глава III). В том же «Дневнике провинциала» в главе VI Щедрин, заставляя Нескладина прочесть статью о «распределении налогов», очень остроумно пародирует статьи Безобразова (хотя под автором этой статьи-пародии, Нескладиным, принято как будто подразумевать К. К. Арсеньева).

Затем в 1873 г. Щедрин живописал, как помпадур Феденька Кротиков и помпадурша Анна Григорьевна Волшебнова «читали статьи В. П. Безобразова и удивлялись тому,

что такая плодотворная вещь, как кредит, не только не оплодотворяет Навозного, но даже служит как бы к запустению» («Помпадур борьбы или проказы будущего»).

Наш очерк является таким образом хорошо подготовленным целым рядом предшествующих кратких, но метких замечаний, отдельных, но ярких и резких штрихов. Читатель не найдет и здесь никаких «личностей» Щедрина против Безобразова.

Начатое в «Между делом» Щедрин докончил в «Письмах к тетеньке». Здесь дана вторая половина художественной характеристики Безобразова, уже маститого ученого, академика, хозяина-организатора «экономических обедов».

Об этих обедах Щедрин неоднократно вспоминает и до того, в конце 70-х годов, в рассказах: «Дети Москвы» (1878), «Дворянская хандра» (1878), а в «Современной идиллии» (1877) «собеседования, производимые на экономических обедах» и «воспоминания» о них введены даже в полицейский «Устав о благопристойном обывателей в сей жизни поведении», § 1, ст. ст. 6 (пункт г.) и 23 («Глава VIII»).

Вторая половина жизнеописания характеристики Полосатова—Грызунова—Безобразова, дополняющая первую половину Полосатова—Безобразова, дана Щедриным в двенадцатом из «Писем к тетеньке».

«С тех пор прошли годы. Грызунов немедленно принялся оправдывать возлагаемые на него надежды. Сначала он сделался «нашим молодым и блестящим экономистом», потом — «нашим известным экономистом» и наконец — «нашим маститым экономистом». Писал он изобильно и легко, писал обо всем, об чем взгрустнется... И об том, отчего мы бедны, и об том, отчего у нас во всем изобилие; и о том, что изобилие уменьшает цену на предметы, и о том, что хотя в о о б щ е г о в о р я, изобилие и уменьшает цену



КАРИКАТУРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЛИЦЕЯ — ПРОФ. Ф. А. ДЕ-ОЛИВА

Из альбома лицейских карикатур 1839—1841 гг.

Институт Русской Литературы, Ленинград

на предметы, но «в то же время, до известной степени и увеличивает ее». Словом сказать, возьмет из кучи любой вопрос и без труда на него ответит. Природа даровала ему железную поясницу и чугунное при ней днище, и он с признательностью пользовался этим даром. Сядет, посидит, и сколько посидит, столько напишет. Урвет что-нибудь у Бастиа, или у Рикардо, или даже у Кокорева («нечто о глазомере в связи с смекалкою»), а скажет, что сам выдумал. И, написавши, сидит некоторое время дома и ждет, что его позовут: пожалуйте, Иван Александрович, министерством управлять. Ждал он таким образом целых двадцать пять лет; его не раз звали, но всегда дело оканчивалось тем, что его же спрашивали: «ах, об чем, бишь, нужно было с вами поговорить?» Значит, звать звали, а призвать, не призвали. Как это случилось — он не понимает, да и я, признаться, не понимаю. Человек знает, отчего монета кругла (а может быть и отчего кругла земля?), а никому до этого как будто дела нет. Не повезло ему — вот и все. Иногда он впадал в уныние от этой несправедливости, но вера, что никому в целой России неизвестны так близко тайны спроса и предложения (а это, тетенька, позамысловатее «Тайн мадридского двора») — спасала его. Несмотря на длинный ряд неудач и разочарований, всякий раз (и это в течение всего двадцатипятилетнего периода!), как в известных сферах возникало движение, он вновь начинал волноваться, надеяться и ждать. Несомненно, ждет и поднесь.

Это постоянное, страстно-выжидательное состояние оказывает известное влияние и на его отношения к людям. Когда в воздухе носятся либеральные веяния, он льнет к либералам, а консерваторов называет изменниками. Когда на рынке в цене консерватизм, он прилепляется к консерваторам и называет изменниками либералов. Но это в нем не предательство, а только следствие слишком живучего желания пристроиться.

Я думаю, что Грызунов не жаден, и охотно удовольствовался бы половинным содержанием, если бы его призвали. Я даже думаю, что в сущности он и не честолюбив. Он просто знает свои достоинства и ценит их — вот и все. Но так как и другие знают свои достоинства и ценят их, то он и затерялся в общей свалке».

В тех же «Письмах к тетеньке» («Письмо пятнадцатое») автор в беседе с Глумовым еще раз вспоминает «нашего общего друга Грызунова».

Отметим попутно, для интересующихся лично-биографической стороной отношений Салтыкова и Безобразова, что слова Щедрина: «Меня Грызунов долгое время не любил» и т. д., — получают подтверждение в дневнике Безобразова: «Он (Салтыков.— *Н. Я.*) был рад меня видеть (по словам Боткина), хотя обыкновенно не показывал этого». Значит, встреча Салтыкова и Безобразова, на даче у Боткина, под конец жизни обоих (в 1887 г.), прошла в дружественном порядке. Хотя Безобразов, в том же дневнике, все же непреминул посетовать на «дикий», невозможный характер Салтыкова, «отдалявший от него всех», кроме А. М. Унковского и В. П. Гаевского (тоже лицеисты), как людей «неслыханной доброты», в 1889 г., узнав о смерти Салтыкова, в дороге во время командировки, Безобразов немедленно послал семье сочувственную телеграмму, а затем написал некролог («Новости» от 17 мая 1889 г., № 134).

Подведем итоги. Нельзя не признать, что Щедрин сумел создать достаточно цельный и ценный художественный образ Велентьева—Полосатова—Грызунова как ученого прислужника русского капитализма и буржуазной монархии. Но обобщающая сила этого образа была бы еще больше, если бы он был лишен тех (лично-биографических, безобразовских?) черт какой-то доброты, рыхлости, простоватости, которыми наделил его Щедрин. Иначе, и гораздо вернее, подошел к этим «ренегатам из семьи профессоров» Некрасов, давший в своих «Современниках» незабываемые образы «ученых» Швабса и Леонида, мечтающих остричь разом весь мир.

Н. Яковлев

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. «Язык и литература», т. I, 1926 г.
[2] Кобеко, Д., Царскосельский лицей, 1811—1843. Петербург, 1911, стр. 204, 425.
[3] «Из воспоминаний прошлого», т. II, стр. 151—152.
[4] «Русская Старина» 1909 г., кн. 12, стр. 524.
[5] См. «Новое Время» 1900 г., № 8879 и «Голос Минувшего» 1912 г., № 2.
[6] «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», т. II, стр. 306 и сл.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Свидание с Износковым произвело на меня скверное впечатление. Есть в жизни условия, на которые лучше не открывать глаз; неприятно и унизительно бродить в темноте, но еще неприятнее и унизительнее получить такие разъяснения, которые не только не устраняют темноты, но представляют ее как неотвратимый факт, и не подают никакой надежды на выход из нее. В жизни русской литературы есть тайна и на дне этой тайны сидит «шлющийся» русский человек, из породы тех, которых в просторечии называют прохвостами. Этот человек, праздный, невежественный, не знающий куда преклонить голову, поглощенный интересами жилетов и штанов, — этот человек имеет какое-то соприкосновение с литературой, воздействует на нее, и ежели не произносит прямо: vos ego*, то потому только, что русский язык выработал гораздо более целесообразное выражение: в бараний рог согну!

Этот человек игнорирует литературу [он даже не без шика говорит: я по-русски давно ничего не читаю], но, взамен того — презирает ее. Этот человек неразвит и невежествен до бестияльности, но так как на нем штаны от Тедески и сюртук от Жоржé, то этого достаточно, чтоб он присвоил себе название представителя культурного слоя. Он — человек культуры, а литература—это сброд темных и подлых людей, не имеющих об культуре никакого понятия! И что всего страннее, этот человек чувствует, что он сила, что он и ему подобные представляют в некотором смысле «контингент». Не сказка ли это?

Еслиб Износков был единичным явлением, он был бы только скучен, но безвреден; но двое Износковых уже не безвредны, потому что вдвоем они могут уже комплотировать. Пойдите дальше, представьте себе целый легион Износковых, которым, по причине их праздности, ничего не остается, как комплотировать — и вы убедитесь, что тут есть уже действительная опасность, что это своего рода дамоклов меч, постоянно висящий над головой. Насколько достойны посмеяния эти люди, взятые по одиночке, настолько же страшны они, взятые скопом.

Говорят: литература уклонилась от благородного пути, что она пошла путями извилистыми и подлыми путями, угрожающими утопить историческую русскую культурность в хаосе наплывных элементов, не имеющих ничего общего с культурою. Но позвольте же, милостивые государи! Во-первых, все это одни слова, опровергаемые вашим собственным наивным признанием, что русская литература для вас terra incognita**, а во-вторых, позволительно еще усомниться, кто имеет больше прав указывать пути, которым должна следовать литература: сама ли литература или так называемые люди культуры, то-есть люди культуры потолику, поколику надетый на них фрак удовлетворяет последним требованиям портного искусства?

Нет, дело не в путях, а в том, что задачи новой русской литературы сделались строже и яснее. Литература не забавляет больше, а призывает к самосознанию и к делу. Как бы ни многоразличны и несходны были понятия о предстоящем деле—все-таки дело, а не безделье представляет литературный point de mire***. Вот тот нож вострый, который так не понутру «шлющимся» людям. Им противна самая мысль об «деле»; даже такое дело, как дело «Домашней Беседы» — и то тяжело, непосильно для них. И вот почему они так охотно останавливаются на «заблуждениях», маскируя этим словом самую простую ненависть к делу. Если бы литература, попрежнему, вела речь об улучшении быта безделицы — она

* Я вас!
** Неведомая страна.
*** Цель.

могла бы блуждать и заблуждаться в этой области сколько угодно; но она блуждает в какой-то совершенно новой области, именуемой «делом» — и вот это возбуждает против нее целую бурю негодования и сквернословия!

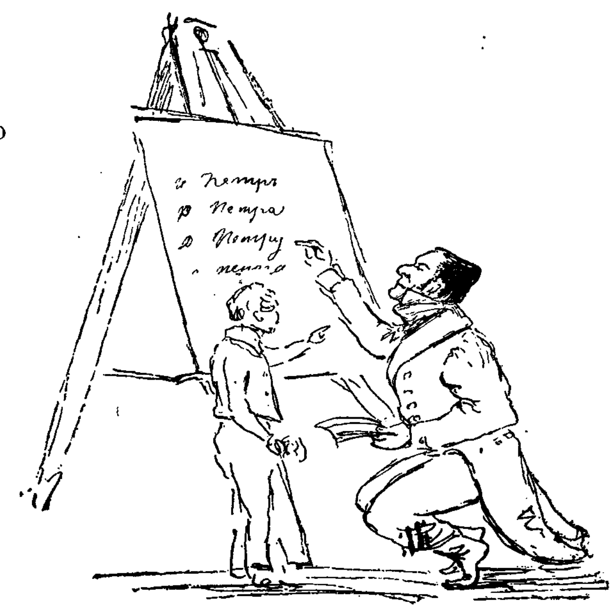
А между тем, влияние этих людей на литературу бесспорно и решительно. Ради них она утопает в недомолвках и оговорках, ради них она сохраняет эзоповские формы. Где она найдет для себя противовес, на который она могла бы опереться в борьбе с людьми культуры? Где тот читатель настолько сильный, чтоб она могла ожидать от него защиты и спасения? Ради их... но ради их ли одних? Вот Глумов уверяет, что культурные герои безделицы далеко не одиноки в этом случае; что русские ученые, и русские исправники, и русские прокуроры, и русские сотские все одинаковым образом относятся к русской литературе, т. е. все высокомерно ее игнорируют и в то же время все видят в ней или буфонство или угрозу.

Что господа исправники относятся к русской литературе недоверчиво — это довольно понятно: им и без того дела по горло. Никогда еще вопрос о мерах ко взысканию недоимок не получал такого развития, и в то же время никогда так пропорционально мерам взыскания не развивались самые недоимки. Чем больше стараются взыскивать, тем больше получается поводов для дальнейших стараний. Вся жизнь сгорает в бесплодных усилиях «очистить уезд», и ради этой перспективы забываются и комфорт, и личные интересы, и даже семья. До литературы ли тут, когда поесть путем времени нет? Притом же литература ведет себя как-то странно: она говорит о производстве и накоплении ценностей, об истреблении же их умалчивает. Вопрос: что такое продажа крестьянской коровы ради уплаты недоимки? Есть ли это производство ценностей или истребление их? Вот что должна решить литература, и решить непременно в смысле производства, а не истребления; а до тех пор, покуда это не будет сделано, все декламации литературы о производстве и накоплении будут не что иное как личное оскорбление господ, на заставах команду имеющих, а вся литература — сквернословием.

То же самое должно сказать и относительно господ прокуроров. Они тоже всецело заняты ограждением общества от наплыва неблагонадежных элементов, и тоже чем больше стараются оправдывать доверие начальства, тем больше получают поводов стараться оправдывать начальственное доверие. И для них возникает вопрос: что такое преследование и ловля неблагонадежных элементов? есть ли это производство или накопление умственных ценностей, или же истребление таковых? И дотоле, пока литература не разрешит этого вопроса в пользу производства, до тех пор она будет сквернословием и опасным буфонством.

Но ученые—ведь это цвет интеллигенции; им не нужно ни недоимки взыскивать, ни преследовать неблагонадежные элементы. Интересы науки и интересы литературы должны быть одни и те же, ибо литература только популяризирует результаты добытые наукой, заботится о применении их к практике жизни, обмирщивает их, делает общим достоянием.

Или быть может эта-то популяризация и кажется подозрительною? Или быть может с идеей популяризации соединяется темное предчувствие обличений в бесплодности некоторых усилий, в их совершенной оторванности от жизни, от мира явлений, рассматриваемого как гармоническое целое? И мне невольно припоминались некоторые «ученые», с которыми мне случалось встречаться в жизни. Один из них, возвратившись с какого-то археологического съезда, хвастался, что по окончании работ съезда был



КАРИКАТУРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЛИЦЕЯ — ПРОФ. П. Е. ГЕОРГИЕВСКОГО
У классной доски воспитанник лицея И. Н. Николаев

Из альбома лицейских карикатур 1839—1841 гг.

Институт Русской Литературы, Ленинград

устроен банкет, и что на банкете этом пили из урны, в которой некогда был заключен прах Овидия.

— Вы в этом уверены? спросил я его.

— Еще бы не быть уверенным, коль скоро я пятнадцать лет употребил на то, что Овидий умер в Полтавской губернии, в имении, принадлежащем Ивану Иванычу Перерепенко, который и доставил на съезд урну.

— И слаще было вино из этой урны?

— Слаще-с, сухо ответил он мне, и с такою ненавистью взглянул на меня, что мне сделалось страшно.

Другой раз другой ученый хвастался тем, что он окончил давно задуманное сочинение «Домашний быт головастиков».

— Понимаете, я дальше головастиков не иду,— говорил он мне,— из головастиков образуются лягушки, но это уж не моя область, а область моего почтенного друга Семена Семеныча Грустилова.

— Так что вы на всю жизнь предполагаете остаться при одних головастиках?

— На всю-с, ответил он мне [нрзб.].

В числе моих товарищей по школе был некто Никанор Полосатов. В то время об ученом сословии в обществе существовали совершенно особенные понятия, очень недалекие от тех, выразителями которых были пресловутые Цифиркин, Кутейкин и Вральман. Ученый человек представлялся в виде неряшливого существа, облеченного в фризовую шинель с бесчисленным количеством воротничков и заплатанные сапоги, существо, от которого постоянно несло смешанным запахом водки и чесноку. Фигура Полосатова-мальчика как-то странно напоминала собой этого фризового ученого. Несмотря на то, что он был одет в казенную курточку и пил и ел то же, что пили и ели и прочие воспитанники «заведения», но при взгляде на него всякий говорил себе: как смешон этот маленький педант в своей желтой фризовой шинели с множеством воротников. Он был рассеян, и ходил словно в лесу: некстати спрашивал, некстати отвечал, внезапно начинал хохотать и внезапно же впадал в угрюмость. Когда учитель риторики объяснял, что всякую мысль следует развивать при помощи

вопросов: quis, quid [нрзб.], quomodo, quando * и т. д.—то [его] поразило. Когда дальнейшее обучение объяснило, что каждое явление может быть рассматриваемо с различных сторон, с одной стороны то-то, с другой стороны то-то, с третьей то-то, то это поразило его еще более. Казалось, что он уже с малолетства облюбовывал ту бездну пустословия, которая открывалась перед ним, при помощи рекомендуемых с кафедры приемов, и что воротнички его фризовой шинельки трепетали при этом от восторга. Одна истина вдвигается в другую, другая в третью и т. д., покуда не образовался целый лес истин, в котором он и гулял. Это был очень удобный механизм вроде клавикорд, в которых каждую клавишу можно вынуть и заменить другою. Когда мы перешли на последний курс, последовала в русской уголовной практике реформы: четыреххвостный кнут был заменен трехвостною плетью. Полосатов, который перед этим только что окончил сочинение на тему: «Кнут перед судом правды и справедливости», в котором доказывал, что злая воля преступника ничем другим не может быть так совершенно удовлетворена, как кнутом—вдруг переменил клавишу, и на место старой вставил новую: «Плеть перед судом правды и справедливости», при чем, предпослав упражнению жестокую полемику с кнутом, доказал самым наглядным образом, что совсем не кнут, но именно трехвостная плеть есть наилучший ответ на требования, предъявляемые злою волей преступника. И чем старше он делался, тем с большею легкостью вынимал и вставлял клавиши, так что под конец заслужил уважение не только со стороны профессоров, но и со стороны директора заведения, старого генерала, страстно любившего фехтовать и потому полагавшего, что всякая наука должна обучать своих адептов ловким ударам и умению обмануть противника.

После выхода из школы, я потерял из вида Полосатова; он остался в Петербурге, я запропастился куда-то вглубь. Но я никак все-таки не думал, что из него выйдет ученый. Я полагал, что он сделается со временем отличным начальником отделения и будет с изумительною ловкостью вынимать и вставлять клавиши по манию директора департамента. Захочет директор написать: «с совершенным почтением имею честь быть»,— он напишет: «с совершенным почтением имею честь быть»; захочет директор написать: «примите уверение в совершенном почтении»,—он напишет: «примите уверение в совершенном почтении». «И преданности», прибавит директор — «и преданности», повторит и он. Увы! я совершенно упустил из вида опять ту фризовую шинель, которую я видел на нем в школе, видел, несмотря на то, что в натуре ее не было.

Лет через двенадцать я воротился в Петербург и узнал от Глумова, что Полосатов сделался ученым, что он служит в трех министерствах, но не как тягловой работник, а как эксперт от науки. Это было время нашего возрождения; время возникновения акционерных компаний и неслыханного развития железных дорог. Полосатов прежде всего обратил на себя внимание сочинением «Оплодотворяющая сила железных дорог», в котором очень тонко посмеялся над гужевым способом передвижения товаров и людей и доказал как дважды два четыре, что с развитием железных дорог капитал получит такую быстроту обращения, что те проценты, которые до сего времени получались с него один раз, будут отныне получаться десять, пятнадцать, двадцать раз. Всем тогда показалось это и просто и удивительно. Просто, потому что ведь и в самом деле... это так просто! Удивительно, потому что в самом деле странно как-то, что до Полосатова никто и не догадался подумать об этом. Мне и самому, когда я читал сочинение Полосатова, показалось оно какою-то шехеразадою.

* Кто, что, каким образом, когда.

Катится-катится капитал по железной дороге с быстротою молнии, получает проценты, потом катится назад и опять получает проценты, и опять, и опять катится...

Потом он написал еще статью: «Единственный в своем роде случай», в которой, указывая на неистощимые богатства России и упрекая соотечественников в недостатке предприимчивости, приглашал мелких капиталистов употребить свои сбережения для образования акционерных компаний, которые одни могут вырвать промышленное дело из рук невежественных толстосумов-рутинеров, монополизировавших производительные силы России в свою пользу. Эта статья окончательно установила репутацию Полосатова как ученого и произвела такое впечатление на маленьких капиталистов, что некоторые из них, не имея собственных сбережений, стали воровать таковые у других с единственною целью вручить их специалистам по части разработки недр земли. И это сочинение я прочел, и тоже мне показалось так просто, так просто. Собрав свои сбережения, отдал их какому-нибудь Ивану Ивановичу, и затем гуляй себе да погуливай в Петербурге. Ты гуляешь, а там где-то у чорта на куличках откармливаются на твои деньги бесчисленные стада четвероногих, из которых получается мясо, сало, кожа, рога; из мяса приготовляются консервы, из сала вырабатываются стеариновые свечи; из кож — обувь, из рогов и костей — клей. А через год у тебя в кармане тридцать процентиков! Да-с! тридцать процентиков! за то только, что ты гулял в Петербурге да последовал приглашению ученого Полосатова!

Но мне все-таки казалось, что Полосатов не более, как гороховый шут, который потому только воспользовался дипломом ученого, что прочая-то культурная братия чересчур уж невежественна. Это убеждение было до того во мне сильно, что когда я, в первый раз после долгой разлуки, встретил его на улице, то, вместо того, чтоб броситься к старому товарищу на шею, я вдруг предложил ему вопрос:

— Послушай, Полосатов, ты, кажется ученый?

— Да, душа моя,— ответил он мне скромно,— то-есть не гелертер, но ученый в хорошем значении этого слова. Ты понимаешь: для нас спасение в одной науке! В на-у-ке! прибавил он строго и с расстановкой.

Я смотрел на него и ничего не понимал.



КАРИКАТУРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЛИЦЕЯ

Скачет профессор русского языка и словесности П. Е. Георгиевский; бьет в барабан профессор немецкого языка и словесности Ф. А. Де-Олива

Из альбома лицейских карикатур 1839—1841 гг.
Институт Русской Литературы, Ленинград

— Я стою на практической почве,— продолжал он: — я не понимаю немецкого взгляда на науку; по моему мнению, наука прежде всего должна искать применений. Конечно, ты читал мои статьи — их все читали. Но твое мнение для меня особенно важно, потому что ты профан. Я пишу для профанов, понимаешь ли? — для про-фанов!

Последние слова он почти выкричал, и при этом взглянул на меня не то нагло, не то лукаво, так что мне сделалось очень неловко. Но он даже не выждал моего ответа и опять продолжал.

— Главное достоинство моих статей заключается в том, что они затрагивают ближайшие интересы, такие, которые поймет всякий, у кого есть в кармане лишних сто рублей. Эти сто рублей мне нужны, потому, что я хочу их отдать производительности. Я хочу, чтоб на них получилось еще сто рублей. Ты понимаешь? Сто ру-блей!

— Да, мне и самому иногда казалось... пробормотал я, чтоб что-нибудь сказать.

— Да? так ты, значит, читал? Неправда ли, что все очень просто? И многим, как и тебе, это кажется просто! А между тем это совсем не просто... А впрочем, я очень рад, очень рад! Приходи ко мне по середам: у меня собираются ученые... А покуда прощай!

Мы расстались, и я опять потерял его из вида надолго. С тех пор он успел остепениться, и хотя ни одно из его предсказаний не исполнилось, но репутация ученого так и осталась за ним.

[ОТРЫВОК: «КОГДА СТРАНА ИЛИ ОБЩЕСТВО»]

НЕЗАКОНЧЕННАЯ СТАТЬЯ ЩЕДРИНА КОНЦА 70-х ГОДОВ

Предисловие С. Белевицкого

Публикация Н. Яковлева

ЩЕДРИН — КРИТИК САМОДЕРЖАВИЯ

Кто истинный наследник Щедрина?

На поставленный вопрос давались различные ответы. Само собою разумеется, что первыми претендентами на право наследования Щедрина выступали наши народники. Право это им казалось неоспоримым: Щедрин по своим литературным связям и политическим симпатиям, равно как по своему социальному тяготению к крестьянству, как будто на самом деле принадлежит к народническому направлению.

Однако должны ли мы на указанном основании зачислить Щедрина по разряду «правоверных» народников, того типа правоверных народников, которые с середины 80-х годов начинают свой бесславный, кончившийся для них крахом поход против русских «учеников»? Можем ли мы Щедрина сделать ответственным «за романтические и мелкобуржуазные прибавки к наследству со стороны народников?» (Ленин).

Необходимо прежде всего отметить, что сам Щедрин как писатель несомненно давал известные основания для недоразумений при ответе на этот вопрос. Дело в том, что Щедрин имеет кое-что общее с Глебом Успенским. У обоих мы имеем разрыв между традиционным, воспринятым от окружающей среды и обусловленным принадлежностью художника к той или иной классовой группировке (в данном случае — к группе так называемой разночинной интеллигенции), мировоззрением и мироощущением, — разрыв, на который справедливо указал Плеханов в статье о Глебе Успенском.

Воспринятое от окружающей художника идеологической среды мировоззрение, к влиянию которого присоединялись такие объективные моменты, как отсталость российского капитализма и незрелость русского рабочего класса, обусловили то, что Щедрин, как и Глеб Успенский, не видел прогрессивной роли развивающегося капитализма и не мог оценить эту роль с точки зрения интересов пролетариата и его победоносной борьбы за социализм. И недоучет именно этого момента, который Ленин считает решающим в споре между народниками и марксистами, привел к тому, что в самой постановке вопроса о значении литературного наследства великого сатирика для пролетариата России мы встречаемся с рядом неясностей и с недостаточной марксистской четкостью.

На основании тех неоспоримых данных, которые мы имеем в литературном наследстве Щедрина, мы можем без всяких преувеличений сказать, что это наследство представляет для русского пролетариата огромную ценность. Литературное наследство Щедрина представляет собою одну из наиболее значимых и значительных частей того наследства, от которого мы «не отказываемся», ибо к этой части наследства мы можем с полным основанием применить тот критерий, который Ленин применил к сочувственно

цитируемым им представителям радикально-демократической интеллигенции 60-х годов. Основным ленинским критерием для положительной оценки литературных работ некоторых представителей радикально-демократической интеллигенции 60-х годов является их внимательное отношение к окружающей социально-экономической действительности, трезвый учет реальных сдвигов, происшедших в ней. Выступление на авансцену российской экономики представителя капиталистического накопления — вот одна из основных тем социально-экономической публицистики 60-х годов. Этот трезвый учет фактов и отношений реальной российской действительности характерен и для Щедрина, и не меньшее место, чем в публицистике 60-х годов, в творческой тематике его занимает тема о пришествии «чумазого».

При этом, в отличие от последующего правоверного народничества и в согласии с представителями радикальной демократической интеллигенции 60-х годов, Салтыков очень далек от идеализации «устоев», у него совершенно отсутствует романтическое отношение к русской общине и ко всем прочим излюбленным народниками формам «коллективного народного труда» вроде артели и пр.

Писатель революционной демократии Щедрин в своей конкретной критике не склонен также и к идеализации интеллигенции как внеклассовой группы, хотя в своих «программных» определениях общественного положения и роли литературы и литератора, наличие элементов такой идеализации несомненно. Михайловский, как известно, определил интеллигента как человека, «мысль и сердце которого с народом». Щедрин же прекрасно видел существующую внутри этой социальной группы диференциацию. Пользуясь словами Ленина, можно смело утверждать, что Щедрин — по-своему, конечно, а не как марксист — в отличие от современных ему народников, отнюдь не игнорировал связи интеллигенции и «юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов». И это опять-таки сближает его с радикальными демократами 60-х годов, от наследства которых мы, марксисты, не отказываемся. По своему мировоззрению Щедрин ближе всего стоит к нашим «просветителям» 60-х годов.

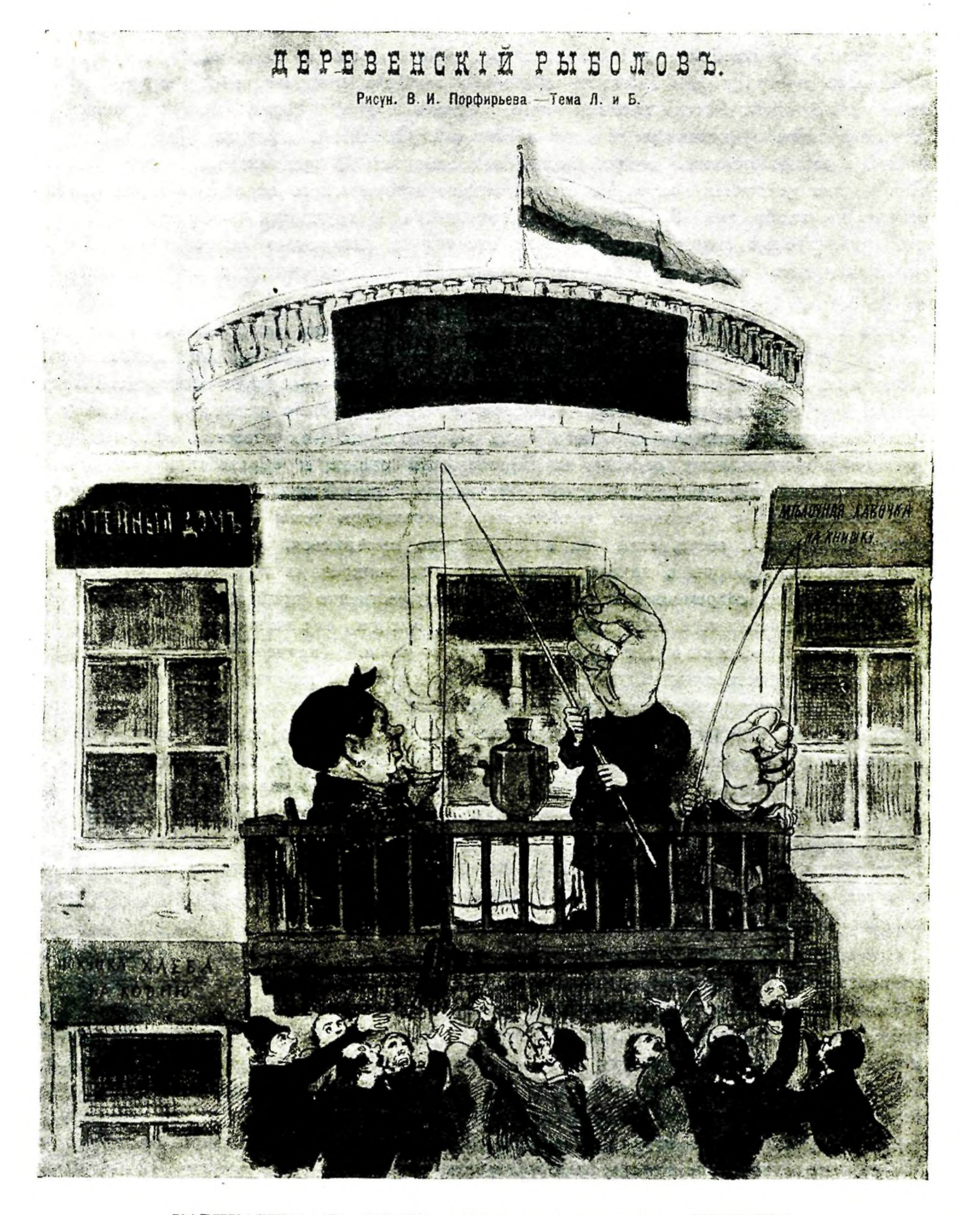
Одна из наиболее характерных особенностей просветительства заключается в том, что оно окрашивает мировоззрение идеолога в дуалистический цвет, при чем самим идеологом этот дуализм не осознается. Это значит, что дуализм просветителя не принципиально-философский, а скрытый, неосознанный. В мировоззрении просветителя преобладают элементы реализма, но имеется также и значительная примесь утопизма. В основном просветительское мировоззрение материалистично, но одновременно мировоззрение просветителя несвободно и от идеалистических элементов.

Просветитель — рационалист: он верит в самостоятельную, независимую от материальных условий силу разума, «идеи», но вместе с тем просветитель отчетливо видит и подчас склонен даже преувеличивать роль «среды». Особенность просветителя в данном случае состоит в том, что он не отдает себе отчета в диалектике взаимоотношения «идеи» и «среды». Отсюда и еще одна черта просветительского мировоззрения: оно густо окрашено в пессимистический тон, ибо просветитель, в силу недиалектичности своего мышления, не видит реального выхода из конфликта между идеей и средой.

То же самое приходится констатировать и относительно оценки просветителем «роли личности в истории». Просветитель не склонен преувеличивать эту роль; подчас он даже склонен к выводу о доминирующей роли среды и трактовке личности как «ничтожной величины», но подлинно диалектического взаимоотношения личности и среды просветитель до конца постигнуть не может. И тут мы вновь столкнемся с просветительским пессимизмом как результатом неумения найти соответствующего данным конкретным социальным условиям разрешения противоречия между личностью и социальной средой.

И наконец — и это особенно следует подчеркнуть — в мировоззрении просветителя остается неразрешенным противоречие конкретного и абстрактного.

С точки зрения указанной характеристики особенностей просветительского мировоззрения мы намерены подойти к анализу публикуемой статьи Щедрина.



КАРИКАТУРА НА МОТИВ «УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО» ЩЕДРИНА

Рисунок В. Порфирьева в «Осколках» 1883 г., № 27

Для расшифровки основного замысла публикуемой статьи Щедрина и тематически и композиционно связанного с ней беллетристического очерка необходим тщательный анализ текста. В тщательном анализе нуждается каждый образ сатирика, каждое положение. Необходимо проникнуть за завесу из символических образов-обобщений, как «баловень фортуны», «непомнящий родства», «льстец-мститель», таких понятий, как трепет, вероломство, стыд, «пролезть», «шарахаться» и т. д. Необходимо далее преодолеть преграду к пониманию основного замысла сатирика, образуемую щедринским «эзопизмом». Раскрытию основного замысла мешает также многосмысленность, неоднозначность щедринских образов и понятий. Образы и понятия Щедрина символичны, а содержательный символ всегда многосмыслен. В щедринском символе заключена подчас целостная концепция определенного исторического периода и одновременно отклик на злобу дня. Все указанные особенности и трудности полностью относятся и к публикуемой статье, но некоторым ключом к раскрытию ее основного смысла может служить предположительное хронологическое приурочивание ее написания к 1878/79 г.

Тема статьи Щедрина — с одной стороны, характеристика российской политической системы, философия самодержавия как целого, с другой — отклик на политическую злобу дня. Речь идет о последних двух годах 70-х годов — периоде обостренной политической и общественной реакции, ответом на которую было усиление террористических тенденций среди определенного круга землевольцев. Как известно, эти тенденции привели к формальному расколу на Воронежском съезде и образованию «Народной воли», основным методом политической деятельности которой стал индвидуальный террор.

В соответствии с указанным двойственным характером темы — современная политическая ситуация в свете, если так позволительно выразиться, философии российского самодержавия, Щедрин в начале статьи дает ряд конкретных признаков, определенно указывающих на современность: «К лести преимущественно прибегают или пронырливые люди (чиновники в виду вакантного места, люди, желающие попасть на службу к Полякову, Варшавскому и т. д.) (подчеркнуто мною.— *С. Б.*) или... люди до того пристигнутые, что под игом невзгод и животолюбия сделались как бы умалишенными (литераторы, либералы, чиновники контрольного ведомства в те времена, когда их подозревали в конституционализме и т. д.)», при чем последние — недвусмысленный намек на общественную реакцию конца 70-х годов. Но от характеристики современной политической ситуации Щедрин в процессе обобщения ее признаков доходит до первого символического олицетворения самодержавной власти в образе «баловня фортуны», равносильном, по выражению сатирика, образу «непомнящего родства»... Смысл этого образа заключается в том, что при самодержавии власть, как правило, оказывается в руках случайного человека, не связанного ни с историческим прошлым общества, ни с его современностью.

Совершенно очевидно, что случайный человек, случайно «пролезший» к власти, ничем не связанный с обществом, над которым он властвует, думает только о «пироге», и «обеспеченность или необеспеченность» пирога «регулирует все его действия». Случайный человек — этот «баловень фортуны» или «непомнящий родства» — не приходит к власти тем естественным путем, каким приходит человек, выдвинутый определенными общественными потребностями и призванный в силу своих индивидуальных особенностей и склонностей эти потребности удовлетворять. Он, этот «баловень фортуны», — представитель иерархически построенной касты, изолированной от общества. И все, что с ним происходит, разыгрывается в пределах этой касты: он случайно «выскакивает» или «пролезает» и также случайно «шарахается». Но случайность здесь — форма проявления необходимости. Необходимость же «выскакивания» и «шараханья» определяется внутренней структурой системы, которая при всех внешних изменениях остается незыблемой.

Случайна и безобразна не только форма прихода к власти и ухода от нее, но и форма ее проявления: «ежели он [баловень фортуны] чувствует обладание пирогом обеспеченным — он добр, весел и охотно бросает псам крохи с своего стола. Если он

чувствует себя необеспеченным в этом смысле, он суров и жесток». В этой мастерской мотивировке различных настроений своего «героя» Салтыков сумел сочетать обобщенную характеристику самодержавия как политической системы с конкретным намеком на резкие колебания в политике Александра II — от «либеральных» реформ первых лет царствования к мрачной реакции, начало которой было положено выстрелом Каракозова, реакции, дошедшей до апогея в последние годы царствования «освободителя».

При такой структуре самодержавной власти между нижестоящими на иерархической лестнице и вышестоящими с совершенной неизбежностью устанавливаются нелепые с точки зрения здорового морального чувства формы отношений: вышестоящего необходимо умилостивлять, добиться его милостивого расположения. Это возможно лишь с помощью лести, воскурения фимиама.

Если оставаться в пределах властвующей касты, то история самодержавия представляет собой пошлую, однообразную картину смены «баловней фортуны». А там, где доминирующей чертой происходящего является пошлость, нет места для трагического. Во всяком случае, «если и бывают несчастья вроде умертвия (намек на дворцовые перевороты.— *С. Б.*), то они происходят за кулисами».

Если же выйти за пределы властвующей касты, то мы прежде всего сталкиваемся с чиновничеством — людским составом сложной бюрократической машины самодержавия. Этот людской состав в подавляющем большинстве состоит из лгущих «льстецов». Всю же остальную массу населения самодержавного государства Салтыков обозначает термином «прикосновенные». Прикосновенные — это те, «которые горьким насилием судьбы поставлены в соприкосновение с нею» (с бюрократической атмосферой лести и лганья. — *С. Б.*).

Есть ли основание надеяться, на какие-нибудь изменения политической системы, исходя из расчета на ее внутреннюю эволюцию? Речь идет о том, в какой мере основательны упования либералов-постепеновцев и российских оппортунистов всяких мастей на то, что самодержавие, приспособляясь к потребностям страны или просто из инстинкта самосохранения, вынуждено будет само, без толчка извне, такую эволюцию проделать. На этот счет у трезвого писателя революционной демократии Щедрина никаких иллюзий нет. «Чувствуется, что среда эта (т. е. все общество в целом. — *С. Б*) насквозь прогнила, и фундамент, и стены, и что в этой насыщенной лганьем атмосфере непременно должны задохнуться не только сами лгуны, но и те, которые горьким насилием судьбы поставлены в соприкосновение с нею». Радикальным выходом из положения могла бы быть только «народная революция». Но Щедрину конца 70-х годов революция в российских условиях представлялась лишь в форме ее бакунистско-анархистской концепции, для обозначения которой наш сатирик употребляет библейский образ «светопреставление». Такую революцию Салтыков находит «несправедливой», ибо «светопреставление» — это такой «акт, который прикроет развалинами и льстецов, и баловней фортуны, и прикосновенных людей».

Где же выход из положения? Прежде чем указать выход, необходимо определить само положение, найти его конститутивный признак. И сатирик этот признак находит.

Перед нами смертельно больное общество. В чем причина болезней? Она — эта причина — в том, что «страна или общество слишком продолжительное время прообразуют собою осиновую рощу, в которой ничего не слышно, кроме шума и трепета». На «омерзительные» явления российской политической системы страна, общество реагируют только одним чувством — «трепетом». «Продолжительная трепетальная практика» привела к атрофии у российского обывателя — «прикосновенного» человека — всех человеческих чувств, кроме одного — страха, внешним проявлением которого являются «лесть» и «вероломство». И выходом из положения, противоядием для больного чувством страха общественного организма может быть только возникновение новых реакций. Этой новой реакцией-противоядием, по мнению сатирика, может быть чувство стыда. «Стыд» — как противоядие страха.

Подавленное чувством страха общество свое отношение к происходящим политическим переменам, которые в конечном счете сводятся к перемене лиц, но не изменению самой

системы, проявляет ликованием по поводу падения того или иного носителя власти. Сатирик в смене лиц не видит никакого основания для «посторонних», т. е. для широких масс общества, ликовать. Больше того: «ликование по поводу падения непомнящего родства, на смену которому грядет другой непомнящий родства,— помилуйте! неужто это прилично? Нет, это в высшей степени неприлично и даже постыдно. Постыдно не только участвовать в ликованиях, но даже быть свидетелем их».

Но зато «как скоро в обществе пробужден стыд, так немедленно появляется потребность действовать и поступать так, чтобы не было стыдно... Стыд есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствие с требованием той высшей совести, которая завещана историей человечества».

Сопоставляя только что приведенную цитату с заключительным абзацем публикуемой статьи Щедрина, нам кажется возможным высказать одно соображение насчет того, какое политическое содержание сатирик вкладывает в понятие «стыд».

Если принять во внимание хронологическое приурочение статьи Щедрина к 1878/79 г., то в ней нельзя не увидеть отклика сатирика на политические контраверзы в лагере землевольцев между «пропагандистами» и «террористами».

Щедрин здесь определенно становится на сторону «пропагандистов». В заключительном абзаце статьи автор подчеркивает, что «стыд — это своего рода учение, это целая система». Автор напирает на необходимость «взывать к стыду, будить стыд, п р о п а г а н д и р о в а т ь (подчеркнуто мною.— *С. Б.*), что лесть вредна, а вероломство паскудно». При этом совершенно очевидно, что термины «лесть» и «вероломство» являются «эзопизмами» — для обмана цензуры. Под этими терминами сатирик понимает политическую систему самодержавия, вуалируя свою мысль тем, что вместо системы берет внешние формы ее проявления, при чем такие формы, которые осуждаются или по крайней мере должны осуждаться не с точки зрения каких-нибудь особых, необычных моральных принципов, а с точки зрения обыденного здорового нравственного сознания, таких элементарных моральных понятий, как стыд и совесть. Впрочем сам сатирик свою мысль расшифровывает достаточно прозрачно: автор находит нужным призывать к стыду, а не проповедывать новое учение, потому что «в учении могут быть замечены разного рода внезапности, которые могут дать ретирадникам (т. е. реакционерам. — *С. Б.*) повод для подсиживаний, а в стыде никаких так называемых превратных толкований и днем с огнем отыскать нельзя».

Косвенным подтверждением высказанного соображения может служить красной нитью проходящая через всю статью мысль о том, что смена лиц не может привести к изменению ситемы. И тут сказывается двухплановость и неоднозначность образов и терминов, которыми оперирует Щедрин. При этом двухплановость, неоднозначность, с одной стороны, являются результатом конденсированной обобщенности символического образа, с другой — такой характер образа оказывается удобным средством завуалировать революционный, «нелегальный» замысел. В публикуемой статье крайняя степень обобщенности образов, их символичность дает возможность постоянного смещения планов исторического прошлого и текущего момента современности.

* *
*

Предыдущий анализ статьи Щедрина уже дает нам кажется некоторые основания для подтверждения нашей мысли о том, что социально-политические воззрения его должны быть в общем охарактеризованы, с одной стороны, как «просветительские», весьма близкие к воззрениям Чернышевского, с другой — как в ряде основных признаков расходящиеся с социально-политическими воззрениями правоверного народничества.

Характерная особенность социально-политических воззрений Щедрина, если исходить из того, что дает нам анализ данной статьи, заключается в том, что характеристику политической системы он дает в отрыве от классовой диференциации общества, абстрагируясь от сложной картины классовых взаимоотношений и классовой борьбы. Благодаря этому картина политических взаимоотношений, несмотря на красочность и художественную законченность, носит абстрактный и статичный характер. Получается

впечатление изолированной от конкретной социальной действительности, неподвижной картины политической системы.

С нашей точки зрения указанный характер изображенной Щедриным политической системы самодержавия — не случайность и не только прием сгущения, как таковой. Этот прием обусловлен просветительским мировоззрением художника.

Не случайным с этой точки зрения оказывается и понимание сатириком проблемы революции. В представлении просветителя социальные взаимоотношения отражаются в своей статичной законченности. Просветитель за каждой данной картиной классовых взаимоотношений не видит движущих сил исторического процесса. Поэтому революция мыслится им в форме катастрофы, «светопреставления», исторической Немезиды, сметающей на своем пути все, карающей, не разбирая правых и виноватых. Но это отнюдь не значит, что просветитель — не революционер. Просветитель — несомненно революционер. И не только в политическом смысле, но и в социальном. Он не только за радикальное изменение политической системы, значение которой он, в отличие от правоверного народника, прекрасно понимает, но и за коренную перестройку социальных отношений, за уничтожение эксплоатации человека человеком. (Речь конечно идет не о просветителе «вообще», какового в природе нет, а о конкретном просветителе Щедрине).

Но отвергая революцию в ее бакунистской трактовке и будучи одновременно смертельным врагом существующего социально-политического строя, Щедрин — просветитель в отношении революции — становится на позицию «пропагандиста», позицию, которая, применительно к историческим условиям момента, заключает в себе ряд идеалистическо-утопических моментов. Основной заключительной вывод статьи, что надо призывать к стыду, будить совесть, — просветительски абстрактен и идеалистичен.

И все же, несмотря на все указанные особенности своего мировоззрения, Щедрин — наш, и его творчество принадлежит к ценному для пролетариата наследству. Творчество Щедрина испытало на себе в ряду других и влияние великих творений таких социалистов-утопистов прошлого, как Сен-Симон и Фурье, которых так высоко ценили Маркс и Энгельс и произведения которых Ленин считал одним из источников марксизма.

Значение наследства классиков утопического социализма и нашего сатирика заключается не в положительной части их утопических построений, слабость которых в свете научного мировоззрения Маркса-Энгельса-Ленина для нас совершенно ясна. Сила великих утопистов заключается в их последовательной, не допускающей никаких компромиссов критике существующего социально-политического строя радикального его отрицания. Щедрину, как и его великим предшественникам и учителям — Фурье и др., совершенно чужд был дух оппортунизма и поссибилизма, характерный для старого меньшевизма и эсеровского народничества, выродившийся в современном социал-фашизме в открытое пособничество своей национальной буржуазии и в не менее открытое предательство интересов пролетариата.

* * *

Рукопись отрывка, начинающегося словами «Когда страна или общество...», сохранилась в архиве М. М. Стасюлевича в ИРЛИ Академии Наук. Почерк и бумага позволяют датировать рукопись концом 70-х годов. То же подтверждает и анализ содержания отрывка. Он чрезвычайно близко примыкает ко второй части незаконченной статьи, начинающейся словами: «Говоря по правде, положение русского литератора...» Статья эта также публикуется в настоящей книге (см. стр. 344). В обоих текстах развивается тема «лести» и фигурирует «баловень фортуны» в совершенно одинаковом значении. В очерке «Когда страна или общество» содержится кроме того образ «непомнящего родства», а этот образ в таком же значении повторяется в цикле «За рубежом» (глава II), 1880 г.

С. Белевицкий

[ОТРЫВОК: «КОГДА СТРАНА ИЛИ ОБЩЕСТВО»]

Когда страна или общество слишком продолжительное время прообразует собой осиновую рощу, в которой ничего не слышно, кроме шума [и] трепета, то из этого возникает два одинаково нежелательных последствия *. Во-первых, распложается великое множество льстецов и, во-вторых, поселяется в обществе наклонность к вероломству.

О льстецах писано довольно. К лести преимущественно прибегают или пронырливые люди (чиновники, в виду вакантного места люди, желающие попасть на службу к Полякову, Варшавскому и т. д.) или лакомки (приживальщицы, рассказчики сцен из народного быта и т. п.) или, наконец, люди до того пристегнутые, что под игом невзгод и животолюбия сделались как бы умалишенными (литераторы, либералы, чиновники контрольного ведомства в те времена, когда их подозревали в конституционализме и т. д.). Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право назваться умной, необходимо, чтоб она совпадала с истиною, но тогда уже, очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому, лесть глупа и незатейлива в самом существе своем и нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтоб убедиться, что это ложь; человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он сейчас только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Но на счастье льстецов объектом их льстивых слов обыкновенно служит так называемый «баловень фортуны», т. е. человек или вполне глупый или вполне ошалелый от счастья. Поэтому грубая лесть ему как нельзя больше впору. Он сидит, хлопает ушами и млеет.

Хотя лесть сама по себе равносильна пошлости, тем не менее она не исключает и примет трагических элементов. Но трагедия здесь изменяет свой центр, смотря по тому, какие действующие лица занимают сцену. Ежели льстят чиновники, жаждущие мест, или рассказчики сцен из народного быта, то трагизм следует искать не в них (они плавают тут, как рыба в воде), а в той среде, которая порождает подобные явления. Чувствуется, что среда эта насквозь прогнила, и фундамент и стены, и что в этой насыщенной лганьем атмосфере непременно должны задохнуться не только сами лгущие, но и те, которые горьким насильем судьбы поставлены в соприкосновение с нею. Трагедия тем более мрачная, что обыкновенно она не имеет конца. Лгущие процветают, прикосновенные мечутся в тоске — вот и все. Развязкой может быть только светопреставление, т. е. акт, который прикроет развалинами и льстецов и баловней фортуны и прикосновенных людей. Справедливо ли это? Но когда льстят литераторы и контрольные чины, тогда таргизм сосредоточивается по преимуществу около них. Какое лютое горе постигло этих людей? Какая масса страхов скопилась над ними? Что разбудило в них с такой силой инстинкты животолюбия? и какой род смерти они изберут впоследствии, когда очнутся и припомнят? Отомстят ли они хоть в отдаленном времени или без дальних слов покорятся? Ясно, что эти вопросы могут быть разрешены только в смысле трагедии.

Но трагическое в пределах исключительно лести редко всплывает наружу. Во-первых, драматический сценарий здесь сочиняется [и] направляется «баловнями фортуны», которые очень охотно ликуют и вовсе не желают огорчаться. Поэтому ежели и случаются в течение представления

---

* Первоначально: «продолжительная трепетальная практика производит два одинаково омерзительных явления». [*Ред.*]

какие-нибудь несчастия вроде умертвия, то они происходят за кулисами. Во-вторых, лесть вообще вынослива. Она долго терпит и до последней крайности воздерживается от трагедий, ибо знает, что впереди у нее имеется всегда готовый трагический выход — в вероломство. Только «баловни фортуны», т. е. объекты лести, и направители представления



ДЮ-ШАРИО, ВИКОНТ, АНГЕЛ ДОРОФЕЕВИЧ, ФРАНЦУЗСКИЙ ВЫХОДЕЦ

«Любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении оказался девицею. Выслан в 1821 г. за границу»

Рисунок А. Радакова из альбома «Портретная галлерея градоначальников, в разное время в г. Глупов от высшего начальства поставленных (1731—1826 по Щедрину, и 1826—1907 не по Щедрину)». П., 1907 г.

этого не понимают и не предвидят. И это очень удобно, ибо если б они предвидели, то могли бы приготовиться и наслаждаться без конца. И тогда где же была бы справедливость? Но эта самая непредусмотрительность, давая меру глупости и ошалелости «баловней фортуны», служит объяснением, почему

Уже столько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна — и все не в прок...

Не в прок потому, что лесть сладка, а вероломство, стоит где-то за горами. Во всяком случае несомненно одно: что о льстецах писано много и бесплодно. О вероломстве же, как об язве, в известные исторические моменты точащей общество, писано до такой степени мало, что его даже почти не принимают в расчет. А его непременно надобно принимать в расчет, ибо без этого немыслимо общественное оздоровление.

Итак: трепетательная практика родит лесть, а лесть родит вероломство. Вот краткая генеалогия той нравственной смуты, которая от времени до времени омрачает страницы истории. Всему корень — трепет; за ним следует лесть, то-есть изыскание способов, дабы и среди трепетательной практики можно было сказать: жив есмь и жива душа моя! За лестью, как неизбежное последствие и венец всего — вероломство. Но главное все-таки трепет, трепет и трепет. Это общий извечный враг; это сатанинское исчадие; это «отец лжи», на которого должны быть устремлены все взоры и к истреблению которого должны быть направлены все усилия. Так что, в сущности, и вся эта многоактная трагедия должна носить одно общее название «Трепет».

Вероломство, как я уже сказал выше, составляет последнюю часть этой развратной трилогии. Вступая в область вероломства, мы, так сказать, видим себя в самом сердце трагедии. Тут все трагическое: и вещи и лица. Льстецы — мстители: «баловень фортуны» — жертва. И что всего ужаснее: жертва, не возбуждающая ни малейшей симпатии. Никто не умеет мстить так жестоко, как человек, воспитанный в школе трепета, и никто так бесследно не исчезает, как человек, который пользовался благоприятно сложившимися обстоятельствами, чтоб изливать на себя трепет. Это закон, который необходимо помнить. В сущности, и этот закон и причина, его породившая, и последствия, из него вытекающие,— все это до того бесплодно и постыло, что самая мысль, стоящая на этой почве, представляется как бы постыдной. Но делать нечего, надобно в подобных случаях преодолеть себя и несмортя на отвращение сколь возможно чаще напоминать себе об этих постылостях; надо иметь в виду одну цель — необходимость упразднить трепет и преследовать ее без устали. Потому что в противном случае он иссушит почву истории.

* * *

Мы, русские, очень часто употребляем такие выражения, которые в благоустроенных странах уже давно вышли из употребления. И не потому там выражения эти не допускаются, чтобы они были грубы и неучтивы, но потому, что понятия, им соответствующие, давным давно исчезли. Так, например, сплошь и рядом случается в нашем домашнем быту слышать: такой-то «выскочил», а следом затем: такой-то «полетел»; или такой-то «пролез», и потом — такой-то «шарахнулся». И это говорится в применении не к грибам или клопам, а в применении к так называемым «баловням фортуны».

В благоустроенных обществах нельзя ни «выскочить», ни «пролезть». Там всякое положение вырабатывается и заслуживается. Человек является на арену публичной деятельности с несомненнейшими правами, и ежели найдется тьма людей, которым не сочувственны руководящие начала его деятельности, то все-таки никому не придет в голову спросить его: откуда ты пришел? Пришел — значит завоевал, заработал свое право притти. Поэтому же там и «шарахнуться» и «полететь» нельзя, а можно только оказываться не на высоте вновь возникших в обществе требований, а вследствие этого быть поставленным в необходимость уступить место другому, более соответствующему этим требованиям. Но ежели нельзя выскочить

и пролезть, то стало быть нет основания для возникновения касты завистников и льстецов; ежели возможно уйти с публичной арены (на время или навсегда) без участия шараханья и летанья, то, значит, нет надобности ни в подсиживаниях, ни в вероломствах, ни в ругательствах, обыкновенно посылаемых вдогонку. Процесс обновления производится спокойно, правильно, без сюрпризов. Самое выражение «баловень фортуны» в благоустроенных обществах имеет совсем иной смысл. А именно, оно означает человека счастливо одаренного природою, но никак не счастливого прохвоста *.

Исключения из этого правила бывают, но редко, и обыкновенно мотивируются очень сложным сцеплением всевозможных горьких недоразумений, в числе которых главное место занимает фаталистическое омрачение общественного сознания, вследствие чего страна временно превращается из благоустроенной в *не*благоустроенную. Так, например, о Наполеоне III можно было сказать, что он «пролез» и потом «шарахнулся».

Во всяком случае нельзя похвалить то общество, в котором слова «пролезть» и «шарахнуться» составляют как бы принадлежность обыденного разговорного языка, и в котором понятия, соединенные с этим выражением, являются понятиями нормальными, никого не удивляющими. В подобных обществах и самое выражение «баловень фортуны» становится равносильным выражению «непомнящий родства», хотя громадное большинство и не подозревает этой равносильности. А необходимо, чтоб это было хотя до известной степени понято и усвоено, потому что, в противном случае, скоро сделается совсем неопрятно жить. Я очень хорошо понимаю, что нельзя изгнать из сердец целую систему глубоко укоренившихся привычек и представлений; но ежели из сердец нельзя изгнать, то можно хоть на язык быть воздержнее. Не все урчания встревоженного желудка предъявлять, но некоторые оставлять и для домашнего потребления.

Что такое «непомнящий родства»? Это человек, который на все вопросы о своем далеком и близком прошлом одинаково отвечает: не знаю, не помню.— Где ты родился? — не помню.— Кто твой отец? — не знаю.— Как же ты жил? — где день где ночь, как придется.— Где же ты, наконец, вчерашнюю ночь ночевал? — в стогу **. Явление это первоначально завещано было нам той стариной, которая еще помнила выражение «страна наша велика и обильна», и когда вследствие княжеских усобиц, а потом татарского меча приходилось искать «вольных кормов» на окраинах. В то время еще «вольные кормы» существовали. Потом это же явление усердно поддерживалось крепостным правом. Не знаю, существует ли оно и теперь, но в пору моей молодости оно процветало во всей силе. Я помню еще ребенком, с каким страхом папенька и маменька выслушивали доклад о том, что там-то во ржи заметили «человека», и как принимались меры, чтоб этого «человека» не раздразнить, а как-нибудь сопровадить или вероломным образом сцапать. Я помню также великое множество этих людей, оканчивающих свои скитания в острогах, и помню даже, что от них никакой «правды» не добивались, а только производили так называемый формальный сыск. Публиковали во всех губернских ведомостях, с объявлением «примет», подобно тому, как публиковали о пойманных лошадях. И затем, по окончании сыскных сроков — в Сибирь.

Вот именно все это невольно приходит мне на мысль, когда я думаю о наших «баловнях фортуны». Все мне кажется, что если ему предложить

* Сбоку на полях карандашом: «Что такое шарахаться, что такое не помнящий родства». [*Ред.*]

** Сбоку на полях карандашом: «А ежели он ночевал в стогу, то какие же могут быть у него потребности». [*Ред.*]

серьезно вопрос: где ты вчерашнюю ночь ночевал? — то он непременно должен ответить: в стогу! Если же он ответит иначе, если скажет, что ночевал в своей квартире, то это будет наглая ложь.

А ежели он ночевал в стогу, ежели он на все вопросы о своем прошлом ничего не может ответить, кроме: где ночь, где день — то какие же могут быть его требования от жизни? У него нет даже смутного представления об отечестве, а следовательно, не может быть и ни малейшего участия к его судьбам. У него нет ни присных, ни друзей, ни единомышленников, а следовательно, не может быть и идеи о каких-либо узах, связующих между собою людей. У него, наконец, нет вчерашнего дня, а следовательно, не может быть и уроков, завещанных прошлым. В прошедшем он помнит только стог, в котором его изловили за несколько часов перед тем и вместо того, чтобы поступить по всей строгости законов, одели в виссон и посадили под образа. В настоящем ему представляется только пирог, который чудесным образом очутился перед ним. Что же касается до будущего, то и в этом отношении ему доступно только опасение, как бы не лишиться этого пирога. Я говорю: смутное опасение, потому что даже в этом смысле он настолько чужд всего человеческого, что не может себе с ясностью определить, откуда и в какой мере угрожает ему беда.

Поэтому он приходит на сцену деятельности богатый только инстинктами низшего разряда. Он плотояден, напыщен и жесток. Он доверяет лести не потому, чтобы отождествлял ее с правдой (он даже не может отличить правду от лжи), а потому, что она представляется самым естественным modus vivendi. Ah vil flatteur! говорит он льстецу и нимало не возмущается этим, потому что в его сознании «льстец» есть нечто вроде должности, которая назначена по штатам, нет резону ей оставаться вакантною. И затем, обеспеченность или необеспеченность «пирога» регулирует все его действия. Ежели он чувствует обладание пирогом обеспеченным — он добр, весел и охотно бросает псам крохи с своего стола. Если он чувствует себя необеспеченным в этом смысле, он суров (нелеп) (?) и жесток. Во всяком случае, он уже забыл, что у него ничего нет назади, кроме стога, и охотно задумывается над какими-то «правами». И чем дальше ему «спускают», тем глубже и глубже укореняется в нем мысль о «правах». И вот тут-то, когда уж он окончательно начинает веровать в свою «звезду» и полный этой веры начинает зевать по сторонам и «плошать» — вдруг из другого стога приходит другой непомнящий и говорит: а не хочешь ли, курицын сын, шарахнуться вниз?

Все это происходит внезапно и, что всего приятнее, без шума, беспрекословно. Возражать нельзя, потому что нечего отстаивать. Если нельзя сказать: я пришел сюда вот затем-то, стало быть, нельзя и спросить: по какому же случаю меня гонят отсюда? И прошел — так, и уходи — так. Пошел вон. Лети стремглав на дно ямы и старайся только об том, чтоб не разбить головы.

Вот тут-то именно и выступает вперед вероломство. Оно никогда не дерзает итти в упор счастью и редко даже принимает участие в интриге. Оно знает, что люди, пришедшие из стогов, подозрительны, жестоки, что они нередко по одному подозрению способны измучить, вытянуть жилы. Всего этого вероломство боится, и потому, повторяю, не только почти никогда не участвует в интриге против «баловня фортуны», но в большинстве случаев даже предупреждает, ограждает. Но зато задним числом вероломство действует удивительно развязно и смело. Когда не осталось сомнения, что «баловень фортуны» шарахнулся, когда он лежит распростертый у ног нового пойманного в стогу счастливца, а этот счастливец топчет его — о! тогда вероломство чувствует, что и для него настал момент торжества! Подобно горячей лавине по всем стогнам разливается его

ликованье, и горе падшему прохвосту, ежели он не обладает достаточной быстротой ног, чтобы юркнуть в ту пучину, которая навсегда потопила бы его в глубинах своей безвестности. Тут вспомнится все: и вчерашний трепет, и вчерашнее молчание и вчерашняя выпущенная лесть. И за одно уж предвосхитится и завтрашний трепет и завтрашняя лесть. Потому что, растоптавши ногами вчерашнего непомнящего родства, мы тем самым приветствуем сегодняшнего непомнящего родства.

Повторяю: это такого рода жизненный процесс, в котором не за что уцепиться. Ни идеалов, ни поступков — ни на что указать нельзя. Была одна блажь, которая не оставила по себе никакого следа, кроме загадочных восклицаний: откуда? каким образом? за что? Эти же самые восклицания останутся в своей силе и завтра. И завтра они будут заставлять людей метаться и трепетать за право существования, будут мутить их совесть, пугать воображение. Но завтра они будут прикованы к человеку, которому случай дал в руки силу, и который заставит выносить эти вопросы. Зачем же думать о том, что заставляло выносить их вчера? Скорее надо растоптать, раздавить, уничтожить это вчерашнее пугало, чтоб оно не лежало лишним гнетом на душе; скорее надобно отомстить на нем всю горечь прежних обид и унижений, насладиться хоть одним моментом отмщения, чтоб хоть в этот момент сознать, что не все человеческое еще погибло.

Руководствуясь всем изложенным выше, никогда не следует говорить: какой был идол, а как шарахнулся? Потому-то он и шарахнулся, что был идол, и если б он имел хоть каплю человеческого естества, его не постигла бы эта участь.

Идолов — множество, целая, так сказать, иерархия. Карабкаешься, карабкаешься по жизненной лестнице — и всякую ступеньку сторожат идолы. И всякий идол повыше ступенью заводит себе несколько второстепеных идолов, которые обязываются сначала одурять своего принципала лестью, а под конец учинить над ним вероломство. Эта процедура до такой степени неизбежна, что составляет почти обряд. Едва привели идола из стога и посадили под образа, как сейчас же всем делается ясно, что иного резона тут искать нельзя. Что с идолом не об чем говорить, что не существует той почвы, на которой можно бы застать его не врасплох и что, стало быть, следует только угобжать его и льстить ему.

И льстят. Но так как потребность, заставившая отыскивать в стогу идола, есть потребность эфемерная, так как идол очень скоро выдыхается, надоедает, делается нимало не забавным, то после непродолжительного торжества является какое-то страстное желание спустить его с лестницы и с течением времени делается настолько настоятельным, что даже самые вероломные личности не могут долго выдержать, чтоб не поддаться искушению. И тогда поднимается общий гам, крик, ликование, вой. Можно себе представить, какую воспитательную школу проходит общество, на глазах у которого так естественно происходит вся эта процедура?

Я уже не говорю о том, как все эти верeломства бесплодны, безнравственны, но, кроме того, они и беспричинны. Стоит ли вероломствовать, стоит ли торжествовать над каким-то выходцем, нечаянно пойманным в стогу? Я понимаю, что торжество человека партии, убеждения, знания, школы, над человеком тоже партии, убеждения, знания и школы, — должно быть лестно. В глазах восторжествовавшего это не просто личная его победа, но победа его дела, не столько плодотворная для него самого, сколько для общества. В такой победе понятно ликование и посторонних. Но ликование по поводу падения непомнящего родства, на смену ко-

торому грядет другой непомнящий родства,— помилуйте! неужто это прилично?

Нет, это в высшей степени неприлично, и даже просто постыдно. Постыдно не только участвовать в ликованиях, но даже быть свидетелем их. Потому что всякий очевидец, который не может протестовать или по малой мере бежать за тридевять земель от этого позорного зрелища, должен сознавать себя рабом.

Больнее, унизительнее этого сознания нет ничего на всем безграничном пространстве нравственного мира...

Я знаю, мне скажут, что я повторяюсь. Что в сущности мои речи суть бесконечные вариации на тему о стыде и рабьих поступках. Ну да, это правда, я повторяюсь. Я говорю о стыде, все о стыде, и желал бы напоминать о стыде всечасно. По-моему, это главное. Как скоро в обществе пробужден стыд, так немедленно является потребность действовать и поступать так, чтоб не было стыдно. С первого взгляда этот афоризм кажется достаточно наивным, но он наивен только по форме, а по существу в высшей степени правилен и справедлив. Стыд есть драгоценнейшая способность человека ставить свои поступки в соответствие с требованиями той высшей совести, которая завещана историей человечества. И рабство тогда только исчезнет из сердца человека, когда он почувствует себя охваченным стыдом. Стыдом всего, что ни происходит окрест: и слез, и смеха, и стонов, и ликований. Ни к чему нельзя прикоснуться, ни о чем не мыслить без краски стыда.

Вот почему я повторяюсь и буду повторяться. Хотелось бы, чтоб чувство стыда перешло из области утопии в действительность. Быть может, я никогда ничего не достигну в этом смысле, но ведь, по справедливости говоря, когда человек мыслит так или иначе, он очень редко имеет в виду, что из этого непременно должен выйти практический результат. Он просто мыслит так, потому, что иначе мыслить не может.

Постыдные явления, о которых я повел свою речь, сделались у нас так обыкновенны, что мы даже не оборачиваемся на них. Мы льстим идолу выскочившему и накладываем в шею идолу шарахнувшемуся почти бессознательно, совершая как бы обряд. Мы даже не хотим думать, что нуль равен нулю, и в оправдание свое ссылаемся только на нашу подневольность. Но это неправда. И у подневольности есть выход — это стоять в стороне, не льстить, но и не «накладывать», не петь дифирамбов, но и не кричать в догонку: ату его! ату! И у подневольности есть оружие: она имеет возможность презирать.

Повторяю: напоминать о стыде не только полезно, но всего более в настоящее время нужно. Стыд — это своего рода учение, это целая система; разница только в том, что в учении могут быть замечены разного рода внезапности, которые могут дать ретирадникам повод для подсиживаний, а в стыде никаких так называемых превратных толкований и днем с огнем отыскать нельзя. Взывать к стыду, будить стыд, пропагандировать, что лесть вредна, а вероломство паскудно — помилуйте! что же тут «превратного»?

1. ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ.
2. [«ГОВОРЯ ПО ПРАВДЕ, ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТОРА...»].
3. [«ПОШЕХОНЬЕ ОТКЛИКНУЛОСЬ...»]

НЕЗАКОНЧЕННЫЕ СТАТЬИ ЩЕДРИНА 70—80-х гг. О ЛИТЕРАТУРЕ

Вступительная статья и примечания С. Макашина

ЩЕДРИН О ПОЛОЖЕНИИ И ЗАДАЧАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Первые два из публикуемых ниже текстов Щедрина — незаконченная очевидно статья «Приличествующее объяснение» и отрывок, начинающийся словами «Говоря по правде, положение русского литератора...», — связаны друг с другом хронологической и тематической близостью.

Написанные в конце 70-х или в начале 80-х годов они примыкают по своему содержанию к основному произведению этого периода — циклу «Круглый год» или, говоря точнее, к «литературным» главам этого цикла («Первое марта», «Первое августа» и др.). Разысканные материалы невелики по размеру. Тем не менее они вносят ряд дополнительных черт в характеристику теоретических взглядов Щедрина на положение и задачи современной ему литературы и печати (газетной). Кроме того оба отрывка являют собой новые и яркие свидетельства щедринской подлинно непримиримой борьбы с «уличной», т. е. оппортунистической, печатью, превратившейся в обстановке 70—80-х годов в «общественную прихвостницу» всех «темных сил» наступавшей контрреволюции. Этим определяется интерес найденных текстов и оправдывается их публикация на страницах «Литературного Наследства».

Третий документ — совсем небольшой отрывок, начинающийся словами (в вычерке) «Пошехонье откликнулось», относится к 1883—1885 гг. и представляет собой видимо черновой набросок незаконченной статьи, предназначавшейся для включения в отдельное издание сборника «Пошехонские рассказы». Этот сжатый, насыщенный содержанием отрывок также имеет право претендовать на внимание читателя как чрезвычайно сильное в своей краткости выступление Щедрина, посвященное разоблачению той обывательской «философии» общественно-политического индиферентизма, которая в обстановке реакции неизбежно «применительно к подлости» переходила в практику «страдательного ренегатства».

Таким образом вся публикация имеет одну общую тему, отчетливо проведенную во всех трех текстах. Эта тема — борьба с правительственной и общественной реакцией в различных ее проявлениях, в числе которых на первом месте значится и либерально-оппортунистическая пресса, охранительные функции которой для Щедрина несомненны Тем не менее очевидно, что объединение данных документов в единый публикационный комплекс носит условный и, так сказать, предварительный характер. Все три отрывка еще «ищут себе места» среди известных произведений Щедрина или по крайней мере внутри их. Найти это место, т. е. «прикрепить» каждый публикуемый текст к какому-

либо существующему циклу или сборнику или же к конкретному замыслу, определить отношение отрывка к общей композиции целого и характер этого отношения (первоначальная редакция, вариант, набросок нового очерка и т. п.), возможно лишь в результате тщательного изучения всех, особенно черновых, рукописей Щедрина конца 70-х — начала 80-х годов. Эта работа еще впереди. Некоторые предварительные соображения по данному вопросу и аргументы, их подкрепляющие, приводятся ниже и в примечаниях.

В силу условного характера объединения воспроизводимых здесь документов необходимые пояснения к ним даются поэтому в дальнейшем раздельно для каждого из отрывков. Здесь остается лишь указать, что все три документа взяты из архива М. М. Стасюлевича в ИРЛИ Академии Наук, где они сохранились в черновых автографических рукописях (подготовлены для печати Н. В. Яковлевым). Две из них — содержащие текст «Приличествующего объяснения» и «Пошехонье откликнулось» — до сих не появлялись в печати совсем; рукопись отрывка «Говоря по правде, положение русского литератора» была частично и с большим количеством ошибок (в том числе и датировка: рукопись конца 70-х годов была отнесена к началу 60-х годов) опубликована В. Кранихфельдом в 1914 г.[1]

* *
*

После появления в печати «Круглого года» Щедрина один современный критик писал: «Когда будущий историк остановится перед литературой 70-х годов и, пораженный ее низким уровнем, широким разливом гнойных нечистот, захочет произнести над нею резкое слово осуждения, пусть он прочтет тогда сатиру Салтыкова и нет сомнения, что вместо обвинения он отнесется к ней с состраданием. Увы! даже сами обскуранты будут признаны заслуживающими снисхождения»[2].

Приведенные слова принадлежат Евгению Утину — адвокату и публицисту, видному либеральному деятелю, занимавшемуся на досуге и литературной критикой.

Щедрин называл Утина «отпетым хищником»[3], «подлинным фарисеем»[3] и не раз с презрительной иронией отзывался о нем в своих письмах. В 1881 г. Утин напечатал в либеральнейшем «Вестнике Европы» «подлинно фарисейскую» статью «об идеалах Щедрина». Политический смысл этой статьи, написанной в сочувственно-хвалебном тоне, заключался тем не менее в том, что в ней безмерно снижалось и опошлялось политическое содержание щедринской «борьбы за идеал», которая сводилась автором, по сути дела, к борьбе за лозунги буржуазного поссибилизма в обстановке обостренной реакции[4].

Так по мнению Утина «Салтыков, зная хорошо пределы русской литературы, сторонится от изображения политического положения общества, обходит и экономическое, и юридическое и сосредоточивает свою сатиру на нравственном состоянии русского общества». Именно в «неустанной заботе о нравственном совершенствовании общества» заключается якобы сущность и итог всей деятельности Щедрина. Это позволяет Утину отнести сатирика к числу «тех талантов, которые двигали общество своими произведениями по пути прогресса, которые пробуждали добрые чувства, которые боролись за торжество справедливых начал над несправедливыми, света над тьмой, свободы над бесправием, любви над ненавистью».

Не ясно ли, что подлинный смысл этой размазистой декламации, произнесенной выспренним языком столичного адвоката, заключается в том, чтобы под ее «дружественным» покровом скрыть, замолчать самые острые политические стороны щедринской сатиры, которая в 70—80-х годах жестче всего била как-раз по либералам. Публицисты либеральной печати 80-х годов вели себя по отношению к Щедрину так же, как и их будущие «наследники» — кадеты, о которых Ленин писал в 1912 г., что они «хватаются за фалды Щедрина», в то время как «Щедрин беспощадно издевается над либералами»[5]. Хватается за фалды Щедрина и Утин, когда пытается опереться на авторитет и имя Салтыкова затем, чтобы подкрепить ими свою классово-корыстную защиту литературы 70-х годов перед судом «будущего историка». Утин фальсифицирует важнейшие стороны щедринского творчества, его политический смысл, когда ограничивает сатиру Салтыкова рамками борьбы только за лозунги буржуазного либерализма: конституционализм, различные «свободы», в том числе свобода печати, и т. п. Щедрин был писателем револю-

ционной демократии. Проблема буржуазно-демократической революции — стержневая проблема всего его творчества. Конечно Щедрин боролся с самодержавием и крепостным правом, которое, кстати сказать, в отличие от многих либералов он не считал «уничтоженным» реформою 1861 г., и именно это признание и продолжение ожесточенной борьбы с крепостничеством и ставило Щедрина, несмотря на все его либеральные срывы, в лагерь революционной демократии. Он боролся с произволом царской бюрократии, порабощением печати и т. д. Но сражаясь за лозунги буржуазной революции, Щедрин вместе с тем, отражая историческое своеобразие развертывания сил русской крестьянской демократии в полукрепостнической стране, не менее если не более энергично бил своей отточенной сатирой и буржуазных либералов которые были против всякой революции за сделку с монархией. Щедрин ожесточенно боролся с либералами — дворянскими и буржуазными, неустанно разоблачал истинное политическое лицо российского либерализма на разных этапах его существования. Эту сторону деятельности Салтыкова Утин естественно замалчивает. Так например, признавая идейную нищету русской либеральной печати 70-х годов, ее «низкий уровень», Утин, производя насилие над щедринским текстом, ссылается на него как на тот источник, в котором читатель якобы может почерпнуть аргументы в пользу «сострадания», «снисхождения», а стало быть и примирения по отношению к этой литературе «гнойных нечистот» или, по щедринскому выражению, «ретирадной литературе». Смысл этого «приема» ясен. Утин пытается реабилитировать либеральную печать за счет перенесения всей ответственности за ее идейное и политическое убожество на объективно-исторические условия цензурного и политического режима. Об органических, внутренних пороках самой либеральной печати, о ее «классовом бессилии» и «принципиальной беспринципности», с такой ненавистью бичуемых Щедриным, Утин не упоминает ни слова. А между тем именно либерализму-пенкоснимательству предъявлял Щедрин тягчайшее обвинение в «общем понижении мыслительного уровня», в том, что «творчество заменено словосочинением; потребность страстной руководящей мысли заменена хладным пережевыванием азбучных истин». Щедрин спрашивает: «Каким горьким процессом дошла литература до современного несносного пенкоснимательного бормотания? Было ли тут насильство, или же измельчание произошло вследствие непростительного самопроизвольного неряшества?» Ответ Щедрина заключен в его вопросе. Ответ этот важен для понимания отношений Щедрина к либеральной печати, к буржуазному либерализму вообще. «Что внешний гнет играл здесь немалую роль,— говорит сатирик,— в этом не может быть ни малейшего сомнения. Но признаюсь,— продолжает он,— в моих глазах едва ли не важнее вопрос: сопровождалось ли это вынужденное измельчание какой-нибудь попыткой ускользнуть от него? Была ли попытка оградить литературную самостоятельность от случайностей, или, по малой мере, обеспечить писателя на случай вынужденного бездействия? Вот на эти-то вопросы я и не берусь отвечать. Я могу только догадываться, что ежели литература даже по вопросам самосохранения неспособна притти к единомыслию, а способна только предаваться взаимным заушениям по поводу выеденного яйца, то ее вынужденное измельчание равняется измельчанию самопроизвольному» [6].

Другими словами, Щедрин признает, что буржуазно-либеральная печать сама повинна в своем собственном идейном и политическом бессилии. Эта мысль настойчиво проводится через ряд щедринских статей. А Утин всячески стремится затушевать, сгладить «либералоедство» Щедрина, стремится самого его превратить в ограниченного либерала и даже этакого страдающего гуманиста, готового оправдать при взгляде на цензурный мартиролог и цензурные уставы не только отдельные «угоднические грешки» иных органов печати, но и всю литературу политического приспособленчества, предательства и лютой реакции.

Но вот например, что в действительности говорил об этой литературе сам Щедрин в одном из своих писем к Анненкову:

«...Я — литератор до мозга костей, литератор преданный и беззаветный — и представьте себе я дожил до «Московских Ведомостей», «Нового Времени», дожил до того, что

даже за «Голос» берешься как за манну небесную. Думается: как эту же самую азбуку употреблять, какую употребляют «Московские Ведомости», как теми же словами говорить? Ведь все это, и азбука, и словарь — все поганое, провонялое, в нужнике рожденное. И вот, все-таки теми же буквами пишешь, какими пишет и Цитович, теми же словами выражаешься, какими выражаются Суворин, Маркевич, Катков!» [7]

Эти слова подлинно страстного презрения менее всего конечно учат «искусству примирения», о чем хлопочет Утин — теоретик «малых практических дел», практик оппортунизма.

Они были написаны в декабре 1879 г., то-есть в самой непосредственной хронологической близости с возникновением замысла написать «Приличествующее объяснение»,— специальную статью о газете и литературе 70-х годов. Статья эта осталась видимо незаконченной: в ней нет подробного развития темы, нет логически замкнутого вывода, конечных формулировок тех тезисов, которые Щедрин взялся доказать. Но сохранившееся в отрывке начало дает вместе с тем достаточно четкое представление о содержании и целенаправленности этого незавершенного замысла. «Приличествующее объяснение» должно было явиться очередным выступлением сатирика в защиту принципов «убежденной литературы», в защиту идейной чистоты рядов этой литературы от вторгшейся сюда «улицы» и «уличной», т. е. оппортунистической и реакционной, печати.

«Улица» в сознании Щедрина — понятие большой сложности, выражающее в исторической обстановке 70-х годов чрезвычайное разнообразие и многослойность формирующих реакцию сил. Давление этих сил на литературу явственно обозначилось уже в конце первой половины 60-х годов, когда окончательно выяснилась победа политических сил, проведших в своих интересах «реформу», сохранившую на десятилетия пошатнувшееся было под напором крестьянской революции самодержавие. Щедрин с присущим ему политическим чутьем сразу же уловил и зафиксировал в ряде произведений (например в хрониках «Наша общественная жизнь» 1863—1864 гг.) «положение минуты». Отчетливо сознавая крепостнический исход «реформы» и контрреволюционный характер дворянского либерализма, скоро перешедшего от шумных оппозиционных фраз к фактическому примирению с реакцией, Щедрин в 60-е годы бил своей сатирой и публицистикой главным образом по помещикам-крепостникам, защищающей их интересы царской бюрократии и блокирующимся с ними либералам, при чем под последними Щедрин разумеет в указанный период почти всегда представителей именно дворянского либерализма, заключившего компромисс с крепостниками на почве сохранения своего классового господства [8]. Защита Щедриным интересов молодой революционно-демократической литературы осуществляется поэтому в указанный период главным образом по линии н а п а д е н и я, по линии критики дворянской литературы, разоблачения величайшей бедности ее идейного содержания, «кастической замкнутости», ее исторической обреченности и неспособности поэтому «провидеть будущее».

Разворот щедринской борьбы с буржуазным и мелкобуржуазным либерализмом в его многочисленных вариантах падает на 70—80-е годы. Предвидя неотвратимость наступления «эпохи чумазистого торжества», Щедрин вместе с тем не верил в ее относительно прогрессивную роль. Процесс капиталистического развития, протекавший в стране, общественный строй которой сохранял в себе бесчисленное количество помещичье-крепостнических и глубоко реакционным, оборачивался для современников самыми неприглядными сторонами: некультурностью, азиатчиной, низкими организациоными и техническим премами. Нарождение отечественной буржуазии, ее растущую активность Щедрин воспринимает преимущественно в свете «хищничества», появление различных чисто буржуазных институтов и профессий оценивается им как «явления и формы деятельности в такой же мере бесчестные, как и гнетущие», «в соседстве с ними как-то срамно становится жить» («Круглый год»). Среди этих явлений видное место в щедринской сатире начинает с 70-х годов отводиться вопросам массовой политической печати.

Русский капитализм начал интенсивно создавать свою прессу «по образу и подобию» европейского капитализма очень поздно, на глазах у Щедрина. Широкое развитие русская периодическая печать получила лишь после 60-х годов. Известные послабления, по крайней мере на первых порах, закон 6 апреля 1865 г. давал периодическим ежедневным

ГРУСТИЛОВ, ЭРАСТ АНДРЕЕВИЧ, СТАТСКИЙ СОВЕТНИК, ДРУГ КАРАМЗИНА

«Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 г. Дань с откупа возвысил до 5.000 р. в год»

Рисунок А. Радакова из альбома «Портретная галлерея градоначальников, в разное время в г. Глупов от высшего начальства поставленных» (1731—1826 по Щедрину и 1826—1907 не по Щедрину)», П., 1907 г.



органам. В «освобожденной» печати одна за другой, как грибы после дождя, стали возникать ежедневные газеты частных издателей, тогда как в предыдущий, дореформенный, период русская газета почти исключительно исчерпывалась всевозможными казенными «ведомостями». Таким образом по источнику своего происхождения русская газета 70—80-х годов была чисто буржуазной. Но самодержавие, политическая реакция и цензурно-жандармская опека, преследовавшие даже ничтожные ростки политического протеста или недовольства, придали ей ряд специфических черт глубоко отрицательного порядка, которых не знали уже в это время газеты Запада.

Сопоставляя несколько позднее в «Мелочах жизни» европейскую газету с русской, Щедрин писал про первую: «... правильна или неправильна идея, полезно или вредно направление, которому служит данная газета, это вопрос особый; но несомненно, что и идея, и направление существуют, что они высказываются в каждой строке журнала, не смешиваясь ни с какими другими идеями и направлениями. Издатель знает, что он издает; подписчик знает, на что он подписывается». В условиях русской политической действительности этот порядок буржуазно-демократической прессы неприменим. Русские газеты Щедрин делит на две группы: «ликующие» и «трепещущие». «Содержание для первых представляет веселая диффамация и всех сортов балагурство, иногда впрочем заменяемые благонамеренным бешенством; содержанием для последних служит агонизирующая тоска в виду завтрашнего дня и ежедневная разработка шкурного вопроса» [9].

Щедрин, для которого литература вообще, как и литература художественная в частности, была ценна постольку, поскольку она выражала собой известную убежденность и «являлась носительницей идеалов будущего», всегда с суровой и резкой непримиримостью относился ко всяким проявлениям безыдейности, ко всякого рода погрешностям в чистоте раз избранной линии. Щедрину — художнику, редактору, публицисту — в высшей степени было присуще то качество, неизменно руководствовавшее его литературной деятельностью и определявшее его писательский тип, которое принято теперь называть пафосом направления и которое сам сатирик называл «ежеминутной потребностью в страстной убежденности мысли».

Но русская буржуазная печать этих-то качеств никогда и не имела. В силу исторических условий своего развития она была рахитична со дня своего рождения. Политические позиции этой печати всегда были двойственными, межеумочными, отражая «классовое

бессилие либерализма» (Ленин), его боязнь самодержавного правительства, с одной стороны, революционной демократии — с другой. Лишь революция 1905 г. способствовала созданию более диференцированной и политически яркой печати. В 70-е же годы настойчивость и непримиримость в проведении определенных взглядов и идей — а именно этих качеств требовал Салтыков от периодического органа — сатирик мог констатировать разве только у «Московских Ведомостей», отражавших мнение «диких помещиков» и черносотенцев, да у некоторых других подобных органов. Вся же остальная печать так называемого прогрессивного лагеря была сплошь оппортунистической. В 1872 г. Михайловский писал по поводу «Санкт-Петербургских Ведомостей» (у Щедрина — «Старейшая всероссийская пенкоснимательница») о том, что либеральная печать сама не сознает, какому господину она служит. «В целом,— заключал Михайловский,— получается приличная, стыдливая девица, желающая нравиться и потому затягивающаяся в корсет. За кого она выйдет замуж? А за кого-нибудь непременно выйдет... Час ее пробьет и то или другое содержимое наполнит пустой сосуд» [10]. Михайловскому разумеется нетрудно было «быть пророком в своем отечестве». На протяжении 70-х годов и особенно начиная с балканской войны 1877 г. ряд либеральных газет не замедлил политически «самоопределиться», став по существу органами помещичьей и полицейской бюрократической реакции, ее послушными агентами, пресмыкающимися перед всяким изгибом правительственной политики. Наиболее типично, ярко, законченно картина такой эволюции отражена в «метаморфозе» пресловутого «Нового Времени». В статье 1912 г. «Карьера» Ленин писал по поводу смерти издателя газеты А. С. Суворина: «Либеральный журналист Суворин во время второго демократического подъема в России (конец 70-х гг. XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу «найти себя» и найти свою дорожку лакея, награждаемого громадными доходами его газеты «Чего изволите?»

«Новое Время» Суворина на много десятилетий закрепило за собой это прозвище «Чего изволите?» Эта газета стала в России образцом продажных газет. «Нововременство» стало выражением, однозначащим с понятиями: отступничество, ренегатство, подхалимство. «Новое Время» Суворина — образец бойкой торговли «на вынос и распивочно». Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая порнографическими объявлениями» [11].

Ленин пользуется здесь, как и во множестве других мест своей публицистики, выразительной кличкой «Чего изволите?», созданной Щедриным. И это разумеется не случайно. Салтыков мужественно, открыто презирал суворинскую газету и презрение свое неустанно пропагандировал. Еще в 1876 г. Щедрин понимал, что у «Нового Времени» не «осталось никаких союзников в литературе, кроме «Московских Ведомостей», да «Русского Мира», и писал Некрасову: «Ужасно хочется, чтоб эта гнусная газетченка хлопнулась» [12]. В дальнейшем, в ряде произведений 70—80-х годов. Щедрин неоднократно касался этого рептильного органа, присвоив ему еще одну кличку «Краса Демидрона».

Не менее враждебное отношение встречала со стороны Щедрина и вся остальная современная ему печать хотя и не ренегатствующая открыто, но откровенно оппортунистическая (в качестве образца такой газеты можно например указать «Голос» Краевского). Именно этой группе газет, их типовой характеристике, и должно было быть посвящено «Приличествующее объяснение».

Как и всегда у Щедрина, статья писалась по вполне конкретному поводу или, вернее,— намерение написать ее было вызвано вполне конкретной литературно-политической ситуацией. Для понимания статьи важно поэтому хронологическое приурочение самого замысла «Приличествующего объяснения» к концу 70-х годов или, точнее, к 1879 году. О нем так писал Щедрин, заканчивая цикл «Круглого года»: «Год приходит к концу, страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского. Даже в худшие эпохи ничего подобного этому злосчастному году летописи русской жизни едва ли представляли» [13]. Это был год террора только что сорганизовавшейся «Народной воли», на героические удары которой перепуганное и растерявшееся правительство ответило испепеляющей реакцией, превратившей русскую политическую жизнь в подобие мертвой пустыни. В такой обстановке особенно трудное положение создалось разумеется

для печати. Но конечно не для всякой и не в одинаковой мере. Ясно например, что черносотенная пресса особых неудобств не испытывала, а наоборот, являясь одним из застрельщиков и пропагандистов реакции, ее эффективной силой, всемерно использовала «благоприятную» ситуацию для укрепления своих позиций и упрочения своего влияния.

С другой стороны, демократическая журналистика (например народнические «Отечественные Записки») хотя и страдала от цензурно-административных репрессий «физически» больше, чем вся остальная печать, но идейно и, можно сказать, морально она имела возможность с большим или меньшим достоинством противостоять наступавшей реакции. (Компромиссы были и здесь как неизбежное зло всякой оппозиционной деятельности в условиях царской России).

В наиболее трудном и фальшивом для своего политического достоинства положении находилась конечно буржуазно-либеральная, оппортунистическая пресса, т. е. численно наиболее крупная фракция русской печати конца 70-х годов. «Трезвая оппозиция» этой печати не шла дальше критики отдельных мелочей, сводясь по существу к пропаганде идей реформистского культуртрегерства. При этом однако каждая «уважающая себя» газета стремилась создать себе репутацию органа, критикующего правительство, вмешивающегося в политическую жизнь страны. Этим завоевывалось доверие (и материальные средства) фондирующего мелкобуржуазного обывателя, давался безопасный выход его недовольству. Русского либерала 70—80-х годов (существа кстати сказать гораздо более подлого, чем либерал 50—60-х годов) Щедрин определял как «почтительно, но с независимым видом лающего человека». Эта характеристика в полной мере приложима и к либеральной печати. Признаком хорошего тона в ней было: «почтительность» по возможности скрывать от читателя, а «независимый вид», которым либеральный орган очень дорожил, выставлять на первый план. В знаменитом щедринском «Уставе Вольного Союза Пенкоснимателей» один из пунктов, гласящий «об обязанностях», так и формулируется: «По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренно же трепетать». В последующим же «объяснении» к этому пункту — блестящем образе умной и злой сатиры Щедрина на оппортунистическую печать — содержится между прочим такая рекомендация тактики либерального публициста-газетчика:

«Читатель любит, чтобы беседующий с ним публицист имел вид открытый и даже смелый; цензура, напротив, не любит этого. Каким образом пройти между Харибдой и Сциллой? Каким образом, с одной стороны, не растерять подписчиков, а с другой — не навлечь на себя кару закона? В этом именно и заключается задача современного пенкоснимателя. До сих пор единственное практическое решение этой задачи было таково: смелый вид иметь лишь по наружности, а внутренне трепетать Соглашаясь вполне с правильностью такого решения, мы, с своей стороны, полагали бы не лишним, для большей смелости, прибегать при этом к некоторым фразам, которые, по мнению нашему, могли бы с успехом послужить для достижения обеих высказанных выше целей. Фразы эти суть: «мы предупреждали», «мы предсказывали», «мы предвидели» и т. д. Примененные к делу пенкоснимательства эти фразы никакой в цензурном отношении опасности не представляют, а между тем публицисту придают вид бодрый и отчасти даже проницательный»[14].

Но даже и эту трусливую тактику политического «лицемерия, двоедушия и лганья» осуществлять в обстановке полицейского террора было нелегко. Предостережения, воспрещения, запрещения розничной продажи сыпались безостановочно, угрожая материальным интересам владельцев газет и вынуждая их откупаться от опасности окончательного запрещения тем «хамским усердием» (Ленин), теми отвратительными заявлениями верноподданнического и иного холопства, которые и дали Щедрину материал для создания его знаменитой клички «Чего изволите?»

Скупыми, слегка заостренными сатирически фразами характеризует Щедрин положение современной ему газетной работы и саму газету. «Единственная оценка, которую имеет в виду газета и которой дорожит,— это успех в публике», говорит Щедрин, подчеркивая беспринципность и делячество буржуазной печати. Погоня за «пятаками» подписчика — вот что определяет в каждый данный момент «направление» такого органа. Газета стала капиталистическим предприятием. Торгашеские принципы стали играть руководящую роль в газетном деле. Не только собственнику ее, но и участвующим в ней литера-

торам материально выгодно вести дело так, чтобы оно приносило коммерческий доход. Доход же газеты, как известно, непосредственно зависит от той или иной степени распространения ее через подписку или посредством розничной продажи. Аппарат царской цензуры довольно скоро сообразил, что одним из наиболее эффективных методов воздействия на «непослушные» органы повседневной печати будет такой, который бы подрывал их материальное благополучие. Уже в самые первые годы после цензурной реформы (закон от 6 апреля 1865 г.) система административного воздействия на печать была дополнена воспрещениями розничной продажи периодических изданий по приказу министра внутренних дел. Это нововведение, поразительно быстро привившееся и заменившее для газет почти все другие виды репрессии, оказывало разумеется самое деморализующее влияние на печать, «самым вредным образом подействовало на независимость и достоинство газет». Не менее разлагающе действовала разумеется и начавшая прививаться с Запада система частных подкупов и субсидий. «Без содействия печати нынче ни одно промышленное предприятие шагу ступить не может», — констатирует Щедрин. — Вся возделывающая, производящая, эксплоатирующая и спекулирующая Россия раздробилась на бесчисленное множество клиентур, которые сами признали свою подсудность печати. Стало быть, речь идет только о качестве клиентуры. Кто покрупнее клиентуру захватит, тот и умница; но уж во всяком случае тут не фунтом икры пахнет, как во времена Булгарина» [15].

Итак фатально колеблющиеся позиции либеральной печати, по классовой природе своей осужденной в русских исторических условиях на политическое пресмыкательство, зависимость ее от паука-капиталиста, наконец обстановка отчаянного порабощения печатного слова вообще в условиях полицейского террора последних лет царствования Александра II, — все это порождало «необходимость компромиссов», определяло вопиющую беспринципность «большой прессы», ее идейную несостоятельность и полную зависимость от бюрократического аппарата правящей клики.

Цензурные неистовства 1879 г. являлись суровым, но весьма показательным экзаменом на политическую самостоятельность, достоинство и зрелость этой прессы, которая с гордостью говорила: «печать-сила» и любила называть себя «органами честной, серьезной, независимой мысли».

Щедрин срывает эти украшающие покровы. На ряде примеров он показывает всю несостоятельность таких заявлений.

Щедрин поступает так: он ставит вопрос «об чем и как говорить?» и приводит далее несколько наиболее существенных моментов злободневной политической ситуации, требующих безусловного обсуждения в периодической печати. Но оказывается, что именно об этих самых существенных, волнующих общество вопросах ни одна газета по сути дела не может, а большею частью по соображениям шкурного интереса и не пытается говорить, ограничиваясь в лучшем случае трусливой, осторожной, сугубо фактической информацией, «или же если и разъясняет кой-что, то или совсем по-детски, или уж до того нелепо-злостно, что лучше бы уж и не касаться».

В качестве примеров тех явлений, которые «могут (читай: должны.— С. *М.*) служить предметом для поучительнейших исследований», Щедрин называет следующее: 1) доносительная, ультра-реакционная публицистика пресловутого Цитовича, пышно расцветшая как-раз в 1879 г., 2) общественный индиферентизм политически омертвевшего общества, 3) отношение к террористическим актам народовольцев 1879 г. и к ответным контрударам правительства (аргументы в пользу такого понимания соответствующего места текста, написанного эзоповским языком, приведены мною в примечаниях к публикуемой статье) и наконец 4) вакханалия повсеместного хищничества, принявшего в эти годы грандиозные размеры.

«Все эти вопросы и великое множество других,— констатирует Щедрин,— так и остаются открытыми вопросами».

На этом обрывается рукопись «Приличествующего объяснения». Заключительных выводов нет. Их нетрудно однако сформулировать. Основные положения Щедрина сводятся к следующему: 1) современная газета (под ней, как мы видели, Щедрин разумеет прежде всего оппортунистическую газету идейно несостоятельна, поли-

тически беспринципна и поэтому практически бессильна; 2) развитие и господство ежедневной газеты — фактор глубоко отрицательно воздействующий на развитие общественной мысли, критики и литературы, признак, свидетельствующий о понижении их идейного уровня и ценности; 3) газете противопоставляется традиционная для русской журналистики форма «толстого» журнала как единственная форма, позволяющая в силу ряда своих «качеств» до известной степени обеспечить идейную чистоту и достоинство как самой литературы, так и литературной профессии (под этими «качествами» в контексте статьи имеются в виду главным образом цензурные условия: «толстые» журналы энциклопедического содержания находились в несколько более благоприятных условиях, чем газеты, придирок к ним было меньше, так как распространялись ежемесячники среди довольно узкого круга читателей).

Щедрин таким образом отрицает и признает социально-враждебной тому делу, которому он служит, не только направление современной ему газетной печати, но и саму газету в ее так сказать специфике жанра, в отличие от других форм периодической печати. При оценке этого суждения Щедрина нельзя упускать из виду, что Щедрин, как указывалось, знал и мог знать в 1879 г., помимо реакционно-охранительных рептилий или полурептилий, лишь либерально-оппортунистическую прессу. Разумеется против таких газет Щедрин выступал и должен был выступать со всей силой своей горячей и страстной убежденности. Но других газет, по крайней мере легальных, еще не существовало. Это обстоятельство невольно способствовало тому, что борьба с политически враждебной газетой была перенесена и на самую газету вообще и привела к отрицанию этой формы периодической печати как некоего «низкого жанра», несоответствующего тем высоким задачам, которые должны стоять перед «убежденной литературой». Будучи ограничен своим историческим и, следует добавить, практическим опытом долголетнего сотрудника и редактора «Современника» и «Отечественных Записок» («толстые журналы»), Щедрин не мог конечно в полной мере оценить значение и преимущество газеты как острейшего орудия политической борьбы, как формы массовой политической печати, в отличие от толстого журнала, обращенного всегда к численно ограниченной аудитории. Известно, что в 70—80-х годах в условиях все более сгущавшейся реакции и всеобщего «понижения тона» Щедрин склонен был по методу противопоставления переоценивать дворянскую литературу 40-х годов, ставя ей в заслугу ее «идейную незамаранность», объясняемую тем, что она «не входила в столь тесное соприкосновение с грязью жизни», как литература 70—80-х годов. Щедрин склонен был поэтому переоценивать и ту основную форму, в которой развивалась «идейная литература» 40-х годов,— толстый журнал, который «сам по себе» оберегал литературу от вторжения в нее «уличного элемента».

Второй публикуемый здесь отрывок, начинающийся словами: «Говоря по правде, положение русского литератора», не поддается точной датировке, но бесспорно относится к концу 70-х или к самому началу 80-х годов. И композиционно, и по содержанию отрывок распадается на две части. Первая из них, посвященная «Положению русского литератора», примыкает ближе всего к главе «Первое марта» из цикла «Круглый год» («К сожалению, я литератор...»), в частности к той знаменитой речи в защиту литературы, которую произносит автор в комиссии «государственных младенцев», обсуждающих вопрос «об искоренении литературы»[16]. Возможное даже, что эту часть отрывка следует рассматривать как отброшенный автором вариант указанной главы «Круглого года». Тогда документ «находит себе место» и дату (февраль 1879 г.).

Зато вторая часть отрывка воспринимается как начало развития совершенно самостоятельного, внутренне не связанного с предыдущим текстом очерка, посвященного изображению «баловня фортуны». С рассуждением «о положении русского литератора» очерк связан лишь внешне — «единством рукописи». Он написан (судя по почерку, одновременно) на том же листе автографа, что и текст «Говоря по правде...» Тематически эта часть отрывка чрезвычайно близко примыкает к другому вновь найденному щедринскому тексту, публикуемому в этой книге: «Когда страна или общество...» (см. стр. 313—327). И там и тут в совершенно одинаковом значении фигурирует «баловень фортуны» — образ, употребляемый Щедриным и раньше и позже, но в ином смысле»[17]. Раз-

ница между обоими текстами — в методе разработки темы. Если отрывок «Когда страна или общество...» ставит и развивает тему о политическом сервилизме и «лести» в теоретико-публицистическом плане, то публикуемый нами текст переключает эту тему в план художественно-сатирического очерка на бытовом материале. Можно предполагать поэтому, что очерк о «баловне фортуны» и отрывок «Когда страна или общество...» являются частями какого-то единого неизвестного нам замысла Щедрина. Однако бесспорных аргументов в пользу такого предположения пока не имеется. Опасение допустить «компиляцию» текстов обусловило необходимость воспроизведения их в нашей «предварительной» публикации в том сочетании, которое сохранила нам рукопись Щедрина.

Первая часть публикуемого отрывка — рассуждение о положении русского литератора, представляет бесспорно не только историко-литературный, но и биографический интерес. Перед нами один из документов литературной биографии Щедрина. Отбросив всякие фикции рассказчика или вымышленного героя, Щедрин от своего имени высказывает здесь взгляд на положение русских литераторов, точнее говоря, на положение одной лишь фракции этого цеха — фракции «литераторов честных и убежденных», к которым в первую очередь принадлежал сам Щедрин, говоривший, что ему всю жизнь суждено было оставаться в «удрученном положении убежденного писателя».

Известно, какой исключительной и страстной привязанностью к литературе была проникнута вся деятельность Щедрина, с каким чувством ответственности нес Щедрин звание литератора, предпочитая ему «всякое иное». «Литератор до мозга костей, литератор преданный и беззаветный» Щедрин подвизался на литературно-общественной арене в ту, по словам Ленина, «проклятую пору эзоповских речей, литературного холопства, рабьего языка, идейного крепостничества», от которых «задыхалось все живое и свежее на Руси»[18]. Задыхался и Щедрин. Русская историческая жизнь середины XIX века с ее дегенеративным феодализмом и только что начавшим развиваться капитализмом лишала многих социальной точки опоры и заставляла искать те или иные фикции этой опоры. В полной мере не избег этой участи и Щедрин, прошедший трудный путь отхода от своего класса в лагерь идеологов крестьянской демократии, мужественно боровшийся за ее торжество с тем, чтобы в конце своей деятельности стать свидетелем тяжелого разгрома революционного движения (на том этапе, на каком застал его Щедрин). Эти моменты социально политической биографии Салтыкова, сложность его борьбы за социальное самоопределение не могли не найти себе отражения в системе его взглядов на литературу. Они осложнили эти, в целом трезво-реалистические, революционно-прогрессивные взгляды элементами идеализма, просветительства и этического проповедничества, которые особенно усилились в 80-е годы — годы реакции, годы идейного и организационного распада того движения, с которым был связан Салтыков. В этот период с пера Щедрина все чаще срываются горькие признания в том, что литература не смогла дать ему удовлетворения, но вместе с тем заслонила от него «даже широкую, не знающую берегов жизнь»... Глубокий трагизм слышится в этих словах. На протяжении всей своей писательской работы Салтыков ценил литературу именно за то, что видел в ней высшую форму социальной практики. Это предпочтение, отдаваемое литературе перед всякими иными формами общественной деятельности, страдало конечно преувеличением. Корни его уходят и в условия политического режима, под игом которого жил и действовал Щедрин. В стране помещичье-полицейского гнета и произвола литература была единственным органом выражения, доступным демократу, не уходившему в революционное подполье, а действовавшему в рамках официальной легальности. Но идеалистически переоценивая литературу, Щедрин не уставал вместе с тем всячески подчеркивать необходимость включения ее в практику живой жизни, настойчиво требовал от литературы активного общественного действия.

В полном соответствии с этими воззрениями находились и взгляды Щедрина на литературную профессию. Если литература есть носительница наиболее исторически прогрессивных идеалов, если ее «высшая задача» заключается в подготовлении «почвы будущего», в подготовлении торжества тех форм жизни, которые хотя еще не составляют «наличного достояния человека», но рано или поздно «могут сделаться им», то ясно, какая огромная ответственность ложится на литератора — конкретного выразителя этих



ПФЕЙФЕР, БОГДАН БОГДАНОВИЧ, ГВАРДИИ СЕРЖАНТ, ГОЛШТИНСКИЙ ВЫХОДЕЦ

«Ничего не свершив, сменен в 1762 г. за невежество»

Рисунок А. Радакова из альбома «Портретная галлерея градоначальников, в разное время в г. Глупов от высшего начальства поставленных (1731—1826 по Щедрину и 1826—1907 не по Щедрину)». П., 1907 г.

идей, призванного воплощать их в живое, пропагандирующее слово, обязанного быть подлинным вожаком общества на путях его переустройства. Такие задачи требовали от писателя помимо высокой идейной целеустремленности еще и умения активно вторгаться в жизнь, творить в ней конкретное дело, поверяя его конкретными результатами. Но этих-то качеств и лишена была в русских исторических условиях деятельность писателя, по крайней мере в применении к той группе, которая, подобно Некрасову и Щедрину, боролась с существующим порядком легальным путем. Писательская деятельность была как бы вынесена за скобки непосредственной общественно-политической жизни и борьбы, профессия литератора была по форме своей пассивной. Трагедией Щедрина было то, что, будучи по природе своей натурой активной, темпераментным практиком, общественником-организатором, он в гущу живой жизни мог вторгаться лишь пером. Сделать решительный шаг в сторону «практического служения идеалам» ему не было дано. Щедрин мучительно ощущал контраст между созданным им в теории типом «убежденного писателя» и тем положением его, которое существовало на практике, он мучился в противоречиях, которые в основе своей были противоречиями слова и дела, теории и практики. В публикуемом отрывке Щедрин прямо говорит об этом. Сравнивая литературную профессию с деятельностью ремесленника, он склонен отдать предпочтение последней и именно потому, что «всякий самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное», тогда как «русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых». Анализируя причины непрочного положения писателя в обществе, его социальную незащищенность, материальную необеспеченность, Щедрин ищет их в конкретных исторических условиях развития русской литературы. Основное положение Щедрина таково. В период исключительного господства дворянской культуры (хронологически определяемой с XVIII в. до 40-х годов) взгляд на литературу и писателя был иной. Дворянство занимало еще командующие позиции в экономической и политической жизни страны. Дворянская культура была сильна своим опытом, традицией, мастерством. Писатели-дворяне не чувствовали себя «изгоями», так как

крепко были связаны со своим классом. Они не были, как правило, освобождены от всех других обязанностей своего класса на том основании, что они писатели. Все они являлись кроме того помещиками, офицерами, чиновниками и т. д. Процесс экономического «вымывания» и политического отхода отдельных групп дворянства от своего класса еще не был сколько-нибудь силен. Отдельные отщепенцы конечно были, и с ними жестоко расправлялись. Но в основном писатели-дворяне честно служили интересам своего класса, а если некоторые из них и заблуждались, то на них, говорит Щедрин, «смотрели не как на «мерзавцев», но как на лиц, которые по окончании курса наук в кадетских корпусах получили вкус в заблуждениям, в согласии с чем «старались исправить виновных домашними мерами». В качестве примера такого домашнего воздействия, т. е. идейного давления на волю и творчество писателя. Щедрин приводит Пушкина и его стихотворение «Клеветникам России». Щедрин, так же как Писарев и Добролюбов, не только противник политического смысла этого произведения; оно показательно для него как результат властно воздействующих идейных внушений, которыми «исправлялись» политические грехи писателей-дворян перед своим классом. Однако ни административно-карательный аппарат самодержавия, ни общественное (дворянское) мнение до поры до времени не считали, что «название злоумышленника или мерзавца» есть наиболее русскому литератору свойственное. Эта пора наступила позднее, когда в литературе активно стал действовать разночинный отряд идеологов крестьянской демократии — Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Щедрин и др., когда литература перестала быть «убежищем сладких звуков и молитв» и превратилась в арену ожесточенной классовой борьбы. В публикуемой статье Щедрин предъявляет основные обвинения по поводу «жалкого» положения литературы и литератора не столько политческому режиму, сколько самому обществу, которому служит литература. Общение литературы с практической жизнью привело к оскудению творчества, к подчинению его «утробным поползновениям уличной толпы». Однако дело тут не в самом «общении». Последнее «всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы», оно «одно может вывести ее из оцепенелости» предыдущего дворянского периода, одно даст ей возможность перейти из области «страдательной брезгливости» в область активного воздействия на жизнь. Отрицается таким образом не самое «общение», а те своеобразные и глубоко отрицательные формы его, при которых жизнь поступилась литературе не существенными своими интересами, а только «бесчисленной массой пустяков». «Пустяки» привело в литературу само общество, читатель. Последний «один смог бы укрепить положение литературы», но писателю нечего обращаться к нему за помощью. «Современный русский писатель неуловим и рассеян по лицу земли, как иудей. Он читает в одиночку: он ничего не ищет в литературе и ни с кем не делится прочитанным. Печатное русское слово не зажигает сердец и не рождает подвигов».

В конце 70-х годов Щедрин не мог питать никаких надежд на близкое торжество «новых форм жизни», а стало быть и на торжество «новой» литературы и «нового» читателя. Нахлынувшая «улица», символизировавшая для Щедрина, как уже говорилось, общественную реакцию, грозила свести на-нет все ростки этой новой демократической литературы, которую с такой заботой и трудом растил Щедрин в своем журнале. Положение «убежденного литератора» в этой гнилостной атмосфере идейного холопства конца 70-х, начала 80-х годов, когда все кругом мельчало, предательствовало и «понижало тон», нельзя было не признать глубоко трагичным. В эти годы Щедрин был близок к отчаянию. Оно звучит и в публикуемом отрывке.

Последний из публикуемых документов, отрывок «Пошехонье откликнулось», следует рассматривать как черновой и незаконченный набросок текста, предназначавшегося несомненно для включения в сборник 1885 г. «Пошехонские рассказы». Текст отрывка тематически близок к последней, 6-й главе сборника, названной в подзаголовке «Фантастическое отрезвление». Судя по первым вычеркнутым строкам рукописи (они взяты в квадратные скобки), можно предполагать, что непосредственным толчком к написанию публикуемого текста явилось действительно какое-то читательское письмо, полученное Щедриным от «обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев». Таких писем Щедрин получал много [21]. Допустимо поэтому предположение, что отрывок

представляет собой незаконченный набросок самостоятельной главы «Пошехонских рассказов» (заключительной), своего рода post-scriptum к книге. Но не исключена и возможность того, что перед нами отрывок первоначальной черновой редакции «Фантастического отрезвления». Текстуальных совпадений впрочем нет, тематическое — налицо [22]. Решить этот вопрос можно лишь путем обследования всего сохранившегося рукописного фонда сборника.

«Философия» Пошехонья, уловленная и зафиксированная в этом небольшом отрывке, ярко воссоздает историческую обстановку начала 80-х годов.

После 1 марта 1881 г. русское революционное движение находилось на самом трудном критическом этапе своего развития. Народовольчество было разгромлено. Пролетариат же не был еще настолько силен, чтобы выступить на русскую историческую арену с развернутой политической борьбой. Распоясавшаяся реакция справляла свою победу. Виселицы и тюрьмы выхватывали лучших революционеров. Шла сплошная измена среди буржуазной и народнической интеллигенции, бывшей недавно демократической и даже революционной и повернувшей теперь вспять от революции. Все возрастающим успехом стали пользоваться те политические программы, в которых практика революционной борьбы заменялась теориями постепеновства, малых дел, самоусовершенствования, реабилитации здравого смысла и т. д. Испуганный обыватель, рядовой пошехонец, создавал в эти годы свою философию, которая не могла быть ничем иным, как «философией подлой действительности». Эту философию и задумал разоблачить Щедрин.

По сути дела в этом маленьком отрывке Щедрин ставит кардинальный вопрос о переустройстве общества и о методах этого переустройства. Щедрин издевается над трусливой и пассивной утопической мудростью пошехонцев, гласящей, что «в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится». Это философия «премудрого пискаря», обывателя. Щедрин отвергает ее и требует другой, революционной, философии, той, которая «тревожит», «мешает», вызывает на размышление и борьбу. Щедрин, как известно, и сам мучительно ощущал свой отрыв от революционной практики, ту отделенность от нее, которая в значительной мере определялась глубокими и органическими противоречиями всего движения крестьянской революции, в котором сатирик принимал участие своей литературной деятельностью. Сознание разрыва между теорией и практикой глубоко отразилось на всем творчестве Щедрина, обусловив в нем те нотки пессимизма и отчаяния, которые слышатся во многих его произведениях 80-х годов. Страстной взволнованностью проникнута и эта «инвектива» против залезшего в нору и дрожащего там обывателя, который «не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно», лишь только в воздухе потянет откуда-нибудь «гарью» реакции.

Щедрин был непримиримым врагом всякого соглашательства, угодничества и оппортунизма в политике. Известно, что именно эту сторону ценили и ценят больше всего большевики в творчестве Щедрина. У нас еще существует много всяких разновидностей оппортунизма, и острие щедринской сатиры не притупилось и для борьбы с ними. Издеваясь над современным ему обывателем от политики, твердо верящим в «приход добра и посрамление зла», Щедрин писал: «По всему однакож видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пошехонцы будут сидеть у моря и ждать погоды, а в это время, где-то «там» будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг — трах! — приехали.

Самая это покойная философия».

Эта художественно яркая, социально-насыщенная «формула обвинения» политического оппортунизма невольно вызывает одну параллель. Тов. Сталин в своем докладе на XVII партсъезде с убийственной иронией разоблачил тех товарищей, которые считали, что раз мы идем к бесклассовому обществу, то значит можно ослабить классовую борьбу, ослабить диктатуру пролетариата и вообще покончить с государством, которое, мол, все равно должно отмереть в ближайшее время; «и они,— говорил т. Сталин,— приходили в телячий восторг в ожидании того, что скоро не будет никаких классов,— значит, не будет классовой борьбы,— значит, не будет забот и треволнений,— значит, можно сложить оружие и пойти на боковую — спать в ожидании пришествия бесклассового общества» [23].

Тов. Сталин блестящим, сатирически заостренным образом разоблачил здесь оппортунистические надежды и настроение современных обывателей от политики. Тов. Сталин указал на необходимость самой решительной борьбы с такими «настроениями». В этой борьбе щедринская сатира с ее силой и страстностью бичевания всяческого оппортунизма призвана и в наши дни сыграть активную роль.

С. Макашин

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. Вл. Кранихфельд, Литераторы и читатели (по неизданным рукописям Щедрина). «Утро Юга», Ростов н/Д., 1914, 27 апреля, № 97, стр. 3. Отрывок, опубликованный здесь, дан под произвольным заглавием «О русском литераторе».

[2] Утин, Е., Сатира Щедрина. «Вестник Европы», СПБ., 1881. № 1, стр. 308—327.

[3] Письмо к А. Л. Боровиковскому от 26 августа 1885 г. См. «М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизданные письма». Изд. «Academia», М.—Л., 1932, стр. 233 и неизданное письмо к Н. А. Белоголовому от 16 декабря 1882 г. (Частное собрание Е. Ф. Никитиной. Москва).

[4] Известно, что Щедрин немедленно по получении статьи ответил автору полемическим письмом, начинавшимся с иронического указания, что основной вопрос статьи — «вопрос об «идеалах» не выяснился». Письмо впервые опубликовано в сборнике статей Е. Утина. «Из литературной жизни», т. I, М., 1896. См. также в заметке «Щедрин о назначении своей сатиры. Забытое письмо Салтыкова».— «Литературная газета», М., 1932, 5 июля, № 30 (199), стр. 3.

[5] Ленин, В. И., Еще один поход на демократию. Сочинения, 3-е, изд. т. XVI, стр. 132.

[6] «Дневник провинциала в Петербурге». Щедрин. Сочинения. ГИЗ, т. III, стр. 145.

[7] Письмо к П. В. Анненкову от 10 декабря 1879 г. См. «М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма». Л., 1924, стр. 174.

[8] См. напр. рассуждения Щедрина о «помещиках добрых и умных» (либералы) и «помещиках глупых и злых» (крепостники) в статье «Современные призраки» 1863 г., впервые опубликованной в этой же книге.

[9] Очерк «Газетчик». Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. V, стр. 282.

[10] Михайловский, Н. К., «Литературные и журнальные заметки».— «Отеч. Зап.» 1872 г., № 5, отд. II, стр. 63.

[11] Ленин, В. И., Карьера. Сочинения, 3-е изд., т. XXX, стр. 192—198.

[12] «М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма». Л., 1924/25, стр. 150.

[13] Глава «Первое ноября» из «Круглого года». Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. IX, стр. 739.

[14] «Дневник провинциала в Петербурге», глава V. Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. VIII, стр. 174.

[15] «Пестрые письма», глава V. Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. VI, стр. 397.

[16] Близость публикуемого текста с главой «Первое марта» из «Круглого года» обнаруживается не только в общности темы, но и в ряде характерных деталей. Укажем например на следующие совпадения и параллели: использование риторических приемов обращения к читателю («Почему дошла? — а потому, милостивые государи...»), далее — наличие проводимого в обоих текстах сравнения между положением, которое занимают в обществе «литераторы действующие», и положением, которое занимали в нем «литераторы бывшие», под которыми разумеются представители классической дворянской литературы, в частности Державин, Карамзин и Пушкин (в тексте «Круглого года» называются имена, в нашем тексте — лишь произведения: «Ода на взятие Хотина», «Бедная Лиза» и «Клеветникам России»).

[17] Ср. напр.: 1) «Признаки времени», глава «Литературное положение», где сам литератор называется «баловнем фортуны»; 2) «Господа ташкентцы» — параллель первая и параллель четвертая из «Ташкентцев приготовительного класса»; 3) очерк «Счастливец» из «Мелочей жизни» и др.

[18] Ленин, В. И., Партийная организация и партийная литература. Сочинения, т. VIII, стр. 386.

[19] «Приключение с Крамольниковым». Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. VI стр. 203.

[20] «Первое ноября» из «Круглого года». Сочинения, изд. А. Маркса (4-е), т. IX, стр. 735.

[21] Образцы их см. в следующем полутоме настоящего сборника в публикации Н. В. Яковлева «Письма читателей к Щедрину».

[22] Ср. напр. в обоих текстах аналогичное развитие просветительски-утопического тезиса о свойственном всем людям стремлении к добру.

[23] Цитируем по стенографическому отчету «Правды» от 28 января 1934 г.

1. ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ[1]

Физиономия нашей литературы за последние пятнадцать лет[2] значительно изменилась, и, надо сказать правду, изменилась в смысле не особенно благоприятном для развития общественной мысли. Значение больших (ежемесячных) журналов упало, а вместо них, в роли руководителей общественного мнения, выступили ежедневные газеты. Вместе с этим, литературная сила, и без того не весьма обильная, раздробилась и измельчала, а отношения литературы к вопросам, занимающим общество, сделались поверхностными, тревожными, непоследовательными. В ежемесячном журнале легко углядеть всякую погрешность относительно высказанных однажды принципов; в ежедневной газете это почти невозможно. Газету до такой степени захватывают мелочи дня, что даже самый добросовестный состав редакции не может от времени до времени не впадать в противоречия, а что касается до деятелей прямо недобросовестных, то им тут широкое поле. Какая возможность изо дня в день следить за этою непеременяющеюся беседою о всем вообще и о каждом предмете в особенности? И какая надобность следить? Кому нужна газета на другой день или даже через час по прочтении? Газету можно уподобить блинам, которыми пользуются пока они горячи; как только блин остыл, это, по выражению казанских татар, уже не блин, а «погана лепешка». Читатель знает это и относится к газетной неустойчивости вполне снисходительно. Во-первых, он понимает, что газета не претендует на деятельность строго литературную, а представляет собой лишь образец литературного проворства; во-вторых, ему не безызвестно, что каждый день может привести за собой такой вопрос, о котором человеку неподъяремному и думать-то противно, и по поводу которого подъяремная газета *должна*, во что бы то ни стало, высказаться, тогда как ежемесячный журнал может и промолчать.

Господство газеты упразднило и критику. Газетный писатель знает хорошо, что его деятельность эфемерная, что он работает только на один час, и потому совершенно равнодушен к отзывам о нем критики. Весь погруженный в срочную работу, он уже позабыл о вчерашней «поганой лепешке» и думает лишь о том, как бы половчее замесить завтрашнюю «поганую лепешку». Для чего ему критика? да и что может она о нем сказать? что вот такой-то X, и вот о таком-то предмете, соврал — позвольте, когда ж это было? неделю тому назад! помилуйте! с тех пор он об том же предмете успел уже два раза еще соврать, а впереди дней еще много — какая же возможность уследить за ним киртике! Да и стоит ли? Но это явления до того ловкие, что их даже защипнуть нельзя. И притом, кто этот X? почему не Y или Z? Кто тут ответственное лицо? Редактор? Но ведь понятное дело, что редактор не может же сочинять всю газету, и в большинстве случаев он только попуститель. За редактором скрывается целая фаланга деятелей, из которых каждый обладает особой физиономией. Вот этих-то писателей и нет, и никакая критика не уловит их. Критика знает Тургеневых, Островских, Толстых, Добролюбовых, Писаревых, но для нее вполне немыслимо интересоваться теми микроскопическими величинами, на обязанности которых лежит забота компановать газетный набор. Если б даже эти микроскопические величины подписывали под статьями свои имена — все-таки они не перестанут быть иксами, игреками и зетами, потому что их деятельность настолько разбросана и представляется в виде такого измельченного порошка, что нет никакой возможности собрать ее в один фокус. Это делает газетных деятелей, в большинстве случаев, совершенно безответственными, а безответственность, в свою очередь, производит такое равнодушие к отзывам кри-

тики, что иному, как говорится, хоть кол на голове теши, он все-таки не поймет никаких резонов.

Единственная оценка, которую имеет в виду газета, и которой дорожит, — это успех в публике. В последние пятнадцать лет успех этот в значительной мере обусловливается розничною продажей, что, разумеется, еще больше подстрекает проворство газетчиков. Речь идет уже не о том, чтобы обсуждать насущные вопросы добросовестно и всесторонне, а только, чтоб «подать горячо». Да и не в розничной продаже главное — отчего же и не сделать газеты доступными для возможно большей массы читателей — а в том, что с представлением о розничной продаже сопрягается представление об известной карательной мере, и это несомненно самым вредным образом действует на независимость и достоинство газет. Все мы под богом ходим, но газеты ходят сугубо. Ужасное это чувство сидеть в своей лавчонке и видеть, как из соседней лавочки ежедневно на шесть на семь [лишних?] (нрзб.) пятачков вас переторговывают. Икс! Игрек! Зет! что вы носы повесили! Живо беритесь за перья и пишите такое, чтоб жарко было. И берутся за перья и пишут. Конечно, было бы несправедливо сказать, что это явление обыденное и неизбежное, но что обладание правом розничной продажи или неимение этого права должно влиять на тон газеты — это несомненно! Откиньте в сторону пятачки, все-таки перед вами останется тот факт, что всякая газета фаталистически должна заботиться о том, чтобы круг ее читателей не был искусственно сокращаем. А это порождает необходимость компромиссов *.

Таким образом, употребляя все усилия, чтоб распространить круг своих читателей, газетная печать постоянно видит себя между двух огней. Во-первых, ей нужно удержать за собой розничную продажу, которая дает газете возможность проникнуть в такие закоулки, куда журнал, пользующийся лишь годовыми подписчиками, не может и мечтать проникнуть; во-вторых, ей необходимо оживлять столбцы, потому что иначе ее не будут читать. Очень часто, эти две вещи несовместимы, и надо иметь поистине мудрость змеи, чтобы поймать этих двух зайцев. Право на розничную продажу требует сдержанности и хорошего поведения, что, при известной дозе добросовестности, угрожает газете бесцветностью. Напротив, потребность уловить читателя требует «горяченьких». Как согласовать это противоречие? Является вопрос: об чем и как говорить?

Вопрос на первый взгляд очень странный. Кажется, потребна лишь самая небольшая доля внимания, чтобы всякого рода задачи явились во множестве. Все в современной жизни русского общества в высшей степени интересно, все может служить предметом для поучительнейших исследований. Возьмите, например, хоть такое явление, как профессор Цитович [3]. Что могло породить его? Какие горькие условия могли вынудить этого «апостола науки» взяться за ремесло городового, ремесло несомненно полезное, но все-таки не имеющее с наукой ничего общего? Что заставило этого жреца правды и справедливости обогатить нашу фразеологию целой массой хлестких, образных, но вполне бесчестных выражений? Ужели не любопытно, что на место Грановских, Коюковых, Кудрявцевых, Пироговых выступают такие ратоборцы, как Цитович, Богдановский [4] (Одесский). Цион [5] и проч.? Разве не изумительно, что читатель, знающий, например, отношения Шевырева и Никиты Крылова к Грановскому и

* На левой свободной половине страницы против этих двух абзацев (конца первого и начала второго) написано карандашом:

«В погоне за читателем и будучи в необходимости оживлять столбцы газеты вступают в полемику».

«Процесс литературного мышления совсем иной, нежели процесс мышления столоначальнического».

другим и столько раз негодовавший по поводу этих отношений, теперь восклицает: о Шевырев! о Никита Крылов! о благороднейшие! о скромнейшие! И что же! Разве это явление разъяснено? Ничуть не бывало. Все дело ограничилось выписками из брошюр Цитовича и отчасти похвальными, отчасти же гневными отзывами по их поводу. Но что породило г. Цитовича — это так и осталось покрытым мраком неизвестности, а так как Цитович «прейдет», не оставив за собой *ничего* (ex nihilo nihil), то потомство будет в этом явлении видеть только неприглядную случайность, тогда как, в сущности, это один из чудовищнейших отпрысков, совершенно достаточный для того, чтобы характеризовать время, в которое он появился, словами Нибура: «в это тяжелое время злое начало в человеке пришло к полному и спокойному сознанию самого себя» (Нибур. Характеристика персов во время войн Александра Македонского. См. соч. Грановского, т. II, стр. 119).

Или другое явление: всеобщее, повсеместное равнодушие к общественным интересам — разве оно разъяснено? Конечно, в любой газете вы встретите упреки по адресу русского общества в равнодушии к своим собственным делам, но разве такое явление излечивается упреками? Разве интерес к общему делу предписывается? Разве можно убедить человека, сказав ему: ты не лишен способностей, имеешь силу, ум — иди и балотируйся в земские гласные! Ведь ежели он наделен этими дарами природы, то он и сам должен понимать, что лучше ежели общественное дело стоит прочно, и что, следовательно, содействовать этой прочности не только обязательно, но интересно, приятно. Несмотря на это, он однакожь предпочитает жаться к стороне, ничто его не влечет, ни на что он не возлагает надежд и на самого себя смотрит, как на отрицательную величину. Наконец, ежели он сдается все жь на убеждения и кидается в омут так называемых общественных интересов, то в самом скором времени он возвращается оттуда еще более обескураженный, почти ошеломленный и хорошо еще ежели еще не заподозренный. Разве все это разъяснено?

Еще явление. В самые скорбные исторические минуты[6], когда сердце всякого добропорядочного и честного человека должно болеть и истекать кровью — у нас, наоборот, просыпаются самые злые инстинкты и изо всех щелей выползают самые вредные и пагубные элементы. И чем печальнее факт, тем сильнее дикая радость этих человеконенавистников. Они мстят за свое недавнее отчуждение, они угрожают в одну минуту стереть всякий след успеха, добытого ценою долгих усилий... Разъяснила ли русская печать это явление? Протестовала ли она против него?

Затем следуют: казнокрадство, чуть не ежечасное расхищение общественных сумм, банкротство, отсутствие всякого понятия о самой формальной честности и это бесконечное, беззаветное поклонение Ваалу, одному Ваалу. Червонные валеты[7], Юханцевы[8], Гулак-Артемовские[9], Ландсберги[10] — вот истинные герои современности, вот те, которым жилось хорошо, которым по крайней мере есть чем помянуть прошлое! Правда, что рука прокурора достала их, но разве она достигла каких-нибудь результатов, покарав их? Разве что-нибудь предупредила? Ведь не имена важны, а факты. Что породило эти факты? Откуда эта повсюдная алчность к наслаждениям наиболее грубого свойства, сопоставленная с повсюдным же равнодушием к общественному делу? Разъяснено ли все это?

Увы! все эти вопросы и великое множество других так и остаются открытыми вопросами. Печать констатирует их существование, но дальше не идет, или же если и разъясняет кой-что, то или совсем по-детски, или уж до того нелепо-злостно, что лучше бы уж и не касаться.

2. [ОТРЫВОК: «ГОВОРЯ ПО ПРАВДЕ, ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТОРА...»]

Говоря по правде, положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное; русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уже и тем, как бы между страхами что-нибудь шепнуть. Существует, правда, три-четыре личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые, но это уж так сказать идолы. А большинству живется ужасно скверно, и не столько в матерьяльном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу.

Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретирадных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично.

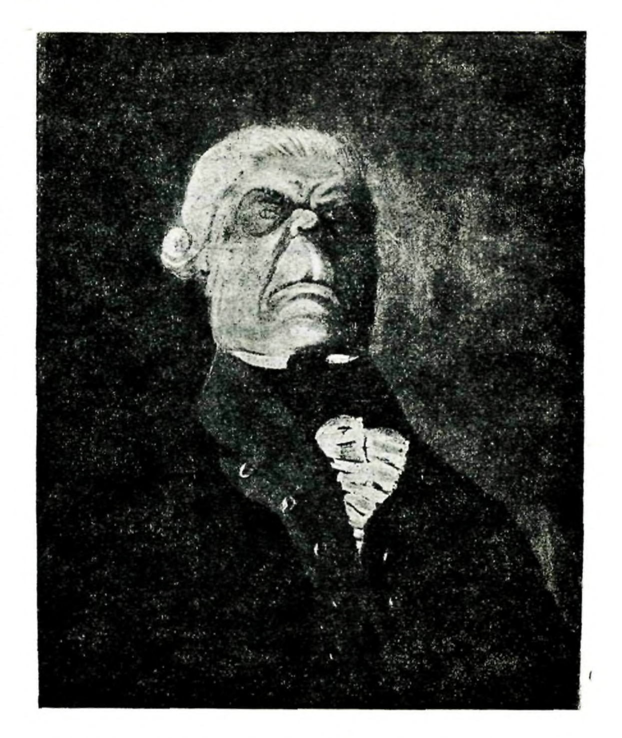
И это воздушное житие повелось лишь с недавнего времени, именно с тех пор, как литература, повидимому, сделалась в полном смысле слова настоятельнейшей потребностью общества, когда она начала постепенно проникать и в массы. Казалось бы, что тут-то и масляница русскому литератору, сумевшему проползти даже «в хижину бедную, богом хранимую», ан вышло наоборот. Читают ли его в хижине, богом хранимой,— этого он доподлинно еще не знает, но в собственной нехранимой квартире он получает только щелчки.

Прежде, сказывают, было не так. Прежде на литературную профессию смотрели как на преизящное для ума и сердца отдохновение, а в литературе видели гордость и украшение. Разумеется, однакож, до поры, до времени... А то как же!

А нынче — щелчки, щелчки и щелчки! и кому щелчки? — Человеку, который никаких других прав не добивается, кроме права мыслить, права отыскивать истину!.. Поистине, нет слов, чтобы выразить, до какой степени это подло!

Главную причину того, что прежний взгляд на литературу был несколько иной, следует искать в том, что литературная профессия считалась и была профессией исключительно дворянской. Сами министры бряцали, а за ними следом безвозбранно бряцали и другие, хотя не столь высокопоставленные, но не менее гордые своим дворянским происхождением. Так что, когда явился мужичок Ломоносов и тоже изъявил желание бряцать, то и его поскорей произвели в дворяне, дабы не произошло в общем хоре какофонии. Ну, а дворянин ведь свой брат и потому пустить ему в догонку, например, «мерзавца» или «злоумышленника» не всегда-таки удобно. У него есть бабушки, тетеньки, кузины, котооые могут обидеться за родственника. А потому, если некоторые из Ломоносовых и заблуждались, то на них смотрели не как на «мерзавцев», но как на лиц, которые по окончании курса наук в кадетских корпусах получили вкус к заблуждениям. И в согласность с сим старались исправить виновных домашними мерами; говорили: ну, что тебе стоит «клеветникам России» написать? И это было до крови больно, но так как тут же кстати на том же настаивали все бабушки, тетеньки и кузины, то делать нечего, приходилось брать в руку цевницу и бряцать.

Некоторый перелом во взгляде на литературную профессию последовал в самом конце сороковых годов. В это время на Западе совершилось столько неключимостей, что невольно приходило на ум, не заразилась ли



НЕГОДЯЕВ, ОНУФРИЙ ИВАНОВИЧ, БЫВШИЙ ГАТЧИНСКИЙ ИСТОПНИК

«Размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 г. за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгановым (знаменитый в свое время триумвират) насчет конституции, в чем его и оправдали впоследствии»

Рисунок А. Радакова из альбома «Портретная галлерея градоначальников, в разное время в г. Глупов от высшего начальства поставленных . (1731—1826 по Щедрину и 1826—1907 не по Щедрину)». П., 1907 г.

ими и русская литература. Оказалось, что заразилась. Но так как за всем тем и тогда литература продолжала быть профессией чисто дворянской (за малыми исключениями), то дело ограничилось только тем, что поставлены были серьезные внешние препоны собственно для вредных влияний, но все-таки никому не приходило на мысль, что название злоумышленника или мерзавца есть наиболее русскому литератору свойственное. И литература наша, к чести ее, поняла, что ей нужно оправдаться и удержать за собою свой прежний рыцарский характер.

Большим подспорьем для нее было то, что она сразу получила готовую тему, которая помогла ей обелить себя. В то время у чародея Излера, на минерашках, в большом ходу была песня о том, как Ванька Таньку полюбил. Вот эта-то песня и показала путь, по которому следовало итти.

Литература с жадностью накинулась на эту тему и страстно разрабатывала ее в течение целых восьми лет. Какое разнообразие типов, какое богатство содержания извлекла она из этого, повидимому, обнаженного факта — это в настоящее время почти непостижимо. Все произведения ума человеческого этого короткого периода были написаны на эту тему, и все они были непохожи друг на друга. Коли хотите, это был разврат, но, во-первых, разврат благонадежный и, во-вторых, доказывающий, что человеческая мысль, даже доведенная до одурения, в самой этой дурости найдет возможность вывернуться и поддразнить: а я все-таки жива! Да, она и осталась настолько жива, что дошла даже до нас. Почему дошла? — а потому, милостивые государи, что несмотря на общее затмение все-таки никому не приходило на мысль, что тут главное-то преступление литературы составляет существование ее, то-есть пребывание в живых. И даже тогда, когда к концу этого периода Ванька прихотливо потребовал конституции, то и тут поняли, что речь идет не о настоящей конституции, а только о каком-то новом любовном приеме, который ловко пущен Ванькой в ход, дабы заставить Таньку сдаться на капитуляцию.

Но в конце пятидесятых годов дворяне оплошали, а в то же время в

литературу в бесчисленном множестве вторгся разночинный элемент. Уничтожение крепостного права сказалось и тут: с осуществлением его устранился досуг. А с исчезновением досуга исчезла и возможность культивировать «благородные» идеи. Даже выспренняя сторона эмансипации, та, ожидание которой заставляло трепетать и волноваться целые поколения «мечтателей»,— и та немедленно уступила место так называемому «трезвенному» отношению к делу. Не «благородные» мысли требовались, а мысли, указывающие на практический выход, открывавшие двери в область компромиссов. Словом сказать, литературную арену заполонили мысли практические, будничные, между которыми было достаточно полезных, но множество было и положительно подлых. И по какому-то необъяснимому недоразумению, полезные мысли оказались «опасными», а подлые — благонадежными... хотя все-таки подлыми. Или, говоря другими словами, никто из новых литературных деятелей никакого «дворянскому званию свойственного» парения не предъявил.

Отсюда прискорбное смешение «опасного» и «подлого», отсюда безразличное применение того и другого эпитета, смотря по требованиям темперамента. Литература уже перестала служить убежищем «сладких звуков и молитв» и сделалась лишь досадною необходимостью, в которой всякий искал подтверждения своих так сказать утробных поползновений. Ежели писатель говорит в унисон тому, что думает утроба читающего,— это значит, что он писатель подлый, но полезный; ежели писатель расходится в мнениях с утробой читающего,— это значит, что он писатель подлый и опасный. А так как в основании того и другого определения все-таки стоит слово «подлый», т. е. не могущий ни «Оду на взятие Хотина» на струнах разыграть, ни «Бедную Лизу» написать, то из этого выводится прямое заключение, что и полезный писатель, в силу своей подлости, может сделаться опасным. Стоит только хорошенько его поманить, доказать, с четами в руках, что опасным писателем выгоднее быть, нежели полезным.

Вот почему часто приходится слышать, как мерзавцы самые несомненные называют литературу скопищем разбойников и мерзавцев. И, к сожалению, не менее часто случается, что сами литераторы не только не протестуют против этого, но даже помогают формулировать полуграмотные бормотания ненавистников литературы.

Этого нет нигде. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде литература есть воистину благороднейшая и драгоценнейшая выразительница народного гения. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас — не так. У нас она знает только один девиз: держи ухо востро! — И она действительно держит ухо востро и не жалуется и даже не мечется. Право, ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которая и в самое бесконечно-доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости.

Правда, указывают на публику: там, дескать, пускай ищет себе литератор оценку сочувствия и защиты! Но что же такое эта публика? Кому она нужна? более ли она самостоятельна, нежели сама литература? кто принимает ее в расчет и кого она может защитить?

Публика... га!!!

Вот почему я повторяю, что положение русского литератора нельзя назвать ни благоприятным, ни прочным.

И между тем, я... литератор!!!

* * *

Однажды, в провинции, я был свидетелем такого случая. Был у нашего принципала близкий человек, который пользовался всем его доверием и,

следовательно, делал, что хотел. Определял и увольнял, заключал мир и объявлял войну, решал и вязал, казнил и миловал, рассылал и водворял. Словом сказать, производил все операции, какие столпу, от лица власть имеющего поставленному, производить надлежит. Понятно, какая у него была свита льстецов и поклонников, которые не только удивлялись его мудрости, но находили, что еще он мало в шею накладывает, и называли его в глаза и за глаза красавцем. В числе подобных поклонников был и мой хороший приятель, господин Чушкин, который очень усердно нюхался с баловнем фортуны и почти ежедневно сообщал мне о подвигах его подражаемой мудрости. Впрочем, называя господина Чушкина моим приятелем, я должен оговориться, что в провинции на приятелей нет свободного выбора: тот и приятель, с кем связало дело или случайная встреча.

И вдруг, в одно прекрасное утро над городом взвился целый столб пыли. То пал «баловень фортуны». Пал он неизвестно от какой причины. Все действовал вольным аллюром, все простирал руки и нахальствовал ни мало не остерегаясь — и вдруг как-то не остерегся, наступил на мозоль... Сколько тут оказалось мусору и смраду — это ни в сказке сказать, ни пером описать. И вдруг вся эта свора льстецов и почитателей, которая за ним ходила по пятам, рассыпалась и брызнула во все стороны, озираясь и высматривая, не появится ли на горизонте новый баловень фортуны, перед которым тоже предстоит подличать и льстить.

Я помню, что через несколько дней после этого мы шли с Чушкиным по улице, и вдруг совсем неожиданно из переулка вынырнул бывший баловень фортуны. Обтрепанный, общипанный, смотрящий долу, он близко прошел мимо нас, как бы уклоняясь от удара, и господин Чушкин не только не приветствовал его, но облил взглядом, полным неизреченного презрения.

Я помню, это в то время до такой степени меня поразило, что я не выдержал и тогда же выразил мое негодование.

— Господин Чушкин! — сказал я: — позвольте мне сказать вам, что вы поступили, как негодяй. Покуда этот человек был в случае, вы низкопоклонничали и малодушествовали перед ним: теперь же, когда он низринулся с высоты, наполнив смрадом вселенную, вы не только не приветствуете его с счастливой улыбкой на устах, но даже как бы игнорируете самое существование его! Жду ваших разъяснений.

Но господин Чушкин смотрел на меня во все глаза и очевидно ничего не понимал.

— Но что же собственно я должен разъяснить? — спросил он наконец.

— Я желаю знать причину вашего двоедушия относительно лица, которое еще несколько дней тому назад пользовалось в здешнем обществе титулом баловня фортуны. Почему вы, за неделю перед сим не знали, какую достаточно преданную улыбку вызвать на лицо, чтоб выразить вашу радость при встрече с ним, теперь же не нашли ничего другого, кроме взгляда, исполненного равнодушия и даже презрения?

— Извольте! — ответил он. — Начну с того, что ежели я чествовал господина, о котором идет речь, то чествовал его не как человека, а как положенное по штату лицо (*«Баловень фортуны»*, по должности — в 6-м классе, по мундиру — в 6-м классе, по пенсии — в III разряде), от которого зависело прекращение моего существования или продолжение оного. Это — первое. Во-вторых, запас преданности и ее изъявлений, который обязывается иметь партикулярный человек, желающий, чтоб существование его было продолжено, имеет свои определенные границы, дальше которых изобретательность человеческого ума не идет. А так как должность «Баловня фортуны» не нынче-завтра будет замещена, то ясно, что и для вновь определенного лица я должен иметь в готовности ту же сумму

преданности, какую я вынуждался предъявлять и его предместнику. Отсюда, в-третьих, ежели я свойственную мне сумму преданности буду раздроблять между бывшим и действующим баловнем фортуны, да при сем, пожалуй, еще прихвачу будущего «баловня фортуны», пришествие которого тоже провижу, то ясно, что на долю каждого из них попадет такой ничтожный клочек этой преданности, что ни один из них не ощутит никакого удовольствия. И, наконец, в-четвертых, вы ошибаетесь, обвиняя меня в каком-то неслыханном и чрезмерном вероломстве. Сравнительно я поступил еще довольно мягко, и случись на моем месте другой...

Он не досказал, как поступил бы на его месте другой, но с меня и этого было достаточно. Тем не менее, рассуждение господина Чушкина не удовлетворило меня, и я долгое время не мог вспомнить об этом случае, не воскликнувши: какая, однакож, мерзость! О, если б баловни фортуны знали, что происходит в Чушкинских глубинах в то время, когда Чушкинские уста изрыгают льстивые словеса! С какою мудрою предусмотрительностью они начертали бы: существовать воспрещается!

Но, быть может, они все это отлично знают и понимают, но в то же время понимают и то, что не будь Чушкиных, с кем же бы стали они размыкивать свое величие, да и кто удостоверил бы их, что их величие есть, действительно, величие, а не кошмар?

И что всего удивительнее, сам отставной баловень фортуны не понимал, сколько ненормального и презренного заключается в отношениях к нему господ Чушкиных. Повидимому, он видел в этом нечто обыденное и вполне естественное. В эти первые минуты, когда не рассеялся еще смрад от его падения, он, конечно, страдал и ощущал довольно существенные неудобства, но в то же время он, наверное, внутри себя уже говорил: перемелется — мука будет! И точно, прошел месяц, другой — и бывший баловень фортуны вдруг, как ни в чем не бывало, явился в клуб и спросил себе порцию сосисок с капустой (прежде он не садился за стол без шампанского, которым обыкновенно наливали его господа Чушкины). Потом, потихоньку, да полегоньку устроил себе партию по маленькой и, не упоминая о бывшем величии, сумел настолько снискать в общественном мнении, что даже вновь определенный «баловень фортуны» начал прибегать к нему за советами.

Но повторяю: меня это поразило до крайности; и хотя впоследствии я очень часто имел случай видеть примеры подобных внезапных низвержений, сопровождаемых точь-в-точь такими же вероломствами, но никогда не мог привыкнуть к этим явлениям, всякий раз преисполняясь по поводу их негодованием. Так что, долго спустя, когда уже я окончательно покинул провинцию, я и тогда не раз вспоминал об этом и совершенно искренно желал себе разрешить, естественно ли это или неестественно.

Однажды я имел об этом очень серьезный разговор с Глумовым, к которому, как известно, я имел обыкновение обращаться во всех моих недоумениях. И к удивлению моему, вовсе не встретил в нем такого пламенного негодования, какое испытывал сам.

— Как бы тебе сказать, — ответил он, когда я объяснил ему в подробности поступок господина Чушкина: — конечно, с точки зрения людей свободных, вот как мы, например, с тобой, поступок господина Чушкина представляется не только предосудительным, но и достойным шпицрутенов; но ежели взглянуть на дело с точки зрения людей подневольных...

— Помилуй, мой друг! — возмутился я: — о каких тут разнообразных точках зрения может итти речь! Тут может быть только одна точка зрения, которая говорит: подло! — и больше ничего.

— Постой! Повторяю: и ты, и я — мы, благодарение богу, — люди свободные, и потому очень понятно, что для нас же в целях подобного

рода может существовать только одна точка зрения, безотносительная. Но окунись мыслью в хляби крепостного права, представь себя на минуту рабом, и ты, наверное, отыщешь и другую, относительную, точку зрения, которая заставляет действовать так господ Чушкиных. Чушкины — рабы, и этим все сказано. Но они не те наглухо заколоченные рабы, которые не



ПЕРЕХВАТ-ЗАЛИХВАТСКИЙ, АРХИСТРАТИГ СТРАТИЛАТОВИЧ, МАЙОР
«О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки»
Рисунок Баяна, из альбома «Портретная галлерея градоначальников в разное время в г. Глупов от высшего начальства поставленных. (1731—1836 по Щедрину, и 1826—1907 не по Щедрину)». П., 1907 г.

чувствуют цепей на своих руках, для которых жизнь, что бы в ней ни происходило, есть лишенная света темница, но рабы, отчасти уже вкусившие жизненных благ и растревоженные ими. Эти люди не могут не вожделеть однажды испытанных благ, и так как последние даются лишь тем, кто умеет ласково просить, то они и пресмыкаются в прахе. Но в то же время они очень хорошо понимают, какая масса унижений заключается в этом пресмыкании, и не могут не желать отмщения. И вот наступает

момент, когда он припоминает все. И то, как он ползал, и то, перед кем он ползал: ведь этот «баловень фортуны» — кто он такой? Ведь это человек, с которым ему, Чушкину, говорить по-настоящему никакой надобности нет, на которого смотреть ему тошно. А он ползал перед ним, восхищался его мудростью, называя красавчиком. Он кувыркался перед ним, представлял комедии, паясничал, в чаянии сорвать с уст благосклонную улыбку! Он проделывал все это потому, что сознавал себя червем, потому что понимал, что одного движения «баловня фортуны» достаточно, чтоб раздавить его! И ты думаешь, что он не отмстит! Ах, ведь это целая трагедия, и к довершению всего трагедия, которая длится иногда бесконечные годы! Каждую минуту, в течение этих бесконечных лет, Чушкин глотает обиду за обидой, выжидает, терпит, сдерживается... И чтоб он не припомнил этого в благоприятный момент, чтоб он не отмстил? Нет, воля твоя, я совершенно согласен с господином Чушкиным — очевидно, он был прав — он поступил еще слишком мягко! Другой на его месте...

— Послушай! Положим, что он отомстит, но как? Ведь он не самостоятельно отмщает, а за спиной другого! Ведь потому только он и получит возможность отомстить старому «баловню фортуны», что у него есть налицо новый «баловень фортуны», перед которым он вновь пресмыкается и ползает... Ведь это, наконец, бесконечный порочный круг!

— И именно так и есть, но это не изменяет факта, а делает его еще более трагичным. Расскажу тебе историю из воспоминаний моей юности. Была у нас соседка барыня, и имела она влечение к фаворитам. Фавориты эти выбирались из дворовых и менялись довольно часто. Бывало, приедешь в Ярцево (ее усадьба) и глядишь в лакейской саженный холуй сидит — это значит, новый фаворит. Так вот при смене этих фаворитов происходили поразительные сцены, а однажды дело даже до суда дошло. Был у этой барыни в дворне живописец один, малый талантливый, и ходил он обыкновенно по оброку, только как-то позапутался, не заплатил во-время денег, и вызван был в деревню. Разумеется застал холуя и вынужден был, наряду с прочими, ему льстить. Льстил долго и усиленно, льстил с сознанием собственного превосходства и достиг, наконец, того, что получил право существовать и даже пользоваться некоторыми льготами. И вдруг из барыниной спальной распоряжение: фаворита — в пастухи, а пастуха — в фавориты! Надо было видеть, какая вдруг метаморфоза совершилась в живописце! Он подстерег гиганта из-за угла, ловко сшиб его с ног и начал топтать ногами. И постепенно остервенясь, стал бить его каблуком в лицо, так что через четверть часа гигант представлял собой бездыханную окровавленную массу. Так вот этот самый убийца на вопрос: с какого повода он так остервенился против человека, которому накануне льстил и который в сущности ничего кроме благосклонности ему не показывал, — отвечал: Помилуйте! мало ли он измывался надо мной! мало ли я сам над собой измывался, чтоб только утешить его, угодить! Ужели ж так ему это и подарить!

— Так вот оно рабье-то дело какое! — присовокупил Глумов: — и представь себе, во время этой сцены барыня стояла у окна и смотрела, и только когда уж все кончилось, молвила: никак он Макарку-то убил! Свяжите его, да отвезите в город...

3. [ОТРЫВОК: «ПОШЕХОНЬЕ ОТКЛИКНУЛОСЬ...»]

[Пошехонье откликнулось. На днях я получил от одного из местных аборигенов следующее письмо.

«В качестве обывателя одного из многочисленных русских Пошехоньев, считаю небесполезным отозваться на ваши рассказы, в которых, по правде сказать...]

В числе философских учений есть одно, которое в пошехонской среде пользуется особенной популярностью. Это учение гласит, что в конце концов добро неизбежно восторжествует, а зло посрамится. И тогда будет всем хорошо.

Каким образом и в какой срок совершится эта метаморфоза — на этот вопрос пошехонцы ничего определительно не отвечают. Они говорят только, что ежели от начала веков идет процесс водворения в мире добра, то нет резона не продолжать ему свои действия и на предбудущее время. Вспомните и сравните.

По всему однакож видно, что метаморфоза посрамления зла совершится как будто сама собой. Пошехонцы будут сидеть у моря и ждать погоды, а в это время где-то «там» будет вертеться какое-то колесо. Вертится, вертится, и вдруг — трах! — приехали.

Самая это покойная философия. Ни почина, ни солидарности, ни ответственности — ни о чем подобном и в помине нет. Даже горестей, волнений и негодований не полагается — потому что все равно добро и правда свое возьмут. Пускай «враг горами качает» — надорвется; пускай неправда ковы кует — для себя же она готовит их. Не бывать тому, чтобы зло не посрамилось, не уступило, не исчезло! Не бывать!

Но что важнее всего, философия эта нимало не мешает обыденному течению жизни. Все другие философии мешают, — тревожат, а эта нет. Благодаря ей, можно на самые конкретные явления смотреть как на преходящие, как на «дурной сон». Покуда пошехонцы исправляются по домашности — все пройдет: и неурядицы и недомогания и даже прямые злодейства. Каждый может спокойно сидеть под своей смоковницей, улаживаться как ловчее и вести свою жизненную линию, в твердой уверенности, что добро свое дело сделает неупустительно.

Я охотно соглашаюсь, что уверенность в неизбежном торжестве доброго начала над злым сама по себе весьма симпатична, но не следует забывать, что она отнюдь не составляет исключительной принадлежности пошехонского миросозерцания. Вообще всем людям свойственно стремление к добру. Все люди сознают, что только прочное водворение добра может обеспечить пользование благами жизни, но не все одинаково относятся к самому процессу водворения. Одни полагают в этот процесс все свои физические и духовные силы, так сказать воспитываются в добре для добра; другие ограничиваются платоническими пожеланиями. Одни под личною ответственностью созидают посильную сумму блага и раз сделавши известное приобретение стремятся претворить его в непререкаемый факт; другие урывками и исподтишка крадут у жизни случайно выбрасываемые на дорогу крохи и ничего из этих легких приобретений извлечь не могут, кроме праздных и бессодержательных ликований.

К сожалению, пошехонцы принадлежат к числу последних.

Едва запахнет в воздухе «благими начинаниями» — сейчас они тут как тут. Суетятся, поздравляют друг друга, земли под собой не слышат, кричат: Бог послал! Бог послал! И в то же время не налюбуются друг другом, только что во всеуслышание не говорят: посмотрите, как мы благородны! как мы сочувствуем! Но вот потянуло откуда-то гарью — и картина мгновенно меняется. Пошехонец мгновенно смолкает, озирается и жмется к сторонке. Не вступает на путь действительной измены, но ренегатствует страдательно; не идет прямо на совет нечестивых, но ежемгновенно жаждет провалиться сквозь землю. И в то же время опять-таки только что не говорит: вот какой я благородный! Знаю, что в худом деле участвовать стыдно!

А стоять в недоумении и хлопать глазами — не стыдно!!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Несмотря на отсутствие в рукописи «Приличествующего объяснения» каких-либо авторских помет, она может быть с уверенностью отнесена к 1879 г., и даже точнее — к концу 1879 г. Основания для такой датировки следующие. В статье упоминается ряд громких уголовных процессов 70-х годов: Червонных валетов, Юханцева, Гулак-Артемовской и Ландсберга. Относительно героев этих процессов, иронически именуемых «истинными героями современности», сказано между прочим, что «рука прокурора достала их» — указание, свидетельствующее, что статья не могла быть написана ранее окончания следствия и суда по названным делам. Но самое позднее из них, а именно «дело прапорщика лейб-гвардии саперного батальона Карла Ландсберга», зарезавшего 25 мая 1879 г. в Петербурге ростовщика и его служанку, слушалось 5 июля того же года в С.-Петербургском окружном суде. Таким образом очевидно, что 5 июля 1879 г и должно считаться той датой, после которой только и могла быть написана статья. Таково одно указание. С другой стороны, изучение рукописей «Круглого года» (архив ИРЛИ, шифр 366/23) обнаруживает на листе, на котором находится черновая редакция главы «Первое апреля — первое мая», несколько зачеркнутых строк на самом верху листа. Эти строки представляют собой не что иное, как начало «Приличествующего объяснения» почти без изменений, кончая словами «поспешными, тревожными, непоследовательными». Отсюда — убедительность предположения, что «Приличествующее объяснение» было написано в близком хронологическом соседстве с указанными главами «Круглого года», появившимися в августовской книжке «Отечественных Записок» за 1879 г. Можно думать, что в первоначальное намерение Щедрина входило включение в серию «ежемесячных бесед» «Круглого года» также специальной беседы о газете. Это тем более вероятно, что ни в одном из циклов Щедрина не уделено так много места различным вопросам литературы и печати, как именно в этом. Но набросав первые строки «беседы», Щедрин по каким-то причинам отказался от ее дальнейшего развития в рамках «Круглого года» и задумал осуществить ее в виде самостоятельной статьи. О последнем свидетельствует наличие «своего» заглавия (12 глав «Круглого года» носят, как известно, названия двенадцати месяцев), а также то обстоятельство, что текст отрывка не заключает в себе никаких указаний на принадлежность его к циклу, специфическим признаком которого является развитие повествования в форме иронических контроверз между «автором» и «героем» — Феденькой Неугадовым.

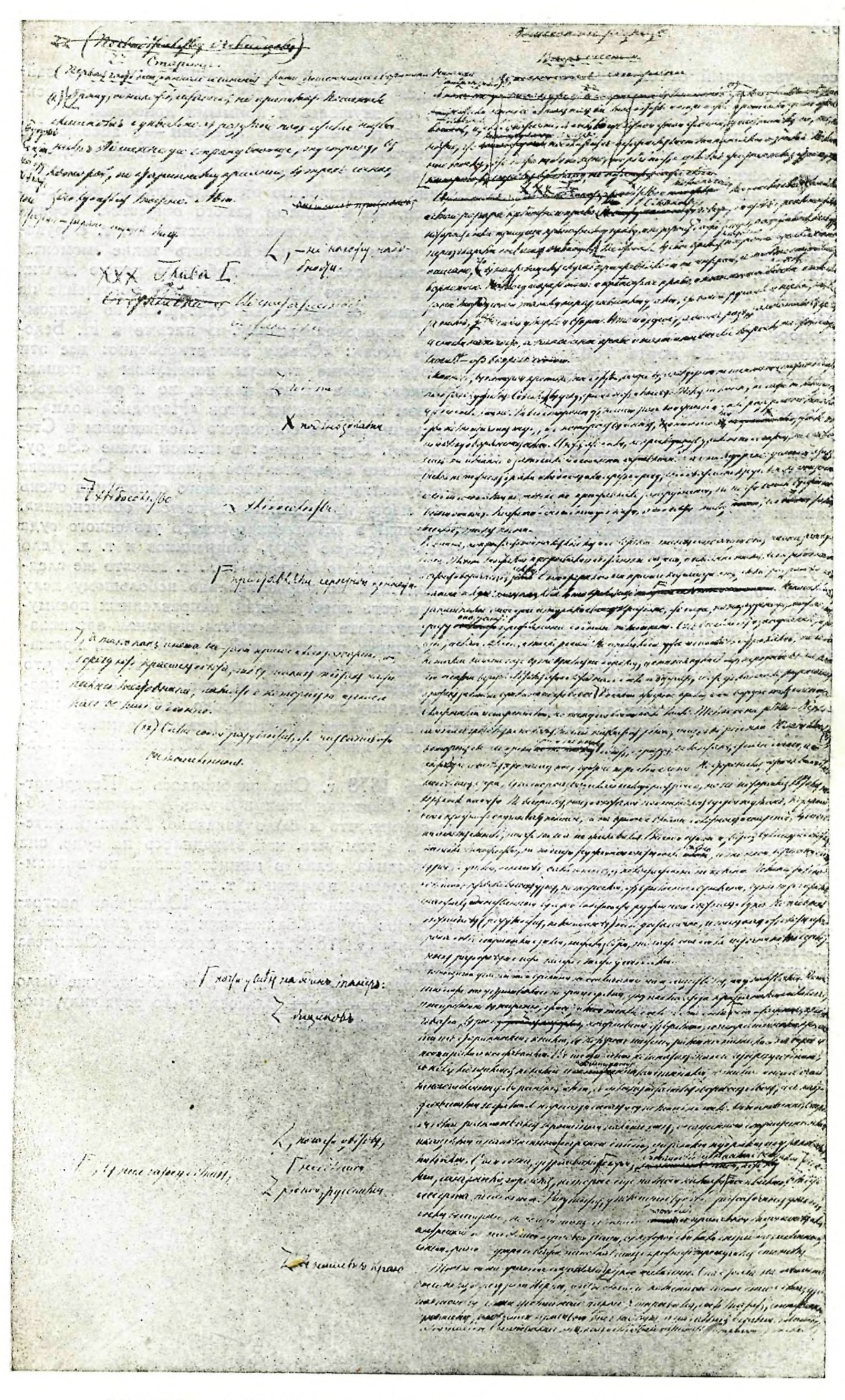
Однако намерение написать самостоятельную статью осталось повидимому неосуществленным. Слишком небольшой для обычных масштабов щедринских фельетонов объем статьи заставляет предполагать, что она либо осталась незаконченной, либо продолжение ее не дошло до нас.

[2] Указание Щедрина «за последние пятнадцать лет... значение больших (ежемесячных) журналов упало, а вместо них в роли руководителей общественного мнения выступили ежедневные газеты» точно согласуется с предложенной датировкой. Можно даже думать, что Щедрин имеет здесь в виду вполне определенную дату, а именно известный закон от 6 апреля 1865 г. «о даровании отечественной печати возможных облегчений и удобств», что важно как лишний аргумент нашей датировки текста. Законом этим завершилась эпоха цензурных реформ. Русские периодические издания были освобождены от предварительной цензуры с тем однако, «что в случае замеченного в них вредного направления» они подвергались отныне судебному преследованию.

[3] Цитович, П. П. (ум. в 1913 г.) — профессор Новороссийского университета, прославившийся в 1878 и особенно в 1879 г. своими ультра-реакционными доносительными пасквилями на деятелей революционной демократии. Эти пасквили, не без таланта написанные, издавались автором отдельными брошюрами, в громадных тиражах (напр. «Что делали в романе «Что делать», «Разрушение эстетики», «Реальная критика» и др.). С Цитовичем вначале полемизировал Михайловский в «Письмах к ученым людям» («Отеч. Зап.» 1878, кн. 6—7). В качестве образца хлестких, но вполне бесчестных выражений достаточно привести следующий окрик, брошенный Цитовичем в ответ Михайловскому по адресу его и «Отечественных Записок»: «...а вот, посмотрим, как вы закукурекуете, когда закроют вашу грязную лавченку, торгующую красным тряпьем, оставшимся с 1861 года». В 1870 г. Цитович предпринял издание газеты «Берег» в Петербурге, вскоре впрочем прекратившей свое существование. В «Письмах к тетеньке» (письмо XI) Щедрин отметил «Берег» под наименованием «Помои» — издание ежедневное», а самого Цитовича вывел под именем «главного воротилы в газете», «публициста Искариотова».

[4] Богдановский — профессор юридического факультета Одесского университета; он выступил в 1879 г. в местной печати со статьей, в полной мере солидаризировавшейся с пасквилями Цитовича.

[5] Цион, И. Ф. (1835—1912) — профессор физиологии Медико-хирургической академии, вынужденный уйти в отставку после враждебной ему студенческой демонстрации 17/X 1874 г.; политический публицист, сотрудник «Московских Ведомостей», парижский корреспондент М. Каткова, в дальнейшем заграничный агент министерства финан-



СТРАНИЦА РУКОПИСИ «ПОШЕХОНСКИХ РАССКАЗОВ» ЩЕДРИНА
Институт Русской Литературы, Ленинград

сов, уволенный от службы за неблаговидные действия при реализации одного из займов. По словам Феоктистова, Цион «отличался мерзейшими качествами», писал доносительные статьи в «Московских Ведомостях», не гнушаясь и прямыми доносами.

[6] О каких «скорбных исторических минутах» говорит здесь Щедрин — с абсолютной уверенностью ответить за отсутствием конкретных указаний трудно. Можно однако предположить, что речь идет о событиях 2 апреля и 19 ноября 1879 г., т. е. о покушениях на Александра II. На эти покушения правительство ответило волной репрессий *не только против террористов-революционеров, но и против самого общества*. Торжествующая реакция справляла свою победу на крови. «Человеконенавистники», т. е. руководители погромно-черносотенной политики, рады были использовать такие моменты для того, чтобы «в одну минуту стереть всякий след успеха, добытого ценою долгих усилий». Нет конечно ничего удивительного в том, что Щедрин называет покушение на царя «печальным фактом». *Щедрин безусловно отрицательно относился* ко всякому террору не только правительственному, но и народовольческому. В письме к Н. Белоголовому от 20 марта 1882 г. он например писал: «Скажу вам откровенно: все эти убийства, покушения и проч. делаются необыкновенно тяжелы, назойливы и пошлы. Из-за них ничего не видать, не только никакого дела делать нельзя, но и разобраться в этой галиматье трудно». (Речь идет об одном из последних актов «Народной воли» — убийстве киевского военного прокурора Стрельникова, совершонного Желваковым и Степаном Халтуриным 18 марта 1882 г. в Одессе). Еще пример: в шестой главе «За рубежом» имеются строки, в которых ясно выражено отрицательное отношение Салтыкова к акту 1 марта 1881 г., при чем взгляд и аргументация отрицательного отношения очень близки к только что прокомментированному месту из «Приличествующего объяснения».

[7] Дело о червонных валетах — исключительный в летописях русского уголовного суда процесс по числу обвиняемых (46), свидетелей (свыше 300), защитников и т. д. Дело слушалось в Московском окружном суде с 8 февраля по 6 марта 1877 г. Начато же следствием оно было в 1871 г. В процессе следствия по первоначально небольшому делу стала обнаруживаться, одно за другим, целая сеть преступлений, направленных преимущественно против чужой собственности. В результате была вскрыта огромная организация, совершившая в общей сложности 56 крупных преступлений с убийствами, кражами, подлогами и т. п. Особую сенсацию процессу придавало то обстоятельство, что большинство обвиняемых принадлежало к «высшему» сословию, дворянам. Этот процесс наряду с другими аналогичными дал Щедрину толчок к широко задуманному циклу на тему о «червонных валетах» под заглавием «Дети Москвы», который однако оборвался на первом же очерке цикла, помещенном в январском номере «Отечественных Записок» за 1877 г.

[8] Дело Гулак-Артемовской шумело в конце 1878 г. Оно разбиралось в Петербургском окружном суде 20—22 октября 1878 г. Светская львица Гулак-Артемовская обвинялась в подлоге векселей на громадные суммы, что и было доказано. Главный интерес процесса заключался однако не в этом, а в том, что, как выяснилось на суде, она зарабатывала большие деньги тем, что *«проводила дела»* в министерствах, по знакомству получала в собственность и продавала золотые прииски и т. д.

[9] Дело кассира Петербургского «Общества Взаимного Кредита» Юханцева, растратившего с 1873 по 1878 г. свыше 2-х миллионов рублей банковских денег, слушалось в С.-Петербургском окружном суде с 22 по 24 января 1879 г.; суд приговорил Юханцева к ссылке на поселение в Енисейскую губернию.

[10] О деле прапорщика лейб-гвардии саперного батальона Карле Ландсберге уже было упомянуто. Ландсберг зарезал 25 мая 1879 г. ростовщика Власова и его служанку, мотивируя преступление невозможностью вернуть свой долг.

II. СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

БОЛЬШЕВИКИ И НАСЛЕДСТВО ЩЕДРИНА

Статья Г. Зиновьева

«...Само собой разумеется, что «ученики» (т. е. ученики Маркса) хранят наследство не так, как архивариусы хранят старую бумагу».

В. И. Ленин, т. II, стр. 331.

I

Еще в 1897 г. В. И. Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся» с исчерпывающей полнотой разобрал вопрос об отношении русских марксистов к «наследству 60—70-х годов» XIX в. и показал, что действительно ценное в этом наследстве хранят и развивают именно революционные марксисты, в будущем большевики. «К числу таких выдумок», «плохих выдумок»,— писал В. И., полемизируя против Михайловского, — относится и эта ходячая фраза об «отказе русских учеников от наследства», о «разрыве их с лучшими традициями лучшей, передовой части русского общества, о перерыве ими демократической нити и т. п. и т. д. и как там еще это ни выражалось» [1]. Спустя два десятилетия после того, как была написана эта статья, рабочий класс нашей страны во главе с партией Ленина завоевал власть. И что же? Разве не доказала партия большевиков также в тот период, когда она является правящей партией, что сказанное Лениным и по вопросу о «наследстве» она целиком проводит в жизнь? Разве вся литературная политика партии — вдохновляемая разумеется штабом партии, ее Центральным комитетом, возглавляемым лучшим из продолжателей дела Ленина т. Сталиным,— не дает в наши дни на каждом шагу подтверждений того, что в частности и этому завету Ленина «ученики» остались безусловно верными?

Отношение большевиков к М. Е. Салтыкову-Щедрину есть только частный случай приложения к жизни того программного постулата В. И. Ленина, который выражен в вышеприведенных его словах о «наследстве».

В своей работе «От какого наследства мы отказываемся» Ленин доказал, что тремя главными чертами русских «просветителей» были: 1) «горячая вражда к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области», 2) «горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России» и 3) «отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собою общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому» (II, 314). «Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют «наследством 60-х годов», и важно подчеркнуть, что ничего народнического в этом наследстве нет» p!qI) Разрядка Ленина). Ученики Маркса не против этого наследства, это — вздорная выдумка, писал Ленин, ученики оспаривают только «романтические и мелкобуржуазные прибавки к наследству со стороны народников» (II, 315). «Ученики Маркса — гораздо более последовательные, гораздо более верные хранители наследства, чем народники», пишет В. И. (II, 331. Разрядка подлинника). Ученики «не только могут, но и должны целиком принять наследство просветителей, дополнив это наследство анализом противо-

речий капитализма с точки зрения бесхозяйных производителей» (II, 331)[2]. Но конечно «хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством, и к защите общих идеалов европеизма «ученики» присоединяют анализ тех противоречий, которые заключает в себе наше капиталистическое развитие, и оценку этого развития с вышеуказанной специфической точки зрения» (II, 332). «Если говорить о «наследстве», которое досталось современным людям, то надо различать два наследства: одно наследство — просветителей вообще, людей, безусловно враждебных всему дореформенному, людей, стоящих за европейские идеалы и за интересы широкой массы населения. Другое наследство народническое... Смешивать две эти различные вещи было бы грубой ошибкой» (II, 332). «Накидывались ли «русские ученики на русских просветителей»? Отказывались ли они когда-нибудь от наследства, завещавшего нам безусловную вражду к дореформенному быту и его остатакам? Не только не накидывались, а напротив, народников изобличали в стремлении поддержать некоторые из этих остатков ради мелкобуржуазных страхов перед капитализмом» (II, 333).

Работу «От какого наследства мы отказываемся» В. И. писал из ссылки для «легальной» подцензурной печати. В письме к Потресову (от 26/I 1899) В. И. тогда же разъяснял, что «принимать наследство от Скалдина (статья Ленина формально имела вид разбора книги Скалдина. — *Г. З.)* именно я нигде не предлагаю», что «принимать наследство надо от других людей»... «Я имею в виду именно Чернышевского, но у меня не было (в ссылке) статей Чернышевского и нет... да и вряд ли бы сумел обойти при этом подводные камни» (разрядка моя.— *Г. З.*)[3].

Статья «От какого наследства мы отказываемся» во многих отношениях является прямым продолжением крупнейшей основоположной работы молодого Ленина — работы, которой как-раз теперь исполняется 40 лет. Мы говорим о «Друзьях народа». Чтобы полностью уяснить себе ленинскую постановку вопроса о «наследстве», надо конечно хорошенько запомнить то, что Ленин пишет о разнице между «просветителями» и «народниками». Но чтобы как следует учесть эту разницу, надо вновь и вновь вспомнить, как в «Друзьях народа» Ленин оценивал само народничество.

Ленин строго отличал народничество 70-х годов от народничества 90-х годов. «Деревня давно уже совершенно раскололась. Вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм, уступив место, с одной стороны, рабочему социализму, с другой — выродившись в пошлый мещанский радикализм», писал В. И. (I, 165).

Молодой Ленин яснее, чем кто бы ни было из русских марксистов тогдашней эпохи, отдавал себе отчет в том, что народничество — направление мысли насквозь буржуазное, что «протест народников против капитализма остается на почве капиталистических отношений». Ленин сумел уже тогда показать, что народники «превращаются из идеологов крестьянства в идеологов мелкой буржуазии» (I, 301). Ленин уже и тогда охарактеризовал народников как «идеологов жалкой буржуазии, боящейся не буржуазности, а лишь обострения ее, которое одно только и ведет к коренному изменению» (I, 351). Уже на заре своей политической деятельности, 40 лет назад, Ленин видел ясно, что народники «постоянно сливались с российским либеральным обществом целым рядом постепенных переходов» (I, 236), что «народник в теории точно так же является двуликим Янусом, который смотрит одним лицом в прошлое, другим — в будущее» (I, 359). Уже в «Друзьях народа» Ленин открыто обвинял народничество в «мещанском оппортунизме» (I, 173) и заявлял, что у народников получилась программа, «выражающая только интересы радикальной буржуазной демократии» (I, 175), что они «реакционны по отношению к пролетариату» (I, 181).

И однако в тех же самых ранних своих работах Ленин учил видеть в тогдашнем народничестве и другую его сторону: прогрессивную, революционно-демократическую, пока дело шло о борьбе против крепостничества, о низвержении царского самодержавия, — ту сторону тогдашнего народничества, заметим тут же, которая и позволяла таким людям, как Щедрин, сотрудничать с народниками. «Отвергать всю народническую программу целиком без разбора было бы абсолютно неправильно,— писал тогда же Ленин.— В ней надо строго отличать ре-

волюционную и прогрессивную сторону. Марксисты должны, отвергнув все реакционные черты их программы, не только принять общедемократические пункты, но и провести их точнее, глубже и дальше» (I, 359, 360). Ленин говорил о «некоторых заветах старого русского народничества, ценных для марксизма» (I, 270), имея в виду революционно-демократические «заветы». Называя народнических «друзей народа» «идеологами мещанства», Ленин — и здесь главное отличие его подхода к проблеме народничества от всех русских марксистов того времени, не исключая и Плеханова, — считает необходимым еще объяснить народнические идеи, показать их материальное основание в современных наших общественно-экономических отношениях, показать, как и почему «между идеями и программами наших радикалов и интересами мелкой буржуазии существует самая тесная связь» (I, 140). Эти оценки народничества стояли у Ленина в тесной связи с его будущим лозунгом революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в первой русской революции. Эти оценки «классического» (по выражению Ленина) народничества были и остались верными, несмотря на то, что, когда на очередь дня в России стала диктатура пролетариата, современные нам «народники» из буржуазных революционеров превратились в контрреволюционеров, а затем в пособников и агентов буржуазной реставрации.

Ленинские работы «Что такое «друзья народа» и «От какого наследства мы отказываемся» теснейшим образом связаны друг с другом. Его двуединая оценка народничества в эпоху стоявшей в России на очереди буржуазной революции теснейшим образом связана с его программными заявлениями о «наследстве». Только в свете приведенных его оценок «просветителей» и «народников» становится ясно, от какого наследства не отказывался Ленин и не отказываются большевики. Именно из этих общих оценок должны мы исходить, ставя вопрос о наследстве Щедрина.

А остались ли в печати прямые заявления Ленина об его отношении конкретно к наследству именно Щедрина? Остались! В следующих главах мы еще остановимся на некоторых из них. Здесь же мы приведем одно из итоговых заявлений В. И. и притом довольно позднего времени, а именно 1912 года.

Ленин полемизирует с либералами-веховцами. Полемизирует в такую эпоху, когда русский либерализм еще склонен рядиться в тогу демократизма.

В 1912 г. Ленин пишет замечательную статью «Памяти Герцена», изобличая либералов в том, что они пытаются хватать за фалды Герцена, в то же время «тщательно скрывая, чем отличался революционер Герцен от либерала» (XV, 464). Политическое наследие «либерала Тургенева» (XV, 467), «подлого либерала Кавелина» Ленин отдает «по принадлежности» либеральной России. О Герцене же пишет:

«Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела...

Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидел его в 60-х — он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма» (XV, 465—468).

Вскоре Ленин вновь обращается к той же теме, когда либералы-веховцы пытаются ухватиться за фалды Некрасова и Щедрина. Даже такие столпы русского национал-либерализма, как «вехисты» Струве и Изгоев, пытаются еще в эту эпоху «родными счесться» с Некрасовым и Щедриным.

Русская либеральная буржуазия против всякой революции, она за сделку с царской монархией. Но «на худой конец», если революция и разразится, ведь это будет «буржуазная революция», и «стало быть» власть в ней обязательно достанется буржуазии — это ей «гарантировали» меньшевики и «сам» Плеханов. Именно на этот случай необходимо заблаговременно подумать о средствах, пригодных для успешного оседлания демократического движения масс; одно из этих средств — подержаться иногда за фалды таких людей, как Некрасов и Щедрин, сделать вид, будто наследство этих великих писателей принадлежит либеральной буржуазии.

Ленин разоблачает между прочим и этот прием «передовых» буржуа. В статье «Еще один поход на демократию» он останавливается на этом специально.

Ленин отнюдь не желает «уступать» кому бы то ни было не только наследство Чернышевского, но и наследство Некрасова и Щедрина. В названной статье он пишет:

«Особенно нестерпимо бывает видеть, когда субъекты вроде Щепетова, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии хватаются за фалды Некрасова, Щедрина и т. п. Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них:

Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...

«Неверный звук» — вот как называл Некрасов свои либерально-угоднические грехи. А Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой «применительно к подлости» (XVI, 132—133; последняя разрядка моя.— *Г. З.*).

Ленину «нестерпимо видеть», как гг. Струве и Изгоевы хватаются за фалды Щедрина. Ленин напоминает вехистам, как беспощадно издевался над либералами Щедрин и как он «навсегда» заклеймил буржуазный либерализм. Чтобы правильно ответить на вопрос о том, как относятся большевики к наследству Щедрина, — надо прежде всего запомнить приведенное заявление Владимира Ильича, сделанное в 1912 г. Оно имеет огромное значение для нашей темы.

Наследство М. Е. Салтыкова-Щедрина большевики считают своим примерно в том же смысле, в каком Ленин считал нашим наследство Н. Г. Чернышевского, Добролюбова, Некрасова. Если же сопоставить отношение Ленина к наследству одного Н. Г. Чернышевского и одного М. Е. Салтыкова-Щедрина, то конечно тут надо внести «поправку» на то, что Чернышевский являлся великим ученым, вождем, героем и мучеником направления, а Щедрин по преимуществу — великим художником и публицистом, лишь в ранней молодости лично участвовавшим в кружке Петрашевского, а затем отдавшимся исключительно литературе; и кроме того надо принять во внимание, что в общественной деятельности Щедрина были отдельные «сбои».

II

М. Е. Салтыков в ранней молодости отдался идеям утопического социализма. В его «За рубежом» — произведении, содержащем много автобиографических показаний, — Салтыков рассказывает, как, только что оставив школьную скамью, он примкнул к западникам. «Но не к большинству западников, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Санда. Оттуда лилась на нас вера в человечество». Объясняя, как именно он и та молодежь, с которой он единомыслил, «истинктивно прилепилась» к названным французским именам, Щедрин писал: «В России мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели «образ жизни»... Но духовно мы жили во Франции. Россия представляла собой область как бы застланную туманом, в которой даже такое дело, как опубликование «Собрания русских пословиц», являлось прихотливым и предосудительным». Другое дело — тогдашняя Франция. «Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этою неистощимостью жизненного творчества, которое вдобавок отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше?»

Не к «Европе» вообще, не к «Франции» вообще прилепилось тогда сердце молодого Щедрина, а к тому французскому, тому европейскому общественному течению, кото-



ЛЕНИН И БЕБЕЛЬ

Мальчик в штанах: Иди, милый драчунишка, сюда, я тебя помирю с твоими камрадами...
Мальчик без штанов: Натко выкуси!.

Карикатура П. Н. Лепешинского 1905 г.

Музей Революции, Москва

рое теснее всего связано с именами Сен-Симона, Кабэ, Фурье. О французской буржуазии Щедрин писал в «За рубежом» в следующих выражениях: «Современному французскому буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу. Он слишком отяжелел, чтобы не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтобы нуждаться в расширении горизонтов. Он давно уже понял, что горизонты могут быть расширены лишь в ущерб ему». Правящего французского буржуа Щедрин клеймил за «безыдейную сытость» и все надежды возлагал на те силы, которые складывались и крепли в противобуржуазном лагере. «Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми» («Мелочи жизни»).

М. С. Ольминский был прав, когда писал о Щедрине, что он был «социалист-утопист — идеолог всех трудящихся и эксплоатируемых: они еще не диференцировались в его сознании на класс прошлого и класс будущего». Да, если попытаться в самой общей форме охарактеризовать мировоззрение Щедрина, то приходится остановиться именно на этой формуле: социалист-утопист. Но, во-первых, прав М. С. Ольминский, когда он тут же прибавляет: «Конечно непонимание того, что мелкий производитель играет в общественной эволюции роль, весьма отличную от роли пролетария крупного производства,— это непонимание не является индивидуальной виной Щедрина или его современников: оно лишь идеологическое отражение недостаточного развития противоречий капиталистического строя». А во-вторых — и это главное — надо помнить, как учил Ленин относиться к «наследству» великих социалистов-утопистов. А Ленин в одной из самых замечательных своих статей («Две утопии) писал по этому поводу, как известно, так:

«Надо помнить замечательное изречение Энгельса: «Ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной в всемирно-историческом смысле».

«Энгельс высказал это,— пишет В. И.,— по поводу утопического социализма: этот социализм был «ложен» в формально-экономическом смысле. Этот социализм был «ложен», когда объявлял прибавочную стоимость несправедливостью с точки зрения законов обмена. Против этого социализма были правы в формально-экономическом смысле теоретики буржуазной политической экономии, ибо из законов обмена прибавочная стоимость вытекает вполне «естественно» вполне «справедливо».

«Но утопический социализм был прав в всемирно-историческом смысле, ибо он был симптомом, выразителем, предвестником того класса, который, порождаемый капитализмом, вырос теперь к началу XX века в массовую силу, способную положить конец капитализму и неудержимо идущую к этому» (XVI, 165).

М. Е. Салтыков был социалистом-утопистом. Характеристика «утопист» на первый взгляд плохо вяжется со всем суровым обликом Щедрина, с его знанием жизни, с его поразительным знанием своей страны, с его глубоким, ироническим умом. И тем не менее это так. Когда Щедрин хочет показать выход, показать новую дорогу своей стране, своему народу, он является только одним из «предвестников» того класса, который к «началу XX века» вырос в массовую силу, способную положить конец капитализму. То, что Щедрин называл «прикладной частью теории» социалистов-утопистов, не давало реального выхода из положения. Это Щедрин сознавал и сам. Поэтому он не настаивал на этой «прикладной» части. Но он не шел — и в силу всей тогдашней обстановки не мог итти — дальше общих положений утопического социализма. «Ведь и Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывалась более или менее несостоятельной и остаются только общие неумирающие положения» (из письма Щедрина к Утину от 2 января 1881 г.)[4]. Щедрин намекает в этом письме, что сказанное им о Фурье относится и к Чернышевскому, и к нему самому. «Это дало мне повод задаться более скромной миссией», продолжает Щедрин. Оставшись при «общих не умирающих положениях» утопического социализма, он берется за такие конкретные темы, как семья, собственность, государство. «Я обратился к семье, собственности и государству... На принцип семейственности написаны мною «Головлевы», на принцип государственности «Круглый год»[5].

«Ошибка утопистов,— говорил Щедрин,— состояла в том, что они, так сказать, учитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями». Но «как ни восставайте против так называемых утопий, без них истинно плодотворная умственная жизнь все-таки невозможна».

Да, «взятый в целом» Щедрин был «только» социалистом-утопистом. Однако в той же Франции он умел видеть не только Фурье и Сен-Симона, но и парижских коммунаров. В одном из своих злых писем (в письме к Анненкову), направленных против Тургенева, которого он всегда трактовал как неисправимого либерала, Щедрин писал: «Какое, однако, слово Тургенев выдумал «нигилисты» — всякая собака им пользуется. Во Франции есть, впрочем, другое словечко: коммунар, тоже не без значения»![6] В нескольких словах здесь вскрыта вся пропасть, существовавшая между Щедриным и людьми лагеря Тургенева.

Коммунар — слово тоже не без значения. Одного этого замечания, брошенного такому писателю, как Тургенев, достаточно, чтобы видеть, в каком направлении отмежевывался от лагеря просвещеннейших либералов М. Е. Салтыков-Щедрин. Конечно Щедрин не мог даже в отдаленной степени дать того анализа событий 1871 г., который человечество получило из рук Маркса в форме гениальной «Гражданской войны». Это лишь в малой форме оказалось посильным даже Чернышевскому. Но сердце Щедрина было с парижскими коммунарами. «Неумирающие положения» Парижской коммуны он воспринял так, как мог их воспринять русский социалист-утопист.

Несколько ранее этого письма — в конце 1871 г., т. е. по свежим следам кровавого «усмирения» парижских коммунаров, — Щедрин сделал попытку отозваться на события Парижской коммуны в русской подцензурной печати. Пятая глава его «Итогов» была посвящена именно этой теме. И хотя Щедрин пустил тут в ход все искусство Эзопа, хотя он всеми силами старался запрятать от цензоров как можно глубже подлинный смысл этой главы, — никакие иносказания не помогли. По требованию цензуры эта глава была изъята из «Отечественных Записок», и ни в первом, ни во втором (значительно урезанном и смягченном) вариантах вещь эта не смогла увидеть света. Эта часть «Итогов» была впервые напечатана только в 1914 г., да и то не полностью.

Щедрин клеймит в ней «приговор уличного ареопага», который называет «анархией» всякую попытку «прикоснуться к вопросам, имеющим общественный характер», и вскрывает подлинный смысл буржуазных, в том числе буржуазно-либеральных, криков об «анархии» коммунаров. Характеризуя хулителей Коммуны, Щедрин пишет: «В одно прекрасное утро вылезли из нор люди дикого вида с такими ожирелыми затылками, представление о которых даже среди нас утратилось со времени упразднения крепост-

ного права». Щедрин берет под свою защиту «страшные слова»: «ломать», «разрушать», «уничтожать». «Вредный или полезный смысл этого слова («ломать») совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие». «Замечательно,— пишет далее Щедрин,— что никогда анархисты мнимые, т. е. сторонники прогресса, не действуют с таким поразительным ожесточением, с такой ужасающей бесповоротностью, с какой всегда и везде поступают анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции могут служить тому очень убедительным примером. Они в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междуусобия наиболее непреклонные из приверженцев Парижской коммуны! Нет спасения от одичалого охранителя, да и не для чего искать его! Искать спасения — значит только обрести лишнее унижение, лишнюю подготовительную жестокость к жестокости последней, окончательно вырывающей жизнь. Ибо анархия успокоения изобретательна до утонченности в своих истязаниях. Она любит видеть судороги и тоску своей жертвы и только когда натешится вдоволь зрелищем этих судорог, только тогда отсекает ненавистную ей голову». Торжество версальцев «посекает жатву будущего» — в этой форме Щедрин заявляет, что будущее, несмотря ни на что, принадлежит наследникам парижских коммунаров. «Золотой век не позади, а впереди нас» — сказал один из лучших людей нашего времени» (Пьер Леру —«De l'Humanité» etc.), пишет Щедрин.

М. Е. Салтыков-Щедрин ссылается не на Маркса, а на сенсимониста Пьера Леру (умер во время Коммуны в Париже). Это конечно характерно для утопического социализма Щедрина. Но его горячее сочувствие коммунарам, его ненависть к «жирным затылкам» и «одичалым» «консерваторам Франции» да и всего мира не подлежат никакому сомнению [7].

Послушайте, как относится Щедрин к антиподам парижских коммунаров.

В письме (от 2 декабря 1875 г.) к тому же Анненкову он говорит: «Вот насчет государственности и национальности надо бы что-нибудь еще сказать, благо Франция — прекраснейший пример — перед глазами. Как ее распинают эти сукины дети в Национальном Собрании! Так поедом и едят. Вот и чужая сторона, а сердце по ней надрывается. Где такое собрание истинных извергов найдешь» [8]. Это писано через 4 года после поражения парижских коммунаров. Что все симпатии Щедрина на стороне этих последних — в этом не может быть, повторяем, никаких сомнений.

Общим «неумирающим положениям» современного ему р у с с к о г о — революционного движения Щедрин тоже глубоко предан. Он является великим русским революционным демократом примерно в том же смысле, в каком великим русским революционным демократом Ленин называл Чернышевского (см. его статью «О национальной гордости великороссов»).

Прочитайте, как хранит Щедрин в своем сердце образ Чернышевского, как клеймит он тех «примиренных» декабристов и петрашевцев, которые покупали себе возвращение из ссылки припаданием к стопам царского трона. «Хочу написать рассказ «Паршивый»,— пишет он в 1875 г. — Чернышевский или Петрашевский — все равно. Сидит в мурье среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают «боже царя храни». А он (т. е. Чернышевский) остался равнодушен ко всем надругательствам и все в нем старая работа, еще давно-давно до ссылки начатая, продолжается. Ужасно только, что вся эта работа в заколдованной клетке заперта... Нет ничего кроме той прежней работы — и только. С нею он может жить, каждый день он эту работу думает, каждый день ее пишет и каждый день становой пристав, по приказанию начальства, отнимает эту работу. Но он и этим не считает себя в праве обижаться: он знает, что так должно быть» [9].

Посмотрите, как непримиримо воспринимает Щедрин нападки на революционеров, исходящие от Тургенева или от писателей около Тургенева: «На днях Тургенев сообщил мне, что Сологуб желает прочесть свою комедию и просит устроить так, чтобы я был в числе слушателей. Я поехал в Буживаль (Щедрин временно жил тогда в Париже.—*Г. З.)* на это чтение, не без основания полагая, что будет читаться какая-нибудь глупость вроде «Беды от нежного сердца» и никак не полагая, чтобы Сологуб позволил себе привлечь меня к слушанию какой-нибудь подлости. Но оказалось, что Сологуб не имеет никакого

понятия о том, что подло и что не подло. В комедии действующим лицом является нигилист-вор... Со мной сделалось что-то вроде истерики. Не знаю, что я говорил Сологубу, но Тургенев сказывает, что я назвал его бесчестным человеком»[10].

А вот отзыв о тургеневской «Нови» — сразу после ее прочтения Щедриным. «Что касается меня, то роман этот показался мне в высшей степени противным и неопрятным... Я совершенно искренне думаю, что человек, писавший эту вещь, выжил из ума, вовторых, потерял всякую потребность нравственного контроля над самим собой... Что касается до так называемых «новых людей», то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! Ужель даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья. Перечтите паскудные сцены переодевания, сжигания письма, припомните, как Нежданов берет подводу и вдруг начинает революцию, как идеальный Соломин говорит: делайте революцию, только не у меня во дворе... Все это можно писать лишь впавши в детский возраст»[11].

Известно, что Щедрин выступил против «Нови» в печати и, когда цензура не пропустила этой работы в «Отечественных Записках», она была напечатана за границей в Женеве («Чужую беду руками разведу»).

Характерная для Щедрина мелочь. Побывав в 1875 г. на курорте в Баден-Бадене, он пишет Анненкову: «Впечатления, оставленные во мне этой благовонной дырой, далеко не приятны. Такого совершеннейшего сборища всесветных хлыщей я до сих пор еще не видал и вынес из Бадена еще более глубокую ненависть к так называемому русскому культурному слою, чем та, которую питал, живя в России»[12].

Прочитайте отклик Щедрина на судебный процесс по делу Нечаева. Вспомните, в какой обстановке разбиралось это дело, как выла по этому поводу вся «патриотическая», в том числе и «прогрессивная», печать. Вспомните, как трудно было в это время в какой бы то ни было форме в подцензурной печати взять под защиту революционное движение в России. И все же таки Щедрин пишет статью «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики» — статью, в которой он едко высмеивал «благонадежную» печать, вопящую о «накоплении неблагонадежных элементов», о «распространении по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений». И все же таки Щедрину удается зло высмеять охранительную прессу и ее «фельетонистов и составителей leading'ов», набросившихся взапуски на русских «нигилистов» и «сравнивавших наших заговорщиков с парижскими коммуналистами». В то же время в художественном очерке «Наши бури и непогоды» Щедрин высмеивает умеренного либерала, который настолько потрясен зловещими слухами о правительственных репрессиях, что перестает доверять своей собственной политической благонадежности и решает «самообыскаться» (см. «Неизвестные страницы»).

В письмах своих Щедрин тоже не раз откликается на происходящие в то время другие политические процессы. «А у нас между тем политические процессы своим чередом идут,— пишет Щедрин Анненкову 15 марта 1877 г.— На днях один кончился (вероятно по газетам знаете) каторгами и поселениями, только трое оправдано, да и тех сейчас же спровадили в места рождения. Я на процессе не был, а говорят, были замечательные речи подсудимых. В особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной. Повидимому, дело идет совсем не о водевиле с переодеванием, как полагает Иван Сергеич» (намек на тургеневскую «Новь»). Дело идет о знаменитом процессе 50-ти, на котором один из первых рабочих-революционеров Петр Алексеев (любопытно, что Щедрин называет его не рабочим, а «крестьянином») произнес свою знаменитую речь. Об удельном весе этого судебного процесса Щедрин повидимому до известной степени догадывается.

Письма Щедрина особенно важны потому, что только в них он может высказаться более откровенно и в них иногда в чрезвычайно яркой форме прорывается настроение великого писателя, связанного по рукам и ногам царской цензурой. Вот например такой отрывок (от 25 ноября 1876 г.): «Тяжело жить современному русскому человеку и даже несколько стыдно. Впрочем, стыдно еще не многим, а большинство даже людей так называемой культуры просто без стыда живет. Пробуждение стыда есть самая в настоящее время благодарная тема для литературной разработки, и я стараюсь по

возможности трогать ее. Но как это трудно и унизительно работать, как я работаю, вы себе представить не можете. Вообще, у меня как-то руки опускаются, и я чувствую, что скоро совсем стану в тупик. Главное — утратилась всякая охота к писанию. Просто думается, что вместо всякого писания самое лучшее наплевать в глаза. А тут еще сиди, всякую форму придумывай, рассчитывай, чтобы дураку было смешно, а сукину сыну не совсем обидно»[13].

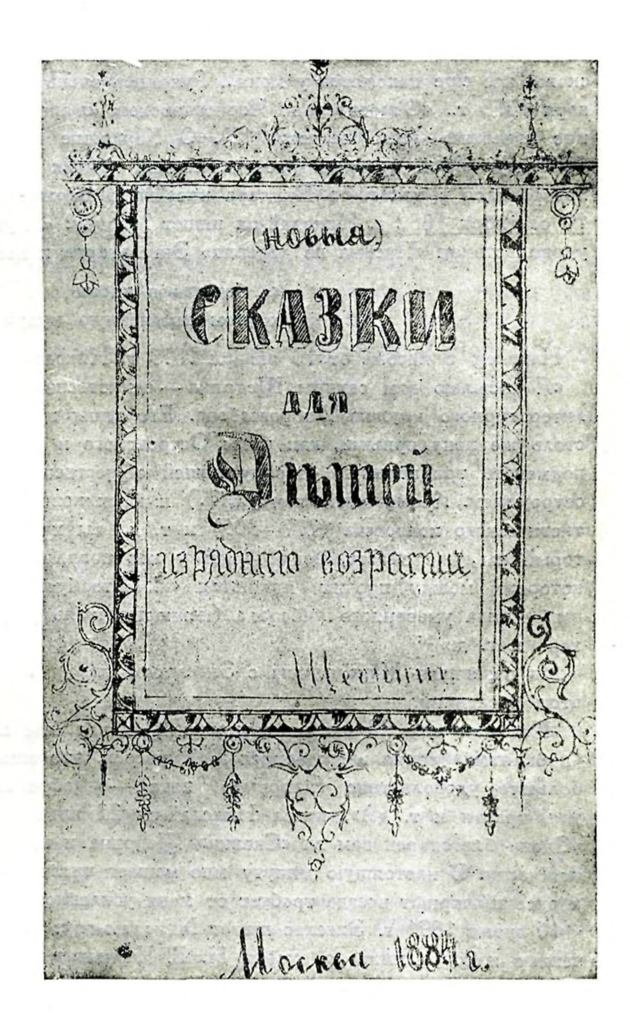
Этого отрывка достаточно, чтобы и современный читатель мог хоть немножко перенестись в ту обстановку, когда писал Щедрин, учесть, почему многое выливалось у него в ту внешнюю форму, которая так характерна для всего его творчества, и вдуматься в реальный смысл, в подлинное содержание его произведений...

III

Здесь уместно будет вспомнить о том, что Щедриным в свое время интересовались и Маркс с Энгельсом.

Маркс и Энгельс, как известно, читали по-русски и изучали в оригинале нескольких русских авторов, сочинениями которых они особенно интересовались. Оба они читали, а Маркс прямо и изучал некоторые произведения Щедрина.

Работы Салтыкова-Щедрина Марксу и Энгельсу присылал из России главным образом Николай-он (Даниэльсон). С последним Маркс и Энгельс познакомились через Г. А. Лопатина.



ОБЛОЖКА НЕЛЕГАЛЬНОГО ЛИТОГРАФИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ СКАЗОК ЩЕДРИНА
МОСКВА, 1884 г.

Архив революции и внешней политики, Москва

Дело было так.

Г. А. Лопатин, который познакомился с Марксом и Энгельсом в Лондоне, взялся за перевод I тома «Капитала». Маркс и Энгельс, дружественно расположенные к Лопатину и очень его ценившие, охотно передали в его руки это дело (в то время в России подлинных марксистов еще не было). Но Лопатин вскоре был арестован, и тогда перевод I тома «Капитала» перешел в руки Николая-она, с которым Лопатин был близок лично. Николай-он выполнил эту работу по тогдашней обстановке удовлетворительно и среди малопосвященной публики на время прослыл даже марксистом. В действительности он им никогда не был, а впоследствии стал одним из самых ярких представителей русского народничества. В 1893 г. он издал книгу «Очерки нашего пореформенного хозяйства», которая вместе с работами В. В. (Воронцова) служила главным экономическим обоснованием народнических взглядов. Книгу Николая-она Ленин подробно разбирал в «Развитии капитализма» и в ряде других своих работ.

В связи с тем, что Николай-он стал переводчиком «Капитала», он завязал большую переписку с Марксом и Энгельсом. Маркс писал ему под именем «Вильямса», а Энгельс под именем «Рошера». Николай-он все время снабжал Маркса и Энгельса русскими материалами. Он же послал им довольно много книг Салтыкова-Щедрина.

В связи со всем этим в переписке Маркса и Энгельса с Николаем-оном можно найти некоторые важные отзывы Маркса и Энгельса о русских авторах.

В письме от 9 ноября 1871 г. Маркс пишет Николаю-ону: «С сочинениями Добролюбова [14] я отчасти уже знаком. Я сравниваю его как писателя с Лессингом и Дидро» (цитирую по «лопатинскому» изданию переписки, стр. 6). В письме от 12 декабря 1872 г. Маркс пишет: «Присланная вами рукопись («Письма без адреса» Чернышевского) все еще находятся у меня... Рукопись очень интересна» (там же, стр. 10). 18 января 1873 г.. «Относительно Чернышевского скажу — значительная часть его сочинений мне известна» (там же, стр. 12). О Кауфмане Маркс пишет Николаю-ону (10 апр. 1879 г.): «Мой прежний рассудительный критик в петербургском «Вестнике Европы» превратился в какого-то Пиндара новейшего биржевого плутовства» (там же, стр. 25). 10 сентября 1882 г. Николай-он пишет Марксу: «Я уверен, что вы прочтете с большим удовольствием «Письма из деревни» Энгельгарта и некрасовскую

«... бедную в крови
кнутом иссеченную музу» [15].

Наконец в письме от 16 января 1873 г. Николай-он пишет Марксу следующее:

«Я посылаю вам сатиры Щедрина — единственного уцелевшего умного представителя литературного кружка Добролюбова. Его типы при самом появлении своем сделались столь же популярными, как типы Островского и т. д. Никто не умеет лучше, чем он, подмечать тривиальную сторону нашей общественности и высмеивать ее с большим остроумием. Кроме нечаевского (277) и мясниковского (101) дел, международного статистического конгресса (277—305) и т. д., вы найдете здесь характеристики типа, который вы уже знаете, но который у нас появляется лишь сейчас и представителями которого, между прочим, являются «С.-Петербургские Ведомости» и «Вестник Европы»,— типа умеренного либерала (пенкосниматель у Щедрина), V, IV, типа концессионера и т. д.» [16]

Из переписки Николая-она с Энгельсом известно, что Щедриным интересовался и этот последний.

«Посылаю вам 23 сказки сатирика Щедрина, где вы найдете обсуждение некоторых «проклятых» социальных вопросов. Я уверен, что многие из этих сказок доставят вам большое удовольствие (например пятая — «Добродетели и пороки», вторая, четвертая, третья и т. д.)», писал Николай-он 22 января 1887 г., а Энгельс отвечал ему: «Очень благодарен вам за «Сказки» Щедрина и непременно прочту их при первой возможности. В настоящую минуту мне мешает читать легкий конъюнктивит левого глаза, а русский шрифт всегда требует от меня усиленного напряжения зрения» [17].

10 июня 1891 г. Энгельс пишет Николаю-ону: «Мы слышали здесь с большим огорчением и сочувствием о смерти Н. Г. Чернышевского. Но, может быть, для него это

было лучше» (Энгельс, имеет в виду трагизм положения Чернышевского, которого «блокировало» не только царское самодержавие, но и либеральное «общественное мнение». 18 июня 1892 г. Энгельс пишет томуже адресату: «Мне нужно еще поблагодарить вас за те книги, которые вы имели любезность прислать мне, в особенности за Каблукова и Карышева». И так — до самой смерти Энгельса Николай-он снабжает его русскими книгами, как раньше снабжал и Маркса.

Возможно, что сочинения Щедрина Маркс и Энгельс добывали еще и помимо Николая-она. Во всяком случае совершенно точно установлено, что ряд произведений Щедрина Маркс проштудировал очень внимательно.

В работах Б. Николаевского[18] и Ф. Гинзбурга[19] подробно описаны уцелевшие русские книги в библиотеках Маркса и Энгельса, т. е. подчеркивания на этих книгах, выписки, попытки переводов, заметки на полях. Среди этих книг (часть их хранится — точнее хранилась, ибо неизвестно, что сделали теперь с этими книгами господа фашисты, — в партийном архиве германской социал-демократии в Берлине) наряду с Чернышевским оказался и Салтыков-Щедрин. Из числа работ последнего, как явствует из упомянутых описаний, в руках Маркса побывали: 1) «Господа ташкентцы», 2) «Дневник провинциала в Петербурге», 3) «Убежище Монрепо» и 4) «За рубежом».

Возможно, что Маркс проштудировал и другие книги Щедрина кроме тех, которые удалось обнаружить до сего времени. После смерти Маркса его книги перешли к Энгельсу. Энгельс и Элеонора Маркс решили передать большую часть русского отдела библиотеки Маркса П. Л. Лаврову, тогда самому авторитетному из представителей русской революционной эмиграции. От Лаврова большинство этих книг (строгой описи не было сделано) перешло в общее пользование к Тургеневской библиотеке в Париже. Другая часть русских книг Маркса после смерти Энгельса попала в архив германской социал-демократии; там с этими книгами обращались достаточно небрежно, как и со всем наследством Маркса и Энгельса. Ряд русских книг, бывших в руках Маркса и Энгельса, исчез. В том числе не найдены «Сказки», безусловно бывшие в руках Энгельса.

Пометки на найденных экземплярах русских книг свидетельствуют, что Маркс во всяком случае прочел — и с громадным вниманием и тщательностью — «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала» и «Монрепо». Кроме множества подчеркиваний сохранилось полностью одно замечание Маркса о Щедрине и обнаружены следы другого замечания, прочесть которое не удалось (переплетчик чрезмерно обрезал края).

Из подчеркиваний Маркса видно, что он читал Щедрина не из простого только эстетического интереса, а с глубоким политическим интересом, явно осведомленный о том, что у этого писателя он найдет много ценнейших материалов для суждения о классовом переплете в России, о настроениях в деревне, об «устремлениях» либералов, о положении на «верхах» среди сановной бюрократии, о назревании революционных настроений «в низах». Если взять книгу Салтыкова, побывавшую в руках Маркса, и читать ее не всю целиком, а только места, подчеркнутые им, то получается, как пишет один из тех русских обозревателей, которые имели возможность ознакомиться с этими экземплярами книг Щедрина (Гинзбург), впечатление «как если бы в эти карандашом отмеченные места была выжата вся квинтэссенция книги». Маркса особенно интересуют в книгах Щедрина описания взаимоотношений между крестьянином и помещиком, психология кающегося интеллигента, тревога на «верхах», двойственность настроений либералов и т. д. И действительно из приводимых текстов, которые отчеркнуты Марксом, ясно, что это именно так. Маркс действительно «выжимал» всю политическую квинтэссенцию из прочитанных им работ Щедрина. Маркс не пропускает ни одной фразы, выражающей протест против царистской реакции, а в особенности выражающей надежду (или даже только тень надежды) на предстоящую в России революцию. Все места, так или иначе выражающие мысль о постепенном назревании революции, о том, что только «фаршированным головам» революция в России может показаться «внезапной», Марксом подчеркнуты особенно резко.

Словом, Маркс читал сочинения Щедрина так, как он читал самые важные для него источники о России, которой он, как известно, так сильно интересовался. Язык Щедрина для человека, для которого русский язык не является родным, был нелегок. Тем не менее Маркс, не жалея сил и времени, преодолевал эти трудности. Попадающиеся ему у Щедрина не очень обыденные, замысловатые слова он тщательно себе расшифровывает, подыскивая равнозначущие слова на немецком и французском языках [20]. Каждый штрих у Щедрина, так или иначе воспроизводящий классовую борьбу в русской деревне (да и в городе), Маркс тщательнейшим образом отмечает. Каждая фраза, характеризующая отсталость, подневольную покорность, запуганность и забитость населения, отмечена. Но еще более внимательно, как мы уже говорили, отмечена каждая мысль у Щедрина, которая хотя бы вскользь выражает надежду на назревающую революцию.

Единственный уцелевший точно сформулированный отзыв Маркса о прочитанных им сочинениях Щедрина относится к «Убежищу Монрепо», к последней главе его — «Предостережение». Но это замечание крайне ценно. Названная глава «Монрепо» — как помнит читатель, знающий Щедрина,— посвящена «кабатчикам, менялам, подрядчикам, железнодорожникам (т. е. конечно не ж.-д. рабочим, а железнодорожным акулам и хищникам — воротилам, спекулянтам и т. п.— *Г. З.*) и прочих мироедских дел мастерам». Именно в этом месте Щедрин возвещает: «Идет чумазый! Идет и на вопрос, что есть истина? твердо и неукоснительно ответит: распивочно и на вынос!» Маркс тщательно отмечает все эти места о «чумазом» и все другие места, подчеркивающие нарождение в России многочисленного нового слоя деревенской и городской буржуазии. Эти места вызывают у Маркса большой интерес.

Но в «Предостережении» (в конце его) — в отличие от других произведений Щедрина — есть места, которые содержат как бы момент «положительной» проповеди. Вскрыв социальный смысл нарождения «чумазого» и обрисовав значение этого факта, Щедрин пытается как бы воздействовать на лучшую часть «новой» буржуазии. «Будь умерен и помни, что титул дирижирующего класса. влечет за собой не одни права, но и обязанности», «производи, не маклери», пишет Щедрин. Маркс тотчас же уловил нотки утопического социалиста, пытающегося «увещевать» представителей имущего класса, и т. п. И вот тут-то Маркс и делает свое замечание (на стр. 211 упомянутой книги Щедрина). Маркс пишет: «La dernière partie de la «Предостережение» est très faible; généralement l'auteur n'est pas fort heureux dans ses conclusions «positives»—т. е. Маркс говорит: «Последняя часть «Предостережения» очень слаба. Вообще автор не слишком счастлив в своих «положительных» выводах». Это — совсем небольшое по своим размерам замечание. Оно не развернуто. Но из него ясно, что Маркс не одобрял (и не мог одобрить) элементов утопизма в «положительных» выводах Щедрина и в то же время очень ценил у него его отрицательную характеристику царизма, помещичьего класса, буржуазии, «чумазого». Отметив слабость только «последней части» «Предостережения», Маркс тем самым выразил то, что предыдущие части слабыми ему отнюдь не показались. Да это видно и по целому ряду подчеркиваний, сделанных им при чтении.

Если бы Маркс развернул подробнее свою «рецензию», он так бы несомненно и сказал: «положительная» программа этого писателя слаба, ибо он не стоит на точке зрения пролетариата. Но его критика господствующего в царской России класса, его превосходная концентрированная ненависть к помещику, капиталисту, кулаку, к буржуазному «прогрессисту», его любовь к людям труда делает его нашим союзником. Его гневная сатира, бичующая русский царизм — оплот мировой буржуазной реакции — крайне полезна для нашего дела. Его предчувствие революционной грозы, выраженное местами с несокрушимой силой, есть один из симптомов того, что очистительная гроза действительно близка. Его гениальное перо художника-сатирика работает против злейшего врага всего мирового пролетариата, и этого достаточно для того, чтобы мы с доброжелательным вниманием следили за литературной деятельностью великого русского писателя.

Русский царизм — вот главный враг мирового освободительного движения, возглав-

ляемого пролетариатом; из этой основной оценки международного положения исходили тогда Маркс и Энгельс. Салтыков-Щедрин — должны были сказать себе они — ненавидит русский царизм и поддерживающие его внутренние и внешние силы настоящей нутряной ненавистью. У Щедрина в руках против царизма лишь определенный род оружия. Но этим родом оружия он владеет блистательно и наносит им серьезные удары общему врагу. Такой враг нашего врага — наш ценный союзник. Утопических слабо-

№ 10 НАРОДНАЯ ВОЛЯ. 16

шандовъ были оштрафованы за порубку; а вслѣдъ за тѣмъ у Куюкинскаго лѣсника были зарѣзаны 10 овецъ и лошадь. Одному понятому д. Андреевки еле-еле не отрубили головы: онъ спасся только благодаря быстротѣ лошади. Въ половинѣ Февраля въ лѣсу, прилегающемъ къ дер. Екатериновкѣ и Анновкѣ, крестьяне изрубили топорами двухъ стражниковъ, не смотря на то, что послѣдніе были вооружены ружьями. Въ дер. Шаранъ-Каялевѣ стычки изъ-за лѣса сопровождались цѣлымъ рядомъ убійствъ. Явился сюда исправникъ, но едва унесъ ноги. Пришлось согнать нѣсколько сотъ полицейскихъ чиновъ; пріѣзжали прокуроръ и губернаторъ, но княжевцы покорности не обнаружили. Угонъ скота и поджоги хлѣба здѣсь самое заурядное явленіе. Но бываютъ факты и гораздо любопытнѣе. Такъ, башкиры д. Слахъ въ Февр. раззорили и сожгли до тла хуторъ барона Нольксена, разогнавъ сторожей, рабочихъ, и угнали скотъ, часть котораго была затѣмъ зарѣзана и съѣдена. У доктора Бычкова на хуторѣ въ Бакалинской волости убили прикащика; въ одной изъ сосѣднихъ деревень избили урядника и станового. Чиновниковъ — членовъ крестьянскаго присутствія, землемѣровъ и т. д., являющихся производить размежеваніе и вообще «насаждать порядокъ», населеніе или гонитъ или привѣчаетъ самымъ оригинальнымъ способомъ: «Твоя кто посылалъ наша?» — Присутствіе, казна. — «А-а! казна, присутствіе — ну, ты и гуляй по казна. Зачѣмъ наша пришелъ? Мы не звалъ!» — Землю отъ васъ въ казну. — «Зачѣмъ казну. Земелька нашъ, какой казну? Казна свой есть. А вотъ самоваръ твоя кипитъ, мы готовимъ; ашай мало — уѣзжай, потомъ ялыхай (отдохни), утро придетъ — гуляй казна, коли онъ твоя посылалъ, а наша твоя не надо!» И за тѣмъ на утро выпроводятъ самымъ безцеремоннымъ образомъ. Ограничиваемся приведенными фактами, хотя списокъ ихъ можно было бы удлиннить до безконечности.

Другимъ райономъ съ сильнымъ аграрнымъ движеніемъ является мѣстность, охватывающая Донскую область, Екатеринославскую, Тамбовскую, Курскую губ., отчасти Рязанскую, а затѣмъ Черниговскую и Полтавскую. Здѣсь практикуются въ самыхъ широкихъ размѣрахъ поджоги помѣщичьяго хлѣба, сѣна и строеній. Тутъ имѣли мѣсто любопытные случаи стачекъ сельскихъ полевыхъ рабочихъ, съ цѣлью оставленія безъ уборки помѣщичьяго хлѣба или возвышенія заработной платы, при чемъ крестьяне опирались на свою общинную организацію. Вообще отношенія между отдѣльными крестьянами и помѣщиками крайне обострены. Въ Екатеринославской губерніи прошлой осенью крестьянское движеніе выразилось въ усиленныхъ поджогахъ, разрушеніи помѣщичьихъ домовъ и захватахъ земель. Первыя весеннія свѣдѣнія изъ этого края указываютъ, что движеніе, направленное къ захвату земель, началось снова. Изъ множества фактовъ, имѣвшихъ мѣсто въ Донской области, приведемъ только два. Въ слободѣ Мокѣевкѣ Донецкаго округа, крестьяне, стѣсненные землевладѣльцемъ и его прикащикомъ, сожгли 80 стоговъ сѣна, вырубили лѣсъ и затѣмъ, заманивши въ лѣсъ прикащика, выѣхали его и, заткнувъ ротъ, привязали къ дереву; здѣсь онъ провисѣлъ болѣе двухъ сутокъ (дѣло было въ Февралѣ) и былъ случайно найденъ пастухомъ; прикащикъ тотчасъ-же уѣхалъ, а поступившій на его мѣсто держитъ себя значительно мягче. Вообще крестьяне Донецкаго округа въ послѣднее полугодіе энергично принялись за экспропріацію землевладѣльческой собственности. Они рубили лѣсъ, увозили къ себѣ помѣщичій хлѣбъ съ полей, нападали на принадлежащіе помѣщикамъ и скупщикамъ земель хлѣбные амбары и грабили ихъ, нерѣдко въ виду самихъ хозяевъ. Дѣло не разъ доходило до вооруженнаго сопротивленія. Въ слободу Большенскую и сосѣднія села для усмиренія явился окружной начальникъ съ цѣлой сворой полицейскихъ. Появленіе его страшно возбудило населеніе. „Такъ онъ не за насъ? . . Бей его! . . . И окружной начальникъ едва успѣлъ спастись. За то нѣсколько его спутниковъ были избиты до полусмерти. Затѣмъ Большинцы бросились на ближайшія усадьбы землевладѣльцевъ. Произошла свалка, во время которой нѣсколько человѣкъ было убито. Землевладѣльцы съ своею дворнею, забравшись въ одну экономію, кое-какъ отстрѣлялись; но за то остальныя экономіи были разграблены и разрушены. Грабежъ продолжался двое сутокъ, пока прибыло войско. Съ появленіемъ послѣдняго крестьяне разбѣжались и попрятались по заросшимъ мелкимъ лѣсомъ балкамъ и оврагамъ. Многіе изъ нихъ имѣли ружья, а потому, когда на нихъ двинулось войско, произошло правильное сраженіе, съ массою убитыхъ и раненыхъ. Въ концѣ концовъ крестьяне оказались, конечно, усмиренными. . . Мы не будемъ приводить фактовъ, имѣвшихъ мѣсто въ другихъ мѣстностяхъ: это было бы перепѣвомъ той же самой, однообразной пѣсни.

Повторяемъ: мы не думаемъ видѣть въ этихъ фактахъ симптомы пробужденія народныхъ силъ задолго скораго и успѣшнаго всенароднаго взрыва; но слѣпъ будетъ тотъ, кто откажется усмотрѣть въ нихъ явное значеніе признаковъ шаткости нынѣшняго порядка вещей и не менѣе ясное указаніе на тотъ путь, по которому пойдетъ народное движеніе, когда наступитъ, наконецъ, его моментъ.

ЗАКРЫТІЕ „ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ЗАПИСОКЪ"

«Вотъ такъ скотина! добрые люди отъ него просвѣщенія ждали, а онъ чижика съѣлъ!»

«Бурбонъ стоеросовый! чижика съѣлъ!»

«Олухъ царя небеснаго! чижика съѣлъ!»

Такъ, по словамъ г. Щедрина, привѣтствовали звѣри Топтыгина послѣ того, какъ онъ съѣлъ чижика. Отдавая, вмѣстѣ со всѣмъ русскимъ обществомъ, должную дань уваженія таланту и проницательности г. Щедрина, мы сомнѣваемся, однако, чтобы онъ предвидѣлъ, что графъ Толстой такъ скоро возьметъ на себя роль Топтыгина и предоставитъ роль чижика „Отеч. Запискамъ", соблазнившись, должно быть, ихъ чижиковаго цвѣта оберткой.

Мы не думаемъ смѣяться надъ погибшимъ журналомъ или принижать его. Это былъ почти единственный органъ русской печати, въ которомъ сквозь дымъ и копоть цензуры свѣтилась искра пониманія задачъ русской жизни во всемъ ихъ объемѣ. За это онъ долженъ былъ погибнуть — и погибъ. Было бы странно, если бы карающая правительственная сила не наложила раньше или позже руки на мало-мальски свѣтлыя явленія. Но мы утверждаемъ все таки, что, закрывъ «От. Зап.», Толстой съѣлъ чижика, а не того отъ него ждали. Ждали искорененія революціи, прекращенія крамолы, а мы живы и надѣемся.

СТРАНИЦА № 10 ЖУРНАЛА «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» ЗА 1884 г.
С НАЧАЛОМ СТАТЬИ Н. К. МИХАЙЛОВСКОГО ПО ПОВОДУ
ЗАКРЫТИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»
Институт Маркса-Энгельса-Ленина, Москва

стей его «положительной» программы мы конечно не поддержим. А его работу великого писателя, бьющего по твердыням царизма, мы приветствуем...

Так и только так можно и должно «расшифровывать» приведенное замечание Маркса.

IV

Художественные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина были настолько монументальны, что в России ими для серьезнейших исследований, для ряда социологических обобщений пользовались и Н. Г. Чернышевский, и некоторые из самых выдающихся родоначальников русского марксизма — например Николай Евграфович Федосеев — на заре марксистской эпохи в русском революционном движении.

Напомним, что «Губернским очеркам» Щедрина Н. Г. Чернышевский посвятил большую работу, в которой он сравнивал это произведение щедринского пера с «Ревизо-

ром» и «Мертвыми душами». «Давно уже не являлось в русской литературе рассказов, которые возбуждали бы такой общий интерес, как «Губернские очерки» Щедрина, изданные г. Салтыковым. Главная причина громадного успеха этих рассказов очевидна каждому. В них очень много правды — правды очень живой и очень важной», писал в этой работе Н. Г. Чернышевкий [21]. «Дух правды оживляет очерки Щедрина» [22]. «Ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей картины нашего быта не рисовались красками более мрачными. Никто (если употребить громкие выражения) не карал наших общественных пороков словом, более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большею беспощадностью» [23]. «Губернские очерки» мы считаем не только прекрасным литературным явлением — эта книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни» [24].

Эта оценка Чернышевского еще более важна, если вспомнить, что в интимном письме к Некрасову Чернышевский о внешних достоинствах «Губернских очерков» отзывается сдержанно, о содержании же говорит, что оно «замечательно» [25]. «Очерки» его (т. е. Щедрина) производили эффект страшный на публику — это верно», пишет он в другом письме к Некрасову [26].

Из воспоминаний Л. Ф. Пантелеева известно, что личные отношения между Чернышевским и Щедриным долгое время были натянуты. «Причина следующая,— пишет М. С. Ольминский в рецензии на книгу Пантелеева [27].— В 1861 году Салтыков, будучи вице-губернатором в Твери, получил прокламацию «Великорусс» и представил ее начальству — по оплошности вместе с конвертом. Этот конверт, как говорили тогда, и послужил первой уликой против В. А. Обручева. Сам Обручев приписывает свой арест тому, что был узнан извозчиком, на котором развозил письма [28]. Против Салтыкова в литературных кругах возникло негодование; попытки объясниться не рассеяли предубеждения Чернышевского против Салтыкова — и это наложило печать на их отношения друг к другу на всю жизнь обоих». Ю. М. Стеклов в своей ценной работе о Чернышевском приводит эту выписку из М. С. Ольминского, снабжая слова «по оплошности» восклицательным знаком и давая тем понять, что он не верит, чтобы это была только оплошность Щедрина. Но Ю. М. Стеклов решительно ничем не подтверждает своей догадки. В только что вышедших воспоминаниях Е. П. Елисеевой (жены Г. З. Елисеева) об инциденте с конвертом рассказано подробно. «Помню я шум по этому поводу, недоумение и раздражение. Кажется, ему [Щедрину] было написано из редакции о тех неблагоприятных слухах и он приехал. Но слышала, что объяснением, данным им, был удовлетворен Чернышевский, после чего всякие нарекания прекратились. Спустя много лет, когда «Отеч. Зап.» процветали под редакцией Некрасова, Елисеева и Салтыкова, т. е. в 70-х годах, мне не раз приходилось выяснять этот факт негодующему поколению и удовлетворять их пытливость тем же несокрушимым доказательством, что Чернышевский не стал против него» [29].

Таково свидетельское показание Елисеевой, настроенной к Щедрину вообще говоря далеко не дружелюбно. Действительно: как Чернышевский мог «не стать против», если бы он не поверил Щедрину,— об этом Ю. М. Стеклов не подумал.

В работе последнего о Чернышевском вообще разбросано много необоснованных выходок против Щедрина, связанных с глубоко неправильной общей оценкой этого великого писателя у Стеклова. Об этом мы еще поговорим ниже.

Если личное предубеждение против Щедрина и существовало у Чернышевского, — никогда своих общих оценок того или другого писателя Чернышевский не ставил в зависимость от той или иной черты личной слабости данного писателя (так поступал, в скобках сказать, и В. И. Ленин, что видно хотя бы из вышеприведенной его оценки Некрасова). У Чернышевского это можно проверить на отношении его к тому же Некрасову. Известно, как много личных слабостей (да и не только личных, но и политических) было у Некрасова. Чернышевский лучше, чем кто бы то ни было другой, знал эти слабые стороны Некрасова. Его мучили «неверные звуки», которые исторгал иногда Некрасов у своей лиры. Он писал, что карточная игра Некрасова лично ему, Чернышевскому, была «ненавистна» (письмо к Пыпину от 25 февр. 1878 г.) [30]. А общая оценка Чернышевским Некрасова? Вот она: «Если, когда ты получишь мое письмо,

Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем», так писал тому же Пыпину Чернышевский, узнав о том, что Некрасов при смерти [31].

Что в этой оценке сказалось не просто лирическое отношение к замечательному поэту,— это видно из дальнейшего письма Чернышевского к тому же Пыпину: «О Некрасове я рыдал — просто рыдал по целым часам каждый день целый месяц после того, как написал тебе о нем. Но моя любовь к нему не имеет никакой доли в моем мнении об его историческом значении. Это значение — факт истории. И мне с моими личными склонностями нечего мешаться в оценку фактов. Это дело науки, а не личных вкусов ученого» [32].

Вот критерии, с которыми подходит Чернышевский к оцениваемым им писателям. Он берет великих писателей как «факт истории», отвлекаясь от личных склонностей. Так подходил Чернышевский конечно и к значению Щедрина. И когда при общих оценках деятельности Щедрина нам указывают, что у него были слабости и «сбои», мы отвечаем: читайте и перечитывайте оценку, которую дал такой непримиримый революционер, как Чернышевский, такому во многих отношениях очень уязвимому писателю, как Некрасов!

Щедрин «не был в практической жизни идеалом гражданской добродетели», пишет Ю. М. Стеклов [33]. Допустим, что это так. Но это не могло изменить и не изменило общей оценки Щедрина Чернышевским. И к самому концу своей жизни Н. Г. Чернышевский остался верен своей высокой оценке Щедрина как писателя. В беседах с Рейнгартом в Астрахани (июнь 1886 г.) Чернышевский резко критиковал слабые стороны в литературной деятельности Г. И. Успенского (постоянно-де «открывавшего какие-то неведомые страны и каких-то диких людей») и заявлял, что «высоко ценит Щедрина», который отличался, по его словам, обширным образованием. «Да, этот человек широкого политического развития, не то, что другие», говорил Николай Гаврилович.

Чернышевский знал личные слабости и Некрасова, и Щедрина. Но он знал, сколь много великого дали русской литературе и тот и другой.

Кто хочет знать действительную оценку Щедрина Чернышевским, тот пусть читает и перечитывает работу Чернышевского о «Губернских очерках»...

Выше мы упоминали о Н. Е. Федосееве.

В. И. Ленин пишет, что Федосеев «был одним из первых, начавших провозглашать свою принадлежность к марксистскому направлению», что «во всяком случае, для Поволжья и для некоторых местностей центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытывала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера» (XXVII, 376).

Н. Е. Федосеев долго и добросовестно работал над историей падения крепостного права в России. Он написал на эту тему большую работу, которая по свидетельству всех читавших ее (рукопись повидимому погибла в департаменте полиции) представляла собой громадную ценность. Об этой работе Мартов, читавший рукопись Федосеева в ссылке, пишет, что она была «посвящена объяснению отдельных моментов «эпохи великих реформ», что рукопись «свидетельствовала о солидности предпринятой Федосеевым работы и обещала обогатить литературу ценным марксистским трудом» [34].

И вот одна из важнейших глав этого исследования Федосеева — глава, рассматривавшая заключительный период крепостного хозяйства,— целиком была построена на «Пошехонской старине», «Господах Головлевых» и других сочинениях Щедрина [35]. Один из современников Федосеева М. И. Семенов (Блан) рассказывает, что «эта работа Федосеева — обработка содержания «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина с точки зрения марксистского понимания экономических причин падения крепостного права —

читалась Скляренко и мною и затем была передана Владимиру Ильичу»[36]. То же подтверждает и Н. Сергиевский.

А. П. Скляренко был ближайшим единомышленником и товарищем Ленина в «самарский» период Владимира Ильича (1889—1893). Третьим в их тогдашнем кружке был И. Х. Лалаянц. Этот последний пишет: «Я читал эту рукопись полностью, со всеми замечаниями Владимира Ильича, сделанными им карандашом тут же на полях рукописи... Вл. Ильич отнесся очень одобрительно к ней, как к первой серьезной попытке выявить основные причины отмены крепостного права с марксистской точки зрения. Замечания же Владимира Ильича в общем, я это помню, сводились к отдельным частностям, к отдельным местам, недостаточно полно освещенным Федосеевым»[37].

Выводы, которые у него (Федосеева) уже напрашивались в результате работы над архивными данными или статистическими исследованиями, получили особую выпуклость и быстрее формулировались благодаря тому, что он опирался еще на монументальные работы Щедрина — так понимает процесс работы Федосеева его близкий друг Сергиевский. «Самим Щедриным — вернее говоря, его описанием эксплоатации крепостного труда — Н. Е. пользовался на том же основании. Я указываю на статью по Щедрину, как на первоначальный набросок его работы»[38].

Н. Е. Федосеев был одним из первых русских марксистов (по всем своим личным связям к тому же близкий к Ленину), который не только изучал и оценивал сочинения Щедрина, но и пользовался ими как пособием в освещении крестьянского вопроса в России. Работа Федосеева о Щедрине не увидела света и до нас не дошла. Но в письме к Н. К. Михайловскому от 19 марта 1894 г. (только в 1933 г. напечатанном в № 7—8 «Литературного Наследства») мы находим следующее глубоко интересное место:

«Вы говорите, что мы «попираем отцовские идеалы». Этого нет и не может быть. С нашей стороны нужно быть кретинами и нравственными квазимодо, чтобы «попирать» идеалы Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова, Н. К. Михайловского. Мы сами учились по литературным произведениям этих писателей... Мы дорожим этими именами, как самым лучшим, драгоценным достоянием русской мысли... Но что же нам делать, когда «отцы» или отступили назад, или ничего не хотят знать нового, не хотят понять новой жизни и ее мучительных запросов, а только мечут громы и молнии против тех, кто должен был сделать шаг вперед, вынужденный к тому изменившимися условиями самой жизни?..

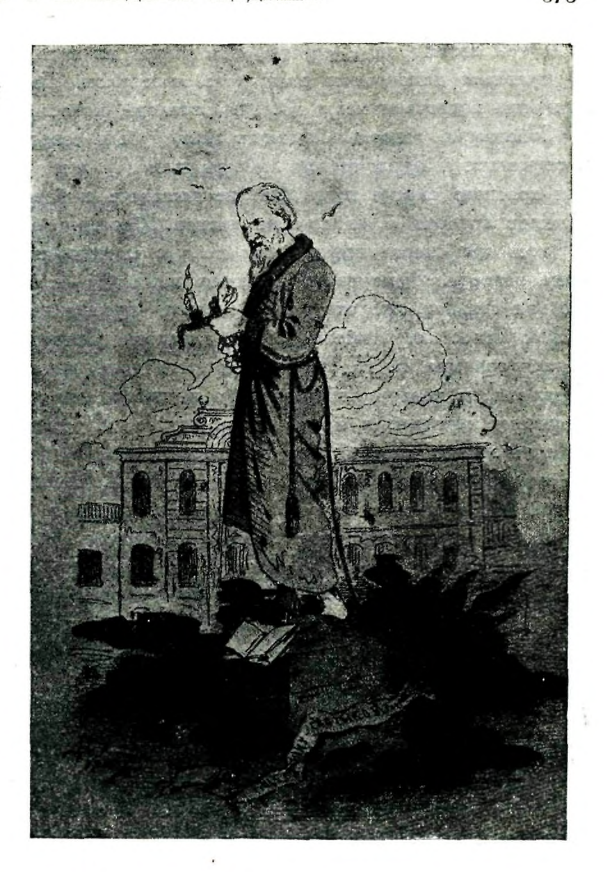
Хотя мы и называем Вас и подобных Вам «утопистами», но это ничуть не мешает нам считать Ваше направление самым близким для нас. И это не только в силу важности для нас «критического элемента» Ваших произведений, но и потому еще, что те «утописты», которые вместе с Салтыковым убеждены, что «формы правления совсем не безразличны» и что противоположное мнение, что «все они ведут к утучнению и без того тучного буржуа» — уверенность печальная и неосновательная,— близки нам по общности ближайших стремлений. И названное убеждение должно быть поставлено на первый план при оценке роли наших утопистов, оно ставит их неизмеримо выше «немецких или истинных социалистов» и французских и английских эпигонов «великих утопистов». Эти наши утописты — ближе для нас и в этом последнем отношении, чем доктринеры либерализма»[39].

Рассуждения Н. Е. Федосеева о социалистах-утопистах и «доктринерах либерализма» совсем близко подходят к известным нам мыслям В. И. Ленина по этим вопросам. Эти рассуждения Федосеева объясняют нам, почему именно уже в начале 90-х годов ему был близок и интересен Щедрин, почему он «привлекал» Щедрина к научной работе об экономических корнях крепостного права в России[40].

Разве это не замечательно? Разве это не характерно для отношения первых русских марксистов ленинского поколения к Щедрину, что в таких научно-исследовательских работах они опирались и на Щедрина? Разве не интересен тот факт, что и молодой Ленин считал такой литературный прием в марксистском исследовании вполне законным?

И разве не замечателен вместе с тем тот факт, что Ленин и в самый ранний период своей литературной деятельности, и в 1917 г. не раз в самых блестящих своих пуб-

«ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА САЛТЫКОВУ»
Карикатура в «Шуте» 1882 г., № 17



лицистических выступлениях прибегал к Щедрину? В 1907 г., споря против меньшевиков, Ленин вспоминает: «Щедрин классически высмеял когда-то Францию, расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами банкиров, как республику без республиканцев» (X, 238). В «Услышишь суд глупца» Ленин пишет: «Но... Щедрин давно уже переводил на общепонятный язык это либеральное российское «но» — не растут уши выше лба, не растут» (X, 278). В статье «Торжествующая пошлость или кадетствующие эсеры» Ленин в 1907 г. пишет: «Жаль, что не дожил Щедрин до «великой» российской революции. Он прибавил бы, вероятно, новую главу к «Господам Головлевым», он изобразил бы Иудушку, который успокаивает высеченного, избитого, голодного, закабаленного мужика» (XI, 158). А в апреле 1917 г. в статье «О пролетарской милиции» Ленин вновь вспоминает о Щедрине. Он пишет: «Буржуазные и помещичьи республиканцы — ставшие республиканцами после того, как они убедились в невозможности иначе командовать над народом — стараются учредить республику возможно более монархическую: нечто вроде французской, которую Щедрин называл республикой без республиканцев» (XX, 203).

Почти всегда, когда Ленин цитирует Щедрина, он берет его в союзники против буржуазного либерализма, против меньшевиствующих «социалистов», против кадетствующих эсеров, против «республиканских» палачей Коммуны, против «демократических» банкиров, раболепствующих перед царизмом, против республики без распубликанцев, т. е. берет его как писателя, давшего много великого именно против либеральной буржуазии, против буржуазных «республиканцев», против якобы социалистических прихвостней буржуазии. Из всех замечаний В. И. Ленина по адресу Салтыкова-Щедрина вытекает именно эта оценка.

Из нее вовсе не вытекает, будто Щедрин был предтечей большевизма, был почти марксистом. Такой вывод был бы совершенно неверен. Но с нею абсолютно не вяжется

и другой взгляд на Щедрина, исходящий из того, будто Щедрин являлся заурядным буржуазным *демократом или даже либералом*. Такую поразительно неверную оценку Щедрина встречаем мы у Ю. М. Стеклова, который так и пишет:

«Собственно говоря, Салтыков всегда был совершенно чужд всякой (!) революции и социализму. Буржуазный либерал или (!) демократ, а прежде всего сатирик (!), он для красного словца готов был не пожалеть и близких ему течений». И далее Ю. М. Стеклов говорит о «присущем иногда Щедрину беспредметном зубоскальстве» [41].

Здесь мы скорее всего имеем дело с «присущим иногда» Ю. М. Стеклову упрощением вопроса. Буржуазный либерал или (!) — демократ! А прежде всего — сатирик! Нельзя сказать, что эта квалификация «прежде всего» отличалась чрезмерной политической ясностью. *Либерал или демократ Салтыков-Щедрин? Это довольно существенная разница.* В. И. Ленин, как мы видели, ни в коем случае не согласен «отдавать» Щедрина не только либералам, но и шаблонным «демократам». А Ю. М. Стеклов повидимому согласен и на то и на другое. «Прежде всего — сатирик!» Да, но каков предмет его сатиры? Это не безразлично. В «беспредметном зубоскальстве» Щедрина не раз обвиняли как-раз справа. А Н. Г. Чернышевский называл обличительное направление, вошедшее в моду «с тяжелой руки г. Щедрина», «прекрасным, истинно-дельным» и выражал ему «полное сочувствие» [42]. Ю. М. Стеклов «замахивается» на Щедрина якобы «слева», а попадает в компанию как-раз правых критиков Щедрина...

Нет, такая оценка Щедрина в корне неправильна. Большевики остаются при тех оценках Щедрина, из которых исходили Н. Г. Чернышевский, Н. Е. Федосеев и прежде всего В. И. Ленин.

V

Было бы конечно ошибкой трактовать Салтыкова-Щедрина (и даже Чернышевского) как предтеч большевизма. Это неправильно. Это более чем угловато. Но нет никакого сомнения в том, что эти «люди-маяки» освещали дорогу нашей стране в направлении до известной степени родственном тому, в каком впоследствии повел ее большевизм. Нет никакого сомнения в том, что к светлому ключу их мысли и их таланта не раз с благодарностью обращался основатель большевизма В. И. Ленин. То обстоятельство, что Щедрин имел крупное влияние на самый язык Ленина, конечно не случайно. На язык В. И. Ленина естественно имели влияние все великие русские писатели. Но едва ли кто из них оказал на В. И. такое большое литературное влияние, как Н. Г. Чернышевский и М. Е. Салтыков-Щедрин. И это объясняется разумеется не только могучей силой литературного таланта этих двух гигантов. Это объясняется прежде всего тем политическим созвучием, которое было у этих колоссов с будущей освободительной миссией российского пролетариата [43].

Со Щедриным большевиков роднило многое, чем и объясняется тот факт, что редкий из них в тюрьме, в ссылке, в эмиграции не держал среди самых любимых и самых «нужных» авторов произведения Щедрина. Этим объясняется тот факт, что редкий из них в своей устной агитации среди рабочих, солдат, крестьян не пользовался щедринскими образами, не говорил щедринской прозой. Этим объясняется тот факт, что политические ораторы большевизма и теперь охотно пользуются образами Щедрина в самых ответственных своих политических выступлениях. За примерами ходить недалеко. Вспомните хотя бы речи на XVII съезде партии.

Но большевиков больше всего привлекало в Щедрине то

1) что Щедрин — в кульминационный период его творчества — так прекрасно изображал диференциацию русской деревни, так едко высмеивал «сплошной» взгляд на нее, таким сильным прожектором осветил фигуру кулака, «мироеда», «чумазого», такой яркой кистью написал Колупаевых, Разуваевых, Деруновых;

2) что Щедрин с такой едкой непримиримой критикой относился к либеральной буржуазии, что он хорошей законченной ненавистью ненавидел умеренного и аккуратного «прогрессиста». Будущее «кадетоедство» большевиков, о котором в свое время все уши прожужжали противники большевизма, действительно

в иных отношениях напоминало «либералоедство» Щедрина, — недаром Ленин так часто цитировал Щедрина именно применительно к оценкам либералов;

3) что Щедрин ненавидел царское самодержавие, «дикого помещика», «царскую бюрократию», чиновника, «помпадура», «Угрюм-Бурчеева», «ташкентца», весь «аппарат» царско-помещичьей диктатуры так глубоко, прочно, беззаветно, непримиримо, что ненависть эту он выразил с такой стихийной, неискоренимой силой и в этом отношении подкрепил выходивших на арену русской и мировой истории пролетарских революционеров на том этапе, когда их очередной задачей, их «программой-минимум» было — свергнуть царское самодержавие и не оставить от его «гордого» здания камня на камне.

Щедрин работал в «Отечественных Записках» и был близок с народниками, хотя, как показывает опубликованная теперь его переписка, он не раз резко критиковал и даже высмеивал таких столпов народничества, как Южаков и Кривенко (см. «Письма» 1845—1889), во многом не соглашался с Н. К. Михайловским (см. письма к Михайловскому), систематически критиковал П. Л. Лаврова, поправлял в определенном направлении Г. И. Успенского[44] и т. д. Но работая с народниками, он в главном центральном вопросе народнического миросозерцания — в вопросе о деревне — все время от начала и до конца шел своими путями.

До известной степени это случилось и с таким писателем, как Г. И. Успенский, который однако гораздо больше, чем Щедрин, позволял литературным вождям народничества влиять на его творчество и «руководить» его писаниями. Описывая современную ему деревню, Г. И. Успенский, сам того не желая, очень часто давал марксистам фактический материал против народников, ибо в описываемой им деревенской действительности меньше всего оказывалось места «идеальной» общине, «самобытному» социализму, «единому» крестьянству.

Вот почему первые русские марксисты в 80-х и в начале 90-х годов зачастую пользовались против философии народничества теми описаниями деревни, которые давал «народник» Г. И. Успенский.

Если с творчеством Г. И. Успенского такие «пассажи» получались против его воли, то у М. Е. Салтыкова-Щедрина это была строго продуманная линия поведения. Суровая правда — таков был весь стиль творчества Щедрина. Суровой правды придерживался он прежде всего и в оценке русской деревни, и эта суровая правда не могла не бить в лицо слащавому народничеству, «сладеньким» (Ленин) сказкам народников об «едином» крестьянстве. Щедрин знал русскую деревню, как очень немногие из русских писателей: «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и наконец обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе» («Мелочи жизни»).

На сусальную идеализацию общины народниками Щедрин не поддавался. Как бы возражая прямо народникам, он писал:

«Говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но забывают, что существует громадная масса мещан и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса дворовых людей. А кроме того забывают еще и то, что около каждого «обеспеченного наделом» выскочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопивства и уже довольно откровенно отзывается о мужике, что «в ем только тогда прок и будет, коли ежели его с утра до ночи на работе морить».

Это попадало не в бровь, а в глаз народническим идеализаторам общины.

«Да, пролетариата нет, но загляните в наши деревни, даже подстоличные, и вы увидите сплошные массы людей, для которых например вопрос о лишней полукопейке на фунт соли составляет предмет мучительнейших дум и для которых даже не существует вопроса о материальных удобствах. Вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой бюджет заключается в пятнадцати-двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотаньем бумаги».

Процессы социального расслоения русской деревни всегда интересовали Щедрина в высшей степени. Один из первых — если не первый — он вывел кулака на страницы русской литературы, вывел, чтобы показать его во всей красе, чтобы обрисовать его алчность и «кровопивство», чтобы сделать эту фигуру ненавистной всему трудящемуся народу. По силе и страстности бичевания кулака (или «чумазого», как выражается часто Щедрин), по глубине ненависти к этому «пауку» щедринские «квалификации» могут стоять рядом с ленинскими. Недаром и в этой области Ленин чаще всего употребляет щедринскую терминологию, проводит щедринские «словечки» в гущу массы, делает их нарицательными, переносит их в научную литературу (напр. «Развитие капитализма»).

«Чумазый вторгся в самое сердце деревни и преследует мужика и на деревенской улице, и за околицей... Он обмеривает, обвешивает, обсчитывает, доводит питание мужика до минимума... Поле деревенского кулака не нуждается в наемных рабочих: мужики обработают его не за деньги, а за процент или в благодарность за «одолжение». Вот он дом кулака! Вот он высится тесовой крышей над почерневшими хижинами односельцев, издалека видно, куда скрылся паук»...

«Чумазый идет, чтобы показать, где раки зимуют. Он наглый, с цепкими руками, с несытой утробой. Его пришествие уже приветствуют охранители и публицисты... Мироедский период еще не исчерпал своего содержания. Сдается, что придется пережить эпоху чумазовского торжества» и т. д.

Эти и подобные отрывки из Щедрина подходят совсем близко к высказываниям молодого Ленина того периода, когда ему приходилось вести непрерывный бой против народничества.

Столь же реалистичными и столь же по сути дела далекими от народничества были щедринские характеристики «хозяйственного мужичка» (щедринский термин, который тоже стал нарицательным) — образ, которым тоже много раз пользовался Ленин.

История всех трех наших революций доказала незыблемо, что единственной партией, которая всегда держала курс на социалистическую переделку деревни и *именно поэтому* не делала никаких уступок «чумазому», не имела никаких иллюзий относительно «чумазого», была (и остается) партия большевиков. И именно потому, что большевики ясно видели *классы в деревне*, они теперь вплотную подвели страну *к уничтожению классов*. Именно потому, что они одни до конца видели социальную роль «чумазого», они теперь смогли — под руководством Сталина, продолжающего дело Ленина,— сорганизовать ликвидацию «чумазого» как класс. По-настоящему прислушаться к тому, что говорил Щедрин о расслоении русской деревни, о роли «чумазого» в ней, по-настоящему понести эту ненависть к «чумазому» в массы, дать этой ненависти классовое выражение, дать ей должное место в общей стратегии и тактике рабочего класса — это смогли сделать только большевики.

Если бы в активе М. Е. Салтыкова-Щедрина было даже только одно это отношение к «чумазому» — и то этого было бы достаточно, чтобы большевики не отказывались от щедринского «наследства», любили и уважали это наследство.

Но в его активе имеется и его *непримиримое отношение к либералам* — то отношение, которое иными своими чертами прямо напрашивается на сравнение с большевистским «кадетоедством».

Конечно «кадетоедство» Ленина и большевиков есть составная часть общей стратегии и тактики пролетарской партии, есть звено в целой системе марксизма-ленинизма, т. е. нечто принципиально иное, более высокое, более законченное и совершенное, чем борьба Щедрина против русского либерализма. Но если мы вспомним, что обстановка, в которой жил и действовал Щедрин, была куда менее политически-диференцированной; если мы вспомним, что Щедрин не был человеком партии (в современном смысле этого слова), что он вторгался в жизнь только пером, то мы должны будем признать, что и тут он чрезвычайно выгодно отличался от большинства народников.

О многих народнических террористах русские марксисты справедливо говорили, что на деле это всего только *либералы с бомбой*. У Щедрина не было в руках

бомб — если не считать его сатир, взрывавших царское самодержавие получше иной бомбы. Но у него была та великолепная горячая и страстная ненависть к либерализму, которую Ленин так любил и ценил у Чернышевского, да и у того же Щедрина.

Кто только не «ругал» в свое время большевиков за «кадетоедство»! В самом этом словечке «кадетоедство» уже заложено фарисейское осуждение — «осуждение рабочего за то, что он не хочет мириться даже с вылощенным капитализмом, даже с европейски-образованным либеральным капиталистом. За «кадетоедство» большевиков осуждало все образованное либеральное «общество», все «европейские марксисты» во главе с Плехановым, вся «революционная демократия», т. е. все меньшевики и эсеры, все «корифеи» II Интернационала. Что означали все эти осуждения? Они означали: не смейте ставить всерьез вопрос о пролетарской, о социалистической революции в такой «отсталой» стране, как Россия! Кричите только «долой самодержавие царя» — тогда мы даже готовы вам похлопать, ибо «рабочие очень важны *для* революции», т. е. для буржуазной революции. Но не смейте провозглашать: «Долой самодержавие капитала!. Как вы не понимаете, что это просто «бестактно» в такой «отсталой» стране, как Россия». Вот к чему сводилась вся борьба указанного лагеря против «кадетоедства» большевиков. Кто же теперь не видит, что, скажем, пресловутые антибольшевистские памфлеты Плеханова «о тактике и бестактности» по сути дела сводились к этому?

И опять-таки мы спешим оговориться: борьбу Щедрина против либералов допустимо сравнивать с «кадетоедством» большевиков только, так сказать, в порядке первого приближения. Щедрин подвизался на арене русской литературы в такую пору, когда еще не было ни массового рабочего движения, ни пролетарской партии в нашей стране. Его борьба против либералов конечно не мыслилась им самим как звено в целой цепи борьбы за гегемонию пролетариата в русской революции, а тем более за диктатуру пролетариата. И все-таки это одна из величайших заслуг Щедрина, что он именно «по-щедрински» ставил в литературе вопрос о либералах. Ибо это свидетельствует о том, что он не был заурядным буржуазным демократом, что он и тут крайне выгодно отличался даже от наиболее левых народников.

В одной из своих статей-шедевров, в одной из своих самых блестящих работ периода «пятого» года, в статье «Памяти графа Гейдена» В. И. сказал об этой борьбе Щедрина против либералов следующее:

«Еще Некрасов и Салтыков учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов» (XII, 9).

Ясно, что эту часть наследства Некрасова и Салтыкова-Щедрина большевизм устами В. И. Ленина с полным правом «выговаривает» в свою пользу. И конечно он хранит это наследство не как архивариусы хранят старую бумагу. Он приумножает и эту часть наследства. Он развивает борьбу против либерализма дальше, он ставит ее на службу самому революционному классу, который не может освободить себя, не освободив весь мир, он делает ее составной частью марксизма-ленинизма.

С такой же и еще более высокой оценкой подходил В. И. Ленин к соответствующей части наследства Н. Г. Чернышевского, который либералов 60-х годов называл «болтунами, хвастунами и дурачьем». Когда Плеханов еще был марксистом, он в своих первых знаменитых статьях о Чернышевском тоже с горячей похвалой подчеркивал эту сторону работ Чернышевского. Когда же Плеханов перешел в лагерь меньшевизма, он, переиздавая эти свои работы, тщательно вычеркнул именно эту часть оценок Чернышевского. Мы живо помним, как негодовал по этому поводу В. И., какими сарказмами осыпал он за это Плеханова, находя в то же время, что это вполне в порядке вещей, что раз человек из марксиста превратился в меньшевика, то логично ему «сократить» свои старые работы именно в этом направлении.

М. С. Ольминский вполне прав, когда пишет, что «Щедрин под конец своей жизни все больше освобождался от уз народничества, в то время как народники во главе с Михайловским быстро скатывались к либералам. И не потому ли у Ленина никогда не

подымалась рука против Щедрина». Более того: в «Друзьях народа» Ленин прямо противопоставляет по этому пункту Щедрина Михайловскому. В. И. полемизирует с «тезисом» Южакова — «80-е годы облегчили народное бремя и тем спасли народ от окончательного разорения» — и говорит по этому поводу следующее:

«Тоже классическая по своему лакейскому бесстыдству фраза, которую можно поставить рядом только разве с вышеприведенным заявлением г. Михайловского, что нам надо еще создавать пролетариат. Нельзя не вспомнить по этому поводу так метко описанную Щедриным историю эволюции российского либерала. Начинает этот либерал с того, что просит у начальства реформ «по возможности»; продолжает тем, что клянчит «ну хоть что-нибудь» и кончает вечной и незыблемой позицией «применительно к подлости» (I, 162).

Не будем приводить тут классических в этом отношении «Сказок» Щедрина, ибо их пришлось бы переписывать чуть не целиком.

Достаточно напомнить только некоторые из эпиграмматических характеристик либералов (или, по-тогдашнему, «прогрессистов») у Щедрина. В «Культурных людях» (гл. I) Щедрин вкладывает в уста либерального и просвещенного помещика следующие слова:

«Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала — мелькнуло у меня в голове; ободрать — да и в сторону... А потом, зарекомендовав себя благонамеренным, можно и о конституциях на досуге помечтать».

Известно, что эта характеристика либералов в значительной своей части перешла в повседневный политический обиход и больше всего — в словарь большевиков.

Или в другом месте («Итоги») в середине 70-х годов Щедрин писал о том же сюжете: «Это народ очень загадочный, совмещающий с чувствительностью души и слезливостью в голосе непреодолимую страсть к куску» («Итоги», гл. I). У этих либералов «начинаются бесконечные инсинуации насчет неблагонадежных элементов». Деятельность прогрессистов «никогда не выходила из пределов тихого курлыканья благовоспитанных каплунов» («Итоги», гл. IV).

Ясно, что эти характеристики русского либерализма не могли не влиться определенной струей в политический инвентарь большевизма. Большевизм переплавил их в более высококачественный сплав. Он ассимилировал и переработал их по-своему, как это и подобает идеологии пролетарской революции. Он не хранил их, как архивариусы хранят старую бумагу...

Вот почему мы говорим, что и эта часть наследства Щедрина принадлежит нам, и только нам.

Скоро будет 50 лет, как умер Щедрин. Россия прошла за это время через три революции и изменилась до неузнаваемости. И все-таки мы спросим: где сейчас в нашей стране (или за ее рубежами — среди белоэмигрантской «России № 2») та партия или та группа, которая с гордостью скажет, что это она претендует на наследство Щедрина, что она в частности продолжает и продолжит антилиберальную традицию Щедрина? Такой партии кроме большевистской партии не существует в природе. За рубежом живут «именитые» осколки народнических групп и партий. Но можно ли себе хоть на минуту представить теперь, чтобы, скажем, Авксентьевы, Бунаковы, Керенские и К° сейчас чтили традиции Щедрина и в частности хотели бы продолжать его борьбу против буржуазного либерализма? Конечно нет! Они, трущиеся около империалистов и ожидающие «спасения» от новой войны против СССР, не могут вдохновляться наследием таких писателей, как Щедрин. Им не до славного русского прошлого, по той простой причине, что у них нет никакого — кроме самого бесславного — будущего...

Отношение Щедрина к старой русской деревне и к борющимся в ней силам и отношение Щедрина к старому русскому либерализму «увязаны» между собой. Его оценка «чумазого» и его оценка либерала составляют одно органическое целое. Это и есть то, что отличает Щедрина от «обычных» народников, что роднит его с деятелями склада Чернышевского и что делает его поэтому дорогим для большевизма.

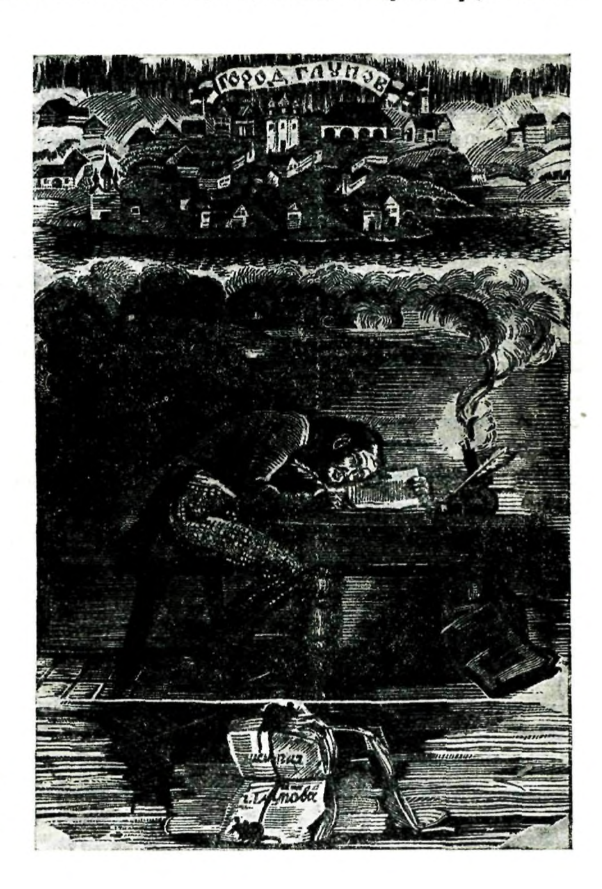
Отсюда и его особый подход к оценке царского самодержавия, царской бюрократии, дворян-помещиков (в том числе опять-таки и либеральных) вспомним его сатиру «К читателю», где жестоко высмеиваются дворянские мечтания, совмещающие в одной и той же голове рядом такие понятия как Selfgovernement и la libre initiative des pomèschiks.

Не подлежит сомнению, что Щедрин не питал никакого чрезмерного уважения и к институту «свободного» буржуазного парламентаризма — вспомним его отзыв о «сукиных детях», распинающих Францию в Национальном собрании после 1871 года.

Разумеется Щедрин подходил к вопросу о буржуазной революции в России не так, как к этому подходил Ленин. *Большевизм был тактикой пролетариата и в буржуазной революции.* Ни о работе Щедрина, ни даже о работе Чернышевского этого конечно нельзя сказать. *Но меньшевизм и народничество («революционная демократия») были тактикой буржуазии и в пролетарской революции.* К этому лагерю опять-таки нельзя отнести ни Щедрина, ни конечно Чернышевского. Всеми своими лучшими чертами, всеми теми чертами, которые делали Щедрина одним из величайших писателей России, грозой царской бюрократии, грозой идеологов «чумазого», грозой буржуазного либерализма, Щедрин принадлежал и принадлежит нам. Все самое ценное из богатейшего наследства Щедрина мы можем теперь понести — и разумеется понесем — в действительно многомиллионные массы трудящихся, для которых жил и работал этот великий писатель.

VI

В свете всего сказанного отзыв В. Н. Фигнер о роли Щедрина (см. 488 стр.) вызывает на полемику. «Он [Щедрин] осмеивал *частные* случаи, темные стороны *русской*



ФРОНТИСПИС К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА»

Гравюра на дереве С. Мочалова, 1931 г.

жизни, а мы воспринимали и усваивали критику основ существующего строя, экономического и политического строя, который существовал не только в России, но и во всех странах культурного мира», пишет В. Н. Фигнер. С этим никак нельзя согласиться. Нет, это не так! Ни первая, ни вторая части этого утверждения не верны. Щедрин осмеивал далеко не «частные» только случаи «русской жизни» (курсив Фигнер). А народовольцы усваивали далеко не всю «критику основ» экономического и политического строя «во всех странах культурного мира». Критику основ экономического и политического строя, данную Марксом, т. е. самое важное, самое ценное, самое главное, они как-раз не усваивали и не усвоили.

В замечательно проникновенной речи, произнесенной 24 января 1924 г. на съезде советов СССР, Н. К. Крупская сказала:

«За эти дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумывала всю его жизнь, и вот я хочу сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем угнетенным. Никогда этого он не говорил сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту. Я говорю об этом потому, что это чувство он получил в наследие от русского героического революционного движения». Подчеркнутые нами слова выражают то, что действительно было одной из характернейших интимных черт Ленина. Именно так воспринимал и чувствовал Ленин наследие героического периода русского до-пролетарского революционного движения. Именно так учил он относиться к образам героических революционных предшественников русского рабочего движения.

Лучшее из традиций народовольчества Ленин и его ученики всегда ценили высоко. И поскольку В. Н. Фигнер воплощает эти традиции, поскольку она в «Запечатленном труде» и в других своих работах воспевает героические образы народовольчества, она всегда встретит в большевиках внимательных читателей и горячих почитателей.

А вот в оценке роли Щедрина В. Н. Фигнер делает ошибку — и при том ошибку не случайную.

Пользуясь случаем, чтобы сказать по адресу глубоко нами уважаемой В. Н. Фигнер то, что давно уже просилось под перо: мы, революционные марксисты, мы, большевики-ленинцы, поняли позицию таких старых революционеров, представителей до-марксистского поколения, как В. Н. Фигнер; но нам очень жаль, что они не хотят (или не могут) понять революционеров нового поколения, т. е. пролетарских революционеров. Это — тема особая, о которой когда-нибудь и поговорим особо. Сейчас мы заговорили об этом только потому, что и ошибка В. Н. Фигнер в вопросе о Щедрине связана, как нам кажется, с указанным выше общим обстоятельством. Повидимому тут есть определенная закономерность: те из русских революционеров старого до-марксистского поколения, которым не удается понять роль пролетарских революционеров, вышедших после них на арену русской истории, нередко оказываются не в силах полностью понять и роль своих предшественников (и иных современников). Мы очень боимся, что с В. Н. Фигнер при оценке ею роли Салтыкова-Щедрина случилось именно это последнее.

Невольно сопоставляются два взгляда на роль Щедрина: В. Н. Фигнер и М. С. Ольминского. Покойный Ольминский тоже принадлежал в свое время к «Народной воле» и к народовольческому прошлому разумеется относился с полным уважением, как и все большевики. Но именно потому, что он пошел вперед от народовольчества к марксизму, он сумел правильно отнестись к наследству, в том числе к наследству Щедрина.

В. Н. Фигнер ставит вопрос о том, как относился Щедрин к народовольцам в период их наиболее острой борьбы с самодержавием. Вопрос законный и интересный. В. Н. отвечает на него так: «Сношений с ним [Щедриным] никто из нас не имел — он был слишком осторожен для этого. Вероятно (!) он смотрел на действующих революционеров, как смотрел другой редактор «Отечественных Записок» — старый писатель-народник Г. З. Елисеев». А относительно этого последнего В. Н. Фигнер сообщает: «Григорий Захарович [Елисеев] в конце 1880 г. говорил мне: «Ну, что вы делаете? Бьете головой в каменную стену... только головы свои разобьете. И чего добиваетесь? Теперь секут без закона... а тогда будут сечь по закону». Говорил так, а сам предложить ничего не имел.

Почему В. Н. Фигнер считает возможным ставить знак равенства между *политическими* настроениями Щедрина и Елисеева? Это совершенно неизвестно! Неужели только потому, что оба были редакторами «Отечественных Записок»? Но ведь и Михайловский был виднейшим участником этого журнала! Значит ли это, что и он относился к «действующим революционерам» так, как Елисеев в приведенном отрывке? Конечно не значит! И В. Н. Фигнер никогда не скажет этого о Михайловском.

А ведь, кстати, именно Михайловский, говоря о деятелях тогдашнего времени, назвал «людьми-маяками» Щедрина и Шелгунова и отнюдь не причислил сюда Елисеева, которого он лично очень уважал, с которым дружил и т. д. «Такими людьми-маяками были Салтыков и Шелгунов», пишет Михайловский[45], тут же вместе с тем отмечающий разницу в «размерах» между Салтыковым и Шелгуновым («Салтыков был первоклассный писатель, Шелгунов — скромный журнальный труженик»).

А в своей большой статье, посвященной как-раз специально памяти Г. З. Елисеева, Михайловский говорит о Салтыкове как о «признанном великом человеке», ставя его рядом с Белинским[46].

Человек-маяк! Это сказано очень хорошо о Салтыкове-Щедрине. Но мог ли сказать что-либо подобное Михайловский о Елисееве? Конечно нет!

Щедрин далеко не то же самое, что Елисеев (в смысле политического направления и политического настроения). Никогда и нигде Щедрин не отождествлял своей позиции с позицией Елисеева. Никогда между Щедриным и Елисеевым не было такой близости, чтобы можно было предположить: раз так высказался Елисеев, то так думал и Щедрин. Напротив, известно, что Щедрин однажды прямо охарактеризовал Елисеева, как «старика хитрого, недоброжелательного»[47]. Щедрин в письмах иногда выражался нарочито резко — это правда. Но все-таки этот отзыв никак не свидетельствует о полной солидарности с Елисеевым.

Г. З. Елисеев принадлежал к *умереннейшим* из народников и был заведомо чужд революционным стремлениям их левого крыла. Никогда Елисеев не мог бы написать о либералах того, что писал о них Щедрин. Тот налет политической обывательщины, который был характерен для Елисеева, никак не характерен для Салтыкова-Щедрина. Михайловский признает (см. его «Литературные воспоминания»), что ему лично Елисеев был много ближе, нежели Щедрин. Это так и было. А между тем в своем отзыве о Щедрине В. Н. Фигнер распределяет свет и тени между Щедриным — Михайловским — Елисеевым совсем по-иному...

Вот почему мы и обязаны дать отпор неверной оценке Щедрина у В. Н. Фигнер. «Что касается Щедрина — для него особого уголка в душе не было», пишет В. Н. Фигнер. А вот у большевиков был и есть «особый уголок» для Щедрина! У бывшего народовольца М. С. Ольминского был и есть «особый уголок»! У ряда бывших народовольцев, сумевших пойти дальше и притти к лагерю пролетарских революционеров, был и есть этот «особый уголок»!

Как относился Щедрин к революционному подполью?

Возьмите например статью Щедрина «Наша общественная жизнь» (впервые печатается в настоящем сборнике «Литературного Наследства»). В ней Щедрин прямо выступает в защиту революционной организации и воспевает самоотвержение революционных вождей: «У нас должна быть организация, должны быть чернорабочие, которых преданность доходит до того, что не дает нам даже случая впасть в противоречие с нашими дорогими убеждениями. Мы живем не в Аркадии и не в Икарии... Если, при известных условиях, жизнь представляется в форме войны, то никто не изъемлется от необходимости вести ее. Подвиг этих людей не только в высшей степени замечателен, но вообще такого свойства, что напоминание об нем, и при том беспрестанное, непрерывающееся напоминание, составляет предмет существенной и настоятельной необходимости... Слово сочувствия хочу я послать тем людям страстной мысли и непоколебимого убеждения, которые в истории ищут и обретают себе силу, укрепляющую их в борьбе с жизненной неурядицей», и т. д.

Когда в 1881 г. возникла знаменитая «Священная дружина», поставившая себе целью борьбу против революционеров, Щедрин в «третьем письме к тетеньке» страстно заклеймил этих господ, изобразив их под названием «общества взволнованных лоботрясов».

И в то же время Щедрин сносится с революционной эмиграцией и принимает другие меры для разоблачения этой контрреволюционной «дружины». Этого факта из биографии Щедрина тоже забывать нельзя. А «весил» он в тогдашних условиях, когда Щедрин поистине жил под стеклянным колпаком, очень немало.

Если В. Н. Фигнер кажется, что и Салтыков-Щедрин мог в 1880 г. сказать народовольцам: «Ну что вы делаете? Бьете головой в каменную стену... Только свои головы разобьете», то у нее естественно складывается задним числом впечатление: «что касается Щедрина — для него особого уголка в душе не было». Но в том-то и дело, что Щедрин этого не сказал и не мог сказать. М. Е. Салтыков-Щедрин относился к революционному подполью с великим уважением — не меньшим, нежели Н. К. Михайловский, о котором В. И. Ленин писал, что мы «чествуем его за его уважение к подполью» (XVII, 225).

Если бы В. Н. Фигнер сказала только то, что Щедрин сам лично не участвовал в современных ему конспиративных революционных организациях и кружках, она была бы права. На основании всего того, что известно до сих пор о биографии Щедрина, можно сделать тот вывод, что членом действующих революционных организаций он действительно не был. Чего нет, того нет. Но констатирование этого факта совершенно не исчерпывает вопроса о реальном фактическом влиянии Щедрина на «действующих революционеров» и даже на целый ряд революционных поколений. Да, Салтыков-Щедрин был только писателем. Но взаимоотношения между ним и его читателями отнюдь не укладывались в им же осмеянную формулу «писатель пописывает — читатель почитывает». Он оказал несомненное влияние на процесс роста революционных настроений в нашей стране. Его работы подтачивали фундамент царизма вернее, чем иная организация тогдашних «действующих революционеров»[48]. Недаром в начале 80-х годов в английской «Daily News» Щедрина стали систематически трактовать как лидера действующей в России партии, особенно хитро ведущей свое дело, так что Щедрину пришлось даже писать «опровержение» в названную газету. Основатель группы «Освобождение труда» молодой Плеханов очень радовался и гордился, когда одна из его первых легальных статей была напечатана в «Отечественных Записках» рядом со Щедриным. Наиболее серьезные из «действующих революционеров» того времени отлично понимали, каким сильным союзником революционного движения являлся Щедрин, несмотря на то, что он не входил в конспиративную организацию. Мы уверены, что в то время это отлично понимала и В. Н. Фигнер.

Нет, В. Н. Фигнер неправа и несправедлива в своем отзыве о роли Щедрина! Правы те из бывших народовольцев, которые на запрос редакции «Литературного Наследства» дали совсем другие ответы. Прав бывший народоволец М. С. Ольминский.

Да впрочем литературное наследство М. Е. Салтыкова-Щедрина лучше всего само за себя постоит. Надо только полностью сделать его еще более доступным современному поколению молодых борцов и строителей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленин. Сочинения, 2-е изд., т. II, стр. 305. Все цитаты из Ленина даны по 2-му изданию «Сочинений» и в дальнейшем при цитировании Ленина указывается сокращенно в тексте лишь том и страница.

[2] Писано для подцензурной печати. Отсюда в значительной мере и терминология. Отсюда и то, что Ленин (см. ниже об его письме к Потресову) не мог назвать прямо Чернышевского.

[3] «Ленинский сборник» IV, стр. 13—14.

[4] Утин, Е. И., Из литературы и жизни, т. I, стр. 175, СПБ., 1896.

[5] Там же.

[6] М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. Труды Пушкинского дома при Росс. Академии Наук, 1924, стр. 95.

[7] Глава V «Итогов» в обоих вариантах полностью впервые напечатана в сборнике «Неизвестные страницы» изд. «Academia», 1931, стр. 281—325.

[8] М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. Труды Пушкинского дома при Росс. Академии Наук. Л., 1924, стр. 110.

[9] Там же, стр. 112.

[10] Там же, стр. 99.

[11] Там же, стр. 158.

[12] Там же, стр. 92.

[13] Там же, стр. 154.

[14] В письме от 26 июня 1884 г. Энгельс писал обратившейся к нему представительнице одного русского студенческого издательства, некоей Паприц, что он придерживается очень высокого мнения о некоторых чисто теоретических исследованиях русских авторов — исследованиях, «достойных нации, которая произвела Добролюбова и Чернышевского». Это письмо будет напечатано полностью в одном из ближайших номеров «Литературного Наследства».

[15] «Летописи марксизма», II (XII), стр. 131.

[16] Там же, стр. 56—57.

[17] Там же, III (XIII), стр. 89.

[18] Николаевский, Б. Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса. «Архив Маркса и Энгельса», кн. IV.

[19] Гинзбург, Ф. Русская библиотека Маркса и Энгельса. «Группа освобождение труда», сборник 4.

[20] Маркс попытался например перевести на немецкий язык поговорку: «где раки зимуют». Он перевел ее словами: «Sprichwörtlich: wo Barth ld Most holt», т. е. по пословице: «где Бартхельд (или где «борода») виноградный сок добывает».

[21] Цитируем по «Избранным сочинениям Чернышевского», в которых восстановлены некоторые купюры, сделанные царской цензурой: том IV, стр. 413.

[22] Там же, стр. 414.

[23] Там же, стр. 417.

[24] Там же, стр. 462.

[25] «Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и Зеленым», стр. 21. «Моск. раб.», 1925.

[26] Там же, стр. 45.

[27] «Минувшие годы» 1908, № 5—6, стр. 531—532.

[28] Ср. Лемке. «Очерки освободительного движения 60-х годов», стр. 370—375.

[29] «60-е годы — в воспоминаниях М. Антоновича и Г. Елисеева», изд. «Academia» 1933, стр. 443.

[30] «Чернышевский в Сибири». Переписка с родными, вып. III, стр. 57.

[31] Там же, вып. II, стр. 200.

[32] Там же, вып. III, стр. 66.

[33] Стеклов Ю. М., Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность, т. II, стр. 566.

[34] Мартов, Ю., Записки социал-демократа. М., «Красная новь» 1924, стр. 322.

[35] См. сборник «Н. Е. Федосеев». ГИЗ, 1923, стр. 11—12, 107—108 и др.; ср. также статью И. С. Зильберштейна в «Каторге и ссылке» 1930, № 1.

[36] Сборник «Ленин в Самаре», изд. ИМЭЛ, 1934, стр. 12.

[37] Там же, стр. 52.

[38] Сборник «Н. Е. Федосеев». ГИЗ, 1923, стр. 66. В этом сборнике принял участие В. И. Ленин, написавший статью «Несколько слов о Н. Е. Федосееве».

[39] «Литературное Наследство» № 7—8, 1933, стр. 200—202.

[40] Интересно отметить следующее. Из напечатанного теперь протокола допроса Г. М. Кржижановского от 22 декабря 1895 г. в жандармском управлении известно, что у т. Кржижановского на обыске взята была тогда «тетрадь с записками Шелгунова, Лаврова, Щедрина, Туна, Локка, Чернышевского» («Красный архив» 1934, т. 62, стр. 99). Тов. Кржижановский был тогда членом «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», в котором он работал рука об руку с В. И. Лениным. Разве не интересно, что активный работник ленинского «Союза борьбы» в 1895 г. имел у себя тетради с конспектами из Щедрина? Ясно, что Федосеев и Кржижановский не были в этом отношении исключениями среди тогдашних русских марксистов.

[41] Ю. М. Стеклов, Н. Г. Чернышевский, Его жизнь и деятельность, т. II, стр. 138—139.

[42] Чернышевский. Сочинения, т. III, стр. 157—158.

[43] На литературный язык такого выдающегося стилиста, как Г. В. Плеханов, Щедрин тоже оказал большое влияние. Но интересно отметить следующее. Пока Плеханов оставался на почве марксизма, он зачастую с большим успехом пользовался щедринскими образами против царизма, помещиков, буржуазии. Сойдя с почвы марксизма, Плеханов пользуется уже Щедриным преимущественно только для каламбуров, зачастую грубо направляя их против революционного пролетариата и его партии и насилуя тексты Щедрина.

[44] Это видно хотя бы из письма Щедрина к Успенскому от 11 ноября 1880 г.: «Многоуважаемый Глеб Иванович! Посылаю вам корректуры вашей статьи, которую только

что сейчас прочитал. Убедительнейше прошу сделать те выпуски, которые я сделал. Статья ваша произвела на меня тяжелое впечатление, и я серьезно начинаю думать, что вы увлекаетесь идеалами Достоевского и Аксакова... Может быть, вы и сами удивитесь, что статья ваша так понята мною, но право, иначе и нельзя понять». (Цитировано у Чешихина-Ветринского «Г. И. Успенский», стр. 107.).

[45] Михайловский. Сочинеия, т. VII, стр. 90.

[46] Там же, т. VII, стр. 442.

[47] Цитировано из Евгеньева-Максимова «В тисках реакции», 1926, стр. 84.

[48] Любопытно, что в некрологе, который «Московские Ведомости» посвятили Щедрину (писан видимо ренегатом народовольчества Львом Тихомировым), сказано буквально: «В тяжелое смутное время конца 70-х и начала 80-х годов сатиры Щедрина были таким же развращающим и разрушающим оружием в руках наших террористов, как и подпольные листки, заграничные брошюры и динамитные бомбы... Террористы того времени делились на нелегальных и легальных деятелей. Щедрин был, несомненно, самым ярким и самым даровитым представителем последней категории... Не сочинениями ли Щедрина зачитывалась и зачитывается, к сожалению, значительная часть нашей молодежи? Не на Щедрине ли поэтому лежит тяжкая доля ответственности за тех несчастных юношей, которые были отданы на съедение революционным теориям?» В этом же духе — только более «сухим» языком — царское правительство «мотивировало» закрытие «Отечественных Записок».

ЩЕДРИН У ЛЕНИНА

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ ЩЕДРИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛЕНИНА

Статьи М. Нечкиной и Е. Макаровой
Указатель Е. Макаровой

ЛЕНИН О ЩЕДРИНЕ

Перед литературоведом, изучающим ленинское наследство, стоит интереснейшая тема: писательские художественные образы в текстах Ленина.

Художественные образы слетались в ленинский текст со всех концов мировой литературы. Мы встречаем у Ленина Шекспира и Пушкина, Сервантеса и Гейне, Гете и Салтыкова-Щедрина, Беранже и Гоголя. Конечно особо богато привлечены художественные образы литературы русской: тут Пушкин, Щедрин, Гоголь, тут Л. Толстой. Грибоедов, Горький, Тургенев, Гончаров, Рылеев, Чехов, наконец Державин. Книга о художественных образах мировой литературы в текстах Ленина должна иметь много глав и вести речь и о русской, и об английской, и о французской, немецкой, испанской литературах. Напомним еще об особой тематике некоторых глав этой будущей книги: фольклор, образы народного эпоса — песни, сказки, пословицы, поговорки — в текстах Ленина. С первого взгляда тема о художественных образах мировой литературы в текстах Ленина хотя и очень интересна, но отчетливо ограничена пределами возможных выводов: она проиллюстрирует и охарактеризует обширнейшее знакомство Ленина с мировой литературой и горячую его любовь к ней; она покажет, в какой степени привлекался в ленинский текст тот или другой писатель, чьи образы чаще возникали в живой речи и под пером у Ленина и чьи реже, какие именно образы цитируемого писателя были Лениным привлекаемы чаще всего, в каком контексте, при каких условиях. Круг этих выводов касается важных вопросов, ответы на которые получить необходимо.

Но тема «художественные образы мировой литературы в текстах Ленина» имеет еще другой аспект и связана с комплексом других, чрезвычайно важных вопросов литературоведения. Самая «соль» этого комплекса — это тот ясный и бесспорный факт, что литературные образы — все эти Собакевичи, Обломовы, Молчалины, Угрюм-Бурчеевы, Маниловы, Иудушки Головлевы — живут в текстах Ленина своей *особой* жизнью и своим особым «бытом», не похожими на жизнь и «быт» этих героев в московских гостиных крепостной России, в просторной помещичьей усадьбе крепостного провинциального захолустья или в душной канцелярии эпохи «великих реформ», где они впервые появились перед читателем волей авторов «Горя от ума», «Мертвых душ» или «Истории одного города». Перед нами как будто старые знакомые — помпадур, Обломов, Балалайкин. Но эти старые знакомые, несмотря на сохранение всех типических своих черт, получили в ленинском тексте какое-то важнейшее новое качество, подняты на новую высочайшую ступень. Вы говорите: «ну, конечно — это Иудушка» или «конечно же — это Собакевич», но чувствуете, что речь идет все же не о старом, а о каком-то новом Иудушке или Собакевиче. Гостиной нет, узкие стены прокопченной канцелярии раздвинуты и как бы призрачны, как и границы отдельной замкнутой помещичьей усадьбы 40-х или 60-х годов. За отдельным «старым знакомым» с вели-

чайшей остротой, с величайшим страстным гневом, ненавистью и творческой жаждой разрушения обрисовывается в ленинском тексте затхлая помещичья, эксплоататорская Расея, и «старый знакомый» стоит перед вами со столь обостренной своей социальной сутью, со столь ярко и отчетливо выраженным своим социальным существом, что это в первый момент даже несколько пугает. Иудушка — но еще страшнее, чем у Салтыкова; Манилов — но совсем другой, гораздо острей и враждебней, чем у Гоголя. И тогда замечаете вы, что нет около них и той особой «атмосферы» 30-х или 70-х годов прошлого столетия, в которой они художественно рождены. Да конечно: рождены-то они ею и это чувствуется, но волею ленинского текста перенесены они в другую эпоху. Над вашей головой веет ветер девятьсот пятого года, пылает зарево мировой империалистической бойни, носятся вихри Октября. И Манилов — это конечно же Манилов, но в то же время это уже кадет, гаденький русский либерал, за трусливым прекраснодушием прячущий лицо хитрого классового врага пролетариата. И Иудушка — это конечно Иудушка, но в то же время это уже ренегат рабочего класса Каутский, предающий в угоду буржуазии интересы рабочего класса.

Осознав это, вы вступаете в область величайшего научного интереса — перед вами особая проблема: жизнь художественных образов, сотворенных в определенный исторический момент сознанием художника, напитанных соками своей, породившей их эпохи, жизнь этих образов в позднейшее время, в позднейшие эпохи. Проблема эта может быть разрешена на огромнейшем фактическом материале. Вспомним хотя бы о «воскрешении» образов греческой литературы в эпоху Возрождения или о жизни художественных образов Брута и Цезаря в эпоху Французской революции 1879 г. Изучение же текстов Ленина дает для этой темы материал совершенно особой ценности и значения: на примере Ленина мы видим, как по-настоящему должна быть разрешена проблема об освоении пролетариатом литературно-художественного наследства прошлого и что вообще это значит — освоение литературного наследства.

Салтыков-Щедрин — один из любимейших авторов Ленина. Его образы, его выражения, иногда даже не только образы и выражения, а и самая структура фразы, манера высказываний часто встречаются на страницах Ленина. Чтобы изучить это богатство, его прежде всего необходимо собрать. Собрать же его — далеко не такое легкое дело. Тут не могут помочь никакие указатели имен к собранию сочинений Ленина. Эти указатели отражают лишь непосредственные упоминания самой фамилии Салтыкова-Щедрина, что ни в малейшей степени не решает интересующего нас вопроса. Все многочисленные помпадуры, премудрые пискари, дикие помещики, бойцы, которые не столько сражались, сколько были сражаемы, а также все Иудушки Головлевы, Балалайкины и Угрюм-Бурчеевы должны быть уловлены и зарегистрированы собирателем щедринских высказываний Ленина путем внимательного и кропотливого просмотра всего написанного Лениным и собранного как в последнем издании собрания сочинений, так и в Ленинских сборниках. Поэтому необходимо отметить значение работы Е. Макаровой — составительницы следующего далее указателя щедринских цитирований и высказываний Ленина. Указатель этот содержит свыше трехсот высказываний и цитат Ленина. Конечно возможны случайные пропуски, но указатель дает огромное богатство щедринских цитирований Ленина и является поэтому драгоценным и совершенно незаменимым пособием для литературоведа, занимающегося Щедриным или изучающего общую проблему о судьбе писательских образов в текстах Ленина. Он в огромной степени экономит труд исследователя и просто делает широко доступной для изучения такую тему, которая иначе потребовала бы кропотливой и трудной предварительной работы.

Работа по подбору ленинских текстов, где имеются цитирования образов художественной литературы, еще ранее интересовала исследователей. Так мы имеем работу «Ленин о литературе и искусстве», опубликованную в журнале «Литература и искусство» 1930 г., № 2. В этом «библиографическом указателе» зарегистрировано всего 17 упоминаний и цитат Щедрина у Ленина. Другая работа вышла только что — это «Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин об искусстве и литературе» в № 8 журнала

«Книга и пролетарская революция» за 1933 г. Здесь зарегистрировано 27 щедринских цитат и высказываний о Щедрине у Ленина. Если мы вспомним, что в работе т. Макаровой таких цитат и высказываний учтено свыше 300, то ясно будет значение работы т. Макаровой.

Указатель т. Макаровой расположен в строго хронологическом порядке ленинских высказываний. Отсюда может быть некоторая громоздкость его для восприятия того читателя, который просто захочет указатель прочесть: много раз повторяемый Лениным образ Иудушки или Колупаева и Разуваева или помпадура встретится в указателе столь же много раз, и каждый случай цитирования будет иметь в нем свое хронологическое место. Но возможность изучить ленинскую трактовку какого-либо одного типа во всем объеме его цитирований у Ленина облегчена наличием приложенного к основному тексту алфавитного указателя типов.

Несомненно, что публикуемый в настоящем номере «Литературного Наследства» указатель ляжет в основу изучения многими исследователями темы «Щедрин у Ленина». Это изучение — еще в будущем. Но уже сейчас возможно наметить некоторые предварительные выводы о той особой, своеобразной жизни щедринских образов в текстах Ленина, о которой мы говорили выше.

Возьмем хотя бы Иудушку Головлева.

Иудушка Головлев — литературный тип лицемера мирового значения. В галлерее типов мировых лицемеров он имеет своеобразное лицо с резко выраженными характерными чертами. Из всей этой галлереи он — самый отвратительный и самый страшный. Краски, которыми Мольер писал Тартюфа, кажутся почти светлыми по сравнению с теми, которые понадобились Щедрину для Иудушки Головлева. Реакция самого Мольера как автора на созданный им тип лицемера — иронический презрительный смех, который просто светел по сравнению с той тяжелой отчаянной ненавистью и непереносимым отвращением, которыми горит Щедрин, рисуя своего лицемера. Поле деятельности Тартюфа ограничено в основном рамками одной семьи. Поле деятельности Иудушки Головлева тоже ограничено, но рамки его значительно шире — это помещичья усадьба, деревня, город, необъятная широта расейского провинциального захолустья. Иудушка вырезан Щедриным из такой мрачной гущи российских крепостнических отношений, которая насытила его в совершенно исключительной степени социальным содержанием. Это — страшный хищник эпохи разворота «великих реформ», пореформенный эксплоататор, безжалостно и бесстыдно сосущий мужика, истязатель и мучитель безответного человека, питающегося лебедой; это отвратительное нутро эксплоататора-хищника прикрыто елейно-благочестивым говорком о любви к «ближнему — к «мужику», омерзительно-лживыми речами о благочестии, добродетелях и всяческом человеческом благородстве. Гораздо труднее победить в открытой борьбе Иудушку, чем Собакевича. Последний по крайней мере грубо откровенен и прост. К первому же надо пробиться через густую сеть отвратительнейшей и сложнейшей маскировки. И вот Иудушка возникает на страницах ленинского текста. Это — образец страшнейшего классового врага, искусно маскирующегося и потому особо опасного.

Девяностые годы. Подъем рабочего движения. Зарождение партии пролетариата. Борьба за соединение рабочего движения с социализмом, рост стойкой, политически осознанной борьбы рабочего класса. Перед пролетариатом в качестве очередной задачи стоит борьба с самодержавием, борьба с крепостническими пережитками и с крепостническими учреждениями, тяжким ярмом лежащими на нем и задерживающими успешную борьбу пролетариата за революционную ликвидацию всего капиталистического строя. 1894 год. Ленин пишет «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов». Ленин разъясняет причины, по которым пролетариат, чьей исторической миссией является разрушение капитализма, должен в российских условиях ближайшей своей целью поставить борьбу с самодержавно-крепостным строем. Маскирующаяся фиговым листком народолюбия отечественная бюрократия — опаснейший враг, с которым надо умело бороться. «Это постоянный флюгер, полагающий высшую свою задачу в сочетании интересов помещика и буржуа. Это — Иудушка, который

пользуется своими крепостническими симпатиями и связями для надувания рабочих и крестьян, проводя под видом «охраны экономически слабого» и «опеки» над ним в защиту от кулака и ростовщика такие мероприятия, которые низводят трудящихся в положение «подлой черни», отдавая их головой крепостнику-помещику и делая тем более беззащитными против буржуазии. Это — опаснейший лицемер, который умудрен опытом западноевропейских мастеров реакции и искусно прячет свои аракчеевские вожделения под фиговые листочки народолюбивых фраз».

Итак в ленинском тексте 90-х годов образ Иудушки послужил обобщенным образом всей российской бюрократии в целом. Социальное содержание образа крайне заострилось и расширилось. Лицемерный захолустный помещик эпохи «великих реформ» вдруг, растворившись в своих второстепенных конкретных чертах, принял образ огромного коллективного врага класса, борющегося за конечную победу социализма.

Только что пронесся первый шквал героического девятьсот пятого года. Подавлено декабрьское вооруженное восстание. Лицемерная и бессильная Дума встает на пути революционного народа. Основная задача партии революционного пролетариата, основной лозунг, который надо довести до сознания борющегося рабочего класса,— это лозунг «борьба продолжается». Пусть сокрушены героические московские баррикады— это временная неудача, борьба идет, борьба продолжается и разрешится она вне стен жалкой говорильни — Государственной думы, которой объявлен большевиками бойкот. Дума будет кадетской. Лицемерная партия «народной свободы» будет выполнять свою миссию — миссию удушения революции, сведения ее на-нет — и прикрывать эту миссию елейными фразами об «излишней» в настоящий момент борьбе. «К чему борьба, зачем междоусобицы? — говорит Иудушка-кадет, вознося очи горе и укоризненно поглядывая и на революционный народ, и на контрреволюционное правительство.— Братие! Возлюбим друг друга. Пусть будут и волки сыты, и овцы целы, и монархия с верхней палатой неприкосновенны и «народная свобода обеспечена». Так в апреле 1906 г. в работе Ленина «Победа кадетов и задачи рабочей партии» образ Иудушки Головлева становится образом трусливого либерала-предателя революции 1905 года. Еще острее классовое содержание образа, еще отчетливее классовая его суть предателя и врага трудящихся. Еще на одну ступень вознесен он Лениным, поставленный в обстановку революции пятого года.

Еще сильней тот же образ Иудушки-кадета, предателя революции, заострен Лениным в 1907 году. В статье «Торжествующая пошлость или кадетствующие эсеры» образ Иудушки Головлева — главный логический и художественный центр статьи. И тем интереснее это поднятие образа на высшую ступень социальной заостренности, что Ленин связывает его с проблемой нового Щедрина и «новых» щедринских глав к «Господам Головлевым». Этот образ в новой его трактовке, в обстановке побеждающей реакции после революции 1905 года, дорисовывает сам Ленин. Он дорисовывает его не только «публицистическими», но и непосредственно художественными средствами: Иудушка рассуждает и действует, и Ленин с непередаваемой страстностью говорит о своей ненависти к нему. «Жаль, что не дожил Щедрин до «великой российской революции». Он прибавил бы, вероятно, новую главу к «Господам Головлевым», он изобразил бы Иудушку, который успокаивает высеченного, избитого, голодного, закабаленного мужика: ты ждешь улучшения? Ты разочарован отсутствием перемены в порядках, основанных на голоде, на расстреливании народа, на розге и нагайке? Ты жалуешься на «отсутствие фактов»? Неблагодарный! Но ведь это отсутствие фактов и есть факт величайшей важности! Ведь это сознательный результат вмешательства твоей воли, что Лидвали попрежнему хозяйничают, что мужики спокойно ложатся под розги, не предаваясь зловредным мечтам о «поэзии борьбы».

«Черносотенцев трудно ненавидеть: чувство тут уже умерло, как умирает оно, говорят, на войне после длинного ряда сражений, после долгого опыта стрельбы в людей и пребывания среди рвущихся гранат и свистящих пуль. Война есть война,— и с черносотенцами идет открытая, повсеместная, привычная война».

«Но кадетский Иудушка Головлев способен внушить самое жгучее чувство ненависти и презрения. Ведь этого «либерального» помещика и буржуазного адвоката слушают, слушают даже крестьяне. Ведь он действительно засоряет глаза народу, действительно отупляет умы...

Это ты, Иудушка! День, когда секомые вместо дебатов будут молчать, теряя сознание, когда старая помещичья власть (подкрепленная «либеральными» реформами) будет так уже обеспечена помещиками, как обеспечен либеральным Иудушкам обед днем, а театр вечером, — этот день будет днем окончательного торжества «народной свободы». День, когда контрреволюция восторжествует окончательно, будет днем окончательного торжества конституции...»

Эпоха «Звезды» и «Правды». Борьба за партию. Борьба с ренегатством ликвидаторов, разоблачение примиренчества и отзовизма, борьба с соглашательскими попытками беспринципного «объединения» партии на почве блока с ликвидаторством. Образ Иудушки Головлева возникает у Ленина в 1911 г. в борьбе с Троцким.

«Иудушка Троцкий распинался на пленуме против ликвидаторства и отзовизма, клялся и божился, что он партиен. Получил субсидию на редактируемую им, якобы, нефракционную газету «Правда». Иудушка удалил из «Правды» представителя ЦК [Л. Каменева] и стал писать в «Vorwärts» ликвидаторские статьи. Вопреки прямому решению назначенной пленумом школьной комиссии, которая постановила, что ни один партийный лектор не должен ехать во фракционную школу впередовцев, Иудушка Троцкий туда поехал и обсуждал план конференции с впередовцами. План этот опубликован теперь группой «Вперед» в листке.

И сей Иудушка бьет себя в грудь и кричит о своей партийности, уверяя, что он отнюдь перед впередовцами и ликвидаторами не пресмыкался. Такова краска стыда у Иудушки Троцкого» (Ленин. «О краске стыда у Иудушки Троцкого» (1911 г.), Ленинский сборник XXI, стр. 303).

Прошел уже год, как победила Октябрьская революция. Впервые в мире пролетариат пришел к своей всемирно-исторической победе, к осуществлению исторической миссии рабочего класса — революционному разрушению старого капиталистического мира и начал созидать новое — социалистическое — общество. Октябрь—ноябрь 1918 года. Ленин пишет свою работу «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Бушует гражданская война. Молодая диктатура пролетариата окружена мечущимися в бешенстве врагами. Один из них — злобный и ядовитый, норовящий смертельно ранить молодую Страну советов,—международная ренегатская, предательская социал-демократия. Ее вождь Карл Каутский пишет позорный, лживый, брызжущий злобой памфлет «Диктатура пролетариата». Вновь входит в ленинский текст образ Иудушки Головлева, но входит, поднятый на еще более высокую ступень, с еще более обостренным социальным содержанием классового врага пролетариата, предателя его интересов на крупнейшем всемирно-историческом этапе первых шагов победившей пролетарской революции. Иудушка — это Каутский. Он возмущен например исключением правых эсеров и меньшевиков из состава советов. Это ведь не «предусмотрено» в советской конституции, следовательно это сделано не на основании закона.

«Да, это в самом деле ужасно, это нестерпимое отступление от чистой демократии, по правилам которой будет делать революцию наш революционный Иудушка Каутский. Нам, русским большевикам, надо было сначала обещать неприкосновенность Савинковым и К°, Либерданам с Потресовыми... а потом написать уголовное уложение, объявляющее «наказуемым» участие в чехо-словацкой контрреволюционной войне или союз на Украине или в Грузии с немецкими империалистами против рабочих своей страны, и только потом на основании этого уголовного уложения, мы были бы в праве, согласно «чистой демократии»», исключать из советов определенных лиц».

Мы бегло проследили жизнь образа Иудушки Головлева в текстах Ленина на этапах: 90-е годы, 1905—1907 гг., 1918 г. Мы видим, как обостряется социальная сущность художественного образа в цитировании Ленина, как поднимается им образ на новую эпохиальную ступень, как выявляет он в себе новые классовые черты.

Тот же процесс можно проследить, анализируя образы Балалайкина, Угрюм-Бурчеева, щедринского Молчалина и других героев в текстах Ленина.

И не только героев. Целый сонм острых щедринских выражений живет тою же жизнью в ленинских текстах, заостряя свою социальную суть, свой классовый смысл. Живет например «севрюжина с хреном». Ее первой «квартирой» были «Культурные люди» Щедрина. Уже там она играла роль разоблачения гаденького и трусливого российского либерала: «Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать, чего-то хотелось, — не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать». Но несмотря на величайшую сатирическую насыщенность этого образа, его социальная функция в эпоху Щедрина не была столь заостренной, как в ленинском тексте. В эпоху реакции, после подавления революции 1905 года, разоблачение помещика, добивавшегося «не столько конституции, сколько севрюжины с хреном», было разоблачением более опасного врага, чем раньше.

В щедринскую эпоху помещичья «конституция», приравненная к севрюжине с хреном, была своего рода политической деталью, рисовавшейся лишь воображению помещика. В эпоху озверелой реакции после революции 1905 года эта конституция была уже действительностью, оружием подавлявшего революцию «обожравшегося зверя». Изменилась эпоха, резко изменилась ситуация и расстановка классовых сил, и знакомый образ прозвучал иначе — звончей, острей, разительней — и выполнил роль оружия против врага, нападавшего с большей силой и представлявшего собою гораздо большую, чем раньше, опасность.

Такою же полноправной жизнью отдельного «героя» живет маленькая и скромная часть речи, один союз — знаменитое щедринское «но», означающее «выше лба уши не растут».

Оно встречается у Ленина именно в разоблачениях трусливой политики либералов, лицемерных «научных» рассуждений «друзей народа», всяческих соглашателей и ограниченных политиканов. «В «Капитале» есть страницы блестящего исторического содержания, — признает Михайловский, — но (это замечательное «но»! Это даже не но, а то знаменитое французское mais, которое в переводе на русский язык значит «уши выше лба не растут»)... Но... Михайловскому не нравится, что экономический анализ, анализ Маркса, относится только к одной эпохе капитализма. Г. Михайловский, — иронически заключает Ленин, — хочет обнять все периоды и притом так обнять, чтобы не говорить в частности ни об одном» («Что такое друзья народа»).

Мы видим, что знаменитое щедринское «но» привлечено в творческий разоблачающий народников текст в качестве литературного оружия. На долю маленького «но» выпала таким образом почетная роль — бороться в 90-е годы в ленинском тексте против фальшивых «друзей народа», разбить которых было необходимо для дальнейших побед пролетариата и его партии.

Итак волею Ленина гении мировой литературы привлечены к борьбе за дело пролетариата. Они агитируют, разоблачают, клеймят позором предателей, разъясняют классовую сущность пролетарских врагов.

М. Нечкина

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Помещенная ниже работа «Щедрин у Ленина» представляет собой систематический указатель всего использованного Лениным литературного наследия Щедрина. В целях собирания материала проработаны: «Сочинения» Ленина (полное собрание 30 томов 3-го издания), «Письма к родным» и все вышедшие Ленинские сборники. В указатель вошел весь щедринский материал, извлеченный из философских и научных работ, публицистических статей, писем, ораторских выступлений Ленина, из его различных черновиков, конспектов, планов, отчетов и т. д. и т. д. Нами регистрировались не только открытая цитация со ссылками на Щедрина или отзывы Ленина о Щедрине, но и все использованные им образы, выражения, словечки, принадлежащие Щедрину. Собранный у Ленина щедринский материал расположен в хронологическом порядке, по пунктам. Всего зарегестрировано 299 пунктов. Эта цифра не является однако точным математическим подсчетом образов и выражений Щедрина у Ленина; она, строго говоря, обозначает количество смысловых единиц текста Ленина, в которых встречаются Щедринские цитаты, независимо от того, что их иногда входит несколько в один пункт.. Так например, в п. 140 имеется два щедринских выражения: «Пошехонье» и «лужение умывальников», но, поскольку они находятся в одном контексте, они объединены в один пункт, или например в п. 111 одновременно встречается три щедринских выражения: «Угрюм-Бурчеев», «устрашение», «государственный младенец», также в п. 200: «Имярек», «Игрушечного дела людишки» и «Чего изолите»; «хозяйственный мужичек» в п. 163 встречается три раза, в п. 122 — четыре раза, в п. 14 «живоглоты» повторяется десять раз и т. д. и т. д. Так как эти выражения употребляются Лениным в одном и том же месте, в одной связи, механически делить их на отдельные пункты являлось нецелесообразным. Цель указателя — не механическая регистрация щедринизмов у Ленина, а выяснение смысловой роли употребленных Лениным в каждом отдельном случае художественных образов, характеристик, формул сатирика. Построен указатель следующим образом: каждый пункт начинается с указания произведения Ленина, откуда извлечена данная цитата (дается название статьи, научного сочинения, указывается том, страница). Если та же статья повторяется и дальше, делается ссылка: «там же, том, страница»). Следующие затем щедринские цитаты даются не изолированно от общего ленинского контекста, а в связи с общим содержанием либо целой статьи, либо отдельного отрывка, иногда вполне достаточного для выяснения значения щедринской цитаты в данном контексте. В каждом отдельном случае нами указывается, с кем полемизирует Ленин, по какому поводу. Дается это либо в форме особой аннотации к следующему затем ленинскому тексту со щедринской цитатой, либо ленинская цитата приводится таким образом, что из нее становится ясным, кто является противником Ленина, по какому поводу он полемизирует и наконец какое значение в данном случае имеет щедринская цитата или образ. Иногда оказывается вполне достаточно простого указания: полемика с таким-то, по такому-то случаю. Например п. 42 «Критика взглядов Струве на роль буржуазной интеллигенции», п. 77 «о тактике правительства по отношению к голодающим», или п. 113 «Продолжение полемики с «Новой Искрой» по поводу соглашения с земцами», см. также пп. 3, 7, 27, 85, 93, 99, 124, 139 и многие другие. Но в более сложных случаях даются развернутые аннотации, например в п. 45, где без выяснения характеристики, данной Лениным Сисмонди и его романтической теории, непонятен вывод Ленина о Сисмонди, выраженный щедринской формулой: «с одной стороны нельзя не сознаться, с другой надо признаться». См. также и пп. 40, 58, 108, 155 и др.

Только в некоторых случаях щедринские образы даются оторванными от ленинского контекста и именно тогда, когда они повторяются Лениным неоднократно в одинаковом смысле. Например «хозяйственный мужичек» (у Ленина иногда «мужик») повторяется 36 раз. Во избежание излишней громоздкости приводится несколько наиболее характерных цитат, достаточно ярко показывающих, в каком смысле пользуется Ленин данным художественным образом; пользуется ли он им свободно, т. е. вкладывая новое социальное содержание, или соблюдая щедринскую трактовку. То же с выражением «казенный пирог», «препоны». Значительно реже дается ленинский текст с щедринской

цитатой в изложении. Например п. 22 дается таким образом: рассуждения Кривенко о гражданских потребностях и обязанностях общества Ленин сравнивает с речами знаменитых российских помпадуров — «каких-нибудь Барановых или Косичей», или п. 81: бывшего архангелогородского губернатора А. П. Энгельгардта Ленин называет «г. помпадур». См. также п. 4. и др. К составленным таким образом щедринским цитатам у Ленина дается особый щедринский комментарий, обозначенный тем же пунктом. Щедринский комментарий дает не только сведения справочного характера (название произведения, главы), но и краткие идеологические характеристики, помогающие уяснить социальный или политический смысл данного образа или выражения у Щедрина. В большинстве случаев при составлении таких характеристик для придания им большей конкретности используется текст Щедрина, даются так называемые цитатные характеристики. См. например п. 60 о «Балалайкине», п. 108 о «Нарциссе», п. 143 об «Игрушечного дела людишках», п. 172 об «Иване Непомнящем», п. 206 о газете «Помои» и т. д. Совсем редки обычные ссылки на щедринское произведение. Это делается только тогда, когда самим Лениным уже дано разъяснение значения данного образа у Щедрина, например о щедринском либерале п. 26, или когда Ленин пользуется общеизвестным щедринским выражением «помпадур» — см. пп. 22, 23, 24 и др. Зато при повторении одного и того же щедринского образа делается ссылка на предыдущий пункт. Так при повторении «Балалайкина» везде делается ссылка на п. 60, где впервые встречается этот образ, при повторении «хозяйственный мужичек» — на п. 7. «Нарцисса» — п. 108, «Иудушки» — п. 32 и т. д. Щедринский комментарий в значительной степени помогает раскрыть характер использований Лениным щедринского наследия, его отступлений от Щедрина, переосмыслений, насыщения новым социально-политическим содержанием образов Щедрина в связи с перенесением в другую эпоху и т. д.

При отборе щедринского материала у Ленина нами однако не отмечались случаи использования Лениным щедринского строения фразы, щедринского стиля и т. д. Но зато нами регистрировались те образы и выражения, которые хотя и не принадлежат непосредственно Щедрину, но настолько им социально и политически переосмыслены, что в его трактовке получили новое значение. Таков например в основе своей мифологический образ Нарцисса, которым Щедрин клеймил современных земских деятелей. Таков образ грибоедовского Молчалина, которым Щедрин воспользовался для критики современного ему либерализма, превратив этого «скромного» грибоедовского героя в распространителя умеренно-либеральных идей с теорией «погодить» («Современная идиллия», «В среде умеренности и аккуратности»); таково же политическое переосмысление выражения «умеренный и аккуратный». Поскольку Ленин пользовался этими образами или выражениями в большинстве случаев в щедринском смысле, поскольку они нашли отражение и в указателе. См. пп. 25, 71, 73, 94, 108, 127 и мн. др.

Хронологическое расположение материала дает возможность установить моменты особого подъема внимания Ленина к Щедрину и наоборот — снижения. Например чрезвычайно интересно, что на период обостренной полемики с народниками — на 1894 г. (ст. «Что такое друзья народа» и «Экономическое содержание народничества») — падает самое большое количество цитат — 44 цитаты. Остальные периоды по степени снижения можно расположить таким образом: 1907 г.— 28 цитат, 1901 г.— 25; 1905 г.— 24; 1908 г.— 17; 1917 г.— 14; 1911 и 1913 гг.— по 12; 1912 г.— 11, 1902 г.—10, остальные — меньше десяти. Самые бедные щедринизмами 1899 и 1920 гг. (2 цитаты).

Все приводимые нами щедринские цитаты в тексте Ленина выделены для большей наглядности разрядкой; разрядка же и курсив самого Ленина оговариваются в примечании.

К указателю в форме приложения, помимо примечаний, помещенных в конце, дается еще предметный типовой указатель со ссылками на пункты настоящего указателя.

За оказанную мне помощь в работе приношу благодарность Е. Н. Дубову и М. В. Макарову.

Е. Макарова

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ ЩЕДРИНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛЕНИНА

1894 г.

1) Л. «Что такое «друзья народа»? т. I, стр. 68[1].

«Еще характернее и поучительнее (к иллюстрации того, что язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли — или придавать пустоте форму мысли) отзыв о «Капитале» Маркса. «В «Капитале» есть блестящие страницы исторического содержания, *но*[2] (это замечательное «*но*»! Это даже не «*но*», а то знаменитое французское mais, которое в переводе на русский язык значит «*уши выше лба не растут*)[3] они уже по самой задаче книги приурочены к одному определенному историческому периоду и не то, что утверждают основные положения экономического материализма, а просто касаются экономической стороны известной группы исторических явлений». Другими словами: «Капитал» — только и посвященный изучению именно капиталистического общества—дает материалистический анализ этого общества и его надстроек, «*но*»[4] г. Михайловский предпочитает обойти этот анализ: дело тут идет, видите ли, об «одном» только периоде, а он, г. Михайловский, хочет обнять все периоды и притом так обнять, чтобы не говорить в частности ни об одном».

По поводу отзыва Михайловского о «Капитале» в «Русском Богатстве» 1894 г., № 1 — 2 «Литература и Жизнь».

1) Щ.

Французским «mais» Щедрин обычно характеризовал органиченность всякого политического либерализма. См. напр. «За рубежом» 1880 — 1884 гг. гл. IV о французских либеральных партиях (членах левой и левого центра), которые, наговорившись до-сыта о желательности амнистии, как бы по команде подносили к носу указательные персты, произнося «mais». «Признаюсь загадочность этого mais чрезвычайно неприятно поразила меня. Я было думал, что если уж выработалось: «понеже амнистия есть мера полезная» и т. д. — то наверное дальше будет: и того ради, объявив оную, предоставить министру внутренних дел, без потери времени» и т. д. И вдруг вместо того... mais· Повторяю, сгоряча я чуть было не рассердился, но потом вспомнил: ба! да! ведь французское mais это то самое, что по-русски значит: «выше лба уши не растут».

2) Л. «Что такое «друзья народа»? т. I, стр. 78.

Обвиняя Михайловского в искажении учения Маркса, в неправильном понимании исторической необходимости и значения личности в истории, в затушевании основных идей социал-демократии — классовой борьбы пролетариата против буржуазии — путем бессодержательного фразерства, путем желания отделаться тем, что «необходимость слишком общая скобка» и т. д., Ленин делает сопоставление:

«Да, ведь всякая идея будет слишком общей скобкой, г. Михайловский, если наподобие вяленой воблы сначала выкините из нее все содержимое, а потом станете возиться с оставшейся шелухой! Эта область шелухи, покрывающей действительно серьезные жгучие вопросы современности, — любимая область г. Михайловского».

2) Щ. «Сказки».

«Мала рыбка, а лучше большого таракана» («Вяленая вобла»).

В сказке Щедрин подвергает жестокой критике умеренный буржуазный либерализм и теорию «малых дел» правого народничества эпохи реакции 80-х годов. «Хорошо теперь мне, — говорит вяленая вобла: — ни лишних мыслей, ни лишних чувст, ни лишней совести — ничего у меня не будет. Все лишнее выветрили, вычистили и вывялили и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести».

3) Там же, т. I, стр. 99.

Продолжение полемики с Михайловским. «Он, г. Михайловский, знает гораздо более простые и верные пути к осуществлению социализма, чем этот (т. е. путь. указанный Марксом. — *Е. М.*): нужно только, чтобы «друзья народа» поподробнее указали ясные и непреложные пути «желанной экономической эволюции» — тогда этих друзей народа наверное «призовут» «для решения практических экономических проблем».

4) Там же, т. I, стр. 145.

О рассуждениях Кривенко, который «вообразил, что его уже «призвали».

5) Там же, т. I, стр. 160.

«Все зависит, значит, от того, кого «призовут» — друзей ли народа или представителей интересов помещиков и капиталистов».

6) Там же, т. I, стр. 169.

«Правительство... «призывает».

3—6) «Призовут» — ироническое выражение Щедрина. См. «Мелочи жизни», «Праздношатающийся». «Что же, я готов. Призовут ли, не призовут — на все воля Божья!» См. также сказку «Недреманное око» и др. Применяя это выражение к народникам, Ленин этим самым подчеркивал реакционность их деятельности, нередко выгодной царскому правительству.

7) Там же, т. I, стр. 103.

Об искажении Михайловским и вообще народниками идей социал-демократии:

«Понятно, что теория, основанная на этом (т. е. на утопиях.—*Е. М.*), не могла не остаться в стороне от действительности общественной эволюции по той причине, что жить-то и действовать приходилось нашим утопистам не в тех общественных отношениях, которые составлены из взятых оттуда-то да оттуда элементов, а в тех, которые определяют отношения крестьянина к кулаку (х о з я й с т в е н н о м у м у ж и к у), кустаря к скупщику, рабочего к фабриканту и которые были совершенно непоняты ими».

8) Там же, стр. 110 — «хозяйственый мужик» [5].

9) Там же, стр. 155 — «хозяйственный мужичек».

10) Там же, стр. 157 — «хозяйственный мужичек».

11) Там же, стр. 158 — (в примечании) — «хозяйственный мужик».

12) Там же, стр. 169 — «хозяйственный мужик».

13) Там же, стр. 190 — «хозяйственный мужик».

7—13) Щ. «Мелочи жизни».

«Хозяйственный мужичек».

В лице «хозяйственного мужичка» Щедрин, как известно, изобразил тип «честного», «разумного» крестьянина, поставившего целью своей жизни создание личного благосостояния. Щедрин сомневался в революционности мелкого буржуа, индивидуалиста-собственника. Замечательно в этом отношении его заключение: «Да, это был действительно честный и разумный мужик. Он достиг своей цели: довел дом до полной чаши. Но спрашивается: с какой стороны подойти к этому разумному мужику? Каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?»

14) Там же, т. I, стр. 136—138.

«Понятно, что г. Кривенко из использованного — или, вернее, изуродованного—таким образом материала не мог сделать правильных выводов. Описавши со слов одного новгородского крестьянина, его соседа по жел.-дорожному вагону, денежный характер крестьянского хозяйства тех мест, он вынужден сделать тот справедливый вывод, что именно эта обстановка, обстановка товарного хозяйства, «вырабатывает» «особые способности», порождает одну заботу: «дешевле снять (сенокос)», «дороже продать» (стр. 156). Эта обстановка служит «школой», «пробуждающей

(верно!) и изощряющей коммерческие дарования». «Открываются таланты, из которых выходят Колупаевы, Деруновы и прочих наименований живоглоты, а простодушные и простоватые отстают, опускаются, разоряются и переходят в батраки...»

К слову «живоглоты» Ленин делает примечание: «Г. Южаков! Как же это так: ваш товарищ говорит, что в «живоглоты» выходят «таланты», а вы уверяли, что таковыми делаются люди лишь потому, что обладают «некритическим умом»? Это уже, господа, нехорошо: в одном журнале побивать друг дружку!» Далее на той же (137) странице Ленин продолжает: «Казалось бы, дело довольно ясное: отчетливо обрисовывается система товарного хозяйства, как основной фон экономики страны вообще и «общинного» «крестьянства» в частности, обрисовывается и тот факт[6], что это товарное хозяйство и именно оно[6] раскалывает «народ» и «крестьянство» на пролетариат (разоряются, переходят в батраки) и буржуазию (живоглоты), т. е. превращается в капиталистическое хозяйство. Но «друзья народа» никогда не решаются прямо смотреть на действительность и называть вещи своими именами (это слишком «сурово»). И г. Кривенко рассуждает: «Некоторые находят такой порядок вполне естественным (надо было добавить: вполне естественным следствием капиталистического характера производственных отношений. Тогда была бы это точная передача мнений «некоторых» и тогда нельзя бы уже было отделываться от этих мнений пустыми фразами, а пришлось бы по существу разобрать дело. Когда автор не задавался специальной целью борьбы с «некоторыми», он и сам должен был признать, что денежное хозяйство есть именно та «школа», из которой выходят «талантливые» живоглоты и «простодушные» батраки) и усматривают в нем непреоборимую миссию капитализма. (Ну, конечно! Находить, что борьбу нужно вести именно против «школы» и хозяйствующих в ней «живоглотов» с их административными и интеллигентными лакеями—это значит считать капитализм непреоборимым. Зато вот оставлять в полной неприкосновенности капиталистическую «школу» с живоглотами и хотеть устранить либеральными полумерами ее капиталистические продукты — это значит быть истинным «другом народа»!). Мы смотрим на это несколько иначе. Капитализм несомненно играет тут значительную роль, на что мы выше и указывали (это именно вышеприведенное указание на школу живоглотов и батраков), однако нельзя сказать, чтобы роль его была такой уж всеобъемлющей и решающей, чтобы в происходящих переменах в народном хозяйстве не было других факторов, а в будущем никакого другого выхода» (стр. 160).

Вот извольте видеть! Вместо точной и прямой характеристики современного строя, вместо определенного ответа на вопрос, почему «крестьянство» раскалывается на живоглотов и батраков,— г. Кривенко отделывается ничего не говорящими фразами... Чтобы защитить свое мнение, вы должны были бы указать, какие другие причины «решают» дело, какой другой «выход» может быть, кроме того, который указывают социал-демократы—классовой борьбы пролетариата портив живоглотов». Внизу на стр. 138 Ленин делает примечание: «Я уже не говорю о нелепости того представления, будто владеющие одинаковым наделом крестьяне равны между собой, а не делятся также на «живоглотов» и «батраков».

15) Там же, стр. 139 — «живоглоты»[7].

16) Там же, стр. 144 — «живоглотов».

17) Там же, стр. 141 — «мелких благонамеренных живоглотов»[7].

18) Там же, стр. 173 — «живоглотов».

14) «Дерунов, Колупаев и Разуваев» (см. ниже, пп. 174, 285, 286).

Яркие типические представители крупной деревенской буржуазии «кулаки-мироеды», «столпы» (как называл их Щедрин) тогдашнего буржуазного строя.

О Дерунове см. Щедрин, «Благонамеренные речи» («Столп», «Превращение») и др. См. п. 20.

О кабатчике Колупаеве и купце Разуваеве см. «Убежище Монрепо», «Письма к тетеньке» (письмо 5-е), а также «За рубежом», гл. I, где Щедрин, разбивая народническую идеализацию общины, пишет: «Вместо того, чтобы уверять всуе, что вопрос о распределении уже решен нами на практике, мне кажется приличнее было бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровопийственного процесса, которому они предаются без всякой опаски, при свете дня... Около каждого «обеспеченного наделом» выскочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопивства и ежели не зовет еще «обеспеченных» кнехтами, то уже довольно откровенно отзывается об мужике, что «в ём только тогда и прок будет. коли ежели его с утра до ночи на работе морить».

15—18) О «живоглотах» см. у Щедрина «Губернские очерки»: «Неприятное посещение». «...Исправник Маремьянкин... живоглотом прозван по той причине, что, будучи еще в детстве и обуреваемый голодом, которого требованиям не всегда мог удовлетворить его родитель, находившийся при земском суде сторожем, нередко блуждал по берегу реки и вылавливал в ней мелкую рыбешку, которую и проглатывал живьем, твердо надеясь на помощь божию и на чрезвычайную крепость своего желудка, в котором по собственному его сознанию камни жерновые всякий злак в один момент перемалывают»... См. также «Первый шаг», где Щедрин дополняет характеристику Живоглота: «...Исправник Иван Демьяныч, Живоглотом прозывается, так этот пожалуй фальшивую бумажку подкинуть готов, только бы дело ему затеять, да ограбить кого-ни-на-есть».

19) Там же, стр. 141.

«Вот если вы станете сравнивать эту действительную[8] деревню с нашим капитализмом,—вы поймете тогда, почему социал-демократы считают прогрессивною работу нашего капитализма, когда он стягивает эти мелкие раздробленные рынки в один всероссийский рынок, когда он создает на место бездны мелких благонамеренных живоглотов кучку крупных «столпов отечества», когда он обобществляет труд и повышает его производительность, когда он разрывает это подчинение трудящегося местным кровопийцам и создает подчинение крупному капиталу»[8].

19) О «живоглотах» см. пп. 14—18.

20) Там же, стр. 151.

Продолжение полемики с народниками (Кривенко): «...Ведь для уничтожения предпринимательской выгоды придется экспроприировать предпринимателей, «выгоды» которых проистекают именно из того, что они монополизировали средства производства. Для этой экспроприации столпов нашего отечества[9] нужно ведь народное революционное движение против буржуазного режима, движение, на которое способен только рабочий пролетариат, ничем не связанный с этим режимом».

19—20) «Столпы отечества» см. Щедрин: «Благонамеренные речи» («Столп», «Теперь Дерунов—опора и столп», «Кандидат в столпы»), а также «Убежище Монрепо»: «Предостережения» кабатчикам, менялам, подрядчикам, железнодорожникам и прочих мироедских лед мастерам», «...Публицисты отлично угадали, что цепче вас в настоящее время людей не найти, и в восторге от этой находки воскликнули: «долой бесстолбие! вот они, новоявленные наши столпы!»

21) Там же, т. I, стр. 144 (примечание).

О «друзьях народа» — народниках, проводивших идеи о поддержке, при помощи кредита, «народного хозяйства», т. е. хозяйства мелких производи-

телей, при наличности капиталистических отношений,—«эта бессмысленная идея,— пишет Ленин,— показывающая непонимание азбучных истин теоретической политической экономии, с полной наглядностью показывает пошлость теории этих господ, пытающихся сидеть между двумя стульями».

21) См. Щедрин «Итоги», гл. I: «Вся жизнь прогрессиста есть непрерывное и опасное сидение между двумя стульями, и если он не испытывает невыгодных последствий этой опасности, то потому только, что в случае надобности он посидит как-нибудь и на-весу».

22) Там же, т. I, стр. 150.

«У «друзей народа», однако, и следа не заметно пожеланий какого бы то ни было коренного изменения современных порядков. Они вполне удовлетворяются либеральными мероприятиями на данной почве, и г. Кривенко проявляет на поприще изобретения таких мероприятий настоящие административные способности отечественного помпадура».

23) Там же, т. I, стр. 163.

Рассуждения Кривенко о гражданских потребностях и обязанностях общества Ленин сравнивает с речами знаменитых российских помпадуров — каких-нибудь Барановых или Косичей.

24) Там же, стр. 185 — «помпадур».

24) Щ. «Помпадуры и помпадурши», «История одного города». Встречаются неоднократно и в других произведениях Щедрина.

25) Там же, т. I, стр. 159.

Полемизируя с народниками против их «возвышенных», гуманно-доброжелательных фраз, против либерального «штопанья» современных порядков и т. д. и отвечая на обвинение народниками социал-демократов в отречении от идеалов отцов, Ленин пишет: «...Мы не можем не сказать, что это по меньшей мере забавно — возражать против социал-демократов предложением и указанием такой умеренной и аккуратной[10] либеральной[11] (сиречь служащей буржуазии) деятельности. А по поводу отцов и их идеалов надо заметить, что как ни ошибочны, ни утопичны были старые теории русских народников, но уже во всяком случае они относились безусловно[12] отрицательно к подобным «кротким начаткам либерализма».

25) В данном случае, так же как и в большинстве других случаев, Ленин эпитеты «умеренный и аккуратный» употреблял в щедринском значении, а не в грибоедовском, т. е. в смысле политическом, для определения ограниченной тактики политического либерализма. См. «В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия».

26) Там же, т. I, стр. 162.

Полемизируя с «друзьями народа»—народниками, Ленин говорит о них, что «они просто думают, что если попросить хорошенько да поласковее у этого правительства (т. е. у русского сомодержавия. — *Е. М.*), то оно может все хорошо устроить». Далее Ленин цитирует Южакова из «Русского Богатства», который считает отмену соляного налога, подушных податей, понижение выкупных платежей «серьезным облегчением народного хозяйства», и затем далее по поводу фразы Южакова: «80-ые годы облегчили народное бремя (это вот указанными-то мерами! [13]) и тем спасли народ от окончательного разорения», Ленин говорит: «Тоже классическая по своему лакейскому бесстыдству фраза... Нельзя не вспомнить по этому поводу так метко описанную Щедриным историю эволюции российского либерала. Начинает этот либерал с того, что просит у начальства реформ «по возможности»; продолжает тем, что клянчит «ну хоть что-нибудь» и кончает вечной и незыблемой позицией «применительно к подлости». Ну как не сказать в самом деле про «друзей народа», что они заняли эту вечную и

незыблемую позицию, когда они под свежим впечатлением голодовки миллионов народа, к которой правительство отнеслось сначала с торгашеской прижимистостью, а потом с торгашескою же трусостью,— говорят печатно, что правительство спасло народ от окончательного разорения!!

Пройдет еще несколько лет с еще более быстрой экспроприацией крестьянства, правительство к учреждению министерства земледелия добавит отмену одного-двух прямых налогов и учреждение нескольких новых косвенных; затем голодовка охватит 40 миллионов народа, — и эти господа будут точно так же писать: вот видите, голодает 40, а не 50 миллионов; это потому, что правительство облегчило народное бремя и спасло народ от окончательного разорения, это потому, что оно послушалось «друзей народа» и учредило министерство земледелия!»

26) Щ. Сказка «Либерал».

27) Там же, стр. 163.

Об отношении «друзей народа»—народников к интеллигенции—«г. Кривенко пишет: «Литература»... должна «оценивать явления по их общественному смыслу и ободрять каждую активную попытку к добру. Она твердила и продолжает твердить о недостатке учителей, докторов, техников, о том, что народ болеет, беднеет (техников мало!), не знает грамоты и т. д., и когда являются люди, которым надоело сидеть за зелеными столами, участвовать в любительских спектаклях и есть предводительские пироги с вязигой, люди, которые выходят на работу с редким самоотвержением (подумайте-ка: отвергли, ведь, зеленые столы, спектакли и пироги!) и, несмотря на множество препятствий, она должна приветствовать их».

27) «Пирог с вязигой».

См. разнообразные сорта щедринских пирогов: с сигом, с начинкой, с капустой, воскресный, именинный и т. д. и т. д. См. «История одного города», «Недоконченные беседы», «Мелочи жизни», «Господа ташкентцы» и мн. др. Увлечение «пирогами» характерно для щедринского «культурного» общества. См. многочисленные описания обедов, воскресных и именинных пирогов у губернаторов, предводителей дворянства и т. д. и т. д.

28) Там же, т. I, стр. 170.

Возмущаясь грязными выходками народников (Михайловского, Кривенко), желавших уничтожения ненавистного социал-демократизма, Ленин иронически характеризует импонирующую настроениям народников тактику императорского правительства, которое будет принимать меры (хотя и с дефектами), с одной сторны, для спасения народа от окончательного разорения, а с другой стороны — для спасения их (т. е. народников.— *Е. М.*) от уличения в пошлости и невежестве. «Культурное общество» попрежнему с охотой будет в промежутках между пирогом с вязигой и зеленым столом толковать о меньшом брате и сочинять гуманные проекты «улучшения» его положения».

28) «Пирог с вязигой» см. п. 27.

«Толкование о меньшой братии» буржуазно-либеральной интеллигенции как в данном, так во многих последующих случаях имеет у Ленина чисто щедринский смысл возмущенной иронии над «пресловутой» жалостью к эксплоатируемому мужику либерального эксплоататора, легкомысленно на досуге болтающего «о правах» для меньшой братии, измышляющего всевозможные реформы якобы для улучшения его положения, по существу же сводящиеся к закреплению собственного благополучия, собственного положения как эксплоататора. См. например в «Дневнике провинциала в Петербурге», ч. I, разговор Прокопа с автором Дневника» после сытного обеда в ресторане. «Беседуя таким образом, мы совершенно шутя выпили графинчик и, настроив себя на чувствительный тон, пустились в разговоры о меньшой братии.— Меньшая братия —

это, брат, первое дело! говорил я. — Меньшая братия — это, брат, шутка! вторил Прокоп. И — странное дело! ни мне, ни Прокопу не было совестно». См. также о «меньшом брате «Пошехонские рассказы» («Пошехонское дело»), «Пестрые письма» (письмо 8-е), «Убежище Монрепо», «Признаки времени», «Современная идиллия», г. XXIII и в других произведениях.

29) Там же, т. I, стр. 165.

«Собственно говоря, все предыдущее могло уже дать представление о том, какой «критики» можно ждать от этих господ из «Русского Богатства», когда они берутся «громить» социал-демократов. Нет и попытки прямо и добросовестно изложить их понимание русской действительности (в отношении цензурном это вполне возможно бы было, если бы напирать особенно на экономическую сторону, если бы держаться таких же общих отчасти эзоповских выражений, в которых и велась вся их полемика) и возражать против него по существу, возражать против правильности практических выводов из него!!»

29) «Эзоповским языком» Щедрин называл особую манеру иносказательного изложения, которую ему постоянно приходилось применять для обхода цензуры и для усыпления ее бдительности. См. например «Круглый год» (1-е августа) или «Сборник» («Похороны»), где Щедрин пишет: «Ужели есть на свете обида более кровная, нежели это нескончаемое эзопство, до того вошедшее в обиход, что нередко сам эзопствующий перестает сознавать себя Эзопом».

30) Там же, стр. 168 (примечание).

«...Либеральное пустоболтунство в «Судьбах капитализма» «нашего известного г-на В. В.».

30) «Пустоболтунстов» по аналогии со щедринскими выражениями: пустомыслие, пустословие, пустоутробие.

31) Там же, стр. 169.

«...гг. Кривенко и Михайловский наслушались разных салонных сплетен про марксистов, насмотрелись на разных либералов, прикрывающих марксизмом свое либеральное пустоутробие, и с свойственным им остроумием и тактом принялись с таким багажом за «критику» марксистов».

31) «Пустоутробие». См. напр. «Господа Головлевы» — «пустоутробие Иудушки» («Недозволенные семейные радости», «Выморочный» и мн. др.).

32) Там же, стр. 186 (примечание).

«Особенно внушительным реакционным учреждением, которое сравнительно мало обращало на себя внимание наших революционеров, является отечественная бюрократия, которая de facto и правит государством российским. Пополняемая, главным образом, из разночинцев, эта бюрократия является и по источнику своего происхождения, и по назначению и характеру деятельности глубоко буржуазной, но абсолютизм и громадные политические привилегии благородных помещиков придали ей особенно вредные качества. Это постоянный флюгер, полагающий высшую свою задачу в сочетании интересов помещика и буржуа. Это — Иудушка, который пользуется своими крепостническими симпатиями и связями для надувания рабочих и крестьян, проводя под видом «охраны экономически слабого» и «опеки» над ним в защиту от кулака и ростовщика такие мероприятия, которые низводят трудящихся в положение «подлой черни», отдавая их головой крепостнику-помещику и делая тем более беззащитными против буржуазии. Это опаснейший лицемер, который умудрен опытом западноевропейских мастеров реакции и искусно прячет свои аракчеевские вожделения под фиговые листочки народолюбивых фраз».

32) Иудушка — главное действующее лицо «Господ Головлевых» (Профирий Владимирович Головлев). В лице Иудушки, лицемерно прикрывающего грубо корыстные эксплоататорские инстинкты сладенькими, елейными речами о любви к ближнему, о сочувствии к «мужичку», Щедрин дал классический тип вырождающегося крепостника-дворянина, сумевшего использовать в своих интересах и капиталистическую эпоху. См. рассказ «Выморочный», сцена с Фокой.

33) Л. «Экономическое содержание народничества». «Подстрочный комментарий к народнической «profession de foi»», т. I, стр. 230—231.

По поводу статьи «Новые всходы на народной ниве», помещенной в «Отечественных Записках» 1879 г., т. I.

«Спрашивается, кто же теперь последовательнее: «народники» ли, продолжающие возиться и няньчиться с этим «обществом», угощающие его изображением ужасов «грядущего» капитализма, «грозящего зла», как выразился автор статьи, призывающие его представителей сойти с неправильного пути, на который «мы» уклонились и т. д.,— или марксисты, которые так «узки», что резко отграничивают себя от общества и считают необходимым обратиться исключительно к тем, кто не «удовлетворяется» и не может удовлетвориться[14] «*утробными процессами*»[15], для кого идеалы — нужны, для кого они являются вопросом повседневной жизни».

К выражению «грозящего зла» Ленин делает внизу примечание: «Грозящему чему? *Утробным процессам?* Капитализм не только не «грозит» им, а, напротив, обещает тончайшие и изысканнейшие яства».

34) Там же, т. I, 233 — «утробным процессам».

35) Там же, т. I, стр. 236 (в примечании. См. ниже) — «утробным процессам».

36) Там же, т. I, стр. 267 — «утробными процессами».

33—36) «Утробный» — одно из распространеннейших щедринских слов. См. «Утробные сновидения» («За рубежом», гл. IV), «Утробные урчания» («Убежище Монрепо», «Предостережение»), «пустоутробие» (см. *напр.* «Пустоутробие Иудушки Головлева») и т. д.

37) Там же, т. I, стр. 136 (примечание).

«Как в жизни мелкий производитель рядом незаметных переходов сливается с буржуазией,— так в литературе народнические невинные пожелания становятся «либеральным паспортом» для вместителей утробных процессов, пенкоснимателей и т. д.»

37) «Утробный процесс» см. пп. 33—36.

О «пенкоснимательстве» см. замечательную щедринскую характеристику в «Дневнике провинциала». гл. V, «Устав вольного союза пенкоснимателей» и др. «За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени учреждается ученолитературное общество под названием «Вольный союз пенкоснимателей»... Пенкоснимательство составляет в настоящее время единственный живой общественный элемент... Хорош пенкосниматель-простец, но ученый пенкосниматель — еще того лучше. Появление сих последних на арене нашей литературы есть признак утешительный... Пора наконец убедиться, что наше время — не время широких задач, и что тот, кто подобно автору почтенного расуждения: «Русский романс: «Чижик! Чижик! где ты был? — перед судом здравой критики», сумел подойти к разрешению своей скромной задачи — тот сделал гораздо более, нежели все совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой «широких задач самонадеянно волнуют мир, не удовлетворяя оного». Так характеризовал Щедрин умеренно-либеральное направление русской печати, в частности газ. «С.-П. Ведомости», которой Щедрин дал бессмертное название: «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница». См. «Помпадуры и помпадурши», «Недоконченные беседы» («Каплуны-пенкосниматели», «Либералы-пенкосниматели»), «Господа ташкентцы» и мн. др.

38) Там же, т. I, стр. 264.

Подвергнув критике взгляды автора статьи («Новые всходы на народной ниве») на капиталистическое развитие России, в частности его утверждение о гибельном влиянии буржуазного развития на народную нравственность, Ленин замечает: «вот в чем беда-то: в порче нравов, а вовсе не в капиталистических производственных отношениях!» Считая подобные рассуждения реакционными, Ленин дает классовую оценку этим взглядам: «Разврат городских рабочих пугает мелкого буржуа, который предпочитает «семейный очаг» (с снохачеством и палкой), «оседлость» (с забитостью и дикостью) и не понимает, что пробуждение человека в «коняге» — пробуждение, которое имеет такое гигантское, всемирно-историческое значение, что для него законны все жертвы, — не может не принять буйных форм при капиталистических условиях вообще, русских в особенности».

39) Там же, т. I, стр. 277—278.

Ленин приводит как пример реакционных воззрений народников цитируемое Струве рассуждение Южакова о «чистой идее» труда и ее носителе — крестьянстве, которая, по мнению Южакова, теперь извращена пролетариатом и вынесена «на сцену под видом «Права на труд». «Право[16] на труд, а не святая обязанность[16] труда, обязанность в поте лица добывать хлеб свой, так вот что скрывалось,— замечает Ленин,— за «чистой идеей труда»! Чисто крепостническая идея об «обязанности» крестьянина добывать хлеб для исполнения своих повинностей. Об этой «святой» обязанности говорится забитому и задавленному ею коняге!!» И далее, окончив цитирование Южакова, Ленин резюмирует: «Тут выступают уже в чистом виде реакционные черты мелкого производителя, его забитость, заставляющая его верить в то, что ему навеки суждена «святая обязанность» быть конягой...»

38—39) Сказка Щедрина «Коняга» 1885 г. В лице измученной полуживой лошади Щедрин в этой сказке дает бессмертный тип изнемогающего под игом непосильной работы, бесправия и безземелия русского бедняка-крестьянина эпохи царизма.

40) Там же, т. I, стр. 266.

Расценивая взгляды народников на назначение литературы, которая должна, по их мнению, не только ограничиваться воспитанием кулачества, но и «будить общественное мнение», как типично мелкобуржуазное, наивно-романтическое, Ленин пишет: «Ваше обращение к литературе... смехотворно... Таково же пожелание — «будить общественное мнение». Мнение того общества, которое «ищет идеалов с послеобеденным спокойствием»?[17] Привычное для гг. народников занятие, которому они предаются с таким блестящим успехом «10 лет, 20 лет, 30 лет и более». Постарайтесь еще, господа! Наслаждающееся послеобеденным сном общество иногда мычит[17] — наверное, это значит, что оно приготовилось дружно действовать против кулачества. Поговорите еще с ним...» И далее, в ответ на желание народников предоставить литературе большую свободу слова и доступ к народу, Ленин продолжает: «Хорошее желание. «Общество» сочувствует этому «идеалу». Но так как оно и его «ищет» с послеобеденным спокойствием[17] и так как оно пуще всего на свете боится нарушения этого спокойствия, то... то оно и спешит очень медленно, прогрессирует так мудро, что с каждым годом оказывается все дальше и дальше позади. Гг. народники думают, что это — случайность, что сейчас послеобеденный сон кончится[17] и начнется настоящий прогресс. Дожидайтесь!»

40) См. у Щедрина характеристику культурного общества, ищущего либеральных идеалов с послеобеденным спокойствием (в «Культурных людях», гл. I, в «Дневнике

провинциала в Петербурге», гл. V, «В среде умеренности и аккуратности», гл. I), характерный для Молчалиных «спокойный послеобеденный сон» и др.

«Мычит» — см. в «Сказках» дикий помещик, который «по временам мычит», или в «Круглом годе» (1-е декабря, «Вечерок»): «...Все как будто оживились и сейчас же решили, что по нынешнему времени гораздо удобнее мычать, нежели вместе с вещим Баяном «шизым орлом ширять под облакы».

41) Там же, т. I, стр. 292.

«Г. Михайловский беспомощно путался в смешении детерминизма с фатализмом и находил выход... усаживаясь между двумя стульями».

41) См. п. 21.

42) Там же, т. I, стр. 294.

Критика взглядов П. Струве на роль буржуазной интеллигенции.

«В России особенно велика историческая роль того класса, который, по мнению народников, не является носителем «чистой идеи труда»: его «активность» нельзя усыплять «севрюжной с хреном». Поэтому указания на него со стороны марксистов не только не «обрывают демократической нити», как уверяет г. В. В., специализирующийся на выдумывании самых невероятных нелепостей про марксистов, а, напротив, подхватывают эту «нить», которую выпускает из рук индиферентное «общество», требуют ее развития, укрепления, приближения к жизни».

42) В «Культурных людях» Щедрин беспощадно издевается над либеральными фантазиями пресыщенной, забавляющейся на досуге мечтами о конституции либеральной русской интеллигенции, у которой мечты о конституции с удивительной легкостью сменяются мечтами о «севрюжине с хреном». «Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать, чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать, ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове, ободрать, да и в сторону... А потом, зарекомендовав себя благонамеренным, можно и о конституции на досуге помечтать» («Культурные люди», гл. I). См. также «Дневник провинциала в Петербурге», гл. V, «Господа ташкентцы», параллель четвертая и др.

43) Л. «Экономическое содержание народничества», статья «Постановка экономических вопросов у народников и г. Струве», т. I, стр. 297.

«...г. Струве[18] очень метко противополагает этому «слащавому оптимизму» (народников, считавших, что средства производства искони принадлежали производителю.— *Е. М.)* резкий отзыв Салтыкова о связи «народного производства и крепостного права, о том, как «изобилие» эпохи «вековых устоев» выпадало только (это заметьте) на долю потомков лейбкампанцев и прочих дружинников».

43) Струве цитирует следующее место из «Пошехонских рассказов» Щедрина («Пошехонское дело». Вечер пятый): «Многие и до сих пор повествуют, что было время, когда пошехонская страна кипела млеком и медом... Что касается меня, то хотя я остаюсь при особом мнении насчет подлинности и размеров пошехонского изобилия, но должен все-таки признать, что лет тридцать тому назад жилось здесь как будто ходчее. Действительно что-то такое было вроде полной чаши, напоминавшей об изобилии. Но когда я спрашиваю себя, на чью собственно долю выпадало это изобилие? — то, по совести, вынужден сознаться, что оно выпадало только на долю потомков лейбкампанцев и прочих дружинников, и что подлинные пошехонцы участвовали в нем лишь воздыханием».

44) Л. «Экономическое содержание народничества», гл. IV, т. I, стр. 326.

«Едва ли однако это избитое народническое рассуждение о «малоземельи» имеет какое-нибудь научное значение, едва ли оно может годиться

на что-нибудь иное, кроме как на *«благонамеренные речи»* в комиссии по вопросу о безболезненном шествовании отечества по правильному пути».

44) См. сборник статей Щедрина под общим заглавием «Благонамеренные речи».

1897 г.

45) Л. «К характеристике экономического романтизма», ст. «Вопрос о пошлинах на хлеб в Англии в оценке романтизма и научной теории», т. II, стр. 109.

Ленин берет как практический пример отношение Сисмонди к отмене хлебных законов в Англии («Nouveaux Principes», глава «о законах относительно торговли хлебом»). Отношение это Ленин считает блестящим подтверждением романтической теории Сисмонди, построенной на отвлеченных туманных мечтаниях, добрых пожеланиях, богатой мастерски сочиненными сентенциями к обществу вообще, но полной беспомощной, растерянно-мягкотелой двойственности в разрешении практических вопросов. «Вспомните, как легко и просто «разрешал» романтизм все вопросы в «теории»!.. Каждое противоречие романтизм заткнул соответствующей сентиментальной фразой, на каждый вопрос ответил соответствующим невинным пожеланием и наклеивание этих ярлычков на все факты текущей жизни называл «решением» вопросов. Неудивительно, что эти решения были так умилительно просты и легки: они игнорировали лишь одно маленькое обстоятельство — те реальные интересы, в конфликте которых и состояло противоречие. И когда развитие этого противоречия поставило романтика лицом к лицу перед одним из таких особенно сильных конфликтов, каковым была борьба партий в Англии, предшествовавшая отмене хлебных законов,— наш романтик совсем потерялся. Он прекрасно чувствовал себя в тумане мечтаний и добрых пожеланий, он так мастерски сочинял сентенции, подходящие к «обществу» вообще (но не подходящие ни к какому исторически-определенному строю общества),— а когда попал из своего мира фантазий в водоворот действительной жизни и борьбы интересов,— у него не оказалось в руках даже критерия для разрешения конкретных вопросов. Привычка к отвлеченным построениям и абстрактным решениям свела вопрос к голой формуле: «какое население следует разорить, земледельческое или мануфактурное?» — И романтик не мог, конечно, не заключить, что никакого не следует разорять, что нужно «свернуть с пути»... но реальные противоречия обступили его уже так плотно, что не пускают его подняться опять в туман добрых пожеланий, и романтик вынужден дать ответ. Сисмонди дал даже целых два ответа: первый — «я не знаю», второй — «с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться».

45) «С одной стороны нельзя не сознаться, с другой стороны надо признаться» — этой формулой Щедрин обычно определял всякую общественно-политическую беспринципность, двойственность. См. например «Сборник» («Похороны»), где Щедрин дает следующую характеристику беспринципности либеральной литературы: «Тянуть бесконечную канитель неведомо о чем, распинаться неведомо по поводу чего, поучать неведомо чему, преследовать неведомо какие цели, жить в постоянном угаре, упразднить мысль и залеплять глаза пустословием, балансировать между «с одной стороны нужно сознаться» и «с другой стороны нельзя не признаться» — вот удел современного литературного солдата». См. также «Дневник провинциала в Петербурге», гл. IX, «Благонамеренные речи», «Опять в дороге», «Современная идиллия», гл. VIII и т. д.

46) Л. «Новый фабричный закон», т. II, стр. 159.

«...гг. Министры урезали еще рабочие праздники *ради того только*[19], чтобы поменьше «стеснить» фабрикантов, чтобы уменьшить случаи найма *других*[19] рабочих. Мало того, «инструкция» разрешает даже фабричным

инспекторам утверждать и такие правила внутреннего распорядка, в которых назначается *еще меньший отдых рабочим*[19]. Фабричный инспектор должен только донести об этом департаменту торговли и промышленности. Это самый *наглядный пример*, показывающий, почему наше правительство любит ничего не говорящие законы и подробные правила и инструкции; чтобы переделать неприятное правило, достаточно попросить об этом в департаменте... безгрешных доходов![20] Точно так же фабричный инспектор может (согласно инструкции!) разрешить отнесение к непрерывным и таких работ, которые не указаны в списке, приложенном к инструкции: достаточно донести департаменту...»

46) Выражение «безгрешные доходы» см. у Щедрина в «Губернских очерках» («Дорога»), в «Письмах к тетеньке» (письмо 2-е, «Департамент») — по аналогии с многочисленными остроумно названными щедринскими департаментами (см. например «Департамент грешных помышлений» в сказке «Приключение с Крамольниковым»).

47) Л. «Кустарная перепись в Пермской губернии», т. II, стр. 267.

«Не показывает ли нам действительность сплошь да рядом, как практические мероприятия народников, сочиненные по рецептам «чистых» якобы идей об «организации труда» и т. п., приводят на деле лишь к помощи и содействию «хозяйственному мужичку», мелкому фабрикантику или скупщику, вообще всем представителям мелкой буржуазии?»

48) Л. «Перлы народнического прожекторства», т. II, стр. 302.

«...Аграриям (крупным и мелким, до хозяйственных мужичков включительно) не выгоден процесс отвлечения населения к промышленности, и они усердно стараются задержать его, споспешествуемые теориями гг. народников».

49) Л. «От какого наследства мы отказываемся», т. II, стр. 317.

«Говоря экономическим языком, превращение хозяйственных мужичков в сельскую буржуазию Энгельгардт[21] описал и доказал бесповоротно».

50) Там же, стр. 319 — «Хозяйственный мужик».

51) Там же, стр. 326.

«И заметьте при том, что это разрушение сословной замкнутости крестьянской общины, по мере экономического развития, становится все более и более настоятельной необходимостью для сельского пролетариата, тогда как для крестьянской буржуазии неудобства, проистекающие отсюда, вовсе не так значительны. «Хозяйственный мужичек» легко может арендовать землю на стороне, открыть заведение в другой деревне, съездить куда угодно в любое время по торговым делам, но для «крестьянина», живущего главным образом продажей своей рабочей силы, прикрепление к наделу означает невозможность найти более выгодного нанимателя». Везде (п. 47—51) Лениным подчеркивается близость «хозяйственного мужичка» к кулаку.

47—51) «Хозяйственный мужичек» см. п. 7.

52) Там же, т. II, стр. 333.

Ленин возражает Михайловскому, обвинявшему «русских учеников», т. е. социал-демократов, в нападках на просветителей.

«Накидывались ли они (т. е. «русские ученики».— *Е. М.*) когда-нибудь на наследство, завещавшее нам европейские идеалы вообще? — Не только не накидывались, а, напротив, народников изобличали, что они вместо общеевропейских идеалов сочиняют по многим весьма важным вопросам всякие самобытные благоглупости».

52) См. «Благонамеренные благоглупости» («За рубежом», гл. II), но наиболее любопытен в этом отношении рассказ «Деревенская тишь» («Невинные рассказы»). Разговор Кондратия Трифоныча с батюшкиным братом, дающим целый лексикон подобных слов: благоугодно, благополезно, поблаготрапезуем, благоглупости и т. д.

1897—1898 гг.

53) Л. «Развитие капитализма в России», ст. «Разложение крестьянства», т. III, стр. 50.

Рассматривая экономическое расслоение южного крестьянства, Ленин деделает окончательные выводы: «Таким образом крестьянская буржуазия является также представительницей торгового и ростовщического капитализма. Мы видим здесь наглядное опровержение того народнического предрассудка, будто «кулак» и «ростовщик» не имеют ничего общего с «хозяйственным мужичком».

54) Там же, стр. 54 — «хозяйственный мужик».

55) Там же, стр. 102 — «хозяйственный мужик».

56) Там же, стр. 115 (в примечании) — «хозяйственный мужичек».

57) Там же, стр. 134.

«Обычное народническое воззрение, по которому «кулак» и «хозяйственный мужик» представляют из себя не две формы одного и того же экономического явления, а ничем между собой не связанные и противоположные типы явлений, — это воззрение решительно ни на чем не основано. Это — один из тех предрассудков народничества, которые никто даже и не пытается доказать анализом экономических данных».

58) Л. «Развитие капитализма в России», ст. «Рост торгового земледелия», т. III, гл. III, стр. 207.

Анализируя торговое земледелие и скотоводство северной и центральной России, Ленин приходит к выводу, что «Торговый капитал хозяев-скотоводов поставил в полную зависимость от себя мелких крестьян, он превратил их в своих скотников, выращивающих для него скот за грошевую плату, он превратил их жен в своих доильщиц коров». Свое суждение Ленин дополняет следующим примечанием: «Вот два отзыва о жизненном уровне и условиях жизни русского крестьянина вообще. М. Е. Салтыков в «Мелочах жизни» пишет о «хозяйственном мужичке»...

«Мужичку все нужно: но главнее всего нужна... способность изнуряться, не жалеть личного труда... Хозяйственный мужичек просто-напросто мрет на ней» (на работе). «И жена и взрослые дети, все мучаются хуже каторги»...

1899 г.

59) Л. Рецензия на книгу Р. Гвоздева «Кулачество-ростовщичество в его общественно-экономическом значении». СПБ., 1899 г., т. II, стр. 381.

«Народники игнорировали связь кулачества с разложением крестьянства, близость сельских ростовщиков «мироедов» и пр. к «хозяйственным мужичкам», этим представителям мелкой сельской буржуазии в России».

53—59) Щ. «Мелочи жизни». «Хозяйственный мужичек» см. пп. 7—13.

60) Л. «Попятное направление в русской социал-демократии», т. II, стр. 551.

«Что за беда, если узки иногда *слова*[22] социал-демократов? Зато широко *их дело*[22]. Зато они не уходят в бесполезные заговоры, не якшаются с Балалайкиными буржуазного либерализма[23], а идут в тот класс, который один только является истинно-революционным классом, и содействуют развитию его сил!»

60) В лице авантюриста адвоката Балалайкина, исключительного пустослова, увлекающегося самым процессом вранья (см. «В среде умеренности и аккуратности», гл. III: «Балалайкин, адвокат... ни то выжига, ни то пустослов... скорее пустослов, потому что отец его все на водевильных куплетах воспитывал. Ну, и цыганская кровь эта... хвастуны ведь они, цыгане эти!»), преданного задачам «преуспеяния» при помощи

всяческих средств, в том числе и спекуляции (см. «В среде умеренности и аккуратности» его проект о продаже солдатам армии «протухлых килек» и «подмоченной махорки» во время русско-турецкой войны), Щедрин сатирически изображает институт адвокатуры как одно из прошумевших в 70—80-х годах «нововведений» «эпохи реформ», поднятых на щит буржуазным либерализмом.

В «Современной идиллии», гл. IV, дается следующая характеристика Балалайкина: «Балалайкин (имя, отчество неизвестно), адвокат... Пишет прошения, приносит кассационные и апелляционные жалобы и вообще составляет всякого рода бумаги, а в том числе и не указанные в законах, как то: поздравительные стихи для разносчиков афиш и клубных швейцаров, куплеты для театра Егерова, азбуки и хрестоматии, а также любовные письма (со стихами и без стихов) для лиц, не кончивших курса в средних учебных заведениях. Кроме сего, отыскивает, по поручениям, женихов и невест, следит по газетам за объявлениями о пропавших собаках и принимает меры к отысканию потерянного, занимается устройством предварительных обстановок, необходимых для удовлетворительного разрешения бракоразводных дел, и на сей конец содержит на жаловании от 4-х до 5-ти лжесвидетелей. В прокламациях, пропагандах и вообще ни в чем предосудительном не замечен...»

1901 г.

61) Л. «Случайные заметки», «Бей, но не до смерти», т. IV, стр. 84 (примечание).

Ленин говорит о либеральных сторонниках суда присяжных, которые, полемизируя против реакционеров, нередко категорически отрицают политическое значение суда присяжных, усиливаясь доказать, что они вовсе не по политическим соображениям стоят за участие в суде общественных элементов. «Отчасти это зависит,—говорит Ленин,— от политического недомыслия, которым часто страдают именно юристы... но главным образом это объясняется необходимостью говорить *эзоповским языком*, невозможностью открытого заявления своих симпатий конституции».

61) См. п. 29.

62) Л. «Случайные заметки», «Зачем ускорять превратность времен», т. IV, стр. 91.

О внесенном в Орловском губернском дворянском собрании проекте о предоставлении орловским дворянам должностей сборщиков денег с казенных винных лавок. «Проект, как видите, отличается несомненной практичностью и доказывает, что наше высшее сословие в совершенстве обладает чутьем насчет того, где бы можно *урвать казенного пирога*».

Далее, рассматривая разгоревшиеся вокруг этого проекта прения в среде помещиков-дворян, Ленин приводит три точки зрения: 1-я) практицизма, признающая выгодность проекта, 2-я) романтиков, признающая позорным, недостойным дворянства заниматься питейным делом, и 3-я) мужей государственных, по мнению которых «с *одной сторны нельзя не сознаться*, что как будто и зазорно, но *с другой стороны надо признаться*, что выгодно. Можно однако и *капитал приобрести и невинность соблюсти*: управляющий акцизными сборами может назначить и без залогов, и те же 40 дворян могут получить места по ходатайству губернского предводителя дворянства — без всякой артели и договора, а то ведь пожалуй «министр внутренних дел» остановит постановление в ограждение правильности общего государственного строя».

63) Там же, стр. 94 — жирные куски «казенного пирога».

64) Там же, стр. 95 — «жирные куски казенного пирога».

62—64) «Казенный пирог», «отечественный пирог» и т. д. — общеупотребительные выражения Щедрина в смысле государственного имущества, «урвать» часть которого

являлось заветной мечтой всякого типа чиновников, бюрократов, буржуазных либеральных деятелей. «Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать» («Признаки времени», «Новый Нарцисс»). «Что станется с тою массою серьезных людей, — пишет Щедрин также и о либералах (см. «Благонамеренные речи», «По части женского вопроса»), — которые выбрали либерализм, как временный modus vivendi, в ожидании свободного пропуска к пирогу?» См. также о «казенном пироге», о «кусках пирога» в «За рубежом», гл. I («урвал кусок казенного пирога и проваливай»), «Убежище Монрепо», «Письмах к тетеньке» и мн. др.

О формуле Щедрина: «С одной стороны нельзя не сознаться, с другой надо признаться» см. п. 45.

«Капитал приобрести и невинность соблюсти» — см. «Письма к тетеньке», письмо 10-е, также «Убежище Монрепо» («Монрепо-усыпальница»). Щедрин в примечании сопоставляет одного екатеринославского землевладельца с той легендарной девицей, дочерью бедных, но благородных родителей, которая будто бы в одно и то же время и сокровище сохранила и капитал приобрела». См. также «Дети Москвы» («Мелочи жизни»).

65) Там же, т. IV, стр. 93.

Продолжая анализировать прения орловского проекта, Ленин обнаруживает глубокие классовые интересы в словах Нарышкина, отстаивавшего государственную точку зрения: «Зачем ускорять превратность времени? Пусть это будет предрассудок, но старые традиции не позволяют помогать этой превратности»... «Конечно,— говорит Ленин,— боязнь должности сборщика... предрассудок, но разве не благодаря предрассудкам темных масс крестьянства держится неслыханно-бесстыдная эксплоатация крестьян помещиками в нашей деревне? Предрассудки вымирают и без того, зачем же ускорять их вымирание, открыто сближая дворянина с целовальником, облегчая для крестьянина посредством этого сопоставления процесс... усвоения той простой истины, что благородный помещик такой же ростовщик, грабитель и хищник, как любоой деревенский мироед, только неизмеримо более сильный, сильный своим землевладением, своими веками сложившимися привилегиями, своей близостью к царской власти, своей привычкой к господству и умением прикрывать свое нутро И у д у ш к и целой доктриной романтизма и великодушия?»

66) Л. «Борьба с голодающими», т. IV, стр. 280.

«Ужасно то, что правительство прикрывает соображениями высшей политики свое и у д у ш к и н о стремление отнять кусок у голодающего, урезать впятеро размер пособий, запретить всем, кроме полицейских чинов, подступаться к умирающим от голода».

65—66) «Иудушка» см. п. 32.

67) Л. «Рабочая партия и крестьянство», т. IV, стр. 101.

«Хозяйственных мужиков» (у Ленина без кавычек).

68) Л. «Аграрный вопрос и критики Маркса», т. IV, стр. 250.

«Хозяйственный мужичек».

69) Л. «Внутреннее обозрение», «Голод», т. IV, стр. 314.

«Хозяйственный мужичек».

67—69) О «хозяйственном мужичке» см. пп. 7—13.

70) Л. «Гонители земства и аннибалы либерализма», т. IV, стр. 146.

«Не подлежит, таким образом, никакому сомнению, что «б л а г о н а м е р е н н ы е р е ч и» г. Р. Н. С.[24] представляют собой лишь особый прием, попытку повлиять на правительство (или на «общественное мнение») посредством уверений в своей (или в чужой) скромности.

70) Щ. «Благонамеренные речи». См. п. 44.

71) Там же, стр. 154.

«И ради чего, вместо требования уничтожения абсолютизма, выставляется как заключительный лозунг подробное умеренное и аккуратное пожелание?»

О предисловии Р. Н. С. (Струве) к книге министра Витте «Самодержавие и земство».

71) См. п. 25.

72) Л. «Крепостники за работой», т. IV, стр. 170.

Ленин рассматривает новый закон 8 июля 1901 г. об отводе частным лицам казенных земель в Сибири как очередную подачку дворянам-помещикам. «...Но вот беда, какую пользу извлекут из кусочков земли, хотя бы и по три тысячи десятин, все их владельцы-генералы, если не найдется «мужика», вынужденного на этих генералов работать?»

69) Щ. «Сказки», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

73) Л. «Аграрный вопрос и критики Маркса», т. IV, стр. 201.

«... О Марксе этот умеренный и аккуратный ученик немецких профессоров (т. е. Бензинг. — *Е. М.)* говорит с такой ненавистью, как и г. Булгаков...»

73) См. п. 25.

74) Л. «Аграрный вопрос и критики Маркса», т. IV, стр. 236.

О книге Карла Клавки: «О конкуренто-способности сельскохозяйственного производства» (в «Сельскохозяйственных Ежегодниках Тиля» 1889 г., вып. 3—4). Ленин разоблачает классовый смысл утверждений Клавки, пытавшегося доказать преимущества мелкого крестьянского хозяйства: «если поднять потребление до 170 марок — сумма вполне достаточная (для «меньшого брата», но не для капиталиста-земледельца, как мы видим),— то получим, что на один морген надо бы увеличить потребление и уменьшить доход от продажи на 6—7 марок... Но если мы поднимем потребление не до этой на глаз взятой цифры (и притом взятой пониже, ибо «ён достанет»), а до 218 марок (—действительность в среднем хозяйстве), то увидим, что доход от продажи продуктов упадет в мелком хозяйстве до 20 *марок* на морген против 29 при среднем и 25 при крупном хозяйстве...»

74) Выражение «меньшой брат» Щедрин употребляет, пародируя либеральных русских «культурных людей», которые на досуге любят потолковать и выразить сожаление низшему сословию, «меньшому брату», т. е. крестьянству. См. например «Завещание моим детям». См. также «Дневник провинциала в Петербурге» и т. д. См. п. 28. «Ен достанет», «Убежище Монрепо». Разговор с Разуваевым: «По-моему ежели народ оплошал, да еще вы случаев упускать не будете — ведь этак, чего доброго, и вовсе оплошает. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надеетесь? — Ах, вашескородие! ён доста-а-нет!»

75) Там же, т. IV, стр. 249—250 (примечание).

«Напомним, что ссылка на мнимую однородность рабочего класса—ходячий довод Эд. Бернштейна и всех его сторонников. А насчет «диференциации» еще г. Струве в «Критических заметках» глубокомысленно рассуждал: есть диференциация, есть и невелировка, для объективного исследователя это процессы равной важности (как для щедринского объективного историка было все равно — Изяслав Ярослава побил или Ярослав Изяслава»). Из этих рассуждений Ленин делает иронический вывод, что «объективный» ученый должен поэтому только собирать фактики, отнюдь не думая о том, чтобы выработать представление о всем процессе в целом».

75) Ленин имеет в виду следующее место из «Современной идиллии», гл. VII: «Да, брат, изумительный был человек этот маститый историк: и науку и свистопляску — все понимал! А историю русскую как знал — даже поверить трудно! Начнет, бывало, рассказывать, как Мстиславы с Ростиславами дрались — ну, точно сам очевидцем был! И что в нем особенно дорого было: ни на чью сторону не норовил. Мне, говорит, все одно: Мстислав ли Ростислава, или Ростислав Мстислава побил, потому что для меня что историей заниматься, что бирюльки таскать — все единственно».

76) Л. «Борьба с голодающими», т. IV, стр. 280.

«...Ужасно... то, что в России всякая деятельность... неизбежно ведет к столкновению независимых людей с полицейским произволом и с мерами *«пресечения», «запрещения», «ограничения»* и проч., и проч.»

77) Л. «Внутреннее обозрение», т. IV, стр. 295.

О тактике правительства по отношению к голодающим.

«Инициатору военных действий против голодающих, князю Оболенскому приходилось самому ехать на место, чтобы пресечь, обуздать, сократить».

76—77) «Пресечения», «запрещения» и «ограничения», так же как «пресечь», «обуздать», «сократить» и т. д., — типичные щедринские выражения при обрисовке тактики русского правительства. «Устав о пресечении и предупреждении» см. «Благонамеренные речи», «Круглый год», «За рубежом» и мн. др. Об «обуздании» см. «Благонамеренные речи», «К читателю» (атмосфера обуздания, люди обуздания и т. д.); о «сокращении» см. «Пестрые письма», «Мелочи жизни», «Дикий помещик» и др.

78) Л. «Внутреннее обозрение» («Голод»), т. IV, стр. 297.

«Официальные заявления русского правительства, когда в них кроме голых предписаний есть хоть какие-нибудь попытки объяснить эти предписания, заключают в себе почти всегда—это своего рода закон, гораздо более устойчивый, чем большинство наших законов,—два основные мотива или два основных типа мотивов. С одной стороны, вы встретите непременно несколько общих фраз, в напыщенной форме заявляющих о попечительности начальства, его желании считаться с требованиями времени и пожеланиями общественного мнения. Например, говорится о «важном деле предотвращения в среде сельского населения продовольственной нужды», о «нравственной ответственности за благосостояние местного населения» и т. д. Само собою разумеется, что эти общие места ничего в сущности не означают и ни к чему положительному не обязывают: зато они похожи как две капли воды на бессмертные речи бессмертного Иудушки Головлева, отчитывавшего обираемых им крестьян».

78) Щ. «Господа Головлевы». «Сцена с Фокой»:

«Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да богу молились, и землица-то чувствовала бы! Где нынче зерно — смотришь ан в ту пору два или три получилось бы. Занимать-то бы и не надо!.. Ты думаешь, бог-то далеко, так он и не видит? продолжает морализировать Порфирий Владимирыч, — ан бог-то вот он — он... И все он видит, все слышить, только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут, посмотрим, будут ли они меня помнить. А мы — этим пользуемся, да, вместо того, чтоб богу на свечку из достатков своих уделить, мы — в кабак да в кабак. Вот за это за самое и не подает нам бог ржицы — так ли, друг?.. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей пользы делается. Кабы мы бога помнили, и он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал: и ржицы, и овсеца, и картофельцу — на, кушай. И за скотинкой бы за твоей наблюдал — вишь лошадь-то у тебя, в чем только дух держится, и птица ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал!.. Бога чтить, это — первое, а потом — старших, которые от самих царей отличие получили, помещиков, например...» Порфирий Владимирыч учительно взглядывает на Фоку, но тот... словно оцепенел... «Так как же ты говоришь, ржицы

тебе понадобилось? ...Только заранее я тебе говорю: кусается, друг, нынче рожь, куда как кусается! Так вот как мы с тобой сделаем: я тебе шесть четверичков отмерить велю, а ты мне, через восемь месяцев, два четверика припольцу отдашь — так оно четвертца в аккурат и будет! Процентов я не беру, а от избытка ржицей...»

У Фоки даже дух занялся от иудушкинова предложения...»

79) Разбирая дальше (там же, стр. 297) «циркуляр» министра внутренних дел начальникам губерний, пострадавших от неурожая 1901 г., Ленин с возмущением продолжает:

«В рассматриваемом циркуляре, напр., мы встречаем повторение самых гнусных обвинений, исходивших от самих «д и к и х п о м е щ и к о в», что преждевременное составление списков нуждающихся возбуждает «стремление некоторых состоятельных домохозяев привести свое хозяйство в вид обедневшего путем продажи запасов и излишков инвентаря».

79) Щ. Сказки». «Дикий помещик», мечтающий улучшить свое хозяйство путем полного «сокращения», упразднения мужика.

80) Там же, стр. 300—301.

Говоря о том, насколько скудны сведения о правительственной помощи голодающим, Ленин пишет: «Печать теперь взнуздана до-нельзя, голоса частных устроителей столовых замолки вместе с «запрещением» их деятельности, и для осведомления оторопевшей от новых строгостей российской публики служат только казенно-полицейские пометки о благополучном ходе продовольственной кампании, да статейки в том же духе в «Московских Ведомостях», да передаваемые кое-когда разговоры досужего репортера с тем или иным п о м п а д у р о м, преважно излагающим «м ы с л и о г р а д о н а ч а л ь н и ч е с к о м е д и н о м ы с л и и, а т а к ж е о г р а д о н а ч а л ь н и ч е с к о м е д и н о в л а с т и и и п р о ч е м».

80) Щ. «История одного города».

«Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем». Сочинил глуповский градоначальник Василиск Бородавкин».

81) Там же, стр. 301.

Бывшего архангелогородского губернатора А. П. Энгельгардта Ленин называет «г. помпадур».

82) Там же, т. IV, стр. 318.

«Наш помпадур».

81—82) См. п. 24.

83) Там же, т. IV, стр. 314 («Отношение к кризису и голоду»).

«Цепкие хозяйственные мужички».

83) См. п. 7.

84) Там же, «Две предводительские речи», т. IV, стр. 323.

«Но г. Стахович интересен для нас... как образчик самого «жизнерадостного» русского дворянина, всегда готового у р в а т ь к у с о ч е к к а з е н н о г о п и р о г а».

84) «Кусочек казенного пирога» см. пп. 62—64.

85) Л. Письмо С. О. Цедербауму (вторая половина июля 1901 г. Мюнхен), т. XXVIII, стр. 122.

Возражение Ленина против устройства районного органа русской организации «Искры».

«Ради того, чтобы вместо борьбы с той узостью, которая заставляет питерца забывать о Москве, москвича о Питере, киевлянина о всем, кроме

Киева, вместо приучения людей (их надо годами приучать к этому, если мы хотим образовать заслуживающую этого названия политическую партию) к ведению общерусского дела,—вместо этого поощрять опять кустарническую работу, местную узость и развитие вместо общерусской какой-нибудь пошехонской социал-демократии,— это будет ничем иным как пошехонством, это не может быть ничем иным...»

85) Под «пошехонством» Щедрин разумел дореформенные нравы русской крепостнической провинции с ее безобразным крепостническим угнетением, «диким» произволом помещиков и начальства, забитой и подавленной этим угнетением закабаленной крестьянской массы, с одной стороны, и заплесневшей в невежестве, отупевшей от жестокости, узости мышления, величайшей бедности идейных интересов массы крепостников-дворян — с другой.

Щедрин разбивает традицонное идеалистическое представление о «наивной» простоте, добродушии пошехонской старины, раскрыв в «Пошехонских рассказах» и «Пошехонской старине» подлинную сущность сословного пошехонского «добродушия», с его беспощадной жестокостью к замученному крепостному мужику. «Эта робкая боль, сказывающаяся всюду, эти подавленные стоны, волной переливающиеся из края в край, могут замучить», писал Щедрин в «Пошехонских рассказах» («Пошехонское дело»), выражая эзоповским языком свою «жалость» к несчастному крестьянину, и далее, говоря с пошехонском изобилии, Щедрин утверждает, что «подлинные пошехонцы участвовали в нем лишь воздыханиями» и что это привилегированное изобилие достигалось «слезами и потом» всей «пошехонской земли».

Щедринское выражение «пошехонство», «пошехонец» получило широкое распространение в русской литературе. Обычно под ним разумелась невежественная простота, провинциально-захолустная узость мировоззрения, узость идейных интересов. Именно в этом более узком смысле и пользуется Ленин в данном случае щедринским выражением «пошехонство».

1902 г.

86) Л., т. IV, стр. 356.

«Политическая агитация и классовая точка зрения».

«Столкновения... статистиков с помпадурами».

86) Щ. *«Помпадуры и помпадурши»*.

87) Л. «Что делать?» (1901—1902 гг.), т. IV, стр. 373. «Критика в России».

Ленин говорит о медовом месяце «легального» марксизма:

«Это было вообще чрезвычайно оригинальное явление, в самую возможность которого не мог бы даже поверить никто в 80-х или в начале 90-х годов. В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самомалейшие ростки политического недовольства и протеста,— внезапно пробивает себе дорогу в подцензурную[25] литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским языком, но для всех «интересующихся» понятным языком...».

87) «Эзоповский язык» см. п. 29.

88) Там же, т. IV, стр. 435. «Еще раз «клеветники», еще раз «мистификаторы».

Нападая на «Рабочее дело» за его оппортунизм, стремление скрыть свою склонность к экономизму, Ленин говорит:

«Не вздумает ли оно («Рабочее дело».—*Е. М.)* наконец изложить перед всеми прямо и без увертки свое понимание наболевших вопросов между-

народной и русской демократии?—О нет, оно никогда не вздумает ничего подобного, ибо оно твердо держится того приема, который можно назвать приемом «сказываться в нетях». Я не я, лошадь не моя, я не извозчик. Мы не экономисты. «Раб. Мысль» не экономизм, в России нет вообще экономизма. Это — замечательно ловкий и «политичный» прием, имеющий только то маленькое неудобство, что органы, его практикующие, принято называть кличкой: «чего изволите?»

88) «Чего изволите?» в щедринском понимании означает политическую беспринципность, явное приспособленчество. Так была названа Щедриным газета «Новое Время», прославившаяся в 70—80-х годах своей исключительной политической продажностью, политической беспринципностью, приспособляемостью к бюрократической верхушке. О газете «Чего изволите?» см. «В среде умеренности и аккуратности» («Господа Молчалины», гл. V), где Щедрин дает достаточно показательную характеристику либерализма газеты «Чего изволите?», предлагающей «меньше думать о правах и побольше об обязанностях» («Терпение и самоотверженность — вот задача, которую должно преследовать современное поколение общественных деятелей, все же остальное — предоставить потомству»), рассматривающей в передовице вопросы: «в ком, т. е. в каких лицах, должна найти воплощение идея, выражаемая уставом о пресечении и предупреждении преступлений в применении ее к селениям..., в какой форме должно выразиться полицейское воздействие, дабы иметь силу действительную, а не мнимую», или «каким образом оградить значение и достоинство кутузки, с тем, чтоб она, с одной стороны, не приняла, вследствие послаблений, характера увеселительного заведения, а с другой — чтоб, вследствие чрезмерной строгости, не послужила поводом для преступных вымогательств» и т. д. См. также «Похороны», «Круглый год», гл. I и др.

89) Там же, т. IV, стр. 462. «Размах организационной работы» (примечание).

Говоря в примечании о статье «Организация» в журнале «Свобода» № 1, издававшемся революционной группой того же названия («Свобода»), в программе которой проявлялись колебания между принципом классовой борьбы и индивидуальном террором, Ленин цитирует названную статью, вставляя свои замечания: «Тяжелой поступью рабочая громада будет крепить все требования, которые выставляются от лица российского Труда» — непременно с большой буквы! И этот же автор восклицает: «Я вовсе не отношусь враждебно к интеллигенции, но...» (это то самое но[25], которое Щедрин переводил словами: выше лба уши не растут!)... «но меня всегда страшно сердит, когда придет человек и наговорит очень красивых и прекрасных вещей...».

89) См. п. 1.

91) Л. «Письмо к земцам», т. V, стр. 80.

«...Будем готовиться к тому, чтобы на всякое поругание сколько-нибудь честной земщины царским правительством пролетариат мог ответить демонстрациями против помпадуров губернаторов, башибузуков-жандармов и иезуитов-цензоров...»

90) «Помпадур» см. п. 24.

91) Л. «Аграрная программа русской социал-демократии», т. V, стр. 89, а также Ленинский сборник III, стр. 325.

«Покуда пункт насчет возвращения отрезок оставался моим личным мнением, я не спешил защищать его, ибо для меня гораздо важнее была общая постановка вопросов о нашей аграрной политике, чем этот отдельный пункт, который мог еще быть отвергнутым или существенно видоизмененным в нашем общем проекте. В настоящее время я буду защищать уже этот общий проект. А «читателя-друга», который не поленился по-

делиться с нами критикой нашей программы, мы просим теперь заняться критикою нашего общего проекта».

91) «Читатель-друг». См. Щедрин «Мелочи жизни», «Читатель», «Читатель-друг».

92) Л. «Аграрная программа русской социал-демократии», т. V, стр. 119 (примечание). О радикалах и революционерах из «В. Р. Р.», которые «склонны сидеть в данном вопросе (т. е. в вопросе о крестьянской общине.— *Е. М.)* между двух стульев» см. также т. V, стр. 201.

92) См. п. 21.

93) Л. «Революционный авантюризм». «Мировой рост и кризис социализма», т. V, стр. 146.

Ленин критикует статью социал-революционера, помещенную в «Вестнике Русской Революции» № 2, в которой проповедовалась беспринципность в области теории, отказ от всякого теоретического спора.

«Серьезная революционная организация,— пресерьезно уверяет нас «В. Р. Р.» (№ 2, стр. 127),— отказалась бы от решения вечно разъединяющих спорных вопросов социальной теории, что, конечно, не должно мешать теоретикам искать их решения»[26] — или, прямее: писатель пусть пописывает, читатель — почитывает, а мы, пока суд да дело, возрадуемся по случаю освобожденного пустого места».

93) Щ. «Писатель пусть пописывает, читатель почитывает». См. «Пестрые письма» (письмо 1-е). См. п. 96.

94) Л. «Проект нового закона о стачках», т. V, стр. 175.

«...г. Струве советует рабочим быть «сдержанными» в агитации за замену наказаний за стачки».

«Чем сдержаннее будет она (эта агитация) по формам,— проповедует г. Струве,—тем больше будет ее значение». Рабочий должен хорошенько отблагодарить бывшего социалиста за такие советы. Это традиционная молчалинская мудрость либералов—проповедывать сдержанность именно тогда, когда правительство едва начало колебаться (по какому-нибудь частному вопросу). Надо быть сдержаннее, чтобы не помешать провести начатую реформу, чтобы не запугать, чтобы использовать благоприятный момент, когда первый шаг уже сделан (записка составлена!) и когда признание каким-либо ведомством необходимости реформ дает «неопровержимое» (?) и для самого правительства и для общества (!) доказательство справедливости и своевременности (?) этих реформ. Так рассуждает г. Струве о разбираемом нами проекте, так рассуждали всегда российские либералы». Далее Ленин противопоставляет тактику социал-демократов и рекомендует: «...Распространяйте шире приятную весть о неуверенности в рядах врага, пользуйтесь всяким малейшим колебанием его не для молчалинского «сдерживания» своих требований, а для усиления их».

94) См. «В среде умеренности и аккуратности» или молчалинское «погодить» в «Современной идиллии», гл. I.

«Там мистификация или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет, погодить!.. Погодить — ну приноровиться, что ли, уметь во время помолчать, позабыть кой-об-чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь... Например: гуляйте больше, в еду ударьтесь, папиросы набивайте, письма к родным пишите, а вечером в табельку или сибирку засядьте. Вот это и будет «погодить».

95) Л. «Политическая борьба и политиканство», т. V, стр. 193—194.

Замечание полицейско-официальной финляндской газеты о том, что есть

надежда на «гармоническую деятельность всех местных учреждений»... Ленин называет «елейным пустословием в духе Иудушки Головлева».

95) «Елейное пустословие Иудушки» см. Щедрин. «Господа Головлевы», п. 32.

1903 г.

96) Л. «Несколько мыслей по поводу письма», т. V, стр. 233.

Ленин возмущается требованием присылки десятков пудов литературы, в то время как не сумели распространить тех сотен экземпляров, которые были посланы, возмущается, что на все сообщения, корреспонденции, письма, листки и т. д. не получилось ни одного сообщения о распространении этих сотен экземпляров в массе, о впечатлении на массу, об отзывах массы, о беседах в массе об этих вещах:

«Вы оставляете нас в таком положении, что писатель пописывает, а читатель (интеллигент) почитывает, и потом этот же ротозей-читатель[27] мечет гром и молнии против писателя за то, что он (писатель!!!) не дает «десятки пудов» везде и повсюду. Человек, вся задача которого *связать* писателя с массой, сидит, как нахохлившийся индюк, и вопит: подайте массовой литературы...» Несколько далее Ленин продолжает: «И вот люди, не умеющие переработать даже сотой доли попадающего к ним материала, вопят: давайте десятки пудов! Щедринская формула (читатель почитывает) еще далеко, далеко чересчур оптимистично смотрит на «читателя»!!

Там же и далее об отношении читателя и писателя до стр. 235. Вся статья стр. 231—235 является своеобразной параллелью щедринской теме «Читатель и писатель». Ответ на письмо видимо какой-то организации.

96) См. «Мелочи жизни», «Читатель», «Пестрые письма», гл. I и мн. др. «Писатель пописывает, читатель почитывает» см. п. 93.

Этой формулой Щедрин характеризовал идейную рознь между читателем и писателем, их взаимное непонимание, «легкое» отношение читателя к литературе и к писателю. В «Пестрых письмах», гл. I Щедрин, жалуясь на свое литературное одиночество, пишет: «Сколько раз, в течение моей долгой трудовой жизни, я взывал: где ты, русский читатель, откликнись. — и право, даже сию минуту не знаю, где он, этот русский читатель... Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература — сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает...»

97) Л. «Les beaux esprits se rencontrent», т. V, стр. 321.

О книге Э. Давида «Социализм и сельское хозяйство», февр. 1903 г. «Книга Давида узаконила перемену тактики в аграрном вопросе. Теперь уже нельзя не сознаться, что можно оставаться в рядах соц.-дем. партии с программной «кооперацией и социализацией»... но, с другой стороны, надо признаться, что Давид, в отличие от благородных соц.-рев., делает некоторые уступки бернштейнианству».

97) См. п. 45.

98) Л. Письмо в редакцию «Искры», т. VI, стр. 122.

«...Для того, чтобы рабочие не могли[27] перестать понимать нас, для того, чтобы их опытность в борьбе и их пролетарское чутье научили кое-чему и нас[27], «руководителей»,— для этого необходимо, чтобы организованные рабочие приучались следить за возникающими поводами к расколу (такие поводы всегда бывали и всегда будут возвращаться во всякой массовой партии), сознательно относиться к этим поводам, оценивать происшествие какого-нибудь русского или заграничного Пошехонья с точки зрения интересов всего движения в целом».

98) «Прошу читетеля не принимать Пошехонья буквально. Я разумею под этим названием вообще старину, аборигены которой, по меткому выражению русских пословий, в трех соснах заблудились», делает пояснение Щедрин в ведении в «Пошехонской старине» (примечание). См. главным образом «Пошехонские рассказы» и «Пошехонскую старину». См. комментарией о «пошехонстве», п. 85.

1904 г.

99) Л. «Центральному Комитету в Россию». [Вторая половина февраля 1904 г. Женева, т. XXVIII, стр. 330 или «Ленинский сборник» X, стр. 328].

О расколе между большевиками и меньшевиками.

«Партия разорвана фактически, устав обращен в тряпку, организация оплевана,— только благодушные пошехонцы могут еще не видеть этого...»

99) «Благодушные пошехонцы» см. пп. 85 и 98.

100) Л. «Шаг вперед, два шага назад», «Начало съезда», т. V, стр. 168.

«Тов. Махов прекрасно усвоил себе дух «реальной политики»: принципиально он уже[28] отверг федерацию, а *поэтому* на практике он вотировал бы[28] за такой пункт устава, который приводит эту федерацию! И этот «практичный» товарищ поясняет свою глубоко принципиальную позицию следующими словами: «Но (знаменитое щедринское «но»!) так как то или иное мое голосование имело лишь принципиальный характер (!!) и не могло носить характера практического, в виду почти единогласного голосования всех остальных участников съезда, то я предпочел воздержаться от голосования, чтобы принципиально...» (упаси нас, господи, от такой принципиальности!)... «оттенить различие своей позиции в данном случае от позиции, защищаемой делегатами Бунда, голосовавшими за пункт. Обратно, я вотировал бы за тот пункт, если бы делегаты Бунда воздержались от голосования его, на чем они предварительно настаивали». Пойми, кто может! Принципиальный человек воздерживается от того, чтобы громко сказать: да, ибо это практически бесполезно, когда все говорят: нет».

100) «Знаменитое щедринское «но» см. п. 1.

101) Л. «Шаг вперед, два шага назад». Параграф первый устава. Т. VI, стр. 202.

О расхождении между Мартовым, Аксельродом, с одной стороны, и Лениным—с другой, по поводу первого пункта устава партии:

«...Теперь, после всех этих происшествий, вопрос о § первом получил, таким образом, огромное значение[28], и мы должны дать себе точный отчет и в характере группировок на съезде при голосовании этого § и,—что еще несравненно важнее,—в действительном характере тех оттенков в воззрениях[28], которые наметились или начали намечаться по § первому. Теперь... вопрос поставлен уже таким образом: отразилась ли на формулировке Мартова, защищавшейся Аксельродом, его (или их) неустойчивость, шаткость и политическая расплывчатость, как выражался я на съезде партии, его (или их) уклонение в жоресизм и анархизм, как полагал Плеханов на съезде Лиги? Или на формулировке моей, защищавшейся Плехановым, отразилось неправильное бюрократическое. формалистическое, помпадурское[29], не социал-демократическое понимание централизма?»[30].

101) «Помпадурское» см. Щедрин «Помпадуры и помпадурши», «История одного города», «Современная идиллия» и др.

102) Л. «Шаг вперед, два шага назад», т. VI, стр. 226.

«Психология кружковщины и поразительной партийной незрелости, неспособной выносить свежего ветерка открытых споров перед всеми, сказалась тут воочию. Это—та знакомая российскому человеку психология, которая выражается старинным изречением: либо в зубы, либо ручку пожалуйте! Люди так привыкли к стеклянному колпаку тесной и теплой компанийки, что упали в обморок от первого же выступления, за своей ответственностью, на свободной и открытой арене. Обвинять, и кого же? Группу «Освобождение Труда», да еще большинство ее, в оппортунизме, — можете себе представит такой ужас! Либо партийный раскол из-за такого несмываемого оскорбления, либо замять эту «домашнюю неприятность» восстановлением «преемственности» стеклянного колпака — эта дилемма намечается уже довольно определенно в рассматриваемом письме...

...Только самая заскорузлая кружовщина с ее логикой: либо в зубы, либо ручку пожалуйте могла поднять истерику, дрязгу и партийный раскол из-за «ложного обвинения в оппортунизме большинства группы «Освобождение Труда».

102) «Либо в зубы, либо ручку пожалуйте» — так характеризовал Щедрин рабскую психологию русского так называемого «культурного человека», легко переходящего от грубой расправы, «битья по зубам», в особенности с меньшим братом, «к целованию плечика», потому что ведь известно у нас нет середины: «либо в рыло, либо ручку пожалуйте» («Признаки времени», гл. VI «Русские гулящие люди за границей»). См. также о битье по зубам в «Дневнике провинциала», «За рубежом», «Современной идиллии» («Ручку ловить») и мн. др.

103) Там же, т. VI, стр. 289.

Продолжение полемики с Мартовым.

«Тов. Плеханов отвечает Мартову... прося воздерживаться от таких «нарушающих достоинство съезда» выражений, как бюрократизм, помпадурство и пр.»

104) Там же, т. VI, стр. 290.

Продолжение полемики с меньшинством.

«Плеханов справедливо высмеял эти жалобы (меньшинства на обвинение его в оппортунизме, анархизме и пр.—*Е. М.*), спросивши, почему это «жоресизм и анархизм употреблять неудобно, а lése-majesté (оскорбление величества) и помпадурство — удобно?»

103—104) «Помпадурство» см. п. 101.

105) Там же, т. VI, стр. 298.

По поводу следующих строк Мартова о profession de foi («Еще раз в меньшинстве»):

«Меньшинство претендует на одну честь — дать первый в истории нашей партии пример того, что можно, оказавшись «побежденными», не образовать новой партии. Такая позиция меньшинства вытекает из всех его взглядов на организационное развитие партии, она вытекает из сознания своей крепкой связи с предыдущей партийной работой. Меньшинство не верит в мистическую силу «бумажных резолюций» и видит в глубокой жизненной обоснованности своих стремлений залог того, что чисто идейной пропагандой внутри партии оно добьется торжества своих организационных принципов». Ленин пишет: «Какие это прекрасные гордые слова! И как горько было убедиться на опыте, что это — только слова... Вы уже меня извините, товарищ Мартов, а теперь я заявляю претензию от имени большинства на эту «честь», которой вы не заслужили[31]. Честь эта будет — действительно большая, из-за которой стоит по-

воевать, потому что традиции кружковщины оставили нам в наследие необыкновенно легкие расколы и необыкновенно усердное применение правила: либо в зубы, либо ручку пожалуйте».

105) «Либо в зубы, либо ручку пожалуйте» см. п. 102.

106) Там же, т. VI, стр. 312.

О позиции новой «Искры», «Горькие жалобы на «помпадурство» и пр. см. пп. 101, 103, 104.

107) Л. «Письма к родным», письма В. И. Ленина к М. А. и М. И. Ульяновым. 16/VII 1904 г. «Привет из нашего Монрепо».

107) Щ. «Убежище Монрепо».

108) Л. «Услужливый либерал», т. VI, стр. 369.

Ленин возмущается излишней дипломатичностью Плеханова в статье «Чего не делать?», где он под видом уступок для избежания раскола по существу дал возможность всяческим оппортунистам и либералам вроде «услужливого» либерала Струве злорадствовать по поводу раскола в партии, давать одобрительные отзывы о якобы жизненной политике меньшинства, хвалить позицию новой «Искры», и все это только потому, что «единственная надежда на жизненность»... русского либерализма... заключается в жизненности социал-демократического оппортунизма».

«Вспомните нарциссовское утверждение Плеханова в № 65 «Искры», что «Акимов никому не страшен, им не испугаешь теперь даже воробьев на огороде». Плеханов говорил эти слова, не особенно обнаруживающие мягкость и уступчивость к рабочедельцам, заявляя в то же время, будто на нашем партийном съезде «против ортодоксального марксизма говорил разве только какой-нибудь Акимов», и вот тотчас же после этих нарциссовских заявлений печатается *полностью*[31] листок Воронежского Комитета, солидарного, как всем известно, с тт. Акимовым и Брукэром, при чем оказывается, что редакция новой «Искры» *скрыла*[31] от публики № 61 всю принципиальную часть листка, все выражение сочувствия новой «Искре». Кто оказался похожим на воробья? Какое партийное учреждение сравнимо теперь с огородом?»

См. также у Ленина «Нарциссовки-восхищенное повторение», «мещанский Нарицисс» и т. д.

108) «Нарциссовское» см. Щедрин «Признаки времени».

«Новый Нарцисс или влюбленный в себя» — так, воспользовавшись мифом о Нарциссе, называет Щедрин современных ему либеральных хвастливых болтунов, восхищающихся собственной болтовней «сеятелей» прогресса, которые пустяковыми «пререканиями» с правительственной бюрократией по делу о «рукомойниках», о «нижнем белье», о «невыеденном яйце» и т. д., болтовней о «святом деле», «светлом будущем», о «великих задачах молодого возрождения» и т. д. прикрывают собственные грубоматериалистические интересы. Это — «самодовольная ограниченность», по выражению Щедрина, мечтающая одинаково с бюрократами о приобретении лишней тысячи.

«Надо же наконец понять, что никакая цена в мире не может обойтись без так называемых ораторских движений, и что все эти «рутинности» и «ликвидации» не больше, как удобная формула, к которой прибегает оратор, дабы выразить в самом лучшем виде парение своей души. Душа парит — кому и когда бывал от этого вред? Решительно никому и никогда, а польза, напротив того, большая... Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? — Вопрос о снабжении друг друга фондами. Мне тысячу, тебе тысячу — вот первый вопль, первое движение... Каким образом достать эти тысячи? Как устроить, чтобы бумажный дождь падал в изобилии и беспрепятственно? Ответ: сходить в карман своего ближнего. И практично и просто... Чем заявить миру о своем существовании?.. Ответ: пререканиями о выеденном яйце... Затем мириадами, как тучи комаров, выступают вперед вопросы о рукомойниках, вопросы о дозволяющем

себе ездить на трех лошадях вместо двух, о нижнем белье, вопросы о становом приставе...»

(«Новый Нарцисс или влюбленный в себя».)

109) Л. Сибирскому комитету. Женева, 30/X 1904 г. «Ленинский сборник» XV, стр. 230—231.

«Возьмите только что вышедший на русском языке доклад Амст[ердамскому] конгрессу. От имени партии заведомо против ее воли говорит меньшинство, повторяя в прикрытой форме ту же самую ложь про старую «Искру», которую всегда проповедовал Мартов и К°, которую теперь преподносит Балалайкин-Троцкий. Или может быть и с этим Балалайкиным (брошюра его издана под редакцией «Искры»), как в «Искре» прямо заявлено, хочет перемирия тов. Симонов. Может быть и тут он верит в обещанное ЦК прекращение фракционной полемики... Чем грубее издеваются над съездом (Балалайкин-Троцкий, пишущий под редакцией «Искры», объявил уже съезд реакционной попыткой закрепить искровские планы. Рязанов был искреннее и честнее, когда назвал съезд свозом), чем грубее издеваются они над партией и работниками в России, чем беспощаднее становится встречаемый ими отпор, тем теснее стягивается большинство, объединяя всех принципиальных людей, отшатываясь от противоестественного и гнилого уже в существе своем политического союза Плеханова, Мартынова и Троцкого».

109) «Балалайкин» см. п. 60.

110) Там же (письмо Сибирскому комитету).

О продолжении фракционной полемики со стороны меньшевиков, несмотря на лицемерное обещание Ц. К.

«...Возьмите «Искру»—в № 75 в передовой, тема коей очень далека от наших разногласий, вы видите вкрапленной ни к селу, ни к городу старчески озлобленную руготню против советников Ивановых, круглых невежд и т. д. и т. д. С точки зрения наших перебежчиков из Ц. К. это, должно быть, не есть фракционная полемика?»

110) Щедринский «Статский советник Иванов», который был столь малого роста, что не мог вместить ничего «пространного» и у которого «голова... вследствие постоянного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении) перешла в зачаточное состояние» (см. «История одного города», «Поклонение мамоне и покаяние»).

111) Л. «Земская компания и план «Искры», т. VII, стр. 8.

«Подумайте только: люди серьезно говорят в письме к партийным организациям социал-демократической партии о тактике устрашения земцев и понуждения их под влиянием паники дать формальное обещание. Не легко было бы даже среди русских сановников, даже среди наших Угрюм-Бурчеевых, найти такого государственного младенца, который бы поверил в такое пугало. У нас есть среди революционеров ярые террористы, есть отчаянные бомбисты, но даже самый нелепый из нелепых защитников бомбизма не предлагал, кажется, до сих пор устрашать... земцев и вызывать панику среди... оппозиции».

111) Методом «устрашения» Щедрин называл правительственные приемы для запугивания общества, для усмирения «волнений» в обществе. См. например «Круглый год» (первое ноября), где Щедрин пишет о современной литературе, впавшей в уныние, несмотря на «инсинуации и устрашения», или «В среде умеренности и аккуратности», гл. I, «Письма из провинции» и т. д.

«Угрюм-Бурчеев». См. Щедрин. «История одного города», гл. «Подтверждение покаяния». Самая яркая щедринская сатира на российских помпадуров.

Вот как характеризует Щедрин Угрюм-Бурчеева: «Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение.

...Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова... прохвост всем своим существом, всеми помыслами».

«Государственный младенец» см. «Круглый год» (первое марта), «Господа ташкентцы», параллель третья, «Благонамеренные речи», «Отец и сын» и др.

112) Там же, т. VII, стр. 11.

«Именно в настоящий момент никто иной, как заведомые пенкосниматели и предатели свободы лезут из кожи, чтобы обратить центр тяжести общественного и народного внимания на земство, вызвать доверие к земству, которое на самом деле доверия истинной демократии не заслуживает».

112) «Пенкосниматели» см. п. 37.

113) Там же, т. VII, стр. 17.

Продолжение полемики с «Новой Искрой» по поводу соглашения с земцами.

«Массовые рабочие собрания на улицах южных городов, десятки рабочих ораторов, прямые столкновения с действительной силой царского самодержавия,—это «низший тип мобилизации». Соглашение с земцами о мирном выступлении нашего оратора, обязующегося не вызывать у гг. либералов паники, это — «новый путь». Вот они, новые тактические задачи, новые тактические взгляды новой «Искры», о которых с такой помпой возвестили всему миру через редакционного Балалайкина. В одном отношении этот Балалайкин сказал, однако, нечаянно правду: между старой и новой «Искрой» действительно лежит пропасть...» [32]

113) О «Балалайкине» см. п. 60.

114) Там же, стр. 18.

114) «Устрашение» см. п. 111.

1905 г.

115) Л. «Царский мир», т. XXX (1 февр. 1905), стр. 101 (также «Ленинский сборник» XVI, стр. 47).

«Наши новоискровцы прозевали поворот в настроении всей европейской буржуазии, начавшей с сочувствия Японии и ставшей давно уже переходить на сторону России из боязни революции... Теперь они прозевывают, как пустые банальные фразы о мире во что бы то ни стало начинают утилизировать в своих целях и петербургские Угрюм-Бурчеевы».

115) «Угрюм-Бурчеевы» см. п. 111.

116) Л. «Рабочая и буржуазная демократия», т. VII, стр. 67.

«Глубоко ошибается новая «Искра», думая, что половинчатость есть моральное, а не политико-экономическое свойство буржуазной демократии, думая, что можно и должно подыскать такую мерку половинчатости, до которой либерализм заслуживает лишь скорпионов, за который он заслуживает соглашения. Это именно значит «заранее определять меру допустимой подлости».

116) О «скорпионах». См. «За рубежом», гл. I («мне, говорит, подай конституцию, а прочие пусть попрежнему довольствуются ранами и скорпионами»), а также гл. III о судебных и административных скорпионах. «...Судебный скорпион считается более подходящим, нежели скорпион административный... Радуясь предстоящему пришествию судебных скорпионов, газеты, к сожалению, не воздержались от издевок над скорпи-

онами административными... Положим, что административные скорпионы были бессильны... Но в чем же тут неудобство? и для чего вместо мнимых скорпионов, понадобились скорпионы *подлинные*?»

117) Л. «Пролетариат и буржуазная демократия», т. XXX, стр. 116 или «Ленинский сборник» XVI, стр. 63.

«Господа демократические пенкосниматели».

117) «Пенкосниматели» см. п. 37.

118) Там же, т. VII, стр. 102.

О необходимости привлечения к работе широких масс молодежи, в особенности рабочей, с целью ее обучения.

«Только непременно организовывать, организовывать и организовывать сотни кружков, отодвигая совершенно на задний план обычные (иерархические) *благоглупости*».

118) «Благоглупости» см. п. 48.

119) «Ленинский сборник» V, «Первые уроки», стр. 79.

«...Оппортунисты, ловя момент, забыли о самостоятельной силе пролетариата. Наступил 1905 г., и девятое января еще раз изобличило всех непомнящих родства интеллигентов».

119) Выражением «непомнящие родства» Ленин пользуется в щедринском его значении, т. е. в применеии к либерально-буржуазной интеллигенции. См. например «За рубежом», гл. II, «Недоконченные беседы», гл. I, «В среде умеренности и аккуратности», гл. I, «Дневник провинциала в Петербурге», гл. I и т. д.

120) Там же, «Ленинский сборник» V, стр. 82.

В своих вариантах заглавия и в статье (вернее плане статьи) Ленин пользуется образом щедринского Тряпичкина для характеристики новоискровской корреспонденции.

«Наши *Тряпичкины*. Конец (фиаско) *Тряпичкиных*. Путаники запутались». И далее в плане статьи: «Тупоумные Мартыновы и ведомые ими на веревочке *тряпичные* Мартовы» и далее несколько ниже: «[Десять], сто человек, принявших орг[аниза]цию, план знают больше, чем тысяча *языкоблудствующих*. Об организации-процессе».

120) «Тряпичкины» см. у Щедрина «В среде умеренности и аккуратности» («Тряпичкины-очевидцы») собственный корреспондент газеты «Краса Демидрона». См. комментарий о «Тряпичкиных» ниже: пп. *123—125*.

121) Л. К неоконченной заметке «Ценные признания», «Ленинский сборник» XVI, стр. 240.

О консервативной европейской буржуазии, которая, расценивая события в России 1905 г. (статья в «Le Temps» от 5 ноября), признает, что «народ одержал большую конституционную победу, но... («это замечательное «но» — делает вставку Ленин)... он обязан этой победой выступлению на арену и мобилизации социалистических сил».

121) «Но» («mais») см. п. 1.

122) Л. «От народничества к марксизму», т. VII, стр. 74—75.

Критикуя проект программы партии социалистов-революционеров, Ленин пишет: «Говоря о «классе» крупных промышленников, проект смешивает подразделения и фракции буржуазии со всей буржуазией, как с классом. Это тем более неправильно, что именно средних и мелких буржуа всего менее способно удовлетворить самодержавие».

«...Поместное дворянство и деревенское кулачество все сильнее нуждаются в такой же поддержке против трудовых масс деревни»... Вот как? Откуда же земский либерализм? Откуда взаимное влечение культурнической

(демократической) интеллигенции к хозяйственному мужичку и *обратно?* Или кулак не имеет ничего общего с хозяйственным мужичком?

«...существование самодержавия становится в непримиримое и прогрессивно-обостряющееся противоречие со всем хозяйственным, общественно-политическим и культурным ростом страны...» Ну, вот и довели свои посылки до абсурда! Разве мыслимо такое «непримиримое противоречие» со всем хозяйственным и проч. ростом страны, которое бы не выражалось в настроении хозяйственно-командующих классов? Одно из двух. Или самодержавие действительно непримиримо также с хозяйственным ростом страны. Тогда оно непримиримо также и с интересами всего класса промышленников, торговцев, помещиков, хозяйственных мужичков... Неужели наше образованное общество не есть общество буржуазное? Неужели оно не связано тысячами нитей с торговцами, промышленниками, помещиками, хозяйственными мужичками?»

122) «Хозяйственный мужичек» см. пп. 7—13.

123) Л. «Должны ли мы организовать революцию?», т. VII, стр. 123.

Рассматривая поднятый Парвусом в духе «старой» «Искры» вопрос об «организации революции» (№ 85 «Искры»), Ленин останавливается на примечании новоискровской редакции: «Не все мысли, выраженные тов. Парвусом, разделяются редакцией «Искры». «...Еще бы «разделили» они те мысли, которые «бьют в лицо» всю их полуторагодовую оппортунистическую болтовню!

«Организовать революцию»! Но ведь у нас есть умный тов. Мартынов, который знает, что революция вызывается переворотом в общественных отношениях, что революция не может быть назначена. Мартынов объяснит Парвусу его ошибку и покажет, что если даже Парвус имел в виду организацию авангарда революции, то это есть «узкая» и зловредная «якобинская» идея. И далее. Ведь наш умный Мартынов ведет за собой на веревочке Тряпичкина-Мартова, который способен еще больше углубить своего учителя, который сможет, пожалуй, лозунг «организовать революцию» заменить лозунгом «развязать революцию». (См. № 85).

124) Там же, стр. 126.

Продолжение полемики с «Новой Искрой», в данном случае по вопросу о вооружении.

Приведя цитату из статьи Мартова[34] о вооружении: «Все старания подпольных организаций не будут иметь никакого значения, если они не сумеют вооружить народ одним незаменимым оружием—жгучей потребностью напасть на самодержавие[35] и вооружиться для этого. Вот куда должны мы направить свои усилия— на пропаганду в массах самовооружения для целей восстания»[35], Ленин пишет: «Именно поэтому революционные социал-демократы, которые до сих пор никогда не говорили: к оружию! И вот в такой-то момент, когда дан уже, наконец, этот лозунг, «Искра» изрекает: центр тяжести не в вооружении, а в жгучей потребности самовооружения. Разве это не мертвенное интеллигентское резонерство, разве это не безнадежное тряпичкинство[36], разве не тащат эти люди партию назад, от насущных задач революционного авангарда к созерцанию «задней» пролетариата? И не от индивидуальных качеств того или иного Тряпичкина[36] зависит это невероятное опошление наших задач, а от всей их позиции, так беспощадно формулируемой крылатыми словечками об организации-процессе или тактике-процессе».

125) Там же, т. VII, стр. 129.

На совет Парвуса «выбросить за борт» дезорганизаторов Ленин предлогает от имени всей той массы русских партийных работников, которые

доведены до небывалого озлобления дезорганизаторами: «Скорее же выбрасывайте их, товарищи, и беритесь за дружную организаторскую работу. Лучше сотня революционных социал-демократов, принявших организацию-план, чем тысяча интеллигентских Тряпичкиных[36], болтающих об организации-процессе».

123—125) «Трипичкины-очевидцы» — яркий щедринский образ продажного беспринципного писаки, все искусство которого заключается в том, чтобы попасть в тон «седьмой державе», уловляющей «неблагонадежных», «и угадать, какие восторги своевременны и какие преждевременны»... «Лови момент!» — вот единственное правило, которое умный корреспондент обязан вполне себе усвоить, и тогда он получит за свой труд достаточное вознаграждение».

Не менее яркая и ядовитая характеристика дается Щедриным и породившей Тряпичкиных прессе в лице редакции газеты «Краса Демидрона», которая благодаря своей тактике «компромиссов» и умению сваливать все общественные бедствия на «коварство англичан», «никогда не была воспрещена, а тем менее приостанавливаемо самое издание газеты». И Тряпичкины-очевидцы и породившая их газета «Краса Демидрона» — язвительная сатира на продажность и беспринципность консервативно-патриотической прессы, которую Щедрин характеризует следующим образом: «...В недавнее время возникла шестая великая держава, называемая прессою, которая, стремясь к украшению столбцов и страниц, повсюду завела корреспондентов. Эти последние обязываются замечать все, что происходит на их глазах, и описывать в легкой, забавной форме, способной заинтересовать и увеселить читателя. Писания свои корреспонденты отправляют в газеты для напечатания. Все искусство корреспондента в том заключается, чтобы угадать, какие восторги своевременны и какие преждевременны... Например: во время сербской войны некоторые восторги были сочтены преждевременными... теперь же, повидимому, эти самые восторги вполне своевременны...» («В среде умеренности и аккуратности», «Тряпичкины-очевидцы»).

126) Л. «О нашей аграрной программе», т. VII, стр. 171.

«Социал-демократы на основании такого анализа (т. е. классового, в противоположность социал-революционерам, идеализирующим якобы революционные, первобытно демократические настроения крестьянства.— *Е. М.)* утверждают, что все крестьянство вряд ли может солидарно итти дальше требования возвращения отрезных земель, так как за пределами такого аграрного преобразования неизбежно выступит ярко антагонизм сельского пролетариата и «хозяйственных мужичков».

126) «Хозяйственный мужичек» см. пп. 7—13.

127) Л. «Европейский капитализм и самодержавие», т. VII, стр. 179.

«Перед нами происходит то, что можно назвать спекуляцией международной буржуазии на избавление России от революции и царизма от полного краха. «Спекулянты оказывают давление на царя путем отказа в займе. Они пускают в ход свою силу — силу денежного мешка. Они хотят умеренного и аккуратного буржуазно-конституционного (или якобы конституционного) порядка в России».

127) «Умеренный и аккуратный» см. п. 25.

128) Л. «Конституционный базар», т. VII, стр. 238.

Дав классовую оценку булыгинской конституции с ее проектом создания двух учреждений: 1) Государственного совещания и 2) Государственного собрания с преобладанием представительства поместного дворянства и полным отстранением рабочих, Ленин делает заключение: «царские слуги, как видно, не очень-то боятся помещичьего либерализма: они достаточно проницательны, чтобы за этим поверхностным либерализмом рассмотреть глубоко-консервативную социальную природу «дикого помещика».

128) «Дикий помещик». Сказка Щедрина «Дикий помещик» — сатира-шарж на ре-

акционно-оппозиционную группу дворянства, упорных крепостников, которые накануне реформы пытались препятствовать изменению старых порядков, а затем, когда реформа была осуществлена, принимали всяческие меры к ее ослаблению, отстаивая интересы своего класса за счет «давления» на мужика, «сокращения» его. См. п. 79.

129) Л. «Две тактики социал-демократов в демократической революции», т. VIII, стр. 51 («Ликвидация монархического строя и республика»).

Разбирая резолюцию конференции меньшевиков, посвященную вопросу «о завоевании власти и участии во временном правительстве», а именно следующее ее положение: «Временное правительство... взяло бы на себя осуществление задач этой... буржуазной революции»..., Ленин говорит: «Временное революционное правительство есть орган борьбы за немедленную победу революции, за немедленное отражение контрреволюционных попыток, а вовсе не орган осуществления исторических задач буржуазной революции вообще. Предоставим, господа, будущим историкам в будущей «Русской Старине» определять, какие именно задачи буржуазной революции осуществили мы с вами или то или иное правительство,— это дело успеют сделать и через 30 лет, а нам теперь надо дать лозунг и практические указания для борьбы за республику...»

129) Ленинская ирония, брошенная в сторону «Русской Старины» и ее историков, несомненно теснейшим образом связана со щедринскими выпадами против этого журнала, занимавшегося передачей «анекдотов» о подвигах таких героев, как Шешковский, рассказами о «малороссийском борще» (деликатная замена «розги») или описаниями об «особой конструкции кресла» и т. д. в «В среде умеренности и аккуратности», гл. I. Ленин видимо перефразирует следующую цитату из «Писем к тетеньке» (письмо третье): «Тайность сию, мой друг, вы лет через тридцать узнаете из «Русской Старины»... и далее (письмо шестое): «одним только утешаюсь: лет через тридцать я всю эту историю во всех подробностях на страницах «Русской Старины» прочту...»

130) Там же, т. VII, стр. 74.

«Идеально-умеренный и аккуратный г. Струве».

130) «Умеренный и аккуратный» см. п. 25.

131) Там же, стр. 76.

«Освобожденство и Новоискровство».

Полемизируя с «Новой Искрой» по вопросу о «вооруженном восстании», Ленин приводит три постановки вопроса о «вооружении» в наиболее авторитетных для масс свободных органах печати: 1-я постановка: резолюция III съезда Российской социал-демократической рабочей партии, которая признает необходимость вооруженного восстания, считает главной, необходимой очередной задачей организацию и руководство восстанием.

«Постановка вторая. Принципиальная статья в «Освобождении» «вождя русских конституционалистов» (так назвал недавно г-на Струве столь влиятельный орган европейской буржуазии, как «Франкфуртская Газета») или вождя русской прогрессивной буржуазии. Мнение о неизбежности восстания им не разделяется. Конституция и бунт — специфические приемы неразумного революционера. Республиканизм — *метод оглушения*. Вооруженное восстание—вопрос собственно только технический, тогда как «самое основное, самое нужное дело»—массовая пропаганда и подготовка социально психологических условий...»

131) «Метод оглушения» по Щедрину — смягченный метод устрашения, изменяемый сообразно либеральным эпохам.

«Дабы оглушение не противоречило идеям современного человеколюбия, необходимо, чтобы оно имело характер преимущественно нравственный. Ежели я человека посредством искусно комбинированной системы воспрещения и сокрытий отвлеку от предметов, кои могут излишне пленять его любознательность или давать его мысли несвое-

временный полет, то этим я уже довольно много сделаю... При таковом согласии реформы примут течение постепенное и вполне правильное. При наступлении благоприятного времени начальство, конечно, и без сторонних побуждений издаст потребную по обстоятельствам реформу, но оная уже будет встречена без сомнения, ибо всякому будет известно, что вслед затем последуют года, кои имеют быть употреблены на то, чтобы ставить той реформе знаки препинания. Что, кроме системы нравственного оглушения, может дать такой, превышающий всякие ожидания, результат?»... Многие восстают против этой системы, находя ее недостаточно человеколюбивою и прогрессивной, но это говорят люди, которые, очевидно, знакомы с системой поверхностно или по слухам. Я же, напротив того, утверждаю: оглушение не токмо не противно либерализму, но и составляет необходимейшее от оного отдохновение...»

(«Дневник провинциала в Петербурге», гл. III «Проект о необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств».)

«Метод оглушения» встречается и во многих других произведениях Щедрина.

132) Л. Письмо С. И. Гусеву. от 20/IX 1905 г. Т. VIII, стр. 207.

О необходимости идейной связи Центрального органа с русскими практиками. «Без этого редакция Центрального органа,—пишет Ленин,—останется висящей в воздухе, не будет знать, воспринимается ли ее проповедь, откликаются ли на нее, как видоизменяет ее жизнь, какие нужны поправки, дополнения. Без этого социал-демократы опустятся до того, что писатель будет пописывать, а читатель почитывать».

132) «Писатель будет пописывать, а читатель почитывать» см. п. 96.

133) Л. «От обороны к нападению», т. VIII, стр. 233.

Об успехах рижского революционного восстания: «Это — настоящая победа после сражения против вооруженного с ног до головы врага. Это уже не заговор против какой-нибудь ненавистной персоны, не акт мести, не выходка отчаяния, не просто «*устрашение*»,— нет, это обдуманное и подготовленное, рассчитанное с точки зрения соотношения сил начало действий отрядов революционной армии».

133) «Устрашение» см. п. 111.

134) Л. «Буржуазия сытая и буржуазия алчущая», т. VIII, стр. 267.

Характеризуя контрреволюционные настроения буржуазии, Ленин говорит о буржуазных демократах, что они «уже отшатываются»[35] от революции при одном только виде того, что рабочие и крестьяне действительно поднимаются на действительную борьбу, желая сражаться, а не только быть сражаемыми».

134) Выражение: «не столько сражающимся, сколько сражаемым» взято Лениным из «Истории одного города» Щедрина.

Градоначальник города Глупова, грузин Миколадзе, застигнутый местным казначеем ночью в комнате его жены, во время драки, по выражению Щедрина, «не столько сражался, сколько был сражаем».

135) Л. «Помещики о бойкоте Думы», т. VIII, стр. 271.

«Первое правило военного искусства: бежать во-время » (ей-богу, так и сказал рыцарь тверского либерализма! А еще смеются либералы над Куропаткиным). «Бойкот будет в том случае, если мы, войдя в Думу, первое постановление сделаем: «мы уходим. Это не настоящее правительство, без которого вы все же уже не можете обойтись. Дайте нам настоящее». Это будет настоящий «бойкот». (Ну, конечно! сказать «дайте!» — разве может быть что-нибудь более «настоящее» для земского Балалайкина?»).

135) О Балалайкине см. п. 60.

136) Л. «Первые итоги политической группировки», т. VIII, стр. 335.

Ленин говорит о легальной печати, писавшей эзоповским языком за бойкот против Думы.

137) Л. «Партийная организация и партийная литература», т. VIII, стр. 386.

Вспоминая трудности, которые пришлось переживать старой литературе, говорившей эзоповским языком, нередко объединявшей разнородные взгляды, Ленин восклицает: «Проклятая пора эзоповских речей, литературного холопства, рабьего языка, идейного крепостничества! Пролетариат положил конец этой гнусности, от которой задыхалось все живое и свежее на Руси».

137) В «Недоконченных беседах», гл. IV Щедрин пишет: «Привычке писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть ее с лица земли. Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала к обманным средствам. Она и сама преисполнилась рабьим духом и заразила тем же духом читателей. С одной стороны, появились аллегории, с другой — искусство понимать эти аллегории, искусство читать между строками. Создалась особенная рабская манера писать, которая может быть названа эзоповскою — манера, обнаруживающая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств». Об иносказательном рабьем языке см. «Письма к тетеньке» (письмо одиннадцатое) и многие другие произведения Щедрина. См. также об «эзоповском языке» п. 29.

138) Л. «Партийная организация и партийная литература», т. VIII, стр. 388.

«За всей этой работой (т. е. за издательствами, складами, магазинами, читальнями, библиотеками, разной торговлей книгами и т. д.) должен следить организованный социалистический пролетариат, всю ее контролировать, во всю эту работу, без единого исключения, вносить живую струю живого пролетарского дела, отнимая, таким образом, всякую почву у старинного, полуобломовского, полуторгашеского российского принципа: «писатель пописывает, читатель почитывает...»

138) «Писатель пописывает, читатель почитывает» см. п. 96.

1906 г.

139) Л. «Пересмотр аграрной программы рабочей партии», т. IX, стр. 69, «Главная ошибка тов. Маслова».

Критика проекта аграрной программы Маслова.

«В самом деле, всмотритесь внимательнее в самый сильный (третий) довод, которым можно защищать масловский проект. Этот довод гласит: национализация усилит власть буржуазного государства, тогда как муниципальные и вообще местные органы такого государства бывают более демократичны, не обременены расходами на армию, не выполняют непосредственно задач полицейского угнетения пролетариата и проч. и т. д. Легко видеть, что этот довод предполагает не вполне демократическое[35] государство, именно такое, где как-раз самый важный пункт, центральная власть, сохраняет наибольшую близость к старым военно-бюрократическим порядкам, где местные учреждения, будучи второстепенными и подчиненными, лучше, демократичнее центральных учреждений, т. е. этот довод предполагает недоведенный до конца демократический переворот[35]. Этот довод молчаливо[35] предполагает нечто среднее между Россией эпохи Александра III, когда земства были лучше центральных учреждений, и Францией эпохи «республики без республиканцев»[36], когда реакционная буржуазия, напуганная усилением пролетариата, создала антидемократическую «монархическую республику» с центральными учреждениями, которые гораздо хуже местных, менее де-

мократичны, более пропитаны духом военщины, бюрократизма, полицейщины...» И далее (стр. 70): «В самом деле, если предположить государство с центральной властью, более реакционное, чем местные власти, государство вроде третьей французской республики без республиканцев, то прямо смешным становится допущение мысли о возможности уничтожить помещичье землевладение при таком государстве или хотя бы удержать при нем осуществленное революционным натиском уничтожение помещичьего землевладения».

139) «Республика без республиканцев» — так иронически называл Щедрин французскую буржуазную республику «с сытым буржуа во главе, в тылу и во флангах, с скульптурно обнаженными женщинами, с порнографическою литературой, с изобилием провизии и bijoux и с бесчисленным множеством cabinets particuliers, в которых денно и нощно слагаются гимны адюльтеру... Буржуа так... плотно засел в своей сытости и так прочно со всех сторон окопался, что отныне уже никакие «приключения» не настигнут его... Теперь у него своя собственная республика, республика накопления богатств и блестящих торговых балансов, республика, в которой не будет ни «приключений», ни... «горизонтов» и которая «держится упорно, несмотря на одну великую, две средних и одну малую революцию» («За рубежом», гл. IV).

140) Л. «Пересмотр аграрной программы рабочей партии», т. IX, стр. 71.

Продолжение критики проекта аграрной программы Маслова.

Ленин считает предположения Маслова о существовании муниципально-демократической автономии с распространением этой автономии на уничтожение помещичьего землевладения при реакционной центральной власти неподражаемым образчиком наглядных несообразностей или бесконечной политической наивности.

«Ведь сосуществование в таких государствах реакционной центральной власти и сравнительно «демократических» местных учреждений, земств, муниципиальных правлений и т. п., объясняется единственно исключительно тем, что эти местные учреждения занимаются безвредным для буржуазного государства[35] «лужением умывальников»[36], водоснабжением, электрическими трамваями и т. под. мероприятиями, неспособными подорвать *основ* того, что называется «существующим общественным порядком».

Было бы ребяческой наивностью распостанять наблюдения, произведенные над деятельностью земств по водоснабжению и освещению, на возможную «деятельность» их по уничтожению помещичьего землевладения. Это было бы все равно, как если бы выбранная сплошь из социал-демократов городская дума «какого-нибудь французского пошехонья вознамерилась «муниципализировать» по всей Франции частную собственность на застроенную частными зданиями землю. В том-то и дело, что мера, уничтожающая помещичье землевладение, отличается немножечко по характеру своему от мер по улучшению водоснабжения, освещения, ассенизации и т. п. В том-то и дело, что первая «мера» «затрагивает» самым дерзким образом коренные основы *всего* «существующего общественного порядка», колеблет и подрывает эти основы с гигантской силой, облегчает натиск пролетариату на весь буржуазный строй в невиданных в истории размерах. Да, тут всякое буржуазное государство прежде всего и больше всего должно будет позаботиться о сохранении основ буржуазного господства: все права и привилегии по части автономного лужения умывальников будут в один миг уничтожены...»

140) «Лужение умывальников» см. «Письма к тетеньке» (письмо пятое).

«Что земские люди были призваны для лужения рукомойников и для починки мостов — это они поняли вполне правильно, но дело в том, что лудить можно двояко:

или с предвзятым намерением, или чистосердечно, без намерения... Я знал, что земцы невинны, что они лудят от чистого сердца и ровно ничего не посевают, но мог ли я это доказывать? — Нет, ибо доказывая я рисковал двояко: или впасть в иронический тон, а следовательно обидеть наши «неокрепшие молодые учреждения» или же предпринять серьезную защиту лудильщиков и в таком случае попасть в число их сообщников и укрывателей... Едва только занялись Дракины вплотную лужением больничных рукомойников (в этом собственно и состояла их «задача», так как «бесплодная» бюрократия даже с лужением справиться не могла!), как вдруг пошли слухи, что этим самым они посевают в обществе недовольство существующими порядками и даже подрывают авторитеты».

«Французского пошехонья» см. п. 98.

141) Л. «Победа кадетов и задачи рабочей партии», т. IX, стр. 85. «Какое объективное значение имело наше участие в выборах в Думу?»

«Итак, для чего же участвовать в выборах и как участвовать в выборах, тов. Плеханов? Не для революционного самоуправления, которое только «сбивает с толку» (выражение Плеханова.— *Е. М.*). Значит, для участия в Думе? Но тут на Плеханова нападает сугубая робость. Он не хочет отвечать, а так как $n+1$ товарищей из России, желающих не только «почитывать» дневники «пописывающего» писателя, но и действовать как-нибудь определенно среди рабочей массы, так как эти $n+1$ назойливых корреспондентов требуют от него точного ответа, то Плеханов начинает сердиться».

141) «Почитывать пописывающего писателя» см. п. 96.

142) Л. «Победа кадетов и задачи рабочей партии» («Что такое представляет из себя партия народной свободы?»), т. IX, стр. 94—95.

«...К чему борьба, зачем междуусобицы?—говорит Иудушка-кадет, вознося очи горе и укоризненно поглядывая и на революционный народ и на контрреволюционное правительство. — Братия! Возлюбим друг друга! Пусть будут и волки сыты и овцы целы и монархия с верхней палатой неприкосновенны и «народная свобода» обеспечена.

Лицемерие этой кадетской принципиальной позиции бьет в глаза, фальш «научных» (профессорски-научных) доводов, которыми она защищается, поразительна... Но эти милые черты еще яснее, пожалуй, чем на кадетской программе, сказываются и на кадетской тактике... «Соглашатель» трусливо прячется, когда борьба разгорается. Когда победил революционный народ (17 окт.), «соглашатель» вылезает из норы, хвастливо охорашивается, языкоблудствует во всю и кричит до исступления: то была «славная» политическая забастовка. Когда побеждает контрреволюция — соглашатель начинает осыпать побежденных лицемерными увещаниями и назиданиями».

142) «Иудушка» см. п. 32.

143) Там же, т. IX, стр. 96.

«Пусть за конституционную почву борется пролетариат, а на конституционной почве, поскольку она держится, хотя бы на трупах перебитых в восстании рабочих, пусть играют в парламентаризм игрушечного дела людишки — такова имманентная тенденция буржуазии, и партия кадетов эта очищенная, облагороженная, сублимированная, надушенная, идеализированная, подслащенная персонификация общебуржуазных стремлений, действует в указанном направлении с замечательной неуклонностью».

143) См. сказку Щедрина «Игрушечного дела людишки», где Щедрин словами Изуверова дает им следующую характеристику: «Так вот как поживешь этта с ними: ума у них — нет, поступков — нет, желаний — нет, а наместо всего — одна видимость. ну и возьмет тебя страх, того гляди, зарежут... Взглянешь кругом: все-то куклы! везде-то

куклы! не есть конца этим куклам! Мучат! тиранят! в отчаянность, в преступление вводят! Верите ли, иногда думается: господи! кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть! Сидишь посреди этой немоты и думаешь: господи! да куда же настоящие люди попрятались?.. Настоящий человек — он вперед глядит. Он и боль всякую знает, и огорчение понять может и страх имеет. Осмотрительность в нем есть. А у куклы — ни страху, ни боли — ничего. Живет, как забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей, живет душу изнимает — и шабаш!»

144) Л. Там же, «Роль и значение кадетской Думы», т. IX, стр. 112.

Ленин говорит о кадетской Думе, которая в случае подавления восстания, получив от правительства, уставшего от борьбы, «добрую половину» власти... «Усядется за пирог и примет резолюцию сожаления по поводу «безумства» вооруженного восстания в такой момент, когда действительное конституционное устройство было, дескать, так возможно, так близко».

144) О «пироге» см. пп. 62—64.

145) Л. «Доклад об объединительном съезде», т. IX, стр. 214.

«Меньшевики убедились, что им плохо пришлось бы на практике «с такой умеренной и аккуратной оценкой задачи восстания», какую дал Плеханов».

146) Там же, стр. 225.

«Любое увлечение квази-конституционализмом,— любое преувеличение кем бы то ни было «положительной» роли Думы, — любые призывы крайних правых социал-демократии к умеренности и аккуратности,— у нас в руках есть сильнейшее оружие против них...»

145—146) См. п. 25.

147) Л. «Как рассуждает т. Плеханов о тактике с.-д.?», т. IX, стр. 307.

Полемика с Плехановым. «Разоблачение кадетов, тов. Плеханов, это и есть подготовка сознания широких народных масс к этому падению, к активному участию в нем, к отстранению кадетов «от пирога» во время него, к смелой и бодрой подготовке к нему».

147) О «пироге» см. пп. 62—64.

148) Л. «Смелый натиск и робкая защита», т. IX, стр. 405.

О правительственном обращении к народу 3 июля (20 июня), явившимся по существу боевым манифестом контрреволюции.

«Это — настоящее объявление войны революции. Это — настоящий манифест реакционного самодержавия к народу: не потерплю! сокрушу!»

Теперь кадеты и всецело полоненные ими на этот раз трудовики собрались отвечать на вызов правительства. Сегодня опубликованы проект кадетский и проект трудовиков. Какое несчастное поистине жалкое впечатление производят оба эти проекта!

Реакционная камарилья не стесняется рвать закон и объявлять формальную *частичку* правительства за реальное целое правительства. Кадеты и трудовики, как щедринские премудрые пискари, прячутся под лопухи закона: нас бьют беззаконием, хныкают эти, извините за выражение, «народные» представители, а мы защищаемся законом!»

148) «Не потерплю! сокрушу!» — наиболее распространенные способы «устрашения», употребляемые щедринскими помпадурами и градоначальниками для водворения так называемого «порядка». См. «Историю одного города», «Органчик», градоначальник Брудастый, умевший только произносить слова: «не потерплю!», «раззорю!» См. также «Помпадуры и помпадурши», гл. VI.

«Щедринские премудрые пискари» см. «Сказки» Щедрина, «Премудрый пискарь». См. ниже п. 155.

149) Л. «Эсеровские меньшевики», т. X, стр. 70.

О Пошехонове и К°, считающих, что «умеренность и аккуратность нужны и в средствах борьбы, и в способе организации».

149) «Умеренонсть и аккуратность» см. п. 25.

150) Л. Там же, стр. 71.

О подлаживании эсеровских оппортунистов Пошехоновых и К° к интересам «хозяйственного мужичка».

151) Там же, стр. 71.

«Какой же вывод должен был сделать тот, для кого социализм не пустая фраза, из этих слов разумного, выбранного «массой» хозяйственного мужичка?»

152) Там же, стр. 73.

«Кадетам нужна монархия для защиты крупной буржуазии. «Трудовикам социалистам» нужна монархия для защиты хозяйственных мужичков».

150—152) «Хозяйственный мужичек» см. п. 3.

153) Л. «Партизанская война», т. X, стр. 86.

«Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самодовольно заявляющих: мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя: понимают ли эти люди, что они говорят? По всей стране идут вооруженные стычки и схватки черносотенного правительства с населением. Это явление абсолютно неизбежное на данной ступени развития революции. Население стихийно, неорганизованно — и именно поэтому часто в неудачных и *дурных* [38] формах — реагирует на это явление тоже вооруженными стычками и нападениями. Я понимаю, что мы в силу слабости и неподготовленности нашей организации можем отказаться в данной местности и в данный момент от партийного руководства *этой* [38] стихийной борьбой. Я понимаю, что этот вопрос должны решать местные практики, что переработка слабых и неподготовленных организаций дело не легкое. Но когда я вижу у теоретика или публициста социал-демократии не чувство печали по поводу этой неподготовленности, а горделивое самодовольство и нарциссовски-восхищенное повторение заученных в ранней молодости фраз об анархизме, бланкизме, терроризме, тогда мне становится обидно за унижение самой революционной в мире доктрины».

153) «Нарциссовски-восхищенное повторение заученнных в ранней молодости фраз» см. п. 108.

1907 г.

154) Л. «Подделка правительством Думы и задачи социал-демократии», т. X, стр. 211.

«Теперь контрреволюция собралась с силами и она поступает вполне правильно с своей точки зрения, ломая конституцию (которой могли верить только наивные кадеты). Люди реакции — не чета либеральным Балалайкиным. Они люди дела. Они видят и знают по опыту, что самомалейшая свобода в России ведет неизбежно к подъему революции».

154) «Балалайкин» см. п. 60.

155) Там же, т. X, стр. 213.

Рассматривая тактику социал-демократии по отношению к правительственной реакции, к попыткам правительства «подделать» Думу, Ленин останавливается на характеристике позиции меньшевиков, которые, с одной стороны, считают необходимым «использование пролетариатом кадетской полусвободы» [37], т. е. таким образом считают возможным заключение с ними блока, с другой стороны, отказываясь признать октябристов конституцио-

налистами, в то же время готовы считать мирнообновленцев за прогрессистов. «Не правда ли хорошо? — пишет по этому поводу Ленин.— Октябристов мы отказываемся называть конституционалистами за то, что черные допускают блок с ними. А мирнообновленцев мы называем прогрессивными, несмотря на то, что октябристы допускают блок с ними.

О, премудрые пискари пресловутой прогрессивной «интеллигенции»!

Защита интеллигентскими радикалами мирнообновленцев, поворот центрального органа партии к.-д. к мирному обновлению тотчас после инструкции *о бланках*, это все — *типичные* образчики *либеральной* тактики. Правительство шаг вправо, — а мы два шага вправо! Глядишь — мы опять легальны и мирны, тактичны и лойяльны, приспособимся и без бланков, приспособимся всегда применительно к подлости!»

155) «Премудрые пискари» см. сказку Щедрина «Премудрый пискарь», в которой под видом исполненного панического страха, дрожащего за свою жизнь премудрого пискаря Щедрин изображает напуганную реакцией либерально-буржуазную интеллигенцию.

«Применительно к подлости» — сказка Щедрина «Либерал», в которой дается эволюция развития российского либерализма, начавшего клянчить у правительства реформ сначала «по возможности», затем «хоть что-нибудь» и наконец «применительно к подлости». См. п. 26.

156) Л. «Как относятся к выборам в Думу партии буржуазные и партия рабочая», т. X, стр. 233.

«...Вся предвыборная кампания за кадетов направлена на запугивание массы черносотенной опасностью, на запугивание массы опасностью от крайних левых партий, на приспособление к обывательщине, к трусости и дряблости мещанина, на уверение его в том, что кадеты всего безопаснее, всего скромнее, всего умереннее, всего аккуратнее. Ты испугался, обыватель? — спрашивают читателя каждый день кадетские газеты.—Положись на нас! Мы не будем тебя пугать, мы против насилий, мы покорны правительству, положись только на нас, и мы все для тебя устроим «по возможности». И за спиной запуганных обывателей кадеты пускают в ход все уловки, чтобы уверить правительство в своей лойяльности, уверить левых в своем свободолюбии, уверить мирнообновленцев в своей близости к их партии и к их бланкам».

156) «Всего умереннее, всего аккуратнее» см. п. 25.

157) Л. «Плеханов и Васильев», т. X, стр. 238.

Ленин полемизирует с меньшевиками, в частности с Васильевым, одобрившим предложение Плеханова об общей платформе с.-д. и к.-д. и назвавшим это предложение «мужественным окликом». «Похлопывая по плечу «Плехановых», Васильевы ставят точки над и... Васильевы говорят о революции, которая должна родить «конституцию», и только родить без *всяких* акушеров, без революционеров. *Отсутствие* [38] акушеров, отсутствие революционеров, отсутствие революционного народа—вот лозунг Васильева.

Щедрин классически высмеял когда-то Францию, расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами банкиров, как республику без республиканцев. Пора родиться новому Щедрину, чтобы высмеять Васильева и меньшевиков, защищающих революцию посредством лозунга «отсутствие» революционеров, «отсутствие» революции. В праве ли мы *так* [38] толковать «выступление» Васильева? В праве ли мы ставить с ним рядом меньшевиков? Конечно да! Вся статья, все мысли, все предложения

Васильева пропитаны насквозь «планом» помочь родить конституцию посредством убиения революции». «Расстаться на время» со всеми программами вообще, слить всех с.-д. и с.-р. и т. п. с кадетами в одну либеральную партию, соединить всех в борьбе за «политическую конституцию», «без одновременного решения экономических программ». И далее там же, стр. 239: «Революция в настоящем серьезном значении *немыслима*[38] без «решения экономических программ».

...Выкинуть экономические программы... значит выкинуть экономические интересы, толкающие на великую, невиданно-самоотверженную борьбу массы забитого, запуганного, темного народа. Это значит — выкинуть массы, оставить шайку интеллигентских языкоблудов и заменить социалистическую политику либеральным языкоблудием».

157) «Республика без республиканцев», «За рубежом», гл. IV. См. п. 139.

158) Там же, т. X, стр. 241.

Полемика со Струве, который благодаря «Плехановым в Васильевском смысле» говорил на собраниях в Соляном городке 9 января, что «все нынешние противники к.-д. будут в недалеком будущем кадетами, а удел неисправимых большевиков попасть в исторический музей».

«...Ваше место в музее, почтеннейший г. Струве, — место ликующих и празднаболтающих[39] в моменты торжества контрреволюции. В такие моменты вы всегда будете иметь повод ликовать — ликовать вследствие того, что революционеры пали, сраженные в борьбе, и сцена принадлежит либералам, которые пали добровольно, легли ниц перед врагом, чтобы ползком ползти «применительно к подлости».

158) «Применительно к подлости» см. п. 155.

159) Л. «Социал-демократия и выборы в Думу», т. X, стр. 260 (Вопрос о разделении конференции).

Ленин считает совершенно незаконным требование ЦК партии, состоящего из преобладающего числа меньшевиков, о разделении конференции на городскую и губернскую. «ЦК настолько чувствовал несостоятельность своего требования, что в *письменном общем*[40] постановлении выразился очень осторожно. Общее постановление ЦК *рекомендует*[40] всем партийным организациям *«по возможности»*[40] *(буквальное выражение!)* приноровлять рамки организации к рамкам избирательных округов...»

160) Там же, стр. 261.

Продолжение критики тактики ЦК.

«Только очень наивные люди могут не замечать белыми нитками сшитой подкладки всего происшествия. Только очень наивные люди могут говорить: надо было все же попробовать разделиться «приблизительно», «по возможности».

159—160) «По возможности» — Ленин вероятно намекает на щедринское выражение «по возможности», употребленное в сказке «Либерал» применительно к соглашательской тактике либералов. См. п. 26.

161) Л. «Услышишь суд глупца...», т. X, стр. 278.

Ленин полемизирует с трудовиками. «...Вы совершенно так же боретесь с «черносотенной опасностью», как французские буржуазные республиканцы борются с монархической опасностью: именно — посредством укрепления монархических учреждений и монархической конституции в республике...» и далее: «Перейдем к вопросу о победе тех или иных партий на голосовании в Петербурге при данной избирательной системе.

Трудовики не могут отрицать, что правые партии сильно скомпрометированы, что союз 17 октября терпит поражение, одно позорнее другого, что

«в последнее время октябристы совсем притихли, ошеломленные тяжелыми ударами слева», что «общество полевело».

Но... Щедрин давно уже переводит на общепонятный язык это либеральное российское «но» — не растут уши выше лба, не растут! — *но*[40] «технические затруднения», «не посылают литературы», «не дают бюллетеней», «полицейские стеснения»...

Вот она психология российского интеллигента: на словах он храбрый радикал, на деле он подленький чиновник».

161) «Щедринское «но» см. п. 1.

162) Л. Там же, т. X, стр. 284—285.

Характеризуя политическую позицию трудовиков, Ленин усматривает два крыла Трудовой группы: революционное и оппортунистическое; по его мнению, это вытекает из сопоставления двух аграрных проектов—104-х и 33-х. «Общего между этими проектами, 1) то, что они стоят за переход земли от помещиков к крестьянам; 2) то, что они пропитаны насквозь духом мелкобуржуазной утопии, утопии «поравнения» мелких хозяев (хотя бы в известном отношении) в обществе товарного производства».

«Различие этих проектов состоит в том, что первый проникнут боязнью[40] мелкого собственника произвести слишком крутой переворот, втянуть в движение слишком большие и слишком бедные массы народа. Превосходно выразил этот «дух» проекта 104-х один из авторов и лидеров его эн-эсов г. Пешехонов, сославшийся на заявление «хозяйственных мужичков» в Думе: «нас послали получить землю, а не отдать ее». Это значит, что наряду с утопией мелкобуржуазного поравнения у *этого*[40] крыла трудовиков ясно выражены *корыстные*[40] интересы *более зажиточной*[40] части крестьянства, боящейся, как бы ей не пришлось «отдавать» (при предположении всеобщего «поравнения», как мыслит себе социализм мелкий буржуа). Взять у помещика, но не отдать пролетарию,— вот лозунг партии хозяйственных мужичков».

«Проект же 33-х предлагает немедленную и полную отмену частной собственности на землю. «Поравнительная» утопия здесь тоже есть и в таком же масштабе, но боязни «отдать» нет. Это — утопия не оппортунистического, а революционного мелкого буржуа, не хозяйственного мужика, а разоренного мужика, не мечта нажиться от помещика на счет пролетария, а мечта облагодетельствовать всех, и пролетариев в том числе, посредством поравнения».

162) «Хозяйственный мужичек» см. пп. 7—13.

163) Л. «Предисловие к русскому переводу писем Маркса», т. X, стр. 365—366.

Ленин сопоставляет тактику меньшевиков, в частности Плеханова, оценившего русскую революцию 1905 г. малодушным восклицанием: «Не надо было браться за оружие!» с тактикой Маркса, умевшего ценить историческую инициативу масс. «Маркс, назвавший в сентябре 1870 г. восстание безумием, в апреле 1871 г., видя народное массовое движение, относится к нему с величайшим вниманием участника великих событий, знаменующих шаг вперед во всемирно-историческом революционном движении... Преклонение глубочайшего мыслителя, предвидевшего за полгода неудачу, перед *исторической инициативой*[40] масс, — и безжизненное, бездушное, педантское: «не надо было браться за оружие». Разве это не небо и земля?..

...Сколько бы слез, снисходительного смеха или сострадания пролили всякие человеки в футляре по поводу бунтарских тенденций, утопизма и проч. и проч. по поводу этой оценки к небу рвущегося движения!



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)

Портрет маслом Н. Н. Крамского, 1879 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград

А Маркс не проникся премудростью пискарей, боящихся обсуждать *технику* [40] высших форм революционной борьбы. Он обсуждал именно *технические* [40] вопросы восстания. Оборона или наступление? говорит он, как если бы военные действия шли под Лондоном. И он решает: непременно наступление, «*надо было сейчас же итти на Версаль*» [40].

163) «Премудростью пискарей», т. е. трусостью буржуазно-либеральной интеллигенции, политическую тактику которой Щедрин изображает под видом «дрожания» премудрого пискаря в сказке «Премудрый пискарь».

164) Л. «Мягко стеляют, да жестко спать», т. XI, стр. 131.

О дебатах в Государственной думе по аграрным вопросам, главным образом об отношении к помещичьей земельной собственности различных политических партий. Ленин останавливается на полемике с представителем кадетской партии Кутлером, который, сочувствуя мужику на словах, ограничивает мужицкие требования на деле, иначе говоря, за мужика—на словах, за помещика—на деле. Всю эту тактику увиливания, зубозаговаривания Ленин объясняет тем, что «либеральный чиновник, который всю жизнь «картинно спину гнул свою» [41], *не может себе представить* [42] таких политических условий, когда бы законодательная власть принадлежала представителям народа. Обыкновенно бывает так, — намекает наш милый либерал, — что власть принадлежит кучке помещиков над народом.

Да, так бывает. Так обстоит дело в России. Но ведь речь идет о борьбе за народную свободу. Обсуждается именно вопрос о том, *как изменить* экономические и «политические условия» помещичьего государства. А вы *возражаете* [42] ссылкой на то, что теперь власть у помещиков, и что надо ниже гнуть спину...

«Не растут уши выше лба, не растут!»

И г. Кутлер длинно-предлинно говорит о том, что вместо «неосуществленной национализации нужно только расширение крестьянского землепользования»... ...Такова логика либерала».

164) «Не растут уши выше лба, не растут». Этой общеупотребительной народной пословице Щедрин придал особое политическое значение, обозначив ею «скромную», ограниченную политическую тактику либералов. См. п. 1.

165) Л. «Дума и утверждение бюджета», т. XI, стр. 133.

«Дума должна раскрыть глаза народу на все приемы того организованного хищничества, того систематического беззастенчивого разграбления народного достояния кучкой помещиков, чиновников и всяких паразитов, которое называется «государственным хозяйством» России. Разъяснить это с думской трибуны значит помочь народу в борьбе за «народную свободу», о которой так много говорят Б а л а л а й к и н ы российского либерализма».

165) «Балалайкин» см. п. 60.

166) Л. «Торжествующая пошлость или кадетствующие эс-эры», т. XI, стр. 158—160.

Полемика с кадетами.

«Кадетская «Речь» восхваляет тактику «бережения Думы» в таких выражениях, которые следовало бы увековечить, как перл пошлости. Послушайте только: «ведь если Дума живет, то это и есть сознательный плод *ваших* [42] (оппозиции) усилий. Это есть первый обязательный результат вмешательства вашей воли в события. Это *отсутствие* [42] *фактов* и есть само по себе факт величайшей важности, есть исполнение вами задуманного и проведенного плана».

Жаль, что не дожил Щ е д р и н до «великой» российской революции. Он прибавил бы, вероятно, новую главу к «Г о с п о д а м Г о л о в л е в ы м», о н и з о б р а з и л б ы И у д у ш к у, который успокаивает высеченного, изби-

того, голодного, закабаленного мужика: ты ждешь улучшения? Ты разочарован отсутствием перемен в порядках, основанных на голоде, на расстреливании народа, на розге и нагайке? Ты жалуешься на «отсутствие фактов»? Неблагодарный! Но ведь это отсутствие фактов и есть факт величайшей важности! Ведь это сознательный результат вмешательства твоей воли, что Лидвали попрежнему хозяйничают, что мужики спокойно ложатся под розги, не предаваясь зловредным мечтам о «поэзии борьбы».

Черносотенцев трудно ненавидеть: чувство тут уже умерло... Но кадетский Иудушка Головлев способен внушить самое жгучее чувство ненависти и презрения. Ведь этого «либерального» помещика и буржуазного адвоката слушают, слушают даже крестьяне... Бороться словом, пером против контрреволюции — значит прежде всего, больше всего разоблачать тех отвратительных лицемеров, которые во имя «народной свободы» во имя «демократии» воспевают политический застой, народное молчание, забитость превращенного в обывателя гражданина, «отсутствие фактов». Бороться надо с этими либеральными помещиками и буржуазными адвокатами, которые вполне довольны тем, что народ молчит и что они могут безнаказанно, безбоязненно корчить из себя «государственных мужей», проливая елей умиротворения на тех, кто «бестактно» возмущается господством контрреволюции».

Далее Ленин приводит следующую цитату: «День, когда дебаты в Таврическом дворце будут казаться такой же неизбежной принадлежностью дня, как обед днем и театр вечером, когда программа дня будет интересовать не всех вместе, а тех или других специально (!!), когда дебаты об общей политике станут исключением, а упражнения в беспредметном красноречии сделаются фактически невозможны вследствие отсутствия слушателей, — этот день можно будет приветствовать, как день окончательного торжества представительного правления в России».

«Это ты, Иудушка! — восклицает Ленин.—День, когда секомые вместо «дебатов» будут молчать, теряя сознание, когда старая помещичья власть (*подкрепленная*[42] «либеральными» реформами) будет так же обеспечена помещикам, как обеспечен либеральным Иудушкам обед днем, а театр вечером,— этот день будет днем окончательного торжества «народной свободы». День, когда контрреволюция восторжествует окончательно, будет днем окончательного торжества конституции...

...Иудушки стараются очистить себя, доказывая, что и среди левых партий были и есть сторонники «бережения». К счастью на этот раз среди сбитых с толку Иудушек фигурирует не эс-дек, а эс-эр. Кадеты цитируют места из таммерфорской речи какого-то эс-эра, зовущего к «сотрудничеству» с кадетами, оспаривающего своевременность и надобность борьбы с ними...

Мы знаем *резолюцию*[42] последнего съезда эс-эров, а не отдельную речь,— и резолюция эта *действительно выражает*[42] отупление мелкого буржуа, которого заговорил либеральный Иудушка...

Будет ли политически убит иудушкиным поцелуем какой-то эсеровский вождь, — это нам не интересно, но *кадетская резолюция*[42] эсеровского съезда должна быть тысячу раз освещена перед рабочими,— для предостережения шатких эс-деков, для разрыва всякой связи между пролетариатом и якобы революционными эс-эрами».

166) Во всей статье оригинально используется щедринская тема о лицемерии, олицетворенном в Иудушке Головлеве (см. п. 32), но уже в более позднюю эпоху, когда бывшие крепостники, теперь же буржуазные помещики, прикрываясь лицемерным сочувствием к народу, выступили на политическую арену для защиты своих классовых интересов, положив в основу своей политической деятельности свойственное напуганному развитием революционного движения помещику либеральное лицемерие.

167) Л. «Дума и русские либералы», т. XI, стр. 191.

Ленин останавливается на статье г. Ф. Маловера («Товарищ» от 21/IV) «Дума и общество». Особенное внимание Ленин обращает на выражение: «А что выиграл бы от этого (т. е. от погибели Думы) народ, кроме нового избирательного закона?» В замене слова «общества», в котором либералы видят поддержку извне, отношение масс, словом «народ» Ленин усматривает преднамеренную подделку и высказывается по этому поводу: «Но как ни тонка была эта подделка, а все же сорвалось: пришлось от «общества» перейти к «народу». И вся пыль, накопленная в тщательно отгороженных и защищенных от улиц душных и затхлых кабинетах людей из «общества», поднимается столбом, как только приотворяется дверь на «улицу». *Софистика вяленой воблы*, которая мнит себя «интеллигентной» и «образованной», вскрывается воочию».

167) «Софистика вяленой воблы». См. сказку Щедрина «Вяленая вобла», где Щедрин издевается над «теоретической» либеральной болтовней русской буржуазной интеллигенции, по существу сводящейся к благонамеренно-пошлой формуле «уши выше лба не растут».

168) Л. Там же, т. XI, стр. 192.

Продолжение полемики с Маловером.

Защищая «Поход против Думы» левых партий, являющихся подлинными выразителями интересов пролетариата и известной части мелкобуржуазной, сельской и городской массы, Ленин пишет по этому поводу: «Поход против Думы» этих левых партий есть отражение известного течения в народных низах, есть отзвук некоторого массового... ну, скажем, что ли, возбуждения против с а м о д о в о л ь н ы х н а р ц и с с о в, в л ю б л е н н ы х в о к р у ж а ю щ и е и х н а в о з н ы е к у ч и», и именно к таким нарциссам Ленин относит и Ф. Маловера, который пишет, что «психология народных масс для переживаемого периода величина абсолютно неизвестная, и никто не поручится, что эти массы будут иначе реагировать на роспуск второй Думы, чем они реагировали на роспуск первой Думы».

168) «Самодовольные влюбленные нарциссы» — Н. Щедрин. «Признаки времени». «Новый Нарцисс или влюбленный в себя». См. п. 108.

169) Л. «V съезд РСДРП», т. XI, стр. 251.

По поводу меньшевистской резолюции, поставившей вопрос о «реализме» городских буржуазных классов, Ленин делает ироническое замечание: «Выходит, что она хвалит буржуазию за у м е р е н н о с т ь и а к к у р а т н о с т ь!»

169) «Умеренность и аккуратность» см. п. 25.

170) Л. «Аграрный вопрос и «критика Маркса», т. XI, стр. 293.

Критика книги Давида («Социализм и сельское хозяйство»), о которой Ленин говорит, что «это сплошное *замалчивание* [42] мелким буржуа вопроса о «работничках» у х о з я й с т в е н н о г о м у ж и к а».

170) «Хозяйственный мужичек» см. пп. 7—13.

171) Л. «Аграрная программа с.-д. в первой русской революции», т. XI, стр. 352.

«Возьмем программу либеральной буржуазии, т. е. кадетскую. Верные девизу: «Ч е г о и з в о л и т е?» (т. е. чего изволят господа помещики), они в Первой Думе выдвинули одну, во второй — другую программу. Смена программ — для них такое же легкое и незаметное дело, как для всех европейских беспринципных карьеристов буржуазии».

171) «Чего изволите?» см. п. 88.

172) Л. «Аграрная программа с.-д. в первой русской революции», т. XI, стр. 367 («Проверка жизнью главного довода муниципалистов»).

Полемика с Масловым, который в 1905 г. писал, что национализация «прежде всего» безнадежна, утопична, потому, что не согласятся крестьяне [43], а в 1907 г. он же писал: «все народнические группы... высказываются за национализацию земли в той или другой форме» [44]. «Вот вам и новая Вандея! — восклицает Ленин, — вот вам и всероссийское восстание крестьян против национализации!

Но вместо того, чтобы подумать о том смешном положении, в какое попали люди, говорившие и писавшие о крестьянской Вандее против национализации после опыта двух Дум, — вместо того, чтобы поискать объяснения своей ошибки, сделанной еще в 1905 году, П. Маслов поступил как Иван Непомнящий. Он предпочел забыть и цитированные мной слова, и речи на Стокгольмском съезде. Мало того. С такой же легкостью, с которой он в 1905 году утверждал, что крестьяне не согласятся, — теперь он стал утверждать обратное». Это же сравнение П. Маслова с Иваном Непомнящим повторяется в т. XII в статье «Аграрная программа с.-д. в русской революции», стр. 280.

172) «Иван Непомнящий». Под именем Иванов Непомнящих Щедрин изображает ту весьма распространенную категорию «беспринципных» «мелкодушных» журнально-газетных деятелей, у которых в основе их литературно-публицистической деятельности лежат: «ненависть к принципам», к «убеждениям», «вероломство и подвохи» наряду «с лестью и курением фимиамов». «Без идеи, без убеждения, без ясного понятия о добре и зле, — пишет о них Щедрин, — Непомнящий стоит на страже руководительства, не веря ни во что, кроме тех пятнадцати рублей, которые приносит подписчик. Он даже щеголяет отсутствием убеждений, называя последние абракадаброю и во всеуслышание объявляя, что ни завтра, ни послезавтра он не намерен стеснять себя никакими узами... Во имя «уловления подписчика» Иваны Непомнящие с легкостью отказываются от своего туманного «прошлого» и если их «прошедшее имело слегка либеральныый характер», они понимают, что надо эти следы замести хвостом» (Н. Щедрин. «Мелочи жизни», «Газетчик», см. также «Письма к тетеньке», письмо 12-е, «Пестрые письма», гл. XI, «За рубежом», гл. VI).

173) Л. «Аграрная программа с.-д. в первой русской революции», т. XI, стр. 378 («Почему мелкие собственники в России должны были высказываться за национализацию?»).

«благоглупости муниципалистов»

173) См. п. 52.

174) Л., т. XI, стр. 493 (Заключение).

Об эволюции взглядов реакционных черносотенных помещиков, симпатизировавших полуфеодальной общине, но в настоящее время признавших необходимым в интересах помещиков очистить дорогу для капиталистического развития России и во главе со Столыпиным смело решивших соединиться с деревенским кулачеством для того, чтобы повести это развитие по «прусскому» образцу.

«Они не могут поступать иначе в интересах сохранения своего господства, как класса, ибо они сознали необходимость приспособиться к капиталистическому развитию, а не бороться с ним. А для сохранения своего господства им не с кем соединиться, как с «чумазым», с Разуваевым и Колупаевым против крестьянской массы. У них нет иного выхода, как кликнуть клич этих Колупаевым: enrichissez vous! обогащайтесь! Мы дадим возможность вам нажить сотню рублей на рубль, помогите нам спасти основу нашей власти при новых условиях!»

174) «Чумазый». См. «Убежище Монрепо», «Предостережение». «По всей веселой Руси, от Мещанских до Кунавина включительно, раздается один клич: идет чумазый. Идет и на вопрос: «что есть истина?» твердо и неукоснительно ответит: «распивочно и на вынос». См. также о «пришествии» купца Чумазого в «Мелочах жизни» (Введение).

«Разуваевы и Колупаевы». См. Щедрин. «Письма к тетеньке» (1881—1882). «Был у нас когда-то мужик, так на этом мужике нынче Колупаевы и Разуваевы поехали» (письмо пятое). См. также «Убежище Монрепо», «За рубежом», гл. I и др.; см. также п. 1 и др.; см. также п. 14.

175) Л. «Памяти графа Гейдена», т. XII, стр. 8.

«Называть перед народом, публично, убежденным конституционалистом человека, который основывал партию, поддерживавшую правительство Витте, Дубасова, Горемыкина и Столыпина, это все равно, что называть какого-нибудь кардинала убежденным борцом против папы. Вместо того, чтобы учить народ правильному понятию конституции,— вы, демократы, сводите в своих писаниях конституцию к с е в р ю ж и н е с х р е н о м. Ибо не подлежит сомнению, что для контрреволюционного помещика конституция есть именно с е в р ю ж и н а с х р е н о м, есть вид наибольшего усовершенствования приемов ограбления и подчинения мужика и всей народной массы. Если Гейден был убежденным конституционалистом,— значит, Дубасов и Столыпин тоже убежденные конституционалисты, ибо их политику на деле поддерживал и Гейден».

175) «Конституция — севрюжина с хреном» см. п. 42.

176) Л. Там же, т. XII, стр. 9.

«Все свое «образование» Гейден и ему подобные принесли на алтарь служения *помещичьим*[45] интересам. Для действительного демократа, а не для «порядочного» хама из русских радикальных салонов это могло бы послужить великолепной темой для публициста, показывающего *проституирование*[45] образования в современном обществе... ...Еще Н е к р а с о в и С а л т ы к о в учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов, а современный российский интеллигент, мнящий себя хранителем демократического наследства, принадлежащий к кадетской партии или кадетским подголоскам, учит народ хамству и восторгается своим беспристрастием беспартийного демократа. Зрелище едва ли не более отвратительное, чем зрелище подвигов Дубасова и Столыпина...»

177) Л. «Против бойкота», т. XII, стр. 34.

«На русскую соц.-дем. несомненно ложится обязанность самого тщательного и всестороннего изучения нашей революции, распространения в массах знакомства с ее формами борьбы, формами организаций и пр., укрепление революционных традиций в народе, внедрение в массы убеждения, что единственно и исключительно революционной борьбой можно добиться сколько-нибудь серьезных и сколько-нибудь прочных улучшений, неуклонное разоблачение всей низости тех самодовольных либералов, которые заражают общественную атмосферу миазмами «конституционного» низкопоклонства, предательства и м о л ч а л и н с т в а... Нам надо позаботиться,— и кроме нас некому будет позаботиться о том, чтобы народ знал эти полные жизни, богатые содержанием и великие по своему значению и своим последствиям дни гораздо подробнее, детальнее и основательнее, чем те месяцы «конституционного» удушья и Б а л а л а й к и н с к о - М о л ч а л и н с к о г о п р е у с п е я н и я, о которых при благосклонном попустительстве Столыпина и его цензурно-жандармской свиты благовестят так усердно органы нашей

партийно-либеральной и беспартийно-«демократической» (тьфу! тьфу!) печати».

177) Щедринский Молчалин — своеобразное художественное развитие грибоедовского Молчалина, перенесенного Щедриным в другую эпоху, в другие условия, когда Молчалины, почувствовав необходимость, во имя сохранения собственного молчалинского благополучия, вмешиваются в общественную жизнь, в политику, когда они с своей теорией «умеренности и аккуратности», теорией «сдерживания», «необходимости погодить» («Современная идиллия») становятся виднейшими и авторитетнейшими деятелями российского буржуазного либерализма. (См. также «В среде умеренности и аккуратности».)

«Балалайкин» см. п. 60.

«Преуспеяние» — одно из распространеннейших слов Щедрина. См. например «Пестрые письма» — департамент «преуспеяний и прогрессов». «В среде умеренности и аккуратности» — «департамент преуспеяний и препон» («Пошехонские рассказы», «Письма к тетеньке» и мн. др.).

178) Л. «За 12 лет», сборник статей («Два направления в русском марксизме и русской социал-демократии»). Предисловие, т. XII, стр. 57.

«Условия тогдашней литературы, — пишет Ленин о литературе периода 1894—1896 гг., — заставляли социал-демократов говорить э з о п о в с к и м я з ы к о м и ограничиваться самыми общими положениями, наиболее далекими от практики и политики. Это обстоятельство особенно облегчило союз разнородных элементов марксизма в борьбе с народничеством».

178) «Эзоповский язык» см. пп. 29 и 137.

179) Л. «Третья Дума», т. XII, стр. 95.

Возмущаясь проведением выборов в III Государственную думу, Ленин останавливается на характеристике «закулисного» правительства, придворной камарильи, играющей крупную роль в политических делах. Эти мастодонты и ихтиозавры, как их называет Ленин, «обыкновенно выбиваются из всех сил, чтобы, пользуясь своим придворным всемогуществом, захватить в свое полное и безраздельное владение и официальное правительство — кабинет министров... Однако... конкуренцию допотопному хищнику крепостнической эпохи составляет в данном случае хищник эпохи первоначального накопления, — тоже грубый, жадный, паразитический, но с некоторым культурным лоском и — главное — с желанием также ухватить добрый к у с о к к а з е н н о г о п и р о г а в виде гарантий, субсидий, концессий, покровительственных тарифов и т. д.»

180) Там ж, стр. 96.

«Интересы капитализма, хотя бы и грубо-хищнического, паразитического не мирятся с безраздельным господством крепостнического землевладения. Обе родственные между собою социальные группы стремятся отхватить себе кусок п и р о г а п о б о л ь ш е и п о ж и р н е е, — и отсюда неизбежное расхождение их в вопросах местного самоуправления и центральной организации государственной власти».

179—180) «Казенного пирога» см. п. 64.

181) Л. Там же, т. XII, стр. 97.

...Можно ли ждать от черносотенно-октябристского большинства, от д и к и х п о м е щ и к о в в союзе с капиталистами-хищниками сколько-нибудь сносного решения аграрного вопроса и облегчения положения рабочих?»

181) «Диких помещиков». См. сказку Щедрина «Дикий помещик», см. пп. 79 и 128.

1908 г.

182) Л. «Заказанная полицейски-демократическая демонстрация», т. XII, стр. 154.

О заседании в Думе 27 февраля. Ленин называет этот «большой парламентский день» днем глубокого единства черносотенцев, правительства, либералов и «демократов» типа «Столичной Почты», единства по коренным вопросам «общественно-государственной жизни». Охарактеризовав выступление лидера правительственной партии октябристов Гучкова, Ленин останавливается на речи «левого» октябриста профессора Капустина, идущего по стопам Гучкова.

«Профессор Капустин, «левый» октябрист, надежда кадетов, упование сторонников мира общества с властью, поспешил по стопам Гучкова, сдабривая его политику отвратительно елейным либеральным лицемерием. «Дай бог, чтобы распространилась слава (про Думу), — что мы бережем народные деньги». Пятьдесят тысяч в год послу — разве это не сбережение целых десяти тысяч? Разве это не «прекрасный пример», который будут показывать высшие наши сановники, сознавая важный и тяжелый момент, переживаемый Россией...» «Нам предстоят коренные реформы в различнейших областях жизни страны, и на это необходимы широкие средства».

... Далеко Иудушке Головлеву до этого парламентария! Профессор на думской трибуне, восторгающийся прекрасным примером высших сановников... Но что же говорить об октябристе, когда либералы и буржуазные демократы не далеко ушли от этого низкопоклонничества».

182) «Иудушка Головлев». См. Щедрин. «Господа Головлевы», см. пп. 32 и 166.

183) Л. «О «природе» русской революции», т. XII, стр. 176.

«У крестьян, — пишет «Речь» [46], — земля приобретается по справедливой оценке (значит по-кадетски), но — замечательное «но»! — оценка производится местными земельными учреждениями, «выбираемыми всем населением данной местности».

183) «Но — замечательное «но» см. п. 1.

184) Л. «Кадеты второго призыва», т. XII, стр. 198. О кадетах первого призыва.

«Кадеты группировали тогда все и всяческие элементы буржуазного, так называемого образованного общества, начиная с помещика, добивавшегося не столько конституции, сколько севрюжины с хреном, и кончая служащей, наемной интеллигенцией».

184) «Севрюжина с хреном» см. п. 42.

185) Л. «Кадеты второго призыва», т. XII, стр. 199.

О буржуазном либерализме, проповедующем «умеренность и аккуратность».

185) См. п. 25.

186) Л. «Аграрный вопрос в России к концу XIX в.», т. XII, стр. 231.

О необходимости для поднятия сельского хозяйства аграрного переворота, который уничтожил бы помещичье землевладение, разрушил бы старую полукрепостническую средневековую общину и открыл бы дорогу для быстрого и действительно широкого капиталистического прогресса.

«При данном же положении вещей капиталистический прогресс частновладельческого хозяйства имеется, конечно, налицо, но он чрезвычайно медленен и неизбежно обременяет Россию на долгие времена политическим и социальным господством «дикого помещика».

187) Л. «Студенческое движение и политическое положение», т. XII, стр. 337.

...Дума (на первый взгляд) только чуть-чуть иначе выражает совершенно то же самое дореволюционное соотношение сил: господство дикого по-

мещика, предпочитающего придворные связи и воздействие через своего брата чиновника всяким представительствам...»

188) Л. «Оценка текущего момента», т. XII, стр. 384.

«...Сдвиг в сторону бонапартизма и аграрной политики самодержавия и его общей политики, как в Думе, так и при помощи Думы, только обостряет и расширяет противоречие между черносотенным самодержавием и господством «дикого помещика», с одной стороны, и потребностями экономического и общественного развития всей страны, с другой...

186—188) «Дикий помещик» см. пп. 79 и 128.

189) Л. «Аграрная программа с.-д. в русской революции», т. XII, стр. 280.

О Маслове, которого Ленин называет Иваном Непомнящим. См. эту же цитату ниже, т. XI, стр. 367, п. 172.

190) Л. «Аграрная программа с.-д. в русской революции», т. XII, стр. 289.

Полемизируя с Плехановым по вопросу о защите последним муниципализации, Ленин обвиняет его в принятии кадетской тактики: вести пролетариат не к полной победе, а к сделке со старой властью.

«Будем учить народ приспособляться к монархии, авось не «обратят они внимания» на нашу областную деятельность и «даруют нам жизнь», как щедринскому пискарю».

190) «Щедринский пискарь» — сказка «Премудрый пискарь», см. п. 155.

191) Л. «Лев Толстой как зеркало русской революции», т. XII, стр. 331.

О лицемерии легальной русской прессы, переполненной статьями, письмами и заметками по поводу юбилея 80-летия Толстого. «Послушать кадетских Балалайкиных из «Речи» — сочувствие их Толстому самое полное и самое горячее. На деле рассчитанная декламация и напыщенные фразы о «великом богоискателе» — одна сплошная фальшь, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует...»

191) «Балалайкиных» см. п. 60.

192) Там же, т. XII, стр. 334.

«Толстовские идеи, это — зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливости «хозяйственного мужичка».

192) «Хозяйственный мужичек» см. п. 13.

193) Л. «События на Балканах и в Персии», т. XII, стр. 358.

«Конкуренция капиталистических держав, желающих «урвать кус»...»

193) «Урвать кус» см. «Мелочи жизни» («Счастливец»), «Господа ташкентцы», «Пестрые письма», «Пошехонские рассказы», «Итоги» и мн. др., см. пп. 62—64.

194) Л. «Как Плеханов и К° защищают ревизионизм», т. XII, стр. 386.

«Но... в том-то и гвоздь, что по отношению к *Маслову*[47] (а Плеханов и К° пишут примечание именно к статье Маслова, именно по вопросу о ревизионизме Маслова) является у наших «непримиримых» врагов ревизионизма замечательное «но».

194) «Но» см. п. 1.

195) Л. «Аграрные прения в III Думе», т. XII, стр. 404.

«Для агитации в массах ознакомление с выдержками из речей Шидловского, Бобринского, Львова, Голицына, Капустина и К° положительно необходимо: до сих пор мы видели самодержавие почти исключительно при-

казывающим, изредка публикующим заявления в духе Угрюм-Бурчеева. Теперь мы имеем открытую защиту помещичьей монархии и черносотенной «конституции» организованным представительством господствующих классов, и для пробуждения тех слоев народа, которые политически бессознательны или равнодушны, эта защита дает очень ценный материал».

195) «Угрюм-Бурчеев» см. п. 111.

196) Л. «Материализм и эмипириокритицизм», т. XII, стр. 75. «Теория познания эмпириокритицизма и диалектического материализма».

«Наши русские махисты стыдливо обходят по большей части эту профессорскую галиматью, лишь изредка стреляя в читателя (для оглушения) каким-нибудь «экзиостенциалом» и т. п.»

196) «Оглушение» см. п. 131.

197) Там же, «Философские идеалисты», т. XIII, стр. 174.

О русских махистах, которые стыдятся своего родства с имманентами...

«...В. Чернов пишет: «Вообще имманенты лишь одной стороной своей теории подходят к позитивизму, а другими далеко выходят из его рамок» («Философские и социологические этюды»). Валентинов говорит, что «имманентная школа облекла эти (махистские) мысли в непригодную форму и уперлась в тупик солипсизма» (стр. 145). Как видите, тут чего хочешь, того просишь: и конституция и севрюжина с хреном, и реализм и солипсизм. Сказать прямо и ясно правду про имманентов наши махисты боятся».

197) «Севрюжина с хреном» см. п. 42.

198) Там же, «Новейшая революция в естествознании», т. XIII, стр. 243 («Два направления в современной физике и французский фидеизм»).

Критикуя философские взгляды Рея, Ленин раскрывает двойственность его выводов:

«С одной стороны, нельзя не сознаться: с другой стороны, надо признаться, с одной стороны, непереходимая пропасть отделяет Пуанкаре от неомеханизма, хотя Пуанкаре стоит посредине между «концептуализмом» Маха и неомеханизмом, а Мах будто бы вовсе не отделен никакой пропастью от неомеханизма. С другой стороны, Пуанкаре вполне согласим с классической физикой, всецело, по словам самого Рея, стоящей на точке зрения «механизма». С одной стороны[48], теория Пуанкаре способна служить опорой философского идеализма, с другой стороны[48], она совместима с объективным толкованием слова опыт. С одной стороны, эти дурные фидеисты извратили смысл слова опыт путем незаметных уклонений, отступая от правильного взгляда, что «опыт есть объект»; с другой стороны[48], объективность опыта значит только, что опыт есть ощущение — с чем вполне согласен и Беркли и Фихте».

198) «С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться» см. п. 45.

1909 г.

199) Л. «Классы и партия в их отношении к религии и церкви», т. XIV, стр. 82.

«Чтобы держать народ в духовном рабстве, нужен теснейший союз церкви с черной сотней» — говорил устами Пуришкевича дикий помещик и старый держиморда».

199) «Дикий помещик» см. п. 128.

200) Л. «Разоблаченные ликвидаторы», т. XIV, стр. 132—133.

Анализируя плехановскую критику ликвидаторства, Ленин приводит характерную цитату из «Дневника» Плеханова, направленную против т. С. из «Голоса Социал-Демократа»[49], членом редакции которого состоял Плеханов.

«Тут нужно выбирать: или «ликвидаторство» или борьба с ним... (третьего нет). Говоря это, я имею в виду, разумеется, товарищей, руководящихся не своими личными интересами, а интересами нашего общего дела. Для тех, которые руководствуются своими личными интересами; для тех, которые думают только о своей революционной карьере, — есть ведь и такая карьера! — для них существует, конечно, третий выход. Великие и малые люди этого калибра могут и даже должны в настоящее время лавировать между «ликвидаторским» и анти-«ликвидаторским» течениями; они должны при настоящих условиях всеми силами отговариваться от прямого ответа на вопрос о том, нужно ли бороться с ликвидаторством; они должны отделываться от такого ответа «иносказаниями и гипотезами пустыми», потому что ведь еще неизвестно, какое течение возьмет верх, — «ликвидаторское» или анти-«ликвидаторское»...

Но т. С., вероятно, согласится со мной, если я скажу, что это не настоящие люди, а только «игрушечного дела людишки». О них толковать не стоит: они — прирожденные оппортунисты: их девиз — «чего изволите?» (стр. 7—8 «Дневника»).

По поводу приведенной цитаты из Плеханова Ленин создает сатирическую сценку в щедринском стиле. «Действие пятое и последнее, сцена 1-я. На сцене редакторы «Голоса», все без одного. Редактор Имярек, обращаясь к публике с видом особенного благородства: «направленные против нас обвинения в ликвидаторстве не только нелепы, но и заведомо недобросовестны»[50]. Сцена 2-я. Те же и «он», редактор «Голоса», только что благополучно вышедший из редакции (делает вид, что не замечает никого из редакторов и говорит, обращаясь к солидарному с редакцией сотруднику С.): «Или ликвидаторство или борьба с ним. Третий выход есть только у революционных карьеристов, которые лавируют, отговариваются от прямого ответа, выжидают, кто возьмет вверх. Тов. С., вероятно, согласится со мною, что это не настоящие люди, а игрушечного дела людишки. О них толковать не стоит: они — прирожденные оппортунисты; их девиз — «чего изволите».

Поживем — увидим, действительно ли согласится с Плехановым «тов. С.», коллективно-меньшевистский тов. С., или он предпочет сохранить себе в качестве руководителей некоторых игрушечного дела людишек и прирожденных оппортунистов. Одно мы можем смело заявить уже теперь: из меньшевиков *рабочих*[50], если им полностью изложат свои взгляды Плеханов, Потресов («убежденный ликвидатор» по отзыву Плеханова, стр. 19 «Дневника») и «игрушечного дела людишек» с девизом «чего изволите?» не найдется, наверное, десяти из сотни за Потресова и за[51] «чего изволите»[52] вместе. За это можно ручаться. Плехановского выступления достаточно, чтобы меньшевиков-*рабочих*[51] оттолкнуть от Потресова и от «чего изволите». Наше дело — позаботиться о том, чтобы рабочие-меньшевики, особенно те, которые трудно поддаются пропаганде, исходящей от большевиков, ознакомились[51] полностью с № 9 «Дневника» Плеханова. Наше дело—позаботиться о том, чтобы рабочие-меньшевики всерьез взялись теперь за выяснение идейных основ[51] расхождения между Плехановым, с одной стороны, Потресовым и «чего изволите» — с другой».

201) Там же, стр. 133.

«Фракционных дипломатов», игрушечного дела людишек и прирожденных оппортунистов».

202) Л. «Примеры ликвидаторов и партийные дороги большевиков», т. XIV, стр. 207.

По поводу Максимова и голосовцев, объяснявших борьбу с ликвидаторством «вышибательскими» склонностями, Ленин говорит: «Предоставим игрушечного дела людишкам этакие объяснения и перейдем к делу».

200) «Имярек» см. Щедрин «Мелочи жизни», очерк «Имярек».

200—202) «Игрушечного дела людишки» см. п. 143.

200) «Чего изволите?» см. п. 88.

203) Л. «О фракции сторонников отзовизма и богостроительства», т. XIV, стр. 156.

«Отзовистско-богостроительские благоглупости».

203) См. п. 52.

204) Л. Письмо к М. Горькому, 1909 г., конец ноября — начало декабря. «Ленинский сборник» II, стр. 418.

О расколе между ленинцами и впередовцами в ответ на письмо Горького, обвинявшего в расколе и тех и других: «ершитесь промежь себя и зовете ершиться на народе», Ленин пишет: «Если дело в нигилизме «ершей», в малограмотности и проч. кое-кого, не верящего в то, что он пишет и т. п.,— тогда значит, не глубок раскол, и даже не раскол. А ежели глубже раскол, чем бе и ме — значит, дело не в нигилизме, не в неверящих в свои писания писателях».

204) О нигилисте-ерше см. сказку Щедрина «Карась-идеалист» — дискуссия карася-идеалиста со «скептиком» ершем.

1910 г.

205) Л. «Поход на Финляндию», т. XIV, стр. 273.

О русском промышленнике и купце, которому «не удалось урвать кусок пирога на Балканах».

205) См. пп. 62—64.

206) Л. «Заметки публициста». «Значение декабрьских (1908 г.) резолюций и отношение к ним ликвидаторов», т. XIV, стр. 321.

Полемизируя с ликвидаторами, Ленин цитирует Ионова, писавшего в органе бундовцев: «Скажите на милость, какое отношение имеют резолюции лондонского съезда к настоящему моменту и вопросам, стоящим теперь на очереди? Смею надеяться, что этого и т. Ленин со всеми его присными не знает». «Ну где же мне знать такую мудреную вещь! — иронически отвечает Ленин, — где же мне знать, что никакого существенного изменения в основных группах буржуазных партий (черносотенцев, октябристов, кадетов, народников) в их классовом составе, в их политике, в их отношении к пролетариату и к революции не произошло с весны 1907 г. по весну 1910 г... Где мне знать все это? Для Ионова это все, что должно быть, не имеет отношения к настоящему моменту и к вопросам, стоящим на очереди..., не проще ли превратить социал-демократов в вольных стрелков, в диких[53], которые «свободно», без всякой «усиленной охраны» будут решать очередные вопросы — сегодня вместе с либералами в журнале «Наши Помои», завтра с безголосовцами на съезде прихлебателей от литературы, послезавтра в кооперативе...»

206) Называя «Нашими Помоями» видимо ликвидаторский журнал «Наша Заря», Ленин использует в данном случае щедринскую сатиру на реакционно-консервативную печать, остроумно названную Щедриным «Помоями». Основу общественно-публицистической деятельности «Помоев» составляет, по Щедрину, своеобразное сочетание

«истины», «клеветы» и «лжи» в тех исключительных случаях, когда необходимо уверить, что говоришь правду, при помощи которых пахнущая «ретирадным местом» газета во имя «негодяйства» и «паскудства», по выражению Щедрина, изливает свои душевные помои, прикрывая их «любовью к отечеству», отстаиванием «общерусской точки зрения» и т. д.

«Представьте себе, ведь Ноздрев-то осуществил свое намерение: передо мною лежат уже два нумера его газеты. Называется она, как я посоветовал: «Помои — издание ежедневное». Без претензий и мило. В программе объявлений сказано: «мы имеем в виду истину» — еще милее. Никаких других обещаний нет, а коли хочешь знать, какая лежит на дне «Помоев» истина, так подписывайся. «Мы не пойдем по следам наших собратов, — говорится дальше в объявлении, — мы не унизимся до широковещательных обещаний, но позволим сказать одно: кто хочет знать истину, тот пусть читает нашу газету; в противном же случае пусть не заглядывает в нее — ему же хуже». А в выноске к слову «истина» сделано примечание: «Все новости самые свежие будут получаться нами из первых рук, немедленно и из самых достоверных источников». А в том числе, конечно, будет получаться и клевета... В передовой статье, принадлежащей перу публициста Искариота, развивается мысль, что ничто так не предосудительно, как ложь. «Нам все дозволяется, — говорит Искариот, — только не дозволяется говорить ложь... за исключением того случая, когда необходимо уверить, что говоришь правду. Но и тогда лучше выражаться на-двое». Затем рассматривает факты современной жизни: вредное — одобряет, полезное — осуждает и в заключение восклицает «так должен думать всякий, кто хочет оставаться в согласии с истиной!» За хроникой следуют тридцать три с о б с т в е н н ы х телеграммы, извещающие, что мужик сыт. Но и тут выноска. «Истина вынуждает нас сознаться, что телеграммы эти составлены нами в редакции для образца» («Письма к тетеньке», письмо 11-е).

207) Там же, стр. 337 (О партийном меньшевизме и об его оценке).

Сравнивая отношение голосовцев к Плеханову с выражением Аксельрода: «мы не пожелали унизиться» (перед Плехановым) «до роли угодливых лакеев», Ленин иронизирует: «Наше отношение к Плеханову как-раз соответствует «формуле» этих людей (т. е. угодливых лакеев. — *Е. М.):* либо в зубы, либо ручку пожалуйте».

«Пять лет вы просили «ручку», теперь даете на 32 страницах двойного формата «в зубы», а на 32-й странице «выражаете готовность»; согласны и опять меньшевиком признать, и «ручку» попросить».

207) «Либо в зубы, либо ручку пожалуйте» см. п. 102.

208) Л. «Герои оговорочки», т. XV, стр. 52.

Возмущаясь оценкой Толстого Базаровым (статья в «Нашей Заре» 1910 г., № 10), Ленин иронически называет эти дифирамбы кантатой «на тему о том, что у ш и в ы ш е л б а н е р а с т у т».

208) «Уши выше лба не растут» см. пп. 1 и 164.

209) Л. «О некоторых особенностях исторического развития марксизма, т. XV, стр. 74.

О влиянии на марксизм буржуазной философии, создавшей в марксизме оппортунистическое течение, которое стремится уложить марксистскую теорию и практику в русло «у м е р е н н о с т и и а к к у р а т н о с т и».

209) «Умеренность и аккуратность» см. п. 25.

1911 г.

210) Л. «Наша упразднители», т. XV, стр. 80. О Е. Потресове и В. Базарове.

Полемика с Потресовым. «Напрасно же вы брались рассуждать о «современной драме наших общественно-политических направлений». Я вам да-

же скажу по секрету, что и впредь, в течение, вероятно, довольно значительного времени, политическая деятельность кадетов не будет «бесплодна» — не только благодаря реакционной «сильноплодности» веховцев, но и благодаря тому, что пока есть у демократии политические караси, будет чем жить и щукам либерализма. Пока есть такая неустойчивость в социализме, такая дряблость в демократии, которая иллюстрируется очень наглядно фигурами à la Потресов, до тех пор искусства «эмпириков» либерализма всегда хватит для уловления этих карасей».

209) «Политические караси и щуки либерализма» — использование сказки Щедрина «Карась-идеалист». См. также «Письма из провинции» или «Благонамеренные речи», где Щедрин писал: «Горе «карасям», дремлющим в неведении, что провиденциальное их назначение заключается в том, чтобы служить кормом для щук, наполняющих омут жизненных основ».

211) Л. «По поводу юбилея», т. XV, стр. 94.

«Цензурными препонами».

211) «Препоны» — широко распространенное словечко Щедрина, разбросанное почти по всем его произведениям. См. «Пошехонские рассказы» (департамент препон). «В среде умеренности и аккуратности» (департамент преуспеяний и препон), а также «Итоги», «Письма из провинции» и мн. др.

212) Там же, стр. 98.

«Препятствия и препоны».

212) См. п. 211.

213) «Кадеты о «двух лагерях» и о «разумном компромиссе», т. XV, стр. 105.

«...кадетам благоугодно... ограничить свой кругозор...»

213) «Благоугодно» см. п. 52.

214) Там же, стр. 107.

Полемика с «Речью» и «Русскими Ведомостями», желавшими «упрочения» в России конституционного строя... «А что следует понимать под конституцией и ее упрочением? — спрашивает Ленин. — Разумный компромисс между октябристами и кадетами. В чем критерий разумности подобных компромиссов? — В одобрении их худшими представителями русского «колупаевского» капитализма, вроде петербургских думцев».

214) «Колупаев» см. п. 14.

215) Л. «О социальной структуре власти, перспективах и ликвидаторстве», т. XV, стр. 124.

Возмущаясь лавированием и вилянием ликвидаторов Потресова, Мартова, Дана и других «идейных» руководителей оппортунизма в связи с необходимостью дать «оформленный ответ» на «проклятые вопросы» о социальной структуре власти, Ленин делает иронический вывод: «К чему эта оформленность, когда можно писать где угодно, о чем угодно, что угодно, как угодно? Когда гг. Милюковы и гг. Струве дают прекрасные образчики всех выгод, удобств и преимуществ, вытекающих из уклонения от прямых ответов, точных изложений взглядов, оформленных profession de foi и т. д.? Когда Иваны Непомнящие (и в особенности Иваны, не любящие вспоминать про былую оформленность) в самых широких кругах «общества» пользуются почетом и уважением?»

215) «Иваны Непомнящие» см. п. 172.

216) Там же, т. XV, стр. 134.

«Независимо от добрых пожеланий и благонамеренных речей».

216) Щ. Сборник «Благонамеренные речи».

217) Л. «Памяти Коммуны», т. XV, стр. 158.

О смешанном социальном составе кадров революционного движения во Франции во время Парижской коммуны 18 марта 1871 г.

«...Первое время ему (т. е. движению. — *Е. М.)* отчасти сочувствовали и буржуазные республиканцы, опасавшиеся, что реакционное Национальное Собрание («деревенщина», дикие помещики) восстановит монархию».

217) «Дикие помещики» см. п. 128.

218) Л. «О новой фракции примиренцев или добродетельных», т. XV, стр. 237 (примечание).

«... благоглупости парижских примиренцев — простых подголосков Троцкого».

218) «Благоглупости» см. п. 52.

219) Л. «Итог», т. XV, стр. 257.

Подводя итоги общественному движению последнего времени, в частности эпохи Столыпина, Ленин делает вывод, что, несмотря на внешние пререкания между октябристами и кадетами, «у дикого помещика и буржуа... нашлась *общая почва*[54] для переговоров, и почвой этой была *контрреволюционность»*[54].

219) «Дикий помещик» см. п. 128.

220) Л. «Голод и черная Дума», т. XV, стр. 368.

О причинах голодовок и мерах борьбы с неурожаем.

«Для правых крепостников решение «очень просто»: нужно заставить работать мужиков «лодырей» еще больше и тогда — «ён достанет».

220) «Ен достанет» — выражение кулака-мироеда Разуваева, глубоко убежденного в мужицкой изворотливости («Убежище Монрепо»), см. п. 74.

221) Л. «О краске стыда у Иудушки Троцкого», «Ленинский сборник» XXI, стр. 303 (1911 г.).

«Иудушка Троцкий распинался на пленуме против ликвидаторства и отзовизма, клялся и божился, что он партиен. Получал субсидию (на редактируемую им якобы нефракционную газету «Правда»). Иудушка удалил из «Правды» представителя Ц. К. (Л. Каменева) и стал писать в «Vorwärts» ликвидаторские статьи. Вопреки прямому решению назначенной пленумом школьной комиссии, которая постановила, что ни один партийный лектор не должен ехать во фракционную школу впередовцев, Иудушка Троцкий туда поехал и обсуждал план конференции с впередовцами. План этот опубликован теперь группой Вперед в листке.

И сей Иудушка бьет себя в грудь и кричит о своей партийности, уверяя, что он отнюдь перед впередовцами и ликвидаторами не пресмыкался. Такова краска стыда у Иудушки Троцкого».

221) «Иудушка» — см. Щедрин. «Господа Головлевы», см. п. 32.

1912 г.

222) Л. «Орган либеральной рабочей политики», т. XV, стр. 402.

Полемика с Мартовым (статья Мартова «К выборам». «Живое Дело» № 2, 1911 г.).

«Рабочие заинтересованы, в том, — рассуждает Мартов, — чтобы власть в классовом государстве перешла из рук дикого помещика в руки более культурного буржуа».

222) «Дикий помещик» см. п. 128.

223) Л. «Политические партии за 5 лет Третьей Думы», т. XV, стр. 407.

Полемизируя с Милюковым (статья Милюкова «Политические партии в Государственной Думе за пять лет», «Ежегодник» газ. «Речь» 1912) по вопросу о затушевывании последним различия между демократией и либерализмом, Ленин утверждает, что «конфликты» между кадетами и октябристами, обнаруживавшиеся в области думской политики, — чисто внешние, что по существу классовые интересы тех и других одинаковы.

«Игнорируя различие демократии и либерализма, г. Милюков с необыкновенной подробностью, детальностью, со смаком, можно сказать, рассматривает передвижение внутри помещиков: правые, умеренно-правые, националисты вообще, националисты независимые, правые октябристы, октябристы просто, октябристы левые. Ни малейшего серьезного значения эти деления и передвижки в этих пределах не имеют: связаны они, самое большое, с заменой какого-нибудь Твердоонто каким-нибудь Угрюм-Бурчеевым в администрации, с переменой лиц, с победой кружков или котерий. Все сколько-нибудь существенное в политической жизни тут совершенно одинаково».

223) В лице графа Твердоонто Щедрин дает типичного представителя старобюрократической, дореформенной власти «с его теорией повсеместного смерча» и с краткословной формулой: «пошел!», твердо убежденного в том, что нашему отечеству «нужно не столько изобилие, сколько расторопные исправники», а для борьбы с неурожаями «довольно одного хорошо выполненного окрика, и дело в шляпе», уверяющего, что «вся наша беда в том именно и заключается, что мы слишком охотно возбуждаем вопросы о неизобилии. Напоминая голодному об еде, мы тем самым, так сказать, искусственно вызываем в нем мысль о необходимости таковой» и т. д. (Щедрин. «За рубежом», гл. III).

223) «Угрюм-Бурчеев» см. п. 111.

224) Л. «Российская «свобода слова», т. XXX, стр. 185 (28/VII 1912 г.).

«Газета «Чего изволите», называемая в просторечии «Новым Временем»...

225) Л. «Карьера», т. XXX, стр. 192 (21 августа 1912 г.).

«Либеральный журналист Суворин во время второго демократического подъема в России (конец 70 гг. XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед власть имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу «найти себя» и найти свою дорожку лакея, награждаемого громадными доходами его газеты «Чего изволите?»[55]

«Новое Время» Суворина на много десятилетий закрепило за собой это прозвище «Чего изволите?»[56] Эта газета стала в России образцом продажных газет. «Нововременство» стало выражением, однозначащим с понятием: отступничество, ренегатство, подхалимство. «Новое Вермя» Суворина — образец бойкой торговли «на вынос и распивочно»[57]. Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая парнографическими объявлениями».

224—225) «Чего изволите?» — так называл Щедрин газету «Новое Время», см. п. 88.

«Распивочно и на вынос» см. это выражение у Щедрина, связанное с пришествием «чумазого». «Убежище Монрепо», «В среде умеренности и аккуратности», «Пестрые письма» и др.

226) Л. «Редакции газеты «Правда», т. XXIX, стр. 74—75 (8/IX 1912 г.).

«...Пользуюсь случаем, чтобы поздравить т. Витимского (надеюсь вас не затруднит передать это письмо ему) с замечательно удачной статьей в полученной мной сегодня «Правде» (№ 98)[58]. Чрезвычайно кстати взята

тема, и разработана в краткой, но ясной форме превосходно, хорошо бы, вообще, от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой народнической демократии». Для читателя «Правды», для 25 000 — это было бы уместно, интересно, да получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом».

227) Л. «Редакции газеты «Правда», т. XXIX, стр. 78 (13/XI 1912 г.).

«Неужели рабочая газета может существовать, если она будет с таким пренебрежением относиться к тому, что интересует рабочих? Газета ведь не такая вещь, что читатель почитывает — писатель пописывает, газета должна сама искать, сама во-время находить и своевременно помещать известный материал».

227) «Писатель пописывает, читатель почитывает» см. п. 90.

228) Л. «В Швейцарии», т. XVI, стр. 129.

«Цюрихское кантональное правительство требовало от городской управы запрещения пикетов *вообще*[59], а четверо премудрых пискарей, тобишь цюрихских социал-демократов, внесло «компромиссное» предложение запретить пикеты только в окрестностях двух механических мастерских, в которых были прекращены работы».

228) «Премудрые пискари» см. п. 163.

229) Л. «Еще один поход на демократию», т. XVI, стр. 132.

Критикуя статью либерала-кадета Щепетова «Письма из Франции» («Русская Мысль», авг. 1912), в которой автор называет 1905 г. «тревожным», «беспокойным» и «сплошь запутанным», Ленин пишет:

«Особенно нестерпимо бывает видеть, когда субъекты вроде Щепетова, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии хватаются за фалды Некрасова, Щедрина и т. п. Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся[59] в них.

«*Неверный звук*»[59] — вот как называл сам Некрасов свои либеральноугоднические грехи. А Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой «применительно к подлости». Как устарела эта формула в применении к Щепетовым, Гредескулам и прочим веховцам! Дело теперь совсем не в том, чтобы эти господа применялись к подлости. Куда тут! Они сами по своему почину, на свой лад, исходя из нео-кантианства и других модных «европейских» теорий, построили свою теорию[59] «подлости».

229) «Применительно к подлости» см. сказку Щедрина «Либерал», п. 155.

230) Л. «Еще один поход на демократию», т. XVI, стр. 134.

Продолжение критики взглядов Щепетова.

«...Удивительно ли, что октябристский «Голос Москвы» вместе с националистическим Иудушкиным «Новым Временем» цитировали Щепетова, захлебываясь от восторга? Чем отличается, в самом деле, «историческая» оценка «конституционно-демократического» журнала от оценки названных двух изданий?»

230) «Иудушка» см. п. 32.

231) Л. «К вопросу о событии 15 ноября», т. XVI, стр. 207.

О демонстрации рабочих в Петербурге 15 ноября 1912 г. в день открытия IV Думы.

«Замечательный пролетарский инстинкт, уменье противопоставить подхалимской, рабьей, кадетско-октябристской «демонстрации» (по поводу жалких фраз Родзянки о «конституции») внутри дворца — демонстрацию настоящего типа, действительно народную, действительно демократическую, чисто-рабочую (интеллигенция — в сожалению — отсутствовала, если верить газетам).

Подхалимская болтовня о «конституции» (или севрюжине с хреном à la Родзянко) в черной Думе — и образец начинающейся борьбы за свободу и народное представительство (без кавычек), за республику вне Думы, — в этом противопоставлении сказался глубокий, верный инстинкт революционных масс».

231) «Севрюжина с хреном» см. п. 60.

232) Л. «Примирение националистов с кадетами», т. XVI стр. 217.

«Либералы, поддерживающие милитаризм, не страшны реакции, ибо реакционеры вполне правильно рассуждают: поддержка милитаризма это — *дело*[59], а либеральные восклицания — *пустые слова*[59], которых просто-таки нельзя провести в жизнь при господстве реакции. «Дай нам миллионы на вооружения — мы тебе дадим хлопки за либеральные фразы», вот что говорит и должен говорить всякий умный крепостник-помещик думским Балалайкиным».

232) «Баллалайкин» см. п. 60.

1913 г.

233) Л. «Откровенно», т. XVI, стр. 254.

«Почти полвека существует земство дворянское, обеспечивающее безусловно преобладание помещика феодального... И лишь в некоторых губерниях, например, Вятской, где почти нет дворянского землевладения, земство носит более мужицкий характер; но зато здесь оно еще более оплетено сетью всевозможных чиновничьих запретов, препон, ограничений и разъяснений...»

233) «Препоны» см. п. 211.

234) Л. «Итоги выборов», т. XVI, стр. 259.

«Средство обуздания».

234) «Обуздание» см. пп. 76—77.

235) Там же. «Конец иллюзиям насчет партии к. д.», т. XVI, стр. 270.

«Теперь ликвидаторы, как Иваны Непомнящие, запели: «к.-д. монополии приходит конец»... Следовательно, была «монополия»? Что это значит? Монополия есть устранение конкуренции. Была ли конкуренция с.-д. против к.-д. более устранена в 1906—1907 гг., чем в 1912 г.??»

235) «Иван Непомнящий» см. п. 122.

236) Л. «Благодарим за откровенность», т. XVI, стр. 305.

«...И заметьте: он прав, этот крепостник, что в Гос. Думе нет большинства без «лавочников», т. е., говоря языком сознательного рабочего (а не дикого помещика), — без буржуазии. Он прав, этот помещик, что самоуправление на деле было бы самоуправлением крестьянским (это слово сознательные рабочие предпочитают выражению «мужицкий», которое в ходу у диких помещиков)...».

236) «Дикий помещик» см. п. 128.

237) Л. «Спорные вопросы», т. XVI, стр. 435.

«Умеренность и аккуратность».

237) См. п. 25.

238) Там же, стр. 435.

«Русские либералы, чтобы привлечь рабочих, сами готовы подписать («по возможности») это требование». (О восьмичасовом рабочем дне. — *Е. М.)*

238) «По возможности» см. сказку Щедрина «Либерал», п. 155.

239) Л. «К вопросу об аграрной политике современного правительства», т. XVI, стр. 451.

«Живоглоты».

239) См. пп. 14—18.

240) Л. «Маевка революционного пролетариата», т. XVI, стр. 485.

О майской забастовке и революционных демонстрациях рабочих в Петербурге первого мая 1913 г.

«...Рабочие сумели дать почувствовать наиболее ретивым из царских опричников, что борьба идет не на шутку, что перед полицией не горстка игрушечного, славянофильского, дела людишек[60], что встали действительно массы трудящегося класса столицы».

240) «Игрушечного дела людишек» см. п. 143.

241) Л. «Об одной неправде», т. XV, стр. 496.

«Мои слова, что с ликвидаторами спор идет вовсе не об организационном вопросе, Л. Мартов объявляет «неожиданными», восклицая «вот тебе — на!», «вдруг, с божиею помощью поворот» и т. п.

241) «Вдруг с божиею помощью поворот» — выражение Щедрина, см. «Современная идиллия», гл. II, «Письма к тетеньке» (письмо 1-е), «В среде умеренности и аккуратности» и др.

242) Л. «Как В. Засулич убивает ликвидаторство», т. XVI, стр. 624.

«Всякий, что не хочет быть Иваном Непомнящим, знает, что группы интеллигентов и рабочих не только в 1903 году, но с 1894 года (а часто и еще раньше) помогали[61] и экономический, и политической агитации, и стачкам, и пропаганде...»

242) «Иван Непомнящий» см. п. 172.

243) Там же, т. XVI, стр. 627.

«Встречая у ликвидаторов защиту и превознесение подобных элементов наряду с клятвами и божбой, что де мы, ликвидаторы, стоим за единство, только пожимаешь плечами и спрашиваешь себя:

«Кого этими благоглупостями и этим лицемерием обмануть думают?»

243) «Благоглупости» см. п. 52.

244) Л. «О национальной программе РСДРП», т. XVII, стр. 117.

«С национализмом Бунда вела упорную борьбу старая «Искра», и забывать об этой борьбе значит опять-таки становиться Иваном Непомнящим, отсекать себя от исторической и идейной базы всего с.-д. рабочего движения России».

244) «Иван Непомнящий» см. п. 172.

1914 г.

245) Л. «Невинные пожелания», т. XVII, стр. 239.

По поводу призыва К. Арсеньева обратить большее внимание на собирание сведений об административных высылках. «...Посмотрите: ни в одной либеральной газете, в 1000 раз более «обеспеченной» во всех смыслах на случай всяких препон и помех, не собираются точные сведения о всех высылках и арестах».

245) «Препон» см. п. 211.

246) Л. «Чему не следует подражать в немецком рабочем движении», т. XVII, стр. 335.

Ленин критикует отчет о поездке в Америку ответственного представителя немецких профессиональных союзов К. Легина, который в своем отчете писал: «...Я счел важным подчеркнуть перед... парламентом, что социал-демократические и организованные в профессиональные союзы рабочие Германии хотят мира между народами и при посредстве мира хотят дальнейшего развития культуры до наивысшей достижимой ступени». По этому поводу Ленин пишет: «...когда социалисты в Германии заметили, что это — речь не социал-демократическая, наш «вождь» наемных рабов капитала обдает социалистов своим великолепным презрением. «Редактор», что это такое по сравнению с «деловым политиком» и собирателем рабочих грошей! К редакторам наш мещанский Нарцисс питает презрение такое же, как помпадур полицейский в некоем государстве к третьему элементу».

246) «Мещанский Нарцисс» см. п. 108.

«Помпадур» см. «Помпадуры и помпадурши».

247) Л. «Идейная борьба в рабочем движении», т. XVII, стр. 354.

«Не может быть сознательным рабочим тот, кто относится, как Иван Непомнящий к истории своего движения. Россия из всех капиталистических стран одна из наиболее отсталых, наиболее мелкобуржуазных стран. Поэтому *массовое*[61] движение рабочих не случайно, а неизбежно порождало мелкобуржуазное оппортунистическое *крыло*[61] в этом движении»

247) «Иван Непомнящий см. п. 172.

248) Л. «О нарушении единства», т. XVII, стр. 385.

Полемика с Троцким, обвинявшим марксистов-правдистов в расколе и пытавшимся сорвать, дезорганизовать движение рабочих, осуждавших действия интеллигентских группок, «которые, производя раскол, кричат о расколе, которые, потерпев за два и более года полное поражение перед «нерядовыми рабочими», с невероятной наглостью плюют на решения и на волю этих передовых рабочих, называя их «политически-растерянными».

«Ведь это же,— делает заключение Ленин,— целиком приемы Ноздрева или Иудушки Головлева».

248) «Иудушка Головлев» см. п. 32.

249) Л. «О нарушении единства», «Ликвидаторские взгляды Троцкого», т. XVII, стр. 392.

Разоблачая ликвидаторство Троцкого, Ленин в подтверждение своих суждений приводит цитату из статьи Троцкого:

«Русская социал-демократия в своем отношении к парламентаризму прошла те же три стадии... (что и в других странах)... сперва «бойкотом»... далее принципиальное признание парламентарной тактики, но... (великолепное «но», то самое «но», которое Щедрин переводил фразой: не растут уши выше лба, не растут!)... с чисто агитационными целями... и, наконец, перенесения на думскую трибуну... очередных требований...»

249) «Но» см. п. 1.

250) Л. «О праве наций на самоопределение», т. XVII, стр. 446.

Приводя цитату из официального отчета «Речи» (№ 83 от 26 марта 1914 г. о конференции к.-д. партии 23—25 марта 1914 г., Ленин делает вставку к отчету о речи Ф. Ф. Кокошкина: «Ф. Ф. Кокошкин указал однако (это то самое «однако», которое соответствует щедринскому «но» — «не растут уши выше лба, не растут»), что и программа и предыдущий политический опыт требуют очень осторожного обращения с «растяжимыми формулами» «политического самоопределения национальностей». В дальней-

шем, рассматривая речь Кокошкина, Ленин особенно подчеркивает глубокое политическое значение предательского словечка «о д н а к о».

250) «Не растут уши выше лба, не растут» см. пп. 1 и 164.

251) Там же, т. XVII, стр. 465 (программа 1903 г. и ее ликвидаторы).

Ленин говорит, что в проекте программы российских марксистов вопрос о праве наций на самоопределение поставлен совершенно четко и ясно. Еще в 1902 г. в «Заре» Плеханов, защищая «право на самоопределение», в проекте программы писал, что это требование, не обязательное для буржуазных демократов, «обязательно для социал-демократов». «Если бы мы позабыли о нем, или не решились выставить его, — писал Плеханов, — опасаясь затронуть национальные предрассудки наших современников великорусского племени, то в наших устах стал бы постыдной ложью клич... «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — Это — очень меткая характеристика основного довода за рассматриваемый пункт, настолько меткая, что *ее недаром боязливо обходили и обходят «н е п о м н я щ и е р о д с т в а»* критики нашей программы».

251) «Непомнящие родства» см. п. 119.

252) Там же, т. XVII, стр. 469.

«Вот вам бундовец Либман —

«Когда российская социал-демократия, — пишет сей джентльмен, — 15 лет тому назад в своей программе выставила пункт о праве каждой национальности на «самоопределение», то всякий (!!) себя спрашивал: что собственно означает это модное (!!) выражение? На это ответа не было (!!). Это слово осталось (?!) окруженным туманом. В действительности в то время трудно было рассеять этот туман. Не пришло еще время, чтобы можно было конкретизировать этот пункт — говорили в то время — пусть *он* теперь останется в тумане (!!) и сама жизнь покажет, какое содержание вложить в этот пункт».

Не правда ли, как великолепен этот «мальчик без штанов», издевающийся над партийной программой?

А почему он издевается?

Только потому, что он круглый невежда, который ничему не научился, не почитал даже по истории партии, а просто попал в ликвидаторскую среду, где «принято» ходить нагишом в вопросе о партии и партийности...

Вот Вам второй «мальчик без штанов», г. Юркевич из «Dsvin'a». Г. Юркевич, вероятно, имел в руках протоколы II съезда, потому что он цитирует слова Плеханова, воспроизведенные Гольдблатом, и обнаруживает знакомство с тем, что самоопределение может значить лишь право на отделение. Но это не мешает ему распространять среди украинской мелкой буржуазии клевету про русских марксистов, будто они стоят за «государственную целость» ...России. Конечно, лучшего способа, чем эта клевета, для отчуждения украинской демократии от великорусской гг. Юркевичи придумать не могли...

...Вот Вам третий и главный «мальчик без штанов», г. Семковский, который на страницах ликвидаторской газеты перед великорусской публикой «разносит» § 9-й программы и в то же время заявляет, что он «не разделяет по некоторым соображениям предложения об исключении этого параграфа!!»

Невероятно, но факт.

В августе 1912 г. конференция ликвидаторов официально поднимает национальный вопрос. За полтора года ни единой статьи, кроме статьи г. Семковского, по вопросу о § 9-м. И в этой статье автор о п р о в е р г а е т[61] программу «не разделяя по н е к о т о р ы м...[61] соображениям» предложения исправить ее!!

Можно ручаться, что во всем мире не легко найти примеры подобного оппортунизма и хуже чем оппортунизма, отречения от партии, ликвидации ее...

...Детским недоумением, «как быть», если при демократии большинство за реакцию заслоняется вопрос реальной, настоящей, живой политики, когда *и* Пуришкевичи *и*[61] Кокошкины считают преступной даже мысль об отделении».

252) «Мальчик без штанов». Щедринская сценка «Мальчик в штанах и мальчик без штанов», помещенная в цикле «За рубежом», является оригинальной критикой экономического развития капиталистической Германии («за грош продали свою душу г. Гехту», но зато «даже в будни горох с свиным салом») и полукрепостнической России («у нас дворянам работать не полагается. У нас, коли ты дворянин, так живи, не тужи»), над порядками которой с такой беспощадностью издевается русский же «мальчик без штанов»: «У нас, брат, без правила ни на шаг... Задуматься, слово молвить — нельзя без правила... И в конце всякого правила — или поронцы, или в холодную. Вот и я без штанов по правилу хожу... Нас, брат,.. и сейчас походя ругают. Кому не лень, только тот не ругает и все самыми скверными словами... Исправник ругается, становой ругается, посредник ругается, старшина ругается, староста ругается, а нынче еще урядников ругаться наняли... Даже нам надоело слушать... Только как с этим быть?» — кончает недоуменным вопросом свою критику «мальчик без штанов».

1915 г.

253) Л. «Под чужим флагом», т. XVIII, стр. 113.

«Возьмите, напр., обладание колониями, расширение колониальных владений. Несомненно, это была одна из отличительных черт описываемой эпохи и большинства крупных государств. А что означало это экономически? — Сумма известных сверхприбылей и особых привилегий для буржуазии, а затем несомненно возможность получать крохи от этих «кусков пирога» и для небольшого меньшинства мелких буржуа».

253) См. пп. 62—64.

254) Л. «Крах платонического интернационала», т. XVIII, стр. 159.

«Наше Слово» расписалось в своем полнейшем политическом крахе: старым группировкам не «подчиняться» (почему такое испуганное слово? почему не «примыкать», «не поддерживать», не «солидаризироваться»?), новых не создавать. Жить будем по-старому, в группировках по ликвидаторству, будем «подчиняться» им, а «Наше Слово» «пусть остается чем-то вроде крикливой вывески или праздничной прогулки по садам интернационалистской словесности. Писатели «Нашего Слова» будут пописывать, читатели «Нашего Слова» будут почитывать».

254) «Писатель будет пописывать, читатель почитывать» см. п. 96.

225) Л. «Предисловие к брошюре Н. Бухарина «Мировое хозяйство и империализм», т. XVIII, стр. 354.

«Г. Плеханов, например, должен был совершенно распрощаться с марксизмом, чтобы заменить анализ основных свойств и тенденций империализма, как системы экономических отношений—новейшего высокоразвитого зрелого и перезрелого капитализма, вылавливанием пары таких фактиков, которые приятны Пуришкевичам вкупе с Милюковым... В наше время забытых слов, растерянных принципов, опрокинутых миросозерцаний, отодвинутых прочь резолюций и торжественных обещаний удивляться этому не приходится».

255) «Забытых слов» см. Щедрин «Забытые слова».

1916 г.

256) Л. «О программе мира», т. XIX, стр. 53.

Полемика с Каутским по вопросу о программе мира (статья Каутского «Еще некоторые замечания к вопросу о национальных движущих силах», помещенная в «Neue Zeit» 1916 г., № 23).

«Другими словами,— пишет Ленин,— довольно с угнетенных наций и национальной автономии внутри «государства национальности»,—не обязательно требовать для них равного права на политическую самостоятельность. И тут же, в той же статье Каутский утверждает, что нельзя доказать, что принадлежность к русскому государству есть необходимость для поляков!!! Что это значит? Это значит, что в угоду Гинденбургу, Зюдекуму, Аустерлицу и К° Каутский признает свободу отделения Польши от России, хотя Россия есть «государство национальностей», но о свободе отделения поляков от Германии он молчит!!.

...И в той же самой статье Каутский повторяет сладенькие И у д у ш к и н ы речи: «Интернационал никогда не переставал требовать согласия заинтересованного населения при передвижке государственных границ». Не ясно ли, что Зюдекум и К° требуют «согласия» эльзасцев и бельгийцев на присоединение их к Германии, Аустерлиц и К° требуют «согласия» поляков и сербов на присоединение их к Австралии?»

256) «Иудушкины речи» см. п. 32.

257) Л. «Предложение центрального комитета РСДРП», т. XIX, стр. 58 (1916 г.).

«Капиталистам и их дипломатам как-раз и нужны теперь такие «социалистические» слуги буржуазии, которые бы о г л у ш а л и, одурачивали и усыпляли народ фразами о демократическом мире»...

257) «Оглушение» см. п. 131 и 250.

258) Л. «Империализм как высшая стадия капитализма», т. XIX, стр. 71 (предисловие).

«Брошюра писана для царской цензуры. Поэтому я не только был вынужден строжайше ограничить себя исключительно теоретическим — экономическим в особенности—анализом, но и формулировать необходимые немногочисленные замечания относительно политики с громаднейшей осторожностью, намеками, тем э з о п о в с к и м — проклятым э з о п о в с к и м— языком, к которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для «легального» произведения.

Тяжело перечитывать теперь, в дни свободы, эти искаженные мыслью о царской цензуре, сдавленные, сжатые в железные тиски места брошюры о том, что империализм есть канун социалистической революции, о том, что социал-шовинизм (социализм на словах, шовинизм на деле) есть полная измена социализму, полный переход на сторону буржуазии, что этот раскол рабочего движения стоит в связи с объективными условиями империализма и т. п. — мне приходилось говорить «р а б ь и м» языком, и я вынужден отослать читателя, интересующегося вопросом, к выходящему вскоре переизданию моих зарубежных статей 1914—1917 гг.»

258) «Эзоповский», «рабий» язык см. пп. 29 и 137.

259) Там же, т. XIX, стр. 98 («Банки и их новая роль»).

«Умереннейшего и аккуратнейшего буржуазного реформаторства».

259) См. п. 25.

1917 г.

260) «Ленинский сборник» XVII, стр. 174. «Предложение ЦК РСДРП 2-ой соц. конференции», о помощи правительствам «со стороны буржуазии посредством о г л у ш е н и я и одурачивания масс».

260) «Оглушение» см. п. 131, а также 257.

261) Л. «Задачи пролетариата в нашей революции», т. XX, стр. 115.

О влиянии мелкой буржуазии на «соглашение» (не формальное, а фактическое, молчаливое соглашение, доверчиво-бессознательную уступку власти) между Временным правительством и Советом Рабочих и Солдатских Депутатов.

«Соглашения, давшего Гучковым жирный кусок...»

261) См. пп. 62—64.

262) Л. «О пролетарской милиции», т. XX, стр. 203.

«Введение рабочей милиции, оплачиваемой капиталистами, есть мера, имеющая огромное—без преувеличения можно сказать: гигантское, решающее — значение как практическое, так и принципиальное. Революция не может быть гарантирована, успех ее завоеваний не может быть обеспечен, дальнейшее развитие ее *невозможно*[62], если эта мера не станет всеобщей, не будет доведена до конца и проведена во всей стране.

Буржуазные и помещичьи республиканцы, ставшие республиканцами после того, как они убедились в невозможности иначе командовать над народом, стараются учредить республику возможно более монархическую: нечто вроде французской, которую Щедрин назвал республикой без республиканцев.

Главное для помещиков и капиталистов в настоящее время, когда они убедились в силе революционных масс, *отстоять*[62] наиболее существенные учреждения старого режима, отстоять старые орудия угнетения: полицию, чиновничество, постоянную армию. «Гражданскую милицию» стараются свести на старое, т. е. на небольшие, оторванные от народа, стоящие возможно ближе к буржуазии, отряды вооруженных людей под командой лиц из буржуазии».

262) «Республика без республиканцев». См. Щедрин «За рубежом», см. п. 139.

263) Л. «Всероссийская апрельская конференция РСДРП», т. XX, стр. 255. Речь о проекте созыва международно-социалистической конференции 8 мая (25 апреля).

Ленин предлагает начать немедленную кампанию против предательства русских и англо-французских социал-шовинистов, являющихся агентами правительства. Ленин возмущается молчанием социалистических газет по этому поводу, в частности весьма показательной считает тактику «Рабочей Газеты», поместившей статью «без всякой оценки». Эту тактику Ленин иронически оценивает: с одной стороны нельзя не сознаться, а с другой стороны надо признаться».

263) «С одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой стороны, надо признаться» см. п. 45.

264) Предисловие к книге «Империализм, как новейший этап капитализма», т. XX, стр. 284.

Об «эзоповском» рабьем языке, см. т. XIX, стр. 71. См. п. 25.

265) Л. «Позабыли главное», т. XX, стр. 335.

265) «Препон» см. п. 211.

266) Л. «Позорный блок меньшевиков и народников с «Единством», т. XX, стр. 441.

«Рабочая Газета» в ответ на наше указание: неприличен блок с «Единством» приводит указание—на кого бы Вы думали?—на провокатора Малиновского и его протаскивание охранкой в Думу!! Нечестность такой тоже-полемики мы отмечаем в особой заметке... «Дело Народа» тоже, употребляя щедринское выражение, «спапашилось» с «Единством». В первый день выборов 27 мая на первой странице газеты Керенского, Чернова и К° читаем призыв голосовать *за списки, протаскивающие «Единство»*.

266) Щедринское выражение «спапашилось». См. «Благонамеренные речи» («Кандидат в столпы»): «Тоже онамеднись лес показывал, генералов Голозадов продавал, признаться, маленько спапашился я тогда, а молодой деруновский и догадайся. Очень они на меня в ту пору обиделись, Осип Иванович!» А также «Суд над пискарем» («Современная идиллия»): «Иван Иваныч: «ах-ах-ах! Как же это, Федор Павлыч, вы так спапашились, а?»

267) Л. «Намеки», т. XX, стр. 521.

«Неистовствующие, свирепствующие... обливающие нашу партию непрерывным дождем поносящих и погромных словечек, не обвиняют ни в чем нас прямо, а «намекают»... большевики хотели совершить государственный переворот, это—Катилины, *вот почему*[62] они уроды и изверги, достойные растерзания... Ну, кого Вы, господа, благоглупостями ваших намеков благоудивить думаете?»

267) Щ. «Невинные рассказы», «Деревенская тишь». Разговор Кондратия Трифоныча с батюшкиным братом: «И кого ты своими благоглупостями удивить хочешь?»

268) Л. «Набросок статьи о советах Р.С и К.Д.», т. XX, стр. 524.

«благоугодие».

268) См. п. 52.

269) Л. «Украина и поражение правящих партий России», т. XX, стр. 540.

Об отношении меньшивиков и эсеров к политике Временного правительства в национальном вопросе, в частности об автономии Украины: «До какого позора пали эсеры и меньшевики! Как жалки увертки их органов сегодня, «Дела Народа» и «Рабочей Газеты». Хаос, сумятица, «ленинство в национальном вопросе», анархия — вот какие выкрики дикого помещика направляют обе газеты против украинцев».

269) «Дикий помещик» см. п. 129.

270) Л. «Как же это сделать», т. XX, стр. 579.

«Оглушение масс».

270) См. п. 131.

271) Л. «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», т. XXI, стр. 176.

«Препон».

271) «Препон» см. п. 214.

272) Л. «Государство и революция», т. XXI, стр. 401.

«В правительстве идет перманентная кадриль, с одной стороны, чтобы поочереди сажать к «пирогу» доходных и почетных местечек побольше эсеров и меньшевиков, с другой стороны, чтобы «занять» внимание народа».

272) «Пирог» см. пп. 62—64.

273) Л. «Речь на первом Всероссийском съезде военного флота», т. XXII, стр. 102.

«Все препятствия и все *препоны*».

273) «Препоны» см. п. 211.

1918 г.

274) Л. «Как организовать соревнование», т. XXII, стр. 163.

О борьбе со шкурниками, пришедшими на фабрику, на завод с единственной целью «урвать кусок побольше и удрать».

275) На той же странице «урвать кусок у буржуазии».

274—275) «Урвать кусок» см. пп. 62—64.

276) Там же, стр. 165.

«Обуздание, сокращение».

См. пп. 76—77.

277) Л. «Заседание ВЦИК 29 апреля 1918», т. XXII, стр. 488.

О необходимости учета, контроля, дисциплины и самодисциплины. «Как умоначертание этих людей (Ленин говорит о людях, не понимающих значения железной дисциплины, значения контроля и учета при диктатуре пролетариата.—*Е. М.)*, как их психология совпадает с настроениями мелкой буржуазии: богатого скинуть, а контроля не надо, так они смотрят; это их пленяет и отдаляет сознательного пролетария от мелкой буржуазии и даже от самых крайних революционеров; это, когда пролетарий говорит: организуемся и подтянемся, или некий маленький чумазый, число ему миллион, нас скинет».

277) «Чумазый» см. п. 174.

278) Л. «О левом ребячестве и о мелкобуржуазности», т. XXII, стр. 506.

Линию «левых» в отношении к заключению Брестского мира Ленин характеризует: «С одной стороны нельзя не сознаться, с другой стороны надо признаться».

278) «С одной стороны нельзя не сознаться, с другой надо признаться» см. п. 45.

279) Там же, т. XXII, стр. 507.

«После трехлетней мучительнейшей и реакционнейшей из войн, народ получил, благодаря Советской власти и ее правильной, несбивающейся на фразерство, тактике, маленькую-маленькую, совсем маленькую, непрочную и далеко неполную передышку, а «левые» интеллигентики, с великолепием влюбленного в себя нарцисса, глубокомысленно изрекают: «закрепление (!!!) в массах (???) бездеятельной (!!!???) психологии мира».

280) Там же, стр. 517.

«Если есть люди среди анархистов и левых эсеров (я нечаянно вспомнил речи Карелина и Ге в ЦИК), которые способны по-нарциссовски рассуждать, что-де не пристало нам, революционерам, «учиться» у немецкого империализма, то надо сказать одно: погибла бы безнадежно (и вполне заслуженно) революция, берущая всерьез таких людей». Повторение этой же цитаты см. т. XXVI, стр. 326.

279—280) «Нарцисс» см. п. 108.

1919 г.

281) Л. «Пролетарская революция и ренегат Каутский», т. XXIII, стр. 233.

О мещанском национализме Каутского и К°, «объявляющем себя «интернационализмом» за свою «умеренность и аккуратность»...

281) «Умеренность и аккуратность» см. п. 25.

282) Там же, т. XXIII, стр. 371.

О буржуазных законах капиталистических стран, «ставящих тысячи придирок и препон любому простому трудящемуся человеку из народа».

283) Там же, т. XXIII, стр. 375.

«Препон».

283—284) «Препон» см. п. 211.

284) Л. «Пролетарская революция и ренегат Каутский» («Советская конституция»), т. XXIII, стр. 372—373.

Возмущаясь лицемерием и предательством защищающего интересы и «права» буржуазии Каутского, недовольного «произволом» советской конституции, Ленин иронизирует:

«Каутский — истинный социалист... он — горячий и убежденный сторонник победы рабочих пролетарской революции. Он только желал бы, чтобы сладенькие интеллигентики, мещане и филистеры в ночном колпаке *сначала*[62]

до движения масс, *до* их бешеной борьбы с эксплоататорами и непременно *без* гражданской войны, составили умеренный и аккуратный устав[63] *развития революции*[62].

С глубоким нравственным возмущением наш ученейший Иудушка Головлев рассказывает немецким рабочим, что 14/VI 1918 г. Всероссийский ЦИК Советов постановил исключить из советов представителей партии правых эсеров и меньшевиков.

«Это мероприятие,—пишет Иудушка Каутский, весь горя от благородного негодования,— направляется не против определенных лиц, которые совершили определенные наказуемые действия... Конституция Советской республики ни слова не говорит о неприкосновенности депутатов — членов советов. Не определенные *лица*[62], а определенные *партии*[62] исключаются здесь из советов».

Да, это в самом деле ужасно, это нестерпимое отступление от чистой демократии, по правилам которой будет делать революцию наш революционный Иудушка Каутский. Нам, русским большевикам, надо было сначала обещать неприкосновенность Савинковым и К°, Либерданам с Потресовыми («активистам») и К°, потом написать уголовное уложение, объявляющее «наказуемым» участие в чехо-словацкой контрреволюционной войне или союз на Украине, или в Грузии с немецкими империалистами *против*[62] рабочих своей страны, и только потом, на основании этого уголовного уложения, мы были бы в праве, согласно «чистой демократии», исключать из советов «определенных лиц».

Стр. 373. «Не менее сильное нравственное негодование вызывает у Каутского то, что советская конституция отнимает избирательные права у тех, кто «держит наемных рабочих с целью прибыли»...

Какое отступление от «чистой демократии»! Какая несправедливость! До сих пор, правда, все марксисты полагали и тысячи фактов подтверждали, что мелкие хозяйчики «самые бессовестные и прижимистые эксплоататоры наемных рабочих», но Иудушка Каутский берет, разумеется, не *класс*[62] мелких хозяйчиков (и кто это выдумал вредную теорию классовой борьбы?), а отдельных лиц, таких эксплоататоров, которые и «живут и чувствуют вполне по-пролетарски».

285) Там же, стр. 395.

«Каутский все перепутал в важнейшем теоретическом и политическом вопросе и на практике оказался просто прислужником буржуазии, вопящим против диктатуры пролетариата.

Такую же, если не большую, путаницу внес Каутский в... интереснейший и важнейший вопрос, именно: была ли принципиально правильно поставлена, а затем была ли целесообразно проведена законодательная деятельность Советской Республики в аграрном преобразовании? Мы были бы несказанно благодарны всякому западноевропейскому марксисту, если бы он, ознакомившись хотя бы с важнейшими документами, дал критику нашей политики, ибо этим он помог бы нам чрезвычайно, помог и назревающей революции во всем мире. Но Каутский дает вместо критики невероятную теоретическую путаницу, превращающую марксизм в либерализм, а на практике пустые, злобные, мещанские выходки против большевиков... Каутский отделывается, как всегда, знаменитым: с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться...»

286) Там же, стр. 409.

«Вандервельде, как и Каутский, великий мастер по части диалектики эклектицизмом. С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться»...

284) «Иудушка», см. п. 32.

285—286) «С одной стороны надо признаться, с другой стороны нельзя не сознаться» см. п. 45.

287) Л. «Речь на II Всерос. съезде советов народного хозяйства», т. XXIII, стр. 449.

О необходимости привлечения к советской работе буржуазных специалистов, приказчиков, дельных буржуазных кооператоров, «которые должны работать... нисколько не хуже, чем они работали у каких-нибудь Колупаевых и Разуваевых».

288) Л. «Маленькая картина для выяснения больших вопросов», т. XXIII, стр. 459.

«Ведь даже в отсталой России рядом с Колупаевыми и Разуваевыми народились капиталисты, которые умели ставить себе на службу культурную интеллигенцию, меньшевистскую, эс-эровскую, беспартийную».

287—288) «Колупаевы и Разуваевы» см. пп. 14 и 174.

289) Л. «Об основании Коммунистического Интернационала», т. XXIV, стр. 29.

«Какого-то итальянского Пошехонья».

289) «Пошехонье» см. пп. 85 и 98.

290) Л. «В лакейской», т. XXIV, стр. 418.

О П. Юшкевиче, написавшем статью в «Объединении» «Революция и гражданская война», в которой он советует рабочим «откинуть» методы гражданской войны.

«Международная буржуазия, сначала германская, потом англо-французская (неоднократно и обе вместе) пошла войной на победивший в России пролетариат, и является человек, называющий себя социалистом, который, переходя на сторону буржуазии, советует рабочим, «откинуть» методы гражданской войны! Разве это не Иудушка Головлев самой новейшей капиталистической формации?»

209) «Иудушка» см. п. 32.

1920 г.

291) Л. «Тезисы об основных задачах II конгресса Коминтерна», т. XXV, стр. 321.

«Благоугодно».

292) «Ленинский сборник» XI, стр. 401.

«Академических благоглупостей».

291—292) См. пп. 52 и 267.

1921 г.

293) «О продовольственном налоге», т. XVI, стр. 326.

«Если есть люди среди анархистов и левых эсеров (я нечаянно вспомнил речи Карелина и Ге в ЦИК), которые способны по-нарциссовски рассуждать, что-де, не пристало нам, революционерам, «учиться» у немецкого империализма, то надо сказать одно: погибла бы безнадежно (и вполне заслуженно) революция, берущая всерьез таких людей».

293) См. п. 108.

294) Там же («Политические итоги и выводы»), т. XXVI, стр. 346.

«Речь на митинге в народном доме 13 марта 1919 г.», т. XXIV, стр. 49.

«В каком-нибудь итальянском Пошехонье собираются батраки и рабочие и заявляют: мы приветствуем германских спартаковцев и русских «советистов» и требуем, чтобы их программа стала программой рабочих всего мира...»

295) Там же, стр. 346.

«...Когда Мартов в своем берлинском журнале заявляет,— пишет Ленин,—будто Кронштадт не только проводил меньшевистские лозунги, но и дал доказательство того, что возможно противобольшевистское движение, не служащее целиком белогвардейщине, капиталистам и помещикам, то это именно образец самовлюбленного мещанского Нарцисса... Этих мещанских Нарциссов — меньшевиков, эс-эров, беспартийных — настоящая деловая буржуазия сотнями одурачивала и прогоняла во всех революциях, десятки раз во всех странах. Это доказано историей. Это проверено фактами. Нарциссы будут болтать. Милюковы и белогвардейщина будут дело делать...

...Распыленного мелкого производителя, крестьянина, объединяет экономически и *политически*[62] либо буржуазия (так бывало всегда при капитализме, во всех странах, во всех революциях нового времени, так будет всегда при капитализме), либо пролетариат... О «третьем пути», о «третьей силе» могут болтать и мечтать только самовлюбленные Нарциссы...

Нарциссы мелкой буржуазии думают, что «всеобщее голосование» уничтожает натуру мелкого производителя при капитализме, но на самом деле оно помогает буржуазии при помощи церкви, печати, учительства, полиции, военщины, экономического гнета в тысячах формах, помогает ей *подчинять*[62] себе распыленных мелких производителей...»

296) Л. «К четырехлетней годовщине Октябрьской революции», т. XXVII, стр. 25.

О роли в демократической революции буржуазных и мелкобуржуазных демократов (меньшевиков и эсеров) и либералов (кадетов).

«Эти трусы, болтуны, самовлюбленные нарциссы и гамлетики махали картонным мечом—и даже монархии не уничтожили. Мы выкинули вон всю монархическую нечисть, как никто, как никогда. Мы не оставили камня на камне, кирпича на кирпиче в вековом здании сословности...»

294) «Пошехонье» см. п. 85.

295—296) См. п. 108.

1922 г.

297) Л. «О международном и внутреннем положении», т. XXVII, стр. 171.

Характеризуя международное положение того времени, Ленин раскрывает подлинную сущность отношения буржуазных стран к Советскому союзу, раскрывает причины заключения торговых договоров РСФСР, значение предполагающейся конференции в Генуе, подчеркивает предательскую позицию европейской буржуазии по отношению к русскому пролетариату.

«У нас ни один рабочий, ни один крестьянин не забыл, забыть не может и никогда не забудет, что он воевал, отстаивая рабоче-крестьянскую власть против союза всех самых могущественных держав, которые поддерживали интервенцию. У нас есть целая коллекция договоров, которые эти государства в течение ряда лет заключали с Колчаками и Деникиными. Они опубликованы, мы их знаем, весь мир знает их. Зачем же играть в прятки и изображать дело так, как будто мы все стали Иванами Непомнящими?»

297) «Иван Непомнящий» см. п. 172.

298) Л. «О значении воинствующего материализма», т. XXVII, стр. 188.

О задачах журнала «Под знаменем марксизма»:

«Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами примене-

ния диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношний экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много... Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым».

299) Л. «Заметки публициста», т. XXVII, стр. 198.

«О восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньшевикам и т. п.»

«Вроде примера».

«Голоса же снизу несутся злорадные. Одни злорадствуют открыто, улюлюкают, кричат: сейчас сорвется, так ему и надо, не сумасшествуй! Другие стараются скрыть свое злорадство, действуя, преимущественно по образцу Иудушки Головлева; они скорбят, вознося очи горе. К прискорбию, наши опасения оправдываются! Не мы ли, потратившие всю жизнь на подготовку разумного плана восхождения на эту гору, требовали отсрочки восхождения, пока наш план не кончен разработкой? И если мы так страстно боролись против пути, оставляемого теперь и самим безумцем (смотрите, смотрите, он пошел назад, он опускается вниз, он целыми шагами подготовляет себе возможность, подвинуться на какой-нибудь аршин! а нас поносил подлейшими словами, когда мы систематически требовали умеренности и аккуратности), если мы так горячо осуждали безумца и предостерегали всех от подражания и помощи ему, то мы делали это исключительно из любви к великому плану восхождения на данную гору, чтобы не скомпрометировать этот великий план вообще».

299) «Иудушка» см. п. 32.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Указание страниц везде по 3-му изданию.
[2] Разрядка Ленина.
[3] Слова и выражения Щедрина выделены мной разрядкой, кроме особо оговоренных случаев. — *Е. М.*
[4] Разрядка Ленина.
[5] У Ленина без кавычек.
[6] Курсив Ленина.
[7] У Ленина без кавычек.
[8] Разрядка Ленина.
[9] Разрядка моя. — *Е. М.*
[10] Разрядка моя. — *Е. М.*
[11] Разрядка моя. — *Е. М.*
[15] Разрядка моя. — *Е. М.*
[12] Особым шрифтом у Ленина.
[13] Вставка Ленина.
[14] Разрядка Ленина.
[16] Разрядка Ленина.
[17] Разрядка моя. — *Е. М.*
[18] См. книгу П. Струве «Критические заметки к вопросу экономического развития России».
[19] Разрядка моя. — *Е. М.*
[20] Разрядка моя. — *Е. М.*
[21] Имеется в виду «Из деревни» Энгельгардта.
[22] Курсив Ленина.
[23] Разрядка моя. — *Е. М.*
[24] Псевдоним Струве.
[25] Разрядка Ленина.
[26] Цитата взята из статьи А. Левицкого «Беглые заметки» В. Р. Р. № 2, 1902 г.
[27] Курсив Ленина.

[28] Разрядка Ленина.
[29] Разрядка моя. — *Е. М.*
[30] Мартов на II съезде партии, выступая против Ленина, употреблял выражения: «бюрократизм», «помпадурство» и т. д.
[31] Разрядка Ленина.
[32] См. брошюру Троцкого «Наши политические задачи», 1904.
[33] Курсив Ленина.
[34] «Девятое января» в № 85 «Искры» 1905 г. Статья без подписи.
[35] Разрядка Ленина.
[36] Разрядка моя. — *Е. М.*
[37] Имеется в виду статья Плеханова «Пора объясниться» (письмо в редакцию). «Товарищ», 1906, № 139.
[38] Курсив Ленина.
[39] Из стих. Некрасова «Рыцарь на час».
[40] Курсив Ленина.
[41] Выражение Некрасова, см. стих. «Колыбельная песня».
[42] Курсив Ленина.
[43] Маслов, П., Критика аграрных программ. М., 1905.
[44] «Образование» 1907, № 3.
[45] Курсив Ленина.
[46] Орган кадетской партии.
[47] Курсив Ленина.
[48] Разрядка моя. — *Е. М.*
[49] Автор статьи, помещенной в № 15 «Голоса Социал-Демократа».
[50] Курсив Ленина.
[51] Курсив Ленина.
[52] Разрядка моя. — *Е. М.*
[53] Разрядка моя. — *Е. М.*
[54] Курсив Ленина.
[55] Разрядка Ленина.
[56] Разрядка моя. — *Е. М.*
[57] Разрядка моя. — *Е. М*
[58] Имеется в виду статья А. Витимского (М. Ольминского) «Культурные люди и нечистая совесть» («Правда» № 98, 1912 г.).
[59] Разрядка и курсив Ленина.
[60] Имеются в виду славянофильские патриотические демонстрации, организованные русскими националистами в Петербурге 30 марта и 6 апреля 1913 г. по случаю сербско-болгарских побед на Балканах.
[61] Курсив Ленина.
[62] Курсив Ленина.
[63] Разрядка моя. — *Е. М.*

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛЕНИН И ЩЕДРИН

Работа «Щедрин у Ленина» (см. выше «Указатель») является попыткой показать на конкретном материале роль художественной литературы как орудия классовой борьбы. Произведения Ленина дают в этом отношении богатейший материал. Художественные образы, отдельные элементы того или иного художественного произведения в руках гениального политика Ленина действительно сыграли роль орудия в организации общественного сознания, орудия разоблачения, дискредитации классовых врагов пролетариата на фронте идеологии. Как пример такого использования Лениным художественной литературы с определенной политической целью можно привести хотя бы его сравнение «рождения» революции с описанием акта родов в художественной литературе, приведенное им с целью дискредитации социал-демократических «человеков в футляре», готовых отказаться от великих последствий революции из боязни ее кровавого зарождения. «Возьмем описание акта родов в литературе. Напр., Эмиль Золя «La joie de vivre» («Радость жизни») или «Записки врача» Вересаева. Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный кусок мяса, но согласился ли бы кто-нибудь,— делает изумительно простой и беспощадный для противника вывод Ленин, — признать человеком такого индивида, который видел бы только это в любви, в ее последствиях, в превращениях женщины в мать, кто на этом основании зарекался бы от любви и от деторождения?» («Пророческие слова», т. XXIII, стр. 108). Не менее любопытен в этом отношении пример использования Лениным гоголевской повести «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» для создания полухудожественной пародии на прения в III Государственной думе по поводу конституции («умаления короны», как выражается Ленин) между Маклаковым и Сипягиным (т. XV, стр. 186), и т. д. Художественные типы мировой и преимущественно русской классической литературы переносятся Лениным в современную ему эпоху, нередко переосмысляются, наполняются новым политическим содержанием и ставятся на службу большевизму. Патриархальный гоголевский помещик-кулак Собакевич превращается в «черносотенца Собакевича» (т. I, стр. 460), сантиментальный романтик Манилов, увлекающийся несбыточными планами и проектами, используется для характеристики народнического романтизма («Манилов сидит в каждом народнике». Т. II, стр. 123) и вообще всякого либерального «прекраснодушия» («Буржуазные Маниловы рисуют себе аркадскую идиллию». Т. VIII, стр. 143), грибоедовская Марья Алексеевна — становится кадетской Марьей Алексеевной, щедринский Иудушка — олицетворением всякого политического лицемерия (октябристов, кадетов, правительства и др.), меньшевики характеризуются Тартюфами, Хлестаковыми («Тартюфы меньшевизма», «Хлестаковы «Новой Искры», «Ноздревы в журналистике») и т. д.

Нередко пользуется Ленин художественным образом в целях самокритики (см. напр. о живучести обломовщины в партийной работе: «Обломов-рабочий», «Обломов-коммунист». Т. XXVII, стр. 177).

Также используется чеховская «Душечка», «социал-демократическая душечка», «партийные человеки в футляре», «партийные Фамусовы» и т. д. Ленин обращается к художественному образу с определенной целью: при помощи этого художественного образа сильнее, ощутительнее осмеять, разоблачить, уничтожить противника, раскрыть абсурдность его политических воззрений, неправильность позиций, иногда партийных ошибок. Прежде всего Ленин широко использует образы русской художественной литературы: Некрасов («Рыцарь на час», из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир», отдельные отрывки из стихотворений, поэм, отдельные выражения: «крепостники-последыши», либеральный чиновник, который «картинно спину гнул свою», и т. д., и т. д.), Тургенев («Бурмистр», «Тургеневский пройдоха», Базаров, Ворошилов), Успенский, Помяловский, Решетников, Чехов («Человек в футляре», «Социал-демократическая душечка»), Островский (Кит-Китыч, «доходное место»), Гончаров (Обломов, обломовщина), Горбунов, Державин, Пушкин, Лермонтов (отрывки из стихотворений используются для своеобразных политических пародий: «насмешкой горькой обманутого

сына над изболтавшимся отцом», та кже пародируется отрывок из стих. «Спор» и др.), Горький (особенно «Буревестник»), Маяковский («прозаседавшимся»), Скиталец, Леонид Андреев (к «Звездам»), Соллогуб («Мелкий бес») и др. Но больше всего опирается Ленин в своей полемике на русскую сатирическую литературу Щедрина, Гоголя (Манилов, Собакевич, Нозрев, Чичиков, Коробочка, Хлестаков, Осип, Петрушка, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, Иван Федорович Шпонька, Поприщин, Добчинский и Бобчинский, Сквозник-Дмухановский, Держиморда и др.), Крылов (крыловская щука, «Слон и моська» — «буржуазная моська лает на пролетарского слона», крыловский кот, квартет и т. д.), Грибоедова (Фамусов, Молчалин, Чацкий, Репетилов, Марья Алексеевна) и т. д., и т. д. Из иностранной литературы им используются, а иногда и просто упоминаются в том или ином смысле: Сервантес, Шекспир, Гете, Золя, Гейне, Мольер, Анри Барбюс, Уптон Синклер, Диккенс, Гауптман, Ибсен, Евгения Сю, Ромэн Роллан и др.

На фоне всего литературного наследства, использованного Лениным в целях классовой, политической борьбы, Щедрин и его творчество занимает первое место. Многократные ссылки Ленина на Щедрина и его произведения (300, в то время как на Гоголя, занимающего в цитатном фонде Ленина 2-е место, — 90 ссылок, на Крылова — 64, Грибоедова — 50, Тургенева — 30, Некрасова — меньше тридцати) свидетельствуют прежде всего о том, что Ленин не только великолепно знал Щедрина, но и глубоко ценил его — последнее подтверждают те отзывы о Щедрине, характеристики его творчества, которые мы нередко находим в статьях Ленина; сжатые, но тем не менее четкие они дают вполне достаточный материал для выяснения ленинского понимания Щедрина. Несомненно, что то предпочтение, которое оказал Ленин щедринскому творчеству, имело свои глубокие социологические причины.

Щедрин в своей литературной деятельности объективно являя выразителем той борьбы за крестьянскую революцию, которую вела народническая демократия в 60-х—70-х годах.

Основными моментами его творчества является разоблачение всей системы самодержавного строя полукрепостнической, полубуржуазной России, этого российского «помпадурства», угрюм-бурчеевщины, неустанная борьба с пережитками крепостничества, которое по мнению Щедрина, «несмотря на упразднение, еще живет в сердцах наших» («Дневник провинциала») и проявление которого он видит во всех современных ему либеральных учреждениях. Так, рассматривая деятельность земств в «Письмах к тетеньке», написанных в начале 80-х годов, Щедрин пишет, о земских деятелях: «По наружному осмотру и по первоначальным диалогам каждый из них — парень хоть куда, а как заглянешь к нему в душу, — ан там крепостное право засело». «Господами Головлевыми» и «Пошехонской стариной» Щедрин нанес решительный, беспощадный удар крепостничеству, раскрыв подлинную сущность крепостнической эксплоатации, разоблачив все проявления так называемого культурного крепостничества. С этими пережитками крепостничества, находившего идеологов и защитников и позднее, пришлось бороться и Ленину. Поэтому он особенно ценил эту сторону щедринского творчества и нередко опирался в этом отношении на великого сатирика. Так, разоблачая крепостнические тенденции либералов, Ленин писал: «Еще Некрасов и Салтыков учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищнические интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов» («Памяти графа Гейдена», т. XII, стр. 8).

Щедрин критически относился ко многим построениям народников. В его творчестве отразилась вся сложность экономического положения крестьянства, после реформы переживавшего, с одной стороны, новую фазу помещичье-крепостнической эксплоатации, выражавшуюся в форме отработков («Господа Головлевы» — сцена с Фокой, с другой — попавшего в кабалу деревенской буржуазии: «чумазых» («Мелочи жизни»), Колупаевых, Разуваевых, Деруновых («Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо»). Щедрин с исключительной чуткостью угадал значение развития капитализма в деревне, ускользнувшее от народников расслоение крестьянства («Коняги», «хозяйственные му-

жички», «мироеды»), историческую миссию кулака, занявшегося систематическим выжиманием мужицкого пота в уверенности, что «ён достанет». Эта характеристика капиталистической деревни, оценка хищнической деятельности «кровопийственных дел мастеров» неоднократно используется Лениным при анализе буржуазных отношений в России (см. пп. 7—14, 174, 214 и мн. др.).

Не менее актуальным в художественном наследии Щедрина Ленин считал его разоблачение современного буржуазного либерализма, его классовой ограниченности — примиренческой тактики. Буржуазный либерал — один из любимых героев Щедрина, деятельность которого он то иронически характеризует как «курлыканье каплунов», то как «сиденье между двумя стульями» или «висенье на весу», то двойственной формулой: «с одной стороны нельзя не сознаться, с другой стороны надо признаться», то «чего изволите?» то иронически называет либеральных деятелей «самовлюбленными Нарциссами», занимающимися «делами о рукомойниках, о нижнем белье, о выеденном яйце» и т. д. И наконец окончательно определяет их деятельность ставшей с этого времени знаменитой среди революционеров формулой «применительно к подлости» (сказка «Либерал»).

В полемике с либералами и народниками Ленин особенно часто прибегает к этой щедринской характеристике, считая ее исключительно метким определением классовой позиции либеральной буржуазии и ее партийных идеологов — кадетов.

Так в статье «Что такое друзья народа» Ленин, обвиняя народников — и в частности Южакова из «Русского Богатства» — в склонности к либерализму, писал: «Нельзя не вспомнить по этому поводу так метко описанную Щедриным историю эволюции российского либерализма. Начинает этот либерал с того, что просит у начальства реформ «по возможности», продолжает тем, что клянчит «ну хоть что-нибудь» и кончает вечной и незыблемой позицией «применительно к подлости».

Поэтому-то значительно позднее (1912 г.), критикуя статью либерал-кадета Щепетова «Письма из Франции», Ленин, глубоко возмущаясь бесцеремонностью либералов, осмелившихся считать Щедрина «своим», решительно протестует против обвинения великого сатирика в либерализме. «Особенно нестерпимо бывает видеть, когда субъекты вроде Щепетова, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии хватаются за фалды Некрасова, Щедрина и т. п.

... Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой «применительно к подлости»... («Еще один поход на демократию», т. XVI, стр. 132).

Характеризуя настроения меньшевиков в 1907 г. как буржуазно-республиканские, Ленин опять-таки ссылается на Щедрина, давшего по его мнению классическую характеристику западноевропейского буржуазного республиканизма: «республика без республиканцев», с сытым буржуа во главе, в тылу и во флангах» (см. «За рубежом», т. IV). «Щедрин классически высмеял когда-то Францию, расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами, банкиров как республику без республиканцев». «Пора родиться новому Щедрину, — продожает Ленин, возмущаясь предложениями меньшевиков об общей платформе социал-демократов и кадетов, — чтобы высмеять Васильева и меньшевиков, защищающих революцию посредством лозунга «отсутствие революционеров», «отсутствие революции» («Плеханов и Васильев», т. X, стр. 235).

Щедринская борьба с крепостничеством, его оценка современного положения деревни, характеристика капиталистических отношений, изображение кулачества, разоблачение классовой сущности либерализма и т. д. были актуальными для последующих поколений революционеров, использовавших щедринские образы для революционной пропаганды. На это указывают и вышеприведенные отзывы Ленина, которые следует дополнить его рекомендацией пропагандировать Щедрина в рабочих массах, его советами редакции газеты «Правда» заняться истолковыванием его художественных образов: «Хорошо бы вообще, от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина... Для читателей «Правды», для 25 000, это было бы уместно, интересно, да и получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом» (письмо в редакцию газеты «Правда» от 8 сентября 1912 г. по поводу статьи М. С. Ольминского о Щедрине).

Художественным наследием Щедрина Ленин воспользовался и в своей борьбе с народниками, и с либералами, и с правительством, и с меньшевиками, и с разного рода оппортунистами, и наконец с недостатками в партийной и советской работе. С народниками Ленин полемизировал прежде всего по вопросу о крестьянстве, с их утопическими иллюзиями, идеализацией общинного землепользования, неправильной оценкой роста капитализма в экономике деревни, с затушевыванием развивающейся классовой борьбы среди крестьянства (полемика с Михайловским, Кривенко, Южаковым). Во всех этих случаях, разбивая народников, Ленин доказывает несостоятельность их теоретических воззрений на крестьянство щедринской характеристикой экономического расслоения деревни, наличием в ней «чумазых», «живоглотов», «хозяйственных мужичков», крепких сторонников частной собственности, далеких от революции, и наконец измученных эксплоатацией, бессознательно относящихся к своему положению коняг (см. пп. 38, 39). Иронизирует Ленин и над «слащавым народническим оптимизмом, искажением исторических фактов, «о том, что якобы средства производства и с к о н и принадлежали прозводителю», ссылаясь на «Пошехонские рассказы», где Щедрин пишет, что все изобилие вековых устоев выпадало лишь на долю лейб-кампанцев и прочих дружинников, остальные же участвовали в нем лишь воздыханием. Использует Ленин Щедрина и в отдельных случаях полемики, напр. с Михайловским, сопоставляя его возражения против «Капитала» Маркса со значением щедринского «но» («mais») («Уши выше лба не растут»); за неправильное толкование исторической необходимости сравнивает его со щедринской вяленой воблой, из которой «выкинули все содержание, оставив лишь шелуху», и т. д. Позднее Ленин полемизирует с близкими к народникам трудовиками, которых он называет «партией хозяйственных мужичков», а за их трусливо-умеренные требования — «премудрыми пискарями»; с журналом «Свобода» (органом политической группы «Свобода») по поводу его колеблющейся позиции между признанием классовой борьбы и индивидуальным террором (щедринские «уши выше лба не растут»), с «В. Рус. Рев.» (органом соц.-революционеров), с Симонди против его романтической теории, двойственность которой он расценивает щедринской формулой «с одной стороны надо признаться, с другой нельзя не сознаться», с Давидом.

Еще глубже и многообразнее использует Ленин образы Щедрина в полемике с буржуазными либералами (кадетами), выступая против их «благонамеренных речей», разоблачая их предательскую тактику щедринской формулой «применительно к подлости», их политическое лицемерие, попытки примирить революционеров с правительством, классовую беспринципность их аграрной программы, на словах защищающей крестьянские интересы, а на деле помещичьи (щедринское «чего изволите?»), либеральное пустословие думцев по вопросу о бойкоте Думы, о поддержке последними милитаризма (думские Балалайкины), практически-ничтожную общественную деятельность либеральных земств, либеральную булыгинскую конституцию с ее проектом государственного совещания и государственного собрания, либеральную болтовню о конституции à la Родзянко, статьи кадетского органа «Речь» о приобретении крестьянами земли якобы по справедливой оценке, лицемерные похвалы Толстому в «Речи» («Балалайкины из «Речи») и т. д.

Полемизирует Ленин и с лидером кадетской партии Милюковым по поводу его характеристики перемещения различных помещичьих партий, по мнению Ленина, сводящегося к «замене какого-нибудь Твердоонто каким-нибудь Угрюм-Бурчеевым», либералами; Щепетовым, Кутлером, Струве, Кокошкиным.

Пользуется Ленин Щедриным также и в борьбе с правительством против надувания им народных масс лицемерными обещаниями, против политики «пресечения», «обуздания», «сокращения», угрюм-бурчеевских законодательств, сводящихся к лозунгу: «не потерплю, сокрушу!»; с министрами по поводу «нового фабричного закона (департамент безгрешных доходов); с правительственной буржуазной бюрократией (помпадурами), стремящейся к одному: «урвать кусок казенного пирога»; с отдельными представителями правительства, например Нарышкиным, защищавшим очень умно и тонко интересы помещиков, прикрывая романтизмом и великодушием нутро Иудушки Головле-

ва; с представителями так называемого либерального правительства, в частности Столыпиным, взявшим ставку на Разуваевых и Колупаевых; с октябристами-реакционерами («дикими помещиками»), в частности с левым октябристом профессором Капустиным, речи которого о парламентаризме, по мнению Ленина, превосходят лицемерное празднословие Иудушки Головлева.

Особенно любопытна в указанном отношении полемика Ленина с меньшевиками по различным вопросам революционной тактики; против предложения меньшевиков о заключении с кадетами блока («Премудрые пискари пресловутой российской интеллигенции»); против отрицания ими партизанской войны; против Васильева, защищающего, как выражается Ленин, лозунг «отсутствие революции, отсутствие революционеров», который Ленин разбивает щедринской критикой французской буржуазной республики без республиканцев; с «Новой Искрой» по вопросу о соглашении с земцами, против принципов новоискровской корреспонденции («Наши Тряпичкины»); с Мартовым по вопросу об организации революции, сводящейся к лозунгу «развязать революцию», по вопросу о вооружении, позднее, в статье о «Продовольственном налоге», по поводу его хвастливого заявления, будто Кронштадт не только проводил меньшевистские лозунги, но и дал доказательство того, что возможно противобольшевистское движение («образец самовлюбленного мещанского Нарцисса»); с Плехановым, которого Ленин за его малодушие, проявленное в революцию 1905 г. («не надо было браться за оружие»), и за дальнейшее примиренчество, вплоть до защиты муниципализации, именует щедринским «премудрым пискарем», а его разоблачение ликвидаторства пародирует в оригинальной сатирической сценке в стиле Щедрина (см. указатель, п. 200); с Потресовы, Даном, с ревизионистом Масловым, которого Ленин называет «Иваном Непомнящим», по вопросу о его проекте «Аграрной программы», с Бернштейном, махистами, с ликвидаторами Либманом, Юркевичем, Семковским (щедринский «мальчик без штанов»), с ливидаторской «Нашей Зарей» («Наши Помои»); с «Рабочим Делом», «Нашим Словом», с Каутским против его националистических тенденций, против неправильного толкования советской конституции («Ученейший Иудушка-Каутский») и наконец с Троцким, обвиняя его в фразерстве («Балалайкин-Троцкий»), ликвидаторстве, лицемерной, нечестной партийной тактике («Иудушка-Троцкий»).

Пользуется Ленин Щедриным и в борьбе с недочетами в партийной и советской работе, например доказывая необходимость идейной связи между писателем и читателем («Газета ведь не такая вещь, что читатель почитывает, писатель пописывает». Т. XXIX, стр. 28), необходимость рабочим изучать историю своего движения, в борьбе со шкурниками, в письме к Горькому о расхождении между впередовцами и ленинцами («Нигилизм ершей») и т. д.

Основные приемы использования Лениным щедринских образов как орудия полемики — разоблачение, срывание масок, характеристика, ссылка и наконец использование щедринской лексики. Наиболее распространенный случай — разоблачение, срывание масок, т. е. обнажение подлинной сущности враждебной марксизму теории, какого-либо отрицательного явления, подлинного лица того или иного политического деятеля. Так например, тактика правительства во время голода разоблачается сопоставлением с речами Иудушки Головлева; классовая позиция либералов — щедринской формулой «по возможности», «применительно к подлости», умеренный либерализм, политическая ограниченность — щедринским «mais» («уши выше лба не растут»), а также образом вяленой воблы, политическая трусливость трудовиков — «премудрыми пискарями», самодовольное хвастовство меньшевиков — щедринским «самовлюбленным мещанским Нарциссом» и т. д., и т. д.

Следует отметить, что этим приемом Ленин пользуется различно: в одном случае разоблачение, срывание маски дается непосредственно при помощи щедринского образа («Иудушка-Каутский», «Балалайкин-Троцкий» «Тряпичкин-Мартов», «департамент безгрешных доводов», «Наши помои», «Чего изволите» и т. д.), в другом случае, уже разоблачив противника, Ленин прибегает к щедринским образам для подкрепления своего вывода, своей оценки. Так например, разоблачив елейные лицемерные речи левого

октябриста профессора Капустина о парламентаризме, Ленин усиливает свою оценку: «Далеко Иудушке Головлеву до этого парламентария». Или например, иронически назвав рассуждения Струве в «критических заметках» о диференциации и нивелировке «объективными», Ленин свое разоблачение усиливает сравнением с «объективным» щедринским историком, которому было «все равно Изяслав Ярослава побил или Ярослав Изяслава», и т. д.

Другой прием использования Лениным Щедрина — характеристика. Очень часто Ленин пользуется непосредственно уже готовой характеристикой-формулой Щедрина: «живоглоты», Колупаевы и Разуваевы, «хозяйственный мужичек», «коняга», «дикий помещик». Но нередко, желая освободить себя от необходимости подробно раскрыть свое отношение к тем или иным лицам или событиям, Ленин прибегает к такой характеристике Щедрина, которая, являясь сжатой, в то же время помогает раскрыть политическое или социальное значение разбираемого явления, помогает дать ему оценку. Так например, вместо подробной характеристики эксплоатации дворянами-помещиками крестьян, Ленин пишет: «Но вот беда, какую пользу извлекут из кусочков земли, хотя бы по три тысячи десятин, все эти владельцы генералы, если не найдтся мужика, вынужденного на этих генералов работать?»

Или же, не считая нужным подробно останавливаться на объяснении выражения Горького «ершитесь промеж себя и зовете ершиться на народе», Ленин, прекрасно играя на звуковых ассоциациях, осложняет это выражение, придав ему значение щедринского скептика-ерша: «Если дело в нигилизме ершей»... (Письмо к А. М. Горькому от ноября-декабря 1909 г. Лен. сборн. II).

Очень часто пользуется Ленин также и политически меткой щедринской лексикой, щедринскими выражениями: препоны, обуздание, благоглупости, оглушение, казенный пирог, эзоповский рабий язык, утробный процесс, непомнящие родства, севрюжина с хреном, не столько сражающимся сколько сражаемым и т. д., и т. д.

Значительно реже обычные прямые ссылки на Щедрина. См. например ссылку на «Мелочи жизни» (п. 58), «Пошехонские рассказы» (п. 43), на классическое описание французской буржуазной республики (п. 157).

Обобщая все использованное Лениным щедринское наследие, можно отметить следующую особенность, дополняющую характеристику ленинского понимания Щедрина,— это закрепление в полемике щедринских образов, характеристик, формул, словечек, выражений за тем или иным общественным политическим явлением или лицом. Так например, французским «mais» или русским «но» («уши выше лба не растут») Ленин систематически разоблачает всякую политическую «умеренность», классовую ограниченность, будь то народники, либералы и др. (полемика с Михайловским, Кутлером, Кокошкиным и т. д.). Так же систематически Ленин пользуется и щедринской формулой «с одной стороны нельзя не сознаться, с другой стороны надо признаться», выражающей политическую двойственность (Сисмонди, Давид, Рей и др.), политическую беспринципность — «чего изволите?»; представление о конституции связывается с «севрюжиной с хреном»; идеологическая рознь между читателем и писателем характеризуется щедринской формулой «читатель почитывает, писатель пописывает», государственное имущество — «казенный пирог»; щедринскими типическими характеристиками определяет Ленин и различные социальные слои: реакционное дворянство — «дикие помещики»; буржуазия—живоглоты, чумазые, Разуваевы, Колупаевы; зажиточные слои крестьянства — «хозяйственные мужички»; деревенская беднота — «коняги»; политическое лицемерие — Иудушка Головлев; либеральное пустословие — Балалайкин («Балалайкины буржуазного либерализма», «земские Балалайкины», «думские Балалайкины», «Балалайкин-Троцкий» и т. д.); политическое хвастливое фразерство — мещанские Нарциссы (Плеханов, Маловер, Мартов) и т. д., и т. д.

Но используя таким образом Щедрина, Ленин в большинстве случаев политически углубляет, расширяет щедринский художественный образ, нередко перенося его с одной социальной группировки на другую.

Но имются случаи и сужения образа Щедрина. Таково например выражение «пошехонцы», «пошехонье», под которыми Щедрин разумеет не только захолустную провинцию с ее дикими нервами, но и крепостническую старину с ее классовыми противоречиями, крепостнической эксплоатацией. Ленин же пользуется этим выражением в более узком смысле, разумея под Пошехоньем захолустную отсталую провинцию, под пошехонцами — невежественную простоту, провинциальную дикость нравов.

Исключительно многообразное и разностороннее использование Лениным литературного наследия Щедрина, точность воспроизведения щедринских цитат, выражений, словечек, не только широко распространенных и популярных, но и таких забытых, как «спапашились», «граф Твердоонто» и др., — все это показывает, насколько внимательно изучал Ленин творчество Щедрина, используя не только образы щедринской галлереи типов, но и детали его художественной сатиры. Ленин цитирует почти все произведения Щедрина, начиная с «Губернских очерков» и кончая последними «Пестрыми письмами», «Сказками». Чаще других цитируются им «История одного города», «Господа Головлевы» (Иудушка), «Письма к тетеньке», «Мелочи жизни», «Сказки», «Дневник провинциала», «За рубежом», «В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия», «Признаки времени», «Убжище Монрепо», «Пестрые письма».

Этот перечень, так же как и приведенные выше ссылки Ленина на художественные произведения других писателей, использованных Лениным в его публицистике, достаточно ярко обрисовывает роль художественного образа как одного из орудий классовой борьбы и политической пропаганды.

Е. Макарова

РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 70—80-х гг. О ЩЕДРИНЕ

I. ОТКЛИКИ НА АНКЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА» Л. Л. БЕРМАНА, Л. Г. ДЕЙЧА, В. И. ДМИТРИЕВОЙ, М. И. ДРЕЙ, П. М. ИВАНОВА, Е. Н. КОВАЛЬСКОЙ, А. П. КОРБЫ, А. И. КОРНИЛОВОЙ-МОРОЗ, Я. К. ПЕШЕКЕРОВА, М. М. ПОЛЯКОВА, И. И. ПОПОВА, А. В. ПРИБЫЛЕВА, Н. И. РАКИТНИКОВА, П. В. РОВЕНСКОГО, В. Н. ФИГНЕР, М. Ф. ФРОЛЕНКО, Н. А. ЧАРУШИНА, М. П. ШЕБАЛИНА, А. В. ЯКИМОВА и Е. И. ЯКОВЕНКО. II. Л. Г. ДЕЙЧ. «М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ».

Печатаемые ниже сообщения бывших народовольцев и других участников русского революционного движения 70—80-х гг. являются ответом их авторов на специальное обращение редакции «Литературного Наследства», предпринятое летом 1933 г. в связи с подготовкой специального номера журнала, посвященного М. Е. Салтыкову Щедрину.

В свое время Ленин, говоря о Толстом, ясно указал на тот признак, который является основным в определении гениальности автора «Войны и мира». «Если перед нами действительно великий художник, — писал Ленин, — то некоторые, хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях» («Лев Толстой как зеркало русской революции»). Ленинский критерий приложим и к Щедрину. Великий сатирик не дожил, подобно своему младшему современнику, до времени наступления первой русской революции, но он действовал на литературной арене в эпоху подготовки этой революции. Выяснить, как Щедрин — художник и публицист — воплотил в свои произведения черты исторического своеобразя эпохи собирания сил крестьянской революции — вот что, если следовать учению Ленина, является основным в определении места и роли литературного наследства Щедрина. Так поставленный вопрос может быть решен только путем анализа политического содержания щедринской сатиры, сделанного на основе ясного понимания характера русского революционного движения 60 — 70 — 80-х гг., его особенностей и движущих сил. Эта большая тема — основная тема марксистско-ленинского щедриноведения — естественно распадается при ее детальной разработке на ряд подтем. Одной из них является вопрос об отношении Щедрина к революционной практике 70 — 80 гг. Бесспорно, что без знакомства с отношением Щедрина к этому крупнейшему явлению его эпохи невозможна исчерпывающая характеристика его литературной деятельности. Но выяснить это отношению — задача столь же трудная, сколь и важная. Царская цензура, «позволившая» Щедрину, правда эзоповски, выявить свое непримиримо-отрицательное отношение к царско-крепостническому строю, а также назревающему капитализму, лишила его вместе с тем всякой возможности отчетливо выразить свое отношение в героической борьбе революционного народничества 70—80-х гг.

Щедрин — один из крупнейших представителей революционно-демократической литературы. Своим оружием — гениальной сатирой и публицистикой — он действовал в стане революции. Но вместе с тем литература была его единственным, хотя и грозным оружием. В жизнь он вторгался лишь пером. Членом какой-нибудь действующей революционной организации он никогда не был, свои произведения всегда печатал в легальной прессе.

Одна из черт «исторического своеобразия» Щедрина в том и заключалась, что он был легальным деятелем революции в государстве помещичье-полицейского произвола. Своей сатирой он взрывал это государство, вел непримиримую политическую борьбу с царизмом, но за пределы литературы, легальной литературы, Салтыков свою борьбу никогда не переносил. Сам он глубоко и мучительно ощущал этот разрыв между революционной мыслью и делом, между редактируемыми им «Отечественными Записками» и революционным движением, между своей литературной деятельностью и «фактами самоотвержения» как эзоповски называл сатирик героическую борьбу народовольцев. Но преодолеть этот разрыв Щедрину не было дано. Даже многочисленные издания его запрещенных царской цензурой произведений в русской подпольной и заграничной вольной печати осуществлялись повидимому без его согласия, или даже вопреки ему. В личном быту, как это показывает ознакомление с мемуарно-биографической литературой, Щедрин также почти никаких связей с революционерами не имел. Это относится и к его письмам, хотя конечно в них он был гораздо откровеннее, чем в своих произведениях для печати, почему его письма и являются столь ценным материалом не только в отношении их громадного идейного содержания, но и в отношении воссоздания политического портрета сатирика.

В свете вышесказанного понятно, почему для разрешения вопроса об отношении Щедрина к революционной практике 70—80-х гг. недостаточным является даже самое тщательное исследование высказываний самого писателя. Такое исследование не гарантирует всей полноты фактического материала, необходимого для серьезной аргументации широких выводов. Вопрос должен быть обследован и «с другого конца»: как относились, воспринимали, оценивали Щедрина сами революционеры, его современники.

Частичным осуществлением так поставленной задачи и являются собранные редакцией материалы. Мы подчеркиваем «частичным» потому, что своим обращением и самым диапазоном его распространения редакция преследовала и преследует цель собрать необходимые данные по интересующему ее вопросу о Щедрине не только от представителей трех домарксистских революционных поколений 60—70—80-х гг., но и от представителей старшего поколения — революционеров пролетарских. Завершение этой работы в ее намеченном объеме еще впереди. Здесь печатаются лишь первые результаты ее — ответы некоторых членов группы народовольцев при Всесоюзном обществе б. политкаторжан и ссыльно-поселенцев, и ответ «чайковца» Н. А. Чарушина.

Ответы народовольцев (в большинстве своем) являются авторизованной стенографической записью их выступлений на специальном заседании литературной комиссии кружка народовольцев, организованном по инициативе редакции «Литературного Наследства» для обсуждения ее обращения (сообщения были сделаны на двух заседаниях).

Ценность и содержательность печатаемых ниже документов несомненна. Перед нами ряд характеристик Щедрина, данных его современниками, непосредственными и видными участниками революционного движения. Особое значение и интерес имеет конечно статья виднейшего народовольца, компетентного члена «Народной воли» — В. Н. Фигнер. Эта статья, добавляя по существу несколько новых и ярких страниц к «Запечатленному труду», является новым, глубоко ценным документом из «летописи жизни» героического революционера. Специально в отношении Щедрина статья В. Н. Фигнер представляет, по сравнению с отзывами остальных членов народовольческого кружка, также особый интерес своей дискуссионностью, своим ярко выраженным «особым мнением». Почти все участники анкеты, за исключением В. Н. Фигнер и некоторых других в той или иной форме подтвердили основной тезис обращения редакции, который был сформулирован следующим образом:

«Великий и трезвый просветитель Щедрин был далек, если говорить о его личном поведении, от подлинно активных революционных кругов русской интеллигенции; социализму и практике революционной борьбы за него, в прямом смысле, он не учил, но его сатира отрицала, ненавидела и разрушала весь окружающий строй самодержавного Глупова с его «острожной цивилизацией»... Объективно — путем злой и умной насмешки, через величайшую остроту своего обличения, через огромный пафос негодования —

Щедрин революционизировал сознание молодежи, подводил ее к идеям революции, идеям социализма».

Такая оценка политического значения сатиры Щедрина полностью подтверждается например в первом коллективном ответе, подписанном А. В. Якимовой, М. И. Дрей, И. И. Поповым, Н. И. Ракитниковым и Е. И. Яковенко: «молодежь, — читаем мы здесь, — еще не вполне выработавшая свои социально-политические взгляды, получала от Щедрина могучие революционизирующие толчки... революционная молодежь видела в нем своего верного и постоянного союзника... бойца, боровшегося за общие с ней идеалы тем оружием, которое дал ему его мощный сатирический талант».

В статье «Щедрин и Ленин» покойный М. С. Ольминский писал: «Щедрин — прежде всего — художник. Не дело художника давать прямые советы и указания. Его область — главным образом область исследования тех психологических надстроек, которые не определяют, правда, форм классовой борьбы, но зато одухотворяют, облекают плотью и кровью личность, через которую классовая борьба получает осуществление». Этот призыв к классовой борьбе звучал, как показывает наша анкета, в сатире Щедрина для многих революционеров, в том числе и для самого Ольминского, бывшего народовольца. В той же статье например мы находим следующее любопытное признание автора: «Рассказ Щедрина («Хозяйственный мужичек» из «Мелочей жизни») заставил меня — и не одного меня — в 80-е годы очень задуматься как народовольца. Щедрин так в конце концов ставил вопрос: «вот честный, трудолюбивый крестьянин, не кулак; но с какой стороны возможно подойти к нему для революционной пропаганды? Выходило, что ни с какой».

Ольминский не развил свою мысль, но ясно, что он хотел сказать: сатира Щедрина так выпукло, наглядно показывала классовую диференциацию деревни, классовую борьбу в ней, что не могла не являться одним из факторов, способствующих разрушению в сознании некоторых народников их основной концепции о «сплошности» крестьянства А это сознание облегчало для иных из народовольцев их будущий переход к марксизму.

Понятно, почему такой видный деятель народовольчества, как В. Н. Фигнер, отрицает наличие каких-либо влияний Щедрина на свое революционное мировоззрение. Здесь не только несоответствие дятельности Щедрина суровым требованиям единства слова и дела, предъявляемым практиком революции, здесь глубокое идейное расхождение. Марксистам Щдрин всегда был ближе, чем народникам, хотя в своей практической деятельности сатирик блокировался именно с народничеством. Отсюда понятно и то, что правильно в общем характеризуя революционизирующее воздействие щедринской сатиры на те кадры молодежи, из которых вырабатывались позднее профессиональные революционеры, большинство участников анкеты вместе с тем допускает ряд неправильных дискуссионных утверждений, дающих основание к неверному определению места, занимаемого Щедриным в истории русской общественной мысли. Почти всюду в ответах народовольцев Щедрин берется за одну скобку с «Отечественными Записками», Михайловским и Елисеевым, т. е. рассматривается как народник, без каких-либо оговорок и попыток определить своеобразие положения Щедрина в этом сложном и в разные периоды различном направлении русской революции (исключение — статья И. И. Попова).

Редакция не входит здесь в обсуждение этих и некоторых других ошибочных утверждений, а лишь отмечает наличие их. Частично критику этих положений в применении к данному конкретному материалу читатель найдет в заключительной части статьи Г. Е. Зиновьева «Большевики и наследство Щедрина» (о выступлении В. Н. Фигнер) Критическое изложение темы «Щедрин и народничество» в ее общей постановке (отношение Щедрина к народническим теориям) дана в статье Я. Эльсберга «Народническая легенда о Щедрине». Обе указанные статьи помещены в настоящей книге.

Следует указать наконец, что в этом же томе мы помещаем статью Л. Г. Дейча «М. Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры (по личным воспоминаниям)» и сообщение Ф. Витязева «Щедрин и Лавров». Обе работы, не являясь «ответами» на нашу анкету, вместе с тем очевидно продолжают ее и дают вместе с сообщениями народовольцев интересный материал для будущего развернутого исследования на тему «Щедрин и революционная теория и практика его времени».

Редакция

ОТ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМИССИИ КРУЖКА НАРОДОВОЛЬЦЕВ ПРИ ОБ-ВЕ ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

«Отечественные Записки» были в 70-х и начале 80-х годов любимым журналом революционной молодежи. И в каждой вновь вышедшей книжке прежде всего хватались за стихи Некрасова, сатиры Щедрина, статьи Михайловского, Глеба Успенского, внутренние обозрения Елисеева.

Чем привлекал Щедрин молодежь и что он ей давал?

Прежде всего революционная молодежь видела в нем своего верного и постоянного союзника, сильного, наносящего ежемесячно меткие и чувствительные удары их общему врагу.

Молодежь читала и перечитывала «Историю одного города», эту яркую картину самого разнузданного российского самовластия, поддерживаемого невероятным холопством обывателя. Она училась на этих ярких картинах ненавидеть и презирать это тупое русское самодержавие и это не менее тупое русское долготерпение и рабскую покорность.

Молодежь рукоплескала неистощимым, всегда остроумным насмешкам Щедрина над либералами, над их умеренностью и аккуратностью, над их вечным приглашением «сидеть смирно и ждать», над их трусостью и половинчатостью.

Такие блестящие картины, как «Убежище Монрепо» и «Чумазый идет!» помогали молодежи отчетливее сознавать те перемены, которые нес с собою России буржуазный прогресс, и характер нового класса, который рос и множился по русским весям и градам. Щедрин нарисовал незабываемые картины того «прогресса», того обирательства, хищничества, разврата и попирания личности, которые нес с собою этот класс.

В ежемесячных статьях Щедрина молодежь находила неизменно острые отклики на текущие политические злобы дня. В них доставалось и Удаву, и Дыбе, и графу Твердоонто, и всяким комиссиям препон, создающимся для борьбы с революционным движением, и диктатуре сердца, и земским «сведущим лицам». Все веяния внутренней политики находили в них свое отражение, всегда остроумное и едкое и всегда согласное с той оценкой, которую давали им и революционеры.

Молодежь ценила и любила Щедрина как несравненного социально-политического сатирика. Как бы ни увлекалась она Д. И. Писаревым, она никогда не сетовала вместе с ним, что Щедрин вместо своих сатирических писаний не занялся популяризацией естественных и социальных наук. Молодежь не искала у Щедрина выяснения теоретических вопросов, ее волновавших. Она приветствовала в нем сильного литературного бойца, боровшегося за общие с ней идеалы тем оружием, которое дал ему его мощный сатирический талант.

Молодежь, еще не вполне выработавшая свои социально-политические взгляды, получала от Щедрина могучие революционизирующие толчки; он разоблачал перед ней гнусность всяких чиновничьих карьер, к которым готовила школа, направленных в конце концов к поддержанию и укреплению самодержавного произвола и грабежа народа Колупаевыми и Разуваевыми, он вскрывал лицемерие, пошлость и пустоту так называемых либеральных профессий (адвокатура, банки, бульварная пресса), земского и городского самоуправления,—словом, всего того, чем утешалось либеральное пустозвонство, восхищавшееся «великими реформами» и нашим «прогрессом». Под всей этой либеральной мишурой Щедрин вскрывал хищничество нарождающейся буржуазии, захватывавшей и земельное дворянство, подчинявшей и подкупавшей и нашу интеллигенцию. Всей силой своего сарказма Щедрин клеймил карьеризм, неизбежно строивший личное благополучие на грабеже народа, преследовал насмешкой все «умеренное и аккуратное» и звал к общественному подвигу на борьбу со злом, так ярко им изображенным.

А. В. Якимова, М. И. Дрей, И. И. Попов,
Н. И. Ракитников и Е. И. Яковенко

Л. Л. БЕРМАН

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — несомненно один из талантливейших и передовых русских писателей. Его сатира, острая, едкая, вскрывавшая пошлость и ничтожество всяких «ташкентцев» и «удавов», самодурство всяких градоправителей, его сатира, пропитанная оппозиционным настроением и борьбой против реакции, была важным и существенным фактором в общественной жизни страны. Велика заслуга Салтыкова-Щедрина, велико его значение.

При всем том я не могу указать ни одного из читанных мною в молодые годы произведений Щедрина, которое бы произвело на меня такое впечатление, которое бывало бы во мне такие чувства и мысли, как например «Подлиповцы» Решетникова. Тут очевидно дело не в талантливости авторов, а в чем-то другом. Если я сопоставлю произведения Щедрина, в отношении влияния на меня, с произведениями и не беллетристического характера, с работами П. Л. Лаврова, Н. Г. Чернышевского, Н. К. Михайловского, то опять-таки я должен сказать, что и «Письма к тетеньке», и другие произведения Щедрина для моего духовного мира, который тогда складывался, не имели того значения, как например «Исторические письма» Лаврова.

С интересом и увлечением читал я Щедрина. Его отклики на разнообразнейшие злобы дня, яркие образы представителей разных слоев общества с их карьеризмом, тупостью, хищническими инстинктами были великолепной иллюстрацией к тем мыслям и чувствам, какие я получил, какие я выносил из других источников. Лично я не в произведениях Щедрина находил ответы на все то, что больше всего в то время меня занимало и волновало и что определило мой жизненный путь.

В эпоху глухой реакции, в эпоху безгласности, молчания общественных групп, в тоске по моральной поддержке Щедрин спрашивал «Где ты, читатель?» и просил: «Откликнись». Плохо отзывался читатель в свое время, и только через 45 лет после смерти Щедрина стали слышаться отклики читателей.

Н. Я. БЫХОВСКИЙ

Из русских писателей-художников слова наиболее революционизирующее влияние на меня имели Глеб Успенский и Салтыков-Щедрин. Успенский будил совесть, не давая ей спокойно примиряться с окружающей гнусной действительностью, с царящим диким произволом, с темнотой трудовых масс, всячески охраняемых от проблесков света угнетателями и эксплоататорами этих масс, с свинской жизнью самодовольной обывательщины, не желающей видеть ничего кроме своего корыта и не знающей никаких других принципов кроме «моя хата с краю...» Салтыков-Щедрин не только сарказмом своей хлеставшей сатиры, но и своими художественными произведениями вызывал презрение, злобу, гнев и ненависть ко всем устоям этого омерзительного порядка вещей. А из этого вырастала непреодолимая потребность беспощадной, самоотверженной, непримиримой борьбы против этого ненавистного порядка, против всех гнилых устоев его до полного их уничтожения.

Со многими произведениями Салтыкова-Щедрина я познакомился еще в ранней юности. Впоследствии, в зрелом возрасте, я много раз перечитывал их с неослабевающим интересом.

Наиболее революционизирующее влияние на меня имели те сатиры Щедрина, которые были направлены против существовавшего самодержавно-полицейско-бюрократического государства. Ведь не было ни одного уголка этого прогнившего политического строя, где под яркими лучами щедринской сатиры не обнаруживались бы миазмы гниения и мерзость запустения. Хотя писателю приходилось, развивая эти темы, прибегать к наибольшей маскировке, к максимальной изощренности в использовании эзоповского языка, но и мы, читатели, ведь тоже изощрялись в стремлении понять истинные и сокровенные мысли сатирика. Кроме того самые персонажи «володевших и правивших нами» были настолько типично изображены Щедриным, настолько глубоко верно

психологически была постигнута им вся внутренняя сущность их мировоззрения и их система политического порядка, что для нас это ведь были реальные личности живой осточертелой повседневной действительности. Любая губерния, любой уезд имели своего Угрюм-Бурчеева, Твердоонто или своего Бородавкина, не только считавших излишними какие-либо уставы, стесняющие градоначальников законами, но и проводивших это на практике. Для нас эти имена были синонимы, ходячие понятия. И мы всеми фибрами нашего существа ненавидели этот политический строй, державшийся на тирании, на удушении свободной мысли тупой и грубой силой, устанавливавшей «благонамеренное единомыслие» в стране, беспрекословное повиновение и послушание начальству.

Кроме легального Щедрина был еще нелегальный Щедрин, — были те произведения его, которые не были пропущены цензурой и ходили по рукам как нелегальщина. Моя юность прошла в провинции. Помню, что у нас по рукам ходили размноженные гектографом большие купюры, сделанные цензурой из разных произведений Щедрина. Запрещенную же цензурой сказку «Вяленая вобла» («Мала рыбка, а лучше большого таракана») я еще в юности сам размножал на гектографе. Мы зачитывались этой глубоко меткой сатирической сказкой, в которой рассказывалось, как вобла стала благоразумной и благонамеренной после того, как ей высушили и выветрили мозг, как легко и вольготно стало ей жить без мыслей, с одним только житейским правилом: «Уши выше лба не растут». Неоднократно в нашем радикальном юношеском кружке учащихся средней школы мы читали и перечитывали эту сказку. Сентенции и афоризмы этой воблы с выветренными мозгами стали для нас поговорками и запомнились на всю жизнь. Сказка Щедрина «Орел-меценат» в свое время тоже была нелегальной и была очень популярна среди нас, учащейся радикальной молодежи. Ходила по рукам как нелегальщина и фотография, изображавшая Салтыкова-Щедрина, окруженного змеями с высунутыми жалами. Среди этих гадов были кажется и жандармы, и цензура, и реакционные удавы из «Московских Ведомостей» и «Нового Времени», и разные другие носители и служители гнета и мракобесия. Фотографию эту кто-то из наших юных фотографов-любителей переснял, и она продавалась за деньги, которые шли потом на революционные цели. В более позднее время, чуть ли не до первой революции 1905 г., эта фотография продолжала распространяться как нелегальщина рядом с фотографией, изображавшей социальную пирамиду буржуазно-капиталистического строя, с фотографиями народовольцев-шлиссельбуржцев и др.

Легальный Щедрин также заменял нередко нелегальщину, особенно если последней было недостаточно. А нелегальщина всегда ведь была дефицитной продукцией, особенно до конца 900-х годов, когда революционное движение стало уже широко массовым. При занятиях с рабочим кружком в Кишиневе мне лично приходилось пользоваться легальными сказками Щедрина. Ядро этого кружка составляли рабочие металлисты Гаманюков, Светковский и Вассер, впоследствии ставшие активными революционерами. Читали мы сказки «Премудрый пискарь», «Карась-идеалист», «Бедный волк», «Повесть о том, как мужик двух генералов пролормил», «Коняга» и другие. Помню, что наибольшее впечатление произвела сказка «Карась-идеалист». Они были в восторге от этой сказки и сами потом не раз перечитывали ее вместе и в одиночку. Тут настолько ясен был истинный смысл этой сказки, что даже не требовались мои комментарии. Особенно приводила их в восторг меткостью и образностью сцена разговора карася с щукой в присутствии головля, охранителя порядка, дающего возможность щукам лакомиться карасями. Стараясь убедить щуку в несправедливости разбоя и насилия, карась говорит, что он верит в торжество справедливости: «Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных... Всякий для всех и все для всякого, — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет... Все друг от дружки, от общих взаимных трудов»... Обращаясь к головлю, щука спрашивает: «Как по-нонешнему такие речи называются» и получает быстрый и лаконический ответ: «социализм, ваше степенство»... На это щука угрожающе изрекает: «Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит». Эту сцену рабочие нашего кружка чуть не наи-

зусть знали. Ведь надо принять во внимание, что это была эпоха гнетущей реакции, когда в легальной литературе о социализме заикаться нельзя было А в этой легальной сказке с поразительной образностью и меткостью фактически ставились все точки над «и». Вообще этой сказкой приходилось очень часто пользоваться пропагандистам того времени. Большим успехом при пропаганде пользовалась также сказка «Коняга», непревзойденная по глубине сострадания к вечному труженику земли, на долю которого достаются только муки и страдания, и столь же глубокого презрения к Пустоплясу-барину, не знающему никакого труда и живущему припеваючи. Другие легальные сказки Щедрина тоже сослужили немалую службу для пропаганды революционных идей, не говоря уж о нелегальных сказках, как «Вяленая вобла» и «Орел-меценат», о чем упоминалось уже выше.

Перечитывать Щедрина мне приходилось обычно во время тюремного досуга. При одном из моих тюремных сидений под следствием в провинциальной тюрьме в 90-х годах невежественные и тупые жандармы всячески ограничивали выбор книг, доставлявшихся мне в тюрьму, судя об этих книгах только по заглавиям. Как только заглавие казалось им подозрительным по части благонамеренности, книга не пропускалась ими. Приходилось даже воевать за пропуск в тюрьму «политической экономии», так как заглавие это пугало невежественного жандармского полковника, не знавшего очевидно, что наука эта преподается в наших университетах. Наложив запрещение на «Политическую экономию», он благосклонно разрешил «Благономеренные речи» и «Сказки» Щедрина. Я и товарищи мои, сидевшие тогда в этой же тюрьме, много смеялись по этому поводу. Провинциальным жандармам было невдомек, что подлинная крамола была именно в этих «Благонамеренных речах» и «Сказках» Щедрина, а также в других его книгах, а не в скромном учебнике политической экономии.

Были у Щедрина читатели и почитатели и в том лагере, который был наиболее ненавистен ему, что не мешало им впрочем оставаться в этом лагере. Как курьез, характерный в известной степени для тех теперь уже далеких времен, можно привести следующий факт.

Во время моей первой ссылки в Сибирь я был поселен в Тунке Иркутского округа и находился здесь под наблюдением «недреманного ока» — местного полицейского пристава Сементовского. Недоучившийся гимназист или семинарист из мелкочиновничьей семьи, он оказался страстным поклонником Щедрина и великолепно знал все произведения его. Он цитировал наизусть целые страницы и знал чуть ли не все крылатые слова и афоризмы Щедрина и его персонажей. В разговорах со мной и с другими политическими ссыльными он либеральничал, награждал начальство свое и весь существовавший политический порядок щедринскими эпитетами, награждал этими эпитетами и афоризмами и свои собственные полицейские функции. Это не мешало ему однако весьма исправно выполнять эти функции. Когда я однажды отлучился «самовольно» на короткое время в Иркутск, он «по долгу службы» счел нужным сообщить об этом высшему начальству, за что я получил тогда несколько дней ареста. В разговоре со мной по этому поводу он, как бы извиняясь, сказал: «Что ж, ничего не поделаете, мы все под недреманным оком. Вы под моим недреманным оком, а надо мною тоже есть недреманное око, да и сам царь тоже под чьим-нибудь недреманным оком. Мне конечно тоже неприятно было доносить о вашей отлучке. Но, знаете, в нашем положении «ежели лишние мысли и чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору», закончил он афоризмом вяленой воблы.

В. И. ДМИТРИЕВА

Имел ли Щедрин революционизирующее на меня влияние?

Да. Несомненно имел.

И вот как это было.

Вспоминается мне темный, запаутиненный чердак в дедушкином доме. А на чердаке среди разного старого хлама — узкий, длинный ящик, битком набитый какими-то толстыми книгами в тяжелых, кожаных переплетах, с разорванными и растрепанными старыми журналами и другими бумагами. Откуда все это взялось у дедушки—неизвестно, но мы с братом в поисках чтения скоро добрались до ящика и, когда нам удавалось ускользнуть от надзора, с наслаждением рылись в бумажной рухляди.

Мне в это время было 13 лет, но я уже вела дневник, читала все, что попадалось под руку, воображала себя Неточкой Незвановой и таила в душе глухой протест против темной и жуткой деревенской жизни, какую вели мы все.

Неужели так будет всегда? И наши дяди Федоры, тетки Катерины, двоюродные братья и сестры, Сони, Политки, Орси, все, все мы—навеки обречены жить в своих темных, закопченых хатах, летом от зари до зари мучиться на полях и гумнах, а зимой гулять на свадьбах, пить водку и драться на кулаках. И нет никакого выхода. И никуда не уйдешь дальше кладбища за селом, где улеглось уже многое-множество завьяловцев, где придется лежать и нам.

Отчего это так? Кто виноват в том, что мы живем, как мыши в мышеловке? И разве нельзя уйти от завьяловщины и как-нибудь по-иному устроить свою жизнь?

Такие вопросы все чаще и чаще волновали меня. Ответа на них не было, нападала гнетущая тоска, даже лес, широкий, многоводный Хопер, деревенские игры и забавы не могли ее рассеять. Только книги, одни книги уносили мысль в другой, просторный и светлый мир, отвлекали от сереньких будничных переживаний, давали новые, волнующие и яркие впечатления. Но и книг было мало, да дедушка и не любил, чтобы мы много торчали над книгой, и поваркивал на нашу мать, что она избаловала нас, не приучает к полезному делу.

Одно прибежище был чердак: забьешься в самый темный угол, никто не видит, никто не мешает читать, писать и думать. Толстые кожаные книги оказались «Историей Петра I»—не помню какого автора, но меня они не интересовали. Но вот однажды с самого дня ящика я извлекала целую кучу разрозненных, пожелтевших книжек «Современника», разных брошюр и отдельных изданий. Мое внимание привлекла небольшая книжка, по углам объеденная мышами,—«Губернские очерки» Н. Щедрина. Отряхнула ее, стала читать. Сначала показалось скучновато... но чем дальше, тем больше я втягивалась в жизнь города Крутогорска, и наконец передо мною развернулась такая потрясающая картина нашего общего российского бытия, что уже не смутная тоска, а ужас и злость переполнили мою душу. Сразу как-то определилось, оформилось и приобрело реальную установку всегда жившее во мне чувство глухого протеста, вспомнились слышанные в детстве страшные рассказы о крепостном праве, сам собою явился прямой и жесткий вывод:

«Вся Россия такая. Везде гадость, мерзость, насилие, несправедливость. Наверху кишат Порфирии Владимировичи, Храптюгины, Налетовы, хищники, взяточники, убийцы, подлые, жадные, наглые... А внизу — забитая, несчастная крестьянская масса, которую приравнивают к стаду, грабят, бьют, презирают, лишают всяких человеческих прав». Я уже читала раньше и «Записки охотника», и «Мертвые души», но нигде, ни у Тургенева, ни у Гоголя, русская действительность, русская правда жизни не была так ослепительно ярко освещена, как у Щедрина. Мало сказать—ярко; нет,—грубо-обнаженно, злыми, въедчивыми, неизгладимыми мазками изображены все язвы, все гнойники, которыми тяжко больна наша бедная страна. В «Записках охотника» крепостнические сцены и типы как бы подернуты мягкой поэтической дымкой, сквозь которую еле-еле можно уловить грубые контуры отвратительных проявлений власти человека над человеком; там даже порка изображена в тонко юмористических и беззлобных звуках, доносящихся до помещичьего балкона из конюшни: «чики-чики-чик, чики-чики-чик». У Гоголя и того нет: сцена загромождена гориллами, удавами, гиэнами, и из-за их рыканья не слышно стонов и воплей пожираемых ими жертв. А у Щедрина...

Смелой рукой он сдирает все поэтические дымки и покровы с окровавленного, кнутом иссеченного лица России и воочию показывает всем, на чем держится законный и незыблемый порядок государства российского.

Порка, розга, кулак, шпицрутены, узаконенный грабеж, наглое самодурство, бесшабашный произвол—все испытанные орудия самодержавного строя безотрадно вскрыты были на страницах этой драной, изъеденной мышами книжечки, этого взрывчатого снаряда, скрывшегося под скромным заглавием «Губернские очерки».

Кое-что врезалось в память и ярко до сих пор.

«У мужика на то и зад создан, чтобы его драть».

«Все законы так оформованы, что у каждого есть природное желание руками в морду тыкать».

«Надо было одного высечь, а высекли другого—просто именно потому, что он не протестовал».

А взяточничество! Не только Хрептюгины и Добровы, приказные и торгаши, но и так называемые «интеллигенты» норовили обобрать мужика при случае. Вот например доктор, который заставляет мужика снимать сапоги, «зная, что они у него все равно, что ломбард». Или вот еще такое наглядное надувательство: «Привезет тебе, бывало, мужичек овса кулей с десяток или рогожи сот пять, ну и свалит, а за деньгами, мол, приходи через неделю. Придет, а ему: «знать ничего не знаю, ведать не ведаю, и не видал тебя никогда...» Уйдет, бедняга, и управы никакой нигде не найдет...»

Так кулаки обжуливали мужиков, а вот как само начальство поступало с кулаками, об этом рассказывает коммерсант по лесной части. «Надо провести плоты, требуется разрешение. А чтобы его получить, давай угощенье. А не подашь—за бороду тебя норовит ухватить. А онамеднись — пили, пили шимпанское, кажись ничего не жалел, чтобы глотку его поганую залить, так ему мало этого... Вздумал: давай теперича реку шимпанским поить. Я было ему в ноги: помилосердствуй! И слушать не хочет! «Шимпанского! Дюжину! Мало дюжины, цельный ящик давай, а не то твои плоты сейчас законфескую, и пойдешь ты в Сибирь гусей пасти»... И дал...»

Прочла я эту драную, заброшенную книжечку и спустилась с чердака с другими чувствами, с другими мыслями. Ведь других учителей у меня не было, никто не говорил, отчего так скудна и страшна наша жизнь, а тут воочью показано, кто наши враги, отчего мы так бедны, забиты и унижены, с кем надо бороться, кого истреблять...

Уже в гимназии потом я прочла «Историю одного города», читала «Вперед» и другие нелегальные издания, которые углубили и оформили мое революционное настроение; но никогда не могла забыть того ошеломляющего, я бы сказала огненного впечатления, которое произвели на меня «Губернские очерки» неведомого для меня тогда Н. Щедрина. Впоследствии я узнала, что под этим скромным именем скрывался тверской помещик, бывший вице-губернатор и губернатор, действительный статский советник М. Е. Салтыков, знаменитый писатель и руководитель знаменитых «Отечественных Записок», острого пера и злой сатиры которого боялись даже царские сановники и министры. Но это обстоятельство нисколько не умалило в моих глазах его значения; пусть он был не революционер, а либеральный интеллигент; для меня все-таки он навсегда остался Н. Щедриным, автором «Губернских очерков», в своей горькой и жгучей сатире показавшим всему миру отчаяние и зло русской жизни. Этого из истории общественного движения в России вычеркнуть нельзя.

П. М. ИВАНОВ

Я тоже принадлежу к тем, которые издавали нелегально и распространяли «Сказки» Щедрина. Должен отметить, что Щедрин оказывал революционизирующее влияние на окружающую молодежь в том смысле, что мы понимали Щедрина как нашего легального помощника, как старшего товарища; мы вели с помощью произведений Щедрина антиправительственную пропаганду.

Оносительно выступления В. Н. Фигнер по поводу Щедрина и ее сравнения народовольческого периода эпохи Первого Исполнительного комитета с более поздним народовольческим я могу сказать, что конечно той нравственной высоты, той ясности и четкости в постановке революционного дела, которыми обладал Исполнительный коми-

тет партии «Народной воли», мы, народовольцы последующего периода, не имели и не могли иметь, потому что мы искали лозунга, под которым можно было бы объединить разрозненные революционные силы. Мы считали, что борьба при помощи террора есть вопрос тактики, но для осуществления такой тактики мы не обладали той беззаветной жертвенностью, которой обладал Исполнительный комитет партии «Народной воли» и для выработки которой для истории нужно было время, чтобы опять могли развиться такие революционные силы.

Е. Н. КОВАЛЬСКАЯ

Мне приходилось пользоваться Щедриным с большим успехом, читая в кружках, организованных мною среди юной учащейся молодежи и среди рабочих. Бичующая едкая сатира пробуждала критическое отношение к существующему строю, к быту правящих привилегированных классов, подрывала традиционную непогрешимость царя, власти вообще («История одного города», «Помпадуры»), дискредитировала либерализм (сказка «Либерал»), толкала на действенный революционный путь. Когда приходилось читать одновременно Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов вызывал подавленное настроение, Щедрин — боевое, протестующее.

А. П. КОРБА

Если мысленно вернуться к старым временам конца царствования дома Романовых, то невольно вспоминается фигура Салтыкова-Щедрина и проявления его буйного литературного таланта. Михаил Евграфович хорошо изучил склонности и свойства русского народа, безошибочно оценивал его гений. Отсюда ненависть Михаила Евграфовича к угнетателям и эксплоататорам народных сил и способностей, к лицам, ставившим искусственные преграды проявлению положительных качеств населения в монархической России.

В одном из моих маленьких очерков я описала свое посещение конторы «Отечественных Записок» для свидания с Кривенкой и Михайловским. Это было в то утро, когда жители Санкт-Петербурга впервые узнавали из утренних газет, что бывший министр народного просвещения Толстой назначен министром внутренних дел.

Мы еще не знали этой новости, и все трое мы были очень удивлены шумному появлению Михаила Евграфовича. Он шел по маленькому коридору, соединявшему частную его квартиру с конторою редакции, шумными и тяжелыми шагами и рычал, как раненый лев. Мы все трое обратили взоры на входную дверь, из коридора. Михаил Евграфович появился в ней, держа в руке номер «Правительственного Вестника», и первые его слова были: «Читали, читали?» и на отрицательный ответ моих собеседников он прочел высочайшее повеление, грузно опустившись в кресло. От ярости он был вне себя. «Как,—кричат он, — этого тюремщика, который своим дурацким классицизмом отправил десятки юношей на тот свет, а теперь всю Россию закует в кандалы бесправия и повиновения!» И после краткого молчания и еще громче он кричал: «Ошибутся! Слишком рискованная игра не ведет к выигрышу! Как бы им не проиграться!»

Салтыков тогда уже был убежден в том, что революционный взрыв неизбежен в России. Слишком безумно было правительственное самоуправство и слишком тяжел гнет, который испытывали на себе трудящиеся массы и трудовая интеллигенция.

Он верил в будущую и при том близкую революцию, и даже великосветские дамы, которых он изображал в «Письмах к тетеньке», восклицали в смущении, хотя по-французски: «Мы танцуем на вулкане».

Эта уверенность Михаила Евграфовича действовала неотразимо на его читателей и приобретала ему друзей и почитателей во всех слоях населения.

А. И. КОРНИЛОВА-МОРОЗ

Я начала с увлечением читать Щедрина с 18-летнего возраста, когда в 1872—1873 гг. в «Отечественных Записках» помещались его очень интересные «Благонамеренные речи». Мы получали книжки «Отечественных Записок» и бросались на статьи Щедрина и Михайловского,—это были самые излюбленные писатели у нас. Между прочим была тогда одна глава из этих «Благонамеренных речей» Щедрина под названием «Переписка». Это—переписка молодого прокурора с маменькой. В письме прокурор говорил о том, как он счастлив в своей деятельности. Его призвал генерал и поручил ему вести дело арестованных 15 человек. Он в патриотическом и служебном восторге берется за это дело, которое у него разрастается: с 15 человек обвиняемых у него вырастает число это до 85. В одном из своих писем маменьке он пишет, что это—люди очень хитрые: они заявляют, что занимаются созерцанием гармонии будущего. Дело все больше разрастается, но в конце концов генералу оно надоедает; ему становится скучно, прокурором он недоволен, и все это дело он прекращает. Эта статья Щедрина была помещена в ноябрьской книжке «Отечественых Записок» за 1873 г., а 5 января 1874 г. я была арестована. На одном из допросов я высказалась, что считаю неправильным предлагать мне вопросы о знакомствах, ибо, если люди, о которых меня спрашивают, занимаются только созерцанием гармонии будущего, то ведь это не есть преступление. Жандарм тогда не понял этого намека, но на следующем допросе он заявил: «Что же вы «о перенесении бедствий настоящего» умолчали?» И вот после этого меня переводят в Коломенскую часть и лишают свиданий. Очевидно жандармы догадались относительно смысла моей фразы на предыдущем допросе и это им очень не понравилось. Когда я была освобождена, мы с сестрой занимались доставкой книг заключенным по большому процессу. Самое большое требование было на журнал «Отечественные Записки». У нас уже было три экземпляра его, которые ходили по тюрьме, но этого было недостаточно. Нам нужен был еще один экземпляр. Мне сказали, что я должна обратиться к Щедрину, что он выразил желание, чтобы к нему пришел кто-нибудь из лиц, которые соприкасались с тюрьмой. Я явилась в редакцию «Отечественных Записок». Кто-то из членов редакции сказал мне: «Вон там в углу стоит стол, за ним сидит Щедрин». Я робко излагаю ему свою просьбу. Он глядит на меня исподлобья и говорит: «Ну, хорошо, только без доставки». Я ему ответила, что мы и так получаем три экеземпляра тоже без доставки. Очень сильное впечатление произвело в политической ссылке закрытие этого журнала. Мы были тогда в ссылке в Томске и нас это закрытие всех очень огорчило, так как мы придавали большое значение этому журналу.

П. К. ПЕШЕКЕРОВ

Для нас, молодых революционеров конца 70-х и начала 80-х годов, Щедрин был одним из тех писателей, которые оказали громадное влияние на наше развитие вообще и формировку нашего политического мировоззрения в частности.

Его глубокая сатира вскрывала и бичевала рыцарей насилия, бесправия и произвола того самодержавно-крепостнического строя, с которым мы вели беспощадную борьбу. Ни одно мало-мальски серьезное явление тогдашней действительности не могло укрыться от метких стрел сатирика, и сатира Щедрина была по содержанию так же разнообразна, как разнообразна была сама жизнь...

Редактируемый им журнал «Отечественные Записки» был лучшим из журналов радикального направления того времени, и я живо помню, с каким нетерпением мы, молодежь, ожидали всякий раз выхода очередной книжки журнала и с каким трепетным волнением набрасывались на чтение статей любимых авторов и в особенности сатирических очерков Щедрина, появлявшихся неизменно из месяца в месяц в каждой книжке журнала.

Правда, при чтении его очерков мы не ощущали того боевого подъема духа, который вызывало у нас чтение подпольных изданий «Земли и воли», «Народной воли» и дру-

гих революционных изданий агитационного характера того времени. Но его бичующие современные порядки сатирические очерки, поддерживая в нас чувство негодования и ненависти к этим порядкам, вместе с тем вызывали у нас чувство удовлетворения от сознания того, что мы в своей борьбе с этими порядками и порождающим их строем стоим на верном пути, что мы не одиноки как борцы, что за нами стоит масса недовольных и что даже такие трезвые и умудренные опытом авторитетные писатели, как Щедрин, являются, говоря современным языком, нашими «попутчиками»...

Трудно сказать теперь, какое из произведений Щедрина оказало на нас, молодежь того времени, наибольшее влияние. В идеологическом отношении все они — и «Господа ташкентцы», и «Благонамеренные речи», и «Пошехонские рассказы» и «Письма к тетеньке», и «Современная идиллия» и т. д. вплоть до последних его произведений — 23-х сказок и «Забытых слов» — были в этом отношении равноценны для нас, и, как я сказал уже, оказали громадное влияние на выработку нашего политического миросозерцания. Что же касается непосредственно художественного впечатления, производимого его произведениями, то для примера приведу следующий эпизод.

В начале 80-х годов, по случаю путешествия Александра III на юг, все находящиеся под гласным и негласным надзором полиции неблагонадежные лица были подвергнуты аресту при полицейском управлении г. Ростова на Дону. Нас было человек 50 рабочих, служащих, студентов и проч. Хотя не все мы друг друга знали лично, но в первые же часы пребывания вместе успели установить общность наших истинных чувств к существующему строю. Но вот приводят к нам несколько позднее еще нового арестованного, один внешний вид которого вызывает у нас уже сомнение в том, что он является нашим идейным товарищем, а после расспросов не остается уже никакого сомнения, что мы имеем дело со «шпиком», подсаженным к нам полицией для добычи сведений о нас. Мы решили его «выжить» из нашей компании. По уговору с несколькими товарищами я предложил устроить совместное чтение и вызвался прочесть из имеющейся у меня книжки «Сказок» Щедрина художественно написанную и производящую при чтении сильное впечатление сказку «Ночь под светлое воскресенье», где сатирик бичует и клеймит Иуду-предателя. При чтении некоторые из товарищей в упор смотрели на подозреваемого «шпика». Последний, не дождавшись окончания чтения, вызвал стуком в дверь надзирателя, попросился в контору и больше не возвращался в камеру... настолько сильно было впечатление от чтения этой захватывающей сказки. Как известно, Щедрин в этой сказке проводит ту мысль, что единственное преступление, для которого нет и не может быть никакого оправдания, — это предательство...

Прошло уже 45 лет со дня смерти гениального сатирика и редактора «Отечественных Записок», а у меня еще и до сих пор перед глазами, как живой, встает образ Щедрина, как он изображен на распространенной в те времена нелегальной фотографической карточке, где художник нарисовал Щедрина, облаченного в халат, с книжкой «Отечественных Записок», крепко прижатой к груди, ощупью пробирающегося темной ночью в густом дремучем лесу. Сатирик хотя и медленно, но уверенно шагает по тропинке, заваленной буреломом, к едва мерцающему вдали просвету, а на его пути, всюду, между ветвями деревьев виднеются уши, глаза и опять уши... Под фотографией напечатаны были стихи, начинающиеся словами: «Еще полночь. Но близок час рассвета»... (Дальше не помню.) Комментарии излишни.

М. М. ПОЛЯКОВ

Мне, деревенскому жителю, не получившему систематического школьного образования в учебном возрасте, Щедрин помог шире и глубже понять и обобщить явления окружающей меня действительности. Большое торговое село в современном Донбассе, районный центр торговли зерном, шерстью и кожей для экспорта и зачинающейся угольной промышленности... По воскресным и праздничным дням в волостном правлении обязательная порка крестьян за разные провинности, выколачивание недоимок и продажа крестьянского имущества за недоимки же и кабальные долги... На базарах и

в лавках вакханалия всевозможного надувательства и грабежа крестьян... Тут же урядник: голос у него зычный, кулаки огромные, и малейший протест «обдуренного» немедленно заглушается урядницкими угрозами, а часто и мордобоем. А в сумерки отдыхающие от трудов праведных хлебники, маклаки, шибаи, лавочники, захлебываясь от восторга, хвастают друг перед другом—кто удачней обвесил, обмерил, подсыпал сору в пробу и т. д. Невдалеке—экономические конторы помещиков Милорадовича и Лисаневича; там по праздничным дням слышишь мольбы «мужиков» и вопли баб по случаю грабительских штрафов за потравы (часто провокационные) полей и лугов или лишения арендованных клочков земли, без которых крестьянин-бедняк обречен на полную нищету. Это—первая стадия освоения российской действительности и зарождения зачаточных понятий, мыслей и чувств, создающих революционное настроение. Вторая — книги. Но библотеки нет. Есть случайные книги: большей частью плохие романы и повести. Неожиданно открывается для меня книжное Эльдорадо. У алкоголика отставного полковника на чердаке много книг на разных языках: много и на русском. Здесь разрозненные томы великих писателей 40-х, 50-х и позднейших годов, а также разрозненные комплекты журналов «Русский Вестник», «Отечественные Записки», «Современник», «Дело» и др. В «Отечественных Записках» и отдельно—ряд произведений Щедрина. Если из мира командного класса я, деревенский юноша, знал насильников, взяточников малого калибра, включая пристава и исправника, регулярно два раз в год приезжавшего за данью от всей этой своры, да еще знал красавца благочинного, о котором рассказывали, что он на исповеди под епитрахилью сговаривался с некоторыми исповедницами о свиданиях, то Щедрин своими произведениями значительно расширил мой горизонт и углубил мои познания в том же направлении. Правда, многое из прочитанного было для меня в ту пору не вполне ясно, но сущность была понята и хорошо усвоена: правящий класс и порядки, им защищаемые, — вопиюще несправедливы. Конечно не один Щедрин был для меня в раннюю пору моего умственного развития великим учителем, а вся совокупность хороших книг и журнальных статей из хранилища полковничьего чердака. Но Щедрин и тогда запечатлевался неизгладимыми, яркими следами в мозгу. И если Некрасов своими поэмами и некоторыми небольшими стихотворениями наполнял сердце гражданской скорбью, зажигал пламя ненависти ко всему существующему строю и стимулировал готовность к участию в революционной борьбе (не в меньшей мере, чем подпольная литература, изредка попадавшая к нам), то Щедрин своим сарказмом и иронией, глубоко обнажая язвы города (мне—деревенщику), давал моему уму и сознанию богатейший материал для размышления над причинами, порождающими нищету, гнет и насилие в деревне. Впоследствии, с накоплением систематических знаний, мне не раз приходилось читать и перечитывать произведения Щедрина, и я у него неизменно черпал не только художественные эмоции, как у других классиков, но и выносил после чтения более четкое, более полное познание основных источников всероссийского гнойника—самодержавия.

И. И. ПОПОВ

Припоминая далекое прошлое, то время, когда складывались мои революционные убеждения, я должен признать, что чтение произведений Н. Щедрина имело для меня исключительное значение. Я не скажу, что я благодаря Щедрину оформил свои социалистические идеалы. Конечно нет. Но он способствовал революционизированию моего миросозерцания. Н. Щедрин дискредитировал самодержавие и весь тогдашний режим и его аппарат с низов до самой вершины. В этом отношении он занимал исключительное положение в тогдашней литературе. Оформление же социалистического мировоззрения слагалось у меня под влиянием Н. Г. Чернышевского, Ф. Лассаля, К. Маркса, П. Л. Миртова-Лаврова, Н. К. Михайловского и др. и конечно «Отечственных Записок».

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни один журнал ни до, ни после не имел такого влияния на молодежь, какое имели «Отечественные Записки» на поколе-

ние 70-х и 80-х годов. Каждая книжка «Отечественных Записок» составляла событие в нашей жизни и возбуждала оживленные толки. Народническое, революционное направление 70-х и первой половины 80-х годов считало этот журнал до известной степени своим органом. Вокруг «Отечественных Записок» группировались лучшие литературные силы во главе с М. Е. Салтыковым, вначале в качестве соредактора, а после смерти Н. А. Некрасова — редактора журнала, Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский, Н. Н. Златовратский, Г. З. Елисеев с его знаменитыми «Внутренними обозрениями» и другие, не говоря уже о более молодых. Журнал дал не только высокохудожественные произведения, в которых показал картину безысходного горя народного, но и поставил ряд социальных проблем и вопросов. Под влиянием этих авторов слагалась так сказать положительная программа моих убеждений и создавался идеал будущего.

М. Е. Салтыков стоял особняком, как бы особняком, но он не терялся среди этих авторов и его произведения не затушевывались богатством содержания журнала. Я думаю, что громадное большинство читателей «Отечественных Записок» (а их было много и среди «наших» и «не наших», среди друзей и врагов) при получении книжки набрасывалось прежде всего на Щедрина. Его изумительный гений и желчный смех, «милые шуточки», от которых задетые зеленели от бешенства, злой сарказм вскрывали и обнажали российскую реакцию, насилие, пошлость, «благородство» в кавычках и тому подобные характерные черты правительства, администрации, печати и общества, не исключая и либерального. После так называемой эпохи великих реформ Щедрин не пропускал ни одного значительного события, чтобы на него не откликнуться. Он дал целую галлерею типов среди правительства и администрации от бутаря до высших правителей, среди адвокатуры, земцев, органов печати, писателей, буржуазии, крепостнического дворянства, Деруновых, Разуваевых, Колупаевых и мн. др. Никто не возбуждал столько суждений, разговоров, догадок, смеха и злобы, как великий сатирик своими творениями, в которых, несмотря на юмор, смех, шуточки, описывались подлинные трагедии. Его «Мелочи жизни» давали жуткую картину и вызывали слезы. Щедрин был не только сатириком, но и пророком: он предсказывал события, предугадывал задуманные реакционные мероприятия. Он описывал события не только с внешней стороны, но доказывал, что при наличии существующих условий они неизбежны и логически необходимы, потому что связаны с государственным строем и его порядками. Никто из писателей ежемесячно, в течение многих лет, не возбуждал в читателе столько ненависти к существующему режиму, бесправию, пошлости жизни, продажности, хищничеству и тому подобным явлениям русской жизни, как Салтыков.

Слушая споры студентов-братьев с их товарищами после прочтения Щедрина, я заинтересовался им и стал читать его с 1877 г., когда мне было 15—16 лет, и не прерывал чтения его до самой смерти писателя в 1889 г. Вначале в моей памяти запечатлелись Бородавкин («История одного города»), составивший «устав о нестеснении градоначальников законом», помещик Поскудников («Дневник провинциала»), предлагавший подвергнуть «расстрелянию всех несогласно мыслящих», и другие прожекты разных Удавов и Дыб, помпадуров и помпадурш, благонадежных и знающих обстоятельства местных землевладельцев; «гор. Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеют право гражданственности («Предание о Макаре, телят не гоняющем») Дерунов и Стрелов, Разуваев и Колупаев и другие хищники, с небывалой смелостью предъявлявшие права на «столпов» отечества». Затем пошли люди торжествующей современности, консерваторы в образе либералов, литературные клоповники под девизом «мыслить не полагается». Все они ставили порабощение народа превыше всего, а средством для этого у них было оклеветание противников. Чем более усиливалась реакция, тем сильнее, злее становился сарказм сатирика. Сенсацию вызвала в очерках «За рубежом» «Торжествующая свинья». Она не только издевается над «Правдой», но и ссыскивает ее своими средствами, с чавканьем гложет ее публично и не стесняется. В «Сказках» опять слышится душевная мука и дан ряд картин русского страдания, и таких картин, каких не много найдется даже в русской художественной литературе.

Но Салтыков не был пессимистом и не отчаивался от мути жизни, порожденной шкурным малодушием. Вдумайтесь в его пророчество в сказке «Пропала совесть». Когда вырастет малютка, в сердце которого совесть нашла приют, вырастет и совесть, и исчезнут тогда «все неправды, коварства, насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама». В «Письмах к тетеньке» Салтыков выражает уверенность, что русское общество «не поддастся наплыву низкопробного озлобления на все, выходящее за пределы хлевной атмосферы».

Отзываясь на самые злободневные темы, ставя прогнозы общественной и государственной жизни, Салтыков возбуждал особый интерес к своим произведениям, как никто другой из писателей. Получая книжку «Отечественных Записок», мы прежде всего набрасывались на Щедрина. Да вероятно не мы только, а и те, кто с особой ненавистью брал в руки журнал в светложелтой обложке — «не попал ли я к нему на зубок?» Около Щедрина велись споры, строились предположения не только о лицах, но и о том, что именно имел он в виду, описывая панацею, долженствующую якобы осчастливить людей, а на самом деле принесшую много зла.

Щедрин так сильно возбуждал интерес в обществе, что его произведения, не только непропущенные цензурой, но и напечатанные в журнале, перепечатывались в заграничной русской печати. В России же, в Петербурге, Москве и других городах, ненапечатанные его сказки гектографировались и иногда нелегально печатались. Как они попадали в руки революционера, я точно не могу сказать, хотя в гектографии А. В. Пихтина и С. И. Чекулева не раз сам гектографировал их. М. Е. Салтыков был крайне осторожен и вряд ли давал непропущенные цензурой статьи даже для прочтения. Редакция «Отечественных Записок» также не выпускала из редакции зачеркнутые цензурой статьи. Вероятно в типографии корректора, метранпажи, наборщики делали оттиски, которые и переписывались для прочтения. Есть у меня еще одно предположение. С. Н. Кривенко, состоявший в редакции «Отечественных Записок», вне всякого сомнения давал непропущенного Щедрина читать С. Е. Усовой, близкому ему человеку, в ссылке ставшей его женой, а та переписывала и давала нам и другим, кто имел гектограф, с тем, чтобы деньги за проданные экземпляры передавались в «О-во помощи политическим ссыльным и заключенным» («Синий Крест»), деятельным членом которого она была. Повторяю, это мое предположение. В связи с нелегальным изданием «Сказок» спрашивается, почему не привлекали к ответственности самого М. Е. Салтыкова? Тогда говорили, что министр Д. А. Толстой не решался применять репрессий по отношению к своему школьному товарищу по Александровскому лицею. Правительство терпело Салтыкова и «Отечественные Записки» вероятно и потому, что не желало вызывать в обществе сенсации. Но в апреле 1884 г. «Отечественные Записки» закрыли. В это время я уже сидел арестованным в Доме предварительного заключения, где на свидании брат сообщил мне эту новость. Ни одна приостановка или закрытие других журналов не произвело на меня такого впечатления, как прекращение «Отечественных Записок». Такое же впечатление закрытие журнала вызвало в обществе. Недаром, вопреки обычаю, правительство дало пространное объяснение, почему оно вынуждено было прибегнуть к этой мере. Я, да и другие решали вопрос, где же теперь будет печататься М. Е. Салтыков? Да и возможно ли ему теперь печататься? Сомневались в этом не только мы, но и сам Щедрин: «Несколько месяцев тому назад я, — писал М. Е. Салтыков в «Пестрых письмах», — неожиданно лишился языка»; так же и «Крамольников («Приключение с Крамольниковым»), однажды утром проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет». Читатели Щедрина остро почувствовали, что Крамольникова нестало пока, и когда появились в «Вестнике Европы» новые вещи сатирика, мы радостно воскликнули: «А он жив!» Нужно было пережить эти несколько месяцев, когда Щедрин не печатался, чтобы почувствовать, как он стал нам необходим и как важно читать его, чтобы разбираться в тогдашней мрачной действительности. В Предварилке я стал перечитывать Щедрина, и первое, что мне попалось, была книжка «Отечественных Записок» за 1881 г. и статья «Июльские веяния». Я помнил ее, и в свое время она произвела на меня сильное впечатление. В этой статье М. Е. Салтыков выступил с резким осуждением еврейских погромов. «История никогда не начертывала на своих страницах вопроса

более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский». Салтыков, да и Н. К. Михайловский, кажется только они среди русских литераторов, дали правильное освещение погромам, при чем Н. Щедрин писал горячо и страстно и заставил многих задуматься над словами: «сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием»... «Нет более надрывающей сердце повести, как повесть этого бесконечного истязания человека человеком». М. Е. Салтыков был убежденным ненавистником всякого насилия и надругательства над человеком. Говоря о страданиях народа, он подымался до высокого пафоса и лиризма и давал истинно художественные картины, каких не много было и в народнической литературе. В этом отношении он ближе всех подходил к Н. А. Некрасову. Ставя звание литератора превыше всего, он требовал от печати честного, правдивого, без всяких стеснений служения народу. Печать и литература должны способствовать развитию правильного знания. «Знать, вот что нужно прежде всего, а знание неизменно приведет за собой и чувство человечности. В этом чувстве, как гармоническом целом, сливаются те качества, благодаря которым отношения между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно справедливость, сознание братства и любовь». Слова и принципы, совершенно чуждые в эпоху «общества взволнованных лоботрясов», как Щедрин прозвал великосветских добровольцев-шпионов из «Священной Лиги».

Этим эскизно-беглым обзором Щедрина, какой я сделал, думаю вполне подтверждается мое утверждение, что чтение Щедрина имело на наше поколение революционизирующее влияние.

А. В. ПРИБЫЛЕВ

Еще в студенческие годы мы с особым удовольствием читали статьи Щедрина. Они привлекали к себе наше внимание не только освещением темных сторон русской жизни, но и бесчисленными намеками на несовершенство внутренней политики государства. Острота языка его сатир, разгадываемый нами его эзоповский язык часто возбуждали множество вопросов, создавали особое протестующее настроение, впоследствии переходящее в революционное. Пользуясь огромным уважением среди молодежи, Салтыков-Щедрин в то же время слыл человеком суровым, недоступным и чересчур насмешливым с людьми чуждого ему круга. В этом отчасти мне самому по личному опыту пришлось убедиться. Кажется в 1879 г., когда в нашем землячестве организовалась кружковая земляческая библиотечка, ее организатором, в том числе и мне, предстояло посетить коекого из издателей-литераторов, чтобы упросить их пожертвовать свои издания в пользу нашей бедной библиотеки. На мою долю выпала обязанность с этой целью побывать у Благосветлова и Щедрина. Первый снабдил меня экземпляром всех изданий журнала «Дело», а у Щедрина я имел в виду получить даровой экземпляр «Отечественных Записок». К последнему я шел с большим трепетом, зная его суровый характер и уменье огорошить нежелательного посетителя. Тем не менее я набрался смелости и, к моему удивлению, совершенно легко и беспрепятственно проник в кабинет редактора. За столом сидела знакомая мне по портретам фигура серьезного, занятого писателя с характерным выражением больших выпуклых глаз, взглянувших на меня как будто не вполне доброжелательно. Когда я объяснил причину моего прихода и выразил просьбу пожертвовать один экземпляр журнала, он спросил: «Библиотека? Какая?» Я объяснил. «Вы думаете, мы обязаны давать журнал всем, кто его просит?» спросил он. «Не всем, а нашему студенческому кружку», отвечал я. «Нет вы напрасно ходите и клянчите, вы ничего не получите!..» Огорченый и афрапированный я поклонился и повернулся, чтобы уйти прочь, но Михаил Евграфович остановил меня и, бросив мне бумажку, коротко отрезал: «В контору». Дело было сделано, журнал я получил и скоро забыл весь неприветливый диалог со Щедриным.

В последующие годы, будучи уже на Каре, мы не пропускали ни одной статьи Щедрина, всегда их комментировали, обсуждали восхищались его талантом и уменьем пользоваться эзоповским языком, смысл которого так гармонировал с нашими взглядами и мыслями.

Таким образом в ряду множества влияний, революционизирующих молодежь моего поколения, нельзя не приписать значительной доли русской прогрессивной литературе вообще и сказкам, статьям и сатирам Щедрина в частности.

Они будировали, волновали и возбуждали наши думы, побуждали мыслить в определеном направлении, от критики современного строя отводили к настроениям протеста, от них — к революционному сознанию.

П. В. РОВЕНСКИЙ

Салтыков-Щедрин обладал замечательным сатирическим талантом. Этот талант проявился с особенным блеском и силой в его «Сказках», в которых всегда трактуется гонение на правду. По цензурным условиям в «Сказках» всегда была аллегория и недоговоренность, но революционным чутьем мы улавливали их смысл. Щедрин в своей сатире никого не щадил. Полный ненависти к царскому деспотизму, он особенно едко, уничтожающе изображал царей и их администрацию. Благодаря своему таланту Щедрин умело и ярко легально проповедывал террор и поэтому его «Сказки» имели революционизирующее влияние. В кружках как интеллигентских, так и рабочих «Сказки» читались с чувством глубокого удовлетворения. Рядом со статьями Михайловского и Елисеева они будили лучшие чувства и мысли и заставляли задумываться над решением проклятых вопросов.

Н. М. ТЕРЕШЕНКОВ

Пишу по воспоминаниям о том, что мне передал брат мой С. М. Терешенков, бывший в делегации, посланной от московского студенчества в Петербург к Щедрину для выражения сожаления по поводу закрытия «Отечественных Записок», передачи адресов-протестов по поводу этого и выражения глубокой симпатии и уважения Щедрину.

С. М. Терешенков, студент Высшего Технического Училища, состоял в то время членом Московской центральной группы «Народной воли» и имел крепкую связь с «Общестуденческим Союзом».

Я помню в руках С. М. Терешенкова накануне отъезда делегации в Петербург адреса студентов Технического Училища, Московского университета, студентов-петровцев и др. Был ли в конце-концов составлен еще один общий компромиссный адрес, о котором говорит П. Анатольев в статье «К истории закрытия «Отечественных Записок» («Каторга и ссылка» № 58—59, 1929 г.), — я не помню. Помню, что в один из адресов я дал свою подпись.

История приема депутации студентов Щедриным, приведенная П. Анатольевым со слов А. Бурцева, рисует этот прием почти в том виде, как передавал мне и С. М. Терешенков.

Выступивший вперед и начавший речь депутат, насколько я помню из рассказа брата, и был сам С. М. Терешенков.

Щедрин совершенно неожиданно оборвал оратора и, между прочим, заявил, что история с депутацией и адресом может грозить ему, Щедрину, крайне тяжелыми последствиями.

В поведении и словах Щедрина брат видел и слышал скорее испуг и страх при виде депутации и подносимого ею адреса, чем злобу и негодование против депутации, о которых пишет А. Бурцев.

Я припоминаю, что депутат (С. М. Терешенков) стал высказывать Щедрину свое удивление по поводу обнаруженного Щедриным испуга.

Тогда выступил другой депутат и стал извиняться за причиненные Щедрину неприятность и неудовольствие приехавшей с адресом депутацией и пославшими ее студентами.

Щедрин как бы опомнился и повел с депутацией беседу о современном политическом и общественном состоянии России, о закрытии «Отечественных Записок» и пр.

Адрес однако уже не был прочитан.

Депутация передала адреса или адрес Михайловскому и Южакову; во всяком случае, насколько я помню со слова брата, временно один из адресов был вывешен в квартире Южакова или Михайловского.

Кроме двух названных литераторов, депутация побывала еще у некоторых сотрудников «Отечественных Записок» — Мишла, Салова и др.

Таков был сохранившийся в моей памяти рассказ С. М. Терешенкова об истории с адресом Щедрину.

В. Н. ФИГНЕР

Редакция журнала «Литературное Наследство» задала вопрос: как революционеры относились к Щедрину? как воспринимали его в революционных кружках и организациях и как, в частности, воспринимала его лично я? Что мы, революционеры, наиболее ценили в нем; чем помогал он в выработке нашего мировоззрения и в практической деятельности?

Этот вопрос явился для меня полной неожиданностью: во всей моей жизни он никем никогда не поднимался — до такой степени значение и возможное влияние Щедрина поглощалось общим значением передового журнала, в котором он был сотрудником и редактором.

В моем развитии и духовной жизни вообще Щедрин никакого влияния не имел. Относительно моих сверстников-товарищей по убеждениям и деятельности, мне кажется, я могу сказать то же самое. Для проверки личных воспоминаний я не поленилась пересмотреть хорошо мне известный том Энциклопедии Граната, заключающий 44 автобиографии революционных деятелей 1870—1880 гг. прошлого столетия.

В истории своего развития все, за немногими исключениями, отмечают определяющее влияние Лаврова-Миртова, Михайловского; называют и других писателей ходовой в ту эпоху литературы: Берви-Флеровского, Добролюбова, Писарева, Чернышевского, Бокля, но Щедрина не называют. Его имя упоминается мельком только в двух случаях (у Сухомлина и у Ястремского).

Я перечитала еще 40—50 анкет членов Группы народовольцев при О-ве б. политкаторжан и сс. поселенцев. В них о Щедрине тоже никто не говорит: везде Миртов, Михайловский, Добролюбов.

По моим личным наблюдениям совершенно исключительное эмоциональное влияние имела поэзия Некрасова. Даже то, что его «лира» извлекала порой «фальшивые звуки», в чем он каялся, и то, что его жизнь не была в гармонии с его стихом, было поучительно, заставляло волноваться, размышлять и воспитывало ценное сознание необходимости, чтобы слово и дело были согласованы.

Позднее писателем, любимым и близким для всех нас, был Гл. Ив. Успенский: искренность и проникновенная любовь к мужику, к деревне роднила его с нами.

Что касается Щедрина — для него особого уголка в душе не было. Его сатира росла по мере того, как развертывалась внутренняя жизнь в России и в культурном слое росло политическое сознание. В период «исканий» у нас были другие учителя, а когда его талант достиг своих вершин, мы вышли из периода юности и были поглощены практической революционной деятельностью, которой Щедрин был чужд.

Как относился Щедрин к нам в период наиболее острой борьбы с самодержавием? Сношения с ним никто из нас не имел — он был слишком осторожен для этого. Вероят-

но он смотрел на действующих революционеров, как смотрел другой редактор «Отечественных Записок» — старый писатель-народник Гр. Зах. Елисеев. С Елисеевым я встречалась со времени процесса 50-ти в 1877 г. Меня познакомил с ним и его женой Александр Львович Боровиковский, защитник моей сестры Лидии и других женщин, цюрихских студенток, судившихся по этому процессу.

При встречах после взрыва под Москвой и взрыва в Зимнем дворце, в то время как жена Елисеева говорила о панике, возникшей в Петербурге после этих взрывов, а мы подготовляли 1-е марта, Григорий Захарович в конце 1880 г. говорил мне: «Ну, что вы делаете? Бьете головой в каменную стену?.. только головы свои разобьете. И чего добиваетесь? Теперь секут без закона... а тогда будут сечь по закону».

Говорил так, а сам предложить ничего не имел.

Может ли мой личный пример (со студенческих годов и до заключения в Шлиссельбургскую крепость) и пример моего окружения считаться типичным? Конечно нет.

Для одних (в том числе и для меня) он обусловливался особенными условиями духовного развития (в 1872—1876); для других — исключительными условиями, в которых протекало революционное движение данного периода, и характером деятельности организации, к которой принадлежала я как член Исполнительного комитета партии «Народной воли». Условия же были таковы.

Мне было 19 лет, когда весной 1872 г. из имения отца в глухом Тетюшском уезде, Казанской губ. я уехала в Швейцарию, чтобы поступить на медицинский факультет Цюрихского университета.

Воспитывалась я в казанском Родионовском институте и пробыла в этом закрытом учебном заведении шесть лет (1863—1869). В нем имени Щедрина я не слыхала.

Дома у нас в деревне выписывали «Отечественные Записки», а мой дядя Куприянов — передовой земский деятель — выписывал «Дело», а раньше «Русское Слово». Но на летних шестинедельных каникулах журналов я не читала, — читала исключительно отдельные повести и романы. О Щедрине не слыхала. После выхода из института под влиянием дяди интересовалась книгами о государственном устройстве и жизни С.-А. С. Штатов и Швейцарии; сочинениями Д.-С. Милля (о свободе, об утилитаризме), книгами по естествознанию и статьями Писарева о превосходстве естественных наук.

В Цюрихе я попала в среду женской молодежи, съехавшейся со всех концов России, благодаря неверному слуху, что 1872 год — последний по приему женщин в университет без экзаменов.

В политическом отношении они были далеко впереди меня, но и передо мной скоро открылись широкие горизонты европейской жизни, и я познакомилась с волнующими идеями политическо-экономических течений Западной Европы. Революционные вопросы и социализм сосредоточивали на себе наше внимание, рабочее движение и Интернационал захватывали нас. О Щедрине в нашей среде не было и речи. Наши требования и общественные запросы с первой же минуты оказались шире содержания легальной русской прессы, и нашему развитию Щедрин не мог содействовать. Он осмеивал частные случаи, темные стороны русской жизни, а мы воспринимали и усваивали критику основ существующего экономического и политического строя, который существовал не только в России, но и во всех странах культурного мира. Нам не надо было карикатур и остроумных крылатых слов: мы не хотели смеяться. В своей свежей молодости мы были требовательны, серьезны и нетерпимы. Не смущаясь, я скажу: мы смотрели глубже, потому что смотрели в сущность вещей, и смотрели шире, потому что смотрели на зло, которым страдали все народы. И искали дела. Искали путей и средств для борьбы. Искали руководства в опыте истории народных движений, в истории революций, в истории борцов-революционеров; в описании их стремлений, побед и поражений думали найти указание, чтобы итти вперед к уничтожению всех социальных зол.

Что мог дать нам Щедрин в этих исканиях?.. Нам, которые в свои 18—20 лет, в политически свободной стране, были в водовороте европейской жизни?

В конце декабря 1875 г. я оставила университет и вернулась в Россию. Благодаря обширным знакомствам, заведенным в студенческие годы, передо мной были открыты

двери в круги квалифицированных революционных деятелей Петербурга. Через полгода я была членом группы тайного о-ва «Земля и воля», в июне 1879 г. участвовала в Воронежском съезде, а при расколе «Земли и воли» стала членом партии «Народная воля» и в качестве члена Исполнительного комитета оказалось в центре ее.

Тут были уже не искания: революционное движение, проходя одну стадию развития за другой, вступило в стадию боевой деятельности — от слова, от пропаганды словом перешло к действию, к пропаганде делом, от первенства переворота экономического революционное сознание повернулось к необходимости прежде всего свергнуть самодержавие и добиться политической свободы, без которой невозможно было движение вперед. И когда боевая деятельность «Народной воли», остановившая на себе «зрачок мира», развернулась, не русские легальные писатели вдохновляли и руководили революционным движением в борьбе с автократией, а мы заражали их действенным духом революции. Они могли только «сочувствовать», но принять участие в борьбе органически не могли. Даже в печатном слове они не могли итти с нами в ногу: когда народовольцы открывали им страницы своего свободного органа, они не были в состоянии писать в нем.

В итоге никто не вздумает отрицать общего значения и влияния передовой легальной прессы на общество и в частности на молодые поколения, но произведения легальных писателей имели значение подготовительной школы, после которой надо было итти дальше: бороться они не учили; претворять слово в дело — не учили. В духовном общении между собой и в нашем революционном окружении я за все время моей деятельности не слыхала никаких разговоров и суждений о Щедрине.

Внимание было обращено на других писателей, речь шла всегда о вопросах более близких для нас, революционеров.

Меня интересовало, какое значение имел Щедрин для поколения, непосредственно следовавшего за нами? Я думала собирать сведения, обращаясь к отдельным лицам.

Но редакция «Литературного Наследства», обращаясь ко мне, одновременно обратилась к «Группе народовольцев» при О-ве б. политкаторжан, и я присутствовала на заседании, на котором давались ответы на запрос редакции. К сожалению ответы были крайне малочисленны (8—9). Из них 6 были положительные — они свидетельствовали, что произведения Щедрина имели на данных лиц влияние революционизирующее. Любопытно, что на мой вопрос, в каком возрасте они читали Щедрина, трое отвечали: в 12, 13, 15 лет. Из шести — пять восьмидесятники и только один семидесятник.

Я хотела также знать мнение и того поколения, которое было старше моего, и в этом отношении имею два отзыва: знаменитого анархиста П. А. Кропоткина (род. 1842 г.) и революционера-бакуниста Михаила Петровича Сажина (род. в 1845 г.).

В книге П. А. Кропоткина «Идеалы и действительность в русской литературе», в основание которой положено восемь лекций, прочитанных П. А. Кропоткиным в Америке в 1901 г., он говорит: «В начале восьмидесятых годов, с прекращением террористической борьбы против самодержавия и с восшествием на престол Александра III, когда редакция восторжествовала окончательно, сатира Щедрина превратилась в крик отчаяния. По временам сатирик достигал величия в своей печальной иронии, и его «Письма к тетеньке» останутся в литературе не только как исторический памятник, но и как глубоко интересный психологический документ. Надо впрочем сказать, что и тут его сатира не достигла той силы, которой должна достигать истинная могучая сатира, бичующая так, что от ее ударов бичуемые приходят в еще большее бешенство, чем от прямых нападений. Вообще если сатира Щедрина имела хорошее влияние на молодое поколение тем, что выставляла ему напоказ всю пошлость «ликующих, празднболтающих» и удерживала от засасывания в этом стане, то едва ли она могла оказывать одинаково положительное влияние, уводя людей «в стан погибающих за великое дело любви».

М. П. Сажин имел в период 1872—1876 гг. в Швейцарии обширные связи среди молодежи (учившейся в университетах и приезжей из России). Его наблюдения вполне совпадают с тем, что было высказано мной. Для него и для того поколения, по его

мнению, Щедрин не имел значения — они были революционнее его и переросли его сатиру.

Если бы редакции удалось собрать достаточно данных и разгруппировать их точнее по времени (60-е, 70-е и 80-е гг.), то возможен был бы вывод о связи отзывов с общим характером периодов, к которым они относятся, а именно с общественным подъемом и с усилением революционного движения, с одной стороны, а с другой — в связи с реакцией правительственной и общественной.

Быть может я не ошибусь, если скажу, что помимо развития таланта нашего сатирика его успех рос по мере усиления реакции с началом царствования Александра III, реакции не только политической, но и общественной, а в революционном движении было затишье и перестройка: старое направление отмирало, а новое только пробивало себе путь, складывалось, но еще не сложилось.

Такое впечатление произвело на меня заседание группы народовольцев, состоявшее почти исключительно из восьмидесятников. После, когда я спросила одного знакомого, чем он объясняет успех Щедрина в 80-е годы (его университетские годы), он не задумываясь ответил: «Тогда было такое темное время, что всякое слово обличения и осмеяния полицейских порядков нашего строя принималось с восторгом».

Интересно, как смотрел и оценивал сам Щедрин свою литературную деятельность.

В этом отношении знаменательна его статья — настоящая исповедь: «Имярек».

Упомянув, что в ранней молодости он был идеалистом-фурьеристом, переходя ко времени ссылки в Вятку, он говорит: «Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи — до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии — до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязало местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч. — предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам» и т. д. (стр. 604).

О периоде после ссылки автор рассказывает: «Имярек вновь очутился в центре «большой деятельности» (в отличие от малой, провинциальной). Это было время, когда все носы, и водящие и водимые, смешались, когда мертвые встали из гробов и рванулись на встречу проглянувшему лучу света. Вместе с другими потянулся к лучу и Имярек. Эпоха возрождения была довольно продолжительна, но она шла так неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь определенно сущность ее... Лозунг его в то время выражался в трех словах: свобода, развитие и справедливость. Свобода — как стихия, в которой предстояло воспитываться человеку, развитие как неизбежное условие, без которого никакое начинание не может представлять задатков жизненности, справедливость — как мерило в отношениях между людьми, такое мерило, за чертою которого должны умолкнуть все дальнейшие притязания... И вот теперь, скованный недугом, он видит пред собой призраки прошлого. Все, что наполняло его жизнь, представляется ему сновидением. Что такое свобода — без участия в благах жизни? Что такое развитие — без явно намеченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?

С л о в а̀, с л о в а̀ и с л о в а̀...» (Разрядка моя.— *В. Ф.*)

Читая эти скорбные слова, как не вспомнить другого, самого искреннего писателя того времени, так любимого всем нашим поколением, — Гл. Ив. Успенского, вполне сочувствовавшего нам, тогдашним революционерам. В письме Соболевскому, редактору «Русских Ведомостей», он говорит: «Да, надо д е й с т в о в а т ь прямо. Ты — писатель (думают они), сочувствуешь и тому-то и тому-то? Н у т а к д о к а ж и (разрядка моя.— *В. Ф.*). Беда тебе будет? Плохо? До этого нам нет дела. Ты должен не быть зайцем, боящимся всего этого. Если вы, писатели, пишете то-то и то-то, то и на деле — пожалуйте. Это все верно, правда сущая, но я уже напуган. Вздохну, обдумаю, немного укреплюсь и, поверьте, сделаю так! Е с л и я н е с д е л а ю т а к, т о в с е ч е п у х а, в с я ж и з н ь — в з д о р, с о ч и н е н и е, п у с т я к и, п р е з р е н н ы е п у с т я к и» (разрядка моя. — *В. Ф.*).

Требовательны были мы, требовательны и непримиримы. И Глеб Иванович прекрасно понимал нас, сущность нашу.

М. Ф. ФРОЛЕНКО

Вполне соглашаясь с тем, что о Щедрине сказали товарищи, и подписываясь под их писанием, от себя лишь замечу то, что в начале 70-х годов Щедрин для меня и для моих близких товарищей не был учителем в революции — мы учились ей на другом и у других учителей.

В 60-х годах, когда у нас начались реформы, многие набросились на них, думая своей службой приносить большую пользу обществу, народу,— но скоро в этом разочаровались, и вынесено было заключение, что легальной деятельностью хорошего ничего нельзя сделать — заплатами старого платья не починишь,— что для этого нужна революция и что только одна она может что-либо сделать, а потому только ею и следует заняться.

Этот завет был передан нам семидесятниками. Вот он, да плюс такие учителя, как Чернышевский, Великая французская революция, Коммуна и сделали в начале 70-х годов нас революционерами.

Беспощадный, всесторонний критик и сатирик Щедрин важен был для нас тем, что давал нам в руки ценные данные, которые вполне оправдывали нашу революционную деятельность и находили ее необходимо-нужной.

Кроме того, бичуя произвол, карьеризм, взяточничество, погоню за наживой, он не малое оказывал влияние и на широкие слои населения, вызывая у них критику существующего безобразия и благожелательное сочувствие к деятельности революционеров, побуждая при том молодежь самой заняться тем же.

В. И. ФРОЛОВ

Для революционно настроенной части студентов Петровской академии средины 80-х годов прошлого столетия Щедрин несомненно был своим писателем, таким же, как Глеб Успенский и Михайловский. День, когда появилось известие о запрещении «Отечественных Записок», был в подлинном смысле траурным днем: на лекциях, в столовой, в лабораториях только и разговору было, что об этом запрещении. Его «Сказки», изданные литографским и гектографским способом, пользовались широким распространением. Под буквы, которым по звуковому методу обучался Орел, подставляли слова террористического содержания. Наставник заставляет Орла заучить буквы: в, з, б, к, м—это расшифровывали так: вот завтра будет казнь монарха. Огромное и глубокое внимание привлекали к себе и легальные сказки Щедрина. В Бутырской тюрьме в качестве слушателей было два надзирателя; здесь были прочитаны и комментированы сказки «Христова ночь», напечатанные в «Русских Ведомостях», нелегально доставленных в тюрьму.

В ссылке в Березове политические ссыльные получали «Вестник Европы» единственно из-за того, что в нем печатался Щедрин, и большей частью на страницах Щедрина единственно и бывал разрезан журнал.

Когда Щедрин скончался, березовская колония послала семье покойного сочувственный адрес, в котором называла Щедрина своим учителем. Так как переписка ссыльных Березова была под контролем, то возникли опасения, что исправник не пропустит этот адрес. Однако исправник не только пропустил, но, прочитав наш адрес, перекрестился широким крестом и сказал: «Царство ему небесное. Закатилась великая звезда земли русской. Я ведь знал покойного: мы с ним вместе служили». Когда Щедрин был чиновником особых поручений при вятском губернаторе, наш исправник начинал свою служебную карьеру писарем вятского полицейского управления.

Н. А. ЧАРУШИН

Сатира Салтыкова-Щедрина по разнообразию своего идейного содеражния и по силе вложенного в нее чувства, полагаю, не могла не иметь революционизирующего влияния на молодое поколение. Такое влияние, в числе других писателей, несомненно имел на меня и Салтыков-Щедрин. Всесторонний и беспощадный анализ русской жизни,

какой он давал в своих сатирах, не оставил живого места на теле России, и невольно под влиянием его писаний, почти всегда трогающих, создавалось представление о ней как о стране до последней степени угнетенной и придушенной, отданной на поток и разграбление разным Деруновым, Колупаевым и дельцам высшего порядка. Все это вместе взятое не могло не вызывать в читателе чувств возмущения и негодования, а в особо чутком и деятельном—стремления к борьбе с таким убийственным укладом жизни. Путь же для борьбы по условиям времени оставался почти один—революционный.

М. П. ШЕБАЛИН

Я также позволю себе сказать несколько слов. Конечно ничего похожего на такой прелестный кусочек литературы, какой сооообщила нам В. И. Дмитриева, я дать не могу. Что касается моих современников, которые высказывались до меня, то я вполне подтверждаю их слова и могу сказать, что и на меня Щедрин производил такое же впечатление. Да и странно было бы, если бы он не производил этого впечатления,— ведь никто лучше Щедрина не изображал в тогдашней легальной прессе того социального строя, в котором мы имели несчастье родиться и жить. Скажите пожалуйста, кто так едко и так метко изображал администрацию? Никто, кроме Щедрина. Он умел сказать так, что все понимали всю ту гадость, которая была кругом и которую он именно хотел показать. Вместе с тем он это показывал так, что цензуре трудно было к нему придраться. Щедрин разоблачал не только администрацию, но и буржуазию тогдашнюю в лице Колупаевых и Разуваевых, его сатира затрагивала также либеральную прессу. Помните Тряпичкина, корреспондента, который мог что угодно сказать и что угодно продать? Словом, такой едкой сатиры на существовавший тогда строй, как у Щедрина, вы не найдете нигде в тогдашней лиетратуре, разве только за границей. Этим и объясняется то влияние, которое он имел в свое время. Я хочу прибавить еще следующее: я знал уже тогда, что Щедрин — бывший петрашевец. Я знал, что это — аристократ, бывший губернатор, но все же петрашевец. Я знал это, и это меня подкупало в его пользу. Знал я также, что Д. И. Писарев относился к Щедрину отрицательно и сатиры его считал «невинным юмором», но я с этим не соглашался. В мое время впечатление, производимое Щедриным, все более разрасталось, и мы увлекались его статьями в «Отечественных Записках». Будучи студентом, я сам распространял нелегальные издания и продавал их по 3 и 5 целковых за штуку, что по тогдашнему времени было значительной суммой. Я не знал тогда, какая была связь у Щедрина с революционной средой; однако произведения его попадали в нелегальную печать. Я не знал тогда и того факта, который узнал, когда я сделал заведующим Музеем Кропоткина. Организовавшаяся в 1881 г. подпольная черносотенная «Священная дружина» замыслила убить П. А. Кропоткина, которого охранники считали главой всего революционного движения. Был послан за границу специальный убийца — какой-то офицер. Щедрин узнал об этом и с большой осторожностью предупредил П. А. об этом замысле, уехав за границу как бы для лечения. Таким образом план этот потерпел фиаско. Факт этот показывает, что в Щедрине петрашевец никогда не умирал. Я думаю, что Щедрин после ссылки в Вятку скрыл свое нутро, но сохранил его до конца жизни. Думается мне, что Щедрин был больше чем либерал, он был социалист-утопист. Поэтому он не смущаясь критиковал либералов и представлял в настоящем свете либеральных писателей.

Е. И. ЯКОВЕНКО

Читать Щедрина я начал в раннем возрасте. Мне было лет 13, когда у нас в доме появились «Отечественные Записки», которые я читал с большим усердием, не останавливаясь перед тем, что многое в них было мне тогда непонятно. И тогда уже, конечно не без влияния со стороны старших в семье, складывалось у меня представление, что Щедрин зло, но правильно осмеивает пошлость и отсталость чиновничьего мира, а вместе с ним всего царского правительства. А так как в семье нашей довольно сильно было оппозиционное направление и давался простор свободомыслию, то естественно, что

произведения Щедрина находили во мне восприимчивую почву. В то же время я, читая Щедрина, научился понимать, что под злою насмешкой скрывается сильный протест против царившего порядка, протест, который вдохновлял и звал на борьбу. Впоследствии мне становилось все более очевидным, что Щедрин не просто осмеивал пошлость и холопство, но делал это потому, что существуют светлые, хорошие, достойные формы жизни, которым пошлость и холопство мешают осуществиться. Это еще более привлекало к чтению Щедрина. Ведь молодости нужен идеализм.

Недоброжелательство и озлобление, которые встречал Щедрин в чиновничьих сферах и в частности среди наших чиновников-учителей, укрепляли нас, гимназистов, в мысли, что именно за Щедрина нужно держаться,— его стрелы попадают в цель. Много позже бывший шлиссельбуржец, потом член Государственной думы В. А. Караулов как-то в Сибири рассказывал мне, что однажды при допросе его жандармским генералом Новицким в Киеве почему-то было упомянуто имя Щедрина. Жандарм с нескрываемой злобой сказал: «Скоро и господин Щедрин будет сидеть у нас на том же месте, где сидите теперь вы». В Щедрине жандармы видели революционизирующую силу, но не решались наложить на него руку, как позже не решались посягнуть на Толстого. Все-таки была еще некоторая боязнь общественного мнения.

В последних классах гимназии Щедрин уже был для нас одним из наиболее почитаемых и популярных современных писателей. Когда мы собирали между собой гривенники на приобретение хотя и легальной, но «хорошей» литературы, непременно приобретались сочинения Щедрина. Они переходили из рук в руки. От гимназического начальства это не могло скрыться, и оно отбирало у нас сочинения Щедрина как «неподходящие» для чтения гимназистов. А мы их припрятывали наравне с литературой нелегальной — революционной.

Та же популярность Щедрина сохранялась и в студенческую пору (80-е годы). Это было время, когда едкая сатира у Щедрина стала давать место реалистическому изображению жизни. «Пошехонская старина», которая печаталась в то время, выпукло рисовала гниль и разложение крепостнического общества, оставившего нам в наследство вместе с нелепым самодержавием всепроникающее холопство и печальную отчужденность от народной массы. С глубоким интересом мы читали в «Вестнике Европы» мелкие рассказы, а в нелегальных изданиях сильные своей беспощадной иронией сказки, в которых так легко угадываешь и живых людей, и действительные факты.

Когда в 1886—1887 гг. Щедрин начал часто болеть, мы, студенты, тревожно следили за его болезнью. Была отправлена к нему студенческая депутация с выражением нашего уважения к нему и с пожеланием выздоровления. Щедрин, больной, с обычным своим суровым видом, принял депутацию, но видимо был тронут сочувствием студенчества, благодарил.

Неоднократно в разные годы моей жизни я возвращался к чтению Щедрина: и в тюрьме, и в ссылке, и в годы общественной работы, и в последнее время, когда хочешь осмыслить опыт своей жизни... И всякий раз я находил и нахожу большое удовлетворение в этом чтении. И оглядываясь в далекое прошлое и оценивая в прошедшем перед моими глазами революционном движении не только сублимированную диалектику социальных сил, но и глубоко проникающие психические моменты, создающие революционное настроение и революционную психологию, без которых не бывает и революции,—я укрепляюсь в мысли, что произведения Щедрина много содействовали тому, что у меня, как и у моих сверстников и товарищей, развивалось и крепло революционное настроение. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Нельзя стать революционером, если не носить в сердце своем печали и гнева. А у Щедрина в его сатире было так много сильного, беспощадного, заражающего и увлекающего за собой гнева. Но не только сатира и гнев. У Щедрина находишь и скрытый идеализм, который становится все более и более ясным по мере того, как вчитываешься в осмысливаешь его творчество. Поэтому его меткая, бичующая, гневная сатира не умирает с временем, но остается сильной и живой, пока пороки власти, самодурство, холопство, пошлость и низость продолжают жить в человеческом обществе.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН И РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

(По личным воспоминаниям)

Л. Г. ДЕЙЧ

Нашей эпохе — самой замечательной в истории всего человечества — предшествовала, как известно, неимоверно тяжелая и длительная борьба, потребовавшая неисчислимого количества жертв как со стороны лучшей части русской интеллигенции, так в особенности со стороны рабочих. К числу лиц, оказавших значительное влияние на наше революционное движение, бесспорно принадлежали наши передовые писатели — беллетристы, поэты, критики и публицисты. Из всех этих лиц в последние годы особенно большое внимание некоторые стали уделять почти полвека назад умершему нашему крупнейшему сатирику М. Е. Салтыкову: производится оценка давно забытых большинством читателей его произведений и высказываются различные взгляды относительно его роли как художника, публициста и общественного деятеля. При этом, как водится в таких случаях, одни готовы превознести Салтыкова сверх меры, называя его «самым известным и самым популярным писателем» 60-х годов, другие, наоборот, склонны совсем отрицать его влияние на революционеров.

Я являюсь теперь одним из немногих современников Салтыкова; к тому же, насколько было возможно при условиях моего революционного прошлого, я довольно внимательно следил в течение почти двух десятилетий за его литературной деятельностью. Думаю поэтому, что предлагаемые мои воспоминания окажутся не излишними, хотя бы в виду указанных разногласий относительно влияния Салтыкова на нас, революционеров минувшего столетия.

Мне было лет 13—14, когда я прочитал некоторые из наиболее популярных произведений наших знаменитых писателей, в том числе кое-какие Щедрина. Столь раннему моему знакомству с нашими классиками, — в ущерб древним авторам, которых, как известно, стали усиленно вколачивать в головы учившихся в гимназиях со второй половины 60-х годов, — в значительной степени я был обязан посещавшим моих старших сестер студентам, о которых скажу здесь несколько слов.

Их было шесть или семь и все они принадлежали к разночинцам, являлись демократами и нигилистами, которых связывало в тесный дружеский кружок единство взглядов, интересов и стремлений. Умные и симпатичные, все эти студенты разных факультетов Киевского университета усердно занимались своими специальными науками, но находили время и на чтение общей литературы, а также на беседы и споры по поводу разных современных вопросов. Как и преобладавшее во второй половине 60-х годов большинство наиболее зрелых, серьезных представителей передовой молодежи, все они признавали себя истинными последователями Чернышевского и Добролюбова, а также сменивших их в «Современнике» М. Антоновича и Ю. Жуковского; к Писареву же и к его товарищам по «Русскому Слову» — Зайцеву и Соколову — они относились с большим пренебрежением, считая их пустыми, вздорными молодыми людьми, которые своими нелепыми выходками только компрометировали передовую молодежь в глазах передовой части общества [1].

При всем глубоком уважении членов указанного кружка к Чернышевскому и Добролюбову, они однако не разделяли того беспредельного восторга, с каким прогрессивная часть нашей интеллигенции относилась ко всем без различия произведениям этих наших знаменитых просветителей: признавая их авторитетами по разнообразным вопросам, волновавшим в то замечательное десятилетие русское общество, почти все члены киевского кружка относились довольно критически к некоторым сочинениям Чернышевского и Добролюбова. Особенно запечатлелись в моей памяти горячие их споры по поводу романа «Что делать?» Как я вскоре после знакомства с произведениями Щедрина узнал, в своем отрицательном отношении к этому знаменитому роману члены названного кружка вполне сходились со взглядами на него Салтыкова. Напомню здесь о положении, которое в описываемое десятилетие занимал наш знаменитый сатирик.

Известно, с каким чрезвычайным одобрением Чернышевский, Добролюбов и другие выдающиеся писатели той эпохи отнеслись к появившимся в 1857 г. «Губернским очеркам» Щедрина, а затем к его «Помпадурам и помпадуршам».

«Мы считаем их не только прекрасным литературным явлением, — писал Чернышевский о первом произведении, — эта благородная и превосходная книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни. «Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими и полезнейшими и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он. Как бы ни были высоки те похвалы его таланту и знанию, его честности и проницательности, которыми поспешат прославлять его наши собратия по журналистике, мы вперед говорим, что все эти похвалы не будут превышать достоинств книги, им написанной»[2].

Более сдержанный, но все же довольно лестный отзыв об этой же книге дал также Добролюбов.

«Упреки, делаемые г. Щедрину, — писал он в том же журнале, — раздаются только в отдельных, едва заметных кружках меньшинства. В массе же народа имя г. Щедрина, когда оно сделается там известным, будет всегда произноситься с уважением и благодарностью; он любит этот народ, он видит много добрых, благородных, хотя и не развитых или неверно направленных»[3].

Тургенев отнесся сперва отрицательно к писательской манере Салтыкова, но он вскоре признал свою ошибку и заявил, что Щедрин «неоспоримый мастер и первый человек в своей области... То, что он делает, кроме него делать некому».

То же произошло и с Некрасовым, обладавшим, как известно, замечательным литературным чутьем; тем не менее он также сперва совсем не оценил Щедрина, но затем спохватился и пригласил его в число постоянных сотрудников «Современника», а потом и в соредакторы как этого журнала, так, после его закрытия, также «Отечественных Записок» и уже не расставался с ним до своей смерти.

Подобным же образом — сразу или после кратковременных колебаний — Салтыков с конца 50-х до середины 60-х годов считался многими очень оригинальным, талантливым писателем, но конечно не «самым популярным и известным», как заявил М. Ольминский в своей о нем статье.

Выход в свет каждого нового произведения наших классиков являлся крупным общественным событием, вызывавшим чрезвычайное возбуждение, горячие дебаты и расхождения. Напомню о бесконечных толках по поводу «Накануне», «Аси», «Обломова», в особенности — об «Отцах и детях», что, как известно, поделило самый передовой слой нашей интеллигенции на два враждебных лагеря — на сторонников и противников Базарова.

Ничего аналогичного не произвело ни одно из появившихся в 60-х годах произведений Щедрина; более того: успех, вызванный его двумя крупными сочинениями — «Губернскими очерками» и «Помпадурами и помпадуршами», оказался непродолжительным, и огромные надежды, возлагавшиеся на него, как мы видели, «властителями наших дум» тогда, не оправдались в том десятилетии. Обусловливалось это общим состоянием нашей страны в описываемую пору, а отчасти также и личными свойствами Щедрина.

Недолго, как известно, длились восторги и ликования, охватившие всех передовых людей в начале царствования Александра II. В нашей стране совершался тогда огромный сдвиг.

Как на это реагировал Салтыков?

Прожив несколько лет перед тем в разных глухих захолустьях в качестве ссыльного и одновременно видного чиновника, Щедрин близко познакомился только с провинциальным миром, который в разное время затем и был им превосходно изображен. Но этого опыта и почерпнутых им из него сведений было конечно недостаточно для

той руководящей роли, которую ему поневоле пришлось играть в качестве соредактора самого передового журнала, каким являлся «Современник».

После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского Щедрин наряду с Некрасовым оказался самым популярным руководителем «Современника». Не довольствуясь печатанием своих воспоминаний и впечатлений о прошлой — крепостнической — провинции, он счел себя в силах выступить также в качестве руководителя волновавшейся в то время молодежи, но первый же испеченный им блин вышел комом: в одном из печатавшихся им фельетонов из «Общественной жизни» он обратился к молодежи, названной им «птенцами», с увещанием не увлекаться, хотя тут же признал склонность к несбыточным стремлениям у юношей вполне естественной. Тем не менее он счел уместным предостерегать «птенцов», указав им на то, что «со временем эта склонность пройдет у них, и тогда они, к сожалению, увидят, что то была лишь «пародия на дело, одно лишь самообольщение». Таким образом, по утверждению этого будто бы преемника Чернышевского и Добролюбова, молодежи следовало довольствоваться тем, что ей предоставляет попечительное начальство. Не такие советы привыкли читатели этого журнала находить на его страницах.

В неменьшей степени изумили последних нападки этого нового «руководителя» на тогдашнюю передовую молодежь, на «нигилистов», которых Щедрин почему-то вздумал превратить в «нераскаявшихся титулярных советников», а последних признавал «раскаявшимися нигилистами».

Едва ли можно было счесть это определение остроумным, но что оно было неуместно, если не бестактно, это признали даже многие из горячих приверженцев «Современника», так как в то время разные ретроградные, а отчасти и либеральные писатели в своих романах и повестях всячески издевались над передовой молодежью: Щедрину не подобало, к тому же на страницах «Современника», присоединяться к сонму злостных клеветников передовой молодежи.

В своем ответе на появившиеся в «Русском Слове» хотя резкие, но вполне правильные опровержения этих промахов Щедрин попытался оправдаться, однако сделал это совсем неудачно. Посыпавшиеся поэтому на него еще более сильные нападки со стороны Писарева и Зайцева в сильной степени повредили его репутации даже в глазах многих из тех, которые раньше склонны были всячески смягчать неблаговидные его выпады против романа «Что делать?» Чернышевского, напечатанного в том же самом журнале. Тогда же, как известно, появившаяся очень хлесткая и талантливая статья Писарева «Цветы невинного юмора», направленная против неудачных сатирических рассказов Щедрина, имела огромный успех: даже лица, совсем несоглашавшиеся с критическими приемами этого высокоодаренного молодого публициста, вынуждены были признать его правоту, хотя при этом и покатывались со смеха по поводу преподанного им в конце статьи совета Щедрину вместо писания неудачных острот заниматься естественными науками.

К их числу принадлежали также члены кружка киевских нигилистов, но они вполне сходились со Щедриным в его отрицательном отношении к картинам жизни в фаланстерах, изображенным Чернышевским в известных снах героини его романа Веры Павловны

Не буду останавливаться на других несогласиях этих непоследовательных приверженцев Чернышевского с изложенными им в его замечательном романе взглядами. Чем же объяснялись их расхождения с ним? Главным образом реакцией, вызванной, как известно, покушением Каракозова (4/16 апреля 1866 г.).

Члены названного выше кружка целиком примыкали к сторонникам мирных взглядов; несмотря на свое отрицательное отношение вообще к проповеди Писарева и его товарищей, они также полагали, что являются теми же «новыми людьми», которых в лице Лопухова и Кирсанова Чернышевский вывел в своем романе.

* * *

Присутствуя при беседах и спорах, всегда сдержанных, корректных членов этого кружка, я конечно воспринимал все услышанное с большим интересом и без малейшей

критики. Года три я находился под влиянием этих очень практичных «реалистов». Но наряду с некоторыми положительными результатами я получил от них немало и отрицательных черт: несвойственные моему отроческому возрасту скептицизм, умеренность, излишнюю серьезность, короче — «преждевременную старость», как удачно определил П. Б. Аксельрод тогдашнее мое настроение при знакомстве со мною весной 1871 г.[4] Только два-три года спустя я отделался от влияния этих чересчур «положительных реалистов». Я радикально изменил их отрицательному отношению к революционному движению, их неосновательному скептицизму по отношению ко всяким «утопиям», их ироническому взгляду на «юношеские увлечения», энтузиазм и т. д.

По окончании университета все члены этого умеренного кружка осуществили поставленные ими себе задачи — стали «добросовестными», «честными» легальными тружениками, недурно устроившимися на разных мирных поприщах. Насколько могу припомнить, только один из них — Мих. Игн. Кулишер приобрел впоследствии некоторую известность в качестве публициста и отчасти ученого. Почти всех остальных я затем, став революционером, потерял из виду [5].

* * *

Лет пять спустя после упомянутого выше усилившегося реакционного периода, в самом начале 70-х годов, среди передовой молодежи вновь появилось в неизмеримо более широком размере, чем это было в 60-х годах, стремление принять энергичное участие в общественной жизни. Возникло это стремление одновременно в разных концах страны, главным образом в столицах и в университетских городах, независимо одно от другого. Началось это движение с попыток вполне мирных и легальных: с кружков самообразования, с распространения разумных, тенденциозных книг, с преподавания трудящимся начальных знаний и т. п.; но конечно очень скоро правительственные преследования заставили молодежь уйти в подполье, перейти к революционной борьбе.

Начиная с этого периода — как, быть может, ни покажется это странным после вышеупомянутого отношения Щедрина к молодежи, — он стал все более и более завоевывать ее расположение и вновь становиться очень популярным. Произошло это по следующим причинам.

Вместо закрытых после покушения Каракозова «Современника» и «Русского Слова» редакторы этих двух журналов — при несколько измененных ими составах сотрудников — стали владельцами «Отечественных Записок» и «Дела», которые вначале не пользовались большим успехом: их литературные силы не могли итти в сравнение с теми, которыми располагали погибшие журналы; к тому же цензура всячески препятствовала существованию у нас разумной и честной печати. Поэтому бывшая раньше колоссальной роль периодической печати все более и более падала: так, помню, что в начале 70-х годов многие из нас совершенно отрицали тогдашние ежемесячные журналы, но эти же лица с огромным интересом читали старые статьи Чернышевского, Добролюбова и Антоновича в «Современнике», который уже стал тогда библиографической редкостью. Понятно, что это придавало ему особенно большой интерес в наших глазах и неимоверно повышало рыночную его цену [6].

Не могу теперь с уверенностью сказать, но вполне вероятно, что вышеприведенные чрезвычайно лестные отзывы Чернышевского и Добролюбова о Щедрине, с одной стороны, а также и резкие на него нападки сотрудников «Русского Слова» — с другой, имели то или иное влияние на возникший если не у всех, то все же у многих членов кружков саморазвития интерес к Щедрину. Знакомясь со старыми его произведениями, юные читатели конечно не все в них понимали, вследствие особенной литературной манеры, усвоенной Щедриным в значительной степени под влиянием цензурных рогаток.

От знакомства со старыми его произведениями некоторые из молодежи незаметно переходили к чтению печатавшихся в «Отечественных Записках» новых статей его, и наиболее любознательные юноши начали находить в них много интересного и поучительного. Этими сведениями некоторые из них умело стали пользоваться при возникав-

ших тогда среди нас горячих спорах о возможности или, наоборот, невозможности у нас мирной деятельности на легальном поприще в виду правительственных преследований.

Никто другой в начале 70-х годов не посвящал столько внимания и не обнаруживал такого уменья изобразить самые разнообразные стороны как бывшего крепостного, так и сменившего его нового кулацкого строя, как Щедрин. В этом отношении его статьи являлись — в особенности для многих из молодежи — неисчерпаемым источником необходимых сведений в виду поставленной, как известно, себе тогдашней молодежью цели— уплатить тяготевший на ней «долг народу», иначе говоря: посвятить все силы, знания, способности, не останавливаясь ни перед какими жертвами, вплоть до самой жизни, делу освобождения угнетенных масс от испытываемых ими бедствий. Именно из произведений Щедрина некоторые из нас впервые почерпали сведения о невыносимо тяжелом положении освобожденных от крепостной зависимости крестьян как вследствие неимоверного обложения их многочисленными поборами, так и в виду быстро расплодившихся, кроме прежних, еще новых хищников. Впервые он изобразил целую галлерею Деруновых, Колупаевых и Разуваевых, ставших с тех пор нарицательными именами. Он же описал, шаг за шагом, процесс превращения мелкого скупщика у крестьян их продуктов сперва в кабатчика-мироеда, затем в обладателя землями, лесами и усадьбами, приобретенными им за бесценок у разорившихся помещиков, и наконец становившегося ворочавшим миллионами строителем железных дорог, крупным банкиром. Вместе с награбленным богатством Дерунов являлся «столпом», на котором зиждились семья, собственность и государство, хотя в качестве «снохача» именно он нарушал главную основу семьи.

От Щедрина же мы узнали, как деревенский хищник смотрел на им же разоряемого земледельца, от чего мы, идеализировавшие последнего, приходили чуть не в бешенство.

«Крестьянину, — утверждал Дерунов, — дани платить надо, а не о приобретении думать... Всем он дань несет, не только казне-матушке... Так ему свыше написано... Ежели человек беден, так чем меньше у него, тем даже лучше: лишней обузы нет».

Дерунову же Щедрин вложил в уста замечательно удачное выражение, приобревшее большую популярность среди нас, революционеров: когда речь заходила о невозможности более выколотить что-нибудь из доведенного до нищеты крестьянина, Дерунов уверенным тоном говорил: «Он достанет!» Этими двумя словами хищник метко определял бесконечную выносливость тогдашнего несчастного земледельца, действительно умудрявшегося еще и еще «достать» для снабжения многочисленных своих эксплоататоров.

Щедрину принадлежало и другое удачное выражение — «чумазый идет!» Этими лаконичными фразами он вполне правильно определял лишь очень немногими его современниками понятый тогда наступивший у нас «процесс первоначального накопления». Едва ли Щедрину был уже известен незадолго перед тем приведенный Марксом в «Капитале» анализ этого процесса; скорее благодаря присущей Щедрину наблюдательности он самостоятельно дошел до вывода, что наша страна уже вступила в период первоначального накопления. Это тем более замечательно, что, как известно, и в то время и много еще десятилетий спустя — за редкими исключениями — разные так называемые у нас «передовые люди» не сомневались в «самобытности» нашей страны, в том, что ей не грозит тяжелый путь капитализма, давно уже господствовавший во всех цивилизованных странах.

* * *

Мало-помалу даже самые крайние отрицатели «легальных статей», не допускавшие в этом отношении никаких «компромиссов», все же стали интересоваться сообщениями лиц, читавших «Отечественные Записки», о произведениях Щедрина и о встречавшихся в них метких выражениях. Затем нередко случалось, что этим крайним «отрицателям» легальных журналов приходилось в спорах с противниками революционеров ссылаться на Щедрина и со слов других приводить ту или иную иллюстрацию из его произведений: благодаря этому приему им нередко удавалось опровергнуть своего оппонента, поставить его в неловкое, а то и в смешное положение. Помню, как мой и ныне здравствующий

товарищ, студент в то время — Сергей Ястремский, во время производившегося у него в начале 70-х годов в Харькове обыска, обратился к товарищу прокурора с вопросом, не из училища ли правоведения он? Подтвердив это, последний выразил удивление, почему Ястремский сделал это верное предположение; последний сказал, что он сообразил это, благодаря изображению Щедриным «правоведов», чем немало сконфузил элегантного молодого прокурора.

Чем дальше, тем все больше произведения Щедрина приобретали среди нас, революционеров 70-х годов, популярность. Нам чрезвычайно нравилось, что он щелкал наших либералов за их «умеренность и аккуратность», за их «с одной стороны нельзя не сознаться, но с другой — надо признаться» и т. п. К тому же, беспощадно нападая на все решительно оттенки культурного общества, зло высмеивая представителей разных правительственных учреждений, администрацию, земство, изобличая представителей всяких профессий и т. д., Щедрин щадил трудящиеся массы и обходил молчанием нас, революционеров. Между тем в те времена считалось вполне дозволительным изображать нас в карикатурном виде, как сделал это Достоевский в «Бесах», хотя он и знал, что мы были лишены возможности ответить ему. Одно то уже, что Щедрин не присоединялся к этим клеветникам, говорило в его пользу. Мы конечно предполагали, что он не одобрял избранного нами пути, что он вероятно считал нас «увлекающимися юнцами», и мы находили такое его о нас мнение естественным в виду присущего ему скептицизма. Но в то же время нам казалось, что этот беспощадный сатирик не питал к нам никакой вражды, не относился к нам с насмешками, как это позволял себе тогда даже его товарищ по редакции, как Н. К. Михайловский [7]. Не могу теперь припомнить, знали ли мы тогда, что в конце 40-х годов Щедрин примыкал к петрашевцам и как мы к этому отнеслись. Помню только, что в отношении его, а также Некрасова никто из нас не только не считал предосудительным их участие в легальной прессе, а, наоборот, мы признавали, что их произведения имеют благотворное влияние на широкий круг читателей, чего они не имели бы, если бы, покинув Россию, примкнули к заграничным нашим писателям [8].

Во второй половине 70-х годов нам стало каким-то образом известно, что Щедрин считает крайне предосудительными появлявшиеся в печати нападки на нас в виду того, что мы лишены возможности возражать на них. Передавали также, что его чрезвычайно возмутил появившийся в начале 1877 г. роман Тургенева «Новь», который он считал карикатурой на революционеров, между тем как последних Щедрин высоко ценил за проявляемое ими мужество, самоотверженность, энтузиазм, и что он скорбел по поводу неимоверно тяжелых наказаний, которым они подвергались за совершонные ими столь ничтожные преступления, как передачи, а иногда только хранение нелегального листка [9].

Со смертью Некрасова общественное значение Щедрина с каждым годом все более стало возрастать. Вскоре он всеми был признан одним из наиболее популярных писателей, несмотря на то, что тогда находились в живых такие выдающиеся беллетристы, как Тургенев, Толстой, Гончаров, Островский. Вот что писал в то время по поводу значения Щедрина небезызвестный журналист и присяжный поверенный Е. И. Утин:

«Давно уже русский писатель не производил на современное ему общество такого глубокого впечатления, как г. Салтыков. Каждое новое его произведение читается с жадностью, все о нем говорят, спорят, значительное большинство восхищается им».

Едва ли к концу 1880 г., когда была написана эта статья [10], находилось среди нас, революционеров, много лиц, не разделявших этого «восхищения большинства» Щедриным, хотя, как известно, в указанное время наше движение приняло уже террористическое направление и участники последнего имели основание предполагать, что он не очень одобряет восторжествовавший среди нас способ борьбы.

В описываемое мною время преобладавшее большинство нашего передового либерального общества, после вынесенного присяжными заседателями оправдательного приговора стрелявшей в генерала Трепова Вере Засулич, вдруг прониклось чрезвычайным радикализмом: оно не только готово было — конечно втихомолку — рукоплескать тер-

рористам, но также соглашалось оказывать им всякого рода поддержку, не исключая и незначительных денежных ссуд, потому что рассчитывало в дальнейшем их руками жар загребать. Только Щедрина никак нельзя было причислить к этим «отчаянно смелым» «политическим деятелям». Прямой, честный, ярый противник каких-либо компромиссов, Щедрин был далек от таких «увлечений до самозабвения», до полной потери способности понимать переживаемое тогда нашей страной настроение. Мы, так называемые «чернопеределъцы», возраст большинства которых едва перевалил тогда, в 1879—1880 гг., за 24—25 лет, тем не менее понимали, что путем террористических актов не только нельзя будет добиться у нас политических свобод, но что, наоборот, можно вызвать еще более жестокую реакцию, чем уже существовавшая тогда в России. Тем более, следовательно, старый опытный писатель-практик, склонный скорее к скептицизму, чем к увлечениям, не мог потерять головы и наверно не потирал своих рук от удовольствия при каждом известии о новом террористическом акте, как это сплошь делали тогда многие представители нашего либерального общества. К числу восторгавшихся увлечением молодежи террором примкнул, как известно, и Михайловский. Щедрин же вероятно с чувством скорби и тревоги покачивал своей седой головой при каждом известии о новом террористическом акте, предвидя приговоры к смертным казням и к многолетней каторге юным энтузиастам, исполнителям этих актов, и не ожидая за эти ужасные жертвы даже «куцой конституции». Но кем же в ту пору являлся Щедрин? — быть может поинтересуется узнать читатель.

Некоторые современные исследователи революционных движений той эпохи заявляют, будто Щедрин примыкал к народникам. Сам принадлежав тогда к ним, я решительно утверждаю, что это совершенно *неверно*. Вспомним, каков был его взгляд на главную основу народничества — на земельную общину. В то время все мы считали ее устойчивой, прочной, гарантирующей Россию «от язвы пролетариатства», по известному выражению Н. Г. Чернышевского. Между тем раньше, чем кто-либо другой, Щедрин писал о ней следующее:

«Говорят, в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли, но забывают, что существует громадная масса мещан и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса дворовых людей. Кроме того забывают еще и то, что около каждого «обеспеченного наделом» выскочил Колупаев. Вместо того чтобы уверять всуе, что вопрос о распределении уже решен нами на практике, мне кажется приличнее было бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровопийственного процесса, которому они предаются. Почему? Каким образом? И в особенности, с чьей помощью? Вот если это «с чьею помощью» как следует выяснить, тогда сам собою разрешится и другой вопрос: что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает: общинников или Колупаевых?» («За рубежом»).

В ту пору (в начале 80-х годов) по этому вопросу не мог бы решительнее высказаться даже самый ярый марксист.

К роли кровопийц, вносивших расслоение в крестьянскую среду и подготовлявших почву для наступления капитализма, Щедрин возвращался неоднократно во многих своих произведениях.

«Чумазый идет, чтобы показать, где раки зимуют, — писал Щедрин. — Он наглый, с цепкими руками, с несытой утробой. Его пришествие уже приветствуют охранители и публицисты. Арена его обездоления бесконечна, и всегда будет казаться, что процесс обездоления не совершил всего своего круга. Мироедский период еще не исчерпал своего содержания. Сдается, что придется пережить эпоху чумазовского торжества».

Похоже ли это на народничество? Наоборот, в каждом народнике такие взгляды вызывали тогда крайнее возмущение. Когда мы, народники, устраивали «прочные поселения» в деревнях, чтобы подготовлять крестьянские бунты, Щедрин несомненно не верил ни в целесообразность этих наших планов, ни в их осуществимость. Он конечно нисколько не идеализировал русского крестьянина, не считал его, как мы тогда, наделенным всевозможными добродетелями, от рождения склонным к альтруизму, кол-

лективизму и бунтарству. Трезвому взору этого чуткого и отзывчивого наблюдателя уже тогда ясно представлялась необходимость «пережить эпоху чумазовского торжества», иначе говоря, эпоху процесса первоначального накопления, а затем — по примеру западноевропейских стран—также и капитализма. Когда мы в качестве народников решительно отрицали возможность у нас этого процесса, считая его гибельным для нашей страны, Щедрин, видимо, вовсе не приходил в отчаяние от этой перспективы, а лишь обращался к лучшим своим современникам с такими советами:

«Не погрязайте в подробностях настоящего, но воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без оживляющего действия которых земной мир обратился бы в камень... Вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности...»

Тогда же Щедрин утверждал, что «жизнь без идеалов — это совокупность развращающих мелочей».

Подобными прозрачными высказываниями — при свирепствовавшей тогда цензуре— своей веры в «светящиеся точки, мерцавшие в перспективах будущего», Щедрин приобретал наши глубокие симпатии и уважение. Едва ли кому-нибудь из нас, народников, приходило тогда на ум сопоставлять Щедрина по его влиянию на современников с кем-нибудь из самых популярных тогдашних писателей. В качестве художника мы, правда, признавали, что он уступал Тургеневу, Достоевскому и Толстому, но никто из них не пользовался тогда у нас не только особенным, но даже простым расположением, так как каждому из них мы могли предъявить тот или иной счет по поводу его отношения как к нам, революционерам, так в особенности к трудящимся массам, для которых Толстой, Тургенев и другие писатели из помещиков являлись такими же паразитами, как и всякие эксплоататоры.

В описываемое мною время, т. е. в конце 70-х годов и в первые годы следующего десятилетия, Щедрин если не у всех тогдашних революционеров, то во всяком случае среди многих из них занимал совершенно исключительное, ни с чем несравнимое положение. Никакое из существовавших тогда у нас передовых, а также и крайних течений не в праве было причислять его целикам к своим единомышленникам, хотя, как известно, разных мастей либералы «готовы были с ним родными счесться», несмотря на постоянное им их высмеивание. Мы, «радикалы», как в те времена величали всех без различия направлений социалистов, совсем не считали его своим единомышленником, что явствует из вышеприведенных выдержек из его произведений. Тем не менее, повторяю, многие из нас чувствовали к нему не только наибольшую личную симпатию, но и глубочайшее уважение как к единственному тогда неподкупному, честному легальному публицисту.

Насколько мне известно, Щедрин, не в пример вышеназванным выдающимся нашим писателям, не имел никаких личных знакомых в нашей среде и не только не искал их, но даже как будто избегал заводить их с нашим братом как в России, так и во время пребываний своих за границей. И мы, насколько могу теперь припомнить, не только не ставили эту его отчужденность от нас ему в вину, а, наоборот, признавали такое его отношение более тактичным, скажу откровенно — более честным, чем например тогдашние заигрывания с молодежью Тургенева: после каждого за эти заигрывания шипения на него Каткова он, как известно, спешил публично откреститься от всякой с нами связи, а тем более симпатии к нам. К тому же, хорошо зная тех немногих, далеко не из лучших, представителей тогдашней нашей эмиграции, вроде известного ренегата, сотрудника «Нового Времени» Исаака Павловского, которому тогда протежировал Тургенев, мы находили, что Щедрин много выигрывал тем, что за границей не заводил подобных связей. Единственными его знакомыми там были Лавров и Зибер. Но, насколько могу припомнить, он непрочь был познакомиться с примыкавшим к группе «Освобождение труда» Ильей Николаевичем Игнатовым, о чем сообщу здесь все, что удержалось в моей памяти.

Это было летом 1883 г. Плеханов и мы, его товарищи, уже решили тогда выступить в качестве самостоятельной марксистской группы, в которую вступил Вас. Ник.

Игнатов; младший же брат его Илья как-раз в это время приехал к нему в Женеву по окончании им ссылки, а также и обязательной воинской повинности. Помню, Илья Николаевич обратился однажды ко мне с просьбой помочь ему в помещении написанного им в ссылке очерка в «Отечественных Записках», пользовавшихся тогда уже большой популярностью, благодаря главным образом Щедрину и лишь отчасти Михайловскому, который после оправдания Засулич радикально изменил свое отрицательное отношение к революционерам и даже сам стал пописывать в «Народной Воле». Попасть в этот журнал новичку, к тому же с беллетристикой, считалось очень трудным, так как было известно, что этим отделом заведует «чрезвычайно строгий, придирчивый Щедрин». Это я и сообщил Илье Николаевичу, но он уверенным тоном заявил, что не сомневается в одобрении последнего, лишь бы только рукопись попала в его руки.

Этот Игнатов, как и старший его брат Василий, произвел на меня и на других членов нашей группы, не знавших его раньше, впечатление человека серьезного, вдумчивого, к тому же скорее недооценивавшего чем переоценивавшего свои силы и способности. Я поэтому, не читая его очерка, согласился попросить Лаврова о пересылке отправленной ему рукописи с соответствующей его рекомендацией к Щедрину.

Довольно скоро Лавров уведомил меня, что ему не понадобилось пересылать рукопись в Петербург, так как Щедрин приехал в Париж и он лично передал ее ему. Вскоре пришло от него же второе письмо, в котором он извещал, что рассказ Игнатова чрезвычайно понравился Щедрину: последний просил его передать автору его просьбу явиться к нему, так как Щедрин предположил, что Игнатов находится в Париже, но, узнав, что тот в Женеве, он выразил большое сожаление, так как находил необходимым в виду цензурных условий произвести в очерке значительные изменения, которых без согласия автора не хотел делать. При этом он самым лестным образом отозвался об этом очерке, признав у Игнатова несомненный беллетристический талант [11].

Нетрудно себе представить, как по этому поводу возликовали все мы, в особенности же Г. В. Плеханов, издавна ценивший Щедрина почти так же высоко, как и Некрасова.

Обладая изумительной памятью и остроумием, Георгий Валентинович с присущим ему уменьем всегда чрезвычайно кстати приводил остроумные фразы из статей Щедрина, чем нередко вызывал у присутствовавших взрывы смеха. Щедрина он признавал одним из самых умных наблюдателей и наилучшим изобразителем разных сторон русской действительности, что в виду занятой тогда Плехановым вместе с нами, его единомышленниками, марксистской позиции он считал исключительно важным.

Как-раз летом этого же 1883 года в «Отечественных Записках» печатались замечательные «Письма в тетеньке» Щедрина, которые вызывали у Плеханова, да и у всех нас, остальных, большой восторг. Георгий Валентинович приводил из них на память большие выдержки. Помню между прочим, что, когда в предшествовавшем году появилась первая статья Плеханова в «Отечественных Записках» — «Новое направление в политической экономии», он мне однажды сказал, что ему доставляет большое удовольствие печататься в журнале, редактируемом Щедриным, и рядом с его статьями,— до того высоко ценил он последнего. Из произведений Щедрина Плеханов приводил много иллюстраций, подтверждавших защищаемые им и нами тогда взгляды по поводу происходившего в России экономического процесса. При этом он недоумевал по поводу непоследовательности или близорукости главного редактора научного отдела «Отечественных Записок» Михайловского, который допускал, как он говорил, «измышления В. В.» Последний тогда же выступил в «Отечественных Записках» же с решительным отрицанием не только в то время, но и в будущем возможности появления капитализма у нас в виду того, мол, что все рынки уже захвачены другими странами. По мнению Плеханова, Щедрин, не претендовавший на редактирование научного отдела, неизмеримо лучше, правильнее разбирался в вопросе о «судьбах капитализма в России», чем занимавший этот пост Михайловский.

Наряду с Плехановым, и В. И. Засулич издавна являлась горячей поклонницей Щедрина: она также всегда внимательно следила за его произведениями и, по получении каждой новой книжки его журнала, прежде всего разрезала страницы его статей. Отличаясь, как и он, большой наблюдательностью, тонким чутьем и безграничной отзывчивостью, Вера Ивановна любила Щедрина за его правдивость, искренность, последовательность и в этих, как и в некоторых других, отношениях она считала его неизмеримо лучшим человеком, чем например Тургенев или Достоевский. Поэтому, при желании, она конечно могла бы познакомиться с Тургеневым, так же, как и она, многие годы проживавшим за границей, но она не только не стремилась к этому, а, наоборот, решительно отклоняла это не вследствие присущей ей застенчивости и скромности, а потому, что многое в характере и поведении автора «Нови» претило ей. Зная ее хорошо, я глубоко убежден, что, встреться она со Щедриным, она близко сошлась бы с ним, без удержа кричала бы ему, размахивая руками перед его лицом, как это у нее всегда происходило в оживленных ее беседах с симпатичными ей людьми, хотя бы из числа знаменитых иностранцев, как например с Фр. Энгельсом, Элизе Реклю, Лефрансе и другими.

Да и вообще все члены группы «Освобождение труда» являлись большими почитателями нашего крупнейшего сатирика, хотя помню, что мы себе представляли его угрюмым, суровым, неприветливым стариком.

Не могу сказать, чтобы так же внимательно относились к Щедрину другие видные тогда эмигранты. Конечно Лавров, Драгоманов, Лев Мечников следили за его статьями, но нельзя того же сказать о таких «старожилах», как Н. И. Жуковский, Эльсниц, Жеманов и другие: едва ли они вообще заглядывали в какой-нибудь русский журнал. Даже такой многосторонне начитанный человек, как Кропоткин, насколько могу теперь припомнить, мало, если не сказать совсем, не следил тогда за нашей публицистикой и беллетристикой, чем, мне кажется, можно отчасти объяснить его неправильные суждения о разных сторонах жизни нашей страны, а также и о таких крупных писателях как Тургенев, Щедрин и другие, при чем первого он переоценивал, а второго недооценивал [12].

Наш сатирик пользовался особенным расположением со стороны проживавших тогда за границей наиболее видных народовольцев — их тогда лидеров Тихомирова и Ошаниной. Вот что первый писал о Щедрине в выпущенной им на французском языке книге о России:

«...В наше время, т. е. в царствование Александра III, Щедрин испускает вопль отчаяния... Это великолепная сатира — «Торжествующая свинья». «Я привык до сих пор,— говорит сатирик,— переносить все страдания с легкомысленной уверенностью, что «бог не выдаст, свинья не съест». Но ныне в первый раз сатирик испугался. Он восклицает: «Съест нас свинья, съест!» Не преувеличивайте, однако, этого страха! Посмотрите, как зло этот напуганный человек обращается с этой свиньей — торжествующей реакцией,— и вы убедитесь, что он очень далек от подлинного отчаяния» [13].

Между тем едва ли в описываемое время Щедрин признавал террор спасительным средством для уврачевания нашей страны; едва ли также верил он в благодетельность для нее намерения народовольцев «захватить власть» руками нескольких десятков гражданских и военных молодых людей.

Не особенно значителен был контингент почитателей Щедрина среди многочисленных тогда уроженцев России, учившихся в разных заграничных высших учебных заведениях, которые, занятые по уши зубрением своих курсов, не имели возможности следить за русскими журналами. Все же, в общем, находившиеся за границей русские с большим наслаждением читали произведения нашего сатирика. Здесь, мне кажется, естествен вопрос со стороны читателя: как мы представляли себе отношение Щедрина к нам, вновь народившимся марксистам? Считали ли мы, что он разделяет наш взгляд на роль рабочих как на главный рычаг для свержения господствовавшего строя и замены его новым, социалистическим?

Нет, мы этого не думали. Наоборот, мы были уверены, что, подобно почти всем нашим тогдашним передовым общественным деятелям, не верившим ни в прочность

наших «устоев», ни в благодетельность крестьянских бунтов, ни в спасительность для страны «захвата власти» кучкой заговорщиков, также и Щедрин должен был находить неосуществимыми, фантастичными цели и средства для их достижения, проповедуемые Плехановым и нами, его товарищами. Несмотря на производимый Щедриным вполне правильно анализ происходившего тогда в нашей стране экономического процесса, он все же мог считать несвоевременными наши воззрения, хотя бы в виду того, что рабочий слой в России был тогда крайне незначителен по сравнению с остальным ее населением. И, в подкрепление своего отрицательного отношения к нашим стремлениям, он в праве был сослаться на постоянного тогда сотрудника «Отечественных Записок» проф. Н. Зибера: последний, как известно, самым решительным образом отрицал целесообразность не только революционной, но даже профессиональной деятельности как интеллигенции, так и рабочих и не только в России, но также в наиболее передовых странах [14]. Но мы допускали, что, будь Щедрин знаком с нашими взглядами, он быть может нашел бы их более правильными, чем воззрения господствовавших тогда народовольцев. Между тем покойный М. С. Ольминский в статье «Щедрин и Ленин» заявил следующее:

«Не может быть сомнения, что Щедрин читал и полемику Фр. Энгельса с Ткачевым, и первые брошюры группы «Освобождение труда», и если бы он дожил до выступления Н. Михайловского против марксистов и до ответа ему Ленина, то он не был бы на стороне Михайловского».

Далее Ольминский допускал, что у Щедрина во второй половине 80-х годов произошел «возврат к исконным его идеям в духе марксизма»; он также считал, что в написанном Щедриным еще в 1849 г. рассказе «Брусин» «можно видеть отражение «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, а в «Благонамеренных речах» видно отражение книги «Происхождение семьи, собственности и государства» Фр. Энгельса. Поискать, вероятно найдешь и другое. Недаром К. Маркс интересовался Щедриным» [15].

Вполне соглашаясь с М. Ольминским в том, что, доживи Щедрин до 90-х годов, когда в Петербурге возник «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и завязалась горячая схватка между старыми народниками и молодыми марксистами, он не отнесся бы к нашему движению так, как Михайловский: известно, что последний крайне возмутительно повел себя по отношению к марксистам,— значительно хуже еще, чем, как мы уже знаем, он отнесся в начале 70-х годов к молодежи, уходившей в народ. Но другие утверждения М. Ольминского вызывают у меня некоторые сомнения... Так я и, полагаю, другие члены нашей группы совершенно не знали, что Щедрин читал наши первые брошюры. Откуда покойный Ольминский почерпнул этот «несомненный», по его словам, факт, этот вопрос остается пока открытым. Сомнительно мне также указанное им «отражение» «Коммунистического манифеста»; что же касается влияния книжки о «Происхождении семьи, собственности и государства» на «Благонамеренные речи», то в этом предположении Ольминского очевидное недоразумение, так как названное произведение Энгельса появилось в 80-х годах, а «Благонамеренные речи» — в 70-х. Едва ли также верно, будто у Щедрина произошел «возврат к марксизму». Нет, Щедрин ни раньше, ни в 80-х годах не придерживался марксистских взглядов, чему подтверждением может, мне кажется, служить его письмо, посланное им Е. И. Утину в январе 1880 г. Приведу из него следующую выдержку:

«Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество, а именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается практических идеалов, то они так разнообразны, начиная от конституционализма и кончая коммунизмом, что останавливаться на этих стадиях — значит добровольно стеснять себя. Я положительно убежден, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук. Ведь семья, собственность, государство — тоже были в свое время идеалами, однако и они видимо исчерпались».

После такого изложения самим Щедриным его взгляда на «идеал» можно ли признать последний «марксистским»? Думаю, что под этими его строками охотно подписался бы тогда любой либерал. Но мы уже знаем, что Щедрина нельзя причислить к либералам.

В виду вышеизложенного его, по-моему, необходимо отнести к социалистам-эклектикам, наиболее ярким представителем которых являлся у нас Лавров. Это значит, что выдержанных, последовательных взглядов не было у этих социалистов, что они стремились отовсюду — по правильному определению Энгельса — заимствовать то, что им казалось хорошим, полезным, справедливым, отбрасывая то, что они считали вредным.

Скажу теперь несколько слов об отношении Маркса к Щедрину. По этому важному вопросу имеется в печати несомненное свидетельство самого Маркса. Из сделанных им заметок на поля некоторых произведений нашего сатирика видно, как он внимательно читал в подлинниках сочинения последнего, как он тщательно подчеркивал в них указания и рассуждения автора по поводу разных сторон тогдашней русской действительности. В этом отношении поразительно совпадение интереса Маркса с упомянутым мною выше интересом наших молодых революционеров начала 70-х годов. Не могу здесь остановиться на этих чрезвычайно интересных заметках Маркса, — рекомендую лицам, не знающим их, познакомиться со статьей Ф. Гинзбург «Русская библиотека Маркса и Энгельса»[16]. Здесь ограничусь приведением следующего отзыва Маркса о произведении Щедрина «Убежище Монрепо» и вообще о сделанных последним выводах: «La dernière partie de la «Предостережение» est très faible; généralement l'auteur n'est pas heureux dans ses conclusions positives». (Последняя часть «Предостережения» очень слаба. Вообще автор не очень счастлив в своих «положительных» выводах). Вяжется ли этот отзыв Маркса с сообщением М. Ольминского, будто у Щедрина был «возврат к марксизму»? Можно ли возвратиться к тому, чего раньше не было?

От всех этих заметок по поводу отношения к Щедрину эмигрантов перейдем к особенной категории его читателей, находившейся совсем в другой стране и в иных условиях.

Зимой 1885/86 г. я очутился на дальней окраине Восточной Сибири — в Карийской политической каторжной тюрьме. Заключенных в ней в то время было 64 человека, преобладавшее большинство которых принадлежало к революционной молодежи второй половины 70-х и начала 80-х годов. Почти все эти лица были осуждены по народовольческим и террористическим процессам, происходившим в столицах и в разных крупных городах. К тому же лица эти уже в течение нескольких лет содержались в тюрьмах, что, как известно, накладывало на заключенных специфический отпечаток. То была новая формация революционеров, в некоторых отношениях отличавшаяся от своих предшественников, которые не занимались террором, а ходили «в народ».

По некоторым причинам, на которых не стоит останавливаться, я не могу теперь с полной уверенностью сказать, как преобладавшее большинство лиц, находившихся тогда в нашей мужской тюрьме на Каре, относилось к Щедрину и к его произведениям: кажется, что он в ту пору и в этой среде не пользовался такой исключительной популярностью как среди нас, народников 70-х годов, а также и среди марксистов последних десятилетий XIX столетия. Мне кажется, что произведения Щедрина уже не являлись для преобладавшего контингента карийских читателей источником полезных для них сведений, так как приверженцы народившегося у нас нового революционного течения не нуждались во всестороннем и более правильном ознакомлении с русской действительностью; вместо них, а также и ознакомлений с разного рода социально-политическими теориями и учениями, явилась необходимость в столь специальных технических знаниях, как способы приготовлений взрывчатых веществ, устройства метательных снарядов и т. д. Такого рода сведений конечно невозможно было почерпнуть из произведений Щедрина; к тому же его писательская манера действительно в значительной степени уступала бесспорно высоким художественным талантам наших классиков. Все же Щедрин решительно всеми почти заключенными на Каре считался

интересным писателем, и его сочинения читались как в одиночку, так и сообща, по вечерам, когда в камерах чистили картошку. При этом нередко раздавался дружный смех и похвалы по его адресу, а по окончании чтения поднимались оживленные дебаты. Что запутанный, туманный способ его изложения, вызванный тогдашними цензурными условиями, нередко сбивал с толка даже очень умных и развитых читателей, подтверждением этому может служить следующая выдержка из «Дневника Карийца» Я. Стефановича:

«1-е декабря[17]. Старик Щедрин распотешил «Пошехонской стариной». Удивительная свежесть памяти и живость воспроизведения у старика. Но по прочтении остается осадок чего-то удручающего, тоскливого. Щедрин не всегда умеет взять такой тон, который давал бы чувствовать под слоем человеческой мерзости нечто по крайней мере потенционально отрадное. Нет у него и той грустной нотки, которая, мне кажется, и придает сатире гуманизирующее значение. А то пишет, как будто бы ведет рассказ в кругу приятелей после обеда с хорошим вином».

Ясно, что мой старый друг совершенно не знал, при каких ужасных условиях приходилось Щедрину в то время протаскивать в печать свои произведения: ведь то было после убийства Александра II, когда с каждым годом все более усиливалась реакция, когда «Отечественные Записки» были давно закрыты и когда Щедрину с большим трудом удавалось находить приют в некоторых журналах, опасавшихся за свое существование. При господствовавшем тогда крайне враждебном к нему отношении всякого рода властей можно было, наоборот, удивляться его находчивости, способности провести цензуру. Только из недавно опубликованной его переписки стало известно, сколько неимоверных мучений пришлось Щедрину вынести, особенно в последние годы его жизни. Приведу здесь из нее следующие выдержки:

«Скажу вам откровенно, — писал он Михайловскому 14 февраля 1884 г., т. е. за два с чем-то месяца до закрытия «Отечественных Записок», — мне становится невыносимо скучно. И стар я, и болен, а тут еще в Цензурный комитет требуют и работу уничтожают. Крепко подумываю об отставке».

«...Прибавьте при этом неизлечимую болезнь и старческий упадок сил, и вы получите понятие о моем каторжном существовании», — это из письма к И. И. Ясинскому от 27 марта того же года. А вот что он писал через полтора месяца:

«Прежде, бывало, живот у меня заболит — с разных сторон телеграммы шлют: живите на радость нам, а нынче[18] вон, с божьей помощью, какой поворот — и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие» (из письма к П. В. Анненкову от 3 мая того же года).

Сообщив затем Михайловскому, что московский генерал-губернатор кн. Долгоруков предупредил редактора «Русской Мысли», чтобы тот не принимал статей бывших сотрудников «Отечественных Записок», иначе «несдобровать» его журналу, Щедрин добавил:

«...Все эти подходы имеют в виду преимущественно меня. Желают, чтобы меня нигде не принимали, а публика будет думать, что я сам бросил: благородно и остро!»

«...Легко сказать: пишите бытовые вещи... И куда итти?.. Последний № «Вестн. Евр.» просто претит, а это все-таки лучшенькое. Да еще примет ли Стасюлевич?.. О читателе скажу вам, что, хотя я страстно его люблю, но это не мешает мне понимать, что он великий подлец»[19].

И при таком лестном мнении о «лучших» тогдашних журналах и о читателе Щедрин, стоя уже на краю могилы, вынужден был писать! Но он не мог сидеть, сложа руки, не писать. Понятно поэтому, почему в его письмах этого периода срываются выражения, будто он «надоел всем до смерти», что «лучше бы он сошел с ума» или «покончил самоубийством»...

Если при таком физическом и моральном состоянии Щедрин все же был способен так писать, «будто бы ведет рассказ в кругу приятелей после обеда с хорошим вином», то это можно только поставить ему в огромную заслугу. Благодаря этой способности он, несмотря на чрезвычайную придирчивость цензуры, всякими способами изощрялся проводить дорогие ему взгляды, для чего прибегал то к воспоминаниям из

«Пошехонской старины», то к форме «Писем к тетушке» и к «Сказкам». При этом даже в самых мрачных его изображениях печальной русской действительности в течение последнего, наиболее тяжелого периода его жизни все же где-то впереди мерцал просвет для него и «любимого» им «читателя-подлеца», все же повторял он, что «золотой век не позади, а впереди нас», куда он и звал читателя-друга вплоть до самой своей кончины.

По сообщению Михайловского, который знал Щедрина в течение многих лет, «у него не было никакой иной привязанности кроме читателя, никакой иной радости кроме общения с читателем». Но как же в таком случае, объяснить вышеприведенный резкий отзыв его о читателе? Этот бранный эпитет по адресу последнего сорвался у Щедрина с пера вследствие крайнего его огорчения от того, что читатели ничем не реагировали на закрытие дорогого ему журнала, в котором он в течение почти двух десятилетий непрерывно беседовал с читателем-другом, делясь с ним всеми своими помыслами. Когда же стряслось над ним огромное несчастье, то, как заявил Щедрин печатно, этот друг «заробел, затерялся в толпе и дознаться, где именно он находится, довольно трудно». Понятно поэтому, что «робость» читателя в такое тяжелое для него время не могла не огорчать всеми покинутого, одинокого, к тому же тяжело больного старика...

Среди заключенных на Каре во время моего там пребывания восьми или девяти рабочих произведения Щедрина кажется имели больший успех, чем у интеллигентов. Не помню, признавали ли они его выше или только равным нашим знаменитым классикам, но они видимо с огромным удовольствием слушали чтение его произведений во время чистки картофеля в камерах. Некоторых рабочих очень интересовали в особенности условия частной жизни этого симпатичного им писателя. Вызывался этот интерес вероятно тем, что тогда среди нас нередко происходили дебаты по поводу пребывания Тургенева в течение значительного периода его жизни за границей, в семье Виардо, к чему некоторые из нас относились крайне отрицательно. Но помнится мне, никто из нас, заключенных, ничего тогда не знал об условиях жизни Щедрина вплоть до лета 1888 г., когда к нам прибыл из Петербурга известный поэт П. Ф. Якубович: незадолго до своего ареста он встречался с Щедриным в редакции «Отечественных Записок». Оказалось однако, что у него также были очень скудные об этом сведения, которые, к тому же, улетучились. Помню только его рассказ о том, как принял его Щедрин, когда он впервые принес ему тетрадку со своими стихотворениями: перелистав ее и видимо наскоро пробежав некоторые стихи, суровый редактор, возвратил ему рукопись и пробурчал глухим голосом: «пишите, молодой человек, пишите!» Что, видимо означало: хотя слабовато, но подает надежду.

Вскоре затем под инициалами «П. Я.» стали появляться в периодических изданиях стихотворения этого молодого талантливого поэта.

Якубович с большой симпатией отзывался о Щедрине как редакторе и человеке: он сообщал, что при суровой внешности и отсутствии ласкового обращения Щедрин был в сущности добродушным, отзывчивым и заботливым о других человеком. Это теперь вполне подтверждается выше уже упомянутыми опубликованными Н. В. Яковлевым письмами его.

1889 год — год смерти Щедрина и столетнего юбилея Великой французской революции — особенно памятен нам, карийцам, так как известно, что он ознаменовался небывалым до того даже в России ужасным тюремным происшествием, получившим печальное название «Карийской трагедии».

Упоминаю о ней только затем, чтобы объяснить, почему смерть этого замечательного писателя не запечатлелась в моей памяти: я не помню, когда известие о кончине Щедрина дошло до нас и какое впечатление оно произвело на нас, заключенных.

Только впоследствии, когда несколько улеглось неимоверно угнетенное состояние, вызванное нашей «трагедией», я стал знакомиться с происходившими в том памятном году в России событиями, но конечно до нас, заброшенных в отдаленное глухое захолустье Сибири, далеко не обо всем интересовавшем нас дошли известия.

В течение последовавших затем одиннадцати лет моего пребывания в так называемой «вольной команде» на Каре и на поселеньи мне, насколько помню, ничего существенного о Щедрине не приходилось слышать, и я долго не знал, как относилась к нему революционная молодежь конца 80-х и 90-х годов.

Очутившись вновь в эмиграции после побега из Благовещенска весной 1901 г., я сразу попал в среду «искровцев»: известно, что тогда Ленин со своими товарищами — Мартовым, Потресовым, Крупской и другими приверженцами нового тогда в России марксистского движения, приехав за границу, объединился с моими старыми товарищами — Плехановым, Засулич, Аксельродом, образовав сообща тесную организацию, в которую и я немедленно по приезде вступил. Но ни с кем из перечисленных здесь лиц мне не приходилось беседовать по поводу их отношения к давно умершему Щедрину и о его на них влиянии. Имеется однако в печати свидетельство другого лица, бывшего в конце 80-х годов народовольцем и ставшего затем марксистом, это — упомянутый мною выше М. С. Ольминский. В уже цитированном мною сборнике его статей о Щедрине находится специальная глава «Щедрин и Ленин», которая посвящена указанному вопросу, куда и отсылаю читателя. Здесь приведу из нее лишь следующие выдержки:

«В первом же своем боевом выступлении против выродившегося народничества Ленин... находил себе неизменного союзника в лице Щедрина. Находил и позже. Почему так случилось? Не потому ли, что Щедрин под конец своей жизни все более освобождался от уз народничества, в то время как народники, во главе с Михайловским, скатывались к либералам? И не потому ли у Ленина никогда не поднималась рука против Щедрина» (в выноске к этому слову у Ольминского сказано: «по крайней мере я таких случаев не знаю».— *Л. Д.*).

В дальнейшем Ольминский сообщает, что рассказ Щедрина (из «Мелочей жизни» о «хозяйственном мужичке») — «заставил меня (и не одного меня) в 80-е годы очень задуматься как народовольца. Щедрин так в конце концов ставил вопрос: вот честный, трудолюбивый крестьянин, не кулак — но с какой стороны возможно подойти к нему для революционной пропаганды? Выходило, что ни с какой».

Из этой выдержки явствует, что произведения Щедрина побуждали более вдумчивых народовольцев уже в конце 80-х годов переходить к марксизму. После этого становится вполне понятным, почему некоторые народовольцы отрицают его влияние на наше революционное движение. В этом отношении, как впрочем и во многих других, они глубоко ошибаются.

В заключение замечу: между тем как влияние Михайловского было большею частью реакционно, регрессивно, Щедрин, наоборот, действительно всегда звал молодежь вперед.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О Ткачеве никто никогда не упоминал, и я его имя впервые прочел где-то лишь в начале 70-х годов.

[2] «Современник» 1857, № 6. Собр. соч., т. III, стр. 233, изд. 1918 г.

[3] Полн. собр. соч., т. I, стр. 224. С.-Пб., изд. «Всемирной библиотеки».

[4] Он сообщил об этом в своих воспоминаниях «О пережитом и передуманном».

[5] В своих записках «За полвека» я сообщил о встрече с одним из бывших членов, д-ром Сошиным, убеждавшим меня отказаться от революционной деятельности.

[6] Помню, что мы платили букинистам по 15 и больше рублей за книжку «Современника», в которой был напечатан роман «Что делать?»

[7] Теперь не помню, каким образом мы тогда же узнали, что Михайловский, высмеивая избранный нами способ деятельности, называл хождение в народ «маскарадом с переодеванием», уподобляя это детскому крестовому походу и говоря, что для полного сходства недоставало, чтобы впереди отправляющихся в народ шел барабанщик с козлом. Нетрудно после этого себе представить, как многие из нас, семидесятников, относились к этому, будто бы тогда «властителю наших дум», как утверждают некоторые «хорошо осведомленные» современные «исследователи» революционного движения того отдаленного периода.

[8] Михайловского некоторые из нас прямо обвиняли в трусости за его отказ от приглашения Лаврова эмигрировать за границу.

[9] Забегая вперед на полстолетия, скажу здесь, что опубликованные Н. В. Яковлевым в 1924 г. «Письма М. Е. Салтыкова-Щедрина» вполне подтверждают правильность дошедших тогда до нас, семидесятников, сообщений. Так, в ноябре 1876 г. Щедрин писал П. В. Анненкову: «Политические процессы следуют одни за другими, не возбуждая ничьего любопытства, и кончаются сплошь каторгою... Каторга за имение книги и за недонесение — это уже просто роскошь для такого бедного государства, как наша Русь. Подумайте только, как мало нужны нам люди и как легко выбрасываются за борт молодые силы, и вы найдете, что тут скрывается некоторый своеобразный трагизм».

Не менее интересно его отношение к «Нови». «Роман этот показался мне в высшей степени противным и неопрятным,— писал он тому же П. В. Анненкову 17 февраля 1877 г.— Я совершенно искренно думаю, что человек, писавший эту вещь, выжил из ума... Это не роман, а бесконечная случайная болтовня... Никакого признака тургеневской кисти тут нет, т. е. даже в архитектуре романа... С внутренней стороны эта вещь еще более слабая... Что касается до так называемых «новых людей», то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! Ужель даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья... Все это можно писать, лишь впавши в детский возраст» («Письма», №№ 121 и 124).

[10] Сперва этот отзыв появился в «Вестнике Европы» 1880, № 1, затем, в I т. Собр. соч. Е. И. Утина.

[11] По цензурным условиям очерк этот не появился в печати и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Из Ильи Николаевича Игнатова, как известно, не вышло беллетриста; впоследствии он стал литературным и театральным критиком, написал статьи и о Щедрине и был редактором «профессорски-скучных» «Русских Ведомостей». Подробно о нем см. в сборнике «Группа «Освобождение труда», №№ 1 и 3.

[12] В этом отношении небезынтересны его лекции о русской литературе, читанные им в С.-А. С. Штатах; они вышли и по-русски.

[13] «La Russie sociale et politique», стр. 363. На предшествовавших страницах этой книги Лев Тихомиров еще восторженнее отозвался о Щедрине; приведу следующую выдержку: «...Шедеврами сатиры Россия обязана Щедрину (Салтыкову). Поразительно плодовитый и всеобъемлющий писатель, он отображает в своих сатирах все стороны современной ему жизни. Его изобретательность поразительна. Это неиссякаемый поток шуток и насмешек, то веселых, то злых. Своим талантом он сумел покорить даже тех, кого он вывел на посрамление. Даже цензура, и та иной раз не поднимает руку на Щедрина, и в то время, когда вся пресса обречена на молчание, он задевает самые щекотливые стороны действительности. Он вывел на свет божий основателей Священной Лиги, предал на посрамление шпионство, выявил всю низость правительственной реакции и т. д. Само собой разумеется, очень многие из его сочинений запрещены, но он умеет обходить трудности; он даже создал свой собственный язык, «рабий язык», как он сам его называет, язык необычайно гибкий, который режет, как бритва, не давая в то же время противнику возможности придраться к чему бы то ни было» (стр. 361—362).

[14] Несмотря на столь оригинальные взгляды, совершенно противоречащие учению Маркса, одни из наших современных исследователей все же признают Зибера «родоначальником марксизма в России», другие не с большим основанием из кожи лезут, стараясь возвести в тот же сан Ткачева.

[15] Ольминский, М., Статьи о Щедрине, стр. 46. ГИЗ, 1930.

[16] См. сборник «Группа «Освобождение труда», № 4, стр. 357—388. ГИЗ, 1926.

[17] 1888 г.

[18] После состоявшегося 20 апреля 1884 г. закрытия «Отечественных Записок».

[19] Вот какого мнения был Щедрин о «Вестнике Европы» и о «Русской Мысли»: «...мое участие в нем (в «Вестнике Европы». — *Л. Д.*) я считаю ниспосланною мне провидением карою... Но, во всяком случае, это не такой совершенный нужник, как «Русская Мысль», а только ватерклозет».

ЩЕДРИН И ПУБЛИЦИСТИКА «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

ПРОТИВ НАРОДНИЧЕСКОЙ ЛЕГЕНДЫ О ЩЕДРИНЕ

Статья Я. Эльсберга

I

Творчество Салтыкова-Щедрина в критике и истории русской литературы является таким литературным участком, на котором и вокруг которого классовая борьба шла и идет в заостренном и обнаженном виде. Формы этой борьбы многообразны. Идеологи помещичье-буржуазного блока глубоко ненавидели Салтыкова. По мнению Гончарова Щедрин писал «слюнями бешеной собаки» [1]. Б. Н. Чичерин с негодованием говорил о той русской литературе, которая не изображает «тех человеческих отношений, которые были в старом русском (т. е. крепостном.— *Я. Э.*) быту», а «откапывает разные мерзости вроде «пошехонской старины» [2]. Константин Леонтьев заявил, что «у Щедрина желчь сухая, злорадная, подлая какая-то, но сильная в этой своей подлости» [3]. Н. Н. Страхов характеризовал сатиру Салтыкова как «нахальную издевку, неистовое глумление и надругательство» [4].

Наряду с открытой звериной ненавистью крепостников гневный сатирический протест Щедрина против России благонамеренности и хищничества, России ташкентцев, помпадуров и либеральных пенкоснимателей, «премудрых пискарей» и «вяленых вобл» встречал и хитрую «дружбу» либеральных публицистов и критиков, пытавшихся замолчать самые острые стороны щедринской сатиры, встречал холопскую, подлую и трусливую цензуру редакций либеральных журналов.

Ленин в 1912 г. писал о кадетах, что они «хватаются за фалды Щедрина», несмотря на то, что «Щедрин беспощадно издевается над либералами» [5]. Публицисты либеральной буржуазии всегда пытались опошлить и снизить Щедрина до себя. Так, по мнению Струве, то, что Салтыков обличитель,— не самое важное в его творчестве. «Основной чертой Салтыкова была не потребность сразить врага, а глубочайшее чувство жалости. Салтыков жалел не только угнетенных, но и угнетателей» [6]. Это писалось в 1913 г. в той самой «Русской Мысли», которую Салтыков еще лет тридцать до того определил как «совершенный нужник» [7].

Народники, так же как и либералы, хватались и хватаются за фалды Щедрина. Но следует признать, что положение их в данном случае выгоднее, чем положение либералов. Около пятнадцати лет Салтыков, вместе с такими теоретиками народничества, как Михайловский и Елисеев, был редактором «Отечественных Записок», органа легальной народнической мысли 70—80-х годов. Чрезвычайно соблазнительно было для народников объявить такого крупного писателя, как Щедрин, своим, народником. Недаром, как мы увидим дальше, Михайловский в 90-х годах выпячивал вперед те документы, которые свидетельствовали об единстве взглядов его и Щедрина, и затушевывал возникавшие между ними принципиальные разногласия. В 90-х годах овладение наследством Щедрина означало укрепление позиций народничества в борьбе с марксизмом. За Михайловским пошли эсеры. Виктор Чернов утверждал, что «Щедрин и народнический активный социализм были связаны неразрывно и нераздельно» [8].

В наше время народническая легенда о Щедрине получила подробную разработку в литературоведении благодаря работам Иванова-Разумника, выступавшего еще недавно в роли почти монопольного комментатора Щедрина. Иванов-Разумник в своих работах проводит следующую основную мысль: «Салтыков не только отражал в художественных образах идеологию народнического социализма, но часто первый ставил и решал теоретические вопросы, позднее разрешавшиеся в том же самом направлении Михайловским» [9]. В другой работе Иванова-Разумника, в его комментарии к «За рубежом», мы читаем: «Мировоззрением Салтыкова было то социалистическое народничество, выразителем которого являлись в русской журналистике того времени «Отечественные Записки» во главе с Михайловским и Салтыковым» [10].

Народническая легенда о Щедрине требует значительно более подробно обоснованного опровержения, чем легенда либеральная. Тема «Салтыков и народничество» будет неизбежно одной из основных тем любого марксистского исследования творчества Щедрина. В настоящей статье мы эту проблему рассматриваем на ряде прямых высказываний Щедрина, в сопоставлении с выступлениями народнических теоретиков 70—80-х годов по коренным для народнического мировоззрения вопросам. В этих эпизодах отражаются как-раз такие идейные коллизии, в которых наиболее ясно сказываются тенденции и перспективы отношений Щедрина и теоретиков «Отечественных Записок».

II

Для разрешения вопроса об отношении Щедрина к народничеству естественно привлекалась известная ленинская статья «От какого наследства мы отказываемся?» К сожалению это противопоставление «наследства» и народничества, которое содержится в этой статье, истолковывалось в ряде работ, с которыми мне пришлось ознакомиться (я имею в виду и некоторые работы, читанные в рукописи), слишком упрощенно.

Ленин расценивал «наследство» как буржуазное просветительство, как «прогрессивную буржуазную идеологию» [11]. Ленин при этом отводил «наследству», в этом его социальном значении, совершенно определенный исторический отрезок. Ленин писал, что «в ту пору... когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось...» [12] Эта характеристика относится Лениным строго исторически только к просветителю 40—60-х годов. Совершенно очевидно, что с того момента, как демократия стала самостоятельным и отмежевавшимся от либеральной буржуазии социально-политическим течением, положение изменилось решительным образом. Народничество выдвинуло вперед новые вопросы. Ленин писал: «Народничество сделало крупный шаг вперед против «наследства», поставив перед общественной мыслью на разрешение вопросы, которых хранители «наследства» частью еще не могли (в их время) поставить, частью же не ставили и не ставят по свойственной им узости кругозора. Постановка этих вопросов есть крупная историческая заслуга народничества, и вполне естественно и понятно, что народничество, дав (какое ни на есть) решение этим вопросам, заняло тем самым передовое место среди прогрессивных течений русской общественной мысли». Народничеству принадлежала «первая постановка вопроса о капитализме» [13].

Мы подчеркиваем здесь эту положительную оценку народничества Лениным, так как слишком часто, рассматривая взаимоотношения Щедрина и народничества, у нас склонны упрощенно противопоставлять Щедрина — просветителя и хранителя «наследства» — народничеству. Конечно никак нельзя забывать ленинскую характеристику народничества как отсталой романтической и мелкобуржуазной критики капитализма, слабые стороны которой особенно резко выявились к 90-м годам. Но для того вопроса, который мы сейчас рассматриваем, важно себе уяснить, что к концу 60-х годов быть демократом, выступать против русской бур-

жуазии и вместе с тем ограничиваться только хранением «наследства» было уже невозможно. А сатирический протест Щедрина против крепостничества и бюрократического самодержавия в своем безбоязненно последовательном развитии становился демократическим, антибуржуазным, социалистическим, так как в то время демократизм и социализм еще не были размежеваны.

Важно себе уяснить далее, что в отношении Щедрина мы не стоим перед упрощенной альтернативой: или хранитель «наследства», или народник. Переплет идейных связей и соотношений в ту пору допускал ряд гораздо более сложных оттенков. Вспомним ленинскую характеристику Энгельгардта, данную в выше цитированной статье: «Энгельгардт — уже народник, но в его взглядах так много еще черт общих всем просветителям, так много того, что отброшено или изменено современным народничеством,— что затрудняешься, куда отнести его: к представителям ли «наследства» вообще без народнической окраски, или к народникам» [14]. В другом месте этой же статьи Ленин говорит о том, что «есть и народники, хранящие «наследство» или претендующие на хранение его» [15].

Тот же вопрос в отношении Щедрина представляет еще большую сложность. Бесспорно, что Щедрин воспринял и хранил «наследство» русского просветительства и великих западноевропейских просветителей и сатириков. Бесспорно также, что он долгие годы работал рука об руку с виднейшими теоретиками народничества. Наконец нельзя забывать, что Щедрин был художником, и великим художником, что его мышление по своему методу принципиально отличалось от мышления тех или иных публицистов эпохи.

В дальнейшем мы и должны уяснить себе, как соотносилось мировоззрение Щедрина, мировоззрение просветителя-сатирика, с теми народническими влияниями, которые оно не могло не испытывать. Раз мы знаем, что с конца 60-х годов Щедрин вы-

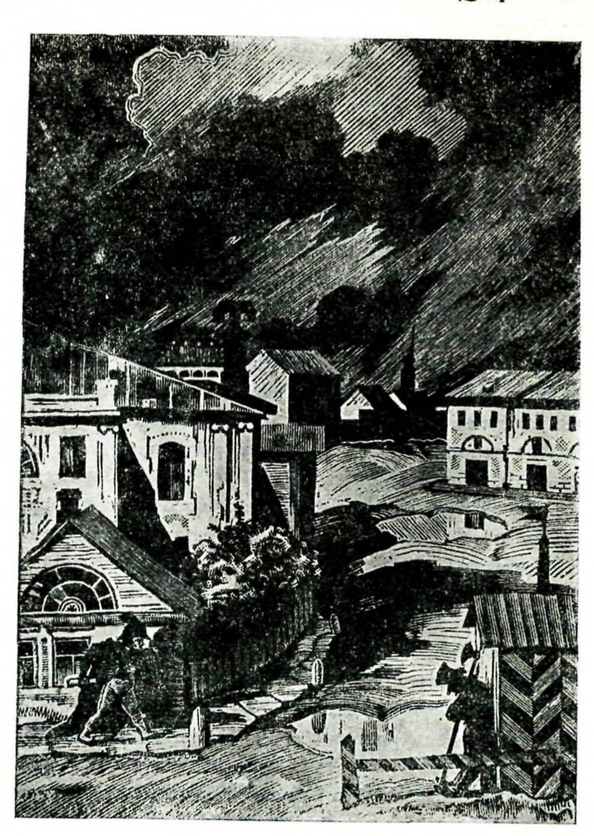


ИЛЛЮСТРАЦИЯ С. МОЧАЛОВА К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», 1931 г.

ступил не только против помещика и бюрократии, но и против русской буржуазии, что Щедрин оказался в лагере демократии, необходимо выяснить, какова была его критика капитализма в сопоставлении с критикой народничества.

III

Полезно будет припомнить некоторые исторические факты, характеризующие ту обстановку, в которой в данном разрезе пришлось работать и жить Салтыкову.

В 70—80-х годах люди, ограничивающиеся хранением «наследства», уже не играли прежней прогрессивной роли. Больше того: таких людей вообще становилось мало. Ряд представителей «наследства» в 70-х годах круто пошел вправо, к бюрократии, к соглашению с крепостничеством. К таким людям принадлежал и тот Скалдин, о котором в своей статье писал Ленин. Но были и люди, которых действительно нельзя упрекнуть в том, что они пошли назад. Они только оставались стоять на старом месте в то время, как их обгоняли другие. К таким людям принадлежал например А. Н. Пыпин, в прошлом один из основных редакционных работников того «Современника», который возглавлялся Чернышевским. В 70-х годах Пыпин является редактором либерального «Вестника Европы». Пыпин несомненно сознательно стремился хранить заветы «наследства». В 1884 г. Пыпин в очень любопытных статьях выступил против народничества или точнее против правого фланга народничества, критикуя «мистически-сантиментальную» сторону народнических воззрений, отмечая, что ряд народников дает «путанное объяснение современных явлений». Пыпин был исторически прав, поскольку он с позиций трезвого реалистического «наследства» критиковал мелкобуржуазно-реакционные стороны народнических воззрений. Но критика эта страдала буржуазной ограниченностью. Пыпин учил народников «отложить свое мало основательное сомнение, научиться уважать чужой труд, которым сама (Пыпин имеет в виду «фракцию» народничества.— *Я. Э.*) пользуется»[16]. Пыпин не понимал того, что народничество отражало крестьянский мелкобуржуазный протест против капитализма, против буржуазии, в той или иной мере, в лице тех или иных своих представителей договаривавшейся с реакцией или капитулировавшей перед ней. Пыпин не понимал прогрессивной стороны народничества и его принципиального, в этом смысле, отличия от просветительства, он не понимал того, в каком именно отношении народничество сделало шаг вперед.

Мы привели в пример Пыпина для того, чтобы стало очевидно, насколько Щедрина в 70—80-х годах т а к и е позиции удовлетворить не могли. Мы увидим дальше, что Щедрин тоже — и конечно гораздо ярче, более зло и беспощадно — критиковал слабые стороны русского народничества, всякие его националистические, мистические, сантиментально-романтические тенденции. Но Щедрин менее всего склонен был звать назад, оглядываться на прошлое.

Щедрина ни в какую пору его жизни нельзя назвать остановившимся человеком. У него был поразительный по живости реагирования политический и художественный темперамент. Он никогда себя не чувствовал тургеневским «отцом», дети которого ушли далеко вперед. Пыпин был для него, в лучшем случае, просто лично порядочным человеком, притом близким к Н. Г. Чернышевскому, но не более того. В Михайловском же он ощущал тот демократизм, который клал грань между «Отечественными Записками» и «Вестниками Европы», между «обществом» и теми людьми, которые помнили о «человеке, питающемся лебедой».

Еще одно сопоставление Щедрина с таким представителем просветительства, в мировоззрении которого не было народнических черт. Мы говорим о Благосветлове. В этом крайне своеобразном и еще мало изученном деятеле наиболее четко и откровенно нашли свое выражение буржуазные стороны идеологии и психологии русской демократии, тот буржуазный радикализм, который сказывался в теории Писарева. Но у Благосветлова, в гораздо большей мере практика-организатора, нежели идеолога, этот буржуазный радикализм выступил вперед именно своими общественно-отрицательными сторонами. Неизданные еще письма Благосветлова рисуют его человеком, соединявшим жгучую ненависть к русской отсталости, некультурности и дикости с подлинно буржуаз-

ным индивидуализмом. Не без наивности Благосветлов кичился щегольской и безвкусной квартирой нувориша, лакеем негром и всем тем комфортом, который он, буржуа, делец, демонстративно противопоставлял роскоши барства. Это было не только бытовой подробностью. Благосветлов явно недооценивал всю русскую демократическую литературу, выделяя — с точки зрения формы — одного Писарева, а вместе с тем впадал в культурнический восторг перед блеском европейской цивилизации, в частности Парижа 70-х годов. Благосветлова «царапали статьи, в которых говорилось против эксплоатации, и в защиту труженика, рабочего и мужика. Мужика он вообще недолюбливал»[17] (Шелгунов).

Такие настроения были конечно Щедрину абсолютно чужды. Трудно в русской литературе указать другого большого писателя, которому так был чужд индивидуализм, как Щедрину, который умел так мало говорить о себе, который с такой горечью ощущал свое одиночество, вытекавшее, как мы увидим дальше, из всей совокупности социальных отношений эпохи. И Щедрин умел ценить европейскую культуру — достаточно вспомнить «мальчика в штанах» и «мальчика без штанов». Но вместе с тем Щедрин всегда беспощадно разоблачал то хищническое обличье, которое буржуазная культура принимала в России в среде российских «культурных людей».

Конечно Благосветлов на фоне эпохи был не столько типом, сколько одиночкой, даже «чудаком», решились бы мы сказать. Но пример Благосветлова, так же как пример Пыпина, ценен для нас именно потому, что эти отнюдь не широко типические люди 70—80-х годов отчетливо показывают нам ограниченность буржуазного просветительства в условиях этих лет. Благосветлов особенно оригинален потому, что он, буржуа и просветитель, вместе с тем хотел быть в лагере русской демократии. Но не случайно конечно то, что в этом лагере он занял место не сколько-нибудь влиятельного идеолога, а место издателя, предпринимателя демократической печати.

Так на конкретных примерах Пыпина и Благосветлова становится очевидным, что их взглядами Щедрин ограничиться не мог, что его мировоззрение было гораздо более демократически боевым, гораздо более антибуржуазным, направленным и против российского капитализма.

IV

Здесь-то мы подходим к одной крайне существенной черте исторической обстановки, к черте, которая во многом обусловила отношения Щедрина и народничества. Мы говорим о той монополии, которая принадлежала народнической мысли в лагере русской демократии 70-х годов. Монополия эта выражалась в том, что демократический протест принимал форму народнического признания капитализма в России упадком, регрессом. Экономическая отсталость России затрудняла возможность иного обоснования этого протеста. Она не позволяла видеть то, что могильщик русского капитализма вырастет из его собственных недр. Но если у Щедрина в демократическом лагере не могло быть иных союзников, чем народники, то вместе с тем народничество это отнюдь не было, особенно в 70-х годах, вполне оформившимся, точно себя осознавшим идейным течением. Мы уж не говорим о том, что и в 80-х годах легальные народники никогда себя не ощущали партией, хотя бы весьма либерально организованной.

В 1876 г. Ткачев выступил против наиболее реакционного фланга народничества, против «Недели». Но в статье Ткачева нет вовсе термина «народники», он говорит по аналогии с 60-ми годами о «почвенниках»[18]. Правда, в 1880 г. в «Народной Воле» можно прочесть декларативное заявление: «Мы социалисты и народники»[19], но этот термин явно нов, потому что даже в 1882 г. Юзов в своей книге «Основы народничества» пишет: «То, что у нас известно под общим именем «либерального направления», главным образом состоит из двух элементов: собственно «либерализма» и так называемого народничества»[20] (разрядка моя.— *Я. Э.*).

Наконец даже в 90-х годах Михайловский в полемике с марксистами пытается использовать то, что содержание термина «народники» еще не вполне установилось[21].

Эти факты показывают, что говорить, как это делает Иванов-Разумник, о каком-то субъективно-сознательном примыкании Щедрина к народничеству — означает начисто игнорировать специфические, исторические особенности идейной жизни 70—80-х годов. Работа Щедрина в «Отечественных Записках» отнюдь не была и не могла быть каким-то вступлением в народническую партию, каким-то официальным признанием народнических догматов. Дикий самодержавно-крепостнический режим царской России обусловил то, что единственным центром легальной народнической мысли был толстый журнал, а журнал этот отнюдь не был монолитным до конца. Между Михайловским 70-х годов, с одной стороны, и такими «унылыми элементами»[22] (выражение Щедрина) «Отечественных Записок», как Воронцов и Южаков, существовала все же настолько значительная разница, что Щедрин мог, до известного момента и до известной степени, не замечать того, что объединяло Михайловского с Воронцовым, а с другой, — отделяло и Михайловского, и Воронцова от него самого. Сотрудничество Щедрина в «Отечественных Записках» — это сотрудничество художника-реалиста с публицистами-романтиками, при чем романтические элементы у этих публицистов проявлялись в разной степени и дозе. Но такое сотрудничество — не просто исторический каприз. Обстановка была такова, что идейное отличие этого художника-реалиста от публицистов-романтиков до поры до времени не перерастало в явный конфликт. Здесь очень большое значение имела различная тематика работы Щедрина, с одной стороны, работы Михайловского и более мелких народнических публицистов — с другой. Доминирующая тема Щедрина — это бюрократия, помещики, хищники, буржуа, пенкоснимательская интеллигенция, идеологи этого хищничества. А публицисты-народники меньше всего говорили именно об этих социальных группах. Боясь капитализма, они по мере сил и возможности замалчивали его, «отговаривались»[23] — по выражению Ленина — от него. Пытаясь задачу возрождения общины возложить на государство, народники — в отличие от Щедрина — недостаточно вскрывали теснейшую связь бюрократии самодержавия с эксплоатирующими классами. Народническая публицистика была социологически мало конкретна, нередко она обнаруживала плохое знание действительности. Публицистика эта принимала форму или литературно-философских обзоров и фельетонов Михайловского, или экономических статей Воронцова и других. Схоластическая отвлеченность мысли, привыкшей к литературным иллюзиям и к экономическому романтизму, в значительной степени господствовала в народнической публицистике. В этом смысле публицистика эта противостояла поразительным по своей социологической конкретности художественным произведениям Щедрина.

Все же, в данной обстановке, противоположность эта не вела к конфликту откровенному и резкому. Это тем более любопытно, что ведь Щедрин был писателем, вводившим в свои произведения целые куски философско-публицистических рассуждений, писателем, отнюдь не боявшимся отвлеченных понятий. Одна из самых замечательных черт творчества Щедрина — это умение дать художественный эквивалент публицистических понятий, умение показать какое-нибудь газетное выражение, какую-нибудь ходячую фразу в таком бытовом и психологическом окружении, с такими бытовыми и психологическими оттенками, что понятие становилось художественным образом, как бы персонажем данного произведения. Эти своеобразнейшие художественные образы оказывались вместе с тем частицами целой системы специфически щедринской политико-социальной терминологии. Термины эти (например «жрать», «сосать», «пенки снимать») выросли из быта, но это отнюдь не ослабляло их политическую заостренность. Сила и мастерство Щедрина-художника сказывались в том, что он вросшим в быт и, казалось, мало подвижным и стертым понятиям придавал политическое и художественное звучание и громадную идеологическую стремительность. Быт здесь не затемнял и не размягчал политику, а наоборот ново-созданные щедринские политические понятия приобретали бытовую массивность и массовость. Щедрин умел находить такие соответствия между русской политикой и русским бытом, которые делали эту политическую, художественно выраженную терминологию социологически полноценной, точной, колоритной, резкой, разоблачающей, прямо бьющей в цель. А политическая

РИСУНОК А. РЫБНИКОВА К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ГРАВИРОВАННЫЙ НА ДЕРЕВЕ И. ПАВЛОВЫМ, 1926 г.



терминология народнических теоретиков обладала многими обратными качествами. Это была терминология отвлеченная, сглаженная, туманная, полная оговорок и увиливаний. Так получалось, что Щедрин, с одной стороны, народнические теоретики, с другой, говорили во многих случаях на разных языках, да и очень часто о разных вещах. Щедрин писал о хищничестве как о факте несомненном, бесспорном, все более доминирующем, но его мало трогали рассуждения народнических теоретиков о том, возможен ли или невозможен капитализм в России. Салтыков писал о деревенском кулаке, но сравнительно мало интересовался народническими теориями о роли общины. Художественная конкретность щедринского мышления, сознание объективной достоверности и познавательной ценности его собственных произведений позволяли ему, не теоретику, не публицисту, лишь от случая к случаю приглядываться к многим теоретическим утверждениям народников. А эти утверждения при более внимательном анализе несомненно вызвали бы — да, как мы сейчас увидим, и вызывали — его возражения. Можно сказать, что в данных случаях идейного размежевания многие, друг другу противоречившие теории народнических публицистов и художественные образы Щедрина еще не скрещивались.

Для того чтобы конфликт обострился непримиримо, необходимо было, чтобы центральная щедринская тема, реалистически им трактованная, тема буржуазного, преимущественно городского, хищничества и бюрократической монархии, столкнулась бы лбом с центральной народнической, романтически трактованной темой — темой крестьянской общины.

Это должно было произойти тогда, когда деревенская буржуазия, деревенское «хищничество» встало бы перед сознанием Щедрина как закономерное и массовое явление, охватывающее все большие и большие слои крестьянства, вырастающее из все большего и большего классового расслоения. Начало осознания этого социального процесса и намечается у Щедрина в 80-х годах, главным образом в «Мелочах жизни». Но в ту пору «Отечественные Записки» уже не существовали и близился конец жизни великого сатирика.

Щедрин в своих произведениях с громадной трезвостью, с большим историческим оптимизмом, с подлинным социологическим реализмом, т. е. такими качествами, которыми не обладал ни один народнический теоретик 70—80-х годов изображал господствующие классы России. Поэтому содержание просветительства Щедрина было революционно-демократическим. Эта критика была той базой, на который было возмож-

но сотрудничество Щедрина и народников. Щедрина и народников сближали сильные стороны мировоззрения последних. Зато наиболее слабые и отсталые стороны народнических взглядов, их мелкобуржуазно-утопические положительные построения, их романтические тенденции оказали на Щедрина наименьшее влияние. Сейчас мы и остановимся на ряде примеров, иллюстрирующих эти положения.

V

В «Дневнике провинциала», написанном в 1872 г., Щедрин дал классическое изображение оголтелого буржуазного хищничества 70-х годов, осатанелого ажиотажа и грюндерства, метущегося в спекулятивной горячке Петербурга, лихорадки наживы, в которой тряслись эксплоатирующие классы России. Публицистическая концовка этого произведения — далее нами цитируемая — лишь точный, идейно осознанный вывод из всей суммы созданных здесь художественных образов.

«Хищник» — вот истинный представитель нашего времени... «Хищник» проникает всюду, захватывает все места, захватывает все куски, интригует, сгорает ненавистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится... «Хищник» — это дикий в полном значении этого слова; это человек, у которого на языке нет другого слова, кроме глагола «отнять». Но так как кусков разбросано много и это заставляет глаза разбегаться, так как, с другой стороны, и хищников развелось не мало и строгого распределения занятий между ними не имеется, то понятно, какая масса злобы должна накипеть в этих вечно алчущих сердцах. Самое «торжество хищников» является озлобленным...

За «хищником» смиренно выступает чистенький, весь поддернутый «пенкосниматель». Это тот же «хищник», но более скромных размеров... Это тихо курлыкающий панегирист хищничества, признающий в нем единственную законную форму жизни и трепетно простирающий руку для получения подачки...

«Хищник» проводит принципы хищничества в жизни; пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правило на предмет наилучшего производства хищничества...» [24]

Такая характеристика российской буржуазности несомненно означает признание русского капитализма упадком, регрессом. В «Дневнике провинциала» нет решительно никаких указаний на то, что капитализм, буржуазность, «хищничество» являются с точки зрения общего хода исторического развития прогрессивным явлением, внутреннее развитие которого поведет к его отрицанию и преодолению. Здесь Щедрин сходится с народничеством. В передовой № 6 «Народной Воли» за 1881 г. мы читаем: «Русский буржуа остается до сих пор хищником...» Но надо сказать, что в таком восприятии русской буржуазии и русского капитализма было зерно исторической истины. Маркс писал Даниэльсону в 1879 г., указывая на ошибочность сближающего сопоставления России и Соединенных Штатов: «В Соединенных Штатах концентрация капитала и постепенная экспроприация масс представляют не только орудие, но и естественное порождение (хотя и ускоренное искусственно междуусобной войной) неслыханно быстрого промышленного развития земледельческого прогресса и проч.; Россия же напоминает нам скорее Францию времен Людовика XIV и Людовика XV, когда финансовая, торговая и промышленная социальная надстройка или вернее ф а с а д общественного здания (хотя все же имевший под собою гораздо более прочный фундамент, чем в России) представлял собой что-то вроде сатиры над отсталым, неподвижным состоянием главной отрасли производства (земледелия) и над голоданием производителей» [25].

А ведь именно в сатире Щедрина хищнически буржуазный фасад России дан, как издевка, как сатира над «массой», над человеком, питающимся лебедой, над «меньшим братом». Буржуазное развитие России обладало в 70—80-х годах уродливейшими чертами, вызванными в первую очередь сожительством приспосабливавшихся друг к другу крепостничества и капитализма, сожительством, выражаясь щедринскими терминами, «ветхого человека» и «ветхого нового человека» [26]. Поэтому восприятие этого развития в 70-х годах только как хищничества находит себе известное историческое оправдание.

При этом надо иметь в виду, что Щедрин говорил о «хищничестве» как о совершенно конкретном явлении, отнюдь не теоретизируя, отнюдь не приходя к отчетливо выраженным выводам о судьбах русского капитализма вообще.

Но если Щедрин и народники давали аналогичную оценку русского капитализма 70-х годов в данном его виде, то они решительно расходились между собой тогда, когда вставал вопрос о степени, которой достигло развитие русской буржуазии. Здесь-то Щедрин оказывается несравненно реалистичнее народников. Бичуя хищничество, он отнюдь не «отговаривается» от него, он отнюдь не закрывает глаза на все растущее его значение. Он вместе с тем отнюдь не впадает в безысходный пессимизм. Эта-то грань — и грань принципиальная — между Щедриным и народниками сказывается явственно при рассмотрении полемики, разыгравшейся вокруг «Дневника провинциала».

Естественно, что «Дневник» вызвал ярость либералов. Впрочем наиболее солидные из них трусливо сделали вид, что это не о них писано, хотя сатирик явно метил и в такой орган, как «Вестник Европы», говоря о прессе пенкоснимательства. Но не выдержал Буренин, будущий нововременец, а тогда сотрудник либеральных «Санкт-Петербургских Ведомостей».

Воспользовавшись тем, что «Дневник провинциала» был подписан в журнале инициалами М. М., Буренин с деланной наивностью пытался противопоставить «г. М. М.» и «первого сатирика наших печальных дней г. Салтыкова». Буренин назвал «Дневник» «юмористической статейкой». Злобясь, он писал: «М. М. старается доказать, что деятели либеральной печати... ни мало не страдают от своего положения, что им в качестве журнальных деятелей столь же приятно подвизаться в душной общественной атмосфере, как рыбам приятно и свободно плавать в воде». И надев личину гражданской скорби, Буренин изобличал «рабскую идейку» и «пошлый промах сатирика» [27].

Буренину в «Отечественных Записках» отвечал Михайловский. Надо сказать, что последний, параллельно с печатанием «Дневника провинциала», также ставил в публицистическом отделе журнала проблему либеральной печати. Но разрешал он ее существенно отлично от Щедрина. Михайловский не говорил о том, что либеральная печать — панегирист буржуазии, а он только указывал на то, что эта пресса находится перед опасностью оказаться в объятиях и под властью еще почти невыявившейся буржуазии. «Либеральная журналистика,— писал Михайловский,— очень благодушна, она любит народ. Она любит также свободу, просвещение. Но все это слишком общие вещи». Михайловский, столь легко выдававший либеральной печати такие векселя доверия, предсказывал далее, что «стыдливая девица», т. е. «Санкт-Петербургские Ведомости», рискует выйти замуж за буржуа. Михайловский не желал замечать при этом, что либеральная печать уже давно была наложницей буржуазии. По мнению Михайловского «интересы, нарождению которых «Санкт-Петербургские Ведомости» служат, пока действительно не существуют» [28], ведь «у нас интересы буржуазии ничтожны», ведь «вопрос теперь в том, как обойтись без нужных людей» [29], т. е. буржуа.

Не удивительно поэтому, что Михайловский повел полемику с Бурениным на довольно низком уровне. Михайловский рассматривал Буренина не как типического представителя буржуазной, либеральной журналистики. Он не поставил тем самым спор на принципиальную высоту и чрезвычайно выгодную для боевого демократизма Щедрина позицию. Михайловский видел в Буренине лишь «подходящий персонал продажной литературы», он называл его «клопом» и «старым воробьем» [30]. Михайловский не попробовал, разоблачая Буренина, целиться в более солидных и лучше замаскированных либеральных журналистов, он тщательно отделил Буренина даже от редакции «Санкт-Петербургских Ведомостей» и всячески подчеркивал «нравственный элемент» — бескорыстие последних. В итоге статьи Михайловского получалось, что Буренин только еще может «понадобиться» будущей буржуазии.

Итак, если Щедрин констатирует силу буржуазии, то Михайловский почти что отрицает ее существование, если Щедрин показывает непосредственную зависимость услужающей либеральной печати от буржуазии, то Михайловский в данном случае говорит о

любви этой печати к народу, о том, что она только находится перед опасностью стать невольным орудием буржуазии; если Щедрин выступает беспощадно, резко и откровенно, то Михайловский всякого рода оговорками и оговорочками — «пока», «почти» и т. п.— всячески снижает ценность своей критики, всячески «отговаривается» от развития русского капитализма. А у Иванова-Разумника хватает смелости утверждать, что в вышецитированных статьях Михайловского «сжато выражены основные предпосылки художественных образов Салтыкова». Так сближением Щедрина и Михайловского Иванов-Разумник маскирует идейную слабость виднейшего народнического теоретика 70—80-х годов.

Точка зрения Михайловского конечно не случайна. Ленин писал, что «народник доверяет либеральному «обществу» и его подернутой нескончаемой фальшью и лицемерием болтовне о народе» [31]. Ленин также подчеркивал, в какой мере народники всегда пытались трусливо не замечать очевидные признаки и явления капиталистического развития в России.

VI

Михайловский имел право ссылаться на то, что Щедрин писал ему: «Я сам полагаю, что не одна случайность соединила нас с вами в одном журнале..., но и общность воззрений... Никогда у нас с вами серьезных разногласий не было...» [32] Но это указание самого Щедрина отнюдь еще конечно не является достаточным доказательством того, что при относительной общности их воззрений в них не были заложены элементы разногласий, пусть пока и «несерьезных», но таких, которые имели в дальнейшем тенденции расти.

Сам же Михайловский, говоря о своих взаимоотношениях с Щедриным, писал: «Без сомнения, не всегда и не во всем мы вполне сходились; случались разногласия, но они никогда не достигали размеров принципиального разлада. Естественно, что и в письмах нет того, поводов к чему не было в самой жизни, т. е. пререканий или даже только рассуждений о принципах. Единственный след чего-либо отдаленно подобного я нашел в письме его из деревни от 1876 года» [33]. Далее Михайловский приводит лишь одну фразу из этого письма, по которой о сущности последнего судить невозможно. Ныне письмо это напечатано полностью и представляет совершенно исключительный интерес.

Письмо Щедрина написано из имения Витинево. Здесь в августе 1876 г. он получил из редакции сообщение о содержании публицистического отдела № 7 «Отечественных Записок» [34] (публицистический отдел часто просматривался Щедриным только в гранках, а в данном случае, во время его отпуска, составлялся повидимому и вовсе без его участия). В сообщении редакции указывалась, в частности, статья Мордовцева «На всенародную свечу». Еще не получив экземпляра номера, Щедрин пишет Михайловскому: «Могу себе вообразить, что за статья на тему о «всенародной свече». «Отечественные Записки» встали на покатость очень сомнительную и делаются журналом, в котором чувствуется если не преобладание, то очень значительное присутствие трихин... До свидания, жму вашу руку, ту самую, которая выдвинула вперед вопрос о качественности цивилизации и тем самым уготовила для Дулебов некоторый пьедестал. А Мордовцев подслушал сие и окрилился до сальной свечи. Покойный Грановский еще в 40-х годах в диссертации об Винете доказал, что все Дулебы друг другу равны. И я то же думаю» [35].

Письмо это требует подробного комментария. Щедрин правильно, по одному названию, почуял реакционно-националистскую и поповскую сущность статьи Мордовцева. Действительно статья эта является лучшим показателем того, до чего низко могла пасть народническая редакция «Отечественных Записок». Мордовцев заявлял, что «Мы русские славянские люди презираемы одичавшей в своей quasi-цивилизованной гордости Европой». Мордовцев звал к пожертвованию в пользу южных славян и писал затем: «Простой темный народ пусть в церквах услышит от своих священников то воззвание, на которое всегда охотно откликнется русский народ: «Пожертвуйте,

православные, на всемирную свечу господу богу!..» Всемирная свеча, которую хочет загасить Европа, это — славянская семья, добрая, угнетенная, мягкая, словно восковая свеча, тающая от враждебного европейского дуновения. Пожертвуйте же, русские люди, на всемирную свечу!»[36]

Отвергая статью Мордовцева как симптом неприемлемых для него тенденций в общем направлении «Отечественных Записок», как симптом присутствия «трихин», Щедрин в заключении письма, поговорив о других редакционных делах, возвращается к затронутому вопросу и прямо связывает — пусть шутливо — тенденции мордовцевской статьи с теориями Михайловского. Ход мыслей Салтыкова выражен здесь бегло благодаря эпистолярно интимной форме и требует пристального к себе внимания. Щедрин прежде всего отмечает, что Михайловский выдвинул вперед «вопрос о качественности цивилизации». Совершенно несомненно, что Щедрин имеет здесь в виду ту



РИСУНОК А. РЫБНИКОВА К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ГРАВИРОВАННЫЙ НА ДЕРЕВЕ И. ПАВЛОВЫМ, 1926 г.

теорию типов и степеней развития цивилизации, которую Михайловский в том же 1876 г. излагал на страницах «Отечественных Записок» в серии статей «Борьба за индивидуальность». Михайловский исходит здесь из того, что «я только человек, т. е. индивид в тесном смысле этого слова, а потому и сочувствовать могу только такому же индивиду и радоваться только его победе и горевать только о его поражении». Говоря на примере двух муравейников о различных степенях развития человеческого общества, Михайловский характеризует «новый муравейник», т. е. такое общество, в котором разделение труда и приспособление отдельных индивидов к этому разделению ушло далеко вперед, как «только высокую степень развития пониженного типа». И далее Михайловский писал: «С субъективной точки зрения самого муравья, выше древний муравейник, в котором разделение труда еще не произвело никакого полиморфизма (многоформенности)»[37]. В другой, более ранней своей работе «Что такое прогресс?» Михайловский писал: «Для объективной точки зрения этого и достаточно: общество прогрессирует, хотя и давит при этом личность, заставляя ее переходить от разнородности к однородности... мы же... возьмем за центр своего исследования мыслящую, чувствующую и желающую личность... мы признаем... прогрессивным только такое движение, которое увеличивает массу наслаждений этой личности и уменьшает массу ее страданий»[38].

Говоря о том, что Михайловский выдвинул вперед вопрос о качественности цивилизации, Щедрин тем самым отмечал один из центральных моментов субъективистской народнической теории. Исторический пессимизм народничества, противопоставление

прогресса общества и интересов личности, индивидуалистическое стремление «поправить» исторический процесс, исходя из требований «личности», отрицание прогрессивного развития цивилизации, выпячивание вопроса о ее «качественности»,— все это могло вести к реакционной ретроспективной романтике, к идеализации прошлого, к мистическому национализму, любующемуся собственной некультурностью. А историко-философские воззрения Щедрина решительным образом противоречили не только тем откровенно реакционным выводам, которые с наивной откровенностью высказал Мордовцев, но и исходным позициям Михайловского. Как то показывают публикуемые в этом же номере «Литературного Наследства» философские статьи Щедрина, последний обладал глубоким историческим оптимизмом, верил в прогрессивное развитие человеческого общества и его цивилизации и решительно отрицал философский субъективизм и романтизм.

В письме Щедрина наиболее замечательно то, что Щедрин устанавливает связь между реакционной статьей Мордовцева и философскими высказываниями Михайловского. Щедрину присуще было умение последовательно «договаривать» ту или иную, вызывавшую его полемические возражения идею, видеть, куда эта идея ведет, Щедрин имел полное право заключить, что Михайловский, выдвинув вперед вопрос о качественности цивилизации, «тем самым уготовил для Дулебов некоторый пьедестал». Дулебы — древнее славянское племя, и Щедрин использовал его название для метафорической характеристики реакционно-романтических сторон теории Михайловского. Таким способом Щедрин связывал выступления Михайловского и Мордовцева, а вместе с тем противопоставлял воззрениям Михайловского выводы такого представителя прогрессивного буржуазного «наследства», как Грановский. Последний в 1844 г. раскритиковал легенду о величественной Винете — Северной Венеции, поглощенной морем. Грановский доказывал, что существовал лишь деревянный Волин, а не мраморная Винета, и разоблачал «изящный вымысел» во имя «сухой, критикой добытой истины» [39], т. е. показал, как выражается Щедрин, что «все Дулебы друг другу равны»

VII

Те расхождения между Щедриным и Михайловским, которые мы обрисовали выше, были расхождениями принципиальными — по серьезнейшим философским, политическим и экономическим проблемам эпохи. Но своеобразная черта этих расхождений — их малая эффективность. Идейные столкновения эти не вели к какому-либо размежеванию, уж не говоря о тех или иных «оргвыводах». Мало того: расхождения, которые нам удалось отметить, сопоставляя «Дневник провинциала» и полемику Михайловского с Бурениным, даже повидимому не были осознаны ни Щедриным, ни тем более Михайловским.

Но тем не менее идейные коллизии эти не были случайным, преходящим явлением, как то пытается изобразить Михайловский. Это были конфликты Щедрина с народничеством, точнее с народнической теорией, при чем конфликты эти выступали тем отчетливее, чем сильнее и откровеннее типически народнические взгляды были выражены в том или ином выступлении, вызывавшем возражения Щедрина.

Михайловский был безусловно самым крупным, боевым и умным теоретиком «Отечественных Записок». В нем меньше, чем в ком-либо другом из легальных народнических теоретиков, отражались оппортунистические, националистические, традиционно-религиозные оттенки народничества. Поэтому именно с ним Щедрин был в более близких отношениях, чем с кем-либо другим из публицистов круга «Отечественных Записок». Если свое несогласие с Михайловским Щедрин облекал в шутливую форму, то Воронцова и Южакова он просто презирал и резко критиковал Елисеева, Златовратского, а порой и Глеба Успенского.

Златовратский ощущался в 70—80-х годах как один из самых «ортодоксальных» народнических писателей. Златовратский и был таковым, наиболее отчетливо из всех народнических беллетристов отражая как «пышные фразы», так и «убогие компромиссы» [40] народничества. Златовратский воспринимался даже как антагонист несравненно

более скептическому Успенскому [41]. Для оценки Щедриным Златовратского достаточна следующая цитата из письма последнего к Михайловскому. «Златовратский... об «Отечественных Записках» и слышать не хочет, а ополчается против Успенского и хочет последнего раздавить. Аника воин. Я всегда подозревал, что он зол и упорен, но теперь и еще качество открывается: глупость. Должно быть я его очень рассердил, написав ему, что его статья напоминает трактирные беседы благомысленных бахвалов, переливающих из пустого в порожнее насчет мужицкой «правоты», которую он, Златовратский, никак найти не может» [42].

Елисеев был одним из самых ранних русских народников. Еще в 60-х годах в «Веке» он выступал со статьями, показывавшими, что в нем следует видеть предтечу позднейшего оппортунистического и романтического народничества [43]. Щедрин писал в 1880 г. Михайловскому: «Прочтите Внутреннее Обозрение в июньской книжке. Елисеев доказывает, как нужно устроить духовенство, согласно с истинным духом православия. Я впрочем получил обещание, что дальнейшего развития этому вопросу, а равно и вопросу о том, как повелевает святая церковь насчет постов,— не будет. А ежели будет, то легко может случиться, что я совсем выйду из журнала. Вообще личные объяснения и полемика на тонкой деликатности начинают мне претить» [44]. Высказывание это чрезвычайно существенно. Оно показывает, что в практике «Отечественных Записок» имели место «личные объяснения и полемика на тонкой деликатности». Не приходится сомневаться в том, что такие методы идейной борьбы были не по нутру Щедрину. Оказывается, что «елисеевские» тенденции «Отечественных Записок» заставляли великого сатирика подумывать об уходе из журнала. И было из-за чего. Елисеев в указанном обозрении мечтал о «близких, сердечных отношениях между духовенством и народом». Он взывал к государству, уговаривая его приблизить духовенство к народу: «Пусть государство уничтожит духовенство как касту, пусть уничтожит духовные школы — низшие и средние — и предоставит, как было в древнее время, самому обществу приискание священников для себя, где и как оно знает». Только такое «устройство» духовенства казалось Елисееву «согласным с православным учением о церкви» [45].

Такой убогий компромисс с государством и церковью отнюдь не был случаен для Елисеева. Чрезвычайно показательно для характеристики легального народничества 70—80-х годов, что Елисеев, бывший профессор духовной академии, отнюдь не считал необходимым так решительно порывать со своим идейным прошлым, как то сделал Щедрин, бывший бюрократ. Когда в 70-х годах одна реакционная газета напомнила Елисееву об его богословских литературных работах, он отвечал: «С летами должно было более или менее видоизмениться мое теоретическое религиозное миросозерцание, но нравственное миросозерцание осталось то же самое: моральные истины, которым я учил в проповедях, которые имел в виду или излагал в своих лекциях студентам...— те же самые истины, что я излагаю и имею в виду и в моих внутренних обозрениях» [46].

Семинарски-елейное, грубо идеализирующее мужика народничество Елисеева должно было встретить отпор Щедрина. К сожалению неизвестны ответные письма Михайловского. Не приходится сомневаться в том, что Михайловский выступал перед Щедриным защитником остальной народнической братии. Недаром же Щедрин считал Воронцова «унылым элементом», а Михайловский писал об «интересных статьях В. В.» [47] А что касается оценки Михайловским религиозных тенденций Елисеева, то следует иметь в виду, что позже, в своей полемике с русскими декадентами, Михайловский так определял сущность религии, рекомендуя «не смущаться теми грубыми формами, под которыми скрывается иногда религия»: «Та сила, которая направляет нашу волю к действию в соответствии с идеалом, построенным совокупным трудом разума и чувства,— эта сила и составляет сущность всякой религии» [48].

Насколько народники, особенно правые, далеко отходили от боевого демократизма Щедрина, наглядно показывает одно полемическое выступление гайдебуровской «Недели», на котором мы сейчас и остановимся.



РИСУНОК А. РЫБНИКОВА К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ГРАВИРОВАННЫЙ НА ДЕРЕВЕ И. ПАВЛОВЫМ, 1926 г.

В «Пошехонском деле», напечатанном в последней книжке «Отечественных Записок» за 1883 г., Щедрин дал чрезвычайно глубокое и многозначительное противопоставление «дела» и «фразы». Щедрин с самого раннего детства был окружен отвратительным «делом» крепостнической России, как глухой стеной. Очень рано Щедрин осознал необходимость противопоставить «делу» «ветхого человека» другую, ведущую к лучшему будущему практику. Щедрин напряженно искал такую практику, искал массу, могущую изменить действительность. Но трагедия Щедрина заключалась в том, что и в 40-х, и в 60-х, и в 70—80-х годах Россия не знала побеждающей массовой, революционной практики. От практики же «Народной воли» Щедрин был далек — да притом это была практика не массы, а сравнительно немногих «новых людей», героев. Дикая крепостническая реакция 80-х годов еще больше должна была разуверить Щедрина в возможности в данных условиях существования подлинного, достойного человека дела. В своем вышеуказанном рассказе, в котором под пером сатирика «дело» и «фраза» становились живыми существами, действующими и в плоскости русской политической мысли, и в плоскости русского быта, Щедрин писал: «В периоды состязаний вопрос ставится так: одни видят высшую задачу человеческой деятельности в содействии к разрешению вопросов всестороннего человеческого развития и эту задачу называют «делом»; другие, напротив, не признавая неизбежности человеческого развития, ту же самую задачу называют мечтанием, фразой. В периоды чревовещаний ряды защитников высших задач постепенно редеют... напротив того, чревовещатели смело выступают вперед... «Прочь мечтания; за дело пора, за дело!» раздается по всей линии. Но какое же это «дело», к которому так страстно несутся все сердца? А вот какое: упразднение человеческой мысли, доведение человеческой речи до степени бормотания — только и всего». «Дело» крепостнической и хищнической России и было для Щедрина не настоящим человеческим делом, а бормотанием, бредом, призраком, фразой.

В другом месте своего рассказа Щедрин так определял сущность стремления к «делу». «Домогаются того, чтобы все шили сапоги, все носили на голове тяжести, все твердили: купить — продать, продать — купить» [49].

В этом своем выступлении и в частности в портрете Клубкова, дворянина, ставшего деревенским чумазым, Щедрин великолепно вскрывает буржуазную сущность народнической теории «малых дел». Он показывает, как романтическая народническая фраза маскирует собственника и мелкого буржуа. Естественно, что «Пошехонское дело» вызвало критику «Недели», этого органа правого фланга народничества. Излагая рассказ, отмечая, что у Клубкова «поля в порядке и приносят доход, имение увеличилось», «Неделя» писала: «Чорт возьми, да это почти Энгельгардт, автор «Писем из деревни!» восклицает читатель. Так бы оно и было, отвечу я, так оно пожалуй и есть, но не по г. Щедрину. По г. Щедрину Клубков — кулак, ростовщик, общественная язва». И далее, отговариваясь от буржуазности Клубкова и ему подобных, рекомендуя читателю приобресть «энергию и умелость Клубкова», кивая на то, что «специальность г. Щедрина — мрачные стороны жизни», «Неделя» заключала: «Я желаю читателю, вопреки грозному авторитету Щедрина, «меньше мечтаний, меньше фраз и побольше дела» [50].

В этой критике, классовый смысл которой совершенно ясен, очень любопытно сопоставление Клубкова и Энгельгардта.

А. Н. Энгельгардт, автор известных «Писем из деревни», характеристику, которых Ленин дал в «От какого наследства мы отказываемся», начал эту свою работу по инициативе Щедрина. Рекомендуя Энгельгардту писать деревенские очерки, Щедрин очертил задачу, встававшую перед его корреспондентом. «Привести в ясность, каким образом живет это пустое место, имеет свои нравы и обычаи, свою бытовую жизнь и не имеет разумных данных, которые могли бы питать эту жизнь, давать ей элементы, возможности развития, чрезвычайно важно, хотя, быть может, деятельность такого рода носит исключительно отрицательный характер» [51]. Эта формулировка достаточно показывает, насколько Щедрин был далек от какой бы то ни было народнической идеализации крестьянства. Характерно также, что он в качестве образца послал Энгельгардту ту самую книгу Скалдина, которую Ленин охарактеризовал как типический документ русского просветительства. Но в очерках Энгельгардта народнические влияния сказались несравненно отчетливее и резче, чем в творчестве Щедрина. Реалистически рассказанную историю своего хозяйства Энгельгардт использовал для народнических выводов, утверждая возможность существования прогрессивного небуржуазного хозяйства в деревне. Энгельгардт один из своих очерков 1878 г. заканчивал так: «В настоящее время хозяйство сельской жизни, от которой убежал наш интеллигентный класс, вновь начинает привлекать людей, людей молодых, новых. Да позволено будет мне, старику, дать совет идущим в хозяйство молодым людям: если вы не хотите остаться не у дел, то непременно научитесь работать — пахать, косить, молотить; выработайте себе руки, ноги, глаза, уши...» [52]. «Убежище Монрепо» Щедрина и было, в значительной мере, направлено против этих интеллигентски-народнических выводов. Такую полемическую заостренность этого произведения Щедрина наивно отметил Иванов-Разумник, не понимая того, что правильное замечание это бьет по его собственной концепции Щедрина-народника. Действительно, «Убежище Монрепо» развенчивает всякие интеллигентские иллюзии о деревне. Но в этом произведении Щедрина сатирическое разоблачение касается только одной стороны, проблемы: интеллигент оказывается в деревне жалким и беспомощным перед реальными нуждами крестьянства, перед эксплоатацией деревенских кулаков, перед произволом деревенской полиции. Оборотную же сторону медали Щедрин показывает в «Пошехонском деле»: акклиматизировавшийся в деревне горожанин, научившийся вести свое хозяйство, оказывается не идиллическим энтузиастом, вносящим в сельскую жизнь новые принципы и новые веяния, а хищным эксплоататором, интеллигентской разновидностью Колупаевых и Разуваевых.

VIII

Щедрин глубоко уважал Глеба Успенского как крупного, серьезно мыслящего художника. И тем не менее он порой критиковал его резко. Эта критика вызывалась не

случайными поводами, а наиболее слабыми, реакционно-народническими сторонами мировоззрения и творчества Успенского. В письме от 11 ноября 1880 г. Щедрин писал Успенскому: «Статья ваша произвела на меня тяжелое впечатление и я серьезно начинаю думать, что вы увлекаетесь идеалами Достоевского и Аксакова... Я до крайности уважаю вашу литературную деятельность и мне крайне прискорбно, что могут существовать недоумения. Главное: вы сетуете на то, что по вашим же словам неизбежно. Следовательно, эти сетования по малой мере бесплодны»[53]. Эти замечания формулируют, в сущности, коренную разницу между Щедриным и народниками, в частности между Щедриным и Успенским. Большинство народников вовсе отговаривалось от «неизбежного» — от капиталистического развития России. Успенский умел отмечать признаки этого неизбежного, но все же сетовал на них. Щедрин воспринимал буржуазное развитие России как явление отрицательного порядка, но не сетовал на него и никогда не поддавался реакционно-романтическим иллюзиям. А в той статье, о которой шла речь в письме Щедрина, в одном из очерков серии «На родной ниве», Успенский говорил об «удушливой области интересов русского образованного, немужицкого человечества». А затем сетовал на «коренное расстройство деревенских порядков»[54], на то, что в деревенском мире проявляются хищнические, кулацкие интересы, сказывающиеся даже при распределении пособий голодающим.

Щедрин не случайно упомянул в своем письме идеалы Достоевского. В том же году, на несколько месяцев ранее, Щедрин писал Михайловскому по поводу статьи Успенского о пушкинских празднествах: «Успенский не додумался до того, что и Достоевский и Тургенев надувают публику и эскамотируют пушкинский праздник в свою пользу»[55].

Действительно в статье Успенского наряду с резкой и остроумной критикой обывательски-либерального празднословия, юбилейной шумихи и бестолковщины чувствовались явно примиренческие ноты, особенно по отношению к замаскированно-реакционной речи Достоевского. Успенский сочувственно излагал слова Достоевского о том, что «русский человек, которому предопределено наполнять свое существование только страданием за чужое горе, тосковать только потому, что тоскует другой мой ближний, внесет, в конце концов, в человеческую семью умиротворение, успокоение, оживляющую и веселящую простоту смирения». Успенский уверял, что «слова эти могли произвести впечатление именно только на молодежь и на тех из остепенившихся и осолидневших представителей ее в недавнем прошлом, которые живо чувствуют еще пережитое ими, потому что ни одно поколение русских людей никогда, во все продолжение тысячелетней русской жизни, не находилось в таком трудном, мучительном, безвыходном состоянии...»[56]

Щедрин в вышецитированном письме рекомендовал Михайловскому исправить ошибку Успенского и выступить со статьей в следующем номере журнала. Михайловский так и сделал, но его выступление показывает отчетливо, насколько он уступал Щедрину в боевом демократизме, политической проницательности, идейной непримиримости. Можно сказать, что Михайловский буквально последовал за указанием Щедрина, но в этом буквальном исполнении не было щедринского духа. Михайловский указал на то, что и Тургенев, и Достоевский своими выступлениями стремились «производить по своему делу шум», т. е. «всенародно молиться своему богу». Но при этом Михайловский ограничился тем, что указал на «виляние и противоречивость»[57] мысли Достоевского и сослался притом на ту критику Успенского, которую Щедрин признавал явно недостаточной и даже по существу ошибочной. Нам уже выше приходилось указывать на то, что вообще литературные иллюзии (мы употребляем этот последний термин в том смысле, в каком мы его встречаем в «Немецкой идеологии» Маркса и Энгельса) довлели над народнической теорией. Михайловский, кое в чем поправив Успенского, остался все же всем своим ходом мыслей в плоскости чисто литературной, он не показал, что теории Достоевского означают в реальной жизненной практике. Верно, что Щедрин был только писателем, а не практиком. Но Щедрина загнала в литературу, и только в литературу, практика торжествующей реакции. Щедрин со

страшной горечью и болью ощущал эту свою оторванность от непосредственной переделки действительности. Но глубоко страдая, он возмещал эту оторванность величайшей жизненностью своего творчества. В «За рубежом» «новое слово» Достоевского сатирически переносится из области литературных фраз в гущу живых типических людей и насущнейших вопросов социально-политической жизни. Щедрин издевается над указанием Достоевского, что русскому человеку суждено «указать исход европейской тоске в своей русской душе всечеловеческой и всесоединяющей» [58].

Щедрин писал: «Самая «тоска» — разве это не «новое слово» для западного человека? Западный человек может негодовать, ожесточаться, настаивать, но «тосковать» он положительно не умеет. Ни англичанин, ни француз, ни немец не сделают из тоски постоянного занятия и тем менее не будут хвалиться, что вот, дескать, мы страдаем «благородной» тоской. Ибо даже наиблагороднейшая тоска — и та представляет собой нечто несознанное, безвыходное, свойственное лишь бессильным и недоумевающим людям... Чтоб сознать себя воистину человеком... нужно начать борьбу. А где же взять сил для борьбы?.. Остается один выход: благородным образом тосковать» [59].

Достоевский стремился придать тоске по правде, тоске, по его мнению, находящей разрешение в глубинах русской души, героический характер. В взволнованных словах он поднял это «новое слово»» на высокий пьедестал. Он сумел заразить своим настроением и таких искренних демократов, как Глеб Успенский. Объективно же выступление Достоевского было реакционной идеализацией мелкобуржуазной пассивности и покорности, прикрывающихся обманчивой фразеологией «внутреннего» стремления к правде. Но не случайно этим фразам поддался до известной степени Успенский. Достоевский умело апеллировал к склонности народнической интеллигенции увлекаться романтическими иллюзиями. Этому соблазну был безусловно чужд Щедрин. В его изображении тоска «российского скитальца» спускается на землю, она разоблачается, становится «тихонькой» и «благородной», раскрываются ее социальные корни, она оказывается выражением жалкого бессилия.

Я остановлюсь в следующем разделе статьи на вопросе о том, как Щедрин, с одной стороны, теоретики народничества и Михайловский в частности — с другой, относились к «борьбе», о которой Щедрин говорил в вышеприведенной цитате, т. е. к революционной практике эпохи. Сейчас же мы укажем еще только на резкое расхождение, заключающееся между одним заявлением Щедрина в «За рубежом», и одновременным утверждением Михайловского.

В «За рубежом» Щедрин прямо ставит вопрос о том, «что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых» [60], при чем весь материал сопоставлений и рассуждений, в окружении которых этот вопрос поставлен, ясно показывает, что ответ на него последует в пользу Колупаевых. Иванов-Разумник же в комментариях к «За рубежом» пытается утверждать, что «все эти темы и в совершенно таком же направлении развивал Михайловский» [61]. Иванов-Разумник трудился над созданием опошляющей легенды о Щедрине-народнике и идеализирующей легенды о Михайловском как о представителе «критического народничества», якобы принципиально отличного от просто народничества.

Но документы опровергают Иванова-Разумника. В той самой статье, на которую он ссылается (первое письмо Гроньяра в «Народной Воле»), Михайловский вновь ставит перед революционерами основной для него вопрос: «Задержали ли вы развитие буржуазии» [62], т. е. закрывает тем самым глаза на тут же им отмеченный и неоспоримый рост капитализма.

В рецензии же на книгу Воронцова в № 7 «Отечественных Записок» за 1883 г. Михайловский, говоря о «невозможности нашего капитализма», ограничивается признанием, что «эта невозможность далеко не абсолютная, и может быть даже не совсем правильно называть ее невозможностью» [63], т. е. спасается в оговорках, в половинчатых и бесплодных уступках.

В противовес же Михайловскому Щедрин в 1886 г. в «Мелочах жизни» приходит к выводу: «Сдается, что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества, чтобы

понять всю глубину обступившего массы злосчастья» [64]. А так как с точки зрения Щедрина-просветителя раскрытие «глубины обступившего массы злосчастья» есть признак того, что «человеческое сознание вступит в свои права», мы имеем право усматривать здесь понимание того, что «торжество чумазого» есть тяжелый, но неизбежный и преходящий этап в пути к лучшему будущему. В «Мелочах жизни» чумазый, проникший, по выражению Щедрина, в сердце деревни, оказывается чем-то гораздо более значительным и, главное, закономерным, чем хищник и хищничество, ранее изображенные сатириком.

IX

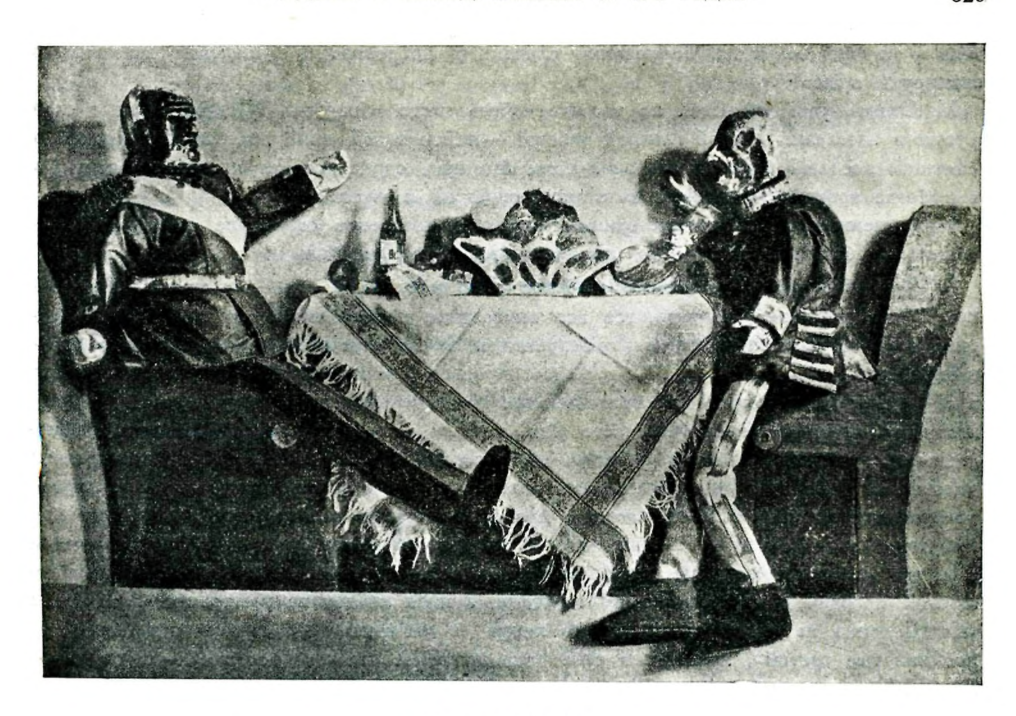
Вопрос об отношении Салтыкова к революционной практике 70—80-х годов может быть разрешон только на основе ясного понимания особенностей революционного движения тех лет, с точки зрения соотношения в нем теории и практики. От 60-х годов до российской социал-демократии, от Чернышевского до Ленина, тянется период отрыва теории от революционной практики. Конечно в эпоху Чернышевского можно говорить лишь о зачатках революционных организаций, но сама жизнь великого революционера была демонстрацией величайшего единства революционной теории и революционной практики. Недаром Ленин, так высоко ставивший Чернышевского-мыслителя, подчеркивал громадное значение деятельности и самой гибели Чернышевского для дальнейших судеб русской революции [65].

А после Чернышевского развитие революционной практики шло иными путями, чем эволюция теории. Практики (землевольцы и народовольцы) пошли вперед и создали, по словам Ленина, «превосходную организацию... которая нам всем должна была бы служить образцом», при чем однако «ошибка их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией» [66]. В это же самое время народнические теоретики шли назад от Чернышевского и разрабатывали, например в лице Михайловского, романтическую, субъективистскую и эклектическую систему взглядов.

Ленин, говоря о «старом» народничестве, разъяснял: «Под старыми народниками я разумею не тех, кто двигал, например, «Отечественные Записки», а тех именно, кто «шел в народ» [67]. Ленин таким образом подчеркнуто отделял легальных народнических публицистов от революционеров-практиков. И делал это Ленин, исходя не из презрительного отношения к теории и теоретикам вообще, а лишь на основе низкой оценки *этой* теории и *этих* теоретиков. Последних Ленин называл «наивными исследователями», характеризуя в то же время практиков революционного народничества как «энергичнейших и талантливых работников» [68]. Историческая действительность подтверждает эти ленинские оценки. Михайловский, как о том рассказывают народовольцы. Н. Морозов и В. Фигнер, не был в состоянии написать для подпольной печати программную статью по земельному вопросу. Пробуя свои силы в этом направлении, он дошел до геркулесовых столбов социологической наивности, закончив статью словами, вызвавшими смех подпольной редакции: «садись на землю, и земля твоя» [69]. Естественно, что Фигнер, в противовес Колосову [70], определяет Михайловского не как идейного вождя народничества, а как «зрителя в стороне», как человека, неспособного вдохновить революционеров, а наоборот вдохновляющегося их революционными выступлениями [71]. Даже самый тон писем Гроньяра-Михайловского в подпольной народовольческой литературе подтверждает характеристику Фигнер; так выступает и пишет не вождь, не руководитель подпольной революционной партии, а зритель издалека, наблюдатель со стороны, не глава и даже не член партии, а сочувствующий ей легальный публицист.

Вместе с тем в выступлении этого легального публициста на страницах подпольной печати легко заметны нотки оппортунистического неверия.

Народническая теория, выражавшая наиболее слабые мелкобуржуазные стороны социальной практики демократии, была слаба, наивна и ограничена, она тешилась иллюзиями субъективизма и романтической оценки крестьянства. Теория эта в лице



«ДВА ГЕНЕРАЛА»
Эпизод из инсценированной сказки Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил» в Кукольном театре М. Я. и И. С. Ефимовых
Куклы работы И. Ефимова
Москва, 1919 г.

Михайловского не искала новых путей, не ощущала свою несостоятельность, не видела своего отставания от практики, а довольствовалась философским эклектизмом и дешевым оптимизмом оборотной стороной исторического пессимизма Щедрина. Не то мы видим у Щедрина. Именно потому, что он остался верен традициям Чернышевского, именно потому, что он обладал трезвым и реалистическим мировоззрением, Щедрин остро ощущал разрыв между мыслью и делом, между теорией и практикой, между «Отечественными Записками» и революционным движением, между своим творчеством и «фактами самоотвержения», т. е. героической деятельностью народовольцев. Ощущение этого разрыва выражалось у Щедрина в напряженном стремлении сделать свое творчество непосредственно действенным, организующим «среднего человека», наглядно изменяющим действительность, и вместе с тем в остром сознании невозможности достигнуть этой цели. Попытки Колосова изобразить Михайловского вождем народовольчества и попытки Иванова-Разумника поставить Михайловского в один ряд с Чернышевским и Щедриным — явления одного и того же порядка. Эта попытка современных эпигонов народничества оправдать собственные теоретические позиции. Это — фальсификация истории, стремящаяся подкрепить народническую теорию авторитетом революционного наследства прошлого, наследства не ей принадлежащего.

Щедрин писал в «Мелочах жизни»: «Поэт в справедливом сознании светозарности совершаемого им подвига мысли имел полное право воскликнуть, что он глаголом жжет сердца людей; но при данных условиях слова эти были только отвлеченной истиной, близкой к самообольщению. Когда окрест царит глубокая ночь... тогда не может быть места для торжества живого слова. Сердца горят, но огонь их не проникает сквозь густоту мрака; сердца бьются, но биения их не слышно сквозь толщу желез. До тех пор, пока не установилось прямого общения между читателем и писателем, последний не может считать себя исполнившим свое призвание .Могучий — он бессилен; власти-

тель — он раб безумных бормотаний случайных добровольцев, успевших захватить в свои руки ярмо»[72].

М. Ольминский указывал на то, что «очень часто обозревал Щедрин разные слои русского населения с этой главной заботой — найти такой слой, достаточно широкий и сильный, который боролся бы за лучшее будущее, стремился бы к сознательности, к выработке крепких убеждений и к проведению их в жизнь»[73].

Напряженные и бесплодные поиски массы, мучительное ощущение своего одиночества и его безысходности — вот что характерно для Щедрина.

В образе «среднего человека», особенно ярко и глубоко обрисованного в последней главе «За рубежом», выражаются все внутренние противоречия мировоззрения Щедрина в его отношении к социальной практике. Образ «среднего человека», этого «действительного объекта истории», отражает трезвое реалистическое стремление найти массу, могущую изменить действительность. Но надежды на среднего человека, в сущности на среднего демократического интеллигента, вступали в противоречие с наблюдаемыми в действительности фактами его бессилия. Факты показывали, что средний человек «с одной стороны обязывается завоевывать для истории утешения, а с другой погружается во тьму и примиряется с проказой», что он подвергается «смертному бою ликующей современности»[74]. Надежды на среднего человека вступали в противоречие с тем, что «самоотверженность не в нравах среднего человека», что он «ищет не абсолютной правды, а возможной» и «в случае нужды пойдет на компромисс». Вместе с тем Щедрина не могли «утешить» до конца и «личности исключительные, насквозь проникнутые светом», носящие в себе «зиждительное начало истории»,— герои революции. Они казались ему слишком невосприимчивыми к «уколам неумолимой действительности» и слишком «подавленными идеалами будущего», самому Щедрину нехватало революционной страсти и веры.

Так вступали в противоречие «средний человек» и «герой», стремление найти еще несуществовавшую революционную массу и деятельность немногих героических революционеров, в работе которых Щедрин не умел видеть зачатки будущей революционной организации, способной к возглавлению масс; так вступали в противоречие надежды на массу и отсутствие массового революционного движения, надежды на «исключительные личности» и незначительность их непосредственных успехов, оптимизм, базирующийся на «исторических утешениях», и горькая действительность.

Эти противоречия, в данной исторической обстановке, к концу 80-х годов, могли быть разрешены только массовым революционным рабочим движением, до которого Щедрин не дожил, и марксизмом, которого Щедрин не знал, в их неразрывном единстве революционной практики и подлинно революционной теории. Только на этой базе можно было найти революционную массу, возглавить ее революционной организацией, «героями», сделать практику материалом для «исторических утешений», увидеть активно изменяющего действительность «среднего человека», слить «мысль» и «дело».

Примирить эти противоречия Щедрину не было дано, но ощущение и отражение их в его творчестве является мерой значения последнего для революционной практики эпохи. Отражение этих противоречий Щедриным является показателем того, насколько по своему теоретическому уровню и следовательно по практической эффективности художественная работа Щедрина стояла выше публицистики Михайловского.

Революционно-демократическая направленность мировоззрения и творчества Щедрина обусловила его совместную работу с теоретиками народничества, в первую очередь с Михайловским. Правда, что Михайловский в отличие от Щедрина стремился непосредственно помочь подполью. Но уступая Михайловскому в осознанной мелкобуржуазной революционности, Щедрин обладал глубоким и трезвым оптимизмом просветителя и не нуждался в народнических романтических иллюзиях. Влияние народничества на Щедрина сказалось главным образом в признании русского капитализма отрицательным, регрессивным явлением. В остальном мировоззрение Щедрина находилось в резком противоречии с народнической теорией. Щедрин был враждебен философскому субъективизму и социологическому романтизму народников, он никогда не уверял, что

в России нет почвы для капитализма, он никогда не апеллировал к государству, а показывал его тесную связь с эксплоатирующими классами и никогда не идеализировал общину, он гораздо лучше народников понимал и видел классовые зависимости и связи различных групп русской интеллигенции.

Признание русского капитализма регрессом, хищничеством было для Щедрина той базой, которая позволила ему беспощадно выступить не только против русского крепостничества, но и против русской буржуазии. В остальном Щедрин оставался верен наследству русских и западноевропейских просветителей, их социологическому реализму, их трезвому, широкому и суровому взгляду в вопросах политики, экономики, философии. Совершенно правильна формулировка М. Ольминского: «Во многих вопросах Щедрин только поневоле мирился с народничеством» [75]. Мы выше привели материал, показывающий, что по ряду серьезнейших принципиальных вопросов Щедрин вступал в конфликт с народнической теорией и ее представителями. Правда, как мы уже указывали, конфликты эти не приводили к идейному размежеванию. Но такова была обстановка идейной борьбы в России той эпохи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Утевский, Л. С., Жизнь Гончарова. Изд. «Федерация», стр. 210.
2 Ленин, Письма Толстого и к Толстому. ГИЗ, 1928, стр. 303.
3 Леонтьев, К., О романах графа Л. Н. Толстого. М., 1911, стр. 113.
4 Цитирую по книге К. Арсеньева «М. Е. Салтыков-Щедрин». СПБ., 1906, стр. 232.
5 Ленин, Еще один поход на демократию. 1-е изд. соч., т. XII, ч. I, стр. 394.
6 «Русская Мысль» 1913, № 5, стр. 143.
7 «Письма». ГИЗ, 1926, стр. 284.
8 «Заветы» 1914, № 4, стр. 16.
9 Иванов-Разумник, М. Е. Салтыков-Щедрин. Изд. «Федерация», 1930, стр. 148.
10 Сочинения Щедрина. ГИЗ, 1927, т. IV, стр. 649.
11 Ленин, От какого наследства мы отказываемся. 1-е изд. соч., т. II, стр. 328.
12 Там же, стр. 330.
13 Там же, стр. 338—339.
14 Там же, стр. 331.
15 Там же, стр. 338.
16 «Вестник Европы» 1884, № 2, стр. 711, 730.
17 Шелгунов, Н. В., Воспоминания. ГИЗ, 1923, стр. 280.
18 Ткачев, П. Н., Сочинения, т. IV. Изд. «Общества Политкаторжан», стр. 5.
19 «Литература партии «Народная воля». Изд. «Общества Политкаторжан». М., 1930, стр. 49.
20 Юзов, Основы народничества. СПБ., 1882, стр. 303.
21 См. например «О народничестве г. В. В.» в «Литературные воспоминания и современная смута» (т. II, гл. VI).
22 «Письма». ГИЗ, 1926, стр. 244.
23 Ленин, От какого наследства мы отказываемся. 1-е изд. соч., т. II, стр. 335.
24 Сочинения. ГИЗ, 1927, т. III, стр. 262—263.
25 К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма. Соцэкгиз, 1931, стр. 315.
26 «Дневник провинциала». Сочинения. ГИЗ, 1927, т. III, стр. 262.
27 Цитирую по «Критическая литература о произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина», вып. 2-й. М., 1905, стр. 119, 120, 124.
28 «Отечественные Записки» 1872, № 5, стр. 75.
29 Там же, № 6, стр. 315, 319.
30 Там же, № 7, стр. 162, 183.
31 Ленин, Экономическое содержание народничества. 1-е изд. соч., т. II, стр. 52.
32 «Письма». ГИЗ, 1926, стр. 245.
33 Сочинения Н. К. Михайловского. Изд. редакции «Русского Богатства», т. V, стр. 293.
34 В примечаниях Н. Яковлева к соответствующему письму Щедрина ошибочно указано, что статья Мордовцева напечатана в № 8 «Отечественных Записок» («Письма». ГИЗ, 1926, стр. 140). В связи с этим встает вопрос о том, не допущена ли Н. Яковлевым ошибка при прочтении рукописи письма № 115, так как и в этом письме дано указание о том, что статья Мордовцева помещена в № 8 журнала.
35 «Письма». ГИЗ, 1926, стр. 140—141.
36 «Отечественные Записки» 1876, № 7, стр. 105—106.

[37] «Борьба за индивидуальность». — «Отечественные Записки» 1876, № 4, стр. 173—174.
[38] Михайловский, Н. К., Что такое прогресс. Изд. «Колос», 1922, стр. 89.
[39] Цитирую по «Т. Н. Грановский и его переписка». М., 1897, т. I, стр. 136—137.
[40] Ленин, Экономическое содержание народничества. 1-е изд. соч., т. II, стр. 62.
[41] Русанов, Н. С., На родине. М., 1931, стр. 145, 251, 256.
[42] «Письма». ГИЗ, 1926, стр. 253.
[43] См. статью Б. П. Козьмина в сборнике «Русская журналистика. 60-е годы». Изд. «Academia», 1930, стр. 37 и след.
[44] «Письма». ГИЗ, 1926, стр. 180.
[45] «Отечественные Записки» 1880, № 6, стр. 205.
[46] Цитирую по Л. М. Клейнборт «Г. З. Елисеев». Изд. «Колос», 1923, стр. 37.
[47] «Отечественные Записки» 1883, № 7, стр. 100.
[48] «Литературные воспоминания и современная смута». СПБ., 1905, т. II, стр. 55.
[49] «Отечественные Записки» 1883, № 12, стр. 515 и 517.
[50] «Неделя» 1884, № 1, стр. 28.
[51] «Исторический Вестник» 1911, апрель, стр. 56.
[52] «Отечественные Записки» 1878, № 4, стр. 222.
[53] «Голос Минувшего» 1914, № 5, стр. 215.
[54] «Отечественные Записки» 1880, № 12, стр. 177.
[55] «Письма». ГИЗ, 1926, стр. 179.
[56] «Отечественные Записки» 1880, № 6, стр. 188—189.
[57] «Отечественные Записки» 1880, № 7, стр. 127—132.
[58] Соч. Достоевского. ГИЗ, 1929, т. XII, стр. 389—390.
[59] Соч. Щедрина. ГИЗ, 1927, т. IV, стр. 208.
[60] Там же, стр. 149.
[61] Там же, стр. 646.
[62] «Литература партии «Народная воля». М., 1930, стр. 29.
[63] «Отечественные Записки» 1883, № 7, стр. 106.
[64] Сочинения Щедрина. Лит.-издат. отдел Наркомпроса, П., 1918, т. V, стр. 45.
[65] Ленин, Об обмане народа лозунгами свободы и равенства. 1-е изд. соч., т. XVI, стр. 194—195.
[66] Ленин, Что делать? 1-е издание соч., т. V, стр. 228.
[67] Ленин, Экономическое содержание народничества. 1-е изд. соч., т. II, стр. 62.
[68] Ленин, Что такое «друзья народа». 1-е изд. соч., т. I, стр. 190—191.
[69] Кузьмин, Д., Народовольческая журналистика. Изд. «Общества Политкаторжан». М., 1930. Послесловие В. Фигнер, стр. 249—250.
[70] См. указанную в предыдущем примечании книгу Д. Кузьмина (Е. Колосова).
[71] Там же, стр. 264—265.
[72] Сочинения Щедрина. Лит-издат. отдел Наркомпроса, П., 1918, т. V, стр. 782.
[73] Ольминский, М., Статьи о Щедрине. ГИЗ, 1930, стр. 58.
[74] Сочинения Щедрина. ГИЗ, т. IV, стр. 340—343.
[75] Ольминский, М., Статьи о Щедрине. ГИЗ, 1930, стр. 58.

К ВОПРОСУ О МИРОВОЗЗРЕНИИ ЩЕДРИНА

Статья Л. Аксельрод-Ортодокс

Было ли общее миросозерцание у Салтыкова-Щедрина или же вся его огромная критическая работа протекала без общего методологического начала, случайно, переходя от критики одной области к отрицательной критике другой? Решение этого важного вопроса имеет большое значение. Но решить его не так легко, как это может показаться с первого взгляда. С одной стороны, кажется совершенно ясным, что такая интенсивная, глубокая, напряженная и творческая критика общественных отношений, какой является сатира Щедрина, не может проходить без общей линии. Такая глубокая критика должна исходить из определенного идеала, являющегося критерием для оценки действительности. Его мысль проникает во все, говоря его любимым характерным словом, «подробности» социальной бытовой жизни. Щедрин творчески создает свой собственный язык, которым он четко характеризует социальные группы. Этот своеобразный язык остается не индивидуальным изобретением, но становится общим языком, запечатлевая социальные характеристики с такой силой выразительности, что все определения приобретают общее значение. Помпадуры и помпадурши, Колупаевы и Разуваевы, Подхвалимовы и т. д. и т. д. становятся нарицательными названиями. И все эти характеристики отображают собою социальную сущность. Великий сатирик не смеется и не стремится смешить своих читателей. Странное утверждение Писарева, что Щедрин смеется ради смеха, лишено всякого основания.

Ему не до смеха, наоборот, каждый оборот, долженствующий с виду непосредственно вызвать смех, проникнут глубокой горечью, суровой серьезностью, требующими от читателя напряженной мысли и активного действия для борьбы с тем безобразием, которое сатирик обличает беспощадно. Следовательно очевидно, что без общего миросозерцания, без руководящего начала, без ясного убеждения, во имя чего ведется такая критика, последняя безусловно немыслима. Однако возможно и такое предположение. Не раз бывало в истории идеологии, когда отрицательная критика тех или иных общественных отношений не преследовала никакой положительной цели, не заключала в себе никакого положительного идеала, с точки зрения которого совершались данные критические отрицательные оценки существующего. Такая абсолютно отрицательная критика имеет место у скептиков и пессимистов. Скептик, пессимист, отрицатель подвергает критике все существующее с единственной целью во что бы то не стало доказать, что все существующее «гибели достойно». Принцип этого рода критики — это принцип Мефистофеля, выраженный довольно точно в словах:

Alles, was entstcht, ist wert.
Dass es zu Grunde geht
(«Все, что возникает, достойно гибели»).

Правда, в такой всеобщей отрицательной критике всегда заключаются элементы, действительно достойные полного отрицания, но эта революционная сторона пессимистического всеобщего отрицания случайна, так как она не вытекает из требований преобразования тех отношений, которые подвергаются критическому отрицанию. Другими словами, причины этой критики лежат не в рас-

смотрении и отрицательной оценке критикуемых элементов с точки зрения определенного идеала, а сводятся к общему недовольству всем существующим вообще, к так называемой мировой скорби.

Пессимист-отрицатель не питает ни малейшего интереса к вопросам и событиям текущей жизни, он относится к ним с высокомерным равнодушием, все ничтожно в этом наихудшем из миров, а потому пусть волнуются ограниченные люди, а мудрец-пессимист, познавший ничтожество всего существующего, остается в стороне, в лучшем случае является любопытным наблюдателем. Самой характерной чертой такого «глубокомысленного» отрицания является крайний эгоизм и ограниченность самого отрицателя. Исходный пункт — это собственная персона отрицателя. Его способно задеть и задевает только то событие, которое имеет непосредственное отношение к его личной собственной жизни, которое затрагивает его собственные интересы. Иначе говоря, пессимист, абсолютный отрицатель, кто бы он ни был, является по существу **обывателем**.

Другое дело критика Щедрина. Салтыков — великий художник, обладающий всей необходимой творческой силой для создания цельных, единых художественных произведений. Что это несомненно так, могут служить убедительным подтверждением «Господа Головлевы» и кроме того все социальные типы его произведений вообще, без всякого исключения. Глубоко художественная отделка заметна и чувствуется в каждой строчке произведения великого писателя. Салтыков беззаветно предан литературе. Он живет и дышет ею, он с величайшей свободой орудует над своим материалом — словом, все данные для подлинного большого художественного творчества у Салтыкова налицо. Но Салтыков не идет по пути исключительно художественного творчества. Почему? Потому что его, как и Глеба Успенского, волнуют главным образом данные определенные общественные отношения. Салтыков не только великий писатель, а он по внутреннему своему существу общественник, горячий пламенный агитатор, общественная жизнь есть его личная жизнь, всякое политическое событие находит в нем живой отклик. Салтыков кровно связан со всеми текущими событиями дня. А потому Салтыков не мог найти полного удовлетворения в писании чисто художественных произведений, а должен был стать публицистом, реагирующим на события актуальные. При огромном художественном таланте, социальном мышлении, неистощимом остроумии, богатстве и творческой силе языка его социально-политические произведения выливаются в сатирическую форму. Сатирик изобрел незабываемый язык, которым он разоблачает всю гнусность и все безобразие русской действительности старого режима. Сам Салтыков выражает в нескольких словах общий смысл своей сатиры в известном письме к Пыпину.

«Упрек в смехе ради смеха, — пишет Салтыков в этом письме, — вышел в первый раз от Писарева и имел источником личное его враждебное ко мне чувство. С тех пор всякий, кто на меня рассердится, поднимает эту шутку, и так как эта шутка дешевая, то танцовать на ней можно сколько угодно. Если бы мне было доказано, что я предаю осмеянию явления почтенные или не стоющие внимания, я наверное прекратил бы деятельность столь идиотскую. Я, благодаря моему создателю, могу каждое мое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они именно направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят. Так например, градоначальник с фаршированной головой означает не человека с фаршированной головой, но именно градоначальника, распоряжающегося судьбами многих тысяч людей. Это даже не смех, а трагическое положение. Гулящие девки, которые друг у друга отнимают бразды правления, тоже едва ли смех возбуждают, то-есть могут возбудить его лишь в гоголевском мичмане... Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в писателе горького чувства, а отнюдь не веселонравия». А затем характерны следующие строки из того же письма, относящиеся к взгляду на «Историю города». «Взгляд на мое сочинение «История города» как на опыт исторической сатиры совершенно не верен, мне нет никакого дела до истории, и я имею в виду лишь настоящее».

Мы видим в этом признании великого сатирика двояко важное утверждение. Во-первых, что деятельность без руководящего идеала есть «идиотская»; во-вторых, что

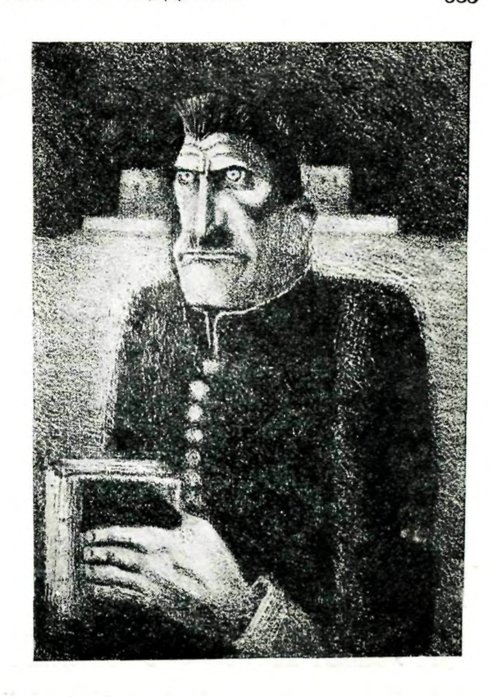


ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. САМОХВАЛОВА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ИЗДАНИЮ «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ПОДГОТОВЛЯЕМОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ACADEMIA», 1934 г.

сатирика волновало больше всего настоящее. Каждое свое произведение Салтыков мог объяснить, против чего оно направлено. Это значит, что каждое произведение как в отдельности, так в общем все творчество великого писателя следовало определенным руководящим принципам. Каковы же эти принципы и где их источник?

Прежде всего установлена с полным основанием принадлежность молодого Салтыкова к кругу петрашевцев и личное знакомство Салтыкова с Петрашевским. Также известно увлечение Салтыкова утопией Фурье. Биографы сатирика рассказывают, что случайно попавшее в руки Салтыкова сочинение Фурье, приобретенное у букиниста, оказало *сильное влияние на направление его общественной мысли.* Разумеется увлечение утопическим социализмом Фурье само по себе не было случайностью.

Причина такого увлечения лежала не в том, что у букиниста нашлась интересная книга. Салтыков был подготовлен к восприятию социализма той эпохи. О сильном влиянии утопического социализма мы читаем в IV главе собственных воспоминаний Салтыкова «За рубежом»: «С представлением о Франции и Париже,—заявляет Салтыков,— неразрывно связывается воспоминание о юношестве, т. е. о сороковых годах. Да и не только для меня лично,—пишет Салтыков,—но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто легендарное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание». «Но,—читаем мы дальше,—разумеется не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занд. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век находится не позади, а впереди нас... Словом сказать,—все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда—сюда». Тут же рассказывает Салтыков о сильном влиянии статьей Белинского на развитие его взглядов.

Салтыков примыкает таким образом к самому передовому течению общественной мысли. Полное выражение этого общего направления мы видим в его первых беллетристических повестях: в «Противоречиях» и «Запутанном деле». Большая повесть «Противоречия», являя собой слабое произведение с точки зрения художественной оценки, имеет весьма большое значение для характеристики и уяснения общественных принципов Салтыкова. Белинский дал весьма суровую оценку этой повести, назвав ее «иди-

отской глупостью». Такая суровая оценка гениального критика обусловливалась, во-первых, собственно художественным критерием. Повесть «Противоречия» отличается растянутостью, обычным стремлением молодого автора сказать все, что ему известно и что ему кажется известным по данной теме. Страдает по этой же причине и стиль и является неизбежное при излишней растянутости повторение определенных оборотов, причиняющих местами некоторую скуку. Во-вторых, Белинскому могла показаться глупостью материальная практичность героя повести Нагибина. В действительности же повесть «Противоречия» была чрезвычайно интересна и даже смела и оригинальна для того времени.

Чрезвычайно характерным является уже само небеллетристическое заглавие «Противоречия», которое автором вполне оправдывается. По своему внутреннему основному существу повесть трактует об общественных противоречиях—между богатством и бедностью, между трудом и праздным довольством, между обществом и личностью. Эти общественные противоречия воплощаются в психике, идейном содержании и мироощущении главного героя повести Нагибина и выражаются в его отношении к любимой девушке Тане. Нагибин — из мелкопоместных, бедных дворян, окончил университет шесть лет назад. Он в полном смысле этого слова интеллигент с развитым умом, с большими культурными запросами, интеллигент, зараженный идеологическим течением, господствующим в радикальной среде того времени. Будучи на «кондиции» у богатого помещика, он полюбил дочь последнего, пользуясь взаимностью. Героиня Таня готова на все, но Нагибин мучается в неразрешимых противоречиях и в конце концов допускает брак любимой им девушки с нелюбимым и пустым человеком. Пострадав мучительно в несчастном замужестве, Таня умирает и в предсмертной исповеди признается Нагибину, что все время жила только любовью к нему. Вот краткая фабула повести «Противоречия». Заключающийся в ней конфликт прежде всего психологический: сильная, страстная, с цельной натурой женщина и слабый, рефлектирующий, нерешительный мужчина — конфликт, хорошо знакомый нам по произведениям Тургенева (тут же конечно не следует забывать Онегина, Печерина и Бельтова). Но Салтыков не останавливается на психологии. Рефлексия, мучившая Нагибина, заставившая его отказаться от любимой женщины, непосредственно подсказана социальными противоречиями. Нагибин материально не обеспечен, а необеспеченное существование разрушает любовь, как бы сильна она ни была. «Любовь,— думает Нагибин,— по преимуществу чувство эстетическое», а потому она требует свободы, света и следовательно прежде всего материальной обеспеченности. Эти соображения Нагибина не имеют ничего общего с мещанскими требованями семейной счастливой жизни; нет, «возможность любви не болезненной и односторонней, а такой, в которой организм человека участвовал бы всеми сторонами своими, есть уже верный признак, что человек нашел наконец окончательную высшую общественную норму, в которой все потребности его удовлетворены, в которой всякое стремление его не остается только отвлеченным, а есть действительная плоть и кровь» (стр. 28). Собственная рефлексия и личный конфликт Нагибина получают таким образом расширительное общее значение; в обществе, основанном на экономических противоречиях, истинное человеческое благо неосуществимо. Этот общий вывод — явно вывод социалистический, продиктованный учением утопического социализма и, в частности, произведениями Фурье. Можно следовательно заключить, что Нагибин является полным и последовательным приверженцем утопического социализма. Но это в действительности не совсем так. Подвергая резкой критике существующий порядок и социальное неравенство, признавая величие и благо социалистического общественного устройства, Нагибин не может стать целиком и полностью на точку зрения утопического социализма.

Реальная действительность служит для него «отправным пунктом», от которого, «идя шаг за шагом по горячим следам развития человечества», он пришел «к признанию другой действительности—действительности не только возможной, но непременно имеющей быть» (стр. 64). «И когда я,—говорит Нагибин (там же),—сопоставляю эти две действительности, столь между собой несходные, хотя и та и другая носят в себе

те же семена жизни, тогда я вполне несчастлив, тогда мне делается несносно и тяжело жить и невольно приходят в голову самые черные мысли». Под второй действительностью Нагибин понимает социалистический идеал. Но, как уже сказано, настоящего, беззаветного увлечения этой второй действительностью, т. е. социализмом, у Нагибина все же нет. В этом отношении решающее значение имеют и следующие весьма характерные мысли Нагибина: «Не сопоставляй,—говорит Нагибин,—я этих *двух несовместимых друг с другом противоположностей, существуй для меня одно какое-нибудь из двух представлений действительности*, я был бы вполне счастлив: был бы или нелепым утопистом вроде новейших социалистов или прижимистым консерватором,—во всяком случае я был бы доволен собой. Но я именно по середке стою между тем и другим пониманием жизни, я и не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь, и не консерватор quand même [во что бы то ни стало], потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед. Это, если хотите, самый верный взгляд на вещи, но так как у меня отняли всякую возможность действовать в этом смысле, так как мне известно, что этот взгляд должен навсегда—по крайней мере для меня—остаться только взглядом и никогда не может быть приведен в действие, принять плоть и кровь, то и выходит, что я, отказавшись от утопии и отвернувшись от status quo, повис на воздухе между тем и другим и чувствую всю верность моих понятий о действительности, а между тем шага не могу сделать в ней, чтобы не споткнуться и не упасть» (стр. 64). Высказанные здесь взгляды Нагибина суть без сомнения взгляды автора. Утопия увлекательна как идеал будущего, *но не вызывает истинного серьезного к себе отношения, потому что* она не выведена «из исторического развития человечества». Настоящее имеет за собой историю, оно является ее результатом, в этом отношении оно вполне оправдано, но зато оставаться исключительно при нем—значит упрочивать застой и задерживать всякое движение вперед. Что же однако нужно для выхода из этого трагического конфликта? Требуется найти мост от настоящего к будущему, необходимо дать социалистическому идеалу историческое обоснование, необходимо найти в самой действительности силы и элементы, которые неизбежно ведут к осуществлению социализма.

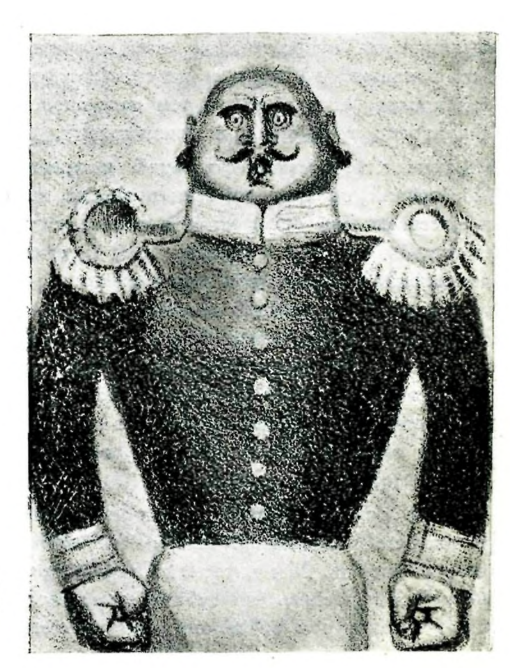


ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. САМОХВАЛОВА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ИЗДАНИЮ «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ПОДГОТОВЛЯЕМОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ „ACADEMIA“, 1934 г.

Иначе говоря, Салтыков испытывает потребность в историческом научном обосновании «другой действительности», т. е. социализма.

Это требование, выраженное главным героем повести «Противоречия», развертывается в теоретическом и систематическом виде в трех статьях, написанных Салтыковым в 60-х годах, найденных в архиве и не опубликованных до сих пор. В этих статьях Салтыков выступает не как художник, а как мыслитель-теоретик. Изложение мысли ведется строго, сухо, в полном смысле теоретически, с формально логической последовательностью. Сравнительно даже мало примеров, сравнительно мало щедринского остроумия. Словом, в стиле этих статей почти что нет ничего специфически «щедринского». Характерно также и то, что совсем отсутствуют цитаты и ссылки на авторитеты, что объясняется в общем тем, что мысль работает совершенно самостоятельно. Конечно Салтыков подвергался господствующим влияниям общественной и философской мысли. Но самостоятельность Салтыкова выражается в том, что автор этих статей ставит оригинальные и вполне законные для того времени проблемы. Проблемы, кровно его задевающие, суть социология и философия истории. Отправной пункт в постановке и развитии проблемы—это, как выразился Нагибин, действительность. Интересует и волнует автора в первую очередь разрешение практических задач, поставленных широко, а потому требующих теоретического обоснования.

Статья «Современные призраки» имеет своим главным предметом общую историческую идеологию: как отжившую, так и идеалы будущего.

Выше было сказано, что мысль автора развивается с формально логической стороны вполне последовательно, что обнаруживает в великом писателе-художнике строгого мыслителя. Но эта последовательность формальная. По содержанию вся статья в целом представляет собой запутанную сеть взглядов, в которой перекрещиваются различные точки зрения. Распутывать этот узел и подвергать критическому анализу всю статью не имеет в настоящее время никакого смысла. Что для нас важно—это уяснение общего направления философской и общественной мысли, искания теоретических основ и разрешения социальных и философско-исторических задач. Одной из проблем «Современных призраков» является проблема исторической смены идеалов. Салтыков стоит на точке зрения исторического развития. Все течет, все изменяется, а потому встает вопрос о ценности идеала вообще. Автор становится на историческую точку зрения. Всякая идеология есть выражение своей эпохи и своего времени, а потому всякий призрак имеет свою долю истины или, лучше сказать, всякий призрак есть истина, ограниченная в пространстве и во времени. Всякий призрак есть протест против другого призрака, дряхлого и не соответствующего потребностям жизни. Сверх того всякий призрак есть вместе с тем переходное звено для призрака прошлого и известного к призраку грядущему и неизвестному.

Смена исторических формаций и идеалов являет собой прогрессивное движение. Ибо всякий призрак все-таки приносит за собой большую против прежнего простоту и естественность отношений, а вместе с тем и некоторую частицу свободы. Это шаг не малый. История совершает свое движение в направлении свободы и все большего достижения истины, при чем история представляет собой закономерный процесс, обусловленный внутренней необходимостью. «Над человечеством, — читаем мы в той же статье,— тяготеет фатализм, который однако ж совсем не есть фатализм в том смысле, как мы это слово понимаем, а просто подчинение тем законам, которые лежат в основании человеческой природы». Исторические законы, признаваемые с полной решительностью сатириком, сводятся в конце концов к законам человеческой природы. В этом важном пункте Салтыков следует общей социально-биологической мысли всех просветителей.

Но, с другой стороны, и тут мы читаем утверждение, противоречащее по существу только что приведенной мысли, что основой исторического процесса является человеческая природа. Мы читаем: «Следовательно, каковы бы ни были теории, они не могут ни повредить, ни пользу оказать, ни прибавить, ни убавить в этом естественном независимом от самого человека ходе вещей»; оказывается, что есть незави-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. САМОХВАЛОВА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ИЗДАНИЮ «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ПОДГОТОВЛЯЕМОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ACADEMIA», 1934 г.



симый от человечества ход вещей, следовательно независимый и от чловеческой природы. Фактически общая идея объективной исторической закономерности проявляется в этой статье в различных оборотах мысли. А с идеей исторической необходимости связывается требование объективного отношения к общественной, традиционной мысли. Говоря об относительности нравственных понятий и бросая упрек моралистам, проповедывающим абсолютизм морали, наш автор заключает: «Да, надо поправить свои обстоятельства, а поправить их нельзя иначе, как посредством старого анализа тех понятий, в силу которых мы двигаемся и живем. Бояться здесь нечего; если понятия эти устойчивы сами по себе, анализ не убьет их, а только очистит и даст им еще большую крепость и силу; если же некоторые из них—болезненные плоды болезненного дерева, то анализ добьет их окончательно и избавит нас от смешной роли Дон-Кихотов, принимающих мельницы за рыцарей». Требование объективного научного отношения к общественным понятиям и идеям здесь налицо. Замечательно в этом смысле и другое место статьи. Касаясь «Отцов и детей» Тургенева, Салтыков ставит Тургеневу в упрек его субъективные оценки. Верно, прав Тургенев, что русское общество делится на два антагонистические лагеря отцов и детей, но не прав, высказывая свои симпатии отцам. «Здесь место не для симпатии, а для простого наблюдения». «Нужно брать факт, как он есть», а если нехватает достаточной степени разумения для настоящего постижения законности данных общественных конфликтов, то следует изображать, не рассуждая. Справедливо также осуждает Салтыков Тургенева за то, что он сделал Базарова жертвой дикой и слепой случайности. «Такого рода люди,—справедливо говорит наш автор,—погибают совсем другим образом». Каким именно образом—вполне понятно. Они при определенных обстоятельствах умирают в борьбе за идею. Совершенно неправильное и неясное разрешение знаменитого романа Тургенева также следовательно обусловлено субъективным отношением его ко всей ситуации действующих в нем лиц. Мы видим таким образом, что и в области художественного творчества сатирик требует объективизма, справедливо полагая, что непонимание художником сущности изображаемой действительности делает невозможными целостность и полноту художественной правды.

Пойдем дальше. Наиболее интересным в статье «Современные призраки» является критика социалистических утопий. Вполне разделяя идею социализма, Салтыков под-

вергает решительной критике метод и средства, какими пользуются утопические социалисты для пропаганды социалистических идей. Попытки конкретно изобразить будущее социалистического общества в чувственно-конкретных образах, как это имело место в социалистических утопиях, приводят, по убеждению Салтыкова, к отрицательным результатам. Полная противоположность социалистического строя в общественной жизни, основанной на социальном неравенстве, должна вызвать не положительное отношение к социалистическому идеалу, но отрицательное. В таком отрицательном отношении есть, по мнению сатирика, доля истины. «И в этом неблагоприятном результате будет своя доля справедливости, ибо втискивать человечество в какие-либо новые формы жизни, к которым не привела его сама жизнь, столь же неосновательно, как насильно удерживать его в старых формах, из которых выводит его история. Поэтому мне кажется, что так называемые утописты (в особенности Фурье и его последователи), доказавшие необходимость новых общественных оснований, поступили ошибочно, выводя этот вопрос из сферы отвлеченной и регламентируя все подробности его осуществления». Ясно, что Салтыков социалист, социалистическая форма общества есть «необходимость», которая доказана утопистами, но ошибки утопистов в том, что они исходят из «отвлеченного начала». Осуществление социалистического устройства общества требует определенной почвы. Критика утопического социализма совершенно правильная, и Салтыков в этой своей критике самостоятельно идет по *историческому пути*. Как великий художник и глубокий знаток русской общественной действительности своего времени, как публицист и сатирик, вникающий во все подробности реальной конкретной жизни, он не может признать реальности и действенной силы социалистических утопий, несмотря на полное сочувствие социалистическому идеалу, как таковому.

В этой же статье Салтыков выступает как крепкий, решительный революционер, горячо защищая революционный путь действия. Имея дело с царской цензурой, он выражает свою революционную точку зрения в несколько замаскированной форме. Необходимо, как заявляет Салтыков, категорически положить конец терпению: «Не терпеть приличествует, но ликвидировать». И также в этом случае Салтыков становится на историческую точку зрения. Настаивая решительно на «ликвидации», он заявляет: «История сама берет на себя труд отвечать на эти вопросы [вопросы, связанные с нетерпением]. Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни гибнет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве, проходит по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое и при том более удобное ложе». Так глубоко понимать силу и сущность революции и дать ей такую оценку может только настоящий революционер, революционер без всяких оговорок и мещанских соображений. Правда, после только что приведенных строк следуют оговорки: все сказанное должно, мол, служить предупреждением и стимулом к добровольной «ликвидации» всего существующего порядка вещей; «добровольное и полюбовное свержение старых идолов с их пьедесталов—дело не только не угрожающее обществу, но напротив того, упрочивающее его будущее». Такая оговорка нисколько не уничтожает вышеприведенной мысли о сущности и необходимости революционного пути, ибо, во-первых, и в данном обороте сказано, что радикальный переворот все равно необходим; во-вторых, Салтыков, несмотря на свою связь с высшей бюрократией и быть может и благодаря этой связи, в революцию сверху или, как он выражается, в полюбовную «ликвидацию» не верил. В-третьих, приняты во внимание условия царской цензуры. А что Салтыков всегда имел в виду цензуру—в этом разумеется сомневаться не приходится. На первой странице «Современных призраков» мы читаем: «Понятно следовательно, что, приступая к такому деликатному сюжету, мы обязаны действовать с осторожностью и говорить больше обиняками. Добросовестный читатель оценит всю затруднительность такого положения». При анализе социально-политических взглядов

великого писателя всегда надо иметь в виду это именно «затруднительное положение».

Перейдем теперь к другим, уже упомянутым двум статьям, носящим заглавие «Наша общественная жизнь». И в этих статьях мы видим ту же революционную социалистическую мысль в ее общей форме. И в них Салтыков выступает как убежденный социалист и революционер, и в них подвергаются критике утопические методы и способы действия, и в них подчеркивается требование опираться на историческую, актуальную, конкретную действительность в деле проведения и осуществления социалистических задач.

И так же, как и в «Современных призраках», взгляды с точки зрения метода и целостности общего мировоззрения спутаны и часто противоречивы.

Но в этих статьях сильнее и отчетливее выступает вопрос об отношении социалистической теории к практике, идеала к действительности.

Значение практики выступает с большой отчетливостью. «Как ни почтенна истина сама по себе, действительная мера ее познается только тогда, когда она служит жизни» (подчеркнуто мною.— *Л. А.*).

С большим напряжением и со свойственной великому писателю серьезностью мысли он ищет связь между теорией и практикой, между революционно-социалистической мыслью и ее возможным осуществлением. Оторванность мысли от практического действия приводит к сектантству и к опустошению самого мышления. Нападая на замкнутость и сектантство, Салтыков в то же время несколько раз подчеркивает необходимость строгой и дисциплинированной организации практических деятелей. Говоря о сектантстве в отличие от дисциплины и организации, Салтыков пишет: «совсем иной характер представляет сектаторство, так сказать, высшей школы. Здесь (при сектантстве) организаторские способности равняются нулю и взамен того является безграничная способность расплываться и растворять все двери настежь. Здесь даже нет сектаторства в смысле организации, а есть одиночное сектаторство мысли, то горькое безнадежное сектаторство, которое делает человека чужим среди живого общества». Мысль, высказанная здесь,— глубокая и диалектическая. Сектантство, кажущееся с виду определенным и оформленным, оказывается на деле расплывчатым и бесформенным вследствие отрыва от действительной жизни, так как истинное оформление как в области политического действия, так и художественной может быть

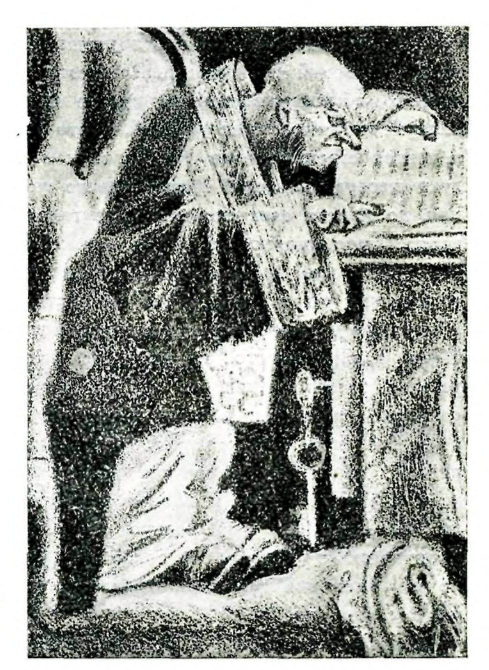


ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. САМОХВАЛОВА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ИЗДАНИЮ «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ПОДГОТОВЛЯЕМОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ACADEMIA», 1934 г.

дано только содержанием действительной жизни. Салтыков также хорошо понимает необходимость для практического осуществления социально-революционных идеалов действия масс. Но настоящей массы, способной на революционное действие, он фактически не видит. Он ее ищет, и в этих исканиях немало путаницы.

В конце концов практически действующей массой оказываются какие-то середняки, выполняющие директивы мыслящих инициаторов. Тут сказывается повидимому теория о роли критически мыслящей личности и ее влиянии на массу. «Если, с одной стороны,—читаем мы,—невозможно отрицать, что деятельность людей мысли необходима и плодотворна, что люди эти освещают человечеству путь и открывают для него новые законы жизни, то не следует отрицать и того, что огромное большинство их подмастерьев и учеников должно наконец убедиться, что оно совсем не способно к подобной роли, что присвоением ее себе оно только производит путаницу и вредит самому делу, которому предполагает служить, и что какой-нибудь Кроличков, рассматриваемый как философ и новатор, стоит 15 коп. серебром, тогда как, если смотреть на него как на расторопного малого, которого можно посылать за квасом, то ему быть может и цены не сыщешь».

Деление на критически мыслящую личность и практически действующую бессознательную массу сильно напоминает теорию Бруно Бауэра. Что Бруно Бауэр был хорошо известен Салтыкову, видно из повести «Запутанное дело». В этой повести упоминаются два раза Фейербах и Бруно Бауэр и упоминаются как известные авторитетные имена, популярные среди демократической интеллигенции.

Салтыков понимает, что деление на мыслящих мастеров и бессознательных подмастерьев есть своего рода аристократизм и потому он спешит, предвидя такой упрек, оговориться, что подобное разграничение подсказывается необходимостью дела. Как бы то ни было, после всех мучительных исканий Салтыков приходит к чисто мещанскому, мелкобуржуазному решению практической задачи. Причина такого результата лежит в том, что в 60-х годах русский пролетариат находился на такой стадии развития, когда его историческая роль была скрыта и от сильных умов. Да и на европейском Западе историческую роль пролетариата видели и поняли лишь Маркс, Энгельс и Лассаль. Утопические социалисты разных оттенков, как известно, исторического значения пролетариата не понимали и свои программы строили на идеалистических основаниях. Тем естественнее было русским социалистам при тогдашней отсталости русского пролетариата увлекаться утопическим социализмом. Но Салтыков, как уже сказано,—глубокий и конкретный мыслитель. Он настойчиво требует конкретности. Твердить об общем отвлеченном идеале без конкретной действительной программы, вытекающей из конкретных условий, — это все равно как если бы адвокат, защищая своего клиента, ограничивался бы развитием той общей мысли, что преступление есть продукт несправедливого общественного устройства. Общая мысль несомненно правильная, но клиент остался бы при ее голом повторении без защиты. Как глубокий, гениальный, проницательный ум и как художник-реалист Салтыков понимает, что истинный идеал есть продукт исторического развития; для него совершенно ясна законность революции; он понимает, что осуществить социалистическую задачу может организованная масса; но, не видя действительного осуществителя — пролетариата, Салтыков останавливается на мелкобуржуазной теории «мыслящих личностей» и бессознательной толпы. Однако он неудовлетворен полученным результатом, и благодаря этому развитие его мысли в этом направлении сопровождается постоянными оговорками. В конечном итоге общественные убеждения Салтыкова напоминают собою конфликт Нагибина: такое же полное отрицание status quo, полное признание социалистического идеала, как такового, и полное несогласие с идеалистическими методами утопистов. Если бы Салтыков был только социальным мыслителем или вождем революционного практического течения, то такой конфликт мог привести к апатии и бездеятельности, но он — великий писатель, художник и гениальный, редкий в истории мировой литературы сатирик.

Глубоко убежденный в полной негодности и неизбежной смерти существующего по-

рядка и вполне уверенный в торжестве социализма, сатирик мог осуществить и осуществлял свою историческую задачу, беспощадно бичуя старый порядок.

Вникая во все обороты мысли печатаемых статей, следя за общей их тенденцией и принимая во внимание требование крепкой организации, действия масс, историзма, полной связи социалистической теории и социалистической практики, можно, я полагаю, притти к безошибочному заключению, что великий сатирик ищет научных основ социализма.

В заключение еще один вопрос, вопрос о типе общего направления философского миросозерцания Салтыкова.

Из данных статей ясно видно прежде всего полное отрицательное и даже насмешливое отношение к идеализму. Идеалист сравнивается с балетмейстером, который живет и движется в фантастическом царстве. Идеализм следовательно отвергается всецело. Судя по многим высказываниям и прежде всего по тому, что историческая закономерность сводится к человеческой природе, Салтыков был последователем Фейербаха. Он примыкал к тому философскому направлению, которое господствовало в радикальной интеллигенции 60-х годов. Далее, заметно несомненное влияние Гегеля. Во-первых, оно сказывается в постоянном подчеркивании исторических связей и в той философско-исторической мысли, что всякая система мысли есть выражение данной эпохи, составляя в то же время часть общей и полной истины, в направлении которой история совершает свое движение. В этом пункте четко сказывается влияние диалектики Гегеля.

Заметно также влияние системы Гегеля в рецензии, напечатанной Салтыковым на «Логику» Зубовского. В этой рецензии («Отеч. Зап.» 1847, т. LV, VI отд., стр. 21—22) явственно противопоставляется идеализму материализм. Во-вторых, Салтыков указывает, что силлогизм формальной логики в качестве метода добывания истины приводит к фантастическим выводам, так как вывод заключается в самой посылке, а посылка может быть совершенно неправдоподобной. В этой рецензии Иванов-Разумник («Салтыков», 1930, т. I, стр. 69—70) усматривает несомненное влияние «Системы логики» Дж.-Ст. Милля. Это соображение кажется весьма мало убедительным. Милль, как и вообще позивитизм, имел несомненное влияние на передовые круги русской общественности, но значительно позже. В 40-х и 50-х годах господствующим влиянием на радикальные круги интеллигенции было влияние Гегеля и левых гегельянцев, в особенности Фейербаха. Критика формальной логики в настоящей рецензии свидетельствует о несомненном воздействии на Салтыкова гегелевской критики формальной логики. Даже начало рецензии, в котором Салтыков заявляет, что «существуют еще люди с наивным убеждением, что логика может научить человека мыслить», совпадает с известным остроумным заявлением Гегеля, что изучение логики так же может помочь мышлению, как познание законов физиологии — пищеварению. Далее, влияние гегелевой диалектики и требование конкретной действительности и историзма проявляются во всех трех печатаемых статьях. Признание Салтыкова, что в молодости на него влиял Белинский, есть лишнее доказательство воздействия гегелевой диалектики. Повесть «Противоречия», помещенная в той же книжке «Отечественных Записок», что и рецензия, носит заглавие, которое по существующему мнению продиктовано влиянием Прудона. Но, как известно, Прудон сам следовал за Гегелем. Таким образом влияние Гегеля на Салтыкова ясно со всех сторон.

Гениальный социальный мыслитель непреминул, критикуя силлогизм в своей рецензии, ядовито коснуться крепостного права. «Бедные жители Европы строют иногда силлогизм даже почище бедных жителей Полинезии. Нам случилось однажды слышать, как один господин весьма серьезно уверял другого, весьма почтенной наружности, но посмирней, что тот должен ему повиноваться, делая следующий силлогизм: я человек, ты человек; следовательно ты раб мой. И смирный господин поверил (такова ошеломляющая сила силлогизма) и отдал тому господину все, что у него было: и жену, и детей, и вдобавок остался даже очень доволен собою...»

Весьма интересно, что силлогизм ставится Салтыковым в связь с крепостным правом и может служить орудием для оправдания эксплоатации человека человеком.

Рецензия Салтыкова на книгу Зубовского свидетельствует, во-первых, об остром интересе молодого автора к вопросам философии. Во-вторых, в высшей степени характерно и показательно для Салтыкова то, что наряду с необычной широтой и глубиной его умственного кругозора он в этой ранней своей работе обнаруживает социологическую направленность мысли. По поводу рядового учебника логики он находит необходимым в блестящей форме коснуться величайшей социальной язвы России того времени — крепостного права. Наконец эта краткая рецензия подчеркивает тот вывод, что Салтыков ставил философию в связь с социальной практикой, понимая истинное значение философской мысли для общественной жизни.

Данная статья, посвященная общему вопросу изучения мировоззрения великого писателя-демократа, написана в связи с находкой в архиве трех его новых доселе неизвестных статей. Статьи эти — две хроники из цикла «Наша общественная жизнь» и «Современные призраки», предназначавшиеся очевидно для помещения в «Современнике» 1864/65 г., очень существенны для изучения мировоззрения Щедрина, в частности для изучения его философских взглядов. Все три статьи впервые публикуются в настоящей книге.

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОМ МЕТОДЕ ЩЕДРИНА

Статья К. Юкова

Щедрин противоречив. Бьет по своим. Скептик. Величайшая сила отрицания. Сильна «жилка публицистики». У Щедрина душевная раздвоенность. Щедрин утопист. Щедрин идеалист. Материалист. Марксист...

Произведения Щедрина направлены против «подневольных и обездоленных союзов, дающих простор злу и налагающих цепи на всякий порыв к добру» (Михайловский).

Имеет только историческое значение.

Щедрин излагает историю быта и нравов дореформенного крепостничества. Произведения Щедрина злободневны. Но злободневность отживает свой день, и произведения теряют свою силу.

Самые противоречивые отзывы о характере творчества Щедрина, месте его творчества в общественной жизни, значимости этого творчества можно приводить до бесконечности. Характеристики расходятся одна с другой, а некоторые из них, будучи мало доказательными, часто запутывают, затемняют истинный характер творчества Щедрина, его идейную направленность и целеустремленность.

Но Щедрина читают. Щедрин волнует, смешит, пробуждает отвращение к человеческой мерзости. Щедрина цитировал Ленин, на его творчество ссылаются и сейчас. Щедрин зовет к борьбе, воодушевляет. Уже это одно должно заставить нас разобраться в сущности его творчества и тех идей, которые он отстаивал. Нужно отдать справедливость М. С. Ольминскому: он занимает первое место по знанию писателя, по искренности разъяснений значения творчества Щедрина. Однако и М. С. Ольминский недостаточно учитывал значение Щедрина как художника, когда заявлял: «пора, давно пора уже приняться за серьезное изучение Щедрина и Некрасова не как сатирика или поэта, а как политических деятелей» («Статьи о Щедрине», стр. 157).

Понять творчество писателя без четкого уяснения того места, какое занимал писатель как политический деятель — нельзя. Однако нужно понять, что для историка литературы, для критика в интересах литературного движения изучение Щедрина как политического деятеля не может явиться той единственной задачей, к формулированию каковой только и приходят многие литературоведы. Выявить мировоззрение писателя, определить его историческое место с тем, чтобы понять сущность, значение и политическую силу его художественного творчества, — немаловажная задача. Особенно тогда, когда на основе такого изучения можно сделать выводы, полезные для творческой практики советской литературы. Этим отнюдь не снимается проблема определения места писателя в общем историческом процессе развития политической жизни и борьбы классов. Этим никак не умаляется значение писателя как политического борца, а лишь более углубленно раскрывается полнота его политической деятельности, так как в основном у писателя политическая деятельность проявляется в литературе, в художественном творчестве.

Разработка проблем творчества Щедрина стоит остро перед нами еще и потому, что развернутого изучения его творческой деятельности по существу еще не было. Имеются биографические очерки, монографии, конспекты к отдельным произведениям, статьи о

значении Щедрина как писателя, как политического борца. Вопросы творческого метода Щедрина в большинстве обходятся или даются в искаженном представлении. Однако нужно оговориться, что под творческим методом мы понимаем не сумму приемов, при помощи которых писатель «вычитывает» определенные стороны действительности, организуя их затем в художественном произведении (точка зрения формалистов всех толков и оттенков). Классовое мировоззрение писателя, его партийность, его философско-эстетические взгляды на жизнь, на искусство по существу и предопределяют формирование творческого метода, с каким писатель выступает перед нами уже с законченным продуктом своего творчества — со своими произведениями. Поэтому неверна точка зрения тех литературоведов, которые считают, что формирование философских взглядов Щедрина заканчивается там, где писатель последний раз упомянул о философской или экономической книге, им прочитанной. Неверно также видеть развитие философско-эстетических взглядов лишь там, где писатель прямо высказывается по этим вопросам в своих статьях или рецензиях. Такие статьи или рецензии, если они были у писателя, еще лучше помогают нам раскрыть его философско-эстетические взгляды. Но эти взгляды бывают заложены не только в прямых высказываниях. Творческий метод писателя виден на его творчестве, лишь только мы правильно поймем и раскроем мировоззрение писателя, его основные философско-эстетические взгляды, какие в конечном счете и представляют развитие творческого метода.

1. ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

I. Путь развития философско-эстетических взглядов

Мировоззрение передовых людей 60-х годов складывалось в условиях разложения крепостнического хозяйства, быта, всех укладов крепостной жизни. Деспотизм помещика в крепостном хозяйстве распространялся и на семью, определяя собою и методы, и характер воспитания детей, и весь семейно-бытовой уклад жизни. «Грубый материализм» пропитывал сознание молодого поколения, выступившего затем в качестве деятелей 60-х годов. Этот «материализм» выступал или в своей откровенной, необузданной форме, алчности, плотоядия и чревоугодничества или замаскированный, упрятанный под шелк, маскируемый французской речью и эстетствующей идеологией паразитизма. Созерцательство «чистых красот» являлось по существу знаком равенста между красотою и богатством, между красотой и чревоугодием.

Щедрин провел детство в условиях первого рода «грубого материализма», испытав на себе весь гнет деспотизма многолюдной помещичьей семьи.

Школа, где учился и рос Пушкин, представлялась в умах дворянской молодежи как обитель, где расцветают только человеческие способности и юношеская инициатива. Школа, где учился Пушкин, овеяна романтикой поэзии, сочинительства стихов и чуткого отношения воспитателей к творческой жизни учащегося. Так по крайней мере обрисовывала эту школу официальная критика в своих популярных брошюрках того времени, описывая жизнь и развитие «национального поэта». Однако разложение крепостного строя сказалось и на такой школе, как лицей. Поэтическая романтика нового поколения дворян выколачивалась розгой и безжалостно выкорчевывалась в карцере. Стихи считались глупой затеей. История Пушкина имела свою оборотную сторону, и лицейская педагогика эту сторону хорошо усвоила. Состояние управления страны, солдафонский режим требовали подготовки не вольнодумных поэтов, а «деловых» и суровых, для сурового строя, чиновников. В результате школьный режим разрушал романтические идиллии и заставлял или примириться и стать покорным рабом — будущим усмирителем рабов, или примириться и ждать, пока можно будет располагать собою самостоятельно. В обоих случаях удел был один — необходимость примириться.

Юный Щедрин вынужден быль «пока» примириться. Но это уже заставило встать на путь критического отношения к окружающей действительности (действительность была узкая, замкнутая четырьмя стенами лицея, и приходилось углубляться или в книгу по-

эта, или в свое юношеское нутро). Это прежде всего выработало вражду к какому бы то ни было покою. Свое стихотворение «Музыка» Щедрин так и заканчивает:

«Моя любовь живет страданьем
И страшен ей покой».

Белинский, а затем произведения Грановского помогли оттолкнуться в противоположную крайность «грубому материализму» — в сторону «романтического идеализма».

С выходом из лицея эти настроения получают почву для того, чтобы развиваться в противоположную сторону тому бюрократическому духу, каким была пропитана школа, а затем служба. Щедрин связывается с кружком Петрашевского и знакомится с учением утопистов. Этот период жизни Щедрина литературные критики пытаются всегда проскочить, сказать о нем мимоходом: был, дескать, «грех молодости». Однако за эти «юношеские увлечения» Щедрин поплатился ссылкой в Вятку, это «увлечение» наложило печать на его творчество, к этим «увлечениям» возвращался неоднократно и сам писатель, не только порицая себя, но и пытаясь извлечь много полезного из своего прошлого.

Наконец нужно учесть, что именно это увлечение закрепило ту способность критического отношения к действительности, которая затем развилась в писателе до величайших размеров.

Утопизм Фурье был решающим в формировании этого сознания.

Поведение человека определяется страстями, вложенными человеку вышестоящей над ним силой. Эти страсти делятся на виды. Их три: чувственные, аффективные и распределительные. Чувственные — это те, которые имеют непосредственное отношение к нашим органам чувств. Аффективные — это те, которые влияют на образование таких понятий, как дружба и другие. И наконец распределительные, которые также делятся на три вида. Первый — страсть к соревнованию, второй — страсть к разнообразию и третий — страсть к творчеству. Свободное развитие страстей должно обеспечить гармоническое развитие жизни. Вот схема «жизненной философии» Фурье.

Эти предпосылки и легли в основу раннего творчества Щедрина. Под влиянием именно этих идей родились такие произведения, как «Противоречие» и «Запутанное дело».

В «Противоречиях» — произведении, написанном в форме переписки Нагибина с другом, дневников Тани — Щедрин и пытается показать борьбу страстей. Однако не зная еще жизни, в порыве юношеских «мечтаний», герои Щедрина явились надуманными схемами, которые ни к каким выводам притти не могли. Однако перед писателем стоял вопрос приложения на практике своих идей. Идеи Фурье писатель пытался распространить в своей творческой практике, этим как бы отвечая на третий вид распределительных страстей фурьеризма — творчество.

Но куда же итти дальше? Как приложить эту теорию страстей к дальнейшей действительности? И мы видим, что Щедрин уже тогда понимает, что идеи без объекта их применения — ничего не значат, что необходимо приложение идей на практике. Без практики — лишь сомнение и слова. Эта жажда практики просвечивает и сквозь пессимизм первого произведения «Противоречия». Рассказ заканчивается следующими словами:

«С грустью и недовольством смотрю на мое прошедшее, мое настоящее, мое будущее. Что было в моей прежней жизни? — сомненье! Что в настоящем моем? — сомненья! Нигде ничего верного, нигде светлой мысли, на которой можно бы остановить свой взор, отдохнуть душою; нигде факта, на который можно было бы опереться и с гордостью сказать: это мое дело, это я сделал! Все, что я сделал, точно так же может быть сделано и учеником на школьной скамейке: и он тоже ничего не знает, и он ни к чему приступиться не может!.. Что в том, что я много наблюдал, многому выучился, многое вычитал?.. Что в том пользы — говорю я, когда у меня руки не поднимаются, ноги не ходят? Все это знание больше ничего, как слова, слова, слова... Да и вся жизнь моя не более, как противоречия, противоречия, противоречия...» («Отечественные Записки», 1847, т. IV, стр. 106).

Прямой упрек школе. Прямое неудовлетворение жизнью, в которой нельзя приложить знаний, добытых в этой школе, в книгах.

Характерно, что в этой же книге «Отечественных Записок», но после рассказа «Противоречия» («Противоречия» открывают собою книгу) была напечатана вторая часть повести Достоевского «Хозяйка». Нужно признать, что психологизм Щедрина, при всей своей запутанности, при всем своем пессимизме, хотя бы в дидактических своих отступлениях, в своей тенденции был направлен к тому, чтобы делать общественные выводы. Тогда как в рядом напечатанной повести Достоевского весь пессимизм сведен к проблеме узко личного, к проблеме противопоставления юности и старости, личной трагедии молодой жены и деспота старика мужа. Эти общественные тенденции в раннем творчестве Щедрина для нас не имели бы значения, если бы творчество Щедрина на «Противоречиях» и остановилось бы. Но зная дальнейший путь развития писателя, обойти эти тенденции нельзя. То, что эти тенденции были сильны, то, что под влиянием отсутствия практики приложения своих идей складывалось философско-эстетическое мировоззрение писателя того времени, говорит нам этот же номер «Отечественных Записок». В отделе VI этого же номера на стр. 20—22 Щедрин дает рецензию на «Логику» — сочинение профессора Могилевской семинарии Никифора Зубовского. Высмеивая попытку Зубовского научить мыслить людей путем построения силлогизмов, Щедрин в своей рецензии пишет: «Научить человека произвести в нем нравственный переворот может только долгая жизнь, долгий, часто тяжелою ценою приобретаемый опыт, но отнюдь не логика, не эстетика и т. д.

Правильное здоровое мышление вырабатывается в человеке неимоверно долго и стоит неимоверных усилий, упорной настойчивой борьбы. Поверишь же на слово г. Зубовскому, подумаешь, что стоит только взять его книгу, выучить ее от доски до доски наизусть, и будешь умен, будешь правильно мыслить».

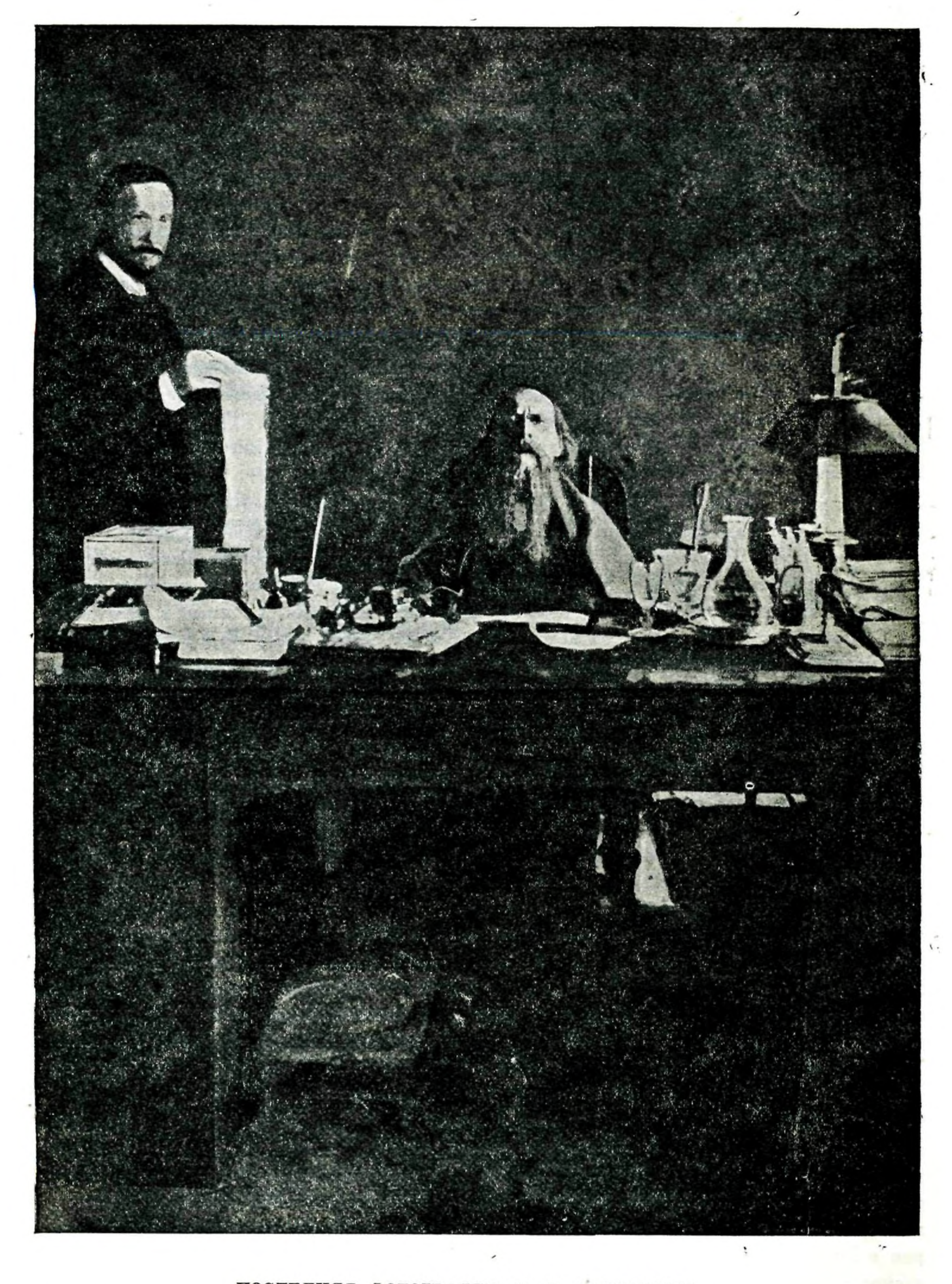
Эти выводы были сделаны не только в отношении книжки Зубовского. Эти выводы распространились и на автора рецензии. Щедрин не только пытается приблизиться к действительности и посмотреть глазами утописта на то, что его окружает, но он в качестве объекта художественного воспроизведения выбирает такую среду, которую Достоевский охарактеризовал бы не иначе, как «бедные люди».

Основной герой нового рассказа («Запутанное дело») продолжает быть воплощением всех страстей, проповедываемых философией фурьеризма. Тут и чувственные, и аффективные, и распределительные страсти. Сталкивая героя, подверженного этим страстям, с неумолимо жестокою действительностью, полною несправедливостей (одни ездят в каретах и сыты, другие не имеют работы), писатель в рамках фурьеризма приходит к выводу, что при существующем порядке вещей ни о какой жизненной гармонии не может быть и речи, что страсти человека зависят всецело от исторически сложившейся действительности — государства, среды, — а не дарованы человеку стоящей над ним высшей силой, что необходимо в корне переделать мир для того, чтобы дать свободу развития страстей и гармонии человеческой жизни.

«Все бы снести можно! — говорит герой рассказа Мичулин.— Да ведь другие!.. Ведь другие-то пьют, другие едят, другие веселятся! Отчего же другие?..».

Необходимо разумное распределение человеческих благ — вытекает свойственный утопизму наивный ответ на не менее наивный вопрос. Но Щедрин не ограничивается такой, несколько наивной постановкой вопроса. Его герой Мичулин в истерии кричит на нужного человека: «Так пусть на улице поднимут! Так вот вы каковы, а другим, небось, есть место, другие, небось, едят, другие пьют, а мне места нет!..».

Герой Мичулин в театре, слушая бурю, какая происходила в оркестре, шепчет: «Вот это так хорошо! так их! руби их! мо-шенни-ки, хри-сто-про-давцы!» Его герой в антракте «никак не ожидал, чтоб звуками могла ему слышаться толпа — да и какая еще толпа! — вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой он не видывал,— и, что всего страшнее, возможность, которую он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать. «Да, дело было бы лучше! — думал *он*, прогуливаясь в антракте по коридору. — Тогда бы, может быть, и я»...



ПОСЛЕДНЯЯ ФОТОГРАФИЯ М. Е. САЛТЫКОВА

На обороте фотографии имеется следующая надпись, сделанная рукою Н. А. Котляревского: «Фотографирование происходило в сумрачный февральский день (1889 г.) Кабинет Салтыкова был оклеен темными обоями. Пантелеев носовым платком отсвечивает теневую сторону лица Салтыкова»

Институт Русской Литературы, Ленинград

Связывая свои утопические мечты с действительностью, Щедрин со своим героем готов был назвать ту силу, которая должна была бы изменить действительность. Эта сила — социальная революция. Но Щедрин не видел условий для этой революции. Не та толпа на Сенной, не та толпа на Конной! Ограниченное мировоззрение, утопические теории никакого более решительного вывода допустить и не могли.

Но в те суровые годы крепостничества и царского деспотизма даже этих намеков было достаточно, чтобы подвергнуть ссылке дерзкого вольнодумца, бывшего лицеиста Салтыкова...

Проходит 10 лет. Слова в рецензии Щедрина на «Логику» Зубовского оказались его житейской заповедью. Тяжелою ценою ссылки Щедрин приобретает тот житейский опыт, которого ему нехватало. По условиям работы он имеет возможность накапливать и собирать материал для своей творческой работы. Ссылка освобождает от того юношеского идеализма, которому был подвергнут писатель.

Прибыв из ссылки в столицу, Щедрин, как ему казалось, от идеалистического прошлого ушел, а ни к каким новым философско-эстетическим взглядам не пришел. Он лишь инстинктивно улавливал «дух времени», и вот он дает свои «Губернские очерки», которые, как утверждает Иванов-Разумник, имеют «не столько литературное, сколько общественное значение».

Ошибочность этого утверждения со стороны творческой значимости произведений Щедрина будет разобрана ниже. Но если признать, что произведения Щедрина общественно-значимы, то нужно признать, что они создавались на основе каких-то философско-эстетических взглядов. Направимся прежде всего к письмам, на которые любят ссылаться многие литературоведы, отмечая фурьеризм писателя (я имею в виду письмо Салтыкова к В. Р. Зотову, в котором Салтыков просит книгу фурьериста Виктора Консидерана). И так же, как письмо к Зотову 1845/46 г. нам раскрывает связь Щедрина с фурьеризмом, так точно третье письмо этого же сборника писем (ГИЗ, 1925 г.) дает нам некоторый ключ к раскрытию эстетических воззрений Салтыкова десятилетием позже.

В письме к Дружинину от апреля—мая 1856 г. Салтыков пишет: «Возвращаю вам 4 № Р. В.; там есть статья Анненкова, которая вам будет очень приятна, потому, что она заключает в себе теорию сошествия Святого Духа».

Редактор Гиза, делая примечание к письму, совсем не обращает внимания на то, что никакой статьи Анненкова в 4-й книге «Русского Вестника» нет. Письмо написано в апреле — мае, а 4-й том вышел в августе. Статья же Анненкова, о которой идет речь в письме Щедрина, помещена во второй, февральской, книге 1-го тома. Однако ошибка Щедрина в ссылке на 4-й том не случайна. Читал-то Щедрин в то время 1-й том. В 1-м томе помещена статья Анненкова «Значение художественных произведений для общества». В этом же томе помещена не менее важная для творчества писателя статья Б. Чичерина «Обзор исторического развития сельской общины в России». Однако Щедрин называет в письме не 1-й, а 4-й том возвращаемой книги потому, что в 4-м томе должны были итти «Губернские очерки». Мы имеем случайную, но очень показательную оговорку. Ибо читая и статью Анненкова, и статью Чичерина, Щедрин все время думал о своих «Очерках», которые должны были итти в № 4. А читая № 1, думать о своих очерках было по чему. Как по своему художественному направлению, так и по общественно-политическому духу очерки не сходились с теми эстетическими и общественно-политическими утверждениями, которые отстаивали Анненков и Чичерин в № 1 «Русского Вестника». Анненков в своей статье выступал против так называемого дидактизма гоголевской школы и ратовал за чистое искусство, основоположником которого якобы явился Пушкин. Чичерин же доказывал историческую жизненность русской общины, видя в ней «залог консолидации народной воли», инициативы и энергии на пути развития русской жизни (формулировка в духе Чичерина). Щедрин со свойственными ему меткостью и иронией охарактеризовал эстетические взгляды Анненкова как теорию «сошествия святого духа». Этой характеристикой он подчеркнул свое несогласие с идеалистическими утверждениями Анненкова. Здесь же в письме он указывает

Дружинину, что статья «вам будет очень приятна (именно! — *К. Ю.*) потому, что она заключает в себе сошествие Святого Духа». Этим замечанием Щедрин одновременно отмежевывается и от Дружинина, с которым он во взглядах по вопросам развития литературы, как видим, не сходится. На статью же Чичерина, как мы знаем, Щедрин также дал ответ, прямо противоположный утверждениям этого автора.

Но возвратимся к статье Анненкова. Эта статья для нас представляет большой интерес потому, что она отстаивает в литературе идеалистическую эстетику и прямо противопоставляется взглядам Чернышевского, отстаиваемым в статьях, публикуемых в этот же период. Чернышевский опубликовывает в «Совоеменнике» свои «Очерки гоголевского периода», а также свою диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». В этой своей диссертации Чернышевский, критикуя основные положения идеалистической эстетики, противопоставляет ей эстетику материалистическую, в которой выдвигает такие положения. как «прекрасное есть жизнь», что «действительность не только живее, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии только бледная... переделка действительности». Что «искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни». Что наконец «воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни, часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни». Не подвергая сейчас разбору все эти положения Чернышевского, страдающие метафизичностью, но проистекающие из материалистической основы, для нас важно сейчас установить факт борьбы в русской литературе и критической мысли двух противоположных философских направлений: идеалистического (формулируемого одним из близких друзей Щедрина — Анненковым) и материалистического (формулируемого Чернышевским).

Так Анненков, не называя в своей статье имени Чернышевского, прямо возражая ему, отстаивает идеалистическое направление как истинный смысл искусства. «Ничего подобного, — писал он, — нельзя уже сказать о первых подражателях Гоголя: равно грубы их произведения, с претензией обнажить жизнь». «По нашему мнению, — писал Анненков, — стремление к чистой художественности в искусстве должно быть не только допущено у нас, но сильно возбуждаемо и проповедуемо как правило, без которого влияние литературы на общество совершенно невозможно».

Щедрин очень внимательно прислушивался и присматривался к эстетическим суждениям этого времени. Однако прямых высказываний о согласии с тем или другим направлением он не делал. Так он, в том же письме к Дружинину, пишет: «Ваша Саша просто прелесть; разговор с нею значительно подготовил меня к пониманию статьи г. Анненкова». А понять надо было многое. Идя по стопам Гоголя, Щедрин явно делал работу, очерченную Чернышевским. И вместе с тем его соблазняли такие утверждения Анненкова, как идейность, необходимость художнику имет особую способность чувствовать идеал. Его соблазняли такие утверждения Аннекова, как «надо обладать особенною способностью чувствовать идеал, когда он возле вас,— это не всем дается, а затем надо еще угадать поводы и причины его действия и не ошибиться в них. Одно это уже требует не простой наблюдательности, а художественного чутья жизни, так сказать». Щедрин понимал, что в основном это и есть та теория сошествия святого духа, которая противостоит теории Чернышевского. Но, с другой стороны, Щедрин видит тут ту идею, понимание которой у него очевидно еще было идеалистическое, унаследованное от фурьеризма, от которого Щедрин целиком не освободился. Именно этою нетвердостью убеждений объясняется тот факт, что, невзирая на несогласие с основными взглядами Анненкова на пути развития литературы, Щедрин в этот период прямо своей точки зрения не высказывает, а свои очерки и рассказы непрерывно посылает на отзыв Анненкова. Эти рассказы и очерки Щедрина по характеру творчества были прямо противоположны эстетическим утверждениям Анненкова.

Однако такая мнимая неопределенность длится недолго. Щедрин со своими воззрениями быстро шел к Чернышевскому. Взгляды, отстаиваемые уже после «Губернских очерков», были не только прямым совпадением (за некоторым исключением) со взгля-

дами Чернышевского, но и пропагандою, силою своего творчества, этих взглядов. Три года спустя свою симпатию к «Современнику», а вместе с ним и Чернышевскому и Добролюбову Щедрин высказывает в письме из Рязани к тому же Дружинину. «Скажу вам здесь кстати расположение умов в провинциях относительно журналов. Всего более в ходу «Современник»; Добролюбов и Чернышевский производят фурор и о «честной деятельности» «Современника» говорят даже на актах в гимназиях. Провинция любит, чтобы ей говорили sans fait, прямо и резко». А вот отзыв о Щедрине с.-петербургского обер-полицмейстера: «При раздражительном характере обладает и едким словом... Подчиненные его постоянно ненавидели, литературные друзья обманывали, а покровительствуемая им молодежь недоверяет. Он скорее опасен в провинции, чем в столице». Нас особенно интересует подчеркнутый нами последний абзац характеристики полицмейстера. Вице-губернатор Щедрин пишет об успехах «Современника», Чернышевского и Добролюбова в провинции, а полиция характеризует его как человека, опасного для провинции. Эти два отзыва из двух различных источников очень типичны для характеристики состояния мировоззрения Щедрина в его последующем развитии.

II. Характер философских взглядов

Путь развития философско-эстетических взглядов у Щедрина протекал от идеализма в сторону материализма. В чем же особенность этих взглядов и насколько в праве мы утверждать, что Щедрин большую и основную часть своей творческой жизни был материалистом? Каков характер этого материализма?

а) Идеалы

М. С. Ольминский достаточно метко подчеркнул основную тенденцию в творчестве Щедрина — борьбу за идеалы. Нас в данном случае интересует не столько сумма этих идеалов, сколько их философское обоснование. Из какой методологической основы эти идеалы вытекают: проявляется ли в их трактовке идеализм утопического прошлого, или они являются выражением материализма Щедрина.

Если в период раннего творчества идеалы были положены скорее в основу процесса творчества, нежели вытекали из самого результата творчества, то уже «Губернские очерки» были пропитаны иронией к безыдейности и пустоте представителей различных слоев общества дореформенной России. Однако в «Губернских очерках» Щедрин лишь иронизирует над безыдейностью или идейной бездеятельностью. Он видит основное зло не столько в людях, сколько в тех условиях, которые связали человеческую идейность, превратили идейного человека в брюзгу, в талантливого трутня типа Лузгина или беспомощного и безвольного человека типа Буеракина. Основной удар направлен на условия крепостного права, обезличивающего человека, рождавшего безыдейность. И это не случайно для мировоззрения Щедрина. На примере толкования идеалов Щедриным мы узнаем его умонастроение, раскрываем одну из сторон его философских взглядов на жизнь. Так в очерке «Ограниченность» из «Признаки времени» Щедрин пишет: «...почему идеалы общечеловеческие выше идеалов личных и местных? А потому просто, что первые составляют крайнее звено в последовательной цепи идеалов, освещающих пути человеческого развития; потому, что они представляют содержание, а личные идеалы — только содержимое; потому, что с осуществлением идеалов общечеловеческих сами собой осуществляются идеалы скопинские... а не наоборот. Если жизни даны широкие основания, то подробности улаживаются вполне естественно, сами собой, и притом не вразброд, а согласно с самими основаниями жизни. Напротив, ежели у жизни нет прочных и широких оснований, то одна подробность неизбежно будет итти в разрез другой. Могут существовать и личные, мелкие идеалы; автор восстает не против их законности, а против их обязательности».

Это высказывание Щедрина вводит нас в круг его философских воззрений. Оно показывает нам, во-первых, что писатель придает идеалам значение силы движущей жизни, что настоящая жизнь может развиваться только на основе идеалов, освещающих пути человеческого развития; во-вторых, писатель общее ставит выше единичного, част-



«ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА. ВТОРОЙ РАССКАЗ ПОДЪЯЧЕГО»

— Выходит, у всякого человека такой есть пункт, что с своей дороги его сбивает.

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.

ного. На языке философии писатель считает, что единичное находится в зависимости от общего, определяется общим. Личные идеалы существуют, но автор не возражает против законности существования личных идеалов, он против их обязательности потому, что они определяются все же общими идеалами. Наконец, в-третьих, признание объективной действительности, широких оснований жизни, от которых и зависит развитие частностей или «подробностей».

Из ряда других высказываний мы видим, как писатель выводит зависимость мировоззрения, культуры, культа от объективной действительности, так же как учитывает общественные условия развития человека и его физиологические особенности при формировании его характера.

В очерках «За рубежом» писатель указывает, что «культ самосохранения заключает в себе нечто, свидетельствующее не только о чрезмерном, но, быть может, и о незаслуженном животолюбии».

Таким образом мы видим, что идеалы, их формирование у Щедрина вытекают из материалистической основы. Щедрин с формированием своих философских взглядов от идеалистического утопизма отходит. Во введении к «Мелочам жизни» Щедрин указывает, что ошибка утопистов заключалась в том, что они «стояли почти исключительно на почве психологической, они думали, что человек сам собой, независимо от внешней природы и ее тайн, при помощи одной доброй воли, может создать свое конечное благополучие. Фурье провидел ненужных антильвов и антиакул и не провидел ни железных дорог, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели антильвы».

Однако дальше признания идеалов как движущей силы человеческого общества Щедрин пойти не в состоянии, хотя и видит часто путь их развития. Так когда «среди царящей суматохи, где слышатся голоса только бесчисленного множества темпераментов, где нападающие не знают, на кого они нападают, а защищающиеся — от кого они обороняются, где нет речи об идеале (заметьте! — *К. Ю.*), а мечется в глаза только обнаженный факт борьбы, — в такой суматохе ничего лучшего не придумаешь, как схорониться в укромном месте и там начать умирать».

К таким выводам можно притти лишь тогда, когда вся жизнь и вся борьба рассма-

тривается как развитие идеалов, когда действительность принимает форму идеалов, а к этим выводам можно притти лишь тогда, когда к действительности подходишь созерцательно, когда не постигается чувственность как практическая деятельность человека. А Щедрин именно так и подходил к действительности. И это проистекало не только от тех специфических русских исторических условий, но и от той философии созерцательного материализма, на позициях которой Щедрин находился. Это была конкретизация философии Фейербаха на русской почве, в условиях русского царизма.

Маркс в тезисах о Фейербахе указывает, что «самое большое, чего может достигнуть созерцательный материализм, т. е. материализм, который не постигает чувственность как практическую деятельность, это — представление отдельных индивидуумов и «гражданского общества».

б) Толпа, народ, общество и государство

Выше мы уже приводили выдержку из рассказа «Запутанное дело», где герой Мичулин под влиянием музыки почувствовал силу и мощь народа. С идеологией утопического социализма ни к каким другим выводам, кроме мечты· «Вот если бы»... притти нельзя. Но уже в «Губернских очерках» взгляд на толпу несколько иной. «Мне мил этот общий говор толпы, — пишет Щедрин. — Он ласкает мой слух пуще лучшей итальянской арии, несмотря на то, что в нем нередко звучат самые странные, самые фальшивые ноты. Взгляните на эти загорелые лица: они дышат умом и сметкою и вместе с тем каким-то неподдельным простодушием».

К такой толпе Щедрин направлял свои взгляды с надеждою. От того, как скоро и насколько она освоит лучшие идеалы человечества, зависит не только ее же благосостояние, но и расцвет общества, государства. У толпы всегда есть свои идеалы. Толпа ими живет, благодаря им она и прекрасна. «Уничтожьте идеалы (хотя бы и мужицкие), — говорит Щедрин в «Убежище Монрепо», — заставьте замереть желание лучшего, и вы увидите, как быстро загрубеет окружающая среда».

Толпа, массы, народ — ведь это сила. В ней заложены неиссякаемые источники. Они критерий всякой истины, правды, ибо толпа — жизнь, а истина может быть воспринята только жизнью. Поэтому «отношение масс к известной идее — вот единственное мерило, по которому можно судить о степени ее жизненности» («Благонамеренные речи»). Жизненность, своеобразная самобытность толпы — вот особенности, которые нужно понять, уловить и прочувствовать. И созерцатель-материалист ее достаточно прочувствовал. Но эта прочувственная действительность и тут оказалась однобокой. Толпа оказалась пригодной только как объект просвещения, но никак не сила для переделки действительности. Торжество силы еще отнюдь не утратило в глазах толпы решительного своего влияния. В сущности, ей очень мало дела до внутреннего содержания торжества; ей нравятся его внешние декорации, ей нравится тот блеск и шум, которыми по принятому обычаю сопровождаются всякие потопления, подавления и поругания» («Признаки времени»). Но этого мало. Такая толпа в своей основе беспомощна. «Она может выделить из себя великих и гениальных людей, она может совершать чудеса самопожертвования и доблести, но против неожиданности и расставленных ловушек ничего сделать не в состоянии» (там же).

Вот в основном взгляды Щедрина на массу, на толпу, на народ. И когда в связи с «Историей одного города» современная Щедрину реакционная критика упрекала его в глумлении над народом, то Щедрин в своем письме, направленном в «Вестник Европы», писал: «Недоразумение относительно глумления над народом, как мне кажется, происходит от того, что рецензент мой не отличает народа исторического, т. е. действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих... Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключаются начало и конец всякой индивидуальной деятельности» («М. М. Стасюлевич и его современники», стр. 4).

Все это говорит за то, что у Щедрина не было романтической идеализации народа, свойственной народнической интеллигенции, но и не было диференцированного, классового критерия в подходе к народу.

Так же обще и расплывчато выглядит у Щедрина понятие общества. В третьем «Письме к тетеньке» Щедрин пишет: «Наше общество немногочисленно и не сильно. При том оно исконно идет вразброд. Но я убежден, что никакая случайная вакханалия не в силах потушить те искорки, которые уже засветились в нем»...

Та же общность понятия. Та же вера в силу общества, та же недиференцированность. И это объясняется не только условиями цензуры. Дальше мы увидим высказывания в таком духе о литературе, полные любви и надежд на нее. А сейчас, чтобы окончательно закончить характеристику взглядов Щедрина по намеченным нами вопросам, посмотрим, как он расценивал понятие государства и государственности.

В «Письмах к тетеньке» Щедрин сетует на то, что в России никто не уважает идеал государства и государственности. А в «Благонамеренных речах» Щедрин так и пишет: «Что же касается до обыденной жизненной практики, то кроме профессоров, читающих с кафедры лекции государственного права, да школьников, обязанных слушать эти лекции, вряд ли кто-нибудь думает о той высшей правде, осуществлением которой служит государство и служению которой должна быть всецело посвящена жизнь обывателей».

Щедрин неоднократно и достаточно подробно останавливается на идеале государственности. Однако определения государства, так же как народа и общества, абстрактны и общи. Все эти представления имеют одно свойство — они основываются на конкретных явлениях действительности, но в сознании превращаются в идеал действительности. В результате для Щедрина существует не конкретный народ, а идеал народа, не конкретное общество, а идеал общества, не конкретное государство, а идеал государства. В результате к своему единству общество приходит путем согласования идеалов. Отсюда необходимо разъяснение и пропаганда этих идеалов, отсюда просветительство. Это та слабость, которая свойственна созерцательному материализму. Человек превращается в абстрактный идеал человека, природа — в идеал человеческой природы, долженствующей собою заменить для человека идеал религии.

Щедрин находился в кругу тех философских взглядов, которые лишь объясняли мир. На вопрос же, как его изменить, они вразумительного ответа дать не могли.

III. Характер эстетических взглядов

Эстетические взгляды Щедрина целиком связаны с взглядами философскими, ими они определяются, из них они вытекают.

Путь развития этих взглядов идет от утопического идеализма, через эмпирическое наблюдение над фактами действительности к созерцательному материализму. Из писем Щедрина мы видим, как с развитием его творчества, с формированием его эстетических взглядов «духовный» авторитет и Анненкова, и Тургенева в глазах Щедрина падает. Щедрин высказывает Анненкову в своих письмах такие взгляды на жизнь, такие смелые и резкие суждения, что Анненков должен был только прочитывать эти письма и помалкивать, дабы не раздражать и без того физически больного своего друга. А так как Анненков был человек «либеральной складки», то у него нехватало сил порвать связь с инакомыслящим другом. Традиция дружбы была сильна, и друзья продолжали поддерживать отношения. Анненков в мягких тонах и вежливых формах давал оценку художественного творчества Щедрина. Только художественного. Ведь нельзя же было Анненкову, поклоннику чистой художественности, отрицать за Щедриным художественный талант. Между тем по существу Щедрин и в своем творчестве, и в прямых высказываниях по вопросам эстетики не разделял взглядов идеалистической эстетики, а молча, нигде об этом не заявляя, занял эстетические позиции Чернышевского.

Щедрин понимал, что вкус не дарован человеку всевышним, а так же, как и все идеа-

лы человека, вырабатывается историческою средою и обстановкою. Однако вкус определяется еще и знаниями, приобретаемыми человеком, и теми общими идеалами, какие несет то или иное исторически сложившееся общество. Однако общество, выработавшее свои идеалы на основе паразитарного существования, соответственно своей сущности выработало свой кодекс законов прекрасного, назвав этот кодекс эстетикой. Этому кодексу в паразитарном обществе суждено занять место основного мерила культуры и образования. Вот высказывание Щедрина о характере этой эстетики и о том месте, какое она занимает в паразитарном обществе. «Недостаток знаний, — пишет Щедрин, — заменяется в нашем воспитании эстетикой, но и эстетика эта была совершенно особенная. Бессодержательная, болтливая, с наклонностью к округлению периодов и далеко не чуждая представления о безделице. В основе лежала если не прямо чувственность, то скорее преходящая, мало задерживающая, почти болезненная впечатлительность» («Письма к тетеньке», стр. 15). Эта выдержка не только вводит нас в круг взглядов Щедрина на эстетику, не только подтверждает изложенную выше схему эстетических взглядов Щедрина, но она открывает еще одну сторону вопроса, которая не маловажна в понимании эстетических взглядов, а затем и творческого метода Щедрина. Из этой цитаты особенно ясно вытекает слабость методологии Щедрина. Ибо он чувственность не может постичь как чувственную практику человека. Правильно подметив основной характер идеалистической эстетики — пассивную, пассивно-созерцательскую чувственность, чувственность, которая переходит в болезненную впечатлительность, — Щедрин «отбрасывает с порога» эту раздутую до идеализма сторону действительности, а не преодолевает ее, не постигает чувственность как практику. Работа мысли в области общечеловеческих идеалов — вот сфера истинно прекрасного, что и дает настоящее наслаждение человеку, делает искусство долговечным. Все остальное — низменно, хотя и законно, но не обязательно, не заслуживает внимания художника. И Щедрин говорит, что «какие бы ни придумывали ухищрения к усложнению низших видов наслаждения с целью заменить ими наслаждения высшей категории, в результате ничего не получится, кроме временного возбуждения, которое не замедлит уступить место пресыщению и скуке» («Признаки времени»).

Эти основные воззрения Щедрина не без основания и не без пользы для своего времени сомкнулись с эстетическими воззрениями Чернышевского. Вернее, теоретические обоснования эстетических взглядов Чернышевского нашли в лице Щедрина своего выразителя в практике художественного творчества. И в том же, цитированном выше письме в «Вестник Европы» Щедрин совсем в духе Чернышевского отвечал своим критикам: «Искусство, точно так же, как и наука, оценивает жизненные явления единственно по их внутренней стоимости, без всякого участия великодушия или сострадания».

Итак чувственное познание — этап, который пройден, как казалось Щедрину, человечеством. Чувственное познание имело право на существование тогда, когда был недостаток знаний. Тогда этот недостаток знаний заменялся чувственностью и чувственным познанием. Наступило время, когда чувственное познание должно уступить место науке. Наука, как и искусство, рассматривает явления жизни с точки зрения их стоимости. Критерием этой оценки являются общечеловеческие идеалы. Чувственность как практическая деятельность отбрасывается.

2. ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЩЕДРИНА В ДЕЙСТВИИ

I. Литература, ее задачи

Прежде чем рассматривать, как отразились философско-эстетические взгляды на творчестве Щедрина, остановимся на том, как Щедрин смотрел на литературу, какие он ставил перед нею задачи. М. С. Ольминский неоднократно отмечал ту преданность и любовь к литературе, какою была проникнута вся деятельность Щедрина, с каким чувством ответственности Щедрин нес звание писателя. Это подтверждается высказываниями Щедрина о литературе, разбросанными по страницам различных очерков и рассказов.

Приводить многие важнейшие из этих высказываний не представляется возможным. Однако мы возьмем лишь то, что позволит нам проследить методологическую концепцию писателя.

Черта общности определений, какая была отмечена во взглядах Щедрина на народ, общество и государство, распространилась как на определение понятия литературы, так и на ее функции. «Литература, — пишет Щедрин, — есть воплощение человеческой мысли, воплощение вечное и непреходящее. Литература есть нечто такое, что, проходя через века и тысячелетия, заносит на скрижали свои и великие деяния, и безобразия, и подвиги самопожертвенности, и гнусное подстрекательство трусости и легкомыслия. И все, однажды занесенное ею, не пропадает, но передается от потомков к потомкам, вызывая благословение на головы одних и глумление на головы других. Понимаете ли вы все бессилие ваше в виду этого неподкупного и непоколебимого величия? Ежели вы этого не понимаете, то подумайте хоть то, что есть суд веков и что у вас есть дети; что если вы лично равнодушны к суду истории, то ваши дети могут, ради вашего всуе звенящего срамословия, изнемочь под его тяжестью» («Недоконченные беседы», IV).

Помимо той ответственности, какая лежит на писателе, помимо той величайшей исторической роли, какую несет литература, характерны определения функций литературы, формулируемых Щедриным. Литературу Щедрин превращает, так же как народ, общество и государство, в идеал литературы. Литература есть идеал вечного и непроходящего воплощения человеческой мысли. Литература отражает общечеловеческие действия, которые на все века и для всех народов выглядят или как великие, или как безобразные, или как подвиги. При этом и подвиги эти формулируются как общечеловеческие. Это подвиги или самопожертвенности, или подстрекательства, или трусости, или легкомыслия. То, что Щедрин видит общечеловеческие идеалы, подтверждает хотя бы следующее его высказывание: «Как бы не были низменны интересы современности, литературные идеалы уже по тому одному не могут пострадать от прикосновения к ним, что интересы эти все-таки принадлежат тому униженному и оскорбленному человечеству, нравственное оздоровление которого составляет благороднейшую мечту благороднейших умов. Одним словом, в этих низменностях идеалы литературы (хотя бы даже



«ВЫГОДНАЯ ЖЕНИТЬБА»

Сцена 5-я (Квартира Змеищева. Марья Гавриловна стоит у окна. Змеищев входит в халате и с шапочкой на голове).

Змеищев. Ну вот, вы и пришли, душечка...

Занавес опускается

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.

и отрицательным путем) могут найти для себя лишь поправку, опору и развитие, но никак не смерть» («Круглый год», XI).

Было бы ошибочным думать, что Щедрин либерально относится ко всем литературам и ко всем литераторам. У Щедрина есть враги политические, которых он бичует, невзирая на тягчайшие условия царской критики. Щедрин питает отвращение к безыдейной литературе современности как русской, так и западноевропейской. При этом по линии безыдейности он не щадит резкостью оценок как дворянскую, так и буржуазную литературу.

Литература дворянских мелодий, обладая отличным слогом, искусной обстановкой и последовательностью, хороша для тех, кто имеет целью убить праздное время и не восстановляет в памяти прочитанного, как указывает Щедрин в «В среде умеренности и аккуратности». Критерием к оценке литературы является не только идеал или идейность, но то общественное положение литературы, какое она занимает в обществе. Паразитарное общество требует безыдейной литературы. Эта мысль особенно отчетливо выражена в очерках «За рубежом». «Безыдейная сытость, — пишет Щедрин, — не могла не повлиять и на жизнь. Прониклась ею и современная французская литература». Здесь Щедрин четко высказывает свое понимание связи литературы определенной социальной группы с тенденциями, носителями которых эта группа является.

Из всех этих высказываний мы видим, что Щедрин достаточно ясно очерчивает воспитательные и просветительные задачи литературы.

Однако нельзя сводить всю особенность творчества Щедрина лишь к тому, что он отстаивал идеалы. Другие писатели также отстаивали определенные идеалы. Щедрин сам говорит о литературе веков и поколений, которая отстаивала идеалы. Речь должна итти о характере этих идеалов и о методе их выражения. И вот в «Итогах» мы находим следующее высказывание Щедрина: «Здравая традиция всякой литературы, претендующей на воспитательное значение, заключается в подготовлении почвы будущего. Исследуя нравственную природу человека, литература не может не касаться и тех общественных комбинаций, среди которых человек проявляет свою творческую силу... Не успокаиваясь на тех формах, которые уже выработала история, провидеть иные, которые хотя еще не составляют наличного достояния человека, но тем не менее не противоречат его природе и следовательно рано или поздно могут сделаться его достоянием, — в этом заключается высшая задача литературы»... Итак, четко намечается определенная концепция, вытекающая из философско-эстетических взглядов, распространяемая в виде общих взглядов на литературу, ее функции и задачи, намечающие основной принцип в подходе к действительности, а отсюда и воспроизведения этой действительности в литературе. Идеалы общечеловеческие выше личных. Литература — носительница этих идеалов, а потому она хотя и исследует природу человека, но не может не касаться и тех общественных комбинаций, среди которых проявляет человек свою творческую силу. А так как эти комбинации являются основными, определяющими, как мы видели выше, поведение человека, то в задачу литературы очевидно входит разъяснение этих комбинаций. Основное внимание потому, что писатель не может и не должен успокаиваться на формах общественной жизни и строя, которые выработала история, но должен провидеть новые. Таким образом очерчивается уже основной контур не только творческого метода писателя, но и самый тип писателя как борца, как общественного деятеля, как революционного просветителя. Итак литература исследует, литература провидит, основной упор литературы на общечеловеческие идеалы, общие законы жизни, общественности, государства. Частичные идеалы законны, но не обязательны, а потому писатель ими если и оперирует, то только во имя укрепления и доказательства общечеловеческих идеалов. Никакой чувственности в этом процессе познавания. Чувственность — удел слабых и разнеженных бездельем, чувственность — признак недостатка знания и легковесности. Вот положения, которые кладутся в основу литературы, претендующей на воспитательное значение. И если раньше литература исследовала сферы семейственности, то сама жизнь ставит и выдвигает новые мотивы. «В этом случае, — говорит Щедрин, — я могу сослаться на величайшего из русских

художников — Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности». Жизнь полна неожиданностей. Начинается драма в семье, а кончается где-нибудь в Сибири. «Проследить эту неожиданность так, чтобы она перестала быть неожиданностью, — вот, по моему мнению, задача, которая предстоит гениальному писателю, имеющему создать новый роман» («Господа ташкентцы»).

II. Круг основных идей, их тематическая конкретизация

Понять творческий метод писателя можно только тогда, когда мы будем знать, как писатель относится к действительности, круг каких идей как выражение действительности он трактует в своем творчестве, в какой форме он эти идеи выражает. Но этого мало. Нужно определить не только то место, какое писатель занимает в общем историческом процессе, но и место в развитии литератур. Для этого нужно проанализировать хотя бы основные пункты развития литературы с тем, чтобы понять отличие изучаемой нами литературы от предыдущих. Анализируя круг идей того или иного писателя, мы ни в какой мере не признаем утверждение идеалистического литературоведения, доказывающего вечность и неизменность идей. Мы рассматриваем идею как конкретное выражение определенных сторон действительности. Мы рассматриваем идеи в зависимости от той исторической обстановки, в которой писатель ту или иную идею выдвигает. В зависимости от классового сознания, от мировоззрения писателя — носителя идеологии конкретно-исторического класса — находится не только трактовка идеи, но и метод ее трактовки. Щедрин ценит литературу 40-х годов за ее самоотверженную принципиальность и беззаветную преданность своим принципам.

Каков был характер идей и их трактовка в творчестве Пушкина? Из круга семейно-бытовых проблем дворянского общества, проблем любви, ревности, измены, дружбы, чести личности и чести долга поэт не выходил. Поэт жил общественными идеями своего времени, они его волновали, он их затрагивал, пытался решать, отвечал на них, но только в рамках и пределах личных человеческих чувств и единичных человеческих отношений, в рамках семейных отношений. Ответ на общественные идеи нужно искать в этих личных, чисто психологических отношениях человека, в его личной драме или трагедии. Общественное решалось как узко личное. При этом узко личное бралось в плане вечных идей любви, страсти, ненависти, дружбы и долга.

Иначе трактуются идеи в произведениях Гоголя. Совершенно иначе тематически конкретизируются эти идеи. Гоголя лишь в раннем творчестве интересуют такие идеи, как любовь, ненависть или дружба. При этом уже в этих ранних произведениях стоят в общественном плане идеи богатства, денег, материальных и правовых отношений людей. В «Майской ночи» старшина выступает не только как любовник и соперник своего сына, но и как лицо, воплощающее в себе общественные функции администратора, представителя власти. Отсюда его преследования по отношению к сыну рассматриваются не только как преследования старика-соперника, но и как человека, облеченного властью. Дискредитированный соперник выглядит как дискредитированное самоуправство представителя власти. Эта тенденция вырастает впоследствии у Гоголя в особенность его творчества. Трактуются общественные идеи. Личное подчиняется общественному, личное дискредитируется во имя торжества общественного. Идея брака в «Женитьбе» ставится и решается Гоголем как общественная идея. При этом идея брака решается отрицательно. В нашу задачу сейчас не входит разоблачать ошибочные установки тех критиков, которые считают, что решение этой проблемы у Гоголя узко личное, биографическое. И в «Мертвых душах», и в «Ревизоре» ставятся и решаются ярко выраженные общественные идеи, которым подчиняются и определяются все поступки человека. Отсюда и характер героев вырастает до общественно-политического значения. Тип Хлестакова — общественно-политический тип, а не чувственный герой и психологический любовник. Щедрин это понял и правильно сослался на Гоголя, указывая, что он «давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности».

Но прежде чем проследить, как из этих рамок выходит сам Щедрин, нужно учесть творческие позиции современника Щедрина — Тургенева. Тургенев пытался примирить

наметившиеся к тому времени два творческих направления русской литературы: пушкинское и гоголевское. Это примирение по линии трактовки идей выразилось в том, что общественные идеи Тургенев пытался тематически конкретизировать в раскрытии психологии и характера человека. Однако ведущим осталась психология человека, его личные интересы, его личные тенденции и, как Щедрин определяет, «частные идеалы». Единства общественных идей и личных интересов не получилось. Личное выпирало, заслоняя собою общественное. Личное осталось ведущим, основным, а потому творчество Тургенева положительным образцом по линии примирения двух школ не явилось, хотя и вызвало массовые подражания.

В нашу задачу сейчас не входит охватить весь круг идей, трактуемых Щедриным. Нам важно, исходя из его отношения к идеям, выявить метод писателя. Поэтому мы не останавливаемся на характеристике идей, затрагиваемых им в очерках, собранных по отдельным циклам. В очерках общественный характер идей вытекает очень отчетливо.

Отношение Щедрина к трактовке идей в его творчестве изменяется в соответствии с развитием его философско-эстетических взглядов. В первый этап — так называемый этап утопического идеализма — берутся идеи общественного значения. Однако трактуются эти общественные идеи в узко психологическом плане. Второй этап — отход от утопического идеализма, период наблюдения над действительностью и изучение ее основных звеньев (народ, общество, власть). Выражается общая идея через личный характер. Так идея человеческой алчности, тематически конкретизированная как взяточничество — общественное зло, и выражается через раскрытие характера подъячего. И наконец трактовку идей последующего этапа — уже сложившегося мировоззрения Щедрина — мы проследим по основным его произведениям: «История одного города», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Головлевы» и «Пошехонская старина».

По этим произведениям мы видим, как писатель, изучая конкретную действительность, формы общественно-политической жизни и поведения человека, свои идеи выводит из анализа этой действительности. Щедрин берет два основных объекта действительности. Первый: крепостное хозяйство с его хозяйственным укладом, бытом, крепостной идеологией и культурой. Сюда относятся: «Господа Головлевы» и «Пошехонская старина». Второй объект: формы государственного управления при крепостном строе. Сюда относятся: «История одного города», «Помпадуры и помпадурши». При этом отправной точкой анализа Щедрина является крепостное хозяйство и крепостной строй. Однако действительность изучается, а затем воспроизводится в художественном творчестве Щедриным в историческом развитии. Он не останавливается в своем анализе только на крепостном строе докрестьянской реформы, а изучает и воспроизводит в своем творчестве остатки крепостничества в сознании людей и в государственном строе, продолжавшие еще жить и после крестьянской реформы. Взяв основным критерием изучение действительности, крепостной строй, он был ограничен теми убеждениями, когда «на первый взгляд происхождение крупного, некогда феодального землевладения могло быть приписано прежде всего политическими причинами» (Энгельс. «Фейербах»). Этим частично объясняется основной удар Щедрина по «идолам» и «божкам» — носителям политических причин — помпадурам, градоначальникам и становым.

Изучая первый объект действительности, Щедрин положил в основу единственную «идею» — разложение и самоуничтожение крепостного хозяйства, а также и порожденного им быта, семейно-бытового уклада и культуры. Эта основная идея становится и темою произведения, разбиваясь на ряд подтем, типичных и для «Пошехонской старины», и для «Господ Головлевых». Основной подтемой является деспотизм крепостника, выросший до самоуничтожения. Именно до самоуничтожения. Ибо благодаря деспотизму, наложившему свою печать на все хозяйство и быт, он является одной из причин разрушения и хозяйства, и семьи, и всего крепостного строя. Показателем самоуничтожения и упадка является также то, что воплощением деспотизма служит помещица женщина, чем подчеркивается беспомощность и упадок мужского «начала».

Второй основной подтемой выдвигается скупость, жажда наживы, бесплодного накопления при безрассудной материальной ограниченности.



«ОБМАНУТЫЙ ПОДПОРУЧИК»

— Драться я, доложу вам, не люблю: это дело ненадежное. А вот помять, скомкать эдак мордасы — уж это, наше почтение, на том стоим-с. У нас, сударь, в околотке помещица была, девица бездетная, так она истинная была на эти вещи затейщица. И тоже бить не била, а проштрафится у нее девка, она и пошлет ее по деревням милостыню сбирать; соберет она там куски какие — в застольную. И дворовые сыты, и девка наказана. Вот это, сударь, управление! Это я называю управлением.

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.

Третьей подтемой является труд как мерило человеческих отношений. Подчеркивается бесплодность труда. Все результаты труда идут только для обжорства.

Четвертой подтемой взято вырождение семьи и рода. Показателями его являются: пьянство, самоубийства и сумасшествия («Господа Головлевы»), приживальчество, отсутствие положительных общественных поступков. Сюда же относится подробно воспроизведенная в «Пошехонской старине» так называемая матримониальная система.

Пятой подтемой является лицемерие. Лицемерие перед родом, перед обществом, перед богом. Нравственная и моральная опустошенность (см. Иудушка).

Шестой подтемой выводится идейная пустота, бесплодность идеализма (см. «Святая простота» в «Пошехонской старине»). И наконец седьмой подтемой — непротивление злу как типичная черта крепостнической крестьянской идеологии (см. Акулинушка и др.).

Все эти подтемы с точки зрения Щедрина могут быть переведены на язык идеалов. Это идеалы: строгости и страха; бережливости и экономности; трудовой добросовестности, радивости и семейственности; ласки, угодливости и боголюбия; неутруждения себя умственной деятельностью (боязнь поглупеть от умственной работы); скромности и непротивленности. Щедрин срывает маску с идеалов крепостничества, показывает их истинный смысл, их истинное лицо.

При изучении второго объекта действительности — формы государственного управления — пассивность как одно из характерных исторических явлений русской действительности, унаследованная от времен крепостничества, конкретизируется Щедриным в «Истории одного города». Зло — начальство, наделенное теми же чертами деспотизма, вытекающего из крепостного строя. Начальник — это крепостник в городском, уездном, губернском или государственном масштабе. Поэтому начальник носит все черты помещика-крепостника. Однако с изучением государственного управления перед Щедриным вырисовывается идея бюрократизма как детище крепостной государственности, разложения и гниения бюрократического государственного аппарата. При этом одной из основных подтем является раскрытие ничтожества человеческой глупости, под какой бы внешней

формой она ни скрывалась. Помпадурша-вдова смотрит на нового Помпадура, вспоминает покойника и находит, что сходство между ними то, что они оба глупышки.

Об идеях, заложенных в «Убежище Монрепо», нужно говорить отдельно. «Убежище Монрепо» является таким произведением, которое не только раскрывает остатки крепостнической идеологии в дворянстве, но в котором совершенно отчетливо намечается тема разложения дворянско-крепостнической идеологии под напором развивающегося капитализма 70-х годов. Поэтому здесь берется за основу не разложение хозяйства (его по существу у Щедрина нет), а разложение всего мировоззрения. «Убежище Монрепо» представляет для нас интерес сложной маскировки и зашифровки своих идей в условиях вновь начавшей свирепствовать в этот период цензуры. Поэтому разоблачая упадок идеологии и мировоззрения дворянства, ополчившись против хищничества Разуваевых и Колупаевых, Щедрин выступает и против напряженной правительственной реакции. Поэтому идея «умирания», выдвигаемая Щедриным в этом произведении, является основной и выражает настроения упадка не только в среде известной части дворянства, не могущего перестроить свое хозяйство на капиталистических началах, но и настроения той части демократической интеллигенции, которая отрицая существующий строй, не принимала, вместе с тем участия в революционной борьбе и которая в условиях черной реакции, не видела для себя иного выхода «как схорониться в укромное место и там начать умирать».

Итак мы видим у Щедрина совершенно новую для русской литературы трактовку идей. Щедрин в этом вопросе не только пошел по творческому пути, намеченному гоголевской школой, но по-своему развил принципы, в основном лишь намеченные Гоголем.

Отводя место литературе как орудию воспитания и просвещения масс, понимая задачу литературы — изучать действительность, а затем ее воспроизводить на основе передовых идеалов своей современности, — Щедрин тем самым определил и внутренний характер своих идей, и их трактовку. Идеи, отстаиваемые Щедриным в своих произведениях, были передовые идеи революционного просветительства.

III. Образное обобщение

Какими же средствами писатель доводит до сознания читателя свои идеи? На этот вопрос, казалось бы, существует единственный ответ: средствами образного обобщения действительности.

Однако понятие образ было дискредитировано Чернышевским в его диссертации «Этические отношения искусства к действительности». Чернышевский, выступая против идеалистической эстетики, доказывал несостоятельность понятия прекрасного как «тождество идеи с образом». В этом пункте Чернышевский допустил крайность в своей борьбе с идеализмом в эстетике. Отбрасывая идеализм, Чернышевский выбросил из арсенала эстетических категорий и понятие образ, заменив его, как казалось Чернышевскому, всеобъемлющим и более полным понятием «жизнь». Этим очевидно и объясняется тот факт, что во всех своих высказываниях по вопросам литературы Щедрин говорит о действительности, о жизни, об идеалах, о типах и всячески избегает понятия образ. Эта тенденция Щедрина вполне логически вытекает из общей его исторической и философской концепции. Щедрин, встав на позиции объективного или исторического подхода к действительности, как мы уже отмечали, отбрасывает чувственность как практическую деятельность человека.

В «Господах ташкентцах» Щедрин пишет: «Казалось бы, что нет повода ни для негодования, ни для сочувствия, если уж раз признано, что во всяком положении главным зодчим является история. Между тем мы не можем воздержаться, чтобы одних не обвинить, а других не ставить на пьедестал... Поступая таким образом, мы поступаем совершенно законно и разумно. Мне кажется, явление это объясняется тем, что в этом случае и сочувствие, и негодование устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздействие их на общество».

Эта краткая выдержка вводит нас в курс основных творческих установок писателя. Искусство не оперирует чувственными образами. Все зависит от тех положений, в ка-

кие художник ставит действительность. Существуют такие социальные явления, которые могут быть вознесенными на пьедестал, а могут быть такие, которым художник предъявляет обвинение, приговор. Отсюда искусство оперирует социальными положениями, интересуется общественными поступками людей, а не их чувствами. Образ имеет непосредственную связь с чувственностью. А писатель не может поддаваться чувственности. Щедрин находится под влиянием того предрассудка, согласно которому считалось, что сфера чувственного — это сфера идеалистическая. Поэтому сделать вывод о возможности существования высокоидейной литературы и искусства, оперирующих чувственно-конкретными образами, не считалось возможным. Поэтому понятие образ *заменяется понятием тип.* Да и самый-то тип нужен для того, чтобы возбуждать сочувствие и негодование не столько на самый тип, сколько на то или иное воздействие этого типа на общество, т. е. на то положение, на те общественные поступки, какие тип занимает или совершает по отношению к обществу. Поэтому «понять и разъяснить типы, значит понять и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным и рельефным. И мне кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляет условий совершенной цельности, но может внести в общую сокровищницу общественной жизни материал довольно цельный» («Что такое ташкентцы»).

Но позвольте — возразят нам. Здесь Щедрин говорит о типах и положениях в жизни, которые изучает писатель. В литературе образ, а не тип. Мы не утверждаем, что Щедрин фотографирует действительность. Щедрин обобщает действительность. При этом одним из средств обобщений является тип. Поэтому Щедрин утверждает, что типы, созданные литературой, «всегда идут далее тех, которые имеют ход на рынке, и потому-то они и кладут известную печать даже на такое общество, которое, повидимому, всецело находится под гнетом эмпирических тревог и опасений. Под влиянием этих новых типов современный человек незаметно для самого себя получает новые привычки, ассимилирует себе новые взгляды, приобретает новую складку, одним словом — вырабатывает в себе нового человека» («Итоги»).

Мы видим, что в представлении Щедрина — тип, по существу, единичный образ, включающий в себя, как и каждое явление действительности, и особенное и всеобщее. Тип-образ Щедрина — это не голый факт, это не единичный факт, вырванный из жизни, а обобщенный художественный образ. Однако термин «тип» Щедриным взят не случайно. Этот термин соответствует общему характеру его творчества, отвечает принципам его творческого метода, в чем ниже мы и убедимся. Мы не имеем возможности систематизировать и раскрывать особенности всех образов-типов Щедрина, хотя бы по перечисленным выше основным его произведениям. Для этого требуется большая специальная работа. Однако для уяснения самого метода обобщения мы возьмем ряд примеров из его творчества.

Основное, что бросается в глаза при раскрытии каждого образа-типа Щедрина, это то, что тип несет в себе ведущую черту, определяющую собою его характер и поступок. При этом такая ведущая черта не навязывается произвольно, а вытекает из всей среды, из всей обстановки, в какой тип разворачивается и действует. Так ведущей чертой матушки в «Пошехонской старине» и Арины Петровны в «Господах Головлевых» является деспотизм. Однако деспотизм это не психологическая черта, имманентно-выросшая из физиологических особенностей человека, а эта черта — порождение среды, обстановки, истории. Изменяется обстановка, и деспотизм спадает, как шелуха, распадается, что и случилось с Ариной Петровной в «Господах Головлевых». Деспотизм определяет все поступки этих двух типов, определяет весь их характер. При такой трактовке типа действительно осуществляется замечание Щедрина, что «сочувствие и негодование устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздействие их на общество».

Нельзя утверждать, что Щедрин обходит психологическую трактовку своих типов. У Щедрина имеется ряд типов глубоко психологических. Однако психологизм не есть основной метод творчества Щедрина. О с н о в н о й м е т о д в т р а к т о в к е т и п а —

его поступок, приобретающий всегда общественное значение. Общественный поступок не определяется только положительными общественными действиями. Поступки типов Щедрина по большей части отрицательные. Однако под влиянием отрицательности поступка «современный человек, незаметно для себя, получает новые (положительные.— *К. Ю.*) привычки, ассимилирует себе новые (положительные.— *К. Ю.*) взгляды, приобретает новую (положительную.— *К. Ю.*) складку, одним словом — вырабатывает в себе нового человека».

Поэтому психологизм у Щедрина выступает не как метод раскрытия типа, а так же, как своеобразная черта типа. Иудушка в «Господах Головлевых», являясь воплощением лицемерия, обладает «психологической чертой». Психологизм гиперболизирован до психокопательства, до «психоложства». Однако черта лицемерия Иудушки, получив психологическую окраску, вооружает читателя и против лицемерия, и против «психоложства» как общественного поступка. Иногда Щедрин выдвигает ведущую черту чисто физиологическую. Так ведущей чертой предводителя Струнникова в «Пошехонской старине» является страсть к обжорству. И эта черта определяется общественным положением типа. В предводители попадал обычно хороший хлебосол, умеющий щедро потчивать окружных дворян, а кто же это лучше может сделать, как не человек, который сам «не дурак покушать»!

Эта черта в представителе также гиперболизируется, определяет все его поступки, всю его жизнь. Во времена предводительства он только и думает о том, чтобы покушать. После крестьянской реформы, разорившись и удрав за границу, он там проедает остаток своего состояния и поступает в ресторан лакеем, где «потчует» уже русских не как дворянин, а как лакей. Так Щедрин обнажает в предводителе Струнникове его истинное общественное положение и лицо.

Нужно однако заметить, что мы все время говорим о ведущей черте в типе. Это не значит, что тип не имеет других черт. Однако все остальные черты являются подчиненными этой основной, ведущей, черте. Так если у матушки и у Арины Петровны основная черта деспотизм, то имеется ряд других черт, подчиненных основной (жадность, сластолюбие и др.).

В «Истории одного города» ведущая черта, гиперболизирование этой черты, выступает особенно ярко в каждом типе, раскрывая одну из особенностей метода сатиры Щедрина. Так глупость Органчика и Прыща гиперболизирована до своеобразной материализации этой глупости. У Органчика оказывается голова сделанной «часовых дел мастерами» по принципу органа, который может произносить лишь две пиесы: «не потерплю» и «разорю», а голова Прыща оказывается фаршированной головой, которую ночью нужно держать на леднике. Кстати, эту голову съедает обязательный обжора — предводитель дворянства.

В ответ на все наши доводы и утверждения можно возразить, указав, что не существует ни одного типа и ни одного образа у всех писателей, которые бы не имели ведущих черт. Нужно понять, что мы раскрываем в типах Щедрина особенность и функции этих черт.

Особенность: первая — общечеловеческий характер этих черт (деспотизм, трусость, обжорство и др.); вторая — обусловленность этих черт действительностью (средой, общественным положением, физиологией).

Функция этих черт: всегда ярко выраженный общественный характер, определяющий не узко личный, а общественный поступок, раскрываемый в художественном произведении.

Вырисовывая в своем произведении тип, Щедрин избегает докучливых и излишних подробностей. Среда и обстановка даются лишь постольку, поскольку они объясняют или раскрывают историческую и общественную действительность.

Особенно характерна в творчестве Щедрина функция вещей. У Щедрина вещи прикреплены к типу или тип прикреплен к вещи, которая подчеркивает или раскрывает сущность типа. Так после смерти «постылого» в его комнате нашли лишь пустую бутылку да окурки. Матушка в «Пошехонской старине» привязана к своей шкатулке.

Шкатулка — это ее вторая жизнь. «Образцовый хозяин» привязан к плетке и к рюмке водки. При этом характерно, что у «образцового хозяина» плеть служит в качестве средства «образцового» управления хозяйством, тогда как у бездельника предводителя Струнникова кнутик служит для праздного развлечения с лошадьми.

Вещная характеристика людей, «материализация» отдельных понятий, а иногда целой жизни человека — все это выступает в творчестве Щедрина как средство обобщения действительности, а не как голый факт. Существуют вещи, прикрепленные к типу на протяжении всей повести (примеры приведены выше), а иногда характеризуются отношения людей через вещь эпизодически.

Приехавшая с вечера домой сестрица ложится в постель «положив под подушку перчатку с правой руки, к которой «он» прикасался» («Пошехонская старина»). Или при поездке в Москву к девушке Агаше прикрепляют корзину с персиками. Всю дорогу она должна держать корзину на коленях и не допустить, чтобы персики помялись. Когда уже под Москвой все спутники вошли в монастырь и молятся Агаша, стоя сзади, оставалась безучастной: вероятно думала «а про персики-то я и забыла!»

В качестве материализации понятия показательны не только уже указанные выше примеры с головами Органчика и Прыща, но и трактовка понятия «закона» или «десяти лет реформы», которые переплетены и стоят в шкафу за стеклом. Или вот слова Голубкова в «Путем дорогою»: «придет крестьянин о праздник в церковь, а там на всех стенах правда написана, только со стены-то ее (правду.— *К. Ю.*) не снимешь»...

В качестве примера вещной характеристики человека служит исключительный по яркости и силе художественного обобщения эпизод с «Сатиром-скитальцем». Сатир скитался всю жизнь по свету, собирал деньги и приносил барыне на церковный колокол. В последний раз «он пришел уже совсем больной и с большим трудом присутствовал при церемонии поднятия колокола. Вероятно к прежней хворости,— пишет Щедрин,— прибавилась еще простуда, так как его и теплой одеждой на дорогу не снабдили. Когда торжество кончилось, и колокол загудел, он (Сатир.— *К. Ю.*) воротился в каморку и окончательно слег». Щедрин показал, как жизнь крепостного человека была овеществлена, п е р е л и т а в к о л о к о л.



«КНЯЖНА АННА ЛЬВОВНА»

Княжна любит природу — оттого что ей надо мужа; она богомольна—оттого что вымаливает себе мужа; она весела, потому что надеется найти себе мужа; скучна, оттого, что надежда на мужа обманула ее...

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.

Но особенно полно и многообразно использовал Щедрин как средство обобщения действительности слово. Так слово «фюить» Щедрин использует несколько раз как в основных произведениях, так и в отдельных очерках. Всюду оно несет функцию: угроза сослать человека, уничтожить. В «Истории одного города», когда властвовал Фердыщенко, народ во время голода ждал хлеба, а приехали «ту-ру! ту-ру!»

Злая издевка над царизмом, подавляющим голодные бунты карательными экспедициями драгун, рисуется у Щедрина так: «Хлеб идет! — воскликнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости. — «Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей пыльного облака...

«В колонну
Соберись бегом!
Трезвону
Зададим штыком!
Скорей! Скорей! Скорей!»

На этом глава заканчивается, в нескольких строках скупо раскрывая сущность «внутренней политики» царского правительства.

Я не буду умножать количество примеров, показывающих всю силу обобщения Щедрина в реплике или слове. Нужно лишь отметить, что слово, обобщающее действительность, у Щедрина несет функцию «шифра», условного обозначения общественного поступка («фюить», «ту-ру»), или клички общественного значения («святая простота» и др.), или слова, выражающего общественные настроения, характерные для известного исторического момента («дурак» — «В дороге»). Такое слово обычно бывает сквозным, проходит через весь очерк, являясь своеобразным лейт-мотивом очерка или рассказа. И наконец выбор типичной фамилии героя, выражающей его сущность.

Умение найти типичные черты, в которых отражается общественное настроение эпохи, вещь, через которую раскрывается сущность человека, а отсюда вся его жизнь, умение найти слово, которым характеризуется весь смысл политики царского режима, реакции, гнета и бюрократизма,— все это говорит о величайшей силе обобщения и таланта Щедрина. Все это придавало творчеству Щедрина такую силу общественного воздействия, какой до него не имела еще русская литература на историческом пути развития.

IV. Партийность, актуальность, злободневность. Выводы

В одном из своих очерков «На заре ты ее не буди» («Помпадуры и помпадурши») Щедрин своего героя Митеньку сталкивает с партиями и окунает в гущу «партийной борьбы». Существование партий в этом своем очерке Щедрин считает как неизбежность всякой общественной жизни; при этом «главных партий по обыкновению две,— пишет Щедрин,— это — партия «консерваторов» и партия «красных». Как бы мы ни вчитывались в его оценку всех партий и партийных групп, мы не найдем ни единого намека, по которому могли бы определить симпатию Щедрина к одному из описанных им «течений». В либеральных и реакционных литературных, отчасти чиновничьих «партиях», которые действовали тогда на поверхности русской общественной жизни Щедрин не усматривал ничего кроме беспринципной групповщины. К такого рода «партийности» он относился враждебно. С революционными же организациями, по всем существующим данным, Щедрин не имел никаких связей. Революционное подполье он знал очень мало. Мы имеем полное основание утверждать, что Щедрин, имея в молодости жестокий опыт ссылки за недоказанную правительством принадлежность к петрашевцам, решил быть только литератором и ни к каким политическим партиям не примыкать. Доказательством к этому служат его связи. Дружеская связь с Анненковым и наряду с этим вначале узко деловая, а затем тесно деловая связь с Некрасовым, деловая связь с Михайловским. В переписке, как и в своих очерках, Щедрин касается и «священной дружины», и «Общества борьбы против террора», и народовольцев, но все это косвенно, мимоходом. Однако и в этих письмах сквозит та же мысль —

против беспринципности, как и против реакции. Так членов общества «Вольная дружина» Щедрин именует в письме к Михайловскому как шпионов, а в «Отечественных Записках» — январь 1883 г. — он выводит их как взволнованных лоботрясов.

Однако все эти факты не говорят за то, что Щедрина можно считать таким беспартийным человеком, который стоял особняком от всего революционного движения и строчил злобные отповеди всем и вся без различия «класса и племени». Партийность Щедрина определяется не организационной принадлежностью к той или иной партийной группе, а его творчеством, его партийными книжками очерков и большой художественной литературы. Уже из приведенных материалов видно, в каком лагере партийной жизни и борьбы находился Щедрин. Его убеждения, начиная от эстетическо-философских и кончая взглядами на роль и задачи литературы, были прямым союзничеством, а затем активным продолжением идей и традиций Чернышевского при некоторых коррективах. Свою роль Щедрин понимал главным образом как роль писателя, художника, продолжателя этих идей в литературе методами и средствами литературы. Его взгляды на идеалы, идейность, народ, общество, государство, его последовательная борьба с крепостничеством, а затем пережитками крепостничества в сознании людей, в государственном аппарате и хозяйственном развитии страны четко определяют позиции Щедрина как революционного просветителя. Щедрин является тем писателем, который целиком входит в понятие «наследства», трактуемого В. И. Лениным (см. статью «От какого наследства мы отказываемся»). Попытка Михайловского сделать Щедрина своим братом по духу уже получила достаточный отпор М. С. Ольминского. Разбирая воззрения народников, Ленин пишет: «Наследство» 60-х гг. с их горячей верой в прогрессивность данного общественного развития, с их беспощадной враждой, всецело и исключительно направленной против остатков старины, с их убеждением, что стоит только вымести до-чиста эти остатки и дела пойдут как нельзя лучше,— это «наследство» не только не при чем в указанных воззрениях народников, но прямо противоречит им». Каждый тезис, выдвигаемый Лениным в его статье о «наследстве», может быть подкреплен примерами реальной творческой практики Щедрина, доказывающей, что мы имеем дело с писателем той линии «наследства», а не народничества, о которой писал Ленин. Даже то «легкомыслие», с которым пускается народник (забыв об окружающей его обстановке) во всевозможное социальное прожектерство, начиная от какой-нибудь «организации земледельческого труда» и кончая «обмирщением производства» стараниями нашего «общества» (Ленин),— все это нашло яркое осмеяние в сатире Щедрина. Поэтому Ленин использовал Щедрина в качестве примеров в своих статьях и речах не только потому, что у Щедрина были яркие образы, живо звучащие и сегодня, но еще и потому, что Щедрин своими убеждениями, своим творчеством разоблачает худшие стороны «народничества», в то время как народники последующего этапа развития хотели представить Щедрина как своего. Ленин, опираясь на Щедрина, защищал «наследство» Щедрина от цеплявшихся за него либералов и одновременно использовал Щедрина в своей полемике с народниками.

Наряду с этим для нас важно выяснить партийность Щедрина и в творческом методе, насколько партийны были его взгляды на творческое развитие литературы; насколько творческий метод отвечал не только основным партийно-политическим установкам писателя, но насколько партийность, являясь одной из форм проявления мировоззрения писателя, определяла в значительной мере и форму творчества, и творческий метод.

С точки зрения взгляда на литературу как проявление мировоззрения, определяющего отношение писателя к действительности, определяющего идейность литературы и ее место как формы идеологии, любопытны высказывания Щедрина о французской буржуазной литературе его времени в очерках «За рубежом».

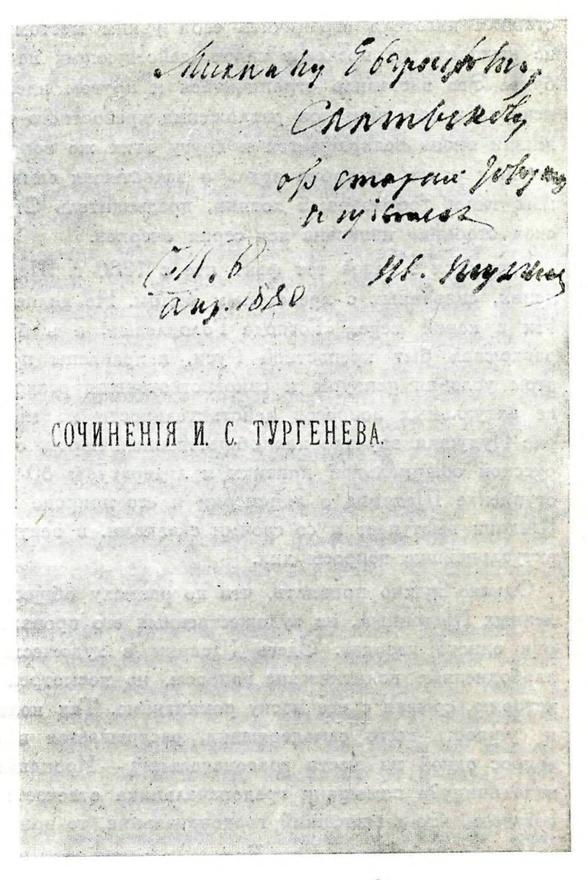
Мы уже указывали, как Щедрин объясняет влияние на литературу тех процессов, какие он наблюдал во французском буржуазном обществе. Щедрин, учитывая эти процессы, видит и отличие буржуазной французской литературы от той русской литературы, представителем которой он являлся. «Размеры нашего реализма несколько

иные,— пишет Щедрин,— нежели у современной школы французских реалистов. Мы включаем в эту область всего человека, со всем разнообразием его определений действительности; французы же главным образом интересуются торсом человека, из всего разнообразия его определений с наибольшим значением останавливаются на его физической правоспособности и на любовных подвигах».

Мы видим, что Щедрин резко отграничивает свой реализм от так называемого французского реализма буржуазии начала ее загнивания. Свои эстетические взгляды Щедрин последовательно проводит вплоть до таких специфических общих понятий искусства, как стиль. Этим Щедрин определяет свои партийные позиции по основному вопросу литературы, по ее стилевому формированию.

Он видит не только общее различие стилей, но в связи с этим и тип писателя, вплоть до того места, какое должен занимать писатель в общественной жизни. Щедрин четко отвечает на вопрос, кто писатель: созерцатель или борец, пассивный отображатель или активный идеолог.

«Реалист французского пошиба,— пишет Щедрин,— имеет то свойство, что он никогда не знает, что он сейчас напишет; и никто его обуздать не может; ни обуздать, ни усовестить, потому, что он на все усовещания ответит: я не идеолог, а реалист; я описываю лишь то, что в жизни бывает. Вижу забор — говорю: забор; вижу поясницу — говорю: поясница!» Совершенно иначе понимает задачи писателя и литературы Щедрин. Литература — носительница идеалов, средство воспитания и просвещения масс, поэтому писатель должен быть борцом за эти идеалы, в каких бы условиях он ни находился. И Щедрин, так же как и Чернышевский, умел свои мысли, свои идеи доносить до сознания своего читателя любыми средствами и при любых условиях. «Привычкой писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть ее с лица земли. Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала к обманным средствам» («Признаки времени»). Вот эти обманные средства во имя идеалов и той неподкупности, о которой всегда говорил Щедрин в связи с задачами литературы, являются показателем той особой «партийности» литературы 60-х годов, одним из ярчайших носителей которой и был Щедрин. Это был своеобразный язык литературы 60-х годов. На примерах этой литературы мы видим, как складывается в известных исторических условиях, при партийном выражении идеалов определенных классовых групп не только их литература и искусство, но и стиль. Так условия партийной борьбы Щедрина определили не только жанры его творчества, но отразились и на формировании стиля. Реализм Щедрина — это не безыдейный натурализм, именуемый реализмом так называемой «французской школы». Реализм Щедрина — это не человек, действия которого дальше личных чувств, ограниченных рамками любви и половых страстей, не идет, а действительность во всем разнообразии ее определений человеком. Таким образом если буржуазный реализм замыкал действительность в узкие рамки узеньких чувств, страстишек и представлений человека, то Щедрин ставил человека в многообразные и широкие условия самой действительности. Если литература французской буржуазии этого периода ориентировалась на низменные чувства своего читателя, то Щедрин, связанный условиями цензуры, черной реакцией, ориентировался на читателя с целью пробуждать в нем чувство борьбы с безыдейностью, старался насаждать свои идеалы, без которых он не мыслил развитие общественной жизни. И Щедрин видел своего читателя. Читателя с рабьей складкой ума. Читателя, которого нужно заставить познать самый существенный интерес общества — познание самого себя, без чего действительное вступление на стезю исторической жизни невозможно (формулировка — в понимании Щедрина). Отсюда и особенность языка, отсюда аллегории. Щедрин в «Недоконченных беседах» указывает: «В виду общей рабьей складки ума, аллегория все еще имеет шансы быть более понятной и убедительной и, главное, привлекательной, нежели самая понятная, убедительная речь. Ясная речь уместна там, где уже народился читатель, которого страшными словами не удивишь». Вот в этой выдержке наряду с прямыми указаниями на сущность языка аллегорий и причины его успеха



ЭКЗЕМПЛЯР «СОЧИНЕНИЙ» И. С. ТУРГЕНЕВА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА М. Е САЛТЫКОВУ

Собрание В. А. Десницкого, Ленинград.

мы имеем и самую аллегорию. Последний абзац этой цитаты — об ясной речи и страшных словах — пример характерного аллегорического языка Щедрина, когда в одной и той же фразе высказывается прямая мысль Щедрина об идеале литературы — ясная речь, и с другой стороны, указание на читателя, которого «страшными словами не удивишь». Надо иметь в виду не только читателя в прямом смысле слова, но и того читателя, который сидит в цензурном комитете.

Партийные задачи литературы революционного просветительства заставляли вырабатывать и жанры, отвечающие общим задачам литературы. Так основным жанром Щедрина является очерк. В очерке Щедрин осмысливает, изучает происходящие процессы действительности, в очерке он делится своими мыслями о происходящих событиях. При этом цельные большие полотна Щедрина типа «Истории одного города» и «Пошехонской старины» подготовляются рядом предварительных разработок, серией очерков. Так «Истории одного города» предшествовали заготовки материала и серия очерков, известных как «Невинные рассказы» и «Помпадуры и помпадурши». «Помпадуры» вышли цельным изданием в 1873 г., а «История» печаталась с 1869 по 1870 г. Представляется, что «История» явилась раньше, чем «Помпадуры». Однако «Помпадуры» печатались отдельными очерками с 1863 г. Таким образом очевидно, что «Помпадуры» явились тем вступительным и разведочным материалом, который послужил затем основой для монументальной сатиры «История одного города». Большому полотну «Пошехонской старины» предшествовала серия «Пошехонских рассказов». При этом «Пошехонская старина» имеет прямую связь с «Господа Головлевы». Оба произведения относятся к жанру романов-хроник. Однако здесь мы имеем процесс их рождения *обратный «Истории одного города». «Господа Головлевы» наиболее цельное сюжетно- и* фабульно-выдержанное произведение. Однако именно эта сюжетность и фабульность за-

ставили писателя ограничить себя узким местом действия — имением Головлевых — и не выходить из пределов типов, действующих на протяжении четко разработанной фабулы. Это заставило ограничиться и кругом идей, которыми «Господа Головлевы» не исчерпали всех вопросов разложения крепостного права. Поэтому Щедрин уже к концу жизни вновь возвращается к кругу этих же вопросов в «Пошехонской старине», преодолевая рамки «истории рода» и захватывая самый обширный круг общественно-значимых типов (образцовый хозяин, предводитель Струнников и др.). Поэтому «Пошехонская старина» написана как серия очерков.

Бросается в глаза тот факт, что с 1880 г. Щедрин занимается разработкой произведений, связанных с крепостным бытом. Не является ли это отходом от актуальности? Ни в какой мере. «Господа Головлевы», а в большей мере «Пошехонская старина», раскрывая быт крепостной Руси, направлены против остатков крепостничества. При этом условия цензуры и свирепствовавшая реакция заставили прибегнуть к постановке актуальных вопросов действительности на материале «крепостного быта». Лицемерие Иудушки звучало как общественный порок, особенно характерный и типичный для русской официальной критики и литературы 80-х годов. Отсюда и дидактическое отступление Щедрина о лицемерии и его природе в условиях Франции. В эти же годы Щедрин выступает и со своими сказками, в завуалированной форме сказки отвечая на актуальнейшие вопросы дня.

Однако нужно признать, что по размаху общественно-политических вопросов, поставленных Щедриным, из художественных его произведений на первом месте стоит «История одного города». Здесь Щедрин в художественных образах обобщил не только злободневные политические вопросы, но посмотрел через очки сатирика и на русскую историю, срывая с нее маску романтизма. Так полоса царствования русских цариц, как и сущность всего самодержавия, раскрывается в сатире Щедрина такой фразой. На вопрос одной из шести градоначальниц — Ироидки: «Признаете ли вы меня за градоначальницу?» помощник градоначальника отвечает: «Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю!»

Путешествие Петра I по Европе, а затем страсть к путешествию Александра II нашли свое отражение в путешествии по городскому выгону градоначальника Фердыщенко. Режим Аракчеева нашел отражение в планах Угрюм-Бурчеева и т. д.

«История» содержит как бы три плана: первый (основной) **исторический**, в который вклиниваются второй — **общие актуальные вопросы** действительности, и третий — в виде отдельных реплик, блестками разбросанных по всей истории,— **это злободневные факты**. Щедрин в описании градоначальников пишет, что «Маркиз де Санглот... уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представления у Излера на Минеральных водах». Щедрин делает сноску, корректирующую «Историю» от лица издателя: «Это очевидная ошибка». Градоначальник Органчик в то время, когда испортилась его голова, «прекратил на время анализ недоимочных реестров». Щедрин делает сноску: «Очевидный анахронизм. В 1762 году недоимочных реестров не было». Во времена Органчика «публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история (с головой Органчика.— *К. Ю.*) — есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом, припомнив лондонских агитаторов и переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свила себе гнездо в самом Глупове». Щедрин под словом «лондонских агитаторов» делает сноску: «Даже и это предвидел летописец». Так на историческом материале разворачивается актуальная сатира, в которой злоба дня (государственный авантюризм, окладные листы, «Колокол» Герцена) разворачивает и делает более выпуклым, реальным и более злободневным общеисторический материал.

Так же расцвечен каждый очерк «Помпадуров». Полоса пожаров, приписываемых делу Герцена, находит свое отражение в такой реплике: «Однажды зашла речь о пожарах и некоторый веселый собеседник выразил предположение, что новый начальник, судя по его действиям, должен быть, по малой мере, скрытый член народного жонда».

Помпадур в отставке пишет свои мемуары и просит отдать их после смерти Каткову — «Никому, кроме Каткова!» — а лечь хочет рядом со стариком Вигелем. Польское восстание выражено единственной репликой баронессы, отвечающей на все сомнения Козелкова: «Дмитрий Петрович хочет итти... «до лясу»!..»

«Его даже видели в городском лесу,— замечает Щедрин,— токующим с тетеревами». Тетерева у Щедрина — условный термин «красных».

Так дышет юмором, сатирическим смехом, откликаясь на злобу дня, каждая страница художественного творчества Щедрина.

Нужно различать в творчестве Щедрина актуальность историческую, когда берется большое общественно-историческое явление, на которое писатель отвечает целым произведением (остатки крепостничества, бюрократизм и т. д.). В пределах этого исторического процесса Щедрин видит идеологические процессы, отдельные настроения, на которые он отвечает или серией очерков, составляющих затем цикл (настроение упадка — «Убежище Монрепо»), или как бы мимоходом затрагивает эти вопросы в своих очерках по большим проблемам. И наконец злоба дня, на которую писатель откликается в виде реплик, разбросанных по страницам основных произведений и очерков. Однако по поводу всей «злобы дня» Щедрина нужно сказать, что она никогда не являлась обывательским брюзжанием, бесхребетным злопыхательством. Каждая реплика Щедрина была проникнута партийной принципиальностью и целеустремленностью. Это не беззубая острота — лишь бы смешно было, а каждый раз удар по враждебным «принципам», удар по врагу.

Так мы видим, как по существу глубоко партийно было творчество Щедрина, его взгляды на литературу, на обязанности писателя и на процессы общественной жизни. Актуальность творчества Щедрина в его глубокой идейности. Щедрин был гениальный художник. Поэтому всю его деятельность, как и все развитие его философских, эстетических и политических взглядов, нужно рассматривать в специфическом выражении художественной формы. Отвечая на сумму вопросов, поставленных в начале статьи, мы теперь имеем основание дать на них ответ.

Противоречивость Щедрина — мнимая противоречивость. Только тот, кто не видит развитие Щедрина как художника, кто не видит путь развития мировоззрения писателя и его эстетических взглядов, только тот и не поймет «противоречивости» Щедрина.

Щедрин «бьет по своим». Только это те «свои», которые пытались хвататься за отжившие формы и не видели исторической перспективы. По таким «своим» Щедрин бил, как бил и по всякому оппортунизму.

Щедрин величайший сатирик, но не скептик. Свой скептицизм Щедрин травил оружием своей же сатиры. Щедрин величайший самокритик. Он открыто пересматривал свои взгляды, раскрывал свою жизнь. Свой рост, свое развитие, борьбу с личными сомнениями он видел в общественном раскрытии этих «слабых мест» и в самокритике, так же точно, как общественное развитие он видел в пропаганде идеалов, в просвещении, в критике прогнивших устоев.

У Щедрина величайшая сила отрицания. Но эту силу верно понять можно лишь тогда, когда одновременно видишь и его силу обобщения. Сила отрицания Щедрина в обобщении. Отрицая, Щедрин заставляет человека «незаметно для самого себя» получать новые привычки, ассимилировать себе новые взгляды, приобретать складку, одним словом, вырабатывать в себе нового человека.

Нельзя говорить о «сильной жилке публицистики» Щедрина. Все творчество Щедрина публицистично, но публицистично в смысле актуальности его творчества, и актуальность эта достигается большой идейностью. Его публицистика художественна, тогда как художественность публицистична своей актуальностью. В публицистических статьях ведущим остается публистичность, тогда как в художественных произведениях ведущим остается художественность. Это основное в понимании места художественности и публицистичности в творчестве Щедрина.

Понимая развитие мировоззрения Щедрина, нельзя говорить и о его душевной раздвоенности. Щедрин был утопист, Щедрин был идеалист, но затем сформировался и провел большую и основную плодотворную часть своей жизни как материалист. Философия Фейербаха в толковании Чернышевского явилась основной в формировании взглядов Щедрина. Однако нужно учитывать, что Щедрин был не философ, а художник. Философский образ мысли для него не был типичным. Поэтому развитие и философских, и эстетических, и политических взглядов в Щедрине нужно рассматривать как выражение этих взглядов художником в его творчестве, выражение особыми свойственными художнику формами.

Нельзя рассматривать Щедрина и как врага всяких подневольных и бессознательных союзов. Никаким психологизмом Михайловскому смягчить резкую оценку «общины», данную Щедриным, а отсюда общинных тенденций народничества не удастся. Щедрин с его творчеством и его взглядами целиком укладывается в понятие «наследства», данное Лениным.

Отсюда — не историческое изложение быта крепостничества, а активная борьба с крепостничеством и его остатками в сознании людей и государственном управлении.

Произведения Щедрина злободневны. Однако основное в них не злоба дня, а высокая идейная актуальность. «Злоба дня» в творчестве Щедрина теряет свою актуальность, но всегда остается исторически важной. Актуальность, будучи заложена в глубокой идейности, в среде единственно прогрессивного класса — пролетариата, всегда будет жить.

Щедрин является выразителем идей революционного просветительства, пропагандистом идей Чернышевского в своем творчестве. Продолжая жить в новых условиях, уже после смерти Чернышевского, Щедрин в духе Чернышевского, но как художник воспроизводил в своем творчестве процессы развивающейся действительности. Однако воспроизвести — это не значит сделать те выводы, какие может сделать логически мыслящий ум.

Щедрин, не будучи ученым, излагал классовую борьбу как художник. Однако это нисколько не сделало Щедрина «учеником». Щедрин остался в пределах наследства. И лишь гениальный ученик Маркса Ленин это «наследство» развил и применил в условиях русской действительности в духе своего учителя.

Щедрин — наш, мы Щедрина должны пропагандировать, разъяснять, изучать, использовать как наследство. Но это не значит, что Щедрину нужно рабски подражать. Перед советской литературой стоит задача не только отрицать и отрицая воспитывать, но и утверждать, выводить положительные типы, положительных героев социалистической стройки. Положение советского писателя изменилось так же, как изменилась и вся действительность. Действительность обеспечивает в Советской стране переделку частных идеалов. Однако капитализм оставил такие глубокие пережитки, которые одними экономическими условиями не изживешь. Их приходится изживать с культурным ростом и перевоспитанием масс.

Отсюда «частные» идеалы становятся общим делом. Не изжив эти «частные идеалы», мы не сможем укрепить наши общечеловеческие, коммунистические идеалы. Поэтому «наследство» мы осваиваем, вбираем все действенное для развития советской литературы.

Щедрин на нашей линии развития литературы в пределах того «наследства», которое очерчено Лениным.

ЩЕДРИН — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Исследование А. Лаврецкого

Печатаемая ниже работа А. Лаврецкого «Щедрин — литературный критик» обладает рядом серьезных достоинств. Статья содержательна, конкретна, она впервые серьезно разрабатывает важную и интересную область деятельности Щедрина. Но правильно в общем характеризуя Щедрина как великого писателя и критика в русской революционно-демократической литературе 60—80-х годов, Лаврецкий допускает вместе с тем ряд очень слабо аргументированных утверждений, могущих повести к неверному определению места, занимаемого Щедриным в истории русской литературы и общественной мысли соотносительно с другими публицистами, критиками и писателями эпохи.

Поэтому мы считаем необходимым оговорить следующее:

Бесспорно, что Щедрин был чужд ряду слабых сторон народнического мировоззрения 70—80-х годов. Но нам представляется необоснованным то категорическое отрицание наличия каких-либо народнических элементов во взглядах Щедрина, которое мы встречаем в статье Лаврецкого. Нельзя решать этого вопроса, не объяснив, например, почему Щедрин мог долгие годы работать в «Отечественных Записках» рука об руку с такими теоретиками народничества, как Михайловский и Елисеев. Упрощенным нам кажется также использование Лаврецким известного ленинского противопоставления народничества и «наследства». Характеристика «наследства» у Ленина конкретно-исторична. Для Ленина «наследство» буржуазного просветительства органически связано с эпохой 60-х годов. О народничестве же Ленин говорит, что оно прибавило к «наследству» критику капитализма и стало поэтому на определенном историческом этапе «явлением прогрессивным», несмотря на утопизм этой критики («От какого наследства мы отказываемся»). Говорить о Щедрине только как о представителе «наследства» — значит не объяснить того, каковы были корни критики капитализма у Щедрина, так как для наследства, как такового, эта критика вовсе не была типичной.

А. Лаврецкий противопоставляет Щедрина и Писарева с точки зрения того, что Щедрин в отличие от Писарева отрицал идеологическую преемственность между «людьми 40-х годов» и «разночинцами». Между тем такую преемственность признавал не только Писарев, но и Чернышевский, хотя конечно Чернышевский хорошо видел все слабые стороны дворянской интеллигенции 40-х годов. Ошибка Лаврецкого заключается в недоучитывании того, что Щедрин, с одной стороны, Чернышевский и Писарев — с другой, оперируют в данном вопросе различным материалом. Так Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» например говорил о немногих передовых дворянских интеллигентах 40-х годов, в первую очередь о Герцене. Щедрин же имеет в виду, как впрочем почти всегда, «среднего человека»—в данном случае среднего дворянского интеллигента. Герцен был предшественником разночинцев (на что имеются абсолютно ясные указания Ленина), но Кетчеры, Корши, Боткины — друзья Герцена, впоследствии ему изменившие,—предшественниками Чернышевского конечно не были. Во всяком случае здесь нет оснований для того, чтобы противопоставлять Щедрина Чернышевскому или хотя бы Писареву.

А. Лаврецкий видит в Щедрине «завершителя» той критики дворянской культуры, которая была начата Чернышевским и Добролюбовым. К сожалению Лаврецкий рассматривает здесь литературно-критическую деятельность Щедрина оторванно от других сторон его мировоззрения. В противном случае у него не было бы никаких данных для того, чтобы утверждать, что Щедрин пошел дальше Чернышевского или Добролюбова. Но в данном разрезе неверно утверждение, что в критике Щедриным дворянской культуры «суровый классовый суд... более резко выражен, чем суд Добролюбова». Верно, что критика дворянской культуры не была для Щедрина самобичеванием. Но надо помнить, что Щедрин, как это правильно указывает сам Лаврецкий, стоял в 50-х и в начале 60-х годов на либеральных позициях. Для него «дворянские мелодии» были все же собственным прошлым, хотя и преодоленным. Для Добролюбова же «дворянские мелодии» были всегда чем-то абсолютно чуждым. Поэтому у Щедрина критика дворянской культуры носит более нервный, озлобленный, взволнованный характер. Но спокойствие Добролюбова отнюдь не делает его критику менее суровой, беспощадной и глубокой.

Недостаточно правильно подходит Лаврецкий и к такому важному эпизоду в публицистической деятельности Щедрин, как его полемика с «Русским Словом» в 1864 г. Прав Лаврецкий, выступая против давно уже разрушенной марксистской критикой легенды о Писареве как предшественнике марксизма в России, как о публицисте, более близком к марксизму, чем Чернышевский. Но он решительно заблуждается, пытаясь усмотреть в критике Щедриным «Что делать?» Чернышевского только «тактическую ошибку», уверяя, что в этой критике не было «достаточной принципиальности».

Эти странно звучащие нотки имеют своим источником явно неправильное представление о Щедрине 60-х годов как идеологе крайней революционной демократии, будто бы даже «преодолевающим» утопизм, свойственный тогдашним революционно-демократическим кругам, в том числе утопизм самого Чернышевского. В действительности дело разумеется в другом.

Щедрин не только в 60-е годы, но и позже не знал того революционного энтузиазма, который был так силен в Чернышевском. В 60-х годах именно социалистические элементы мировоззрения Чернышевского менее других оказали влияние на Салтыкова, только еще начинавшего в «Современнике», под влиянием Чернышевского, уходить от либерализма к революционной демократии. Выступление против «регламентации подробностей», якобы содержащейся в «Что делать?» было в конечном счете выражением недостаточности революционной социалистической веры Щедрина, выражением недостаточного понимания революционно-воспитывающего, в тогдашних условиях, значения этого произведения.

Наконец, рассматривая критические высказывания Щедрина, Лаврецкий не проводит необходимую грань между высказываниями Щедрина, критикующего литературные произведения других писателей, и Щедрина, объясняющего свои собственные произведения и обосновывающего художественные принципы, на которых эти произведения построены. Щедрин считал себя писателем-новатором и был в этом смысле совершенно прав, но неверно было бы на этом основании делать вывод, что вся остальная литература была в лучшем случае «старым реализмом» в отличие от нонового, щедринского, реализма. А по мнению Лаврецкого «критика даже непосредственных предшественников Щедрина — Чернышевского и Добролюбова — основана на старом реализме». Такая постановка вопроса может повести к упрощенной канонизации творческого метода Щедрина и к пренебрежительному отношению ко всему остальному литературному наследству. Достаточно указать на то, что никак не укладывается в понятие старого реализма творчество Л. Н. Толстого. Ведь и в творчестве этого великого писателя, пусть своеобразными и сложными путями, сказались социальные влияния крестьянских масс.

Редакция

ЩЕДРИН — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Не претендуя на роль литературного критика, никогда не подписывая своих критических статей и рецензий, Щедрин неоднократно обращался к литературной критике. Повидимому она удовлетворяла потребности писателя в такой форме выражения мысли, которой он не находил в художественном творчестве,— потребности высказаться на темы, в нем не разрабатывавшиеся, и популяризировать основные идеи собственных художественных произведений, свой творческий метод.

Были периоды, когда Щедрин уделял литературной критике особое внимание. Это — 1863—1864 гг., когда он принимает ближайшее участие в «Современнике», это — 1868—1869 гг., когда он возобновляет в «Отечественных Записках» свою литературную деятельность после довольно долгого перерыва. Но и до и после этих основных дат Щедрин время от времени выступает с критической статьей или рецензией. Эта область его литературного наследия значительна не только качественно, но и количественно.

Однако вопрос о Щедрине — литературном критике как особом явлении в истории русской общественной мысли не привлекал еще должного внимания. Постановка его осложняется, правда, тем, что мы не можем еще восстановить во всех деталях картину критической деятельности сатирика. Щедринистам-текстологам приходилось и приходится проделывать трудную и кропотливую работу по разысканию анонимных критических статей и рецензий Щедрина. Ждет еще доказательства принадлежность Щедрину тех этюдов и заметок, которые с большим или меньшим основанием приписываются ему В. Гиппиусом и др.[1]. Все же и то, что признано несомненно щедринским (анонимные статьи и рецензии, указанные А. Н. Пыпиным [2], критические работы, принадлежность которых Щедрину установлена В. Е. Евгеньевым-Максимовым, Р. В. Ивановым-Разумником, Н. В. Яковлевым, наконец С. С. Борщевским, выпустившим целый ряд критических статей и рецензий сатирика [3] полно такого и исторического, и актуального интереса, что оправдывает хотя бы предварительную постановку проблемы.

1. ПЕРВЫЕ РЕЦЕНЗИИ

Рецензиями Щедрин начал свою литературную деятельность, если не считать стихов. В «Отечественных Записках» за 1847 и 1848 гг. печатались библиографические заметки Щедрина о детских и учебных книгах. Не выделяясь из общей массы журнальных отзывов, они проникнуты общими для передовых людей эпохи стремлениями. От книги требуется дельность, реалистический взгляд на вещи, в частности от литературы для детей — трезвость, устранение сказочного элемента, раздражающего фантазию и отвлекающего от жизни, расслабляющего мечтаниями ум и волю.

В этих мыслях молодого рецензента о воспитании, занимавших его в то же время и как автора повести «Противоречия» (1847) [4], намечается уже та связь между Щедриным-критиком и Щедриным-художником, которая в дальнейшем настолько углубится, что нам не раз придется обращаться к его художественным произведениям.

Еще другую черту вынесет он из эпохи 40-х годов. Отрицание мечтательности, стремление к трезвой правде в литературе не исключают, а напротив стимулируют у Щедрина интерес к форме, от которой зависит выявление и распространение этой правды. Мы знаем, как упорно работал Щедрин над языком своих произведний, как оттачивал их мощное словесное вооружение.

Об этих интересах молодого Щедрина, уже характерных для него как для художественного критика, свидетельствует довольно подробное сравнение пересказа «Илиады» (в рецензируемой книге К. Беккера «Рассказы детям из древнего мира») с простыми, но исключительно выразительными строками поэмы в переводе Гнедича. «Как видно, форма, великое дело!» убедительно заканчивает свое сравнение автор [5], и он не забудет этого много лет спустя, когда вернется после долгого перерыва к литературной критике. (Рецензия на книгу Беккера — одна из последних рецензий Щедрина до вятской ссылки.)

2. МЕЖДУ «РУССКИМ ВЕСТНИКОМ» И «СОВРЕМЕННИКОМ».

Отправляя Щедрина в «места не столь отдаленные», николаевские жандармы прерывали деятельность революционно настроенного писателя, остро чувствующего социально-политические противоречия. Идеи утопического социализма определили его образ мыслей. И если не все для него бесспорно в увлекших его социальных учениях, то не идея нового, социалистического общественного строя внушает сомнение молодому Щедрину, а именно утопичность средств к этой великой цели. Автор «Противоречий» и «Запутанного дела» уже тогда проявляет свой недоверчивый к утопизму критический ум сатирика; он понимает, что путь к новому миру проходит через обострение противоречий мира старого, через борьбу, что лишь великие потрясения опрокинут ненавистную социальную пирамиду, но для этой борьбы нужна сила, которой молодые фрондирующие дворяне составить не могут.

И тогда уже наметилась может быть основная проблема жизни и творчества Щедрина — проблема преодоления утопизма, проблема надежной силы в деле общественного преобразования.

Удар, обрушившийся на Щедрина в этот период, подтверждал сами по себе здоровые сомнения, но дал его мыслям неожиданное направление. Он превращал сомнения в путях утопического социализма в отрицание возможности коренного общественного преобразования вообще. Об этом впоследствии со стыдом вспоминал сам Щедрин:

«Есть обида, которая и доныне дает мне чувствовать себя. Этой обидой я называю ту сердечную робость, ту потребность примирения, которые, как вор, прокрались в мое существование. С той минуты, как я перешел за рубеж, с той минуты, как я в первый раз сказал себе: да! это так! это иначе и не должно быть ...эта мысль... укоренилась во мне...» [6]

Этими настроениями объясняется разница между «Губернскими очерками» и первыми повестями Щедрина. Щедрин 50-х годов не чужд идей передового славянофильства, преклонения перед той «народной правдой», которая весьма далека от правды революционной. Политически это означало либеральное примиренчество вместо борьбы.

В этот период «Губернским очеркам» в области художественной литературы соответствует статья о Кольцове в области критики. Напечатанная в «Русском Вестнике» [7] с лестной рекомендацией тогда еще либерального Каткова, она написана в объективистски-примирительном тоне. Здесь критика еще не является для Щедрина тем мощным оружием классовой борьбы, которым станет семь лет спустя. В лице Кольцова он сочувствует поэту «так благодушно, так беззлобно взглянувшему на мир», услышавшему в нем живую «Песню пахаря», которая «заставляет любить и творца ее, и всю эту толпу труждающихся, о которых в ней говорится. Чувствуется, сколько силы и добра посеяно в этой толпе, сколько лучших возможностей заключает она в себе» [8]. Все это напоминает те страницы «Губернских очерков», где с таким умилением автор противопоставляет испорченности и дряблости имущих классов живое, чистое, религиозное чувство народа, его простую, крепкую веру. Поэзия Кольцова отразила эти свойства, это делает ее подлинно народной и поучительной для оторвавшегося от народной жизни слоя. Чувства его, готовые расплыться в ложном самодовольстве, эта поэзия сдерживает представлением о суровом труде.

Народ и его творчество рассматриваются здесь не сами по себе, а как источник оздоровления господствующего класса.

Какие же задачи стоят перед этим классом, помимо его оздоровления и исправления, по отношению к народу? Лишь один ответ можно извлечь из статьи Щедрина: добросовестное изучение народной жизни. Щедрин здесь выступает против тенденциозности вообще: «прежде нежели придумывать, куда нам итти и каким образом развиваться, надобно нам узнать, как нас зовут и куда мы идем» [9].

Для этой цели особенно ценна нетенденциозность Кольцова, его «отвращение от всякого преувеличения», противопоставляемого здесь истинности, которую в дальнейшем великий сатирик, вооруженный правильно понятой тенденцией, будет выражать именно путем отвергаемых тут «преувеличений», мысля их как формы ее выявления.

При всем том в этой еще либерально-объективистской статье находим ряд черт, которые Щедрин разовьет впоследствии в своей уже остро боевой критике.

Будущий борец с эпигонами дворянской поэзии, отрицатель всякой условной поэтической красивости, всего арсенала мифологических выспренностей особенно ценит у Кольцова «поэзию простых вещей», «мельчайших подробностей русского простонародного быта». Критик-общественник, мыслящий отрыв поэзии от интересов большинства как нечто противоестественное и для нее пагубное, страстно сочувствует в Кольцове тому, что он живет этими интересами, не забывая о них даже в поэтическом увлечении природой.

«Тем именно и велик Кольцов, что он никогда не привязывается к природе для природы, а везде видит человека, над нею парящего. Неосмысленная присутствием и трудом человека природа является чем-то недоконченным, недоговоренным. Это хаос,— коли хотите, полный жизни, но все-таки не более как хаос».

В Кольцове критику дорог поэт, для которого природа при всей своей красоте «все-таки второстепенный член в искусстве», ибо «прямым предметом искусства должен быть человек» [10].

Своим утверждением трудящегося человека как основного начала искусства, осмысливающего то, что считалось по преимуществу достойным предметом искусства — природу, Щедрин разрывает с дворянской эстетикой уже в свой либеральный период.

Здесь Щедрин близок антропологическому принципу в эстетике, незадолго до этого провозглашенному Чернышевским в его знаменитом трактате («Об эстетических отношениях искусства к действительности»).

Революционно-демократической эстетике близок также высказанный здесь взгляд на художника как «объяснителя» жизни: «ничто лучше не объясняет читателю известного явления, как представление его в живом образе».

С указанными чертами связана еще одна, не менее характерная для демократической критики 60-х годов. Это — материалистический подход к жизненным явлениям, к взаимоотношениям и самой психике людей.

«При известной экономической обстановке на человека смотрят не иначе как на рабочую силу» [11].

«Довольством материальным обеспечивается довольство духовное, потому что первое служит неизбежным условием всякой независимости, без которой нет сознания собственного достоинства, нет уважения к своей человеческой личности» [12].

Но не только зависимость подобных общих черт от материальных условий уже тогда умел улавливать Щедрин, но и более конкретные свойства, как например особенности национального характера.

Так он пишет, что беспечность, русское «авось», составляет как бы необходимое последствие «искусственнных экономических отношений» [13], и указывает на отражение этих последствий в творчестве Кольцова: в «Песнях Лихача Кудрявича» «нет даже и мысли освободиться от какой-то слепой, неизвестно откуда являющейся необходимости, посылающей беду и счастье».

«Искусственные экономические отношения» — это конечно крепостное право, в котором Щедрин видит своего рода фатум народной жизни, «не представляющей ничего, кроме случайностей, которых нельзя ни предотвратить, ни предвидеть. При таком положении вещей равнодушие к будущему и непредусмотрительность делаются явлениями вполне нормальными и логически последовательными» [14].

В этом отрицании слепой необходимости, властвующей над крестьянской жизнью в результате определенных экономических отношений, ее иррациональности и фаталистической покорности народной психики нельзя не узнать одной из основных тем Щедрина в дальнейшем.

* * *

Лишь через семь лет встречаемся мы снова с Щедриным-критиком, уже не на страницах «Русского Вестника», а «Современника». Чтобы пройти длинный путь от Кат-

кова к самому революционному органу своего времени, надо было преодолеть много иллюзий. Среди них и надежду на «великодушие сильной воли», и на возможность единого фронта от Чернышевского до Кавелина[15]. Эта эволюция не должна нас удивлять. В атмосфере бурного общественного движения 60-х годов, усилившихся темпов экономического развития, обострившихся классовых противоречий и другие представители революционной домократии пережили подобную эволюцию от либеральных идей и надежд на благие намерения власти, от неопределенной демократической настроенности до непримиримого отрицания существующего порядка. Для Щедрина эта эволюция была облегчена теми традициями социализма 40-х годов, которые в нем лишь временно заглохли, но не умерли. В благоприятной атмосфере они должны были ожить. Здесь мы подходим к вопросу о том идейном богаже, с которым Щедрин пришел в «Современник», к вопросу, который до сих пор является спорным. Одни полагают, что уже в 1863 г. Щедрин был народником, другие, повторяя враждебные суждения о нем Достоевского и Писарева, считают Щедрина того времени лишенным какого-



НАДПИСЬ В. И. ЛИХАЧЕВА НА ОБОРОТЕ ФОТОГРАФИИ САЛТЫКОВА, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ, ЧТО ПОДПИСЬ САЛТЫКОВА НА ЭТОЙ ФОТОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ АВТОГРАФОМ САТИРИКА

Институт Русской Литературы, Ленинград

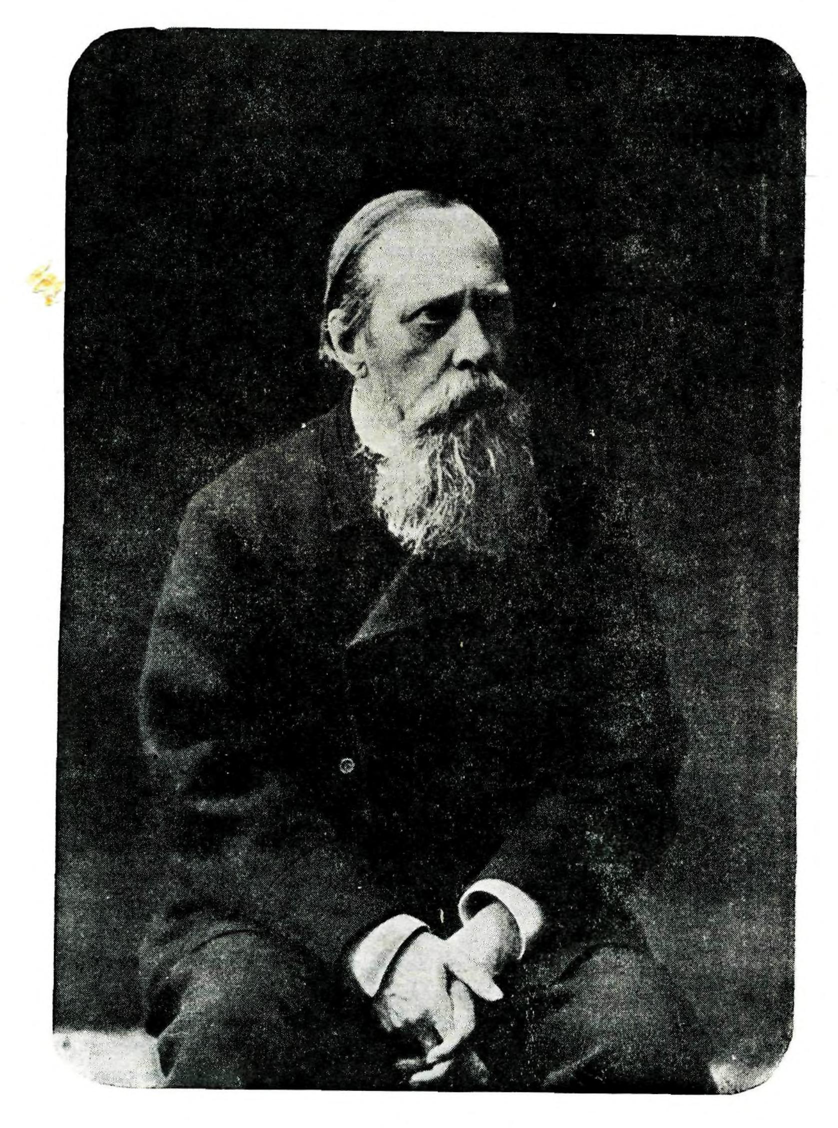
либо цельного мировоззрения. Идейной, по их мнению, сатира Щедрина становится только в конце 60-х годов.

Блестящая критико-публицистическая деятельность Щедрина в «Современнике» 1863—1864 гг. опровергает и тот и другой взгляд, достаточно опровергнутый уже художественным творчеством Щедрина той поры.

В своей незаконченной монографии о Щедрине Иванов-Разумник так формулирует свой взгляд на Щедрина как народника:

«Считалось, что он примкнул к народничеству «Отечественных Записок» семидесятых годов как к сложившемуся уже течению, основы которого были заложены сперва Герценом и Чернышевским, а потом Лавровым и Михайловским. Если речь идет о теоретическом, социально-экономическом и философском фундаменте народничества, то такое мнение является неоспоримым, если же говорить о народничестве как общем миросозерцании, то Салтыков, как мы это видим теперь, должен считаться одним из его основоположников, работавших на этой почве как-раз между Герценом и Чернышевским, с одной стороны, и Лавровым и Михайловским — с другой» (78).

Иванов-Разумник таким образом не решается утверждать, что в 1863—1864 гг. Щедрин проводил «теоретические, экономические и философские» идеи народничества. Он признает его народником лишь по «общему миросозерцанию». В чем же выражалось народничество этого «общего миросозерцания» вне теоретических, философских и экономических принципов этого направления? Неясность такой постановки вопроса свидетельствует о слабости аргументации, об отсутствии отчетливого представления об основных признаках народничества.



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)
Фотография 1880-х гг. с последним автографом сатирика
Институт Русской Литературы, Ленинград

Эти признаки исчерпывающе выяснены Лениным в статьях о народничестве, из которых и нужно исходить при решении вопроса, принадлежал или не принадлежал данный писатель к этому течению.

Если бы можно было установить в Щедрине наличность такого признака народничества, как «признание капитализма в России упадком, регрессом», то этого было бы еще недостаточно для признания его народником при отсутствии таких, как «идеализация крестьянина и его общины»[16], «признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и т. п. в частности», как «игнорирование связи «интеллигенции» и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов»[17].

В произведениях Щедрина разных периодов найдется достаточно мест, свидетельствующих о неприменимости к нему последних двух признаков народничества. На протяжении десятилетий Щедрин считал общину ярмом на шее крестьянства, обеспечивающим не общинников, а Колупаевых. Никто с такой силой, как Щедрин, не разоблачал фетиш надклассового государства со всеми его учреждениями, не показал истинной сущности либерализма интеллигенции. У нас есть основания усомниться и в наличности первого признака, в том, был ли капитализм для Щедрина упадком, регрессом, а не необходимым, хотя и тяжелым путем к новой и высшей общественой форме. В «Мелочах жизни» Щедрин пишет, что «придется еще пережить эпоху чумазовского торжества». Это сознание однако не повергает его в отчаяние, как например Глеба Успенского. Ибо «в конце концов» массы «найдут новые источники существования, так что в общем изменение произойдет даже к лучшему». Имеется еще более определенное высказывание, относящееся как-раз ко времени сотрудничества Щедрина в «Современнике» и предвещающее момент, когда «ветхая плотина, кой как еще поддерживаемая остатками хвороста, окончательно прорвется и река неудержимым потоком ринется вперед, унося в своем беспорядочном течении всю зазевавшуюся старину». Но Щедрин не ограничивается предвидением гибели общины, «этой ветхой плотины» на пути экономического развития, он заглядывает в более далекое будущее. Он обращается к буржуазии, которая использует гибель общины, со следующими действительно пророческими словами: «Но успокойтесь, милые кровопийцы, вы тоже немного наколобродите на свой пай!.. Начудесите мало-мало, понастроите греческих фронтонов, понастроите беседок в виде «храмов удовлетворения», понавешаете на стенах картин Айвазовского и сойдете все-таки, сойдете же под конец в общую могилу, dans la fosse commune».

Читая эти поразительные строки, предсказывающие политическое и культурное бессилие русской буржуазии и «упразднившую» ее Октябрьскую революцию, не знаешь, чему больше удивляться: бесплодным ли попыткам исследователей, желающих во что бы то ни стало сделать Щедрина народником, или безответственному повторению вслед за Писаревым инсинуаций озлобленного Достоевского о безыдейности, беспринципности Щедрина в эпоху «Современника»[19]. Писатель, с такой отчетливостью представляющий себе путь развития России, не мог не обладать вполне определенным мировоззрением конечно не народнического толка. Это мировоззрение принадлежит к тому «наследству» 60-х годов, от которого марксизм никогда не отказывался. Ленин намечает основные черты этого наследства:

«Горячая вражда к крепостному праву и **всем его** порождениям в экономической, социальной и юридической области».

«Горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России».

«Отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян... искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют «наследством 60-х годов», и важно подчеркнуть, что **ничего народнического в этом наследстве нет**»[20].

Здесь взяты наиболее широкие признаки наследства, под которые подойдут не только самые передовые его представители.

По отношению к Щедрину следует эти признаки сузить, но не в смысле отдаления, а еще большего приближения к нам. Оставаясь представителем «наследства», идей, общих всем руским просветителям 60-х годов, принадлежа к нему своим страстным отрицанием «старо-дворянского наслоения», Щедрин далеко шагнул от «наследства» к «наследникам». Так он борется за европеизацию России, но сознает неизбежность всех тех зол, которые принесет с собой эта европеизация, являющаяся вместе с тем и капитализацией страны. Он понимает, что хотя такая отмена крепостного права, как реформа 19 февраля, в конечном счете будет способствовать общему благосостоянию, но неизбежно принесет с собой десятилетия крестьянской нищеты. Если для народников и даже некоторых представителей «наследства» масса лишь объект, материал, «подлежащий направлению на тот или иной путь» [21], то «народ» для Щедрина — самостоятельный исторический деятель, «творец истории». Щедрин всегда напряженно думает о том пути, по которому пойдут трудовые массы, а не по которому их направят «критически мыслящие личности».

Вместе с Чернышевским он видит в начале 60-х годов в крестьянстве новую историческую силу, которая призвана сменить дворянство, и всячески возвещает и приветствует ее приход.

В запрещенном цензурой очерке «Глуповское распутство» чрезвычайно отчетливо отразились несбывшиеся надежды Щедрина на этого нового субъекта истории, разделявшиеся в то полное революционных ожиданий время наиболее передовыми представителями крестьянской демократии.

Щедрин рассказывает о панике, охватившей помещичий класс:

«Обойти Иванушек невозможно — в этом мы убедились; но сознаюсь откровенно, что когда нам приходится обдумывать свое положение, то ожидаемый наплыв Иванушек производит в нас легкую дрожь. Не отнимут ли сладких кусков наших? Не будут ли без пути будить от сна? Не заставят ли исполнять служительские должности? [22]

Представляя дворянство в виде истасканной похотливой вдовы, высасывающей молодые соки своих слуг, Щедрин решительно становится на их сторону:

«...Что за перемена, что за странный вид представляется взорам! С одной стороны, Любовь Александровна с померкшими взорами, с неверною поступью, Любовь Александровна дряхлеющая, но все еще жаждущая любви и жизни, расстроенная, но все еще живущая и надеющаяся в будущем; с другой стороны — Петрушка, не тот робкий Петрушка, огрызающийся лишь под пьяную руку и цепенеющий при одном взоре гневной барыни, но Петрушка властный, Петрушка, собирающийся унести на плечах всю вселенную, Петрушка румяный и довольный... Петрушка в енотах и соболях, показывающий целый ряд белых, как кипень, зубов... Или этого мало? Или молодое, свежее и здоровое не посечет ветхого, изгнивающего и издыхающего? Да где же после этого была бы справедливость, читатель? [23]

Так завершилась политическая эволюция Щедрина от бюрократического либерализма к революционно-демократической позиции. Крестьянство выступает тогда как класс, ограниченность которого еще не проявилась, и не может помешать связать с ним надежды всех «голодных и раздетых». Буржуазия еще не заняла того места в хозяйстве страны, которое займет в течение ближайших десятилетий, и мелкий производитель пока еще не «сливается с буржуазией наличностью обособленного производства товаров на рынок, своими шансами выбиться на дорогу, пробиться в крупные хозяева»,— следовательно и «идеолог мелкого производителя» еще не «сливается с либералом», как это случилось с народниками [24]. Наоборот. Идеологи крестьянской демократии полны сознания классовых противоречий; их классовое сознание заострено против либералов.

В частности политическая эволюция Щедрина совершенно обратна эволюции народничества: оно эволюционирует от крестьянского социализма, от революционно-демократических позиций к либерализму, Салтыков же с 50-х годов — от либерализма к социализму революционной демократии 60-х годов, к социализму Чернышевского и Добролюбова. Дальнейшее развитие Щедрина вело его не к разрыву демократизма с социализмом, а лишь к переоценке утопических элементов последнего.

3. ОТ НАПАДЕНИЯ К ОБОРОНЕ

С таким мировоззрением, весьма далеким от той невинной безыдейности, которую пытаются с легкой руки Достоевского приписать Щедрину некоторые исследователи, он вступает в «Современник». Оно определило общее направление его работы как революционно-демократического критика. Но конкретные особенности этой работы зависели еще от условий того исторического момента, когда Щедрину пришлось продолжать дело Чернышевского и Добролюбова.

Тем ожиданиям, которые выражены в цитированном нами «Глуповском распутстве», не пришлось сбыться. Уже реформа 19 февраля — эта «проводимая крепостниками буржуазная реформа» (Ленин) — свидетельствует о собирающей свои силы реакции, о переходе ее в наступление. Крестьяне, от которых ждали революции в ответ на грабительскую реформу, оказались неспособны ни на что «кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием»[25]. Ближайшие после 19 февраля годы показали, насколько шире реакция тех или иных правительственных мероприятий. Помещичий класс все больше и больше выявлял свою реакционность, дворянский либерализм показывал свою изнанку. Накапливался совершенно новый политический и культурный опыт, определявший новые своеобразные задачи революционно-демократической критики в тех условиях, которые могут быть обозначены словами: от нападения к обороне. В новой обстановке, когда наиболее опасными противниками революционно-демократической интеллигенции оказались те представители помещичьего класса, которых она еще так недавно считала если не своими союзниками, то по крайней мере попутчиками, хотя и ленивыми, ненадежными,— одной из первых задач обороны было разоблачение дворянской либеральной идеологии. Это являлось своего рода контратакой, ибо в данный момент дворянский либерализм был острием своим направлен не против власти, а против революции. Последовательная, проникающая до корней критика революционных разночинцев не могла не поставить вопроса о самой ценности дворянской культуры вообще, проявлением которой была эта идеология, и ее специфического выражения — дворянской литературы.

Позиция либерального дворянства в годы «реформы» и следовавшие за ней годы не могла не поставить перед революционно-демократической мыслью эти вопросы совершенно по-новому.

Опытом громадного идеологического значения являлся тот прозаический факт, что «пресловутая борьба крепостников и либералов была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок. Либералы, так же как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти»...[26].

Когда Кавелины и Тургеневы — эти лучшие представители либерализма, эти признанные идеологи класса — помогали реакции организоваться под лозунгом борьбы с нигилизмом, тогда таким передовым борцам революционной демократии, как Щедрин, стало ясно, что «расщепление» внутри господствующего класса на идеологов и практических деятелей не должно преувеличиваться в своем значении. Если оно временами и «может разрастись даже до некоторого противоположения и вражды обеих частей», то это «однако само собой отпадает при всякой практической коллизии, когда опасность угрожает самому классу, когда таким образом исчезает также и видимость, будто господствующие мысли не есть мысли господствующего класса и обладают властью, отличной от власти этого класса...»[27] Этого не понимали «либеральные и либерально-народнические историки», но этого не могли не понять в своей трудной борьбе те, на кого обрушился единый фронт восставшего на защиту своих привилегий помещичьего класса. «Некрасов и Салтыков учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы» (Ленин).

Исторически-обобщающей мысли критика-сатирика, никогда не ограничивавшегося в своих оценках сегодняшним днем, а мыслившего его в неразрывной связи с прошлым и будущим, не мог не уясниться вопрос о специфическом характере этой «образованности», о ее социальном смысле. Изменило ли передовое дворянство себе, своим взглядам во имя спасения класса, или же между идеями наиболее прогрессивных элементов дворянства в прошлом и реакционной политикой этого класса в настоящем нет существенного различия? Не выполняют ли они одну и ту же функцию, различаясь только в способах выполнения в зависимости от запросов времени? Чтобы убедиться в том, насколько своеобразна была постановка вопроса о связи дворянской «теории», в ее наиболее прогрессивном выражении, с дворянской «практикой», в выражении наиболее реакционном, а еще шире — дворянской культуры в целом и дворянской политики как части этой культуры,— чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что такой радикальный публицист, как Писарев, был убежден в существовании идеологической преемственности между «людьми 40-х годов» и разночинцами.

«В своих понятиях о добре и зле новое поколение сходилось с прошедшим. Симпатии и антипатии были общи, желали они одного и того же». И подменявший борьбой поколений борьбу классов Герцен мог спросить на основании таких заявлений выдающегося представителя радикального разночинства: «Мудрено ли после этого столковаться?»

Щедрин же вопрос об идеологической преемственности между дворянством и революционно-демократической интеллигенцией заменил вопросом о таковой преемственности между наиболее прогрессивными идеологами этого класса в прошлом и реакционными его идеологами и практиками в настоящем, о связи между реакционными и прогрессивными элементами помещичьего класса на почве общих реакционных интересов этого класса, о реакционности самой культуры последнего. Разработка уже одной этой проблемы составляла новый, «высший» этап революционно-демократической мысли. На почве изменившейся политической ситуации, на почве обогащенного политического опыта по-новому осветилось прошлое помещичьего класса даже в его лучших проявлениях, по-новому переоценивались его ценности.

4. КРИТИКА ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Щедрин завершает этой переоценкой начатую Чернышевским и Добролюбовым критику помещичьей культуры с позиций представлявшей интересы крестьянства революционно-демократической интеллигенции. Этим завершением дела Чернышевского и Добролюбова в новых условиях обороны против сплоченного дворянско-бюрократического фронта являлись общественные хроники, статьи и рецензии Щедрина в «Современнике» 1863—1864 гг., а затем в «Отечественных Записках». Взгляды Щедрина 60-х годов на дворянскую культуру настолько цельны, настолько сразу определились, что их следует освещать, не дробя изложения. «Отечественные Записки» 1868—1869 гг. продолжают «Современник» 1863—1864 гг.

В 60-х годах Щедрин выступает против дворянской культуры и литературы в особенности, на материале которой он и производит свою переоценку этой культуры, как «нигилист», всячески снижая то, что казалось ей поэтическим и патетическим, то, чем она гордилась. Идеи, чувства, герои, «высокие стремления» — все подвергается здесь суровому классовому суду, особенно резко выраженному в условиях перехода от нападения к обороне. Доказывая отсутствие прав на культурную гегемонию у помещичьего класса, изобличая неосновательность его претензий на эту гегемонию, Щедрин вынужден отстаивать теперь самое право на существование культуры революционно-демократической по содержанию, материалистической по характеру,— право, которое так недавно еще не смели оспаривать ее враги.

Критика психологии класса здесь органически связана с критикой его идеологии, классовая сущность которой не могла не определиться в новой обстановке.

Острый анализ сатирика вскрывает классовое политическое ядро этой идеологии, одно и то же и у консервативных, и у либеральных представителей помещичьего класса («каждый прогрессист есть не что иное как переодетый ретроград» [28]), совершенно согласных «по вопросу столь коренному и существенному, как общественная безопасность» [29], т. е. в отрицании революции. С этого ядра срываются «цветы красноречия». Обнажаются тщательно скрываемые потаенные мысли и вожделения. Выясняется как беспредметность дворянских декламаций об истине и справедливости, эстетизм помещичьей культуры, так и превращение этой беспредметности в некую «предметность».

«С одной стороны — Laura am Klavier, с другой — тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей — вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит отныне жизнь отцов» [30].

Помещичья культура в прошлом и настоящем рассматривается не сама по себе, а в связи с объективным бытием, потребности которого она обслуживает. Щедрин исходит из убеждения в реакционности этого класса как такового и отсюда выводит реакционность культуры, способствующей его сохранению. «Не движение составляет ее (дворянской среды. — *А. Л.*) интерес, а напротив того, охранение и застой». Всякое общественное движение, каково бы оно ни было, должно направиться против замкнутости помещичьего класса. «Но это-то именно противно той среде, о которой идет речь. В разрушении замкнутости она видит неминуемость своего обеднения, угрозу стать еще ниже того уровня, на котором она уже стоит... В виду этих угроз делаются понятными не только опасения, но даже преувеличения. Вопрос о значении собственности связывается с вопросом о поголовной резне, вопрос о значении семейства — с вопросом о поголовном разврате... Нет спора, что она произносит свои сопоставления совершенно бессознательно, но инстинкт все-таки служит ей до известной степени верно, ибо во всех радикальных общественных вопросах хотя нет речи ни о поголовной резне, ни о поголовном разврате, но несомненно есть речь о прекращении господства замкнутости и бессознательности, этих палладиумов, в которых непосредственно хранятся ближайшие и самые кровные интересы среды. С какой же стати ей окружать своими симпатиями такую деятельность, результаты которой прямо противоположны ее непосредственным выгодам» и должны «положить конец ее собственному благополучию» [31].

Если больше не осталось иллюзий относительно «благородного сословия», то не должно питать иллюзий и относительно его духовных ценностей, отражающих классовое бытие среды и охраняющих его. Замкнутость класса отражалась и выражалась в «кастической отчужденности» его культуры от жизни всей массы населения — культуры, поддерживавшей эту замкнутость своей условностью и искусственностью, своей возведенной в принцип оторванностью от всего, «что напоминало о так называемом черном труде», «полнейшее чувство гадливости» к которому она внушала своим питомцам. В представлении Щедрина это — культура праздности и праздничности, культура не деяния, а украшения, своего рода корректив к скуке вечного досуга, вечного отдохновения без предшествующего ему труда. Это культура изживания жизни, а не ее строительства; культура самоуслаждения, корыстная самой своей «бескорыстной» созерцательностью. Охранительная по своим функциям, она и в своих наиболее радикальных проявлениях, которыми были «экскурсии в область униженных и оскорбленных», являлась лишь пищей «более пряного свойства», «такой, которая хоть косвенно соприкасалась с крепостною действительностью и в то же время не слишком компрометировала... тот общедворянский жизненный склад, отказаться от которого совсем и не предполагалось. Экскурсии в область униженных и оскорбленных, которыми так богата была европейская литература того времени и под влиянием которых уже растворились молодые дворянские сердца, представлялась в этом смысле пищею почти идеальною. Они располагали сердца к чувствительности и вместе с тем не нарушали привычек. Отсюда — дворянские мелодии. Отличительные свойства этих мелодий: елейность, хороший слог, обилие околичностей (обстановок) и в то же время отсутствие конкретного



«ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА». ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ПОДЪЯЧЕГО
Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем
«Художественный Листок» 1868—1869 гг.

объекта. И как естественный результат всех этих свойств, взятых вместе,— неуловимость. Можно заслушаться их, можно вздохнуть под их переливы, но сжать и формулировать точный их смысл невозможно» [32].

Когда «дворянские мелодии» довольно свободно превратились в «дворянские рычания», тогда узнали цену «благородной чувствительности», не нарушающей неблагородных привычек, в сущности ни на что, кроме самоуслаждения не направленной и ни к чему не обязывающей, как и цену идеалов с «неуловимым содержанием», возбуждавших эту чувствительность. Эти отвлеченные идеалы, «ни в чем не обнаруживавшие своих прикладных свойств», идеалы, являвшиеся «увенчанием здания» всей этой замкнутой, изолированной, кастовой культуры, долго властвовали над умами разночинной интеллигенции. До тех пор, пока она не выработала своих идеалов — с отчетливо выраженными «прикладными свойствами», они занимали их место, обозначая для нее, как условные надписи, то, что еще должно было быть построено. Как формы для ищущей выражения и закрепления еще неискушенной, незрелой мысли имели свое значение и идеи абстрактной свободы, справедливости, добра, с таким пылом и блеском провозглашенные дворянским либерализмом. Даже Добролюбов в своих суровых статьях о дворянской интеллигенции не подвергал еще сомнению ценность этих идеалов, а констатировал лишь то, что они не сделались «внутренней необходимостью» для своих исповедников. Но «внутренней необходимостью» они и не могли сделаться вследствие их отвлеченного характера, вследствие их «неуловимости», которая ни к чему и обязывать не могла.

В годы за крестьянской реформой, годы генеральной проверки дворянского либерализма и его культуры, когда определились не отвлеченные, а конкретно содержательные идеалы новой интеллигенции, абстрактные идеи дворянского либерализма не только потеряли для нее какую-либо теоретическую ценность, но стали помехой на пути

распространения и осуществления ее идеалов. Идеи эти стали новым оружием наступающей реакции, средством дискредитирования «погрязшей в материализме» революционно-демократической интеллигенции.

Разоблачение этих фетишей, противопоставлявшихся ее миросозерцанию, было одной из задач Щедрина как критика и разоблачителя дворянской культуры.

Щедрину прекрасно известно формальное значение идеи свободы, которой либерализм освобождает себя от заботы о содержании своих построений.

«...Что такое в сущности это слово? Представляет ли оно какой-нибудь конкретный смысл? Нет, оно имеет только значение рамок, которые необходимы для того, чтобы человечество без помехи и наилучшим образом могло обсудить и устроить свои интересы, но которые никак не могут служить сами по себе целью...» [33] «Это слово не имеет самостоятельного существования... Люди держатся за него не в смысле окончательной цели человеческого прогресса, а только в той мере, в какой оно ограждает то существенное и самостоятельное, которое ставится под защиту его» [34].

Замена этим формальным понятием определенного содержания выражает на языке идеологии кровное родство либералов и реакционеров, которые также принимают свободу «как нечто отвлеченное, совершенно независимое от того содержания, которым оно наполняется». Им выгодно, чтобы содержание это оставалось «неуловимым», им невыгодно, чтобы ответы на вопрос «для чего и от чего» свобода вскрыли классовый смысл их «свободы» и указали на цель тем, кого они обольщают призраком свободы, лишая ее в действительности.

Такова же цена и других идеалов либерального дворянства — его «привилегированного идеала привилегированной справедливости», его права, узаконяющего всякую несправедливость за давностью и требующего выкупа за нее «по справедливой оценке» — идея, которую либералы так блестяще осуществляли во время крестьянской реформы.

Таков и нравственный идеал этой культуры — «идеал добра».

«На поверку вышло, что проповедуемое добро есть добро только отвлеченное, что едва потребовало оно применения для себя, как уже оказалось вышедшим из начертанных границ» [35]. Не объект добра, а «красивость» его, прекраснодушие «доброго» привлекало дворянских его проповедников. «Добро», ничем не обнаруживавшее своих «прикладных» «свойств», «добро» как украшение дворянского досуга служило лишь самоуслаждению и самосохранению помещичьего класса.

5. КРИТИКА ПОМЕЩИЧЬЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Наиболее ярким выражением этой культуры в силу исторических условий стало дворянское искусство. Оно «услаждало досуг досужих людей, и это сообщило ему тот чистенький аристократический характер, который составляет необходимую принадлежность всякого рода успокоительных веяний и усладительных снов» [36]. Наиболее богатая область этого искусства, помещичья литература, отличается «неслыханной бедностью миросозерцания» [37], ибо замкнутость породившей ее среды не может не суживать ее кругозора.

Щедрину всегда было душно и тесно в этой литературе праздных людей, оторванных от трудовых процессов и от действительно важных проблем трудящихся масс. Аналогичные суждения он высказывал два десятилетия спустя. «Описывая деяния всем близкие и всем одинаково любезные, дореформенный писатель не клал в свои писания ни политической, ни социальной подкладки, никого не пугал, ни на чье миросозерцание руки не накладывал, а сладко лелеял и убаюкивал, стараясь при этом быть верным местному колориту» [38]. Проблемы миросозерцания восполняли «благородством чувств, так называемыми хорошими мыслями». Но подобные «маски, за которыми скрывается отсутствие содержания»,— это явления того же порядка, что «благонамеренность» [39].

Сделанные нами выдержки показывают достаточно ясно, что Салтыков выдвигает на первое место социальную функцию литературы. Она определяет все его оценки лите-

ратурных явлений. Эта функция — охранительная или революционная. Она борется против изменения действительности, или за это изменение. И в том и в другом случае она является классовой.

Литература охраняет бытие своего класса не непосредственно, а сложными извилистыми путями: одним из таких путей является либерализм в литературе. Таков смысл замечательной критико-публицистической статьи сатирика «Напрасные опасения»[40]. Чем менее непосредственно, менее обнаженно выполняет литература свою функцию, тем лучше она ее выполняет и тем опаснее она, если эта функция является охранительной. Сложной сетью образов, внушением поэтических средств, самой диалектикой характеров, которые томятся, сомневаются, страдают и протестуют, их «благородством чувств», разряжением энергии в вызываемых ею переживаниях, которая, накопляясь, могла бы стать опасной для данной действительности, литература утверждает эту действительность. Богатством подобных средств сильна была дворянская литература, выполнявшая свою охранительную функцию главным образом оппозиционностью, которая являлась неопасным данному общественному порядку выходом для недовольства им.

В образах «лишних людей» передовая помещичья литература наиболее полно выразила эти свойства своей оппозиционности, отобразив в их лице наиболее характерный продукт дворянской культуры. И так как сама эта литература была литературой «лишних людей», то, развенчав их, Щедрин наносит ей самый сокрушительный удар. Щедринская характеристика «лишних людей» — характеристика их с точки зрения их значения в классовой борьбе 60-х годов. Беспощадная последовательность оценки Щедрина предвосхищена лишь Чернышевским («Русский человек на rendez-vous»). Противоречие между ними и окружающей средой, недовольство ею, которым так гордились «лишние люди» и с такой любовью изображавшие их дворянские художники как признаком своего превосходства, подвергается решительной переоценке. Их оппозиция не знаменует разрыва с данным кругом, не взрывает его основ; более того: не противоречит его интересам. Как реформизм является не оппозицией против буржуазного общества, а оппозицией самого этого общества, служащей его сохранению, так и дворянский либерализм в лице «лишних людей» выполняет своими средствами ту же охранительную функцию, как консерваторы — своими. И если в 40-х годах эти средства оказывались несвоевременными, а представители дворянской интеллигенции — «лишними людьми», то в конце 50-х они перестали быть ими: их средства уже понадобились для сохранения класса, а в 60-х годах эти бывшие «лишние люди» сменили вехи своей оппозиции, поскольку она переставала быть полезной и становилась или стала казаться опасной для класса в целом и для них самих в частности. «Недовольство превратилось в самое невозмутимое довольство».

В этом понимании классового характера идеологии «лишних людей» — глубокое своеобразие щедринской постановки вопроса. Если например Добролюбов указывал главным образом на непригодность дворянской интеллигенции для тех высоких задач, которые она себе ставит, то Щедрин спрашивает: да высоки ли на самом деле эти задачи? Связь дворянской интеллигенции со средой, которой его предшественники объясняли противоречие психологии «лишних людей» их принципам, для Щедрина является не только психологической, но и идеологической связью. Несмотря на все видимые противоречия психологии и идеологии «лишних людей», Щедрин видит более глубокое и существенное единство волевой и интеллектуальной их сферы: неясности стремлений, смутности и произвольности мышления, его абстрактности, эстетского дилетантизма, «составляющего последствие слишком обильного досуга», с одной стороны, и отсутствия определенных решений, пассивности — с другой. Для Щедрина существенно не то, что среда им мешает, так или иначе воздействуя на них. Важно другое: самая их идеология, в которой усматривалось коренное противоречие среде, отражая содержание жизни этой среды, в итоге служит и утверждает ее, даже противореча ей, умонастроениям преобладающей части последней. До такой диалектической точки зрения русская революционно-демократическая критика не поднималась еще до Щедрина. Это был решительный разрыв с дворянской идеологией, слишком реши-

тельный даже для тех общественных кругов, с которыми блокировался Щедрин, например для такого представителя их, как Михайловский, явно симпатизировавший «лишним людям».

«Повидимому,— пишет Щедрин,— в нашем обществе сороковых годов чувствовался известного рода умственный и нравственный разрыв, который проводил между поколениями границу довольно резкую, но, в сущности, разрыв этот далеко не был так глубок, как это кажется с первого взгляда. Этот кажущийся разрыв не дотрагивался до оснований, а ограничивался одними внешними формами. Оба поколения, т. е. отцы и дети тогдашние, стояли на одной и той же идеально-политической почве... Если одних еще удовлетворяли патриархальные отношения даже в такой форме, как крепостное право, и если другие уже начинали тяготиться ими, то это не мешало сходиться обеим сторонам в том чувстве кастической отчужденности, которая даже в самых порывах великодушия не идет далее отвлеченной справедливости... Если не сходились люди в подробностях, степени развития и формулах своих убеждений, то основания, из которых выходили эти убеждения, и сфера, в которой они замыкались, были вполне одинаковы» [41].

Воспитанные в презрении к труду, «лишние люди» мнили найти свой «патент на благородство» в искусстве и «метафизической гимнастике». «Никто не вспоминал о предках, никому не проходило на мысль, что и они не без услад проводили досужую жизнь, что и у них были: и псовая охота, и медвежьи травли. Нравы настолько смягчились, что для всех стал ясен «звериный обычай» этих услад; неясно было только одно: что на первом плане новых услад стояло все то же слово «украшение», все то же понятие «досуг», что из этих новых, изящных услад, как ни усиливайтесь, никаких иных слов и понятий не выжмешь. Доказать, что и те и другие украшения различествовали только в форме, а не в сущности, очень нетрудно. Эти доказательства представила нам сама жизнь. Все эти «лишние люди», так меланхолически сетовавшие на свою ненужность, покуда ничто не препятствовало им услаждать себя этими сетованиями, оказались, как только время предъявило некоторые притязания на их досуг, такими преестественными зверобоями, что сразу сделалось ясно, что способность эта только спала в них, окончательно же никогда не умирала» [42].

Чтобы вполне уяснить себе значение этих строк, надо вспомнить, что они написаны в ответ Герцену, защищавшему «лишних людей» против критики Добролюбова так: «Счастье, что рядом с людьми, которых барские затеи состояли в псарне и дворне... нашлись такие, которых «затеи» состояли в том, чтобы вырвать из их рук розгу и добиться простора не ухарству на отъезжем поле, а простора уму и человеческой жизни...» («Еще раз Базаров».)

Изображая в своих художественных произведениях «лишних людей», переставших быть лишними в 60-х годах и занявшихся устроением «золотых веков при помощи губернских правлений и управ благочиния на точном основании изданных на сей предмет узаконений», Щедрин расценивал их в прошлом как исторических недорослей, находящихся в том «переходном возрасте, который идет вслед за отрочеством», в котором «многое потеряно и ничего не приобретено». «Желания не уяснились, мысль не просветлела, а отроческая наивность и впечатлительность исчезли уже безвозвратно. Происходит нечто смешное и вместе с тем горькое: является хладная, картонная восторженность, являются деланные чувства, деланные мысли, сквозь которые слышатся чьи-то беззвучные голоса, чье-то непонятное, не усвоенное, не обратившееся в плоть слово» [43].

Помещичья среда, «навсегда обеспеченная от черной работы (по крайней мере она полагала себя навсегда обеспеченной)», консервировала этот возраст, делала вечными недорослями тех, чьему досужеству ничто не угрожало. «Трудно было ожидать, чтобы в этой среде... могла серьезно возникнуть мысль о деловом, реальном отношении к жизни, но, взамен того, в ней могли и должны были постепенно возрастать требования характера эстетического и отвлеченного», но далеко не невинного. Вот именно этой своей отвлеченностью и эстетичностью «лишние люди» выполняли свою охранительную функцию, а их литература — дворянская литература — выполняла ее как внут-

ри, так и вне класса, воздействуя на своих читателей: охранительная функция дворянской литературы, как характернейшего явления помещичьей культуры, и выражалась в том, что своей отвлеченностью и эстетичностью она утверждала, украшала и оправдывала досуг породившего ее класса. «Чем отвлеченнее ставились вопросы, чем менее вторгалось в них жизненных счетов и потребностей, тем успокоительнее было их действие, тем большую полноту придавали они человеческому времяпрепровождению» [44].

Праздность досужего класса, отражаясь в этой эстетической праздничности литературы, одновременно утверждалась ею, ибо постановка всех этих абстрактно-эстетических *требований создавала ту видимость деятельности, которая отвлекает от настоящего дела.*

«Даже типы Гоголя и те нравились именно потому, что в них проводились в отрицательной форме те же эстетические и отвлеченные требования, которые в более положительной и привлекательной форме проводились и в типах Тургенева». Этому же утверждению класса и его досужества, его антидемократической классовой обособленности дворянская литература служила и тогда, когда произносила самые оппозиционные свои речи, которые, казалось, имели все признаки реалистического отношения к действительности. Ибо и они характеризовались теми же отвлеченно-эстетическими и отвлеченно-моральными требованиями и стремлениями. Не составляют исключения и такие произведения, как «псевдонародные романы и повести г. Григоровича, несмотря на то, что в них трактовалось о рекрутских наборах, оброках, неурожаях и тому подобных мужицких невзгодах, т. е. о реальнейших из реальных. Вокруг этих



«ФЕЙЕР И ЖИВОГЛОТ»
Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем
«Художественный Листок» 1868—1869.

реальностей царствовал такой мягко-идиллический тон, что, казалось, недоставало только пирожного, чтобы сделать их вполне привлекательными. Читатель сладко вздыхал и, разнеженный идиллическими горестями Антона-горемыки, внутренне радовался, что на нем лично не лежит никаких недоимок, и что он, не опасаясь рекрутских наборов, может вполне беспечно удовлетворять своим эстетическим и умственным потребностям». Когда от сострадания переходили к мысли о причинах мужицких страданий, то умудрялись даже проблему крепостного права превращать в эстетическую. В его отмене, «пленяла только красивая сторона дела, т. е. устранение безнравственных и бесправных отношений человека к человеку... Казалось, что останется то же самое, что было и прежде, только прежние принудительные отношения примут характер добровольный, что конечно несравненно приятнее»[45]. Такова цена дворянскому состраданию, не только не разрывающему круга «кастической отчужденности», но еще более его скрепляющему.

Еще в большей мере, чем сострадание, этим охранительным задачам служит сомнение, воплощенное помещичьей литературой в типах «лишних людей», то сомнение, которое, казалось, должно было сыграть революционную роль по отношению к старому порядку, взятому отвлеченно. Сомнение наиболее полно выражено Тургеневым:

«Никто не показал нам с большей ясностью, на что способен и до каких рубежей может дойти умственный дилентантизм, составляющий естественное последствие слишком обеспеченного досуга... Те отвлеченные извороты, та умственная игра, которые являются неизбежными спутниками неустановившейся и не имеющей точной опоры мысли, до того привлекательны, что очень многих заставляют забывать о бессилии, которое ими прикрывается»; являясь известным интеллектуальным напряжением, сомнение порождает «умственный мираж»; кажется, что оно «уже само по себе составляет известную поправку к жизни, что можно прожить целую жизнь, не имея никакой иной ноши, кроме болезненных колебаний мысли, и что в результате получится не просто зубоскальство, но нечто существенное, имеющее все признаки серьезной и плодотворной работы». Герои Тургенева не находят выхода из своих сомнений, не ставят себе целей в жизни не потому, чтобы этого выхода и целей не было, «а потому просто, что они не находят особенной надобности вызывать их наружу». Ибо конкретизация этих целей нарушила бы характер всего их эстетическо-отвлеченного мышления, не противоречившего никаким основным убеждениям их среды, не оспаривавшего ее «права на досуг»; «они только вносили в этот досуг новый и очень приятный элемент изящества». «Лишние люди» в тургеневском изображении «представлялись в таком всеоружии изящества, что читатель, вместо того чтобы анализировать и доискиваться, привыкал видеть в них свои идеалы... Умственнному взору... читателя открывалась целая обширная область, целая безграничная картина, в которой на общем фоне досуга красовались слова: «изящное» и «интеллигенция». Таким образом право на досуг не только не отрицалось, но даже как бы оправдывалось»[46].

В этом Щедрин видел функцию всего творчества Тургенева, наиболее «центрального» дворянского писателя, воплотившего специфические черты дворянской культуры и ее типичных представителей — «лишних людей».

«Что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе подымается, что мысленно благословляешь и любишь автора? Но ведь это будут только общие места, а это, именно это впечатление оставляют после себя эти призрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющее живым ключом и однако все-таки пропадающее в пустом пространстве... Герои Тургенева не кончают своего дела и исчезают в воздухе. Критику их нельзя уловить... Сочинения его можно характеризовать его же словами, которыми он заключает свой роман: «на них можно только указать и пройти мимо».

Эта бесплотность, т. е. беспредметность, творчества, воздействие его на читателя лишь неопределенным «общим строем романа», «едва ли может ставить Тургенева вы-

соко как художника... У нас на Руси художникам время еще не пришло. Писемский как ни обтачивает своих болванчиков, а духа жива вдохнуть в них не может. От художников наших пахнет ябедой и семинарией; все у них плотяно и толсто выходит, никак не могут форму покорить. После Тургенева противу этих художников некоторое остервенение чувствуешь»[47].

Отвлеченная (беспредметная) в своем эстетизме дворянская литература в лице даже даровитейших своих представителей неполноценна как искусство. Ни форма без содержания, ни содержание без формы не составляют подлинной художественной ценности. Дворянская же литература теряет это содержание, как только подымается на высоту важнейших проблем человеческой жизни, и обладает этим содержанием, лишь поскольку не ставит себе никаких проблем, т. е. находится на таком уровне мышления, на каком никак нельзя «форму покорить».

Еще более беспредметна и отвлеченна дворянская лирика. С ее точки зрения она полна скорби и благородного страдания. Но вскрыв абстрактность этой «тоски», «грусти» вообще, неумолимый анализ сатирика приводит к заключению, что «скорбь» поэтов «досужества» — это только «приятное чувство томного расслабления»: «человек доволен и счастлив, он хорошо обставлен, не чувствует над собой тяготения страшной материальной нужды; но в то же время смутно ощущает, что ему чего-то недостает. Это что-то недостающее, это нечто, составляющее необходимую подробность в общей картине жизни, и есть та самая «грусть», во свидетельницы которой приглашается луна»[48].

Такова лирика Фета дореформенного периода, сущность которой со всей ее грустью критик видит в психологии класса, которому приходится не бороться за жизнь, а лишь изыскивать средства для наиболее утонченного наслаждения ею.

Этим гедонистическим стремлениям мешает узость и монотонность потребляющего, а не производящего мира его класса; скуку его быта приходится корректировать неопределенными мечтаниями и неясными ощущениями. В тепличном мирке творчества Фета «нет прямого и страстного чувства, а есть только первые, несколько стыдливые зачатки его, нет ясно и положительно формулированной мысли, а есть робкий, довольно темный намек на нее, нет живых и вполне определившихся образов, а есть порою привлекательные, но почти всегда бледноватые очертания их; мысли и чувства являются мгновенной вспышкой, каким-то своенравным капризом, точно так же скоро улегающимся, как и скоро вспыхивающим; да и не желания это совсем, а какие-то тревоги желания. Слабое присутствие сознания составляет отличительный признак этого полудетского миросозерцания»[49]. Эта поэзия, ищущая в зачаточных чувствах без объекта приправы к пресному усадебному житию, придумывающая скорбь как средство самоуслаждения, не может конечно быть художественно полноценной для революционно-демократичесокго критика. Неопределенность делает эту «эмбриональную» поэзию монотонной, обилие мелькающих образов, на которых рассеянно-праздный взор поэта не может сосредоточиться «делается наконец равносильным совершенному их отсутствию».

Какова же судьба этого типично-дворянского поэта и его поэзии, украшавшей усадебную праздность, в новой, пореформенной, обстановке? На этот вопрос Щедрин ответил в одной из своих общественных хроник, в которой ему пришлось выступить против Фета как реакционного публициста. Щедрин не отделил «чистую поэзию» Фета от его крепостнической публицистики. Он не побоялся связать эту «эфирную» лирику с прозаическими сетованиями помещика, обиженного даже таким «освобождением» мужика, как реформа 19 февраля.

Процитировав несколько стихотворений Фета дореформенного периода, Щедрин замечает:

«С тех пор, как Фет писал эти стихи, мир странным образом изменился. С тех пор упразднилось крепостное право... светлые струи безмятежия и праздности возмущены, появился нигилизм, нахлынули мальчишки. Правды на земле не стало; люди, когда-

то наслаждавшиеся безмятежием, попрятались в ущелия и расселины земные; остался один «коварный лепет», да и тот совсем не такого свойства, чтобы его из мыслей прогонять и снова призывать.

Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расселины, и г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он... пишет романсы, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает. Нынешние романсы его уже не носят того характера светлой безмятежности, которым отличалась фетовская муза в прежний период: напротив того, от них веет грустью, в них слышится вопль души по утраченном крепостном рае».

Процитировав стихотворение «Прежние звуки, с былым обаянием», где автор обращается к своей «старой песне» с просьбой утешить и убаюкать его, критик продолжает:

«Объяснение к этому стихотворению мы находим в статейке г. Фета «Из деревни». Здесь г. Фет докладывает читателю, что времена наступили крутые и тяжкие, что равенства перед законом нет, что работники его, Василий и Семен, пользуются покровительством законов, а он, г. Фет, не пользуется, что у него, г. Фета, чуть-чуть не пропало за работником Семеном 11 р.... что у него, г. Фета, потравили было пшеницу крестьянские гуси, и что во всех этих беззакониях и беспорядках обвиняется литература, которая вместо того, чтобы «обсуживать» вопросы, только судачит об них свысока»[50].

Между сетованиями дворянского поэта, его тоской о потерянном «крепостном рае» и наконец его «эмбриональной поэзией» с ее неуловимыми мелодиями и беспредметной, а потому и сладостной «грустью» существует для Щедрина неразрывная связь и последовательность в переходе от одного «лирического» состояния к другому и от «лирического» к совсем не лирическому. Утонченный современный поэт превращается в условиях обострившейся классовой борьбы в того старого «зверобоя», превосходством над которым так недавно еще гордился, и в этом превращении остается верен себе: он в сущности защищает свою музу, которая была и осталась крепостнической в самых бесплотных своих песнях.

О связи всех этих вещей вспоминает Щедрин в заметке о «мотыльковой поэзии» К. Павловой.

Лишенная обаяния подлинного дарования, богатства средств поэтического внушения массовая поэтическая продукция дворянской культуры неспособна играть охранительную роль, ибо сама себя разоблачает, как и более талантливую поэзию того же класса, обнажая скрытые мотивы, выбалтывая задние ее мысли, выдавая своей стилистической неловкостью ее искусственность. Посредственные поэты не умеют лгать поэтически, они лгут так, что никого не обманут. Но и талантливые поэты, лгать умеющие, и посредственности, не умеющие скрыть внутренней своей фальши, составляют один паразитический вид поэзии, вырастающий из одной почвы:

«Целые литературные поколения бесплодно погибали и продолжают погибать в беспрерывном самообольщении на счет того, что действительное блаженство заключается в бестелесности и что истинный comme il faut состоит в том, чтобы питаться эфиром, запивать эту пищу росой и испускать из себя амбре. Где источник этого сплошного лганья? С какой целью допускается такое тунеядное празднословие?... Это явление странное, но оно не необъяснимо. Это продукт целого строя понятий, того самого строя, *который в философии порождает Юркевичей, в драматическом искусстве дает балет, в политической сфере отзывается славянофилами*, в воспитании — институтками, сосущими мел и грызущими карандаши. Тут нет ни одного живого места, тут все фраза, все призрак; тут одна нелепость доказывается посредством другой, и все эти пустяки, склеенные вместе, образуют под конец такую трущобу, которую с трудом пробивают самые смелые попытки здравого смысла»...[51]

Особенность щедринской критики дворянской культуры, помещичьей литературы, ее излюбленных типов «лишних людей», ее идеологии и художественной ценности — в том,

что, подвергая беспощадному отрицанию класс, из которого вышел, наш писатель не является в 60-х годах «кающимся дворянином». Обличение и разоблачение помещичьего класса у Щедрина — не самобичевание и не саморазоблачение. Оно производится с такой точки зрения, которая, являясь более высокой, чем покаяние, принадлежит уже другому классу, сознание которого «никак не примирится с тем, чтобы судьбы мира могли находиться в руках людей, останавливающихся перед всяким живым делом в положении хемницеровского «Метафизика». Ведь идет же как-нибудь этот мир, делается же в нем какое-нибудь дело... стало быть есть в нем какие-то другие люди, которые хотя не сильны по части метафизики, но могут делать настолько, что и сами живут, да и метафизикам жить дают»[52].

Представляя этих «других людей», их стремление из «класса в себе» стать «классом для себя», людей не касты, а массы, не кукольных, не тепличных, а людей суровой жизни и труда, Щедрин с презрением отвергает притязания первых и на социально-политическую и на культурную гегемонию. Единственное, о чем могли бы просить еще такие люди, это — «дарового места в богадельне». Но Щедрин знает, что, «несмотря на бесполезные мечты, а быть может именно по причине их народ этот имеет наклонности скорее сибаритские, чем аскетические»[53], и будет судорожно цепляться за свою гегемонию как за возможность их удовлетворения.

Восходящая культура, в частности литература восходящего класса, будет одним из орудий в борьбе против отжившего и отживающего, и ее, становящуюся литературу революционно-демократическую, Щедрин и противопоставляет исчерпавшейся литературе дворянской, не только творчеству К. Павловых, но и Фетов, Майковых, Полонских, даже Тургеневых и Гончаровых. Ибо и в лице наиболее одаренных своих представителей «старое искусство падает; привыкши проявлять свою силу только в мире вымыслов и более или менее искусственных построений, оно приходит, наконец, к сознанию, что вымысел уже никого не удовлетворяет, что общество жаждет не выдумок, а настоящей жизни, той самой, которая покамест проявляется в отрывках и осколках».

Усилия жрецов старого искусства «обновиться» остаются тщетными; они разрешаются такими фальшивыми произведениями, как например «Картинка» Майкова, такой клеветой на лучшие стремления новых людей, как «Отцы и дети» Тургенева и «Обрыв» Гончарова. Причина их бессилия в том, что «приступая к этой новой жизни, они всецело оставляют при себе свое прежнее миросозерцание»[54]. С точки зрения нового миросозерцания, с позиций внедворянских критикует Щедрин литературу дворянскую и с тех же позиций обосновывает и защищает литературу новую.

6. ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Самое обоснование новой литературы было обороной против усиливавшейся реакции, отрицавшей ее право на существование.

Щедрину приходится оправдывать литературу, вынужденную останавливаться «именно на таких-то, а не на других явлениях жизни, проявлять свою деятельность в такой-то, а не иной форме» вследствие «вытеснения старых элементов жизни новыми»[55]. Сдвиг в литературе — проявление социального сдвига в стране; он вызван «нашествием незнакомцев», тех элементов, которые до сих пор удерживались вдали от культурной жизни. Эти «новые общественные стихии не могут проникнуть в общество иначе, как во имя упразднения и даже как последнее слово этого упразднения», но «упразднение» для них только условие к своему до сих пор подавленному творчеству. В отличие от Писарева, Щедрин мыслит и старые формы творчества — искусство, литературу — как необходимые творчеству новому, как оружие, которое в новых руках будет еще лучше служить, чем в старых.

Значение литературы Щедрин склонен скорее преувеличивать, чем преуменьшать.

При всей классовости своего подхода к явлениям культуры, при всем «экономическом материализме» своего понимания истории он не раз впадает в идеализм, в ха-

рактерную для представителя революционно-демократической интеллигенции переоценку идеологии, когда говорит о литературе и ее влиянии на жизнь. Без литературы для него немыслимо государство «уже по тому одному, что [оно] самым происхождением своим обязано литературе»[56].

Патетический дифирамб литературе кончается даже утверждением ее надклассовости: «она одна имеет дар всех соединять под сению своей, всем давать возможность вкусить от сладостей общения»[57].

Характерно для Щедрина, что когда он переходит к анализу конкретных литературных явлений, то сейчас же снова находит классовую почву, которую теряет, когда отдается отвлеченным размышлениям о ней. В них довлеет самая идея литературы, идея вооруженной словом человеческой мысли, идея светоча, одерживающего победу над мраком, типичная для представителя группы, у которой слово было единственным оружием: не верить в его мощь означало впасть в отчаяние.

Но в этой идеалистической оценке литературы отражалось, правда в чрезвычайно преувеличенном виде, сознание, что литература — не только искусство, но и социально-политический фактор. Она никогда не мыслится как «имманентный ряд», развивающийся самостоятельно, в стороне от жизни. Литература означает для Щедрина всю мысль общества, а так как идеолог революционно-демократической интеллигенции не может не переоценивать значения мысли, то Щедрин приходит к утверждению, что «если мы замечаем в обществе движение в смысле расширения сферы его самодеятельности, то можем сказать безошибочно, что литература не только относится к нему сочувственно, но что и самое движение, прежде всего, было вызвано ею...

Но этого мало: возбудив в обществе потребность самосознания и самодеятельности, литература не успокаивается на тех видимых явлениях, которые возникают как естественное следствие ее пропаганды... Те новые стихии, которые после каждой победы мысли призываются литературой к участию в жизни, могут дать повод к таким бесчисленным общественным комбинациям, которые в глазах непосвященной уличной публики должны казаться не более как безобразными призраками, но которые литература обязана не только предусматривать, но и регулировать»[58].

Если мы вспомним щедринскую оценку помещичьей литературы, то придем к заключению, что не к литературе охранительной, а к литературе революционной можно отнести подобные суждения. Когда Щедрин говорит о литературе вообще, надо разуметь под ней литературу революционного класса, оружие этого класса, чрезвычайно высоко расцениваемое. Содержание идеи литературы, взятой отвлеченно, все же совпадает у него с идеей изменяющего мир класса, одним из орудий которого является искусство. Именно такая литература, в отличие от дворянской, охранительной, «всегда идет далее общества, всегда видит истину ближе, ибо, во-первых, обладает большею против него суммою знаний и, во-вторых, имеет в своем распоряжении более твердые и выработанные приемы, нежели та завещанная преданием рутина, которою располагает большинство».

Этих своих целей новая литература может достичь только новой тематикой, типами и формами искусства, вырастающими на совершенно иной основе, чем тематика, характеры и формы дворянской литературы, никогда не порывавшей с преданием и «завещанным им кодексом бессодержательных истин». «То, что отстраняет от новой литературы наших мистиков сороковых годов, то именно и дает ей право на живучесть и силу. Это — новые типы, которые она пробует выводить, это — новое дело, о котором она говорит, это — новый язык, с которым она нас знакомит»[59].

В отличие от старой литературы она охватывает действительность «не праздничными безмятежно-идиллическими..., но и будничными, горькими, режущими глаза сторонами»[60].

Тематика новой революционно-демократической литературы таким образом отличается от тематики дворянской большим разнообразием мотивов. Если содержание помещичьей литературы составляли «перипетии помещичьих вожделений»[61], то новая выдвинула богатую проблематику, например идею о «своем пути, о сво-

ПЕРСОНАЖ ИЗ «ГУБЕРНСКИХ ОЧЕРКОВ»

Рисунок М. Башилова, литографированный П. Борелем
«Художественный Листок»
1868—1869 гг.



бодном и самостоятельном труде, о сознательном отношении к природе жизни» как *достояние не одних избранных натур, но общее, мирское*[62].

Все эти вопросы, от которых с таким испуганным бессилием, переходящим в бессильное неистовство, отшатывалась дворянская литература, имеют более или менее ясно выраженный классовый характер. В статье о романе Омулевского «Шаг за шагом» Щедрин формулирует четыре таких вопроса: о свободе мышления, вопрос женский, о народном образовании и рабочий. Если в первых двух их классовый характер и может быть затемнен, то в последних он выступает достаточно отчетливо, несмотря на все усилия реакционной литературы затушевать его и представить их как выдумку «злонамеренных». Не говоря уже о рабочем, вопрос о народном образовании — это в сущности вопрос о праве крестьянства на культуру, что сводится в конце концов к проблеме его эмансипации и защиты от реакции. Он «уядовитился всякого рода подозрениями насчет разнузданности, распущенности и даже революционной пропаганды. Ванька, рассуждающий о том, что земля кругла, показался смешон; Ванька, изъявляющий претензию, чтобы с ним были н а в ы, показался дерзок...»[63]

Ставя эти вопросы перед литературой, требуя от нее образного ответа, революционно-демократическая интеллигенция не только не принижает литературу, как утверждают реакционеры, но подымает ее на высшую ступень.

«*Еще очень недавно все содержание так называемых беллетристических произведений* основывалось исключительно на взаимных отношениях двух противоположных *полов... Человек, который сознает себя живущим и действующим не только под* влиянием побуждений любви..., но и в силу других более глубоких запросов своей человеческой природы, должен был чувствовать себя приниженным при виде той тесной сферы, в которую его волею или неволею втискивали»[64].

Перед новой революционно-демократической литературой стояли неизмеримо более важные и сложные задачи, чем перед дворянской.

«Воззвать к жизни,— писал Щедрин два десятилетия спустя,— то, что изнывало в глубинах преисподней, осветить дебри, в которые никогда не проникал луч света,—

согласитесь, что это задача не безынтересная и тем более не легкая, что ее дала непосредственно сама покончившая с старыми счетами жизнь, дала внезапно, почти насильственно, без всякого участия последовательной литературной традиции»[65].

Новая тематика, а главное то новое социальное содержание, которое вкладывалось в ее разработку, не могли не поставить перед литературой совершенно иных задач в области типажа, жанра и стиля в тесном смысле слова.

Поднять все эти новые вопросы не может излюбленный герой помещичьей литературы — «лишний человек» — уже потому, что они ему органически чужды, что самое их возникновение уже отрицает его, как и весь старый помещичий уклад, из которого он вырос.

Литературе необходимы новые формы для нового содержания, и прежде всего новые характеры, составляющие с этим содержанием одно живое целое. Она должна пойти по пути, указанному Чернышевским в романе «Что делать?» — по пути изображения «новых людей» — «уяснения положительных типов русского человека», в отыскивании которых не мог не потерпеть неудачу Гоголь, но для которых время теперь настало.

Кто этот новый герой? Это прежде всего борец, человек из авангарда многомиллионной сельской и городской трудовой массы, это разночинец, революционер в настоящем или будущем. Проблема этого «положительного» типа является задачей и более благодарной, и более трудной, чем проблема «лишнего человека». «Насколько незначителен внутренний запас человека отрицательного направления и насколько эта внутренняя бедность облегчает изучение его, настолько богат реальным содержанием внутренний мир нового человека и настолько делается менее доступным его изучение... Объяснение типа человека праздного легко достигается при помощи одной талантливости, но объяснение типа человека дела, человека профессии, уже требует, кроме талантливости, еще известной подготовки»[66].

Таким образом новый тип русского идейного разночинца, к созданию которого призывает Щедрин, представляющий более значительное внутреннее содержание, чем тип «лишнего человека», предъявляет своему творцу требование такого высокого культурного уровня, до какого не поднимался дворянский художник.

Но этого мало. За революционным разночинцем, «новым человеком», должен притти в литературу и «человек, питающийся лебедой», тот, для которого первый живет и умирает, тот, без чьей поддержки все усилия первого окажутся бесплодными. После разночинца мужик станет героем литературы, как и всей современности. «Всем он нужен. Тупа философия, коснязычна реторика... без мужика».

Изображение этого нового «деятельного и положительного типа» из народных низов не только не упрощает, но еще более осложняет задачи литературы. «К удивлению оказывается... что мир мужицких отношений значительно сложнее и запутаннее, нежели тот, в котором обыкновенно вращаемся мы, люди интеллигенции»[67].

Новый герой, вызванный к жизни и призванный в литературу с «усложнением жизненного процесса и преображением его жизненного содержания», требует для своего изображения и уяснения совсем иного сюжетосложения и сюжеторазвертывания. Это отнюдь не значит, что «прежние задачи литературы совсем упразднены»[68]. Это было бы чисто механистическим подходом к литературе, пример которого совсем недавно показали литфронтовцы, облыжно зачислявшие Щедрина в свои соратники. Нельзя отменить прежних задач, покуда нельзя изгнать прежних мотивов из человеческой жизни. Но можно и должно изменить самую их расценку, ибо самое соотношение их в жизни иное. Литература отражает действительность менее замкнутую, слои менее изолированные. Жизнь стала социальнее, но личное имеет в ней свое значение и не учесть его — значит допустить фальшь, мы бы сказали «лакировку», в изображении того самого социального, которое является теперь первенствующей задачей жизни и литературы. Все личные мотивы остаются составным элементом общей картины, но далеко не господствующим, а подчиненным. Прежнее смакование мотивов семейных, детальное воспроизведение их развития «может только безо всякой надобности осла-

бить действие других элементов, более настоятельно предъявляющих свои права на участие в жизненном процессе, которые только что наметились и которые для своего уяснения требуют совсем других картин, других образов, других приемов и даже других слов»[69].

Драматическая коллизия выходит из тесных семейных рамок, «зарождается где-то в пространстве и там кончается». Здесь, в этом «пространстве», т. е. незамкнутой в узком кругу жизни уже не крепостнического, а капиталистического общества, возникает вместо трагизма любовных измен трагизм иного рода, как например борьбы «за оскорбленное и униженное человечество... борьбы за существование». Задача новой литературы осветить это еще «темное пространство», сделать этот трагизм так же понятным, как была понятна в литературе старой смерть человека «из-за того, что его милая поцеловала своего милого... потому именно, что этому разрешению предшествовал самый процесс целования»[70].

Художественно оправдывая новый трагизм, новая литература должна преодолевать в нем элемент случайности, являющийся следствием незнания, она должна через предшествующие данному разрешению звенья необходимости, «в которых собственно и заключалась никем не замечаемая драма», добиваться познания и изображения процессов. Лишь тогда только создастся на место старого семейного романа и драмы социальный роман, социальная драма.

Расширение и изменение соотношения мотивов и самого характера их развития, являющееся результатом давления «новой жизненной стихии», которая «составляет предмет исследования современной литературы», радикально изменяет самые жанры словесного искусства.

«Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте — везде, только не дома, и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где... Эти резкие перерывы и переходы кажутся нам неожиданными, но между тем в них, несомненно, есть своя строгая последовательность, только усложнившаяся множеством разного рода мотивов, которые и до сих пор еще ускользают от нашего внимания или неправильно признаются недраматическими»[71].

На очереди стоит таким образом проблема романа, в котором внешняя прерывистость и непоследовательность явлений усложнившейся и убыстрившейся жизни преодолевается внутренней закономерностью, объясняющей самые перерывы и неожиданности. Эта «своя строгая последовательность» высшего порядка, «снимающая» «странности» новых явлений жизни, в том числе и «новых людей», не может быть достигнута средствами старой литературы. Проблема «социального романа» представляет совершенно неизвестные ей трудности уже потому, что, не освобождая художника ни от одной из прежних задач, она вводит их в систему задач новых, несравненно более трудных, и тем самым усложняет их. Освобождает ли она например его от психологических задач или, по крайней мере, упрощает их? Ни в коем случае. Отменяя психологизм, она нисколько не отменяет психологии. Этого не поняли литфронтовцы, когда пытались опереться на Щедрина. Историческое «положение», понять и истолковать которое должен художник, которое является основой явлений идейного порядка, а не наоборот,— оно наиболее доступно для художественного творчества именно в явлениях человеческой психики. Это «положение» воплощается для писателя в индивидуумах, которые и становятся для него типами, несмотря на то или вернее потому, что обладают своим особым внутренним миром. «Понять и разъяснить эти типы — значит понять и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным и рельефным»[72]. Щедрин — этот единственный сатирик, избежавший схематизма, учил и как критик избегать упрощенства и анализировать психическую жизнь даже там, где она, казалось, не могла представлять интереса для анализа и легко поддавалась схематизации.

* *
*

Не менее, если не более актуальной задачей, чем проблема нового социального романа, является для Щедрина проблема новой сатиры. Именно потому, что «новая жизнь еще слагается», она предпочитает такие формы, в которых может выразиться «отрицательно» [73]. А такой формой и является сатира. Изменение жанра обусловлено и здесь в первую очередь изменением его содержания: новыми типами, «существования которых гоголевская сатира и не подозревала», возникающими на основе совершенно нового «положения».

Чтобы разобраться в нем, в сумятице убыстрившейся жизни, мало того морального кодекса, которым обладали прежние сатирики. Изменяются самые представления о пороке и добродетели, и, чтобы понять эти перемены, надо найти точку зрения более глубокую, чем точка зрения «отвержденной морали».

Прежние сатирики подходили к пороку с точки зрения прокурорского надзора. При всей своей гениальности и Гоголь не возвысился над примитивной точкой зрения официальной морали. Обличаемые им лица не представляют этической проблемы. Их проступки предусмотрены существующими узаконениями.

Для новой же сатиры порок проблематичен и постольку интересен, поскольку этими узаконениями не предусмотрен.

Отвергая точку зрения официальной морали — точку зрения внешних признаков, доступных и полицейскому взгляду, новая сатира признает за пороком «значительную долю въедчивости», т. е. притягательной силы, и изменчивости «как относительно внешних форм, так и по существу».

Революционную сатиру привлекает предположение «о въедчивости порока» уже потому, что она не может не отрицать такие «устои» охранительной литературы, как идеи свободы воли и личной ответственности: «Так что ежели человек, укравший грош, в глазах моралиста ни в каком случае не заслуживает пощады, то во мнении человеческой совести и литературы он может оказаться человеком, у которого даже отнять похищенный им грош не совсем ловко».

Новая сатира не только не намерена содействовать полиции и суду, но направляет свой бич как-раз против тех, чье спокойствие ограждается ими и всеми кодексами официальной морали. Ибо громадное большинство действительно порочных «удобно уживается с этою моралью и под сенью ее бездельничает на всей своей воле». Революционно-демократическая сатира называет убийцами и ворами тех, кого прокуратура и не подумает обвинить в убийстве или краже [74]. И обратно: она не обвинит тех, кого обязательно осудил бы и предал всем мукам совести представитель старой литературы.

У Щедрина мы находим блестящий пример такого изменения моральных представлений в результате социально-культурного сдвига, которое имеет существеннейшее значение для самой структуры художественных произведений. В старой литературе, как литературе охранительной, «ежели сильный мира подвергается насильственному устранению из жизни, то совершивший преступление не только не получает ожидаемых от него выгод, но создает для себя положение настолько нестерпимое, что гораздо лучше во всем сознаться и подвергнуть себя заслуженной каре, нежели продолжать жить с страшным укором на совести... Происходит ли в преступнике подобный психологический процесс в тех случаях, когда из жизни устраняется лицо менее сильное, как например мужик,— об этом драма умалчивает. Напротив того, она показывает нам разбойников, которые на своем веку сгубили многие десятки душ и не формализировались своим ремеслом до тех пор, покуда случайно не попадался под руку сильный мира, и уже тогда начинались собственно угрызения... Отчего это происходит? О т ч е г о с о в е с т ь, с т о л ь ч у в с т в и т е л ь н а я о т н о с и т е л ь н о с и л ь н ы х м и р а, в д р у г д е л а е т с я р а в н о д у ш н о й, к о г д а р е ч ь и д е т о м у ж и к е? Оттого ли, что мужик находится вне пределов исторической жизни и значение его равняется жизни мухи?» [75] В самой постановке этих вопросов чувствуется атмосфера эпохи напряженной классовой переоценки ценностей. Центр тяжести

в литературных произведениях, имеющих дело с пороками и преступлениями,— и в сатире в особенности — переносится с психологического анализа «угрызений» на причины этих «угрызений». Сатира, как и роман, освобождается от психологизма, психологический анализ занимает подчиненное место, но он не только не упраздняется или упрощается, но должен выиграть в силе, глубине, конкретности, ставя перед писателем несравненно более значительную задачу, чем тогда, когда являлся замкнутым, «имманентным». Проследить мысленно всю длинную цепь от причин к следствиям, самый способ образования душевных переживаний от материальных причин — это задание, которое и не представлялось во всей своей сложности художникам дворянской литературы, не обладавшим необходимым для ее разрешения знанием и пониманием жизни.

Соответственно такому взгляду на задачи сатиры Щедрин расценивает и отдельные виды ее, с которыми ему приходится иметь дело как рецензенту.

Характеразуя Минаева «как сатирика местного и петербургскогро» [76], Щедрин полагает, что «сатира, замыкающая себя в кругу общественных курьезов и странностей (которыми так изобилует петербургская общественная жизнь), едва ли может даже заслуживать названия сатиры».

Ближе к сущности сатиры писатель тогда, когда приводит в связь эти курьезы с полной страданий жизнью общества. «С одной стороны, общественное мнение, забитое и приниженное, с одной стороны, несмелые порывания к чему-то лучшему, мучительные сомнения, неудовлетворенная жажда света, истины и добра, с другой стороны, торжествующее сонмище грызунов-шалопаев... сонмище, ни в чем не сомневающееся, недоступное ни для каких комбинаций, — трудно себе представить что-нибудь более горькое, более способное возмутить душу самую незлобивую! Тут уже чувствуется дело, могущее возбудить не один водевильный и скоро проходящий смех». Это уже административная сатира,— например сатира «Губернских очерков», но и она «не только не исчерпывает всей жизни общества, но даже относится к ней односторонне и поверхностно... Действительная история человеческих обществ есть повесть неписанная и по преимуществу безымянная, которой нет дела до случайных накипей, образующихся на поверхности общества. Она воспроизводит не ту кажущуюся, богатую лишь внешними признаками жизнь, которая мечется в глаза поверхностному... наблюдателю, но ту безвестную жизнь масс, где совершаются дела и события, почти всегда находящиеся в явном противоречии с показаниями истории писаной и щеголяющей именами.

Вот ежели мы спустимся в эти тинственные, неизвестные народные глубины и найдем там лишь убожество, нищету да бессилие, ежели мы встретимся там лицом к лицу с жизнью, со всех сторон опутанною всякого рода тенетами, с жизнью, находящеюся в постоянном и бесплодном борении с материальною нуждою, с жизнью, которая этой никогда не прерывающеюся борьбой как бы осуждена на вечный мрак и застой,— вот тогда-то перед нами откроется зрелище действительно потрясающее, которое всецело и навсегда прикует к себе лучшие силы нашего существа и в то же время даст нашей деятельности и богатое неисчерпаемое содержание и действительную исходную точку.

Таким образом оказывается, что единственно плодотворная почва для сатирика есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественною в истинном и действительном значении этого слова. Чем дальше проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности. Дело будет слышаться в его речи, то кровное человеческое дело, которое, затрагивая самые живые струны человеческого существа, нередко возвышает до героизма даже весьма обыкновенного человека» [77].

Мы привели почти целиком эту патетическую речь о задачах сатиры, потому что она убеждает нас в следующем весьма важном положении: сатира для Щедрина должна быть трагичной и в силу этого трагизма революционной: только революция может снять отраженный в ней трагический конфликт.

В свете такого понимания задач сатиры становится необходимой и переоценка категории юмора, которой либеральная критика пыталась отразить больно бившие по ней щедринские удары. Когда вышла «История одного города», Суворин, либеральный в то время критик «Вестника Европы», противопоставил щедринскому «глумлению над народом» юмор, который «великое низводит до малого, а малое возвышает до великого». В замечательном письме к Пыпину, позднее в основном воспроизведенном в рецензии на повести Лейкина, Щедрин вскрыл классово охранительный характер этой категории буржуазной эстетики, столь наивно отраженной его критиком:

«Изложенная выше теория юмора не только фальшива, но сама содержит в себе глумление, горше всех глумлений. Представьте себе на практике эту гимнастику низведения и возвышения, и вы убедитесь, что тут идет уже речь не о временно-великих и временно-малых, какими вообще являются люди в истории, но о консолидировании сих величин навсегда» [78].

Широко используя в своих критических суждениях о сатире опыт своего собственного творчества, Щедрин требует сатиры не личной, не психологической, а подлинно социальной, объектом которой были бы не лица, даже не разные «недостатки механизма» или «курьезы», дорого обходящиеся тем или иным кругам общества, а целая система общественных отношений, ее трагическая нелепость, то «иго безумия», которым она является. Психологический анализ пороков, относясь к следствию, а не к причине, отошел в ней на второй план: «вперед же выступила сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности».

* * *

От сатиры мы переходим к поэзии — в более тесном смысле к тому, что уже своей размеренной речью выделяет себя как особую отрасль искусства слова, а в более широком — к совокупности тех эмоционально-интеллектуальных воздействий, которые отделяют художественную литературу от словесности.

Спасение поэзии, и в том и другом смысле исчерпавшей себя как явление помещичьей культуры, в переходе ее от дворянства к более широким слоям. В результате этого перехода она перестанет быть орнаментом и освободится от орнаментализма. Она должна отбросить мифологические украшения, ту «клевету на жизнь», на реальный мир и отношение к нему человека, которую с таким негодованием обличал Щедрин в эпигонах дворянской поэзии. «Невежество преувеличения и фальшь никак не могут считаться неотъемлемой принадлежностью поэзии». Культивирование бессознательного в виде «вдохновений», преданность «непосредственным впечатлениям», преобладание фантастики и эмоции над «знанием, ясностью представлений и жизнью, настоящей, невыдуманной жизнью», разработка мифов и тому подобных «красивых» образов — все это страстно отвергается Щедриным.

«Чем выше и многообъемлющее поэтическая сила, тем реальнее и искреннее ее миросозерцание». А чем оно «реальнее и искреннее», тем менее разделяет оно «природу на две половины: прекрасную и гнусную», тем лучше оно отражает формы творчества самой природы, зависящие «от точных и в данную минуту незыблемых законов, существование которых исключает даже самое предположение о прирожденной презрительности или прирожденном благородстве этих форм» [79]. Полноценная поэзия — это монистическая поэзия, отвергающая дуалистический взгляд на природу и человека как искажающий истинные отношения вещей. Та «дельность», которой проникнуто «всякое слово» у Шекспира, конкретность, определительность представлений и ощущений — «вот что обеспечивает поэзии здоровое, живое и разнообразное содержание». Противоречащие этому «предрассудки» составляют черты «заурядной поэзии», которая является «совершенно неспособною руководить толпой». Лишь тогда, когда поэзия способна руководить ею,— она «представляет одну из законных отраслей умственной человеческой деятельности» и, как таковая, «она нимало не враждебна ни знанию, ни истине» [80].

Здесь мы подходим к одной из своеобразнейших особенностей в критике Щедрина, которую можно назвать его **учением о тенденции в художественном творчестве**.

7. УЧЕНИЕ О ТЕНДЕНЦИИ

Утверждение тенденции резко отличает революционно-демократическую критику от критики дворянской, противопоставлявшей ему теорию «искусства для искусства», сущность которой «заключалась в отрицании направления, т. е. миросозерцания, тенденции, мысли» [81].

«Искусство для искусства» противостоит искусству миросозерцания; им и является так называемая тенденциозная литература, за *которой дворянская критика отрицала* художественность. В понятии тенденции, как в фокусе, сосредоточиваются все особенности революционно-демократической литературы; являясь ее двигателем, тенденция обусловливает все ее свойства как искусства, которое «должно руководить толпой», ибо она и есть то, к чему литература направляет массу. Тенденция как бы связывает все черты этой новой литературы в единую систему, в один стиль. То новое, что приносит революционный разночинец в литературу, может быть выражено одним этим словом «тенденция».

В самом деле! Что значит творить без тенденции? Для этого необходимо «во-первых, чтобы художник исключил из области искусства целую категорию явлений умственного и нравственного мира», ибо «последние не могут подлежать воспроизведению человека, лишенного миросозерцания; это явствует уже из того, что, прежде чем воспроизводить такие явления, необходимо их понять и оценить, а это невозможно сделать без собственного миросозерцания»; «во-вторых, *чтобы он ограничил сферу* искусства одними физическими отправлениями» [82].

Таким образом тенденция оказывается неразрывно связанной с новой тематикой, *с новым содержанием литературы — с новой «категорией явлений* умственного и нравственного мира», которой является это содержание. Только тенденция преодолевает



«ОЗОРНИК»
Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем
«Художественный Листок»
1868—1869 гг.

«бедность мотивов» дворянской литературы. Определяя отношение автора ко всем разнообразным «стихиям» общественной и индивидуальной жизни, она вводит в художественное творчество «значительнейшее число комбинаций», которых оно было лишено без нее[83].

Отношение к явлениям жизни под тем или иным углом зрения, ставшее необходимым в такое время, которое покончило с раз заведенным порядком жизни, заставило каждого отвечать на ее запросы за свой страх и риск,— это отношение «ни мало не может служить стеснением для творческой деятельности художника, а напротив того, открывает ей новые горизонты, оплодотворяет ее, дает ей смысл. Художник становится существом не только созерцающим, но и мыслящим, не только страдательно принимает своею грудью лучи жизни, но и резонирует их. Ничто в такой степени не возбуждает умственную деятельность, не заставляет открывать новые стороны предметов и явлений, как сознательные симпатии или антипатии. Без этой подстрекающей силы художественное воспроизведение действительности было бы только бесконечным повторением описания одних и тех же признаков»[84].

Еще с большей четкостью, яркостью и смелой последовательностью Щедрин развил свои идеи о роли тенденции в художественном творчестве в рецензии на стихотворения Полонского.

«Неясность миросозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю... Сервантес, Гете, Шиллер, Байрон и другие... всегда полагали в основу своих произведений действительные стремления и нужды человечества и, сверх того, умели с полною ясностью определить свое отношение к этим стремлениям и нуждам. Если произведения этих писателей имели в свое время громадное воспитательное значение, если это значение и поныне еще не утратило силы, то объяснение этого факта следует искать именно в их тенденциозности... «Дон Кихот», «Чайльд Гарольд», «Фауст», «Разбойники» — все это произведения в высшей степени тенденциозные и, стало быть, требуя от литературного деятеля, чтобы он... с полною ясностью определял свое отношение к вещам мира сего, мы не только не являемся отрицателями здоровых преданий искусства, но, напротив того, не отступаем от них ни на шаг»[85]. Опираясь на правильно понятые исторические факты, Щедрин сразу бьет два излюбленных довода сторонников «искусства для искусства»: аргумент от традиции, показывая, что именно революционно-демократическая литература является законным наследником лучших традиций и ценностей прошлого, и аргумент «от вечности». Та самая «реакция на вечность», которую якобы могли выдержать только произведения «чистого искусства», оказалась в пользу творчества тенденциозного.

Не ограничиваясь этими столь убедительными общими соображениями, Щедрин углубляет здесь свое обоснование положительной роли тенденции в самом процессе художественного созидания, ее значения для самой структуры поэтического произведения.

«Без ясно сознанной идеи художественное произведение является сбором случайностей, в котором даже искусно-начертанные образы теряют значительную долю своей цены, потому что не существует органической связи, которая объясняла бы их участие в области экономии художественного произведения...

Нет предвзятой идеи (не в смысле пригибания живых лиц требуем мы предвзятой идеи, а в смысле общих намерений произведения) — нет и животворящего духа. Разрозненность, случайность, вялость — вот характеристические качества произведений, отвергающих так называемую тенденциозность, и не выкупятся эти недостатки никакими подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены»[86].

Нет тенденции — нет художественного синтеза, нет художественного целого; произведение представляет собой механическое соединение деталей.

«Сознательность, доведенная до страстности»,— говоря словами Щедрина по другому поводу,— тенденция заменяет бессознательное вдохновение старой литературы или, вер-

нее, является тем, что вдохновляет, одушевляет литературу новую. Щедринское понимание роли тенденции в литературе отличается от понимания его предшественников тем, что не может быть формулировано словами: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Иначе говоря, Щедрин не хочет сказать, что мало быть только поэтом, художником, следует быть гражданином, мало создавать художественные образы, должно проводить еще передовую тенденцию. Он далек от подобного эклектизма, далек от представления о художественном творчестве и тенденции как двух внешних и чуждых друг другу силах, из которых одна должна подчинить другую во имя гражданского долга поэта. Нет, тенденция у Щедрина является внутренним условием новой художественности, той ее особенностью, которая возвышает ее над замкнутым, ограниченным, «бедным мотивами» помещичьим искусством, увеличивает ее интерес для наиболее передовых людей эпохи, превращает ее из украшающего досуг орнамента в мощную силу, «руководящую толпой», преодолевает отвлеченность искусства, придавая ему актуальный, практический характер.

Тенденция возвышает автора над предметом, дает ему возможность овладеть им, а не «плестись» за ним [87]. Вопреки ходячему мнению, она избавляет его часто от односторонности, неизбежной при подчинении предмету.

Что в симпатиях и антипатиях художника «находится источник всевозможных преувеличений»,— Щедрин не отрицает. Но «как бы то ни было... впадет ли художник в преувеличения или остережется от них (с помощью «критического отношения к жизненному материалу», т. е. опять-таки того же общественного миросозерцания, которым является тенденция.— *А. Л.*), это обстоятельство может иметь влияние только на критическую оценку его произведения... Но закон, в силу которого писатель-беллетрист не может уклониться от необходимости относиться к действительности под определенным углом зрения, остается непререкаемым и избегнуть его имеет право лишь тот, кто в то же время заявляет право и на полное невнимание публики» [88].

В своем понимании значения тенденции как условия новой художественности, как пути к ее обогащению и возвышению над старой, как и в своей концепции сатиры, Щедрин исходил из опыта собственного творчества. Вряд ли найдется другой столь откровенно-тенденциозный художник, для которого его искусство имело бы такие явные для него самого практические цели и который именно в этом почерпал бы силы для мощного художественного творчества.

* * *

Сознательность творчества, отвергающая теорию «бессознательного вдохновения», сознательность, не исключающая страстности разумного убеждения, страстной отзывчивости на величайшие вопросы времени, проникнутая этой страстностью, «доведенная» до нее именно благодаря своей беспощадной ясности и трезвости,— вот один из существенных моментов в щедринском понимании тенденции.

Поэт перестает быть певчей птицей, не знающей, о чем она поет и будет петь; ему доверено дело, в котором «сознательное отношение к действительности уже само по себе представляет высшую нравственность и высшую чистоту» [89]. Он должен «приучиться употреблять слова в их действительном значении; пора и поэтам понять, что они должны прежде всего отдать самим себе строгий отчет в том, что они желают сказать» [90]. С этим представлением об отчетности слова связан знаменитый лозунг Щедрина «со словом нужно обращаться честно». К сознательности творчества ведет чувство ответственности слова, ответственности писателя перед коллективом.

«Теперь ответственность на первом плане. Жизнь утратила прежнюю простоту и однообразие и переполнилась явлениями столь трудными, сложными и новыми, что разложение и определение их возможно не иначе как при посредстве совести и ее суда. Вторжение совести в писательское ремесло представляет такой существенный шаг, который совершенно изменил характер литературной деятельности. Писательская совесть вносит свет в сумятицу фактов. Она помогает... сделать им надлежащую оценку.

Эта оценка факта... составляет несомненное и самое дорогое право современного писателя. Но в то же время она налагает на него и ответственность. Ответственность тем более тяжела, что жизненная стихия, которая главным образом выступила вперед, имеет окраску по преимуществу политическую и социальную»... [91] «Совесть», которая освещает и определяет «явления столь трудные, сложные и новые», — это конечно та же тенденция, рассматриваемая как внутренняя необходимость в определенном отношении к жизненным фактам. Не было и не может быть безразличного, «беспартийного» отношения к действительности, которая является классовой. В самом безразличии уже таится отказ в поддержке одной борющейся стороны и косвенная помощь другой. В приложении к литературе это означает, что «литература и пропаганда одно и то же... всякая новая истина, добытая ею, находит слишком большое количество прозелитов, чтоб можно было не дорожить этим присущим ей качеством побеждать мрак... Точно то же приблизительно должно сказать и о заблуждениях. Литература, пропагандирующая бессознательность и беспечальное житие на авось... может значительно задержать дело прогресса...» [92]

Если литература, хочет она этого или не хочет, является пропагандой, то надо из бессознательной сделать ее сознательной, поднять ее на высоту разумного миросозерцания и разумной целеустремленности. Революционная мысль может позволить себе открыто утверждать то, что мысль охранительная не сознает или скрывает: классовую заинтересованность, оценку, тенденцию, потому что наполняет их новым содержанием. Так революционно-демократическая литература в лице Щедрина могла открыто признать себя пропагандистской, агитационной, тенденциозной, подобно современной пролетарской литературе, подобно марксистской науке, которые признают своей основой мировоззрение коммунизма в отличие от представителей буржуазного «чистого искусства» и «чистой науки», якобы чуждых философии, но на самом деле придерживающихся неосознанной ложной философии. В понятие тенденции как осознанного мировоззрения, как руководства к действию, четко различающего то, что отвергает, от того, за что борется, не может не входить партийность. В условиях защиты против наступающей реакции партийность литературы не может не проявляться как нетерпимость угрожаемой силы, для которой «нет почвы более опасной, скользкой, как почва соглашений... Проповедуется снисходительность, терпимость и уступчивость... и упускается из виду та обстановка времени и места, в которой эти прекрасные качества должны проявляться, и которая может сообщать им характер совершенно неожиданный и нежелательный... когда одна сторона расширяет свои требования до бесконечности, а другая обязывается в такой же пропорции суживать свои». Оберегая выдержанность разумной тенденции в революционно-демократической литературе, Щедрин особенно восстает против терпимости, когда она «наносит ущерб цельности собственного убеждения... В этом последнем случае терпимость, снисходительность и уступчивость нередко до такой степени изменяют свой характер, что делается трудным различить, действительно ли тут идет об них речь как о принципах, или же они выставляются вперед только для прикрытия робости и малодушия тех, которые проповедуют эти качества» [93]. От терпимости — прямой путь к оппортунизму, а от него — к беспринципности и ренегатству.

В данной исторической обстановке идея соглашения и терпимости была орудием реакции, к представителям которой Щедрин относил и либералов. Проповедью уступчивости они пытались притупить и ослабить революционно-демократическую мысль и направить ее по своему пути. Подменяя конкретный анализ всякого рода абстракциями, отвлекающими внимание масс от их насущных интересов, они старались отдалить «катастрофу исследования». Придавая мысли вид независимости, идея «терпимости» могла быть особенно широко использована в интересах реакции.

Мы рассмотрели содержание щедринского учения о тенденции как принципе новой революционно-демократической литературы: тенденция как «сознательность, доведенная до страстности», как осознанное мировоззрение, как сознательное отношение к

действительности, как осознанная пропаганда, как партийность искусства является объединяющим началом всей намеченной Щедриным программы новой литературы.

Теперь необходимо рассмотреть, как, по Щедрину, выполнялась эта программа.

8. САМОКРИТИКА РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Те перспективы новой литературы, те громадные задачи, которые перед ней ставила жизнь, естественно повышали и требования к этой литературе. Между тем по целому ряду причин она в первый период своего существования не могла быть на высоте предъявлявшихся к ней требований. Она не могла еще противопоставить литературе помещичьей столь же цельную и обобщенную картину жизни при более глубоком содержании.

Найдя путь — «и путь прямой и правильный», новая литература должна расчистить почву, собрать материал и честно разработать его [94], прежде чем создать эту картину. Лишь выполнив эту предварительную работу, она сможет отыскать «ту объединяющую нить, которая создает типы» [95]. Отмечая «сознательность», «добросовестность» [96], не только «одну настойчивость, но и замечательное мастерство» [97] этой подготовительной работы, Щедрин защищает новую литературу от нападок дворянской реакции, указывая, что «все эти скромные деятели, на которых свысока смотрят наши выдохшиеся и выболтавшиеся литературные авторитеты, в сущности делают единственно-возможное и единственно-почтенное дело, которое доступно в настоящее время для литературы. Они не лгут и не клевещут на жизнь и не выдают за истину праздных фантазий подкупленного воображения, но скромно собирают материалы для будущего творчества, ничего не прибавляя и ничего не утаивая»... [98]

В то же время он обращается к писателям своего направления с призывом: «трудись и собирай в поте лица своего, не претендуй на звание художника и довольствуйся дипломом чернорабочего» [99].

Ограничение литературы на данный период такими скромными задачами объяснялось рядом причин.

Первая из них — спад революционной волны после 1862 г., «понижение тона» в широких кругах самой разночинной интеллигенции, которое не могло не отразиться на перспективах ее творчества. Многое, что до 1862 г. казалось возможным и в ближайшее время осуществимым, отодвинулось вдаль. Переход от нападения к обороне вызвал сужение фронта и в области литературной борьбы, ограничение задачами укрепления своих позиций и подготовки к осуществлению своей программы в более или менее далеком будущем.

Еще больше, чем прямое давление реакции, ослабляло ряды революционно-демократической интеллигенции давление враждебных ей сил на нее самое, та идеологическая смута, тот раскол, который обозначается уже к 1863 г. и получает затем свое выражение в длительной полемике «Современника» и «Русского Слова».

Мы знаем уже, какое громадное, можно сказать основное, значение придавал Щедрин сознательному мировоззрению, осознанной тенденции в художественном творчестве. Но как-раз к этому времени революционно-демократическая литература теряет единую тенденцию.

Революция или культурничество — таков объективный смысл полемики «Современника» и «Русского Слова», поскольку последнее выступало против идей Чернышевского и Добролюбова. Но даже самая защита этих идей меньше всего отстаивала их революционную сущность. Один лишь Щедрин в этой полемике, которая была им только начата, оставался верен идее революции и действительно стоял на позиции Чернышевского и Добролюбова.

Уже по одному этому Щедрин не мог не выступить против тех, кто, по его мнению, шел на поводу у реакции, подхватив клеветническое словечко «нигилизм» и сделав Базарова своим знаменем. Действительно: что могло быть более противоположно идеям борцов за крестьянскую революцию, за торжество трудового коллектива, как лишенное положительного революционного содержания базаровское отрицание, как инди-

видуализм, во многом смахивавший на штирнерианство, как базаровское признание личного ощущения высшим мерилом?

Свое отрицательное отношение к роману Тургенева Щедрин выразил еще в начале 1863 г., когда писал, что в Базарове «серьезного нет ровно ничего». Это повесть о том, «как некоторый хвастунишка и болтунишка... вздумал приударить за важною барыней и что из этого произошло. Все остальное, как то: словопрения с братьями Кирсановыми, пребывание юных нигилистов у старого нигилиста (Базарова-отца) — все это не больше как эпизоды, которые искусный писатель необходимо вынуждается вставлять в свою повесть для того, чтобы она не была короче утиного носа» [100].

Можно считать этот отзыв слишком резким и преувеличенным, но он понятен, когда в период наступления реакции, широко использующей «Отцы и дети» в своих классовых целях, довольно значительная группа радикальной интеллигенции не только не дает отпора извращению идей Чернышевского и Добролюбова в этом романе, но пытается построить на нем собственную программу действий.

И от Базарова, и от писаревщины идеолога революционной демократии прежде всего отталкивало их отношение к массе.

Если для Писарева проблема эмансипации личности, в первую очередь — из господствующих или лучше поставленных классов, оставалась доминирующей, то для Щедрина уже в начале 60-х годов стоял вопрос о массе как главном двигателе всякого преобразования, мучительный вопрос о том, как привести ее в движение. Для Писарева такого вопроса даже не возникало. Он всегда мыслит ее как пассивный объект, за который думают и действуют другие. Для Щедрина масса являлась активным субъектом, который «сам желает устроить свою жизнь», и до поры до времени требует от интеллигенции одного: «отгоняйте тех, которые мешают..., а паче всего не мешайте... сами». Так писал Щедрин еще в 1862 г. [101].

С этим игнорированием роли масс, особенно усилившимся в обстановке надвигающейся реакции, было связано неверие в революцию, которую могли совершить лишь эти третируемые массы.

После некоторых колебаний в сторону революции, достигших «высшего своего уровня в статье о Шедо-Ферроти, Писарев снова зовет к малым делам, к тактике, не приходящей в столкновение с кодексом царских законов» [102].

Щедрину же было глубоко чуждо противопоставление эмансипации личности мирным путем политической борьбе. В этом противопоставлении личности массе, ее путей — путям революции он не мог не видеть опасность разложения революционно-демократической интеллигенции и сползания к реакции через мирное культуртрегерство и «малые дела».

В цитированной уже статье «Петербургские театры» намечена связь между базаровщиной и проповедью «малых дел». Разбирая пьесу Устрялова «Слово и дело», защищавшую «молодое поколение» в образе мыловара Вертяева, Щедрин пишет, что этот герой «весь предан труду», но «что ж это за труд?... Он — маленький, производящий результаты с булавочную головку и... наконец, это труд ни для кого не подозрительный». «Три главных качества, определяющих Вертяева: скромность, некоторое тупоумие и ни для кого не подозрительность. Некий Молчалин, он надеется с этими качествами прожить скромно, тупоумно и ни для кого не подозрительно» [103].

Нападая на жалкого героя посредственной пьесы, Щедрин уже тогда бил по влиятельному разночинскому журналу и его талантливейшему критику, все свои надежды связывавшему «с мирной и медленной пропагандой естественных наук и с мирной культурной работой, не приходящей в столкновение с существующими законами» [104] и с мирным же внедрением капитализма в России. Тем, кто склонен видеть в Писареве чуть ли не предтечу русского марксизма, следовало бы все же к слову «марксизма» прибавить — «легального». Тогда бы их утверждение получило больший смысл. Как справедливо замечает Кирпотин в уже цитированном сочинении, писаревская критика эксплоатации была только критикой «эксплоатации помещичьей, крепостнической, рабовладельческой... он еще не видел воочию оборотной стороны капиталисти-



«ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ»

Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем

«Художественный Листок» 1868—1869 гг.

ческого развития», того, что Щедрин видел уже в 1864 г. Мало того: Писарев склонен был идеализировать капиталистическое накопление, когда писал, что оно «всегда основано на физическом или умственном превосходстве того лица, которое накопляет. Кто сильнее или умнее других, тот и богаче». Щедрин же знал и тогда цену превосходства Деруновых, которых изобразил позднее.

Таковы были основные причины выступления Щедрина против писаревщины: неверие в массу, отказ от революции, нигилистическое отрицание, грозящее вырождением в мещанство, замена крохоборческим культуртрегерством политической борьбы.

С этим несомненным оппортунизмом была связана, вернее из нее вытекала, та «левая фраза» в области культуры, которою прославилась писаревщина, с ее отрицанием *эстетики и искусства*[105], *являвшегося для Щедрина великой революционной силой*, которой «новым людям» следует овладеть.

В связи с этим различием идеологии Писарева и идеологии Щедрина, достаточно четко наметившимся к 1864 г., получает освещение и участие Щедрина в полемике между «Современником» и «Русским Словом», выясняется смысл тех его высказываний о «понижении тона» и о нигилизме как признаке этого понижения, которые в последнее время подвергались самым превратным толкованиям. Договаривались даже до того, что Щедрин сам призывал к «понижению тона».

Между тем в своей подавшей повод к полемике «Общественной хронике» в первом номере «Современника» за 1864 г. Щедрин, констатируя самую ужасную реакцию — реакцию общественную, сумел с присущей ему проницательностью связать с ней самые казалось бы «левые» идеи и речи, которые в глазах поверхностного наблюдателя были самым крайним революционным явлением. При помощи нашего политического опыта, в состав которого входят всякие разновидности правого и левого оппортунизма, можно было бы оценить острую политическую проницательность Щедрина, проявившуюся с таким блеском, когда он писал, что «некоторые из них [нигилистов] уже начинают исподволь поговаривать о «скромном служении науке», а к «жизненным тре-

петаниям» относятся уже с некоторой игривостью, как к чему-то, не имеющему никакой солидности и приличному только юношескому возрасту». Эти слова прямо указывают на те опасности, которые связаны с уходом от революции в научно-культурническую деятельность, как некую самоцель. Щедрин выступает здесь в защиту той самой революционной тенденции, которую считал основным условием правильного развития новой науки и нового искусства.

«— Да ведь давно ли вы утверждали противное,— отвечает «кающемуся» в своих революционных увлечениях нигилисту Щедрин,— давно ли вы говорили, что наука и искусство только в той мере заслуживают этого имени, в какой они способствуют эмансипации человека, в какой дают человеку доступ к пользованию его человеческими правами?

— Наука и даст все это,— отвечал он.

— Да ведь наука развивается туго, а «жизненные трепетания» не ждут... Кто знает, быть может она и заснула бы... без этих «жизненных трепетаний».

— Ну да, наука и даст... все даст «со временем»... Что же касается до того, что она подстрекается «жизненными трепетаниями», то это положительный вздор, потому что наука отыскивает истину абсолютную, а «жизненные трепетания» все без изъятия основаны на вечном блуждании от одного призрака к другому...

— Но послушайте, ведь вы рассуждаете уже слишком приблизительно к «Русскому Вестнику»...

— Э, батюшка, все там будем» [106].

Это разоблачение «левой фразы» вместе с резкой концовкой о нигилистах как «титулярных советниках в нераскаянном виде» и обратно было предупреждением против интеллигентского культуртрегерства, в которое начинал вырождаться нигилизм писаревского толка, против просветительства как панацеи, оторванной от социально-политической борьбы. Революционная молодежь как носитель принципа политической борьбы должна тщательно отмежеваться от «вислоухих и юродствующих», признавших «болтуна Базарова» представителем «молодого поколения». «Я с сожалением смотрел на людей, которые в слове «нигилизм» обрели для себя какую-то тихую пристань, в которой можно отдыхать свободно, по временам делая набеги в область ерунды», писал Щедрин в ответ на нападки противников [107]. Тут же Щедрин ответил на демагогические обвинения в издевательстве над идеями романа «Что делать?» — на обвинения со стороны тех, кто ухватился не за «живую и разумную его идею», а лишь за «сочиненные и только портящие дело подробности»: «Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных» [108].

Щедрин здесь выступает не против социализма Чернышевского — этой «живой и разумной идеи романа», а пытается преодолеть утопические элементы этого социализма, отрицает ту произвольную «регламентацию подробностей», от которой отказался социализм научный. В этой «регламентации подробностей» Щедрин справедливо усматривает опасность отвлечения внимания от борьбы за целое — за социализм. Не о недостаточной принципиальности Щедрина приходится говорить по поводу его отношения к роману «Что делать?», поскольку оно выражалось в общественной хронике январского номера «Современника» за 1864 г., а о тактической ошибке: момент, характеризующийся «понижением тона», требовал особенно бережного подхода ко всему, так или иначе связанному с Чернышевским. Но смысл этих выступлений Щедрина не должен внушать сомнений человеку, изучающему исторические факты и желающему понять их значение. Щедрин остается здесь на революционно-демократических позициях. Но он одинок в своей последовательности даже в собственном журнале. «Зайцевская хлыстовщина» побеждает по всему фронту. «Понижая тон», лите-

ратура утрачивает вместе с тем и революционную тенденцию, то сознательно-революционное мировоззрение, без которого невозможно создание цельных и полноценных художественных произведений нового стиля.

* * *

Когда в конце 60-х годов писаревщина уступила место идеологии революционного народничества, когда новая русская литература получила снова тенденцию, если во многом и не разделявшуюся Щедриным, то все же тенденцию революционно-демократическую, оказалось, что и этого основного субъективного условия новой художественности недостаточно при наличности серьезных объективных препятствий на пути ее развития. Щедрин с сожалением констатирует, что даже наиболее талантливые новые беллетристы не могут дать всестороннего и законченного изображения современности с ее борьбою, а ограничиваются лишь частностями. Причиною этой незаконченности и односторонности признаются внешние административные препоны. Наш общественный роман «косноязычен». Он не смеет касаться наиболее важных сторон действительности.

К тем же размышлениям Щедрин возвращается через десятилетие:

«Творчество не может сделать шага, чтобы не встретиться с «вопросом», а стало быть и с материальной невозможностью. Приступится ли оно к жизни так называемого культурного общества — половина этой жизни составляет тайну, и именно та половина, которая всей жизни дает колорит. Спустится ли оно в глубины бытовой жизни — и там его подстерегает целая масса вопросов: вопрос аграрный, вопрос общинный, вопрос о народившемся кулаке и т. д. И все эти вопросы та же заповедная тайна, хотя в них одних лежит разъяснение всех невзгод, удручающих бытовую жизнь» [109].

Но как ни значительны внешние объективные препятствия — «недоступность материала для художественного воспроизведения»,— подготовительная стадия новой литературы затягивается еще благодаря внутренним объективным условиям, более важным, чем внешние: в самой жизни «новый человек», «новый герой» не может проявить себя настолько, чтобы стать предметом законченного художественного изображения. Если литературе мешают воспроизводить его, то ему самому и власть, и дворянско-буржуазная среда мешают действовать, а потому «новый человек делается невольным теоретиком, т. е. таким лицом, которое недостаток практической деятельности невольно возмещает теоретическими об ней рассуждениями. А так как искусство, имеющее предметом объяснение человеческого образа, ведает исключительно поступки, а не абстрактные взгляды, то понятно, какую ощутительную пустоту должно представить для него то фаталистическое условие, которое преградило или, по малой мере, затруднило для изучаемого субъекта возможность внешнего проявления» [110].

В результате разночинная литература обращается для восполнения этих существенных пробелов к дидактизму и лиризму, к которым прибегает и дворянская беллетристика. Но если дидактизм и лиризм последней объясняются неспособностью понять враждебные ей явления жизни, то аналогичные черты новой литературы объясняются, как мы видели, иными причинами. Выразить в образах свою идеологию она не может еще и потому, что «новые идеи... входят в общий обиход очень туго, а еще туже проникают в самую жизнь, т. е. достигают признания для себя. Это затруднение имеет тот непосредственный результат, что художественное воспроизведение практических проявлений этих идей... видит себя в невозможности воспользоваться всем разнообразием существующих форм. Женщину, ищущую для себя самостоятельного места на жизненном пире, изобразить, конечно, труднее, нежели женщину, обманывающую своего мужа и за всем тем живущую на его содержании. Относительно обманывающих женщин существует целая литература и, наконец, великое множество устных преданий, из которых можно вывести очень обстоятельную историю и на основании ее выкроить множество моделей, не лишенных жизненной правды. Напротив того, о женщине, ищущей самостоятельного положения, слухи пошли лишь недавно, и притом самая эта задача, вследствие своей неразработанности, представляется уличному пони-

манию в такой обстановке, которая с трудом удерживается в пределах опрятности. Поэтому ничего нет удивительного, что недостаток объективности восполняется в этом случае лиризмом, и что этот последний даже занимает первый план»[111].

Литература вынуждена считаться с отставшим от нее обществом. Стесняя всячески проявления нового «положительного типа», отпугивая своими «табу» и «жупелами» от его более полного и правдивого изображения, это помещичье-буржуазное общество продолжает требовать от литературы цельной картины жизни, не понимая, что оно же само делает ее невозможной. Новая литература страдает от глубокого разлада между своими стремлениями и требованиями читателей. Щедрин особенно болезненно чувствовал и не раз возвращался к вопросу об отношении между новой литературой и старой (т. е. дворянской) «читающей публикой» — «тетенькой» — либеральным русским обществом. Литература коренным образом изменялась, рвала с традициями помещичьего искусства. В ней стали доминировать интересы угнетенных социальных низов, главным образом крестьянства. Иное дело — читающая «публика»: «вы и до сих пор,— обращался к ней Щедрин в 1883 г.,— всем сердцем принадлежите старой дореформенной литературе... и в ней одной находите усладу и утешение»[112].

Авангард разночинцев захватил литературу, эту передовую позицию, но чтение все еще оставалось монополией более или менее привилегированного меньшинства; читательские кадры были еще недостаточно пронизаны новыми элементами. Современная Щедрину литература творит таким образом свое дело, будучи изолирована в известном смысле от старой (т. е. дворянской) «публики», которая «успела уже утратить чутье к интересам литературы», принявшей нежелательное ей направление; не может с уверенностью опереться эта литература и на публику новую, так как последняя не успела еще воспитать этого чутья, так как «первый предмет, который... привлекает внимание нового человека, это выгода непосредственная...» он «не может итти дальше, прежде нежели запасется этими простыми и на первый взгляд грубыми выгодами»[113]. Получилось такое парадоксальное положение, что писатель социально изменился, «публика» же изменилась далеко не в такой степени. Отсюда — отчужденность литературы и читателя, отчужденность, лишающая писателя той уверенности в сочувствии читателя, которая необходима для создания больших полотен. Читатель не живет той жизнью, которой живет литература, не страдает ее страданиями, не принимает к сердцу ее интересов, о чем не перестает жаловаться Щедрин. «Ваше отношение к литературе дореформенной было совсем иным. Там вы не только интересовались, но и соволновались и сострадали. И, право, причина этих страданий и волнений лежала не столько в силе художественной талантливости, сколько в том, что дореформенный писатель и дореформенный читатель оба предъявляли к жизни одни и те же умственные и нравственные притязания, разнствуя, быть может, только в размерах»[114].

Эта необходимость обращаться постоянно не к своему читателю не могла не оказывать самого отрицательного влияния на молодую и еще неокрепшую литературу. Являясь второй, не менее строгой и более вредной цензурой, «общественное мнение» вызывало такую внутреннюю опасность для литературы, как изменение в результате его давления содержания самой ее мысли[115]. Она «невольно суживает свои границы», отступая уже больше, чем была вынуждена отступить силой самого непосредственного давления, она теряет чистоту и определенность своего стиля, впадает в эклектизм. Вместе с тем задерживается выработка своей собственной художественной культуры, включающей на новой высшей основе опыт старой: задерживается предварительная стадия литературного развития.

Со всеми этими последствиями влияния чуждой читательской среды и боролся Щедрин своей самокритикой революционно-демократической литературы.

* * *

Таким чуждым влиянием, объясняющимся указанными выше условиями, является перенесение типа «лишнего человека» в новую литературу. Если «новый человек» ли-

шен возможности действовать и проявлять себя, если и власть, и общество не дают ему ходу, то изображение его невольно собьется на воспроизведение старого типа «лишнего человека», тем более, что нового писателя тянет к нему преобладающая масса его читателей, пристрастных к старому «отрицательному» типу. Щедрин отчетливо сознавал, насколько велика эта опасность для литературы нового класса, порожденная подобными «объективными причинами». Однако наличность этих причин не служит еще для него оправданием и не располагает его критическую совесть к снисхождению. Оно оказывается писателю лишь в том случае, когда критик убеждается в его искреннем стремлении преодолеть «объективные причины», с которыми борьба должна быть тем напряженнее, чем они опаснее. Такое снисхождение например было оказано Омулевскому [116], в нем отказано Шеллеру-Михайлову и Мордовцеву, в работе которых он видит движение по линии наименьшего сопротивления, подчинение давлению старого читателя, в их продукции — халтуру, в которой художественное воспроизведение действительности заменяет «чуждое ясности резонерство» героев всяких общих мест о труде, подвиге и т. п. («В разброд» А. Михайлова). В рецензии на «Засоренные дороги» подвергается жестокому разносу и сам автор, и герои его за беспредметность их критики, за отвлеченность их протеста, являющегося лишь «левой фразой», набором громких слов. И он так беспощаден к этим персонажам и сочувствующим им авторам потому, что в этих не действующих, а рассуждающих героях, в их бессильных жалобах на среду, в презрении к ней добродетельных белоручек, отстаивающих свое право на чистоту не соприкасающихся с действительностью людей,— во всем этом продолжении линии «лишних людей» он усматривает подчинение художника враждебному мировоззрению. Даже не столько самое изображение их, сколько точка зрения, с которой они изображаются, то, что автор считает их «героями настоящими, заправскими», вызывает негодование критика. «Тип этот не лишен... современной жизненной правды», но обрисованный как тип новой разночинной интеллигенции со старой помещичьей точки зрения он кажется Щедрину оскорбительным нонсенсом, образы его — фальшивыми, надуманными. И Щедрин стремится оградить разночинца-читателя от вредного, как мы бы теперь выразились — размагничивающего, влияния таких авторов, как А. Михайлов.

Столь же суров отзыв его о «Новых русских людях» Мордовцева, который «с полною наивностью перемешал свойства и признаки ветхого «тургеневского» человека с свойствами и признаками искомого «нового человека». Он не понял, что между «новыми людьми» и кобенями Тургенева, занимающимися расковыриванием собственных болячек... нет ни одной точки соприкосновения» [117].

Но и тогда, когда новая литература и талантлива, и добросовестна, дает себя знать еще одна неизбежная для нее как для литературы молодой, нарождающейся черта — недостаток художественной культуры. Новой литературе эта культура нужна еще больше, чем старой. Ибо «чем полезнее мысль, чем благотворнее ее влияние на общество, тем тщательнее она должна быть разработана, потому что здесь неудача не просто обрывается на том или другом авторе, но распространяет свое действие и на самую идею. Истины самые полезные нередко получают репутацию мертворожденных, благодаря недостаточности или спутанности приемов, которые допускаются при их пропаганде» [118].

Критик, давший такое классическое определение творческой ответственности, не мог не чувствовать, какую опасность для его дела представляет художественная некультурность и беспомощность нового писателя. Может быть никто из революционно-демократических критиков так настойчиво не указывал, что художественное мастерство не только желательное, но необходимое качество, отсутствие которого является серьезнейшим ущербом для самых лучших намерений, тем большим, чем значительнее тенденция, чем выше идея художника. Если тенденция в вышеуказанном смысле является главным условием нового творчества, то лишь при наличности писательской культуры художественное произведение «естественно», по внутренней необходимости тенденциозно. Живые факты не будут тогда приурочены к надуманной тенденции; наоборот, тенденция,

идея явится как результат, как неизбежное обобщение этих фактов. Здесь точка зрения Щедрина совпадает с точкой зрения Энгельса, который, признавая «отца трагедии» Эсхила и «отца комедии» Аристофана, как и Данте, Сервантеса, Шиллера и других великих художников, «ярко тенденциозными поэтами», полагал, что «тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось»[119].

Между тем литература, выполняющая революционную функцию, еще слишком механистично ее выполняет. В ней еще нет той сложной системы опосредствований, с которой свою охранительную функцию выполняла литература дворянская, в то время как ей нужна еще более сложная система опосредствований между идеей и образом, между образом и читателем. Она слишком обнаженно делает свое дело. Поэтому она больше декларирует изменение мира, чем производит его. Ей нужно еще развить для этого свои щупальцы, целесообразно направив и переработав то наследство, которое оставила старая литература. Щедрин указывает, чем может быть полезно это наследство. «Беллетристы сороковых годов сами помогали читателю, сами предрасполагали его к тем или другим ощущениям; они сознательно прибегали к известным вспомогательным средствам, которые сообщали их произведению тот тон, который в данном случае был желателен». Новые же беллетристы далеко не обладают этой художнической властью над своим произведением и читателем; например Решетников, которого Щедрин ставит очень высоко за чувство трагизма изображаемой им действительности, при всей своей недоступной помещичьей литературе правдивости «подобной помощи не дает вовсе, скорее можно даже сказать, что неумением распорядиться своим материалом он положительно вредит самому себе»[120].

Чтобы помочь читателю подняться на высоту сознательного мировоззрения и подлинного понимания вещей, художник не должен пренебрегать такими вспомогательными средствами, как второстепенные детали и нюансы, проводящие разными путями единый мотив художника в сознание читателя. Новая же литература, не умея варьировать таким образом основной мотив, делает читателя невосприимчивым к нему или не преодолевает его невосприимчивости; она подрывает доверие к своему делу неуверенностью замысла, неумением «свести концы с концами». Это порок, общий многим из лучших новых беллетристов: «задумают они, повидимому, нечто действительно хорошее и глубоко захватывающее жизнь, а концов свести не умеют или не смеют. И происходит тут что-то странное: сначала драма, а потом водевиль»[121]. Чтобы драма не превращалась в водевиль или мелодраму, чтобы она была ясна сама по себе и «в самой себе находила достаточное содержание, независимое от внешних ухищрений художника, от опрокинутых столов, сломанных стульев, разбросанных бумаг и т. д.»[122], писатель должен выполнить «одну из главных обязанностей художника», которая «заключается в устройстве внутреннего мира его героев»[123]. Лишь этим устройством гарантирует он себя от схематизма, становится убедительным, а значит — служит делу своей пропаганды, как бы отвечает Щедрин пытающимся опереться на него литфронтовцам, смешивающим психологию с психологизмом.

«Человек есть организм сложный, а потому и внутренний мир его до крайности разнообразен; следовательно, тот писатель, который населит этот мир признаками совершенно однообразными, который исчерпает его одной или немногими нотами, тот писатель... быть может, нарисует картину очень резкую и даже в известном смысле рельефную, но вместе с тем наверное и безобразную. Нет того человека на свете, который был бы сплошь злодеем или сплошь добродетельным, сплошь трусом или храбрецом и т. д.... Эта-то нравственная невыдержанность и составляет ту общечеловеческую основу, на которой художественное чувство, с одной стороны, мирится с безобразием известных жизненных типов, а с другой стороны, не допускает себя расплываться в море безразличия и отвлеченностей. Если художник не проникнется этим условием всецело, если он будет видеть в людях носителей ярлыков или предста-

вителей известных фирм, то результатом его работы будут не живые люди, а тени»... [124]

Поскольку новая литература не осуществила еще всех этих требований художественного мастерства, поскольку она отстает от художественной культуры литературы дворянской, которую должна опередить и в этом отношении, постольку не может быть речи о той «цельной картине» жизни, а не материалах для такой картины, которую должно давать полноценное художественное творчество.

Анализ объективных условий, порождавших неблагоприятные для развития молодой русской литературы условия субъективные, был бы неполон, если бы мы не указали еще на одну существенную объективную причину, порождавшую в свою очередь неблагоприятное для становления этой литературы следствие. Было время, когда «объективная причина» последнего порядка поглощала для Щедрина все другие. В 1863 г. он писал, что «произведения литературы утратили цельность, потому что в самой жизни нет этой цельности... Неслыханное, затаенное и невиданное целым потоком врывается на сцену, и разумеется врывается на первых порах в отрывочном и даже не всегда привлекательном виде... в самой жизни выступают на первый план только материалы для жизни, и притом до такой степени разнообразные и малоисследованные, что самый проницательный наблюдатель легко может запутаться в тех кажущихся противоречиях, которые, разумеется, прежде всего бросаются в глаза. *При таком положении дел литературе остается одно из двух: или лгать*, т. е. вымышлять картины жизни не существующие, или же делать частные наблюдения, писать отдельные биографии... т. е. заниматься подробностями» [125].

Выходит так, что переходная эпоха вообще не может дать большого творчества, целостного своего отражения. «Уменье группировать факты, схватывать общий смысл жизни... утрачивается, а вместе с тем и способность к созданию чего-либо цельного» [126] до тех пор, пока «выступившие на сцену общие элементы улягутся в общем движении жизни и найдут каждый свое место; тогда, конечно, явится возможность



«ЗМЕИЩЕВ
И МАРЬЯ ГАВРИЛОВНА»
Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем
«Художественный Листок»
1868—1869 гг.

цельной картины... А до тех пор литература в этом отношении настолько же бессильна, насколько само общество бессильно сплотить за один раз все новые стихии, которые находятся в нем в состоянии брожения»[127].

Здесь Щедрин стоит еще на традиционной точке зрения на пределы художественного творчества, на его методы. Это точка зрения реализма помещичьей литературы, литературы, идущей не впереди, а позади жизни, что конечно вполне согласуется с ее охранительной функцией, литературы пассивно-объективистской, фиксирующей установившееся, застывшее, бессильной перед становящимся, не принявшим еще определенных форм. Здесь Щедрин не расходится в этом отношении с таким характерным представителем старой литературы, как Гончаров, в представлении которого объективное художественное творчество «не ладит» с новою, нарождающеюся жизнью, для которого в словах «зарождается такой-то тип» заключается уже противоречие, так как «если зарождается, то это еще не тип»; последний для Гончарова, да и для всей помещичьей литературы, «слагается из долгих и многих повторений явлений и лиц», это — «нечто очень коренное, долго и надолго устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений», многократно замеченное, приглядевшееся и всем знакомое. Только определенное и ясное доступно творчеству[128].

Солидаризируясь с подобными взглядами, утверждая, что «бедность содержания современной русской поэзии есть бедность фаталистическая, имеющая свой источник в разорванности самой жизни»[129], что, желая создать цельную картину жизни, «ловят то, чего еще нет на деле, и не хотят остаться при том, на что прямо и явственно указывает современность», т. е. при осколках и элементах жизни, что литература не может допускать какие-либо выводы, «когда сама жизнь этих выводов не дает»[130], т. е. неспособна к прогнозу,—утверждая это Щедрин противоречил той самой программе новой литературы, которую он одновременно намечал и которая исходила из совершенно других представлений о характере и задачах литературы. Но это противоречие выражало лишь кризис новой литературы, отражавший объективное противоречие самой действительности, которое исчерпывающе формулировано самим Щедриным в словах «внутренняя сложность нового и бедность его внешней обстановки — вот... препятствия, с которыми боролась и до сих пор борется новая русская литература в своих поисках за положительными сторонами русской жизни»[131].

Подготовительный, фрагментарно-этнографический период новой литературы, период накопления наблюдений до тех пор, пока их «сумма будет достаточно велика» (ср. эти слова с цитированными уже словами Гончарова), разработки деталей грозил бы затянуться надолго, если бы она не поставила в своей творческой практике проблемы метода изображения именно этой «разорванной», становящейся, «не установившейся» действительности. Необходимо было, вопреки «бедности обстановки», недостаточности внешнего проявления, добраться до скрытого богатства новых типов и тем. Осуществлять новую программу, определенную этим невыявившимся содержанием, методом дворянского реализма конечно являлось неразрешимой задачей. Но потребовался опыт художественного творчества самого выдающегося представителя революционно-демократической литературы — самого Щедрина, противоречивший всей изложенной концепции помещичьего реализма, чтобы вопрос о творческом методе революционно-демократической литературы был поставлен во весь рост. И он поставлен щедринской концепцией реализма.

9. ЩЕДРИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗМА

Эта концепция развивается довольно медленно, параллельно художественному творчеству Щедрина. Лишь к середине 70-х годов она уже вполне осознана Щедриным, но и до этого периода те или иные элементы ее дают о себе знать в его критических высказываниях.

Щедринская концепция реализма использует художественное наследство дворянской литературы, исходит из ее реализма, подымая его на новую, высшую ступень. Прежде всего она выделяет те элементы историзма, которые существовали в старой литературе, но углубляя и видоизменяя самое понятие историзма.

Щедрин неоднократно напоминает критикуемым писателям как своего, так и чужого лагеря, что ложен реализм, рассматривающий только внешние признаки и поступки своих героев, а не ту внутреннюю историю, которая послужила подготовкой для них. Так, «самая страшная сторона неволи измеряется не числом ударов, и не в том состоит, что она смаху бьет человека, а в том, что она всасывается в его кровь, налагает руку на его внутренний мир и незаметно заставляет его не только примириться с неволей, как с таким состоянием, против которого всякая борьба была бы материально напрасна, но даже относиться к нему, так сказать, художественно, все свои умственные и нравственные силы направлять к его вящему утверждению и украшению»[132].

Или:

«Если человека секут... то драматизм этого положения, конечно, не в том заключается, что человеку дали столько-то розог, выпустили из него столько-то крови, и что после этого человек или остервенился или смирился, а в обобщении факта, в раскрытии его внутренней ненормальности. Чтобы исполнить все это, достаточно дать ему одну, только одну розгу; вовсе не требуется представлять наказующего в виде вельзевуля... Ибо действительная, настоящая драма хотя и выражается в форме известного события, но это последнее служит для нее только поводом, дающим ей возможность покончить разом с теми противоречиями, которые питали ее задолго до события... Рассматриваемая с точки зрения события, драма есть... решительная поворотная точка всякого человеческого существования. Дело... в том, чтобы уяснить читателю смысл этого события и раскрыть внутреннюю его историю»[133].

Однако в понятие «история» Щедрин вкладывает такое содержание, которое вряд ли осознавалось представителями старого реализма. Для него история меньше всего изжитое прошлое, которое надо знать, чтобы понять настоящее. История для него прежде всего движение, главным образом — процесс. Поэтому самый историзм Щедрина уже качественно отличен от историзма старой литературы. Реализм Щедрина направлен в будущее, реализм дворянской литературы — в прошлое, которое привлекается лишь для объяснения настоящего. Линия историзма Щедрина — не от настоящего к прошлому, а от прошлого к будущему, при чем самое это прошлое мыслится не отжитым, лишь внешней последовательностью связанным с настоящим, а как процесс внутренне единый с настоящим и будущим.

Уже в таком понимании историзма заключалось преодоление той особенности эпохи, которая исключала цельное отражение ее в литературе: «факты выходят из тьмы изолированными, — жаловался Щедрин в начале 60-х годов, — и связь между ними сознается лишь в самой слабой степени»[134]. Но их объединит уже общая история, ибо они входят в единый процесс от прошлого к будущему. «В жизни нет голых фактов, нет поступков, нет фраз, которые не имели бы за собой истории», а потому нет и таких, «которые можно было бы представить себе без всякого отношения к целому ряду других фактов, поступков и фраз»[135]. Так как в жизни и природе нет ничего стоящего особняком[136], то «жизнь самого обыкновенного смертного настолько сложна, что с трудом исчерпывается общими определениями»[137]. Реализм «берет человека со всеми его определениями, ибо все эти определения равно реальны, т. е. равно законны и равно необходимы для объяснения человеческой личности. Обращаться с ними грубо, выставлять напоказ только те из них, которые сами по себе выдаются наиболее резко, он не имеет права... Приступая к воспроизведению какого-либо факта, реализм не имеет права ни обойти молчанием его прошлое, ни отказаться от исследования (быть может, и гадательного, но тем не менее вполне естественного и необходимого) будущих судеб его, ибо это прошедшее и будущее, хотя и закрыты для невооруженного глаза, но тем не менее совершенно настолько же реальны, как и настоящее»[138]. С этой уже новой реалистической точки зрения рассматривается творчество Писемского и отвергается как нереалистическое.

Таким образом в конце 1863 г. во взглядах Щедрина на реализм было уже то здоровое противоречие, которое прорывало старую его концепцию, сказавшуюся в ци-

тированной уже нами общественной хронике. Это противоречие представляло возможность выхода из того тупика, в который завел революционно-демократическую литературу старый реализм.

Выход был на путях разрыва с эмпиризмом «здравого смысла», ограничивавшим реальность лишь видимым и осязаемым. Если старый реализм, на котором основана критика даже непосредственных предшественников Щедрина — Чернышевского и Добролюбова,— это творческий метод, выражающийся в обобщении уже существующих фактов с историческим экскурсом в целях этого обобщения, то реализм в представлении Щедрина обобщает процессы образования еще не существующих фактов до самых их корней в прошлом; это не только метод диагноза, но и прогноза. Он не только возвышается над наивным реализмом внешних признаков, но и над тем воспроизведением внутреннего мира, которое давал реализм старый, мысливший не типичными процессами, а готовыми застывшими категориями. Понятие действительности дополняется категорией хотя еще и не существующего, но не менее необходимого. Метод такого реализма — ловить действительность «на полуслове». Щедрин пишет в «Помпадурах и помпадуршах», выступая со своего рода «авторефератом» собственного творчества: «Я пользуюсь всяким... намеком, всяким минутным излиянием, и с помощью ряда усилий вступаю твердою ногою в храмину той другой, не обыденной, а скрытой действительности, которая одна и представляет верное мерило для всесторонней оценки человека» [139].

Таким образом провозглашенная еще в 1863 г. формула реализма как познания человека со всеми его определениями получает свою расшифровку через десять лет на материале художественного творчества самого критика. Действительности «обыденной, осязаемой» противопоставляется вполне сознательно «другая, столь же реальная действительность, которая хотя и редко выбивается наружу, но имеет не меньше прав на признание, как и самая грубая, бьющая в глаза конкретность» [140].

Изображение этой действительности принимается за карикатурное преувеличение, но «преувеличение» тут лишь та же действительность, только вывороченная наизнанку. Ибо «первая» действительность — это «другая», сокращенная приспособлением к обстоятельствам, «другая» же — «первая» во весь рост. Вот почему она производит впечатление преувеличения, поскольку мы сопоставляем ее с «первой» как нормой. «Другая действительность» это — «не те только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, еслиб умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите человеку руки, дайте ему свободу высказать всю свою мысль — и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых... жизненными условностями, с необычайною яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той другой (разрядка Щедрина) действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению. Без этого разоблачения невозможно воспроизведение всего (разрядка Щедрина) человека, невозможен правдивый суд над ним. Необходимо коснуться всех готовностей, которые кроются в нем и испытать, насколько живуче в нем стремление совершать такие поступки, от которых он, в обыденной жизни, поневоле отказывается» [141].

Реалистическое искусство меньше всего, как мы видим, является искусством «непосредственных впечатлений». То «исследование явлений жизни», которое составляет для Щедрина «conditio sine qua non существования литературы»,— это именно опосредствованное искусство, через область эмпирического, посредством эмпирического проникающее в мир скрытой действительности, не в «иной», а в не менее материальный мир, еще не осуществившийся, еще не «эмпирический», но все же существующий как тенденция, как скрытый двигатель действительности эмпирической, встречаю-

щий те или иные препятствия в ней и потому не всегда и не вполне проявляющийся. Эта скрытая основная действительность может быть фантастична до гротескности с точки зрения действительности обыденной, может быть кошмарной, бредовой, но этот бред скажет о ней ту правду, которой не скажет она сама. «Вся разница между здоровым человеком и помешанным заключается в том, что первый полагает известную границу между идеалами и действительностью, а второй никакого различия в этом смысле не признает. Идеалы гурьбой вторгаются в действительную жизнь и перемешиваются с ее обыденными отправлениями, но это не новые, только что родившиеся идеалы, а те же самые, которые человек лелеял и в здоровом состоянии и которые составляли лучшую, заветную часть его существования. Человек внезапно обнаруживается весь, является на суд публики, снабженный бесчисленным множеством комментариев... Вот он! Вот та таинственная подоплека, которая некогда повергала в недоумение. Вот почему он тогда-то поступал так-то, а в другом случае так-то, и вот почему мы, удивлявшиеся кажущейся беспричинности этих поступков, оказывались лишь недальновидными и непроницательными. Теперь все это ясно, как день: он сам, в живом и художественном образе, представил нам непререкаемое объяснение всего своего прошлого, всех тех невозможностей, которые нередко поселяли в нас изумление, смешанное с испугом»[142].

Творческий метод, который от существующего идет к тенденции этого существующего как его внутренней норме, который снимает преграды между этой теденцией и существующим, чтобы выяснить ее природу, создает самими своими «преувеличениями» как бы реальный комментарий к действительности, томящейся «под игом безумия», раскрывая самое это «безумие». «Фантастическое» с точки зрения «здравого смысла» и реальное меняются местами. С одной стороны, сущность, с другой — видимость, маски, которые новый реализм срывает, т. е. обнаруживает «внутренний контраст при внешнем сходстве», когда речь идет о только еще возникающем, или, наоборот, «внешний контраст при внутреннем сходстве», когда старое, уже обреченное, пытается приспособиться к новому, окрашиваясь в его цвета[143]. Ибо новый реализм не только расширяет для познания область действительного, но преодолевает иллюзии «ползучего эмпиризма», «видимость», принимаемую поверхностным наблюдением за действительность. С «далеко не ординарной проницательностью» восстанавливая ту свободную игру типических черт, которая «могла бы служить им воплощением», их «действительный характер», он отличает их от «извращений», явившихся вследствие «отсутствия света и воздуха», он отличает «действительность наносную от истинной»[144].

«Путем эмпирическим» мы не можем добиться этих результатов, и добытые этим путем «истины» Щедрин квалифицирует как «бессодержательные, лишенные действительной достоверности и потому неприложимые ни к какому явлению сколько-нибудь сложному... Голая и грубая конкретность, наружный вид вещей — вот материал для великого множества афоризмов, наполняющих сокровищницу практической мудрости. В числе этих афоризмов не отыщется ни одного, который представлял бы удовлетворительную исходную точку, ни одного, в котором можно бы отыскать малейший признак реальности»[145].

Это недоверие к действительности эмпирической — к «голой и грубой конкретности», к «наружному виду вещей», непосредственно воспринимаемому, отражало тот общественный процесс, одним из результатов которого и являлась литература революционно-демократическая. Действительность стала изменяться такими небывалыми доселе темпами, что непосредственное восприятие вещей, «непосредственное впечатление» от них ничего уже не могло объяснить, а только безнадежно запутывало. Чтобы ориентироваться в происходящем, нельзя уже было обойтись без тех мнимых «отвлеченностей», которые большинству казались лишь призраками. «Несмотря на всю ограниченность целей, преследуемых массами, положение этих последних вовсе, однакожь, не таково, чтобы даже те простые и будничные явления, в которых выражается их жизнь, можно было объяснить себе какими бы то ни было положительными законами;

напротив того, эти явления, издали кажущиеся нам совершенно солидными, носят на себе все признаки колебания и случайности и в действительности, отнюдь не меньше самого отъявленного «мечтания», исключительно стоят на почве спекулятивной. Этот закон колебания до такой степени силен, что подчиняет себе явления самые простые и повидимому неизменяемые, невольным образом выдвигает толпу из состояния непосредственности» [146].

Отражая эти процессы, совершавшиеся в глубинах самих масс, составляющие ту невидимую «безымянную» историю, которая неизмеримо реальнее истории показной и блещущей именами, революционно-демократическая литература отходила от «ползучего эмпиризма», включала «фантастическое» в свой реализм как элемент самой действительности. «Фантастическое» здесь конечно никогда не являлось самоцелью, а лишь способом познания действительности или передачи этого познания, но не пассивного ее познания или воспроизведения, а соединенного с практикой, являющегося частью этой практики. Если «у всякого времени своя задача», то щедринский реализм являлся способом «для выражения задачи» [147], которую можно формулировать как сознательное вмешательство в ход вещей. Глубоко понимая и изображая власть так называемых «объективных причин», Щедрин не был фаталистом. Ему было чуждо хвостистское преклонение перед стихийными силами. В органической связи с этими объективными условиями он мыслил человека как активную силу истории. Реализм в щедринском понимании. создавая литературу, схватывающую только что нарождающееся, самый процесс образования типа [148], вооружает человека таким мощным оружием, как предвидение. Этот реализм и есть метод предвидения, облегчающего и направляющего вмешательство в жизненные процессы. Он достигает предвидения, исследуя не только дела, но и «готовность», испытывая, «насколько живуче... стремление совершать такие поступки, от которых он [человек], в обыденной жизни, поневоле отказывается. Вы скажете: какое нам дело до того, волею или неволею воздерживается известный субъект от известных действий; для нас достаточно и того, что он не совершает их... Но берегитесь! Сегодня он действительно воздерживается, но завтра обстоятельства поблагоприятствуют ему, и он непременно совершит все, что когда-нибудь лелеяла тайная его мысль. И совершит с тем большею беспощадностью, чем больший гнет сдавливал это думанное и лелеянное» [149].

Таким образом в противоположность реализму литературы дворянской реализм литературы революционно-демократической является выражением «не только насущной физиономии и насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в данную минуту хотя и не вошли еще в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить будущую его физиономию». Литература «приводит эти стремления в ясность, она отыскивает для них надлежащие формы», знаменуя своей фиксацией новых общественных типов и процессов в самый момент их зарождения активное участие в историческом движении, помощь нарождающемуся или предупреждение о нем (Дерунов из «Благонамеренных речей»), ускорение темпов развития.

Литература реалистическая в щедринском смысле, это уже не всегда опаздывавшая литература, которая «являлась на сцену тогда, когда праздник объявлялся оконченным и сонные городовые разгоняли последних зевак» [150]: прозревая и формулируя впервые те «осложнения», которые «постепенно врываются в жизнь», она «подготовляет почву будущего»... «Не успокаиваясь на тех формах, которые уже выработала история, провидеть иные, которые хотя еще не составляют наличного достояния человека, но... рано или поздно могут сделаться его достоянием, в этом заключается высшая задача литературы, сознающей свою деятельность плодотворною. Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека» [151].

В этих словах отчетливо выражается активный, изменяющий мир характер щедринского реализма, устремленного в будущее. Подготовляя почву для него, он дает литературе возможность выполнить свою воспитательную роль: внушать новые взгляды, новые привычки и тем «вызывать из тьмы» новые социальные силы, изменяя мысли и чувства людей.

* * *

Напрашивается вопрос: пошла ли русская литература по пути реализма Щедрина? Стал ли этот новый реализм действительно широким литературным направлением, создал ли он школу, осуществившую ту грандиозную программу новой литературы, которая нами была разобрана? Этот творческий метод, имеющий так много общего с «социалистическим реализмом» сегодняшнего дня, как и набросанная Щедриным программа революционно-демократической литературы, могли бы быть осуществлены полностью лишь при одном условии: при победоносной революционно-демократической революции. А так как ни крестьянство, ни представлявшая его разночинная интеллигенция не составляли силы, способной совершить и довести до конца такую революцию, то щедринский реализм мог осуществить себя лишь частично и так сказать отрицательно: не в создании положительного типа нового человека, а в предвидении грядущих «волшебств».

Таким образом он блестяще проявлял себя не столько в таких литературных жанрах, как роман, новелла, драма, сколько в сатире — самого Щедрина, прежде всего и больше всего, и в приближающемся к ней очерке Г. Успенского. Создание же «положительного типа», а вместе с тем и других жанров новой литературы на основе этого реализма оказалось невозможным, ибо революционно-демократическая интеллигенция находилась на путях, далеких от того направления мысли, которое вело к такому реализму, да и вообще не имела возможности и времени развить в России свою культуру. Реализм Щедрина оказался в большей мере наследием нового класса, выполнившего и выполняющего свои революционные задачи, чем достоянием современников. Как теоретик этого реализма, созревшего и проявившего себя на практике к 1873 г. в «Благонамеренных речах», в «Помпадурах и помпадуршах», Щедрин оказался одиноким.

Его критике, которая как в 60-х. так и в 70-х годах была дальнейшим развитием и углублением идей реалистического направления, представленного Чернышевским и Добролюбовым, резко противостоит «догматическое» народничество Юзова-Каблица, критика такого органа, как «Неделя», ревизующая принципы литературного реализма, призывающая «назад к сороковым годам!», ибо, как писала «Неделя» в 1876 г., «лучших идеалов нам не сыскать и не выдумать» [152]. Эта «ревизия» явилась одним из проявлений реакции против идей 60-х годов и связана с отрицанием их в других областях. Щедрин не только сохраняет, но еще глубже обосновывает эти идеи. Его критические высказывания резко отличаются поэтому не только от критики народничества «догматического», но и от отношения его собственного журнала к вопросам искусства. В «Беседах о русской словесности» Скабичевского, критика «Отечественных Записок», развивались мысли, с которыми Щедрин никак согласиться не мог. И Скабичевский ревизует реализм, сводя искусство не к познанию объективной действительности, а «к рефлектированию впечатлений посредством образов, заключающих в себе представление жизни в преувеличенном виде, под влиянием художественного пафоса». Провозгласив такой субъективизм принципом творчества, Скабичевский отказывался от всестороннего, т. е. реалистического в смысле Щедрина, изображения жизни, признавая именно одностороннее изображение ее одним «из существенных качеств» искусства. И наконец ревизия достигает своего кульминационного пункта в отрицании п а р т и й н о с т и искусства, которая для Щедрина была неотделима от его идейности. Скабичевский полагал, что «обсуждение и решение каких-либо вопросов жизни — не дело искусства». Щедрин же и как теоретик, и как художник-практик только и занимался этим «обсуждением и решением вопросов жизни».

Если критика «Отечественных Записок», не говоря уже о критике «Недели», ревизует идеи художественного реализма 60-х годов, то Щедрин возносит его на такую высоту, которая совершенно недосягаема для критиков этого реализма. Искусство — не «рефлектирование впечатлений посредством образов, заключающих в себе представление жизни в преувеличенном виде под влиянием художественного пафоса», но и не фотография. Оно — объективное познание жизни. Художественные образы, вскрываю-

щие ее глубины и скрытые от невооруженного глаза процессы,— обобщенные «молекулярные» процессы, совершающиеся не в единичных личностях, а в массах, могут не совпадать с той часто иллюзорной поверхностью явлений, дальше которой не проникает невооруженный глаз. Оно может быть «неправдоподобным» в обычном смысле примелькавшегося, привычного именно потому, что правдиво. Будучи познанием, а не фотографией, отражая «то, что есть», а не то, что «кажется», искусство подчиняет детали главному, общим результатам, из которых только «делается вполне ясным действительный смысл совершающихся событий»[153], производное — первичному, но это не значит, что искусство изображает жизнь односторонне. Задача искусства в том и состоит, чтобы, не перегружая художественного произведения деталями, которые нисколько не гарантируют от односторонности и часто не подвигают нас вперед в познании, понимании явления, охватить действительность во всем богатстве ее связей и переплетений, вскрыть в образе тенденцию развития так, чтобы все действительно необходимые, а не случайные детали явления органически из нее бы вырастали. Подлинно реалистическое мастерство основано на принципе экономии и целесообразности. Ничего лишнего. Каждое лицо, больше — каждое свойство, черта, деталь несут определенную функцию, отвечают на вопрос «зачем». Из каждого качества читатель должен иметь возможность вывести определенный результат, важный для понимания целого. Каждый элемент незаменим. Художественное произведение представляет систему, одушевленную тенденцией, осознанным мировоззрением, благодаря которому художник может разобраться в хаосе фактов, овладеть им и претворить его в художественное целое. Вот чему учил Щедрин, продолжая дело Чернышевского и Добролюбова, в противоположность наиболее как будто близким ему по направлению критикам 70-х годов.

* * *

Свою концепцию реализма Щедрин противопоставлял не только упрощенцам и «ревизионистам», нашедшим скоро осуществление своих стремлений в эклектическом «идеалистическом реализме» В. Г. Короленко, но и целому западному течению — французскому натурализму, с русскими последователями которого так ожесточенно боролась критика «Отечественных Записок».

Для Щедрина французский натурализм прежде всего — явление социальное. За ним Щедрин видит французского буржуа, которому «ни героизм, ни идеалы уже не под силу». Буржуазия перестала быть восходящим классом и потому всякое «расширение горизонтов» может совершаться лишь «в ущерб ему». «Теперь у него своя собственная республика, республика спроса и предложения, республика накопления богатств и блестящих торговых балансов, республика, в которой не будет ни «приключений», ни... «горизонтов». И вот на почве этой республики «плотно засевшего в своей сытости буржуа» и развилась натуралистическая литература, охранительные функции которой с полной ясностью видит Щедрин, противопоставляя ее реализму. «Мы включаем в эту область всего человека, со всем разнообразием его определений и действительности, французы же главным образом интересуются торсом человека и из всего разнообразия его определений с наибольшим рачением останавливаются на его физической правоспособности и любовных подвигах»[154]. Охранительно-угоднические функции французского натурализма Щедрин показывает на примерах L'assomoir Золя, где дискредитирован социальный антипод буржуазии — рабочий класс, так недавно напугавший ее своей Парижской коммуной, и особенно «Нана», к которой мы еще вернемся. Но не столько Золя, сколько его последователи выявляют наиболее типичные черты натурализма. «Реалист французского пошиба имеет то свойство, что он никогда не знает, что он сейчас напишет, а знает только, что сколько посидит, столько и напишет. И никто его обуздать не может; ни обуздать, ни усовестить, потому что он на все усовещивания ответит: «Я не идеолог... я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор — говорю: забор; вижу поясницу — говорю: поясница». Это бессмысленное удвоение действительности в слове, ничего к ней не прибавляющее, вызвано духовным оскудением буржуа, культивирующего из инстинкта само-

ПЕРСОНАЖ ИЗ «ГУБЕРНСКИХ ОЧЕРКОВ»

Рисунок М. Башилова, литографированный П. Борелем

«Художественный Листок» 1868—1869 гг.



сохранения свое убожество, желающего одного: сохранения своего гнусного status quo, воплощенного в его «собственной» Третьей республике. Ему любы литераторы, которые «не затрудняют его загадками, а излагают только его собственные... дела»[155]. *Именно потому вооружался Щедрин против этих писателей, для которых литера*тура, не была и не могла быть авангардом движения против всяческого буржуазного status quo.

Натурализм не успел еще развернуться на Западе, когда у нас появился «новатор особого рода», в котором Щедрин отгадал сразу черты, впоследствии заклейменные им в натурализме. Это — Боборыкин, писатель, всегда ловивший самые «последние слова» европейской мысли, представитель буржуазного романа в России. В статье о «Жертве вечерней» Боборыкина Щедрин, констатировав отсутствие какой бы то ни было сознательной тенденции в его произведении, исключающее наличность художественного целого, отмечает, что весь интерес книги «рассчитан на то, чтобы помутить в читателе рассудок и возбудить в нем ощущение пола»[156].

Боборыкин не хочет и не может, как и его французские собратья, ставить те серьезные общественные вопросы, которые подсказываются самой тематикой натуралистических произведений. Натуралисты любят писать «биографии пустых и ничтожных людей», отмеченных обязательно каким-либо уродством или психическим извращением. Тема эта заслуживает внимания, но не сама по себе, а вследствие исторической устойчивости мира человеческого «хлама» и влияния его на мир новый, «мир истины и права». Сопоставить эти два мира — «это задача не только нелишняя, но и поучительная». И Щедрин показывает, в чем должно выражаться такое сопоставление не у натуралиста, а у подлинного художника-реалиста. «Почему пошлость и необузданность всегда и неизменно торжествует? почему за всем тем это торжество только кажущееся, выражающееся исключительно во внешних результатах? Почему сознательное искание *истины и права всегда и неизменно затрудняется? почему за всем тем оно столь же* неизменно торжествует?.. Самая борьба, которая неминуемо возникает из этого сопо-

ставления, представляет такой животрепещущий материал, из которого сама собой зиждется драма со всеми ее потрясающими и воспитывающими поучениями»[157].

Но Боборыкин, достойный собрат французских натуралистов, взглянул на «хлам» не «как на признак известного общественного строя», а как на «нечто достолюбезное, обладающее способностью привлекать и притягивать своим собственным содержанием»[158].

10. БОРЬБА С РЕАКЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Остается рассмотреть еще отношение Щедрина к проблеме реализма не в помещичьей литературе прошлого, а в современной нашему критику дворянской реакционной литературе.

Чем больше дворянство становилось реакционным классом, чем больше отставало и отгораживалось от жизни, воздвигая между ней и собою как бы стену охранительных представлений, тем слабее выражались в ее литературе элементы реализма, которым она так справедливо гордилась, реализма, свойственного ей тогда, когда перед классом была еще перспектива. 70-е годы были в этом отношении как бы переходным временем. Это и констатирует Щедрин в следующих словах:

«В деятельности известнейших представителей современной русской беллетристики замечается очень резкое внутреннее противоречие. С одной стороны, она представляет как бы протест против господства реализма в искусстве, с другой — фаталистически удерживается на почве того же реализма со всею полнотою внутреннего содержания, которое питает его в данную минуту»[159].

Протест выразился в «дидактизме задним числом», в дидактизме, «полемизирующем в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождающимся», в противоположность тому дидактизму в пользу интересов нарождающихся, который преобладал в разночинной литературе. В дидактизме обе стороны как бы встретились на переходном этапе.

Сущность «протеста против реализма в искусстве» — не в отрицании того или иного, как принято говорить сейчас, «стиля», не в «борьбе стилей», а в том классовом содержании, которое наполняло реализм в данный исторический момент. Это содержание — стремления культурно-молодого класса, которые в сознании класса нисходящего могут отразиться лишь как «хаотическое сновидение, преисполненное бесцельных мельканий, исчезновений и появлений». Реализм дворянской литературы не выносит убыстрившихся темпов жизни. Этот реализм статичен по своей природе. Распространенный на новые явления жизни, он может дать «не жизнь, а просто бесформенную фантасмагорию, наполненную ходячими абстрактностями, а не живыми людьми»[160]. Именно новое содержание, которое старое классовое сознание не может объять, содержание резко враждебное носителю этого сознания, и вызывает уже вполне эстетически оправданный с их точки зрения протест художников дворянства против реализма в искусстве, ибо их реализм ничего кроме бесформенной фантасмагории на эту тему дать не может. Но несмотря на эти протесты, дворянская литература «фаталистически удерживается на почве того же реализма», ибо «искусство все же не может отвернуться от живых форм, в каком бы антипатичном виде они ни представлялись». В результате получается тот шарж, который так характерен для реакционной беллетристики, та «фантасмагория», которую в новых условиях мог лишь произвести ее реализм. Пример Достоевского, которого Щедрин считает наиболее одаренным из реакционных писателей, приводится в подтверждение мысли, которую мы здесь попытались проанализировать. Даже тогда, когда писатель, стоящий, по мнению Щедрина, совершенно особняком «по глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им», не только признает со своей точки зрения «законность тех интересов, которые волнуют современное общество,— но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества»,— даже тогда точка зрения реакционного класса должна неминуемо оболгать жизнь.

«Г. Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую повидимому устремляется и заветнейшая мысль автора. Дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения, все это рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений»[161].

Щедрин не вскрывает в 1871 г. причин «нежелания» или невозможности автора «Бесов» отделить «сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается новое явление», он только констатирует, что если «с одной стороны, у него являются лица полные жизни и правды», то «с другой — какие-те загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева»[162].

В лице Достоевского реакция выдвинула против революции самую мощную свою силу в литературе, писателя, который хотел разбить революционную идеологию изнутри, ее же оружием, довести до абсурда ее отрицание в высших его проявлениях и тем самым овладеть умами и сердцами наиболее идейной и искренней части революционной молодежи. С этим ренегатом революции должен был столкнуться вернувшийся к ней петрашевец, и их встречи — драматичнейшие эпизоды в истории нашей литературы.

Ренегата революции Щедрин почувствовал уже в Достоевском-редакторе «Времени», эклектически-либерального журнала. В мартовском номере «Современника» за 1863 г. Щедрин написал пророческие строки: «Я, например, именно одарен такой прозорливостью, которая так и нашоптывает мне, что вы начнете катковствовать в самом непродолжительном времени».

Известно, какую бурю вызвало это предсказание, с какими обвинениями в беспринципности обрушился Достоевский на Щедрина, обвинениями, потом повторенными Писаревым и «Русским Словом». Когда же предсказание сбылось и Достоевский начал атаку революционно-демократической идеологии своими направленными против Чернышевского «Записками из подполья», Щедрин дал оценку этому произведению в нашумевших «Стрижах», посвященных «Эпохе» — журналу, который братья Достоевские стали издавать после закрытого по недоразумению «Времени». В «Стрижах» подпольный человек Достоевского показан как разновидность «лишнего человека»,— постаревшего, растерявшего свои убеждения и озлобленного. «Стрижам» предшествует небольшой комментарий-очерк о «дряни», соответствующий тому месту сатирический пьесы, где излагаются мысли «человека из подполья» на тему: «Всякий человек дрянь, и до тех пор не сделается хорошим человеком, покуда не убедится, что он дрянь»[163]. В своей характеристике героя «Записок из подполья» Щедрин напоминает Чернышевского в статье «Русский человек на rendez vous». Здесь та же беспощадность идеолога революционной демократии к «лишним людям»:

«Дрянным следует называть такого человека или такое положение, которого свойства ясно представить себе невозможно, на которых нельзя ни в каком случае рассчитывать»[164]. В «Стрижах» эта характеристика подкрепляется пейзажем «Записок из подполья»: «на сцене ни темно, ни светло, а какой-то серенький колорит, живых голосов не слышно, а слышно сипение, живых образов не видно, а кажется, как будто в сумраке рассекают воздух летучие мыши. Это мир не фантастический, но и не живой, а как будто кисельный»[165].

После полемики с «Временем» и «Эпохой» Щедрин и Достоевский скрестили копья лишь один раз. На выпад Достоевского в «Братьях Карамазовых» (письмо Хохлаковой) Щедрин ответил несколькими уничтожающими страницами в декабрьской книжке «Отечественных Записок» за 1879 г. Но все время Щедрин не терял из виду Достоевского (см. его письма), оценивая его как опасного противника. Не в пример другим столпам реакции Достоевский как будто бы признавал справедливость револю-

ционно-демократического отрицания, чтобы тем вернее его «снять» — якобы диалектически, на самом деле — софистически — в своем «царствии божием». Достоевский тем и был опасен, что умел задевать в читателе-разночинце наиболее характерные для него струны, умел писать об «оскорбленном и униженном человечестве», как бы перехватывая тематику и проблематику того социального романа, вопрос о котором ставил Щедрин в «Господах ташкентцах». Достоевский перехватывал и некоторые идеи революционно-демократического реализма. Свою революционную выучку он сумел использовать в интересах реакции и перевооружить ее на современный лад. Он критикует реализм дворянской литературы как несоответствующий задачам времени. «Наши художники, — жалуется Достоевский, — начинают отчетливо замечать явления действительности, обращать внимание на их характерность и обрабатывать данный вид в искусстве уже тогда, когда большей частью он проходит и исчезает, вырождается в другой..., так что почти старое подают нам на стол, как новое. И только гениальный писатель или уже очень сильный талант угадывает тип современно и подает его своевременно»[166]. Напоминают концепции революционно-демократического реализма и суждения Достоевского о «фантастичности» истины. Его произведения увлекают уменьем показать человека в его противоречивой сложности. Но идеология его настолько метафизична, что в конечном счете вместо реализма в щедринском смысле получается софистика. Достоевский ставит себе невыполнимую задачу: он хочет революционным по существу методом подкрепить идеологию дворянско-поповской, победоносцевской реакции, идеологию застоя, византийщины, хозяйственной и политической отсталости — идеологию не революционного изменения мира, а мистического его преображения на тех же началах социальной иерархии в некую церковь, где господа и слуги возлюбят друг друга, оставаясь господами и слугами. Элементы нового реализма не могли не превратиться в свою противоположность при такой идеологической «системе». Внутренний мир подавил в его творчестве «реальность положения», общее оказалось подчиненным личному, социальное — моральному, психологизм возобладал над реалистическим пониманием человека. В результате «свободный» человек Достоевского пришел к рабскому подчинению, якобы добровольному. Но элементы нового реализма, заимствованные у революции идеи, подход к ее проблемам как бы изнутри у писателя, идущего от нее, а не подходящего к ней извне, — все это мешало рассмотреть реакционность Достоевского и делало его особенно опасным писателем реакции. Этого не мог не чувствовать Щедрин, умевший ценить силы противника. Другие представители реакционной литературы были менее опасны, хотя и не в одинаковой степени.

Реакционной Щедрин считал деятельность либеральных дворянских писателей 40-х годов, выступавших против революционно-демократического движения. Тургенев например объективно служил реакции своими «Отцами и детьми», а впоследствии и «Новью». Пущенным им в оборот понятием «нигилизм», а главное — образом нигилиста Базарова он способствовал концентрации сил реакции, дал ей обобщение всего того, что она ненавидела, подсказал ей боевой лозунг. Мы уже знаем, как относился Щедрин к типу Базарова, всегда признавая злостной клеветой наименование революционно-демократического направления «отрицательным». По Щедрину, его следует называть не отрицательным, а сознательным и основанным на анализе. Щедрин однако вынужден считаться с тем, что под кличку «нигилизм» уже подведено целое поколение русских революционеров, и ему приходится в борьбе с реакцией защищать то содержание понятия «нигилизм», на которое она так яростно нападает.

Щедрин напоминает ей, что «отвращение к эстетике» у тех, кого она называет «нигилистами», соединяется с отрицанием обаятельной силы четвертака»[167], чего нельзя сказать о дворянской любви к эстетике. Слово «нигилист» определяет неприязненное недоумение людей «четвертака» перед непонятным и враждебным им новым.

Такой же услугой реакции Щедрин считал и «Новь», в которой усматривал даже нечто неэтичное, смешение дел самоотвержения и трагизма с «легким водевилем с переодеванием». В написанном по поводу «Нови» очерке «Чужую беду руками разведу» Щедрин протестовал против изображения героизма «шедшей в народ» молодежи с точ-

ки зрения «водевильного эстетизма и обеспеченности», сдобренных «экскурсиями в область униженных и оскорбленных». Честный человек 40-х годов должен уметь молчать, когда речь идет о недоступных его пониманию явлениях революционной борьбы людей другого класса и другого времени. Очерк «Чужую беду руками разведу», написанный и под впечатлением процесса 50-ти, — это протест человека 40-х годов, порвавшего со своим классом, против тех, кто, связанный с этим классом крепчайшими узами, разделяя его страх перед революцией, претендует на роль руководителей общества. О таких людях сказаны суровые слова: «старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он и за всем тем не чувствует потребности обуздать себя» [168].

Считая реакционной и «Анну Каренину» Толстого уже потому, что она построена «на одних половых побуждениях» и что к ней прицепляется консервативная партия, которая торжествует» [169], Щедрин не мог пройти мимо и такого явно «антинигилистического романа», как «Обрыв» Гончарова, которому посвятил одну из самых больших своих критических статей — «Уличная философия».

Шаг за шагом Щедрин разбивает реакционные доводы Гончарова, смешавшего истинное с дозволенным. Вместе с тем обнаружена порочность романа как художественного произведения. Все поступки Волохова оказываются нехарактерными для «нового человека», лишенными необходимой связи с теми новыми идеями, представителем которых он должен явиться. Этим уже доказывается «уличность» подхода Гончарова; «улица» не ищет такой связи, а навязывает все предосудительное тому, чего она не понимает, на основании грубых внешних аналогий и поспешных выводов. Новые же «мысли» Волохова, ложность которых пытается разоблачить отстаивающий «старую правду» автор, оказались оторванным от его «дел» сухим перечнем общих фраз и ходячих слов. Гончаров, ограничившись этим, вменил их ему в вину, не воплотив в жизнь, т. е. не дав практического исхода ни его дерзости, ни его отрицанию, ни его презрению «ко всему тому, что не носит на себе печати реальности». Здесь Щедрин высказывает несколько замечательных суждений об изображении интеллектуального мира в художественном произведении. Этот вопрос получил особое значение в то время, когда роман стал включать в себя все важнейшие проблемы эпохи, когда не столько чувства, любовные эмоции, а борьба за конкретные социально-политические интересы, отражающаяся в борьбе идейной, стала непосредственным объектом художественного творчества. Как передать интеллектуальное содержание изображаемых персонажей, не превращая художественного произведения в публицистический или научный трактат? Щедрин отвечает на этот вопрос так: экскурсии «во внутреннюю храмину человека... могут быть терпимы только в таком случае... когда плодом таких экскурсий будет доказательство, т. е. соединение в одном живом образе таких типичных черт, из которых ни одна другую не исключает... Мысль есть функция крайне неуловимая и колеблющаяся; чтобы иметь возможность сказать, что вот такая-то мысль составляет существенное и жизненное достояние такого-то субъекта... надобно, чтобы она выразилась в целом ряде повторительных действий, или хотя и в одиночном действии, но настолько характерном и решительном, что она дает поворот целой жизни, или же, наконец, в полной и строго соглашенной теории» [170].

Таким образом действие персонажа — критерий художественной правдивости его мысли, с которой оно составляет органическую систему. Если герой несомненно нечто думал, то он должен сделать это на вольном просторе художественного произведения. Здесь Щедрин судит Гончарова с точки зрения своего реализма, который выявляет в образах потенции действительности. Гончаров же никаких потенций не усмотрел и зарисовал только то, что воспринималось поверхностным обывательским взглядом, не сумев ни претворить мысли в образы, ни дать систему мыслей, убедительную уже благодаря своей стройности и внутренней необходимости в каждой части. Поэтому обвинения Гончарова облыжны, ибо «искусство имеет не более прав на человека, нежели общество с его арсеналом законов, обычаев и условных приличий.... Оно простирает свои притязания на внутренний мир человека только в той мере, в какой этот мир

заявляет себя во внешности и награждает или карает лишь то, что действительно *обнаружило себя добром и злом*»[171].

Поскольку же Гончаров судит поступки, он не способен даже выдержать видимости беспристрастия. Он разно судит людей за одни и те же действия. «Попытки Райского насчет Марфиньки и Веры не меньше возмутительны, нежели попытки Волохова. Почему же автор не возмущается ими, а смотрит на них как на милую шалость? Не потому ли, что Райский богат, а Волохов беден, что Райский прилично одет, а Волохов едва прикрывает наготу свою»[172].

Через «Обрыв» Гончарова мы вступаем в дебри дворянской реакционной литературы, с которой борется Щедрин, литературы тех поклонников «Аонид» и «Подснежников», *которые* воспользовались «уничтожением крепостного права, чтобы ожесточиться». С их точки зрения «литература должна быть проводником не мыслей, а приятных отдохновений. Это цветник, в котором каждый цветок в отдельности и все цветы в совокупности должны благоухать и радовать глаза разнообразием колеров, должны умирять ум и чувство человека, но отнюдь не действовать на него возбудительно. Фет как стихотворец, Григорий Данилевский как романист, Шубинский как историк, Страхов как критик и Фрол Скобеев как драматург — вот имена, любезные современникам «Аонид». Соберите эти цветки вместе, говорят они, посадите их в одну клумбу и вы действительно получите цветник»[173].

В пределах этого реакционного вертограда имеется несомненно разнообразие колеров, хотя по существу все эти цветочки однородны.

Часть реакционных, по Щедрину, писателей еще не отказалась от традиций 40-х годов. Наоборот, она считает, что осуществляет их. Некоторые из них даже маскируются под новое, стремясь приспособиться к нему. Так Авдеев специализировался на женском вопросе. Несмотря однако на эту видимую прогрессивность, Авдеев, трактующий в 60-х годах эту проблему в духе 40-х,— явление реакционное: «Женщина г. Авдеева не ищет никакой другой свободы, кроме свободы любви»[174], в такое время, когда настойчиво требовали ответа вопросы о свободах другого рода. Его пониманию женского вопроса соответствует его общее представление о современном положении, его оправдание бессознательной деятельности среды.

К тем же апологетам бессознательного отношения к природе и жизни принадлежит и поэт Полонский, столь сурово раскритикованный Щедриным в двух рецензиях (1869 и 1871 гг.). Щедрин разоблачил мнимую нетенденциозность поэта, которого дворянская группа писателей пыталась противопоставлять поэтам тенденциозным, прежде всего — Некрасову, как представителя «чистого искусства». Отрицание направления у Полонского имеет весьма определенный смысл: он отвергает лишь враждебное ему революционно-демократическое направление, прикрываясь лозунгом «искусство для искусства». На самом-то деле этот презирающий «полезное» певец поддерживает вещи весьма полезные, но только для очень ограниченной общественной группы: «концентрирование знания в среде ограниченного меньшинства, в массах же — поддержание невежественности. Воспевая свободу, он славит дворянскую свободу — свободу «избранных», возводя понятие о ней «на степень секрета»[175].

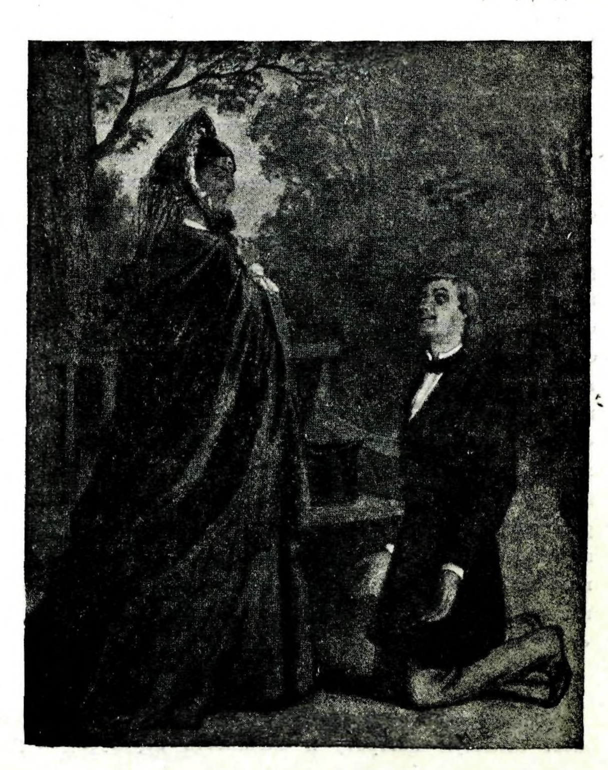
К той же проблеме свободы в реакционном сознании обращается Щедрин в рецензии на рассказы Кохановской, художественное дарование которой высоко ценит. Излюбленный довод поправевших либералов против революционной демократии звучал далеко не реакционно. Они выступали против нее именно как защитники «свободы жизненного творчества», которую революционеры якобы хотели убить своими теориями и регламентами. На анализе произведений писательницы, отразившей бесхитростно эту линию либерально-консервативной мысли, Щедрин показал, как эта свобода превращается прежде всего в «разумную» свободу «добра», а не «зла». Но так как добро в этом сознании «есть все испытанное, удовлетворенное, установившееся; зло — все ищущее, порывающееся, неудовлетворенное и протестующее», то «разумная свобода» становится «свободою разумно-покорною». И Щедрин может убедительно закончить это разоблачение одной из очередных мистификаций идеологов господствующих клас-

сов: «*Повидимому, между выражениями «безусловная покорность»* и «свободное творчество» существует противоречие, но это противоречие мнимое и легко улаживается посредством прибавления к последнему выражению слова «разумное» [176].

Чем дальше вправо, тем более обнаженной и вместе с тем менее художественной становится апологетика «бессознательной деятельности», идеализация основанного на ней строя и связанных с ним привилегий господствующего меньшинства. Это наглядно сказывалось в реакционном романе Г. Данилевского [177] и А. К. Толстого; «Князь Серебряный» последнего разобран Щедриным в ядовитейшей рецензии, написанной от имени старого преподавателя словесности. О том, как резко характеризовался этот реакционный лакировочный роман, может дать представление такая цитата: «Нагайки... в «Князе Серебряном», пройдя сквозь горнило народного представления, утрачивают свой истязательный характер и представляются уму беспристрастного наблюдателя лишь простым и незлобивым времяпрепровождением» [178].

Крайним правым флангом этой литературы является «необулгаринская школа», которой «суждено было возникнуть в 1862 г. при зареве пожаров, опустошавших Петербург...» Эта литература, которая поставила себе целью «защищать запрещенное и ограждать огражденное», пытается противопоставить отрицанию и исканиям революционно-демократической литературы свои положительные типы [179].

Самый знаменитый писатель этой группы — Клюшников, самое значительное произведение — роман этого автора «Марево». Герой этого произведения — «положительный нигилист» Русанов — пытается бороться со столь неприятной активностью беспокойных ищущих людей своеобразной идеей автоматического «прогресса»: «прогресс есть нечто такое, что совершается... помимо человеческих усилий и стоит только погодить, чтобы получить желаемое. Верный этой теории Русанов ждет и не шевелится, но этого мало: он смотрит в оба глаза, чтобы и другие тоже ждали не шевелясь; а так как подобная каплунья мудрость не всякому легко достается, то выходит из этого нелепая драма» [180].



«КНЯЖНА АННА ЛЬВОВНА»

Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем

«Художественный Листок»
1868—1869 гг.

Клюшников далеко не одинок. Он принадлежит к школе Львова, которая «раскрывает перед нами... положительные стороны жизни. В комедии «Свет не без добрых людей»... он первый дал понять, что в становом приставе может быть нечто положительное, если он не берет взяток, и первый указал, что в управе благочиния может заключаться высокий смысл, если чиновники ее занимаются своим делом неленостно и нелицеприятно. Из последователей его г. Манн довел до ясности тип справедливого и исполнительного начальника отделения, г. Устрялов показал в перспективе скромный труд и скромную науку... наконец г. Стебницкий (Лесков. — *А. Л.*), а за ним Авенариус пропагандировали клубнику, как единственную положительную сторону русской жизни и русских нравов»[181].

Картина полная... О чем она свидетельствует? Прежде всего о падении дворянской культуры и дворянской литературы, в частности. Это пережившая сама себя литература, питающаяся крохами былого величия, эпигонская в полном смысле этого слова. Для Щедрина ясна разница между художественным мастерством, хотя бы дурно, по его мнению, направленным, служащим реакции, и жалкими потугами на художественность писателей «необулгаринской» школы.

«Тургенев сочинил для Базарова целую историю и, чтобы привлечь его к семье Кирсановых, затронул узы дружбы, разъяснил, что могла сделать духовная сила Базарова и как мало может противопоставить этой силе духовное бессилие молодого Кирсанова. Одним словом, создал целую обстановку, а не сказал читателям, подобно сказывателям масляничного райка: «а вот посмотрите, господа, теперь представится вам нигилист Базаров, в бога не верует, лягушек режет и употреблять в пищу тараканов не гнушается»[182].

Интересно, что указываемые Щедриным недостатки реакционной литературы во многом сходны с отмечаемыми им недостатками новой. Если «необулгаринцу» Щедрин приведет в пример Тургенева, то о Тургеневе же напомнит он почти в одинаковых выражениях пусть неумелому и нерадивому, но все же не чуждому Мордовцеву как о писателе, у которого за извращенной психологией его «лишних» людей «таится целый жизненный процесс». Он станет доказывать тем и другим, что самая важная и трудная задача беллетриста — объяснить поступки своих героев как действия необходимые, свести свои персонажи «в одно место», заставить их быть именно «действующими, а не слоняющимися из угла в угол лицами».

Сходство недостатков реакционной и революционно-демократической литературы объясняется тем, что всякая реакция испытывает влияние революционного движения, вынуждена с ним считаться, ставить те же проблемы, но конечно оказывается менее способной к их разработке, чем молодая демократическая литература. Поэтому она повторяет ее недостатки в усугубленном виде. Если недостатки первой от задержанного роста, то недостатки другой — от эпигонства, от того, что ее представители пришли в литературу слишком поздно и вынуждены заниматься темами им чуждыми и недоступными. Если передовая литература еще не научилась схватывать «основное звено», общие результаты, в которых утопают случайные частности, то литература реакционная никогда этому не научится и «действительный смысл совершающихся событий» ей не раскроется. Она будет бить по личностям, по деталям, будучи неспособна постичь «совокупность явлений». Поэтому она останется на поверхности явлений, в плену «ползучего эмпиризма», внешних признаков вещей и плоских обобщений. Сложность вещей превращается у нее во внешнюю запутанность событий, в «сказочный элемент» романов Данилевского, Алексея Толстого и др. «Сказочность» в сочетании с «клубникой», которая из средства посрамления нигилистов становится самоцелью реакционного творчества, наиболее выигрышным его элементом, — все это знаменовало разрыв как с реализмом, так и с традициями старой дворянской культуры, проникновение «улицы» в литературу.

11. ПРОБЛЕМА «УЛИЦЫ»

«Улица» — синоним реакции для Щедрина. С конца 60-х годов это понятие выражает большую пестроту и сложность образующих реакцию сил. Если раньше прихо-

дилось иметь дело с крепостниками и повернувшей вправо либеральной дворянской интеллигенцией, то теперь эти основные реакционные слои обросли новыми группами. Кадры «улицы» формируются и из представителей культурного меньшинства старого поколения («Все известнейшие русские беллетристы... стали на сторону уличной морали, на сторону заповеданного, общепринятого и установившегося против сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего»[183], и из всей новой накипи на взбаламученном море русской общественности после 1861 г., той накипи капитализирующейся России, которая в сумятице борьбы революции и реакции умела устроить свои дела, использовать возможности, раскрывшиеся перед ней на «прусском пути» развития, и стремилась к одному: к закреплению своих позиций против всякой левой опасности. «Улицу» составляли все те, кому выгодно было создавшееся status quo.

Это были: капитализирующиеся помещики, извлекшие выгоду из реформы 19 февраля, «поумневшие», отказавшиеся от либеральных увлечений, новая хищническая буржуазия и вся армия прихвостней этих процветающих элементов, обслуживавшая их и в области литературы. Хозяйничанье их в священном для Щедрина месте было так гнусно, что заставило не раз вспоминать о той стародворянской литературе, которую он так громил в 60-х годах. Здесь не точка зрения, не взгляды, не подход к явлениям культуры изменились, а самое положение вещей. В 70-х годах для Щедрина уже не могло быть речи о близком торжестве новой революционно-демократической культуры. В результате того «понижения тона», которое явственно обозначилось в конце первой половины 60-х годов, революционно-демократические элементы потеряли свой приоритет в области культуры и литературы в частности. Нахлынувшая «улица» затопила и дворянскую, и революционно-демократическую литературу. Тому, что отвергалось по сравнению с новой превосходящей культурной силой, представленной Чернышевским и Добролюбовым, конечно нельзя было предпочесть «продающих и купующих, людей барыша во что бы то ни стало, людей с медным лбом и броненосной совестью». Здесь речь шла о творчестве, с одной стороны, и о «нестройном хоре обострившихся вожделений, в котором главная нота... принадлежит подозрительности, сыску и бесшабашному озлоблению»[184] — с другой. Темная сила, которая ничего не знает, кроме преданий и завещанного ими «кодекса бессодержательных истин», превратила литературу из общественной руководительницы в «общественную прихвостницу и потатчицу». В ней стали господствовать люди, «которые, не умея действовать на чувства, действуют на чувственность». Мог ли писатель, с глубокой тоской наблюдавший это кощунство над словом и пытавшийся в своих рецензиях образумить начинающего писателя и спасти его для небольшого оазиса революционно-демократической мысли, не вспомнить о традициях старой литературы, по которым «улица» так же рьяно била, как и по революционным идеям, о литературе, в которой «не могли появиться, а ежели бы даже и могли, то не имели бы успеха произведения, подобные «Жертве вечерней» (Боборыкина)? В сравнении с литературой «улицы», литература 40-х годов вырастала в такой же мере, как умалялась в сравнении с новой революционно-демократической мыслью, с ее задачами и обещаниями в области искусства. И те дефекты, которые казались Щедрину раньше неизбежными чертами всякого молодого движения, всякого становления новой литературной культуры, здесь становятся, признаками бесплодности и бездарности захватившей литературу «улицы».

«Нет ничего цельно задуманного, выдержанного... Одни обрызки, которые многомного имеют значение сырого матерала... несвязного, противоречивого. Для чего этот материал может послужить? ежели для будущего, то, право, будущее скорее сочтет более удобным совсем отвернуться от времени, породившего этот материал, нежели заботиться об его воспроизведении». Раньше эти «обрывки», этот «сырой материал» был залогом грядущих достижений, не представляя еще определенной законченной ценности в настоящем. «Улица» же и ее действия были для Щедрина лишены будущего, как и нарождавшийся русский капитализм, в котором Щедрин если и видел неизбежный этап развития, то не усматривал ничего творческого: не могла для него иметь будущего и представлявшая его литература «улицы».

«В безысходной тоске» от несомненно преувеличенной им власти последней над литературой,— власти, которая кажется ему беспредельной, Щедрин обращается к тем временам, когда она была исключена вследствие самой замкнутости и изолированности литературы,— свойств, столь категорически им осужденных в начале 60-х годов.

Щедрин конечно знает, что «было бы в высшей степени неестественно и даже оскорбительно, если бы эта же самая изолированность сделалась бессрочною и составила бы окончательную цель существования литературы» («Круглый год»), но не может не отметить, что в этой изолированности была своя сравнительная ценность, ибо «ежели литература не принимала деятельного участия в негодованиях и протестах жизни, то не участвовала и в торжествах». Отказ от «изолированности» в пользу действительности, которая поступается литературе только «бесчисленной массой пустяков», не поднимает, а снижает значение литературы, отдавая ее в данных условиях «на поток и разграбление» «улице», которая «во всех видах господствует: и в виде частной инициативы, частного насилия, и в виде непререкаемо возбраняющей силы».

Когда не молодая и боевая, материалистическая по сознанию и героическая по своим практическим следствиям культура революционной демократии, а «уличная» «цивилизация» противостоит стародворянской культуре, тогда для ее отпрыска, даже порвавшего со своим классом, начинают звучать по-иному «дворянские мелодии». В другом свете выступает то, что раньше, при другом объекте сравнения, отвергалось и осуждалось; приобретает блеск то, что меркло; как реакция на грубое себялюбие «улицы» начинается идеализация абстрактно-гуманистических стремлений 40-х годов, даже начинает признаваться идейная убежденность и страстная преданность принципам там, где это прежде отрицалось. Но все это вызвано только новым объектом сравнения. Замените его прежним, и идеализация исчезнет, как мы это видим в других высказываниях Щедрина о 40-х годах.

Щедрин готов теперь простить литературе 40-х годов ее оторванность от действительности как искусства касты за то, что в основе ее «сновидений» лежало «человеческое», за то, что она смогла «отыскать известные идеалы добра и истины, благодаря которым она не задохлась; она же создала те человечные предания, ту честную брезгливость, которые выделили ее из общего строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною из-под ига всевозможных давлений». Больше того: «все это было настолько характеристично и плодотворно, что... в этом одном можно без особой натяжки видеть своего рода практический результат (а именно в практической безрезультатности преимущественно и обвиняют литературу сороковых годов)». Пусть «несколько устарели» идеалы этой эпохи, «но ежели содержание идеалов и подлежит критике, то отношение к ним литературы и доныне остается в высшей степени поучительным». Взяв за пример ее «страстно убежденное отношение», современная литература очень много выиграла бы. Щедрин убежден, что «холодная остервенелость, которая ныне является единственным средством для оживления страниц и столбцов и для возбуждения в читателе вожделения, исчезла бы сама собой и дала бы место стыду»[185]. Своего рода дар стыда видит Щедрин в людях 40-х годов и их литературе. И то, что он выделяет эту черту и всячески доказывает ее положительное значение, подтверждает наше утверждение, что вся эта переоценка 40-х годов в сторону преувеличения их положительных свойств, даже идеализация эпохи, производится по контрасту с тем, что отталкивало Щедрина от современности. Сороковые годы хороши уже потому, что они по ряду признаков противоположны семидесятым — вот приблизительно основная линия мысли Щедрина в данном случае. В бесстыдное время идеализируется стыд, преувеличивается его значение в прошлом и та роль, которую он мог бы сыграть в настоящем.

Стыд «отживающего человека», т. е. человека 40-х годов, как и его «опрятная тоска», настолько доброкачественны по своему содержанию, что отказ в принятии их «к зачету был бы воистину несправедлив». Этот стыд — «хорошее, здоровое чувство, которое может быть рекомендовано даже в качестве целесообразного практического средства... В моем стыде нет ничего героического,— я знаю и это, но думаю, что один

вид кающегося человека среди проявления несомненно бесстыжего торжества уже может служить небесполезным напоминанием». «Проблески стыда», которые вызывает в торжествующем лагере стыдящийся человек, производят брожение, которое когда-нибудь «настолько созреет, что достаточно будет ничтожного внешнего толчка, чтобы робкие проблески превратились в целую заразу стыда»[186].

Литература 40-х годов дала еще и тот «практический результат», что под ее влиянием создался тип стыдящегося человека, которым был «лишний человек». Теперь величайший разоблачитель «лишних людей», более суровый их судья, чем Добролюбов, находит нотки сочувствия и симпатии к ним. В обстановке 70-х годов, в удушливой общественной атмосфере, определяемой не Чернышевскими, а всякими Деруновыми от литературы, Щедрин опять-таки сравнивает «страдания внутреннего двоегласия с несомневающеюся целостностью современных проворных людей, которые с холодной пеной у рта даже любовь к отечеству готовы эксплоатировать в пользу продажи распивочно и на вынос», и приходит к заключению, что «если не особенно лестно было жить в обществе людей, прямо называющих себя «лишними», то все-таки не так несомненно мерзко, как жить в обществе людей, для которых все уже до того паскудно-ясно, что представление о рубле, в смысле привлекательности, уступает лишь представлению о таковых же двух, а если больше, то разумеется и того лучше...»[187]

По сравнению с силой э т и х «проворных людей», в обстановке, создаваемой ими, самое «бессилие может претендовать на звание подвига»[188].

От такого оправдания «лишних людей» нетрудно притти к оправданию, даже благодарному почитанию их литературы.

«Словом сказать, литература сороковых годов уже тем одним оставила по себе благодарную память, что... не зная никаких свобод, ежечасно изнемогая на прокрустовом ложе всевозможных укорачиваний, она не отказывалась от своих идеалов, не предавала их»...

О чем свидетельствует эта реабилитация 40-х годов, столь жестоко раньше развенчанных сатириком? Явившись результатом сравнения с восторжествовавшей в литературе пошлостью и оголтелостью, она своими загибами в сторону оправдания и даже идеализации помещичьей литературы говорит о весьма важных исторических фактах. В 70-х годах Щедрину было ясно, что пути крестьянской революции закрыты, что не крестьянству и его авангарду совершить социально-политическую революцию в России. Когда же в перспективе ближайших десятилетий оставалось то же классовое общество, только с более низкой культурой, естественно мысль обращалась назад, чтобы найти в его пределах явления более отрадные, традиции, на которые можно было бы указать как на достойный подражания пример. Некоторые новые ноты и оттенки в оценке 40-х годов, не снимающие однако в целом оценки, данной им автором «Напрасных опасений», свидетельствуют о глубоком отчаянии Щедрина в путях крестьянской революции. Щедрину был чужд утопизм народничества, он преодолевал утопические элементы в социализме, но именно потому, не видя пути «от утопии» к научной теории общественного преобразования, он мог впадать перед лицом безудержно торжествующего хищника в идеализацию явлений и групп, решительно отвергавшихся в надежде на эту революцию.

Кто увидел литературу надолго захваченной «улицей», оттеснявшей, как ему казалось, на задворки литературу революционно-демократическую, кто не видел впереди силы, которая осуществит во всей полноте программу и методы новой революционной литературы, тот не мог не обращаться мысленно к прошлому, хотя бы и к помещичьему, создававшему искусство, изолированное от «улицы» и ее бесславных торжеств.

12. КРИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ ЩЕДРИНА

Новое содержание, внесенное в критику Щедриным, требовало новых форм для своего выражения и воплощения, для своей боевой действенности. Вопрос о жанрах и приемах критики у Щедрина имеет особый интерес потому, что здесь в роли критика выступал гениальный художник, никогда не перестававший им быть, и художник-

сатирик, основной жанр которого является родственным жанрам боевой критики. Критические жанры Щедрина разнообразны. На страницах «Литературного Наследства» было уже справедливо замечено, что «критика в форме повести, пародии, гротеска, драматизированного диалога и т. п. своеобразие полемических приемов» выделяют Щедрина среди мастеров критики [189]. Надо сказать, что Щедрин редко выдерживает до конца какой-нибудь из обычных критических жанров: статьи, рецензии, обзора; его критические жанры — осложненные, обрастающие уже чисто художественными формами, аналогичными вставным элементам: новелле, сказке, притче, стихотворению в основной ткани художественного произведения — повести, романа и т. п. Иногда вся критическая работа Щедрина целиком построена не как критическая статья, а как произведение художественное. На некоторых из этих форм следует остановиться подробнее.

Типичный продукт 60-х годов — критику «по поводу» — Щедрин своеобразно обогатил новой разновидностью. Не говоря уже об общественном фельетоне «Современника», где размышления о тех или иных социальных и литературных явлениях выражаются в ряде живых сцен и фигур, которые будут развиты позднее в художественных произведениях Щедрина, — его бьющая через край художественная одаренность выразилась в не лишенной сюжета критической новелле «Чужую беду руками разведу» по поводу «Нови» Тургенева, где ни разу не упоминается сама «Новь», но где ответ на дискредитирование героического движения 70-х годов дан в образах рассказчика, Глумова и состарившегося Молчалина. Идея критической новеллы — единственная возможность у старой дворянской интеллигенции остаться добросовестной и верной лучшим заветам молодости, это — воздержание от суждений о революционной молодежи, которые объективно лишь служат реакции, — эта мысль проводится и в форме лирической исповеди рассказчика — «человека сороковых годов» в семидесятых, и в форме его сатирического самоизображения в роли поучающего молодое поколение старого либерала.

Эта столь же критическая, как и лирическая новелла написана с установкой на эмоцию стыда в тех, кто легкомысленно превращает подвижничество в «водевиль с переодеваниями».

Фигура рассказчика, представителя состарившейся, честной, но никчемно-беспомощной дворянской интеллигенции, продолжает ряд художественных образов Щедрина (например владельца Чемезова из «Благонамеренных речей») и будет продолжена рядом других фигур до «Убежища Монрепо» включительно [190]. Так критика Щедрина входит звеном в его художественное творчество и обратно.

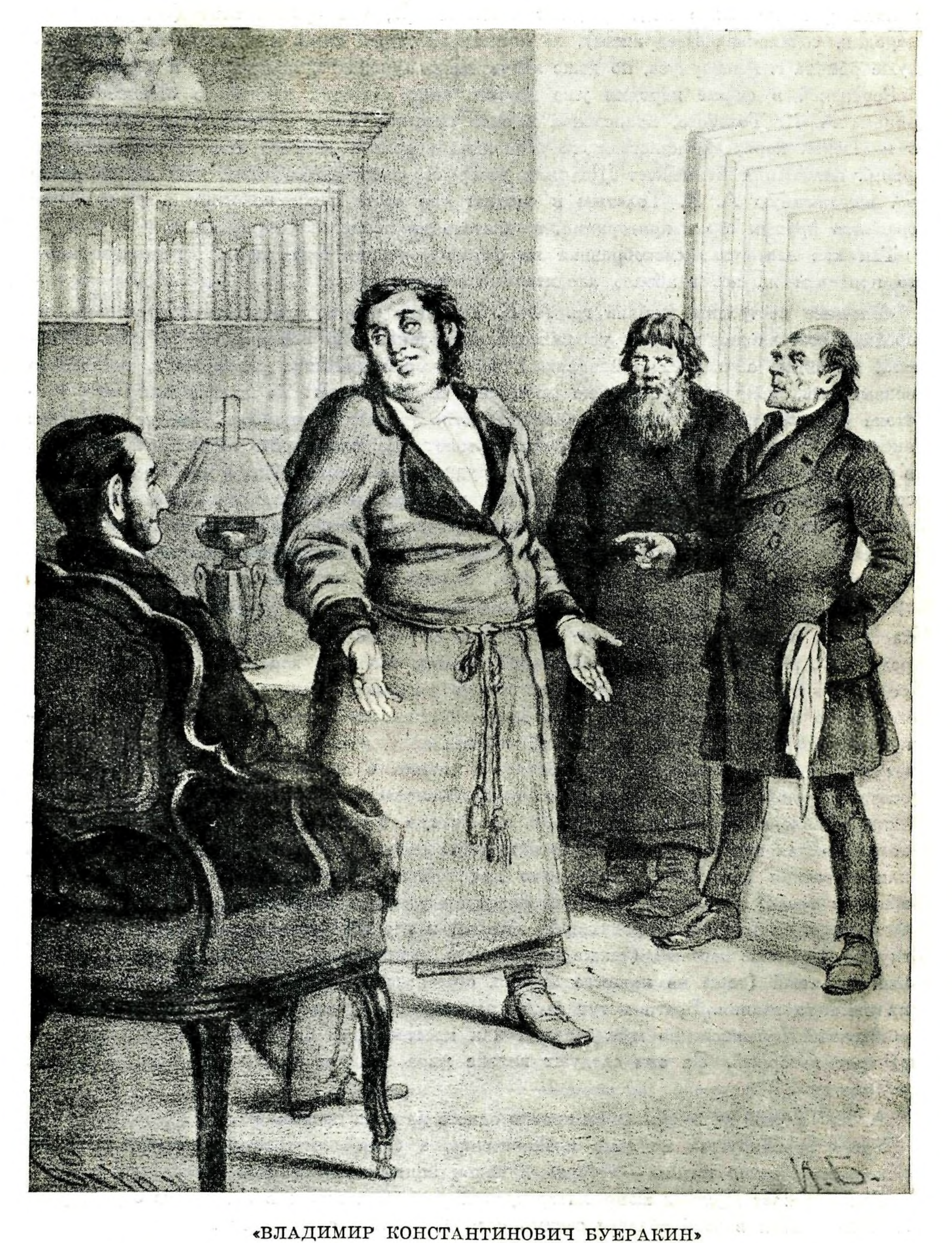
В такие эпохи, как 60-е годы, когда литература является неприкрытым фактором классовой борьбы, пародия — одно из наиболее излюбленных, ибо наиболее действенных, орудий этой борьбы в области слова. Не мог не прибегать к этому испытанному оружию и Щедрин, который и в роли критика не переставал быть сатириком.

В критических писаниях Щедрина мы встречаем два вида пародии. Первый — пародия прямая, как например пародия на «Записки из подполья» в «Стрижах». Но Щедрин никогда не стеснялся теми или иными предписаниями «теории словесности» и всегда свободно оперировал жанрами. Так и здесь он расширяет пародию: не переставая быть пародией, она становится критической характеристикой самого невеселого «пейзажа» всего произведения (достоевщины вообще), вложенной в уста Достоевского (см. приведенную выше цитату из «Стрижей»).

В других случаях пародия входит как существенный элемент в критическое рассуждение, являясь своеобразным способом доказательства оценок автора.

Таковы три пародии-повести: «Маша-дырявое рубище», «Полуобразованность и жадность — родные сестры» и «Сын откупщика» в одной из «Общественных хроник» [191], в которых Щедрин выступил и в роли литературного обозрителя. Пародируются великосветские повести «Русского Вестника» и «Народные очерки» Н. Успенского.

Пример пародии как части рецензии — «Сказание о клубнике» [192]. Здесь нанесен уничтожающий удар пошло-клеветнической реакционной беллетристике, обвиняющей революционную молодежь в разврате и удовлетворяющей низменному спросу уличной



«ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ БУЕРАКИН»

Рисунок М. Башилова к «Губернским очеркам», литографированный П. Борелем
«Художественный Листок» 1868—1869 гг.

толпы на порнографию во имя защиты морали. Надо сказать, что приводимые в рецензии цитаты вполне подтверждают слова автора, что «роман этот («Клубника» — пародия, сочиненная Щедриным), хотя и поражающий своей простотой, не только не хуже романа г. Авенариуса, но даже значительно лучше» [193], ибо короче и дешевле.

Рецензией в форме пародии уже другого типа является заметка о «Князе Серебряном» А. К. Толстого, написанная в виде письма старого преподавателя словесности в кадетских корпусах, излагающего всю теорию романа доброго старого времени. Эта форма изложения не мешает Щедрину раскрыть реакционную «основную идею» романа, выраженную А. К. Толстым в словах: «не расти двум колосьям в уровень, не сравнить крутых гор с пригорками, не бывать на земле безбоярщине».

Так как эта столь своеобразная по форме рецензия никогда не перепечатывалась, то приведем из нее наиболее характерные строки:

«Внешнее построение романа гр. А. К. Толстого вполне соответствует правилам, на предмет составления таковых упражнений преподанным. В нем имеется завязка (и даже... не одна, а несколько завязок...), из которой действие развивается, постепенно возвышаясь, покуда, наконец, не достигает своего зенита: по достижении сего действие развивается, уже понижаясь, и незаметно утопает в развязке. Многие нынешние писатели правилами сими пренебрегают... думают, что обязанность их заключается лишь в том, чтобы поставить героев своих в затруднительное положение, и что, по исполнении сего, можно их бросить: «Сказав это, они вздохнули и разошлись». Но читатель любопытен: он хочет знать, куда разошлись герои, куда пошел о н, куда направила путь о н а; что они делали, что в тот день обедали. Все это графом Толстым исполнено. Исполнено и другое требование теории, касающееся характеров действующих лиц... В сем отношении теория неумолима; она требует, чтобы действующие лица имели характеры разнообразные, и даже указывает, какие должны быть эти характеры. Впереди всех, разумеется, идет герой; герой должен быть из хорошего семейства: благороден, но тверд, чувствителен, но не лишен рассудка, правдив, но не без надежды, что автор в сомнительном случае найдет возможность вытащить его из беды; великодушен до безрассудства, но знающ, что великодушные поступки никогда не пропадают даром; сверх сего, не худо, если герой человек с деньгами. Героиней может быть всякая хорошая женщина, которой наружность представляет в себе что-либо для мужчины привлекательное; нужно только, чтобы она была: или мужнею женой (это необходимо для завязки); или же хотя и девицею, но не одинакового с героем звания, или состояния (это также необходимо для той же надобности). За сим лица, окружающие героя и героиню, должны разделяться на друзей и врагов. Друзья могут быть след. сортов: а) добродушный, веселый и верный (обыкновенно слуга); б) друг глупый, но тоже веселый (также из низшего звания); в) друг заблудшийся, но верный и умный (тоже из низшего звания, обыкновенно разбойник) и наконец г) друг из высшего звания. Враги могут быть трех сортов: а) враг честный, но неумышленно обиженный (обыкновенно муж героини или крестовый ее брат); б) враг жестокий... и в) враг коварный. За сим следуют князие мира воздушного, их угодники, юродивые и колдуны...

А. К. Толстой не погрешил ни против одного из этих правил» [194].

Здесь пародируется не само произведение, а самый литературный канон, которым руководится автор письма — устарелый канон эпигона помещичьей литературы.

Так освежает Щедрин жанр литературной рецензии, внося в нее новые структурные элементы, ведя в этой области своими специфическими средствами художника-сатирика борьбу против класса-антагониста, против его культуры.

Аналогичными средствами Щедрин пользуется против засорения столь дорогой ему литературы шаблоном, от кого бы шаблон ни исходил.

«Это так исстари заведено, чтобы торжеству добродетели предшествовали некоторые предварительные истязания, и что без этого никакой роман состояться не может; но мы знаем также, что в этих случаях, для успокоения встревожившейся совести читателя, всегда дается какая-нибудь конфетка, которая и поможет угнетенной

добродетели справляться с истязаниями. Так например добродетельному, но угнетенному чиновнику ассигнуется из государственного казначейства пенсия; оставленной на произвол судьбы сироте является на помощь благодеятельная старушка, которая учит ее по-французски и танцовать. Все это делает жизнь униженных, но добродетельных людей довольно приятною, так что, порой, они даже и сами не могут объяснить, в чем заключается так называемое угнетение. Но поэтому-то они именно и не торопятся восторжествовать над пороком, они как будто говорят: пускай, мол, его пороскошничает; все равно, ему не уйти наших рук, а между тем И. И. Лажечников успеет написать роман»[195].

Вся хитрая механика выпечки романа без всяких на то оснований, кроме этому делу посторонних, раскрыта в этих строках. И беда, когда такой романных дел мастер уклонится от трафарета или по старческой слабости забудет его, как это и случилось с Лажечниковым, не давшим читателю эту самую «конфетку». У него «коли хотите, добродетель в конце концов и торжествует, но уже до того поздно, что в минуту торжества победитель от старости и расстройства умственных способностей вместо победного клича может испустить только слабый писк. Напротив того, порок хотя и наказывается, но уже тогда, когда он успел перепортить целые стада добродушных людей, и когда, исполнив свою задачу, он может спокойно сложить руки и сказать: ну, теперь мне на все наплевать.

В такое незавидное положение попал наш благонамеренный автор, задумавший своих героев такими, что посрамление порока должно было состояться чуть ли не на первых страницах, и забывший подкрепить добродетель на протяжении трех частей своего произведения».

Рецензии Щедрина — это маленькие сатиры над претенциозной бездарностью и трафаретностью мысли не потому, что они бездарность и трафаретность, а потому, что они претенциозны, что вносят празднословную фальшь туда, где уместно лишь ответственное дело. Эти сатиры превращаются в инвективы, грозные беспощадным щедринским презрением, когда критику приходится бороться с менее невинными явлениями, чем литературное тщеславие и ремесленничество, — с клеветническим дискредитированием дорогих ему идей и общественных движений, с предательством посредством слова. Таковы его рецензии против реакционных, особенно «уличных» беллетристов, таковы его ответы Достоевскому, в котором он не мог не видеть ренегата. Уничтожающей инвективой являются те страницы, которые написаны им по поводу письма к нему Хохлаковой из «Братьев Карамазовых».

Вначале дается спокойный анализ образа Хохлаковой, в котором Достевский — «талантливейший из последователей Гоголя» — продолжает разрабатывать тип Дамы просто приятной и Дамы приятной во всех отношениях. «Жизнь этих дам есть сплошное лганье во всех формах и видах, начиная от простого пускания пыли в глаза и кончая несомненным предательством. Сначала лганье составляет как бы принадлежность «уменья жить», к нему прибегают для поддержания светских связей, им прикрывают... желание под внешним блеском схоронить от посторонних глаз всяческое домашнее убожество. Но мало-помалу лганье до такой степени входит в жизненный обиход, что самое общение с этой лгущей средой уже представляется какой-то гнилою фантасмагорией. Лгут непрестанно и по привычке, не потому, чтобы это нужно было для достижения каких-нибудь целей, а просто потому, что правда сделалась противной»[196].

Достоевский утрирует этот тип и снабжает свойствами совершенно ему чуждыми. Щедрин «исправляет» Достоевского.

«Я охотно соглашаюсь, что Хохлакова, как и всякая другая «приятная» дама, есть не что иное, как проезжий шлях, который всякий может топтать ногами — и мудрец, и глупец, и человек убежденный, и человек, стучащий мертвыми дланями в пустые перси, и человек добра, и изувер, мечтающий о кострах». Но кроме «пустодушия» у Хохлаковой «есть и другая собственная ее интимная подоплека». Ее специфику составляет «отвращение к какой бы то ни было работе мысли», полная неспособность сосредоточиться.. А потому все серьезное (в том числе и серьезная подлость) противно

ее природе. В силу своей беспутной подвижности она ко всему прислушивается и присматривается, но ежели это слышанное и виденное хотя сколько-нибудь выходит за пределы самой несомненной низменности, то она положительно ничего не поймет. Поэтому, если писателю нужно, чтобы Хохлакова произносила «страшные слова», то надлежит выбирать таковые исключительно из замоскворецкого лексикона. Например «жупел», «кимвал», «металл». Нет, не о «Современнике» хотела она дать намек, а о «Времени» или об «Эпохе» — этих своего рода «жупеле», и «кимвале», вполне достойных разумения Хохлаковой» [197].

Инвектива медленно нарастает. Щедрин переходит к Федору Карамазову:

«Этот развратный и насквозь прогнивший старикашка, действительно, должен быть сердит на меня, и так как он по природе своей на всякие предательства способен, то, конечно, мог и в данном случае соорудить что-нибудь воистину язвительное, я думаю даже, что он не ограничился бы напоминанием о «Современнике», но при сем присовокупил бы, что мои сочинения нужно сжечь рукою палача, или что я проповедую презрение к России, а потом помаленьку, да полегоньку пустил бы, пожалуй, букетами и по части событий, которые в последнее время так глубоко взволновали Россию... (Покушения на Александра II. — *А. Л.*)... Г. Достоевский... упустил из вида, что рядом с сластничеством в этом протухлом сердце свило гнездо еще и человеконенавистничество... Если бы Достоевский какую угодно выходку, даже самую омерзительную, относительно меня внушил не Хохлаковой, а старику Карамазову, я не только не увидел бы в ней ничего неожиданного или бестактного, но, напротив того, нашел бы ее вполне резонной, злопыхательному сердцу свойственною и с обстоятельствами дела согласною»...[198]

Те обвинения, которых мог бы ожидать от Федора Карамазова Щедрин, оказываются чрезвычайно сходными с выпадами Достоевского против Щедрина и его направления. И, наконец, когда удар подготовлен незаметным приближением Федора Карамазова к его творцу, он обрушивается на Достоевского со всей сокрушительной силой: Федор Карамазов характеризуется как оборотень, как грязное животное, принявшее человеческий образ, которое не может же съесть честного человека, сколько бы ни хрюкало и ни обнюхивало его.

«Возможно ли представить себе такой ужас: человеческое слово упразднилось, а вместо него повсеместно водворилось свиное хрюканье?»

«Ведь таким образом мы будем пожалуй лишены возможности... наслаждаться произведениями г. Достоевского» [199].

Но часто к подобным инвективам прибегать не приходилось. Для уничтожения противника оказывалось достаточно простой игры иронии, открывающей в условных достоинствах подлинные недостатки. Так например Боборыкин в «Жертве вечерней» избежал весьма счастливо «дефектов, обычных у начинающих писателей»:

«Автор не повторяется, потому что ему нечего повторять; он избегает несоразмерности частей, потому что там, где в строгом смысле нет целого, не может быть и частей; он не допускает излишества в подробностях, потому что в вопросе (романе? — *А. Л.)* о нимфомании, чем больше подробностей, тем удобнее делается он для проглатывания; наконец, он не навязывает насильно читателю никаких взглядов. потому что какие же могу быть взгляды, когда весь интерес рассчитан на том, чтобы помутить в читателе рассудок и возбудить в нем ощущение пола» [200].

Но самый свой победоносный полемический прием Щедрин приберег для защиты против наступающей «улицы».

Основной ход «уличной философии» — «уличного» суждения, «уличной» критики, «уличной» клеветы — навязывать враждебному ей новому то, что «уличные» блюстители нравственности лицемерно не признают на словах, но совершают на деле. Именно своими собственными грехами пытаются защитники старых порядков запятнать борцов за новое и их идеи.

Поняв этот ход реакции, который ее представители сознательно или наивно применяют, Щедрин обращает все их обвинения против нее же. И убийственно звучат следующие строки из «Уличной философии»:

«Вообще люди, сильно занятые интеллектуальными интересами, реже решаются на такие поступки, которые могут только дразнить общественное мнение, не приводя к другим, более существенным результатам. Но еще менее допускаются ими подобные поступки в тех случаях, когда они ставят в фальшивое положение постороннее лицо, которое, быть может, сгоряча и примет это положение, но впоследствии может не совладеть с ним. Такого рода практика скорее свойственна тем негодным людям, которые лицемерно выполняют все предписываемые обществом формальности и в то же время подкапываются под его основания гораздо зловреднее, нежели те, которые явно ищут новых форм жизни, в видах согласования интересов всех и каждого» [201]. В цитированных строках намечена одна из основных идей Щедрина, столь роднящая его с марксизмом: никто так не разрушает «основ», как сами их блюстители, никто столько не экспроприирует, как те, к экспроприации которых призывает революция.

13. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ У ЩЕДРИНА

В полемических приемах Щедрина уже выразились отчасти приемы и методы его критики вообще. Щедрин пишет о писателях как творящих субъектах и об их героях, характерах, и пишет о тех и других как критик-художник. Преломляющая среда, отражатель интересует его не меньше отражения. Одновременно Щедрин выдвигает известные методы и критерии оценки художественного творчества.

«Современная русская критика, приступая к произведению известного писателя, никак не может оставаться равнодушной к его личности или, лучше сказать, к тому живому нравственному образу, которого присутствие слышится в его произведениях».

Казалось бы, что во времена бурных общественных движений у критика исчезает интерес к личности писателя и что только общее должно занимать его в художественных произведениях. Взгляд Щедрина диаметрально противоположен такому мнению. «В такое тревожное и горячее время», которое переживал Щедрин, «живой нравственный образ художника» как участника или противника общественного движения, оказывающего то или иное влияние на него, приобретает особое значение благодаря расширению возможностей его воздействия. Голос его усиливается более сильными отзвуками, чем обычно. И это же значение нравственной личности художника в общем ходе исторических дел определяет и роль критика в этом социальном процессе, роль прямую и роль посредственную,— через влияние на художника.

«Автор стремится показать свету все, что у него накопилось на дне взволнованной души, а также и все, чего там не накопилось, критик... должен самому взволнованному автору разъяснить, почему одно накопилось, другое не накопилось» [202].

В «тревожное и горячее время, какое мы переживаем» — запомним эту формулировку задач критики, принадлежащую великому художнику! Как далеко это от высокомерного третирования критики теми, кому писание романов и повестей дает часто весьма сомнительное право на звание творцов, которым все эти «окололитературные люди» — критики — только мешают, но ничего нового сказать не могут.

Здесь дело не в отношении к тем или другим критикам, может быть не заслуживающим этого имени, а в принципе: у Щедрина очевидно нет сомнений в том, что критика может и должна разъяснить художнику проблемы его внутреннего мира и тем самым направить его.

В своем активном интересе к личности художника Щедрин не аристократичен. Сам он преимущественно интересуется писателями второстепенными и даже третьестепенными. Это внимание к писателю-середняку имеет у Щедрина глубокие основания. Во-первых, тот класс, для которого Щедрин работал, не мог еще выдвинуть гениальных художников, и революционно-демократической критике важнее было поддержать и вырастить молодые неокрепшие таланты «новых людей», чем наставлять Тургеневых и Толстых; во-вторых, помимо этого практического соображения у Щедрина было еще

одно важное, теоретическое. «Пренебрежение к подражателям может сделать ущерб самому критическому исследованию в том отношении, что оставит без разъяснения те характерные стороны школы, для изучения которых подражатели почти всегда представляют материал гораздо более разнообразный и яркий, нежели сами образцы»[203]. Это соображение имело особое значение по отношению к эпигонам помещичьей литературы. У Щедрина был точный критерий для различения этих эпигонов от классиков.

Он отличает «общий мотив» и колорит того или другого «сбразца» от многоразличных живых образов, «которые так или иначе сгруппировываются около основной идеи произведения». Произведение второстепенного писателя производит впечатление только своим заимствованным колоритом, но не образами, как стихи поэта-подражателя — навеянными ритмами, а не слишком знакомыми или расплывчатыми поэтическими идеями. Например у подражавшего Тургеневу Авдеева действующие лица «лишь случайный придаток к колориту». Таким образом подражание в самом себе находит некий предел, за которым кончается возможность более или менее самостоятельной вариации, а не копирования. Подражательное произведение не бывает художественно-цельным. Щедрин-критик учитывает особенности творческого процесса, отличительные черты творца и подражателя.

Но его больше интересуют «характерные черты школы», направления, всегда классово определенного, для изучения которого второстепенные писатели дают такой обильный материал. Именно эти черты определяют характер отражения жизни в литературе, степень его правдивости и искаженности, внушаемые художником представления и оценку им действительности. Образы «лишнего человека» у Тургенева и у самого Щедрина будут при наличности общих черт отражаемой жизни глубоко различны, как и отношение авторов к ним, точно так же как «новые люди» в «Что делать?» Чернышевского и нагилист в «Отцах и детях».

Критический метод Щедрина был реалистический метод, далеко опередивший тот наивный реализм, который еще долго господствовал в критике. Мы уже видели, как рассматривал он отражение действительности и ее проблем в дворянской литературе, хотя бы тех же «лишних людей» (см. гл. 5). Везде учитывается роль мировоззрения как классово обусловленного представления жизни, в подборе, оценке и воспроизведении материала, в формировании самого художественного произведения и выражаемых им обобщений. Он рассматривает это мировоззрение, эту осознанную или неосознанную тенденцию художника в действии, в самом процессе образования художественного произведения. В этом своем «критическом исследовании» Щедрин столь же объективен, как и страстен. Он беспощадно резок, когда речь идет о враждебных явлениях. Вот например как обнажает Щедрин художественную структуру «Нана» Золя:

«Представьте себе роман, в котором главным лицом является сильно действующий женский торс, не прикрытый даже фиговым листом, общедоступный как проезжий шлях, и не представляющий никаких определений, кроме подробного каталога «особых примет», знаменующих пол. Затем поставьте в pendant к этому сильно действующему женскому торсу соответствующее число мужских торсов, которые тоже ничего другого, кроме особых примет, знаменующих пол, не представляют. И потом, когда все эти торсы надлежащим образом поставлены, когда, по манию автора, вокруг них создалась обстановка из бутафорских вещей самого последнего фасона, особые приметы постепенно приходят в движение и перед глазами читателя завязывается бестиальная драма».

Вот структура знаменитого романа, а вот то, что ее определяет, связывая и автора, и его читателя одной точкой зрения, одним отношением к жизни:

«Спрашивается: каких еще более возбуждающих услад может требовать буржуа, в котором сытость дошла до таких геркулесовых столпов, что едва не погубила даже половую бестиальность».

Рязань. 3 февраля

Сейчас прочитал «Дворянское гнездо», уважа-
емый Павел Васильевич, и хотел тотчас же
сказать Вам впечатление об этой вещи. Но я
решительно не могу. Да и вряд ли что возразить про-
тив это, кроме разве Ал. Вас., которой свойству
сладострастную натуру оставляет все возвышенное, что
раздражает светлую поэзию, разрушая в начале всякое
чувственного романа. Да и что вообще можно сказать о всех
вообще произведениях Тургенева? То ли, что после
прочтения их легко дышится, легко верится, тепло
чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравствен-
ный уровень в тебе поднимается, что мысленно бла-
гословляешь и любишь автора? Но ведь это будут только
общие места, а это, именно это впечатление оставляют
после себя эти прозрачные, будто сотканные из возду-
ха образы, это начало любви и света, во всякой строке
бьющее живым ключом и одинаково всех даже проча-
ющее в чутких пространствах. Но чтоб и это общее вы-
писалось сказать, надобно столько бесконечной поэзии и
чистоты в натуре. Герои Тургенева не кончают,

АВТОГРАФ ПИСЬМА САЛТЫКОВА К П. В. АННЕНКОВУ С ОТЗЫВОМ О «ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ» ТУРГЕНЕВА ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1858 г. (ПЕРВАЯ СТРАНИЦА)

Институт Русской Литературы, Ленинград

АВТОГРАФ ПИСЬМА САЛТЫКОВА К П. В. АННЕНКОВУ С ОТЗЫВОМ О «ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ» ТУРГЕНЕВА ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1858 г. (ВТОРАЯ СТРАНИЦА)

Институт Русской Литературы, Ленинград

художников наших наиболее любимых и сим-
патий, в уме которых и творчестве господств[illegible],
никак не могут [illegible] противоречия. Вообще Тур-
генева, против всех художников автор[illegible]
[illegible] чувствуешь.
Извините, что долго так пишу; [illegible]
[illegible], но мне хотелось Вам передать те
впечатления, в таком виде, как они сложились
у меня по прочтении Двор. Гн.

Весь Ваш
М. Салтыков

[illegible] Сообщ-
ает, что деньги 200 р. мной получены, но [illegible]
[illegible] в первом
письме что [illegible], а второе [illegible] что [illegible]
написать только [illegible], а не
[illegible], что [illegible]
[illegible]. Он пишет, что [illegible]
[illegible], но [illegible]
[illegible], потому что он весь в [illegible]

АВТОГРАФ ПИСЬМА САЛТЫКОВА К П. В. АННЕНКОВУ С ОТЗЫВОМ О «ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ» ТУРГЕНЕВА ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1858 г. (ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА)
Институт Русской Литературы, Ленинград

АВТОГРАФ ПИСЬМА САЛТЫКОВА К П. В. АННЕНКОВУ С ОТЗЫВОМ О «ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ» ТУРГЕНЕВА ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1858 г. (ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА)

Институт Русской Литературы, Ленинград

Верный своему пониманию реализма и в своей критике Щедрин не ограничивается констатированием существующего, он предвидит дальнейшее развитие в нащупываемой им тенденции настоящего.

«Все в этом романе настолько ясно, что хоть протягивай руку и гладь. Только лесбийские игры несколько стушеваны, но ведь покуда это вещь еще на охотника, не всякий ее вместит. Придет время, когда буржуа еще сытее сделается, тогда Золя и в этой сфере себя мастером явит».

Золя или другой — не это важно, но путь от натурализма к патологично-изысканному в своей эротике символизму и импрессионизму, к литературе загнивающего капитализма Щедрин провидел сквозь натуралистический роман, характеристика которого заканчивается следующими разящими строками:

«Какую неутомимость, какой железный организм нужно иметь, чтобы выдержать труд выслеживания, необходимый для создания подобной экскрементально-человеческой трагедии! Подумайте! Сегодня Нана, завтра — представительница лесбийских преданий, а послезавтра, пожалуй, и впрямь в герои романа придется выбирать производительниц и производителей экскрементов».

Таков этот французский псевдореализм, грубо тенденциозный в своем гонении на всякую честную тенденцию, на ту «идейную страстность», которая обостряла чутье художника к величайшим вопросам жизни. И не знаешь, чему больше удивляться в этой уничтожающей характеристике литературной школы, нашедшей себе последователей и в России среди писателей нарождающейся хищнической буржуазии, потрафлявших вкусам научившегося грамоте Дерунова и его снохи: «идейной страстности», которой она проникнута, или подлинному реализму художественного изображения такого предмета, как натуралистический роман. Несколькими строками Щедрин показал, как надо характеризовать форму и содержание в их единстве, не прибегая к расщеплению того и другого, а сразу давая их в художественном синтезе. Он умеет осветить форму, говоря о содержании, раскрыть содержание, определяя форму.

Художником продолжает оставаться наш критик, когда обращается к последователям Золя, у которых «перед читателем проходит бесконечный ряд подробностей, не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его обстановкой, подробностей ни для чего не нужных, ничего не характеризующих и даже не любопытных сами по себе» [204]. Чтобы показать это, Щедрин переходит к пародированию типичного натуралистического романа с его фатальной бессодержательностью.

* * *

Представление об отражении действительности в литературе как определенном практикой отражающего класса и осложненном личными особенностями художника обусловливает и особую концепцию критики. Критика — тот же процесс, что и художественное творчество, только в обратном порядке. Потому критика и является проверкой художественного творчества. Критик идет от образа к жизни, от отражения к отраженному, художник от жизни — к отражающему ее образу. Если результаты у того и другого сходятся, значит искусство не погрешило против жизненной правды. Если нет, то один из них ошибается, и лишь повторная проверка поможет выяснению истины. Вот почему критик, если он оказывается прав, может исправить художника. При такой постановке проблемы художественная одаренность критика так же важна, как и его мыслительная сила. В данном случае мы имеем редчайшее сочетание в критике крупнейшего художника и мыслителя, художника, который в своем творческом воображении заменит ложные образы критикуемого им автора верными, мыслителя, который объяснит его ошибку и сделает надлежащие обобщения и выводы. Напрашивается сравнение Щедрина с мыслителем, в котором силен был художественный элемент, как у Щедрина — мыслительный. Это — Карл Маркс, оставивший нам образчики своей критики в «Святом семействе», в той ее части, которая посвящена полемике по поводу романа Е. Сю «Парижские тайны».

В своем анализе этого романа Маркс восстанавливает как бы «первоначальный образ» героев — Резака, Флер де Мари, Риголетты, Родольфа и др., т. е. намечает тот образ, который они должны были иметь, если бы действительность была отражена правильно, в противоположность искажению его мелкобуржуазным сознанием автора. Таков художественный метод критика-реалиста, устанавливающего и проверяющего связь произведения с жизнью на его почве,— путь исправления авторского замысла, философски оправданный ленинской теорией отражения. Этот путь далеко не всем доступен, но в принципе он единственно правильный и единственно отвечающий призванию критики как своего рода высшего арбитра между жизнью и творчеством. Он не всем доступен, потому что предъявляет требование творчества к критику, который потому и может судить об ошибках автора, что не только видит их, но умеет исправить, восстановить искаженную в образе жизнь, дать «первоначальный образ». Щедрин как нельзя лучше подходил к этой роли. Произведение, критически им оцениваемое, возбуждало его творческую фантазию: всякая фальшь в нем вызывала не только отрицательную, но и положительную творческую реакцию, восстанавливающую оболганную действительность. Это чутье истины позволяет ему пользоваться неотразимым полемическим приемом: бить своего противника его же оружием, используя против его фальши и лжи те частицы жизненной правды, которые все же сохраняются и в искаженном отражении. Так разбирая неудачи героя реакционного романа Клюшникова «Марево», показывая, как «за что бы он ни принялся,— везде он проваливается самым постыдным образом», Щедрин может победоносно задать такой вопрос: «Отчего же ваша правда, г. Русанов, так слабо действует, а эта ложь, против которой вы ратуете, представляется вам всесильною?» [205]

Он умеет видеть трагизм в этих «нищих духом», которого не видят их творцы, как например автор «Жертвы вечерней» — Боборыкин. Несколькими штрихами восстанавливает он подлинный характер его персонажей. Все они выступают «в роли героев, защищающих право, признанное преданием. Трагическая судьба этих сторонников изжившего предания и бессознательности столь же несомненна, как и роковая же судьба тех, кто борется с бессознательностью; она только менее бросается в глаза... Первые «гибнут в своих детях, гибнут жертвой той горькой очевидности, что сколько они ни употребляли усилий для защиты своих пенатов, все-таки в их глазах в их собственные святилища успели проникнуть и водвориться иные пенаты» [206].

Прозрение великого художника-реалиста, разработавшего позднее эту действительно трагическую тему, возносило критика на недосягаемую высоту над критикуемым произведением.

Но не только неудачные образы, подлежащие исправлению опытной рукой критика-художеника, привлекали внимание Щедрина. Он вступал в творческое соревнование и с творцами классических типов русской литературы и вносил в это соревнование свойственный ему реализм, умение проникать в иную, потаенную действительность. Обыкновенно критик вкладывает свое содержание в образы старого литературного произведения Мы говорим тогда, что критик впадает в субъективизм, что он модернизирует памятник прошлой жизни и искусства. Щедрин как великий художник имел возможность поступать иначе. Для него старый образ не просто форма, в которую каждый вкладывает свое содержание, но существо, живущее своей собственной жизнью. Это люди, которых он встречает, с которыми беседует, но люди в новой, современной ему обстановке, при всей определенности своего характера приобретающие ряд новых черт, не механически, а органически. Литературные типы не существуют для Щедрина вне их жизненных прообразов. Вернее, он всегда возвращался к той действительности, из которой они были взяты. Но если в художественном произведении характеры людей были отражены лишь в один из моментов своей жизни, то ведь они продолжали жить вместе с нами, развиваться, стариться. И Щедрин следил за их дальнейшей судьбой... и, переживши их творцов, сумел увидеть в них то, чего еще не могли увидеть они. И он продолжает их дело, рисуя типы в новых обстоятельствах, в новой обстановке. Он показывает, как в новых условиях, при от-

носительной устойчивости психического ядра, характеры видоизменяются, развивая тенденции, скрытые от их авторов, но прозреваемые критиком в сочетаниях черт образа. Здесь мы вступаем в область художественного творчества Щедрина. Но он и мыслитель. Прежде чем дать например Молчалина в обстановке 70-х годов, он осветил себе путь к его новому воссозданию критическим размышлением, а это подлежит уже нашему разбору.

Свою эпопею о Молчалине времен не Александра I, а Александра II («В среде умеренности и аккуратности», 1874—1877) Щедрин начинает с соображений о тех эпохах, излюбленными героями которых они являются:

«Это минуты, когда деятельная, здоровая жизнь словно засыпает, а на ее место вступает в права жизнь призраков, миражей и трепетов... когда всякий думает только о себе, а в соседе своем видит ненавистника, когда подозрительность становится общим законом, управляющим человеческими действиями...» Вот почва, из которой вырастают эти рыцари умеренности и аккуратности. Нет спроса на людей инициативы и подвига. Есть спрос на тех, кого разумеют под наименованием «и другие».

Старый реализм в лице Грибоедова, очертив с большим искусством молодого, еще не успевшего развернуться и проявить себя Молчалина, не догадывался о тех возможностях громадного отрицательного значения для общества, которые в нем скрывались. Читатель и зритель «Горя от ума» выносил впечатление, как будто совпадавшее и с текстом пьесы, и с действиями Молчалина на сцене, что это безличная тень, «на которую достаточно дунуть, чтобы она исчезла без следа». Но это наивно реалистическое представление, так совпадающее с видимостью вещей, в корне ошибочно. Молчалины — это сложнейший комплекс хитрейших соображений, эмоций, волевых импульсов и даже трагических переживаний. Они живут довольно богатой, хотя и достаточно низменной внутренней жизнью, которой пренебрегать тем более не следует, что она накладывает глубокий отпечаток на жизнь общую. «Вглядевшись пристально в жизненный круговорот, мы без труда убедимся, что все в этом круговороте создается руками именно тех «и других», от которых мы самонадеянно отворачиваемся». Те «демонические» преступления или просто великие подлости, от которых мы содрогаемся, не могли бы совершиться, если бы у «блестяще злых» их виновников не было под руками «бесчисленных легионов незаметных Молчалиных».

Что движет этими людьми? Сосредоточенность на мелочах своего личного «я», составляющих смысл их существования, и необходимость опереться на «нужного субъекта», чтобы обеспечить удовлетворение своих мелочных, но целиком их поглощающих потребностей. На этой основе вырастает целый мир изворотливости и приспособления, не признающий над собой никаких законов, кроме выгоды и силы. Умея быть всем, чем прикажут, умея «не рассуждать», эти идиллически-мирные натуры могут стать бичами человечества. Дайте Молчалину атрибуты «достославной специальности» заплечного мастера, и он станет Шешковским.

«Они деятельнейшие, хотя, быть может, и не вполне сознательные созидатели тех сумерек, благодаря которым настоящий заправский человек не может сделать шага, чтобы не раскроить себе лба... Они бесшумно, не торопясь, переползают из одного периода истории в другой, никому не бросив ни слова участия, но и никого не вздернувши на дыбу (то-есть, может быть, и вздернули, но, ей-богу, не сами собой)... они имеют право каждодневно засыпать с сладкою уверенностью, что ни полиция современности, ни полиция будущего не предъявит к ним ни малейшего иска»[207].

Уродливейшее порождение классового общества, не знающего еще пределов своему господству над жизнью, эксплоатации человека человеком, требующей от обездоленного максимального приспособления во имя элементарнейших жизненных благ, Молчалины самым своим существованием клеймят создавший их социальный уклад. Характерным для него отказом в удовлетворении или угрозой такого отказа «мелочные» потребности человеческого «я» раздуваются до страшной силы, готовой на всякие преступления. Не узнаем ли мы ежедневно Молчалиных в исполнителях тех мерзостей,

которые совершаются буржуазным обществом? Разве не их руками немецкий фашизм совершает свои шутовские, но от этого не менее страшные ауто-да-фе, свои погромы и убийства? Разве Гитлеры — эти современные авантюристы Джеффризы, о которых пишет Щедрин, могли бы что-либо сделать, «если бы у них под руками не существовало бесчисленных Молчалиных», взращенных представляемым ими социальным строем?

В такое грандиозное, полное до сих пор жизни обобщение вырастает сравнительно незначительный образ Молчалина 20-х годов.

Эта победа и критического и художественного реализма в щедринском смысле учит нас избегать схематизма даже там, где образ так легко поддается схематизации и кажется совершенно неблагодарным объектом для психологического анализа вследствие примитивности своей психической жизни. Раскрыть Молчалина, показать глубину и социальную перспективу в такой безнадежной плоскости — это такое удивительное достижение критического искусства, что его не могли не признать и враги. Так Достоевский недаром заметил в «Дневнике писателя» за 1876 г., что он, чуть не сорок лет знающий «Горе от ума», понял Молчалина только после того, как ему разъяснил его Щедрин. Это неудивительно, ибо Щедрин раскрыл ту «другую действительность» типа, которой являются заложенные в нем невидимые тенденции, определенные его социальным положением, и сумел проследить их развитие.

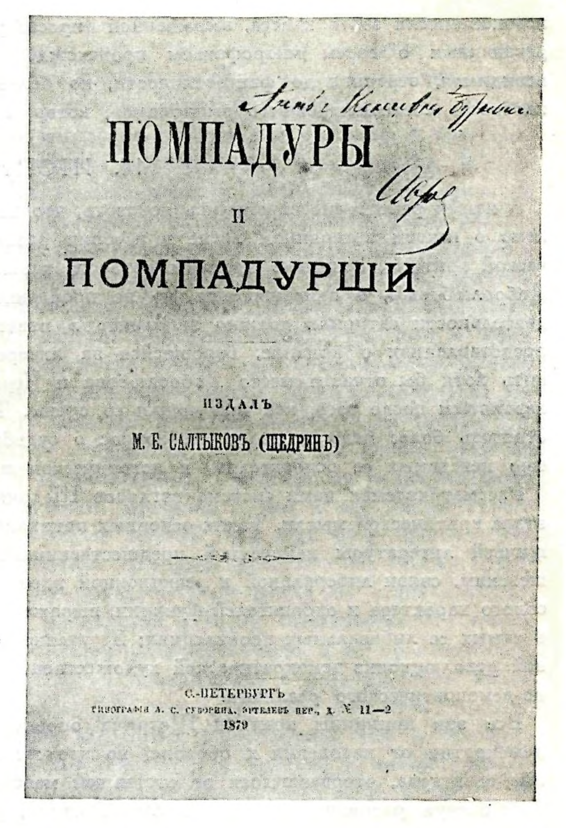
А вот и другой «примитив» — недоросль из комедии Фон-Визина, синоним лени, глупости, невежества. Что, казалось бы, общего между этой слишком элементарной жизнью и усложненным человеком второй половины XIX в.? Вот напр. историк Ключевский написал остроумную статью с точки зрения своей специальности об «учебной пьесе» Фон-Визина. Для него она, как и ее типы, утратила свежесть новизны и современности, зато приобрела интерес художественного памятника старины... «Современники ее автора... смотря ее... не видели нас, своих внуков, мы сквозь нее видим их, своих дедов» [208].

Историк-идеалист, «который смотрит на исторический процесс сверху, со стороны командующих классов, а не снизу, от классов угнетенных» (слова М. Н. Покровского о Соловьеве, вполне применимые и к его знаменитому ученику), он исходил в своих суждениях из надклассовой теории государства, якобы аппарата не диктатуры господствующего класса, а сотрудничества классов. Фонвизинский недоросль — по Ключевскому — жертва непонимания значительной частью дворянства «исторически сложившегося положения своего сословия», выражавшегося в том, что помещик стал необходим государству не столько как воин, сколько как просвещенный покровитель и опекун своих крестьян. Комедия Фон-Визина — предупреждение от имени государства, заботящегося равно о всех классах общества, значительной части одного из них, не желающей выполнять обязанностей, предписываемых ей в интересах всего целого.

Подход Щедрина конечно совершенно иной. Ведь он идет не от настоящего к прошлому, а от прошлого к будущему. В героях фонвизинской комедии он видит не столько своих «дедов», как Ключевский, сколько их «внуков». Поскольку классовые основы жизни «века нынешнего и века минувшего» еще сохранились, постольку и самые отдаленные явления — неуч Митрофан и «просвещенный» славянофил, издевающийся над гнилым Западом, не так уже далеко отстоят друг от друга. Митрофан выступает как разгадка сложных проблем умственной жизни своих внуков, может быть и много учившихся, но продолжающих его традицию. Эта традиция — смешение цивилизации с табелью о рангах. Только «табель о рангах внедрилась, вошла в плоть и кровь. С этою табелью в руках, хмельной от приливов талантливости, он рыскал по долам и горам, внося в самые глухие закоулки смелую проповедь о чиноначалии и заражая самые убогие хижины своей просветительной деятельностью. Перед немеркнущим блеском табели о рангах тускло, почти презренно светились прочие вопросы жизни, то-есть все то, что составляет действительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всех сторон безнадежнейшим эмпиризмом, источники воочию иссякали под игом расточительности и хищничества, стихии бесконтрольно господствовали над

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЭКЗЕМПЛЯРА ВТОРОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ «ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ САЛТЫКОВА А. А. БУТКЕВИЧ (СЕСТРЕ Н. А. НЕКРАСОВА)

Институт Русской Литературы, Ленинград



трудом и жизнью человека, а Митрофан не замечал, ни перед чем не останавливался и упорно отстаивал убеждение, что табель о рангах даст все: и славу, и богатство, и решительный голос в деле устройства судеб человечества» [209].

Итак, этот лентяй и обжора, которому, как и его родителям, грозит, по Ключевскому, ферула надклассового государства, оказывается вершителем его судеб, подавляющим своей вооруженной табелью о рангах рукой всю жизнь страны. В образе Митрофана перед нами крепостническое государство, имеющее в его лице достойного представителя. Ему дана возможность не только «бездействовать на всей своей воле», но всеми средствами — вплоть до военных поселений и виселиц — ограждать это бездействие. Неважно, что может тому или другому Митрофану отдерут уши за слишком уж большие излишества, важен вольный митрофаний дух, отвергающий западную культуру, как только пошатнулось под влиянием горького опыта убеждение насчет «живоносных свойств табели о рангах», с которой он смешал эту культуру. Митрофан — это символ крепостнической европеизации России, неленостно перенимавшей «всякую штуку», независимо от общих форм жизни. Когда же эта «штука», т. е. мир открытий и изобретений как «мир подробностей... не имеющий внутренней связи с общим строем жизни», ударил Митрофана по лбу, он конечно не мог не стать славянофилом.

Митрофан — это прообраз «ташкентцев», шире — всей русской бюрократии, для которой не было вчерашнего дня как укора или поучения. Она поэтому постоянно возвращалась к этому «вчерашнему дню, но не для того, чтоб анализировать, а для того, чтоб воспроизвести его с буквальною точностью».

Так несколько эмпирически-грубых черт фонвизинской комедии щедринский реализм превращает в обобщение жизни класса, в наиболее реакционных его прослойках, его отношения к культуре, его «европеизированного» крепостнического государства,

истоков мысли этого класса, выраженной просвещеннейшими его идеологами, не подозревающими о своем митрофаньем происхождении. Это — «другая действительность», невидимая, странная до фантастичности, но более подлинная и существенная, чем та плоскость «безнадежнейшего эмпиризма», которую увидели Фон-Визин и Ключевский...

14. ИТОГИ

В нашей работе мы стремились показать, что вопрос о Щедрине-критике — это проблема о некоем затерянном звене в истории развития нашей революционно-демократической критики, основные моменты которой, казалось, исчерпывались Чернышевским и Добролюбовым, о наметившемся, но не пройденном ее этапе. Изучение этой области деятельности сатирика должно заполнить в известной мере какой-то пробел в наших представлениях о критике, боровшейся за интересы крестьянской демократии, заполнить хотя бы отчасти место Добролюбова и Чернышевского, считавшееся до сих пор незанятым после того, как они сошли со сцены. Такое исследование даст возможность ответить более ясно и полно на вопрос о судьбах этой критики в новых условиях, еще неведомых ее основателям, в историческом промежутке между 60—70-ми годами.

Рассматриваемая нами система взглядов Щедрина обладает рядом признаков особого этапа критической мысли. Таких основных признаков три: 1) анализ на материале помещичьей литературы намеченной предшественниками Щедрина — в особенности Чернышевским, связи либеральной и реакционной идеологии,— анализ на основе общего классового характера и охранителей функции, выражавшей помещичью идеологию литературы в самых ее либеральных проявлениях; 2) учение о тенденции как основном условии новой революционно-демократической художественности; 3) новая концепция революционно-демократического реализма.

Все эти принципы критики Щедрина определены эпохой перехода революционной демократии от нападения к обороне, но это же вынужденное оборонительное положение авангарда, оторвавшегося от отставшей массы, травимого вчерашними «друзьями», способствуя развитию классового самосознания, уяснению классовых противоположностей и отражающей их системы идей в литературе, помешало развитию уже наметившейся в основных линиях новой культуры, новой литературы и критики.

Однако и то, что в области критики удалось сделать Щедрину, та система взглядов, которую мы сейчас конструируем из оставшихся обломков и обрывков, имеет для нас значение ценнейшего культурного наследства.

Пытаясь выделить из забытых томов «Современника» и «Отечественных Записок» мысли Щедрина, живущие до сих пор крепкой жизнью, мы почти не останавливались на его ошибках, на неприемлемом для нас. Выясняя связь этих мыслей, мы не отметили ряда ошибок Щедрина-критика с точки зрения научной социально-философской теории, к которой он мог только ощупью приближаться в условиях тогдашней русской действительности. Но подводя итоги, мы укажем на них.

Щедрин не преодолел еще просветительского идеализма в своих взглядах на исторический процесс, он полагал, что «самая история развития человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс *под влиянием сознательной мысли*»[210], он считал, что «крайняя медленность прогресса и прочие бедствия, до сих пор удручающие человечество, имеют источник не в чем ином, как в *недостатке разумного метода, которым определялся бы характер отношений человека к природе, и в тех суждениях, которые отсюда проистекали*»[211]. Таких цитат можно привести много, но важно то, что Щедрин был просветителем, *преодолевавшим просветительство*, утопистом, *преодолевшим утопизм* больше, чем кто-либо другой из его современников. Это имеет существеннейшее значение для оценки его критического наследства.

Как ставится проблема наследства пролетариатом? Этот вопрос имеет две стороны. Пролетариат конечно полновластный хозяин всей культуры прошлого, и хозяин бережный, извлекающий из нее максимум ценности. Но в этом наследии надо различать то, что имеет для пролетариата значение материала, подлежащего переплавке, разложению

на свои составные части для тех или иных целей, часто материала «следственного», помогающего ему в разоблачении старого мира, и то, что он может сохранить как ценнейшие орудия в своей собственной борьбе и строительстве, хотя и устаревшие в некоторых частях своих, но достойные войти в его железный боевой фонд; то, что на историческом пути к пролетариату и его идеологии, то, что таило в себе ее потенцию и составляет культурное наследие пролетариата в собственном смысле слова. В русской культуре прошлого таких потенций больше всего в творчестве революционной демократии 60-х годов. Революционный пролетариат и является прежде всего наследником этого слоя. Наследством в первую очередь являются потенции революционного класса-предшественника; французский материализм, немецкая философия, английская политическая экономия, «антропологический принцип» Фейербаха и Чернышевского — все это дорого пролетариату в культуре прошлого потому, что вело к нему, к его революционному мировоззрению. Творчество гениального представителя революционной демократии — Щедрина — конечно ближе пролетариату, чем вся дворянская литература вместе взятая, и составляет его наследие в узком смысле этого слова.

Но освоение этого наследства даст свои результаты только в том случае, если мы учтем, что различие между потенцией и осуществлением переходит из количественного в качественное. Нельзя забывать, что близость Щедрина к нам и как литературного критика ограничена его социально-историческим опытом: при всей силе прогноза его мышление все же не могло выйти за пределы помещичье-крестьянской России, разоряемой хищником, «чумазым», как ни преодолевало обусловленный ею социально-исторический кругозор. Воспринимая русский капитализм в эпоху «первоначального накопления», т. е главным образом как хищническую, разрушительную, а не производственную силу, Щедрин не уяснял себе связи форм производства с создающимися на их основе идеологическими надстройками, того, что всегда должен учитывать критик-марксист. Между критикой, выражающей идеологию пролетариата как сознающего себя класса, вне которой немыслим марксистский метод в критике и литературоведении, и между революционно-демократической критикой 60-х годов в лице и такого передового ее представителя, как Щедрин, неизбежен ряд черт различия, связанных с указанной основной чертой.

Мы видели, как материалистические элементы в понимании истории противоречат у Щедрина его «просветительству», его идеалистической точке зрения на историю. Но этот идеализм тесно связан с непоследовательностью его материализма. Общественные отношения не мыслятся им как производственные. Материальную обусловленность идеологических явлений, литературы в частности, Щедрин по существу мыслит как зависимость от той или иной системы распределения, а не производства. А кто повторяет ошибку утопистов, заключающуюся в подмене первичного производным, как в данном случае, тот повторяет и другую их ошибку: их идеалистический подход к истории, выражающийся в просветительстве.

Если распределение не зависит от форм производства, от производственных отношений, то почему же ему не зависеть от тех или иных убеждений людей?

В области литературной критики подобный взгляд суживает и упрощает классовую концепцию литературного процесса, которой Щедрин нам так близок.

Помещичий класс выступает у Щедрина прежде всего как «среда», как совокупность определенных навыков и бытовых условий, не являясь у него «результатом отношений производства» (Энгельс). Связь художественного творчества с базой при всей классовости подхода прослеживается недостаточно. Конкретно это выражается в том, что характеристика «лишних людей» при всей ее глубине и боевой заостренности страдает тем недостатком, что самое появление их объясняется не изменениями в общественном базисе, а причинами психологически-бытовыми, ограниченными данной «средой».

Исторически-оправданная трактовка «лишних людей», т. е. значительнейших образов современной Щедрину помещичьей литературы, служившая как нельзя лучше целям боевой революционно-демократической критики, не может не быть признана односторонней с нашей точки зрения.

Еще в большей мере эта ограниченность революционно-демократической критики, отразившая ограниченность представленного ею класса, проявилась в представлении о «новом типе». Отрицание капитализма революционной демократией не могло еще перейти в борьбу с ним определенного общественного класса, призванного к построению нового бесклассового общества. Поэтому и в ее литературной практике, и в ее литературной теории не ставится еще проблема правдивого отражения борьбы и борцов против капитализма, а тем самым и участия средствами литературы в этой борьбе.

Нечего и говорить, как далеки мы здесь от тех проблем, которые ставит литературе социализм побеждающий, революция строящая!

Вот почему, осуществляя реализм, который в творческой практике Щедрина мог получить лишь частичное осуществление, современная социалистическая литература и критика вкладывают в него при наличии ряда общих моментов и качественно иное содержание. Концепция социалистического реализма не возникает как метод разрешения того кризиса революционно-демократической литературы, который был определен Щедриным как противоречие между богатством содержания нового типа и бедностью его внешней обстановки. Такого противоречия больше не существует: оно заменено отношением другого порядка. Ударение переносится с «типа» на «обстановку», настолько сложную, настолько богатую, настолько революционно изменяющуюся, что задачей «типа», как и его изобразителя, является не отстать от ее ведущих, быстро развивающихся и осуществляющихся тенденций.

Затем, не забудем: практика революционно-демократического реализма оказалась бессильной разрешить поставленную Щедриным-критиком задачу показа п о л о ж и т е л ь н ы х тенденций нового типа, не проявляющихся в его бедной обстановке. Не говоря уже о том, что крестьянская демократия не могла выдвинуть с т р о и т е л я, перед проблемой изображения которого стоит наш социалистический реализм, — чем дальше от 60-х годов, тем больше революционное народничество 70-х годов уступает революционно-демократической мысли 60-х в четкости и последовательности. Революционная тенденция идет на убыль в 70-х годах, и чем больше она проявляется во внешнем действии, тем слабее по существу (тяготение народовольцев к либералам). Революционно-демократический реализм был силен в раскрытии тенденций другого рода: тех опасностей, которые таил в себе каждый новый день для всего сколько-нибудь подлинно прогрессивного в стране. Это содержание творческой практики своего реализма Щедрин вкладывал и в свою критическую теорию. Раскрытию опасностей каждого грядущего дня при учете всей сложности современной обстановки можно учиться у Щедрина-художника и у Щедрина-критика и нам, особенно революционным писателям Запада, где фашизм представляет благодарный материал для боевой сатиры.

Определяя отношение проблематики щедринской критики к проблематике критики марксистско-ленинской, мы можем свести их различие к проблеме изображения массы. Распыленных мелких товаропроизводителей, не активное единство созидающего коллектива наших дней, а совокупность отдельных пассивных и беспомощных атомов — «людей, питающихся лебедой» — вот что мог представлять себе Щедрин, когда думал об отображении жизни масс в литературе, о котором написал столько блестящих страниц.

Между тем проблема изображения коллектива как творческой силы оборачивается в нашей критике и другой проблемой: на эту силу ориентируется и сама литература, ибо она должна выражать е г о волю, создаваться как е г о литература. Проблема доступности художественного слова без снижения качественного уровня стоит перед нашей критикой и нашими художниками. Щедрин же всегда имел в виду ту самую «тетеньку» — публику из привилегированных классов, которую, презирая, не переставал убеждать. Цензурные условия делали немыслимым самый вопрос о новом, свободном от условностей языке, — напротив, ставили проблему языка эзопова.

Те различия между критикой Щедрина и марксистско-ленинской критикой, которые мы попытались здесь бегло выяснить, не колеблют утверждения, что критика Щедрина при всех ее идеалистических грехопадениях, при преувеличении роли литературы, при переоценке в течение известного периода, под влиянием определенных исто-

АКТОВАЯ БУМАГА СВЫШЕ 30000 ДО 45000 РУБ. СЕР.
ЦѢНА СТО РУБ. СЕР.

Тысяча восемьсотъ семьдесятъ восьмаго года Апрѣля восьмаго дня. Мы, нижеподписавшіеся: Статскій Совѣтникъ Андрей Александровичъ Краевскій и Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ заключили между собою сіе условіе объ изданіи впредь, въ теченіи шести лѣтъ съ перваго Января тысяча восемьсотъ семьдесятъ восьмаго года по первое Января тысяча восемьсотъ восемьдесятъ четвертаго года, журнала „Отечественныя Записки“ на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Салтыковъ отъ вышеписаннаго числа, впредь по первое Января тысяча восемьсотъ восемьдесятъ четвертаго года принимаетъ на себя, съ званіемъ отвѣтственнаго передъ Правительствомъ и Судомъ Редактора, исключительное завѣдываніе редакціей журнала „Отечественныя Записки“ т. е. всю заботу о содержаніи журнала и отвѣтственность передъ публикою, правительствомъ и судомъ, какъ за содержаніе, такъ и за направленіе его, приглашая по своему усмотрѣнію товарищей по редакціи и сотрудниковъ и помѣщая собственные свои труды, за плату, которая и должна выходить изъ суммы, опредѣляемой пятымъ пунктомъ сего контракта и, кромѣ того заботиться также о срочномъ выходѣ книжекъ. 2) Краевскій, оставаясь собственникомъ журнала принимаетъ на себя всѣ обязанности издателя его согласно четвертому пункту сего контракта. Предоставляя Салтыкову полную свободу во всемъ, касающемся содержанія журнала Краевскій, какъ собственникъ журнала, сохраняетъ за собою право просматривать въ корректурныхъ листахъ всѣ статьи, приготовленныя къ печати, и если замѣтитъ въ нихъ что либо могущее вызвать преслѣдованіе администраціи или суда, имѣетъ право печатаніе такой статьи пріостановить, сообщивъ о томъ Салтыкову, и въ такомъ случаѣ дѣло между ними улаживается ими по обоюдному соглашенію, или, въ случаѣ серьезнаго разногласія, спорные вопросы такого рода разрѣшаются третьимъ лицомъ, избраннымъ по обоюдному ихъ согласію, при участіи одного изъ членовъ главнаго управленія по дѣламъ печати, если къ тому представится возможность. Если же между Краевскимъ и Салтыковымъ возникнутъ такія несогласія, при которыхъ вести общее дѣло окажется невозможнымъ, Салтыковъ, буде пожелаетъ, имѣетъ право оставить дѣло и ранѣе срока сего контракта, причемъ получаетъ въ концѣ года, по заключеніи всѣхъ счетовъ, причитающуюся ему долю чистаго дохода (на основаніи расчета изложеннаго ниже, въ пятомъ пунктѣ) за весь годъ, хотя бы выходилъ изъ дѣла и въ началѣ года, и за тѣмъ контрактъ сей прекращается. Если ко времени выхода Салтыкова изъ дѣла ... будутъ ... на рукахъ

По взаимному согласію сего условія продолжено на два года, т. е. по первое Января тысяча восемьсотъ восемьдесятъ шестаго года. ... 20 Октября 1883 года.

НОТАРИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ САЛТЫКОВЫМ И КРАЕВСКИМ 8 АПРЕЛЯ 1878 г. ОБ УСЛОВИЯХ ИЗДАНИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» С 1 ЯНВАРЯ 1878 г. ПО 1 ЯНВАРЯ 1884 г. (ПЕРВАЯ СТРАНИЦА)

Сбоку пометка о продлении договора до 1 января 1886 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград

[illegible]

по редакціи, причемъ, однакожъ, не имѣетъ права требовать изъ кассы журнала особой платы этому лицу. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія Краевскаго, онъ передаетъ свои обязанности по хозяйственной части, лицамъ избраннымъ съ общаго согласія съ Салтыковымъ, причемъ только поставивъ вознагражденіе имъ на счетъ журнала названнымъ лицамъ, которымъ довѣряетъ хозяйственную часть, отвѣтствуетъ своимъ имуществомъ. 14.) Проценты (10%) за внесенный Краевскимъ въ Государственное Казначейство залогъ по изданію „Отечественныхъ Записокъ" уплачиваются Краевскому изъ кассы журнала, равно и могущіе послѣдовать по рѣшенію судебныхъ мѣстъ денежные штрафы съ редакціи. 15.) Такъ какъ Краевскій, оставаясь издателемъ „Отечественныхъ Записокъ" остается въ тоже время редакторомъ и издателемъ газеты „Голосъ", то въ „Отечественныхъ Запискахъ" Салтыковъ не допускаетъ помѣщенія относительно „Голоса" ни статей, ни выраженій порицательныхъ; Краевскій обязывается не дѣлать того же въ газетѣ „Голосъ" относительно „Отечественныхъ Записокъ". Равнымъ образомъ Салтыковъ не помѣщаетъ въ „Отечественныхъ Запискахъ" ни какихъ порицательныхъ отзывовъ о прежней редакціи „Отечественныхъ Записокъ" до перваго Января тысяча восемьсотъ шестидесятъ восьмаго года. Но въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ другіе журналы, умышленно смѣшивая прежнюю редакцію „Отечественныхъ Записокъ" съ новою, или редакцію „Отечественныхъ Записокъ" съ редакціей „Голоса", станутъ упрекать журналъ въ противорѣчіяхъ и т. п., Салтыковъ и Краевскій имѣютъ право входить въ необходимыя печатныя разъясненія, соблюдая приличный тонъ. 16.) Даровые экземпляры журнала „Отечественныхъ Записокъ" назначаются по общему согласію Краевскаго съ Салтыковымъ. 17.) Могущіе возникнуть между контрагентами или между однимъ изъ нихъ и наслѣдниками другаго споры разрѣшаются третейскимъ судомъ по совѣсти. 18.) Какъ въ настоящее время прибылей, которыя можетъ принести это предпріятіе опредѣлить не возможно, то мы полагаемъ примѣрно, что онѣ могутъ простираться до шести тысячъ рублей серебромъ въ годъ, а потому условіе сіе написать на гербовомъ листѣ соразмѣрно означенной суммѣ за шесть лѣтъ. Расходы по заключенію сего условія принимаемъ пополамъ. Условіе сіе намъ и наслѣдникамъ нашимъ хранить свято и ненарушимо, подлинное получить мнѣ, Краевскому, а мнѣ, Салтыкову, имѣть засвидѣтельствованную съ оного копію.

[illegible]

[illegible]

НОТАРИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ САЛТЫКОВЫМ И КРАЕВСКИМ 8 АПРЕЛЯ 1878 г. ОБ УСЛОВИЯХ ИЗДАНИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» С 1 ЯНВАРЯ 1878 г. ПО 1 ЯНВАРЯ 1884 г. (ВТОРАЯ СТРАНИЦА)

Институт Русской Литературы, Ленинград

рических обстоятельств, литературы 40-х годов, поддерживает новое пролетарское искусство всей силой исторической традиции. Она учит нас глубокому классовому подходу и анализу дворянской литературы, несмотря на все неизбежные в ее время дефекты этого анализа; она помогает преодолеть остатки эстетизма и формализма своей проповедью сознательного мировоззрения, осознанной тенденции как основы художественности революционного класса; она до известной степени готовит своей революционной концепцией реализма — реализма активного, изменяющего мир искусства — концепцию реализма социалистического.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. статью Макашина, С. А., «Судьба литературного наследства М. Е. Салтыкова-Щедрина». — «Литературное Наследство», кн. 3, стр. 291—298.
[2] В книге «М. Е. Салтыков», 1899.
[3] «Неизвестные страницы», 1931.
[4] Иванов-Разумник, Салтыков-Щедрин. Л., 1931.
[5] «Отечественные Записки» 1848, т. IV, отд. 6, стр. 95.
[6] «Годовщина».— «Неизданный Щедрин». Л., 1931, стр. 94.
[7] «Русский Вестник» 1856, т. VI.
[8] Там же, стр. 147, 158.
[9] Там же, стр. 153.
[10] Там же, стр. 159.
[11] Там же, стр. 148.
[12] Там же, стр. 150—151.
[13] Там же, стр. 154.
[14] Там же, стр. 155.
[15] Об издании журнала «Русская Правда». См. «Письма», 1924, прилож.
[16] Ленин, От какого наследства мы отказываемся. Соч., т. II, стр. 323, 1-е изд.
[17] Ленин, т. II, стр. 328, 329, 1-е изд.
[18] «Наша общественная жизнь». — «Современник» 1864, кн. 2, стр. 233.
[19] Стеклов, Чернышевский. Т. II, 1928. Б. П. Козьмин. От 19 февраля к 1 марта. М., 1933 г.
[20] Ленин, т. II, стр. 321, 1-е изд. Разрядка Ленина.
[21] Ленин, т. II, стр. 337, 338. 1-е изд.
[22] «Глуповское распутство».— «Неизданный Щедрин», стр. 36.
[23] Там же, стр. 27. Разрядка моя.— *А. Л.*
[24] Ср. Ленин, Экономическое содержание народничества, т. II, стр. 51, 1-е изд.
[25] Ленин, Крестьянская реформа и пролетарско-крестьянская революция, т. XI, ч. 2, стр. 263, 1-е изд.
[26] Ленин, т. XI, ч. II, стр. 262, 1-е изд.
[27] К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология. Ср. «Под знаменем марксизма», № 11—12, 1931, стр. 151.
[28] «Неизвестные страницы», стр. 309.
[29] Там же, стр. 211.
[30] «Современник» 1863, № 1—2. «Наша общественная жизнь».
[31] «Неизданные страницы», стр. 156. Статья «Один из деятелей русской мысли».
[32] Собр. соч. т. IX, стр. 464. П., 1918.
[33] «Неизвестные страницы», стр. 138. Статья «Один из деятелей русской мысли».
[34] Там же, стр. 140.
[35] «Отечественные Записки» 1869, июнь. «Уличная философия».
[36] «Современник» 1864, кн. 2. «Новые стихотворения А. Майкова».
[37] «Современник» 1863, март, стр. 178.
[38] «Неизданный Щедрин», стр. 291. — «Послание пошехонцам».
[39] «Современник» 1863, март, стр. 178—179.
[40] «Отечественные Записки» 1868, октябрь. Ср. «Неизвестные страницы», стр. 23—71.
[41] «Неизвестные страницы», стр. 25—26. Статья «Напрасные опасения».
[42] «Неизвестные страницы», та же статья.
[43] «Современник» 1863, март. «Наша общественная жизнь», стр. 178.
[44] «Неизвестные страницы», стр. 26.
[45] Там же, стр. 36. Разрядка моя.— *А. Л.*
[46] «Неизвестные страницы», стр. 27—29.
[47] «Письма», стр. 13—14.
[48] «Современник» 1864, кн. 2, стр. 260.
[49] «Современник» 1863, кн. 9, стр. 83. Рецензия на «Стихотворения А. А. Фета».
[50] «Современник» 1863, апрель. Стр. 385—386.

[51] «Современник» 1863, май, стр. 315. Разрядка моя. — *А. Л.*
[52] «Неизвестные страницы», стр. 31.
[53] «Современник» 1863, май. Рецензия на «Стихотворения К. Павловой».
[54] «Современник» 1863, № XII, стр. 210.
[55] «Современник» 1863, № XII, стр. 201.
[56] Собр. соч., т. IX, стр. 59. «Круглый год».
[57] Там же, стр. 60.
[58] «Неизвестные страницы», стр. 39—40. «Напрасные опасения». Разрядка моя.—*А. Л.*
[59] «Неизвестные страницы», стр. 45. «Напрасные опасения».
[60] «Современник» 1864, кн. 2, стр. 262.
[61] «Неизданный Щедрин», стр. 289. «Послание пошехонцам».
[62] «Неизвестные страницы», стр. 387. («Своим путем» А. Ожигиной).
[63] «Неизвестные страницы», стр. 433. Рецензия на роман Омулевского «Светлов».
[64] «Современник» 1863, кн. XII. «Наша общественная жизнь», стр. 199.
[65] «Послание пошехонцам». — «Неизданный Щедрин», стр. 289.
[66] «Неизвестные страницы», стр. 57, 58. «Напрасные опасения».
[67] Собр. соч., т. IX, стр. 72. «Круглый год».
[68] Собр. соч., т. II. Изд. Ленгиза.
[69] «Послание пошехонцам». — «Неизданный Щедрин», стр. 289.
[70] Сочинения, т. II, стр. 268—269. Изд. Ленгиза, 1926. «Господа ташкенцы».
[71] Там же, стр. 269.
[72] Там же, стр. 270.
[73] «Современник» 1864, кн. 2, стр. 263.
[74] Собр. соч., т. IX, стр. 116, 117, 118. «Круглый год».
[75] «Неизвестные страницы», стр. 446, 448. Рецензия на «Темное дело» Д. Лобанова.
[76] «Отечественные Записки» 1868, кн. 5, стр. 69. Рецензия на «В сумерках» Минаева.
[77] Там же. Стр. 66—67.
[78] «Отечественные Записки» 1871, май, стр. 61.
[79] «Отечественные Записки» 1871, кн. 2, стр. 204. Рецензия на «Снопы» Полонского.
[80] «Ролла» А. Мюссе. «Современник» 1864, кн. 8.
[81] «Неизвестные страницы», стр. 444. Рецензия на «Цыгане» В. Клюшникова.
[82] «Неизданные страницы», стр. 444, та же рецензия.
[83] «Уличная философия». — «Отечественные Записки» 1869, кн. 6, стр. 129—130.
[84] Там же, стр. 131. Разрядка моя. — *А. Л.*
[85] «Отечественные Записки» 1871, кн. 2, стр. 200. Рецензия на «Снопы» Полонского.
[86] Там же, стр. 201, 202. Разрядка моя. — *А. Л.*
[87] «Современник» 1864, кн. 4. Рецензия на книгу Камской «Моя судьба».
[88] «Отечественные Записки» 1869, кн. 6. Статья «Уличная философия», стр. 131.
[89] «Современник» 1863, кн. XII, стр. 92. «Петербургские театры».
[90] Рецензия на «Сочинения Я. П. Полонского».— «Отечественные Записки» 1869, кн. 9, стр. 50.
[91] «Послание пошехонцам».— «Неизданный Щедрин», стр. 291—292.
[92] «Отечественные Записки» 1869, кн. 6, стр. 128. Статья «Уличная философия».
[93] «Неизвестные страницы», стр. 141—142. Статья «Один из деятелей русской мысли».
[94] «Неизвестные страницы», стр. 69. «Напрасные опасения».
[95] Там же, стр. 50.
[96] Там же, стр. 69.
[97] «Современник» 1863, кн. XII, стр. 197—198. «Наша общественная жизнь».
[98] Там же, стр. 209—210.
[99] Там же, стр. 202.
[100] «Петербургские театры».— «Современник» 1863, кн. I, стр. 183.
[101] «Каплуны».— «Неизданный Щедрин», стр. 80.
[102] Кирпотин, Радикальный разночинец Писарев. Л., 1929, стр. 144.
[103] «Петербургские театры». — «Современник» 1863, кн. I.
[104] Кирпотин, Радикальный разночинец Писарев, стр. 179.
[105] Ср. цитированную уже книгу Кирпотина.
[106] «Современник» 1864, январь, стр. 27—28.
[107] «Современник» 1864, март. Разрядка моя. — *А. Л.*
[108] «Современник» 1864, март, стр. 59.
[109] «Письма к тетеньке», т. XI, стр. 628—629.
[110] «Неизвестные страницы», стр. 60—61. «Напрасные опасения».
[111] «Неизвестные страницы», стр. 435—436. «Светлов, его взгляды».
[112] «Послание пошехонцам».— «Неизданный Щедрин», стр. 287.
[113] «Неизвестные страницы», стр. 43. «Напрасные опасения».
[114] «Послание пошехонцам».— «Неизданный Щедрин», стр. 290—291.
[115] Ср. «Неизвестные страницы», стр. 136.
[116] «Неизвестные страницы». Рецензия «Светлов, его взгляды».
[117] «Неизвестные страницы», стр. 376.

118 «Неизвестные страницы», стр. 362. Рецензия на роман А. Михайлова «В разброд».
119 Энгельс. Письмо М. Каутской.— «Литературное Наследство», кн. 7—8.
120 «Неизвестные страницы», стр. 70. Статья «Напрасные опасения».
121 «Современник» 1864, кн. I (о М. Вовчок), стр. 85. Ср. также «Неизвестные страницы», стр. 389.
122 «Неизвестные страницы», стр. 272.— «Первая русская передвижная выставка».
123 «Современник» 1863, кн. 11, стр. 93. Статья «Петербургские театры». Разрядка моя. — *А. Л.*
124 Там же. Разрядка моя. — *А. Л.*
125 «Современник» 1863, кн. 12, стр. 200. «Наша общественная жизнь».
126 Там же, стр. 197.
127 Там же, стр. 200.
128 «Из архива Достоевского», М., 1923, стр. 17, 20, 21.
129 «Современник» 1864, январь, стр. 81. Рецензия на стихотворения Плещеева.
130 «Современник» 1863, декабрь, стр. 202, 209.
131 «Неизвестные станицы», стр. 61. «Напрасные опасения». Разрядка моя. — *А. Л.*
132 «Современник» 1864, кн. 4. Рецензия на «Записки Щепкина».
133 «Современник» 1863, кн. 12, стр. 243—244. Разрядка моя. — *А. Л.*
134 «Современник» 1863, кн. 12, стр. 202. «Наша общественная жизнь».
135 «Неизвестные страницы», стр. 361. Рецензия на роман А. Михайлова «В разброд»
136 Там же, стр. 319. «Итоги».
137 «Неизвестные страницы», стр. 359. «В разброд» Михайлова.
138 «Современник» 1863, ноябрь, стр. 105. Статья «Петербургские театры».
139 Собр. соч., т. II, стр. 176. «Помпадуры и помпадурши», Ленгиз, 1926.
140 Собр. соч., т. II, стр. 174.
141 Там же.
142 «В больнице для умалишенных». — «Неизданный Щедрин», стр. 187.
143 См. статью С. С. Борщевского «Проблемы щедринской сатиры» в журнале «На литературном посту» 1929, № 9. Эти формулы имеют у Борщевского иное содержание.
144 «Неизвестные страницы», стр. 60—61, статья «Напрасные опасения», в которой еще робко указывается возможность «подобной работы» для литературы.
145 Эти характерные для Щедрина строки мы позволили себе привести из статьи «Насущные потребности литературы» («Отечественные Записки» 1869, октябрь, стр. 160), принадлежность которой Щедрину еще окончательно не установлена. Если бы, что невероятно, авторство Щедрина было в данном случае опровергнуто, это не отразилось бы на результатах нашего анализа. Данная цитата лишь поясняет доказанное. Это относится и к другим заметкам данной категории, здесь использованным.
146 «Современник» 1863, ноябрь. «Наша общественная жизнь».
147 Собр. соч., т. IX, стр. 69. «Круглый год».
148 Ср. Арсеньев, К. К., Щедрин. 1906, стр. 106—107.
149 «Помпадуры и помпадурши». Собр. соч., т. II, стр. 174, изд. 1926.
150 «Современник» 1863, т. XII, стр. 201. «Наша общественная жизнь».
151 «Итоги» (4 гл.). Разрядка моя. — *А. Л.*
152 См. работу Б. П. Козьмина «К вопросу о кризисе реалистического направления в 70-х годах». — «Литература и марксизм» 1930, № 4—5.
153 «Неизвестные страницы», стр. 429. «Светлов, его взгляды».
154 «За рубежом». Собр. соч., т. IV, изд. 1926, стр. 274.
155 Собр. соч., т. IV, изд. 1926, стр. 279.
156 «Отечественные Записки» 1868, ноябрь, стр. 36. «Новаторы особого рода».
157 Там же, стр. 34—35.
158 Там же, стр. 35, 43.
159 «Неизвестные страницы», стр. 425. «Светлов, его взгляды».
160 «Неизвестные страницы», стр. 426. «Светлов, его взгляды».
161 «Неизвестные страницы», стр. 428. Разрядка моя. — *А. Л.*
162 Там же, стр. 428.
163 «Современник» 1864, № V, стр. 25.
164 Там же, стр. 6.
165 «Стрижи» — «Неизданный Щедрин», стр. 87—88.
166 «Дневник писателя» за 1873 г.
167 «Современник» 1863, кн. 1. «Наша общественная жизнь».
168 «Чужую беду руками разведу». — «Неизданный Щедрин», стр. 254.
169 «Письма», 1926, стр. 76. Ср. также незаконченную «Благонамеренную повесть» («Вестник Европы» 1914, кн. 5), в которой Щедрин начал пародировать первые части «Анны Карениной».
170 «Уличная философия».— «Отечественные Записки» 1869, кн. 6, стр. 147.
171 Там же, стр. 147, 148.
172 Там же, стр. 142.
173 «Насущные потребности литературы». — «Отечественные Записки» 1869, кн. 10.

174 «Неизвестные страницы», стр. 95. — «Петербургские театры», П.
175 «Отечественные Записки» 1871, кн. 2, стр. 207.
176 «Современник» 1863, сентябрь, стр. 68.
177 О Данилевском (Скавронском) см. «Современник» 1863, декабрь («Воля. Два романа из быта беглых»).
178 «Современник» 1863, кн. IV, стр. 298.
179 «Отечественные Записки» 1868, кн. 8 («Гражданский брак» Чернявского).
180 «Современник» 1864, март, «Наша общественная жизнь», стр. 52—53.
181 «Отечественные Записки» 1868, кн. 8.
182 «Отечественные Записки» 1871, т. XII. Рецензия на роман Авсеенко «На распутьи», стр. 230—231.
183 «Уличная философия».— «Отечественные Записки» 1869, кн. 6, стр. 131.
184 «Письма к тетеньке». Собр. соч., т. XI, стр. 626.
185 Собр. соч., т. IX, стр. 147. «Круглый год».
186 «Чужую беду руками разведу». — «Неизданный Щедрин», стр. 256.
187 Собр. соч., т. IX, стр. 147.
188 «Неизданный Щедрин».— «Чужую беду руками разведу», стр. 251.
189 Макашин, С. А., «Судьба литературного наследства М. Е. Салтыкова-Щедрина». — «Литературное Наследство», кн. 3, стр. 298.
190 Ср. комментарий к этому произведению в книге «Неизданный Щедрин».
191 «Современник» 1863, кн. 3.
192 Рецензия «Бродящие силы» Авенариуса.— «Отечественные Записки» 1868, кн. 4.
193 Там же, стр. 212. Пародия эта перепечатана в статье Евгеньева-Максимова «Салтыков-Щедрин и реакционная беллетристика 60-х годов» в кн. «Из прошлого русской журналистики», Л., 1930.
194 «Современник» 1863, апрель, стр. 296—297.
195 Рецензия на роман Лажечникова «Внучка панцырного боярина».— «Отечественные Записки» 1868, кн. 12, стр. 253, 254.
196 «Отечественные Записки» 1879, кн. 12, стр. 228—229.
197 Там же, стр. 230.
198 «Отечественные Записки» 1879, т. XII, стр. 230—231.
199 Там же, стр. 232.
200 «Отечественные Записки» 1868, ноябрь, стр. 35—36. «Новаторы особого рода».
201 «Отечественные Записки» 1869, кн. 6, стр. 142. «Уличная философия».
202 «Современник» 1863, январь — февраль. Рецензия «Немного лет назад», ром. Лажечникова.
203 «Отечественные Записки» 1869, кн. 9, стр. 46. Рецензия на соч. Полонского.
204 «За рубежом». Собр. соч., т. IV, 1926, стр. 275—276. Разрядка моя.— *А. Л.*
205 «Современник» 1864, март. «Наша общественная жизнь», стр. 52.
206 См. цит. статью «Новаторы особого рода».— «Отечественные Записки», 1868, кн. XI, стр. 34—35.
207 Собр. соч., т. IX, стр. 181. «В среде умеренности и аккуратности». См. также стр. 179, 184—186.
208 Ключевский, В. Очерки и речи. М., 1913, стр. 285.
209 Собр. соч., т. II, стр. 253. «Господа ташкентцы». Введение.
210 «Неизвестные страницы», стр. 310. Итоги. Разрядка моя. — *А. Л.*
211 «Современник» 1864. Рецензия на «Новые стихотворения» Плещеева.

Отв. ред. Л. Авербах Зам. ред. П. Парадизов. Зав. ред. И. Зильберштейн

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ПОЛУТОМА

II. СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

В номере 692 страницы, 141 иллюстрация, одна четырехцветка и одна фототипия.

Адрес редакции: Москва 6, Страстной бульвар, 11, тел. 4-28-45.

Тех. редакция: Г. Белинский (набор), С. Ардашникова (печать).
Обложка работы И. Рерберга
Корректировала Н. Скалова
Уполномоч. Главлита В 79844

Сдано в набор 5/IX 1933 г.
Подписано к печати 14/II 1934 г.
Формат бум. 72 × 110.
Печ. знаков в печ. л. 71 280.
Тираж 10 000 экз.

Зак. тип. 171

Журнально-газетное об'единение

Номер набран и сверстан в 7-й типографии „Искра Революции" (Филиповский пер. 7), отпечатан и сброширован в типографии им. Воровского (ул. Дзержинского 18).

Фототипия и четырехцветка выполнены фабрикой Гознак.

ОДНОВРЕМЕННО ВЫХОДИТ В СВЕТ ВТОРОЙ ПОЛУТОМ ЩЕДРИНСКОГО ТОМА

„ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА“

III. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ТВОРЧЕСТВА И БИОГРАФИИ ЩЕДРИНА

История текста „Сатир в прозе“.

Приложения: рукописный вариант очерка „К читателю“ и два отрывка из очерка „Хорошие люди“.

Публикация *Б. Эйхенбаума.*

История незавершенного цикла „Культурных людей“.

Приложение: рукописная редакция „Книги о праздношатающихся“. Публикация *И. Векслера.*

Новые материалы о сотрудничестве М. Е. Салтыкова-Щедрина в „Современнике“.

Приложения: Неизвестная статья Щедрина „Литературные будочники“ и рецензия Щедрина на книгу С. С. Громека „Киевские волнения в 1855 г.“. Публикация *В. Евгеньева-Максимова.*

Новые материалы о сотрудничестве М. Е. Салтыкова-Щедрина в „Отечественных записках“.

Анонимная статья „Насущные потребности литературы“. Статья *С. Борщевского.*

Цензурные материалы о Щедрине.

Предисловие *В. Евгеньева-Максимова.* Публикация *Н. Выводцева, В. Евгеньева-Максимова, И. Ямпольского.*

Щедрин на сцене. Статья *Ю. Соболева.*

Борьба за Щедрина. Отклики на смерть Салтыкова-Щедрина. Обзор *А. Ефремина.*

Приложение: Библиография откликов печати на смерть Салтыкова-Щедрина. — *Н. Эфрос.*

IV. ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ

Письма М. Е. Салтыкова-Щедрина Н. Бахметьеву, П. Вейнбергу А. Жемчужникову, П. Засодимскому, Н. Златовратскому, К. Кавелину, Г. Кравцову, Н. Курочкину. Д. Мамину-Сибиряку, И. Павлову, М. Рейтерну, И. Салову, И. Тургеневу, Г. Успенскому, Е. Феоктистову, Н. Чернышевскому, В. Якушкину.

Вступительная статья *С. Макашина.* Публикация *В. Гиппиуса, С. Макашина, Н. Яковлева и др.*

Письма писателей к М. Е. Салтыкову-Щедрину. Письма: П. Анненкова, Н. Арнольди, Н. Бобылева, И. Бухалова, И. Гончарова, А. Жемчужникова, Н. Златовратского, И. Крамского, В. Кроткова, Л. Мечникова, Л. Мурахиной, А. Новодворского, В. Обручева, Ф. Павленкова, А. Пыпина, А. Рейнгольда, Л. Толстого, П. Фирсова, И. Ясинского.

Предисловие *Н. Яковлева* „Литературные корреспонденты Щедрина".
Публикация *С. Макашина, М. Чистяковой, Н. Яковлева.*

Письма читателей к Салтыкову. По данным архива Е. А. Салтыковой.

Предисловие *Д. Заславского* „Читатель Щедрина".
Публикация *Н. Яковлева*

V. СООБЩЕНИЯ

Семейный архив Салтыковых. Сообщение *Е. Макаровой.*

Салтыков в лицее. Сообщение *М. Калаушина.*

История ссылки Салтыкова. Сообщение *М. Панченко.*

Из фольклорных материалов Щедрина. Сообщение *Ю. Соколова.*

Анненков о Щедрине. Сообщение *С. Макашина.*

Щедрин и Лавров. Сообщение *Ф. Витязева.*

Щедрин и Толстой. Сообщение *М. Чистяковой.*

Неизданная статья Софьи Ковалевской о Салтыкове. Сообщение *С. Штрайха.*

Запись беседы М. И. Семевского с Салтыковым. Сообщение *И. Троцкого.*

Художественная иконография М. Е. Салтыкова-Щедрина и иллюстрации к его произведениям. Сообщение *П. Эттингера.*

Салтыков в карикатуре. Сообщение *Д. Буторина и Вас. Гиппиуса.*

Судьба рукописей Щедрина. 1) Личный архив Щедрина — сообщение *Н. Яковлева.* 2) Рукописи Щедрина бывшие у А. М. Унковского — сообщение *М. Унковского.*

Щедрин в Советской школе. Сообщение *Л. Абрамовича.*

VI. БИБЛИОГРАФИЯ И СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Щедринские рукописи в архивах СССР. Указатель *Вас. Гиппиуса и С. Макашина.*

Материалы для библиографии критической литературы о Щедрине. Указатель *Л. Добровольского и В. Лаврова.*

Материалы для библиографии переводов сочинений Щедрина на иностранные языки и критической литературы о них. Указатель *С. Макашина.*

VII. ХРОНИКА

В номере 700 страниц, свыше 150 иллюстраций и две фототипии.

Цена 18 руб.